

# Александр Исаевич Солженицын

## Красное колесо. Узел II Октябрь Шестнадцатого

### ЗАМЕЧАНИЯ АВТОРА К УЗЛУ ВТОРОМУ

#### Полная библиография будет приведена после Узла Третьего.

Временной отрезок "Октября Шестнадцатого", со середины октября и до 4 ноября, беден историческими событиями (волнения на Выборгской стороне 17 октября, заседания Государственной Думы с 1 ноября с известной речью Милюкова, ещё несколько эпизодов). Но он избран автором в качестве последнего перед революцией Узла как сгусток тяжёлой и малоподвижной атмосферы тех месяцев. Автор долго колебался, строить ли между "Августом Четырнадцатого" и "Октябрём Шестнадцатого" ещё один, промежуточный по войне, Узел "Август Пятнадцатого", богатый событиями. От этого замысла он отказался, остатки же вошли в нынешний Второй Узел: обзорной по 1915 году главой 19 и другими ретроспективами двух лет войны, которые все теперь нашли место в "Октябре Шестнадцатого", как и ретроспективы всего кадетского движения (глава 7).

С марта 1971 началась непрерывная работа над "Октябрём", конструкция уяснилась быстро, но долго шло накопление материалов, и само писание в 1971 – медленно, из-за тяжёлой обстановки, травли советскими властями. Но за 1972 и 1973 уже весь Узел был написан (в Ильинском, Рождестве-на-Истье, Фирсановке) в 1-й редакции, а многие главы во 2-й и в 3-й. Лишь ленинских главы было две (окончательно – семь) – в то время замысел дальше не шёл.

Материалы по Каменской волости Тамбовского уезда и другим местам Тамбовской губернии собраны автором в анонимных поездках туда летом 1965 и 1972, впоследствии дополнены по печатным источникам. Скроботовский бой восстановлен по рукописям московского Исторического музея, позже расширен по эмигрантским публикациям. Использованы печатные издания Рабочей группы при Военно-промышленном комитете, артиллерийские исследования о войне 1914-17 гг. Гренадерская бригада – по хранениям Центрального Военно-исторического Архива в Москве (боевая и административная документация, полевые книжки офицеров, приказы, списки личного и конного состава). Место стояния бригады близ фольварка Узмошьё автор также посетил в 1966 г.

Высылка на Запад прервала работу над "Красным Колесом" почти на весь 1974 год. Но Цюрих представил богатые материалы и прямые наблюдения, расширившие замысел ленинских глав, которые, вместе с главами Узла Третьего, были окончены в марте 1975 и той же осенью изданы отдельной книгой "Ленин в Цюрихе" (Париж, ИМКА-пресс, 1975). Предполагалось включить сюда и главу о Шляпникове, полностью законченную ещё в СССР, но в сборнике оставлено лишь заграничное действие.

В 1975-1979 по материалам эмигрантских печатных изданий, зарубежных русских хранений и мемуаров участников событий, присланных автору, найдено немало дополнений и исправлений к "Октябрю" – и в конце 1979, в 1980 многие главы ещё переработаны. Добавочно написаны главы о царской семье (64, 69, 72, они не предполагались прежде).

Несколько глав из "Октября" были напечатаны в "Вестнике РХД" №№ 126-132 (главы 62, 65, 71, 7, 41, 26, 64, 69). Последняя редакция Узла выполнена в процессе набора в Вермонте в 1982-83.

Близкая история нашей страны так неизвестна или так искажённо учена, что ради молодых моих соотечественников я вынужден был во Втором Узле превзойти ожидаемую для литературного произведения долю исторического материала. Но передавая подлинные

стенограммы заседаний, речи, письма, я не решался обременить свою книгу и читателя тем многословием, даже пустословием, повторами, побочностями, рыхлостями, невыразительностями, которыми многие из тех речей изобилуют. Поэтому я разрешил себе выиграть действенность через сжатие всего текста, иногда и отдельных фраз, – без малейшего, однако, искажения их смысла. Все цитаты истинны, но не все дословны, концентрация действительности есть требование искусства.

Для фрагментной главы “Из записных книжек Фёдора Ковынёва” использованы спрессованные отрывки из опубликованных рассказов Ф. Крюкова и личный архив – его неопубликованные письма, дневники и письма к нему его бывшей орловской гимназистки Зинаиды Румницкой.

Через Андозерскую часть изложена система взглядов на монархию профессора Ивана Александровича Ильина.

Почти все исторические лица я вывожу под их собственными именами и со всеми точными подробностями их биографий. Это относится и к малоизвестным, но реальным лицам того времени – как легендарный возглавитель самоуправления восставших тамбовских крестьян Г. Н. Плужников, или даже каменский писарь Семён Панюшкин (ещё живой в мой туда приезд), секретари “Рабочей группы” Гутовский и Пумпянский, член группы на Обуховском заводе Г. К. Комаров, семья Шингарёва, все Смысловские (обе семьи – в их действительных жилищах того времени), изобретатели Киснемский, Подольский и Ямпольский и др. К историческим лицам и в обзорных главах и в повествовательных выдержана строгая фактичность. Для А. И. Гучкова, кроме всех общественных материалов, использована его неопубликованная переписка и семейные свидетельства. Но есть три лица – писатель Фёдор Дмитриевич Крюков, инженер Пётр Акимович Пальчинский, генерал Александр Андреевич Свечин (первый погиб в Гражданскую войну, последние два расстреляны большевиками), при описании которых я нуждался в большей свободе угадываемых, предполагаемых личных деталей, некотором их (небольшом) перемещении, либо собранный материал не давал достаточно данных на последующие Узлы, – и чтоб открыть себе нужный простор я изменил двум из них фамилии, а последнему имя. Тем не менее большинство подробностей с ними исторично. (О них обо всех, как и о К. А. Гвоздеве, А. Г. Шляпникове, использованы и сохранившиеся в СССР личные воспоминания.) Без смены фамилии я допустил некоторые изменения в обстоятельствах генерала Александра Дмитриевича Нечволодова.

## 1

Птицы любят не всякий лес. В жиденьком слабеньком Дряговце было их куда меньше и скучней, чем в Голубовщине, три версты в тыл. К войне на поживу налетело из многих мест гальё, вороньё, коршуны (как и мыши и крысы стянулись), а улетели подальше певчие дрозды, снялись с высоких крыш белые аисты, выстаивающие счастье. Но крестьяне говорят, что и прежде войны, всегда: Дряговец не любили птицы, а Голубовщину любили. А между тем лесом и этим, над мокредью у старого екатерининского шляха, как до войны, – так и в войну, тянуще плачут чибисы и только они одни.

Толстоствольную парковую Голубовщину, где лес не слитен, но каждое дерево как на показ и по просторности всюду трава чистая, ласковая, доньне, уже год близ позиций, населяло изобилие птиц, вся главная масса их. И в мае так это вместе всё куковало, булькало, стрекотало, щебетало, вытягивало, пересвистывало, что у Сани, южанина-степняка, слабели ноги – опуститься на шёлковую траву, и грудь раздувалась – не воздуха только вобрать, но птичьего пенья.

И тяжела становилась амуниция, оттягивающая плечи, грузный револьвер.

Кажется, близко бы всем этим птицам отлететь от передовых позиций, от воя снарядов, от дыма взрывов, от газовых волн, ещё вёрст на десять назад, – нет! Пренебрегая шумной, чёрной людской войною, даже гибня в ней иногда, жили многие птицы на своих извечных

местах, признавая лишь своё повеление внутреннее, лишь строгий свой меридиан.

Голубовщина была лес помещика-поляка, впрочем перенятый в аренду простым селянином, а Дряговец – крестьянский лес. Что такое именно значило “Дряговец”, Саня не добился понять, но уже в самых звуках слышался худший сорт и пренебрежение. Такой и был он – хилый, мелкодеревный, не радующий душу и не по воле заселённый теперь гренадерами весь насквозь: тылами и резервами пехоты, затем – передками, лошадьми и землянками артиллеристов. Сразу же за Дряговцом стояли пушки 1-го дивизиона 1-й Гренадерской бригады.

Тонких хлыстов Дряговца не хватило бы ни на какие землянки, и давно не осталось бы самого леса, но вовремя было запрещено его валить, как и завидную Голубовщину. Из неисчерпаемой России, из глубины, привозили железнодорожными платформами толстые брёвна на все перекрытия и укрепления, перегружали на колёсные станы, и ближние крестьяне, три рубля за фурманку в ночь, темнотою и под немецкими ракетами возили-возили-возили тот лес под самую даже передовую линию. (Только из передних деревень крестьяне ушли, а уже в Стайках и в Юшкевичах жили и засевали поля, а немцы, бывшие по большому полю, когда видели там работающих крестьян – по ним не кидали.)

Почти вся санина война, минувший год, и прошла в этих местах, в этих нескольких верстах, окидываемых одним круговым взглядом. Ещё с прошлого сентября стояла их батарея позади Дряговца, и от батареи на их прежний наблюдательный пункт ходил Саня всегда одной и той же дорогой: сперва через Дряговец, кишачий солдатской жизнью, потом, под просмотром неприятеля, по старому шляху, где не шагали строем и не гнали больше одной повозки сразу; от придорожного, до сих пор не сшибленного деревянного креста с жестяным кружевным щитком над образом Спаса брал влево и полторы версты унижительно сгибался ходом сообщения, сталкиваясь со встречными и с осыпчивою землёй, и так – до самых пехотных окопов, еле-еле выгрызенных в узких грядках среди мочажины. И этим путём каждодневно гнись и сапогами чвакая в осенней и весенней грязи, а то и на глубину голенищ в окопной воде, мог бы горько изумиться, кто не знал: как же было так допустить? как же можно было, отступая, такие наихудшие позиции себе выбрать, а немцам дать перейти Щару, занять Торчицкие высоты и обратить в крепость возвышенный фольварк Михалово? Но Саня прихватил в Гренадерской бригаде прошлый август и помнил конец этого страшного отступления: сшибали их разнётым артиллерийским огнём, а то удушливыми газами; дни высиживали под долбящим обстрелом и почти не вкопанные, сами без снарядов, ночами отступали, а неприятельской пехоты и не видели никогда, ей и делать было нечего. Без снарядов, и даже ружейные патроны на счету, валили и катили мимо Барановичей на Столбцы, а хоть бы и на Минск, – и вдруг обнаружили, что немцы в спину больше не косят. Обернулись, постояли. Вовсе стали. А потом от месяца к месяцу, под вражеским просмотром и огнём, весь Гренадерский корпус трудами и потерями полз обратно, выдвигался до полного сближения, долгими окопными работами проходя и занимая две с половиной версты, оставленные немцами в пустоте как негожие.

Эти вёрсты унижения, пота и смерти не за что было, кажется, полюбить. Но странно: за год, проведенный здесь, стала для Сани эта местность щемяще дорога, как родина, и привык он к каждому кусту, бугорку и тропочке несколько не меньше, чем вокруг своей Сабли. Истинная родина, Саня узнал, тут близко была Мицкевича – поправее, к Колдычевскому озеру, и ещё б не любил поэт места своих детских игр и юношеских мечтаний. Но места, где провёл ты грозные дни своей жизни, не тесней ли того сродняются с тобой? Они как молнией выхвачены для тебя изо всех земных пространств, они свидетели не безмысленного беззаботного твоего рождения, а поступков внезапного мужества, созревания которого ты в себе не предполагал, или возможной смерти – сегодня? завтра? И сапогами буднично шелестя о траву, ты, может быть, каждый день проходишь мимо крестика смерти своей, мимо будущей твоей милой могилы.

Сколько за год прожито, изменилось, самого тебя в изумление привело. С наблюдательного шёл на батарею, усталый, задумавшись, и не так обратил внимание на

ужасающий свист чемодана на подлёте, как увидел по краю Дряговца: чёрный столб в три раза выше леса, а над столбом – ярко-красная шапка мелькающих отдельных вспышек, а ещё выше – летающие толстые палочки. И под грохот невероятный ещё всё это не опустилось, как соединила голова: попал восьмидюймовый чемодан в снарядный склад батареи, и это палочками летают четырёхвершковые брёвна, а вспышками рвутся взлетевшие наши снаряды. И хоть кажется (потом уже размышляешь) живому существу неестественно бросаться в смерть, и не был санин долг присутствовать в этот миг на батарее, и никто б не удивился и не упрекнул его, если б он пришёл на десять минут позже, – Саня, не обдумывая ни секунды, со всех ног кинулся бежать на позицию, где в туче оседающей земли ещё допадавали брёвна (тычком воткнулись два, будто их заколотили) и загорелся зарядный ящик со шрапнелями. Офицера не оказалось, и батарейцев горстка, только младший фейерверкер да несколько номеров, в момент разрыва укрывшихся, – и Саня, как бежал, вызывая их за собою, кинулся к зарядному ящику. Валил дым из его пробитых стенок (это горел порох в пробитых снарядных гильзах). Бросились и те все, предупреждая взрыв, и ожидая этого взрыва на себя, и каждый миг ещё ожидая на себя нового чемодана, чья воронка слизывает пять саженей в диаметре и четыре аршина вглубь. Но новый – не прилетел, а тем временем они топорами сбивали горящую обшивку и выбрасывали, выбрасывали уже раскалённые лотки со снарядами – и ни один не успел взорваться. И в таком скорыхвате, в огне пронеслась эта работа, что Саня не успел и испугаться. И лишь когда кончили и пот вытирали, заметил он, что ноги дрожат, не держат.

Так и осталось удивлением о себе самом и о номерах, ретиво помогавших ему, – когда уже всем им пришлось по георгиевскому кресту, и армейская георгиевская дума утвердила подпоручику Лаженицыну офицерский.

Так и могла – да не раз – окончиться санина жизнь в 25 лет в этой мягкой природнённой местности между Власами и Мелиховичами, с их купами высоких тополей. И если когда-нибудь фронт отсюда уйдёт и зачередят новые места опасностей и куцых солдатских радостей, всё равно это место годовой тревожной жизни навсегда уже будет теперь восприниматься как отобранная родина.

Что глаза окинут, то и жаль покинуть.

И ещё есть одна загадка: черта, никогда раньше на этой местности не существовавшая, и которая потом сотрётся, запашется, лишь останется в памяти стариков, черта, разделившая два пришедших войска, и тем же разделившая до полной чуждости два куска слитной обжитой земли. По тот бок черты всё должно быть такое же – и всё представляется совершенно иным. Как будто тот же тёплый кусок отечества, украшенный разбросом хуторов и кущиц, тот же шлях екатерининский, обсаженный редкими берёзами и ушедший за высотку и за реку, те же млыны ветряные, тополя и покинутые гнёзда аистов, – нет, выхват чужой земли под чужой властью.

Весной, когда Ростовский Гренадерский полк уже близко подкопался к Торчицким высоткам, была перед рассветом удачная вылазка: захватили немецкие окопы врасплох и едва не перешли Щару, да поддержки не было. В ту ночь Саня как раз дежурил на наблюдательном в переднем окопе ростовцев и с ними пошёл. Поддержать огнём он их не мог – на снаряды был наложен запрет, операция возникла в полку почти внезапно, но ногами Саня пробежал эти посмотренные, до камешка изученные триста саженей, завалил за двухгребневую высотку и ахнул: действительно, мир там оказался другим! Не эта бесплодная, без кустика, угорная земля, но от самых немецких окопов – зелёный сбег к реке, сочные дубки, шаровые ивы, кустовые заросли у речки, и – нежный надречный утренний туманец между всем, как ласка к этим творениям. И едва, едва только стихли пулемёты и ружья – тут же рядом, незримый, встрепенулся и залился соловей – да нестеснённо, со всеми положенными оттолчками, дробью, пересвистами... С привычного места не согнала война и его!

И этот зелёный обрыв за Торчицкими высотками, туманец, неожиданный соловей – показали Сане живым раем. Какой же силой и любовью это сотворено! И как же, с двух

сторон, Торчицкий обрыв и Голубовщина, звенят своей вечной песнью, а в помертвелой полосе между ними, там, где ещё уцелевал трёхсаженный несшибленный Спас, тысяча людей в безумии врывается в землю и палит друг в друга, со всею техникой двадцатого века!

Эта беготня в предрассветьи, с колотящимся сердцем, куда ни начальство, ни долг не посылали Саню, а понёсся он испытать первое в своей жизни наступление, сделали его как будто крылатым, лёгким и полусонным, как после любовной счастливой ночи. Была – пробежка и победа, да какая-то весёлая, без потерь. На полчаса стал Саня как будто бесплотен бояться свинцового прохвата, стал нечувствителен к возникшему свисту пуль с того берега Щары.

Однако вправлено было уже и что-то иное в подпоручика Лаженицына. И при всей его бессонной бесплотности и восхищении соловьем, использовал он минуты затишья и для осмотра немецких окопов – чистых, сухих, основательных, в полный рост, обложенных досками, с крепко-досчатыми полами, с зимними кабинками часовых, с бревенчатыми блиндажами, каких не могла пронять наша полевая артиллерия, и даже с бетонными укреплениями. И хотя уму и расчёту понятно было всегда, что отсюда легко просматриваются русские позиции, но только сам поглядев через бетонные смотровые щели, поразился подпоручик, до чего же мы невыгодно, голо, незащищённо стоим, как будто выполняем правила чужой войны.

А ещё он снял в блиндаже с гвоздя великолепный цейсовский полевой бинокль с 16-кратным увеличением.

И месяцы, месяцы потом глядя всё с прежних принижённых мест на прежне-недоступные, даже более прежнего, уже пятью линиями колючки укрепленные Торчицкие высотки с верхами дубков из-за них, Саня и поверить бы не мог, что сам побывал там, если б не этот тяжёлый прекрасный бинокль, всегда на груди или у глаз, часто одолаживаемый товарищами или старшими, потому что у всех были только казённые, не больше 8-кратных.

Как перо жар-птицы, в сновидении выхваченное на память и оставшееся доказательством сна.

## 2

Подполковник Бойе назначил подпоручику Лаженицыну быть не в очередь на боковом наблюдательном пункте 3-й батареи у деревни Дубровны 14 октября в 10 часов утра с тем, чтобы принимать участие в стрельбах командира батареи.

Педагогически это было неправильно: уж какие три взводных командира ни достались, а надо всех трёх обучать равномерно и стрелять с очередным. Однако при той общей казни египетской воевать с неузнаваемо прореженной армией, где кадровые подлинные офицеры подменены разночинцами, а сверхсрочные унтеры – обученцами из нижних чинов, мог подполковник позволить себе не нервничать лишнего и пострелять с командиром 3-го взвода, который обучаемее и добросовестнее других, хотя тоже без военной души. Командир 1-го взвода прапорщик Чернега, из фельдфебелей, дерзкий воин, лучшего желать не надо, но в познаниях, умениях – слаб, а в готовности неровен и плохо вгонялся в строгую систему. Прапорщик Устимович, из запаса 45-летний учитель, обременённый семьёй и жизнью, к тому же присланный из пехоты по недостатке артиллерийских офицеров, числился командиром 2-го взвода лишь для страдания своего и командира батареи, и не только не обещал стать порядочным артиллеристом, но хотя бы военную дисциплину усвоить ближе к костям.

Вчера и позавчера держалась устойчивая пасмурная погода – без дождя, но и без солнечного проблеска. Плотные тучи стлались и сегодня с утра, но было сухо, нехолодно, и кой-где посвечивало, обещая растянуться. А барометр шёл влево и советовал брать дождевик.

Передовой наблюдательный пункт 3-й батареи в пехотных окопах против Торчицких

высот имел малый просмотр в глубину неприятеля, и для всех главных стрельб Бойе оборудовал боковой пункт, на высоте, частью отбитой у немцев. Обзор оттуда был и широкий и глубокий, но от слишком бокового расположения усложнились правила стрельбы: виделось не так, как стрелялось, шаги прицела переходили в шаги угломера и наоборот, всё это надо было в голове быстро оборачивать и соображать, Устимовича ставить туда было бесполезно, да и Чернега путал.

Последние пятьдесят саженей, ответвившись от хода сообщения Перновского полка, шёл их собственный батарейный ход, в два с половиной аршина, чтобы высокому подполковнику не очень гнутья. Сам наблюдательный был перекрыт в три наката со стяжкой брёвен проволокою, чтоб их не раздвинуло средним калибром.

Ещё раз поглядев, что небо всё светлело, желтело, обзор будет хорошим, подполковник, пригнувшись на входе, придерживая фуражку, отводя заслоняющую парусину, нырнул, а за ним ординарец. Внутри пол был ещё подрит для подполковника, а подпоручик Лаженицын, ростом ниже, с несмелой бородкой на полподбородка, стоял на бруске у смотровой щели – и перед собою на бруствере, на подложенной фанерной дощечке, делал записи. При появлении командира батареи он сошёл с бруса и козырнул.

От армейской дисциплины тут было много отклонений, сразу замечаемых глазом, даже ещё не привыкшим к полутьме, но уже отметившим и двух телефонистов на чурбаках, телефоны на земляном полу, а карабины к стене, и одно дуло так пришлось, что грозит набрать земляной осыпи; три противогазных маски на гвоздях, вбитых в горбыльную обкладку. Подпоручик не скомандовал “смирно”, и отдал честь без отрубистой лёгкости, хотя с прошлого года лучше; и не доложил, что происходит на наблюдательном пункте в настоящую минуту. Но упрощения, вносимые войною в устав, слишком широко разлились, чтобы возвратить их в рамки. И подполковник Бойе, со страданием обречённый до самой могилы замечать каждое отклонение от устава даже, кажется, городских прохожих, отзывался лишь на те, где выпирал вызов.

А Лаженицын и сам не знал, почему он не доложил, он готовился, и было что сказать. Но вдруг показалось ему при трёх солдатах, в тесном укрытии, что это будет стеснительно театрально. Да и робел он перед подполковником, хотя тот и голоса никогда не повышал. Чернега и виноватый всегда держался право и бойко. Лаженицын и без огреха всё какую-то вину ощущал. Брови подполковника над пенсне передвигались минимально. Глаза, кажется, постоянно имели выражение четвертьпрезрительное и полунедовольное. Взнесенные хвосты усов были так идеально ровно отмерены, что улыбка сразу бы нарушила их равновесие. Длинная шея в стоячем вороте кителя не оставляла развязности голове, тем более не допускалось развязности у собеседника. А весь вид был сейчас: неужели вы чем-нибудь серьёзным могли тут заниматься?

Но ни слова подполковник не произнёс, ответил небыстрым точным поднятием руки к виску, взял записи подпоручика и стал читать их молча.

Эти записи (добросовестно начатые на час раньше назначенного, без всякого внешнего одобрения заметил про себя подполковник) были обычные дежурные записи обо всех изменениях и действиях противника, с повышенным значением ничтожных событий:

“ 9.05 – В слуховом окне № 4 неприятель продолжает земляную работу, начатую, видимо, ночью.

9.12 – Неприятельское орудие 1 1/2 дюйма выпустило по окопу № 8 5 снарядов”.

И Лаженицын тоже следил за своими строчками, какие именно читает сейчас подполковник.

“ 9.27 – Наш бомбомёт из...выпустил по...три бомбы.

9.41 – Неприятель выпустил по северной окраине Дубровны 18 тяжёлых мин. Ущерб не причинил”.

Этот налёт подполковник видел сам на подходе, из низины ему даже показалось, что бьют точно по их наблюдательному, а прямым попаданием одна такая тяжёлая мина, изблизи, могла и разворотить тут перекрытие. Но естественно, что подпоручик не

докладывает о близком огневом налёте как о событии. В уставе так и сказано: для установления наилучшего наблюдения командный состав артиллерии должен жертвовать собой.

Дневник стрельбы неприятельской артиллерии вёлся неопустимо в каждой батарее – на двух наблюдательных пунктах и с пушечных позиций, и потом сводился дежурным офицером: род орудия, калибр, куда, сколько снарядов и, самое нудное, – схема перетерпленного обстрела, как легли воронки относительно наших орудий, снарядных запасов, передков, землянок. Подполковник знал, что все его взводные изнывают от этих скрупулёзных записей, обмеров и рисунков, что Чернега ляпает всё из головы, не обмеряя, Устимович кричит и стонет, Лаженицын выполняет через отвращение. Но никогда подполковник ни взглядом не допускал уловить, что он не одобряет этих отчётов, хоть и не допытывался, воистину ли обмеряли все воронки. В армейском порядке ничто не может быть осмеяно: начни выбивать устои, не знаешь, на котором повалится всё. Дневники эти потом сводились в общий дивизионный, подавались в управление бригады, это вскоре составляло толстые томы, управление бригады и штаб корпуса искали шкафов, потом уже полк и сараев, где бы хранить их, уж не то что анализировать по ним замысел и тактику немецкой артиллерии. Но попустить было никак нельзя, и подполковник Бойе холодно-строго просматривал отчёты взводных.

“9.55 – У православного кладбища строится, по-видимому, блиндированное долговременное сооружение”.

Тут Лаженицын мягко-глуховато предложил посмотреть туда в цейсовский бинокль или в стереотрубу.

Это надо было осторожно, у немцев бывали снайперы с оптическим прицелом и разносили стереотрубы вдребезг. Немецкая передняя линия тянулась рядом, на их же высоте.

Через обзорную щель была видна вся посветлевшая округа: проступало за нашей спиной в долю яркости солнце и хорошо освещало жёлто-бурую кушу деревьев у православного кладбища, соломенные крыши деревни за ней, белый костёл в высоких Стволовичах и даже, далеко-далеко справа, крутизну над Колдычевским озером.

Бойе снял пенсне на бруствер и принял от Лаженицына его отменный бинокль. Верно, да, соображения взводного деловые. Накиданной свежей земли совсем немного, строительство в самом начале, а будет что-то капитальное. Вот и ещё цель для сегодняшней дневной программы: пока не достроились – и накрыть.

Сегодня подполковнику Бойе приказали демонстративно проделать проходы в проволочных заграждениях противника перед Екатеринославским полком, как если бы ожидалось его наступление тотчас. На самом деле намеревались только понаблюдать систему мобилизации противника к обороне.

Что и умела хорошо наша трёхдюймовая артиллерия – это размётывать проволочные заграждения. Ни прочных бревенчатых, ни тем более бетонных укреплений она не разрушала. Не парализовала тыла из-за малой дальности. Не создавала огневой завесы перед нашей наступающей пехотой – из-за настильности. После того как сняли от Голубовщины морские орудия, на всём их участке, несколько вёрст вправо и влево, разрушительную силу имел лишь недавно присоединённый гренадерам мортирный дивизион, да и тот был четырёхдюймовый, когда у немцев восьми.

– Сколько вам снарядов на пристрелку?

– Четыре...

При работе Лаженицын бывал замедлен, никогда не горячился, но это хорошее обещание в нём.

– Три. Не теряйте неожиданность. На поражение всей батареей сколько времени будете переходить?

Бойе не поощрял ни голосом, ни взглядом. Тон его был такой, что скорей всего ошибутся эти недоучки, где уж им правильно ответить. Оттого Лаженицын осторожничал.

– Минуты три.

– Не больше двух. Надо ошеломить. Все команды составьте заранее и заранее сообщите на батарею. Первые снаряды уже будут в каналах и только добрать поправку по прицелу и угломеру.

Лаженицын удивился:

– Всё буду я стрелять?

– Вы. Сколько вам нужно снарядов?

Опять с осторожным замедлением:

– Сорок?

– Надо хорошо прочистить. Берите шестьдесят.

Теперь на снарядных ящиках писали им из тыла: “Бей, не жалей!”. Не Пятнадцатый год.

А ещё подполковник Бойе терпеливо обучил всю свою батарею, с каждым наводчиком возясь, стрелять по огню. Этого не было в обязательном уставе, а перенималось на курсах от одного-двух генералов, не могших переубедить военное министерство, но набравших себе последователей в батареях. Вместо того чтобы командирам взводов стоять при орудиях и, по мере выстрелов справа налево, кричать: “Второе!” – “Третье!” – “Четвёртое!”, как делалось во всей российской артиллерии, – тут каждый наводчик, держась за шнур, смотрел на наводчика правой себя. Очередь батареи получалась дружной, слитной – и все командиры взводов освобождались для работы пополезней.

Лаженицын углубился в расчёты карандашом на гладком месте дощечки, записывал в книжку дежурного наблюдателя отметки по реперам. Спешки не было, а хорошо бы и побыстрей. Соображал неплохо, но слишком по-штатски любил пересмотреть и взвесить доводы. Однако Бойе надеялся: наловчится со временем. Он верил, что преданность войне – природное мужское свойство, и в любом его можно разбудить и развить.

Дежурному телефонисту, татарину с трубкой, висящей прямо у уха, шнурком под фуражку, велел подпоручик вызвать Благодарёва, фейерверкера первого орудия, разговаривал с ним, присев, на корточки к телефону. Потом с другими взводами. Потом и Бойе по пехотному телефону брал согласие у командира полка на начало стрельбы.

Лаженицын возбудился, волновался не ошибиться. Неожиданно большая стрельба, и вся на нём, хотя и под косым недовольным взглядом командира батареи, нависавшего как экзаменатор. Но ни одной готовой команды подполковник не остановил. Расчёты сами вели и торопили. Три скачка прицела на поражение, распределение снарядов по трём скачкам, не забыть доворот одного орудия на новую постройку у кладбища. И – лихой этот момент, когда малая сила твоего голоса, однако уже и родственная металлу тех стволов, – “беглый! огонь!!!” – утысячеряется в грохоте, слабость твоих рук и короткий их размах заменяются дальним швырком и ударом снарядов, а ты, неожиданный для себя громовержец, только смотришь в бинокль и видишь серые кустисто-лохматые снопы разрывов, а в них взлетают скрутки колючей проволоки, огрызки многорядных берёзовых кольев – всё хитромудрое наплетенье, столькими людьми во столько ночей устроенное, а теперь в три минуты тобою кинутое в воздух – на разрыв, разлёт и вперевёрт. Именно при большом расходе снарядов, как сегодня, ощущаешь эту силу, далеко за пределами отдельного человека, и испытываешь... гордость?...

Невозможно. Гордость?... И приятен неосудительный тон подполковника:

– Нич-чего...

И жалко, что всё это – демонстрация, никто в те проходы не пойдёт.

А под шинелью на груди – Станислав 3-й степени, однако с мечами, чьей скромной истории командир батареи тоже участник. А возносительней того – георгиевский крест за пожарный миг на батареейной позиции. Этот свеженький Георгий в лёгком касании как-то перетягивает и поворачивает все представления о целях и долге человека. Не просто отметка о прошлом, но и обязанность на будущее.

Удачная работа. Смышлёное применение правил стрельбы. Хотя шестьдесятю



снарядами кого-то же и убили, и ранили сегодня в немецких окопах.

А как-то – неощутимо.

А два перелетевших снаряда попали в православное кладбище и черно взметнулись там. Нарушая чьи-то могилы.

Записав, как полагалось, число выпущенных снарядов, их назначение и результат, Лаженицын готов был и к следующей работе. А дальше пошла ещё интересней: намеревался подполковник сегодня поработать с новыми 36-секундными трубками, прибывшими к ним пока малой партией. Два года бригада воевала с 22-секундными, дальность шрапнельного выстрела пять вёрст, и при такой местности, как сейчас, когда нельзя было для пушек найти закрытой позиции ближе Дряговца, вся их шрапнельная стрельба велась лишь по самому переду немецкой обороны. Трубки в 36 секунд горения удлинляли выстрел, захватывали лишние две версты в глубину неприятеля.

Готовили новые данные по развёрнутой на бруствере карте двухвёрстке, где *спичкой* называет безграмотная пехота две версты. Командовал подпоручик выстрелы, потом наблюдали за далёкими белопушистыми дымками своих шрапнелей. В этой стрельбе уже не было грозности, одна математическая и внешняя красота. Истолковывали результаты.

Эта их стрельба никак особенно не меняла мирно-боевого дня у неприятеля. Редкие одиночные выстрелы не сгущались ни к какой определённой цели, были мерным явлением надфронтного воздуха. Только умный наблюдатель мог бы догадаться, отчего так глубоки разрывы, что не позиции сменили, а появились у русских новые трубки.

Один раз под их шрапнелью понесло повозку и свалило вместе с конями. Ещё раз подтянули они разрывы, сколько могли, к ствольничскому костёлу, а там у немцев безусловно наблюдательный пункт.

Была гордость в этой приравненности работы и мысли подполковника и подпоручика. Попирали локтями одомашненную малую поверхность брустверной земли, уложенную дощечками, чертили, считали и толковали не командно-подчинённо, а – даже бы сказать дружески, если бы голос подполковника не обладал особой формой вежливости, с ледком отдаления, не исчезающим никогда. И всё ж невольно своя отличённость среди других офицеров батареи, своя особая смыслённость и пригодность к делу поднимали Саню.

Разрывы шрапнелей от раза к разу становились всё белей, всё ярче и красивей. И только в конце подполковник и подпоручик поняли, отчего: за двух- или трёхчасовой работой изменилась погода: никакого уже полусолнечного просвета, а тучи плотнились, темнели. И замглилась, закрылась дальняя крутизна над Колдычевским озером.

Всё, что хотел, подполковник Бойе выполнил и собрался уходить. Тут Саня решился ещё раз приступить об обещанном отпуске орудийному фейерверкеру Благодарёву. Решился, хотя подполковник отучил подчинённых по одному вопросу обращаться дважды: разрешено ли, нет, одним разом должно кончаться. Но сегодня так чувствовал Саня, что можно попытаться.

Благодарёва намеревались отпустить ещё месяц назад. Был слух, однако, что есть государев приказ прекратить отпуска нижним чинам, и подзадерживали их. Тут пришёл и приказ главнокомандующего фронтом Эверта: с 1 октября отпусков нижним чинам не давать. Как и всякий приказ с большого верха, здесь, на низах армии, он казался бессмысленным. Если бы были признаки близких больших передвижений фронта, подготовки к наступлению у нас или у немцев – но этого не ощущалось и не могло возникнуть внезапно. Всего верней, они целую зиму вот так же тут простоят, никуда не продвинутся, и без серьёзных боёв. Был бы недостаток в людях, нечем заменить отпускников – но разные виды недостач испытывал корпус, только не в людской численности. Так славно бы ездили люди пока к семьям и к хозяйству, и были отличившиеся, – нет! Высокий далёкий командующий, никогда тут не бывавший, только по своей немецкой фамилии известный, и то лишь офицерам, перерубил десяткам тысяч солдат их радостную надежду, схватывающую сердце. И уж честно бы объявить перед строем, пусть слышат и знают все, – опять-таки нет! Приказ был как бы секретный, командиры батарей прочли его под расписку, а солдатам,

которым обещано и которые ждут, должны были невразумительно, стеснительно отказывать взводные командиры.

Этих общих аргументов Саня, конечно, не привлёк, подполковник не принял бы сомнений в мудрости эвертовского приказа, но лишь об одном Благодарёве, таком лёгком при невзгодах, таком охотливым на всякое обучение. А главное – во время пожара растаскивал снаряды, лез в опасность, но в штабных дебрях был затерян его наградный лист, и лишь недавно, позже других, пришёл крест и Благодарёву, и так уж заслужен был отпуск со всех сторон – очередной, внеочерёдный. – а вот отрубили!. Уже не в землянке, при телефонистах, а за подполковником под парусину нырнувши в ход сообщения:

– Господин полковник, осмелюсь ещё раз... С Благодарёвым... Очень уж обидно, стыдно. Так у нас вся служба развалится. И Георгий ему затеривался. Нельзя ли что... именно для него?

Светлей, чем в блиндаже, но и тут уже сильно посерело. Подполковник был без пенсне, козырёк фуражки насунут к бровям, и не так много оставалось усам ещё взброситься, чтоб и козырька достичь. Симметричен, прочен, твёрд. Вдруг, как бы принимая подпоручика в сообщники, сниженным голосом:

– Конфиденциально скажу вам, что генерал-майор Белькович сейчас уехал, а заменять его будет полковник Смысловский. И вот он – может отпустить, на свой риск. Я пожалуй... – подумал, – обращусь к нему. Или в удобный момент позову вас.

Саня обрадовался, будто в отпуск его самого:

– Вот спасибо, вот выручили, господин полковник! Безулыбчивый подполковник всем неотклонным видом выражал, что на службе “спасибо” не бывает.

Ушли с ординарцем, ещё долго – по ходам сообщения.

Поработали как будто и ничего, да заниматься бы этим старшему офицеру, если был бы он настоящий кадровый, но только пушечки скрещенные на погонах, а стреляет плохо, на посрам и постыду унесёт снаряды невесть куда. И всей боевой частью занимался Бойе сам. А выбудь завтра он из строя – кто поведёт в следующие часы главную стрельбу? Подполковник и готовил к этому Лаженицына, впрочем не объявляя ему о том. Ни начальника связи, ни начальника разведки, по штату теперь обязательных, в их батарею тоже не достало, заменены были унтерами. И не хватало по всей Гренадерской бригаде опытных фейерверкеров, нераспорядительностью первого периода войны натисканных даже и в пехоту и там перебитых.

На нынешнем участке, под Крошином, держали немцы против Гренадерского корпуса – всего дивизию, и то ландверную, второго разряда, – а не ощущали гренадеры своего перевеса, способности двинуть тараном. Не ландверисты, конечно, держали их, но многие средства технического перевеса немцев – тяжёлая артиллерия, избыток снарядов, пристрелка с аэропланной коррекцией и поражающие русских солдат новинки: сперва бомбомёты, потом миномёты, блиндированные автомобили, газовые атаки, теперь траншейные пушки и огнемёты. А на днях 22-й ландверный полк, стоявший как раз вот здесь, левой Дубровны, был обнаружен... в Румынии! Там обнаружен, а его исчезновение отсюда гренадеры пропустили... Показывал неприятель, во что он ставит русских гренадеров: против корпуса и польской стрелковой бригады оставил тонкой цепочкой ландверную дивизию без полка. Это оскорбление Бойе воспринимал как собственное, ему лично.

Но так заклинилась позиционная война, что и перевеса использовать было нельзя: на целых армейских участках всё связалось и окостенело. Так усложнились, возвысились все решения войны, что нельзя было и пошевелиться меньше, чем целым фронтом. Оставались – поиски и демонстрации.

Такой поиск был устроен трое суток назад левее их, на участке 2 -и Гренадерской дивизии. После полуночи пустили на неприятеля газ, рассчитывая, что ветер достаточно устойчиво дует восточными румбами от Крошина и спящие в окопах немцы будут все отравлены. Но когда после рассеяния газа и при артиллерийском сопровождении батальон Самогитского полка подошёл к немецкой проволоке – он был внезапно освещён

прожекторами, шквально обстрелян и отошёл как попало, потеряв 55 гренадеров и 2 офицера.

Да весь их Гренадерский корпус с более чем столетней историей, участник Бородинского боя и взятия Парижа, давно ничем не подкреплял свою старую славу. И сегодня репутация корпуса не стояла высоко, мало кто мог истолковать, какое превосходство или какую издавнюю особенность выражали жёлтые солдатские погоны, жёлтые просветы на офицерских, а на пуговицах – граната с пламенем. Корпус не отличился в турецкой войне, вовсе не участвовал в манчжурской, а Ростовский полк даже был причастен к московскому бунту 1905 года, хотя 1-я артиллерийская бригада, напротив, обстреливала восставших. Корпус многие годы стоял в Москве, оттого офицерский состав пополнялся и лучшими выпускниками училищ и пустыми баловнями с протекциями, и ещё давал промежуточное, проходное назначение офицерам гвардии и генштабистам, кто не успевал и не намеревался срастись с гренадерской дивизией. Менялся, дёргался и характер командования – то ведение непростительно мягкое, то непомерно грубое, как у Мрозовского, не отличавшего превосходительное от самовластного, и это лишало постоянных офицеров уверенности, вынуждало опасаться начальства более, чем боевого неуспеха. Корпусу достались тяжёлые бои в 14-м и 15-м годах, и лишь единственный стал победой – под Тарнавкой, остальные – по преимуществу неудачны, иногда с крупными поражениями, как под Гораем и на Висле. Если же полки одерживали свои отдельные победы, то происходило это обычно в переподчинении, под чужим командованием. У начальника 1-й Гренадерской дивизии Постовского побед вообще не бывало. Корпусной командир Мрозовский растеривал гренадеров в злосчастных сражениях, расстроил полковые и батарейные хозяйства, конский состав – и с повышением перешёл командовать Московским военным округом. Не подвержена осуждению августейшая воля Верховного вождя российской армии, но взамен Мрозовского был прислан вытянутый из забытья и презрения 70-летний Куропаткин, однако неутомимый восстановить свою полководческую честь. Что он, правда, умел – это обойти солдатские землянки, заглянуть в котлы, наладить бани и почту, и в этом всё корпус поздоровел. Но и Куропаткин успел сгонять гренадеров в неудачное наступление, не разбирая путей, на открытый обстрел и гибель, – и так же с повышением перешёл командовать Северным фронтом. За два года войны Гренадерский корпус пробыл в резерве всего пять дней, вот уже больше года стоял в болотистых низинах, непрерывно ведя сапёрные работы, переуступал изрытые участки соседям, и снова копал и копал еженощно, чтобы сблизиться с неприятелем на штурмовую дистанцию.

За эти годы коренным гренадерам, как Бойе, не оставлено было первой офицерской радости – гордиться своею частью. Преграждено было им прошелестеть старыми знамёнами, а оставалось лишь свою фигуру держать молодецки да повседневным корпением как-то подтаскивать всех этих подменных офицериков и солдатиков под ветшающую сень XIX века.

Тем временем на наблюдательном пункте малословного тихого Занигатдинова сменил гордый Пенхержевский и с сильным польским акцентом проверял линии. А сменный наблюдатель, подпрапорщик, ещё не пришёл. И хотя не было у подпоручика обязанности ожидать его, но этикет требовал ещё остаться и после командира батареи. Он снова подошёл к обзорной щели, стоял, наблюдал, иногда записывал:

“15.10 – Пулемётная щель № 2 оживлённой других. Била по нашим передвижениям в 3-м батальоне.

15.36 – Густой миномётный обстрел из-за Торчицких высот по окопам 1-го батальона. Мин до сорока”.

Стояли миномёты как раз в том райском месте, за Торчицким обрывом...

Хороший день прошёл. Довольное состояние от удачной работы, отличие перед командиром и теперь надежда с Благодарёвым соединились в Сане. Хорошо.

Хорошо, переключивал он по брустверу долгий зазубренный осколок, влетевший к ним

сегодня в щель при утренних близких разрывах.

Хорошо-хорошо, а не по себе. Отличился – а неловкость: лучше других соображает – вот и будут его выдвигать. На это .

Да такую миллионную войну кто бы перенёс, если б каждого надо было убивать лицом к лицу, видя? Например, из своего револьвера Саня никогда в человека не стрелял, и никогда не выстрелит.

А за осмысленными расчётами, углами, дальностями, транспортиром, ощущаешь сторонность. Безвинность.

Наблюдать было всё хуже, видимость быстро сокращалась. Уже не видно было тополевой придорожной обсадки к Стволовичам. И даже близкое кладбище затягивалось влажной пеленой.

А хорошего настроения не осталось. И чем он сегодня увлёкся? Отчего так был возбуждён? Как холодным осенним помелом выметало из груди.

В такую пасмурность точнее наблюдаются вспышки орудий, и опасней стрелять самим: становится видно, как пламя вылизывает из ствола, выдаёт.

Выметало из груди как мокрые старые листья, и так пусто-пусто становилось. Стоял у щели, рассматривал сегодняшнего себя деятельного. И не узнавал.

Всё меньше виделось, всё короче. Затихали стрельба и движение с обеих сторон, всех давила мокрая предвечерняя мгла.

Одиноко – и виновно. Безвинно – и виновно. И никому этого не расскажешь.

Закрапал и дождь. Понемногу, но не переставая. В блиндаже наблюдательного стало ещё сырей и прознобистей. Сегодня не сегодня, а начиналась третья военная зима, и даже офицеру трудно было не чувствовать угнетённости.

Бинокль повесив на шею, под шинель, нахлобучив отлогу плаща поверх фуражки, побрёл и подпоручик на батарею. В глинистом ходе уже было скользко, и он отирался о мокреющие стенки – об одну противогазной сумкой, о другую – крупной кобурой ненужного револьвера.

По брезенту, по голове, слышался ровный стук капель.

А довольно уже было серо, чтобы пойти к Дряговцу и открытым местом. Саня сильно подпрыгнул, навис на край траншеи, измазавшись о глиняную стенку, вылез на траву – и бодро пошёл теперь напрямик, скорей в свою тёплую землянку, да обсушиться, да поесть горячего. Посвободнело, что не месил унизительно грязь по норе, а шёл, как отпущено человеку.

К чему он мечтал в жизни приложиться – к словесности, к философии – не видно, будет ли когда. Вот и много досужего времени, хоть и стихи пиши – а ведь бросил, не пишется. А чем он вложится в общий ход событий – это вот такими стрелебными днями, развороченными проволочными заграждениями, подавленными пулемётами, посеченными перебегающими фигурками. И многими-многими донесеньями, отчётами, кроками, написанными, нарисованными его рукой.

И так же у его солдат – Благодарёва, Занигатдинова, Жгаря, Хомуёвникова, кроме хорошего или плохого обращения с оружием, амуницией и лошадьми, смётки по службе и выполнения устава – у каждого была ведь ещё своя долгая жизнь, своя любимая местность, своя любимая или нелюбимая жена; и ещё по несколько детей; потом у каждого хозяйство или ремесло, и много соображений вокруг того и свои замыслы; и кони – собственные, не с казённой биркой в хвосте, или охота, рыболовство, или сад; и всем этим, а не величием России и не враждою к Вильгельму жил каждый из них, – и только об этом, кто внятнее, кто невнятнее они в ночных землянках рассказывают друг другу, да и офицеру, поговори с ними ласково. В родных деревнях и местечках ещё что-то знают о них другие по их делам, но это не выходит дальше околицы. И вся подлинная суть их жизни никогда не будет никому сообщена – и как ей отозваться на движении человечества в крупных чертах? Чем же Улезько, Хомуёвников или Пенхержевский повлияют на судьбу своей страны, а то и всей Европы, – это чисткой орудийного ствола, проворностью подле пушки, с лопатой, да

быстротой сращения телефонного кабеля.

Но если движение человечества не складывается из подлинной жизни людей – что тогда люди? и что – человечество?

\*\*\*\*\*

## СЖИЛСЯ С БЕДОЮ, КАК СО СВОЕЙ ГОЛОВОЮ

\*\*\*\*\*

### 3

Три взводных командира жили в общей землянке, построенной в сухое тёплое время. Она нигде не мокрела, довольно глубока, так что нагибались только в двери, и была перекрыта привозными шестивершковыми сосновыми лежнями вперекрест. Стены одеты жердинником, пол настлан досками. Батарейный жестящик сколотил им печку, хваткую на дрова, с весёлой гулкой тягой. И когда натоплена, эта землянка была теплей и уютней любой комнаты. Между столбами приладились полки, забились гвозди и гвоздки, развесились шинели, шашки, револьверы, полевые сумки, фуражки, полотенца и – гитара, на которой играли, каждый по-своему, и Саня и Чернега. Маленькое окошко выходило в донце прокопа, днём бывал свет. Строганный стол на скрещенных ножках давал простору и для еды, и для офицерских занятий, хотя теснило одно другое. Походных раскладных офицерских кроватей не было ни у кого из троих, а при откопе оставлена одна высокая и длинная земляная лежанка Устимовича, “купеческая” называли её, да к другой стене пристроены две жердяных койки друг над другом: не то чтоб не было места поставить третью на полу, но придумал так Чернега, потому что любил спать и сидеть где-нибудь повыше, как на печи или полатах. Хотя он был старше Сани на шесть лет, а плотней и тяжелей намного, он легко взбирался вверх двумя взмахами и оттуда шлёпался прыжком. Уж теперь и вообразить эту землянку нельзя было иначе, как с Чернегою, зубоскалящим сверху вниз. Света настольной лампы туда не хватало читать, да Чернега и смаку не имел читать.

Так и сейчас, когда Саня, промоклый, пригнулся в двери и вошёл в землянку (вестовой Цыж, подкарауля подпоручика, уже кинулся к своей землянке разогревать обед), Терентий лежал наверху, считая брёвна в потолке. Перевалился на бок и рассматривал пришедшего, как он мокрое тяжёлое снимал с себя и развешивал.

– М-м-м, это уж такой разошёлся?

Пока Саня шёл – не замечал, а дождь-то усиливался всю дорогу. Печка не горела, но тепло в землянке.

На шаровидную голову Чернеги с толстыми щеками, малыми ушами нельзя было посмотреть и не улыбнуться:

– Уже забрался? Не рано?

– Та вот, сидит куцый и думает – куды ему хвост девать.

– И – куды ж?

– О такой дождь? И тёмно?

– Сейчас ещё видно немного, а через полчаса в яму свалишься.

Переваленный на бок, сюда лицом, не одетый, не раздетый, уже в сорочке, но перехвачен подтяжками и в шароварах, а ноги босые:

– Не знаю. Шлёпать до Густы? Але не?

Одинаково было Чернеге доодеться или дораздеться. А Сане приятней, чтоб он остался, – Устимович на дежурстве, почему-то не хотелось одному. Но посоветовал, как считал для приятеля лучше:

– Пока ещё видно – шлёпай быстро.

– А назад? – надул Чернега губы, пыхтел, как трубач в мундштук. Так упирался, как будто не сметана ждала там его сырную голову (“с польской споткался – был бы голодный!”).

Саня, уже без шинели, без ремня и в гимнастёрке, мокроватой по-за плечами, навывпуск (с Георгием, так и попадает сам в косое зрение), с натягом стянул мокрые сапоги, надел чувяки из обрезанных валенок, была у них тут такая домашняя сменная обувь, на одного Устимовича не налезала, и стал прохаживаться по нешаткому неструганому полу. По дурной погоде – да пошли Бог спокойный вечер и спокойную ночь. Бывает тут, в землянке, прикрито и покойно, как дома не всегда.

– Да! – вспомнил. – Тут кидала, наверно шестидюймовая, – близко?

– Прямо по второй батарее! – пружкал губами Чернега, беспечно.

– А я только от Дубровны отходил – вдруг, слышу, бьют, десять снарядов – и за Дряговец. Сказать, что ответили нам – так будто не нам. А где-то близко.

– По второй батарее, – кивал Чернега. – В одном орудии щит погнуло, колесо снесло. Трех ранило. А лошади далеко стоят, ничего.

– А кто видел?

– Сам ходил.

– Да ты ж дома сидел?

– Так тут близко, сбегал.

Чернега б – да на месте усидел, полверсты сбегать-посмотреть! Толстота ничуть не мешала ему прыгать и бегать, толстота его вся была силовая.

– Чевердина не знаешь там такого, хоботного? Длинного, с бородой мочалистой? Тагильский.

– Да, кажется. Да.

– В живот его. Везти боятся, не довезут.

Опять холодным помелом, из груди.

Вот как. Сушись, уютно, распоясался, чувяки. А солдат рядом Богу душу отдаёт. Да уж привыкнуть бы, кинет ночью и на нас шестидюймовый – не помогут брёвна наката.

А Цыж – проворный, заботливый как дядька, несёт духовитые щи – так щи!

– Просто запахом сыт! Ну и Цыж!

Да и хлеба мягкий сукрой, поперёк всей хлебнины отрезанный, это же надо так ещё отрезать, долгим овалом, чтоб от края до края сколько раз откусить, жевнуть, пока добраться. И ещё отдельно – луковичка сырая.

– Ах и Цыж! – усаживался Саня за стол и ложку скорей окунал.

Уже в годах, пятеро внуков, подвижный хлопотной Цыж столовал всех троих взводных. Это Саня и предложил, чтоб не ухаживал за каждым отдельный денщик, стеснительно, а один бы всех кормил, других примкнули к строевому делу.

Но запах достигал вверх пуще низового. И Чернега, избочась на верхней койке, втянул широким носом:

– Цыж! А – шей не осталось?

– Эх, вашбродь, – сожалел небритый Цыж, будто самому не хватило, – последние вычерпал. Откинулся Чернега на подушку. Саня хоть очень раззарился на щи, а позвал:

– Иди, хлебни, уступлю.

– Не надо, – сказал Чернега в потолок, – ты сегодня назяб.

– Да иди, ладно!

– А греча – есть лишняя, вашбродь. Сейчас гречу принесу, удобренная!

– Так давай, не томи! – скомандовал Чернега.

Уковылял Цыж поспешной развалочкой.

Чернега постучал по барабану живота:

– Два часа как пообедал, а из-за тебя вот... У Густы, небось, и курёнок припасён. Пойти, что ли?

За позициями невыселенные деревни давно привыкли к войне, жили своей обыденной

жизнью, кроме обычных крестьянских заработков открыт им был извоз для армии, плотникам – укреплять ходы сообщений, парнишкам и девкам по 16 лет – копать вторые линии окопов, всем платили и ещё всех кормили с солдатских кухонь. И мужики, кому подходил призыв, некоторые как-то принимаемы были в ближние части, и в их батарею тоже. И во многих избах стояли военные постояльцы, порой и на поле выходили за хозяев, и бельё хозяйкам отдавая – не так стирать, как в подарок: армия богатая, всё новое выдавала. И тайно ещё укрепляя и расширяя эту и без того широкую семью, иные удальцы, как Чернега, завели в деревнях любовниц и хаживали к ним.

Свесил Чернега в шароварах босые ноги с короткими крупноуставными пальцами и шевелил ими вопросительно:

– Пойти, что ли?... Хотя на два дня весёлая будет. А то заскулит.

– Ну, ты ж не скулишь, как-то живёшь.

Когда Чернега на своей койке сидел, голова его, мягко облепленная недыбленными волосами, была под самым накатом, фуражки надеть уже нельзя, тем более рук поднять. Так он раскинул их, как растягивая широченную гармонь, и затрясся мясистым телом под сорочкой:

– Ну, сравнил! Ну ты, Санюха, скажешь! Ну, уж чего не знаешь – бы не лез! Да у баб рази – как у нас? А отчего, ты думаешь, они весёлые или хмурые? да всё от этого, было или не было.

Мало что – сверху нависал, но – силища, но – смех уверенный, спорить с Чернегою было не Сане. В студенчестве это всё понималось настолько тоньше, а в армии, в постоянно-плотной мужской среде, в казарменных вечерних разговорах – сплошь все говорили так, или не говорили вслух другого. Поражён был, обижен за женщин Саня, но спорить – немел, какой у него был опыт?

– Ну, Терентий, не только ж от этого, – всё же заикнулся.

– А я тебе говорю – только от этого! – крикнул Терентий и схлопнул звонко ладонями.

– Другой причины – не бывает! Кажется, замучилась, ног не таскает, а только пощекоти, а?!... Иногда и подумаешь, правда: что-то у неё кручина на сердце? Может, горе какое? А повалил, отлежалась, отряхнулась – и такая сразу весёлая, бойкая к печке побежала пышки печь! – хохотал Чернега. – Простофиля ты, Санька. Да впрочем, молод. Ещё насмотришься!

И столько раз уж он Саню вокруг этого на смех поднимал. Но всем саниным представлениям о жизни и человеку претил такой низкий взгляд. Не могло бы так быть! Никак этого быть не могло!

А Цыж нёс гречневую кашу: подпоручику – с обеденной порцией мяса, прапорщику – просто так, но торчал из миски черенок деревянной ложки стоймя.

– Сюда, сюда! – брал Чернега миску сверху, не спускаясь. И вот уже широкую деревянную ложку вваливал в рот, нисколько этим не раздирая губ. А лбом чуть не касался верхних брёвен. – Ничего-о, ничего-о... А у Густи б ещё и молочком залил.

Со вкусом кашу убирал. Присмотрелся, как Цыж наследил на полу мокредью и шевырюжками глины:

– Эт такая слякоть? О здесь, у нас? Не, не пойду. Дуракив нэма.

Миску сбросил Цыжу, ноги опять вскинул:

– Отчего солдат гладок? – поел да и набок.

Перекатился на спину. Смотрел в брёвна. И вслух размышлял:

– А думаешь, Григорий чем возвысился? Да слухала б она его иначе? Давно б уже в Сибирь шибанула. Значит, мужик справный. Бабе чуть послабься – сразу она брыкается.

Всё было Чернеге ясно, и возражать ему бесполезно. В том чаще и состоял их разговор с Саней, что спорить – хоть и не начитай.

А – дружили.

Саня кончил обедать, сидел над опустевшим столом, рассеянно собирал и в рот закидывал последние хлебные крошки:

– Да-а... Роковые Гришки на Россию. Как нам худо, так и Гришка появляется. То

Отрепьев, то...

Отпыхнулся Чернега:

– Да при чём тут Гришка? Войну им – Гришка что ль начал? Самих в сортир потянуло. Вот и за...лись.

Но всё-таки... всё-таки Сербия?... Бельгия?... И откуда-то же брались эти фотографии и рассказы о зверствах немцев, как нашим пленным резали уши и носы? (Правда, на их участке никогда ничего подобного не бывало.) А Чернега, по своей силе, подвижности и приспособленности к веселью воюя легче других, однако понимал эту войну куда мрачнее Сани – лишь как всеобщую затянувшуюся чуму, у которой ни цели, ни смысла быть не может.

Саня поднялся от стола, Терентий вспомнил:

– Э-э, ты отдыхать? Подожди, голубчик, ещё поработай!

– А что?

– А вон, приказы лежат, – кивнул на кровать Устимовича. Саня и правда видел ворох, не обратил внимания. – Уже все прочли, ты последний. Читай, читай и расписывайся. Барон заходил, взять хотел – я для тебя задержал, до утра.

“Барон” был барон Рокоссовский, старший офицер 2-й батареи. Этот “барон” почему-то Чернеге особенно приходился. Баронов, графов, князей он сплошь не любил, заранее материл, но что-то чудно и гордо ему было, что вот, узнав себя офицером, стал почти наравне с бароном, в одном офицерском собрании. И не звал его никогда ни по фамилии, ни капитаном, а всегда – барон. Кадровые между собой чинились, гордились, сравнивались: мол, Михайловское училище старше Константиновского, – а мы вот, судженско-сумские, с вашим бароном рядом, и хоть очи ваши повылазьте!

Подошёл Саня к широкой кровати Устимовича, охватил двумя руками эту россыпь подшивок, подколок, скрепок, на белой, бурой, розовой бумаге, то в ширину, то в длину и с подгибами, исполненную многими писарскими почерками, разными пишущими машинками, лентой фиолетовой и чёрной, – о, с каким усердием это всё составлялось! Сколько же тут было читать! если подряд и подробно – полночи верных. Да, вот это равняло позиционное стояние с жизнью тыла. Когда грозно двигался фронт и столбы пожаров стояли в небо, тогда почему-то не писали и к сведению не приносили этих несчётных приказов и распоряжений, бурная подвижная война текла и без них. Но едва она замедлялась, становилась легче и могла бы дать передых, покой, – как бить начинала эта прорва приказов и с каждым месяцем неподвижной войны всё увеличивалась. Много писанья требовали с офицеров, но и наверху не ленились! Из боязни же как-нибудь при случае не оправдаться документами, войска подолгу не сдавали и не уничтожали старых дел, а все эти кипы таскали, возили с собою.

Однако, делать нечего, просмотреть и что-то в голове иметь надо, не то завтра же и ошибёшься.

Тут были приказы по Западному фронту, по Второй армии, по Гренадерскому корпусу, по 1-й Гренадерской бригаде – и только по их дивизиону приказания, к счастью, отдавались не письменно, хотя и была в дивизионе своя пишущая машинка и без дела тоже не стояла, все журналы боевых действий перепечатывались на ней.

На чистый конец стола переложил Саня этот ворох, туда пододвинул керосиновую лампу и стал смотреть подряд, какая бумажка попадалась сверху: приказы на расходование сумм... Казначеем бригады титулярному советнику... вычеты с офицерских чинов на офицерскую библиотеку... на жетоны... в пользу семей убитых и раненых солдат... в пользу Михайловского учебно-воспитательного... из офицерского заёмного капитала... из суммы бригадного собрания... Деньги на покупку богослужебных книг дивизионному мулле... Поименованным писарям дозволяется держать экзамен на право удостоения их к...

Как ни бегло, как ни с досадой, но только глазами пробежать – не меньше тут двух часов. А совсем не этого хотелось. Прильнувшая холодная полоска тоски требовала чего-то чистого, на чём душа успокаивается.

...Фельдшер имярек командирится в Несвиж за медикаментами... в Минск за



покупкою керосина... Бомбардир имярек за подковами... Младший фейерверкер 5-й батареи вступил в законный брак с крестьянской девицей... внести в его служебную книжку... Прапорщику такому-то выдать пособие в размере 4-месячного оклада на покупку упряжной лошади и экипажа...

– Да ты чего ж про себя, ты вслух читай!

– Зачем вслух?

– А я плохо читал, я ещё послушаю.

– Терентий, это долго...

– А куда тебе торопиться?

– Да тебе ж идти надо...

– Да я, может, и не пойду. Читай! – Как будто книгу приключений или любовную историю ожидая, удобно устроился Чернега на боку, лицом к Сане, голова шаровая к подушке. – Читай!

Не мог Саня отказать... Сколько глаза просматривали и сколько язык выборматовывал вслух, пропуская, пропуская...

– ...Прибавочное жалованье за георгиевскую медаль... Для смазки обуви 24 золотника в месяц на нижнего чина... Повозка для противопожного имущества... Согласно приказа военного министра №... нижеследующих подпрапорщиков допустить к экзамену на прапорщиков...

– Так-то так, – возразил Чернега. – А всё же хвит-фебелем лучше. Власти больше. – (А Саня пока два приказа просмотрел про себя.) – Зато на прапорщиках армия держится... Ну, чего ж перестал?

– ...с корпусного вещевого склада в Минске офицерские сапоги отпускаются по 16 р. 25 к...

– Хо-го! Кусаются. А купить надо, мои худоваты уже.

– С... числа начать выдачу нижним чинам ватных шаровар, телогреек, бушлатов, полушубков, байковых портянок...

– Идэ лютый, пытае – чи обутый.

– ...по провиантскому, приварочному, чайному, табачному, мыльному довольствию... Ввиду сокращения производства коровьего масла в Империи, с 1 октября сего года заменить 50% коровьего масла растительным... С 15 октября нижним чинам сахару в натуре давать только 12 золотников, а 6 золотников заменять деньгами...

– Да-а-а... В Четырнадцатом году валили в день по фунту мяса, хоть брюхо лопни, да четверть фунта сала, широко жили, собакам кидали. Теперь бы тем салом кашку заправлять.

Цыж это слышал, медный чайник внося, ещё пар из носика:

– Ничего, вашбродь, грешно жаловаться. Полфунта мяса и теперь есть. И фунт сала на неделю.

Цыж незаметно делал различие, что настоящие офицеры только с подпоручика, их называл “вашблагородь”, а прапорщиков – “вашбродь”. Но так это быстро языком, ухватить некогда.

Налил густо заварного да опять же пахучего в подпоручикову глиняную кружку. Заваривал Цыж по два раза в день, оттого всегда духовито.

А сахар у господ офицеров – в сахарнице.

И тарелки убирая, и со стола вытирая:

– Что ещё, вашблагородь, прикажете?

– Мёду жбан! – протрубил Чернега.

А Цыж, уже с пепелиной в волосах, улыбаясь, тряпку белую – на рукав, как полотенце трактирный половой:

– Так что, рой отлетел, вашбродь. Мёд – на тот год.

Этим тоже владел Цыж – что война любит весёлый дух. Знал он, что у господ офицеров всегда заботы и неприятности. Может, и своих у него доставало, а покушать подать не просто надо, но весело: как будто домой пришли, к жёнке.

А стеснение – постоянное, что тебе услуживает годный тебе в отцы. Привыкнуть к этому невозможно. И к печке покоясь – приготовлено всё и там аккуратно, улыбнулся подпоручик:

– Ничего больше не надо, иди ложись. Да, только вот что: найди Благодарёва и скажи – пусть он ко мне придёт... ну, через полчаса.

На очищенном протёртом столе разложась теперь пошире, читал дальше. Тут шла пачка приказов по цынге. Цынга схватила бригаду в середине лета: хлеба, каш, мяса и рыбы вдосталь, но ни зелени, ни молодого картофеля, и не закупить в соседних сёлах, а привозить самим из Империи запрещено распоряжением Главнокомандующего. Да не только из-за пищи, но от постоянных ночных работ весны и лета, от недостатка отдыха разразилась цынга внезапно, и болели и сдавали многие, и не так быстро было придумано, разрешено и устроено: отбирать слабосильных и предрасположенных, помещать в санатории Земсоюза, где ждал их полный отдых и зелень; частям добывать картофель, капусту и бураки собственным попечением, даже и внутри Империи. И вот уже цынга отошла, а запоздалые приказы настаивали и настаивали: сколько раз в день и как именно проветривать землянки; добавлять окна, строить нары, на земле солдатам спать не давать или прокладывать ветки под матами; и как кого когда отводить на отдых...

– Голосом, голосом! – требовал неумный Чернега.

– Я думал, ты спишь. А может чайку?

– Не, без мёда не буду.

– ...Недоуздки, уздечки, попоны, скребницы, щётки, овсяные торбы, лошадиные противогазы... Коня Шарлатана, срок службы 1909, переименовываю в казённо-офицерского, а казённо-офицерскую кобылу Шелкунью – в строевую для нижних чинов...

– Шелкунья, подожди, это гнедо-лысенькая, на передней правой по щётку? Хороша ведь ещё! Меняет, лучше нашёл?

Уж своего-то дивизиона коней Чернега всех знал в лицо и наперечёт, но и из других дивизионов многих. Тут дальше длинное шло перечисление о перемещении лошадей из разряда в разряд – офицерских собственных, строевых фейерверкских, верховых артиллерийских, упряжных артиллерийских, обозных – Шороха, Шведа, Шута, Шатобриана, Штопора, Шурина, Шмеля, Шансонетку, Шпиона, Шанхая, Щедрого, и обо всех передаваемых шла подробная опись по статьям, мастям, лысинам, звёздочкам, особым приметам, и всё это подписывал лично командир бригады, читая ли, не читая, а Саня о чужих батареях и дивизионах пропускал бы, но Чернега оживился, свесил как плеть руку толстую короткую, помахивал, требовал, хвалил и бранил:

– Да разве в ремонтных депо это теперь соблюдают – по разрядам?! Рассылают как-нибудь, лишь бы счётом. Пока на месте стоим – ничего, а ну-ка завтра начнись? Каждая лошадь должна своему месту соответствовать!

Саня и сам любил лошадей и понимал кое-что, но не так же, как Чернега, не с такою страстью: по второму разу слушал и по каждому коню соглашался или не соглашался, видел небрежение или чьё-то жульничество.

– ...При проверке... у некоторых лошадей оба задних шипа в подкове острые, что ведёт к засечкам...

– Сволочи! Вас самих бы так подковать!

– ...Нижепоименованных собственных офицерских зачислить на казённое довольствие... Нижепоименованных уволить в первобытное состояние... Из бригадного скакового капитала в московском Купеческом банке...

Так ему всласть всех лошадей перечёл и только тогда увидел:

– Да ты надо мной смеёшься, что ли? Ты главные приказы – вниз подложил?

– Так это Устимович. Как читал, так и кидал, значит подниз.

– А ты б наоборот!

– Так он мне тоже вслух читал, я-то что?

Раздосадовался Саня. Тихий вечер, на что-то хорошее годился, а пробалтывался зря, через эту труху.

– Не, Санюха! – просил Чернега, не давал просматривать. – Голосом читай! Голосом!

Наверняка хитрил Чернега: два раза прослушать, а самому ни разу не читать. “Я из книжек не понимаю, я только сам по себе понимаю”...

А тут-то и пошли оперативные приказы... В полках иметь “газовых комендантов” – специально проинструктированных офицеров.

Уже был такой у них в дивизионе, Устимович. Ему и читать.

– ...На батареях: иметь таблицы переноса заградительного огня со своих участков на соседние... Командирам корпусов...

– Сла-Богу, не нам!- гулко зевнул Чернега.

– ...Избрать, на какой из позиций... представить на кальке... В октябре усилить траншейные работы...

Какая-то шумящая пустота от прокрута всей приказной машины через твою голову. Одичание.

– ...Проволочную сеть довести до трёх-четырёх полос, каждая шириной... придать брустверам надлежащую высоту, замаскировать... Дивизионному и корпусному резервам выделять ежедневно на работы одну четверть своего состава...

– Не, не дадут покою! А цыngu – лечи!левой рукой одно, правой другое... На нежонде Польша стое, але Россия – шегульне (На беспорядке Польша стоит, но Россия – ещё больше).

Пяток немецких разрывов трёхдюймовых лёг не так далеко. Чуть звякнуло стекло в оконце, помигала лампа, и несколько крошек земли сыпанулось из наката.

Дальше много приказов шло о связи... Несмотря на запрещение, продолжают использовать голый телеграфный провод... запрещается заземление односторонней связи вблизи неприятеля...

Последние месяцы была переполошка с подслушиванием. Всё удивлялись, что немцы знают расположение и смену наших подразделений. Провели опыты с усилителем – оказывается, телефон легко перехватывается. И теперь:

– ...штабам армий выработать код слов и фраз и представить в штазап для выработки единого кода... Ну, дурачьё, зачем же единого!... По Западному фронту. Сегодня, в день тезоименитства нашего Державного Вождя, Наследника Цесаревича, войска Западного фронта всеподданнейше приносят свои поздравления, возносят горячие молитвы... В ответ Его Величеству благоугодно было осчастливить меня следующей телеграммой... Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, сотнях, батареях и командах... Главзап генерал-от-инфантерии Эверт... Его же: ввиду того, что до сих пор попадают случаи назначения евреев на писарские и хозяйственные должности, а равно и в гурты скота, что безусловно недопустимо... немедленно убрать и впредь не назначать...

– Убрать хаимов! – подтвердил Чернега плетью-рукой наотмашь. – Так и липнут в нестроевые, как мухи к печке. Где лоб подставлять – это не их!

Остановился Саня читать, поднял ясные глаза:

– Но, Терентий, это же – развитые ребята. Есть студенты, у меня Бару – университет кончил. Из них каждый третий не то что писарем, мог бы и офицером быть.

– Да ты ополоумел – офицером?! – перекатился Чернега на самый край койки, грудью на последнюю жердь, вот грохнется на пол! – Да куды ж нас такие офицеры заведут? Они накомандуют!

– Ну, смотря какие. Есть, говорят, и георгиевские кавалеры.

– Вот разве что – говорят! Где-то есть, кто-то видел! Да сам подумай – на хрена им за Россию воевать?

Просто потешался Терентий над санькиной беспонятностью – чего тут не видеть, дураку ясно:

– Да ты пусти одного, завтра их десять будет! На голову сядут! Ты ещё глупенек, с

ними не жил. Это говорится – равноправие. Только мы друг друга не вытягиваем, а они – вытягивают. И из равноправия сразу будет их-правие! Да ты завтра надень погоны на твоего Бейнаровича? – послезавтра сам из батареи сбежишь!

На Бейнаровича? Ну, Бейнаровича, с его черно-горящими глазами, всегда злыми, может быть, это Чернега подметил. Но – Бару? Образованный, воспитанный, сдержанный. Под его ироничным взглядом Сане всегда неловко: как ему приказывать, каким голосом, если он университет кончил, а Саня не кончил?

– Страна – наша или ихняя? – покачивал Чернега свешенной рукой-молотилкой. – У вас там, в степях, мабуть их нет? А пожил бы ты в Харьковской губернии, я б тебя тогда послушал.

Но хотя Саня и тихий был, а не поддавался легко. Не сразу скажет, и с улыбкой ласковой, а на своём:

– Так если страна не ихняя – зачем тогда мы их вообще в армию берём? Это несправедливо. Тогда и в армию не брать.

– Да хоть и не брать! – подарил Чернега. – Хоть и не брать, много не потеряем. Но – жители наши! живут-то у нас! Их не брать – другим обида, тогда и никого не брать, только кацапов да хохлов? Так оно и было поначалу – сартов не брали, кавказцев... Финнов и сейчас. Знаешь, сколько нашего брата перебили? В одной Восточной Пруссии?

Терентий только что вниз не соскакивал, а изъёрзался на своём малом верхнем просторе. Саня, хоть у него место было встать и пройтись, смиренно сидел, облокотился о стол, локтем поверх всех приказов, пальцы вроссыпь по лбу держа у пшеничных волос. Размышлял:

– Вот видишь, как получается: нагнетание взаимного недоверия. Государство не хочет считать евреев настоящими гражданами, подозревая, что они и сами себя не считают. А евреи не хотят искренне защищать эту страну, подозревая, что здесь всё равно благодарности не заслужишь. Какой же выход? Кому же начинать?

– Да ты сам не из них ли, едритская сила? – хохотал Чернега, откатясь на спину и руки разводя гармошкой. – Что ты так заботишься, кому начинать? Хоть бы и никому. Приказ ясный: гнать жидов из штабов! А почему они во всех штабах засели, это справедливо? Это – не обидно? Говорю тебе: ты ещё глупой, с ними не жил, не знаешь. Это народ такой особенный, сцепленный, пролазчивый. Это не зря, что они Христа распяли.

Саня отнял голову от руки, и наверх строго:

– Терентий, этим не шути, зря не кидайся. А думаешь – мы бы не распяли? Если б Он не из Назарета, а из Суздаля пришёл, к нам первым, – мы б, русские, Его не распяли?

Перед глубокой серьёзностью своего приятеля, в редкие минуты, старший перед младшим, тишел. Ещё с последней шуткой в голосе отговаривался:

– Мы б? Не. Мы б – не-е...

Да вопрос-то не сегодняшний, чего и цепляться.

А Саня – как о сегодняшнем, а Саня если взялся, мягкий-мягкий, а не свернёшь, хоть ему чурбаки на голове коли:

– Да любой народ отверг бы и предал Его! – понимаешь? Любой! – И даже дрогнул. – Это – в замысле. Невместимо это никому: пришёл – и прямо говорит, что он – от Бога, что он – сын Божий и принёс нам Божью волю! Кто это перенесёт? Как не побить? Как не распять? И за меньшее побивали. Нестерпимо человечеству принять откровение прямо от Бога. Надо ему долго-долго ползти и тыкаться, чтобы – из своего опыта, будто.

#### 4

Постучались:

– Дозвольте войти, вашбродь?

Голос – сдерживаемой силы, чтоб не слишком раздаться. А и через дверь узнаешь:

– Зайди, зайди, Благодарёв!

Нагибая голову и плечи даже, осторожно вошёл дюжий Благодарёв, осторожно дверь прикрыл, чтоб не стукнуть. Тогда только распрямился, и тоже не резко, не по-строевому, а всё ж от порядка без надобности не отходя, – руку к фуражке:

– По вашему вызову, ваше благородие.

Тут ему от землянки до землянки переступить пятьдесят шагов, без шинели, прикраплен дождиком по заношенным фейерверкским погонам с жёлтой каймой. Может, уже и ложился, а явился не распустёхой – пояс крепко схвачен, и на нём – кривой бебут, оружие батарейца, а темляк из белой кожи, фейерверкский. Не хмур, а без резвости: вызвали – пришёл, вот он, нате, приказывайте, хоть и вечер тёмный, да служба военная!

А у подпоручика защемила мысль, не договоренная Чернеге, защемила, помешала всякой другой – и сама забылась, ушла. Из-за этого – рассеянно, не переведясь:

– Так, Арсений... так... – и заметив, что нехорошо получилось, исправить надо, – присядь! садись, – к столу показал.

Благодарёв же понял, что утехи не будет – садись, мол, разговор не короткий, с порога обрадовать тебя нечем. Снял фуражку. (А волосы – уже и подлинней, в надежде домой).

Он так и располагал, что не обрадуют, а всё-таки и не без надеи шёл: вдруг для *того*?... Хотя, по всему солдатскому опыту: начальство, замок запря, отпирать не станет, не для того запирался. И как раз сейчас у себя в землянке около копчушки-гасника, на фанерную дощечку положив готовый складной листок для письма, дописывал на одной стороне, где место осталось, что, видно, скоро не приедет, как ему обещали. А места там – не разгонишься, на таком листике. Как он для заклейки сложен, на передней стороне зелено-бурое поле, и по нему в атаку несётся страшная конница, выхватя сабли, это ужась на дороге ей попасться, да такие, сла-Богу, нигде теперь не скажут, но в деревне посмотрят – со страху затрясутся. Марка же – не клеится, с позиций значит. А на задней стороне – голубочки летят с письмами в клювах. И писать тоже-ть негде. Только мелко-мелко припечатано, у кого глаза хорошие: “дозволено военною цензурой”. А ежели развернуть теперь – так две стороны и внутри. Но влеве опять же всё готово – красивыми такими синими буквами, как лучший писарь не напишет: “Дорогие и любезные мои родители! В первых строках моего письма спешу уведомить вас, что я по милости Всевышнего жив и здоров, чего и вам от глубины души желаю. И сообщаю я вам, что службой я доволен и начальство у меня хорошее. Так что обо мне не печальтесь и не кручиньтесь”. И – всё. И хочешь – сразу приветы передавай и на том подписывайся, готово письмо. Но вправе есть ещё местечко для нескольких слов, и можешь... А что можешь? Мол, жёнке моей Катерине велю свекра и свекровь слушаться и маленьких блюсти, и ждать меня с надеждой. Хоть бы и место было, а законы, по которым письма пишутся, не позволяют прямо открыто Катёне писать как главному человеку. Что завечаешь – о том не пишет никто, срам. Не дозволены в письмах пустые ласковые слова, не то что потаённые, какие только на ухо шепчутся, – письмо должно голосом читаться родственникам и соседям, кто ни придёт. И пожалиться неловко, что вот не допускают в отпуск заслуженный, эка тошно и темно, а весной война разгорится – там уж не поездишь. Тут Цыж и забеги:

– Сенька! Чой-то тебя подпоручик кличет. Через полчаса – к ему. И – не ругать, не похоже.

И занежился Сенька: а вдруг? а может, чего переменялось? Уж в таку тихую тёмную ночь по какой боевой надобности стал бы подпоручик его вызывать – да за полчаса?

Ночи теперь холодные, и спит Катёна в избе со всеми, да и к дитю же вставать. А вдруг увидал её поздней осенью в холодных снях спящую по-молодому, открытую полушубком с головой, она под полушубок спрячется – не найдёшь. И – шаг бы к ней! шаг!

Да кто-нибудь там ли и не шагает? Каково бабёнышке-ядрышку столько вылежать, высидеть, выждать?

Не-е. Не.

Но зря позанялся надеждою. Садись, мол, будем толковать...

А подпоручик улыбался добро, заглаживал:

– Так вот, Арсений. Ты – надежды не теряй! Сегодня я с подполковником говорил. Может, что для тебя и сделаем.

**Изделяем!** може что для тебя изделием! – так и полыхнуло по нутру. Батюшки, не ослышался? Да отцы родные, вы только пустите меня, я вам потом за две пушки навоюю!

И – поплыли, поплыли шлёпистые губы Арсения.

И рад сообщить радостью и опасаясь пообещать лишнего, разъяснял подпоручик:

– Понимаешь: не наверняка. Но – надеюсь. Только; я тебе это говорю для бодрости. А ты пока – никому, не будоражь. Потому что вообще отпуска остаются запрещены.

И как все эти месяцы, когда терялся на Арсения наградный лист, никогда он не ворчал, взглядом не упрекал, не надолго затмевалось лицо его, даже старался перед подпоручиком деликатно скрыть свою обиду, – так и сейчас не благодарил никакими особыми словами, а только губ на место свести не мог и ладони, на коленях опрокинутые, расслабились всеми пальцами.

Двух его Георгиев не было сейчас на нём, они на шинели. А что за гордость – в своё село с двумя Георгиями! С позиций – домой! – выколачивается сердце у отпускника.

Переимчивый праздник, и у всех отпускающих тоже. Подпоручик, уже отделённый от сельской жизни университетом и многими расширенными понятиями, чувствовал сам как парень, на два года моложе Благодарёва.

А старше даже и Цыжа. Подпоручику дана мудрость судить – хорош ли солдат или плох, не повесить ли его по номеру у пушки, или из бомбардиров в фейерверкеры, или перевести в разведку, читать карты. Но Благодарёва и от пушки не отнять, бойко собирает-разбирает замок, быстро устанавливает и читает прицел, панораму, понимает устройство снаряда, действие трубок, – без таких помощников во взводе офицеру жизни нет. По сегодняшнему упавшему солдатскому уровню – это ли не гренадер?

Но Чернега, босые ноги свеся, загорланил сверху:

– А за что ему отпуск? Пусть послужит! Он уже ходил.

Взводный – не свой, а испортить всякий может. Коль никому не дают. Воззрился на него Арсений и мягко, перед офицером, хоть и босоногим:

– То – за *первого* ...

– А первого – за что? – строго спрашивал Чернега. – Небось в штабе где сидел?

– Так за что бы тогда? – И знал Благодарён, что Чернега его задирает, и всё ж тона его насмешливого не смел перенять. Не мог тот иметь силы на его отпуск, а может и займёт.

– Да в штабах-то их и сыплют, Егориев, парень! – гудел Чернега. – Вот именно из-за Егория я и думаю – ты при штабе был. С каким-то полковником, говоришь, всё ходил. Где эт ты ходил?

– Да вы ж знаете, – улыбался Арсений.

Ещё и это “вы” ни к ляду выговаривать, офицер из фельдфебелей. Что это “вы”? – двое их, что ли? Богу и тому “ты” говорят.

– Ничего не знаю! – кричал Чернега.

– В Пруссии.

– Скажешь, в окружении, что ль?

– Так о-ахватили, – руками показал Арсений.

– Ох, врешь, вот врешь! – тараторил Чернега, болтая ногами и одобрительно крутя сырной головой на Благодарёва. – Слушай, Санюха, отдай мне его во взвод. Ни в какой ему отпуск не нужно. Я ему и тут бабу найду, полячку! – а-а! И отпускать буду с позиций без всякого подполковника. Вот только врёт – зачем? Если ты там был, в самсоновском окружении, – почему ж я тебя не видел? Где ты ходил?

– Так и я же вас не видел, – осклабился Благодарёв посмелей. – Сколько прошли – а вас не видали. Вы-то – были, что ль?

Прищурился.

– Ах, ты так со мной разговариваешь! – закричал Чернега. – Да я тебя сейчас вот на гауптвахту!

Прыг! – и на пол, ногами твёрдо-пружинисто, как кот. И босые ноги сунул в старые галоши, тоже у них дежурные такие стояли, для ночного выхода, но уже размером на Устимовича.

Положил Благодарёву на плечо тяжелокруглую руку:

– Айда ко мне, соглашайся. Будем до баб вместе ходить.

Благодарёв с тем же прищуром, уже без неловкости, и из сидяча:

– А к детям?

– Фу-у, добра! Да новых сделаем, старых забудешь. Сколько у тебя?

– Двое.

– Кто да кто?

– Сын да дочь.

– Чего ж ты на девку скостился? А я думал, ты орёл. Чего ж тебя и в отпуск? Сколько ей?

– Девять месяцев.

– Как назвал?

– Апраксией.

– Ладно, езжай, только сына заделывай. Сыновья ещё, ах, понадобятся!

На сорочку плащ надел, на голову ничего и волоча галоши, вышел до ветру.

Напористый Чернега такое расспросил, чего свой взводный и не знал о Благодарёве. Чернега бездельник-бездельник, а всё успеваешь и о конях заметить и о людях разузнать. А у Сани много времени уходит на думанье, часами, он нуждается быть один и думать. И упускает. Вот стояла где-то рядом та главная жизнь Благодарёва, которая чужда его проворству у пушки и не повлияет на ход.

– А какое село твоё?

– Каменка. По помещику – Хвощёво.

– Большое?

– Да дворов четыреста. Мужских душ боле тыщи.

– А помещик – кто?

– Давыдов, Юрий Васильич. Только он – в Тамбове, на высоте.

– На какой же?

Сделал Благодарёв думающее движение кожи по лбу:

– Земство, что ль. Да распродались нам же... Да по арендам... Да их трое братьев, пораскидались.

– Куда ж?

Фуражку опрокинутую на коленях придерживая, принимая к себе всю благоприятственность, Арсений рассказывал с полуулыбкой:

– Василь Васильич вместе с дьяконовым сыном собирали мужиков в кустах, сговаривали против царя. Ну, а мужики доложили исправнику. Схватился Василь Васильич с супругой – да во Ржаксу, а там дождались третьего звонка – и в поезд перебежали. А в Тамбове, мол, Юрий Васильич к ним на вокзале вышел и уже выправленные паспорта дал. Так и умахнули. Во Францию. Рассказывают.

– Так это когда было?

– Да я ещё малой был. – Покатал морщинку по лбу. Лоб веселел, всё больше походило, что отпуск будет. – Ещё до бунтов.

Сыростью махнул из двери Чернега. Фыркал, и крутил мокрой головой, как пёс:

– Чего? Бунтовать?... Ну, тьмища!... Когда бунтовали?

– Да уж лет десяток. Да в Каменке самой у нас, сказать, бунта и не было. В Александровке жгли, в Пановых Кустах жгли. Анохина купца разграбили, Солововых... А у нас Василь Васильич и всегда говаривал: вы остальных кругом грабьте, а я и так отдам! А тут староста Мохов собрал сход: “Мужики! Бывает, мол, воздержимся? Чужое добро – оно выпрет в ребро”. Наши и установили: воздержаться. И в Волхонщине так же, рядом.

Чернега вылез из галош босиком на пол.

– Не, не пойду расхлюпываться. Больше поспит, раньше к коровам встанет. Сань, а печку не раздуешь?

– Да тепло.

– Поди вон, выскочи. Я-то наверху не окоченею.

Толстый в груди, в поясу, в ногах, не столько взлез, об угловатый выступ столбика, сколько вскинулся, почти вспрыгнул наверх – и плюхнулся на свою койку, так что жерди качнулись, вогнулись, а выпрямились, крепко сработано. Сверху:

– И чем кончилось?

– А – воскорях пришли казаки, плетьюми разбираться. Генералу и докладывают: в Каменке, мол, имения не тронули. Та-ак? Тогда за ухватку выдать им на водку двадцать пять рублёв. Выкатили бочку – и миром пропили. А в Фёдоровке вповалку мужиков пороли каждого. Зимой дело было, на снегу секли. А дале повёл генерал тех казаков на Туголуково. И там сильно пороли.

– В Туголукове – бунтари? – как со строем здороваясь, весело окрикнул Чернега.

– Та-ам народ дюже волю любит. Та-ам на кулачках бьются что ни воскресенье. Без краски ни один мужик с поля не уходит.

– Ладно! – оценил Чернега. – Езжай к своей бабе! – Подбил подушку кулаком. – Эх, перяшка под головашку, – повернулся на бок, спиной к землянке, одеяло натащил.

У подпоручика забота: хорошо, а если поедешь – кем тебя заменим?

Обдумали. Справится?

– Ты его подготавливай вместо себя. И сам наготове. Чуть только разрешение получим – чтоб ты в полчаса убрался. Отменят, передумают – а тебя уже нет.

– Да ваше благородие! Да вы мне середь сна бумагу суньте, я только портянки уверну и в пять минут! Все штабы стороной обойду и на станцию!

В двери угнувшись, ушёл.

Чернега уже сопел.

А на Саню опять потянуло похоложивающей тревогой.

Это бывало с ним: в разговоре, в делах что-то процарапает по сердцу, даже точно не заметишь – что, но вот всё затемняется, сникает, что казалось со смыслом – уже ни к чему. И надо – уединиться, осознать без помехи: что именно процарапало. И как исправить? И бывает, что осознанием, перетерпением, обещанием, трудом – сглаживается.

Теперь сидел за столом окунувшись в ладони, – и выступило: Чевердин! Почему-то – Чевердин из 2-й батареи, которому Саня никакого вреда не принёс.

Ещё б на своей батарее и тотчас в ответ на его стрельбу – тогда бы понятно. А тут – не было разумной связи.

Нет, не так, а: ландверный офицер, кто команду в телефон крикнул, никогда ведь про этого Чевердина не узнает. Так, наверно, и Саня там похоронил сегодня нескольких. Для командования русской армии очень желательно, и вся военная деятельность без того теряет смысл, иначе лицемерно носить военный мундир, надо снимать и идти в арестантские роты. А всё-таки Саня не так бы задумался, если б – не Чевердин. Не задумалось, само завязалось: умрёт? не умрёт?

Сейчас в пустой холодеющей землянке, уронив глаза в ладони, Саня сидел и собирал, собирал клочки раздёрганной, рассеянной души, чтобы как-то залечиться.

Проведен был, что называется, успешный боевой день. На редкость большая и безошибочная стрельба, несомненное одобрение подполковника. И вот, офицер, кем менее всего ожидал в жизни стать, офицер, от которого ждут уверенных распоряжений (и предательство было бы их не делать, погубишь всех своих!), он – растерянным чувствовал себя, впустую многократно прокрученным, до полной потери смысла себя. Вхолостую, и хуже – во вред, прокручивалась вся его жизнь, задуманная, кажется, так светло. И худший исход был – не то, что убьют в двадцать пять лет, а что он и пятьдесят проживёт, прокручиваясь ножом в чьей-то мясорубке.

И ни сослуживцы-прапорщики, ни командир батареи, ни, домой поезжай, отец и



родные братья его – не могли ему тут облегчить.

Накинув плащ и в тех же сменных спадающих галошах, Саня вышел наверх.

Мгла была полная: ночь безлунная и в тучах, и под дождём. Не ступить ни шагу, только на память да наощупь. Год знакомое место не различить, не узнать, даже верхушек знакомых деревьев против неба – где обуглено, где сшиблено, где расщеплено.

И ракет не бросала передняя линия.

И не стреляли. И ветра не было. Только естественный, миротворный похлесток дождя – о ветви, о листья, о землю. От него – ещё глубже тишина.

И полная невидимость мира. Ни Стволовичей, ни Юшкевичей с белыми костёлами. Ни Польши. Ни России. Ни Германии. И под невидимым тучевым глубоко-тёмным небом – один человек.

Но в маленькой землянке было ненаполненно. А здесь – полнота. И простое, немудрое и нестыдное, повседневное человеческое действие. Чистосердечное, созерцательное общение с темнотой, с дождиком, со всей природой. Со всех сторон, всем телом принимаешь в себя мир.

И Саня стоял. Привыкал к темноте. Принимал на себя дождик. И звуки его о плащ.

Переступил по скользкости несколько шагов – увиделись один-два слабых отсвета из земляночных оконных углублений.

Вскинули ракету. Красную. Немцы. Из-за того, что окопы сближены, они часто ночью бросают. Наши – нет, экономят.

Взлетела ракета, распахнулась бордово-алым, каким-то худшим из красных цветов, – и от невидимого тёмного, но верного Божьего неба отрезала попыхивающий зловещий красный сегмент. И наступая этим сегментом, досветила сюда, за три версты, на себе показав и те изломанные, покорёженные, и ещё целые деревья.

И вздрагивая, вздрагивая, опала. Погасла.

Но в глазах сохранялась краснота и чёрточки деревьев.

И ещё стоял Саня, лицом вверх, к мерному дождику.

Становилось примирительно.

Но слышались шаги, по-лесному ещё издали.

Мокрое шлёпанье. Хруст задетых кустов.

Кто-то шёл, шёл, а всё не подходил.

Один человек. Ближе уже.

– Кто идёт? – спросил Саня не окриком часового, тот подальше стоял, у орудий, но и твёрдо, здесь не шути.

– Свои. Отец Северьян, – раздался домашний голос.

– Отец Северьян? – обрадовался. Вот не загадывал! А хорошо как. – А это – Лаженицын. Здравствуйте.

– Здравствуйте, Лаженицын, – приветливо отозвался бригадный священник.

– Вы с дороги не сбились?

– Да немного сбился.

– Идите сюда. Вот, на голос.

Шурша и шлёпая, подошёл священник совсем близко.

– Куда ж вы, отец Северьян, так поздно?

– Хочу в штаб вернуться...

– Да куда вы сейчас? В яму свалитесь. Или в лужу по колено. Не хотите ли у нас заночевать?

– Да мне утром завтра служить.

– Так это уже свет будет, другое дело. А сейчас и подстрелят вас, поди, часовые. А у нас в землянке место свободное.

– Действительно свободное? – Вот уж не военный голос, ни одной интонации, усвоенной всеми нами, другими. И – усталый.

– Действительно. Устимович на дежурстве. Дайте руку.

Взял холодную мокрую.  
– Идёмте. Вы издалека?  
– Со второй батареей.  
– Да-а! – вспомнил Саня. А он и не совместил...- Там раненые?  
Священник ногой зацепился.  
– Один умер.  
– Не Чевердин??  
– Вы знали его?

## 5

Отец Северьян был в круглой суконной шапке, сером бесформенном долгополом пальто, каких в гражданской жизни вообще не носят, а на позициях у священников приняты, и в сапогах. В руках – трость и малый саквояжик, с которым всюду он ходил: с принадлежностями службы.

Увидя наверху широкую спину спящего, булыжно-круглый затылок, снизил голос:

– Удобно ли? Разбудим.  
– Чернегу? Да если в землянку снаряд попадёт – он не проснётся.

Ещё раз оговорился священник, что вполне бы дошёл. Но уловя, что, и правда, тут не из вежливости уговаривают, снял шапку, вовсе мокрую, – и тогда расправились чёрные выющиеся густые волосы. Борода у него была такая же густая, но подстриженная коротко.

Снял шапку, ещё не отдал – стал глазами искать по стенам, по верхам, по углам. И мог не найти, как часто в офицерских землянках среди многих развешанных предметов. Но вот увидел: в затемнённом месте на угловом столбе висело маленькое распятие, такое, что помещалось в карман гимнастёрки.

Это Саня и повесил. В Польше подобрал при отступлении. А то могло и не быть. Как неловко бы.

На католическое распятие перекрестясь, обернулся священник снова к Сане, отдавал и пальто. Оно всей мокротой прилипло к рясе, Саня стягивал силой.

– Э-э, да у вас и ряса мокрая. А ложитесь-ка вы сразу в постель? Небось, и на ногах мокрое. А я печку протоплю, всё сразу высохнет.

– Да неудобно?...

– Да – чего же? Мы зимой по двенадцать часов и спим, на всякий случай. А вот и ваша лежанка, вот эта, полуторная.

И отец Северьян больше не чинился – признался, что, правда, хочется сразу лечь. Да и видно было, что он не только устал, но – в упадке, но – удручён.

Большой нагрудный крест на металлической цепочке выложил на стол – как тяжесть, ослабевшими руками. И снял с груди кожаный мешочек с дарами.

На жердяной стене, на приспособленных для того колышках, Саня распялил пошире пальто и рясу.

В нижней сорочке, очень белой, ещё чернее стала борода и привоздушенные несминаемые волосы отца Северьяна, глубже тёмные глаза.

Сразу и лёг, полуукрывшись, приподнятый подушками. Но глаз не смежал.

А подпоручик с удовольствием растапливал. При Цыже заботы немного, всё у него заготовлено по сортам: растопка, дрова потоньше, потолще, посуше, помокрей. И подле печки – табуреточка для истопника, вполвысоты, как раз перед грудью открываешь дверку. И кочерёжка на месте. И от последней протопки зола уже и пробрана и вынесена, пылить не надо. Только возьми несколько сосновых лучинок, подожги, уставь, чтоб огонёк забирал вверх по щепистому тельцу их, – и тогда осторожно прислоняй одну сухую палочку, другую. Потрескивало. Бралось.

В санином настроении лучшего ночного гостя и быть не могло.

Только гостю самому было не до Сани. На одеяло положенные руки не шевелились.

Ослабли губы. Не двигались глаза.

Но и молчаливым своим присутствием что-то уже он принёс. Почему-то не ныло так. Наполнялось.

Потрескивало.

Через накат землянки совсем не бывает слышно дождя о землю, даже в прикошечной ямке.

И стрельбы никакой.

Не вставая с табуретки, Саня снял кружок с ведра, жестяною кружкой набрал в начищенный медный чайник воды, кочергой конфорку отодвинул, поставил чайник на прямой огонь.

Подкладывал. Живительно, бодро хватался огонь, при открытой дверце печи даже больше света давая в землянку сейчас, чем керосиновая лампа, – и света весёлого, молодого.

Чернега там у себя наверху громко храпанул – и проснулся? В компанию принимать его? Нет, лишь ворочнул своё слитное тело на другой бок, но так же звучно посапывал, что в нетопленной, что в топленной.

Взялась печка – и погуживала.

Отец Северьян глубоко выдохнул. Ещё. Ещё. С выдохами облегчаясь, как бывает.

Саня не частил оглядываться. Но сбоку сверху – ощущал на себе взгляд.

Что-то – наполнилось. Слаб человек в одиночестве. Просто рядом душа – и уже насколько устойчивей.

Отец Северьян был в бригаде меньше года. Виделись, перемалвливались понемногу. В общем-то – и не знакомы. Но живостью, неутомимостью, упорством даже учиться ездить верхом – нравилось Сане, как он хочет слиться с бригадой.

И ещё раз выдыхая, уже не усталость, а страдание, священник сказал:

– Тяжко. Отпускать душу, которая в тебе и не нуждается. Когда отвечает умирающий: чем же вы меня напутствуете, когда у вас у самого благодати нет?

Ощущая, что взглядом и лицом помешает, Саня не оборачивался, в печку глядел. Действительно, служба у священника в век маловерия: с исповедью, с отпущением грехов – навязывайся, кому, может быть, совсем и не нужно. И такие слова ищи, чтоб и обряд не приунизить, и человеку бы подходило. И оттолкнут – а ты опять приступай, и всё снова выговаривай, с непотерянным чувством.

– Был Чевердин – старообрядец.

– Ах во-о-от? – только теперь понял Саня. И сразу представился ему Чевердин – высокий, с темно-рыжей бородой. И вдруг теперь объяснилась большая самостоятельность его взгляда – из знающих был мужиков. И представилось, как эти глаза могли заградно отталкивать священника.

– Отказался от исповеди, от причастия. Я ему – дорогу перегораживаю...

Во-о-от что...

И что же, правда, священнику? Отступить? – права нет. Подступить? – права нет. Священник всегда обязан быть выше людей, откуда взять сил? А вот – и голосом убитым:

– Мусульманам – мы присылаем муллу. А старообрядцам своим, корневым, русским – никого, обойдутся. Для поповцев – один есть, на весь Западный фронт. Тело их – мы требуем через воинского начальника. Россию защищать – тут они нашего лона. А душа – не нашего.

Алый свет прыгал из неприкрытой дверцы. Саня ушёл в печные переблески, не отводясь. Отвергающих причастие – сжигать, был Софьин указ. А покорившихся причастию – сжигать вослед. Отрывали нижнюю челюсть, засовывая в глотку *истинное* причастие. И чтоб не принять кощунственного и не отдаться слабости – они сжигались сами. И свои же церковные книги мы толкали в тот же огонь – кем же и мниться им могли, как не слугами антихристовыми? И – как через это всё теперь продрасть? кому объяснять?

Покосился. Священник закрыл веки. Был край и его сил. Хорошо, что добрёл до ночлега.

Саня подкладывал – и отодвигался от печки.

Живучи в Москве, он бывал на Рогожском. Ещё перед храмом, на переходах – густая добротность и значимость бородачей, особенно строгие брови женщин и нерассеянные отроки. Исконное обличье трёхвековой давности, уже несовременная степенность, а вместе и благодущие – к нам!... На Троицын день в храме – белое море, как ангелами наполнено: это женщины, отдельно стоя, все сплошь – в одинаковых белых гладких платках особой серебрищей выделки. Иконостас – без накладок, риз, завитушек, строгая коричневая единость, – одна молитва, и поёжишься перед Спасом-Ярое Око. И о пеньи не скажешь, что напев красив, как у нас, – а гремят бороды в кафтанах, забирает. И два паникадила громоздких под сводами, одно лампадное, другое свечевое, и вдруг надвигается сбоку через толпу высоченная лестница, как для осады крепостей, – и по ней восходит, с земли на небо, служитель в чёрном кафтане со свечой, там крестится в высоте и начинает одну за другой зажигать – иные лёжа и свиснув, другие – едва дотягиваясь вверх. И медленно-медленно рукой поворачивает всю махину паникадила. А в конце службы так же взлезает и гасит каждую свечу колпачком. Электричество же мгновенное не вспыхнет у них никогда. Зато в миг единый по всему храму, по трём тысячам человек – троекратное крестное знаменье или земной поклон. И кажется: это мы все – переходим, а они – не прейдут.

Печка гудела, калилась уже вишнево – и слала доброе тепло по землянке. А много ли тут надо? – брёвнами и жердями замкнулось пространство, и начинала высыхать мокрая одежда по стенам, и гостю не нужна натягивать одеяло на грудь и плечи. А сорочка его белая-белая оттеняла черноту обросшей головы, а на спине лёжа – он сам казался как больной, если не как умирающий.

– Бывал я у них, – сказал Саня. – Разговаривал.

Когда ощутишь, как это перед ними зинуло – не бездна, не пропасть, но – щель бесширная, косая, тёмная, внизу набитая трупами, а выше – срывчатая безвыходность. Для них, в то время, не как для нас: вся жизнь была в вере – и вдруг меняют. То – проклинали трёхперстие, теперь – только трёхперстие правильно, а двухперстие проклято. Как же этого вместе с ними не сложишь: 1000-летнее царство плюс число антихриста 666 – а собор заклатья и проклятия в лето 1667-е от Рождества Христова, как подстроено рожками? И царь православный Тишайший задабривает подарками магометанского султана, чтобы тот восстановил низложенных бродячих патриархов – и тем подкрепил истоптание одних православных другими. И кто с мордвинским ожесточением саморучно разбивает иконы в кремлёвском соборе – он ещё ли остаётся патриарх Руси? Да равнодушным, корыстным ничего не стоит снести, хоть завтра опять наоборот проклинайте. А в ком колотится правда – вот тот не согласился, вот того уничтожали, тот бежал в леса. Это не просто был мор без разбору – но на лучшую часть народа. А тут же – навалился и Пётр. Можно их понять: режь наши головы, не тронь наши бороды!

– Они веруют, как однажды научили при крещеньи Руси – и почему ж они раскольники? Вдруг им говорят: и деды, и отцы, и вы до сих пор верили неправильно, будем менять.

Священник открыл веки. Сказал на самой малой растрате голоса:

– Веры никто не менял. Меняли обряд. Это и подлежит изменениям. Устойчивость в подробностях есть косность.

Небойкий подпоручик однако:

– А реформаторство в подробностях есть мелочность. В устойчивости – большое добро. В наш век, когда так многое меняется, перепрокидывается, – свойство цепко держаться за старое мне кажется драгоценным.

Неужели православие рушилось от того, что в Иисусе будет одно “и”, аллилуйя только двойное и вокруг аналоя в какую сторону пойдут? И за это лучшие русские жизненные силы загонять в огонь, в подполье, в ссылку? А доносчикам выплачивать барыши с продажи вотчин и лавок? За переводчиками, переписчиками книг надо было следить раньше, а вкралось немного, так хоть и вкралось.

Тихий подпоручик, со свободным поколебом русых волос над просторным лбом,

разволновался, будто это всё в их бригаде совершалось, и сегодня:

– Боже, как мы могли истоптать лучшую часть своего племени? Как мы могли разваливать их часовенки, а сами спокойно молиться и быть в ладу с Господом? Урезать им языки и уши! И не признать своей вины до сих пор? А не кажется вам, отец Северьян, что пока не выпросим у староверов прощения и не соединимся все снова – ой, не будет России добра?...

С такой тревогой, будто гибель уже вот тут, над их землянками, стлалась в ночи волной зеленоватого удушающего газа.

– Сам для себя я, знаете, считаю: никакого раскола – не было. Может быть, при нашей жизни уже никто не соединится, но в груди у меня – как бы все соединены. И если они меня пускают к себе, не проклиная, то я и вхожу с равным чувством и в их церковь, как в нашу. Если мы разделены, то какие ж мы христиане? При разделении христиан – никто не христианин, никакой толк.

Несколько гулких тяжёлых разрывов, передаваемых через землю содроганием на большую даль, дошло до них. И наложилось подтверждением, что – упущено. Что христиане рвали друг друга на части.

В своём положении, подвышенном подушками (у Устимовича много было натолкано), священник переложил голову в сторону Сани, обратился к нему печальное лицо:

– В какой стране не надломилась вера! У всех по-своему. И особенно последние четыре столетия – человечество отходит от Бога. Все народы отходят по-своему – а процесс единый. Адова сила – несколько столетий клубится и ползёт по христианству, и разделение христиан – от этого.

Тут – запел чайник и пар погнался. А заварка у Цыжа наготове. И чайничек малый вымыт, всё приудоблено. И кружка есть глиняная, из неё пить не горячо. Из лавочки бригадного собрания – вишнёвый экстракт.

– Нет-нет, ни за что не вставайте, отец Северьян, я вам туда подам!

Священник полулёжа, на боку, с пододвинутой табуретки стал попивать заваренный чай – и едва ли не прямо с этими глотками возвращалась к нему сила.

– Да, что-то я подломился сегодня... А Саня подвинул свою скамеечку ближе к его койке, тут и всего было рукой протянуть. И снизу вверх:

– Я вообще считаю, отец Северьян, что законы личной жизни и законы больших образований сходны. Как человеку за тяжкий грех не избежать заплатить иногда ещё и при жизни – так и обществу, и народу тем более, успевают. И всё, что с Церковью стало потом... От Петра и до... Распутина... Не наказанье ли за старообрядцев?...

– Что же нам теперь – искорениться? Церковь на Никоне не кончилась.

– Но Церковь не должна стоять на неправоте. – Саня договорил это шёпотом, будто тая от Чернеги спящего или от самого даже собеседника.

Священник ответил очень уверенно:

– Христова Церковь – не может быть грешна. Могут быть – ошибки иерархии.

Слишком уверенно, как заученно.

– Вот этого выражения никак не могу понять: Церковь – никогда ни в чём не виновата? Католики и протестанты режут друг друга, мы – старообрядцев, – а Церковь ни в чём не грешна? А мы все в совокупности, живые и умершие за три столетия, – разве не русская Церковь? Я и говорю: все мы. Почему не раскаяться, что все мы совершили преступление?

Касаний таких уже не одно было в короткой саниной жизни, в спорах и в чтении. Проходили эти касания по внезапным мысленным линиям и не перекрещивались в единой точке, но оставляли кривой треугольный остров, на котором уже еле стояла подмываемая, подрываемая Церковь.

И когда потом государство смягчало гонения староверов – Церковь сама ужесточала, теребила государство – ужесточить.

– И к чему же пришла? – к сегодняшнему плену у государства. Но любого пленника легче понять, чем Церковь. Объявила бранными все земные узы – и так дала себя скрутить?

– Вы-ы... – всматривался священник. – Вы это всё – сами, или...

– Или... – кивал Саня. – Я, собственно, ещё со старших классов гимназии. У нас на Северном Кавказе много сект – я к разным ходил, много слушал. Толки, споры. Особенно – к духоборам... И – Толстого много читал. Больше всего – от него.

– Ну да, конечно, – теперь улыбнулся священник, узнавая. – Толстой, это ясно. Но вы? – от духоборов и до старообрядцев? – кто же вы?

Саня застенчиво улыбался, прося извинения. Пальцами разводил. Он сам не знал.

– Нет, просто над хлебом-солью сидеть, как духоборы, я – нет. И – не толстовец. Уже. Что учение Христа будто рецепт, как счастливо жить на этой земле? – ну, зачем же?... И что любовь есть следствие разума?... Ну, какая же?...

Где Саня не вёлся уверенным сильным чувством, а пытался разобраться, – он не умел говорить легко. Он растяжно тогда выговаривал, раздражая нетерпеливых студентов или настойчивых офицеров. Он потому так говорил, что сколько бы ни вынашивал мысль, но и в момент произнесения она ещё была не готова у него, ещё могла оказаться и ложной. Само произнесение мысли было и проверкой её:

– Да и... Уж очень начисто отвергает Толстой всё, в чём... Вера простого народа, вот, моих родителей, села нашего, да всех... Иконы, свечи, ладан, водосвятия, просфоры – ну, всё начисто, ничего не оставляет... Вот это пение, которое в купол возносится, а там солнечные полосы в ладанном дыму... Вот эти свечечки – ведь их от сердца ставят, и прямо к небу. А я – люблю это всё, просто с детства... Или вот Рогожская – разве на той службе взбрёт, что это – спектакль, самовольно присочинённый нами к христианству?... Лепет. Но всего отчётливей я почувствовал – с крестом. Толстой велит не считать изображение креста священным, не поклоняться ему, не ставить на могилах, не носить на шее – сухота какая! Вот именно через это я переступить не могу. Как говорится, могила без кадила – чёрная яма. А тем более без креста. Без креста? – я и христианства не чувствую.

Прислушивался, в своих звучащих фразах проверяя, нет ли ошибки.

– Одно время пытался я, по Толстому, запретить себе креститься. Так не могу, сама рука идёт. Во время молитвы не перекреститься – молитва как будто неполная. Или когда вот смерть свистит-подлетает – рука ведь сама крестится. В этот момент что ещё естественней сделать на земле, может быть последнее?... Такое ощущение, будто креститься меня не учили, а – ещё до моего рождения было во мне.

Отец Северьян принял ласково блестящими глазами. Если даже через девятнадцать русских студентов хотя бы двадцатый воспринимает дыхание церковной службы выше рационального анализа – и то не потеряна вера в России!

– А вам не приходило в голову, что Толстой – и вовсе не христианин?

– Вовсе? – изумился, уткнулся Саня.

– Да чихайте его книги. Хоть “Войну и мир”. Уж такую был богомольного народа поднимать, как Восемьсот Двенадцатый, – и кто и где у него молится в тяжёлый час? Одна княжна Марья? Можно ли поверить, что эти четыре тома написал христианин? Для масонских поисков места много нашлось, а для православия? – нет. Так никуда он из православия не вышел, в поздней жизни, – а никогда он в православии не был. Пушкин – был, а Толстой – не был. Не приучен он был в детстве – в церкви стоять. Он – прямой плод вольтерьянского нашего дворянства. А честно пойти перенять веру у мужиков – не хватило простоты и смирения.

Саня – пятью пальцами за лоб, как перещупывал.

– Я – так не думал, – удивлялся он. – Почему? Разве его толкование не евангельское? Что мы от Евангелия отшатнулись бесконечно? Заповеди твердим – не слышим. А от него услышали все. Уберите, мол, всё, что тут нагромодили без Христа! Верно. Как же мы: насильничаем – а говорим, что мы христиане? Сказано: не клянись, а мы присягаем? Мы, по сути, сдались, что заповеди Христа к жизни неприменимы. А Толстой говорит: нет, применимы! Так разве это не чистое толкование христианства?

Оправился отец Северьян от своего упадка, вернулась живость в лицо и, уже

выздоровливающий, он с готовностью отвечал, как будто вот этого одинокого подпоручика давно себе ждал в собеседники:

– Как же должно упасть понимание веры, чтобы Толстой мог показаться ведущим христианином! Вытягивает по одному стиху из текстов, раскладывают на лоток, и при таких гимназических доводах – такая популярность! Просто его критика Церкви пришлась как раз по общественному ветру. Хотя и обществу он даёт негодное учение, как оно не может существовать. Но либеральной общественности наплевать на его учение, на его душевные поиски, не нужна ей вера ни исправленная, ни неисправленная, а из политического задора: ах, как великий писатель кастит государство и церковь! – поддуть огонька! А кто из философов отвечал Толстому – того публика не читает.

– Н-ну, не знаю... – ошеломлён был Саня. – Если чистое евангельское учение – и не христианство?

– Да Толстой из Евангелия выбросил две трети! “Упростить Евангелие! Выкинуть всё неясное!” Он просто новую религию создаёт. Его “ближе к Христу” это в обход евангелистов. Мол, раз я тоже буду вместе с вами верить, так я вам эту двухтысячелетнюю веру сразу и реформирую! Ему кажется, что он – открыватель, а он идёт по общественному склону вниз, и других стягивает. Повторяет самый примитивный протестантизм. Взять от религии, так и быть, этику – на это и интеллигенция согласна. Но этику можно учредить в племени даже кровной мезью. Этика – это ученические правила, низшая окраина дальновидного Божьего управления нами.

Видно не первый раз доставалось отцу Северьяну об этом толковать и, видно, не заурядный он был батюшка.

– Толстого завела – гордость. Не захотел покорно войти в общую веру. Крылья гордости несут нас за семь холодных пропастей. Но никак не меньше нашего личного развития – стать среди малых и тёмных и, отираясь плечами с ними, упереться нашими избранными пальцами в этот самый каменный пол, по которому только что ходили другие уличными подошвами, – и на него же опустить наш мудрый лоб. Принять ложечку с причастием за чередою других губ – здоровых, а может и больных, чистых, а может и не чистых. Из главных духовных приобретений личности – усмирять себя. Напоминать себе, что при всех своих даже особенных дарованиях и доблестях ты – только раб Божий, нисколько не выше других. Этого достижения – смирения, не заменят никакие этические построения.

– На смирение – я целиком согласен.

– А Толстой ищет-ищет Бога, но, если хотите, Бог ему уже и мешает. Ему хочется людей спасти – безо всякой Божьей помощи. Перешёл на проповедничество – и как будто что случилось с ним: всё умонепостижимое, что в мире есть и правит нами и силы нам даёт, и что он знал, когда писал романы, – он вдруг как перестаёт ощущать. С какой земной убогостью он трактует Нагорную проповедь! Как будто потерял всю свою интуицию. Великий художник – и не коснулся неохватного мирового замысла, напряжённой Божьей мысли обо всех нас и о каждом из нас! Да что не коснулся! – рационально отверг! Наше собственное бессмертие, нашу собственную причастность к Божьей сущности, – всё отверг!

Отец Северьян приподнялся от подушки, отзывный, оживлённый, смотрел твёрдо-блестяще. Добрёл он до этой землянки, как ни останавливались ноги, как ни заплеталось сердце, – но и здесь осуждён был не отдыхать.

– Неужели не досталось ему содрогаться в беспомощности и ничтожестве? Испытывать порой такую слабость... такую немощь... такое затемнение... Когда ни на какое самостоятельное действие нет сил, а последние силы – на молитву. Хочется – только молитвы, только набраться перетекающей силы от Всемогущего. И если это удаётся нам – так явственно освещается грудь, возвращаются силы. Так узнаём мы, что значит: “сохрани и помилуй нас Твоею благодатию!” Знаете вы это состояние?!

Волнистоволосой головой со скамеечки Саня кивнул, кивнул. Тихо сказал:

– Я именно в таком состоянии и встретил вас сегодня. И даже – ждал, не точно зная,

что – вас... Я именно часто ощущаю, что сил моих совсем не достаточно, даже и на суждения.

Раздалась гулкая пулемётная очередь. Раздалась – на переднем крае, но от холодного, дождливого и тёмного времени слышна была очень внятно сюда. Два десятка крупных пуль где-то там пронеслись, вбились в землю, продырявили доски, вонзились в брёвна, может быть и ранили кого-нибудь, хотя такие дурные ночные очереди – больше для напугу.

А – как же он нёс погоны, кричал орудиям: “беглый! огонь!”?

– Отчего же вы никогда мне...?

– Я говорил вам. Однажды на исповеди. Но вы меня, кажется, не поняли...

## 6

– На исповеди? Когда ж это?

– Великим Постом. Вы тогда только недавно приехали к нам.

– Ах вот, наверно поэтому. У меня несильная память на лица, а все сразу новые...

Подпоручику и сейчас нелегко, будто снова исповедь:

– Я пожаловался вам тогда... Как мне тяжело воевать. Что я пошёл на войну не по повинности. Мог бы доучиваться в Университете. Пошёл – добровольно. И, значит, все грехи здешние и все убийства здешние я взял на себя – вольно.

– Да-да-да! – помнил отец Северьян. – Ну как же! Такая исповедь среда офицеров была единственная, и я бы ни за что не пропустил, мы бы продолжили, если б это не самые первые дни... Тогда исповедовались все сплошь, Страстная была. Но отчего вы сами не пришли второй раз?

– Я не мог знать, что это остановило ваше внимание. Может и другие так говорят, и вам прискучило? И... нечего ответить?... А самое главное: вы – *отпустили* мне мой грех, мои сомненья. Но я себе – не отпустил. Всё вернулось и обступило снова. И что ж, опять к вам? – второй и третий раз? И повторять то же самое, теми же словами, – как бы отталкивать ваше отпущенье назад?... И даже если вы меня не упрекнёте – что можете вы? Только повторить, “аз, недостойный иерей, данной мне от Бога властью...” А мне под епитрахилью заспорить с вами: нет, не прощайте! это не поможет?... В исповеди вот это и безвыходно, и для вас и для меня: что в конце вы непременно должны меня простить.

Смотрел пытающе:

– А как бы так, чтоб *не простить* ? Если точно такое же бремя завтрашнего дня снять нельзя – так *не прощайте* ! Отпустите меня с моей необлегчённой тяжестью. Это будет честней. Пока война продолжается – как же снять её? Её не снять. Оттого что я не вижу своих убитых – дело не меняется. Сколько ж их начислится к концу? И чем я оправдаюсь? Выход только – если меня убьют. Другого не вижу.

Отец Северьян был прислушлив ко всем переходам мысли, и это отражалось в подвижных молодых его чертах:

– Да, знаете, в древней церкви воинов, вернувшихся из похода, прощали не сразу, накладывали епитимию. Но есть и такой ещё выход: перепонять.

– Я пытался. Опростоуметь? вот как все рядом, как Чернега: воюет – и весел. Пытался и я так. Много месяцев. Не вышло. Вот засыпешь снарядами, не получив ответа. А ответ приходится на Чевердина.

Но священник смотрел на подпоручика не в смущении. Остро доглядывал медлительного собеседника.

Что за редкая встреча! – среди офицеров, не только этой бригады, кадровых и призванных, – кто формален, кто стыдится, кто смеётся, – но среди студентов? Среди студентов ещё большая редкость. У себя в Рязани деятельность отца Северьяна проходила в облаке насмешки и презрения от всего образованного слоя общества – не к нему только именно, но ко всей православной Церкви, и этим презрением отталкивался он – из того же культурного круга выйдя и сам, из такой же семьи, тоже к нему насмешливой, –



отталкивался к мещанам, к тёмным неразвитым горожанам, ещё тупо видящим смысл в свечах и церковном стоянии вместо чтения газет, посещений театра и лекций. Отец Северьян не краснел за свой сан, одяние, и не чуждался остаться бы, в своём образованном слое, но его – выталкивали. Надо же было! – из рязанской епархии приехать на передний край войны, чтобы здесь послушать такого студента.

Однако с полынью:

– И потом же я понимаю, отец Северьян, что если вы состоите в той же бригаде, и ваша задача – способствовать успеху русского оружия, то вы не много доводов сумеете найти мне в утешение. Вы сами связаны всем этим и тоже, может быть, простите, грешны. Раздавать и навешивать всем-всем-всем шейные образки... Перед атакой идти по траншеям с крестом и кропить святой водой... Или с иконой по всем землянкам и давать прикладываться завтрашним мертвецам... А иные батюшки, за убылью офицеров, и сами скачут передавать боевые приказы полкового командира... Но почему-то страшней всего – когда служат полевой молебн, а подсвечники составлены из четырёх винтовок в наклон.

Нет, отец Северьян не уронил головы. Нет, отец Северьян не отвёл глаз. Прислушливо принимал он упрёки подпоручика, даже торопя их выразительными подвижными бровями, даже ждя и желая больше.

– ...Я понимаю, что вы не своей волей сюда пришли, вас послали.

– Ошибаетесь. Сам.

– Са-ми?

– А вы же? Священников вообще не мобилизуют. Они просят сами или их посылают епархии по полученной развёрстке. Но кого епархии считают лучшими – тех удерживают, а в Действующую посылают балласт: или слабых, или судимых, или нежелательных. Впрочем, по последней категории, за реформаторство, пожалуй послали бы скоро и меня. Но я попросился раньше. Я именно считал, что во время войны естественней всего быть здесь.

– Вообще мужчине – да, – ещё не мог подпоручик принять.

– И священнику – тоже, – всё живей настаивал отец Северьян, с тем упорством, с которым он и верхом научился. – В той жизни, в которой мы живём, – мы должны в ней действовать.

От священника это странно было слышать, ожидалось бы скорей что-нибудь – любите ненавидящих вас... Подпоручик улыбнулся, пробормотал:

– Перекувырнутая телега...

– Что?

– Я – тоже так думаю, тоже. Но вы... Особое, щекотливое положение: священник – и добровольно на войну?

Отец Северьян утвердился выше на локте. Взгляд его вспыхнул:

– Исаакий...

– Филиппович.

– Исаакий Филиппович! – выдыхал он теперь готовое, то, что на исповеди не пришлось. – Мира без войн – пока ещё не бывало. За семь, за десять, за двадцать тысяч лет. Ни самые мудрые вожди, ни самые благородные короли, ни Церковь – не умели их остановить. И не поддавайтесь лёгкой вере, что их остановят горячие социалисты. Или что можно отсортировать осмысленные, оправданные войны. Всегда найдутся тысячи тысяч, кому и такая война будет бессмысленна и не имеющей оправдания. Просто: никакое государство не может жить без войны, это – одна из его неизбежных функций. – У отца Северьяна была очень чистая дикция. – Войнами – мы расплачиваемся за то, что живём государствами. Прежде войн – надо было бы упразднить все государства. Но это немислимо, пока не искоренена склонность людей к насилию и злу. Для защиты от насилия и созданы государства.

Подпоручик – как приподнимался со своего низкого сиденья, не поднявшись, как приосвещался, хотя не калили уже больше печку, и лампа горела ровно. А отец Северьян – вперялся в мысль саму, как бы какого ответвления не упустить:

– В обычной жизни тысячи злых движений из тысячи злых центров – направлены во всякие стороны беспорядочно, против обижаемых. Государство призвано эти движения сдерживать – но оно же плодит от себя новые, ещё более сильные, только однонаправленные. Оно же временами бросает их все в единую сторону – и это и есть война. Поэтому дилемма мир-война – это поверхностная дилемма поверхностных умов. Мол, только бы войны прекратить, и вот уже будет мир. Нет! Христианская молитва говорит: мир на земле и в человецех благоволение! Вот когда может наступить истинный мир: когда будет в *человецех благоволение* ! А иначе будут и без войны: душить, травить, морить, колоть под рёбра, жечь, топтать, плевать в лицо.

А выше их похрапывал беспечный Чернега, не знающий проблем, – и то был единственный звук на всём русско-германском фронте.

В печи уже не потрескивало, уголья калились беззвучно.

Отец Северьян выдыхал своё готовое:

– Война – не самый подлый вид зла и не самое злое зло. Например, несправедный суд, сжигающий оскорблённое сердце, – подлее. Или корыстное уголовное убийство, во всём замысле обнимаемое умом одного убийцы, и всё испытываемое жертвой в минуту убивания. Или – пытка палача. Когда ни крикнуть, ни отбиться, ни испытать защиты и борьбы. Или – предательство человека, которому доверились? Зло над вдовою или сиротами? Всё это – душевно грязней и страшней войны.

Лаженицын тёр лоб. Одно ухо его, ближе к печке, горело. Тёр лоб с медленным, облегчающим, но разборчивым приятием, он не умел ни быстро, ни односложно:

– Не самый подлый вид зла? Но самый массовый. Но от единичных убийств, от единичных несправедных судов остаются и жертвы единичные...

– Тысячерённые! Такие же. Они только не собраны к одному месту и одному короткому времени, как военные убийства. А если вспомним тирании? Грозного, Бирона или Петра? Или, вот, расправу со старообрядцами? Войны и не требовалось, успешно душили и без войны. Но в сумме годов и стран – никак не меньше. А может быть и больше.

Оживлялся Лаженицын. Светлел. И священник говорил всё легче, возвращаясь к своим годам, тридцати пяти-шести:

– Истинная дилемма: мир-зло. Война – только частный случай зла, сгущённого во времени и в пространстве. И тот, кто отрицает войну, не отрицая прежде государств, – лицемер. А кто не видит, что первичнее войны и опаснее войны всеобщее зло, разлитое по человеческим сердцам, – тот верхогляд. Истинная дилемма человечества: мир в сердцах – или зло в сердцах. Зло мирового сознания. А преодолеть зло мирового сознания – это не антивоенная демонстрация, пройтись по улице с тряпками лозунгов. Преодолеть – на это отпущено нам не поколение, не век, не эпоха – но вся история от Адама до Второго Пришествия. И даже за всю историю, всеми совместными силами мы так ещё и не сумели одолеть. И упрекнуть вы можете не того студента, и не того священника, кто добровольно пришёл в воюющую армию, – естественно прийти туда, где страждут многие, – а того, кто не борется со злом.

Да Саня – разве упрекать?... Да – себя самого только. Да он – обдумывал, облегчённо-неуверенно, боясь ступить чересчур поспешно на новом и таком важном месте.

Это была мысль обширная, тут было думать долго.

Из первых возражений вот разве:

– Но от этого всего убийство на войне разве простительнее убийства уголовного, замышленного? Или – пыточного, тиранского? Просто – ритуал тут есть, видимость заурядной службы, все так, не я один, – и вот этот ритуал обманывает нас. Успокаивает лживо.

– Но и ритуал на пустом месте не создашь, об этом подумайте. Всё ж ритуала убивать беззащитных так и не создали. И палачи трогаются умом, бывает. О палачестве, о неправых судах, о всеобщей разрозненности – фольклора нет. А о войне – есть, и какой! Война не только рознит, она находит и общее дружеское единство, и к жертвам зовёт – и идут же на

жертвы! Идя на войну, ведь вы и сами рискуете быть убитым. Нет, как хотите, война – не худший вид зла.

Саня думал.

Отец Северьян давал ему возразить. Ждал возражений, не слышал.

Да Саню знать надо было, он трудно переубеждался – не быстро кидался на новые убеждения, медленно расставался со старыми. Но когда уступал встречным доводам, то не досадливо, а как будто даже радостно. Он дорабатывал, чтоб не ответить ошибочно. На каждой паузе проверяясь:

– Это вы – неожиданно мне объяснили. Я не додумывался. Это мне облегчает очень. Но это бы – всем объяснить. Это остаётся всем – неизвестно.

Открыл печку и домешивал кочергой. Тепло освещённый угольями, молчал. Пришлись ему доводы священника.

Соединил их случай, ночной покой, душевная расположенность. Во всей бригаде с кем же, правда, и поговорить?

– Это – надо объяснять, – опять он. – А то ведь над церковью зубоскалят, как она освящает войну. Да вообще... Молодым солдатам в казармах втолакивают религию как принудительную, только убивают её. – Помешивал, смотрел в угольки. – Вообще... Утекло человечество из христианства как вода между пальцев. Было время – жертвами, смертями, несравнимой своей верой христиане – да, владели духом человечества. Но – раздорами, войнами, самодовольством – упустили... И уж наверно нет такой силы, чтобы вернуть...

– Если вы верите в Христа, – отозвался священник из темнеющей глубины землянки как издали, – то не будете подсчитывать число современных последователей его. Хотя б и двое нас осталось в целом мире христиан. “Не бойся, малое стадо, ибо я победил мир!” Он дал нам свободу заблудиться – Он оставил нам свободу и выбраться.

Саня помешивал. Тихо отозвался:

– О, отец Северьян. Много цитат произносится бодро. А дела-то совсем худо.

Сгрёб в последнюю малую кучку, она ещё дышала светом.

– И ещё в этом проигранном мировом положении – зачем каждое исповедание настаивает на своей исключительности и единственной правоте? И православные, и католики. И вообще христиане? Что они – единственные, и что выше? От этого только всё быстрее идёт к падению.

Гневаться ли – на отходы, на сомненья, на поиски? Не изумиться ли другому: как это само пробуждается даже у тех, к кому не приходила благовесть? Тысячелетиями копошатся плоские низкие существа – и вдруг озаряются догадкой: слушайте, люди! Да ведь *это всё* – не само собой! не нашими жалкими силами, – это *Кто-то над нами есть!...*

Уставясь, смотрел в последние угольки.

Как же можно предположить, чтобы Господь оставил на участь неправоверия все дальние раскинутые племена? Чтобы за всю историю Земли в одном только месте был просвещён один малый народ, потом надоумлены соседи его – и никогда никто больше? Так и оставлены жёлтый и чёрный континенты и все острова – погибать? Были и у них свои пророки – и что ж они – не от единого Бога? И те народы обречены на вечную тьму лишь потому, что не перенимают превосходную нашу веру? Христианин – разве может так понимать?

– Чем бы и доказать превосходство какой-нибудь религии – её незаносчивостью перед остальными.

– Но – нет веры без уверенности, что она – абсолютно истинна, – даже призвенивал голос отца Северьяна. – Исключительность моей веры не унижает веры других.

– Н-н-не знаю...

Это и любая секта, отколовшись, начинает настаивать на своей исключительной верности. В исключительности и нетерпимости – все движенья мировой истории. И чем могло бы христианство их превзойти – только отказом от исключительности, только возрастанием до многоприемлющего смысла. Допустить, что не вся мировая истина

захвачена нами одними. Не проклянём никого в меру его несовершенства.

Темнело в землянке.

Божья истина – как Правда-матушка из народной сказки. Выезжало семеро братьев на неё посмотреть и увидели с семи концов, с семи сторон и, воротясь, рассказывали все по-разному: кто называл её горою, кто лесом, кто людным городом. И за неправду рубили друг друга мечами булатными, все полегли до единого, и умирая – сыновьям наказывали рубиться до смерти ж... А видели-то все – одну и ту же Правду, да не смотрели хорошо.

Темнело.

Извне раздался сильный грозный предупреждающий звук.

А это был... как его... разрыв этого... артиллерийского снаряда.

## 7

### (Кадетские истоки)

Как две обезумевших лошади в общей упряжи, но лишённые управления, одна дёргая направо, другая налево, чураясь и сатанея друг от друга и от телеги, непременно разнесут её, перевернут, свалят с откоса и себя погубят, – так российская власть и российское общество, с тех пор как меж ними поселилось и всё разрасталось роковое недоверие, озлобление, ненависть, – разгоняли и несли Россию в бездну. И перехватить их, остановить – казалось, не было удалца.

И кто теперь объяснит: где ж это началось? кто начал? В непрерывном потоке истории всегда будет неправ тот, кто разрежет его в одном поперечном сечении и скажет: вот здесь! всё началось – отсюда!

Эта непримиримая рознь между властью и обществом – разве она началась с реакции Александра III? Уж тогда, не верней ли – с убийства Александра II? Но и то было седьмое покушение, а первым – каракозовский выстрел.

Никак не признать нам начало той розни – позднее декабристов.

А не на той ли розни уже погиб и Павел?

Есть любители уводить этот разрыв к первым немецким переодеваниям Петра – и у них большая правота. Тогда и к соборам Никона. Но будет с нас остановиться и на Александре II.

При первом сдвиге медлительных многоохватных, дальним глазом ещё не предсказуемых его реформ (вынужденных, как обзывают у нас, будто бывают полезные реформы, не вынужденные жизнью) – почему так поспешно вскричала “Молодая Россия”: “нам некогда ждать реформ!”, и властитель дум Чернышевский позвал к топору, и огнём полыхнул Каракозов? Почему такое совпадение, что эти энергичные, уверенные и безжалостные люди выступили на русскую общественную арену год в год с освобождением крестьян? Кем, чем так уверены были они, что медленным процессам не изменить истории, – и вот спешили нарушить постепенность разрушительным освобождением через взрыв? На что отвечал каракозовский выстрел? Всё-таки же не на освобождение крестьян, как оно ни опоздало?

Через два года после Каракозова уже сплёлся союз Бакунина с Нечаевым – а дальше перерыву не бывало, среди нечаевцев густилась уже и “Народная Воля”.

Один Достоевский спрашивал их тогда: что они так торопятся? Торопились ли они обогнать начатки конституции, которые готовил Александр II? В самый день убийства он утвердил создание преобразовательных комиссий с участием земств – действительно дни оставались террористам, чтобы сорвать рождение русской конституции.

В 1878 Иван Петрункевич пробовал на киевских переговорах убедить революционеров временно приостановить террор (а не отказаться от него, конечно!): де, погодите, не постреляйте немного, дайте нам, земцам, открыто и широко требовать реформ. Ответил ему – выстрел Засулич из Петербурга. Да через год созрела и “Народная Воля”, а в чьей-то голове уже складывалось из будущего ультиматума:

цареубийство в России очень популярно, оно вызывает радость и сочувствие.

Накалялся общественный воздух, и больше никто уже не смел и не хотел поперечить бомбистам.

Без терпеливого мелкого шрифта нам между собой не объясниться о собственной уворованной истории. Мы зовём в такую даль лишь самоотверженных читателей, главной частью – соотечественников. Этот уже поостывший, а в объёме немалый материал, как будто слабо связанный с обещанным в заглавии Октябрем Шестнадцатого, не утомит лишь того читателя, кому живы напряжённые Девятисотые годы русской истории, кто может оттуда извлечь уроки сегодняшние.

## ИЗ УЗЛОВ ПРЕДЫДУЩИХ

Ноябрь 1904

Июль 1906

На что рассчитывали они? Как могли они ждать, что убийством монарха получат уступки от его наследника? Только разве если был бы он раскислый. Но никакой нормальный человек не может простить убийства своего отца. Да за 13 лет царствования был ли хоть один важный закон подписан Александром III без воспоминанья: отец мой дал свободу, дал реформы – и его убили, значит, путь его был неверен. Как аукнется... За бомбистов получило всё русское общество реакцию 80-х годов, обратный толчок в до-севастопольское время. Охранные отделения только тогда и были созданы, в ответ. (Да впрочем, чего они стоили-то, *по-нашему!*)

Группа, готовившая теперь убийство и Александра III (1 марта 1887), объясняла свою платформу так:

Александр Ульянов: *Русская интеллигенция в настоящее время только в террористической форме может защитить своё право на мысль . Террор создан X IX столетием, это единственная форма защиты , к которой может прибегнуть меньшинство, сильное лишь духовной силой и сознанием своей правоты ... Я много думал над возражением, что русское общество не проявляет сочувствия к террору, даже враждебно относится к нему. Но это – недоразумение.*

И оказался прав: уже через 10-15 лет русское общество видело в терроре свою весну.

Осипанов: *Мы надеемся, что правительство уступит, если террор будет применяться нами систематически. Мы надеемся террором пробудить в массах интерес к внутренней политике . В народе образуются свои боевые группы для борьбы со своими частными угнетателями, постепенно всё это сольётся в общее восстание. А уж когда оно наступит - мы будем сдерживать жертвы и насилия, насколько можно...*

Как аукнется... Ведь и группа Ульянова-Осипанова образовалась в ответ на разгон митинга в память Добролюбова. (Хоть и к Добролюбову вернуться: тоже и он – не первый! – выдыхал в ветер этой ненависти.)

И оружием высказанная ненависть не утихла потом полстолетия. А между выстрелами теми и этими метался, припадал к земле, ронял очки, подымался, руки вздевал, уговаривал – и был осмеян неудачливый русский либерализм. Однако заметим: он не был третеец, он не беспристрастен был, не равно отзывался он на выстрелы и окрики с той и другой стороны, он даже не был и либерализмом сам. Русское образованное общество, давно ничего не прощавшее власти, радовалось, аплодировало левым террористам и требовало безраздельной амнистии всем им. Чем далее в девяностые и девятисотые годы, тем гневнее направлялось красноречие интеллигенции против правительства, но казалось недопустимым увещать

революционную молодёжь, сбивавшую с ног лекторов и запрещающую академические занятия.

Как ускорение Кориолиса имеет строго обусловленное направление на всей Земле, и у всех речных потоков, текущих с севера, так отклоняет воду, что подмываются и осыпаются всегда правые берега рек, а разлив идёт налево, – так и все формы демократического либерализма на Земле, сколько видно, ударяют всегда вправо, приглаживают всегда влево. Всегда левы их симпатии, налево способны переступить ноги, клевету клонятся головы слушать суждения – но позорно им раздаться вправо или принять хотя бы слово справа.

Если бы кадетский (и всемирный) либерализм имел бы оба уха и оба глаза развитых одинаково, а идти способен бы был по собственной твёрдой линии – он избежал бы своего бесславного поражения, своей жалкой судьбы (и, может быть, с крайнего лева не припечатали бы его “гнилым”).

Труднее всего прочерчивать *среднюю* линию общественного развития: не помогает, как на краях, горло, кулак, бомба, решётка. Средняя линия требует самого большого самообладания, самого твёрдого мужества, самого расчётливого терпения, самого точного знания.

Земство, как можно это слово понять наиболее широко, есть общественный союз всего населения данной местности; уже – лишь тех, кто связан с землёю, владеет ею или обрабатывает её, не горожан. В земской реформе 1864 года, тогда понимавшейся лишь как первая стадия, слово было истолковано наиболее узко: это было местное самоуправление, и главным образом помещичье.

Но оттого ли, что дворянство при добровольности земской работы пошло на неё не сплошь, корыстное не шло, именно потому, что не видело там себе корысти, а шли те, кто были проникнуты общественными заботами и жаждою справедливости; или, как напоминает виднейший и первейший земец Дмитрий Николаевич Шипов, оттого, что не в русской традиции отстаиванье *интересов* групп и классов, но совместные поиски *общей правды*, – земская идея проявилась выше обычной муниципальной: не просто самоуправляться, но служить требованиям общественной правды, постепенно ослаблять исторически сложившуюся социальную несправедливость. Члены земского союза создавали земские средства пропорционально своим доходам, расходовали же их – для классов недостаточных.

Первоначально созданное земство ещё не срослось с коренным нижним слоем – не имело волостного земства, которое бы стало подлинным крестьянским самоуправлением; ещё не распространялось и вширь – на нерусские имперские окраины; и вверх не поднималось выше губернских земств, не имея законных прав на межгубернские, всероссийские объединения. Однако все эти три направления роста были заложены в александровской реформе – и при терпеливом безреволюционном развитии мы может быть могли бы уже к концу XIX века иметь, при монархии, беспартийное общественное самоуправление с этической окраской.

Увы, Александр III, предполагая во всякой общественной самодеятельности зародыши революции, тормозя большинство начинаний своего худо возблагодарённого отца, остановил и исказил развитие земства: ужесточил административный надзор за ним и сузил ведение его; вместо постепенного уравнивания в нём сословий, напротив, выразил резче сословную группировку; ещё поволил дворянству, просвещённостью своей отворотившемуся от самодержавия, и оставил в униженном положении, даже с телесными наказаниями – крестьянство, которое одно только и быть могло естественной опорой монархии. Однако земство и в этих условиях ещё долго оставалось верно идеям реформ – совместной работе передового общества с исторической властью. Постоянно обставленное недоверием власти, подозрениями в неблагонадёжности, земство всё более изощрялось (и раздражалось) в избегании, обходах и хитростях

против правительственных помех. Но надежды общества всё же дождаться от власти понимания и сотрудничества ещё теплились и пеплились, и едва воцарился Николай – к нему с верой обратились многие земства в верноподданных адресах. Земцы предполагали, что молодой Государь не знает настроения общественных кругов, незнаком с нуждами населения и охотно примет предложения и записки.

И таких моментов, когда вот, кажется, доступно было умирить безумный раздор власти и общества, повести их к созидательному согласию, мигающими тепло-оранжевыми фонариками немало расставлено на русском пути за столетие. Но для того надо: себя – придержать, о *другом* – подумать с доверием. Власти: а может, общество отчасти и доброго хочет? может, я понимаю в своей стране не всё? Обществу: а может, власть не вовсе дурна? привычная народу, устойчивая в действиях, вознесенная над партиями, – быть может она своей стране не враг, а в чём-то благодеяние?

Нет, уж так заведено, что в государственной жизни ещё резче, чем в частной, добровольные уступки и самоограничение высмеяны как глупость и простота.

Николай II ответил своей знаменитой фразой:

...в земских собраниях увлеклись бессмысленными мечтаниями об участии представителей земства в делах внутреннего управления. Я буду охранять начала самодержавия так же твёрдо и неуклонно, как охранял его мой незабвенный покойный родитель.

Настолько незаконным считалось всякое межгубернское объединение земцев, что в 1896 новоназначенный перед коронацией министр внутренних дел Горемыкин запретил председателям губернских земских управ даже обсуждение: как бы, вместо пустых трат на подносы и солонки (хлеб-соль) ото всех земств, сложиться на единое благотворительное дело. И большою льготою для земств разрешил им собирать совещания на частных квартирах, чтоб только ни слова единого о тех совещаниях не попало в печать (а впрочем, по понятиям 70-х годов XX века, – конечно, льгота, и немалая).

Министр внутренних дел Сипягин натужно крепил приказный строй, как он понимал пользу своего Государя и страны, был убит террористами в апреле 1902 – и затем ещё два года ту же линию вёл умно-властный Плеве, пока не был убит и он под растущее ликование общества. Вился между ними маккиавелистый Витте, слишком хитрый министр для этой страны: всё понимая, он ничем не хотел рискнуть или пособить. Он составлял докладную записку Государю, что земский строй несовместим с самодержавием, и весь тон её был – нельзя же подрывать самодержавие, а глубинный смысл, рассчитанный на сто ходов вперёд: нельзя же самодержавию и дальше сдерживать земство! – но об этом должны были догадаться другие, не он досказать.

Всё тою же цепенеющей, неподвижной идеей – как задержать развитие, как оставить жизнь прежнюю, переходила российская власть в новый XX век, теряя уважение общества, возмущая бессмыслицей порядка управления и ненаказуемым произволом тупеющих местных властей. Расширение земских прав было останавливаемо. Студенческие волнения 1899 и 1901 резко рассорили власть и общество: в буйных протестах молодёжи либералы любили самих себя, не устоявших так в своё время. Убийство министра просвещения студентом (в 1901) стало для общества символом справедливости, отдача мятежных студентов в солдаты – символом тирании. 1902 ещё более обострил разлад между властью и обществом, студенческое движение бушевало уже на площадях, а напористый Плеве при извивах Витте отнимал у земства даже коренные земские вопросы – даже к “совещаниям о нуждах сельскохозяйственной промышленности” не хотел допустить земских собраний. Он-то имел в виду обойтись особенно без “третьего элемента” земств – наёмных специалистов в земских управах, среди которых и правда устраивались многие революционные люди, по выражению Плеве:

когорты санкюлотов и доктринёров, чиновников второго разбора, чей стиль

отработан в тюремных досугах.

Однако земство естественно было уязвлено и взбудоражено: ведь если оно устранялось даже от прямых сельскохозяйственных вопросов, то – вообще быть или не быть земству дальше? В мае 1902 ведущие земцы собрали в Москве на квартире у Шипова, на Собачьей площадке, частное межгубернское (незаконное) совещание. Оно приняло очень умеренные, благоразумные решения: как, не бойкотировав правительственных губернских совещаний, суметь связать их с деятельностью земств и тем загладить грубую неловкость правительства. Но указывало, что для успешного решения всех частных сельскохозяйственных вопросов необходимо

поднять личность русского крестьянина, уравнивать его в правах с лицами других сословий, оградить правильной формой суда, отменить телесные наказания, расширить просвещение. И построить вне сословий всё земское представительство.

Необъятная гора задач заграждала России путь в новый век. Но терпеливое земство не кралось взорвать эту гору, а протягивало деятельные руки – разбирать. Для умных людей, озабоченных благообращением отечества, постепенность в изменениях неизбежна.

Шипов: Если желать успеха делу, нельзя не считаться со взглядами лиц, к которым обращаешься. Необходимость какой-либо реформы должна быть предварительно не только широко осознана обществом, но и государственное руководство должно быть с нею примирено.

Однако глядя так и действуя так, земцы всё равно не уговорили верховной власти. По домоганию Плеве участники этого самовольного совещания на Собачьей площадке получили высочайший выговор и предупреждение, что могут быть устранены от всякой общественной деятельности. Тем более было отказано земствам в их просьбе допускать их к предварительному – прежде Государя – обсуждению законопроектов, имеющих местное значение. Высочайший манифест в феврале 1903 обещал глушить

смуту, посеянную отчасти замыслами, враждебными государственному порядку, отчасти увлечением началами, чуждыми русской жизни.

Самодержавие так и обещало: оно не поступится ничем! оно не прислушается и к самым доброжелательным подданным! Ибо только Оно одно (без народного Собора, с приближёнными бюрократами, обсевшими лестницу взаимных привилегий) ведаёт подлинные нужды России.

Но, теряя надежду на добрую волю российской власти, тем упорнее отстаивало и земство своё общественное понимание. Всё более складывался *незаконный* межгубернский общеземский союз; через личные общения легко добивались во всех губерниях и уездах – однотипных резолюций, однотипных ходатайств, однотипной неуступчивости, в свою очередь всё более раздражавшей и власть.

Тут – незаметно, нерезко, как и все истоки истории, началось перерождение земской среды: раскол земства, очень неравный, на разлитое большинство и крохотное меньшинство; и нарастающее общение, объединение этого большинства с не-земцами – кругами городских самоуправлений, кругами судейского сословия, особенно адвокатами, с интеллигенцией профессиональной – в общее формирование *конституционалистов*, а затем в июле 1903 в увлекательную игру, называемую “Союз Освобождения”. Коль скоро деятельность не дозволялась – ей приходилось быть нелегальной. Коль скоро все революционеры успешно имели конспиративные партии – отчего бы такую партию не завести либералам? Но так как им не надо изготавливать бомбы и хранить их, то им не надо и покидать своей обычной жизни – не надо скрываться под чужими именами, не надо уходить из своих удобных квартир, и эмигрировать не надо, и испытывать тяготы партийной дисциплины: всякий, кто сочувствует боевому “Союзу”, – вот в нём уже и состоит, и никаких обязанностей тяжелей того с него не спросится. И вот всё *общество* уже и состояло в Союзе, куда не



требовалось формального приёма. Правительству не надо было трудиться узнавать состав Союза, потому что все и состояли. Союз был нелегальный, а – почти просвещенный, всем известный и как будто уже и не криминальный. Всё, что нуждались они сказать, но нельзя было по русским условиям, печаталось за границей в журнале “Освобождение” и с большой свободой распространялось по России.

Не-земцы были в курсе всех западных социалистических учений, течений, решений, всё читали, знали, обо всём судили, могли очень уверенно критиковать и сравнивать Россию, и одного только не имели – практического государственного опыта, как делать и строить, если завтра вдруг придётся самим (да не очень к тому и тянулись). Напротив, земцы были единственным в России слоем, кроме царских бюрократов, кто уже имел долгий, хотя и местный, опыт государственного управления, и склонность к тому имел, и землю знал и чувствовал, и коренное население России. Однако по бойкости и эрудированности не-земцы брали верх, больше влияли и больше направляли.

Союз начал с программы из двух слов: долой самодержавие! Это всех объединит! Они полагали, что вся масса тёмного неграмотного народа только и жаждет политических свобод. Лишь бы свергнуть монархию! – а там дальше волшебное всеведущее Учредительное Собрание, состоящее из сверхлюдей, точно выразит волю народа, разработает всё остальное. Царствующий монарх должен быть уже отныне, прежде Учредительного Собрания, устранён от всякого влияния на государственную жизнь. От существующего строя не требовалось ни перестраиваться, ни улучшаться, а только: сгинуть. *Освободенцы* – то есть большинство российской интеллигенции, весь либеральный цвет её, и не хотели никакого примирения с властью, и тактика их была: нигде не пропускать ни одного удобного случая обострить конфликт. Они и не пытались искать, что из русской действительности и её учреждений может, преобразовавшись, войти в будущее: всё должно было обрубиться и начисто замениться. Они мыслили (теоретически изучили) Конституцию с большой буквы – введённая в России, она решит все проблемы.

Прошёл год – оказалось, что программа “долой самодержавие” не увлекла ни крестьянство, ни рабочих. Тогда разработали программу обширнее, где тех и других завлекали практическими обещаниями по их части, а весь народ в целом, вероятно же изнывающий от страсти к политической жизни, – набором буйных свобод, которые её обеспечат. В трёх десятках пунктов было собрано всё необходимое, чтобы составить жизнь по лучшим западным образцам. (Против которых невозможно найти разумные аргументы, пока не испытаешь их на своей стране и на себе.)

Принцип “долой самодержавие” как будто давал объединение со всеми, кто только хотел. Русский радикализм (он продолжал называть себя либерализмом) оказывался солидарен со всеми революционными направлениями, а поэтому не мог осуждать террор, даже порицал тех, кто порицает террор. Русский радикализм принял принцип, что если насилие направлено против врага – оно оправдывается. Оправдывались все политические волнения, стачки и погромы помещий. Чтобы смести самодержавную власть, была пригодна, наконец, хотя бы и революция – во всяком случае меньшее зло, чем самодержавие.

Редактор “Освобождения” многоищущий Пётр Струве к тому времени чем только не перевлёкся, где только не перебивал: и основывал РСДРП (и манифест писал), и во Пскове совещался с Лениным-Мартовым об “Искре”, и соглашался и расходился с Плехановым, и вот теперь в органе свободных либералов печатал:

Русскому либерализму не поздно ещё стать союзником социал-демократии.

А вот и поздно! – II съезд РСДРП оттолкнул либералов-освободенцев, чем глубоко огорчил и уязвил их. И в октябре 1904 ни большевики, ни меньшевики не поехали в Париж на 1-ю (и последнюю) конференцию оппозиционных партий, где Милюков, Струве и князь Долгоруков, по принципу солидарности с революционными

течениями, заседали с эсерами, с Азефом и с пораженцами, кто на японские деньги закупал оружие и слал его в Петербург поднимать восстание, пользуясь войною. (Так как в борьбе с самодержавием все средства хороши, то хоть и узнать бы о японских деньгах – почему не взять?)

Императорское правительство ещё существовало, но в глазах освобожденцев как бы уже и не существовало. Чего они никак не представляли, это – чтоб между нынешней властью и населением кроме жестоких противоречий была ещё и жестокая связь гребцов одного корабля: идти ко дну – так всем. Чего Освободительное Движение вообразить не могло и не желало – это достичь своих целей плавной эволюцией.

Но именно такой путь искало осуществить земское меньшинство – меньшинство утлое, однако вёл его Шипов – председатель московской губернской земской управы и как бы признанный глава ещё не созданного всероссийского земства; были тут два примечательных князя Трубецких и три будущих председателя Государственной Думы.

Миропонимание и общественная программа формулировались Д. Н. Шиповым так.

Смысл нашей жизни – творить не свою волю, но уяснить себе смысл миродержавного начала. При этом, хотя внутреннее развитие личности по своей важности и первенствует перед общественным развитием (не может быть подлинного прогресса, пока не переменится строй чувств и мыслей большинства), но усовершенствование форм социальной жизни – тоже необходимое условие. Эти два развития не нужно противопоставлять, и христианин не имеет права быть равнодушен к укладу общественной жизни. Рационализм же повышенно внимателен к материальным потребностям человека и пренебрегает его духовной сущностью. Только так и могло возникнуть учение, утверждающее, что всякий общественный уклад есть плод естественно-исторического процесса, а стало быть не зависит от злой или доброй воли отдельных людей, от заблуждений и ошибок целых поколений; что главные стимулы общественной и частной жизни – *интересы*. Из отстаивания прежде всего интересов людей и групп населения вытекает вся современная западная парламентарная система, с её политическими партиями, их постоянною борьбой, погоней за большинством, и с конституциями как регламентами этой борьбы. Вся эта система, где правовая идея поставлена выше этической, – за пределами христианства и христианской культуры. А лозунги народовластия, народоправства наиболее мутят людской покой, возбуждают втягиваться в борьбу и отстаивать свои права, иногда и совсем забывая о духовной стороне жизни.

С другой стороны, неверно приписывать христианству взгляд, что всякая власть – божественного происхождения и надо покорно принимать ту, что есть. Государственная власть – земного происхождения и так же несёт на себе отпечаток людских воль, ошибок и недостатков. Власть существует повсюду – из-за слабости человеческой природы: неспособности человека обойтись без организованного порядка жизни и принуждения. Но и сама власть носит в себе ту же человеческую слабость, тем сильнее, что именно власть развращает человека, – и тем сильнее, чем духовно слабее властвующий. Власть – это безысходное заклятье, она не может освободиться от порока полностью, но лишь более или менее. Поэтому христианин должен быть деятелен в своих усилиях улучшить власть и улучшить государство.

Но борьбой интересов и классов не осуществить общего блага. И права и свободу – можно обеспечить только моральной солидарностью всех. Усиленная борьба за политические права, считает Шипов, чужда духу русского народа – и надо избегнуть его вовлечения в азарт политической борьбы. Русские искони думали не о борьбе с властью, но о совокупной с ней деятельности для устройства жизни по-божески. Так же думали и цари древней Руси, не отделявшие себя от народа. “Самодержавие” это значит: независимость от других государей, а вовсе не произвол. Прежние государи искали творить не свою волю, но выражать соборную совесть народа – и ещё не

утрачено восстановить дух того строя. Шипов утверждает, что когда у нас собирались земские соборы, то не происходило борьбы между царём и соборами, и не известны случаи, когда бы царь поступил в противность соборному мнению: разойдясь с собором, царь только ослабил бы свой авторитет. Для такого государства, где и правящие и подчинённые должны прежде всего преследовать не интересы, а стремиться к правде отношений, Шипов находит наилучшей формой правления именно монархию – потому что наследственный монарх стоит вне столкновений всяких групповых интересов. Но выше своей власти он должен чувствовать водворенье правды Божьей на земле, своё правление понимать как служение народу и постоянно согласовывать свои решения с соборной совестью народа в виде народного представительства. И такой строй – выше конституционного, ибо предполагает не борьбу между Государем и обществом, не драку между партиями, но согласные поиски добра. Именно послеалександровское земство, уже несущее в себе нравственную идею, может и должно возродить в новой форме Земские соборы, установить *государственно-земский строй*. И всего этого достичь в духе терпеливого убеждения и взаимной любви.

Увы, задача эта очень трудна, ибо на переломе XIX-XX веков в России носители власти утратили веру в себя. А с другой стороны,

этому обществу – лишённому нравственной силы и способности к дружной работе, власть и не может доверять. В обществе преобладает отрицательное отношение и к вере отцов, и к истории, быту и пониманиям своего народа. Либеральное направление так же ложно и крайне, как и правительственное. А всё же можно устранять и устранить недоверие между властью и обществом, и достичь их живого взаимодействия.

Власти должны перестать считать, что самодеятельность общества подрывает самодержавие. Общество уже сегодня должно самостоятельно заведывать местными потребностями и не быть под административным произволом и личным усмотрением. Проекты государственных учреждений должны быть доступны общественной критике до утверждения их Государем.

Всего-то, для начала! Неужели – много, Ваше Императорское Величество? Шипов не предлагает конституции, он не зовёт к политической борьбе – но лишь к моральной солидарности с народом. Неужели земцы устроят в своей местности хуже, чем из Петербурга укажут бюрократы, никогда не знавшие земли?

Так думал и действовал Шипов четыре срока в своей земской должности, и в начале 1904 был избран на пятое трёхлетие. Авторитет его не только в московском, но и всероссийском земстве был уже таков, что даже при нарастающих спорах и расколе его оппоненты голосовали за него первого и постоянно желали видеть председателем именно его. (Душевная чистота, внимающая мягкость, основательность мысли и твёрдость поведения – обдают и современного читателя со страниц его медлительных записок.) В том же духе любви, внимания и добра пытался Шипов стоять перед министром Плеве, и был им – сначала обманут, затем подвергнут притеснениям, перлюстрации писем, затем – неутверждению в пятом избрании:

самозванец “всероссийского земства”; его деятельность по расширению компетенции земств и объединению их вредна в политическом отношении.

Весной 1904 Шипову осталось уйти от земских дел, удалиться в своё волоколамское имение. А 15 июля Плеве был убит террористом.

Это известие произвело на меня угнетающее впечатление. Моему мышлению и чувству всегда было непонятно, как можно, стремясь к переустройству уклада жизни на началах добра и высшей правды, идти путём преступного убийства.

А Струве и давно пророчил так:

Жизнь министра внутренних дел застрахована лишь в меру технических трудностей его умерщвления.

От убийства непримиримого Плеве – надежды либералов вспыхнули багряным

протуберанцем, по всей России наступило ликование, политическая весна. А шла ж ещё и японская война – начатая без ясной причины, чужая, далёкая и позорно-неудачная, настолько чужая и настолько позорная, что оскорбления от неё уже перешли меру, стало даже приятно позориться и дальше, и жаждать поражений, чтобы в них крахнуло самодержавие и должно было бы пойти на внутренние уступки. В эти месяцы родилось слово режим вместо “государственный строй”, как нечто сплетённое из палачей, карьеристов и воров, и в столичном театре публика кричала балерине, любовнице великого князя Алексея Александровича, возглавлявшего морское ведомство: “Пошла вон! На тебе висят наши броненосцы!” “Освобождение” писало: господа военные, “нам не нужно вашей бессмысленной храбрости в Манчжурии, а ваше политическое дерзание в России; обратитесь против истинного врага, он в Петербурге, Москве, это самодержавие!” В обществе не было никакого страха перед властью (да теперь-то хорошо видно, что и нечего было им бояться), на улицах произносились публичные речи против правительства и считалось, что террористы – творят *народное дело* .

Правительство сразу сдало, сразу размякло и ослабло, как будто на одном Плеве держалось, как будто никогда не имело никакой самодвижущей программы (да и вправду не имело), а лишь рассчитывало силы: пока держишься – дави, а рука расслабнет – улыбайся и уступай. Революционеры же цедили сквозь зубы, что эта либеральная сволочь опять пожнёт плоды их революционного пота, опять смажет революцию в реформы.

И снова замигала на русском пути тёплая точка возможного согласия. Летом 1904 министром внутренних дел был назначен князь Святополк-Мирский, хотя и мало подготовленный к этой деятельности и не сильный, но искренно заявивший в первой же речи, в сентябре:

Плодотворность правительственного труда основана на благожелательном и доверчивом отношении к общественным учреждениям и к населению. Без взаимного доверия нельзя ожидать прочного успеха в устроении государства.

Да это и была программа Шипова и его меньшинства! Но уступку министра подхватило и всё земское большинство, посыпались телеграммы ему – и тут же стали готовить давно задуманный общеземский (видных, но никем не уполномоченных земцев) съезд. Именно уступчивость Святополк-Мирского толкнула земцев требовать большего, чем они хотели раньше: получить не обещания очередного министра, но правовые гарантии. Всё оргбюро земского съезда были конституционалисты, почти все – члены Союза Освобождения, и проголосовали против одного Шипова (впрочем, прося его остаться председателем): снять предлагавшиеся робкие вопросы о недостатках земских учреждений, об условиях сельского быта, о народном образовании и поставить вопрос *об общих условиях нашей государственной жизни* . Доверчивый Святополк-Мирский по прежнему представлению Шипова ходатайствовал перед Государем разрешить съезд, посвящённый местным вопросам, а между тем съезд уже превращался в подобие желанного заветного Учредительного Собрания – и всё общество стихло, напряжённо ожидая его. А тут Государь был всё занят военными парадом, и когда Святополк доложил ему о своей ошибке, о невольном обмане – было уже поздно: уже съезжались в Петербург сто земцев. В последнюю минуту изнехотя им разрешён был статут частного совещания. 6-9 ноября они совещались на частных квартирах, меняя и тая адреса, впрочем полиция вежливо охраняла их собрания и доставляла им приветственные телеграммы с разных концов страны, даже от политических ссыльных. (В кулуарах сновал с программой Союза Освобождения Милюков, воротившийся с пораженческой парижской конференции.) Шипов не уклонялся председательствовать, надеясь повлиять примиряюще на совещание, начатое с убеждением:

Если не дано будет правильно обоснованных начал, Россия пойдёт с неизбежностью к революции.

...Ненормальность нынешнего государственного управления... Общество устранено... Централизация... Нет гарантий охраны прав всех и каждого... Свобода совести, вероисповедания, слова, печати, собраний, союзов... Неприкосновенность жилища... Независимая судебная власть... Уголовная ответственность должностных лиц... Уравнивание сословий и наций... – весь этот реестр из программы Союза не вызывал расхождений в земском съезде. И всё же произошёл раскол: оговорить ли и требовать, чтобы народное представительство было *законодательное*, утверждало бы бюджет и контролировало администрацию (большинство)? Или только *участвовало в законодательстве*, для чего Государственный Совет превратить в Государственно-Земский, а его бюрократический назначенный состав – заместить многостепенно выбранными, от волости до губернии, земскими представителями (меньшинство)?

Аргументы Шипова звучат особенно интересно ныне, когда все мы приняли точку зрения его противников, когда всем нам прямые равные тайные выборы кажутся верхом свободы и справедливости. Шипов указывает:

Народное представительство должно выражать не случайно сложившееся во время выборов большинство избирателей, а – действительное направление народного духа и общественного сознания, опираясь на которые власть только и может получить нравственный авторитет. А для этого надо привлечь в состав народного представительства наиболее зрелые силы народа, которые понимали бы свою деятельность как нравственный долг устройства жизни, а не как проявление народовластия. При всеобщих прямых выборах личности кандидатов остаются избирателям практически не известными, и избиратели голосуют за партийные программы, но по сути не разбираются и в них, а голосуют за грубые партийные лозунги, возбуждающие эгоистические инстинкты и интересы. Всё население, лишь ко вреду, втягивается в политическую борьбу. Да и неверно это предположение современного конституционного государства, что каждый гражданин способен судить обо всех вопросах, предстоящих народному представительству. Нет, для сложных вопросов государственной жизни члены народного представительства должны обладать жизненным опытом и глубоким мирозерцанием. Чем менее просвещён человек умственно и духовно, тем с большей самоуверенностью и легкомыслием он готов разрешать самые сложные проблемы жизни; чем большим развитием ума и духа обладает человек, тем осторожнее и осмотрительнее относится он к устройению жизни общественной и частной. Чем менее опытен человек в жизни и государственном деле, тем более он склонен к восприятию самых крайних политических и социальных увлечений; чем более человек имеет сведений и жизненного опыта, тем более сознаёт он неосуществимость крайних учений. А кроме того народное представительство должно вносить в государственную жизнь знание местных потребностей, назревающих в стране. Для всего этого лучшей школой является предварительное участие в местном, земском и городском, самоуправлении.

И потому вместо всеобщих прямых выборов западно-парламентского образца Шипов предлагал трёхстепенные внесословные общие выборы хорошо знакомых избирателям достойных способных местных деятелей: в волостях избирается уездное земское собрание, в уездах – губернское, в губерниях – всероссийское, каждый раз – с особым учётом крупных городов, и с правом кооптации до одной пятой состава на каждом уровне,

чтобы не были упущены весьма полезные деятели, не избранные по случайным причинам: перевеса числа достойных кандидатов над числом допустимых гласных, неблагоприятные личные обстоятельства и т. д.

И во всех стадиях выборов обеспечить пропорциональность, так чтобы представители меньшинств нигде не были исключены или заглушены.

Затем: министры *назначаются* Государем, но из числа народных

представителей; Государственно-Земский Совет может давать им запросы, но *ответственны* они – лишь перед Государем. На возражение большинства:

Так значит, остаётся абсолютизм монархической власти? народному представительству – лишь совещательный голос?

Шипов отвечал:

Да, с правовой точки зрения – так, если считать, что цель народного представительства – ограничение царской власти. Но если иметь в виду их *тесное единение*, если над монархом тяготеет тот же нравственный долг, что и над народным представительством, – тогда как же мог бы монарх не посчитаться с ним? и тогда избыточен вопрос – решающий или совещательный голос у народного представительства.

Увы, ни монарха такого не было на Руси в 1904 году, ни таких народных представителей не дало бы избрать шумливое образованное общество.

В том-то и дело, что раскол земского съезда был глубже вопроса о форме выборов или правах народного представительства, глубже практического и организационного, а уходил к корням мировоззрения. Шипов указывал большинству, что класть в основу реформы идею *прав и гарантий* значит вытравлять и выветривать из народного сознания ещё сохранившую в нём религиозно-нравственную идею. Оппоненты из большинства за то назвали его славянофилом, хотя не признавал он ни божественного происхождения самодержавия, ни превосходства православия над другими христианствами, – но уж так усвоено было полувеком раньше (да и полувеком позже), что всякий, кто хочет уклониться от прямого следования западным образцам, всякий, кто допускает, что путь России (или другого какого континента) может оказаться своеобразным, – есть *реакционер, славянофил*.

Этот раскол на квартире Владимира Набокова, ещё не до конца осознанный присутствующими, как будто спор об одном пункте из дюжины, раскол на земцев-конституционалистов и собственно-земцев, так сказать, если выругаться, на земских большевиков и земских меньшевиков (игра событий, мало запомненная в нашей истории), тем отличался, однако, от раскола РСДРП двумя годами ранее, что тут большинство настаивало непременно включить в резолюцию параллельно также и мнение меньшинства. И тем, что большинство (а это и была уже партия кадетов, но ещё себя не осознавшая) желало мирных реформ, желало эволюции.

Святополк-Мирскому была подана записка об этих желательных реформах.

...Нынешняя война вскрыла язвы бюрократического строя глубже, чем севастопольская... Старый порядок осуждён человеческим и Божеским судом... Как в эпоху освобождения крестьян, правительство должно стоять впереди, а не позади общества...

Так мигала, миганием уговаривала новая тёплая точка. Хотя съезд переступил свои полномочия и границы, но, кажется, приотворялась давно потерянная возможность доброжелательного соглашения общества и власти. Святополк-Мирский, рискуя постом министра внутренних дел, представил Государю необходимость начать реформы, с искренним намерением далеко в них пойти. Да Государь как будто и не возражал, только мялся, только не сразу соглашался, по своей недоверчивости и скрытности.

А тем временем окрылённые победители – земское большинство, кинулось по России рассказывать о победе и, тут уже сливаясь с упоённым Союзом Освобождения, по его директивам из-за границы, и пользуясь святополковым же облегчением собраний и слова (над которым они же и смеялись), раскатили в единый месяц по всей России *банкетную кампанию*: в каждом крупном городе собирались многолюдно, шумно, в смешанном случайном составе, вскладчину, белоснежные скатерти, духи, шампанское, и, раскачивая друг друга всё большею смелостью тостов, седовласый профессор о заветах Вольтера, конопатый землемер о программе с-д, провозглашали во

торжество общеземского съезда уже не то, что он предлагал, но – долой самодержавие! но наполняя лёгкие радостью – да здравствует Учредительное Собрание! – как если бы страна уже корчилась в развалинах и надо же было учредить хоть какую-нибудь власть.

Что за праздник смелых либералов! Что за радость – выйти перед длинным белым столом и, немного уже пьяному, говорить против власти, ничего не боясь, и почтить своим тостом отважных революционеров, принесших России такую свободу!

А с трона увиделось: вот чего на самом деле земцы хотят, лишь притворяются о соглашении. Уступить сейчас этому шуму – значит скоро потерять всё. (Да ведь и правда.)

И 12 декабря Николай II отменил пункт о всяком вообще, каком бы то ни было народном представительстве, хоть совещательном, хоть законодательном. Остальная программа земцев, по сути, принималась, но обществу это уже не годилось, тем более что сборища были осуждены и запрещалось обсуждать государственные вопросы. И Святополк подал в отставку.

Точка накалилась до багровости и лопнула в темноту.

А события быстро катились. 9 января в Петербурге расстреливали рабочую демонстрацию. 5 февраля был убит московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович. И сразу – новый язык и новые понятия появились у российского монарха. Если 12 декабря писалось:

Земские и городские учреждения и общества обязаны не касаться тех вопросов, на обсуждение которых не имеют законных полномочий,

то в Указе 18 февраля вдруг:

В неустанном попечении об усовершенствовании государственного благоустройства... признали Мы за благо облегчить нашим верноподданным возможность быть Нами услышанными. Совету Министров рассматривать и обсуждать поступающие виды и предположения от частных лиц и учреждений...

За что карали 12 декабря, за то благодарили 18 февраля. И – начинали подготовку Государственной Думы. Так отступала сила, признающая только силу.

А в открывшуюся калитку хлынул Союз Освобождения, который *полнее* представлял Россию, чем отсталые земцы, – и вот уже ворота разносил! Союз не имел дисциплины, организации, но все замыслы его тотчас подхватывались сочувствующей интеллигенцией, и в этом была его сила. По его директивам стали создаваться в стране союзы профессий, сперва только интеллигентных – адвокатов, писателей, актёров, профессоров, учителей, – но не для защиты профессиональных интересов, а – для подачи трафаретных единых предложений: о всеобщем избирательном праве, Учредительном Собрании, конституции. Это раскинулось и на все и на всякие другие профессии, какие только можно было словами назвать, – союзы ветеринарный, крестьянский, еврейского равноправия, – и все подавали одни и те же предложения, а вот слились и в единый Союз союзов, который и явился уже собственно волей народа (Милюков) – а чем же другим? (Разве что по Троцкому: “земской уздой, накинутой освобожденцами на демократическую интеллигенцию”.) Главная задача была – раскалить общественную обстановку! Сам Союз Освобождения давно уже потерял внутренний паритет между земцами и не-земцами, всё больше затоплялся левыми интеллигентами и разрастался налево, налево, налево. В апреле 1905 состоялось ещё одно общеземское совещание – всё под влиянием освобожденцев, банкетов, резолюций, *превосходное в радикализме, устанавливая новый политический рекорд* (Милюков).

Неповоротливая группа Шипова ушла с совещания, сметена с дороги истории.

Что за изумительное сладчайшее время наступило для мыслящей русской интеллигенции! Самодельный кружок седовласых законовевов – Муромцева, Ковалевского, вместе с учёной молодёжью сидел, под тяжёлую пальбу Цусимы вырабатывая будущую русскую конституцию (где предпочитались выборы прямые,

чтобы избранные были меньше связаны с местными условиями, меньше обязаны своим избирателям, и оказались бы не деревенские, а свободные высоко-культурные люди). Уже собирались пожертвования на будущую партию интеллигенции от богатых дам и широкощедрых купцов. В лучших особняках разряженная богатая свободная публика с замиранием сердца слушала новых модных смелых лекторов, среди них – полулегендарного, очень революционного Милюкова, чья учёная карьера десять лет назад прервалась предвещанием российской конституции. С тех пор он жестоко преследовался: за лекцию студентам с выводом о неизбежности террора стеснён был в петербургском жительство, лишь на день приезжал в столицу, а жил в Удельной; ссылался далеко в Рязань; но более всего ездил по заграницам, читал лекции в Англии и в Америке об извечных пороках России и бушевал в “Освобождении” под псевдонимом. Он много повидал и читал заграничного, сокасался с социализмом (и даже с Лениным), и вот – как всегда в истории приходит на нужное место нужный человек и в нужном возрасте – сорокапятилетний Милюков спустился в Россию перед созданием новой партии, чтобы стать её лидером, в лекционных гастролях по Москве и провинции выдвигал увлекательную идею *примирить конституцию и революцию*, либералов и революционеров, и если университетский друг его Гучков обвинял Милюкова в книжности, неорганичности, беспочвенности для России, то, справедливо отмечает Милюков,

общие симпатии были, конечно, на моей стороне.

Обстановка призываемой, приближаемой, изо всех интеллигентских сил нагнетаемой революции – *симуляции революции* (её ещё нет, но вести себя так, как будто она уже началась и освободила нас!), всё больше и больше нравилась передовому русскому обществу. Союз союзов проводил съезды чуть не по два раза в месяц и призывал своих членов повсюду в стране не просить свободу, а *брать её, явочным порядком*, как тогда говорилось: раздвигать локтями, искать поводов для демонстраций, для политической борьбы, устраивать совещания, собрания, митинги. Председателем одного такого съезда вынесло Милюкова, и он воззвал:

Надежда, что нас услышат, теперь отнята. Все средства законны против нынешнего правительства! Мы обращаемся ко всему, что есть в народе способного отозваться на грубый удар, – всеми силами добивайтесь немедленного устранения захватившей власть разбойничьей шайки и поставьте на её место Учредительное Собрание!

Эту *разбойничью шайку* не зря спустил с пера расчетливый Милюков: она помогла ему прочно восстановить свою репутацию слева – а то обвиняли его уже, что он – примиритель направо, а с таким клеймом в такое время невозможно было жить. Эта “разбойничья шайка”, как сам он считает, и провела границу между ним и Гучковым, между смелым *кадетизмом* и соглашательским *октябризмом*. Милюков убеждался всё более, что делать современную историю – лестно, интересно и ничуть не трудней, чем изучать минувшую.

Симуляция революции принимала всё большее правдоподобие. В начале июля собралось в Москве, в громадном княжеском дворце Долгоруковых в Знаменском переулке, новое земско-городское совещание, уже без шиповского меньшинства. Полиция, пришедшая распустить “явочный” съезд, была отвергнута, ибо собравшиеся “выполняли царскую волю” от 18 февраля:

облегчить Нашим верноподданым возможность быть Нами услышанными.

А резолюция их была:

войти в ближайшее общение с народными массами для совместного с народом обсуждения предстоящей политической реформы.

А понималось – просто собрать Учредительное Собрание тоже *явочным порядком*. Эти конституционалисты особенно рассчитывали разжечь народные массы на аграрном и рабочем вопросе. Да ещё и все виды социалистов в те же самые недели



занимались развязыванием революции в массах, а боевые эсеровские дружины по разным губерниям и сельским местам убивали околоточных, урядников и даже губернаторов, – и массы всё более сознательно откликались забастовками и поджогами помещичьих усадеб – “иллюминациями”, как шутил Герценштейн. Всё шло таким образом к Учредительному Собранию. Однако некоторые конституционалисты (имевшие в скромных и даже нескромных размерах весьма приятную, несколько не обременительную собственность) как будто начинали пугаться и отшатываться – и Павел Николаевич Милюков со всею принципиальностью должен был резко отповедать им:

Если члены нашей группы настолько щекотливо относятся к *физическим средствам* борьбы, то я боюсь, что наши планы партии окажутся бесплодными. Несомненно, вы все в душе радуетесь известным актам физического насилия, которые всеми заранее ожидаются и историческое значение которых громадно.

Собрание устыдилось, приняло нужные резолюции, и распространило их по России.

Всего полгода назад упрямая власть не хотела удовлетворить и самых малых требований – теперь уже и большие уступки не насыщали общества. В июле царь собирал тайно в Петергофе совещание высоких приближённых выработать проект Думы. (В то совещание был допущен и Ключевский. Милюков мило рассказывает, как *они* открыли перед Ключевским все свои потаённые планы, и Василий Осипович не без лукавства, ему свойственного,

ежевечерне в петербургской гостинице всё передавал своему далеко пошедшему ученику). 6 августа был издан новый манифест – об учреждении законосовещательной Думы. Появись она при Святополке, она может быть и удовлетворила бы. Но теперь не силу, а слабость показывало правительство, идя на реформу не из устойчивого доброго намерения, а под угрозами; каждым словом и каждым шагом выявляло правительство, что не понимает оно положения страны, настроения общества, и не знает, как лечить их и делать что. Все умеренные элементы стихли и отодвинулись, все рассерженные не покидали митингов и разливались в газетах. Предложенная Дума была отвергнута не только большевиками – даже и милюковская группа колебалась (очень чутко оглядываясь почему-то на Троцкого), а тут ещё эту группу на месяц посадили в “Кресты” – всё делая нелепо, всё делая как власти хуже, и через месяц выпустили без единого вопроса, только прибавив ореола. Уже вступила верховная власть России в тот безнадежный круг, когда разум отнят Богом. В тот же нагнетённый август правительство уступило и объявило автономии высших учебных заведений – но только создало острова революции, неприступные для полиции: беспрепятственно бушевали студенты на митингах, и к ним собиралась всякая публика, желающая послушать и побраниться. И кому теперь была нужна законосовещательная Дума? Новый общеземский съезд в сентябре хотя и не бойкот ей объявил (как раз их и должны были выбрать туда), но: идти в эту Думу, чтобы взрывать её изнутри. После ухода шиповского меньшинства ещё новое малочисленное гучковское меньшинство тщетно спорило с интеллигентскими теоретиками Союза Освобождения. А Союз всё более заливался социал-демократией, даже прятал на частных квартирах преследуемый Совет рабочих депутатов.

Так и отлилась *конституционно-демократическая* партия, *кадетская*, как вскоре же, по общей фамильярности революционных сокращений их назовут, и примут они. (И эта кличка “кадеты” смешается с прозвищем военизированных юнцов, слегка различая их в падежном склонении, смешается сперва невинно, а через 13 лет уже и порочно – когда тем самым мальчикам достанется оборонять этих самых интеллигентов, от этой самой революции бежавших, и весь котёл их обречённый так и будет зваться *кадеты* ). Правда, скоро схватится новая партия, что сочетание “ка-дэ” очень мало объясняет российскому обывателю, и на ходу они сменят своё полотно на

Партию Народной Свободы, – как будто и звучно и народное что-то добывая. Но без употребления будет трепыхаться полотно, а язык прилепит “кадетов”. Впрочем, подмена была не манёвром, но верою их: кадетские лидеры так и верили, что их устами и мыслями выражает себя весь огромный народ, с трибун так часто и обмолвливались о себе, как о прямых и точных выразителях народных чаяний, им хорошо известных.

Учредительный съезд партии собрался в Москве (“первопрестольная – родина кадетизма”, – комично составлял Милюков) при растущей железнодорожной и общей забастовке, так что даже не могли приехать три четверти ожидаемых делегатов. Нелегальные подпольные партии уже много лет существовали в России – и в общем раскале 05 года сами вышли на поверхность, но легальная от рождения – это была первая партия. А в программе был у неё все тот же сворот головы налево, обязательный для радикалов во всём мире, многие лозунги и оттенки, не вытекавшие из собственного их осознания, но чтобы сохранить питающую связь с левизной. Нововзошедший лидер партии Милюков оттенял с гордостью, что они – самые молодые из европейских либералов, и что программа их

наиболее левая из всех, какие предъявляются аналогичными нам политическими группами Западной Европы.

Очень резко отъединяясь ото всех, кто остались справа, как от преследующих классовые интересы, Милюков при полном согласии съезда взывал к союзникам слева. Да новая партия сама настолько слева, что её

учредительный съезд заявляет свою полнейшую солидарность с забастовочным политическим движением. Члены к-д партии *решительно отказались от мысли добиться своих целей путём переговоров с представителями власти.*

Съезд не успел ещё кончиться, как вбежал сотрудник “профессорских” “Русских Ведомостей”, в изнеможении и восторге потрясая непросохшим корректурным листком с Манифестом 17 октября. Радость! Победа! Но – верить? не верить? Хитрость? оттяжка? Противник пал духом? Делегаты валили на Большую Дмитровку на банкет, там в игорном зале подбросили Милюкова на стол говорить, и он, уже смерив, возгласил:

**Ничего не изменилось! война продолжается!**

**Надо было и дальше вести Россию, как пришла она к Манифесту:**

**соединением либеральной тактики с революционной угрозой. Мы хорошо понимаем и вполне признаём верховное право Революции...**

**Стало модно повторять Вергилия – *flectere si nequeo superos Acheronta movebo*, если не смогу склонить Высших – двину Ахеронт (адскую реку).**

**И почему ж бы нет, если союзницу-революцию можно будет использовать против власти, перепугать, – а когда нужно, всегда остановить? Как иначе, если в эти первые дни конституции висит в консерватории плакат “На вооружённое восстание” – и под ним с интеллигентов собирают деньги? Если публично читаются доклады о сравнительных достоинствах браунинга и маузера? Столько лет бесплодно бившись о неуступчивую, безмысло-тупую бюрократию – как в горячности трибунных прений не окрылиться алыми крыльями революции? Если мордам неподатливым ничего доказать нельзя – где набраться терпения на тягучие бесконечные уговоры? как удержаться от желания ахнуть их дубиною по башке?**

**Сразу после Манифеста пригласил Витте кадетов в формируемый новый кабинет. Едва создалась партия – и сразу открылся ей путь – идти в правительство и ответственно искать, вдумчиво устраивать новые формы государственной жизни. Казалось бы – о чём ещё мечтать? не этого ли добивались – перенять власть и показать, как надо править? Но нервные голосистые кадеты на этом первом шаге выявили: они не были готовы от речей по развалу власти перейти к самой работе власти. Насколько почётней и независимей быть критикующей оппозицией! (Через 12 лет на скольких мы это ещё увидим: при крайнем политическом задоре – растерянный**

самоотказ от реальной власти.) Их делегация к Витте во главе с молодым идеологом и оратором Кокоскиным сразу приняла вызывающий тон, требовала не устройства делового правительства, но – Учредительного Собрания, но – амнистии террористам, не оставляя нынешней власти ни авторитета, ни места вообще. Да иначе – что бы сказали слева? пойдя на малейшее сотрудничество с Витте – чем бы тогда кадеты отличались от правых?

Увы, левым не угодили всё равно... Едва только учредили кадетскую партию, как московские “освобожденцы” стали из неё выходить, а петербургские, не попавшие вовремя на поезд, теперь и вовсе – не входить. Союз Освобождения хлестал налево и шёл едва ли не за Советом рабочих депутатов. Даже самые отрицательные переговоры с Витте социал-демократы признали

постыдным шагом, сделкой буржуазии с правительством за счёт народа и стремленьем уцепиться за министерские посты.

Напротив, Д. Н. Шипов объяснял кадетов так:

Эта партия объединила лучшие умственные силы страны, цвет интеллигенции. Но политическая борьба для них являлась как бы самодовлеющей целью. Они не хотели ждать, пока жизнь будет устроиться, постепенно обсуждаемая в её отраслях специалистами со знанием и подготовкой, – но как можно быстрее и как можно жарче вовлекать в политическую борьбу весь народ, хотя б и непросвещённый. Они торопили всеобщие выборы – в обстановке, как можно более возбуждённой. Они не хотели понять, что народным массам чуждо понимание правового начала, проблем государственной жизни, да и самого государства, и тем не менее спешили возбудить и усилить в народе недовольство, пробудить в нём эгоистические интересы, разжечь грубые инстинкты, пренебрегая народным религиозным сознанием.

К религии кадеты были если не враждебны, то равнодушны. Их безрелигиозность и мешала им понять сущность народного духа. Из-за неё-то, искренно стремясь к улучшению жизни народных масс, они разлагали народную душу, способствуя проявлению злобы и ненависти – сперва к имущественным классам, потом и к самой интеллигенции.

А Гучков:

Я никогда не скрывал своего безусловно отрицательного отношения к партии к-д. Я считаю, что эта партия сыграла роковую роль в истории нашей молодой политической свободы. Я присутствовал при её зачатии и рождении и сказал в своё время слово предостережения. Эта партия ловко подседа на запятки русской революции, приняв её за ту триумфальную колесницу, которая доведёт их до вершин власти, и не заметив, что это просто дрянная телега, которая вконец завязла в кровавой грязи.

День открытия 1-й Думы 27 апреля 1906 стал не днём национального примирения, но днём нового разгара ненависти. Кадеты шли на открытие Думы, размахивая в такт шляпами, политические солдаты. Дума, избранная по “пробному” виттевскому избирательному закону (и частью – из людей, чуждых всякой законности); – никак не пыталась сама себя сдерживать и требовала не меньше, как всё, – ни пол-вся, ни четверть-вся. Вопреки конституции 1-я Дума впала в соблазн представлять всю волю народа и государственную волю – одной собой, как новая самодержица. И Кокоскин доказывал, что Дума не обязана выполнять ничьих в стране постановлений.

Лишь через 30 лет, поздним умом эмиграции вспоминал – да не типичный кадет, а умнейший из них,

В. Маклаков: В 1906 году Революции не было. Начиналось выздоровление. Монархия уступила свою главную привилегию – самодержавие. Она отказалась и от другого “устоя”, который тяжёлым ярмом давил на всю русскую жизнь, от сословного строя. В программе правительства появилась старая программа либерализма. И постепенный переход земли к крестьянам, и развитие повсюду самоуправления,

законность, независимый суд, просвещение. Общество в лице Думы получило возможность контролировать проведение этой программы, ставить преграду реакционным уклонам, даже брать на себя инициативу реформ. Почему же с самого первого дня, даже раньше первого заседания Думы, она вместо сотрудничества объявила власти войну? Вместо того, чтобы взять на себя неблагодарную, но почётную роль умерять безрассудное нетерпение общества, сама его подстрекала. Ни о какой постепенности реформ она не хотела и слышать. Радикальное изменение ещё не испытанной конституции, установление полного народоуправства, единовременное и массовое отчуждение частных земель, образование правительства из представителей Думы и ей подчинённого – были её *первыми* требованиями. Уступить им – значило бы приблизить революцию на 11 лет.

Правда, с-д меньшевики с колебанием, остальные левые вполне уверенно, зовя и понукая революцию вернуться, объявили бойкот 1-й Думы. От этого кадеты, внезапно для себя, оказались с голым левым боком, оказались очень левыми. Единственные, кто беззастенчиво владел европейской тактикой выборов, они захватили больше трети Думы, стали в ней самой многочисленной фракцией – но не клонились помышлять о нормальной, законодательной работе в её позорной умеренности. Победа на выборах затмила им глаза, обещала так же легко свалить и власть. Они не хотели быть осмотровыми и тратить 4 года на то, чего можно натиском достичь в 4 недели. И когда Милюков, на преддумском кадетском съезде впервые проявляя свои сильные копыта торможения, попытался свернуть партию с крылатого революционного пути на скудный парламентский, он получил отпор сокадетников: игнорировать правительство! игнорировать законы, изданные после 17 октября! игнорировать Государственный Совет! провести программу в форме *ультиматума* ! если правительство не уйдёт – *воззвание к народу* ! умереть за свободу!

Элоквентный Родичев:

Дума разогнана быть не может!... Сталкивающийся с народом будет столкнут в бездну!

Кизеветтер: Если Думу разгонят – это будет последний акт правительства, после которого оно *перестанет существовать* !

В духе того и седовласый вальяжный председатель 1-й Думы Муромцев, уже готовясь стать первым русским президентом, не желал общаться и разговаривать с министрами и даже запретил называть их правительством. (Маклаков объяснил Муромцева так:

Тип, которому нужен парламент. Для формулирования своих убеждений им нужны постановления коллективов: защищать своё мнение с яростью, пока не состоялось решение, а потом повиноваться беспрекословно. Такие могут требовать в речах того, что заведомо невозможно, – и создают иллюзию, и сами верят, что реакция помешала им дать стране нужное благо. Личной ответственности на них не лежит никакой. Оценку себе ищут в газетных отзывах).

В первом же адресе на имя монарха эта неврастеническая Дума разговаривала с Верховной властью ультимативно, та отвечала Думе наставительно, как подчинённому учреждению. *Друзья слева* , сплочённые кавказские социал-демократы, разжигали кадетов, и Дума требовала амнистии террористам и царевбийцам, сама отказываясь вынести моральное осуждение террору. И так это прочно сидело в кадетях, что кадетский патриарх И. Петрункевич, с миротворчества которого начата эта глава, воскликнул:

Осудить террор? Никогда! Это была бы моральная гибель партии!...

Однако этой 1-й Думе и этому кадетскому большинству всё ещё серьёзно предполагалось поручить сформировать правительство и дать вести Россию. Шли тайные переговоры при Дворе, сновали и встречались министры, так же тайно встречался с ними Милюков, “управлявший Думою из буфета и журналистской ложи”,

ибо не попал депутатом её. Милюков уже рвался получить премьера, но переговоры оказались тщетны, кадеты отказывались отречься от всеобщего принудительного отчуждения земли, роспуск Думы всё более проступал – и на эту роль, заменить Горемыкина на посту премьера и распустить 1-ю Думу, Верховной властью был определён... Шипов.

И что же? Противник конституции, всех партий вообще, а кадетской в частности, заявил Государю, что роспуск уже собранной, пусть агрессивной Думы представляется ему несправедливым и даже преступным. С 17 октября он, по высочайшему повелению, как и все подданные, принял конституцию, и считает нужным быть верным ей, и ничего другого не ждёт и от самого Государя. По его мнению, Дума была бы много умиротворена, если бы правительство продолжало развивать начала Манифеста, а не отступало от них. Теперь уже возглашены и Основные Законы, по которым власть разделяется впредь между Государем, Думою и Государственным Советом, и в тронной речи объявлено, что день открытия Думы есть день обновления нравственного облика русской земли. Равно не может Шипов принять на себя и руководство предлагаемым коалиционным правительством, но считает, что очень отвечало бы духу времени правительство, возглавленное кадетами: оно вырывало бы их от антигосударственных элементов, из безответственной оппозиции и делало бы государственной партией. Может быть, они сами тогда распустят Думу, чтоб освободиться от левого крыла. На вопрос Государя о возможном главе такого правительства Шипов ответил, что самым влиятельным, талантливым и эрудированным среди кадетов надо признать Милюкова, однако в нём слабо развито религиозное сознание, то есть сознание нравственного долга перед Высшим Началом и перед людьми, а потому, стань он премьером, его политика вряд ли способствовала бы духовному подъёму населения. Кроме того он слишком самодержавен и будет подавлять товарищей. Шипов рекомендовал Муромцева.

Но захваченные резким левым вихрем и с лево-свёрнутыми головами, способны ли были кадеты взять на себя то государственное бремя? Министр внутренних дел Столыпин уверен был, что – не смогут, что свалят под откос. Человек действия, он не мог допустить такого опыта: пусть несут, куда понесут, когда все вместе разобьёмся – тогда поймём.

Под влиянием Шипова Государь как будто и склонился создать кадетский кабинет, но лишь неделю думал так. Тем временем террор продолжался. Тем временем встревоженные кадеты осудили Милюкова, до сих пор скрывавшего от фракции свои тайные переговоры с министрами. Тем более вздыбилась фракция против тормозных усилий Милюкова задержать такой неопарламентский приём, как воззвание к народу по аграрному вопросу (в постоянной заботе кадетов будоражить крестьянство): обратить в их пользу земли казённые, удельные, кабинетские, монастырские, церковные и принудительно отобрать частновладельческие!

66-летний премьер Горемыкин, умеренный, вяловатый, со спокойствием, отработанным долгой службой, ничему не удивлённый, ничем не взволнованный, ибо всё в истории повторяется, и сила одного человека недостаточна, чтобы её повернуть, – все эти месяцы видел, что с этой Думой работать никак не удастся, но продолжал невозмутимо работать, поскольку так сложились обстоятельства и пока того хотел Государь. Теперь же Дума переступила через край, а у Государя, как видел Горемыкин, было желание, но не хватало решимости Думу разогнать: мелькали ужасные видения 1905 года, которые могли взметнуться с ещё большею силой. И тогда старик решился на самое большое усилие своей жизни: с фамильным образом он приехал на приём к Государю и вместе с ним молился о Господнем содействии и просил повеления себе – распустить Думу, уйти в отставку, а бразды передать из своих усталых рук в твёрдые руки молодого решительного Столыпина. И получив таковое повеление, он отправился к себе, отдал распоряжение о роспуске, сам же сказался в нетях и не велел прислуге

искать и звать себя ни по какому вызову. Действительно, в тех же часах Государь усумнился в отчаянном решении и вызывал Горемыкина передумать – а Горемыкина нигде не было.

Столыпин же успокоил Думу, встревоженную слухами (распустят? останемся в креслах сидеть, как бывало римский сенат! апеллируем к стране, вся страна поднимется! да никогда не посмеют!), – в воскресенье 9 июля расставил солдат близ Таврического дворца, повесил большой замок на двери, а по стенам – царский манифест:

Выборные от населения, вместо работы строительства законодательного...

И – что же теперь было кадетам? И – как же им перед революционной Россией? С воскресного утра кинулись собирать депутатов, а тем временем в запертой квартире на пыльном рояле набрасывали новое Воззвание, и Винавер находил, что в проекте Милюкова

нет стихийной негодующей силы, а надо, чтобы крик возмущения прозвучал как блеск молнии.

Окончательно составили воззвание Винавер с Кокошкиным. Но из воззваний Милюкова так и осталось: не платить податей! (впрочем, прямые налоги составляли ничтожную часть бюджета) – и не давать государству рекрутов! (впрочем, их набор наступит лишь в ноябре).

А уж раньше было задумано у них на случай разгона: всем ехать на вольную финляндскую территорию, в Выборг. Оглядчивые депутаты-крестьяне, к кому и было всё милюковское воззвание, увы, не поехали, ни один. Поехало около трети Думы, самые пылкие (из них человек тридцать скрылись потом). В тот же воскресный вечер открыли заседание в отеле Бельведер, и председательствовал всё тот же благообразный неперемный Муромцев. Приехали и трудовики (легальные эсеры), и социал-демократы (однако, *резервируя вооружённое восстание*).

Выступали – Кокошкин, бессменный Петрункевич, Френкель, Герценштейн, Йоллос, и лидеры трудовиков Брамсон, Аладьин, – и все пылали негодованием, и никто не мог предложить разительной меры, убийственной для правительства. Такой манифест, какой получался, – за него народ не прольёт крови, увы.

Объявить себя Учредительным Собранием? Присвоить себе функции правительства? Считать себя полной Думой и отсюда не расходиться?

Жордания (с-д): Хотя здесь – треть Думы, но именно те, которые по праву являются...

Рамишвили (с-д): Ещё недавно мы были уверены, что не вернёмся домой без земли и воли. Но (презрительно) вы на решительные средства не пойдёте.

(Трудовики): Дело народа – в руках самого народа! Армия с оружием в руках... защищать дело свободы! Правительство – больше не правительство! Повиноваться властям – преступно!

Но – что же делать? Опять оставалось: не платить податей и не ставить рекрутов. (Не желая замечать, что эти удары: – по всему государству, а не по правительству.)

– Всеобщую забастовку?

– Вооружённое восстание?

– Мы не можем призывать к восстанию, это будет провал конституционализма в России.

Винавер (к-д): Ехать назад в Петербург и пусть нас там целиком арестуют – это будет хороший символ и возбудитель для общественной борьбы. Настроение падало.

Гредескул (к-д): В конце концов мы не призываем ни к чему страшному: пассивное сопротивление, вполне конституционно. Есть ещё мера: призвать народ воздерживаться от казённого вина...

(Кто знает русские привычки, хорошо посмеётся).

Нет, падало настроение. До разгона казались себе и противнику страшными. А вот – ощущение банкротов. Усилились разногласия. Обсуждали постатейно. И, может быть, никакого Выборгского воззвания принято бы и вовсе не было, не явись в гостиницу губернатор: господа, надо немедленно закончить заседание, ведь Выборг – крепость, в любую минуту могут объявить на военном положении...

Да, да, да! Нельзя злоупотреблять гостеприимством финских друзей. Что ж, подчинимся непреодолимой силе...

Поспешно надевал пальто и уходил из президиума несбывшийся президент или премьер-министр России

Муромцев: Многие из тех, кто подписал Выборгское воззвание, совсем не согласны с ним...

Уже спорить времени не осталось, а проголосовали чохом всё как есть и приняли:

НАРОДУ ОТ НАРОДНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
ГРАЖДАНЕ ВСЕЙ РОССИИ!  
...КРЕПКО СТОЙТЕ ЗА ПОПРАННЫЕ ПРАВА!  
ПЕРЕД ЕДИНОЙ И НЕПРЕКЛОННОЙ ВОЛЕЙ НАРОДА  
НИКАКАЯ СИЛА УСТОЯТЬ НЕ МОЖЕТ.

Выборгское воззвание никого не увлекло, никого не испугало, и даже жалкостью своей успокоило власти: они-то ждали революции.

Так закончился первый экзамен новосозданной Партии Народной Свободы – проигранным первым русским парламентом, где кадетам так легко досталось и так легко упустилось большинство.

\*\*\*\*\*

Я ВАШЕ'Ц, Я ВАШЕ'Ц - А КТО Ж ХЛЕБОПАШЕЦ?

\*\*\*\*\*

## 8

Этим летом на одном из патриотических концертов в крупном московском офицерском лазарете, в зале морозовского особняка, Алине поднесли изумительный влажно дышащий букет роз, какого в жизни никто ни по какому поводу ей не подносил, – не букет этикета, а – непомерный, в обхват на объятие, какой и может явиться женщине только в жизни раз.

Поднесла и в руки Алине передала санитарка, её сама Алина и не заметила за букетом, и потом спросить было не у кого. В тот миг Алина смотрела на эти сотни розовых, жёлтых и белых воланчиков, наслоенных в каждой цветке, и благодарно – на зал, где ещё аплодировали и, очевидно, сидел даритель, и снова на букет, опуская в него лицо, вдыхая, впивая.

А записки при букете – не оказалось. Или её обронили?... Алина естественно ждала, что и сам подноситель подойдёт к ней за сценой, на лестнице или в вестибюле, когда букет вслед Алине спускали к извозчику: как это будет? Кто это будет? Ждала, так и не придумав, что же особенное ему ответить.

Но он – не подошёл. Совсем.

Она ждала ещё и на другой день. И даже через несколько дней. Но – никто не объявился. Не пришёл. Не написал. Не назвал.

И осталось загадкой... Навсегда теперь.

А может быть – так и красивее? Своего рода гранатовый браслет.

Должна же быть в жизни одна точка – вершинной красоты.

Впрочем – как бы ей и послали письмо? Ведь фамилию, по новому для себя праву артистки, она принимала лишь на концерты – Сияльская, а в жизни зналась под тяжеловесной мужниной фамилией – от какого-то поворота тына, за десять лет смириться не могла, да по паспорту и имя у неё было другое – Аполлинария, с эстрады непроизносимое, шибяющее купеческим (хотя человек с воображением проникнул бы в нём женский вариант Аполлона).

Она и ещё раз давала концерт в том же лазарете, стараясь вызвать повтор чудесного стечения обстоятельств. Но ничто не повторилось.

Кто ж он был, таинственный поклонник? Скорее всего – раненый офицер. Может быть, то был его последний вечер, и он уехал в Действующую армию? Или врач того лазарета? – вряд ли. Или московский гость, зашедший на концерт случайно, но, поражённый с первых касаний клавишей, пославший за букетом тут же?...

Она – ждала дарителя, но и заранее робела, она при встрече не могла бы и найтись. От юных лет и до самых нынешних, при внешней резвости, громкости, порывах, Алина была невытравимо стеснительна: с гимназическими подругами или с матерью избегала говорить о стыдном, гордо: “я знаю! я знаю!”, но из-за этой скованности не знала ничего, когда все уже знали. Неумелость была неразделённая тайна её, Алина искрилась, хохотала, кокетничала, но оставалась как бы за витринным стеклом. И эта застенчивость потаилась в её характере навсегда.

И сейчас встреча с дарителем не могла бы иметь никакого разрешения или выхода.

Да она не посмела бы ничего.

Так и красивее: гранатовый браслет... Огромный неохватный букет как символ яркой жизни, полной огромных же чувств, для которой, Алина теперь это видела, она и была рождена со своим талантом, если б развила его, не утопила бы в замужестве, в скудном и безликом существовании офицерской жены. Её подруги по борисоглебской гимназии одна вышла замуж за французского дипломата и теперь жила за границей, другая – за очень богатого и много путешествовала с ним, ещё одна – за столичного тайного советника и вошла в петербургский высший круг. Алина же, встречая шумное одобрение на гимназических и уездных концертах, подумывала ехать учиться в консерваторию. Но тут тридцатилетний штабс-капитан, на концерте же, в Тамбове, и услышав её, – приступил решительным штурмом и, почти не дав подумать, уговорил на замужество.

Жорж не совпал с тем мечтаемым мужским образом, который Алина с гимназической скамьи носила в сердце: в нём не было того печоринского жестокого гордого презрения к миру и к женщинам, которое так подчиняет. А было – открытое простоватое восхищение, впрочем, оно и подобает рыцарям. Не сразу в нём узнав своего избранного, она колебалась. Но потом поверила в него, и долгие годы верила, своей же верой в своё призвание он её и увлёк: он ехал в Академию, кипел замыслами, и товарищи шутили о нём: “будущий начальник генерального штаба”.

Поверила в него – и безраздельно отдала ему жизнь. Поженясь, переехали в Петербург, – не тот Петербург, не с той двери, – ни досуга, ни достатка, ни выхода в общество, чтобы развить и распахнуть свои способности. Что ж, для его будущего нужны жертвы. Женский удел – жертвы. При умеренной академической стипендии нужны были усилия и ограничения для их скромного быта. Но Алина привыкла и усвоила этот стиль – больше отказывать себе, чем разрешать, она далее полюбила этот стиль и направила на него внутреннюю изобретательность. После неудачи с ребёнком и уже обречённые на бездетность, они стали тонко нежны друг ко другу, заботливы и внимательны в мелочах – насколько вообще Жорж мог быть внимателен к чему-нибудь, кроме своей военной службы. Он – страстно стягивался на своей работе, до того что закрывал дверь кабинета, значит: не входи, не рассеивай. И поощрял её больше играть на пианино, но сам через стенку воспринимал не как творение артистки, а как слитный фон для своих занятий. Однако и с этой обидой Алина примирилась.



Она играла – чтоб ему лучше думалось. Она полюбила их быт, как он есть, их жизнь, как она есть, – с верой, что помогает мужу взнестись к трудному успеху.

Но не так сложилось. И окончание Академии по 1-му разряду и преподавание в ней – не привели ни к чему. Весь их военный кружок разогнали – да по затерянным гарнизонам, с их тошнотворным убожеством. Даже не Вятка, ещё глуше, безнадёжная дыра. Захлопнулась над ними и угасла надежда на что-нибудь светлое, охватило угнетающее чувство, что этом – и кончится всё, ощущение тонущего в болоте, уж не говоря, что пальцы Алины от грубых домашних работ, чудилось, навсегда потеряли свободную гибкость и уже никогда ей не выйти на хорошую сцену. Но и этот мрак Алина готова была сносить, кажется, ещё годы, уже и к этому она укрепилась. Было тяжело падение ей – но и мужу не легче, а она огорчалась его неудачами больше его самого.

Однако и года не прошло – переменялось к лучшему, случилось опять возвышение – теперь в Москву. А едва переехали и устроились – сразу война.

Во время войны – жребии всех ли жён равны? Для всех: останется ли жив? Но для кадровых военных не менее важно – его место в армии: ведь военная служба вся направлена к продвижению, в этом смысл её, так она задумана. А Жорж после короткого взлёта в Ставку – тут же потерпел и крах, и ссылку в полк. Но и это крушение можно было пережить по-разному: естественно было не смиряться с унижением, пытаться исправить – и всю свою душевную помощь Алина простирала мужу. Увы! Постепенно открывалось, что его охватила своего рода психическая болезнь: со своим низвергнутым уровнем он не только смирился и сам уже считал, что не заслуживает высшего, не только не повторялись в нём прежние взлёты, не роились замыслы, а как будто стали отмирать и другие человеческие чувства, одно за другим, даже простое желание поехать на месяц в законный отпуск и отдохнуть. От письма к письму проскакивало: “мне всё более неприятен тыл, всё, что я о нём узнаю”, “мне отвратителен тыл”. Когда кончилось тяжкое отступление прошлого лета, и уже перетёк полный год, дающий Жоржу право на отпуск, – он окончательно написал, что в отпуск не приедет, а зовёт её в Буковину, перебыть с ним недели две неподалеку от передних линий, он снимет квартиру. Чудовищная причуда, которой тут, в Москве, никому и не истолкуешь, да и сама не найдёшь объяснения. Все офицеры ищут не только отпуск, а любой служебный предлог. Но жена, понимающая свой долг, должна знать и ступени жертв. И хотя это был совсем не обычный месяц, а как раз тридцатилетие Алины, она – поехала (тоже хорошенькая встряска для женщины – почти на передовые позиции). Но вся поездка оказалась унылой.

Она нашла мужа в состоянии ещё худшем, чем можно было предвидеть по письмам. Правда, в лазарет не пришлось ему ещё лечиться ни разу, хотя перевязан бывал. Но он был таким удручённым, таким погасшим, каким она никогда его не видела. Несколько первых дней он почти всё время лежал, молчал, ничего не рассказывал, только тяжело вздыхал, и сам того не замечая. Алине стало страшно: она потеряла своего мужа! это был не он! Потом, со днями, он постепенно отдыхал от своей омертвелости – и стал разговаривать. Разговаривать? Нет, какой же это разговор с женой: он только мог о своих убитых, о потерях, о нескладнице, о тошноте, а больше ни о чём, и встречно ничего не слышал, или рассеянно. Да к простым человеческим историям он и никогда в жизни не был внимателен, по своему офицерскому фанатизму. Сам он – не мог бы хорошо объяснить своего нынешнего состояния, но Алина с женским вниманием пристально наблюдала его, как никогда много, и заключала, и поняла. Не сама разлука отдалила их, но то как Жорж воспринял войну: он дал нагрузить себе душу как обломками железа, железа, и вместе с ними тонул. Всю свою жизнь предназначив для войны, он её-то и не перенёс. Японскую – прекрасно перенёс, а эту – нет. Он не оказался таким сильным, как обещал, – погас. Она с ужасом смотрела, как он заживо погибал, – и бессильна была помочь: он и сам видел, как упал, – и сам не хотел подняться, и ещё её же утапливал в своей безнадёжности. Чтобы вместе тонуть?! Нет! Она должна была спасти его, отвлечь, развлечь, освежить, обдать московскими струями. Но легко бы это сделать было дома, в Москве, и в полный месяц, он бы очнулся, – так ведь вот не захотел приехать. А там были убогие прогулки с улиц городка в предгорье, и никаких больше

развлечений. Так для Алины свидание с мужем оказалось не праздником, а горем. О ней – он не подумал. Захолустное унижение, как будто опять Вятская губерния. А Жорж так изменился за эти годы, что они как бы снова знакомились и привыкали, с неладными и даже ссорами. Так и до конца он отдалённо не вернулся в себя прежнего. И всё его будущее, в которое она так радостно верила вместе с ним, теперь уже ясно было, что не состоялось: это не просто была служебная неудача в Ставке, но оказался он неравен своей задаче. Не удалась мечты, проекты, провалились протесты. Безумно было его жалко.

А с ним – и себя. И не потеряв его из жизни – она как будто его потеряла.

А ему – напротив, не хватало чуткости вникнуть в её ощущения и осознать, что ж он делал с женой, каково жене. Анализируя – уже потом, многие месяцы потом, перебирая и всю их десятилетнюю жизнь, Алина нашла и объяснение: перевес военных интересов и раньше съедал его всего, он бывал нежен, ласков, но всегда весь в своём деле. А теперь, когда его так рано поразила общая старость чувств, атрофия жизненных влечений, – это больней всего отозвалось на островке личного. Вот, он лежал рядом с женой, немного оттаивал, но как будто душевно и не слишком нуждался в её приезде. Алина для союза с ним пожертвовала может быть яркой жизнью, и постоянно знала свой долг, и умела украсить их стеснённый быт, и вынесла даже вятское захолустье, – а ему не приходило в голову оценить размеры этих жертв. Он и не был виноват, он просто был мало чувствителен.

Расставались совсем печально. От этих двух недель не сблизились, а даже отделились. Даже чужее стали, чем когда-нибудь раньше. Зареклась Алина, что больше в такой отпуск не поедет. Пусть Жорж приезжает в Москву.

Это счастье, что перед войной обосновались в Москве. Москва – расвободила Алину, открыла простор и разворот её силам, дала почувствовать собственные крылья – крепче, чем знала она за собой в прежней роли запечной Золушки. Восемь лет она была заперта при муже, уже забыв, сколько возможностей таится в ней самой. А так и должно было открыться! – у души тонкой и сложной всегда есть неутолённые интересы. В том общественном подъёме, который сопровождал войну, помочь победе наших орлов, нашла и Алина свою воздушную струю. Не сразу. Сперва, как все, мотала бинты, пересчитывала солдатское бельё. Но потом придумали устраивать “патриотические концерты” – сборы в пользу раненых и увечных, в помощь семьям призванных и на посылки защитникам родины. В первый год в Москве ещё мало кого зная, она быстро узнавала теперь. Все права на “энергию” прежде захватывал муж, и Алина мало применяла это слово к себе. Теперь же именно энергия Алины вошла в поговорку среди других деятельниц этого движения. Из всех дам Алина выделялась предприимчивостью, неутомимостью, красноречием убеждать имеющих власть по Союзу городов, дважды доходила до Челнокова, успешно добивалась нужных разрешений в Управлении военного округа, вызывала изумление и благодарность попечителей. Хотя она с мужем шесть лет прожила в Петербурге, но только сейчас в военной Москве, во всей этой живой полноценной деятельности, ощутила и приобретала столичную лёгкость. Из первых добилась она и создания добровольной группы “летучих концертов” – для поездок в Действующую армию. И всюду же сопровождали её благодарные, без консерваторского снобизма, аплодисменты слушателей её фортепьянной игры – и Алина расцветала в живительной атмосфере. Открылось и подтвердилось, что она – самоценная личность, а не домостроевский придаток мужа. (Да и Жорж, прощаясь в Буковине, говорил ей: концертируй, сколько можешь, живи полной жизнью.)

В их выездной артистической группе бывало до дюжины человек. И потешный жирнолицый исполнитель шуточных малороссийских песен. И усатый интендантский подполковник-баритон. И скрипач с демонической наружностью. И молодой помощник присяжного поверенного, декламатор. Две певицы, одна танцовщица. (Для всех них постоянный аккомпаниатор – блондин с волевым подбородком, бывший тапёр из кинематографа “Унион”.) И за каждым участником стоял свой круг друзей, ещё расширяя московские знакомства Алины.

Но более других она сошлась с милейшей 35-летней Сусанной Иосифовной Корзнер,

женой известного московского адвоката, выступавшей у них с декламацией и чтением, а затем Алина сама предложила ей аккомпанировать и к мелодекламации – “Сакья-Муни”, “Белое покрывало”. Для этого понадобились ещё совместные репетиции на дому, а по поводу рассказов Шолом-Алейхема и отрывков из “Овода” – переговоры в инстанциях, насколько эти вещи соответствуют рамкам патриотических концертов. Эти ходатайства Алина охотно взяла на себя, успешно их провела, и тем ещё более сблизилась с Сусанной Иосифовной, они стали друг у друга бывать. Сусанна была совсем проста, равнодушна к аплодисментам, не завидовала успеху других, без гордости присаживалась переворачивать Алине ноты.

– Вот, – смеялась Алина, – кажется: трудна ли наука? А мужа я так никогда и не могла научить, чтоб он ноты читал и мог бы переворачивать. Бывают такие неразвитые души – их невозможно притянуть к искусству. Вот играю за стеной, играю, – “что я сейчас играла?” – никогда не ответит, хоть по двадцать раз одну и ту же вещь! Деревянный...

Сусанна Иосифовна так замечательно слушала всегда – и музыку, даже как бы зябла плечами в слухе, и простой рассказ, вбирая оливково-рыжеватыми глазами, – Алина всё охотней втягивалась откровенничать ей о себе, не всё же перегорать в замкнутой душе.

– Боже мой, Сусанна Иосифовна, сколько ж я ему жертв принесла, сколько лет я добросовестно смирялась, помогая его жизненной битве. Но всё же могла я верить, что когда-то наступит награда, когда-то мы начнём и жить как люди! Нет, в какую-то беспросветную пасть кидает он и свою жизнь до конца, и мою вместе. Да хотя бы этот отказ от отпуска! – ну какой же нормальный офицер откажется от отпуска?

Да хуже. Он и всегда склонен был высыхать чувствами, а сейчас на войне угас, омертвел, опустился, и это в сорок лет! Жизнь не состоялась. Теперь и война минует – он вряд ли станет прежним. Рассказывала и историю замужества, как не сразу его приняла, но он охватил её поклонением, – он ярко умел поклоняться, и особенно в письмах это выражать. Показывала Сусанне и старые письма Жоржа, да и свой давний альбом борисоглебской молодости, да была Сусанна и свидетельница того незабываемого букета. Конечно, этот альбом, столько раз просмотренный в одиночестве, мало понятен постороннему человеку, ведь каждая запись тут – не просто запись, но целое воспоминание, душевное общение, обаяние, взор, которого не сохраняет бумага, и записано всегда меньше, чем чувствовалось. Вот, например, в полушуточной форме – “Диане”, а тут ведь не эпиграмма, но схвачено верным глазом – что-то от профиля, что-то от руки, что-то, значит, и от характера... Ах, совсем-совсем иначе могла пойти жизнь Алины...

Подружились с Сусанной и в новом столичном стиле самоограничения женщин: не шить новых платий, а переделывать старые, не ходить в рестораны, отпускать лишнюю прислугу (впрочем, у Алины была всего половинка, а у Сусанны – и кухарка, и горничная, не считая мужнина шофёра через день). По сравнению с Петербургом Москва и всегда была в нарядах строже, теперь ещё устрожилась, щеголять стало неприлично, даже шукинская дочь на сказочных лошадях под синими сетками (а движение было – и лошадей не держать) приезжала в театр скромно одетая, без бриллиантов. Дурно выделялись богатством нарядов только варшавские богатые беженки да нувориши, которые не считались ни с кем, ни с чем, но это был слой совсем уже не общества, и источники обогащения их – тёмные. А кто был узко-скромен в средствах, как Алина, тем неотклонней было ей сдерживаться в нарядах, даже выходя на сцену, и не часто позволить себе даже новую шляпу – например, модную широкополую, с лежащим мохром, какая несёт тебя будто на крыле.

Отказывались люди от пышных приёмов, но оживлённые ужины были в ходу, где и поговорить! Алина польщена бывала попасть к Сусанне вечером. За ужинами у Корзнеров собирались по десяти и по двадцати, и весьма известные люди, больше адвокатский круг: Левашкевич, служивший вместе с Корзнером юрисконсульту Азово-Донского банка, Крестовников, заходил и прославленный Грузенберг, и лидер “левых кадетов” Мандельштам, промелькнула как-то блестящая Тыркова – член кадетского ЦК и думская журналистка, а один раз и знаменитый Маклаков, но это было без Алины, она очень жалела,

что не видела его. Весь круг Корзнеров составил большое расширение её мира – знаменитости, яркости, среди них вырастаешь.

Корзнеры снимали на Ильинке, в деловом квартале, квартиру в одиннадцать комнат: кроме кабинета самого Корзнера – приёмная для его кабинетского помощника, общая приёмная, гостиная, спальня серого клёна, столовая в чёрном дубе – большая столовая с мебелью модерн, массивный стол на 12, а раздвигался и на 24 персоны, ещё закусочный столик на колесиках объезжал вокруг, а самоварный стоял при дальнем конце, и часто одного самовара не хватало, приносили второй. Комната для английской гувернантки, ещё не съехавшей от них, две для прислуги. Квартира, правда, темноватая, столовая – почти без дневного света, зато с тяжёлыми драпировками, вечерами это уютно.

И муж и 18-летний сын, первокурсник юридического, были при Сусанне, семейно война не ощущалась, жизнь их была полна, изобильна, успешная карьера мужа, свой автомобиль, дача, абонементная ложа в Большом театре. И Сусанна признавалась суеверно:

– Знаете легенду о кольце Поликрата? Когда тебе слишком хорошо – надо самой нести судьбе жертвы, задабривать, чтоб она не разгневалась.

Перед разговорами за корзнеровским столом притихали заботы армейского попечительства и даже интересы искусства. Здесь держался накал общественный, гости бывали центральными участниками крупных московских событий, они приходили ещё разгорячёнными с заседаний городской думы, её секций или московского отдела кадетской партии, или других комитетов, их теперь так много, и свежее-горячее тут и выкладывали первое.

Как и всё московское и всё русское передовое общество, здесь желали, ждали и требовали побед, хотя уже столько было встречено разочарований. Здесь анализировали, всему искали причины. Военным поражениям. Невиданному вздорожанию съестных продуктов – за последние недели такому, что уже и средне-состоятельный городской класс начинает это ощущать, а виной тому – жадная неуступчивость аграриев, они наживаются, а власть не хочет их обуздать, крестьяне обдирают город, везут в деревню деньги мешками, спать на них будут. А причина всех причин: паралитическая неумелость правительства и его слепое упорство не уступить власти доверенным представителям интеллигенции.

Тут давали волю гневу на трагикомические стеснения прессы, или на английских демократов, французских социалистов, как они своей усердной верностью союзу с царём вколачивают гвозди в гроб русской свободы. И давали волю остроумию, особенно – о казнокрадстве, о чиновничьей продажности: слишком поздно увидел объявление “принимают от трёх до пяти”, эх, а я, дурак, дал десять! Или – как нужно понимать секретарей и младших чиновников: “мало данных”, “придётся доложить начальству”, “надо ждать” или “надо ж дать”? От души смеялась Алина.

Тут обсуждались и деловые планы: как развить для внутренних политических боёв общественные организации помощи войне и её жертвам. Этой квартиры не миновал ни один из списков, ходящих по Москве: письмо ли Керенского Родзянке, что гнездо измены – в министерстве внутренних дел, а не среди социал-демократических депутатов; или речь в думской бюджетной комиссии, не нашедшая пути в прессу; или пикантные страницы о Распутине из книги Илиодора. Целая библиотека уже набиралась этих списков за несколько лет: от старого письма Алисы к Распутину, пущенного по рукам когда-то Гучковым, – до нового письма того же Гучкова генералу Алексееву. Даже не из этой ли квартиры списки и начинали ходить? – у Корзнеров была пишущая машинка, так что не от руки переписывать.

Кто недавно повидался с Милюковым в его последний приезд, вот в этом октябре, передавал интересные выводы Павла Николаевича о Москве: Москва изжила мелочные заботы и мелкие иллюзии, которыми ещё много занят Петроград. Москва сейчас – передовой город России, аванпост свободной мысли! Если в будущем году состоятся очередные выборы в Пятую Думу, то кадеты, возможно, окажутся для Москвы слишком правыми. Сейчас уже не вспомнить и не поверить, что совсем недавно Москва была оплотом монархии, и даже в прошлом году ещё очень отделяли виновность Сухомлинова от

невинности царя. Но никакой разумный человек уже не может остаться монархистом. Министерская чехарда просветила умы успешнее, чем десятилетия революционной пропаганды. Москва первая прозрела, что виновата вся династия, и царь не чище своей Алисы ни в распутинстве, ни в штюрмер-протопоповщине, ни в сепаратных переговорах с немцами. Теперь в московских кругах заговорили тем языком непримиримых революционеров, каким до Пятого года разговаривали только в швейцарских эмигрантских!

Правда, пугал Игельзон:

– Чёрный Блок – теперь сила, господа! Он – как туча навис над нами, и действия его к позорному сепаратному миру – ужасны! Я могу фактами доказать!

Ну, так тем более, так тем более! Все сходились, ясно было уже всем, и присутствующим, и отсутствующим: власть в России абсолютно безнадёжна! Перед нами – тупоумное правительство, которому недоступен язык логики.

У Давида Корзнера был на эти случаи любимый жест и любимая формула:

– Кулак! – говорил он и выставлял перед собой на всю вытянутую недлинную руку свой кулак, собственно и не страшный: небольшой, с гладкой кожей, обтянутой по четырём косточкам, с посевом чёрных волосков на тыльной стороне, высунутый из крахмального манжета. Не грозен был сам этот кулак, но грозен голос, выражение лица и заложенный смысл: – Кулак! – единственное, что они понимают! единственный язык, на котором к ним можно и нужно, и будем обращаться!!!

Эти слова экспромтом сказались у него как-то на совещании левых адвокатов, имели успех, и теперь Корзнер любил их повторять и внедрять в собеседников:

– Никакого другого языка! Ничего другого они не поймут. Все эти переговоры бледно-розовых либералов с правительством только заводят общество в тупик. Кулак им в нос! И уступят!

## 9

Смеялся Давид, что его Сусанна теперь записалась в черносотенные концерты. И правда, ухо трудно привыкало отличать “патриот” от “черносотенец”, всегда прежде они значили одно.

И труппа их была, действительно, – не залюбуешься, без большой потребности не станешь с нею ездить. Чего стоил один тапёр с каменным подбородком, злодей и погромщик отлитой. Концертами этими через Союз городов он явно прятался от военной службы, как впрочем и певец малороссийских песен. Интендант был невыносимый солдафон, певица с плечами-подушками оглушающе пошлая, с эстрадной танцовщицы и спрашивать нечего, так что Алина Владимировна была тут самая приличная, вполне сносная в общении. Да на ней держалось и всё антрепренёрство, её настойчивость была воодушевлённая, неиссякаемая. В провинциальном её альбомчике верно подметил какой-то шутник: что-то дианистое было в ней, гордый потрях головы, взлётные движения рук, мановенье кисти, – для нынешней роли очень подходящее. Но мягко рекомендовала ей Сусанна – выходя на сцену сдерживаться в цветах наряда и резких проявлениях.

При совместных поездках, репетициях и заботах немало времени досталось им бывать вместе, и чем чуждей сторонилась Сусанна остальной труппы, тем ближе с Алиной. В обиходе она была жизнерадостна, симпатична, не ныла от неудобств, даже услужлива в них. Располагала и прямою её, никакого лукавства. Она детски радовалась аплодисментам и не пыталась это скрывать, серые глаза её сияли, и она ещё потом спустя напоминала о своём успехе. Зато, от её открытости, не избежать было и некоторых излишней.

Сколько людей, сколько пар – столько особенных отношений, жизнь не скупа на сочетания. Вот, Алина с мужем была бездетная и безмятежно счастливая, сросшаяся за девять лет пара. Жили – как будто без трещинки, но из алининых бесхитростных рассказов выступало, сквозь глубь неизвестной чужой жизни, что как бы и не слитно. Настаивала читать письма от него, а письма эти были письма не боевого полковника, а скорей успешные

упражнения молодого школяра в любовно-эпистолярном стиле, в облаках высокопарного заученного женопоклонения, но без живого прореза Алины самой. Особенно – ранних лет: восторженно-приподнятые, вариантно-дифирамбичные, разили ухо, так что закрадывалось даже подозрение в пародийности.

– Когда-нибудь познакомите меня с ним, хорошо? – уклонилась Сусанна.

Алина коробила кое в чём, но не раздражала, она вызывала сочувствие. Симпатии содействовало и то, что, не будучи перегружена образованием, Алина достаточно тяготела к образованному кругу, чтобы не быть потенциально-враждебной в острых вопросах. То есть может быть, попадая в другие компании, под иное влияние, она могла охотно соглашаться и с противоположным, но собственного внутреннего противодействия не было в ней, это очень чувствуется всегда. Разгорался ли в труппе спор о прошлогоднем майском немецком погроме в Москве – Сусанна могла быть уверена, что Алина рядом не оспорит её.

Все они хорошо навидались тогда в Москве этих жутких картин. Как первый камень в саженное зеркальное окно немецкого магазина решал его судьбу. И потом беспощадно выбрасывалось наружу всё, что внутри, – коробки с галантереей, куски бархата, сукна, полотна, бельё и верхнее платье, гитары, игрушки, кухонные плиты и швейные машины. Циммермановские рояли с грохотом выбрасывали на мостовые со второго этажа и ещё добивали молотками. И – перьяная, пуховая метель из перин и подушек немецкой фирмы. А если магазины оказывались наглухо заколоченными ставнями и железом – то их поджигали. Поджигали добро какого-нибудь немца – а по соседству загоралось имущество русских. Ломали станки, коверкали машины, топтали на мостовых. Поджигали склады, заводы, аптекарскую фабрику Келлера, и сколько погибло добра – никому. Сгорели резиновый завод Брауна, водочный Штриггера, кондитерская фабрика Динга. Пылали пожары в Китай-городе, на Шереметьевском подворьи, в Средних, Верхних городских рядах, на Ильинке, Варварке, Никольской, на Кузнецком мосту, на Лубянской площади, на Мясницкой, Маросейке, Петровке, Сретенке, Тверской, в Черкасском переулке. Громадные клубы дыма окутывали Москву как от лесного пожара, везде пахло гарью, метались пожарные автомобили и запряжки, кареты скорой помощи. Гарь, выстрелы, гиканье, ура, ругань, грохот разбиваемого, плач, смех, свистки, гудки, лошадиный топот, трамвайные звонки, и ещё чьи-то манифестации с патриотическими портретами. А от пожара винных складов – уже год как забытое пьянство, и упившиеся в лёжку на улицах. А через всю Мясницкую у конторы Тильманса – бесчисленно разбросано, навечно фактур, меморандумов, дебетов-кредитов, писем – чьё-то ненаверстаемое и никому не нужное бухгалтерское добро. Говорят – убытков на 40 миллионов. А семью фабриканта Шредера – мужа, жену и двух дочерей, истерзали и голыми утопили в канаве...

– Но народ так чувствовал! – взбоченился тапёр, непробойный лоб, не представить его смирно согнутым в кинематографической тьме. – Это был взрыв народного самолюбия, оттого что правительство не освободило нас от немецкого засилия раньше, в начале войны. Это была месть за газы! Немцы пустили газы!

Немцы пустили газы, да, но на фронте и против военных, а кому же мстить тут? (Нет, прежде, кому доказывать?...) И – разве то была месть? Не столько громили, сколько грабили. Тащили, тащили узлы с вещами – и никто не останавливал, трамваями увозили из центра в Сокольники. Конечно, в каждом городе есть чернь, и много рабочих там было, вся окраина грабила центр. Но, видели: на Мясницкой из верхнего этажа выбрасывали тряпки – студент и реалист! На Кузнецком Мосту книжный магазин Вольфа грабили – студенты и курсистки! В Замоскворечьи видели офицера, как разворашивал саблей кучу награбленного, – не им, но выбирал подходящее. На Тверской дамы в шляпках подбирали куски шёлка! Среди грабителей узнавали студентов Университета и Коммерческого института!

Усач-интендант: – А вы думаете, было бы в Берлине столько русских торговцев – их бы не погромили? Да ещё раньше!

Да не чернь поражает, а – чистая культурная публика ходила *смотреть* и не мешала! Сусанна вывела из виденного:

– Страшно то, что это – не эпизод, не случайность! Так прорывается суть всей российской истории! Раззудись рука – это русская черта. Русские не умеют отстаивать свои интересы методически, они терпят, терпят рабски – а потом погром. Этот майский погром – напоминание о многом прошлом и предсказание будущего, ещё грозней! Под нами – дикая стихия. Во всякую минуту может прорвать – и всех нас залить раскалённой лавой!

– Ну уж, не так-то, Сусанна Иосифовна! – протестовал помощник присяжного поверенного. – Не природная стихия. Это было всё подготовлено!...

Подготовлено! Почему в газетах так и кинулись писать о зверствах немцев? Какая-то группа благодетельствовала раненым немцам – так “преступное милосердие”! Печатали списки высылаемых. Генерал-губернатор Юсупов заявил, по-княжески: “Я – на стороне рабочего люда!” Накануне погрома собирались в чайных какие-то дружины. Кому-то платили деньги, раздавали листки с перечнем и адресами немецких торговых фирм.

– Не подготовлено, а слух разнёсся, что на Прохоровской мануфактуре немцы отравили не то тридцать, не то триста человек, – возражал интендант. – А директор циделевской фабрики сам виноват, выхватил револьвер против толпы, ну и началось!

– Нет, не это главное, а: где была полиция? Почему она весь первый день не то что не стреляла в погромщиков, даже нагайками не разгоняла, только уговаривала? И даже скрывалась? Только на другой день, после ночных пожаров... Ну да ведь кое-где зашло, стали уже портреты царицы рвать...

Но Москва – всё-таки не Кишинёв! И – собирали общественные деньги, кормили пожарников, засыпающих на улице. И стенограмма срочного заседания городской думы шла по рукам. И выпустили на улицы свою общественную милицию. Но:

– Если подземной лавы нет – то вулканы не извергаются, и не вызовешь их никаким сверлением дыр, никакой подготовкой. Сейчас кричат: бей немцев! за газы! Но “немцы” – это только временный псевдоним, стечение обстоятельств, что против них воюют.

Выставляли надписи повидней: “Магазин пострадал ошибочно: фирма – русская и все служащие русские”. С иностранными фамилиями пострадали больше, чем немцы. Или, парадоксально: “Не трогайте! Здесь фирма – еврейская”! Сегодня было бы перед союзниками непрощаемо – бить евреев. Однако, громят немцев, а мысленно, перед глазами, представляют, конечно, жида! – ах, подожди, подойдёт времячко, как мы с тобой рассчитаемся! Вся война и может кончиться погромной эпидемией! Многие думают: не закрывать ли уже сейчас торговые дела? – следующая волна погромов ударит по ним.

Так задел Сусанну этот разговор в труппе, что и когда уже ночевать они устраивались, по тесноте с Алиной вдвоём в гостиничном номере, она ещё искала досказать:

– Вела меня мама, девочку, зимой, одетую и сытую, покупать игрушки. И перед самым магазином не одетый мальчик протянул голую ручку: “подайте, барыня!”. Он дрожал – и дрожь его передалась мне в шубке, и не захотела я никаких игрушек, отдай, мама, деньги ему! Так вот: представляйте, никогда не забывайте еврейский озноб, еврейскую дрожь, еврейское чувство безнадежности в этой стране. Унизительное наше положение: повсюду закрытые пути! нет права жительства в порядочных светлых городах! Моему брату не дали учиться в Киеве, он уехал ни много ни мало – в Иркутск. Оттуда еврейская община послала его в Швейцарию, он кончил в Берне доктором философии, а вернулся в Россию – и что ж? Зубы лечит! Вот такие наши пути. Равноправие – наша грёза! Она жжёт меня с юных лет.

– Равноправие? – О, конечно! – искренно сочувствовала Алина. – Равноправие – да!

– А если ещё ребёнком ты видела однажды, как катит по улице погром, а впереди несут хоругви и распятие, – то с каким же чувством во всю потом жизнь ты будешь видеть церковное шествие и просто даже крест? Или мимо церкви проходить?... Естественно, с ненавистью. Поймите, я нисколько не пристрастна, не подвержена чувству превосходства еврейской нации. Я благоговею перед немецкой музыкой. Обожаю французскую живопись. А русская литература – моё духовное лоно. Напротив, еврейских песен и танцев нисколько не люблю. Но я не сгибалась и не согнусь до согласия быть каким-то вторым сортом. До этого нашего самочувствия беззащитной курицы. Она заметила, что опять надевала и

накалывала уже снятые на ночь запястье и брошь.

– И всё выворачивают против нас! Вот, произвели облаву на биржевиков-маклеров на Ильинке, обнаружили 70 евреев без права жительства, – так пущен слух, что маклеры – сплошь евреи. Не стало разменной монеты – опять евреи виноваты. Не хватает каких-то продуктов, дороговизна, – так евреи прячут. Теперь – эти пристрастные обвинения Рубинштейна и сахарозаводчиков. Допустим, они персонально и виноваты – так и судить персонально, но без расширения этой отравы: во всём и всегда виноваты евреи! За всё, что с государством происходит, – должны отдуваться своими боками евреи!

Влекла её страстность более сильная, чем у неё выражалось на сцене.

– Конечно, нас всегда держали в гнёте и легче всего обратить народный гнев на нас, отвлекая от подлинных виновников. И конечно, погромные настроения стольких лет как же не дадут плодов? Ещё процесс Бейлиса не остыл, у нас ещё слишком живы от него раны. Так ясен этот замысел: на еврейском вопросе расколоть русское общество, единое в своём отрицании режима. Теперь пропитывают антисемитизмом и армию, чтоб и недовольство войск направить туда же. С бесстыдством раздули эту шпиономанию – обыскивают синагогу в поисках беспроволочного телеграфа! Из Курляндской, Ковенской, Гродненской выселяли, как экзекутировали: старых, слабых, больных, ужасные случаи рассказывают. Алина Владимировна, вы поставьте себя на их место, что значит выселяют: в несколько дней отрывают от очагов, от скарба, с которым прилажена жизнь, и кати куда-нибудь на Волгу, или даже в сибирскую деревню, – где устроиться? чем жить? что есть? как детям расти?! И теперь предателя Сухомлинова вот выпустят гулять по столице – а евреи так и застряли по деревенским ссылкам. И мало того: беженцев заставляют насильно работать, вводят новое крепостное право, люди перестают принадлежать себе.

Да ранило её в еврейском состоянии не только то, что врезалось в тело, грубо ударило или гнуло, но даже легчайший задев по волоску, с защитной чуткостью она вздрагивала ещё прежде, чем этот волосок задеет, ещё только предвидя, что сейчас его заденут:

– И эта шпиономания мне особенно больна потому, что связывается с обвинением евреев в трусости, изо всех наших унижений – самое обидное. Вот этот мой брат Лазарь, которым я восхищаюсь, в пятом году в Киеве создал из юношей отряд еврейской самообороны, с упоением ходил на ночные дежурства с револьвером – и впервые почувствовал, как это чудесно: не бояться! если умереть, то в схватке!

И в ясных глазах Алины не встречая скрытой насмешки, совсем уже прикровенно, перед тем как свет погасить, в ночном халатике:

– Наша история рассказывает, какими львами наши мужчины умели быть. В общественной жизни – и сегодня это видят уже все. А в военной – нет такой ситуации, а возникнет – они себя проявят.

И лампу уже задувая:

– Я не только не угнетена, но я – горда и счастлива, что я – еврейка! Что я из породы этих талантливых, справедливых, сильных духом и – храбрых людей. Да, храбрых! Спокойной ночи.

Для того и ездила она в этой жуткой труппе, по этим нелепым концертам, отрывавшим её от семьи, с тяготами переездов, с неудобными ночлегами, с декламацией, не всегда понятной молчаливой полуграмотной толпе, – чтобы отрабатывать честно долг перед войной и перед армией, и отнимать аргументы против евреев. Каждый по силам.

(вскользь по газетам)

**“РУМЫНСКИЕ СОЛДАТЫ! Я призвал вас, чтобы вы понесли ваши знамёна за пределы наших границ... Через века веков нация будет вас прославлять!”**



...После выступления Румынии путь на Балканы открыт. Не затянется и конец предательской Болгарии, теперь замкнутой со всех сторон...

– Теперь, сказал генерал-лейтенант Брусилов корреспонденту, левый фланг русской армии вполне обеспечен от всяких неожиданностей. Дух румынской армии великолепен. Генерал Брусилов уверен, что Австрия не сможет особенно долго защищаться, и война может окончиться в августе 1917 года.

**УЖАСНАЯ НАХОДКА** в саду германского посольства в Бухаресте: взрывчатые вещества... культура САПА...

...В Германии плохо уродилась картошка, давно нет хлеба и мяса. А кольцо неумолимой блокады...

...Имеются сведения, что крестьяне из-за какой-то совершенно непонятной боязни за будущее не везут зерна на рынок, а зарывают его в ямы... Необходимо вызвать у крестьян желание продавать зерно.

(“Речь”)

**ТВЁРДЫЕ ЦЕНЫ НА ХЛЕБ И КРЕСТЬЯНСКИЕ ИНТЕРЕСЫ.** Современная психология деревни: крестьяне стремятся сберечь на чёрный день основу своего существования – хлеб. Утвердить закон о твёрдых ценах может лишь вмешательство организованных общественных сил.

...телеграмма от министерства земледелия... Устанавливается твёрдая цена на муку. Этой телеграммы мы ждали как манны небесной... Она развязала нам руки... Установление однородных твёрдых цен исключает даже мысль о недостатке муки... Сельское население должно встретить эту меру с гражданским мужеством.

...Смягчить остроту хлебного кризиса можно: понижением твёрдых цен и применением широкой реквизиции зерновых продуктов.

(“Русские Ведомости”)

Письмо в редакцию...В настоящее время, когда цены возрастают непрерывно, не должно быть двух мнений, что нельзя предоставить жизнь железному закону спроса и предложения... Чрезвычайные меры регулирования, а не отмена обязательных такс и твёрдых цен...

...Повышение цен на сахар... рафинад – 20 копеек фунт...

**СПАСАТЬ УРОЖАЙ!** – дружины школьной молодёжи... добровольное паломничество гимназистов и студентов в поля... Внутреннее возрождение русской молодёжи...

...(фотографии:) “Нашим солдатам всегда весело” (двое широко улыбаются). “Вот кому достанутся плоды наших побед” (русский солдат подобрал турецкого ребёнка).

...На наших пленных пашут гуськом по десятеро... ездят на пленных за картошкой и брюквой... заставляют изготавливать удушливые газы...

...Как сильно немецкое засилие в нашей жизни! Уж мы ли не ублажали немцев? Наша наука и искусство 50 лет смотрели немецкими глазами, а наши декаденты не в

состоянии обраться и сегодня: несмотря на запрещение исполнять немецкие произведения, как это сделано в Италии и во Франции, разные концертанты понемножку поднимают голову, выражая свою душевную убогость, будто не могут обойтись без Бетховена и Вагнера. Публике остаётся бойкотировать такие концерты.

(“Новое Время”)

**ЛЕКЦИЯ НА ТЕМУ “ДУША ЖЕНЩИНЫ”...** Отрицательный ответ Вейнингера... Женщина в изображении Мопассана и Чехова... в произведениях Шекспира... Взгляд Толстого... Освобождённая женщина...

**В КИНЕМАТОГРАФАХ СТОЛИЦЫ:**

“АККОРД ЛЮБВИ”, “МОРФИНИСТКА”, “СОН О МЕЧТЕ ЗОЛОТОЙ”

**ПРОДАЁТСЯ** белый лакированный БУДУАР

**СЕНСАЦИОННЫЙ ПОДАРОК** – военные игры для детей и для взрослых, институт Песталоцци.

**КОСМЕТИКА ДРЕВНИХ ЭЛЛИНОВ** . Восковые и мраморные мыла...

**ОБУВЬ** на деревянных подошвах, удобно и дёшево! – мастерские Земгора.

**ЛЮБИТЕЛЬ СТАРИНЫ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ ПЛАТИТ** за фарфор, картины, бронзу, мебель.

Желаю поступить второй горничной...

**ПОДНЕСЕНИЕ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ** военного английского ордена Бани 1-й степени за военные заслуги.

...пока наша армия и армии союзников не обнимутся в братских объятиях под стенами Берлина...

...Наши и румынские войска несколько отошли...

Английский журнал: “Неуязвимость Восточного Союзника. Русская традиционная тактика – отступать для лучшего удара...”

...Британские “Томми” окрестили свои новые блиндировки кратковзвучным прозвищем танки, что значит “лохани”. Это – ромбовидные сухопутные корабли. Отец “лохани” – Уинстон Черчилль.

...Как сообщает агентство Рейтера, в настоящее время в Германии наблюдается полный упадок духа... Конец Австро-Венгрии близок... Под знамёна призваны... от 50 до 60 лет.

...корреспондент видел собственными глазами, как немецкий солдат, не имея сливочного масла, мазал хлеб колёсной мазью. Положение Германии на третьем году войны...

Из Действующей армии ... Немецкие дубинки для добивания наших воинов, отравленных удушливыми газами. Много таких дубинок, утыканных тупыми

гвоздями, было подобрано в занятых немецких окопах...

**ТВЁРДЫЕ ЦЕНЫ** . Крайне напряжённое настроение... Твёрдым ценам в мелитопольских селениях не доверяют... скупщики уезжают, не заключив сделок...

Екатеринослав . На хлебном рынке – небывалое затишье. С утверждением новых твёрдых цен на хлеб аграрии предпочитают удерживать хлеб у себя. За недостатком зерна мельницы прекращают производство.

**МУКИ И ХЛЕБА** в Ростове достаточно! Мнимый недостаток создан самими же обывателями, которые стали усиленно закупать хлеб. Хлебопёки заявляют, что население берёт хлеба гораздо больше, чем нужно... Ограничить: пуд муки в одни руки...

...Спрашивают: но разве легко реквизировать? Отнимать силой хлеб у помещика и крестьянина по цене, которую они считают низкой? Не значит ли это – волновать часть русского народа? Однако без реквизиций вряд ли обойтись. В стране, где нет элементарной честности и гражданственности, нужна угроза.

(“Речь”)

...В губерниях, где нет запрета на вывоз овощей, они все дочиста куда-то исчезают. По деревням ездят перекупщики, скупают всё, что под руку попадётся – масло, яйца, грибы, шерсть, и всё увозят в неизвестную даль.

Тифлис . Тут обнаружено более 40 вагонов припрятанной муки. Часть испортилась.

**СПЕКУЛЯЦИЯ ФИРМ Нобель и “Мазут”...**

Спекуляция с галошами...

**ОБЩЕСТВО 1914 ГОДА . РАВНОДУШНЫМ – СОЖАЛЕНИЕ, ПРОТИВНИКАМ – УВАЖЕНИЕ, СОРАТНИКАМ – ПРИВЕТ...** задачи далеко выходят за рамки современных событий... Освободиться от всякой иностранной опеки... на страже русской самостоятельности и народной энергии...

**ПАТРИОТИЗМ И КУРОРТЫ...** На вокзале в Симферополе – столпотворение. На немногих счастливых, получивших автомобиль или экипаж, накидывается стая, умоляя захватить и их...

**НЕКУЛЬТУРНЫЙ ГЕНИЙ...** В “Севильском цырюльнике” Каракаш спел не так, и “маэстро” Шаляпин демонстративно отбил ему ногою такт, а потом во всю ширь некогда богатырского голоса: “Если не умеешь петь – бросай!” Каракаш ушёл за кулисы, а вдогонку ему из уст гения раздалось непечатное ругательство...

**СЫР ИЗ КАРТОФЕЛЯ** по вкусу и питательным достоинствам приближается к швейцарскому...

**РУССКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ ПУЛЕМЁТ ”...**

Специально **ДАМСКИЙ ТРАУР**, готовый и на заказ...

Мамка, деревенская женщина, ищет места.

**ЧИСТОКРОВНЫЕ ВЕРХОВЫЕ...**

**ПРОДАЁТСЯ СОБОЛЯ РОТОНДА...**

**ПОМОГИТЕ!** Вниманию добрых людей! Жена землемера просит добрых отзывчивых людей о материальной помощи... в крайне тяжёлом положении, с двумя дочерьми, оставлена мужем... все вещи заложены...

**В ЦАРСКОЙ СТАВКЕ.** В день тезоименитства Наследника Цесаревича Высокопреосвященный митрополит Питирим совершил Божественную Литургию... Имели счастье поднести Его Императорскому Величеству от Святейшего Синода благословенную грамоту вместе с иконою Всемилоственного Спаса.

**АВСТРИЙСКИЙ МИНИСТР-ПРЕЗИДЕНТ ШТЮРГК ЗАСТРЕЛЕН** газетным издателем Фридрихом Адлером...

...В Добрудже наши и румынские войска несколько отошли...

...В наше время с мыслью о смерти сжились миллионы людей... Умирают без единого упрёка, сознавая всё громадное значение их смерти... “Пусть нас не станет, но наши дети узнают радость свободной, беспечальной, красивой жизни, которая придёт на заплаканную землю...”

...Цынга в германской армии...

Классовая вражда в Германии...

...Германские клеветы на Россию...

**ЗАЯВЛЕНИЕ РОДЗЯНКО...** Ввиду появившихся в печати соображений, следовало ли бы М. В. РОДЗЯНКО принять министерский пост, Председатель Гос. Думы просит сообщить, что никто никогда не делал ему таких предложений.

**В БЮДЖЕТНОЙ КОМИССИИ ГОС. ДУМЫ.** Министром земледелия внесен проект реорганизации продовольственного дела... Самое широкое участие общественных элементов... главноуполномоченных и помощников последних... Министерство внутренних дел со своей стороны также закончило разработку проекта нового продовольственного закона. Заведывание народным продовольствием в Империи возлагается на министерство внутренних дел, на губернаторов и градоначальников...

Тамбов . Губернатор угрожает реквизицией. Во имя патриотизма губернатор приглашает торговцев и производителей немедленно заявить уполномоченному об имеющихся у них для продажи запасах хлеба.

Новочеркасск ...Вся власть по снабжению возложена на уполномоченных, разные совещания, комитеты, а когда беда нагрянет, население идёт к атаману...

**АГРАРИИ МОБИЛИЗУЮТСЯ.** Землевладельцы Саратовской губернии готовятся выступить против установленных твёрдых цен на зерновые продукты.

**РАЗНЫЕ ИЗВЕСТИЯ ...** Бабы не идут на работы. Деревня так засыпана деньгами, что люди не хотят больше работать...

(“Речь”)

...Коровьим маслом Петроград совершенно не обеспечен. Наоборот, в прибалтийских губерниях имеется избыток масла, однако доставка его в Петроград невозможна из-за запрещения вывоза...

...Тульский сахарный завод не имеет сырья, а в Рязанской и Тамбовской губерниях свёкла гниёт: запрещено вывозить.

**Кострома . Дровяной кризис в лесном царстве...**

**ОБЛАВА В ОДЕССЕ .** В крупнейшем спекулянтском гнезде, в центре города... кончилась арестом нескольких десятков спекулянтов, маклеров и перекупщиков...

...Во Владикавказе за сокрытие 700 пар обуви миллионеры Николай и Владимир Запаловы подвергнуты генерал-губернатором аресту при тюрьме на 3 месяца без замены штрафом.

В опровержение неправильных сведений, проникающих в печать, о положении керосиновой торговли, ПРАВЛЕНИЕ ТОВАРИЩЕСТВА БРАТЬЕВ НОБЕЛЬ считает необходимым опубликовать... Запасы керосина нигде и никем не скрываются...

**ПАТРИОТИЧНО И ВЫГОДНО:** покупайте **ВОЕННЫЙ ЗАЁМ** , 5 с половиной процентов годовых... Это наиболее лёгкий долг перед Родиной, а после войны благодаря сбережениям по-новому устроите вашу жизнь.

...женщина – рулевой на барже, женщина – водолей...

Общее собрание **ОБЩЕСТВА ОХРАНЕНИЯ ЕВРЕЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ...**  
Санатории в Крыму...

**В КОМИТЕТЕ БОРЬБЫ С НЕМЕЦКИМ ЗАСИЛИЕМ...** Ликвидация немецкого землевладения по Югу России идёт полным ходом...

**БОЛЬШОЙ ЦЫГАНСКИЙ КОНЦЕРТ**  
**КАТЮША СОРОКИНА ...** При благосклонном участии балерины имп. театров Тамары Платоновны Карсавиной.

**БОЛЬШОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ** за содействие в найме **БАРСКОЙ КВАРТИРЫ.**

**ВОЛНИСТОЙ БЕРЕЗЫ КРАСИВАЯ СПАЛЬНЯ** продаётся...

**РОСКОШНЫЕ ПЕРСИДСКИЕ И СМИРНСКИЕ КОВРЫ ...**

**ШИТЬ ДОМА ОБУВЬ** каждый легко научится ...

Прачка учёная...

**САМОВОЛЬНЫЙ АКТ.** Германо-австрийский манифест о создании польского

королевства... не спросив поляков, хотят ли они немецкого ярма... Обычная для германского правительства гнусность... Ведь со стороны России только потому ещё не приступлено к устройству Царства Польского, что такое устройство в разгаре войны невозможно осуществить.

...Daily Telegraph: “Понемногу мы начинаем понимать русскую душу... Непоколебимая лояльность, за которую мы так благодарны... Всё, что неясно грезилося мечтателям-идеалистам, – выносливость, добродушие, благочестие славян, стали выделяться из общего ада страданий и несчастья...”

...Фридрих Адлер – сын вождя с-д партии Виктора Адлера, женатый на русской студентке, любимый ученик знаменитого Маха. Страстный социал-демократ... Указал на повод своего акта – запрещение социалистического собрания...

(“Речь”)

...Даже неловко вспоминать, что у нас царило всеобщее убеждение в краткости военных действий – от 4-х до 8-ми месяцев. Продолжительность более года считалась немыслимой уже потому, что население Германии должна была постичь голодная смерть. Но 28-й месяц войны показывает... Мы не только пережили острый недостаток военного снабжения, но очутились перед изумительным фактом расстройства продовольственного дела Империи, до войны кормившей своим хлебом не одно западное государство.

**В БЮДЖЕТНОЙ КОМИССИИ ГОС. ДУМЫ.** Речь министра внутренних дел Протопопова... “Благородному лозунгу „всё для победы!” не следовало дать перейти в лозунг “ничего для тыла”... Когда я был в Англии... Мы опоздали... Частный почин должен жить, ибо это есть гений нации, её упругость... Введение карточной системы остановило бы всю торговлю...”

**КУДА ИДЁТ РУССКИЙ ХЛЕБ .** В Харькове на многолюдном совещании уполномоченных по хлебным заготовкам... в то время, как наши русские города не могут получить ни куля хлеба, в Финляндию хлеб вывозится в громадном количестве и беспрепятственно...

(“Новое Время”)

**Новочеркасск .** Такса на картофель не свыше 75 коп. за пуд...

...из Москвы вернулся знакомый таганрожец. “По сравнению с Москвой и даже Харьковом – в Ростове ещё рай земной, стыдно за своё благополучие”...

**МАТЕРИАЛЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ...** О мерах к прекращению потребления населением мяса и мясных продуктов от крупного рогатого скота, телят, овец и ягнят, свиней и поросят...

**СОКРЫТИЕ ЗАПАСОВ .** В квасоваренном заведении по Поллюстровской набережной... в лабазе братьев Жигаловых 33 бочёнка...

**Одесса .** Продолжается обследование заводов Шапиро, Раухбергера, Шполянского, в отношении коих установлено использование оборонных материалов в спекулятивных целях для частных надобностей. Документы и книги полиция обнаружила закопанными в землю.

(“Русские Ведомости”)

**ТОВАРИЩЕСТВО бр. НОБЕЛЬ И КЕРОСИН...** Что же они опровергают? Во многих городах, не говоря о деревнях, нет керосина, цены непомерные. Доходы с нефти таковы, что акции товарищества расцениваются в 6 раз выше своей номинальной стоимости.

... нынешняя война – **ВОЙНА НАРОДНАЯ**, и военный заём должен стать **НАРОДНЫМ ДЕЛОМ...**

**ОБЩЕСТВО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РОСКОШИ И РАСТОЧИТЕЛЬНОСТИ...**  
Обращаемся к русским женщинам в надежде, что ни одна не примет участия в непристойном соревновании, в бале-маскараде с выдачей призов – за расточительность на туалеты и драгоценные камни...

**СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ! ОТЗОВИТЕСЬ!**

...Последние дни выставки **ИСКУССТВЕННЫХ ПРОТЕЗОВ**. Работа на сенокосе с искусственной левой рукой... Казак с искусственными ногами... Нос из мягкого материала... Электромагнитная рука, приводится в действие при помощи штепселя...

**ЖЕРТВЫ ШОФЁРОВ. НЕОСТОРОЖНАЯ ЕЗДА...** Автомобиль №... сшиб извозчика на Дворцовой набережной... На Каменноостровском №... переехал 7-летнего мальчика... №... наскочил на фонарный газовый столб... №... сломал столб электрического трамвая и скрылся...

**ВНИМАНИЕ !** Не нужно больше сахара! Берегите здоровье и деньги! Пейте **РУССКИЙ ЯГОДНО-ФРУКТОВЫЙ ЧАЙ...**

*ДАМЫ, любительницы нарядного белья, шикарных капотов, роскошных матинэ, – спешите приобрести у вояжёра!...*

**РАЗВОД** быстро и дешево. Невский проспект №...

Ренессанс, дивный **КАБИНЕТ ТЁМНОГО ДУБА**, крыто заграничной кожей...

Одной прислугой...

**ЖЕЛАЮ МОТОЦИКЛЕТКУ.** ...

...единой и священной державной воле Помазанника Божьего, нашего горячо обожаемого Государя Императора, который...

...Оставление нами Констанцы... Подожгли элеваторы и резервуары нефти...

...Греческое правительство приняло все условия французского адмирала...

**БОЛГАРСКИЕ ЗВЕРСТВА...** Нация каинов-братоубийц...

**ДОЛЖНЫ ПОБЕДИТЬ!**

“Таймс” указывает, что главная причина, по которой Германия объявила создание польского королевства, – это необходимость получить польские войска.

...Главное противодействие деятельности парламентских учреждений происходило именно от Штюргка. Из сообщаемых газетных данных вытекает резко-реакционное направление его деятельности в последнее время. Он вооружил против себя самые широкие общественные круги. Таким образом мотивы адлеровского выстрела проясняются с достаточной полнотой.

(“Речь”)

Лондон . Митинг пролив преждевременного мира.

#### **НОВЫЙ ЗАКОН ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СПЕКУЛЯЦИЮ.**

Давно ожидавшийся населением, наконец-то опубликован... За требование чрезмерных цен на предметы продовольствия... за сокрытие запасов или прекращение продажи без уважительных причин... Зачинщики... тюрьме от 8 до 16 месяцев.

**БАНКИ И ХЛЕБНАЯ ТОРГОВЛЯ...** Совещание банкиров об участии в продовольственном деле.

Московская печать взволнована слухами о введении предварительной цензуры для московских газет... Все понимают необходимость военной цензуры, иное дело – гражданская. Какие политические тайны надо скрывать правительству от своего народа? Будет цензура – появятся “устные газеты” и едва ли им обрадуется правительство. Мы, журналисты, сейчас принадлежим к “натуралистической” школе, тогда станем “символистами”...

(“Утро России”)

#### **ВОСПРЕЩЕНИЕ ВВОЗА ПРЕДМЕТОВ РОСКОШИ В РОССИЮ.**

...меры борьбы с питьевым потреблением лака и политуры...

**ЖЁЛТЫЙ ТРУД...** Во многих городах России китайцы появляются всё чаще.

#### **КТО ИЗ НАС НЕ ХОЧЕТ ПОМОЧЬ НАШЕМУ ХРАБРОМУ ВОИНСТВУ? СПЕШИТЕ КУПИТЬ ВОЕННЫЙ 5 1/2 % ЗАЁМ!**

Каждая облигация займа в 100 рублей -  
это три выстрела шрапнели по врагу.

Одесса . **ДЕЛО О БАБЬЕМ БУНТЕ.** В связи с земской переписью у населения продуктов по сёлам распространился слух о “возврате крепостного права”... Толпа около ста женщин...

**ШАЙКА АФЕРИСТОВ.** В особом присутствии петроградской судебной палаты началось рассмотрение большого дела о шайке всероссийских аферистов... Глава всей компании – Церетелли, незаурядная личность. По подложной телеграмме получил около 200.000 руб... пожертвовал на благотворительные цели 4000 руб. и за это окружён был почётом... “Я жил и давал жить другим”...

**ВЫСТАВКА ПРОТЕЗОВ...** Чувство изумления перед размерами остроумной изобретательности... Но попробуем заглянуть в будущее... Срок жизни каждого протеза – 2-3 года, новый стоит 100-150 руб. Очень скоро увечный должен будет обходиться при помощи деревяшки, и вот на это примитивное устройство желательно обратить особое...



Что все думы, все вопросы!  
Сладко зыблюсь в гамаке.  
Мёртвый пепел папиросы  
Чуть сереет на песке.

Были бури, будут бури,  
Но теперь лишь тихий сад.  
Словно сам в бело-лазури,  
Я, как ласточка, крылат.  
В. Брюсов

**ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ МЯСО?** *Руководство к приготовлению вкусных, сытных, дешевых блюд.*

**ЗУБЫ ПОКУПАЮ:** зубы искусств, старые и даже ломаные челюсти по самым высоким ценам. Плачу за зуб от 50 к... Покупаю также лом золота, серебра и разные ордена...

**ВСЁ В ЖИЗНИ МЕНЯЕТСЯ!** – только единственные папиросы СЭР были, есть и будут всегда постоянного высокого качества!

Сегодня БЕГА

МОЛОДЕНЬКАЯ ПАРИЖАНКА желает быть компаньонкой.

Роскошная белая спальня парижской работы...

УБЕЖИЩЕ БЕРЕМЕННЫХ, рожениц – секретная акушерка...

Ищут интеллигентную няню...

Швейцарская коза требуется...

**ВОЗВРАЩЕНИЕ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА .** Его Величество Государь Император с Наследником Цесаревичем Великим Князем Алексеем Николаевичем 19 сего октября изволил прибыть из Действующей армии в Царское Село.

**ФРАНЦУЗСКИЙ ПРОРЫВ ПОД ВЕРДЕНОМ!...**

...наши и румынские войска несколько отошли...

...Россия приблизится к зениту своей мощи в будущем году. 99% русских требуют продолжения войны до окончательной победы. Будущим летом решится исход войны...

**НОВОЕ ИНТЕРВЬЮ ГЕНЕРАЛА БРУСИЛОВА.** “Война нами уже выиграна , – сказал доблестный русский генерал английскому корреспонденту, – вопрос лишь во времени. Неудачи румын не имеют серьёзного значения...”

...Times: “Теперь мы все – за Россию. Будем надеяться, что эти горячие чувства не заменятся равнодушием”.

Орган германской социал-демократии заявляет: главный пострадавший от этого акта – не убитый, не оставивший семьи. Трагической фигурой является “старик на троне”, Франц-Иосиф, уже потерявший в таких же условиях и брата, и сына, и жену, и племянника. Но ещё трагичнее судьба отца убийцы Виктора Адлера, и к нему должны теперь направиться симпатии пролетариата. Это он когда-то вывел австрийское социалистическое движение из стадии терроризма, основал его на гранитных основах марксистского учения, – и теперь анархия нанесла ему страшный удар.

(“Речь”, 20 окт.)

Назначение баварского принца Леопольда польским королем...

Вывоз мужского населения Сербии австрийцами...

...следует признать, что Германия, благодаря своевременно принятым тщательным мерам строгого порядка и экономии не испытала до сего времени существенного недостатка тех или иных продуктов...

...В Петрограде объявлено переосвидетельствование белобилетников.

**ИЗОБИЛИЕ МЯСА В ПЕТРОГРАДЕ...**

...Главный совет Союза Русского Народа считает, что в настоящее время России никакая революция не угрожает, всё это выдумки...

...В настоящее время наступил максимум всех солнечных и земных магнитных явлений... В течении предстоящей зимы в Петрограде можно будет часто наблюдать полярные сияния.

**“ МНЕ ВСЁ РАВНО, КТО УБИВАЕТ НЕМЦЕВ ” – ДЖЕК ЛОНДОН...** Скорбная весть о кончине писателя... Таким образом приведенные выше слова звучат предсмертным заветом...

...в помещении Петроградской военной гостиницы (б. Астория) *five o'clock ПЕТРОГРАД – ЗАЩИТНИКАМ РОДИНЫ*, при участии лучших сил...

**СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ! ОТЗОВИТЕСЬ!**

**КАВКАЗСКИЕ КУРОРТЫ...** Наплыв приезжих... Мясо – 30 коп. за фунт, куры – по рублю... .

**ПОЛНУЮ СТОИМОСТЬ ПЛАЧУ** за бриллианты, жемчуг, золото ... Ювелир Фистуль.

**БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕКА** мгновенно и безошибочно раскрываю магическими картами.

Молодая интеллигентная барышня *предлагает массаж общий и местный* ...

**РУССКИЙ КУЧЕР**, знает троечную езду...

В этом году Алина твёрдо решила, что больше не поедет свидаться с мужем у фронта, довольно этих унижений, как будто она выпрашивала себе свой естественный праздник. Захочет – приедет сам, как другие офицеры приезжают.

И значит, в этом октябре, в конце, ей предстояло встретить свой день рождения без мужа. Обдумывала, как же бы его отметить пооригинальней, чтоб запомнился этот день. Кого бы позвать? (И вдруг бы! – как-нибудь разыскался бы да нагрянул даритель розового букета?... Что бы тогда?...)

Но всё это задумывала Алина отчасти и через силу: и с деньгами было скромно (с ценами высоко), и на самом деле трудно было ей собрать смелость на слишком эксцентричный шаг. И уж она думала: просто уехать к маме в Борисоглебск да повидать кой-кого из подруг юности?

И вдруг в пятницу, 14-го, пришла от Жоржа телеграмма – да откуда! уже из Киева: что в субботу он будет в Москве! Замечательно! Милый! Ну, тут я тебя расшевелю! Не был в Москве с тех пор, как отчислили из Ставки, и тогда-то три дня.

И получалось – почти за две недели до дня рождения. Ну, всё-таки не вовсе потерянный человек.

И – облегчение: не напрягаться, не силиться на что-то экстравагантное. Ничего не изобретать, а по-домашнему, так и легче. Всегда легче жить, как жизнь течёт сама.

Как раз в пятницу пришла и черезденная прислуга. Кинулись с нею стряпать и квартиру приохорашивать – постирать и сменить тюлевые занавески на окнах, кружевные накидки на столиках, выбить ковры и коврики – Жорж совсем забыл о домашнем уюте, так любовно напомнить ему каждой мелочью, и каждой подушечкой на диване.

А жили они с 14-го года, как счастливо вырвались из Вятки в Москву, – в удобном приятном новопостроенном доме на Остоженке между Ушаковскими переулками, против Коммерческого училища. Чистая красивая лестница, мраморные ступеньки, коричневые плитки на площадках, трогательные звонки-ушки – “прошу повернуть”. Черной лестницы не было, но был чёрный отвод марша в конце, чтобы с отбросами не выходить через парадное. Отопление было центральное, и в трудную осень, как сейчас, при дорогих дровах, не думать о топке, эта забота была – священника, построившего и содержавшего их дом на земле своей Успенской церкви. И – чудесна, теперь уже привычна и полюблена их квартирка в три комнаты на третьем этаже с окнами на Остоженку и на церковный двор. Из этих боковых окон ещё лучше виделась улица, сверху и вдаль, прямо к штабу Московского военного округа, куда Жорж и перевёлся в 14-м году. (И где у него сохранялись обширные знакомства, так что мог бы он и сейчас перекомандироваться сюда из полка – но отклонял даже намёки).

Ещё поздно вечером Алина перекладывала любимые предметы мужа, представляя и вспоминая, как ему удобнее дотянуться и повернуться от письменного стола. Устояние семьи – это дом, и каждая мелочь в нём должна быть хороша, уместна, приспособлена, помогать жить, привязывать. А у Алины как раз есть ощущение единственной верности расстановки предметов, развески фотографий по стенам. За два года своей передражной фронтовой жизни Жорж отвык, у него уже нет связи с домашними вещами, но должна вернуться! – после военных неудобств он особенно оценит их.

Теперь, если оглянуться, – и всегдашняя беда Жоржа была – душевная чёрствость, это не новое у него. У него нет подлинного дара любви – внимания к душевным движениям, особенно женским, к подробностям человеческих историй. Жалко его, дурачка: он первый и страдает от того, как обделён чувствами. Что ж, вот и направление деятельности жены: следить за душой мужа и исправлять его органические недостатки. И даже с нынешним его омертвлением – сейчас не может быть, чтоб он дома не оживел, не приободрился.

Убираясь, Алина размышляла, как лучше им распорядиться этими неделями, на которые он приезжает. Время – чудное, самое концертное, на конец месяца объявлены Рахманинов и Зилоти в Дворянском собрании, а вот с понедельника – оркестр Кусевицкого в театре Незлобина, а уже завтра – первое из шести собраний Русского Музыкального Общества, французская музыка, там соберётся цвет музыкальной Москвы, но на это уже не

попасть. Для артистического развития, чтобы дышать музыкальным воздухом, Алине совершенно необходимо бывать на таких концертах. Но и насколько ярче – пойти не с подружками, а об руку с мужем, боевым импозантным полковником (лишь по своему упрямству до сих пор не генерал), и в антрактах, прохаживаясь по фойе, знакомить и знакомить его со своим новым московским кругом.

С утра она ждала, не зная часа приезда. Но вот зажурчал милый дверной звончок, Алина распахнула дверь – и дала налететь на себя этим клещам, обнять, сжать (ещё сильнее ты стал?) и даже подбросить, и щёкотом протереть бородой (подстригу тебе, очень выросла!).

– Цел! цел! – тянула она его за шею. Муж её был цел на расстройство всем врагам, тьфу, тьфу, тьфу!

И поплыла небуденная радость. Вместо фуражки – папаха, очень идёт. Кожа ещё загаристой и суровой. И прежние быстрые глаза (вот уже и оживляется). Мундир – не обычного серо-зелёного сукна, а коричневого. Красиво! А почему? Теперь тоже считается защитным? Но – не без франтовства. А в чём я сегодня? – ты хоть заметил или вовсе пень? Какой наш день тебе это напоминает?

Походили по комнате, обнявшись. Она пыталась ему показывать одну, другую свою затею – но он ещё не видел ничего. Ну, сожми меня ещё раз. Вот так.

Следила: известные милые предметы их обихода – вызывают ли по-прежнему его улыбку? Всё на тех же местах, а что переставлено, перевешено – не к худшему. Водила его по квартире, следила за выражением лица, появляется ли облегчение от фронтных тягот, изумление, что целые страны изойдены, исколешены, а здесь – всё на местах. Появлялось (но недостаточно). Да ты заметил ли, как тщательно прибрано, тюлень?

– А как вот эта накидочка называется, не забыл?

Вышитая паутинкой и накинута на чёрный круглый столик.

Улыбнулся стеснительно:

– Паучок.

Помнит!

– А вот этот комодик?

Улыбнулся:

– Пузёныш.

И что граммофон их назывался Грум – тоже помнил. Многие привычные милые вещи, помогающие жить, назывались у них собственными именами. Обаяние дома.

– Славнечко доменька? – добивалась Алина тоже принятыми ласковыми словами. – А чьи ручки всё устроили? – щурилась и протягивала для поцелуя обе.

Сбросил амуницию – но, не облегчённый, опустил на диван, как от тяжести своего тела. И даже выдохнул вслух:

– Фу-у-у-уф!

– Бо-оже мой, – передалось и ей, своим телом почувствовала это нагруженное железо в нём. – Как же тебе тяжело! – Подошла вплотную, ворошила ему волосы. – Тяжело, да? Очень?

– Да-а-а, – ещё выдохнул он, глухо и безнадежно.

– Что? Вообще?

– Да. Вообще.

– А что именно?

Сидел неподвижно, вздохнул:

– Да-а-а так: больше мы теряем, чем когда-нибудь возьмём.

– Убитыми?

– Убитыми, ранеными, измученными... отвращёнными... Всяко. Ничем это не возместится. Никогда.

– О-о-о, Боже мой, как ты устал! Как ты устал! – ласкала его голову.

– Что я устал – это ладно. Но...

– Вот что значит – ты не приезжал в прошлом году в отпуск. Ты – сам себя всю жизнь мучил, сам себе – первый враг. Надо ж тебе и себя побережь! Тебе надо – развеяться!

А вот уже и звонила в маленький китайский колокольчик. Колокольчик-то он помнит? – мелодично вызванивать, приглашать от работы к еде. А уж тут ему больше всего и должно было понравиться! Вкусы к еде не изучишь и за год, здесь-то – и давность, в том-то и женатость.

В петербургские годы они снимали квартиру “от хозяйки”, чтоб у неё кормиться и не нужна прислуга. А в вятской дыре офицерские жёны, по недостатку жизни, стряпали сами, Алина тоже попытана своё уменье и, как всегда, за что б она ни взялась серьёзно, стало превосходно получаться. Жоржу очень нравилась её кулинария, он никогда не упускал сделанного, всегда видел, хвалил, не жалко и потрудиться. Мир домашнего хозяйства оказался особым сложным миром, требующим сразу и науки, и вкуса, и общего правильного распорядка, но в разнообразной богатой природе Алины всё это было и здесь применялось благодарно. С войны и в Москве стало модно обходиться на кухне самим, иные московские знакомые теперь тоже так – а уж Алина тем более легко.

Но как раз последние месяцы с продуктами сильно ухудшилось, далеко не всё достать. (Жорж высмеивает: ну не так, как отрежут подвоз в горах, и трое суток совсем есть нечего?) Не так, но чего нет – продаётся из-под полы по вздутым ценам, вдвое и втрое дороже. Захудалый Долгачёв, в подвале княгини Львовой, напротив, и тот припрятывает, допрашиваться надо. Кое в чём выручает недавно устроенная офицерская кооперативная лавка. Везде – хвосты, хвосты. Проезжал – видел?

– Са-ма? Ещё б я стояла! Что бы мне тогда оставалось в жизни! Мне – пять часов ежедневно надо просидеть за роялем! Ты ничего уже не помнишь...

Помнил, помнил. Не совсем ещё заглохло сердце.

Бывает – за мясом. За французскими булками, с раннего утра. А сахара совсем не достать. Неделю назад ввели такие талончики, будет теперь по ним. Но у нас-то – варений маминых борисоглебских... Дорогие конфеты, мёд – это везде. Но всё вдвое.

– О, вы разве представляете нашу жизнь? У вас там – паёк, всё готовое. А тут ещё – из-за беженцев, наехало их видимо-невидимо, и богатые. И ещё им платят пособие на прожитие. А – сколько приходится теперь прислуге платить? Чуть не каждый месяц добавлять.

– И – как же? – омрачился он.

Конечно, трудно. Конечно, плохо. Мама помогает, кто ж.

Мать Алины, вдова действительного статского советника, имела большую пожизненную пенсию. Немалую пенсию за отца когда-то получала и Алина, но по закону – лишь до замужества. Алина – не мотовка, он знает. Но офицерского жалованья и всегда было только-только. А звание генштабиста давало лишь особое служебное продвижение, но никаких собственно добавочных денег.

Впрочем – и он ведь, Алина знала, в карты не играл, не пил, в рестораны не ходил, дворянское прожигательство ему было всегда ненавистно, он фанатик дела.

– Ведь надо же мне сохраниться, милый? Для будущего? Для тебя же?

Ещё бы, ещё бы!... Смутился, отемнился, потупился. Нет, он не безнадёжен и будет снова чуток, когда будет жить в тёплой семейной атмосфере.

Да он уже распрямляется. За несколько дней отойдёт, потеплеет.

Их руки, с одинаковыми обручальными кольцами, переносились над маленьким столом, беря, накладывая.

– Ну как? – уверенно улыбалась Алина. – Да ещё после окопного?

Нра-а-авилось. Покручивал широковатой, а лёгкой головой.

– Уменье! терпенье! – кокетливо изгибалась она. – А у тебя сединки, сединки, смотри! – оживлённо находила она. – Надо повыдёрживать, зачем мне седой муж?

Шутила. А на самом деле: какой достался. Надо уметь быть верной, прилежной и облагораживать его, в чём можно.

Между тем за суматохою и радостью встречи Алина упустила то, что замечала всегда: когда Жорж бывает потуплен и мнётся не от раскаяния, а – опасается её, что-то оттягивает, не хочет сказать. И вот теперь, когда стала говорить ему о планах, на какие бы концерты им пойти непременно на следующей неделе – Мейчик, Фрей, увидела: негладко, неладно, что-то тяготит его и всё больше.

Наконец, стал тягуче, смущённо выговариваться: что никак иначе было нельзя. Что это – не отпуск, а срочная командировка в военное министерство. Что, собственно, он должен был ехать в Петербург прямо через Могилёв, а не через Москву...

– Ка-ак? Ка-ак? – ранило Алину. – И ты – молчишь?! Да ты просто топчешь меня!

И над светлой сервировкой своей, над своими стараньями, заботами, всем приготовленным – заплакала от обиды, так это было жестоко и унижительно.

– Так и ехал бы прямо! И мне бы вовсе не объявлял! И это было бы милосерднее!

Стал позади, отаптывался виновато, за плечи брал.

– Или в телеграмме предупредил бы, что – проездом. Я б и не настраивалась. Тоже милосерднее.

Права, права, возразить ему было нечего, копошился там сзади у плеч.

– А что же ты мне в письмах писал? Как томишься моим молчанием? Если в этом году не увидимся – не вынесешь? Когда увидимся, то будешь только целовать, целовать, слова не произнесёшь...?

Нет, это было его особое свойство: если и доставить радость, то неполную, обязательно тут же и омрачить. Пойти в концерт – и пробурчать весь вечер, что зря пришли. В театральном антракте не согласиться пойти в буфет, будто это противоречит духу спектакля. Сам же когда-то подарил ей фотографический аппарат – а её фотографий не рассматривал, уклонялся, так что у самой пропадает интерес показывать, классифицировать, наклеивать, отдавать в увеличение, – а были презамечательные. В чём, правда, корни его душевной сухости? Погоди:

– Но – день рождения?? Ты что же – **не будешь** ?

Будет, будет, показал лицо, вышел из-за спины. Так на сколько ж дней в Петербург? Опасливость и виноватость ещё не ушли с его лица: дня н-на четыре... Ну ладно, до дня рождения ещё двенадцать, так-сяк. Но – категорически?!

Доедали удачный завтрак. Обычный обряд после каждой еды был – целовать в щёчку. Но сегодня Алина с полным правом подставила губы.

После завтрака мыла на кухне посуду, Жорж зашёл может быть и за делом, но против лампочки, зажжённой по тёмному дню, заметил, черствяк, как у неё ушко светится, – а ушки были действительно украшением Алины! изогнутые тонкие нежные раковинки с неприросшими мочками! две симметричных изящных, как выхваченные дары океана! – поцеловал сзади в ушко. За ушком. В шею. И потянул из кухни, не давая как следует вытереть рук.

Не по времени дня, но вполне по сумеречному свету, лежали. А на душе стало светленько. И захотелось рассказывать. Рассказать близкому человеку – это ещё раз пережить, углубить переживание, даже как бы дополнить его. А за последние месяцы столько бывало!... Например, один раз давали концерт в доме у Боткиных. Давали благотворительный в Охотничьем клубе, чудная акустика. Сам московский голова Челноков целовал Алине ручку.

– А один подполковник на другой день сказал: вы знаете, после вашей баллады Шопена **я не мог** спать всю ночь!

Но Жорж оставался не захвачен: он курил лёжа (как выгнали из Ставки, с тех пор опять стал курить и не борется с собой), методично стряхивал пепел, не просыпая мимо на тумбочку, а интереса не было, слушал не перебивал, но и сердцем не встречал рассказа. И это после такой долгой разлуки!... И не разделил даже самое драгоценное её: что этой бурной концертной деятельностью можно хоть с опозданием и косвенно наверстать упущенную консерваторию.

Ах, он оставался во мраке! Но – и очень же он отупел за эти годы окопного сидения. Почему не возвыситься к искусству – высшему, что в мире есть? Да уж не страдает ли его мужское достоинство от разворота алининого таланта – тогда как сам он заглох и опустился?

– Да ты не радуешься моим успехам? Ты что ж – ревнуешь? Ты предпочёл бы, чтоб я сидела в четырёх стенах?

Уверял, что – рад и даже очень, и букетам, и всему.

Она, напротив, была готова слушать его! Но он не рассказывал. И тут Алина спохватилась, что у них, по сути, один вечер – всего лишь один сегодняшний вечер! – и как же верней распорядиться им? надо скорей решать. – А дома не посидим? – надеялся Жорж. – По твоей собственной вине! Брал бы командировку в Московский округ. Билеты куда-нибудь? – уже поздно. Но – в гости. (А – показать его Сусанне!) Наденешь все ордена? – Нет, все носят при парадной. Только Георгия и Владимира. – Жалко.

Завертелось у Алины: как дать знать? у кого собраться? Она деловито одевалась. Хорошо теперь повесили телефонный аппарат у них на лестнице, не идти в аптеку.

Пошла. Сделала удачные телефоны. Вернулась:

– Соберёмся у Мумы. Она попоёт, я поаккомпанирую.

Жорж скинулся: мол, всего лишь аккомпанировать и для того тянуться? Да лучше дома поиграла бы сама, я люблю твою музыку именно, когда ты одна играешь.

– Аккомпанировать – это низко? – возмутилась Алина. – Да ты урод, ничего не понимаешь. Аккомпанимент – это высшее наслаждение для пианиста! Ансамбль! – ты можешь понять, что такое *ансамбль* !... А ты задумывался: если б не музыка – как бы я вообще выносила наши длительные разлуки?

Обминался по краям комнаты.

– Ты – приехал, уехал, а я – живу одинёшенька. Я – в духовном голоде. И мои друзья – мой мир, который я впитываю и перед которым раскрываюсь. Ты уедешь – а я останусь именно с тем, что будут думать обо мне эти люди. Ты – хоть мгновение можешь мне дать ощутить себя перед ними не соломенной вдовой? Хоть в памяти их оставить, что у меня есть какой-никакой муж? – И видя, что он расстроился: – Ну конечно, и я поиграю, и я! А ты – расскажешь о фронте, ведь это всем надо слушать, не мне одной!

Так и собрались у Мумы, хорошей алининой подруга, которая пела контральто и у которой был прекрасный беккеровский рояль. Пришли – уж кого успели собрать, кой-какое общество, даже и мумины соседи, – да главная цель была показать Жоржа Сусанне.

Музыкальная часть прошла прекрасно. Мума пела безумно красивую Далилу и другое, Алина сыграла несколько прелестных шопеновских мазурок и накатный листовский этюд “Рим-Неаполь-Флоренция”. И ещё был – свистун, художественный свист. Всем понравилось, принимали хорошо. Алина к ужину разгорелась, выпила две рюмки виноградного, вторую не против воли.

А потом, как и в каждой компании, где появляется из Действующей армии боевой офицер, – все очень ждали рассказов полковника. Но он, вредный, ничего не рассказал, так-таки ни одного эпизода, а ведь умел. (Не мог и для жёнушки постараться!) Тем не менее, просто удивительно как всем понравился, Алина была горда. Видели – планки орденов, загорелость, обветренность и дремлющую в нём волю, даже избыточную: вид у него сначала был недовольный, будто он сдерживал себя от распоряжений, а то бы всех тут загонял. Потом – смягчился. Все говорили Алине: как бы устроить ещё раз, и его послушать?

С интересом посматривала Алина, какое впечатление произведёт Жорж на Сусанну. Отсели они на дальний диван, говорили немного. Алина проходила неподалеку, прислушалась – ну конечно, всякий о своём, Сусанна спрашивала:

– Ну, честно ли? – свои поражения, отступления, своё тупоголовство валить на еврейских шпионов?

– Решительно с вами согласен: нечестно.

– Но если на евреев такое возводят во время войны – что ж будет после победы? И как

же евреям этой победы желать?

– Тоже согласен. Если евреи лишены какой-то части российских прав – нельзя с них спрашивать и полной любви к России. И не оскорбительно допустить, что многие больше сочувствуют Германии, где пользуются всеми правами.

Всё же Сусанна свои наблюдения успела сделать и позже в тот вечер сказала Алине:

– О нет, не похоже на старость чувств! Так что будьте повнимательней. И когда с ним в обществе – приглядывайтесь, как он смотрит на женщин, и как они на него.

– Ну уж, ну уж! – засмеялась Алина. – Спасибо за предупреждение, но об этом можно не тревожиться. Женщины – вообще не в круге его зрения. И никогда не были. И никакая ему не заменит меня. Да я бы, Сусанна Иосифовна, гордилась, если б у него было богатство чувств. Но увы, всё ушло – на русского несостоявшегося Шлиффена.

Возвращались домой – подумала: а может поехать с ним сейчас в Петроград? Алина была весьма способна на быстрые крутые решения, даже больше всего любила именно круто менять всегда. А?... Да, мол, знаешь, с билетами трудно, я еле взял международный... Но и дело в том, что через два дня она сама участвует в концерте, жалко не выступить. А вот идея! – задержишься на два дня, послушаешь полный звук в хорошем зале, а не в комнатной обстановке, а потом вместе и поедem в Петроград?

## 12

В августе Четырнадцатого года, отправленный из Ставки командиром полка на фронт, Воротынцев и перенёс туда себя всего, всю полноту жизни. Он и сам сознавал, что его снование по верхам в самсоновской катастрофе оказалось бесполезно – и за то одно, а не за скандал в Ставке, он уже заслужил быть сослан вниз и впряжён в прямое дело. Он – влился в свой полк, врос в него, и даже глубже, чем был обязан: ни разу с тех пор не ездил в отпуск, ни в прошлом году, ни в этом. Стена горечи отгородила от него всякую льготную свободную жизнь и всякий вообще тыл – и он не позволял себе бросить полк ни на неделю. Он посвящал свою жизнь военной службе? – ну вот он и попал теперь на неё, до последнего своего дня. После смены Николая Николаевича, Янушкевича, Данилова – Воротынцев мог бы предпринять попытку подняться вновь. Но не сделал этого. Из гордости. Переменно-несчастный ход войны покрывал своей ужасающей тенью мелкое служебное крушение полковника Воротынцева. Не утерев способности стратегического взгляда, он часто, сколько мог судить, не верил в высший смысл операций, в которые втягивалась их дивизия, корпус, армия, и с высоты полка было ясно, что лезть через Карпаты да без снарядов – крупная глупость. Но запретил себе этим разжигаться. В полку он был на месте, и хватит. Он больше не стремился отличиться, украсить орденами, снова возвыситься: там, наверху, он уже побывал и не испытывал тяги снова. Он ожесточенно врастал себя в здешнюю кору, рассудил считать себя обречённым, и периодами бывал даже подлинно нечувствителен к смерти, отчаянно себя вёл. А был только дважды зацеплен, легко. Когда же наступали месяцы размеренного позиционного сидения – утверждало грудь спокойное сознание посильно выполняемого долга. И чем больше притекало через отпускников мутных, оскорбительных рассказов о тыле, как там ловчат, как привыкли к войне будто обыденности, – тем отвратительней представлялся тыл, тем очистительней было сознавать здешнюю атмосферу, видеть чистые вокруг сердца, ежечасно готовые к смерти. Давние фронтовики, они переродились тут в новую породу.

Но кто – *они* ? Кадровые офицеры, сверхсрочные унтеры да обтерпевшиеся прапорщики. А главный солдатский поток притекал сюда по вынужденности, и держался тут на вынужденности, и почему они должны тут раниться и умирать – у них понятия ясного не было.

И переколачиваясь, и перевариваясь тут, и хороня, хороня, хороня вот уже двадцать четыре месяца – не мог Воротынцев не взглянуть на эту войну из-под солдатской покорной, обречённой шкуры.



Как будто дико: кадровому офицеру – усумниться в пользе войны?

Воротынцев сознательно отдал свою жизнь армии – и, значит, никакой высшей деятельности, чем война, не могло быть у него, всё лучшее в нём было настроено на войну. С юности рвался на военную службу, он мечтал только об её усовершенствовании, – а для чего же, как не для войны. Задача военного – только исполнять объявленную войну. Никогда прежде не приходило ему в голову, что вся война, ведомая родиной, может быть тобою, офицером, не одобрена. Провоевав японскую, он до такой мысли не доходил. Тогда он только возмущался отдельными генералами и возмущался насмешливым и даже прямо предательским отношением к той войне образованного общества. Сам же, как ему казалось, глубоко понимал, что мы прорубаем окно на Тихий океан, что если две исторических мощи, растя, сокоснулись упруго границами – им не избежать попытать силы и определить линию раздела, – ведь так и всё живое, всегда на Земле. (Позже он понял, что у России умеренный выход – был, а просто раззявили рот на чужое).

И нынешнюю войну Воротынцев начинал безо всякой мысли сомнения, да ещё в угаре первого поспешного маневренного периода, им владело молодое чувство радости перед боем. Только раз, в Восточной Пруссии, у скотобойного домика, коротким видением его посетила такая странность: зачем мы оказались на этой войне?

Но проволакивались месяцы и месяцы этих двух лет, уничтожение, уничтожение, уничтожение русских солдат в его полку, на их участке и на соседних – и всё больше прорезало Воротынцева болезненное прояснение, что вся нынешняя война – **не та**. Как говорят в народе – не задалась. По ошибке начата, не с той ноги. И ведётся губительно. Не грозил России военный разгром, но не видно и выигрыша.

Во всех этих прокровавленных бинтах, как на себе стянутых, ощутил Воротынцев так: нельзя нам этой войны вести!

Пришлось ему задуматься: что ж он любит? – неужели своё военное ремесло выше, чем своё отечество? Он – военный, да, и должен служить войне, но не для самой же войны, а для России.

Так Воротынцев, посвятив себя войне, перестал в ней помещаться.

В этой войне, из-под досужих перьев то Великой, то Отечественной, то Европейской, – не чувствовалось неотвратимости.

А вести надо, он понял теперь, только неотвратимые войны.

Зачем мы вели японскую? Зачем теснили китайцев? Да даже и турецкую зачем? А – туркестанскую кампанию? Вот Крымскую – надо было вести, так вести. Так мы её поспешили сдать.

Воротынцев умел воевать только не отделяя себя от солдат. Ему всегда был неприятен офицерский отдельный быт, биллиард, “потанцевать бы”. Ни кия, ни игральной колоды он в руки никогда не брал. И вообще не терпел офицеров-прожигателей жизни.

Вот так, веками, занятые только собой, мы держали народ в крепостном бесправии, не развивали ни духовно, ни культурно – и передали эту заботу революционерам. Но эта война послала нам такое соединение с простонародьем – когда оно бывало в жизни? Разве что с мальчишками, в костромское детство, в Застружьи. Послала такое безоглядное слитие: все мы – это мы, вот сидим в земле, а те, **они**, вон шевелятся, ползут, стреляют в нас, а нам их надо накрыть.

В чём может состоять главный долг офицера – беречь солдат! Солдат не знает, как воевать, он доверяет, что начальник его сбережёт. Да чем больше мы их сбережём – тем верней и выиграем войну: в благодарность за сбереженье он и воюет лучше, и в полку порядок. Незаменим оставался Воротынцев в задаче сохранять подчинённые жизни.

Но когда солдаты отдаются нам как отцам – каково же чувствовать, что мы их обманываем, не туда заводим?

Справедливое сознание вины, которым мучилась русская интеллигенция полное столетие, – вот оно сейчас и внятно: перед своим народом мы не имеем права на эту войну. И что мы сами в той же опасности – не снимает вины.

Прожив эти два года заедино с солдатом, гораздо тесней с его бытом и боем, чем это требуется от командира полка, не мог Воротынцев не убедиться, что крестьянство нисколько этой войной не увлечено, ничего не видит в ней, кроме бесполезных смертей и бесполезной потери рабочего времени. В народном сознании эта война не была подготовлена, не созрела, ворвалась насильем или стихийным бедствием, – и из сотни солдат редко один испытывал к австрияку, к немцу – враждебность, а гневались только за удушливые газы, за что и следовало. (После первых, на нашу беззащитность, газов – сдающихся в плен кололи, раньше никогда.) А кроме – ни у кого не было ни обиды на противника, ни разозлённости, ни ясной цели: для чего надо принимать все эти гибели и раны, или какая опасность так уж нам от немца грозит.

Да Воротынцев и сам не видел за Германией такого корпуса и веса, чтобы завоевать Россию.

Но если солдат не разделил сердцем этой войны и мы не в состоянии вдохнуть в него – то до каких же пор, до каких граней и с какой совестью мы можем продолжать гнать и гнать его на погибель, гнать и гнать в лобовые атаки, то по голым болотам, то по лесистым кручам?

Они – всё терпят, да. Но имею ли я право терпеть за них?

За все солдатские жизни – что мы дали им? Или дадим? Неужели Константинополь заменит нам всех убитых? А больше Константинополя мы и не добудем.

Да никакой тут и не мятеж. Не Воротынцев первый до этого додумался, но ещё Александр III сказал Бисмарку: за все Балканы не дам ни одного русского солдата.

И правильно!

Эта война перешла пределы, перешла размеры войны во всех прежних пониманиях. Это стало народное повальное бедствие – но не от природы, а от нас, от направителей.

И вот какая опасность: что народ не простит нам этой войны, как не простил крепостного рабства. Затаил ведь. Ещё очень важно: за какую именно землю зовут тебя умирать. За щемящую белорусскую, за певучую малороссийскую, за кроткую среднерусскую – всегда готов, и солдаты бы тоже. Пойди Германия в глубь России – так это была б и другая война, и другое понятие. Но – за Карпаты? но – за румынское грязное невылазье, такое чужое, бессмысленное? Хоронить здесь русских солдат ощущал Воротынцев как ежедневное преступление.

Да вся эта небывалая война, ничем не обоснована и для всех стран: она возникла от жира Европы. Но сердце к своему привязано, ноет: **нам** не нужна эта война. И выход к победе проглядывается из неё не близко, разве что немцам ещё хуже, они в мышеловке. А верней, эта война перешла уже столько граней уничтожения, что и победитель не много будет радоваться перед побеждённым.

Обычное народное выражение – никогда не “победа”, не “мир”, но – **замирение**. Народ понимает только эту единственность выхода, где не различается ни победа, ни поражение, ни ничья.

И Воротынцев, два года в земле передовой линии, через смерть и раны перепустив уже не один состав своего полка, в солдатских землянках подошёл и своим сердцем к тому же: для спасения России, для спасения самого нашего корня, племени, семени, чтоб не извелось, не вывелось оно на земле, – нужно замирение, замирение во что бы то ни стало, и никакой Константинополь нам не награда, и даже предпочтительней замирение тотчас перед победой через год или два.

Однажды он заснул в землянке, где о нём не знали, и слышал солдатский разговор:

– Начальство пора менять. И чего царь-батюшка смотрит? – пора их в шею гнать.

**Их** ! – это ясно отделялось в солдатском сознании. И страшно то, что **они** не придуманы были, а существовали – возвышенный, правящий, нажиревший, забывшийся, дремлющий слой. Они умудрялись плавать как-то над войной, позабыв, не сознавая свою жгучую ответственность.

**Им** – послана была военная реформа после японской, они её отбросили. Им послан

был Столыпин, человек великого напряжения и дела, – они его отвергли, свергли, дали убить. (А если бы сегодня всё было в твёрдых столыпинских руках – то и не было бы этой войны или не так бы она велась). Им послано было – не с такой бездарностью, не с такой закислотой вести эту войну, дать же свежему ветру продуть генеральские шеренги! В германской армии задолго до войны держался бесстрашный порядок новогодних синих конвертов: отставка старшего офицера по непригодности. А у нас – непригодных нет! И всё непробудно тупое, нерасчистимое, неубираемое, всё безответственное, самодовольное и живущее лишь для себя, – всё цеплялось за Верховного Главнокомандующего, за его необдуманные милости, его невзвешенную ласку.

Но так, неизбежно, от *них* мысль всегда возносилась к Нему. А он – что чувствует от всех этих наших жертв? Ему – ещё более было послано: вообще не вмешиваться в европейское галдёжное безумие, вообще не окуна́ться в эту войну, но оставить Россию неподвижной глыбой над разодранным континентом! А он – бултыхнул в войну миллионы захлебнувшихся Иванов.

Если он верит в рисованного мужика, то перед рисованным, полусвятым – тем больше должна быть его ответственность!

И это взятие поста Верховного, зная, что сам ничем не руководит, оставить в Петрограде министерский сумбур и беспомощно курсировать между Ставкой и Царским Селом, или хуже – сновать по войсковым смотрам? Что может быть досадливее войсковых смотров в боевое время? Воротынцеву стыдно было за царя, как если б сам он придумывал эти смотры, чтоб оторвать воюющих людей от отдыха во второй линии, сгонять вместе по несколько полков, а то ещё и из окопов вытаскивают чёрных, измученных, наскоро чистят, моют, муштруют последнюю ночь, – и всё для того, чтобы прогнать перед высочайшими очами церемониальным маршем, выслушать рапорты и произвести несколько фотографий, да каждый раз в чьей-нибудь новой полковой форме (и ходи уж в простом защитном!). Объезжая ряды верхом – с лошади какие-то никого не трогающие слова. В его обращениях к армии – ни крылатых выражений, ни государственной мощи, так, полковой праздник. И в газетах всегда: “нескончаемое громовое ура провожало обожаемого монарха”. А уже создалось на фронте поверье, что его наезды приносят несчастье.

Этой весной Воротынцев и сам повидал Государя на смотре под Каменец-Подольском. Перед появлением его, правда, нельзя миновать ожидания восторженного: пока он ещё невидим, но его присутствие близко, сердце колотится и сознаёшь величие символа: в одном человеке сосредоточена, вот грядёт вся Россия! Невольно ждёшь необыкновенного! Но когда затем появляется полковник небольшого роста, без боевой резкости, да видимо ещё и стесняется, – восторг сразу опадает, остаётся в груди и в глазах лишь напряжённое любопытство. Бедные солдатики тянутся, вскидывают головы, кричат “ура” – а у царя утомлённое (предыдущими смотрами?), безразличное, невыразительное, даже малодовольное лицо.

Воротынцев впился в него, хотел понять: отдаёт ли этот монарх себя России – так, как должен? Сколько в его жизни парадов! – когда же думать о государстве?

А с каким духом он подписывает каждый новый призыв ополченцев второго разряда? Думает ли, как разоряет деревню? и какие из них солдаты? и через сколько месяцев?

Воротынцев мечтал бы любить своего Государя. Но и внушить себе культ он тоже не мог. Он – страдал, что Государь таков. В роковые годы – и такой бессильный над своей страной, такой не достигающий пределов мысли, и ещё безвольный? и ещё безъязыкий, и ещё бездейственный, – догадывается ли он сам обо всём этом?...

И притом – Верховный Главнокомандующий 12-миллионной армии. И – всё перегорожено. И можно только ждать конца войны или следующего царствования. (А почему этот мальчик, возрастая, будет лучше?)

Да чем худшим мог быть наказан царь, чем вереницей нынешних ничтожных министров? Как будто на посмешище выводили одного ничтожней другого. Эту вереницу видели все, и самые ревностные подданные не могли привести слов оправдания. Во всех

штабах с большой свободой говорили о негодности правительства и о придворной грязи. И даже – о Самом, с жалостью, с пренебрежением.

А больше всего недовольства было против царицы, её ругали уже совсем нестесненно, беспощадно. Что царица “развела мерзкую распутинщину”, офицеры бросали настолько открыто, что слышали рядовые. Сам-то Воротынцев ни минуты не верил ни что она живёт с Распутиным, ни что творит государственную измену (уверяли, что это она навела немецкую подводную лодку на корабль Китченера, и что открывала немцам планы наших наступлений), – подозревал здесь общечеловеческое: на загадочные, недоступные личности наговаривают издали невозможное. Теряют и разносят всегда самый грубый, пошлый вариант.

Но даже если была верна одна восьмая из того, что говорили! Распутинство – как направление государственной жизни? Чтобы какой-то кудесник подобрался к кормилу власти и участвовал в назначении министров? Распутинский уровень государственных свершений – оскорблял.

Всё дочиста – ложью быть не могло. Если даже – одна восьмая...

И на фотографиях императрицы – это каменное лицо злой колдуньи, не позванной на свадьбу...

Мало было самой болезни войны – ещё и заболеть болезнью тыла? Мало было горечи от того, что видели каждый день тут, – ещё и сзади напоздали облаками газа эти слухи о тыле как о чём-то худшем и горшом. Хотел бы Воротынцев не воспринимать этого удушья, оно не помещалось в груди, – но и отгородиться было невозможно, его наносили все приезжающие, слухами, сплетнями, – да и оно же почти открыто валило с газетных страниц. Печатные газетные авторитетные колонки – ведь это уже не сплетни, а вот они намекали и прямо клякали, что беда не в войне, а в дурном правительстве, даже злобном к своей стране. А ты, во фронтовой закинутости, усумнён: ты два года там не был, в России, и что там воистину делается – успеть ли тебе судить?

Однако сужденья этих самых газет о фронте были настолько все пальцем в лужу, что могли и в другом быть такие же. Газеты – Воротынцев презирал.

Но вот что: среди грязных слухов об императрице передавали и такой: что она ведёт с немцами тайные переговоры к сепаратному миру!

Передавали это крайне осудительно, а Воротынцев чуть не задохнулся: да умница бы была! И – правдоподобно: кому как не ей, русской царице немецкой крови, двоиться и муками исходить от этой войны? И – перспективно: единодушно всем было видно издали, что в царской чете она – ведущая, властная, так все и понимали. Так что задумает – она и склонит Государя! Так это обнадеживающая линия?

И с новым чувством всматривался Воротынцев в портрет царицы. Не отказать в воле, в решительности – да, пожалуй, и в уме. Она – сосредоточенно знает своё. Да умница бы была!...

И как же чётко стоит проблема, и как же чётко её увидеть им сверху: если нет данных о близости исчерпывающей победы (а ведь нет! почувствовалось бы и здесь!) – то долг государственных людей не подвергать народное терпение новым испытаниям и новым жертвам.

Да – всё бы простил Воротынцев своему Государю за немедленный мир сейчас!

А вот и сам он на месте всё менее усиживал: заварилось, закружилось: нельзя дать событиям просто тень, как они текут, в изнеможение и в гибель. Нельзя просто терпеть и ждать. Застучал в грудь порыв: действовать! Что пришла пора действовать – сходились знаки. И эта общая безвыходная брань на тыл. И это безнадежное погружение в румынскую дичь, неудачи и расхлябца двухмесячной румынской кампании, новые могилы в чужой земле.

Но как и в чём действовать? – этого он не выхватывал умом. Ясно только, что действовать – не значило со своим полком через лесистые горы, глубже в Трансильванию.

И так далеко ушёл он мыслями, что и единомышленников не видел себе нигде вблизи:

все ворчали на тыл, многие на правительство, но с кем из офицеров мог поделиться офицер, что нестерпима и не нужна сама война?

Нет, если действовать – то очевидно где-то в тылу? в столицах? Но – с кем? как? Что офицер знает о гражданской жизни? Ничего, мы – неуки.

Но и не может быть, чтоб энергичный человек не нашёл себе союзников, путей действия. Там-то, в тылу, есть же такие люди! Закидать – тоже невозможно! Нерешительность – наша всеобщая беда, сверху донизу.

Как-то раз было письмо и от Свечина, зовущего при случае заехать в Ставку. Позондировать и там?

Так этой осенью Воротынцев утерять ту отрешённую погружённость, в которой воевал два года, – и засверлилось в нём вертящее беспокойство. Так почувствовал, что его ещё не домотанным силам маячит какое-то и другое применение. Тыл, от которого он отвращался два года, теперь стал ему допустим и нужен. Он созрел ехать туда даже и в не слишком спокойной обстановке тут. Ехать хоть просто на разведку. Кого-то увидеть. Если не начать что-то делать, так хоть узнать. Своё настроение проверить на думающих столичных людях? От многого он, видимо, отстал. Сидя здесь – конечно невозможно ни на что повлиять. В грязной дыре за Кымполунгом Воротынцев ощутил себя сжатой, неразряженной пружинкой.

А тут попал в штаб корпуса, и дали ему прочесть – открыто, не то чтобы по тесному знакомству – письмо Гучкова генералу Алексееву, так и написанное, видимо, с расчётом на открытость, но ещё 15 августа, а Воротынцев прочёл вот только в начале октября. Это письмо с его частным как будто вопросом о полумиллионе не взятых в Англии винтовок (вопросом устаревшим, ибо в армии уже был излишек винтовок, теперь свои заводы давали по 100 тысяч в месяц) – было откровенно подстёгнуто общими бьющими словами (узнавалась манера Гучкова): “власть гниёт на корню”, “гниющий тыл грозит и доблестному фронту”, надвигается “пожар, размеры которого нельзя предвидеть”.

И – может быть, правда? Ведь Гучков-то знает больше! Но сколько б он ни знал там, в Петербурге, – не может он знать всей трясины, которая здесь. Всей сути, к чему пришло. Он – должен это узнать! Надо повидаться!

Письмо Гучкова сослужило Воротынцеву как соскакивающая защёлка. И со всем, что в нём копилось, копилось, копилось, не находя решения, теперь он был выброшен вперёд и вверх, как с катапульты. Почти в час, ещё ходя между хатами штаба, Воротынцев понял и решил, что надо ехать, смотреть, искать, понять. Может, именно там он и нужен, на помощь? Ехать – в Петроград, очевидно. Момент подступал единственный, на это намекало письмо Гучкова.

Плечи, лопатки затомились. Какая сила осталась – её надо отдать, да!

В эти же часы, тут же, в корпусном штабе, от двух знакомых офицеров, от каждого врозь, он получил ещё один слух: что в Петрограде зреет заговор государственного переворота! – **и об этом все знают!**

Это – что ещё? Заговор – для чего? И – как это возможно, если до здешнего штаба дошло без телефона и телеграфа?

Каков же это заговор, если о нём все знают? Или: каков же его несомненный перевес, если его и скрывать не надо?

В тот же вечер он подал рапорт об отпуске. За три дня сдал полк заместнику. И – понёсся, швырнутый по своему жгучему вектору.

\*\*\*\*\*

**ЗАМИРИЛСЯ БЫ С ТУРКОЙ, ТАК ЦАРЬ НЕ ВЕЛИТ**

\*\*\*\*\*

Но, прожигаемый замыслом, только сердцем несёшься мгновенно вперёд, а телом медленно: австрийская трофейная узкоколейка от Кымполунга, да первые малые поезда, да частые малые пересадки, и в поездах – одни военные, как и привыкли у себя в трансильванских горах, давно не видючи ни гражданского населения, ни живой женщины. В офицерских вагонах – обычные офицерские разговоры, и хотя лица новые и сразу из многих полков, много случаев – а всё на том же быте, и поручик в чёрной гуттаперчевой перчатке, скрывающей изуродованную кисть, и рослый кавказец-ротмистр с изукрашенными ножнами шашки, и чрезмерно-возбуждённый штабс-капитан с жалобами на своего начальника, “иезуита генерального штаба”.

Потом – спал до Винницы. А от Винницы уже много штатских в поезде, и от каждого спутника – свои новые наслоения, предвещающие огромный тыловой мир – ведь он полудней нашего фронта! И – ни от чего не отмахнёшься, а даже и нужно всё это втягивать, в чём же смысл поездки? И всё это – тискается в тебя, не помещается, не укладывается, гудит.

А ещё ж – газеты, встречные газеты. Теперь покупал на станциях, читал – и от интереса, и уже как бы по обязанности. А в них больше всего споры: какому министерству поручить продовольственное дело. И понять это невозможно.

А в Киеве на вокзале – вдруг такая людность, и неожиданно – столько оживлённой, будто совсем не озабоченной публики. И хотя всё так же Воротынцев внутренне нёсся со своей катапульты, всё так же прожигался единым поиском, – а вдруг почувствовал в себе расслабление, и очень приятное. И заметил, что избегает смотреть на мелькающих офицеров, козыряет, козыряет, а совсем не видит их. И избегает лиц озабоченных, скорбных, и как будто не видит женщин в трауре – а видит нарядных, оживлённых, в разговоре и смехе. Вдруг – захотелось всего того, что напоминает довоенную жизнь. И хотя ничего в этом чувстве не было неестественного, а – от себя не ожидал. И отвычное чувство, и сладкое, и как будто нечестное. Воротынцев словно от получаса к получасу молодедел. И летит – не слабей, чем полетел, но характер полёта его меняется.

Задача его была – прямо в Петербург, и он думал нестись туда, не растратив заряда, не сказав жене, – а вот вдруг, под этим новым настроением заколебался, не заехать ли к жене сперва. И польготило то, что московский поезд оказался на шесть часов раньше прямого петербургского. Ждать было – томительно, не хотелось, и ещё так себя убедил: ведь Гучков часто бывает в Москве, вдруг и сейчас там?

Сам себя убедил – и обрадовался. И взявши билет на Москву – сейчас же дал телеграмму Алине, радуясь и за неё и за себя.

И – тут же, как в накрыв за ошибку, в вокзальном ресторане оказался за столиком с моряком-севастопольцем, а от него узнал ошеломительное известие, о котором ничего не писали газеты: неделю назад, под утро 7 октября, возник пожар в носовых погребках “Императрицы Марии”, потом сильный взрыв и загорелась нефть. Примчался Колчак, на накренившемся корабле сам руководил затопленьем остальных погребов – и удалось, больше взрывов не было. Броненосец перевернулся и потонул – не пострадал ни рейд, ни город. Красы Черноморского флота не стало! Двести погибших, несколько сот раненых.

И – от чего же?? Неизвестно, виновников не нашли. Но оказалось, что на ремонтные работы – и в самую ночь перед взрывом – на броненосец привозились рабочие без всякой поимённой переписи и без осмотра их свёртков, и на корабле не было за ними надзора – любой мог бродить и из нижнего башенного помещения спустить через вентилятор в погреб любой предмет.

И – так воюют?... И – так можно воевать?

Лучший корабль флота!...

Какие тут отвлеченья и развлеченья? как можно откладывать дело? Ах, не надо было

братъ на Москву!...

Воротынцев состоял в каком-то полусне-полуприсутствии. Разила на каждом шагу отвычная штатская тыловая жизнь. А роились и подталкивали мысли о каких-то неизвестных людях, которых он собирался искать. А каждый новый спутник наносил своё, и надо было слушать, даже непременно.

От Киева до Брянска попался спутник, наседливый в разговоре, – и как о простом известном пространно рассуждал, что правительство нестерпимо, что Россией управляет гигантская фигура распутного мужика, что страну спасает только Союз земств и городов. Оказался сосед уполномоченный по закупке хлеба и фуража для армии, и толковал о твёрдых ценах, франко-амбар, франко-станция, о мельницах, сортах помола, доставке в города и в армию.

Во фронтовом охвате зрения и тыловом – разные предметы, несходная градация важного и неважного. Фронтвик обыденно соприкоснён с самым вечным, и только усмешку вызывает в нём то, что кажется тыловику первейше важным.

Но поезд шёл, углубляясь именно в тыл, часы текли – и Воротынцев через рассеянность и немоготу старался вслушиваться, научался вникать.

А спутник и кроме хлеба знал. Он рассказывал и о другом таком, о чём и догадаться можно бы было – а вот из окопа не вдумашься.

Закон о “ликвидации немецкого засилия”. К чему он, что от этого выиграет Россия? Сгоняют с земли немецких помещиков и колонистов, 600 тысяч десятин останутся незасеянными, расстроятся культурные хозяйства, а они ещё и сами изготовляли веялки, сеялки.

Беженство. Зачем его вообще придумали? – немцев пугать? Страгивать с места миллионы людей, забивать железные дороги, тыловые города, по всей России разливаются неприкаянно. Ну хорошо, уже давно видно, что война – не на месяц, и сажали б их на землю, ведь пустующая есть в разных фондах, да и отобранная от немцев. Давали бы ссуду на устройство, пусть пашут, – так нет. И эти миллионы людей не работают. А со стороны вербуют, везут китайцев, ещё больше толкучка.

Нет, никакой стороной головы не был готов Воротынцев освоить эти проблемы! Где ему всё сообразить в короткие дни отпуска! Только успевал он надивиться, до чего ж необъятно государственное дело, до чего нельзя решать его с наскоку, и где та голова, которая всё охватила бы?

Как он Гучкова знал – Гучков тоже не охватит.

Но надо найти людей, которые всё это уже поняли.

По пути, уже с первых штатских станций, мелькали и оскорбляли мундиры земгусаров – чиновников Союза земств и городов, ни в какой армии не состоящих, ни на какие передовые позиции никогда не попадающих, – а между тем в щегольской почти офицерской форме, со вшитыми погонами, только узкими, как у военных врачей и чиновников.

И они-то громче всего в вагонах рассуждали. И уверенней всего представляли дело с российским правительством и с ходом российских дел окончательно погубленным. И с таким знанием они это всё заявляли – не только не поспоришь, а тревога охватывала: что слишком поздно Воротынцев схватился, что нечего и ехать, всё уже пропало. В тылу оказывалось гораздо хуже, чем на фронте?

И от них же услышал: осудительно, что ведутся тайные переговоры о сепаратном мире. (И сердце забилося: не понимали, чего касались! Неужели ведутся??)

И среди них же попался, в такой же форме, сел от Брянска, со светлыми усами, слегка за тридцать, симпатичный, спокойный. Узнав, что полковник из Румынии, живо расспрашивал, он там бывал до войны по делам фирмы. Сам оказался урождённый швейцарец, инженер Жербер, привезен в Россию малым ребёнком, отец тоже инженер, вырос обрусевшим, много ездил по России. Когда другой земгусар надменно заявил: “За снаряды благодарите Земгор и Военно-промышленный комитет, это они поставляют большую часть”, – Жербер невздорчиво ему возразил: “Не так, не так. Большая часть поступает с казённых

заводов”. – “Откуда вам так известно?” – вспыхнул тот. – “А я заведу в Москве центральным гаражом Земгора, и знаю, что возят грузовики”.

Выходили с Жербером покурить в коридор, и там он досказал, что постеснялся тому в лицо: недавно был такой случай: вечером привезли на станцию партию снарядов с казённого завода, а утром перед погрузкой на ящиках оказались трафареты Земгора. Ловко работают, а на фронте и верят.

Разговорились с ним дольше, он выразил, что сейчас вся интеллигенция охвачена как бы поветрием, заразной болезнью: ругать правительство, теряя чувство ответственности перед государством и народом. Чтобы подорвать правительство – готовы на всё.

– Отчего же не коснулось поветрие вас?

– Наверно потому, – улыбнулся Жербер, – что я не русский и могу беспредвзято смотреть со стороны. Какое бы ни плохое правительство, но менять его во время войны была бы анархия.

Ещё и Жербер догрузил впечатления, уже не вмещалось. Заснул Воротынцев за Сухиничами, спал плохо. И заботы разбирали, и непонятности, и тревожная радость перед Москвой.

Во фронтовом огрубленье не думал, что такое сильное будет ощущение – выйти ногами в своей Москве и с холмика глянуть на тот берег реки, на столпленье домов, там и здесь прозначенных голубыми и золотыми куполами.

Чтобы без денщика – Воротынцев ехал почти и без багажа. Сразу же, под стеклянным колпаком Брянского вокзала, пошёл к телефонной будке, крутил ручку и назначал квартиру брата Гучкова, Николая Ивановича. И узнал: нет, Александр Иваныч сейчас в Петрограде и в близких днях в Москву не ждётся.

И тем более стало ясно, что надо было из Киева ехать прямо в Петроград. Ах, зря в Москву поехал, не хватило терпенья дожидаться. И – эх, не давал бы телеграмму Алине, сейчас бы прямо с вокзала на вокзал, чтоб не рассеяться, не разменяться. Сколько раз в жизни обжигался Георгий на этой манере – раньше времени с размаху пообещать.

И совестно стало перед женой.

Всю жизнь таким он и был: почему-то семейное всегда отступает перед настоящим делом, никогда ему нет места.

Он дал телеграмму, потому что любил радовать Алину, и представлял её радость и разные мелкие приготовления, дорогие для неё, – так ей интересней, чем свалился бы неожиданно.

Но хотя с Брянского было уже ближе домой – Воротынцев, любя начинать с главного, поехал на Николаевский вокзал.

Шёл туда прямой 4-й трамвай, от Дорогомиловской заставы до Сокольников, но, выйдя на площадь, небывалое увидел Воротынцев: с задней площадки на ступеньках, на поручнях люди висели гроздьями, срывались, бежали вдогонку, скакали на чужие ноги, хватались за чужие руки.

Впрочем, извозчиков было много свободных у вокзала, только брали где раньше полтинник – теперь три рубля, и так себе, ванька, и ничего не поделаешь. И вот уж они ехали через новый Бородинский мост, а справа, от Воробьёвых гор, по небу, и без того хмурому, ещё тянуло большую чёрную тучу.

– Кабы не снеговая! – показал извозчик кнутом. – У нас уж тут срывался. И морозец подхватывал.

Да, тут холодный стоял октябрь, а в Румынии – только слякоть. На голову догадался Воротынцев надеть сюда папаху, а вот под шинель не поддел куртки меховой – всегда ему бывало жарко, больше всего боялся запариться.

А ехали-то – по Москве! Сказка! Внутренне ещё продолжал перебирать о Гучкове, а внешне – прочнулся к окружающему и смотрел простыми радостными глазами: Москва родимая!



Как будто первый раз оценивал – как же она неповторяемо вылеплена, здание за зданием, бульвар за бульваром, – да посторонний наблюдатель и не усмотрит в городе того, что знает давний его жилец. Видит особняки – а целые усадебные сады в глубине? А переулком в сторону чуть – и трактир как в зачуханном уезде, торговая баня, позапрошлого века жизнь, и самовары распивают на травяных дворах. Да не только всё знаешь, но через чувство, через воспоминание протекает каждый угол, каждое дерево, каждая плита тротуарная, – сколько тут невидимого задержалось! а идут, топчут, не замечают.

Так расходилось внутри – будто для этого и ехал – смотреть да смотреть Москву. Вот так, из мира другого, из совсем небытия вернуться в родное место – ну, что разберёт больше! И даже не последнее вспоминается, не месяцы тут перед войной, а – давнее, давнее, детское...

Уже мог никогда не вернуться и на это посмотренье – от одного кусочка свинца, железа в два золотника.

Людей, людей, не тот стал город: толчея, сплошной поток, где его не бывало, и трамваи отчаянно звонят-стучат переходящим. И сами все набиты. Вот как, война идёт, а тут перенаселение. И много, видно на глаз, не московского люда, одеты лучше нашего обычного – привисленские? прибалтийские? Слышится с тротуара и речь нерусская частенько. Да ведь и по телефону ему барышня со станции ответила: “занэнтэ”, он переспросил, лишь потом понял: “занято”. Значит, на телефонной станции польки работают. Вспомнил, что ему в вагоне толковали про беженцев.

Много озабоченных лиц. А много – и без отпечатка, что война идёт.

Но что это? Там и здесь, загораживая проход по тротуару, скопились и стоят странно выстроенные в затылок друг другу люди разных возрастов, больше женщины, как слепые бы держались чередой или как становятся нижние чины с котелками, когда приезжает кухня, но там и наливают быстро. А в городе дико выглядит: стоят люди в затылок.

Объясняет извозчик: хвосты.

Это и Алине так достаётся?

И, чего никогда не бывало: женщины – трамвайные стрелочницы. Вагоновожатые, кондукторы. И вместо дворников. И промелькнула девушка в красной шапке посыльного.

Но это и доказывает, что прав Воротынцев: что нельзя дальше воевать.

И извозчик жалуется, что отощал конёк, овсу не докупишься.

Ещё: на очень многих домах висят полотнища с красными крестами, будто четверть Москвы только и лечит раненых. Столько лазаретов? Объяснил извозчик: разрешено вывешивать каждому, кто взял хоть в одну квартиру, хоть пятерых раненых. И берут? Очень берут.

С одной стороны – широкодушие, а с другой – беспорядок, как же можно так рассыпать раненых?

И самих раненых, с повязками, много, много на улицах. И – по виду легко раненных или хорошо выздоравливающих. И увечных, костыльных – немало.

И что им теперь победа? Даже и Константинополь?

Оттуда они только уходили. А здесь – все собирались, вот. И ещё тяжче нависали на совесть. Можно ли так и дальше?...

Обгоняя ломовых и извозчиков, воняя дымом, проходили иногда грузовые автомобили. А то – бронированные военные. А то – шикарные легковые, открытые и закрытые.

Ох, велика Россия. И кто же мог бы взяться всю эту массу, всю жизнь этой массы – исправить? направить? спасти? Разве способна на это какая-то кучка? – штатских? или военных?

Своя Москва – но и чужая. Что-то непоправимое произошло. Происходило.

И на Николаевском вокзале обнаружили перебои в расписании, так что правильно Воротынцев начал с билета. Иные пассажирские поезда были отменены – дня разгрузки линии, в пользу лишних товарных. А недавно, оказывается, между Москвой и Петроградом и вовсе отменяли на неделю пассажирское движение. И даже не оказалось на завтра 1-го

класса, пришлось брать международный.

Извозчик ждал, и теперь поехали домой на Остоженку.

Так напряжённо старался Воротынцев решать как лучше – а вот не ошибся ли опять? Уж если всё равно заехал в Москву – как же можно дома переночевать только одну ночь? И Алине будет страх как обидно, и самому обидно, и даже боязно, как ей сказать? Да не придумать ли себе командировку? Вот что: не отпуск, а командировка. В Петроград. Срочная.

Но так или иначе – с поездкой определилось, билет в кармане, точное время известно, – могли бы заботы и расступиться, можно бы просто смотреть на город.

Теперь – так близко оказалась Алина, и Георгий вот когда взволновался от приближения к ней. Подумать только – вот, через двадцать минут – своя жена, преданная, любимая, такая прелесть, – и почему она оказывается всё в конце ряда? Ничто в жизни не помещается.

С Мясницкой выехали на Лубянскую площадь, где по кругу, с железным подвизгиванием, раскручивались трамваи разных номеров, как и прежде неся на боках крыш крупные рекламы.

А там – Никольская, всегда деловая, густая, “Славянский базар”, – такое всё и оставалось, тут война не отметилась заметно.

А дальше – самый просторный, пустой и быстрый путь для извозчика, когда он торопится, – через Кремль.

Под Спасскими воротами истинный москвич всегда обнажает голову. И Воротынцев не постеснялся, приподнял папаху – с почтением и гордостью.

Через Царскую площадь, через Императорскую площадь – эти лучшие дворы их детских игр. И лучший путь для седока, кто хочет эту свою здесь юность с лаской вспомнить.

Как доходчивы до нас воспоминания детства! Как они касаются сердца – особенней, чем всякие другие. И от их прикосновения вдруг хочется особенно жить – снова, ещё и подольше, и опять перебивать везде.

А ведь вот полоса была на фронте – совсем был решён на смерть, и даже без сожаления.

Да, и Георгий играл тут, как все, но уже с детства не были ему кремлёвские площади – просто удобные пустые дворы, уже с детства было напряжено его внимание к русской истории и предчувственно связывал он с ней свою будущую жизнь. Не побочно было ему, что святой Георгий, второй стратег небесного воинства, – покровитель Москвы. И бросаясь тут мячом, никогда Егорка не забывал, что эта каменная твердыня не для игр тут стала, посреди деревянной Москвы, что с этих зубцов отбивали живых татар, и сюда вероломством входили поляки. Что Кремль перестоял невообразимое – и каменно-вечным противопетровским упрёком так и застыл.

И сейчас над этими пустынными плитами, где и с поросшей травой, перед тесокаменными стенами соборов, теремками, куполочками, крылечком Благовещенского – даже останавливалось сердце, так дышала история своей утверждённой плотью. И не было бы здесь извозчика и редких прохожих-проезжих – сейчас бы остановился под тёмной тучей, сиял бы шапку, перекрестился бы на соборы, стал на колени и даже лбом до плиты, всей грудью принять эти камни и повторить свою верность им. Их тут древнюю тайную связь как ничто не отодвинуло, а войной даже сблизило.

Но было бы театрально со стороны. Да сколько церквей сегодня миновали и вот мимо этих соборов – Георгий не перекрестился ни разу, неудобно. Ушла эта привычка, воспитанная няней, стало неловко, несовременно, формально, и что простодушно могла проходящая старуха, то как будто не к лицу штаб-офицеру. “За веру!” – это даже стояло в начале армейского лозунга, армия считалась христианской, на том зиждилась, и не только никто не запрещал офицерам, но полагалось им верить, и первыми быть, и креститься на армейских богослужениях, – а вот какой-то улыбкой это всё тронуло, насмешливым

воздухом образованности – и перешло в область стыдного. И хотя именно офицерскими приказами устраивались и полковые службы и пелись солдатские молитвы – но во всякую тяжёлую боевую минуту солдаты крестились естественно, а офицеры – или вовсе нет, или украдкой.

Из Боровицких ворот юркнули на набережную, пересекли поперёк толчею Большого Каменного моста, уже видя в пасмури перед собой терпеливое золото Храма Христа, а дальше – в огиб его террас, потом сокращали Зачатьевскими переулками – и на Остоженку выехали прямо против знаменитого часовщика Петрова – на месте, да! – спокойно работающего за большим витринным стеклом, как будто и невдомёк ему, отчего прохожие вздрагивают и останавливаются глазеть: на его невероятное (да наверно и подогнанное) сходство со Львом Толстым – будто из гроба воротился и дорабатывал ещё одно ремесло неуёмный старик!

Стало весело. Петров на месте – так и вся Остоженка на месте. Всё та же бело-синяя вывеска молочной Чичкина (да как в ней теперь с молоком?). И тот же большой крендель нависает над булочной Чуева (да с кренделями как? – но хвоста нет). А вот и наша крохотная церковка Успения (всякий раз припомнишь: самсоновский день) – с настенным образом, крестятся пожилые прохожие. (А ты – и тут нет.) Тпр-р-ру! – подкатил к парадному не без лихости.

Хотя юность Воротынцева не на Остоженке прошла, а здесь только месяцы перед войной, – а всё равно: дома! Прямо и забило сердце, что сейчас увидит Алину. Утреннее чувство досады – зачем заехал в Москву? – совсем отлегло, а напротив разбирала виноватость: ведь только переполошил её и обманул. Но сейчас и он был к ней теплей и горячей, чем в несчастную буковинскую встречу: вот за эти дни поездки уже очнулась душа.

И сейчас он спешил к ней с нежностью, с лаской – но и сокрушённо: опять расстроит. Как и всегда раньше – не мог он дать ей полного счастья, не помещалось. И всегда сознавал свою вину: что она с ним видела, видит, или что хорошего может её ждать? Георгию б, наверно, такую жену, чтоб не скучала и в походной палатке.

Лестница без лифта (о, телефон повесили!), но легка молодым ногам. Трудней глазам – насколько же всё по-старому! (Но – уже стала лестница? темней?) Целая война прокатилась, дивизии гибли, спускались на венгерскую равнину, потом пятились, коченели и ногти срывали в Карпатах, кувыркались назад, отдавали Галицию, брали Буковину, сдвигались в Трансильванию, – а тут всё то же начищенное опадающее ушко: “прошу повернуть”.

Жив!! Вернулся!

Ах ты, моя ласковая! Ах ты, моя нежная! Нет, поднять тебя всю, да прокружить! Да ты помолодела, вот новость! И куда радостней, чем приезжала в прошлом году. Гордый взброс головы на тонкой шейке. Подобрана, как девочка. Хороша! Хорошо. Изменилось лицо. А струится в душу природнённое, привычное. Та особенная родность, какая с годами. Ну, вот и дома... Хорошо... Не для этого ехал, а переступил, пахнуло – хорошо! Ч-чудесно ты всё содержишь, золотые ручки!

Посмотрел на её милые, родные серые глаза. Не думал жаловаться, пожаловался, – простонал.

Как он безмерно сгружен – даже только вот сейчас почувствовал, опускаясь гирей на диван.

Пытался и объяснить ей – не вышло. Да разве это так сразу расскажешь? Да разве – ей?

А готовишь замечательно. Ну просто объедение. После жизни перебродной – да так поесть.

По дозволенным дням мясо не трудно достать. Но слух, что будут на мясо карточки. И деньги бесценеют. И квартиры дорожают, сейчас в Москве два миллиона жителей, от беженцев.

Да что-то вижу, у вас потрудней, чем на фронте.

Но всё время мучило, что надо было сказать. Что завтра – уже в Петроград. Духу не было сказать, омрачить её доверчивые глазки. И откладывать нельзя особенно. За своё же

главное дело – как виноватый.

Начал осторожно, что не отпуск, а командировка. Постепенно сознался.

Бурно приняла. И тем смутительней пришлись её упрёки, что она – права. Проскок дома ей и должен показаться дикостью. А недосыгаемо – пытаться бы объяснить ей двигательный мотив. Не разделить ей эту тяжесть, зачем бы?... И упрекала так горько: любит! ждёт! тоскует! – а он? А что он устроил ей в Буковине? разве это был отпуск? (И правда, неладно прожили тогда, на ровном месте скоблило, и даже облегчение было, когда она уехала.) И что ж, за два года не потянуло его так сильно, чтобы приехать к жене? (Конечно, можно было...) Ты – окостенел! ты – омертвел! В тебе порок чувств! (Да, это правда. Наверно возраст...)

Но ведь на обратном пути вернётся. Скоро вернётся! День рождения, конечно! Только тем и смягчил.

Слушал её рассказы о новой концертной жизни – и радовался. Да замечательно, что ты это открыла. Ну, с твоими исключительными способностями!... Да ты всё сумеешь!... Не надо мне о твоём поклоннике, можешь не рассказывать.

Георгий действительно любил её игру, журчистые эти пальчики. И – чем же ей сейчас заниматься, детей нет, только таланты развивать. Даже не помнил её такой оживлённой. Хорошо, что до войны довёз её в Москву. Большого он и не мог для неё сделать. Даже старости хорошо обеспеченной не даёт офицерство. После реального пойдя бы в инженерство – он зарабатывал бы куда больше.

Может быть задолго раньше он должен был воспитать из неё такую подругу, чтобы вот сейчас открыть свои намерения. Но – нужно ли это, возможно ли вообще с женщиной? И зачем? И – слишком много усилий потратить. После его скандала в Ставке она не пилила его, как делают другие жёны, – но осудила внутренне.

Сейчас он честно старался не зевнуть на её рассказы, только отвратился, когда стала – о концертных поездках на передовые.

Дома было уютно, покойно, и хороший, тихий обещал быть домашний вечер. Больше всего и хочется покоя. После гукающих, вздрагивающих, взлетающих и мокрых позиций – посидеть бы вдвоём за своим письменным столом, среди домашних верных стен, перебрать ящики – что там где покинул? Полистать старые книги, даже просто подержаться – вот соловьёвские тома, вечный долг перед древней русской историей, так никогда и не успевал разобраться во всех князьях, – и когда успеешь?

Нет! Алине вздумалось в гости! Что за нескладица – добраться домой на единственный вечер – и тащиться в гости?? Показываться, знакомиться, через силу что-то выговаривать? Да Алиночка, да я отвык от всякого общества, от гостиных манер, мне даже трудно будет от грубых выражений сдерживаться, пощади!

Алина сама не знает, что как добрый дух домашнего мира она привлекательней всего именно дома. Но сегодня – безжалостно было бы ей отказать и в гостевой повинности, раз ей так хочется. Да уж лучше в компанию живых людей, чем парадно расхаживать по концертному фойе, как она сперва хотела. Да надо ж и набираться впечатлений. Всё, всё окружающее хотело втесниться в его грудь, и всё – в малые дни.

Только вечером, когда одевались, – заметила Алина, что у него эфес необычный, георгиевское оружие. Очень радовалась, но и обиделась: что ж сразу не сказал? И почему в письмах не писал? – какой же ты ненормальный человек!

А была-то сегодня – суббота, и когда они на извозчике поехали к Муме в Замоскворечье – как раз ударили ко всеобщей. Тоже это было по отвычке дивно. Первый, близкий, загудел им в спину Храм Христа. И почти сразу все – ближние, дальние, справа, слева, впереди, позади, – все несравненные, несравнимые, неповторимые московские сорок сороков! В холодном воздухе как будто не греющий же звон, а – звончатым теплом, всем теплом детства согрело уже тёмный московский воздух, и в грудь вошло. Так живо: как няня водила его именно к вечерням, без поощрения родителей, – и поднимала к подсвечнику, чтобы свечку он оплавил и поставил своей рукой.

Тягучие, могучие, гулкие, задумчивые – все звоны сливались, и будто гудело само московское вечернее небо, – а нет! в этом золотом звоне лишь для неопытного уха всё было слито, а кто вслушивался и знал – различал: голоса Кремля, гулы Китай-города, отзвывы Хамовников, дальние вести Тверских и Садовых, и – заливы, заливы Замоскворечья, массива купеческой русской провинции, куда сейчас и въезжали они. А кто знал совсем хорошо, уже не как Воротынцев, тот в размытом, разлитом гуле различал не только близь, даль и направления, но выслушивал отдельные голоса любимых церквей и даже колокола отдельные.

И уже в дом входили – а звон ещё не весь умолк.

Сбор гостей показался странен: две пожилых четы среднего слоя, один художественный свистун – молодой человек женоватого вида, несколько отдельных дам и ещё две девицы. Сама Мума (Марья Андреевна) жила одиноко и бездетно, а была женщина красивая в русском вкусе, даже именно замоскворецком – избыточной русской пышностью, лицо белое, а волосы – вороньего крыла, одета же в лиловое. Она была не просто любительница, но училась петь, пела грудно, Георгию очень понравилось, аплодировал ей. Затем – и ручьистой, накатистой алининой игре, затем и свисту – удивительные выделявал арии, бывает же такое.

Георгий как утеривал компас и переставал удивляться, куда это его заворачивает. Уже не удивлялся и этому обществу и не удивился, когда после концерта разговор потёк о Распутине. Распутин тут занимал их умы куда сильнее, чем на фронте, – там была лишь недоумённость да матюгались, а здесь пересмаковывали много подробностей – истинных ли, придуманных.

Ни на какой ответственный пост уже никто не может быть назначен, пока не поедет представиться Гришке. И будто такса у него: за дворянство – 25 тысяч, за крест – 3 тысячи. (Неужели так? Слушать страшно.) В его квартире на Гороховой установился такой обильный приём посетителей, что уже всем прохожим заметно, теперь ему готовят особняк на окраине. Охраняют же его крепче, чем самого царя.

– А вся эта история со взятками, поставками? Арест Рубинштейна?

– Ну, не забывают, что дело Рубинштейна раздувают, чтобы придать ему антисемитский привкус.

– А за что слетел Поливанов? Был бы и сейчас военным министром, если б не дерзнул отобрать у Гришки четыре военных автомобиля.

Ну, так уж за это, много вы понимаете. Может, и вся цена вашим сведениям такая. Но – лень возражать.

Потолок – до того высокий, непомерно выше, чем надо человеку, чем в землянках. Совершенно не сыро, а сухо, тепло. Кресла до того мягкие – утепляешься. На столе – нежная ветчина, балык, буженина, но ворчат: “довели до разрухи, в России хлеба нет, житница Европы”, – в одиннадцать часов уже кончаются булки, остаётся ситный и чёрный.

– ...Целует всех женщин даже при мужьях...

– ...Его теория: надо грешить, иначе не в чем будет раскаиваться. Надо грешить внизу, чтобы наверху было светло. Посылает даму в церковь причаститься, а чтобы вечером к нему...

– ...А если женщина ему откажет – идёт с ней вместе молиться...

Беседа проскакивала как бы четыре угла: Распутин – Штюрмер – Протопопов – голод в России – и опять Распутин.

– ...Говорят, у него особенные глаза: загораются красным. Магнетизм.

– ...По поводу магнетизма такой рассказывают случай недавний. Одна женщина протелефонировала Распутину, была принята утром. Повёл её в спальню: “раздевайся”. И обнимает. Она вырывается. “Не хочешь? А зачем же пришла? Ладно, приходи сегодня в 10 часов вечера”. Дама обедает в ресторане с мужем и знакомым доктором. Вдруг к десяти вечера – сильное беспокойство: “Я должна ехать”. Еле-еле доктор разгипнотизировал и удержал.

Но хотя истории эти рассказывались возмущённо – и в рассказах и в слушании угадывалась несоразмерность негодования, не столько осуждения, сколько любопытства и даже сострастия? Такое впечатление, что узнав очередную новость о Распутине, каждая дама спешит затем ехать по городу и распространять. И девицы слушали так же, ушки на макушке.

– ...Он любит абрикосовое варенье, причём берёт его из вазы пальцами. А потом даёт облизывать пальцы какой-нибудь даме, какая заслужит, остальные смотрят с завистью.

– ...Он так подчиняет, что женщины даже гордятся своим позором, не скрывают.

– ...Говорили: ему позволяют купать великих княжён.

– ...И Протопопов и Штюмер – просто в услужении у Распутина, ездят к нему с докладами.

И опять по четырёхугольнику: Протопопов – клинический сумасшедший. Штюмер – немецкий шпион. В России – голод. А Гришка -...

Должен был бы Воротынцев рассердиться на себя и на жену – зачем он в этой дурацкой компании, зачем теряет вечер? Но неизвестно почему – облегчалось и рассвобождалось его внутреннее напряжённое летящее сознание, и он не начинал ли терять скорость? Уже не жгло, что так мало времени, его достаточно будет впереди, – а сейчас он самую кожей воспринимал этот нереально-реальный московский быт. До невероятия белая скатерть. Хрустальные грани. Сервиз один, сервиз другой, где довольно бы и мисок жестяных. Тело расслабляется, и если вот сейчас бы тревога – не сразу и вскочишь.

– ...Знаете, это *mot* из думских кругов? – мы ещё готовы понять власть с хлыстом, но не такую, которая сама под хлыстом?

И поглядывали на Воротынцева – как он? О верховной власти до сих пор не распускались – чтобы его не оскорбить? щадили офицерский монархизм?

Но его сейчас это не задевало. Осуждающе он заметил за собой, что терял напряжение своего броска. Ему сидеть сейчас тут было – хорошо, и приятно смотреть на женщин. Вечерние платья, все разных цветов и фасонов, и обладательницы их – разные; Мума по-своему, Сусанна по-своему.

А дамы, оказывается, больше всего и хотели – его рассказов. Они сошлись – не музыку слушать, всегда доступную им, а – на него. И глазами ждали, и прямо спрашивали вслух.

Не-ет, этого он не мог. Сидеть тут – неплохо, но рассказывать им о войне? – никуда. Да насколько это им нужно? Да ещё каждый ли день они проскальзывают газетные депеши?

Сказали: на днях в Петрограде арестован Гучков за своё знаменитое письмо к Алексею.

– Нет-нет! – продремался тут Воротынцев к своему. – Неверно. Я сегодня утром разговаривал с его братом.

Ах, что делают слухи! Стали вспоминать: был слух, что Гучков умирал от отравления. И отравлен Николай Николаич. А царь разводится с царицей из-за Распутина.

Тогда понесло их восхвалять брусиловское наступление, так, как это нашумлено в газетах, – хотели ли сделать ему приятное? Пришлось их обломать:

– Брусиловское? Не много оно дало. Сняли давление с итальянцев, с Вердена, вот и всё. А сами не взяли ни Львова, ни Ковно, ни даже Владимира Волынского. А имел Брусиллов превосходство сил.

Да-а-а? – поражались. А правда ли, что немцы огненными струями сожгли наших десять тысяч?

Дикари, хоть и москвичи. Это в тыловой передаче так преобразился слух о появлении огнемётов.

А воинственны! Все хотели войны и победы.

И ждали, ждали его рассказов.

Но ощутил Воротынцев ревнивую скупость на свою фронтовую правду. Им, здесь – как это рассказывать? как рассказать?... Ямы да ямы... Свежие – с чёрным земляным набрызгом. А старые, если зимой, сразу и заметает снегом. Какие успели закопать – воткнули крест из

жёрдочек. Из незакопанной торчит не то кочерга, не то бывшая рука... На чужой проволоке месяцами висит содравшаяся с кого-то нашего серая тряпка, ветер её пошевеливает...

В их четырёхугольник это не вписывается.

Может, и собрался бы всё рассказать – да не здесь.

Ещё сам не очнулся для рассказа. Тут, среди них, он был как легко контуженный – не всё видя, не всё дослышавая, не всё соображая.

Так и с Сусанной Иосифовной: поговорил сколько-то, будто связно, осмысленно, а не взялся бы припомнить: о чём и в каком порядке. Ото всего разговора не осталось столько, как от её манеры садиться и вставать без помощи рук или от единственной нитки бело-розового жемчуга на шёлковом чёрном платии, и больше ни цвета, ни украшения. Да ещё неназываемое струение из её глаз или со всего лица, устремлённого в собеседника, или даже с плеч, помогающих лицу. О чём-то политическом говорили они, но – как она веки суживала и расширяла, передавая глубину понимания и сочувствия, и сколько воздуха ещё сохранялось в её кофейно-гущевых шершавых волосах, убранных вкруговую ровно, а, напротив, как золотисты были волосики выше кисти по чуть веснушчатой коже, – почему-то прочно вынеслось из разговора.

## 14

– Ну посмотрим, посмотрим, с кем ты едешь? – оживлённо говорила Алина, проходя впереди мужа в вагон и оберегая широкополую шляпу от узости дверей.

Воротынцев с малым чемоданом шёл красным ковром позади, опутив голову. Сегодня всё утро он ощущал себя перед Алиной виноватым.

А остановясь против нужной двери и здороваясь там громче-приветливее, чем это удобно для мягкого малолюдного вагона, обернула к мужу передний отгиб шляпы:

– Ты будешь разочарован! Совсем и не дама.

Спутник, поднявшийся поклониться, оказался ниже среднего роста, скромный, совсем не по требованиям “международного” вагона – и костюм простенький, и галстук наброшен не так.

Алина села, хваля вагон, удобства, всё весело – и вдруг в полуфразе между двумя взглядами по купе сломалось её настроение – вот это была она, бедняжка! – сразу, не дав дозвучать оживлённому тону. И Георгий, только что стеснённый громкостью жены, вот и жалел её в естественной обиженности: почему, правда, ей не ехать с мужем после столькой разлуки? Она же не знает смысла поездки... Зримый вид поездного уюта, конечно, был ей ощутительно обиднее – вот как интересно бы вместе! – чем домашние заранешние огорчения, зачем он поедет один.

Алина сникла на тонкой высокой шее, больше не шутила с соседом. Вдруг поднялась, не попрощалась – пошла!

И Воротынцев – за ней, опутив голову. Боже, как стало её остро жалко – и за что, правда, ей такая жизнь? Разве такого мужа ей нужно было? Разве мог он ей расцветить существование?

На перроне Алина не жаловалась, а настаивала, чтоб он вынес чемодан, а поедут вместе. Нельзя ждать концерта два дня? Хорошо, поедут завтра. Но – вместе. А иначе – просто бессердечно.

И – отшатнулся Георгий от забиравшей его жалости. Этой другой крайности тоже быть не могло, он и так уже больше суток потерял в Москве. Вместе с женой – а там что с ней делать? Вот так и доуступаешься.

На его катапультном глухом лету – выкинулась из сердца вмиг эта склонность смягчать и льготить.

Но ещё не так мало осталось минут. Остерегался он этих минут. Неизбежно было туда-сюда погуливать вдоль вагона, обшитого коричневым деревом, и поглядывать на большие часы под темноватым колпаком вокзала, где поезд уместился почти весь.

На ходу придерживал рукоять шашки с георгиевским темляком.

Закурил. Но одним куреньем всех минут не протянешь тоже.

– Алиночка... я же тебе объяснял: не отпуск. Дела.

Ей, конечно, должно казаться бессердечно. А если в поездке закрутится какое большое дело – ей и вовсе места не станет.

Бедная пташка. Привлѣк её за плечи.

Да ведь она в душе ребячлива, и как ребёнок способна к образумлению спокойными доводами. Я ведь вернусь, ещё до дня рождения. Гораздо раньше?! Раньше. И можно гостей собрать? Собери. И будешь всё рассказывать? Буду.

Вот и повеселела.

А когда времени так в обрез – тем более разумно пообещать, поладить, – и уезжать свободно. В чём можно – лучше всегда уступить, легче будет.

К счастью, поезд не задержался против расписания и не дал Алине ещё раз переломиться. Вовремя прогудели три наливистых удара станционного колокола, прорезался свисток старшего кондуктора, отдался ответный гудок паровоза – и из последних объятий выпустив жену, кажется примирившуюся, уже на ходу поезда через плечо кондуктора посылая ей воздушный поцелуй, дослышал Георгий её пожелания – что-то о перчатках и каждый бы день ей писал.

А соседа никто не провожал, никто ему за окном не махал. Он записывал в записную книжку. Закрыв её и улыбнулся Воротынцеву дежурной соседской улыбкой.

Лицо его было не слишком интеллигентное, даже весьма простецкое и скуластое. Коротко стриженные густые-прегустые чёрные волосы – взброд, так и не нашли себе достойной укладки. Но свою не вполне отёсанную натуральность он старался держать в благообразии, правил не нарушать.

Воротынцев отстегнул шашку, повесил. Разделся.

Потом хоть всю дорогу молчи, в себя уйди, но тут что-то сказать надо. Разговор обыкновенный, пассажирский. Когда должны точно приехать? Да точно теперь не скажешь, расписание расплывается. Теперь и на час опоздают, не удивят. Всё валят на войну. Да и правда, на железных дорогах пятивластие. Как так? Читайте: министерство путей сообщения, интендантство, санитарно-эвакуационная часть, Земгор, а области прифронтовые – как обрезаны поперѣк рельсов: вагоны, склады, грузы, что заглотнули – назад не спрашивай, там – другая держава, управление военных сообщений при Верховном.

Первые минуты движения, вся дорога впереди, всё – твоё, но ещё не знаешь, что с собой лучше делать: лежать? сидеть? читать? обдумывать, в окно смотреть?

А в окне ещё скучное дымное пристанционное.

А сосед – без затруднения, в том же роде. В Уральске миллион пудов рыбы, а отправить не на чем... На сибирской станции по оттепели стали замороженные туши гнить – а жителям продавать нельзя было, они же интендантские. Так и сгнили... На станции Кузёмовка с прошлого года куча зерна травой проросла, так и не берут... Ростов от Баку далеко ли? – а без керосина... Ни склады, ни станции к большим перевозкам не приспособлены... Паровозы изношены многие...

– Вы сами – по железнодорожной части?

– Да нет, – улыбнулся спутник. В улыбке он был прелесть и такой открытый, не в лад со своими тревожными словами. – Но наблюдать приходится. Много езжу, слежу. Охоту к этому имею.

А висели пальто, шляпа – вполне гражданские, ни значка, ни канта.

Всегда, когда её обидишь и расстанешься – ноет: жалко. А исправить нельзя. Но и это чувство – всегда только в начале, потом заглаживается.

Ну и, правда, железнодорожников многих в армию взяли. Топливо паровозам стало хуже. То оборудуй санитарные поезда, то бронированные. Порожние товарные вагоны не дают самим дорогам распределять. Ещё с первой военной зимы: не достанешь вагона без взятки, и всё... Кому вагонов разбейся не дают, а кто – по первой телеграмме получает... А



достанешь – ещё на каждой узловой станции плати и плати, чтобы тебя подцепляли... Завелись такие толкачи – проталкивать свои грузы всеми способами. Шлют их с фронта в тыл, с севера на юг, с юга на север... Содержание грузов надо указывать – так врут. Или ложного получателя ставят, чтоб обойти запрет.

Что-то валилось-валилось опять на голову... Эти два дня в Москве рассеялся, замедлился – теперь снова собраться, вернуть себе скорость. Для чего и едет – всё это надо узнавать.

– То приказом собирают гуж и гонят продукты на станцию. А там наоборот – нельзя грузить, уполномоченный не велел... Или идёт четыреста пустых вагонов за пломбами уполномоченного, а загрузить попутно – не имеешь права, не тронь. То зов – собирать сухари для армии. И мешочками этими завалили волостные правления, в уездах – присутственные места. А – не берут, и крысы грызут. И видит население: какие ж начальники глупые...

И при соседе она разговаривала самоуверенно, как будто от силы, а на самом деле от слабости.

За этими постановлениями не уследить, никто не знает, что можно, чего нельзя, куда обращаться. Начальства везде много, а системы никакой. Одни – от властей, другие – от общественности. Как будто нарочно всё запутывают. Циркуляры – один против другого.

Ничего, она сильно изменилась к лучшему. Нашла дело, будет меньше зависеть от мужа. Пусть, хорошо.

Уполномоченные – один над другим и по каждой линии свои, и один другого отменяет. Есть уполномоченные от армии, есть от Особого Совещания по продовольствию. Между ними борьба, каждый доказывает, что он первой. Большие города и северные губернии шлют за хлебом ещё своих уполномоченных.

И в киевском поезде вроде этого. Как нарочно подсаживаются.

– Вы сами и есть... не такой уполномоченный?

– Да нет, – улыбнулся спутник, но как будто сокрушённо. Как если б хотел быть уполномоченным, да не вышло. Расслабил галстук, развёл высокий крахмальный воротник – стесняют его заметно.

От одного уполномоченного к другому перевезёшь пуд хлеба – ловят, сажают. И никакой уполномоченный не защищён, что не явится более полномочный и не отберёт его хлеба. Над просто-уполномоченными разъезжают ещё главно-уполномоченные. И особо-уполномоченные. В особых вагонах. Вкусно обедают, ужинают.

Пересечённая местность по этой дороге. И обрывы крутые, холмы высокие. Хорошо оборону держать, вон по той гряде, например.

– И откуда ж иные дураки зерно берут? Например, на мельнице или на солодовом заводе сделан запас зерна. Так они зерно реквизируют, а мельницу останавливают!

Крыши будок, припутейских домиков – глянцевого цвета. И голые лески и бурая трава – мокры от недавнего дождя. И ещё будет дождь: серо, темно. А в купе тепло, сухо. Панели красного дерева. Тиснёная кожа по стенам. Кто с войны едет – как не оценить?

– На ярмарках, на базарах – засады, капканы: вдруг какой-то один продукт почему-то реквизируют. Будто нарочно отучают деревню столовать город.

В полях и на поймах – грязно, невылазно, а здесь – сухо, мирно. Кто с войны едет и на войну – каждый день такой не прогонять надо, не рваться в завтрашний, а: хорошо! сегодня – оч-чень хорошо! Нога за ногу, в откид на спинку – хорошо!

Каждый губернатор по своему усмотрению получил право запрещать “экспорт” из своей губернии любого продукта. Как будто распалась Россия опять на уделы. На новых границах – свои таможи. И свои контрабандисты. В каждой губернии – свои таксы, и люди естественно стараются увезти и продать, где дороже. И получается спекуляция.

Изо всего течения русской жизни и всегда и сейчас меньше всего был настроен Воротынцев принимать и понимать вот это: торговлю, промышленность, какие-то таксы. А ведь наверно надо? – может, без этого ничего и не поймёшь? Но так непринуждённо

складывался тревожный рассказ вагонного спутника, так охоче, сочувственно – к собеседнику и ко всем людям вообще, что не тревожил, а больше даже успокаивал. А скорей – от общего спянного чувства, владевшего Воротынцевым постоянно и сверх других его чувств: как бы ни было густо мрачно сегодня в деле, в войне, в жизни, частной или общей, – выше всех мрачных доводов и опасений всегда его выносило прирождённое здоровое ощущение: а, всё обойдётся, всё кончится благополучно, надо только перестоять. Это чувство очень помогало жить.

Спутника зовут Фёдор Дмитриевич. Мягкий, приятный человек. Но – не энергичный и в себе не уверенный, офицер бы из него не вышел, упущения да промахи: прикажет – отступится, скажет – оговорится.

– В этом году урожай трав – беспрецедентный, особенно на Севере. Но оттуда брать сена никто не думает и не хочет. Общероссийских запасов никто не смеряет и не согласует. Интендантство Северного фронта наладилось заготавливать вокруг Петрограда и по всему округу запретило везти сено в город. Но интендантство не всё сено берёт, а крестьяне и в город продать не могут. Под самым Петроградом сено гноят – а в Петрограде молочный скот кормить нечем. И своего молока в столице не стало.

Рассказчик тягучий, в другое время не дослушаешь. Но в поезде – вполне сносно. Только трудно перестроиться, во всё это вникнуть. А безобразия – круговое, что за чёрт?

– В Вологодской губернии тот год был невиданный урожай сена. И крестьяне набивались везти сено на станции по десяти копеек с пуда, – так уполномоченные, видите ли, не договорились о складировании, о вагонах, о погрузке, о перечислении денег. И так вся зима прошла. А когда в марте уже намочило и дороги упали – тогда стали приглашать крестьян, пожалуйста, везите хоть по полтиннику с пуда. Но мало кто довёз, и сено уже было плохое. Так и проиграли все вкруговую, и Россия первая.

Извинился спутник и вовсе отнял крахмальный воротник. Шеей посвободнел, видно, что так ему по-свойски, и в обращении ещё полегчал. Лет сорок пять ему. Усы густые, топорщенные. А бородки никакой. Без напряжения памяти, таскать не перетаскать:

– Или сибирское масло, в “Новом времени” писали на днях. С начала войны остановили экспорт, цены сразу повалились, вместо четырнадцати рублей за пуд – восемь. Тут бы государству закупать его да класть впрок. Так ничего подобного. Довели маслострой до краха, и уже сало шло вдвое дороже масла. И стали сибирское масло гнать на мыло.

Так и ободрало Воротынцева: сибирское масло – на мыло?! Да как же это всё терпеть? Всё равно как в этом июле, в разгар страды – указ о призыве запасных, а через десять дней отменили, – что за тупоумие? Кто во главе государства? (Этот монарх запутал русский тыл ещё хуже, чем фронт? Свой собственный трон запутал ещё больше, чем должность Верховного? И сейчас, когда военных действий нет, – что в Ставке сидит? Почему не разбирается в Петрограде?)

А у Фёдора Дмитрича тон такой, что и почище знает. Тон – не настоящий, как если бы привык рассказчик, что словам его значенья не придадут, и никого он не переубедит, как и этого офицера равнодушного. Рассказывал без напряжения, в любую минуту хоть и остановиться:

– И какой же нашли выход? Опять разрешили экспорт. И – полтора миллиона пудов ушло за границу, между прочим, в Голландию и в Данию. В Данию! – своего масла там нет. Ясно, что в Германию.

Наше масло – и в Германию?! Нет, скорей бы гнал поезд! Скорей бы кого-то встречать, что-то начинать! Как же всё это можно терпеть лишнюю неделю, лишний день? Нёсся, нёсся Воротынцев – и вот ещё по дороге его подхлестывало?

– Да сами газеты читаете, знаете. Много пишут о таком разном.

Воротынцев усмехнулся, и честно:

– Представьте... газеты я – не очень...

– Да что вы? – удивился спутник, но – и смех в зелёных глазах, будто этого он как раз и ждал.

В другом каком обществе Воротынцеву, может, и стыдно было бы признаться, а этому чудачку – нисколько. Как это, правда, получилось? В академическое время уж как был занят – читал. Но именно на фронте стал замечать, что газеты – они какие-то деланные, неискренние, то слишком пристрастные, и всегда почему-то чужие.

– Да что ж читать? Разборы военных действий, сводки? – совершенно неудовлетворительны. Составляют их или невежды наскоком или слишком хитрые политики, понять по ним, как осуществлялась операция, – никогда нельзя. Истинно как дело было, узнаешь только от приезжих офицеров, от очевидцев.

В том объёме и точности, как сам бы он мог, например, рассказать о делах своего полка, своей дивизии.

– Да-а, да-а, – теперь уже будто и с уважением соглашался собеседливый чудачок-простачок. – Это в каждом деле, и в тыловом, и в хозяйственном: только от живого свидетеля... А если всю правду вот так напишешь, как я вам здесь говорю, – искромсают, узнать нельзя.

– Да ведь и задача газет – какая? – развивал Воротынцев. – Если бы – осведомить в полноте. Нет – выворачивать мозги как нужно их направлению, каждому. А тем более о правительстве, о Думе, о Земгоре – кто ж будет писать беспристрастно? Так что, знаете, все эти Русские, Московские или Биржевые, Ведомости, Слова и Богатства, – они слишком небеспристрастны. Газеты читать – воевать нельзя: на фронтах всё дурно, в тылу ещё хуже, а наверху всё сгнило.

Соседу бы дальше радоваться, а он, напротив, огорчился. Просто смяк, будто Воротынцев его ударил. И стал смотреть в окно.

В нём комичное что-то, отчасти котовье: от круглости лица при усах, от зеленоватых глаз. И лицо – неуверенное, немного обиженное, будто жизнь ему подсовывала всё не то, чего он ожидал.

– Ещё серьёзную журнальную статью? – попробовал его утешить Воротынцев. – А иллюстрированные издания – так и...

Даже говорить стыдно, как если б сам он это всё печатал.

– На каждом развороте каждого журнала...

Полковнику императорской армии больше сказать вслух и неприлично. На каждом развороте – чинные портреты всей семьи, то порознь, то женщины отдельно, то в санитарных платьях (а слышал от офицера, лежавшего в Царском Селе: перевязки делает императрица совсем неважно), то наследник отдельно, то все вместе. И императрица шлёт обязательными подарками тысячи нательных крестиков или образков, как не надеясь, что на солдатах есть свои, из деревни. Шлёт иконы Ивангородской, Ковенской крепости – и они на другой день сдаются. И по всем императорским случаям, а их дюжина на году, в каждом полку непременно молебствие, и рта не скриви. Всё это – не главное, всё это недостойно даже перемалывания языком, но из этого всего складывается...

Вслух произнести офицеру больше нельзя, но больше и не надо от русского к русскому понимающему человеку: если *на каждом развороте* – так что это может быть? о ком другом?

Фёдор Дмитрич опять повеселел и смотрел с симпатией. И Воротынцеву тоже стало приятно, что в разговоре у них – не отчуждение, как много лет противостояли студенты – и юнкера, занятое политикой общество – и от всякой политики отстранённое офицерство, не смеющее рассуждать о государственном строе. Не отчуждение враждебное, из-за которого многие офицеры даже бросали армию. А вот война, сколько бед ни принесла, открыла, что все мы – русские, прежде всего.

Можно было и без усилий ещё сблизиться сейчас на немецкой теме. И в тылу и на фронте равно ходили эти анекдоты – о Государе на парадах: “захватил в плен целую свиту немецких генералов”, “со всех сторон окружён немцами и не положил оружия”. Можно – но недостойно. Сам Воротынцев о немцах на русской службе думал двояко. Многие десятки их он знал лично – и все они были служаки честные. И всё же была порочность в их изобилии –

наследный порок Петра, какая-то коренная неправильность, и вот, наверно, в чём: как бы честно они ни служили, но – только трону, а русской жизни – не добирали душой. И от этого – все были не на месте. Навязал России Пётр империю немецкую – так она и тянулась.

Было-таки в этом человеке комичное, но и сердечное. Не важничал он нисколько. И лицо его было: не насыщенное знанием, но как бы образования ему не достало, а хотелось бы ещё.

После того как Воротынцев намекнул на царскую тему-и Фёдор Дмитрич, через столик переклоняясь, доверчиво и печально:

– А Дума? Дума что делает – тоже не знает. Мясопустный закон? – четыре дня в неделю скот не убивать и мяса не подавать, а три дня убивать и подавать? Смех один! Только городские недотёпы и могут придумать: пригонять скот, а на бойне передерживать дни, чтоб он в весе терял. А в Сибири? – там одним мясом и питаются, и девать его некуда. Теперь и из Монголии перестанут скот пригонять.

Городские? Вот понял наконец-то: что-то совсем не городское было в этом человеке. А – образованное мужицкое.

– В продовольственных совещаниях сидят одни городские, кто гирку от арнаутки не отличит, да даже овса от ячменя, а уж как их вырастить и во что обходится – того и слыхом не слыхали. Городские только могут “комитеты по дороговизне” устраивать, чтоб им из кармана меньше вынуть. Ну, и чего добились? Какой дурак им по этим ценам повезёт? – С обидой, даже горло перехватывающей. – Есть пословица: “цены Бог строит”. Цена – она строится от психологии, нам не уследить. Трогать цены – надо прежде хорошую голову иметь. Если прекратился экспорт, так зерна должно стать больше? И дешевле. А у нас – дороже, и нет. Как это?

Вот оно, опять! Едешь со своею болью, и кажется: ничего вопиющее нет, чем потери, формирования, усталость. А навстречу тебе катится: что стало с хлебом?? Второй раз ему толкуют, еле хватает соображения всё это переработать: и вообще всегда цены, а ещё теперь твёрдые?

– Для города главное: почему деревня дорого продаёт то, что горожане кушают? А у горожан – пресса, адвокаты, создают советы городских обывателей и без крестьян устанавливают предельные цены на рынке, вот это и есть таксы. А крестьяне, хоть они три четверти России, – вьючные и немые, газет у них нет, изъясниться негде...

И какой же выход?

Уверял Фёдор Дмитриевич: твёрдые цены отменить, чем скорей, тем лучше. А правительство... Да что о правительстве, язык устал: правительство в России только и существует, чтоб делать всё не так. (Вот и этот!) Был отличный министр земледелия Кривошеин – сняли, не угодил. Поставили Наумова – с ветра, ничего не знал. Только обучился – сняли, как всегда без объяснений. И летние месяцы, самое время урожая – должность вообще была не занята.

– Неужели ж, – верить не хотел Фёдор Дмитрич, но и лезли брови сами на лоб, – неужели действует у нас такая тайная организация для Германии? В народе слухов не оберёшься. То – из Царского Села в Берлин прямой кабель и царица всё туда докладывает. То: снаряды, мол, готовят такие, что не к нашим пушкам подходят, а к немецким. То: генералы – изменники, продают военные секреты?

Слухи об измене – смрадная зараза, так и тянет ею по воюющей стране, по недовольной армии. Общество жаждет шпионской крови. Общая страсть к наказанью измены, это и у солдат. Естественное свойство замученной толпы: всякую неурядицу объяснить изменой. Но уж эти снаряды – с наших заводов да к немецким орудиям... Только что казалось, по хозяйству да по ценам, просто границ нет пониманию и знаниям этого человека, а вот – легли обыкновенные границы опыта. За снаряды Воротынцев обиделся.

– Это бы слишком просто было, Фёдор Дмитрич, если б генералы-изменники. Двух-трёх мы как-нибудь бы нашли. Но когда изменников нет, а – сто дураков, и искать их не надо, а снять с постов недоступно, – вот как быть тогда? А снаряды у нас – калибров

своих.

– Ну, а своих почему нет?

– Не нет, а – не было. Теперь уже – есть. И в этом, представьте, не то что измены, но даже и глупости почти не было.

– Как? А что же? – теперь изумлялся сосед.

– Так. В японскую войну недостатка боеприпасов не знали. По тому расходу и запасались на полгода этой войны, не мало. Заготавливать больше? – а когда начнётся война? А если не начнётся? – эти снаряды на учебных стрельбах и за полвека не расстреляешь. А бездымный порох, дистанционные трубки вообще долгого хранения не выдерживают. А за годы появятся новые типы снарядов, новые взрыватели – как же можно запастись?

Фёдор Дмитрич ошеломился, принять не мог:

– Так что? – со снарядами и ошибки не было??

– Ошибка – была. Но не в том, что не наготовили снарядов. А в том, что – промышленности не подготовили. И была неповоротливость: по первому месяцу войны, по одной восточно-пруссской операции можно было понять, что в год на трёхдюймовую пушку нужно иметь не тысячу снарядов, а тысяч семь. Но разве вдолбишь? А французы вообще, вон, начинали войну без гаубиц, это уже полная слепость. Но у них никто не винит правительство в измене. Всего не учтёшь. Ошибки – могут быть. Но надо уметь поворачиваться.

– Так – и Сухомлинов не виноват?...

– Я думаю: только в легкомыслии и глупости. Конечно, арест военного министра во время войны – позор, да для России – больше, чем для него. Подорвали не его, а весь государственный смысл. Что надо было – это тихо отставить его давно. Но шум об измене кто поднял? – Дума. За страстью ничего не соображают.

Всех этих вагонных спутников ещё надо и просеять. Так ли всё плохо, или это уж такая общественная интонация: во всяком неуспехе видеть злой умысел и развал центральной власти.

– И шпионства – нет??

– Шпионство – есть, конечно. Не такая германская хватка, чтоб деньги жалеть на агентов. Да вот, возьмите “Императрицу Марию” – взорвалась в Севастополе. – (Фёдор Дмитрич не знал.) – Очень допускаю, что – немецкий агент взорвал. И ведь – только что стала в строй, новёхонький первоклассный линейный корабль! Вот – сердце болит, вот это удар.

Куда-то в другое место вёз Воротынцев свои рассказы, кому-то другим, очень важным людям он должен был высыпать из груди свои горящие уголья, – конечно же не в вагонном купе случайному забавному спутнику. Но ровно стучит, стучит поезд, в свой отрешающий ритм убирая, укладывая, успокаивая торопливую душу, нетерпеливые замыслы. Не выскочишь, не опередишь. От Москвы до Петрограда сегодня полдня, долгий вечер, ещё потом ночь, ещё нерассветающее утро – совсем лишний, необязательный день твоей жизни, на что угодно можно его истратить, а как будто и не на что. За окном – мокрая темнеющая местность, не далеко и различимая. Где ещё такие долгие переезды, как в России? Уже слабеют связи с прошлым, ещё не выступили связи с будущим, и сегодняшние реальные люди – только кондуктор, предлагающий выплеснуть светлое тяжёлое полотно простыни на бархатный диван, если хотите отдохнуть раньше, да спутник-чудак с большой записной книжкой, чуть отвернёшься, а он уже записывает или в коридор с ней выходит. Два раза Брянск помянул, так вы оттуда? Нет, там брат у меня, лесничий. Из другого рассказа – гимназическим учителем был. Сейчас – на фронте бывает иногда, с санитарно-питательным отрядом Государственной Думы. А в Румынию – не ездили, не попадали? Ну, обереги вас Господь. Кто там не бывал – ещё горя не видал.

Румыния – не союзник России, а горе и посмешище. Пока она была нейтральна, она защищала нас сбоку, как мешок с песком. Теперь мешок просыпался, и надо подставлять бок и грудь. Союзничка этого сосватала нам Франция. Сухопутный фронт удлинился в полтора

раза, добавилось 600 вёрст, целые Балканы, которые отгорожены были. И всё это великое государство немцы опрокинули тремя дивизиями и неделю назад вышли к Чёрному морю. А мы подходим малыми частями на подмогу – и гибнем. Так и глотает Румыния наши войска, сама ничего не держит.

– Посмотрели б вы на эту армию! От нескольких артиллерийских выстрелов полк разбежится – в три дня не соберёшь. Отходят румыны даже не строем, а поодиночке, волокут свои винтовки по земле – зрелище! как одиночные дезертиры. Ни пулемётов, ни лопат, ни умения вкапываться. Если услышишь частую стрельбу – не думай, что обязательно стрельба: возможно, это румыны бросили двуколки с патронами, и они горят. Уверяют, что готовясь к этой войне, мамалыжники с выгодой продали Австрии много продовольствия, военного снаряжения, вплоть до телефонной проволоки, – рассчитывали всё это готовое получить от русского союзника. Впрочем, я думаю, что телефонной проволоки у них никогда и не было: потому что о полевой связи они не имеют никакого понятия. Артиллерия у них – самая устаревшая в Европе. Они проспали и японскую войну, и мировую. Они умудряются ставить батареи друг другу в затылок!... Офицеры – изнеженные, ходят в корсетах, напудренные, с подмазанными губами. И – вруны, из паники перекидываются в хвостовство, или нарочно обстановку врут, стыдно русским признаться. В официальных донесениях передают сплетни от жителей, распоряжения меняют едва не каждый час. Снимаются с позиций, не предупредив русских соседей. В их армейские линии включаются частные лица. Нет, этого нельзя рассказать!...

Фёдор Дмитриевич ещё выше вскидывал брови, засуетился, открывал записную книжку, хватал карандаш, но удерживался в приличии, не записывал. Вскидывал брови, но не поразился до конца, а нашёл своё навстречу:

– Георгий Михалыч, так это – в Румынии! В Румынии – ладно, нам там не жить. Но у нас воруют и всё продают, вот что страшно! На всех станциях воруют. Раньше сахару терялось и пути на вагон пуд, а теперь – тридцать пудов! Начальники гуртов, в прошлом году при отступлении скот отгоняя в тыл, – на казённые деньги в кафе-шантанах кутили, и ничего им! Расплодилось аферисты, за один вечер в карты сотни тысяч проигрывают – откуда у них такие деньги? Говорят, при отступлении продовольственные и вещевые склады поджигают первыми, чтобы скрыть воровство интендантов.

– Поджигают – потому что надо жечь. Сало, сахар, консервы, да, видеть невозможно! А что ж – немцам оставлять?

Ну, может быть. Да всё равно знал Фёдор Дмитрич и похуже:

– Тыловое мародёрство – вот что самое страшное сейчас. *М і родёрство*, как деревенские говорят. Чего открыто продавать нельзя, потому что цена уже стыдная, её не выговорить, – так в запас наберя, ещё держут, чтобы цены ещё повысились! Именно не дороговизна, а грабёж среди бела дня. Страсть разбогатеть во время народного бедствия – откуда это? Безгранично бессовестная торговля, психическая эпидемия. Как будто внутренний неприятель нас разоряет. Тьма спекулянтов развелась, достают всё исчезающее, особенно заграничное, – и торгуют. А какой-нибудь плюгавый купчишка 3-й гильдии поставляет армии гнилые валенки, тухлую крупу. Нахватают – потом из барышей жертвуют на лазареты. Одной рукой сапоги с инвалида снимают, другой – ставят свечку. В Германии небось, не помародёрствуешь, там общество строгое, там за такое – военно-полевые суды. Говорят, и у нас некий генерал предложил: на вагонной платформе повесить одного банкира, одного купца и одного начальника станции. К курьерскому поезду подцепить и возить их показывать...

Фёдор Дмитрич смотрел страдательно. Взгляд его был остёр, пытлив, ничего комичного нет, откуда показалось? Почти с ужасом говорил:

– Сказочные обороты делают ювелиры, меховщики, дамские портные – значит, есть кому прожигать жизнь, о войне не печалются! Вы на вечерний Петербург посмотрите, как он кипит в роскоши. А все эти дутые организации – Северномощь или Себепомощь, как Северпомощь называют. И на беженцах наживаются, сотни тысяч рублей текут

бесконтрольно. Вот что страшней всего: повальное устройство личных благ! Откуда эта всеобщая бессовестность в нашей стране? Откуда эта бесстыжая спекуляция?

И Воротынцев почувствовал как холодный ветерок по спине: вот – страшно! Это похуже, чем “правительство не годится”. Разве такая всеобщая порча – у нас была? Вот – беда, вот от чего надо вызволяться!

– А у нас – твёрдой руки нет, – жаловался Фёдор Дмитрич, – злодейство ненаказуемо, справедливости не восстанавливают твёрдо. Нужно много честных и опытных людей на всех местах. А их – как смело. Где люди? Все везде спрашивают: где – люди??

О, да! О, да! Твёрдой-то честной власти и нужно. Твёрдая власть, а главное – не бездействующая. Ах, как нужна – для спасенья страны!

– Даже от месяца к месяцу заметно, вот от этого лета к осени. Такое общее настроение сейчас, с кем ни заговори, куда ни поедь, – все считают себя обиженными, обделёнными, ограбленными. Кто винит деревню, кто город, кто банки, кто беженцев, кто рабочих, кто полицию, кто Думу, кто внутренних немцев, и уж все вместе – правительство. За правительство – никто и гроша не даст. И какое-то, знаете, распространилось ожидание чего-то неизбежно плохого: то ли убийств представителей власти, то ли какого-то заговора...

– Заговора?

– Какое-то угнетённое настроение непрочности, недоверия. И даже – жаждут каких-то убийств! И честят министров и, простите, августейших особ – просто последними словами. Потом ещё этот Распутин: да мол простой мужик у себя в доме такого похабства бы не потерпел, как терпит Сам... Такого сраму... Как с начала войны сдвинулось с места, пошло не по порядку – так и пошло. До чего устойчиво раньше жизнь текла! – казалось, на века. А вот расхлябалась – и боком, боком. Лежит арбуз на бахче, кожа – цела, кажется крепкий. А в руки возьмёшь – разваливается, ладоней не выдерживает.

Да не может быть так плохо. Да не может быть! Склонны люди сгущать мрак. И в этом особенное думское и газетное направление – всё чернить, что в России есть. Так и этот человек как будто собрал с чужих голосов всё, что только есть плохое.

– Ну, не хуже ж прошлого года, когда отступали.

– Да, но тогда боялись немецкого нашествия, чуть Минска не сдали, – и страна была единая, и тыл здоров. А теперь армия вооружена, в Петроград и в Москву никто уже врага не ждёт. Но и в Берлин никто не собирается, как в Четырнадцатом. Теперь не объединяет страну ни порыв, ни страх. И всё внутреннее обострилось.

Уговорительный человек: и не настаивает как будто, а сыпет, сыпет примерами, льёт уверенным знанием дела – и спорить с ним не возьмёшься, откуда всё столько знает, пройдоха-дотоха? В санитарном поезде если ездил – много ли он там видел? Вот уже и о Донцком бассейне, везде успел:

– Все валят на шахты за отсрочками, чтобы спастись. Кто и никогда там не работал, кто и в заработке не нуждается. Все откровенно войну переживают, скорей бы мир. – И сам с сочувствием: – Ах, Георгий Михалыч, соломенный мир лучше железной драки.

Хорошо сказал! Хороша пословица. Верно.

Но теперь уже даже противительное подымалось защитное фронтовое чувство: ну, у нас-то, слава Богу, ещё такого нет. У нас – чистота, здоровый дух. Опасность равняет, близость смерти – очищает. А в тылу от опасности дальней люди и гнутся, вот и расплывается гниль и гнусность.

– Да, – сказал Воротынцев. – Крестьяне честно дают себя в армию загребать. А сколько городских уклонились? Первые и законные дезертиры – Земгор. Вы, простите, не из них ли, случайно?

– Не-ет, – добродушно улыбнулся спутник.

– Выдумали себе погоны с какими-то фантастическими вензелями, спрятали здоровое тело.

Сосед согласен:

– Призвать их в строй, не надо и таких бешеных окладов платить. Даже два им платят:

по старому месту службы и по Земгору.

До чего б ещё добрались, но шёл по коридору кондуктор и радостным голосом объявлял Клин.

С другого конца коридора крикнули:

– Кондуктор, вы что, дверь мою заперли?

Весело отозвался молодец-кондуктор:

– Крепче дёргать надо, дверь – международная!

Фёдор Дмитрич схватил записную книжку и записал.

И записывал дольше, чем было сказано. Наверно ещё что-нибудь.

Выйти пройтись? Оделись.

В тамбуре не упустил Фёдор Дмитрич ещё допросить кондуктора и услышал:

– Получаем всего 30 рублей, а бывает и ремонт на свой счёт. Лопнет труба, позовёшь монтера – отдашь десятку свою любезную.

Да уж как-нибудь и кондукторы ловчат, наверно.

Опять записал Фёдор Дмитрич.

Вышли на сырой холод. Сперва приятно отдать лишнее долгое вагонное тепло.

По платформе прохромал один калечный, другой. И просили милостыню у богатых пассажиров.

А не так давно были бравыми солдатами. А перед тем – мирными обывателями, не предвидевшими своей судьбы. Ушли в калечество – и забыты в своей невылазной жизни.

Но вдесятеро многочисленней их околачивались на платформе и близ вокзала – запасные: дурно подпоясанные, со включенными шинелями, кривыми погонами, а уж выправка, а уж честь отдают!... И – не строем, не командами, не патрулями, не по службе, – но группами, одиночками – гулять, что ли? на поезд смотреть?

– Да они – на всех станциях, на всех базарах, – наговаривал Фёдор Дмитриевич. – По курятникам шарят, яйца выискивают. Ленивые, наглые...

Хоть коменданта ищи, да времени нет.

Нависла чёрная туча, опять дождь начинался.

Вернулись в вагон.

Уже не просто они были чужие люди, простлалось между ними взаимное расположение. И Фёдор Дмитрич лукаво предложил:

– А не желаете по стаканчику винца донского?

– Да ведь запрещено. Откуда ж?

– На Дону всю войну самокурку пьют. А днями – сняли запрет с виноградного вина, не крепче 12 градусов. Разрешено из винодельческих местностей вывозить, продавать, даже экспортировать. Вот и я везу родного петербургским друзьям. Солнышка поглотать.

Вступил на приставную лестницу, приподнялся к багажной нише и оттуда двумя ладонями нежно притянул четвертную бутылку в соломенной оплётке. Оплётка – из больших квадратов, через них – тёмно-золотистая жидкость, втягивающая глаза.

Домовито распорядившись со стаканами и уже наливая мягкими наплесками, и самой жидкости улыбаясь, Фёдор Дмитрич протянул:

– Когда есть оно, как в станице, дома, так и даром бывает не надо, не дороже воды. А в военное время или в тюрьме – вспо-омнишь.

– А вам что, и в тюрьме приходилось?

– Да был немного. В Крестах, три месяца. Я – выборжанин.

Выборжанин? Только подумал, что с Дона этот бродячий вездешний человек, – нет, из Выборга. Или – Выборгского полка? 85-й Выборгский? Сама память подавала готовое связно, но что-то не то: Уздау, окопы, обстрел, Арсений Благодарёв, жёлтый игрушечный лев... Нет, конечно, какой же он военный. Просто – выборгский мещанин?

– Выборжанин?

Фёдор Дмитрич жадно смотрел, уголками бровей на отлёте, ждал отзыва, острого слова какого-то. Не дождался. И с улыбкой неприятельной, даже виноватой:



– Я – Выборгское воззвание подписал.

– Ах, вот оно что!... Да, да...- (Наудачу.)

Выборгское воззвание? Какое-то было, да. От кого к кому? почему Выборгское? Да мало ли этих разных воззваний? Революционер, что ли? Вот уж не похож. За два часа от простого среднего человека – одни загадки.

А тут поезд тронул – мягко, без толчка, как поскользился, так что стаканы, налитые всклянь, ничуть не расплескались.

И огорчённый Фёдор Дмитрич снова улыбнулся:

– Хорош машинист. Это ведь трудно – так взять состав. Пассажирских машинистов да ещё на Николаевской дороге – молодых не бывает.

– Почему?

– Долгая выслуга. Начинает смазчиком, потом кочегаром, потом помощник машиниста, потом машинист маневрового, потом товарного, только потом – пассажирского. И то разный класс бывает. Ну, ваше здоровье!

– Ваше!

Потягивали. Смаковал Фёдор Дмитрич.

– Опытный машинист, да ещё если участок знает – чудеса может делать. На станции Елец – 10 минут стоянка, никак пассажирам пообедать нельзя. Но, бывало, бежит к паровозу официант и поднимает машинисту серебряный подносик – рюмка водки и бутерброд с чёрной икрой: “Василь Тимофеич, примите-с! Вас Абдула Махмудович”...а арендаторы буфетов – все казанские татары... “на счёт остановки, чтоб не шибко скоро отправились”. “Скажи Абдулке: ладно.” Помощнику: “Сходи к дежурному, заяви смазку подшипников”. И стоит поезд 25 минут, на паровоз тоже три полных обеда подаётся. А расписание – нагонится до Грязей: знает Василь Тимофеич все уклоны, все подъёмы.

Не давая допить, долил сосед снова доплна.

И вдруг почему-то стало Воротынцеву – жалко его. Что-то неудачливое было в нём или обречённое, а нисколько вот не озлобленное. При его всезнании и уверенных доводах – что-то неуверенное. И неумение в себя уйти, обрезать, замолчать – у независимого человека какая-то зависимость ото всех и всего.

А поезд шёл, небыстро, но с ровным хорошим стуком, и располагал и велел всматриваться: мимоходом встреченный – ещё мимоходный ли человек?

– Простите, не помню я это Выборгское воззвание. Это – какое же? когда?

Посмотрел Фёдор Дмитрич опять огорчённо. Зеленовато.

– Когда Первую Думу разогнали – мы в Выборге собрались и там... Обсуждали, что делать... И подписали Воззвание...

– А кто мы, простите?

– Члены Государственной Думы. Некоторые.

– Так вы... что ж? Член Думы??

Шутит?

– Да, бывший. Первой, – извинительно улыбался спутник, вполне допуская своё несоответствие.

Ах, Первой. Давно это было.

– А сейчас – нет?

Стеснялся Фёдор Дмитрич за полковника, и оттого явней выступало в нём доброе:

– Так вот нас... с тех пор... и лишили... политической деятельности.

– Вы – политический деятель? – не совсем без насмешки всматривался Воротынцев.

– Да нет... Вовсе нет... Так, попал.

– А, простите, как ваша фамилия?

– Ковынёв.

– Н-не слышал, да. – И обижать человека неудобно, но – не слышал. – А – откуда депутатом?

– С Дона. Усть-Медведицкого округа.

– А партии какой?  
– Да к-как вам сказать. Назывался трудовик. Обвинялся ещё и в создании народно-социалистической. Отпало, а то бы год дали. Вообще в ту пору свободы, в те дни упований без меня митинги не обходились. Меня потом наказной атаман с Дона высылал.  
– Так вы – казаком были?  
– И есть.  
– Ну, теперь какой же!  
– А на сенокос, на уборку, за садом ухаживать – домой езжу. Сестрам одним не справиться, незамужние.  
Улыбнулся, как бы внутрь себя:  
– Казаки! Знаете вы, что значит казаки? Вот июльский день, все на уборке хлеба. Вдруг через станицы и по полям скачут гонцы-казаки с красными флажками на пиках, это значит – война, боевой сбор. Сегодня засветло к пяти часам вечера всем быть обмундированными, на боевых конях и в полном снаряжении у станичного правления! И вот – бросают хлебную страду, полосу на середине, бросают жену, ребятишек, – и через несколько часов четыреста снаряженных бойцов – у станичного правления.  
И даже заблестал от гордости. И сам готов на коня?  
– Так вы где ж постоянно живёте?  
– Теперь в Петербурге.  
– И – преподаёте?  
Потупился Фёдор Дмитрич, повёл глазами по столику, на вино, на записную книжку.  
– Теперь нет. Я теперь... в общем... так сказать... Очеркист.  
Ах, вот кто! Ах, из тех как раз, кто и пишет все эти Слова и Богатства!...

## 15

(Из записных книжек Фёдора Ковынёва)

\* \* \*

– Вашескобродие, – робко говорит Сигней, подвигаясь к войсковому старшине, – позвольте вас спросить, правда, нет ли, гуторят тут у нас...- и понижает голос до таинственности, – будто мериканский царь прислал в Расею письмо... Желает у себя казаков завезть... Мол, русский царь не кормит своих казаков, пушай едут в Америк, у меня голодными не будут?  
– И чёрт их знает, – закричал войсковой старшина на Сигнея, – какую ерунду собирают! Откуда это?  
– Болтают тут, вашескобродие... Больше бабьи брехни...  
– Плюнь ты в глаза этим смутьянам! Твоя родина вот – степь привольная Дона Тихого...  
– Самой наш корень, – уныло поддакивает Сигней.  
– И нигде на свете ты лучше места не найдёшь!  
– Так точно, вашескобродие...

\* \* \*

Приехал со службы казак, в офицеры выслужился. Горница полна гостей, старики за столом, по лавкам – родство и соседство, и женщины, молодые казаки у грубки стоят, в чулане жаркой грудой зрители.  
– Это самая ваша форма, Гаврил Макарыч?

– Вобщем – присвоенная чину подхорунжего.  
– Очень прекрасная форма.  
– Только по этому чину хлебопашество вам будет трудно, пожалуй. За время службы от нашей польской работы, небось, отстали?  
– Желание было, конечно, послужить в полку, ну, родитель не благословил. Ну, и на родину, конечно, пожелалось – посмотреть родимые предметы.  
– Тут и кушанье простое: лапши побольше – это так! Наелся, чтобы блоху на пузе раздавить можно – вот это по-нашему.  
Бородатый умственный сосед:  
– Ну как, спокойно сейчас по России?  
– Пока ничего, бунты усмирены.  
– То-то по газетам не видать, чтобы...  
– Сейчас затихли. Как раньше, например, были эти самые забастовки, сейчас этого ничего не слышать...  
Старик с голым черепом и с Георгием на синем суконном халате:  
– Гаврюша! Скажи ты мне на милость, через чего эти самые бунты бывают? По какой причине купоросятся те народы?  
– Да конечно – от неудовольствия...  
– Земли хотят?  
– Одни – земли, другие – в дороговизне товаров стесняются. А в общем итоге надо счесть, – от необразованности.  
– Да кто же виноват, какая сторона? Зык идёт и на начальство...  
– Начальство начальством, дедушка, да и сами виноваты: надо учиться...  
Дед крутит головой:  
– Не в том сила, я думаю... Жили вперёд их, не учились... а жили, не бунтовались. Просторней было... Садов не было, вишни в лесу сколько хошь рви, яблоки, груши, тёрён... Рыбы этой!... А нынче всё перевелось. Все образованные, все в калошах ходят...  
Карпо Тиун, вставая, голосом спотыкаясь:  
– Вы говорите – учиться, Гаврил Макарыч. А дозволейте спросить: иде свободный доступ? Окупить права – например, чем?  
Служивый строго собрал подбородок:  
– Кто в голове имеет, доступа добьётся.

\* \* \*

Яркий мартовский день. На Неве сухой лёд, ноздреватый, с тёмными извилистыми полосками. Радостная тревога на сердце. На набережной встретилась нарядная, тоненькая, в чёрном, с чёрными глазами и бровями, вся накрашенная, как будто смутилась чего-то. Может быть певичка. С жалостью и симпатией встретился взглядом.

\* \* \*

24 мая 13 г., СПб. Вчера вечером, на Вознесение, у нас было заседание редакционного комитета. Короленко не спеша, очень подробно, делал разбор рукописей. Потом пошли чай пить. Он говорил со мной о рассказе с таким энтузиазмом, ласково мягко блестели прекрасные небольшие глаза. Прекрасное лицо у седой квадратной бородки и головы в тёмно-серых кудрях. В его изъеденном, но твёрдом лице физически сильного трудящегося человека – привлекательность силы, выдержки, мысли и осторожности. Кольнулось сердце, любовалось им. Тихий волшебный ровный голос необычайной грусти и живости. А когда он встал из-за стола, я заметил на сапогах его заплаты...

\* \* \*

23 июля. Едем со станции. Белые платки табором, повозки, арбы, радостные рабочие. Луга зелены, как весной, – корма-то! Мощь зелени, давно не бывалая. “Это когда в Турцию шли, тогда так было”. Трещит барабан лобогрейки. От спелой пшеницы запах родной, сытный, хлебный. Почему-то думаю: больше в жизни такого урожая, такого богатства и буйства я никогда не увижу.

Сухой ковыль волос на старых казачьих головах.

\* \* \*

Усы, похожие на укороченные турецкие ятаганы.

\* \* \*

Я написал З\*: теперь по станице катят на велосипедах молодые люди в котелках и блузах прозрачной материи, в карты играют при взрослых. Барышни в узких платьях и французских туфлях идут по пыльной улице, обходя свежие, густо-ароматные нашлапы прошедшего стада. Меняется быт...

Она: не быт, а – брать как можно больше хочет теперь молодёжь, особенно в любви. Всё реже способность отдаться и привязаться.

\* \* \*

По листве шелестит мелкий дождь. Пахнет укропом. Сижу в шалаше, жду – не придёт ли какая. И ничего в груди, кроме желания, да ещё страха, заболеть. Птички звенят в саду.

\* \* \*

Старый бородатый казак поёт общую песню, а сам топырит в воздухе пальцы, наклоняется к соседям, будто им что рассказывает, крутя головой.

Другой старик вспоминает: “Был такой атаман – фон-Рябый... (значит – фон-Граббе или фон-Таубе. Что казацкому языку делать с таким “атаманом”?) Лютой был генерал, как-то сразу в нём воспарение делалось. Одному казаку за возражение карандашом ноздрю пропорол”.

\* \* \*

В саду у Памфилича. – Ну, когда ж, Памфилич, лучше было? в старину аль теперь? – Да теперь, сказать, лучше. Посветлее стало. Грамахоны, наряды! У нас-то, бывало, всё холстинное, самоделишное. – А – что ругается молодёжь? – Да, мы такого не ведали. Как это – матерным словом? Ведь она Владычица наша, заступница... – А мой дедушка, помню, говорил: детям нашим – подступает, а внукам и вовсе худо будет...

\* \* \*

Сизая степь с низкими холмами и буерачками. Низкорослый дубнячок по балкам и по мелкой Медведице. Низенькие курени, пахнущие кизячным дымком. Облупленная станичная церковь. Вспомнил, как в лаптишках любил бегать к вечерне, в полупустоту. А ещё больше – кругозор с колокольни, когда пускали.

\* \* \*

Ласковые недра неспешной жизни.

\* \* \*

“Нитнюдь не проникать!”

\* \* \*

– У меня сын имеет медаль за храбрость. Гришка, ну-ка зацепи, где она у тебя?  
Рябой неуклюжий казак достаёт из кармана серебряную медаль на алой ленте, прикладывает к груди, торжественно:

– Святыя Анны...

– За какой же именно случай? – почтительно спрашивает сват.

– Это – на конюшне я стоял. Командир пришёл ночью, видит – всё исправно, и всю ночь я напролёт не спал. “Вот это молодец!” – говорит. И представил к медали.

\* \* \*

З\* после тамбовской постановки “Мещан”: “гнетущее настроение, из театра шла как автомат посреди улицы и вязла в грязи. В душе такая пустота, будто вынули из меня всё и ничего не положили взамен. Главный вопрос – во имя чего жить – не решён. Все отрицательные (по Горькому) герои находят, что жизнь скучна, мертва, неинтересна, а все положительные его типы только восклицают “хорошо жить!”, “жизнь хороша!”, но никто и попыток не делает объяснить, почему так. Нил, самодовольный откормленный бык, душит и давит всё, что попадает под ноги, – и он по Горькому герой будущего? Но разве героизм будущего в жестокости? Горький за Ницше восклицает: “падающего подтолкни”. Я понимаю – отжившие учреждения, но не людей же? За что? что родились раньше нас? Гадко, тяжело, просто погано. Если бы не было так поздно – полетела бы, не знаю, к тётке своей в монастырь. А вы, друг мой, выставите “наши теперешние условия”, “российские порядки”? Если я угадала – не пишите этого, это ложь, самоутешение”.

Провинциальная девчёнка, ничего не видела, но как смело судит. Поди-ка скажи такое в редакции “Русского Богатства”.

\* \* \*

Гримаса усилия (грузчика), похожая на улыбку.

\* \* \*

Шибарёвая баба.

\* \* \*

– Жизнь моя, ежели мне про неё начать, то целая библия. Сколько я перенёс на своей груди, то в Волге воды столько не найдётся.

– А именно что же?

– Мало ли!... Раз калоши новые у меня украли и самовар новый невладанный – в один день.

\* \* \*

– Если более или менее утробистая бабочка попадётся, ну... А что касается бессмыслицы жизни – это не моя специальность.

\* \* \*

– Вы ж не социалист, надеюсь? – отчего ж нам не по одной?

\* \* \*

Шум отвечающих многих голосов издали – как опрокинутый ковш со щепнем.

\* \* \*

Ильич про сына:

– Первым долгом – по ногам он не годится. Ноги у него ни к чему, до того потеют – хочь выжми.

Слабосильный мужичок Агафон, ростом в аршин три четверти:

– Раненого я надясь встрел. Без ноги, а смеётся. Надо, говорит, сукина сына германа придавить хорошенько.

– А как думаешь, Агафон, если нас с тобой возьмут? Германец вон грозится в Дону коней попоить.

Агафон, держа цыгарку на отлёте против уха, надменно отзывается:

– Чего потребуют, то и сделаем, а уж герману уважать я не согласен.

– А налетит на ероплане – цап! и упёр?

– Пушай по всей комплекции бьёт – не поддамся!

\* \* \*

Повороты душ, предположить нельзя: после всех разжалований Филипп попросился в армию добровольцем! Вернули подьесаула и вместе с сыном-подхорунжим – в один полк. Три первых же недели оба не вылезали из разведок. Отец – повышен до есаула, Владимир 4-й, Анны 2-й и георгиевское оружие. Сын – до хорунжего, тоже орден и в атаке убит.

\* \* \*

Крест на крест: георгиевский кавалер, подпоручик, – и сестра милосердия.

\* \* \*

Брат Александр пишет: мобилизовали крестьян-возчиков на обязательную вывозку дров для военного завода. Но как бестолково: всех мужчин с одной лошадейю выгоняют за 40 вёрст (из других уездов тоже), а дома остаются по две-три лошади без работы. На ближних были бы все заняты. А начальник велит лесничеству: отгрузку дров на брянский арсенал прекратить, грузить для полицеймейстера.

\* \* \*

Пишет сестра Маша: вчера заходил казак с хутора Себряково, перешить посылку сыну на войну. Говорит: мать уважки напекла на масле, на яйцах, да присметанила, а на почте начальник спросил – что в посылку зашил, говори истинно. Я мол: тёплая рубашка, поштанники, варежки, да мать горстку сухариков всыпала в чулки. А вот этого, говорит, никак нельзя, перешивай. К себе на хутор далеко идти, он – ко мне. Пока порет, спрашиваю – что сын-то пишет? Да в последнем письме написал – объявили поход на немца. Кроволитие идёт громадное, силы несметные гибнут. О Господи, один у нас сыночек-то. Детина и бабочка у нас тихие, сиротные и дитя-то у них одно. Пришёл Сёмушка с действительной, лишь успели деточку родить, а вот опять на войну... Ну, ягодка, распорол я, да думаю: хоть с десяток сухариков суну в поддёвку-то? – дойдёт ли, нет? Мать хотела уточку положить, баба – нет: сухарики в карман насыплет, ходя съест. А ещё обвела ручёнку и ножёнку Ванюши и приписать велела: вдарь, батенька родимый, моей рукой и ткни моей ногой лютого врага немца, чтоб не успели испить твоей родительской крови и осиротить твою единственную чадушку и уложить в гроб твою родимую матушку. Вот и её слёзочки, видны на бумажке, уж кричала, кричала.

Зашиваю: ну, а ещё что пишут казаки? Вообще пишут: всю сущность писать не велят и неколи. Из Карпатов пишут: голод, холод, мяса много, а хлебушка редко, лошади под седлом без силы. Из Александрополя пишут: ждём турку, чиним крепость. Работу несём словно каторгу, на себе таскаем кули песку, а всё-таки, милые родители, надёжней, чем где бой. Отдохнём от песку, разобьём кулаки на морде турка. Теперь уж надо идти, не опускать голову перед кривоносими чертями. Как ни говори, ягодка, много русской силушки закрыли землёй. Зашила? Ох, за сухари старуха будет бранить...

\* \* \*

Рязанец псковскому:

– Надо средственно махать косой, а ты рвёшь. У косе понятия не имеешь. Острамотил Скопскую губернию на всю Европу.

– А ты дай инструмент следующий, тогда говори. Такими косами мёрзлое дерьмо сбивать, а не косить.

– Соболезную я не столько об тебе, сколько об лугу. Пошматуешь ни за что...

\* \* \*

“В выпитом разе – сурьезный человек”.

\* \* \*

В Ксеньинском лазарете зашёл я в рентгеновский кабинет. Принесли молодого татарина. Тонкий, совсем мальчик, трудно дышит, лихорадочный взгляд. – “Замечательный случай, – сказал врач (артист), – парализованы ноги, а никакого ранения. По-видимому контузия”. Сделали снимок – нашлась пуля в спинном хребте, что изумило ещё больше: нигде никаких признаков входного отверстия. Рассуждали, обдумывали. Татарин тяжело дышал. Подошла сестра: “Люблю я их, татарчат, – ласково утирая ладонью щёку и подбородок его, – такие они милые. Домой хочешь? Ах, ты...” В мутных лихорадочных глазах мальчика блеснула радость, он беззвучно засмеялся, разинув рот, забывая страдания. Служители уносили носилки с татаринном, но светлое так и лежало на его лице.

Магическое и великое в ласке женщин.

\* \* \*

Жирный голос – похожий на шкворчанье горячего жира.

\* \* \*

Брат пишет: по “Русскому Инвалиду” надо скоро ожидать на фронте больших оживлений. Хоть бы ломанули немца! Удастся ли? Всё так напряжено, боюсь катастрофы. На Страстной и на Пасхе не было бы голодных бунтов: всё перед праздником вздорожало на 500%. Прямо надо удивляться нахальству торгового класса. Не кончилось бы разгромлением тыла.

Для домашней работы никого не найдёшь, девчёнка и та за 10 рублей к ребёнку идти не хочет, и правильно: раньше 10 р. были деньги, а что сейчас? И служи сам, и по дому сам, и весна настала, мясо кончилось – сели на жидкую кашу да молоко, вот тебе и лесничий.

\* \* \*

Потянулись по станице слухи о наживе там, на полях войны, дразнили воображение. Уляшка, хорёк-баба, сигнула к своему первая, аж до Карпат. Воротилась – облепили её бабы. Сухопарая, рябая, но чернобровая, рассказывает:

– И-и, мои болезные, и поспать сладко не привелось: всё на стороже были, как гуси на пруду под осень.

– Ну а как, деньжонками, правда, нет ли, поджился?

Бабы, затаив дыхание, ловят, как пофортунило Родьке.

– Да всей касции двадцать три рубля было у него.

– Ну, не грехи.

– Ей-Богу, как перед Истинным! – Уляшка крестится на вывеску потребительской лавки. – Я два дня посидела – трюшница осталась, крынули как следует. И он меня с касции сместил.

– А говорили, добра много набрали.

– И-и, тётя, один разговор. Може кто и поджился, а мой, чего и зашиб – всё в орла



прокидал. Тут им – поход, и он мне: с меня теперь гнедого достаточно. Куда тебе за нами с мешком сухарей тюлюпать? Езжай домой. Служите там молебны.

– А у нас по всей станице зык пошёл: поехала, мол, Уляшка деньги забрать.

– Вот, купила себе на жакет сукна, и всё нажитие.

\* \* \*

Прошлогодня ржавая листва и сквозь неё пробивается травка в первых днях своей жизни: зелёные напилочки, крошечные вёсла, зелено-золотые копыца, бархатная проседь распластавшегося полынка.

\* \* \*

Пьяный казак своей случайной возлюбленной:

– Я баб лучше всякой скотины люблю!

\* \* \*

Зинаида: “Страстная неделя. Мимо моих окон идёт народ со стояния. Все несут свечи, лёгкий ветерок их колышет, слышен смех, в лицах бодрое оживление. А я стою у окна – в душе мрак, на дне – холод и смерть. И на живое чувство их откликнуться не могу”.

\* \* \*

– Не дерзай (= терзай) ты своо сердца!

\* \* \*

Пишет Александр: задумали строить лесопильный завод для заготовки шпал и дров. Цены на всё бешеные, рабочих нет никаких – ни плотников, ни каменщиков. Ничего не достанешь, не купишь, не найдёшь. Учреждения военные и земгоровские с ценой не считаются, они и вздувают. Вчера пробовал нанять колодец выкопать для завода. За выемку 6 куб. саженой запросили 500 рублей. Теперь ревизор торопит с постройкой узкоколейки к заводскому складу. А дорог нет, возить надо песок, балласт, рельсы – за 35 вёрст, почему-то их выписали не на нашу станцию, а на Белые Берега. Ужасно тяжело, но всё-таки надо сделать. Немцы за это время использовали огромные леса наших западных губерний. А мы сидим без шпал.

Ещё пишет: получил 37 человек военнопленных. Теперь верчусь: накормить, обусть, одеть, дать работу, заинтересовать. Думаю, нашим солдатикам в плену не видать таких попечений.

\* \* \*

– Был я вахмистр, из себя черноусый, тело белое, настроение развязное. А она – плюнуть не на что, вся с напёрсток. А пока я служил – тоже... приобрела мне одного...

\* \* \*

Утром в лесу. Над ухом тихо звенят комарики. Редко с расстановкой стрекочет какой-то кузнец. Кочета кричат за рекой. Зелено, шорох. И нет мыслей, кроме тоски: женщина бы встретилась!...

\* \* \*

– Надьсь тут офицера немецкого провезли раненого, бабы окружили. Одна старуха: “Глаза бы тебе выцарапать, немецкая морда! Двух сынов через вас лишаюсь!” А он по-русски говорить знает: “Тётушка, у меня у самого дети, не охотой покинул”. И заплакал.

\* \* \*

“За это, голубь, скребанут!”

\* \* \*

Брат пишет: Дело с постройкой завода курится как мокрое г... Со всех сторон сыпят наряды, не успеваешь поворачиваться. А всё-таки, несмотря на военные затруднения, работы по лесничеству сделано больше, чем в обычное время, раза в два-три, и самое дело разработки расширилось.

Пленными очень доволен, собираюсь косить ими луга для казённых лошадей.

\* \* \*

Зина: “Нужно идти или навстречу друг другу или в разные стороны. Других отношений между людьми не ценю и не желаю поддерживать”.

Вечные милые враги (мужчина и женщина).

\* \* \*

Спина косца в синей рубахе взмокла пятнами и кажется заплатанной чёрными латками.

\* \* \*

– Режется трава не чутно, косить ее – как блинцы с каймаком есть.

\* \* \*

Извозчик: Старший сын зиму в школу походил, стал читать, хорошо, ну бедность, отдал в колбасную к зятю. Зять у меня в колбасной приказчиком. И девчёнку малую ему же отдал, за детьми ходить. – Не обижают? – Ничего. Только в Бога верить перестали. Не говоря, что скромное жрут всё время, а уж веру самую потеряли. Я им про Бога, а они: что я

заработал, то и есть, а Бог мне не поможет. Там такие слова, дескать **ничего** нет. Ну, а природа? Да и природы нет! Врё-ошь! Природа есть, и должен быть у неё великий хозяин. Кабы тебя отец с маткой не родили, как бы ты на свет явился?

– Выехал чуть не ночью, на козлах подремлю, опять за работу. Лошадь одну поставил, другую запрёг.

\* \* \*

16 июля 16 г. На набережной, в жемчужный час белого вечера, заря на закате, тепло, серебрится Нева, солдаты, девицы, пиджаки, рубахи, женщины с платками на плечах. Долетают обрывки разговоров:

– Муж солдат и любовник солдат... (бабий голос). – Богачей поджать (мужской баритон). У них и спирт, и коньяк, а тут пей отраву за 2 рубля. Да и отравы-то не достанешь... – Теперь не берут нашего брата на работу, по всему берегу баба расположилась. По 3 рубля в день бабы зарабатывают, дрова сгружают.

\* \* \*

Ходит по рукам такой Акафист Григорию, Конокраду Новому:  
Радуйся, Церкви Христовой поругание... Радуйся, Синода оплевание... Радуйся, Григорие, великий скверно-творче!...

\* \* \*

Брат: Распушенность в народной среде такая сделалась, ни чувства достоинства, ни совести. Все и всё в каком-то смятении. Мечутся, где взять побольше, а сделать поменьше. На наших глядя, и военнопленные стали хуже работать.

\* \* \*

Подрядчик берёт за каждого китайца в день два с полтиной, а ему платит 60 копеек – кроме него никто ж китайского не знает.

\* \* \*

Зина не признаёт различия “малых” и “великих” дел: мол, у каждого свой запас нравственных сил, и всякий истративший максимум своих сил – вот уже и совершил своё великое дело: между собой эти люди равны, хотя для внешнего мира поступки несоизмеримы.

А и верно?

\* \* \*

Детские голоса выскакивают как искорки из сухих лучинок.

\* \* \*

– За такой вилок – пятак?

– Прошу пятак, а может и за четыре сойдёмся.

– А такса?

Заседатель пренебрежительно тычет пальцами в кочни. Взгляд его леденит. Баба безмолвствует.

Из толпы сострадательный голос, заступаясь за бабу:

– Да ведь кабы мы грамотные народы, ваше благородие, а то мы народы степные, не письменные... Слыхали, такция мол, а в какую силу такция, мы не знаем... Слепые мы народы...

– На все предметы первой необходимости... На капусту установлено 40 копеек за пуд. А иначе для чего же такса?

– Да мы её сроду на вес не продавали, а вилками... Иде ж я весы возьму? Я вашей хозяйке и так один пожертвовала, вилочек как слеза чистый...

– Такцию, вашбродь, надо на всё, коль такцию, – глухо гудят в толпе голоса, – а то ситец – доступу нет...

– А спички? а карасин?

Баба осмелела:

– Ты бы пополивался её летом по такции, узнал бы, почём сотня гребешков. Я на твою такцию не подписываюсь!

\* \* \*

Такса появилась на станичном базаре тишком: наклеили таблицу на заборе вокруг отхожего места и всё. Кому надо, те и без того наизусть её уже знали.

Казаку-хуторянину и невдомёк, почему прежде покупатель торговался до изнеможения, а теперь выбирает без лишних разговоров:

– Караси, что ль? А сазан есть?

– Есть, ваше степенство. Вот извольте, фунтиков пяток потянет. Или вот...

– Весь!

– Обех возьмёте?

– Обоих весь!

Казак взвесил на безмене, покупатель, не справляясь о цене, положил в корзину, отсчитал 74 копейки и молча передал казаку.

– Господин! это что ж такое будет? – изумился казак, держа на бурой широкой ладони запачканные современные монеты-марки.

– По таксе, голубчик, – кротко отвечает покупатель, ткнув пальцем к забору, – коль грамотный, должен сам прочесть.

– Давай сюда рыбу! – закричал казак, выкидывая в корзину покупателя его марки. – Как бы у тебя живот не заболел, по таксе кушать!

– А полицейского шумну?

– Шуми, а рыбу подай сюда!

И вцепилось в корзину четыре руки.

\* \* \*

“Сам рывёт, а сам бягёт”.

\* \* \*

– Низвините!...

\* \* \*

В Усть-Медведицкой коробка спичек доходит до сорока копеек. Все цены в гору.

А брат: Брянск всегда был дорогим, а теперь торговцы вовсе разнуздались. Цены повышаются каждый день. Некоторые товары периодически скрываются, а вновь появляются сильно поднятыми в цене. Что ж дальше будет? Во всём виновато, безусловно, правительство: оно ведёт организованную борьбу с русским обществом в пользу Германии. Надо ожидать ещё худшего стыда и позора – измены союзникам. Революция – необходима. И будет весьма кровавая. Ужасно всё это...

\* \* \*

При луне скакала на одной ноге. “Так ждала!...” А не приехал...

\* \* \*

Дороговизна – не сами высокие цены, дороговизна – настроение, это всеобщий испуг: если сегодня хуже, чем вчера, то что же будет завтра? Это особенное чувство безнадежной незащищенности, которое охватывает человека на рынке и при каждой покупке: невместимыми ценами тебе сжимают глотку; невидимые люди с уже огромными деньгами – где-то рядом, вот может за этой каменной стеной, прячут товары, а из твоего горла выжимают ещё и ещё! И в обиде кажется, что этих спекулянтов, этих мародёров – поощряет власть и куплена ими полиция. А иначе – как простому человеку объяснить: почему же правительство не обуздает мародёров? Ведь не может быть, чтоб на Руси не было продуктов, Русь всегда полна, почему же в лавках нет? Значит, прячут, “сдирай, сколько сможешь!”. И от этого горше всего обида на власть, не за что-нибудь другое.

\* \* \*

12 октября. Генерал-от-кавалерии Покотило издал постановление через границу запрещается провозить печатные произведения, записные книжки, даже частную корреспонденцию. До чего дошли!...

\* \* \*

Извозчик: “Вот у нас всё свободы требуют, а обязанностей не помнят. Живёт профессор, химик, семья 8 человек, а прислуга у них – старуха, встаёт в 5 часов, ляжет в полночь, так они этого не замечают. А свободу им дайте...”

Проезжая мимо церкви Михаила Архангела: “Воин небесный. Я книжечку об нём читал. Диковинное дело, какие войны были. Ведь – духи, чего б им воевать? А бились”.

Он сказал о себе “очеркист”, постеснявшись как истинно думал: “писатель”. Для уха нелитературного, как у этого полковника, который вот не читает ни газет, ни журналов, а может и книг? и ни с какой стороны не знает имени Фёдора Ковынёва, – “писатель” звучало бы смешно, с надутой претензией. Да Ковынёв был и очеркист: уже не двадцать ли скоро лет, как всё окружающее, а особенно свою родную станицу – с неё начав и более всего её – он без отказа и без отсева втягивал через глаза и уши, жадно подхватывая все диковины просторечия и простомыслия, и тотчас же вгонял мелким наклонным почерком в очередную из многих записных книжек. Коллекция этих записных книжек становилась как вторымместилищем его души, так что потеряв бы вдруг свои записные книжки, Ковынёв оказался бы обокраденным на всю прошлую жизнь и почти без смысла на будущую, как при смерти сразу. Однако в тех записных книжках собранный материал не залёживался: всё то время, что Ковынёв не наблюдал, он понужден был этот материал перерабатывать и выпускать в люди, это была форма его жизни: не для себя записывалось, а чтобы люди, особенно не дончаки, это всё тоже увидели, услышали, узнали. А подхваченного было так много, так распирало оно кожаные переплётки записных книжек, что еле успевалось, не обдумывая хитро строения, не расставаясь с природнённым, лишь перегревать и перегревать лопатой эти записи, переписывать из записных книжек на листы, уподобляя, дополняя объяснениями, новыми тёплыми воспоминаниями, – и так получались именно очерки.

И пока неутомимо записываешь в книжечки, и переписываешь в очерки, и отсылаешь в редакцию – нет работы ясней и прямей, чтоб освободить душу от требовательного груза. А когда уже отвалится очередное давление и сколько-то спустя найдутся просветы времени полистать эти очерки – вздохнёшь и узнаешь для себя, что, пожалуй, они велики и слишком многочисленны. А когда эти черновые записи переставишь терпеливее, сочетаешь иначе, а потом в неожиданной счастливой погонке не поразогнёшь спины, – увидишь сам, что сверкнуло намного сильнее. И подписываешь “рассказ” или “повесть”.

Это – как масло из семечек: надо по несколько раз отгнетать, отжимать и отцеживать. Или как обработка леса: всего нужнее людям простые дрова; но если дровами уже снабжены, и леса много, а ты про себя знаешь, что ты не древокол, но затаённый столяр, то удел твой – с терпением гнуться у верстака, обтачивать, опиливать, выбирать четвертные пазы, пока вложенный твой труд не станет дороже взятого дерева; и люди от самых тёплых печей вздрогнут и потянутся к твоей работе.

А в общем это прирождённая потребность твоей души постоянно тихо изливаться: как в зелёной балке между пашен лопаются почки на кустарнике и курится золотистая их пыль под трели жаворонков; или как провожают служивого, весь печальный и лихой этот обряд, со всеми подробностями, и какие песни старинные поют, – хочется и песенную манеру передать и даже все слова привести, ведь их не знают не дончаки, – и уже забываешь, к чему всё начато, лишь бы вместился этот быт, повествование раздаётся разливом Дона и Медведицы – и уже протестует редакция, что страниц много.

Как и всякого начинающего, Ковынёва сперва долго не признавали, в журнальном море плавали его обломки малозамечаемы. Лет его уже за тридцать вышла первая книга рассказов “Казацкие мотивы”. Тогда сам Короленко назвал и выделил его как особого донского писателя, двери и обложки “Русского Богатства” открылись перед ним – сладкий миг поверить в себя! Так уже всё достигнуто? Нет, всё только ещё начинается. Ему уже заказывали, его просили, ждали, – но заказывали и ждали как-то не совсем того и всё более даже не того, о чём лилась душа. Картины, как цветут овраги или как тучи плывут по ту сторону Дона, находили редакторы и критики очень милыми, однако ждали от него, чтоб он отстаивал справедливость, свободу, а если уж непременно о казаках, то тогда – как отвратительно использование казаков; для угнетения, иначе казацкая тема выглядит реакционной. А то б – и на другие важные редакции темы, например, что столыпинское выделение на отруба – это жестокий эксперимент над народом. И вообще что-нибудь такое, в чём ярко выразится свободолюбие.

Да что ж Фёдора Дмитрича уж так просить? Он и сам разве так не думает? Он и сам

глубоко считает оскорблением чести казаков карательное использование их. Он и сам видел в приволжской степи безудачливых отрубников, мог описать их. Он и сам три месяца сидел в Крестах – так об этом публика и ждёт рассказа! Да свободно, о чём угодно, но хорошо если с писательским метким глазом он не упустит хоть какие-то общественно-важные эпизоды: самоуправство хоть железнодорожного жандарма или корыстные расчёты жадного попа. А ещё же, сколько лет гимназический учитель – как ярко может он вылепить гадкую фигуру верноподданного тупого педагога-монархиста, у которого, вероятно, и нечистая страсть к гимназисткам и он тайком отдаёт деньги в рост.

И правда, Ковынёв много чего видел, а о другом догадывался, и, в лад ожидаемому, всё это пишет – и гладко катится по журнальной дороге, признанный в общественных кругах, иногда и упрекаемый, что образы интеллигентов у него духовно немощны, малосодержательны. (И это – так, про себя с сокрушением знает Фёдор Дмитрич, что хоть и сам интеллигент – а интеллигентов он постигает не таё, не очень.) И – снова, снова о казачьей жизни, всласть.

В *кругах* – похваливают, но покупатели что-то не очень берут его книги, что-то не очень знают имя. Подойдёшь к прилавку – аж зло берёт: лежит книга Ф. Ковынёва, от солнца выгорает, от жара коробится – не раскупают! Эх, баре, ...вашу так, – выругаешься про себя: о чём душа казачья поёт – вам не надобно?

Знала Ковынёва родная станица Глазуновская, и звала “пересмешником”. Знали Ковынёва донские читающие круга, числили своим бардом. А вся Россия необъятная никак не хотела знать.

И кто ж иногда жесточе других, так что согласиться невозможно, принять нельзя, – вдруг впечатает тебе твои промахи? Что излюбленная твоя медленная лирика, вот с этими самыми почками, жаворонками и старинными песнями, растянута даже до нудности? И все описания донской степи – повторяются и даже разваливают композицию? И лучшие фразы, которыми автор особенно горд, – красивая нарядная печаль с тихой умирающей зарёй; и подстреленная птица сердца; непобедимое обаяние и тревожное замирание восторга трепетной искрой, – что всё это не вершины красоты слога, но литературный мусор, который стыдно видеть за подписью Ковынёва? Вот странно, об этом не Короленко скажет ему, не какой-нибудь из славных сочленов по “Русскому Богатству”, – но станет писать ему такие письма дерзкая тамбовская девица, его бывшая гимназистка, которой он же и толковал литературу, – Зина Алтайская.

(С гимназистками – это ведь не так просто, что только педагог-черносотенец и ростовщик испытывают к ним нечистую страсть. Да всякий нормальный педагог мужеского рода – как удержится в безразличии, в неотличии этих тридцати девичьих лиц, повернутых к тебе в старшем классе? Как не выделить тайной симпатией одну, другую, не подумать мельком, тетрадку от неё принимая, или мел из обелённых пальцев: а вдруг *если бы когда-нибудь* ...?)

Но откуда у девушки провинциального кругозора, у твоей же ученицы, эта хватка, эта уверенность вкуса, этот уровень суждений, тобой на уроках не внушённый? Так обидит – хоть писем её не вскрывай, а походив да перечитавши – вдруг обнаружишь, что прилипли сужденья девчёночки, уже не стряхнуть. И порой для шутки перепишешь брату, в ответ на его восхищение, брат удивляется: ну, ты к себе беспощаден! ну, ты действительно, значит, гений, если можешь так!...

Но что Фёдор Дмитрич знал верно про себя, не вышибить, укрепляла и Зина: поразительная память на всё, что *прозвучало* однажды, реплики персонажей как будто годами носятся в голове неискажёнными. Или – вытянуть кусок жизни до того изглуби, что и психологией украшать не надо, и на то засмотришься. Это – знал он за собой отлично. Знал ту истинную возможную силу, какой за пятнадцать лет литераторства в нём никто не предполагал, а он – знал. Внутреннее, тайное, удивительно сообщаемое нам едва ли не в ребяческом возрасте, отчего и путь этот выбран, по нему поплёлся. Странное дрожащее предчувствие: как высоко ты способен подняться, как душезадевательно когда-нибудь

написать. И вот уже в последние годы что-то, кубыть, переливается из заготовок в формы: главные лица, и эпизоды, и целые главы – так ли? хорошо ли? Границы точной нет, всё колышется, не застынет: роман не роман, а может Поэма в прозе, и с названием, наверно, самым простым – “Тихий Дон”, потому что черезо всё растекаются – Дон да кормящие запахи любушки-земли. Да первая часть и готова, но Федя по робости не осмеливается предложить публике: ведь ещё что из того выйдет? И сразу укажут дружно, что слишком много бесцельного быта, слишком много пейзажа – а как же со свободолобием?

Главные помехи – не супротивники или завистники, а ты сам: может быть и правда нетребовательность вкуса? Или образ жизни твой не тот? – перестать бы мотаться по России, да ходить по редакциям, да даже и газеты перестать читать, как этот полковник? Оторваться от охотливых собеседников, собутыльников, разбитных друзей и доискливых женщин?...

Так и вовсе, может быть, ничего не напишешь.

А вот спутника вагонного между тем не упустить. Но едва выйдет в коридор – тотчас распахивать записную книжку на столе и воровато скорей вписывать чёрточки его. Может никогда и не понадобится, а может в Роман ещё вставится, вперёд не знаешь. На всякий случай – и жену его в широкой шляпе, с властно-хрупкими нотками голоса. Много воли такая баба захватывает, Фёдор таких боится, визгу не оберёшься, лучше уступить. Странно, мужа одного отпускает, такие всегда вместе ездят.

Полковник – с аксельбантами генштабиста. Сильно занят своим, на Федю сперва – как в тумане. Тёмно-русовая борода не виснет, но крепкой щёткой, густая, короткая, обводная. Очень решительный (после ухода жены). Сидит, нога за ногу, совсем неподвижно, даже без мелких перемен позы, в покое, но не расслаблен (фронтальная вымучка, выучка, прокалка?), как врос в диван, и руки не суетятся – не потрёт колено, не потербит бороду. И рот без пожимок. А лёгкие повороты головы, мысли меняются быстро – и глаза меняются, меняются. Когда слушает – одни, вбирает, когда говорит – другие, как досылает. И по глазам наперёд видно – сейчас скажет или промолчит.

По всему направлению нынешней литературы, по настроению редакций, интеллигенции – офицеров не любили, даже презирали как исполнительных тупых слуг режима, которых натаскивают в их тёмных училищах на высокомерие, самонадеянность, жестокость. И тех, правда, что из высоких бар и стелется им незатруднительно гвардейская служба, – тех Федя тоже не любил. Но как казак по рождению и сердцу, несчастно отведенный от службы недостатком зрения и затем (без верховой езды омешковатившись, – Федя как бы мог не любить, не понимать военную службу, и втайне как не завидовать этим подхватистым дерзким людям, служба которых была раз навсегда под бой поставленная жизнь? Ещё как бы со страстью Федя и сам по казаковал! Не делился он с литераторами, а – любил офицеров. И приятно было оказаться с таким та дороге, и хотелось быть с ним вравне.

Хотя, конечно, обидно: вишь ты, ничего нашего не читает. И даже никакого Выборгского воззвания не слышал, вот те да!

А что творилось в выборгской гостинице “Бельведер”! Мятежным собранием депутатов председательствовал сам глава Думы благолепный Муромцев. В кулуарах очаровательные интеллигентные женщины вскакивали туфельками на мягкие стулья и оттуда разили пламенем доводов знаменитых юристов. Разгон Первой Думы казался переломом всей русской истории, концом всего Освободительного Движения. Если примириться – то никакой больше Думы не соберут, конец юному парламенту, конец юной свободе! Правительство совершило государственное преступление, и народ не простит своим избранникам, если они за него не ответят ударом на удар! После думских яростных обличений – и как же теперь смолчать? Да не словами, а – *делом* (каким?? каким??) указать народу путь, сопротивления, – и он *пойдёт* ! (И хотя Ковынёв как трезвый житель глухого сельского угла отлично понимал, что никуда народ не *пойдёт* , что этот крик депутатский – не давать солдат, не платить податей – оборвётся, никем услышан не будет, – и он тоже, в высших обязанностях свободы, подписал с другими горячими депутатами.) А потом возвращались из Финляндии в жаре: распространить воззвание в *миллионах*



экземпляров, и в бесстрашии – всем быть арестованными тотчас в Белоострове! Но никого не тронули.

Однако и глыба народа – не пошевелилась. С большим опозданием мятежных депутатов потом судили. Невозбранно длинные речи обвиняемых, жалкенький трёхмесячный тюремный приговор да 10 лет не занимать должностей в своём крае. И вот через десять лет полковник генерального штаба не понимает слова *выборжанин* ...

И каким же манером сдвигаются? вообще сдвигаются ли массы?...

Первая Дума! Депутаты вступали в Таврический дворец не сотрудничать с трухлявым правительством, но – продолжать великое шествие революции! На железнодорожных станциях едущим депутатам кричали провожающие непримиримо: “Земли и Воли!”. И когда на пароходе переезжали депутаты из Зимнего дворца в Таврический – петербургская образованная толпа с набережной кричала: “Амнистии!” (террористам). В Екатерининский зал ломились депутаты избирателей, дохаживали дальние ходоки, а нарядные женщины, спустившиеся с хоров, оглаживали думцев после смелых речей и нащелбывали напутствий перед выступлениями.

И через десять лет...?

И что же собственная скромная речь Ковынёва (в кулуарах тогда захваленная, да на публику и построенная: без высокого градуса гнева тогда не всходили на речи)? – уж её и вовсе не осталось в русской истории. А подымаясь на думскую трибуну, мнишь: сейчас сотрясётся и по слову твоему изменится... Почему именно казаков заставляют давить революционный народ? Ярмо службы, покрывшей позором казачество! Вывернутая присяга: защита отечества гипнотически подменяется подчинением начальству. Страшный кодекс – повиноваться без рассуждения! (А как же иначе может быть в армии?...). Демобилизуйте наши полки! Освободите нас от палачества! Наша старинная казачья свобода – и есть та самая свобода, которой сегодня добивается весь русский народ!

А виноградное вино, двумя руками наливаемое из тяжёлой четверти по стаканам, не крепостью, но ароматом, но сознанием, что – своё, донское, черкасское, степляет с этим полковником – да дружелюбным человеком, со взглядом *нигилюдъ* не тупым, способным понять и не своё, только сильно отвлечён.

– Вот и войдите, каково ж положение тех немногих казачьих... ну, пусть полуинтеллигентов, кто полистал Герцена с Чернышевским, а сам – в чекмене и шароварах с лампасами, от раннего возраста, от землепашества и станичной жизни уже неминуемо, без выбора был включён – защищать трон ото всех врагов? Есть у меня сверстник такой и земляк, Филипп Миронов, не слышали? Войсковой старшина сейчас, помощник полкового командира 32-го Донского?

– Да н-нет, пожалуй... Хотя 32-й Донской не так далеко от нас.

– Могли б вы его и по японской слышать, он очень там отличался. И сейчас. То разведки, то захваты, то переправы невероятные, просто на смерть лезет казак! То в немецком тылу взорвал мост, то одной сотней выручил окружённый полк, у него этих орденов сейчас – семь или восемь, включая Владимира. Так вот, в Шестом году послали его с отрядом давить восставших крестьян – а он возьми и сам разделил им помещичьи луга! Вот так действовал! Тогда ж в Усть-Медведицкой на станичном сборе...

...В окружной их станице Усть-Медведицкой в те упоительные дни свободы кто ж и ораторы были главные, как не Федя да Филя?...

– ...подбил второочередных казаков не мобилизоваться на полицейскую службу! И не пошли!! Тоже и Филипп был кандидатом в Думу, во Вторую, но прокурор отвёл его. И было восемь месяцев домашнего ареста. И стихало уже революционное время. И наказной атаман, тогда генерал Самсонов, в те же месяцы, что меня изгнал из области, его – простил, послал служить. Но если в тебе уже *сознание* проявлялось, то объясните: **как** служить? Или народу – или царю, или совести – или присяге, ведь тут неизбежный выбор.

– Отечеству служишь – вот, значит, и народу, – возразил полковник.

Ну, так. Или не так. В общем, казак мироновской сотни получил письмо: умерла жена,

а мать больна, двое детей беспризорные. Миронов пообещал ему месяц отпуска и уволил в город дать телеграмму. А казак до того затемнился с расстройством – встретил в городе командира полка и чести ему не отдал. Приказ: наложить взыскание. Филипп поставил казака под боевую выкладку на два часа, а сам пошёл хлопотать ему отпуск. Ответ полкового: взыскание недостаточно, в отпуске отказать. Ну ведь есть же такие твари с погонами, скажите?

– Увы, есть, – даже слишком просто согласился полковник. – Но и от отдания чести однажды отказаться – армия в прах.

Звякнули тормоза – а вагоны почему-то не стронулись. Паровоз дал легонько назад – и тогда уже снова мягко взял.

– Но ведь наказал же! Нет: за тяжкий проступок неотдания чести – 25 розог в присутствии сотни. Вот мы, казаки, палачи какие: нас самих дерут как детишек... Миронов пошёл просить отмены. Ах так? – пороть в присутствии полка! Ну скажите, **как** с ними служить?

С **ними** ?... С вами?...

– Побои теперь изжиты, это прошлое, – уверенно сказал полковник. – Среди офицеров это считается позор. И розги – редкость. Их вводили – как избежание военного суда.

– И Миронов перед строем полка скомандовал: “Такой-то, десять шагов вперёд! Как твой непосредственный начальник я **запрещаю** тебе ложиться на эту позорную скамью! Кру-гом, на место в строй!”

Взрыв бровей промелькнул у полковника: честь отдавать надо, но **так** – тоже лихо!

– И что ж?

– Третье преступление! Значит укоренённый! Отозвали в Новочеркасск и перед тем же генералом Самсоновым снял адъютант с бунтовщика подьесаульские погоны, и кончилась служба в Войске Донском. Вот так... И герой, и прославленный, и кавалер, но ежели начинаешь размышлять... **Как** нам, казакам, размышлять, скажите? Ведь потрудней, чем остальным прочим? А все нас клянут...

Ковынёв потёр лоб. Пощурился в окно, почти уже безвидно, серело там.

– Вот это и мучит. Какая ж всё-таки насмешка... истории. Именно казаки. Самые непримиримые к холопству. От него бежавшие на край земли за волей. И в потомках своих воротились в Россию – эту же самую волю отымать? У той же самой гольтыбы, из которой вышли? Скакать, гикать и хлестать – в самую гущу своего народа. Разврат души. И жалость. Ведь не злодеи, а: не ведают, что творят.

Не отозвался полковник насчёт холопства и воли, а о Миронове: чем же кончилось?

– А вот что Филипп придумал. Когда-то отец его, несостоятельный, справиться сыну строевого коня не мог, развозил по Усть-Медведицкой воду в бочке. Так теперь и разжалованный подьесаул: на шинель без погонов нацепил все ордена и тоже в бочке воду повёз, по копейке ведро!

Картинка – для лучшей художественной страницы, а соришь вот так вагонному спутнику, толчком из груди выносит само. Столько в жизни людей, событий – какому перу за ними успеть?

– Устыдились. Назначили писарем земельного стола в Новочеркасск. Так не унялся Филипп и там: представил проект перераспределения всей донской земли!... В кого зёрна свободы брошены – того уже не исправишь.

Как и Федю самого.

– А в эту войну подал добровольцем. И представьте же, как воюет лихо!

А свет за окном убывает. Отпадает приманчивое мелькание заоконного перемежного мира, всё меньше отбирает внимания на себя, всё больше оставляет спутников друг другу.

– Так вы, значит, коренной донец?

– Да даже отец мой – станичный атаман.

– А сами не служили?

– Сам я нет, – каждый раз со стеснением, как о позоре, признаётся Фёдор Дмитрич, – по

глазам. Брат тоже, по хромоте, так что и коней не справляли. А учился я в Петербурге, на историко-филологическом. Десять лет в орловской гимназии преподавал, четыре в тамбовской.

– В Тамбове? И я там был один раз, – усмехнулся полковник. – Женился.

– Да-а? – Фёдор Дмитрич поколебался. – Представьте, я тоже там чуть не... – Перевздохнул. – Зимой я в Петербурге, но всякий год и в станице, месяца три-четыре. И – признают меня земляки, идут ко мне как к судье мировому, к адвокату. За доктора иногда. И председателем станичного кооператива.

Ещё – с казачками холостыми под плетнём, под вишнями покатаешься. И на пятом десятке ничего-о, даже на пятом особенно. Свои казачки, родные, и земля родная и трава.

– Так и внятно мне: что деревня думает? и как понимает город? Живу в станице – всё петербургское как забываю, чувствую себя только дончаком. И всё в мире видится: как это для Дона одного будет – хорошо или плохо? А возвращаюсь в Петербург, и с первых же часов, с первых редакционных встреч или в Горном институте, где я библиотекарем, и квартирую у земляка, – опять вразумляюсь, расширяется обзор опять до России, и уже странно, что три дня назад я шире Дона не видел и знать не хотел. Из России глядя, Дон – как шалопутный сынок. А с Дона Дон – как и не Россия.

– Как так, Дон – не Россия?!

– Странно?

Как так, Дон или какая другая река может возомнить себя не Россией? Да не то что Дон, а даже клинышек вот этот между Доном и Медведицей, пусть неудачлив, неплодороден, а тоже особлив.

Другая какая река не может, а Дон вот – может. Песни свои, сказанья свои. И степь особо пахнет. Нет, неверно выразил, что оба взгляда понимает одинаково:

– Когда меня в Седьмом году лишили Дона, это горше всего пришлось. Тамбов – далеко ли? а как в ссылке.

Конечно, в стране с развитым цельным сознанием отечества быть бы так не должно – каждая река отдельно. А вот у нас...

– Чуть в Пятые годы заколебалось – и сразу это в грудях поднялось. И того же Филиппа фотография у меня есть: “За автономию донских казаков лягут наши головы!”.

Нет, не понимает полковник, чуть не смеётся.

– Мы вот ваше вино допьём, это да. Хватит. Прямо с Дона едете – и земляку не довезёте.

– Да я не прямо. Я ещё по дороге... заезжал...

Пристукивание вагонное сближает со случайным человеком, вчера и завтра чужим, а сегодня как будто в чём-то и свояком. Поддрагивающий этот переместный домик на колёсах освобождает от связей дисциплинарных, служебных, партийных, семейных, отъединяет даже от весёлого кондуктора, от пассажиров, невидимо проходящих за толстым зернистым стеклом двери. И оставляет доверчиво их только друг другу.

Можно сказать, можно и миновать. Что эти подробности спутнику? – а почему-то сладко открыться: в Козлове сошёл с ростовского поезда, вещи сдал, а сам... А сам! – помолодев на двадцать лет, с колотящимся...

– ...в Тамбов.

Так они и сейчас сидели, так ехали: Воротынцев – быстрее вперёд, лицом к завтрашнему Петербургу, Ковынёв – ещё бы задержаться, лицом ко вчерашнему Тамбову.

**Тамбов** ! Даже только вслух назвать – удовольствие, радость губам, как имя той женщины. Город назвать – как будто её саму: Зина Алтайская!

Весь этот перешаг – от надоевшего безнадежного жребия провинциального гимназического учителя к писателю, члену редакции столичного толстого журнала, Ковынёв

совершал именно в Тамбове: приехал изгнанником с Дона, уехал признанным в столицу. И в Тамбове именно, сам долго не поняв, оставил... Сколько их за партами пересидело, учениц, сколько в пелеринках протягивали руку получить своё сочинение после проверки... И никогда за все годы, хотя рисовалось... А именно Алтайская... И под самый уже конец, неудачно так.

А вечер впереди – немеряный. Поезд идёт укачивающе ровно. Двое мужчин, уже не молодых, уже достаточно знающих жизнь, на твёрдый маленький столик четырьмя локтями опершись... Отчего б и не рассказать?

Да только откуда ж это рассказывать?

– Да, конечно, знакомств осталось много повсюду, разные там любви, как понимаете...

Думаешь иначе, выговариваешь иначе. Мужчина мужчине вслух, без усмешки, без небрежения и не скажешь... Разные там любви...

– ...Но те все забылись, закрылись. А из-за этой девчушки... – на “девчушке”, кажется, голос его подвёл, – сейчас заезжал, да. Сто вёрст не околица.

Присмехнулся снисходительно.

А в груди – всё раскалённое, непродорное, отчего весь досюдошний разговор только был отвлечением. Уж отмахнуто было, уж быть его не должно ничего! – нет, слез в Козлове, пересел на тамбовский...

Не только полковнику армейскому, никому вообще этого рассказать нельзя, да ты сам десять раз это забыл, только теперь вспоминаешь: то коса, спустившаяся на тетрадь; то какой-то дутый чёртик из бумаги; то особенная закладочка именно в тетради по литературе; то – прыснула необъяснимо; то – с первой парты во все глаза за тобой, во все глаза. Дорого то, что это – к тебе самому, не к бывшему думцу, не к будущему писателю, ещё когда не замерли тамбовцы в ужасе и надежде, что Фёдор Ковынёв теперь их *пропишет*, – нет, к тому сорокалетнему, довольно опущенному гимназическому учителю.

И ведь – уже она отучилась, уже гимназию кончила, ушла. Совершенно случайная встреча: пройди бы один на минуту раньше или позже – и ничего бы...

– Вы в Тамбове не помните – там такая долгая милая набережная, приподнятая над рукавом Цны? А ещё повыше – односторонняя улица, деревянные домишки. И сидят на всех крылечках или у распахнутых окон – с самоварами. Попивают да на реку глядят. На лодки, на луга. И на виду у всех этих чаепитников встретились мы, остановились всего на две минуты, дольше не постоишь, сплетни сейчас же взорвутся. А она уже – ростом с меня, и прежние косы перемотаны на взрослую причёску, а лицо ещё девье, пухленькое, и ещё не мятое, не худевшее, – подбородок закинула и спросила отчаянно: “Фёдор Дмитрич! А можно я к вам сегодня или завтра – *домой приду* ?”

Это соотношение „учитель-ученица” – оно и частое, однако и чистое оно. Тут столько рубежей, тут столько “принято” и долга. Но отношение к твоей гимназистке, даже и бывшей, – особенное, не такое, как ко встречной зрелой женщине: с самого начала ты уже поставлен к ней сверху вниз – и вместе с тем к тебе несётся такое юное, на первом своём переломе к женщине... И чем учитель старше, вот уже и под сорок, тем более лестно ему, тем невозможнее отказаться... Однако и с другой стороны, чем ты старше, тем ты и скованней, тем невозможнее решиться. Тем ты робче и не можешь быть интересен. Если сам себя в рассказе, со стороны, описываешь так: учитель был мужицкого склада, смирный, неэффективный, с тощими усами, жидкой бородёнкой; растерянно мигающие глазки, спотыкающийся голос, лицо плебейское, тусклое, ни одной яркой черты... На самом деле – не до того же плохо, но минутами? Но – для семнадцатилетней статной девушки?

Да потом, это всё – по незнанию затевать, с девицей юной, боже! Это сколько будет изворотов, сколько будет выкрутасов. Зачем все эти хлопоты, беспокойства, когда есть учительские жёны, есть разные встречи в разъездах, а в станице – и вдовы, и молодки, ждущие служивых? Да скоро из Тамбова уезжать навсегда... Да, кажется, повесть большую в те самые дни начинал?... Не помещалась никакая встреча, лишняя она тебе. И потом: если девушка так начинает – это что ж за характерец? это что ж будет дальше?

– ...Две минутки протекли, ничего я придумать в ответ не успел, – ещё выше голову задрала и ушла. А через два дня по почте письмо: зачем ещё вам пишу – не могу ясно представить. Хочу вам разъяснить, что я вас не люблю, как вы иной раз, кажется, думали и как могли бы подумать на набережной. Однако вы нравитесь мне как недюжинный человек, которых я встречала довольно редко... Кого она там могла встречать, недюжинных? Смех один... Если же это письмо разгласится – лично мне совершенно всё равно, но очень бы огорчило маму... Прочёл я – и такое раскаяние меня взяло: да что ж я за увалень? как же можно этот самый первый аромат пропускать?... Пишу и я, приглашаю к себе на определённый вечер. И какой же, вы думаете, ответ?... В тот день, когда я просилась к вам, мне было очень скверно на душе, а ни к кому бы в Тамбове! А сейчас миновало, спасибо. К тому же в вашем приглашении мне почудилось что-то фривольное, вы меня как-то не так поняли... Теперь пиши, объясняйся: что вы, что вы, я конечно не понял вас превратно!... Ну, а через два месяца я вообще из Тамбова уехал. Навсегда в Петербург.

Мужчина мужчине – стыдно и рассказывать: началась бесконечная с девчёнкой переписка, из тамбовских с нею одной, и письма её сохранял, и даже перечитывал. В Тамбове для этой девчёнки одного вечера не нашёл, а из Петербурга сколько же вечеров ухлопал на ответы, когда недоработанные писательские материалы грудились. Перед полковником неловко.

Но нет, неожиданно принял:

– Письмом навёрстываешь расстояние, разлуку, возмещаешь в нежности. Письмо всегда получается ярче, сильнее, чем скажешь в обычной жизни. Через шейку пера так оно и... закручивает.

– Да я сперва и не писал, адрес мой она сама нашла. Что-то, видите ли, милое, что-то близкое ей во мне... И она дорожит тем, что есть. А если бы, мол, наши отношения перешли известные границы, то было бы утеряно...

Да ведь польстит, что письма твои наполняют её “какой-то беспечной удалью”. То: сейчас такое чувство к вам, будь у меня воздушный шар или крылья – прилетела бы к вашему изголовью и навеяла бы “сон золотой”. Нет, при встрече не буду так свободна, мне даже боязно узнать вас ближе... И стояла как рядом – у письма, у стола, у ручки кресла, уже кажется вот склонилась, ярче видная, чем въявь, перехваченная в поясе, в запястьях, по горлу, – влекущая! Но не ехала. Только письма.

Полковник размял папиросу двумя пальцами, вышел покурить в коридор. (Всё-таки, не могут люди без любовных историй, с чего другого поважней – а всё на это переползут).

И откуда у неё взялась лёгкость, с какою гимназистки не пишут? И почерк такой же, влетающий в душу, что-то слитное между задорным слогом и почерком – летишь, летишь, куда в этот раз? И даже на странице начертание: то между фразами просвет, между абзацами вздох, то вместо ровного обрубка строчек – лесенка, будто не хватает ей наших тире и многоточий. От настроения – разный рисунок на странице, сразу понятный, едва распечатаешь конверт. Письмо прочесть – как увидеться. (Фёдор Дмитрич и это всё примечал, предполагая описать когда-нибудь.)

И – не льстила ему, не похваливала. Писала не увещательно, не упрощиво, но – гордо, свободно. Девочка, на двадцать лет моложе, досматривала в нём через письма, через очерки, через статьи, и резко высказывала, как он не привык, как при людях даже бы обиделся, а промеж них текло, никто не знал: а вы очень подлаживаетесь к обществу, в которое попадаете! а вы слишком в плену у передовых идей, это вам мешает как художнику! Да ваша передовая журналистика вон что выдула из Мани Спиридоновой, что ж, я её не знаю? она в нашей гимназии и училась, все знают, её из 7-го класса выгнали: классная дама нашла записку присяжного поверенного, что она с ним в связи давно. И она продолжала с ним ездить по губернии, и на частной квартире застрелила из ревности – а ваши передовые журналисты сочинили, что она идейная эсерка, что стреляла в него как в подавителя восстаний, на вокзале, и тут же её взвод казаков, дескать, изнасиловал. Так ни взвода не было, ни насилия, ни даже вокзала: сидела на коленях у любовника и ухлопала – и вошла

революционной иконой, – вот до чего ваши передовые журналы доводят, берегитесь!

Сама Зинаида тоже не рисовалась под *служение*, так и лепила: никаких “общественных” чувств, никаких “высоких стремлений” на пользу прогресса у меня нет, с тем и кушайте! Высмеивала “красные кружки”, но отмахивалась и от тётки своей, монашки. Бунтовала, но неизвестно против чего, а вообще. Никаких невыгодностей своих не скрывала, так и писалась, какая есть. Но и ему не прощала: жалко мне вас, во всём вы расплывчивы, ничего до конца, только брюзжите на “российские порядки”, а явись вам полная свобода – вы б и не знали, как жизнь устроить. Ещё напишете ли когда настоящую книгу – неизвестно. То у неё восторг: а как, наверно, жить светло, когда молодёжь перенимает ваши мысли! То снова: в некоторые часы так жалко мне вас, вы – обойдённое в жизни нечто, хочется разгладить ваши морщины и даже поцеловать в чёрную мужицкую вашу голову. Люблю увидеть на конверте ваш мышинный почерк. “Мышинный почерк” – дерзко, неприятно, а метко, сам не замечал. И унижительно так много меткого для себя получать от девчёнки – и уже втянулся, скучал без писем её.

Вернулся полковник. В купе уже посерело, в углах и лица хуже видны, но не предлагал света зажечь – а Федя и тем более. Для такого рассказа настроение нужно, в сумеречном купе уютнее.

– Ну, конечно, чтобы такая переписка поддерживалась, иногда, сами понимаете, надо написать: так, как к вам, – ни к одной женщине никогда не относился, не отношусь, и сам поражаюсь: что за загадка?... Однако звал её приехать – не приезжала. Вдруг забьётся в сомнениях: ах, ах, неужели невозможны другие отношения между разнополыми существами?... Как будто именно другие ей нужны. Ну, поясняешь, Зиночка-Зиночка, если нет чувственной подкладки – люди друг другу неинтересны. Ответ: эту неделю строго рассматривала моё отношение к вам и не нашла в нём ничего нескромного. Да разве на уроках вы нам о такой любви рассказывали!... Видишь ты, уроки! то – уроки. А по-жизненному, объясняешь, всё на свете есть только порыв инстинкта. И надо брать, что жизнь даёт. Так и занозилась! – Нет! Не всё, что жизнь даёт! – а с большим выбором! Иначе столько дряни наплывёт – хорошего не заметишь! Брать всё подряд – себя не уважать! Да вы сами так не думаете, не может быть!!... Пойди вот, объясни им, в чём мы с ними разные. Иногда, для раззадору, что ли, сбрыкнешь ей, намекнёшь про какую-нибудь свою мимопутную женщину. А ну-ка, голубушка, ты со мной так откровенна – а как ты мужскую откровенность выдержишь? Всегда от женщины других женщин скрывают, а вот буду с тобой в открытую – откинешься? И что скажете? – выдержала! Не покинула писать.

Усмехнулся Фёдор Дмитрич между понимающими.

– А их понять – и вовсе голову сломишь, лучше не затрундяться. Заведутся три станичники – и чего ссоритесь? – страшно мне ваших ссор. Да в сердце моём хватит любви на всех вас троих, не ссорьтесь! Над женской изломкой ещё голову трудить – пропал казак! Какая сохнет по тебе – ту и не пропускай.

Как-то подвинулся, шатнулся полковник в сумерках, – хотел сказать? Нет.

– Всё равно такой любушки не бывает, чтоб на век, всё пройдёт, всякая минует. А отдай себя бабе в руки – перекорёжит тебе всю жизнь.

А так и бывает: то пренебрёг, а то раззаришься – вынь да положь, именно её.

Зиночка! Упустим мы с вами наш праздник сердца, приезжайте! Приезжайте!

Нет! Мол, человек всегда одинок, и встретишься – мы только локтями коснёмся.

– Всё-таки приезжала раз: думала в Питере на зубоврачебные курсы устраиваться. Не локтями коснулись, один разок и грудью я её хорош-шо притянул... Нет, ушла!

И шарфик её запомнить длинный жёлтый, как свешивался по груди. Да хоть все четыре колеса отвалились и все под гору!

Уехала, но не замолчала: хоть вы и знаете женщин чуть не с пятнадцати лет – а всегда будете чужой у чужого огонька, никогда вам вашего *праздника сердца* не видать! Слишком вы осмотрительны, и желанья ваши на самом деле вялы. И фиту вашу (в Фёдоре) ненавижу, еле выписываю вам в угоду. Вам бы и грибы собрать и ноги не промочить. А

идите-ка вы защищать отечество! Всех благ!

Неуговорная девчѐнка, ещё и оскорбления выслушивать, тем особенно обидно, что – верные. И на войну, правда, надо: японскую пропустил – жалел, писателю – надо. А казаку – тем более.

И вот когда, наконец! Вот только когда хмуро-шутливый черноволосый кондуктор принёс и им на подносе полуведёрный, ещё поющий самовар с наставленным вверху заварным чайником. Почти уже в сумерках купе яркое самоварное поддувало полило заметным алым присветом через круговые скважинки.

Из коридора через плечи кондуктора упал электрический свет. Забеспокоился кондуктор, не испорчена ли их лампочка. Нет-нет, просто не зажигаем, – объяснил Фёдор Дмитрич. И покладистый полковник не возразил.

А сахара не приложил кондуктор, извинился, нету. Но Фёдор Дмитрич, изумляя спутника запасливостью, опять привстал наверх – и достал на ощупь из корзины баночку.

– Да вы действительно всю жизнь в дороге? Как у вас прилажено!

– Люблю хозяйство, люблю порядок, – довольно устраивал Фёдор Дмитрич. – Так что, не обойдѐмся ли пока без света, правда?

Ему не надо было сейчас собеседника видеть, только отвлечение. А внутри так жжѐт – и света не надо.

Алые, тайные, тёплые горели скважинки самоварного поддувала – и на столике свободно отличишь стаканы, ложки, пальцы. А огоньки теплятся как из тебя самого – и выше тут, уже в черноте невидимой, – как вѐтся дух её .

Полковник и тут согласен. Тоже на ощупь прибавил на столик – обычная дружеская вагонная складчина, у кого что есть, вдвоѐм всё вкуснее. Ну и варенье у вас! Какая вишня крупная!... Донская. У нас पहले вишен – разве только виноград. Ещё – дыни.

На еде-питье отвлеченье, заминка, – можно на том историю прервать, забыть?

Но ало горят огоньки поддувала – и тревожным тоном ещё отзывается, допевает латунное туловище.

Нет, уже не остановиться. Через раз, то вслух, то про себя пробегая.

– ...Ребѐнок... – (Это, кажется, вслух.)

– Ах, всё-таки?

– Нет, от другого, – размышлял Фёдор Дмитрич и волновался: правда, как же это объяснить? Сам с недоумением: – Но удивляться будете? Нисколько на том не конец. Наоборот, начало.

Что на лице полковника – не видно. То же ли нетерпеливое, сосредоточенное выражение, с которым он вошёл в вагон? Или разгладился и вот слушает?

Шестой год это всё тянется, но где же был шаг необратный сделан? И неужто сейчас – уже и ноги назад не выдернуть?...

Как и тогда на набережной, вскинув голову, но теперь другую совсем, уже окунутую и вынутую, уже освещѐнную знанием, смыслом, даже властью, не с пухлыми щѐчками, но с просеченными чертами страдания, – устремлѐнно спрашивала как бы: а можно – **я к вам сегодня** ?

– Весь Пятнадцатый год мы переписывались, ни разу не встретясь. И всё меньше у неё проскользало сочувственных или там ласковых слов, больше насмешек. А то вдруг как криком: если у вас на душе плохо – **поделитесь** ! если хорошо – **пожалейте** ! Потому что моя душа – смятена!... А в следующем, как ни в чём: какую книжку прочла или в театре что видела. Да ведь письма женские, сами знаете, не будешь по пять раз перечитывать, искать, где она там иголочкой между букв прошла. Они наши письма и на просвет и вверх ногами читают. А мы как читаем? – выбрал, что послаже, отжал, а письмо в сундучок. В том и по-разному мы устроены: что для них первой важности – мы даже не замечаем. Нам кажется – стакан разлился, для них – целое наводнение. Ей проведи пальцем по спине умело – это её сотрясает больше, чем разгон Государственной Думы. Был у неё и прежде характер путаный, а теперь и ещё испортился. Да и время военное, у всех независимости больше.

Как и обычно: оттолкнутая девушка не может же вечно крутиться одна. Того и надо ждать: какая-то компания с тамбовского Порохового завода. Там – инженер какой-то, “чистокровно чеховский”, застенчивый, тоскующий, мечтательный, в общем растяпа. Жена его, узнаём от Зинаиды, конечно, “крайне бледная, мёртвая личность“. Сперва за предположительное только словечко “флирт” Зинаида хлобучила ему голову. А после скольких-то поворотов сдалась, но тут же послала инженерику – открыться во всём жене. Чтобы та – знала !

– Прямо вот так? Самому жене открыться? – с живостью послышалось от полковника.

– Да. Самому пойти – и сказать.

– Да зачем же??

Фёдор Дмитрия и сам плохо понимал:

– Мол... не могу питаться краденными отношениями! Чёрт его знает, этот девичий ход мысля, я говорю – мозги сломаешь, если за ним следить.

– И что ж инженер?

– Пошёл. И открылся.

Чмокнул, хмыкнул спутник.

– И?

– И так вот жили. Несколько месяцев.

– А что вы думаете? – а какой-то резон есть: честно, открыто. А почему в самом деле всегда иначе?

За тёмным окном проносился и вовсе тёмный мир, лишь с бледной дрожью от соседних освещённых окон да иногда с мерклыми сельскими огоньками.

– ...Или вдруг: а вы можете себе вообразить – бесовский полёт? Все окопы сброшены за миг полёта! – вверх? или вниз? куда бы ни пришлось – разве не завидно? Пожелайте себе пережить такое!

... Из тёмного окна девчёнка эта дальняя – как нависала, ввисала в их купе – неслась за поездом через тёмное пространство – ногами? крыльями? метлой?...

– ...Или вдруг: ау, ау! – кричит один выжатый лимон другому: как мы весело плясали, подбоченься! а сок потёк кислый, мутно-обыкновенный, как во всех лимонах. Так стоило ли, Фёдор Дмитрич?

А Фёдор Дмитрич тебя толкал к нему, что ли? Жалко-жалко, да и Бог с тобой. Фёдору Дмитричу теперь только ребус разгадывать, почему лимон? Кончилось у них там. Жена там бледная ли, мёртвая, от истории ещё мертвей, – а мужа своего отобрала назад. А девчёнку, как с карусели сорванную, – фью-у-уть!

...Голова окунутая и вынутая, освещённая знанием и властью, на кого посмотрит... Тамбовский перрон.

Фёдор Дмитрич забыл и чай попивать, склонился над стаканом, как прихваченный, – думал. Как будто тут, меж них двоих придуматься могло.

Огоньки поддувала умерились, залеплились. Сидели как у погасшего костра.

– А тут: Фёдор Дмитрич! Мама у меня умерла! А я... я не могла и на похоронах её появиться...- Да почему ж? Мать-то – за что же?... И письма уже не из Тамбова, а из Кирсановского уезда. Что, почему? Опять ребус, опять должны новые письма приходить, чтобы тебе догадаться: потому упустила смерть матери – скрывала беременность, в деревне рожала тайком.

И здесь, одна, донашивая, рожая, кормя, беззащитная, подстреленная, – именно к Фёдору она не замолкла, именно его – не стыдилась. В развалюшке с приплюснутым потолком, еле печку успевая топить, впервые сама стряпая неумело, – не старалась щегольнуть оборотом стилия или мыслью, и не разыгрывала беспечности более, и без заносов тех полоумных. Молоко высохло! Это красиво называется – внебрачная любовь, неподкупное чувство, – а вот измученная мать, слабая кроха, нет молока, смена кормилиц... Будущее России? – неизмеримо выше, согласна, но когда милый нежный ротик тянется к своему источнику жизни, а ты обманываешь, не можешь ему дать... Без прежнего



хорохорства, без дерзкого тона, без подраживаний, открыто за утешением: Фёдор Дмитрич, позади ничего, впереди ничего, бестолково прожито и силы исчерпаны... И в Бога-утешителя – не верю.

Впрочем! – и не раскаивается. Ни в чём. И не терзается дальней городской молвой. И – не уязвлена гордость. Только свистящий страх одиночества.

Из наружной тьмы, из вихря, через двойное стекло окна не может вступить плоть. Но – за ними вдогонку, за поездом, со скоростью их, не отставая – летит! И может быть втягивается в купе позябливающей стружкой.

Вдруг почему-то ответил ей с чувством, каким прежде никогда не писал, – с простой сердечностью, как между ними не бывало, и ничуть не испытывая ревности, что ребёнок от другого, – и в недели изменились письма Зинаиды: зачастили, перекрывались, уже не ответ на ответ. Со светом и лёгкостью писала она о своём “типуленьке”, и как над ним дрожит, и смеялась, как прежде ахали все, что из такой сумасбродной девицы не выйдет матери, а она пелёнками и сосками вот занята, напевая. А когда засмеётся малыш беззубым ротиком, то даже жутко становится от наплыва счастья.

И не знает: откуда у неё столько нежности к Фёдору Дмитриевичу. И: несмотря на ваш *порыв инстинкта* (помните?), я всегда чувствовала вашу душу! Всегда знала, что через ваши мелкие увлечения вы на самом деле ищете счастья высшего.

Вдруг, неожиданным взрывом: хочу – Художественного театра!

И в дождливую августовскую ночь: сын спит, ветер толчками, стучит ведро о колодезный сруб, за окошком – тьмущая тьма, на столе – коптилка, керосин экономим, а мне – я знаю, во время войны хула, стыдно! – мне хочется света, шума, красок, музыки!... В “Тамбовском вестнике” прочла объявление о концерте польской пианистки, я слышала её раньше, и готова хоть сейчас в Тамбов на концерт! – от нашего Коровайнова 12 вёрст до инжавинской ветки, и потом ещё ждать пересадки на кирсановский, – да нет, я шучу, я никогда же не брошу малыша.

А дальше – какой-то туманный угол, неразобранные чувства. Вслух сказать: она позвала. Но уже и сам придумал: да поехать навестить её в деревне, хоть и инжавинская ветка, хоть и на лошадях 12 вёрст.

Полковник очнулся:

– Слушайте, а почему вы на ней – раньше?... Просто не женились? До всякого инженера?

Ну вот. Самое простое, что ты так цепко понимаешь, – а другому иди объясняй.

– Да Георгий Михалыч, да ведь... Да как же?

Неужели сам не понимает?

Бережно сдвинул к окну подносик с самоваром. Стаканы тоже. Банку с вареньем.

– Так если вам уже пятый десяток? Если жизненные взгляды ваши совершенно устоялись? Если основа вашей жизни – независимость?

И вдруг лишиться душевного простора, досуга? Ты всё время ей что-то должен? Ты – уже не ты?

Оба локтя – прочно на столик. Голову – между ладонями. И – в угадываемый четвертьсвет:

– Да как же можно быть заверенным, что из женитьбы получится? Разве характер женщины разгадаешь до женитьбы? И – что тогда?... И если, вот, сирот вас осталось четверо, два брата, две сестры. Одна сестра больная, как говорится – с порчей. Другой – тоже никогда замуж не выйти. И младшего брата тоже ты в люди вытянул. И ради них-то четырнадцать лет уроки задавал, уроки спрашивал, удушиться можно, а какой выход? За сирот – я отвечаю? Надел и дом – неделёные, от отца. Не на казачке жениться – как же так? А на простой казачке – мне теперь?... Да вот Петьку я усыновил, сейчас в реальном училище, славный будет казачок. Подрастёт – всю казацкую справу ему сгношить, боевого коня, вьюк, тринадцать предметов, это кроме амуниции.

...И правда! правда! Приезжайте ко мне! Вот сюда, и глухой кирсановский угол,

которого ни один писатель ещё не посетил и не опишет, и который ничем не прославится, а вы – приезжайте! Здесь Мокрая Панда – река овражная среди степи, особенное место. Фёдор Дмитрич, правда, приезжайте, вот сейчас, в сентябре! Я вас очень жду!

И как раз Фёдор мог поехать. Складывалось. Обещал.

Навстречу – испуганное письмо: сколько мы переписываемся, а как мало виделись! Как я **боюсь** !!...

Но – не поехал, задержался в станице. Были осенние работы по саду, помогал сёстрам. Да не так, чтобы вовсе помешало, вообще-то можно было усилиться успеть. Но опять – тот туманный угол, того прежнего неназванного поворота... Какая-то заминка, или размышление... Не поехал.

...А **как** я вас ждала!... Мне казалось, вы везёте мне обновление всего мира! Тут был вечер один лунный, такой лунный, блестела река, шелестел лес, на склонах оврага спала деревня, – а я! такая молодая, покинутая, с новой жизнью на руках, а всё равно беззаботная, – бродила, бродила по двору и даже скакала на одной ноге и загадывала: вот если б сегодня приехал! Я бы вас повела лунной просекой по лесу, тараторила бы, смеялась, мы сели бы на траву, – да почему же вы не приехали?!... Но вы не приехали – и настроение миновало. Пишу вам с удовольствием, а видеть больше не стремлюсь. Да и ничего хорошего из этого свидания не вышло бы.

Но уже! уже какая-то сила включилась, выше обеих волей. Уже катило их друг на друга, и ничто не могло помешать. Свидание отменилось, но тут же понеслись телеграммы: что он – успеваешь! но не в деревню – в Тамбов. И пусть она приедет в город!

...А как же сын? Я не могу его оставить! Мне трудно оставить!... Я никогда его не оставляла!... Еду! Еду!!

А разогрелась, а разгорелась, а раскалилась – после родов, пусть не твоих, – какой не бывала, ни в жизни, ни на карточках, – едва узнал, встретив её. И как же был бы глуп, не приехав!

С инженером? Это и не измена была, вот удивительно. Это – **к нему** же и был путь, такой кружной.

Так не помогли никакие осторожности, ни откладывание годами: всё равно швырнуло туда. И слушать радостно и страшно, как она, волосами, серьгами меча, над подушкой приподнявшись:

– Нет, ты ещё очень мало меня любишь! Ты ещё полюбишь меня сильней!

О-о-о, не задушило бы! До сих пор чем удачна феина жизнь была вся – никогда не завяз, не дал себя стреножить. А вот – сносило, катило с откоса, не ухватиться, не задержаться.

– Почему ты мне никогда не приказал решительно: иди за мной!? Из-за этого всё...

В том и захват, что сколько уже от Тамбова – а всё рядом, и рядом, и даже ещё сильней! Как тёмно-горячим брызнула – в лицо, в грудь, облила – и горело, не утихая. Вообще после женщин чуть отвернёшься – зевнёшь, забудешь, а тут... Тем опасней поддаться. Как же так? С его опытом, с его разумом, с его возрастом – и так опрометчиво не уберечься? С этой – очень серьёзно, она – до души добирается, она – его всего хочет. Нет, что-то придумать. И – написать. Спасительное дело – написать. Завтра же, из Петербурга.

Приласкивалась, объясняла:

– Это слово – расхожее, им пользуются все и по пустякам. А бывает оно, а бывает она, Феденька, – не часто.

Как-нибудь так: да, я увлёкся тобой, но дело в том... но я тебе не сказал... у меня есть другая... “Другая” – это стена. От женщины ничем в мире нельзя загородиться, только другою женщиной.

Защититься – да. Но – и отдать её – грудь разрывает горячими крючьями. Под пятьдесят лет такая послана – как отдать?...

Всё реже говорил Федя вслух, потом и вовсе обеззвучили губы его. И – слышал ли ещё что-нибудь спутник, или дремал, – не отзывался. Может, и выручил бы Фёдора советом,

но – не отзывался.

Кто катится с горы – у того мало времени, его бьёт головой, затылком, подбрасывает, подбрасывает, расшвыривает руки по воздуху, – а когда они придутся на камень, на корень, на стебель – хватайся! хотя б глазами не разобрав – хватайся! дальше – не будет, заборов – не будет, отлоги – не будет, ничто не спасёт!

А Воротынцев слышал из этой истории больше, чем склонен был и привык. Он невольно сманился от своего напряжённого строя мыслей – и слушал – и удивлялся.

Не – Феде, это был ещё один распространённый пример человека, напутавшего в простом вопросе женитьбы. А впрочем, уже не было к нему снисходительной жалости, но слушать его было – страшновато.

Поразила – эта женщина. Как прыгала на одной ноге... Не приведи, конечно, Бог, с такую крученою связаться, но неужели так бывает? Такие – бывают? И если ещё с ребёнком чужим – и так бы притягивала? Вот эта жгучесть под бытейской коркой – она изумляла.

И вызывала зависть.

И глухое чувство упущенного.

\*\*\*

**Ты раскинула печаль по плечам,  
Ты пустила сухоту по животу.**

18

Вера Воротынцева была на четырнадцать лет моложе своего единственного брата, так что общего детства не было у них. Георгий кончил военное училище и ехал по назначению в полк, когда Веру лишь готовили в гимназию. В год его женитьбы она ещё не сняла гимназический передник. Она переехала в Петербург, когда Георгия уже вытолкнули из Академии в Вятку.

У них не было общего детства, и даже отец и мать помнились их детским глазам разными: в детство Георгия – дружными, весёлыми, с ворохом надежд, с целою жизнью впереди, в детство Веры – печальными, постаревшими, разъединёнными. Разъединёнными – это тоскливей всего и очень рано почему-то понималось девочкой, хотя смысл остался загадкой для неё на всю жизнь. Надо было ей подрасти, чтоб оглянуться, сосчитать, размыслить: что её-то собственное рождение, сама она и должна была стать укрепой семьи, и даже стала – но не надолго. Будь Вера возраста Георгия – она бы вникла и поняла, чего он и искать не догадывался по самозанятости: что ж это было между мамой и папой? Как будто не взрыв, не ссора, не раскол – но стали обособляться, разделяться душевный мир того и другого, сосредоточиваться каждый отдельно. Как будто и поцелуи, как будто и ласковые обращения, но что-то из них ушло? – вероятно, им двоим очень заметно, но не названо. Всё меньше они нуждаются друг во друге, опадают связи, и каждый уединён в своей покинутой горечи: как же это рассыпалось? неужели ничем не исправить? Но не выясняются причины, не высказываются упреки, у обоих достаточно благородства, – а каждый безнадёжно устаивается в своём.

И – распалось.

Так и Заstrужье – разное было в воспоминаниях брата и сестры: у него – счастливыми семейными наездами, всегда полное жизни, у неё – щемящее, полупустынное, с поседевшим грустным отцом, покинувшим московскую службу. В Заstrужьи, таком же хилеющем, уединялся отец просторно тосковать – и одиноко, в замёте снегов, умер там.

Не было общего детства у Веры с Георгием, но вполне общей, неизменной, одинаковой в оба детства была их няня Поля – одна и та же Пелагея Степановна, от взрослого мальчика

наезжавшая и вовсе уезжавшая в свою родную деревню, но тут родилась Вера – и всё милое нянино началось опять сначала. И это общее нянино осталось настолько одинаковым, общим у брата и сестры, как будто они выросли плечо о плечо. Легко, без двоенья, всегда в совпадение вспоминалась им любая мелочь: как на окском высоком берегу стоит село Муратово – никогда ими не виданное, а видное всё до бора на обрыве, до былинки на выгоне, не тускней своего Застружья. И как там няня пряла отменный лён – расстилала на стлеще, а затем чесала кудель да пряла. И как её младший брат был конокрад, за то забитый башкирами, а старший – лотовой, не такой знаменитый, как дядя их, но от московской пристани до Нижнего нигде никогда не посадил на мель каравана барж. Из их села от дедов и прадедов многие ходили по Оке лотовыми, тем и славилось Муратово, и сама няня Поля смолоду, со щеками красными, как яблоки, с весенней воды и до осенней ходила на братней барже, готовила на всех, обстирывала и пела им. Она и Георгию пела, потом и Вере – по праздникам духовное, по будням трогательное или весёлое, через четырнадцать лет всё те же песни.

Замечательно это родство – не кровное и даже не молочное, но родство через воспитание. В сознание детей вступала жизнь этой крестьянки почти как своя родословная, часто – плотней и ярче, чем слышанное от родителей. Знали её в селе как работницу, скромницу, и хорошие женихи её брали – только к себе в дом: никому не хотелось вступать в её бедный и тянуть их со старухой и племянницами, конокрадскими детьми. Но брат-лотовой привёл ей с реки доброго жениха Ивана, не муратовского, и два счастливых года они прожили; и сын родился, и только то было огорчение, что крестил его поп Архипом, как ни отплакивала Поля, очень уж ей не нравилось.

Не ровно ли рассказывала няня или не ровно запоминалось, но выходило вперёд и в памяти заклинилось на всю жизнь будто совсем и незначущее: как няня Поля носила своего Архипушку к отцу на покос, там на заливном лугу оставались от разлива озерка-бакалды, в них – рыбы большие, как в ловушки попавшие. Архипушка сидел на камне – и всё на воду, всё на воду смотрел. Предчувствие ли, угроза ли в том была, но особенно выговаривала няня “всё на воду”, и особенно сжималось в детях.

А потом Ивана забрали в солдаты, почему-то неурочно, прежде льгота ложилась на него. И войны никакой не было, а провожала-плакала: навсегда. Год писал, обещали ему даже унтера, коль останется на сверхсрочную. Потом письма прервались, потом пришло извещение – и будто такими словами, только так говорила няня: “Иван Тихонов не жив”. Ничего не пояснили, так Поля и не узнала никогда, почему, а – не жив.

В ту же осень Архипушка долго ходил по воде, пришёл весь мокр, зуб мимо зуба. Дала ему Поля горячего молока, положила на печку, но к утру разболелось горло, что говорить не мог. И схоронила. И тут же с последним пароходом уехала в Муром, наниматься в люди.

Отмала чаще маминого лица виделось детям лицо няни. И даже образок помнился больше не свой над кроватью, но над кроватью няни: сторбленный старенький Николай Угодник с котомкой за плечами идёт по дремучему лесу. И всякое *странствие* именно в таком виде представилось детям. (Писал Георгий: в Грюнфлиссском лесу узнал он тот самый лес с няниной иконки). Ещё висело подле образка на шёлковой ленточке фарфоровое яичко, а если на свет через дырочку в него заглянуть, то открывался Христос в Гефсиманском саду. Очень понятно рассказывала няня об Иуде, о Страстях Господних, и упрашивала маму отпускать ребёнка в церковь почаще, и на Двенадцать Евангелий непременно (сами папа и мама в церковь никогда не ходили). И своего Архипушку твёрдо верила няня встретить в будущей жизни. Не только понятная, но простая до смешного была у няни Поля вера. Варку яиц она мерила молитвами: в смятку – два раза Отче наш, три раза Богородицу. Как-то в детской, на вечерней молитве, отдала земной поклон и при том заглянулось под верину кроватку. Прервав молитву, озабочилась: “Гляди-ка, горшочек я тебе на ночь не поставила!” И с того же полуслова молилась дальше. Была ли слабость в такой простоте веры? или, напротив, сила? Для няни Поля, чем старше, все мелочи жизни проходили перед ликом Бога и ангелов, и не было, каких стыдиться.

Георгий в своей подвижности, в мальчишеском рыске по миру мало задержался на детской вере: что-то наслоилося в основанье души, а повыше сдувало ветром действий, бросков и сражений. У сестры же этот нянин мирок, эта простосердечная постройка так и сохранилась, так и носилась в груди. Ей-то досталось много больше брата прочесть книг, натекало в голову много противоположных теорий, течений, но тихий тёплый нянин заклад оставался ими всеми не уязвим, как будто даже им не сокосновенен. Сроднясь с семьёю Воротынцевых, очень обижалась няня, если её называли “прислугой” (хотя, в отлику от городской горничной, не звала папу с мамой по имени-отчеству, а только “барин” да “барыня”). Мать, когда сердилась, говорила подросшей дочери, что Поля глупа. Веру это огорчало, она не видела так. С терпением и сочувствием читала она няне письма из деревни с длиннейшим перечислением поклонов и приветствий и под нянину диктовку писала такие же в ответ. Няня и не живя в родной деревне – жила в ней. Из нажитого, из подарков (каждое Рождество, Пасху, в день Георгия Победоносца и на Веру-Надежду получала она от каждого из родителей по золотому), накупала и слала подарки своим, хотя как будто и не осталось там никого роднее племянниц. Её помянник, подаваемый в церкви, содержал три-четыре дюжины имён, как образованная женщина никогда не напишет, – совсем другой охват сродства и попечения. От повзрослевших детей иногда отпрашивалась няня Поля съездить в село. Долго собиралась, навязывала тюки подарков, брала извозчика до пристани, но не садилась на пароход, как все, а на дебаркадере в каморке сменных лоцманов ночевала ещё несколько ночей: как в юности, ставила им самовар, готовила обед. Подплывал же муратовский лотовой – с ним отбывала.

Папа и мама умерли, Георгий был как вырванный, перекасти, а незамужняя Вера так и осталась с нянею. Перед войной вместе с нею, беззубой, а всё певучеголосой, стронулись из Москвы, и повезли воротынцевскую старую мебель в Петербург, где устроилась Вера библиографом Публичной библиотеки. И что ещё можно было назвать домом Воротынцевых (в согласии с сестрою брат охотно тоже называл, только от жены тайком), то и были теперь они с нянею в трёх комнатках на третьем этаже, на углу Итальянской и Караванной, у Михайловского манежа. В одни окна наискосок – Фонтанка, в другие – площадь с памятником, а летом, если высунуться с подоконника, то по изломанной Караванной в конце проглядывает Аничков дворец. Эту квартиру Вера так и нашла, чтобы близко ходить в библиотеку, всего десять минут приятной прогулки: или обогнуть по Фонтанке, чтобы вдоль воды, а потом по Невскому, или по Караванной, но обычно шла Вера мимо Благородного Собрания, сворачивала на Екатерининскую, два шага – и уже у себя, под полусумрачными сводами Публичной. И меж вечно тихих полок, глушащих шаги, таким же вечно тихим шагом, тоже узкая, тоже в сером или тёмно-коричневом, уйти в уголок за свой стол (окно на Александринку), и по два часа без единого движения, не поведя плечами, только пальцами книгу перелистывать. Никто не внушал Вере, а природны были ей бесшумные, нерезкие экономные движения. Так же и почерк (свой, кроме обязательного библиотечного) был у неё из разборчивых стянутых буковок, наклонённых не более, чем наклоняешь голову при письме, бережливый, ни лишнего провода пером, – писать-то приходится больше, чем говорить. Так и текла верина жизнь – днями, а то и вечерами, и даже целые недели складывались так, что лишь этот уличный отрезок она прошагивала четырежды или шесть раз в день, остального Петербурга даже не видя.

Живя за нянею, не испытала, почти не замечала она и того нового, ухудшенного Петрограда, каким он стал особенно к этой осени. В кварталах, где она ходила, хвостов не было, а недостач на столе Вера тоже не замечала бы рассеянным взглядом и ртом, если бы няня не охала, не ужасалась настойчиво: что сколько она себя помнит, и в Муроме и в Москве, и в ту войну и в бунтовское время, – повсюду купи, что тебе любо, и ступай, – а чтобы друг за дружкой, в спины уставясь, час и другой, да гляди под дождиком? да ещё не всё надобное и купить? За пшеничными булками постаивай, за молоком постаивай, да оно всего дорожей, хорошо не дети у нас. (Чего хорошего! куда б светлей с детьми! да что-то Верочку, ангела, не берут). Сахарок уже был совсем облизнись, бери конфеты или мёд, а

теперь, сла-Богу, по талонам. Когда пришла телеграмма о егоркином приезде, няня и всплеснулась, и заплакала, и зардовалась, но пуще того и попере́д того заколотилась: Царица Небесная, муки-то ситной горсть, не купить, а шанежки беспременно испечь ведь! – Ну, пеки ржаные. – Нет уж, чего скажешь! Аржаного он и в окопах наглотался!

Брат! С начала войны ни разу не виделась. И писал не часто. Но даже в солдатских полузакрытках, даже в нескольких фразах оставалось всегда искреннее, дружеское, незатаённое, обоим несомненное: что ни даль, ни время не сделают их чужими. И отзывно к этому чувству и с двойным тем же чувством своим, Вера никогда не обижалась и не ждала ответов, а сама, в месяц раз или два, обстоятельно писала, как рассказывала. О няне, о себе – мало было что, не менялось, зато – о Петербурге, о театрах, о диспутах, общественной бурной жизни, и о многих известных личностях, не минующих Публичную библиотеку, а в ней – библиографа Веру Михайловну. Вера гордилась знакомством со многими из них, запоминала их суждения, обрывки бесед, сравнивала или оспаривала – и с большой охотой делала это в письмах к брату. Ему негде почерпнуть, а полезно и всегда нужно, он хотел знать пошире, но как-нибудь налету ухватить, не теряя времени и не садясь штудировать. Тем более в окопах в пустой тоскливый час такие письма с частицей петербургской жизни не могли не быть ему интересны. И этой осенью, уже предчувствуя свою поездку, он тоже черкнул ей из Румынии, что если будет в Петрограде – хотел бы познакомиться с кем-нибудь интересным из деятелей, на её усмотрение.

И она подготовила ему такую встречу. И после живых ему писем Вера сегодня, идя встречать брата на Николаевский вокзал, не ожидала испытать ни минуты стеснения, должна была встреча сразу быть простой, как и неотвычной. Если...

Если только он приедет без жены. По телеграмме неясно.

С Алиною Вера виделась очень редко, и не переписывались они совсем, кроме нескольких в год поздравительных. Никакой ссоры между ними не было (как, впрочем, и дружбы, а Георгий вечно мечтал их сдружить, не соглашался на рассуждение), но присутствие Алины сейчас охолодит, напряжёт, испортит всю встречу. Даже не отдельно Алина испортит, но их качество мужа и жены вместе. При нём Алина лучше, не так резка, и помолчит. Но и Георгий при Алине – всегда не тот, хотя кажется о том не знает сам, хотя кажется и не оглядывается на её суждения, и не подтягивается к её контролю, но сразу: смеётся – не так беззаботно, рассказывает – не так увлечённо, и всё, что высказывает, – мельче, чем ждёшь, чем он умеет.

Георгий мог нестеснённо жаловаться сестре, что голоден или не выспался, обезденежел или пал духом, – но никогда не открывался в своём семейном. Во всех других областях жизни друзья и близкие способны остеречь, посоветовать, помочь, и сам человек незатруднённо спрашивает их. Но в этой заколдованной запретен совет, не приняты предостережения, нетактичны попытки что-то объяснить человеку о нём самом. В этой единственной области человек и сам себя гордо обрекает, и все окружающие обрекают его обходиться всегда лишь своим недовидением и своими неуверенными движениями – как игрока в “опанаса” с завязанными глазами. И какая ты ни сестра любимая, хоть за ухо тебя потяни, хоть чёлку натрепи, а суждений твоих *об этом* – не спрашивают, не ждут.

Гимназисткой услышав о женитьбе брата, Вера радостно взволновалась, она рвалась скорее видеть Алину, и полюбить как старшую сестру, – уж если мой, такой, брат выбрал – должна быть всех милей!

Но с первых встреч – откинулась, и даже растерялась. Что-то не так, что-то не то, а даже сразу не назовёшь.

Как-то позже сказала ему: ведь женитьба – бесповоротнее перевода из полка в полк, бесповоротнее даже может быть военных команд на поле боя, – он очень смеялся...

И своего брата единственного, яркого, умного, смелого, вот так отдать – чужой, придуманной? да в любовь ли? И хотя б твой неусыпчивый взгляд уже видел потом всё отчётливо – а братовы глаза не видят. А – мама?

Угадала девочка, что маме тоже не нравилась Алина. Но мама и раньше того, ещё не

тридцатилетнему капитану, не бралась ничего советовать такому решительному сыну: Егорка с годовалого возраста уже всегда точно знал, чего он хочет, чего не хочет, никакой игрушкой не отвлечь.

И потом – такт, воспитание. Мама – не могла сказать.

А мужского влияния вовсе не было, воля отца не чувствовалась никогда у них, и советы его не звучали.

Как это устроено? Почему ж Егор сам не видит – ведь смотрит ближе всех, дольше всех, пристальней всех, – и не видит?!

А в каждом соединении двоих – свои тайны. Ты видишь внешнее, и оно плохо, но может быть внутри между ними, напротив, отлично? И если это само держится год, три, пять, вот уже десять, – то значит и хорошо, не тебе судить.

Да хоть и судить, что толку? Венчанный брак.

– Не опаздывает? Благодарю вас.

Раскрыла зонтик, хотя дождь не шёл. Нависал, но не шёл. Петербургское.

Не девушке судить о семейной жизни – но и как же не судить, наблюдая, наблюдая? Когда подлинно счастливо, так видно всем, – как у Шингарёвых. Воплощённое счастье, без биенья тонов, всё в совпадении. И пятеро детей – как будто не груз, а упятерённая радость, поддающая сил. И через своих пятерых – обширное сердце Андрея Ивановича ко всем детям, где б ни увидел, где б ни знал, как и все шингарёвские чувства – обширные, щедрые.

А у Михаила Дмитрича – не так же ли наглядно? С его ровным, но и скорбным светом. Его силы никогда не могли проявиться во всю полноту – и видно же отчего: от женитьбы (связи), как железной сетки, накинута на него.

Самонакинута. Такой крупный, здоровый, естественный человек – и полубезумная эфироманка. Ещё и с девочкой от кого-то. И – любит?... И любит.

Как судить, сама не перейдя порога?...

А перейдя – уже будет поздно.

Но пока видишь таких, как брат или Михаил Дмитрич, нельзя не верить, что и других же таких по земле насеяно. И как можно “лишь бы”, “а, как-нибудь!” – отдать свою жизнь? В раз один – навсегда? Не настоящему?

Нет, дождь не пошёл. Со сложенным зонтиком, с сумочкой на запястьи – вдоль перрона.

“Лишь бы” – это последнее малодушие.

Если знаешь в себе сердце собранное, как буквы почерка.

Такое место в жизни у неё, так повезло: работать в лучшей русской библиотеке, для лучших русских читателей – думцев, публицистов, писателей, учёных, инженеров. Лучшая судьба женщины – тихо работать для тех, кто ведёт.

Но в лесу, в пустыне, в пещере – где угодно легче держаться, чем в полноте сочувствующих людей. С тобой консультируются, рассыпаются в благодарностях, принимают каталожные карточки из рук, а в глазах так и чудится сожалительный приговор. Да может быть вовсе нет, но чудится, что про себя отсчитывают, как в тебе молотками гулками: двадцать четыре! двадцать пять! двадцать шесть! И никому не объяснишь, не топнешь: сама не иду! отстаньте!

И даже с братом черта: об **этом** – никогда вслух. Даже с братом нельзя, сцепившись руками: брат! поддержи, убеди, подтверди! Ведь стоят же в осаде?!

Паровоз. И белый парок, резко заметный в сером дне. Гудит о подходе.

Ожидая своей предназначенной грозной тяжести, счастливо стонут перед локомотивом гибкие крепкие рельсы.

Сколько ни стой, как ни угадывай, а в последние секунды к нужному вагону всё равно полубежком. А взглядом – быстрее, по чередке окон – вот он, вот он! – в вагонном проходе на зеркальное стекло упав ладонями поднятыми и ими же хлопая по стеклу – уже видит! смеётся! Бородка как будто длинней и гуще. И загорел-обветрел, не петербургская кожа.

Один?... Кажется, один. Как хорошо! Из вагона выходят люди медленно. Корзины

какие-то, большая бутылка в оплётке.

То ли брат! – малый чемодан, в левой руке, правая свободна честь отдавать, и такой же прямой, в движениях быстрый, лёгкий, – поцеловались! Сошлась с его бородой пожевшею и не отрывалась. Обхваченная рукой и чемоданом.

Да разглядеть тебя, брат!! Да целых же три года!... Сколько раз мог быть убит, ранен, – а ведь нет, не врал?

– Серьёзно – ни разу, правда. Там заденет, здесь, по пустякам.

Такой же поворотливый, а как будто кора на нём. Коричневая твёрдость войны.

– И всегда будешь такой?

– До генерала, – смеётся. – Значит, ещё долго.

Гладил – по шапочке, на висок, по щеке, плечу.

Как и ждала: от самой вагонной ступеньки ни натянутости, ни незнания, будто и видятся часто. Пошли плотно под руку.

– Ну как няня? Сорок два колена родословной по Матфею – так и не одолела? Так же в книгу смотрит, а читает по памяти?

– Да, только теперь через очки. И – к телефону сама подходит. И с большой важностью умеет заказать барышне номер. Сегодня тебе шанежек напекла. А ты-то как? А – Москва как? – (С усилием:) – Алина?

– Я дней на несколько.

– Это что ж, рукоять золотая, Егорка? Что тут написано? “За храбрость”?

– Георгиевское.

Брат – прежний: няня – хорошо, шанежки – хорошо, но расслаживаться сейчас не будем, день – понедельник. Письмо Гучкова Алексееву, не слышали про такое?

– Давно! Да весь Петербург читает. Да все эти списки через нас и проходят. И письмо Челнокова к Родзянке, и...

– Через библиотеку? Надо же! И имеют успех?

– Да какой! До дыр читают. Целые рукописи даже – о продовольственном кризисе, о войне... Разные взгляды... Куда попадут в учреждения – там размножаются. На пишущих машинках, на ротаторах. На гектографах. Любители – от руки переписывают. Нам теперь цензура нипочём...

Поражён. Головой трясёт.

В живой мелькающей суете вокзала Воротынцев, глядя на строго-милую лучистую сестрёнку, чья сборчатая коричневая шапочка набекрень была ему до носа, вдруг испытал – праздник приезда! свободу движений! свободу распорядиться собою! И сколько можно повидать за эти дни! А пока не упустить:

– Скажи, тут на вокзале будка телефонная – где?

Все решения принять уже на вокзале, не ошибиться в направлении, куда ехать сначала. Зашёл, вызывает.

– Могу я Александра Ивановича?... А сегодня позже?... И завтра не будет?... Но вообще-то он здесь?... Спасибо...

Озаботился.

– Нет, Веренька, домой я сейчас не пойду, – сузил светлые твёрдые глаза, соображая. – Мне поручений навешали, Главный штаб. Да ведь и тебе, небось, на службу?

Когда ей не надо? Она и сейчас еле ушла.

– Приду к обеду. Когда?

– А вечером? Ты всё по своей программе? Или немножко и по моей?

– А что бы ты?...

Наглядываясь на брата, сама с обычной скромной тихостью:

– Ты ведь хотел с кем-нибудь познакомиться? Я о твоём приезде сказала Андрею Ивановичу Шингарёву. И он захотел тебя повидать. Просил посетить.

– Шингарёв? – удивился и задумался Георгий. – Тот известный кадет? Член Думы?

Не погоняя речь нетерпеливой мыслью, как брат, но с повторённой той же



неуклонностью:

– Сказать о Шингарёве “кадет” – ничего не сказать. Он – единственный в России. Наше чудо. И любимец Петербурга.

Руку в тёмной лайковой перчатке положила на шинельный отворот, как и не коснулась:

– Ты увидишь, это совсем даже не политик, нет! Это – человек, вот нарочно сделанный по всем образцам русской литературы.

– Шингарёв? – вспоминал брат. – Это который перед войной выступал против военного бюджета?

– Ну, сейчас совсем другое! Теперь он – даже председатель думской военной комиссии. И – в Особом Совещании по обороне. Он очень старается следить, что на фронте.

– Это хорошо. Ну, зайдём кофейку выпить, что ли?

Зашли в буфет, сели.

– Знаешь, этот горящий идеал? С ранней юности уже *виновен* перед народом. Блестяще кончил естественный факультет, оставляли на кафедре ботаники – ушёл искать *правду жизни*. Потом кончил и медицинский: считал, что именно врач лучше всего может сближать народ и интеллигенцию. Знаешь эту интеллигентскую крайность: ничего не стоят ни наука, ни искусство, ни политика, если не служат народу?

Да какая же крайность? – выражало лицо брата, с напористым наклоном. И военное дело – тоже ведь?...

– Пошёл врачом, без земского жалованья даже. От дифтеритного ребёнка едва не умер. Собрал статистику “Вымирающая деревня” – жуткая книга. Два издания, 901-го года, – и до сих пор её спрашивают. Он просто знаешь кто? Народный радатель. Такой партии в России нет, но во всех партиях такие люди попадают.

– Да? – подсмеялся Георгий. – А я-то подумал, не хочешь ли ты меня в кадетскую партию обратить?

Засмеялась с повинной головой, нигде не выбитые притянутые гладкие волосы:

– А вот – даже националисты так одобрили его, что сняли своего кандидата, и председательство в военной комиссии уступили Шингарёву. А просто, понимаешь, он любит Россию и любит людей, и все это чувствуют, даже в Думе. Враги кадетов ненавидят Милюкова, Родичева, кого хочешь, только не его. В кадетской фракции в шутку зовут Милюкова “папой”, а Шингарёва “мамой”: у того логика, а у этого – чувство, искренность, убедит скорей, где и Милюков не сможет. Так он умеет... улыбка такая... Он, знаешь, до того отзывчивый, даже от книги, вот от Диккенса... Говорит: понимаю, что глупо садниться от книжного горя, а почему-то...

– Ах, Ди-иккенс! – кивал брат. – Ты ведь и сама над Диккенсом полдетства проплакала. – Смотрел на неё – сиял.

Соображал, и кажется благоприятно:

– А зачем ему я? Меня он – зачем?... А сколько ему лет?

– Скажу точно... Сорок семь.

– Ну, раз старше меня, то иду.

– Честно говоря, он про тебя знает, что ты – опальный, за правду пострадал.

– Ну вот! Рассказала?

– Да он и раньше знал.

Что ж, пока нет Гучкова – отлично и к Шингарёву. Всё равно начинать Петербург... Разным духом надо подышать, это впрок.

– А как: с глазу на глаз? Или званый вечер?

– Да какой званый вечер в понедельник? Девиз: не жить лучше народа. Никакой никогда прислуги. Бутерброды если будут – то с чёрным хлебом, не с ситником. Да картошка.

– А ты со мной?

– Звали.

– Веренька, да что ж мы сидим? Пошли, нам же по дороге, я тебя провожу. Ещё

расскажешь. Про кадетов мне побольше.

Уже на Знаменской площади колотнуло сердце: тоже своё, не откинешь. А повернули на Невский – эта прямь! эта даль! даже в пасмури свинцовой под аспидным небом. И, неясно, шпиль адмиралтейский – как награда в дальнем пути.

Вот так, далеко и прямо, перед Воротынцевым открывалось теперь: действовать!

## 19

(Общество, правительство и царь – 1915)

С первых дней этой войны кадеты попали в неожиданное и сложное положение. Даже не в днях первых, а в самых первых часах всеобщей мобилизации во всенародном и даже общественном настроении властно проступил тот самый “патриотизм”, которым до сих пор бранились и о котором даже думать забыли как о реальности. И выступить против этой войны, как выступали против японской, – сразу оказалось невозможным. И невозможно стало вообще поносить правительство, как делали всё время, – потому что оно внезапно оказалось популярным. И кадетским лидерам оставалось определить:

Да будут забыты внутренние распри. Да укрепится единение царя с народом.

Не возомнить, что кадеты полюбили царя, но уже формировался у них пронизательный дальний расчёт: вступив в войну в союзе с Англией и Францией, русский император сам себя отдал в руки великих западных демократий, и будущая победа будет – уже не царя, но – свободной русской общественности. Довольно быстро кадеты сообразили и нашли даже вкус в патриотизме: не в примитивном дикарском смысле – к России как обиталищу русского духа, но – к государству, крепко сколоченному, твёрдо ставшему, в котором есть где пожить и есть чем поуправлять, войдя в наследство.

Отложим наши споры... Удержать положение России в ряду мировых держав...

Неяркий, но в своих средних решениях упорнолобый, Милюков протолкнёт через всю войну:

Константинополь и достаточная часть примыкающих берегов, Hinterland... Ключи от Босфора и Дарданелл, Олегов щит на вратах Царьграда – вот *заветные мечты русского народа* во все времена его бытия.

Ну и добавочно:

Защита культуры и духовных ценностей от варварского набега германского милитаризма. Эта война – во имя уничтожения всякой войны.

И Милюков с Пуришкевичем в Думе публично обменялись рукопожатием.

Но так безотказно поддержав свою ненавидимую отечественную власть, в какое же кадеты попали положение? – идти в хвосте за правительством? Немыслимо! К такой роли они не привыкли! Значит, у них не было теперь иного выхода, как опередить правительство в патриотизме и даже в самой борьбе с германским милитаризмом. И даже оттеснять правительство от многого, что связано с войной (не от ведения военных действий, конечно), и тем временем захватывать повсюду как можно больше видных мест.

В соревновании перехватывать себе отрасли вокруг войны помогли земский Союз и новосозданный Союз городов (вскоре почти слитные под именем Земгора). В чрезвычайной атмосфере первых дней войны они получили у Государя разрешение на помощь больным и раненым воинам на государственные средства – и при этом оказались не связаны никакими формальностями в расходовании казённых денег, ни отчётами, ни сметами, ни штатами, ни размерами окладов, – ибо не могли допустить государственных контролёров из общественной гордости. Они необузданно платили своим служащим в 3-4 раза больше, чем на таких же должностях у казны. А так как

работа в Союзах ещё и освобождала от военной службы, то они быстро и беспрепятственно набирали численность. Ещё Союзы сами выбирали и области работы, дающие наибольший внешний эффект и симпатии общества, а казне невыгодно доставалось обслуживать всё подряд. Правительство не смело препятствовать, уже так довольное общественной поддержкой.

И ещё не все были исчерпаны у кадетов возможности, как постепенно подрывать престиж правительства. Например, им неплохо удалось превратить в издевательство сухой закон. В первые дни войны, создавая очищенную народную атмосферу, Государь распорядился отменить (государственную монопольную) продажу водки в России. Это собрало правительству всенародное сочувствие. И тогда кадеты публично предложили: а пусть правительство запретит и всем частным торговцам всякую продажу всякого вина, даже и слабого виноградного. Расчёт был: если правительство откажется, значит, оно покажет, что с водкой лицемерило, но хочет спаивать другими средствами, чтоб увеличить доход с акциза. Правительство – клюнуло приманку и согласилось, был провозглашён запрет всеобщий. Но так создавалась, выяснилась с месяцами всеобщая нелепость: торговля вином лишь была загнана в тайную продажу, озлобляя многих.

Такие манёвры то и дело представлялись кадетам, иногда местные, и они их нигде не упускали.

И всё же несколько месяцев вынужденная лояльность кадетов была поразительна – правда, тем облегчена, что не было в стране ни студенческого движения, ни социалистического, все сидели тихо, кроме единственной большевицкой фракции Думы. И когда в феврале 1915 её судили (по обвинениям совсем пустяшным: составление прокламаций – “смести с лица земли царское самодержавие! за горло его и колено ему в грудь!”, “у нас нет врагов по ту сторону границы”, для России благо, если победит Германия, шифры, фальшивые паспорта и подготовка вооружённого восстания) – кадеты удержались от своего постоянного долга влево и не вступились за судимых депутатов.

И, как всё-таки принято в людском общении, имели они право за такую долгую лояльность ожидать и каких-то ответных уступок от власти: укрепления Думы, благожелательного акта евреям, амнистии революционерам. Но не последовали ни амнистия, ни благожелательный акт. Кадетского подвига власть не вознаградила.

А так далеко вклинились между российским обществом и российской властью – раздор, недоверие, подозрение, хитрость, в таком взаимном разладе они вступили в войну, что, даже оба теперь желая победы, подозревали другое в пораженчестве.

Что война сразу потекла дурно – долго не ведали думские круги, заставленные щитами сводок о наших блестящих победах в Галиции. И когда Гучков первый, ещё осенью 1914, приехал из Действующей армии и привёз преувеличенные вести, что всё разваливается, что война “уже почти проиграна”, – вечно оппозиционные кадеты не поверили этому разгорячённому бретёру, постоянному хвостуну в знании армейских дел. Только к январю 1915 через бюджетную комиссию Думы стали они что-то узнавать и понимать о недостатках со снарядами и снабжением. Но и на закрытых заседаниях комиссий жизнерадостный, упоённый собой Сухомлинов напевал так же несмущённо, как всё в армии хорошо. В январе 1915 на кадетских закрытых заседаниях уже было решено, что конфликт с правительством возобновляется. Но на открытой сессии Думы – насмешно короткой, трёхдневной, чем выражало правительство, что не нуждается в Думе, – Милюков сохранял прежде взятую линию: хотя правительство и пользуется перемирием с оппозицией, чтоб укрепиться во внутренней политике, – а кадеты не вступят в публичную борьбу: не подрывать бодрость армии, не давать пищу злорадству противника.

Это был уже не тот Милюков, приглашавший студентов к террору (с тех пор и ему ведь грозили покушениями, а это совсем не приятно) и примирявший конституцию с революцией, – погосударственел он и сильно поосторожнел. Да и нехотно было идти на

шторм власти, когда так не молчали студенты и так пугливо социалисты. Кадетам приходилось занимать первый ряд?

Коротка была январская сессия, но Дума ещё и не настаивала на долгих: при нашем перемирии с правительством думцы сами не знали, как вести себя. Однако в мае вернулся с фронта председатель Думы Родзянко и нарисовал уже такую картину грандиозного отступления – едва ль не до Западного Буга! – что стало невозможно дальше молчать: правительство явно губило Россию – и не заговор ли это был? Нарочно отдать страну под немецкий сапог, чтобы подавить общественность? Один за другим тут сдали и Перемышль (взятие которого праздновали так недавно и так необдуманно, с поездкою самого Государя), и пресловутый, столь отпразднованный Львов. Ещё как бы в насмешку возглавлял правительство не кто иной, как двубородый царедворец Горемыкин – ослабелый 75-летний старик, он никак не умирал, непотопимый статс-секретарь: он был министром внутренних дел ещё до Столыпина, до Плеве, до Сипягина, – но тех всех убили подряд, а он, чередуясь с обречёнными, не попал ни под одну революционную бомбу – хотя разогнал 1-ю Думу. И теперь, как старая шуба, вынутая из нафталина, снова был в употреблении. Всех поражало, что во главе правительства в такое грозное время – дряхлый старик.

Современникам не бывает известна тайная подкладка правительственных перемещений. Прошёл, правда, в обществе слух, что министру земледелия Кривошеину не раз предлагали быть министром-председателем, и как будто многие были к тому данные, и в кабинете он состоял уже семь лет, дольше всех, – а вот почему-то не он.

И действительно, это было собственное решение Кривошеина – не принять место премьера, предложенное ему уже не раз. И даже к этой проблеме – единогласного кабинета, он имел касательство самое внутреннее и давнее: это он был автором проницательной докладной записки Государю летом 1905 года, ещё до взрыва революции: в русском правительстве все министры рассогласованы, каждый из них подчиняется непосредственно царю и на короткое время после доклада как бы выражает высочайшую волю и тем менее считается со своими коллегами. Это напоминает состояние правительства Людовика XVI в момент созыва Генеральных Штатов. Между тем созываемой Думе должна быть противопоставлена сильная объединённая власть, и недопустима оппозиция правительству в нём самом. Тень революционной Франции произвела впечатление на Государя, он чуток был к истории, и он хотел это условие включить в Основные Законы 1906 года – однако снова колебнулся, отговаривали, не включили, – и правительство поплыло дальше без неотклонимого регламента. (Да если правительство будет жёстко объединено – то не оказывался ли самодержец в стороне?...)

В кругу русских государственных людей Кривошеин был фигурой выдающейся. Не принадлежа к высоким ветвям и не имея высоких знакомств, всем своим восхождением он был обязан лишь собственным талантам и усилиям. На правительственной службе он состоял уже так долго, что казался “бюрократом по крови”. Но совпадая с другими в погоне за успехом, болезненном переживании неудач, он отличался от них большим политическим смыслом, жаждой делать крупные дела, – плодоносный государственный тип. Вместе с тем он и знал пределы своего возможного взлёта: у него не было столыпинской воли творить Историю, стать вождём. И так, при его осмотрительности, тонком чутье, он избегал занять самое первое место (да оно и стягивает людскую зависть и ненависть), но избрал находиться близко к нему, чтобы сохранять преимущества реальной власти. Его характер был – направлять события, но не брать полной ответственности за них, не имея уверенности в полной удаче, да ещё зная ненадёжность царского характера. Кривошеин имел поразительную чуткость угадывать смены настроений и авторитетов, благовременность шагов и действий. Он слыл устойчивым консерватором, был лично хорош с бюрократией, с придворными кругами, с каждым, кто становился влиятельным, даже стал близок царской чете, мил

императрице (через русские кустарные промыслы), доверенный советчик царя (и это он написал возвышенный царский манифест об объявлении германской войны), – но и, когда-то верный сподвижник ненавистного обществу Столыпина, с годами всё более приятен и приемлем для общества, а с крутым своенравным московским купечеством так и прямо связан через жену, Морозову (одновременно и обеспечен денежно всегда). Он был готов и к Столыпину, с 1896 года уже возглавляя Переселенческое управление, и к его земельной реформе (он раньше Столыпина уже работал в кругу этих проблем, но не имел волевого решения избрать спорящую сторону), и после смерти Столыпина много лет честно дорабатывал и реформу общины, и укрепление земледелия и землеустройства, и переселенчество, и довёл их за зримый победный перевал, – но при этом широко и доверчиво использовал общественную самодеятельную помощь, в земстве доверял “третьему элементу”, и тем благорасположил общество, особенно же своим небольшим киевским тостом в 1913 году:

В таком огромном государстве, как Россия, нельзя всем управлять из одного центра, необходимо призвать на помощь местные общественные силы и в их распоряжение предоставить материальные средства. Я считаю, что отечество наше лишь в том случае может достигнуть благоденствия, если не будет больше разделения на пагубное “мы” и “они”, разумея под этим правительство и общество, а будут говорить просто “мы” – правительство и общество вместе.

Он искал выход из конфликта, действительно основного для России с XIX на XX век: как прорвать органическое непонимание правительства и общества? Он решался стать посредником между ними. (Впрочем, кадетская “Речь” увидела в этом призыве бессилие и капитуляцию правительства. И министр-председатель Коковцов тоже выговаривал за него как за капитуляцию). Ещё умел Кривошеин, 7 лет министром, сохранять лучшие отношения с Думой, через личные отношения с влиятельными депутатами, и получать кредиты для земледелия, – и ни разу не выступить в самой Думе: в таком бы выступлении пришлось бы чётко формулировать взгляды и действия, а значит не угодить либо обществу, либо Верховной власти. А Кривошеин достигал невозможного: одновременного доверия и Государя и Государственной Думы!

Весть об убийстве Столыпина застала Кривошеина в Крыму, на даче. Его положение в кабинете было уже настолько видным, что он мог теперь ждать предложения занять пост премьера. Но – не хотел бы его принять. Однако в тот момент и отказаться было крайне неудобно: это выглядело бы как боязнь террористов. А Государь как раз ехал в Крым! Кривошеин же поспешил разминуться с ним, умчавшись в Киев на похороны.

Но то же самое увенчание карьеры было предложено ему Государем в Ливадии через 2 года – и Кривошеин уже открыто отказался, сославшись на болезнь сердца, что придётся публично выступать, а он слишком волнуется во время выступлений. Роковую черту высшей власти он переступить не посмел, у него не хватало дерзновения. А между тем уже становилось тесно ему в кабинете под рукой сухого Коковцова, и к тому же Коковцов, как министр финансов, более всего заинтересованный не в развитии производительных сил страны, но в накоплении мёртвого золотого запаса, отказывался широко кредитовать развитие земледелия и землеустройства (“такая бережливость разорительнее самых безрассудных трат”, – говорил Кривошеин). Чтобы сменить финансовый склероз развитием, Кривошеину же было и необходимо сменить Коковцова. На путях государственных интриг пригожаются и самые подозрительные карты: вот – правый князь Мещерский, утерявший прежнее царское благоволение, но Кривошеин всегда предвидел, что они снова сдружатся с Государем, из-за сходства взглядов на природу царской власти, и поддерживал субсидиями журнал князя, – и верно, Мещерский вернулся в фавор и теперь помог Кривошеину менять правительство: как министра финансов заменить Коковцова преданным Барком, а как премьер-министра -?... Мещерский уговаривал

Кривошеина принять пост самому. Но – снова отказался Кривошеин и предложил старика Горемыкина, с которым был в наилучших отношениях ещё с того давнего времени в конце прошлого века, когда министр Горемыкин сильно способствовал продвижению чиновника Кривошеина, а теперь мог занять высокий пост временно, не мешая Кривошеину вести власть в кабинете реально, а если понадобится – то старик и охотно уступит пост премьера. (Настоящей власти после Столыпина никому не дадут, – объяснял Кривошеин близким, – при ревливой подозрительности Государя премьеру достаётся больше ответственности, чем власти. А Коковцов, почти повторяя Столыпина: “В России первому министру опереться не на кого. Его жалуют, пока он не выдвигается слишком определённо в общественном мнении и не играет роль действительного правителя”). Вот такой длинной скрытой историей объяснялось, что в начале рокового 1914 дряхлый уступчивый Горемыкин возглавил правительство цветущей могучей России.

В этом правительстве Кривошеин и состоял фактическим премьером, и в конце 1914 ещё усилил свои позиции, введя в министры просвещения либерального земца графа Игнатьева, своего сторонника. (Царь, исключительно памятливым на лица и встречи, согласился охотно: он помнил, как 21 год назад граф Игнатьев, унтером преображенцев, был отличным запевалой после утомительных манёвров. Как вскоре затем и князь Шаховской был назначен министром торговли-промышленности при благодарной государевой памяти, как он в столыпинском сентябре благоустроил речную поездку Государя из Киева в Чернигов по плохосудоходной Десне, а в май 300-летия династии – чудесную поездку по Волге, и к тому же отлично совершенствовал и крымские шоссе, по которым Государя возили с большой скоростью). Горемыкин преднамеренно выдвигал Кривошеина на первый план и предоставлял ему действовать. По всем крупным вопросам они были согласны до лета 1915 года. Влияние Кривошеина распространилось и на общую политику, и на иностранную (было хорошее понимание с Сазоновым). Он носил звание “статс-секретаря Его Величества”, и это давало ему право устных приказаний от имени Государя, Однако в правительстве сохранялась группа министров, никак ему не подчинявшихся или в устойчивой оппозиции справа: Сухомлинов, Николай Маклаков, Щегловитов, Саблер. Внутренний конфликт вёл к тому – в интересах единогласности правительства – чтоб от этих министров освободиться. На заседаниях кабинета Кривошеин и Сазонов делали вид, что не видят и не слушают Маклакова. Отступление Пятнадцатого года ускорило события.

Полгода войны при сияющем оптимизме Сухомлинова и особенностях управления войсками, от которого правительство было отодвинуто, министры разделяли общее незнание о недостатках военного снабжения. Лишь в феврале 1915 года из частного разговора в Ставке Щегловитов и Барк узнали о катастрофической нехватке снарядов. Тут накладывалось весеннее отступление и возбуждение общественной оппозиции, – и среди министерского большинства возник тайный сговор – энергично убрать министров, ненавидимых обществом, иначе угрожая общей отставкой остальных. Первая мысль о том была Сазонова, а собирались тайно на квартире Кривошеина, – его кружок, и включая морского министра Григоровича, но без Горемыкина. Итак, возник мятеж внутри правительства! – но он казался благодетельным: успешное ведение войны возможно только в примирении правительства с общественностью. Сам Горемыкин не виделся им помехой, и слишком много было бы – просить убрать ещё и его. Все заменительные кандидатуры тотчас представил Кривошеин, он хорошо видел, кого брать.

Государь, хотя был возмущён, что одна группа министров сговорились за спиной других (“в полках так не делают”), но сдался: военные поражения смягчают к уступкам. Он был ошеломлён отступлением от Перемышля и Львова, не хотел ссориться ни со своими министрами, ни с обществом, и авторитет Кривошеина стоял у

него высоко как никогда. И как ни сердечно любил Государь Николая Маклакова – он согласился снять его с внутренних дел.

Смена военного министра потребовала больших усилий: Кривошеин поехал в Ставку раньше, чем туда вызывались другие министры, и энергично убедил сперва Николая Николаевича на замену Сухомлинова Поливановым. (Поливанов был настойчивая кандидатура Гучкова, с которым Кривошеин и дружил и был связан родственно). На июньском совете министров в Ставке, в Барановичах, торжественно опубликованная фотография, все министры в белых кителях, – не присутствовали Щегловитов и Саблер, и тем легче было тут же убедить Государя уволить и их. Горемыкин выполнял волю Кривошеина и тоже стремился к необходимому единству кабинета. Только министром юстиции назначили не кривошеинского кандидата, но горемыкинского – Хвостова-дядю. Зато уж обер-прокурором Синода был назначен Самарин, избранный Кривошеиным по его влиянию в Москве. Но объявление о смене этих двух было задержано Государем до начала июля.

А ситуация – утекала. В июне кадеты на конференции сформулировали свои обиды на правительство. Военные неудачи и дурная организация тыла шли для них даже на последнем месте, а раньше того наболело: почему оказывается недоверие общественной помощи, раздражающее наблюдение за сношением интеллигентных работников с нижними чинами (отбираются у раненых книжки революционных лет)? почему так круто гнали галицийское униатство и нет уступок в еврейском и польском вопросах? почему осуждены большевицкие депутаты, и террорист Бурцев, патристически воротившийся из эмиграции, не почтён, но отправлен в ссылку? Кадеты клонились теперь к тому, чтобы начать публично критиковать правительство, главную беду видели в составе его (не насытятся двумя отставленными министрами) и главное излечение в дальнейшей смене лиц: так пересоставить правительство, хотя б из бюрократов, но симпатичных, чтоб оно пользовалось доверием общества. (Это был новейший кадетский ход. Словом “доверие” прикрываюсь невозможное пока парламентское ответственное министерство. За такое легче агитировать, легче и добиться, – а потом оно постепенно превратится в “ответственное”). Кадеты намеревались теперь настаивать на созыве Думы и длительной сессии её.

Горячие головы предлагали собрать Думу явочным порядком, то есть не спросясь властей. Милюков охлаждал:

Вся Россия сейчас повёрнута лицом в сторону фронта. А если Дума соберётся явочным, революционным порядком – на секунду вся Россия повернётся с изумлением посмотреть на зрелище, которое может радовать только наших врагов. А сама “явочная” Дума будет без труда распущена. И получится бледная скверная копия выборгского воззвания... Или звать на помощь выступление масс? Правительство не отдаёт себе отчёта, что происходит “во глубине России”, но мы, интеллигентные наблюдатели, ясно видим, что ходим по вулкану. Характер сохраняемого равновесия таков, что достаточно лёгкого толчка, чтобы всё пришло в колебание и смятение. Это была бы вакханалия черни, новая волна мути со дна, которая уже погубила прекрасные ростки революции в 1905. Какова бы ни была власть – худа ли, хороша, но, твёрдая, она необходима сейчас более, чем когда-либо... Всё, что можно сделать, это – раскрыть глаза правительству и обновить кабинет без особого нажима.

Были голоса, что излечение страны – в амнистии революционерам и в кадетском правительстве, но лидеры – В. Маклаков, Шингарёв, Родичев, удержали, что всему тому не время, а надо помочь победе армии, даже забывая чистоту программы.

Отступление армий под Варшавой и едва ли не за Неман казалось современникам ни с чем не сравнимой военной катастрофой. Часть подробностей была в печати, другая нагонялась слухами. И кого же могла обвинить печать и молва, если не бездеятельное, неспособное, а может быть и злонамеренное правительство?

А царь молчал, замеревши в Царском Селе, как будто всё это отступление его не

касалось, не на его земле происходило?

И на кого же могла быть надежда, если не на Государственную Думу? Думцы самочинно съезжались в Петроград и требовали длительной сессии.

Тем временем на правительство стали давить и Союзы, Земский и Городов. Всё более видели они своей дальнейшей целью не столько военную победу России, от которой будет ли ещё прок для свободы, а – занять политические позиции для будущих конституционных изменений. Теперь на своих съездах в июне, требуя созыва Думы, они предупреждали правительство крепчайшим голосом:

Тот, кто умеет работать, – тот и будет хозяином страны.

Усильно распространялось убеждение, что правительство и весь государственный аппарат работать не могут, и всё больше отраслей снабжения фронта захватывали Союзы. И власть, как будто признавая худшее, что о ней думали, безропотно отдавала новые и новые поля деятельности в воюющей стране – самозванным комитетам, не подчиняя их никакому единому руководству. Общественные организации настаивали на своём бескорыстии и своей талантливости – и не было голоса, кто посмел бы усумниться.

Правительство, избалованное 10-месячной молчаливой поддержкой Думы, именно в эти горячие июнь-июль 1915 оказалось обнажённым, упрекаемым и всеми поносимым. В сводках уже появилось Рижское направление, а из угрожаемых Либавы и Риги, из полутысячи их заводов, не вывозили станков (то распорядился вновь возвышенный Курлов), – в таком раскалении снятие нескольких ненавидимых министров нисколько не ублажило разгневанное общество. 11-го июля Союзы самочинно созвали всероссийский *съезд о дороговизне* – раскалённую сковороду да оплеском! – что ещё можно придумать жарче против правительства? – общество само собралось обсуждать дороговизну! (Позвали и рабочих).

И верно, со стороны в отчаяние могла привести беспомощность, неуверенность, бездействие правительства, особенно в хаосе прифронтовых областей при отступлении. Невозможно было изобрести объяснение, и никто не давал его услышать гласно.

Мы ещё мало ведаем, как многое в великой истории народов зависит от ничтожных людей и ничтожных событий. В марте 1914 российский военный министр, болтун и царедворец Сухомлинов (более занятый капризами своей молодой красивой жены, чем обороной империи), рекомендовал императору назначить на пост начальника Генерального штаба – своего выслуженца, профессора военной администрации, вкрадчивого лжевоенного генерала Янушкевича. Как всегда при нашем троне, такие важнейшие назначения легко решались по расположению к просящему, не слишком сообразуясь с качествами, нужными для должности. Этот ничтожный самоупоённый Янушкевич начерпал России столько зла, что достало бы трём выдающимся злодеям. Упущений довольно набралось и прежде него, но за 3 месяца в должности он не только ничего не исправил, а даже не осмыслил, что нуждается в исправлении. Так в июле 1914 он оказался без плана частичной мобилизации и был тем главным советником и действователем, кто втянул царя во всеобщую мобилизацию, не оставляя России избежать злосчастнейшей войны. И в тот же роковой день 16 июля он подсунил императору, и никогда не слишком ретивому к скучным бумагам, а тут истомлённому кризисными днями, подписать, не вникая, ещё толстую бумажную пачку – “Положение о полевом управлении войск”.

По этому Положению, очень удобному для военных и для самого Янушкевича, поскольку он рассчитывал занять пост начальника штаба Верховного Главнокомандующего, – военному командованию отводилась полнота прав кроме театра военных действий также и на всей территории развёртывания вооружённых сил (куда входили Петербург и даже Архангельск!) – и не оставалось прав Совету министров даже в самой столице, ни даже порядка его сношений с Верховным Главнокомандованием, ни – как решаются на территории развёртывания



общегосударственные вопросы. Империя делилась на две отъёмные части: одна подчинена Ставке, другая правительству. Так один неконтролируемый случайный выскочка определил весь ход тыла.

Правда, Положение составлялось исходя из того, что Верховным Главнокомандующим будет сам Государь и примирит две части империи. Когда же оказался не он, то отмена военных распоряжений достигалась длинным путём: жалобой Государю, от него передавалось великому князю Николаю Николаевичу, а там всевластен был Янушкевич, который и объявлял правительству решение. Это еще не проявилось резко, пока мы не испытали глубоких отступлений. Но с началом отступления 1915 года такое сношение и вовсе не успевало. Прежде армии покатались назад военные администраторы, распоряжаясь уже глубиной страны. Невозможно было понять, чьи приказы следует выполнять. Приказывали любые этапные коменданты и прапорщики, а ответственных людей не было. Особенно хаотически производилась эвакуация, затеянная широко. Иным учреждениям давался приказ всего за несколько часов до сдачи города. Почти всем указывались места водворения без согласовки с теми губерниями, куда они направлялись. Так поезда с чиновниками, грузами и эвакуированные лазареты прибывали на места совершенно неожиданно, для них не было ни помещения, ни продовольствия.

Правительство повсюду теряло власть, но, ещё сложнее и горше, оно не могло о том заявить публично, ибо это подрывало бы Верховную власть, императора, и даже до сих пор не жаловалось самой Верховной власти. Министров прорвало 16 июля – на секретном заседании, всегда следовавшим за открытым обычным. (Старательный секретарь Яхонтов донёс нам крупные обломки тех заседаний). Когда остались одни, военный министр Поливанов заявил резко и театрально:

Считаю своим гражданским и служебным долгом заявить, что отечество в опасности.

Наступило нервное молчание. Ещё никто не заявлял перед полным правительством так сенсационно. (Впрочем, группа министров часто встречалась на даче Кривошеина на Аптекарском острове, и они были подготовлены сегодня к этому выступлению). Военный министр (но не военный человек), побывший в должности месяца и с трудом осведомлённый, но не замкнутой Ставкой, а по косвенным донесениям, теперь спешил заявить свои выводы. Приближаются моменты, решающие для всей войны. Пользуясь неисчерпаемыми запасами снарядов, немцы заставляют нас отступать одним артиллерийским огнём, не пуская в дело пехотные массы и не неся потерь, тогда как у нас люди гибнут тысячами. Нельзя предвидеть, чем и как нам удастся остановить наступление. Вера в военных вождей подорвана. Учащаются случаи дезертирства и добровольной сдачи в плен. Людей вливают в боевую линию безоружными, с приказом подбирать винтовки убитых.

Поливанов: Но особенно чревато последствиями, о чём больше нельзя умалчивать: в Ставке – растущая растерянность, ни системы, ни плана, ни одного смело задуманного манёвра. Вместе с тем Ставка ревниво охраняет свои prerogatives и не считает нужным посоветоваться с ближайшими сотрудниками. Печальнее же всего, что правда не доходит до Его Величества. На рубеже величайших событий в русской истории надо, чтобы русский Царь выслушал мнение всех ответственных военачальников и всего Совета министров. Приближается, быть может, последний час и необходимы героические решения. Наша обязанность – умолять Его Величество немедленно собрать под своим председательством чрезвычайный военный совет.

Министры, частью уже подготовленные, дружно согласились – ходатайствовать, причём указать Государю, что

население недоумеет по поводу внешне безучастного отношения Царя и Его правительства к переживаемой на фронте катастрофе.

Всех охватило возбуждение, шёл беспорядочный разговор. Да должны ж были

министры что-то узнать о ходе дела, наконец! И должны были быть услышаны! Даже в самой столице гражданская жизнь – продовольственный или рабочий вопрос, зависели больше от командующего 6-й армией, чем от них!

Кривошеин: Никакая страна не может существовать с двумя правительствами. Или пусть Ставка возьмёт на себя всё и снимет с Совета министров ответственность, или пусть считается с интересами государственного управления. Жутко становится за будущее. На фронте бьют нас немцы, а в тылу добивают прапорщики.

Князь Щербатов (внутренних дел): Губернаторы заваливают меня телеграммами о невыносимом положении с военными властями. При малейшем возражении – окрик и угрозы.

Хвостов (юстиции): Польские легионы, латышские батальоны, армянские дружины формируются без согласия Совета министров. А потом они лягут бременем на нашу национальную политику.

Рухлов (путей сообщения): Мы все так же работаем для России и не меньше господ военных заинтересованы в спасении родины. Невыносимо: все планы, предположения нарушаются произволом любого тылового вояки. Правительственный механизм разлагается, всюду хаос и недовольство. Нам, министрам, дают из Ставки предначертания и рескрипты.

За всё время войны ещё не было такого тяжёлого заседания правительства. И, кажется, все единодушно и неуклонно осуждали Ставку. Только предусмотрительный царедворец Горемыкин предупреждал:

Господа, надо с особой осторожностью касаться вопроса о Ставке. В Царском Селе накапливает раздражение против великого князя. Императрица Александра Фёдоровна, как вам известно, никогда не была расположена к Николаю Николаевичу и в первые дни войны протестовала против призвания его на пост Верховного Главнокомандующего. Сейчас же она считает его единственным виновником переживаемых на фронте несчастий. Огонь разгорается, опасно подливать в него масло. Доклад о сегодняшних суждениях Совета министров явится именно таким огнём.

И предложил – отложить, ещё хорошо подумать. Убедил министров.

Прошла неделя – не только не стало лучше, но 23 июля сдали Варшаву. Это произвело в стране оглушительное впечатление: Варшава – не рядовой город, но столица. Давно ли по её улицам демонстративно проводили лучшие сибирские дивизии, ещё не тронутые боями, как знак, что мы не отдадим Польшу немцам, – и с тротуаров, из окон, с балконов и крыш восторженно приветствовали их польки и поляки, поверившие в обещанную нами автономию. И вот – сдана?...

На другой день секретное заседание министров снова было напряжённо-нервное – уже при созванной Думе и всё большем общественном негодовании, подогреваемом печатью. У кривошеинского кружка стало расти раздражение и против Горемыкина. А критику Ставки стали поворачивать остриём на Янушкевича.

Кривошеин: Я не могу больше молчать, к каким бы это ни привело для меня последствиям. Я не смею кричать на площадях и перекрестках, но вам и Царю обязан сказать.

Министры дружно соглашались, что великий князь должен быть освобождён от Янушкевича. Этот поворот довёл до конца

Сазонов (иностранных дел): Ужасно, что великий князь в плену у подобных господ. Из-за таких самовлюблённых ничтожностей мы опозорили себя на весь мир. Его Высочеству не свойственно пренебрегать общественным мнением, он всячески старается привлечь его на свою сторону.

А уладчивый Горемыкин повторительно предупреждал:

Мой настойчивый совет: с чрезвычайной осторожностью говорить перед Государем о делах Ставки и великого князя. Раздражение против него принимает в

Царском Селе характер, грозящий опасными последствиями.

Для единства ли с обществом или наперекор царскому раздражению критика министров всё более поворачивалась не на великого князя, а лишь на Янушкевича. Да воинственный вид и высокий рост великого князя располагали к нему и армию и публику, его всё более возносили как национального героя, передавали легенды о его строгости к генералам и любви к простому солдату, и всем импонировала его известная ненависть к немцам. (До 1914 года общество не любило его, но он стал популярен за то, что явно не одобрял правительства). Теперь тяжесть отступления и брань о поражениях как будто не висла на нём.

19 июля, в годовщину войны, собралась Дума. Горемыкин глухо, неубедительно прочёл перед ней правительственную декларацию, составленную Кривошеиным:

Правительство идёт на путь усилий и жертв не иначе, как в полном согласии с вами, господа члены Думы.

Лидер кадетов отточенно возгласил, что Дума переходит от патриотического подъёма к патриотической тревоге. Правительство надменно считает себя способным справиться обветшалой бюрократической машиной...

(о, если бы ею-то дали!...)

...А источник ошибок – в ненормальном отношении с общественными силами. Народ хочет сам исправить, в нас он видит первых законных исполнителей своей воли.

Как всегда, русский либерализм говорил прямо от имени народа, от народного ума и чувства, не предполагая отличия или трещины между народом и собой.

Тон Думы и пафос её быстро повышался, с возбуждённым красноречием вносились сотрясательные запросы, особенно о хаосе в прифронтовой полосе, но не Ставке, это и в голову никому бы не пришло, а – всё тому же неказистому, нерасторопному, немому правительству. И министр внутренних дел Щербатов должен был выворачиваться, не смея открыть, что ему преграждена не только власть, но даже сведения о происходящем. Итак, обличительные речи падали на правительство, расходились по стране и за границу, вызывая всеобщее мнение о безнадёжной бездарности министров. Дума требовала уже и следствия и суда над виновниками худого снабжения фронта (и Совет министров учреждал следственную комиссию над своим недавним членом Сухомлиновым). И не проступал никто властный, кто мог бы услышать, принять к действию или не принять, но не закисать будто в неслышимости и параличе, как правительство. По нашему характеру всем было бы легче, если бы министры отбранивались, спорили, сами нападали, чем так вот трусливо жаться. Их скрытых обстоятельств никто не обязан был знать и не мог предположить. Во всех слоях населения думские речи произвели грозное впечатление и глубоко повлияли на отношение к власти.

А едва не больше всех других зажгли ниспровергательным духом промышленники, купцы и банкиры. Ещё в конце мая собрался их промышленный съезд, якобы для существенного дела, но нет: для поношения негодного правительства. К истерической речи Рябушинского добавил негодования и Коновалов. И началось движение предпринимателей: самим снабжать фронт, отобрав у правительства! Повсюду стали создаваться “военно-промышленные комитеты”, не везде успевая разграничиться между собой по географическим районам и областям деятельности, но все напряжённо-возбуждённые. Это движение перенял и возглавил Гучков, всегда предприимчивый, а тут и обиженный, за эти годы растеряв и свою партию октябристов и общественное лидерство. 25 июля он был избран председателем Центрального Военно-промышленного комитета – и уже 4 августа получил от правительства утверждение своего устава. (В этом ему помог родственник его и дружественный ему Кривошеин: стремительно ввёл проект через Горемыкина, не дали ознакомиться-подготовиться министрам, ни даже торговли-промышленности, впрочем

военный Поливанов был с Гучковым заодно, экстраординарно пригласили Гучкова на заседание кабинета, он держался огрызчиво, как в стане разбойников, и не дал ничего существенно исправить: представители желают служить бескорыстно и нечего здесь отвергать). И в газетах появились сообщения о кипучей деятельности военно-промышленных комитетов, спасающих страну, тогда как проклятое правительство губит её. Всё перемешалось: члены этих комитетов получили свободный доступ в военное министерство, в отделы заказов и заготовок, от них не стало там секретов, и всё распределение заказов между заводами стало зависеть теперь от них, возбуждая к ним заискивание производителей, а их патриотическое посредничество оплачивая за казённый же счёт процентом от многомиллионных военных заказов, – для воюющей страны достаточно безумная обстановка. Центральный Военно-промышленный комитет изображал теперь ещё одно правительство, более озабоченное ходом войны, чем Совет министров.

И – как же было Совету министров в этом общественном разгорячении? прежде всего с Думой? вместо работы, законопроектов её тон повышается. Всё ярче видны захватные стремления. Это уже не “штурм власти”, но наскок на власть.

Горемыкин: Дать ей короткий срок с условием провести законопроект о ратниках 2-го разряда и распустить.

И Кривошеин был вполне согласен: скорей прервать!

Собирая её, мы имели в виду короткую сессию, так до первых чисел августа. (Даже) середина августа – срок неприемлемый. Дума мешает нам проводить по 87-й статье экстренные мероприятия. Надо разъяснить благожелательным депутатам, которые хоть способны разговаривать с “ненавистой бюрократией”, невозможность в обстановке войны обходиться нормальным порядком законодательства.

Призыв ратников 2-го разряда был ещё одной непомерной и тиранической крайностью Ставки: не смеряться с национальными силами, с хозяйством тыла, великий князь требовал новые миллионы под ружьё (и даже не под ружьё, потому что ружей не хватало). Правительство разумно не хотело мобилизовать ратников. Но уж если мобилизовать, -

Щербатов: Безусловно важно провести закон о ратниках через Государственную Думу. Наборы с каждым разом проходят всё хуже и хуже. Полиция не в силах справиться с массой уклоняющихся. Люди прячутся по лесам и в несжатом хлебе. Без санкции Думы, боюсь, при современных настроениях мы ни одного человека не получим. Агитация идёт вовсю, располагая огромными средствами из каких-то источников.

Григорович (морской): Известно каких – немецких.

Щербатов: Не могу не указать, что агитация принимает всё более откровенно пораженческий характер. Её прямое влияние – повальные сдачи в плен.

Самарин (обер-прокурор Синода): В тылу разгуливает масса серых шинелей. Нельзя ли найти им более полезное применение на фронте?

Кривошеин: Обилие бездельников в серых шинелях, разгуливающих по городам, сёлам, железным дорогам и по всему лицу земли русской, поражает мой обывательский взгляд. Зачем изымать из населения последнюю рабочую силу, когда стоит только прибрать к рукам и рассадить по окопам всю эту толпу гуляк? Однако этот вопрос относится к области запретных для Совета министров военных дел.

Поливанов, чья язвительная раздражённость так и рвалась со всех привязей, из острых глазок, из выставленных челюстишек, докладывал, что положение на театре войны у этой Ставки – разгром и растерянность:

Уповаю на пространства непроходимые, на грязь невылазную и на милость угодника Николая Мирликийского.

Харитонов (государственный контроль): А на Кавказе шествие вперёд не

прекращается. Куда мы там, с позволения сказать, прём?

**Поливанов:** Известно куда – к созданию Великой Армении. Собрание земли армянской составляет основное стремление графини Воронцовой-Дашковой, жены Кавказского наместника.

Но едва ли не всего разрушительнее от нашего отступления на Западе катится волна беженства. Поднялась стихия – и никакие учреждения не могут ввести её в правильное русло.

**Кривошеин:** Из всех тяжких последствий войны – это самое неожиданное, грозное и непоправимое. И что ужаснее всего – оно не вызвано действительной необходимостью или народным порывом, а придумано мудрыми стратегами для устрашения неприятеля. По всей России расходятся проклятия, болезни, горе и бедность. Голодные и оборванные повсюду вселяют панику. Идут они сплошной стеною, топчут хлеба, портят луга, леса, за ними остаётся чуть ли не пустыня. Даже глубокий тыл нашей армии лишён последних запасов. Я думаю, немцы не без удовольствия наблюдают результаты и освобождаются от забот о населении. Устраиваемое Ставкой второе великое переселение народов влечёт Россию к революции и к гибели.

В 1812 году маневрировали сосредоточенные армии на небольших площадях, тогда беженство не было таким массовым. Теперь, обезьянничая с той войны, повторяют его при сплошном фронте, опустошают десятки губерний, вырывая миллионы из вековых жилищ, не смеряя, что же делать со скотом и лошадьми в век железных дорог. Только под жильё беженцев занято 120 тысяч товарных вагонов.

Но и ещё может быть удержался бы Янушкевич, при своём всевластии всё же недостаточно заметный рядом с великим князем, если бы он не применил такого же насильственного массового выселения во внутренние русские губернии и ко всем евреям, да ещё обвинив их сплошь в сочувствии к врагу и шпионстве. Янушкевич горел боязнью оказаться виновным в грандиозном отступлении – и так пришёл к злополучной идее свалить военные неудачи на евреев. И хотя все его меры утверждались же великим князем – внутри страны был безусловно обвинён Янушкевич. А извне – обвинена вся Россия. Ожесточённая реакция на Западе была мгновенна. Союзные правительства твёрдо указали, что надо с евреями примириться немедленно, иначе это отразится на положении России.

В начале августа этот вопрос большой спешности обсуждался на нескольких закрытых заседаниях русского правительства: повсюду на Западе (и от внутренних банков тоже) тотчас были обрезаны кредиты России на ведение войны, недвусмысленно закрыты все источники, без которых Россия не могла воевать и недели. Наиболее ощутительно это сказалось в Соединённых Штатах, ставших банкиром воюющей Европы.

**Щербатов:** Наши усилия вразумить Ставку остаются тщетными. Мы все вместе и каждый в отдельности говорили, писали, просили, жаловались. Но всеильный Янушкевич считает для себя необязательным общегосударственные соображения. Сотни тысяч евреев продвигаются на восток от театра войны – и распределение всей этой массы в границах черты оседлости невозможно. Местные губернаторы доносят, что всё заполнено свыше пределов вместимости, и кроме того они не отвечают за безопасность новых поселенцев ввиду возбуждённого состояния умов и погромной агитации возвращающихся с фронта солдат. Это приводит нас к необходимости хотя бы временно водворять эвакуируемых евреев вне черты оседлости. Эта линия уже и сейчас нарушается. Руководители русского еврейства настойчиво домогаются легальных оснований. В пылу беседы мне прямо говорилось, что среди еврейской массы неудержимо растёт революционное настроение. За границей тоже начинают терять терпение, пожелания принимают почти ультимативный тон: если вы хотите иметь деньги на ведение войны, то... Мы должны временно приостановить действие правил о черте оседлости. Нужен акт, который служил бы реабилитацией для

еврейской массы, заклеимённой слухами о предательстве. И надо спешить, чтоб не оказаться позади событий. Иначе значение жеста пропадёт.

**Кривошеин:** Министр финансов, который сейчас находится на растерзании в Государственной Думе, просит о таком акте в еврейском вопросе, который имел бы демонстративное значение. К нему на днях явились Каменка, барон Гинцбург и Варшавский с заявлением о всеобщем возмущении. Кратко беседа была: дайте, и мы дадим. Нож приставлен к горлу, ничего не поделаешь. Пока ещё вежливо просят, мы можем ставить условия: мы существенно изменим черту оседлости, а вы нам дайте денежную поддержку и окажите воздействие на печать, зависимую от еврейского капитала (это равносильно почти всей печати), в смысле перемены её революционного тона.

**Сазонов:** Союзники тоже зависят от еврейского капитала и ответят нам указанием прежде всего примириться с евреями.

**Щербатов:** Мы попали в заколдованный круг. Мы бессильны: деньги в еврейских руках, и без них мы не найдём ни копейки.

**Горемыкин:** Право жительства евреям – только в городах. Сельские местности мы обязаны оградить.

**Щербатов:** И есть убедительный мотив: в деревне растёт погромное настроение. Против него мы не в состоянии оберечь евреев, так как сельской полиции у нас почти не существует.

**Кривошеин:** Сами евреи отлично это понимают. Их и не тянет в деревню. Все их интересы связаны с городскими поселениями.

**Сазонов:** Я знаю из верного источника, что и всемогущий Леопольд Ротшильд не идёт дальше городов.

**Рухлов (путей сообщения):** Вся Россия страдает от тяжестей войны, но первыми получают облегчение евреи. Подтверждается поговорка, что за деньги всё покупается. Несомненно все узнают происхождение акта и мотивы. Какое впечатление это произведёт не на еврейских банкиров, а на армию и на весь русский народ? Как бы не явился взрыв возмущения и кровавые бедствия для тех же самых евреев. Постановка вопроса для меня неожиданна, я затрудняюсь дать ответ по чистой совести.

**Самарин:** Я вполне понимаю это чувство протеста в душе. Мне тоже больно давать своё согласие на акт, последствия которого огромны и с которым русским людям придётся считаться в будущем. Но таково сплетение обстоятельств, приходится жертвовать.

**Поливанов:** В качестве министра, ведающего казачьими областями, я обязан заявить, что едва ли право свободного жительства евреев применимо в этих областях даже в отношении городов. Казачьи городские поселения следовало бы изъять в интересах самих евреев. Казаки и евреи исторически никак не могли ужиться друг с другом, встречи их всегда кончались неблагополучно. Не надо упускать из вида и то, что казачьи отряды – главные исполнители приказов генерала Янушкевича о спасении русской армии от еврейской крамолы.

Через день, 6 августа, министры заседали вновь, и секретная часть началась с того же. Горемыкин доложил, что он сообщил Государю о суждениях министров – и Его Величество в принципе одобрил отмену черты еврейской оседлости в отношении городов. (На что он не согласился в 1906, когда настаивал Столыпин. Нужда убеждает. В это летнее отступление 1915 года отрыгались России три раздела Польши).

**Кривошеин:** Интересы народного хозяйства давно требуют привлечения широкой предприимчивости. Перенос с западной окраины еврейских предприятий даст толчок развитию промышленности и обеспечит подъём местной жизни. Евреи встряхнут сонное царство и растревожат изленившееся на покровительственной системе русское купечество. Да уже и теперь в самых исконных русских городах немало евреев, но по преимуществу богатых.

**Рухлов:** Моё чувство и сознание протестуют, что военные неудачи отзываются в первую очередь льготами евреям. И ещё: тут говорилось о финансовых и военных соображениях в пользу жеста. Но достаточно припомнить роль евреев в событиях 1905 года, и какой процент иудеев приходится на лиц, ведущих революционную пропаганду и участвующих в подпольных организациях. Я категорически отказываюсь дать свою подпись. Но не считаю себя вправе заявлять разногласие и переносить бремя столь кардинального вопроса на русского Царя.

**Щербатов:** Конечно, Сергей Васильич глубоко прав, указывая на разрушительное влияние еврейства. Но что же нам остаётся делать, когда нож приставлен к горлу? А деньги в еврейских кругах.

**Барк (финансы):** Не мы создали этот острый момент, а те, кого мы тщетно просили воздержаться от возбуждения еврейского вопроса казацкими нагайками. Сейчас заграничный рынок для нас закрыт, и мы там не получим ни копейки. Мне откровенно намекают, что нам не выйти из затруднений, пока не будет сделано демонстративных шагов в еврейском вопросе. Иного выхода я, как министр финансов, не вижу. Времена Минина и Пожарского, по-видимому, не повторяются.

**Кривошеин:** Я тоже привык отождествлять русскую революцию с евреями, но тем не менее подписываю акт о льготах. Будемте спешить. Нельзя вести войну сразу и с Германией и с еврейством, это непосильно даже для такой могучей страны, как Россия, хотя генерал Янушкевич и держится другого мнения.

Обсуждения исчерпались, стали готовить форму проведения.

**Горемыкин:** В настоящих условиях недопустимо возбуждение в Государственной Думе прений по еврейскому вопросу, они могут принять опасные формы и явятся поводом к обострению национальной розни. Нет уверенности в благополучном прохождении законопроекта. И длительный законодательный порядок лишит меру необходимой демонстративности и характера милости.

**Харитонов:** Поверьте мне – никто и не пикнет о незакономерности и не станет протестовать. Не только кадеты и более левые, но и октябристы сочтут долгом приветствовать акт, какие тут запросы и протесты.

**Барк:** Французские Ротшильды искренно желают помочь союзникам в победе над Германией. И Китченер неоднократно повторял, что для успеха войны одним из важных условий является смягчение режима для евреев в России. Наше сегодняшнее постановление крайне благоприятно отразится на наших финансах.

(Однако этого не произошло. В августе же союзники потребовали для начала отправить в Англию и в Америку четвёртую часть русского золотого запаса для обеспечения платежей по военным заказам.

**Харитонов:** Значит, с ножом к горлу прижимают нас добрые союзники – или золота давай, или на грош не получишь. Дай Бог им здоровья, но так приличные люди не поступают.

**Кривошеин:** Даже сам Шингарёв не одобряет поведения Лондона и Парижа. Они восхищаются нашими подвигами для спасения союзных фронтов ценою наших поражений, миллионами жертв, которые несёт Россия, а в деньгах прижимают не хуже любого ростовщика. А Америка пользуется обстановкой нажиться на несчастьи Европы.

**Шаховской:** Итак, мы под ультиматумом наших союзников?

**Барк:** Да. Если мы откажемся вывезти золото, то американцы будут требовать с нас золотом за каждое ружьё).

Затем стали обсуждать, какие же встречные условия выставить влиятельным еврейским кругам: чтоб они воздействовали на еврейскую массу в смысле прекращения революционной агитации, а также к перемене направления печати.

А тем временем ещё на заседании 6 августа ожидала министров новая встряска. До этой минуты во всём обмене мнениями генерал Поливанов принимал малое участие.

Он сидел мрачно и обычное у него подёргивание головы и плеча проявлялось особенно сильно. Затем Горемыкин попросил его сообщить о положении на театре войны. (Раньше Сухомлинов не баловал их такими сообщениями, ибо и сам не был осведомлён никогда). Поливанов приступил с охотой: как за ним заметили, чем мрачней и безнадежней были его сообщения (а он всегда их сгущал и преувеличивал), тем удовлетворённей он выглядел, если не радостней: он сообщал как будто о крушении противника. Так и сегодня он нарисовал картину разгрома:

Можно каждую минуту ждать непоправимой катастрофы. Армия уже не отступает, а попросту бежит. Малейший слух о неприятеле вызывает панику и бегство целых полков. Пока спасает наша артиллерия. Но снарядов почти нет. Ставка окончательно потеряла голову: противоречивые приказы, метание из стороны в сторону. Психология отступления проела весь организм Ставки. Вне пресловутого заманивания пространством не видят никакого исхода.

Никакого исхода! И по всем статьям, очевидно: для спасения России – Ставку надо менять! Всем Советом министров просить Государя: менять Ставку!

Но – нет, ещё худшее приготовил Поливанов для своих коллег:

Как ни ужасно то, что происходит на фронте, есть ещё одно гораздо более страшное событие, которое угрожает России. Я сознательно нарушу служебную тайну и данное мною слово до времени молчать. Сегодня утром Его Величество объявил мне о принятом им решении устранить великого князя и лично вступить в Верховное Главнокомандование.

И тут среди министров поднялось сильнейшее волнение! Все заговорили сразу, и поднялся такой перекрестный разговор, что невозможно было уловить никого отдельно.

Поразительно: казалось бы, насточертела им всем самоуправная Ставка, и оголтелый великий князь с интриганом Янушкевичем. Казалось бы: теперь-то, когда Государь возьмёт Верховное Главнокомандование, только и могло оправдаться действующее Положение о полевом управлении войск, ничего и менять не надо. Но нет! Именно этой новостью министры были оглушены более всего.

Поливанов: Зная подозрительность Государя и его упорство в решениях личного характера, я пытался с величайшей осторожностью его отговаривать. Сейчас по состоянию наших сил нет надежды добиться хотя бы частных успехов, тем более надеяться на приостановку победного шествия немцев. Я не счел себя вправе умолчать о возможных последствиях во внутренней жизни страны, если личное предводительствование Царя войсками не остановит продвижения неприятеля. Подумать жутко, какое впечатление произведёт на страну, если Государю пришлось бы от своего имени отдать приказ об эвакуации Петрограда или Москвы. Его Величество ответил, что всё им взвешено, и решение неизменно.

Щербатов: Именно теперь, в самый неблагоприятный момент! Рост революционных настроений. В письмах, полученных через военную цензуру, во многом винят самого Государя. А великий князь, несмотря на всё, происходящее на фронте, не потерял своей популярности, и пользуется благорасположением среди думцев за своё отношение к общественным организациям!

– то есть Земгору. В этом был и ключ: а вдруг царь станет ограничивать Земгор? Общественность истолкует неприязненно. Народное впечатление будет глубоко задето: за что сняли великого князя? И как же быть, его фотографии всюду. И как же Государь, став Верховным, сможет отлучаться в столицу? Да со времён Петра I цари не становились сами во главе армии!

... И если Его Величество отправится на фронт, я не могу поручиться за безопасность Царского Села. Войск там почти нет, полиция недостаточна. Кучка предприимчивых злоумышленников – и гарнизон окажется в тяжёлом положении. От сообщённого легко потерять равновесие.



**Горемыкин:** Я должен подтвердить слова военного министра. Его Величество уже несколько дней назад предупредил меня. А я предупреждал вас с осторожностью касаться вопроса о Ставке.

**Сазонов:** Как же вы могли скрыть от своих коллег по кабинету эту опасность? Решение Государя пагубно!

**Горемыкин:** Я не считал для себя возможным разглашать то, что Государь повелел мне хранить в тайне. Я сейчас говорю об этом лишь потому, что военный министр счёл возможным нарушить тайну и предать её огласке без соизволения Его Величества. Я человек старой школы, для меня Высочайшее повеление – закон. Должен сказать, что вы никакими доводами не убедите Государя отказаться от задуманного им шага. В данном решении не играют роли ни интриги, ни чьи-либо влияния. Оно подсказано сознанием Царского долга. Я так же просил отложить это решение до более благоприятной обстановки. Но Государь, отлично понимая риск, не хочет отказаться. Нам остаётся склониться перед волей нашего Царя и помочь ему.

**Сазонов:** Бывают обстоятельства, когда обязанность верноподданного настаивать перед царём. Надо учитывать и то, что увольнение великого князя произведёт крайне неблагоприятное впечатление на наших союзников, которые в него верят. Нельзя скрывать и того, что за границей мало верят в твёрдость характера Государя и боятся окружающих его влияний.

**Кривошеин:** Вполне соответствует душевному складу Государя и мистическому пониманию своего царского призвания. Но абсолютно неподходящий момент. И правительство поставлено предрешённо перед актом такой величайшей исторической важности. Ставятся ребром судьбы России и всего мира. Протестовать, умолять, настаивать, просить, удержать Его Величество от бесповоротного шага! Ставится вопрос о судьбе династии, о самом троне, наносится удар монархической идее, в которой вся сила и будущность России! Народ ещё с Ходынки и японской кампании считает Государя несчастливым, незадачливым. Напротив, великий князь – это лозунг, вокруг которого объединяются великие надежды. Нужно иметь особенные нервы, чтоб выдерживать всё происходящее.

**Щербатов:** Решение Государя будет истолковано как влияние пресловутого Распутина. Об этом влиянии уже идут толки в Государственной Думе, и боюсь, как бы не возник скандал.

**Харитонов** даже пугал, как бы нервный, впечатлительный, самолюбивый великий князь не оказал из Ставки сопротивления. Поливанов разводил руками: всё может быть. Другие отклонили, не поверили.

**Барк:** Решение Его Величества ухудшит наш кредит. Царь во главе армии – это наша последняя ставка.

**Шаховской:** Просить аудиенции всему Совету министров и умолять Государя о пересмотре решения.

Все были напряжены сверх меры, и только преклонный председатель сохранял спокойное углубление в отстранённую мудрость. Он был председателем и того правительства, год назад, когда они дружно отговорили Государя брать Главнокомандование.

**Горемыкин:** Я против такого коллективного выступления. Вы знаете характер Государя и какое впечатление на него производят подобные демонстрации. Государю и без того нелегко, чтобы нам ещё тревожить его нашими протестами. Я уже всё сделал, чтоб удержать Государя. Но решение его непоколебимо. Я призываю вас преклониться перед волею Его Императорского Величества, сплотиться вокруг него в тяжёлую минуту и посвятить все силы нашему Монарху.

Но обновлённый, олиберальный совет министров уже был не таков, чтобы слишком возвышенный призыв председателя произвёл тут впечатление: даже не все и вслушались, продолжали горячо о том, как отговаривать. Кривошеин смотрел на

Горемыкина с грустью и удивлением: он сам его на этот пост предложил, и полтора года старик дружественно соглашался, выполнял, ладил. И вот первый раз он упорно закрепился на своём, и вот когда Кривошеин пожалел, что не взял премьерства. Теперь, хоть и пренебрегая стариком, не могли министры без своего председателя обращаться коллективно. Оставалось все умоления Государя поручить Поливанову, кому и доверена была тайна. Все были возбуждены и даже раздражены: как мог Государь принять такое решение, не посоветовавшись с правительством?!

А Государь уже несколько месяцев готовился к этому решению. Он никогда не мог простить себе, что во время японской войны не поехал стать во главе Действующей армии. Долг царского служения – в момент опасности быть среди войск. В первые дни нынешней войны Государь твёрдо хотел брать на себя Верховное Главнокомандование, но в те дни его отговорила сплотка негодующих министров. А дядя (Николаша), его бывший эскадронный в гусарском полку, стал очень видное лицо в русской армии, и мог пока естественно возглавить её, – и так был назначен Верховным Главнокомандующим, хотя государыня уже и тогда была против этого назначения. С тех пор Государь постоянно сожалел, что не взял на себя своего естественного жребия. Его многочисленные поездки на фронты и смотры полков были попыткой соединиться с армией, хотя бы и помимо Ставки. Он любил свою армию и себя в армии, и ревновал к Николаше. Теперь же, когда на фронте наступила катастрофа, – Николай тем более считал своим священным и мистическим долгом стать во главе войск, вместе с ними победить или погибнуть. (А к тому ж переход на военное существование обещал освободить его от тягостных тыловых проблем, размышлений, министерских приёмов и петербургских сплетен).

Государыня давно разделяла такое его решение и укрепляла в нём. Ещё с первой военной осени она заподозрила, что Николаша, пользуясь Верховным Главнокомандованием, хочет перенять себе трон. Подтверждение этого она видела затем во многих действиях и манерах Николая Николаевича. Он не делал Государю регулярных военных докладов. Миную Государя, вызывал к себе в Ставку министров для объяснений и указаний, и ряд дел Государь получал уже решёнными в Ставке помимо него. Николай Николаевич слишком много занимался делами всего государства, а не фронта. (Разжигали и подпольные открытки с изображением Николая Николаевича и подписью “Николай III”). Нам сохранились те из настойчивых внушений государыни, которые были высказаны в письмах во время разлук. (Помещая их рядом с публичными выступлениями других лиц, приём неравноправный, мы надеемся на смягчающую поправку читателя: может быть те все среди близких выражались и грубей).

Он старается играть твою роль. Перед Богом и людьми никто не имеет права, как он это делает. Он наделает беды, а потом тебе будет трудно исправить. Он так мало понимает во внутренних делах и нашу страну, но импонирует министрам громким голосом и жестикующей. Все возмущены, что министры отправляются с докладами к нему. Говорят, что Государя лишили власти. Нашего Друга и меня одинаково поразило, что Николаша, отвечая губернаторам, составляет телеграммы в твоём стиле. (К тому ж) это вина Николаши и Витте, что вообще существует Дума. Николаша далеко не умён, упрям – и его ведут другие. Его подстрекают его черногорки. Он действовал неправильно – к твоей стране, к тебе и к твоей жене. И так как он пошёл против Человека, посланного Богом, – его дела не могут быть угодны Богу, и мнения его не могут быть правильными. Человек, который сам стал предателем Божьего человека, – не может быть угоден Богу.

И отсюда советы к действиям:

Чёрт бы побрал Ставку! – оттуда добра не может быть. Солдатам нужен ты, а не Ставка. Ты не должен смотреть глазами Николаши, но заставить его смотреть твоими. Нужна неколебимая власть среди развала. Помни, что ты – император, и другие не

смеют брать на себя так много. Ты долго царствуешь и имеешь больше опыта, чем они. Пошли Господь тебе больше уверенности в твоей собственной мудрости, чтобы ты не слушался других, но только нашего Друга и твоей души. Никогда не забывай, кто ты есть и что ты должен остаться самодержавным императором. Иногда хороший громкий голос и строгий взгляд делают чудеса. Будь решительней и уверенней в себе! Они должны лучше помнить, кто ты такой.

Так за весну и лето 1915 созревало решение Государя сместить Николая Николаевича и взять на себя Верховное Главнокомандование – одновременно разрушив затеваемый (только болтаемый) в Ставке заговор уволить императрицу в монастырь.

И в эти же месяцы, уступая негодованием общества, Государь сменил нескольких министров. Часть этих смен произошла с ведома и согласия императрицы. Все снятия она считала правильными. Так, министр юстиции Щегловитов, хотя и очень правый, не нравится на своём месте. Не обращает внимания на твои приказания, разрывает прошения, пришедшие, по его предположению, через нашего Друга.

И разделяла тяжёлое сердце Государя при отставке Сухомлинова. Но императрица не уследила за всеми назначениями новых министров, часть этих назначений была внушена Государю и подписана в Ставке, в отлучке из дому, – и быстро оказалось, что назначения эти неудачны.

Прости, но мне не нравится выбор военного министра. Такой ли человек Поливанов, на которого можно положиться? Хотелось бы знать все основания, которые у тебя были? Возможно ли, чтоб он разошёлся с Гучковым? И не враг ли он нашего Друга? А это всегда приносит несчастье.

А Щербатов, неизвестно почему назначенный с коннозаводства, потому ли, что брат его – адъютант Николаши,

трус и тряпка. Даёт слишком большую волю печати. Вероятно и он враждебен нашему Другу, а потому и нам.

Но хуже всего обернулось с Самариним в роли обер-прокурора Синода:

Я в отчаянии от его назначения. Он – из скверной ханжеской клики, московской банды, которая опутает нас как паутина. Теперь у нас опять начнутся истории против нашего Друга, и всё пойдёт дурно. Я несчастна с тех пор, как услышала об этом назначении. Его предложил Николаша, специально зная, что он будет вредить Григорию. Глуп, нахал, дерзко разговаривал со мною. Я чувствовала его антагонизм. Он не успокоится, пока он меня, нашего Друга и Аню не впутает в беду. При первой же встрече говори с ним очень твёрдо, что ты запрещаешь всякие интриги против нашего Друга или разговоры против него. Ты – глава и покровитель Церкви, а он старается подорвать тебя в глазах Церкви, начинает сомневаться в твоих приказаниях. Самарин упадёт в яму, которую он для меня роет. Россия не разделяет его мнения. Мы должны выгнать Самарина, и чем скорее, тем лучше. Кто угодно лучше него... Если бы ты знал, какие слезы я сегодня проливала, ты бы понял огромную важность этого, это не женская чепуха, но настоящая правда.

И ещё, при таком опасно изменённом составе правительства, почему ты должен ездить к Николаше в Ставку и собирать своих министров там? Могут воспользоваться твоим сердцем и заставить сделать тебя вещи, которых ты бы не сделал, если бы был тут. Меня – боятся и приходят к тебе, когда ты один. Меня боятся, зная, что моё дело правое.

Но вот – все убеждения и колебания были, кажется, позади, и в горшую минуту отката русских войск Государь принимал бремя Верховного. Своего доверенного военного министра Поливанова (не понимая его истинного настроения) он 9 августа послал в Ставку, чтобы тактично, негласно объявить Николаше решение и столкнуться с ним о порядке сдачи командования. Великому князю предлагалось принять пост Кавказского наместника вместо Воронцова-Дашкова.

Для великого князя отставка в период сплошных неудач была как бы открытым признанием негодности. Но он – перенёс удар, не взбунтовался, даже как милость воспринял, что его не вовсе отставляют, а посылают командовать Кавказом, – и только одного настоятельно просил: отпустить с ним туда же драгоценного Янушкевича. Напротив, Янушкевич и другие штабные чины испытали полное разочарование, и на ближайшие недели Ставка как бы забастовала: мало прикасалась к работе и к руководству отступающей армией.

Но и тут же Государь ответил великому князю, что смена командования произойдёт не так быстро, в течении недель.

А города сдавались за городами. Под салюты немецких фугасов 5 августа сдано было Ковно (комендант Ковенской крепости генерал Григорьев сбежал), к 15-му – Гродно и Брест-Литовск. Многим не верилось, что такое отступление происходит не от измены. Рабочие Коломенского завода и некоторых других волновались, обвиняя своё правление в нежелании напрячь производительность предприятия и в угоде немецким интересам. Волнения грозили насилием. Рабочие готовили депутацию, но не к правительству, настолько было всюду втолковано, что оно ничтожно, а в Думу и в Ставку. Министры спешили просить Родзянку не принимать таких депутатий (а он любил).

Горемыкин: Председатель Государственной Думы находится в таком возбуждённом состоянии, что разговаривать с ним бесполезно. Министру внутренних дел и военному надо принять все меры к прекращению безобразий. Мы знаем, к чему приводят мирные депутатии.

Шаховской: Вообще сейчас на заводах настроения напряжены до последней степени. Рабочие повсюду ищут измены, предательства, саботажа в пользу немцев, увлечены поисками виновников наших неудач на фронте.

Щербатов: Настроением рабочих пользуется революционная агитация, раздувает в массах патриотическое негодование о нехватке снарядов. Этот вопрос самый модный и в Думе, и в обществе, и в печати. На нём удобно создать почву для беспорядков. Кому-то важно любыми способами вывести толпу на улицу.

Но и снова же, снова тяжело обсуждали, как остановить решение Государя, пока оно не объявлено официально.

Самарин: Я был в Москве и не присутствовал на последних заседаниях. Дай Бог, чтоб я ошибся, но я жду от перемены Верховного Главнокомандования грозных последствий. Смена великого князя и вступление Государя Императора явится уже не искрой, а целой свечою, брошенной в пороховой погреб. Революционная агитация работает не покладая рук, стараясь всячески подорвать остатки веры в коренные русские устои. И вдруг громом прокатится весть об устранении единственного лица, с которым связаны чаяния победы. О Царе с первых дней царствования сложилось в народе убеждение, что его преследуют несчастья во всех начинаниях. Я хорошо знаю многие местности России и особенно близко Москву и утверждаю, что весть будет встречена как величайшее народное бедствие. Надо на коленях умолять Государя не губить свой престол и Россию. Неужели ближайшие слуги Царя не могут добиться, чтоб их выслушали? Как же они тогда могут вести государево дело?

Горемыкин не терял взвешенного хладнокровия:

Наша беседа может завести так далеко, что и выхода не будет.

Но дошло до сведения министров, будто Государь, приняв звание Верховного Главнокомандующего, обоснует свою Ставку в Петрограде, так что она будет как бы и не Ставка, тут рядом, а на фронте всем будет верховодить генерал Рузский, у которого, кажется, прекрасные отношения с генералом Алексеевым. Это сразу было воспринято как облегчение: существенные плюсы – устранение Янушкевича, и непосредственная близость Ставки к правительству, и даже может быть, наконец, объединение

гражданской и военной власти? Или, напротив, эта близость приведёт к ещё большему сумбуру?

Кривошеин, мастер составлять толковые бумаги, предложил: если смена командования, действительно, решена бесповоротно, то как бы сделать её мягче и понятнее народу? Просить Государя объявить свою монаршую волю в форме всемилостивейшего рескрипта на имя великого князя и в нём объяснить: не в победное время Царь идёт делить опасности с войсками, он готов погибнуть в борьбе с врагом, но не отступить от долга. И как он ценит великого князя. Кривошеин уже набрасывал и проект. Таким рескриптом можно сгладить многие углы, и великому князю тоже не будет обидным перемещение.

Сазонов взялся доложить эту мысль царю на своём ближайшем докладе. (Один Самарин упорно возражал, что нужен не рескрипт, а отговаривать). Государь одобрил и просил представить проект рескрипта поскорее.

Между тем: слух о смене Главнокомандования просачивался шире, о нём узнал и шумливый кипливый Родзянко. Как “второе лицо” в государстве, как супер-арбитр он кинулся в Царское Село отговаривать Государя. 11 августа Государь принял его, неблагосклонно, стоял на бесповоротности своего решения. Тогда Родзянко кинулся ругать правительство. Он застал их на заседании, вызвал в вестибюль Кривошеина как самого влиятельного из министров и расположенного к обществу, и стал ругать его, что правительство не сопротивляется Государю. Кривошеин уклонился, что он всего лишь министр земледелия. Тогда Родзянко вызвал Горемыкина. Но этот тем более поддавался: правительство делает, что подсказывает совесть, а в советах со стороны не нуждается. Родзянко воскликнул:

**Я начинаю верить тем, кто говорит, что у России нет правительства!**

– и, не прощаясь, с сумасшедшим видом бросился к выходу. Он был уже так невменяем, что когда швейцар подал ему забытую трость – он закричал: “К чёрту палку!”, и вскочил в экипаж.

На другой день Родзянко послал Государю письменный доклад, распространённый затем по читающим рукам:

Государь! Вы являетесь символом и знаменем – и не имеете права допустить, чтобы на это священное знамя могла пасть какая-либо тень. Вы должны быть вне и выше органов власти, на обязанности которых лежит непосредственное отражение врага. Неужели вы добровольно отдадите вашу неприкосновенную особу на суд народа, – а это есть гибель России. Вы решаетесь сместить Верховного Главнокомандующего, в которого безгранично ещё верит русский народ. Народ не иначе объяснит ваш шаг, как внушённый окружающими вас немцами. В понятии народном явится сознание безнадежности положения и наступившего хаоса в управлении. Армия упадёт духом, а внутри страны неизбежно вспыхнет революция и анархия, которые сметут всё, что стоит на их пути.

Сумбурный толстяк начал как будто и убедительно, Государь и сам мучился этой мыслью: если под его предводительством не изменится ход отступления – что будет с авторитетом престола? Но дальше Родзянко превзошёл все ступени бестактности и, как это он умел, лишь отвратил от своих доводов.

И так слух о смене любимого Главнокомандующего перекидывался всё шире, уже узнавала Дума, Земгор, Петроград, Москва – и все, разумеется, негодовали.

В правительстве радовались, что смена, однако, затягивается: может быть, Государь и отвратится? А нельзя ли направить его возглавление не на фронт, а на дела тыла? А между тем отступление продолжается – и доверие масс к великому князю быстро падает. При некоторой ещё оттяжке может быть вступление Государя станет и допустимым? Лишь Самарин категорически настаивал, что государев шаг – смертельный риск для династии и для России. Поведение Поливанова, и всегда с преднамеренностью и задней мыслью, становилось всё более противоречиво: он был и

против принятия Главного командования Государем, и науськивал против великого князя, и настраивал министров против Горемыкина. А Кривошеин рассуждал так, всё более объёмно:

Длить создавшуюся неопределённость дальше нельзя хотя бы потому, что с нею длится и генерал Янушкевич. Его присутствие в Ставке опаснее немецких корпусов. Кроме того зло в значительной степени уже сделано: решение Государя ни для кого не секрет, о нём говорят чуть не на площадях. Дальнейшие задержки могут отнять у царского намерения то, что в нём есть красивого. Без замедлений просить Государя о созыве военного совета с участием правительства для пересмотра плана войны. Наилучшее место для такого собрания – Ставка, присутствие великого князя безусловно необходимо. Его Величество обладает таким исключительным талантом обходиться с людьми, даже заведомо ему несимпатичными, что сумеет произвести впечатление добрых отношений с великим князем. И если нам суждено пройти через смену командования, после военного совета это будет как бы следствием совещания с правительством и военачальниками. Это смягчит остроту в общественном сознании. Все с тревогой говорят, что сверху не видно никаких действий.

А Государь все недели и все дни – мучительно думал. Он поехал в Елагин дворец к матери, и она отвечала ему то же: ты не подготовлен к такой роли, и тебе этого не простят, не веди Россию к гибели, и государственные дела требуют твоего присутствия в Петрограде. Не повтори ошибку Павла I: и он в последний год стал удалять от себя всех преданных людей.

И верный старик Воронцов-Дашков тоже отсоветывал: сейчас вы – глава государства и судья. А сделаетесь главой войска – можете быть судимы.

И ещё многие уговаривали подобно, гня и испытывая волю Государя.

И только неумолкающий, лучше всех слышимый голос царственной супруги поддерживал взятое направление:

Скромность есть высший дар Бога, но верховный повелитель должен показывать свою волю чаще. Будь уверенней в себе и действуй! Будь энергичен ради твоего собственного государства. Все пользуются твоей ангельской добротой и терпением. Ты чуточку медлителен в решениях, а колебаться никогда не бывает хорошо. Ты должен показать, что у тебя свои решения и своя воля. Будь твёрд до конца, дай мне в этом уверенность, иначе я заболею от тревоги. В России, пока народ необразован, надо быть господином.

Ото всей этой разногласицы Государь, видимо, ослабел, и решённая смена никак не происходила. Ни на что в жизни ему не приходилось решаться так трудно. Самое ужасное: кому же верить? кто же говорит истину? Опыт октября 1905 с Витте Государь вспоминал как кошмар: непоправимо ужасно – уступить, когда уступать не надо. Вот, на него наседали министры в мае: уволь только вот этих четырёх министров, и сразу всё пойдёт хорошо. И он – уволил четверых, и своего любимого преданного Николая Маклакова, – и чем же смягчил общество? Всё равно не угодил, не умилился, как если б и не увольнял: Дума заявляла теперь, что и с нынешним правительством работать невозможно. И новые министры не изобрели же новых способов управления. Как будто добавил четырёх министров вовсе и не левых – а правительство в целом сильно полевело, и еле сдерживал его старый верный Горемыкин. Уступки, нет, никогда не приводили к лучшему. Чтобы спасти Россию, чтобы Бог не оставил её – может быть и вправду нужна искупительная жертва, – вот Государь и станет этой жертвой. И если нужно будет отступать до крайности – он и возьмёт это отступление на себя. Но вместе с тем не мог Государь забыть и своей извечной неудачливости: все несчастья, которых он опасался, всегда на него падали, не удавалось ему ничто предпринимаемое. Он теперь молился – наедине и в разных церквях, и с государынею ездили в Казанский собор. Он уверял себя, что тут – не только внушения её и Григория, но когда он стоял в церкви Большого царскосельского дворца против большого образа

Спасителя – какой-то внутренний голос будто убеждал его утвердиться в принятом решении. Всю жизнь он страдал от робости – но надо было её превозмочь!

А между тем смена командования всеми перемалывалась – и не происходила. Наконец, и для великого князя обращалось из милости в позор. (Ещё и Распутин кому-то заявлял, что это он убирает князя). Николай Николаевич нервно просил ускорить его перемещение на Кавказ. Обиженного Янушкевича уже убрали, заменив генералом Алексеевым.

Кривошеин: Я не ожидал такой недостойной выходки от его высочества. Как бы ни были тяжелы личные переживания, он не имеет права бросать армию на произвол судьбы.

Самарин: За последнее время возобновились толки о скрытых влияниях, которые будто бы сыграли решающую роль в вопросе о командовании. Я откровенно спрошу об этом у Государя, имею на это право. Когда Его Величество предложил мне принять пост обер-прокурора, он лично мне сказал, что все эти росказни придуманы врагами престола. Сейчас я напомню о нашей беседе и буду просить уволить меня. Готов до последней капли крови служить своему законному Царю, но не... Надо положить предел распространению толков, подрывающих монархический принцип сильнее, чем всякие революционные выступления.

Горемыкин: Я неоднократно говорил, что решение Государя бесповоротно. Вместо того чтобы изматывать его нервы нашими ходатайствами, наш долг сплотиться вокруг Царя и помогать ему.

Шаховской: Я был против перемены командования. Но сейчас уже поздно перерешать, ибо все знают о намерении Его Величества. Отказ будет истолкован как признак слабости воли и боязни.

Кривошеин: С великим князем, по-видимому, кончено. Популярность его упала не только в войсках, но и среди мирного населения, возмущённого наплывом беженцев и бесконечными наборами в то время, когда некому убирать великолепные хлеба. Есть пример в истории. Когда наше отступление перед Наполеоном приняло чересчур поспешный и безнадёжный характер, то Аракчеев, Шишков и Левашёв потребовали отъезда Александра I из армии: если бьют Барклай – Россия только огорчится, если же будут бить Императора Всероссийского, то Россия этого не вынесет. Пусть генерал Алексеев сыграет роль Барклайя, а Государь пусть собирает армию в тылу.

Да правительство теперь не было уверено, что само-то оно долго останется в Петрограде, тайно предусмотрительно обсуждало, не начать ли эвакуацию сокровищ Эрмитажа, дворцов, Публичной библиотеки – водными путями, до Нижнего Новгорода. Но опасались этим породить панику: и без того уже в столицах выбирали вклады из сберегательных касс в опасных размерах. А генерал-адъютант Иванов предлагал эвакуацию позади Юго-Западного фронта глубиной в 100 вёрст, а через несколько дней, и вовсе никого не дожидаясь, стал готовить эвакуацию Киева, даже не спрося правительство.

Щербатов: Военные власти окончательно потеряли голову и здравый смысл. Вся местная жизнь перевернута вверх дном. Лучше погибнуть в последнем бою, чем подписывать смертный приговор России.

Харитонов: Со всех сторон вопли, что людей бессмысленно напрасно разоряют. Хорошо бы Государю лично посмотреть, что творится с эвакуацией. Надо передать её из рук скоропалительных прапорщиков в руки опытных гражданских администраторов. Злость берёт от нашего бессилия перед генеральской отступательной храбростью.

Кривошеин: У меня вся душа переворачивается при мысли, что Киев – мать русских городов, вековая русская святыня, обрекается на ужасы эвакуации. Действительно, невероятные условия созданы отмежеванием части России под театр военных действий. Надо умолить Его Императорское Величество на созыв военного

совета, элементарную меру, о которой 13 месяцев не желали подумать. История не поверит, что Россия вела войну и пришла к краю гибели вслепую, что миллионы людей приносились в жертву самомнению одних, преступности других. Военный совет и выработал бы план дальнейшего ведения войны и строгого порядка эвакуации.

У населения отбирали запасы, расплачиваясь какими-то бонами. Штабы отступали как в безумии – не во временный отход, но так разоряя местность – сжигая посевы, постройки, убивая скот, угрожая оружием землевладельцам – как будто никогда не надеясь вернуться. От генеральских распоряжений отступающие войска провожались проклятиями. Смоленская губерния и соседние стонали от наплыва беженцев, нехватки продовольствия, перегрузки солдатами. Санитарные поезда и военные грузы стояли в пробках на железных дорогах, оставленный вослед за Янушкевичем стратег Данилов-чёрный на одной из станций пировал в поезде. А Ставка уже проектировала отодвинуть границы театра войны – границу своей сумбурной власти и правительственного безвластия – ещё вглубь страны, до линии Тверь-Тула.

Щербатов: Невозможно отдать центральные губернии на растерзание орде тыловых героев. Упразднение нормальной власти – на руку революции.

Кривошеин: Людей охватывает какой-то массовый психоз, затмение всех чувств и разума.

Правительством овладела и высшая нервность, и чувство бессилия. Министры горячо и подолгу обсуждали все проблемы, и обрывали обсуждения, и не решались постановить, и сами всё более видели, что от их обсуждений ничего не зависит. У них не было мер и методов воздействия, и даже при крайнем возмущении они не находили, как заставить, а только – поговорить, предупредить, внушить. Они ни в чём не проявляли решительности, категорического мнения, противостояния. Не только отобрана была от них четвёртая часть страны в управление генералов, но и в остальной её части они не имели ни в ком опоры, ощущали себя как бы висящими в воздухе. По рождению правительства и подчинению его естественная поддержка могла быть от монарха – но тот почти не ставил их ни во что, устранился от них и не прислушивался к их мнениям. Земский и городской Союзы распоряжались по всей стране, не спрашивая правительства. Дума и общество всё ярее действовали захватно, игнорировали правительство нарочито – а в законодательной деятельности Дума только тормозила всё, так что ни одного серьёзного закона уже нельзя было провести, тем более спешного.

Кривошеин: Даже конвент запрещал общение палаты с чернью. А у нас пока, слава Богу, ещё нет революции. Но такое время может оказаться неожиданно близким. Не желают помнить проявляемую правительством мягкость и пользуются для агитационных целей.

Харитонов: Дума сорвалась с цепи и кусает всех направо и налево, Царь не доверяет своим министрам, – не уявися, что будет.

Население питалось слухами о взяточничестве при военных заказах, возбуждаясь сенсационными листками со вздорными известиями. В Москве беспорядки начались от патриотической радости: от газетного сообщения, что взяли Дарданеллы. В Иванове-Вознесенеке – от того, что усадили под арест подстрекателей к забастовке.

Щербатов: Пришлось стрелять, а не было уверенности в гарнизоне. Можно ждать отзвука и в других заводских районах. А министр внутренних дел бессилён: повсеместно господствуют тыловые прапорщики с деспотическими наклонностями и малыми познаниями в порученных делах. Я – простой обыватель даже в столице Империи, и могу действовать лишь постольку, поскольку это не противоречит фантазиям военных властей. Надо действовать, да, но как, если ни с какой стороны нет поддержки?

Столичное общество билось в патриотической тревоге “всё для войны!”, но не



отказывалось от кафе-шантанов и пьяного сидения до утра, аквариумы и рестораны гремели музыкой и сияли огнями.

**Щербатов:** Вопрос не только принципиальный, но и практический: бесполезная трата электричества, когда его не хватает для заводов.

**Самарин:** Все эти торжествующие кабаки производят в народе крайне тяжёлое впечатление. Власть винят, что она допускает разврат в столице. Святейший Синод призвал православный народ к посту и молитве по случаю постигших родину бедствий. Православному правительству следовало бы закрыть увеселительные места на покаянные дни.

А печать – та и вовсе была распущена, как не пустили бы ни в какой республиканской стране (во Франции она под жёстким режимом служила борьбе с неприятелем).

**Сазонов:** Наши союзники – в ужасе от разнузданности, какая царит в русской печати.

**Горемыкин:** Наши газеты совсем взбесились. Всё направлено к колебанию авторитета правительственной власти. Это не свобода слова, а чёрт знает что такое. Даже в 1905 они себе не позволяли таких безобразных выходов. Его Величество указал тогда, что в революционное время нельзя к злоупотреблениям печати руководствоваться только законом, допускать безнаказанное вливание в народ отравы. Военные цензоры не могут оставаться равнодушны к газетам, если те создают смуту в стране.

**Кривошеин:** Наша печать переходит все границы даже простых приличий. Масса статей совершенно недопустимого содержания и тона. До сих пор только московские газеты, но за последние дни и петроградские будто с цепи сорвались. Сплошная брань, возбуждение общественного мнения против власти, распускание сенсационных ложных известий. Страну революционизируют на глазах у всех – и никто не хочет вмешаться. Ведь есть же у нас закон о военной цензуре?

**Щербатов:** Гражданская предварительная цензура у нас давно отменена, и у моего ведомства нет никакой возможности помешать выходу в свет той наглой лжи и агитационных статей, которыми полны наши газеты. У нас в законе нет права устанавливать гражданскую цензуру,

ни наложить штраф, ни закрыть газету. Только на театре военных действий (правда, включая Петроград) существовала военная цензура, но она задерживала лишь то, что могло принести пользу неприятельскому осведомлению. Военные цензоры освобождены от просмотра печатных произведений в гражданском отношении. Распоряжением Янушкевича из Ставки запрещено только затрагивать августейших лиц – а всё остальное можно бранить, военная цензура не вмешивается в гражданские дела. Печать открыто проповедует решительный штурм на власть, нагнетает общественное мнение. То возбуждает неосновательные надежды (“амнистия!”), чтобы тут же свалить на власть невыполнение их.

**Кривошеин:** Распространение революционных настроений полезнее врагу всяких других прегрешений печати. Кроме здравого смысла и патриотизма – какие указания можно дать военной цензуре? Никто из нас не был цензором, но всякий понимает, что недопустимо в разрушительной работе современной печати.

Тон Государственной Думы стал самый нападательный. Например:

**Керенский:** Та катастрофа, которая совершается, может быть предотвращена только немедленной сменой исполнительной власти... Мы должны сказать тем, кто сейчас не по праву держит в своих руках флаг: “Уйдите, вы губите страну! А мы хотим её спасти. Дайте нам управлять страной, иначе она погибнет!”

В Думе это звучало звонко. А из кабинета министров виделось:

**Кривошеин:**... какой-то нето конвент, него комитет общественного спасения. Под покровом патриотической тревоги хотят провести какое-то второе правительство.

Наглый выпад против власти и лишний повод вопить о стеснении самоотверженного общественного почина. Нам нельзя всё время уступать – не будет предела претензиям. Дума зарывается, обращает себя чуть ли не в Учредительное Собрание и хочет строить русское законодательство на игнорировании исполнительной власти. Какой-то психоз, аберрация чувств.

Харитонов: До какого абсурда могут довести людей партийные стремления. Следовало бы всех этих господ посадить в Совет министров, посмотрели бы они, на какой сковороде эти министры ежечасно поджариваются. У многих быстро бы отпали мечты о соблазнительных портфелях.

Но эти мечты – были очень упорны. А русская власть казалась уже настолько несуществующей, что 13 августа Рябушинский со своей обычной грубостью возьми да и ляпни в своём “Утре России” на всю страницу проект нового правительства: премьер – Родзянко, внутренних дел – Гучков, иностранных – Милюков, финансов – Шингарёв, юстиции – В. Маклаков. Из бюрократии оставлены на местах лучшие для общества: военный – Поливанов, земледелия – Кривошеин.

Сознавая своё особое положение не проклинаемого обществом бюрократа, Кривошеин взял на себя и поиск выхода. Заседания Думы продолжились на август, Дума громчала, резчала, – надо было искать с ней сотрудничество. (Между делом подсадил в вице-председатели Думы благорасположенного князя Волконского). Взору предносилось, как удавалось Столыпину: не воевать с Думой, но управлять, опираясь на думское большинство, – и притом не будучи перед Думой ответственным. Однако в Четвёртой Думе даже большинства не было, а дробные фракции. И Кривошеину первому пришла в голову мысль – создать такое большинство: возможно больше фракций сплотить в блок – и на этот блок премьер может опираться открыто, даже не считаясь с колебаниями и зигзагами царских настроений. Ибо только два пути и могло быть у правительства: либо внушительно указать, что власть в России существует, ввести железную диктатуру (но ни обстановки такой сейчас немислимо было создать во всеобщей распушенности, ни диктатора такого, человека такого найти); либо – уступить общественности и править с нею заодно.

И думцы – переняли идею. В эти августовские дни в кулуарах и на частных квартирах стали собираться на заседания прогрессивные деятели и стало из них выпестовываться и спланиваться желаемое большинство – Прогрессивный блок – включая и кадетов и как будто не совместимых с ними октябристов и националистов, исключая только крайне правых и крайне левых. Предусмотрительный трудолюбивый Милюков вёл краткие записи тех тайных переговоров.

Шульгин (националист): За то, что кадеты стали полупатриотами, мы, патриоты, стали полукадетами. Мы исходим из предположения, что правительство никуда не годится. Мы должны давить на него блоком в триста человек.

А. Д. Оболенский (центр): Напротив, если мы не сплотимся с правительством, немцы нас победят.

Блок создан, но что-то не проявлял расположения к умеренному правительству. В Блоке моден такой образ:

Мы с правительством – спутники, увы, посаженные в одно купе, но избегающие знакомства друг с другом.

Сравнение – интеллигентское. А – есть ли кто на паровозе?

Крупенский (центр): Законодательные палаты вредно влияют на массы своим говорением.

Вл. Гурко (правый): Можно дать стране все свободы, а в войне получить поражение. Надо организовать – победу.

Д. Олсуфьев: Но мы должны приготовить страну даже и к поражению – чтоб неудача не повлекла внутреннего потрясения.

Обстоятельный Милюков предложил составить единую для всех программу.

**Ефремов (лидер прогрессистов, бывших левых октябристов):** Что – программа! Не программа, а – смена правительства!

Всё же начали обсуждать программу. Это сложно. Всякое естественное требование – уравнение сословий, введение волостного земства, кооперативы, утверждение трезвости в России на вечные времена – кажется далёким мирным делом. А что неотступно сейчас, ждёт и отлагательства не терпит? Все национальные вопросы, и первое их еврейский.

**Оболенский:** В еврейском вопросе – три четверти значения всей программы. Это нужно для кредита, для значения России. Американцы ставят условием свободный проезд американских евреев к нам.

**Крупенский:** Я прирождённый антисемит, но я пришёл к заключению, что для блага родины необходимо сделать уступки евреям. Евреи – большая международная сила, от них зависит поддержка союзников.

А второй по важности вопрос – амнистия, уже третий год, как нет её.

**Оболенский:** Пока правительство не даст амнистии, мы ему верить не можем.

**Милюков:** Причём требовать амнистии всем политическим, включая террористов.

**Шингарёв:** Программа должна быть ультиматум правительству, а не добрый совет.

Натащено было в программу многое, а главное:

Привести отечество к победе может только правительство из лиц, пользующихся доверием страны .

**Олсуфьев:** Мы фактически требуем парламентского министерства.

**М. Ковалевский:** Мы выиграем, если в печать проникнет, что блок хотел создать правительство народной обороны, а Думу разогнали.

“Правительство доверия”, то есть кому доверяют триста членов Прогрессивного блока, а значит весь народ. И – кто же эти лица?... Заветный вопрос. Ясно, что мы, всем известные думские ораторы. Людей этих – знаем. Но -

**В. Маклаков:** Лица, популярные в Думе, быстро погаснут в министерстве.

Ну уж! неужели справимся хуже, чем тупоумные царские бюрократы!

**Гурко:** Да, центр тяжести в лицах. Точнее, в некоем лице, которое возьмёт полную ответственность и выберет себе лиц. Поставить у руля подходящего человека.

У многих колотится тайно сердце: уж не меня ли?...

Ах, как легко когда-то отвергли Витте с его министерскими постами для кадетов! Как легко отказались от власти в 05 году – а с тех пор так никто и не протянул больше...

**Милюков** и предлагает называть кандидатов в желаемый кабинет. Предлагает – он, а называть, естественно, – не ему. Когда станут называть, то первым именем может произвестись... Однако в ужасе

**Вл. Бобринский:** Обсуждение имён попадёт в печать! будет использовано против нас! А если наметить одного – тем пуще: этого кандидата – власти просто погубят!...

Такая утечка и произошла в публикации Рябушинского. Очень неприятная разгласка.

Однако, всё же... Надо назвать премьера...

Неожиданно стали называть – Кривошеина! Вот русская робость, даже среди передовых! Называть бюрократа, когда есть прогрессивные деятели!

**Милюков:** Это меняет весь политический смысл блокирования.

Как воздуха на горе, не хватало смелости лёгким. От лозунгов к именам – всё же страшно перейти. Как это, не они привычные правители, а мы? Назвали Гучкова.

**Милюков:** Это нас не устраивает.

А может быть и правда – ещё преждевременно называть премьера? Опытный, бывалый, даже вялый царедворец Горемыкин, с утомлёнными глазами, пушистыми

усами и долгими бакенбардами, свисшими в две боковые бороды, ездит потихоньку между Петроградом и Царским Селом, а с Блоком в переговоры не вступает. Государственные заботы либералов он истолковывает низко: что не терпится им перебраться с платных частных квартир на казённые министерские, на министерское жалованье да в автомобили. Уровень главы правительства!...

Обязанности свои Горемыкин тянул в полном равнодушии к занимаемому посту. Он не делал движений подлаживаться к Думе, по старости не боялся террористов, по опыту – бунта министров, и уже не боялся царского гнева, а жалел царя.

И сам Кривошеин теперь с изумлением увидел, что столько раз отказавшись от премьерства, так уверенный, что всегда можно заступить вместо старого Горемыкина, – вот и не мог заступить. Такое пришло время: Горемыкин перестал быть согласным, послушным, он дальше всякого смысла упирался в верности царю, особенно в этом проклятом вопросе о смене Главнокомандования. Он тяготил либеральных министров, он портил отношения с Думой, его надо было убрать теперь!

Правда, в глазах Государя Кривошеин так ещё и сохранялся уговорённым наследником Горемыкина – но ведь ещё не отставлялся Горемыкин.

Нет, глубже, есть пределы в каждом характере: как и прежде, так и сейчас, Кривошеин просто не решился бы принять на себя ответственность премьера. Он был исконный, природный человек – второго места.

Почти все министры, кроме Горемыкина и старого Хвостова, интриговали, тайно часто собирались – по душному столичному лету на берегу Большой Невки, в Ботаническом саду на Аптекарском острове, на даче Кривошеина. И там, на их тайных совещаниях, стали решаться судьбы правительства. Кем заменить Горемыкина? Пришли к мысли: Поливанов. С Поливановым, человеком Гучкова, Кривошеин был в понимании, и Поливанова будет приветствовать Дума (он в каждом выступлении льстил ей), – и самому Государю должна понравиться такая мысль: в военное время сделать премьером военного министра!

И действительно, Кривошеин представил эту мысль Государю, и тому понравилось, хотя он и не любил Поливанова. Тогда Кривошеин ещё осмелел и предложил взять в министры – Гучкова.

Государь – онемел, сразу уклонился. Гучкова – он понимал как своего личного, закоренелого врага.

И сразу всё предложение ему показалось заговором. (Оно и было им).

И, рикошетом, он впервые за много лет отвратился и от Кривошеина.

И тут недремлющие события покатали дальше. Казалось уснувший, почти обойденный вопрос о смене Верховного Главнокомандования взорвала московская городская дума. 18 августа она приняла три резолюции: послать демонстративную восхищённую телеграмму великому князю; требовать *правительство доверия* ; и требовать, правда в почтительной форме, приёма своих представителей Государем. Никакой городской думы не было это дело, но московская считалась знаменем российского общества, излюбленным голосом и центром его.

И 19 августа снова завихрились прения в напуганном, бессильном Совете министров. Спорили, не дослушивая и перебивая друг друга.

Щербатов: Требования московской думы об аудиенции недопустимы и по форме и по существу. Нельзя вести с Царём политические беседы помимо правительства и законодательных учреждений. Либо есть правительство, либо его нет. За Москвой потянутся другие города, и Государя завалят сотнями петиций.

Горемыкин: Самое простое – не отвечать всем этим болтунам и не обращать на них внимания, раз они лезут в сферу, им не подлежащую. Нам надо поддержать Государя Императора в трудную минуту и найти то решение, которое облегчит его положение. Так называемые общественные деятели вступают на такой путь действий, что им надо дать хороший отпор.

**Харитонов:** Вопрос, чреватый последствиями. Не надо забывать, что москвичи говорят под флагом верноподданнических чувств. Их обращение к великому князю – предупреждение, этого нельзя игнорировать.

**Поливанов:** Не могу согласиться с упрощённым решением вопроса величайшей политической важности. Смена командования после московской резолюции произведёт удручающее впечатление и будет истолкована как вызов. И что такого революционного в резолюции? Правительство, опирающееся на доверие населения, это нормальный государственный порядок.

**Сазонов:** Московские события убеждают меня в необходимости во что бы то ни стало отложить вопрос о командовании.

**Самарин:** Настроение в Москве – яркое и быстрое подтверждение тому, что я говорил. Перемена командования грозит самыми тяжкими последствиями для нашей родины. Нельзя отказать и в приёме московского городского головы – это было бы незаслуженной обидой первопрестольной столице. И приём должен быть особенно милостивым и благосклонным, приласкать.

Всего несколько дней назад они все уже примирились со сменой Главнокомандования, искали мягкие формы рескрипта, – теперь московская дума ожигательно подстегнула их прежние возражения.

**Кривошеин:** Таковы и мои сведения из Москвы: настроение там очень повышенное, и может создаться обстановка, в которой ведение войны окажется безнадежным. Избегать обострять общественное раздражение. Вопрос представляется ещё более широким и принципиальным. В каком положении мы окажемся, если вся организованная общественность будет требовать власти, облечённой доверием страны? Такое положение не может длиться долго. Надо это откровенно сказать Государю, который не осознаёт окружающей обстановки, не даёт себе отчёта, в каком положении находится его правительство и всё государственное управление. Мы должны открыть монарху глаза на остроту настоящей минуты. Сказать Его Величеству, что либо надо реагировать с силой и верой в своё могущество,

– этот вариант он называл лишь формально, никто уже не верил в этот путь, - либо открыто завоевывать для власти моральное доверие. Золотая серединка всех озлобляет. Или сильная военная диктатура, или примирение с общественностью. Наш кабинет не отвечает общественным ожиданиям и должен уступить место другому, которому страна могла бы поверить.

(Впрочем сам он наверняка должен был сохраниться в том новом кабинете).

Ставшее повсеместно известным решение принять Главнокомандование – пагубное, результаты его будут самыми тяжкими для России и для успеха войны. И это – риск для династии. Надо просить Его Величество собрать нас и умолять отказаться от смещения великого князя, в то же время коренным образом изменив и характер внутренней политики. Я долго колебался раньше чем окончательно прийти к такому выводу, но сейчас каждый день равен году. Это не революция, а бесконечный страх населения за будущее. Увольнение великого князя недопустимо, однако и полный отказ отразился бы на авторитете монарха. Нужен компромисс: назначить великого князя своим помощником. Перед Государем мы должны быть тверды, не только просить, но и требовать. Пусть Царь нам головы рубит, сошлёт в места отдалённые (к сожалению, он этого не сделает), но в случае отказа на наши представления мы должны заявить, что не в состоянии больше служить ему по совести.

**Шаховской:** Мы стоим на повороте, от которого зависит всё дальнейшее. Пока общественные пожелания остаются умеренными – опасно было бы отметать их огулом.

**Поливанов:** По слухам, доходящим до военного ведомства, солдаты в окопах высказываются, что у них хотят отнять последнего заступника, который держит генералов и офицеров.

**Игнатьев (просвещение):** Среди молодёжи высших учебных заведений идёт

брожение на почве симпатий к великому князю. Со стороны студенческой массы возможны выходы и протесты.

Самарин: А какое впечатление произведёт на верующих, когда в церквях перестанут поминать на ектеньях великого князя, о котором уже год молятся как о Верховном Главнокомандующем? На эту подробность тоже обратить внимание Государя. Да неужели Совет министров настолько бессилён, что не сможет добиться принятия спасительного компромисса?

Так создалась стена дерзких министров, и Горемыкин согласился не препятствовать их последней попытке, хотя сам считал, что решение государево неизменно.

Но в беседе с Государем всячески остерегаться говорить об ореоле великого князя как вождя. Он тотчас доложил Государю – и на вечер 20 августа они были позваны в Царское Село.

Государь поражался: его кабинет бушевал как левое крыло Думы? – хлестнула волна и сюда! И даже ещё в чём-нибудь другом он мог стерпеть их оппозицию, прислушаться к ним, – но как они смели залезать в самую сокровенную глубину царской души: в его долг перед страной, соединение со своим народом? В его царское положение как орудия Божьего Промысла? Почему они лезли туда, где может парить только беззвучие и царская молитва? И что они понимали в военном деле – разве они служили в полках? участвовали хотя бы в манёврах? И разве могли они оценить, что Николаша дерзко повёл себя как повелитель России? – он так использовал свой пост, что и действительно мог бы посягнуть на Верховную власть. И почему Верховное Главнокомандование должно решаться не Царём, но московской думой, но адвокатами и журналистами? да даже хоть и министрами? И не общественная ли запальчивая критика Ставки первая и толкнула Государя на мысль о смене? Что ж остаётся от монархии? Целый год Царь казался недвижим и безучастен – и всем это приходилось плохо. Наконец он решился проявить себя – и всем это пришлось ещё хуже.

А командовать своею армией – была его заветная мечта. Его звал к этому жребью внутренний голос, долг Помазанника, независимо от победы или поражения войск. Его совесть не могла обмануть!

И не оставлял его поддерживающий голос императрицы:

Они слишком привыкли к твоей мягкой всепрощающей доброте. Они должны выучиться дрожать перед твоим мужеством и твоей волей. Я знаю, как тебе это дорого обходится, но быть твёрдым – это единственное спасение. Слава твоего царствования приходит тогда, когда ты твёрдо держишься против общего желания. Меньше обращай внимания на советы других. Ах, когда ты наконецхватишь рукой по столу и накричишь, что они неправильно поступают. Тебя – не боятся. Ты должен их напугать, иначе все сядут на нас верхом. Если бы твои министры боялись – всё шло бы лучше. Меня приводит в бешенство, что министры ссорятся, это предательство. Ты слишком мягок, так не может продолжаться. Все, кто любят тебя, хотят, чтобы ты был строже. Ах, мой мальчик, заставь их дрожать перед тобой!

Да он – уже решился бесповоротно, и только досадно задерживали его министры все эти недели колебаниями и отговорами. (И так ему нравилось это новое название: “Царская Ставка” в конце будущих приказов!) Но вот – предстояло ещё раз выдержать столкновение с ними, – и Государь боялся, зная свою уступчивость, прислушливость, – боялся, что его отговорят. И перед выходом к министрам он расчесался магическим, как уверял Григорий, гребешком, придающим стойкость. И знал, что императрица с Аней Вырубовой будут подходить извне с балкона, к окнам их освещённого вечернего заседания – смотреть на него, молиться и гордиться.

И с напряжением небывалым, уже в крупных каплях пота, Государь выдержал это мучительное заседание 20 августа, выслушивал горячие, слитные и сумбурные отговоры, возражения и убеждения министров – и всё-таки не сдался! Устоял! Стягом

всей своей воли, высшим усилием он ответил министрам: да! да! да! Принимаю Верховное Главнокомандование, и немедленно уезжаю в Ставку, и вопрос окончен обсуждением.

Да ведь уже знала вся страна! – как же было отказаться?... И ещё такое торжество доставить Николаше?... (Написал ему: прощаю вам – то есть с Янушкевичем – ваши грехи. То есть и заговоры).

И оттого, что он так редко не уступил хору министров, – Государь им простил их дерзкое сопротивление, простил – за то, что оказался увереннее их. Восторжествовав над ними – он настроился благодушно. (А если б он уступил им – через час он уже тяготился бы своим поражением невыносимо, и должен был бы всех их увольнять, освобождаться от них). И благоугодно согласился: через день, 22-го, торжественно и милостиво открыть Особые Сопровождающие по военному снабжению, топливу, перевозкам, куда члены Думы и общества допускались теперь работать с министрами.

Но ещё 21-го кабинет собрался в Елагином дворце, крайне возбуждённый от своей неудачи. Сазонов и Поливанов исходили от раздражения. У них появился тон такой резкий, как если б они были не из правительства, а из думской оппозиции. Кривошеин вообще отсутствовал, уже не теряя времени тут. Оппозиционные министры тайно собирались накануне царскосельского заседания, предстояло им тайно собраться и сегодня, а пока здесь, с Горемыкиным, сознание их двоилось, и что-то из тайного они выговаривали здесь, да ведь и это заседание было секретным.

Оказалось, что хотя вчера проспорили с Государем весь вечер – а ничего не решено: каково же будет направление внутренней политики: диктатура или уступки? и что же отвечать московской думе?

Горемыкин предложил: изъявить высочайшую благодарность за верноподданнические чувства. Ему возразили, что это будет ирония, а московская телеграмма написана кровью болеющих за родину людей. Самое правильное – исполнить все пожелания московской думы. (Так и о великом князе опять?)

Щербатов: А посыпятся сотни таких телеграмм из всех городов? Нельзя их признавать революционными. Ответом Москве предreshается направление внутренней политики.

Поливанов: В этом ответе Россия должна увидеть, что её ждёт в ближайшем будущем.

Григорович: В критической обстановке нельзя играть в прятки. Целый месяц мы топчемся на месте.

Вчера Государь заявил, что великому князю он верит. Но -

Сазонов: Какой стилист может соединить доверив великому князю с отчислением его на Кавказ? Начнут говорить, что Царь у нас вероломный.

Так оказалось – и о великом князе ещё не решено?

Григорович: Наша обязанность сделать ещё последнюю попытку – представить Его Императорскому Величеству письменный доклад об опасности для династии, верноподданно заявить: не делайте бесповоротного шага, не трогайте великого князя!

Горемыкин: Государь Император вчера совершенно определённо сказал, что на днях выезжает в Могилёв и там объявит свою волю. Какие же тут возможны доклады? Недопустимо, чтобы Совет министров тревожил Царя в исторический час его жизни и напрасно волновал бесконечно-измученного человека.

Сазонов: Наш долг в критическую минуту откровенно сказать Царю, что при слагающейся обстановке мы неспособны управлять страной, бессильны служить по совести.

Горемыкин начал понимать, что министры без него сговорились тайно:

То есть, говоря просто, вы хотите предъявить своему Царю ультиматум?

Сазонов: Нам доступны только верноподданнические моления. Не будем спорить о словах. Дело не в ультиматумах, а сделать последнюю попытку указать на всю

глубину риска для России, предупредить его о смертельной опасности.

**Щербатов:** Правительство, которое не имеет за собой ни доверия Государя, ни армии, ни городов, ни земств, ни дворян, ни купцов, ни рабочих, – не может даже существовать. Мы умоляли устно – попробуем в последний раз умолять письменно. Если с нашим мнением не желают считаться наверху – наш долг уйти.

**Шаховской:** В редакции доклада надо всячески избежать оттенка, который навёл бы на мысль о забастовке (министров). Государь вчера произнёс это слово.

**Игнатъев:** Мы должны снять с себя упрёк, что мы молчали в минуту величайшей опасности для России.

**Самарин:** Вопрос идёт о грядущих судьбах России, и мы участники великой трагедии. В общем голосе страны проявляется здоровое, правильное чувство, навеянное тревогой за родину.

**Горемыкин:** Чрезмерная вера в великого князя и весь этот шум вокруг его имени есть не что иное, как политический выпад против Царя. Добиваются ограничения царской власти. Левые политики хотят создать затруднения монархии и для этого пользуются несчастьем, переживаемым Россией.

**Сазонов:** Мы категорически оспариваем такое истолкование общественного движения. Оно не результат интриги, а крик самопомощи. К этому крику и мы должны присоединиться.

**Горемыкин:** Усердно прошу вас всех доложить Государю о моей непригодности и о необходимости замены меня. Буду до глубины души благодарен за такую услугу. Поклонюсь низко тому, кто заменит меня. Но сам прошения об отставке не подам и буду стоять около Царя, пока он не признает нужным меня уволить.

Такого резкого упрямства никто из них не ожидал от этого затяжливового рассудительного старика. Но и спор их был никак не личный, а всё более вырастал в понимание монархии в её трудный час. Сазонов (более всех тут и виновный в возникновении этой войны):

Когда родина в опасности, рыцарское отношение к монарху красиво, но и вредно для неизмеримо более широких интересов. Мы хотим предостеречь Царя от фатального шага, вы – себя и Россию ведёте на гибель. Наш патриотический долг не позволяет помогать вам. Подыщите себе других сотрудников. А мы должны объяснить Царю, что спасти положение может только примирительная к обществу политика.

**Горемыкин:** В моей совести Государь Император – Помазанник Божий. Он олицетворяет собою Россию. Ему 47 лет, он распоряжается судьбами народа не со вчерашнего дня. Когда воля такого человека проявилась – верноподданные должны подчиняться, каковы бы ни были последствия. Поздно мне на пороге могилы менять мои убеждения. От своего понимания служения Царю я отступить не могу.

**Щербатов:** И Самарин, и я – бывшие губернские предводители дворянства. До сих пор никто не считал нас левыми. Но мы оба не можем понять такого положения в государстве, чтобы монарх и его правительство находились в радикальном разноречии со всей благоразумной общественностью (о революционных интригах говорить не стоит). Наша обязанность сказать Государю, что для спасения государства от величайших бедствий надо вступить на путь направо или налево. Положение не допускает сидеть между двух стульев.

Министры говорили: решиться на действия в какую-либо сторону, но решались именно на уступки.

**Сазонов:** Государь – не Господь Бог. Он может ошибаться.

**Горемыкин:** Хотя бы Царь и ошибался, но покидать его в грозную минуту я не могу. Не могу требовать увольнения в минуту, когда все должны сплотиться вокруг Престола и защищать Государя. Весь этот вопрос о командовании раздут намеренно. Сейчас отказ Государя от своего решения был бы гораздо более чреват последствиями.

**Самарин:** Я тоже люблю своего Царя, глубоко предан монархии и доказал это всей



своею деятельностью. Но если Царь идёт во вред России, то я не могу за ним покорно следовать.

Харитонов: Если воля Царя грозит России тяжкими потрясениями, то надо отказаться от её исполнения и уйти. Мы служим не только Царю, но и России.

Горемыкин: В моём представлении эти понятия неразделимы.

Харитонов: В отличие от вас, мы считаем, что подчинение должно быть не с закрытыми глазами. Нельзя принимать участие в том, где мы видим начало гибели нашей родины.

Сазонов: Трудно при современных настроениях доказать совпадение воли России и Царя. Как раз наоборот.

Самарин: Русскому Царю нужна служба сознательных людей, а не рабское исполнение приказаний. Царь может нас казнить, но сказать ему правду мы обязаны. На порыв общества мы должны ответить благожелательством.

Горемыкин: Русскому человеку нельзя бросать своего Царя на перепутьи. Так я думаю и в таком сознании умру.

И лишь один человек в правительстве поддержал председателя, министр юстиции, старый

Хвостов: Я сомневаюсь в правильности анализа, что мы имеем дело с бескорыстным патриотическим движением. К нему примазываются тёмные личности, его используют для достижения партийных стремлений. Наиболее рьяные патриоты и приверженцы общественных домогательств обращались за активной поддержкой к московским рабочим, но потерпели неудачу: заводы ответили, что будут работать до окончательной победы. Подобные обращения – не патриотический акт, а уголовно наказуемый. Предъявляются требования об изменении государственного строя не потому, что такое изменение необходимо для победы, а потому что военные неудачи ослабили положение власти, и на неё можно давить, ножом к горлу. По-моему, политика уступок вообще неправильна, а в военное время недопустима. Политика уступок нигде в мире не приводила к хорошему, а всегда влекла страну по наклонной плоскости. Призывы, исходящие от Гучкова, левых партий Думы и коноваловского съезда, рассчитаны на государственный переворот. Это повлечёт за собой гибель отечества.

Сазонов: Вы не верите даже Государственной Думе! А она со своей стороны не верит нам. Мы и считаем, что выход – в примирении, а создании такого кабинета...

Так снова и снова спор возвращался к главному. Дело было не в великом князе, а в министрах, которым доверит общественность. Нынешнего правительства не хотела Дума – и сами министры не хотели себя здесь. Они бушевали, не умеряя себя и сами себя уже не вполне понимая.

Горемыкин: Уступками вы ничего не достигнете. Все партии переворота пользуются военными неудачами для усиления натиска на власть, для ограничения монаршей власти.

И в тот же вечер, собравшись в служебном кабинете Сазонова на Дворцовой площади, у Певческого моста, 8 министров (было бы 10, но военный и морской не могли по уставу, а всего в кабинете без Фредерикса 13), подписали коллективное письмо Государю: их коллективную отставку по несогласию, в сущности ультиматум, – небывалый случай в истории императорской России. (Но их расчёт был, что не может Государь расстаться сразу с восемью министрами!) Изобрёл такой шаг – Самарин, и в нём же сложился проект текста, дорабатывали Кривошеин с Харитоновым, переписал Барк своим хорошим почерком. И передали через флигель-адъютанта.

... Не поставьте нам в вину наше смелое откровенное обращение... Вчера мы повергли перед Вами единодушную просьбу, чтобы великий князь Николай Николаевич не был отстранён. Но опасаемся, что Вашему Величеству не угодно было склониться на мольбу нашу и, смеем думать, всей верной Вам России... Мы теряем

возможность с сознанием пользы служить Вам и родине.

А на следующий день, 22 августа, в Зимнем дворце состоялась заранее назначенная процедура открытия Особых Совещаний по обороне – и все министры должны были присутствовать и сверкать всеми орденами. Это был акт официального привлечения законодательных учреждений и торгово-промышленного класса к делам ведения войны. Государь произнёс речь, составленную для него Поливановым и Кривошеиным, затем милостиво обходил присутствующих. (Вошла и императрица с наследником. Болезненного вида и в солдатской гимнастёрке, мальчик производил щемящее впечатление). Опасались, не выступил бы с неловкими поучениями сумасшедший Родзянко, но обошлось. Обе стороны сияли удовлетворением. Министры с тревогой следили за Государем и удивлялись, что он не переменялся к ним в обращении. (А он просто ещё не получил их ультиматума).

Казалось: страна сотрясается в свои роковые дни – а церемония в Зимнем выглядела мирно, торжественно, благожелательно.

И в тот же вечер, покинув министров в неведении о судьбе их отставки, Государь отбыл в Могилёв, сменять великого князя.

Сего числа Я принял на Себя предводительствование всеми сухопутными и морскими вооружёнными силами, находящимися на театре военных действий. И в тот же день оглашено было важное заявление о создании Прогрессивного блока.

Но чем решительнее повели себя министры относительно Верховной власти – тем более они теперь зависели от единения с Думой. Уж не вспоминали совет Шаховского: внести в Думу острый законопроект, чтобы рассорить разнородные партии Блока, напротив, кривошеинский кружок министров искал в Блоке опоры для правительства, искал, как сговориться о единой программе действий. Лозунги Думы проникали и сквозь оболочку правительства, в груди министров, соблазнительные лозунги – единство с обществом, доверие народа (а сами министры разве не считали себя обществом?), и ведь их тоже могли пригласить в то правительство, но уже не придётся заседать с неуступчивой енотовой шубой Горемыкиным, и уверенно вести Россию в полномочии от народа. Однако Блок от соединения партий не стал средним арифметическим, а полевел, и ещё повраждебнел к правительству, и не скрывал, что его интересуется прежде всего не программа, а смена лиц: прежде всего убрать Горемыкина, затем теснить и других.

Каждый день заседали между собой вожди Блока и другие прогрессивные деятели.

Челноков: Условия Блока не должны быть ультимативны, Блок тоже может уступать. Общество ещё может влиять на правительство манифестационной кампанией.

Коновалов: Переговоры с правительством бесплодны. Низы народа близки к отчаянию.

(Фабрикант знает).

Князь Г. Львов: Правительство толкает общество на отчаяние, а мы должны удержать его от анархии.

(За князем уже заметили, что он сам готовится в премьеры).

Рябушинский: Никакая работа при данном правительстве невозможна. Сейчас кланчат в Англии заём. Как только получают – Думу разгонят.

Ефремов: Разгонят Думу – не расходиться! Воззвание к народу!!!

Милюков: Думу ни в коем случае не распустят. А депутаты, прибывшие из Действующей армии:

Да что вы! Да если только Думу тронут – *вся армия встrepенётся!* А правые, всегда против народа, шумели в Думе:

Довольно ваших заседаний! Дела зовут в деревню! и на фронт!

И покидая сессию, разъезжались самочинно.

И правительство размышляло, что же делать с Думой. При всей разноте между

министрами, они склонялись, что удобней бы распустить её на вакации.

**Кривошеин:** Практически Дума исчерпала предметы своих занятий, и в ней создаётся тревожное настроение. Речи и резолюции могут принять открыто революционный характер. Словоговорение увлекает, и ему нет конца. Заседания без законодательных материалов превращают Думу в митинг по злободневным вопросам.

**Горемыкин:** На Западе сейчас не собирают законодательных палат, а только комиссии их, – но комиссии и у нас работают.

Срочные законы и меры, вызываемые военным положением, безнадежно было бы пытаться провести через Думу, а при её сессии невозможно и в обход, по 87-й статье.

**Щербатов:** Нет, ещё не все законопроекты кончены. Нужна санкция Думы для Особого Совещания по беженцам. Присутствие в нём выборных представителей необходимо, чтобы снять с одного правительства ответственность за ужасы беженства и разделить её с Государственной Думою.

**Кривошеин:** Я думаю, пропустят без задержек. Слишком очевидна необходимость.

**Харитонов:** Дума отучила нас от оптимизма. Ею руководят не общие интересы, а партийные соображения. Если узнают, что роспуск откладывается из-за беженцев, то закон будут затягивать.

**Горемыкин:** Сказка про белого бычка. И всё равно будут взваливать всю ответственность на правительство. Совещание по обороне состоит из выборных, а за недостатки снабжения ругают исключительно нас.

**Кривошеин:** Перерыв сессии должен последовать до 1 сентября. Обстановка такова, что расставание с Думой надо обставить благопристойно, оговориться с президиумом, а не как снег на голову.

**Харитонов:** Родзянко встанет на дыбы и будет утверждать, что спасение России только в Думе.

**Горемыкин:** Если заговорить с Родзянко, то этот болтун сразу раззвонит на весь свет.

**Игнатьев:** Не исключена возможность, что Дума откажется подчиниться и будет продолжать заседать.

**Щербатов:** Вряд ли. Огромное большинство их трусы и дрожит за свою шкуру.

Шквал налетал за шквалом в это ужасное лето. Не успели перебоиться народного взрыва от перемены командования – начинали бояться народного взрыва от роспуска Думы. У Горемыкина лежали уже готовые, подписанные Государем (из-за того, что он уехал в Ставку) указы о перерыве занятий законодательных учреждений, и ему предоставлено вписать день роспуска. Но – какой? но – можно ли?

**Хвостов:** Г-н Милюков, как мне передавали, откровенно хвастает, что у него в руках все нити и что в день смены Верховного Главнокомандования стоит ему только нажать кнопку, чтобы по всей России начались беспорядки.

**Горемыкин:** Я настолько верю в русский народ, что не допускаю мысли, что он ответит своему Царю беспорядками, да ещё в военное время. При всеобщем шатании умов – смуту создают речи левых депутатов в Думе и злоупотребления печатным словом.

**Щербатов:** Ведётся напряжённая пропаганда во внутренних гарнизонах и лазаретах.

**Сазонов:** Несомненно разгон Думы повлечёт за собой беспорядки среди рабочих. Отметать общественные элементы недопустимо.

**Григорович:** Беспорядки неизбежны, настроение рабочих очень скверное. Немцы ведут усиленную пропаганду и заваливают деньгами противоправительственные организации. Сейчас особенно остро на Путиловском заводе: рабочие стоят у станков, но ничего не делают, требуя 20 процентов прибавки. Я очень опасаясь, что прекращение занятий Думы тяжело отразится на внутреннем положении в России.

**Поливанов:** Вся подготовка обороны – на обществе и рабочих. Если те и другие

будут доведены до отчаяния...

**Горемыкин:** Ставить рабочее движение в связь с роспуском Думы – неправильно. Оно шло и будет идти. Не спорю, роспуск будет использован для агитации. Но и если Дума будет оставаться, мы ничем не гарантированы. Будем мы с блоком или без него – для рабочего движения безразлично.

**Кривошеин:** Если всего бояться – то всё погибнет. Я повторяю: нельзя дальше держаться середины.

В Кривошеине боролась любовь к сильной власти, определённым действиям. И – готовность к ним. И – неготовность к ним. И сейчас, когда дни Горемыкина казались всё более сочтены, и разумно ничья кандидатура взамен не могла стать раньше кривошеинской, и нависали переговоры с думцами о программе Блока, – Кривошеин нуждался уйти со сцены, не связывать себя ни переговорами, ни программой, уйти от главных обсуждений, а тем временем – соприкоснуться с нутром оппозиционной Москвы. И в эти напряжённые дни уехал к своим купеческим родственникам и знакомым в Москву.

А между тем 25 августа Прогрессивный блок опубликовал и предложил правительству свою программу. Положение ещё более усложнялось.

**Сазонов:** Выгодно ли распускать Думу, не поговорив с большинством о приемлемости этой программы? Я уверен, что можно будет сговориться, тогда и распустить. Люди разъедутся по домам с сознанием, что правительство идёт навстречу справедливым пожеланиям. Этот Блок, по существу умеренный, надо поддержать. Если он развалится, то возникнет гораздо более левый. Опасно провоцировать непарламентские формы борьбы. Эти люди болеют душой за родину, а их объявляют незаконным сборищем? Правительство не может висеть в безвоздушном пространстве и опираться на одну полицию.

Что за лето такое ужасное? Какой вопрос ни возьми, все они двоятся, троются, множатся – и где же истина?

**Горемыкин:** Разговоры с Блоком я считаю для правительства недопустимыми. Мы можем иметь дело только с законодательными учреждениями, а не со случайным объединением их представителей. Блок создан для захвата власти. Его плохо скрытая цель – ограничение царской власти. Он всё равно развалится, и его участники между собой переругаются.

**Шаховской:** И оставление Думы, и роспуск её одинаково опасны. Я высказываюсь за роспуск, но сделать это по-хорошему, поговорить с представителями Блока о программе. Так мы откроем выход самим думцам, которые жаждут роспуска, ибо чувствуют безнадежность своего положения.

**Щербатов:** Наш разлад с Думой раздражает страну. Но важно провести роспуск без поводов к скандалу. Отрицать нельзя, программа Блока шита нитками и составлена в расчёте поторговаться. Но развал Блока был бы правительству невыгоден, поставил бы его перед левыми течениями. Нельзя допускать, чтобы благоразумная часть Думы разъехалась, обиженная невниманием. А Родзянко больше всех обозлён, что правительство не принимает его всерьёз.

**Сазонов:** Большинство Думы считает, что роспуск нужен, и не будет нам мешать прервать сессию.

Пришли к тому, что нужно провести переговоры, пока неофициальные, частью министров с несколькими вождями Блока. Продемонстрировать, что правительство не отвергает общественные силы.

Анализ программы Блока приводил к удивительному выводу: кроме демагогических всплесков о власти, опёртой на народное доверие, программа Блока была достаточно робкая, его требования либо уже находились в стадии выполнения, либо не были кардинальны, либо Блок не очень на них и настаивал, готов был смягчать и уступать. Требовали политическую амнистию, но легко разгадывалось, что

хотят прощения участникам Выборгского воззвания, дать им наконец возможность быть избираемыми, – против этого не возражало и правительство.

Хвостов: Да многие политические дела уже закончены в порядке монаршьего милосердия, и не мало джентльменов гуляет на свободе.

Но думские лидеры конфиденциально и журили правительство за то, что, постоянно кого-то из политических освобождая, оно не умеет устроить этому широкую рекламу и извлечь политический эффект, что было бы выгодно и думцам.

Щербатов: Надо сделать с рекламой. Взять десяток-другой особенно излюбленных освободителей и сразу выпустить их на свет Божий с пропечатанием во всех газетах.

Так же и с чисткой местной администрации и с улучшением приёмов управления – правительство не имело навыков рекламы.

Блок ещё раз настаивал на веротерпимости, но больше для приглядности своей позиции – веротерпимость и так уже осуществлялась.

Горемыкин: Но как прикажете быть, когда люди прикрываются религиозной неприкосновенностью для достижения политических целей?

По польскому вопросу уже многое делалось и ничего ярко определённого Блок не мог присоветовать. Льготы малороссийской печати (не сепаратной, вскормленной австрийцами) ничего не стоило и дать. По еврейскому вопросу сама программа Блока была петлисто-сговорчива: “вступление на путь отмены ограничения в правах”, – но черта оседлости только что была разломана, открыты все города, а в деревни евреи и не просились; и в учебные заведения ограничения для евреев всё снимались, и в профессиональной деятельности тоже. Развитие еврейской печати? – и очень хорошо, пусть тратят деньги на свои органы, а не на то, чтобы поворачивать русские. Не вызвала спора “благожелательность в финляндской политике”. Да уж куда было больше благожелательности? Финляндия не участвовала в расходах на войну, её марка спекулятивно головокружительно повышалась за счёт рубля, за счёт основной России. Население было освобождено от призыва и не несло натуральных повинностей. Преследование рабочих больничных касс? Его и не было, если те не служили прикрытием подпольной деятельности.

И вот оказалось, что по большей части программы нет непримиримых разногласий, легко сговориться.

Сазонов: Если только обставить всё прилично, дать лазейку, то кадеты первые пойдут на соглашение. Милюков – величайший буржуй и больше всего боится социальной революции. Да и большинство кадетов дрожат за свои капиталы.

Самарин: Слово “соглашение” недопустимо в отношении такой пёстрой компании, большинство которой подвижно низменными побуждениями захвата власти любой ценою.

И так 27 августа на квартире Харитоновы четверо министров встретились с лидерами Блока с целью взаимного осведомления.

И встреча показала то, что уже и было ясно министрам: их разделяли с Блоком не пункты, и в пунктах Блок готов был уступать, но расплывчатая преамбула:

...власть, опирающаяся на народное доверие... Создание правительства из лиц, пользующихся доверием страны.

(Так сразу – доверием целой страны).

Что ж это за люди? Где они?

Вожди Блока подразумевали самих себя, и вся-то программа их только и сводилась – к людям, которые составят власть. Нынешняя обстановка казалась им очень удобной для такого вхождения. Они ждали возможностей поторговаться, а роспуска Думы как будто не ожидали.

Горемыкин: Правительству нечего идти в хвосте у Блока. В нынешней внутренней и внешней обстановке надо действовать, иначе всё рухнет. Разойдётся ли Дума тихо или со скандалом – безразлично. Но я уверен, что всё обойдётся

благополучно и страхи преувеличены.

Сазонов: Могут возникнуть серьёзные конфликты, которые тяжко отразятся на стране.

Горемыкин: Всё равно, пустяки. Никого, кроме газет, Дума не интересует и всем надоела своей болтовнёй.

Сазонов: Категорически утверждаю, что мой вопрос не “всё равно” и не “пустяки”. Пока я состою в Совете министров, я буду повторять, что настроение депутатов влияет на общественную психологию.

Поливанов, Игнатъев: Вопрос сводится к форме и обстановке роспуска Думы, пройдёт ли он по-хорошему или во враждебной атмосфере.

Щербатов: За последнее время акции Государственной Думы в стране сильно пали. Но среди населения вкоренилось и то, что правительство стоит в стороне и ничего не хочет делать.

Это заседание, 28 августа, Горемыкин вёл в прежнем убеждении, что обсуждается только факт, акт и дата роспуска Думы, и всё никак он не мог получить ясного согласия от министров. А между тем воротившийся из Москвы и долго сидевший непроницаемо молча, вступил Кривошеин. Помнилось, что четыре дня назад, перед отъездом, он соглашался на роспуск Думы до 1 сентября и только требовал от правительства общей крутой решимости. Но вот он съездил в оппозиционную Москву – и чего-то иного набрался там, что-то в нём переменялось, однако он хотел бы это изобразить как прежде. Теперь он выступил и повернул всё обсуждение:

Передо мной становится другой вопрос. Какое возможно при роспуске правительственное заявление в Думе? Что мы ни говори, что ни обещаю, как ни заигрывай с Прогрессивным блоком, – нам всё равно ни на грош не поверят. Ведь требования Думы и всей страны сводятся к вопросу не программы, а людей, которым ввернется власть.

И надо не искать день для роспуска Думы, но принципиально спросить об отношении Его Императорского Величества к правительству настоящего состава и к требованиям страны об исполнительной власти, облечённой общественным доверием.

Он – взрывал это застоявшееся нерешительное правительство. Он говорил – в формулировках Блока, как представитель общества, а не кабинета министров, – вот какую уверенность дала ему эта московская поездка.

Пусть Монарх решит, как ему угодно направить дальнейшую внутреннюю политику, по пути ли игнорирования таких пожеланий, выше названных требованиями, или же по пути примирения, избрав во втором случае пользующееся общественными симпатиями лицо и возложив на него образование правительства.

То есть, он объявлял о снятии Горемыкина и, очевидно, сам шагал к посту премьера, решился!

Невозмутимый Горемыкин всё понял, но ещё пытался как ни в чём не бывало вести правительство к поиску даты роспуска. Однако Кривошеин – ничего не хотел говорить ни о какой дате, а министры, подхватываясь один за другим, выказывали, что они либо в сговоре с Кривошеиным, либо в душевном единстве с ним, и министерская забастовка не оставлена.

Сазонов: Всецело примыкаю. Кристаллизовано то, вокруг чего мы ходим уже много дней. Довести до сведения Его Величества.

Игнатъев: Присоединяюсь.

Харитонов: Совершенно согласен.

Горемыкин, остаиваясь:

Следовательно, вопрос о роспуске Думы должен быть отложен до распределения портфелей? и ограничения Монарха в прерогативе избрания министров?

**Кривошеин из нападательной позиции:**

**Я готов согласиться на одновременность роспуска Думы и смены кабинета.**

Да ведь уже 7 дней прошло, как они решились на коллективную отставку – а Государь молчал. Весьма сомнительна была милость Государя, оставлявшего бунтовщиков на местах. Теперь возник неповторимый момент: овладеть правительством, опираясь на разгон Думы!

**Щербатов:** Действительно, пора перестать топтаться на одном месте. Недовольство в стране растёт с угрожающей быстротой. Надо призвать новых людей. Наш долг просить Его Величество покончить с неопределённостью. Перемены кабинета желает вся страна, и я к ней примыкаю.

**Вытягивал неуклоняемый монархист**

**Горемыкин:** Значит, решение надо перенести с нас на Государя Императора?

**Да!** – соглашались Щербатов и Шаховской, а Кривошеин расширялся дальше:

**Мы, старые слуги Царя, берём на себя неприятную обязанность роспуска Думы и вместе с тем твёрдо заявляем Государю Императору, что положение страны требует перемены кабинета и политического курса.**

**Горемыкин:** Кто ж эти новые люди? Представители фракций или чины администрации? Вы предполагаете одновременно назвать Государю кандидатов?

**Кривошеин:** Лично я подсказывать не собираюсь. Пусть Государь пригласит определённое лицо и предоставит ему наметить своих сотрудников

(как ещё никогда в России не делалось, Государь всегда сам назначал всех министров).

**Горемыкин:** Значит, поставить Царю ультиматум – отставка Совета министров и новое правительство, в согласии с пожеланиями Прогрессивного блока? Навязывать Государю Императору личностей, ему не угодных, я не считаю возможным. Мои взгляды архаичны, мне поздно их менять.

Но к прениям опоздал Самарин. И хотя именно он неделю назад был главным зачинателем коллективной отставки – теперь он показал свою самобытность:

**Я бы затруднился подписаться под ссылкой на желание всей страны, ибо анкеты не было, и никто истинных стремлений не ведаёт. Государственная Дума не может считаться выразительницей мнения всей России, её непримиримые требования зависят от партийных соображений и интересов. Если же смена правительства есть наше личное требование, то мы не в праве переносить на Государя тяжесть выбора и тем отягощать его трудное положение. Надо представить Его Величеству основания программы и одновременно доложить, что в Совете министров нет сплочённости и поэтому мы ходатайствуем о создании взамен нас другого правительства. И тогда наш долг указать приемлемое лицо, ибо общие фразы об общественном доверии ничего не значат и являются лишь приёмом пропаганды. Если же Государь наше общее ходатайство отклонит, каждому из нас останется поступить, как подскажет долг верноподданного своего Царя и слуги России.**

Всё расплылось, и Горемыкин уже не мог просто вписать в указ недостающую дату роспуска. И теперь не было рядом Государя – и за подкреплениями и указаниями он естественно ездил в Царское Село на приёмы к государыне. От неё к супругу в Могилёв сперва лились одобрения:

Ты спас Россию и трон этим поступком. Ты исполнил свой долг. Это – начало торжества твоего царствования (наш Друг так и сказал!). Никогда раньше в тебе не видели такой твёрдости. Тебе пришлось выиграть бой одному против всех. Ты держался среди министров как настоящий Царь, я горжусь тобой. Ах, душа, чувствуешь ли ты теперь свою силу и мудрость, что ты хозяин и не даёшь себя оседлать другим? Ты доказал, что ты самодержец, без которого Россия не может существовать. Теперь – вели Николаше нигде не задерживаться, поскорее ехать на юг. Всякие дурные элементы собираются вокруг него и стараются воспользоваться им как

знаменем.

Затем – и новые заботы:

Они (Дума) не могут переварить твою твёрдость – так продолжай в том же духе! Раз ты показал свою волю – теперь легко продолжать, показывая свои энергические стороны, используй свою метлу. Дума причинила тебе более хлопот, чем радости. Сейчас они должны бы работать по своим местам – а здесь захотят вмешиваться и говорить о вещах, которые их не касаются. От них будет только зло, они слишком много говорят. Эти твари пытаются играть роль и вмешиваться в дела, в которые они не смеют. Поскорее закрой Думу, прежде чем будут поставлены их запросы. (Они не смеют касаться нашего Друга!) Уже 2 недели назад её нужно было закрыть.

Но не многим лучше оказывались дела и в Совете министров:

Если только раз им уступить – они станут хуже. Надо бы выгнать нескольких министров, а Горемыкина оставить. Он – милый старик. С ним можно говорить совсем откровенно, одно удовольствие, всё видит ясно. И он откровенен с нашим Другом. Сердце жаждет единения среди министров. Мы с Горемыкиным думаем. Я поддерживаю в нём энергию. Как им всем нужно почувствовать железную волю и руку! До сих пор было царствование мягкости, а теперь должны преклониться перед твоей мудростью и твёрдостью. Прости меня, мой ангел, что я так много к тебе приставала. Поэтому и пишу тебе откровенно своё мнение, что другие тебе ничего не скажут. О, милуша, я так тронута, что ты хочешь моей помощи. Я всегда готова делать всё для тебя, но я никогда не любила вмешиваться без спроса. Да поможет мне всемогущий Бог быть достойной твоей помощницей. Ты скажи министрам, чтоб они просили разрешения представляться мне, один за другим, и я усердно помолюсь и употреблю все усилия, чтобы в самом деле быть тебе полезной. Я буду их выслушивать и повторять тебе. У меня надеты невидимые бессмертные штаны и я жажду показать их этим трусам. Необходимо всех встряхнуть и показать им, как надо думать и действовать.

Так уже через несколько дней сказывалось отсутствие Государя в столице. Посещения императрицы Горемыкиным узнавались и печатались в газетах. Горемыкин повёз свои старые кости в Могилёв – получить решение о Думе и доложить Государю о новом министерском бунте.

Этот осмеянный всем русским обществом старик сохранял мужество и твёрдость взгляда, которых не было у его министров, ни у лидеров Думы в их расцветном возрасте. Он незамутнённо видел, что волнение его министров – ажиотажное, до потери самоконтроля, но без веского основания. Уезжая в Ставку, он сказал:

Тяжело огорчать Государя рассказом о слабонервности Совета министров. Моя задача – отвести нападки и неудовольствия от Царя на себя. Пусть ругают и обвиняют меня – я уже стар и не долго мне жить. Но пока я жив, буду бороться за неприкосновенность царской власти. Сила России только в монархии. Иначе такой кавардак получится, что всё пропадёт. Надо прежде довести войну до конца, а не реформами заниматься. Когда повсюду видишь упадок веры и духа, тысячу раз предпочтёшь отправиться в окопы и там погибнуть.

В Могилёве он доложил Государю обо всех разногласиях в правительстве, предлагал и своё увольнение как выход. Получил высочайшее повеление: Совету министров оставаться на своих местах, а Думу немедленно распустить на вакации. Собрать военный совет с участием министров Государь отказался. Говорить с министрами обещал, когда минует острота на фронте.

1 сентября Горемыкин воротился из Ставки. 2 сентября на заседании правительства царила небывалая нервность, у Сазонова почти до истерического состояния. Поливанов, по свидетельству секретаря, обливался желчью и готов был кусаться, держал себя в отношении Горемыкина неприлично. Кривошеин был безнадежно грустен. (Вот, он решился наконец на прямые действия – а события



отталкивали их). Беседа лихорадочно перескакивала, сбивалась, возвращалась.

**Поливанов:** За роспуском Думы все ждут чрезвычайных событий, всеобщей забастовки.

**Горемыкин:** Одно запугивание, ничего не будет.

**Сазонов:** Говорят, члены Думы вместе с Земским и Городским съездами собираются провозгласить себя Учредительным Собранием. Везде всё кипит, доходит до отчаяния, и в такой грозной обстановке последует роспуск Государственной Думы. Куда же нас и всю Россию ведут? Для всякого русского человека ясно, что последствия будут ужасны, что во весь рост встаёт вопрос о бытии государства. Что побудило Его Величество на такое резкое повеление?

**Горемыкин:** Высочайшая воля, определённо выраженная, не подлежит обсуждению Советом министров.

Но обстановка действительно была удручающая. Только что открытые Особые Совещания претендовали руководить всеми делами оборонного снабжения через общественность – и даже посылать в Америку для казённых закупок представителей Земгора, а не правительства.

**Щербатов:** Земский и городской Союзы являются колоссальной правительственной ошибкой. Нельзя было допускать подобные организации без устава и определения границ их деятельности. Их личный состав и конструкция не предусмотрены законом и правительству не известны. В действительности они являются средоточием уклоняющихся от фронта, оппозиционных элементов и разных господ с политическим прошлым. Эти союзы произвели фактическое, захватное расширение полномочий и задач.

**Кривошеин:** Князь Львов стал фактически чуть ли не председателем какого-то особого правительства, он спаситель положения, он снабжает армию, кормит голодных, лечит больных, устраивает парикмахерские для солдат – какой-то вездесущий Мюр и Мерелиз. Но кто его окружает, его сотрудники, агенты? – это никому не известно. Вся его работа вне контроля, хотя ему сыплют сотни миллионов казённых денег.

И теперь эти два подозрительных союза чуть ли не намеревались объединиться в Учредительное Собрание России? И на этих днях в Москве они громко и грозно собирали свои съезды.

**Щербатов:** В Москве всё бурлит, раздражено, настроено ярко антиправительственно, ждёт спасения только в радикальных переменах. Собрался весь цвет оппозиционной интеллигенции и требует власти.

А так как эти съезды изображают себя учреждениями, то закон даже не может послать туда чиновников для наблюдения. Заседания в таком случае должны бы быть закрытыми, но этого никак не удастся достичь.

**Горемыкин:** В Москве действует чрезвычайная охрана, и поэтому можно отправить в заседание полицию. Если съезды начнут болтать лишнее – можно их и закрыть. Собрание людей налицо и грозит созданием смуты. Дело власти прекратить безобразия, а не отличаться корректностью.

**Щербатов:** Что прикажете делать министру внутренних дел, если в Москве я не обладаю полнотою власти, там распоряжаются военные. Взрыв беспорядков возможен каждую минуту, а у власти в Москве нет почти никаких сил: один запасной батальон в 800 человек, из них половина занята караулами, сотня казаков, да две ополченских дружины на окраинах. И всё это – далеко не надёжный народ, двинуть его против толпы будет трудно. В уезде войск совсем нет. Городская и уездная полиция не соответствует потребностям. Ещё в Москве – 30 тысяч выздоравливающих солдат, это буйная вольница, не признающая дисциплины, скандалящая, отбивающая арестованных в стычках с городскими. В случае беспорядков вся эта орда станет на сторону толпы.

Вся беззащитность русского государства. Её и видели – и не могли внять.

Сазонов: И съезды Союзов будут происходить на фоне роспуска Думы. Не жду ничего хорошего.

Щербатов: Говорят, среди думцев есть намерение в случае роспуска ехать в Москву и устроить там второй Выборг. Если они останутся в закрытом помещении и будут там редактировать новое воззвание – что может сделать власть?

Кривошеин: А кто сейчас распоряжается Ставкой, кто у нас Верховный Главнокомандующий! Страшно подумать, какие напрашиваются выводы. Фатальное время. Вы, Иван Логгинович, как решается действовать, когда представители исполнительной власти убеждены в необходимости иных средств, когда весь правительственный механизм в ваших руках оппозиционен?

Горемыкин: Свой долг перед Государем Императором я исполню до конца, с какими бы противодействиями и несочувствиями ни пришлось столкнуться.

Сазонов: Завтра потечёт по улицам кровь! И Россия окупётся в бездну!

Горемыкин: Дума будет распущена завтра, и нигде никакой крови не потечёт.

Сазонов: Я не буду участвовать в деле, в котором вижу начало гибели своей родины!

Горемыкин закрыл заседание. Сазонов вслух обозвал его безумным, по-французски.

А Прогрессивный блок, торопя свою победу, перешагивая почти не существующее правительство, обратился прямо к Государю с меморией: теперь же учредить правительство доверия и точно определить направление политики (в пользу общества, разумеется). И им это казалось вполне возможным в обстановке тех дней. Волновались и московские рабочие, бастовали петроградские, к забастовке Путиловского присоединился Металлический (на поддержку забастовщиков всё время брались откуда-то обильные таинственные деньги) – и требовали не распускать Думу и вернуть из Сибири большевицких депутатов.

А между тем (хотя фронт именно в эти дни остановился) – катилась всё та же мнимо-стихийная, под нагайками, принудительная эвакуация прифронтовых районов со скарбом и скотом, угрожая глубинным губерниям невыносимой густотой. Новая Ставка подтвердила, что и Киев надо готовить к сдаче – и уже распоряжались несоответственно и противоречиво множество военных начальств, во всём городе возбуждая панику, бестолочь и кавардак.

Поливанов язвил, что теперь уже

потребность бросить на произвол судьбы Киев подтверждена Его Императорским Величеством Верховным Главнокомандующим.

Горемыкин недоумевал, как же быть с киевскими святыми мощами, Государь говорил ему, что не следовало бы вывозить мощи, немцы их не тронут. Но Самарин извещал, что уже есть постановление Священного Синода, и вывоз мощей начался.

3 сентября опубликовали указ о перерыве думских занятий – но армия не *встрепенулась* вся, как грозили.

Главари Блока узнавали внутриправительственные секреты через Поливанова и других министров – тотчас. Ещё до публикации указа собралось бюро блока на частной квартире. Тянулись руки – чем-то ответить обнаглевшей короне.

Ефремов: Если примиримся с роспуском – значит, говорили на ветер. Первое средство борьбы: выход всех членов Блока из всех Особых Совещаний.

Всегда невозмутимый и точный

В. Маклаков: Участие в Совещаниях не есть акт доверия правительству, а работа на Россию. Что ж, тогда пусть и Союзы прекратят работу – и Россия погибает? Если бы страна забастовала, власть, может быть, и уступила бы ей, но этой победы я бы не хотел. Наше лучшее реагирование на разгон – в том, что мы промолчим.

Ковалевский: Уход из Совещаний – как представит наш патриотизм? Союзники и нейтралы скажут: чтобы рассчитаться со стариком Горемыкиным, жертвуют обороной

страны.

**А. Оболенский:** Один англичанин сказал, что русские предпочитают прекрасный жест реальному результату. В момент опасности для родины нам, видите ли, важно быть не полезными, а принципиально-правыми. Если немцы нами завладеют, а мы будем возлагать ответственность на правительство, скажут: мы дети. Нет, разгону Думы не дать разгореться в пожар.

**Милюков:** Первый шаг – свалить Горемыкина. А это возможно политикой сдержанности.

Поди попробуй – сдержанностью! Вот была сдержанная программа – разве её оценили? Разве пригласили в правительство? (Просочилось и передавали, что царица сказала кому-то про городскую думу: “эти твари пусть канализацией занимаются”).

Отчуждение с властью было – непереходимо, непреодолимо. Но – чем ответить? Не расходиться? Объявить себя Учредительным Собранием?

Действие перенеслось в Москву, главный центр противоправительственного раздражения. Московские круги придумали: создавать по всей империи “коалиционные комитеты” в поддержку блока. И – торопили съезды Союзов земств и городов, по телеграфу созывали их экстренно на 7 сентября.

Тем временем императрица в ежедневных обширных письмах сообщала в Ставку и предупреждала:

Левые в ярости, потому что всё ускользает из их рук. Запрети съезд в Москве, это будет хуже, чем Дума. И думцы тоже хотят собраться в Москве – пригрози им, что за это Дума будет созвана позже. Я теряю терпение с этими болтунами, вмешивающимися во всё. Нужно твёрдо действовать, чтобы помешать им навредить, когда они вернуться. И следует крепко забрать в руки прессу: они собираются выступить с кампанией против Ани – это значит против меня, собираются писать о нашем Друге и Ане – всё для того, чтоб и меня запутать.

(И помощнику военного министра по цензуре было послано: запретить какие-либо статьи о Распутине и Вырубовой).

Я уверена, что за всем этим стоит Гучков. Надо бы отделаться от него. Только как? – вот в чём вопрос. Теперь военное время, нельзя ли придаться к чему-нибудь, чтоб его запереть? Он стремится к анархии, и он противник нашей династии – отвратительно видеть его игру, его речи и скрытую работу... Ах, неужели нельзя было бы повесить Гучкова?... Серьёзное железнодорожное несчастье, в котором он бы один пострадал, было бы хорошим Божьим наказанием и хорошо заслуженным.

А московские рабочие (теперь они чувствовали себя крепко: в армию их уже перебрали, везде не хватало, и начинали из армии возвращать) – на роспуск Думы ответили трёхдневной забастовкой, зримее же всего – стал московский трамвай. Ловя подорожавших извозчиков или прошагивая много кварталов пешком, осязали московские деятели эту тяжёлую убедительность материального аргумента. И начали склоняться, что всякая смута – помощь внешнему врагу.

Теперь кадеты жалели, что в недавних переговорах с правительством Блок не пошёл на большие уступки, Милюков и Ефремов не проявили достаточно гибкости. А что правительство мог бы возглавить князь Львов – никто серьёзно и не верил. Вполне достаточно было бы, если б Горемыкина заменил Кривошеин: он способен был двигаться как бы между курсом чисто бюрократическим и общественных пожеланий. Теперь, когда соглашение с властью стало невозможней, – и требования оппозиции смягчились.

Но как же вести съезды Союзов и что там говорить? Это обсуждалось накануне вечером на квартире у Челнокова, и собравшимся как бы для поджога настроения было представлено рождённое в кругах “Русских ведомостей”, самой просвещённой, “профессорской” русской газеты, мрачное, даже замораживающее объяснение события.

Будто бы: в противовес простодушному Прогрессивному блоку (враги называли

его “жёлтым”) тайно создан Чёрный блок. Они германofilы, они уже разогнали от трона русских патриотов, создали безвольное правительство, удалили Николая Николаевича, захватили в свои руки Государя и рассчитывают, при его нерешительности, отворотить его от генерального сражения и склонить изменить союзникам! (Какой чёрный замысел! Да, теперь все действия власти становились понятны!) Пленнику Чёрного блока представляют такие аргументы: сепаратный мир укрепит династию, а при победе союзников царская власть, напротив, умалится и даже аннулируется; по сепаратному миру мы отдадим беспокойную Польшу, зато усилим русскую однородность за счёт русских областей Галиции. Железный союз всероссийского и германского императоров создаст грозный молот, могущий раздавить весь мир. (И как же мы не видели этой измены до сих пор?) Правда, Государь не может принять на себя такого бесславного поворота. Но если в России начнётся всеобщая забастовка, волнения, народ потеряет живую связь с армией, армия – веру в народ, – то вот и будет законная обстановка заключить сепаратный мир, якобы для спасения России, и ещё на революционные же круги и на думскую оппозицию всё свалить! Вот почему власть и старается посеять в стране всеобщее недовольство и смуту! Это – власть мутит и толкает к мятежу. (Так родилась бредово и с этих дней язвила русскую судьбу уже до конца – разлагающая легенда, что русский трон готовит сепаратный мир).

Какой изворот судьбы! Так именно либералы, ставшие теперь патриотами, только и могут спасти Россию от непатриотической царской власти!

И – что же надо делать? Какая тактика? А – всё напротив Чёрному блоку: удержать Россию от внутренних смут! (И рабочие пусть не бастуют, и трамвай – ходит). Когда разрешат – спокойно возобновить сессию Думы, чтоб иметь трибуну для публичных разоблачений. И постепенно создавать “правительство доверия”.

Собственно, съезды Союзов должны были заниматься практической помощью фронту. Но узнав, что родина на краю гибели, оба съезда, то порознь, то вместе, стали обсуждать текущий момент.

М. Фёдоров: Теперь не время для деловых разговоров. Мы, очевидно, накануне вооружённого восстания!

(О, как давно оно грезилось, в своих таинственных пурпурных ризах!)

Недалеко то время, когда штыки с фронта повернутся на Петроград. Мы должны спасти Россию.

Шингарёв: Каждая наша война заканчивается победой общества и падением реакции: 1812 год – и декабристы! Севастопольская кампания – и освобождение крестьян! Японская война – и победа Освободительного Движения! Наступает решительный момент: для светлого будущего ещё один дружный натиск, и мы достигнем того, о чём мечтали лучшие русские люди!

(Осведомитель охраны докладывает и о кулуарных разговорах Шингарёва:

Откровенно говоря, роспуск Думы даже вывел нас из серьёзного затруднения: всё, что относится к войне, уже было решено, и Думе приходилось перейти к социальным вопросам, а при их обсуждении развалился бы Блок. Теперь же мы демонстрируем единство).

Затем Астров “читал по тетрадке убийственную критику всех мероприятий правительства”. Но

мы дошли до роковой грани, за которой для конституционной общественности уже нет пути. Революционерами мы быть не можем.

Гучков: Подобно Блоку, нам всем надо объединиться и организовать – не для революции, а именно для защиты родины от анархии и революции. Сделать последнюю попытку открыть Верховной власти глаза на то, что происходит в России.

На обоих съездах всё склонялось к тому, чтобы послать Государю депутацию и осведомить его о настроении всего русского общества (как это делали в 1905). А если

депутация не поможет, то

мы знаем, что нам нужно будет делать.

Впрочем, резко возражал против депутации, считая её бесполезной и унижительной для общества, а ответ – известным заранее, присяжный поверенный

Маргулис: Время челобитных прошло. Сейчас – *требуют*, а не просят! И подкрепляют требования – *силой*!

Левое крыло городского съезда требовало не к царю обращаться, а прямо к народу! Прекратить обслуживание фронта и тыла, начать открытую борьбу с правительством!

Но большинством съездов избрали именно депутацию к Государю, чтобы раскрыть ему глаза, что правительство обманывает его, не желая доводить войну до победного конца. Голосовали за почтительный всеподданнейший адрес. Там – разные были слова, были и очень возвышенные:

Ваше Императорское Величество! Восстановите величавый образ душевной целостности государственной жизни! Власть должна соответствовать духу народному, вырастать из него, как живое растение из земли. И нам, как и Вам, Государь, не дорога жизнь, лишь была бы сохранена Россия. В Ваших руках её спасение.

Были и грозные:

Зловещее препятствие – в безответственности власти... Отсутствие всякой связи между правительством и страной... На место нынешних правителей нужны люди, облечённые общественным доверием.

А между тем в съезд городов уже стучалась делегация из семидесяти рабочих: раз города говорят – рабочие тоже хотят говорить!

Неуютно съезду, когда улица стучится в его дверь. Челноков настоял: никого постороннего! строго наш состав! (Погибла и репутация Челнокова – тут же, за дверью, написали резолюцию: позор либеральной буржуазии!) Так строго свой состав, что не пустили на съезд двух первейших любителей поговорить – членов Государственной Думы Керенского и Чхеидзе, примчавшихся из Петрограда! И подёргливый Керенский в кулуарах отводил обиду с товарищами рабочими, доверчиво беря их за лацканы: забастовок не надо, а создавать организацию для будущего планомерного... и тогда трусливая либеральная буржуазия...

Ну а если (наверняка!) высочайший ответ депутации не будет благоприятным? Левые: тогда – “все пути переговоров с правительством исчерпаны!” – и *обратиться к улице*! Или (что подосадней?) – новый *съезд по дороговизне*! Казачий (тоже левый) делегат: “Теперь казаки – не те, что в Пятом году! Теперь правительству не опереться на казаков!”

Всё ж при закрытии земский съезд поднялся и крикнул царю троекратное “ура”.

Кажется, это первый – и последний – раз за два десятилетия своего царствования император Николай II выдержал две недели волевого усилия в одном направлении, не сбиваясь.

И хотя всё взметнулось и вскричало, предвещая катастрофу, – тут же всё и улеглось. Не сотряслось бытие государства, и Россия не окунулась в бездну, и не потекла реками кровь. Вдруг даже окончилось самое грозное отступление этой войны. Давно ли эвакуирован Киев, считали пропащими Ригу, Двинск, опасались за Псков, – а вот остановились. Прекратилась беженская волна. Угомонялся тыл. И даже снаряды стали появляться. И теперь устояние наше даже можно было приписать новому Верховному Главнокомандующему.

Оппозиция не утихала, пожалуй, только в Совете министров. Государыня зорко следила за министрами и сообщала в Могилёв, и понуждала:

Горемыкину невыносимо управлять министрами, которые отвратительно ведут себя по отношению к нему. Боюсь, старик не сможет продолжать работать, так как все

против него. Он очень просится отпустить его. Щербатов отказался послать лиц от министерства внутренних дел наблюдать за сентябрьскими съездами в Москве. Поливанов показывает Гучкову все военные распоряжения и все военные бумаги. Кривошеин тоже слишком много в контакте с Гучковым, он тайный враг и фальшив по отношению к Горемыкину, смотрит направо и налево, возбуждён невыносимо, ведёт подземную работу. А Сазонов – хуже всех, кричит, всех волнует и вовсе не является на заседания. (Но где взять человека вместо Сазонова?...) После заседаний они расходятся и рассказывают обо всём, что обсуждалось. Ненавистные министры, их оппозиция приводит меня в ярость! Мне так хотелось бы отхлестать почти всех министров и поскорее выгнать Щербатова и Самарина. Трусость министров вызывает у меня отвращение. Ты должен разнести их! Приезжай в Царское Село хоть на три дня. Твой приезд не будет отдыхом, а карательной экспедицией. Теперь ты должен показать им, кто ты, – и что они тебе надоели. Ты пробовал действовать мягкостью и добротой – теперь ты покажешь волю повелителя. И запрети Самарину увольнять Суслика (Варнаву, тобольского епископа). С Самариним – я теряю голову и прошу тебя торопиться. Не дай унижать Государя или его жену. Ты не имеешь права смотреть на это сквозь пальцы, это последняя борьба за твою победу. А как только уйдёт Самарин – ты должен пустить в ход твою метлу и вычистить всю грязь, которая скопилась в Синоде. Агафангела – услатить на покой, других двух – убрать из Синода. Выгони всех, пожалуйста, моя птичка, и поскорее!

На 16 сентября все министры были приглашены в Могилёв. Они были больно поражены, что на вокзале их никто не встретил из важных лиц, и им пришлось завтракать в обычном вокзальном буфете. Затем они были провезены в губернаторский дом – и там на заседании Государь, с трудом сдерживаясь, произнёс как будто спокойную сухую речь – ответ на их коллективное заявление. Подписавшим министрам он выразил крайнее своё неодобрение: взгляд министров на принятие Главнокомандования был высказан ещё до окончательного царского решения – и совершенно непонятно, на каких основаниях было повторять. Государь высказывал, что теперь министры могут видеть и насколько они ошиблись по существу. Истинная Россия думает иначе (и Государь получает многочисленные телеграммы с выражением восторга). Суждения министров он объяснил “страшно нервной атмосферой Петрограда”. Вот здесь, в тишине и спокойной обстановке, он смотрит на вещи иначе.

Ему воистину невозможно было понять это упрямое сопротивление своей самодержавной воле, которая не могла быть ничем, как угадкой Божьего Промысла.

Наступило мучительное молчание. Невозможно было министрам ничего не ответить, и трудно было что-либо сказать. В коротком обращении Государя можно было увидеть, как раз наоборот, признание его поражения: вот, он отодвинулся ото всех бурь и питается показными телеграммами. Ушёл от центра власти и центра борьбы, и как это может сказаться на судьбе России? Разве на нём держалась Ставка? Разве без него мог функционировать правительственный Петроград?

А можно было видеть и иначе: что они, министры, переоценили роль общественной негодовательной волны. Вот она и схлынула, а государственный корабль идёт. Их коллективное письмо было пережимом – расчётом на государеву слабость. Кривошеин ещё отвечал, что нельзя пренебрегать общественным мнением в такое критическое время, что надо дать обществу участвовать в войне (но оно сверх меры уже и участвовало), что правительство должно сотрудничать с народом (но – где был истинный народ? и тот ли народ в морозовском особняке?), – а между тем он ощущал теперь, как при его собственной ошибке великое русское колесо не покатилося по какой-то незримой, но может быть лучшей колее. Оказалось, что фавор Государя, и фавор общества, и даже фактическое премьерство – это все ещё не премьерство. Вот – движение шло без него, а его – оттирало в сторонние нежеланные советчики.

После царского реприманда было ясно, что министрам-бунтовщикам придётся

уходить в отставку. 26 сентября были уволены Самарин и Щербатов. Тем более ясно теперь видя всю бестолковость, нестройность августовской пьесы – и со стороны общества, и со стороны министров, и справедливо не рассчитывая на царское прощение, Кривошеин понял, что, не дожидаясь отставки от царя, должен подать сам. (Да и не мог он задерживаться в реакционном правительстве, не позоря себя в глазах общества). В ближайший свой доклад в сентябре же он и подал. Государь сразу облегчился, почти обрадовался: теперь он не должен был сам увольнять своего долголетнего сотрудника. Но в сентябре это могло выглядеть как массовый уход министров, опять забастовка, – и он взял с Кривошеина слово хранить отставку в тайне ещё месяц.

Через месяц отставка его была объяснена расстроенным здоровьем, сопровождается самым похвальным государевым рескриптом и орденом Александра Невского.

И ещё оставалось решить о приёме земско-городской депутации. Императрица писала:

Не принимай этих тварей, иначе будет иметь вид, что ты признаёшь их существование. Не позволяй им влиять на тебя, это будет принято за страх, если им уступить. И они снова подымут голову.

И правда, Союзы были невыносимы. Они занимались не своими делами, вносили в воюющую страну хаос, подрывали дух войск, теперь лезли и вовсе не в своё дело управления государством. (Но вы же сами их великодушно утвердили, Ваше Величество?...) И не были они настоящая сила, только очень громкий голос исходил от них. И на съездах уже прозвучали намёки о сепаратном мире (ещё не понятые Троном). И за прекрасными словами их адреса таилась мысль – научить монарха, ограничить его, а самим прорваться к власти. (По неопытности она казалась им сладкой).

И ещё – саднило Государя воспоминание о приёме земской Делегации в Петергофе, в 1905. Ведь он тогда с открытым сердцем поверил им и был милостив, а они потом – улюлюкали, и сами надсмехались над своей делегацией, и открыли, что это был – всего лишь манёвр.

И – опять?...

И указал Государь через министра внутренних дел, что не может принять депутацию по вопросам, не входящим в прямую задачу земского и городского Союзов (помощь раненым).

И – всё верно. Так.

Но – когда-то же и к чему-то же надо было склонять самодержцу ухо, хотя бы в четверть наклона. Можно было представить, что в этой огромной стране есть думающие люди и кроме придворного окружения, что Россия более разномысленна, чем только гвардия и Царское Село? Эти беспокойные подданные рвались к стопам монарха не с кликами низвержения, или военного поражения, но – войны до победного конца. Просила общественность – политических уступок, но можно было отпустить хоть царской ласки, хороших слов. Выйти и покивать светлыми очами. Всё это было у них неискренне? Ну что ж, на то ремесло правления. Нельзя отсекать пути доверия с обществом – все до последнего. Даже после пылающего лета 1915 года, сдачи Варшавы, грозного отступления, ещё многое можно было исправить добрыми словами. Всё же – смертельная рознь власти с обществом была болезнь России, и с этой болезнью нельзя было шагать гордо победно до конца.

Любя Россию, надо было мириться с нею со всей и с каждой. И ещё не упущено было помириться.

Но за десятками неразстворных дубовых дверей неуверенно затаился царь.

Пребывающему долго в силе бывает опрометчиво незаметен приход слабости, даже и несколько их – включая предпоследний.

Жил Шингарёв на Петербургской стороне, на Большой Монетной. Извозчики сильно подорожали, да уже за день перенял Воротынцев бережливую сжатость семьи, что оскорбительно мотать на извозчиков, а лучше добавить в нянино хозяйство (дрова подорожали вчетверо, мясо и масло – впятеро). И Верочка со смехом рассказывала, как один важный прокурор, опаздывая на доклад к министру, а трамваи набиты, а извозчики не попадают, – нанял пустые дровни из-под угля и, стоя с портфелем, балансировал в них по Фонтанке. И с душевной свободой поехали брат с сестрой трамваем.

Уже повидал Воротынцев сегодня кусок вечернего Невского, и обидно сжалось сердце. Множество красиво одетого и явно праздного народа, не с фронта, отдыхающего, – но свободно веселящегося. Переполненные кафе, театральные афиши – всё о сомнительных “пикантных фарсах”, залиvistые светы кинематографов, и на Михайловском сквере, в “Паласе”, рядом с верочкиным домом, – “Запретная ночь” (подумал: мерзко ей), – какой нездоровый блеск, и какая поспешная нервность лихачей – и всё это одновременно с нашими сырыми тёмными окопами? Слишком много увеселений в городе, неприятно. Танцуют на могилах.

Теперь избежали Невского: скосили по Манежной площади мимо Николая Николаевича-старшего, невдали от Инженерного замка дождались синего и красного огоньков второго номера, уже не переполненного в вечерний час, – и повёз он их, как будто выбирая и показывая (да только уличного освещения не хватало сейчас), что есть по красивее в Свято-Петрограде: с оглядом на Михайловский дворец через Мойку, Лебяжьей аллеей вдоль Марсова поля и прокидистым Троицким мостом с лучшим видом столицы оттуда налево – на Зимний со звеньями Эрмитажа, на стрелку Васильевского, особенно в тот миг, когда причудливые и мощные ростральные колонны, угадываемые в подсвете уличных фонарей, захватывают Биржу точно посеред себя и тут же, обращаясь, упускают. Одно светилось, иное было темно, но привычный взгляд вспоминал и в темноте всё равно как бы видел и контуры, и цвета, а больше – бурый нездоровый цвет петербургских дворцов.

Смотрел-то Воротынцев смотрел, и любовался с отвычки, но истого москвича не собьёшь, не смутишь: наша Москва – с душой, а тут – нет. Наша Москва всегда лучше.

Да и трамвай петербургский – не московский: у нас в трамвае незнакомые соседи разговаривают, здесь – тишина, только спутники между собой.

А там – успевай переводить глаза на крепость, всегда различимую на небе, если оно не вовсе черно (тёмный призрак, та крепость и та стена, напоминание всем будущим заговорщикам...). И покати́л трамвай самым современным, самым лощёным проспектом столицы, успешливым соперником Невского. А вот уже и сходить. От Каменноостровского направо недалеко было им пешком. Дорогою, подготавливая брата, Вера рассказывала ему о Шингарёве ещё, и он со вниманием слушал. По нужде Шингарёв стал и финансистом: профессор-кадетов в Думе полно, а специалиста по финансам не оказалось, так взялся он. Знаменитые его бюджетные турниры с Коковцовым... Недоброжелатели из своих же кадетов зовут его дилетантом: мол, где-то надо остановиться...

– Нет, это ничего! – нравилось Георгию.

А прислушивался и к самому голосу сестры – тихому, уговорливому, что не болтает она по-сорочьи, но подаёт самое важное. Ещё от первой минуты, как увидел её тоненькую, миловидную на перроне, поразился, как мало думал о ней все эти годы, как мало чувствовал, что есть у него такая сестра – не яркая, не дерзкая, а взгляд такой понимающий, такой свой. И сейчас в трамвае: не потому, что твоя сестра, но правда же – какое скромно одушевлённое лицо. Человеку, кто направляется в трудную самоотверженную жизнь, только на такой и можно жениться: неслышно, неустанно, незаметно горы переверотит избранному, в постоянном некрикливом работливом скольжении. И почему, правда, сестрёнка, всё не замужем? Благодарность и даже влюблённость в сестру всё более забирали Георгия сегодня.

Рассказывала Вера, что Шингарёв одновременно и гласный петроградской думы и гласный усманского земства, и половину России объехал с общественными лекциями, с



успехом невероятным:

– Он даже статистику так излагает, что заслушиваются люди. Не какой-нибудь блеск в его речах, он даже может и неправильно выразиться, а вот... искренность! за-хваченность!

Между тем, придерживая под невесомый локоток, вёл её Георгий по Большой Монетной, и номера нарастали. Тут ещё немного пройти, и дома попростеют, будет граница приличного района, уже рядом с неприличным Выборгским.

– Он очень русский человек, но активность у него даже не русская, вроде твоей, почему я и думаю, что вы друг другу понравитесь. Больше всего он радуется, когда работать ему дают, не мешают.

– Слушай, а мы не наскочим на какое-нибудь кадетское сборище?

– Вообще ручаться нельзя, – тихо засмеялась Вера.

– А ты сказала – понедельник! Так ты меня в западню?

– Петербург! Жизнь в том и состоит, что друг ко другу всё время ходят и обмениваются – новостями, мыслями, теперь вот *списками* ... Чем-то надо гражданские свободы заменять. И потом он – излюбленный депутат, к нему и незнакомые рвутся...

Вот был и 22-й номер, по фасаду отделанный под светлый плиточный кирпичик, значит постройки недавней. В парадное. Лифта нет, но лестница – шире обычной, можно рядом свободно идти троим, и окна лестничной клетки – трёхстворчатые, просторные.

– Пятый этаж? Всё-таки не понимаю. Такое положение в Думе, в партии – почему уж так стеснённо живёт?

Лёгким дыханием, несмотря на подъём, Вера объясняла:

– И даже за такую квартиру он отдаёт половину думского жалования. Депутатам платят весьма умеренно. Да по пятьдесят рублей теперь каждый отдаёт на думский санитарный поезд. Да – пятеро детей. Да – трём племянникам ещё посылает. Да он и аскет прирождённый: удобств не ценит, к еде равнодушен, сладкого совсем не ест. Он и сам вырос одним из шестерых детей.

– Вы так близко познакомились?

Потолки не снижались, однако, ни на третьем, ни на четвёртом. На дверях квартир – узорчатые чугунные номера.

– Я сама, через меня, предлагали ему литературную работу – так он и не всякую берёт. А только – какая по душе. Хоть и бесплатная. Ну, вот ещё за лекции получает. Семья у него, правда, трудовая, поворотливая, особых забот не требует. А сам уж – и болен, на воды посылали. Годами без отпуска, месяцами без отдыха.

Из далёкого фронтного угла, из землянки представлялись главные думцы на некоей сияющей высоте, поставленные высоко над средними русскими гражданами. И вот не соединялось это теперь с рядовой петербургской квартирой и всем вериным рассказом. С тем большим интересом поднимался Воротынцев.

Лидеры кадетов, подобно знаменитым артистам, изображались на почтовых карточках. Так видел Воротынцев Милюкова, Маклакова, Родичева, Набокова – а вот Шингарёва почему-то нет.

А он сам и дверь распахнул, Андрей Иванович, – и какво это движение было, и всё сразу, охватимое одним взглядом, ещё не разделённое на признаки, открыто передавало, что этот человек из себя ничего не корчит, не строит.

– Здравствуйте, здравствуйте! Высоковато? Я, знаете, по сельской привычке терпеть не могу, чтоб у меня над головой ходили.

Энергично подал большую ладонь, жал не расслабленно.

– Зато, – пошутила Вера, – как и прилично теневому министру финансов – на Большой Монетной.

– Да разве вы ещё сельский?

– Вот, тринадцать лет по городам, а привыкнуть к городу не могу.

Правильно ли показывал первый взгляд, неправильно, но сердце Воротынцева всегда шло по нему. И сейчас, отстёгивая в передней оружие, зардовался он, что можно со

встречной открытостью, без чинов, без кривляний.

– Мы-то – в земле живём, над нами – всё топает. Обе верины руки подхватил Шингарёв размашистей, чем это делают:

– Ну как хорошо! Как хорошо, что привели.

С первого вида и гласа вступал в душу этот человек.

Квартира вся в глубину, там кто-то ходил, был, выглянула девочка из другой двери, но кабинет Андрея Ивановича – тут же, первый. Тем же широким движением хозяин распахнул, пригласил и Веру, но та:

– Спасибо, спасибо, я – к Евфросинье Максимовне.

Узкая комната, ещё суженная книжными полками с обеих сторон да стульями, однако не свободными: на каждом стопы журналов, брошюр, бумаг. Проваленный диван – и тот не весь свободен, и на нём стопа. К единственному окну в глубину удвинут письменный стол, а уж на нём – тот ужасный разброс и наброс, который только одним хозяином понимается как осмысленный порядок.

А уж хозяин, в костюме домашнем, не новом, держится ещё и проще своего пятого этажа: вот, председательствует в военно-морской комиссии Думы и важен ему всякий понимающий человек с фронта, чтобы перенять наблюдения и выводы: сам же за всеми делами, думскими, партийными, лекционными, много не выберешься в Действующую, в этом году и в Европу катались на два месяца парламентской делегацией, и там успевай понимать. Мотался и на Западный фронт, поглядеть, – но наездом, посторонними глазами – что увидишь? А заседа в Совещании по обороте или в думских комиссиях, сколько надо чужого опыта собрать, соединить, стянуть, чтоб уверенно опираться. И он старается чаще видеть армейцев, очень нужны свежие оценки.

Так сейчас – сразу и говорить?...

Да знаете, фронтовому офицеру только и мечта, чтоб тебя послушали, ведь колотишься – пожаловаться некому.

На продавленный диван усаживая, а себе подтягивая плетёный стул:

– Так вы в какой армии сейчас?

– В Девятой.

– У Лечицкого? Кажется, хороший генерал, да? Верно видит, молодец.

– Из лучших.

– Значит вы – с самого, самого левого фланга?

– Как шутили до этой осени: мы – “крайние левые”, левее всех социалистов. Того крайнего левого фланга, где был у нас бок защищён, а теперь румынами открылся. И потекло.

Вопрос – ответ, вопрос – ответ, – деловые, понимает, помнит. Да, да, с Румынией – всё самое горячее и непонятное. Как же Добруджу отдали? Как там Дунайский корпус? А что под Дорной-Ватрой? (И без карты всё представляет, молодец.) Почему же мы отступаем? А летние месяцы ваша Девятая ведь наступала, и удачно. Так – боевой дух сохраняется?

Вот ему что – боевой дух! Сейчас, сейчас, будем добираться, через румынские участки. Ждёт его узнать куда больше, чем он доведывается.

Но тут же и остановил Шингарёв – раз, и другой: дело в том, такая случайность, позвонил Павел Николаич, он тут, на Петербургской стороне, и собирается зайти, вот в течении часа...

– Павел Николаич? Простите, это...?

– Милюков. Такой случай жалко пропустить, ему тоже бы очень надо послушать! И Милий Измаилович придёт, Минервин. Вот мы бы все сразу толком вас и послушали.

Ах вот как, всё-таки затащила Верунька на сборище. Ну что ж, даже и забавно начинается Петербург. Даже и замечательно?

А пока – что? А пока Шингарёв, виноватый в задержке, и сам готов – отвечать, объяснять. Вот он весь, неукрывный, не похожий на думского лидера. Подстрижен, правда, как модно у общественных персон – бобрик, лишь чуть длинней. И на голове, в усах и в

бородке уже непоправимо двинулся тёмный цвет в проседь. Но в рассеянном свете матового колпака настольной лампы – вот эта карточка на стене: в белой косоворотке навывпуск, с кроликом на коленях – молодой лохматый весёлый цыган, прицыганенная порода, как много у нас по прежней степной границе, – и спросить неловко, вдруг не попадешь, и не удержаться:

– Вы?? Неужели?

И самому не верится? – где теперь эти буйные неулёжные чёрные волосы враспад, эти глаза горячие, бегучие, – улыбка! вскочить в секунду! – бежать, скакать, делать!

Двадцать лет назад, даже не земский, вольнопрактикующий врач за пятак. Тех сельских участков, ему намежёванных, скудость, убогость, невежество – как же вспоминаются нежно:

– То корова “не пришлась по шерсти” домовому – значит, продавай. То от скотьего помора голые бабы идут вокруг деревни и пашут... А эта “народная медицина”? Трудные роды, так свешивают мать вниз головой с печи и – гонца в церковь за три версты: просить батюшку открыть царские врата, чтоб роженице легче. А детям – пригрызают грызь! А – умывают с уголька?

Он как будто жаловался на народ? Но – не с презреньем, а с печальным состраданьем.

– В Усманском уезде, где у меня хутор сейчас, – поразвитей, почище, и всегда были. А в Ново-Животинном, где мы эту статистику проводили, боюсь, что и сегодня... К земле прикованы как обречённые. Уже безземельны, безлошадны, нищи, двор не огорожен, хата убога, живут уже не от земли вовсе, отхожими промыслами, а всё равно: земля! Копаются в последнем клочке.

– А когда вы последний раз там были?

– Да уже семнадцать лет. Сейчас – везде лучше, да, и даже несравненно, деревня – другая, но ведь я же не врал: в 99-м году так **было** : что зимой не хватало кислой капусты! не сварить щей! Кто же **смел** так довести деревню, скажите!?

Его голос нутряной, забирающе-искренний, повлажнел.

– Ново-Животинное стоит над Доном. Вдоль берега – мощные слои известняка. Известняк – ничей, как говорится Божий, издавна его ломали на строительные работы. Так нашёлся сукин сын догадливый, свой же мужик, наплевал и попрали это народное представление – ничей. И отеческое начальство ему помогло: в Воронеже сунул взятки, кому надо, и все эти залежи получил в аренду. И никто уже больше не смел брать известняка, все подчинились, деться некуда. Вот так разлагается народная душа – и непоправимо от нас уходит. И как же можно с этим – на пять минут примириться и не бороться?

Даже не видя бы приветливого лица Шингарёва, только один его голос слыша, тембр удивительный, нельзя было к нему не расположиться: этот голос, ещё рождаясь, ещё по пути, как будто снимал с души всё тепло, не жалеючи, не оставляя в запас, – и выносил на собеседника:

– Раньше ломали камень вольно, везли в город, от себя продавали. Теперь стали получать у арендатора, сколько заплатит, лучшему работнику 30 копеек в день. Вкапывались узкими шахтами, душно, сыро, керосиновый ночник, согнутая поза. Креплением уже никто не занимался, лишь бы заработать, верхние слои обваливались, особенно весной. То про одного, то про другого: “задавлен горой”. Один молодой, кормилец семьи, не успел выскочить за товарищем – глыба в спину, паралич обеих ног, калека и хуже: отказал сфинктер прямой кишки, отходы не сдерживает. И вот лежит на соломе в тесной избе, без ропота, и родители, и жена тоже покорились: знать, Бог велел... Стратотерпец наш великий, безответный серый русский люд...

Пробрало Воротынцева – и тот сукин сын арендатор, и тот парень раздавленный... Верный человек Шингарёв – и понимает, что надо. Да, он и солдатское горе поймёт, ему – и не стыдно будет открыть такое, что вообще офицеру стыдно. Они друг друга поймут! Удачно попал.

– ...Не перестанешь поражаться ему никогда. Но и надежды на него не удержишь: нет,

сами они свою жизнь никогда не изменят. Вытащить их можем – только мы.

Каменоломня ли та. Дифтерит на грязной соломе. Или всё, что сгустилось в окопах за двадцать семь месяцев войны.

– ...И как же пять минут жизни отдать – чему-нибудь другому?... Я пошёл в народ – лечить. Но, собственно, – и не лечить. Что ж прикладывать пластырь голодному и безграмотному? Нет, ты разгрузи его спину, ты просвети его нагнутую голову. С университетских лет меня и поразили этот разрыв: между торопливыми идеалами интеллигенции и покорной непросвещённостью масс. Разрыв – слишком опасный для страны, этак ей несдобровать.

– Сегодня он – не меньше, – предупредил Воротынцев, уже о своём.

– Конечно, и сегодня не меньше, в том и беда, – не понял Шингарёв. – Тем хуже. И значит, задача не изменилась с конца того века: всеми силами, как можно скорей, сблизить верхи с низами. В этом – решение всех русских вопросов. А нам времени не дают. Тогда – война началась, потом революция, потом реакция, теперь – опять война, ничего мы не успеваем. Сблизить – а как? Мне казалось, что естественней всего врачу: он в каждую хижину входит как свой, желанный.

Так и вязалось у Шингарёва в те годы: сперва – санитарные условия деревенской жизни, а их не понять без крестьянского бюджета, а дальше надо понять и бюджет земства. Сперва – устройство амбулаторий, школьных горячих завтраков, яслей-приютов на время страды, а там – печатные работы, публичные выступления, в 26 лет – уже гласный Тамбовского губернского земского собрания, и борьба против князя Челокаева, главы тамбовских консерваторов.

Но что можно было сделать в земстве, если ему не давали даже поговорить спокойно, а его лучшие проекты возвращались с выговорами? Сами же допустили общественную мысль – и сами же потом надругались над ней. Всё больше вырисовывался конфликт с центральными властями, с правительством.

А это – совсем уже как бы не о прошлом, это сегодняшней день и есть, и этому полковнику тоже надо было отчётливо понимать:

– В 902-м году собрал Витте земский съезд о “нуждах сельскохозяйственной промышленности” – первый земский съезд! Все заволновались, везде отголоски. Выступил и я в Воронеже с докладом: “Что казна взимает с населения и что даёт ему взамен”. Так приехал давить нашу крамолу сам товарищ министра внутренних дел! И за мнения, высказанные не по нашему задору, а по запросу Витте, разносил уважаемых пожилых людей, не стесняясь ни возрастом их, ни положением, высмеивал, издевался. С той безбоязненностью, с тем хамством, которое так свойственно самодержавной русской бюрократии! Меня как букашку даже не вызывали, просто взяли под полицейский надзор. Но именно и было тяжело, неловко – остаться не пострадавшим, когда вокруг крушат честных людей. Только когда ко мне пришли с ночным обыском – только тогда отлегло, стало чисто на душе.

Воротынцева уже брало нетерпение – начать бы говорить о своём главном, открыться самому, а то ведь придут помешают. Но не решался он прервать, когда так охотно рассказывал именитый депутат. Странно, Воротынцев эти же годы жил в России, и самым напряжённым образом, а вот этого всего не знал, как и Выборгского воззвания.

И так он сидел, утопленный в старом диване, и выслушивал зачем-то давно изжитые подробности пятнадцатилетней давности. А Шингарёв – с плетёного стула, повыше.

Вот так и закручивался беспартийный врач во внепартийный водоворот. Сперва вступил в увлекательный для всех интеллигентов Союз Освобождения. А стали объявляться партии – оказался кадет. Впрочем... Ещё в студенческой молодости, в рождественское гадание, Фроня – тогда курсистка и ещё невеста Андрея Ивановича, подписывала много билетиков, их потом лепили по развалу большого таза, а в тазу по воде пускали ореховую скорлупу со свечкой, кому к какому билету пристанет. Шингарёву пристало: “Будет депутатом первого русского парламента.” Тогда ещё царствовал Александр III, и даже глаза

зажмуря нельзя было тот русский парламент реально вообразить. А сбылось – точно. От Воронежа Шингарёв был уже и в 1-ю Думу первый кадетский депутат. Но воронежский кадетский комитет не хотел отпустить его в столицу, поберегли для Воронежа, и что ж? Тех первых неизбежно ждало Выборгское воззвание, тюремная отсидка, запрет политической деятельности – а Шингарёва избрали во 2-ю, потом и в 3-ю. Когда же запретили ему баллотироваться от Воронежа, то в 4-ю дружно выбрали по Петербургу, уже знали здесь его.

Это к тому всё рассказывалось, что ничего нельзя совершить, не борясь против власти. Да если вдуматься, так может так оно и есть? А с чем Воротынцев ехал – в том тоже ведь, как будто?...

Во Второй Думе никто не понимал долг народных избранников как работу-работу-работу. А будто нет ни России, ни народа, только партийное самолюбие. Крайне левые кричали: “Такой Думы нам и не надо, провались она!” А кучка правых: “Вы и такой Думы недостойны, слишком много урвали!” И всё-таки разгон её был – щемящий день.

– Я предвидел, что государственный переворот пройдёт для народа как бы незаметно...

(Разве то был государственный переворот? Странно слышать, Воротынцев и не заметил, не запомнил).

– ...Но и при всём ожидании тишина Петербурга и Москвы 3-го июня была поразительна. Не только волнений, но даже малейшего интереса, что с Думой произошло какое-то событие. На стенах – отпечатанный манифест, прохожие даже не останавливаются почитать. Гонят себе извозчики, тянут ломовые... Мы-то себя считали – “Дума народных чайний”, а разогнали нас – никто и не моргнул.

(Так может – и не была беда?)

И Шингарёв пересел к нему на диван, утонул в другом проямке. От воспоминаний к делу стал пристально проглядывать собеседника серыми допытчивыми глазами. Такая была в нём нестоличность, доступный уездный врач, в тревоге за собеседника готов и сейчас осмотреть его и выстукать.

А где Воротынцев был в то время?

Июнь Девятьсот Седьмого? Да здесь же, в Петербурге. Кончал первый курс Академии, экзамены. Честно говоря, ничего не заметил.

Так, так, кивал Шингарёв. Этого заболевания он и ожидал.

– В Третьей Думе всё же было согласие в работе. Но сейчас, в Четвёртой, всё заклинило, ничего не идёт. От упрямства и тупости власти. А ведь война была бы для них самый благодарный период для сближения с общественностью! Не захотели. В прошлом году, после отступления и преступной сдачи крепостей наша военно-морская комиссия подала царю очень откровенную записку. И – никакого ответа не было. И это ещё, скажите, мы – в комиссии, хоть можем всё знать и обсуждать. А в Третьей Думе Гучков нас и в военную комиссию не пускал, объявив кадетов “не патриотами”.

На открытость – открытость:

– Лично о вас, Андрей Иванович, этого не скажешь, но если перебрать ваших товарищей по партии – какие они в самом деле патриоты? Я бы сказал: Александр Иванович был довольно прав. – Смехом смягчил свою дерзость.

Шингарёв с горячностью:

– Если мы ищем народу добра – кто же мы?

– Ну, по-разному можно искать, – смелел Воротынцев к своему. – Если прочность России вам для того не нужна, Россия хоть развалилась, была бы свобода.

– Как прочность не нужна?? Мы желаем именно – победы! Мы строим все расчёты – именно на патриотизме населения! Это – одно наше спасение, неожиданный народный дар, целитель всех недугов, – это после всего, как над народом издевались!

И изглядывал Воротынцева как своеобычного, но представителя того же народа. От него он ждал каких-то решающих слов, Воротынцев это почувствовал. Но – рядом, рядом маячила и та скала, бараний лоб, которая сейчас не разъединит ли их? Вот как, они уже

патриоты – больше Воротынцева? Не решался напомнить Шингарёву, что он перед войной мешал военному бюджету.

Вжался в продавленный диван.

Очень закурить хотелось, но неудобно. В кабинете – густо-книжный воздух, и без табачинки.

А Шингарёв понимал так: всё, что сделано для войны, – не бюрократией! – но общественностью. И Россия должна была набрать полное военное напряжение к концу этого года, а к началу 1917 быть в апогее силы. Но всё разваливается – из-за тупого сопротивления власти. Тыл – шатается, не выдерживает.

Опять – тыл. Твёрдые цены, таксы, заготовки? Комиссии оборонная, бюджетная, сотни образованных людей с таблицами статистики, экономическими справочниками. И если что в России менять – так опять же таблицы, справочники, вот их всех спрашивать, а шашка, повешенная в передней, – бессильная палка против этого всего, хоть и две дюжины таких дурных шашек. Даже в Академии не изучали ни гражданского законодательства, ни органов управления.

А Шингарёв – всё пригружал:

– Какая-то чёрная полоса, никого не рождающая. Не рожаем великих деятелей. Покинули Россию и пророки, и великие писатели. Но самое удивительное: почему не выдвигаются полководцы? Третий год небывалой войны, какой Россия никогда не вела, 14 миллионов перебивало под ружьём, – отчего же Суворова нет? Ни даже Скобелева?

Полководцы?...

– Разрешите, я закурю?

Полководцы! Воротынцев ли не думал о них?! (И о себе...) Что они не рождаются – не случайность. Они – рождаются, но верхи служебной лестницы непроходимы для них, из-за тупости. На дивизиях, на корпусах, даже на армиях по сравнению с началом войны сейчас толковых генералов немало: вот – Лечицкий, Гурко, Щербачёв, Каледин, Деникин, Крымов... А выше – не пройти им. Ну, как и у вас с министрами.

Это – понравилось Шингарёву. И, уже нетерпеливо сплетая пальцы, он задавал вопросы такие, чтобы вырвать из груди полковника предвидимый и желаемый ответ. Что в армии – ещё неисчерпаемые возможности! Что сил её – хватит на все испытания до победы, и полководцы ещё просверкнут. Мы – победим, только освободите нас от этого гнилого правительства!

Но на такого полковника он попал, что ничего этого страстно желаемого тот обещать не мог и не хотел. И о правительстве, и о верхах, которые сам Воротынцев несколько не уважал, – такой мольбы-обещания тоже не мог выговорить.

Полное взаимопонимание – только примерещилось обоим?

И росло желание начисто объясниться с Шингарёвым – и невозможное же, смешное положение для боевого офицера: приехавши с фронта, перед тыловым штатским вдруг выступить каким-то пацифистом. Как басу сорваться фальцетом. Они тут – за войну и за победу, а ты?... Ишь как легко они – “набрать полное военное напряжение”! – ты набери его в окопе, крячась день за днём. Очень они уж тут воинственно-победоносны. Но чем прямым Воротынцев видел истинную народную нужду – тем трудней было, оказывается, выразить её на образованном языке.

А Шингарёв ждал: как же нам вытянуть войну? Чем мы для неё дорожились? что жалели? Столько жертв уже положив, как же мы смеем не искупить и не победить? Тени мёртвых подымутся, спросят: за что вы нас погубили?... Да кадеты готовы атаковать правительство с любой новой силой!

Вот этот вопрос: а для чего же принесенные жертвы? каков же наш долг перед умершими? – всегда стоял поперёк и против нынешних мыслей Воротынцева. Этот долг перед умершими он чувствовал живее тех, кто мог ему возразить в Петербурге, – это были вереницы знакомых или теперь уже полузабытых лиц и имён, и со многими обстоятельствами их смерти, или закопки в землю, или отправки тяжело ранеными. Но всех

их не забывая никогда, он ещё настойчивей слышал стон живых.

Ясно, что надо сказать. И кому ж говорить – председатель военной думской комиссии. И человек какой – не слукавит ни в малости. А выговорить – трудно. Начал издали:

– Ну, хотя бы первое что: сократить армию. Сильно сократить. Просто – на одну треть. Нам нужна армия не огромная, а отборная – почти б одних охотников, в решающие места. А у нас натянута уже не армия, а сбор да сброд. Мы пытаемся тем покрыть недостатки нашей военной техники.

– Так, так, – не удивился Шингарёв. – Такие мысли мы иногда слышим, – и вы, значит? В Думе вслух мы об этом не осмеливаемся. Но – работников на поля, да? И – меньше ртов кормить, меньше эшелонов на снабжение?

– Самое главное – меньше толкотни в окопах. Раненых на одну треть меньше. Воевать надо уменьем, а не числом. А запасные части сейчас? – батальоны чуть не в дивизию. Перегруженные скопища, гнойники, киснут без оружия, без дела, – поймите: уже в запасных полках у солдат создаётся ощущение своей фатальной – и бессмысленной! – обречённости. И приходят пополнения в полк – ничего не умеют, заново учи. Но у нас в военном ведомстве, в правительстве окостенели мозги: что раз большая война, то надо как можно больше солдат согнать. Уж наверху что задолбят – разве их переубедишь? разве им объяснишь?

*Наверху* ?? О, это Шингарёву сверкающе понятно! Русское наверху, свисающее над каждым здравым вопросом, поперёк каждого здорового пути! – ещё бы! Так и думцы в парламентских прениях упираются в стену, а свалить голосованием – не такой у нас парламент.

Но не только наверху – а вот рядом, глаза в глаза, этого искреннего человека, одушевлённого одною Россией, – его ли можно переубедить? Уже раздумался:

– Возвращать рабочих на заводы массаами? – пойдёт неудовольствие в армии, просьбы, нарекания: а почему не я? А крестьяне – тем более. Будет деморализация оставшихся. А что скажут союзники? В момент такой войны – подобие демобилизации? Они это воспримут как измену. Я в этом году много беседовал в Лондоне, в Париже, – я просто не представляю, как решиться промолвить им такое. Как доказать им, что этого требует дело, а не силы свои мы бережём за их спиной? Что на самом деле – не утеряна наша решимость воевать до последнего солдата и до последнего рубля.

Что?? Что Воротынцев слышал? И от этого самого человека!

– Андрей Иваныч! – заволновался он. – А как же новоживотинцев? Тоже – до последнего солдата? Вы... вы отдаёте себе отчёт: пехота – замучена! Крестьянин – не охватывает необходимости этих жертв, третий год подряд, он только видит, что кем-то и зачем-то принесен в жертву, и должен неминуемо или умереть, или покалечиться. Вы сами сказали об этом арендаторе – вот так разлагается народная душа. Так вот так – она и разлагается!

Нет! Не понимал! Те же глаза в горячем блеске, переходящие к влажности, тот же вид задушевный, подкупающая интонация, – нет! не понимал! тот парень, задавленный в известняках, – был жертва не патриотизма, а тут – война, победа, союзники, исторический жребий России...

– Да разорвались бы эти союзники! – не выдержал Воротынцев. – А то они наши жертвы берегут! Да я б для них и предпоследним солдатом не пожертвовал.

Шингарёв был изумлён выпадом полковника:

– Но для такого крутого поворота?... Но что и как пришлось бы делать?

– Ну, конечно, понадобились бы решительные действия, – с выражением сказал Воротынцев, однако ведь не представляя ясно таких, и не от этого собеседника, видно, добьёшься.

Но так удивителен был кадетский разгон, что это полное выражение и эти “решительные действия” Шингарёв понял всё в той же своей заведенной линии:

– Да, вы правы! Для спасения страны нужны решительные перемены! Поймите меня, – говорил он раскаянным голосом, – я не левый, я понимаю, что серьёзная ответственная

партия даже в оппозиции должна поддерживать правительство, если то попало в затруднительное положение, иначе всё государство полетит – куда?... Мои товарищи опасаются: если будем сотрудничать с правительством – как бы нам не изолироваться от левых течений. Или: как бы мы не разоблачали правительство слишком мало, и после войны, когда его будут судить... да дождёмся ли, что его будут судить?... как бы не попрекнули нас тогда, что мы... Но я... я бы сотрудничал с ними до последнего! Я бы всё им простил, всё простил бы этой власти, если б знал, что и там сердца горят о народе. И там, просыпаясь в бессоннице, думают только о нём. Но нет, не горят! Не думают! – даже и белым днём, в вицмундире, за казённым столом. Они не понимают, не чувствуют, какие надвигаются на Россию события – неизбежные, скорбные, ужасные!

Жгуче застлало эти глаза доброго разбойника, он должен был прикрыть их.

– Правительство – в распадае. Царь, ведущий армию, – катастрофа. Возможно, мы подошли к самому обрыву. Скоро и Государственная Дума уже не сможет остановить народное движение!

Ого! Свободно ж тут говорилось. Смелей, чем в армии.

– Андрей Иваныч! – останавливал Воротынцев. – Неужели вы допускаете... можно допустить революцию?

Шингарёв глядел осушенными напряжёнными глазами:

– Для того мы, Дума, и существуем, чтобы революции не допустить. Мы – клапан, выпускающий лишнее давление. Революционный взрыв снимет ответственность со всех: вот он помешал, а то бы!... И какой услугой Германии была бы революция! Мы – клапан, и выпускаем давление, сколько можем. Но если – власть не поддаётся никаким убеждениям? Если в правительстве зреют предательские мысли?

– Ну, это вздор! Такого нет.

– Ну как же? Если валят и сталкивают Россию в поражение?! – Его руки обречённо уронились на колени. – Увы, последний год я всё меньше вижу возможностей отвратить... Допускаю, что это уже не в нашей власти...

Раздался дверной звонок.

– Наверно, Павел Николаич! – обещающе, уважительно вскинул палец Шингарёв. Проворно поднялся, пошёл открывать.

Теперь и профессор Милуков! Ну, сейчас навалятся, только успевай соображать да возражать.

Воротынцев быстро докуривал вторую папиросу и спешил обдумать главную неправильность в последних словах Шингарёва: что тот уже сдаётся на революцию? – тогда бы тем более действовать, даже малыми подобранными силами, – не робеть, не зевать, время не терять. А вот что ещё у них неверно: почему они соединяют правительство с поражением? Не с поражением, а с измотом народного духа. Так-таки надвинулся бараний лоб и разъединял их. Они хотели – спасти войну, когда надо было: от этой войны – освободиться.

За дверью слышны были два женских голоса, оживлённых. Шингарёв воротился один:

– Нет, не Павел Николаич. Это наши дамы, партийные.

Уселся в ту же ямку дивана, вспомнил, вернулся. Слова – обречённые, а тон уже, пожалуй, и одобрительный. Пронырнув сквозь отчаяние, он шёл к своему опять:

– Если станет революция роковой необходимостью – что ж? Остаётся только не приходить в ужас. Остаётся верить в чудо, что даже из революции Россия сумеет возродиться. Эта кровавая война, даст Бог, принесёт и полную свободу... – Не за себя одного он говорил, он многих знал, за кого: – Ещё будет у нас широкий расцвет общественных сил! Ещё появятся у власти светлые, разумные люди, уважающие свободу великого народа. Только не потеряем веру в будущее России! Надо верить в самодвижущие силы общества. Надо верить в народную правду!

На народной правде опять углубился, увлажнился голос Шингарёва – и на миг ему стало нельзя говорить.

В какой же суматохе их мысли! – еле успевал Воротынцев ловить: то – победа во что



бы то ни стало, то – согласны на поражение, на революцию, лишь бы свобода?

Нет, это как-то у них соединялось:

– Зато после революции наберётся новых сил армия, как это было во Франции. Обновится командный состав. Укрепитя дисциплина. Разольётся воодушевление – и войска...

– Вы так думаете? – Воротынцев хотел спросить без насмешки, но оттенок лёг.

– Мы **все** так думаем, – простодушно ответил Шингарёв. – А без этой веры как же бы можно годами...?

О, святая вера, только отдайся. Но один полк – один **народ**, другой полк – другой **народ**. И тот же самый полк – утром один народ, вечером другой. А вообще всякий полк занимает только протяжение, содержит невыразительное число, а войну делают – охотники, разведчики, смельчаки, первые атакующие. Как и историю делает – отборное меньшинство.

Скомканно это, не всё, ему сказал. Не убедил.

Ну, а как же парень тот, перешибленный в известняке?

А Шингарёв своё:

– Я вот недавно почитывал историю Франции, конца XVIII века. Слушайте, какое страшное сходство! Так и привязывается мысль: да ведь это **наши** дни! да ведь это наша разруха! Да ведь это **наша** слепая безумная власть! Да ведь это наши неуспехи в войнах! Да ведь это **наши** змеиные слухи об измене наверху!

– Андрей Иваныч! Андрей Иваныч! – взялся всё-таки Воротынцев остановить его разгон, дружески взялся, обеими руками за обе его. – Не сами ли мы эти параллели нагоняем? А как бы усилия приложить – распараллелить? Мало нам хорошего – ту историю повторять. Как бы её – обминуть? Нет, я очень прошу – увольте нас от революции!

– Да, пожалуйста, уволью, – рассмеялся обаятельно Шингарёв. – Но получим ли мы что-нибудь взамен?

Правда, когда государство застывает в безвыходности – как должны все штатские смотреть на своих армейских: что же вы ждёте? почему не поможете? И этот долг – Воротынцев остро и стыдно на себе чувствовал. Но как помочь? Он и приехал за тем: узнать.

– Конечно, – вздохнул Шингарёв, – умеренный государственный переворот бывает прекрасным выходом. Но мы, русские, нерешительны на такое. Даже может быть неспособны. Гучков говорит: власть не держится ни на чём, только толкни. Неправильно. Она на многом держится. На государственной машине. На инерции человеческих представлений. На корыстно заинтересованных кругах. На отсутствии мужества у подданных.

В “отсутствии мужества” был ли упрёк? намёк? Нет, это он обдумывал вслух. Да кроме мужества ещё ж надо сметать, сообразить, узнать, понять. Вам тут хорошо, близ самого центра. И опять наложился Гучков, как всё сужено и мало даже в раскидистой России.

– ...Так что по-русски больше остаётся надеяться, что как-нибудь **само**, само... Власть ли очнётся? – самое бы простое! – так не очнётся она. – Шингарёв сдвинул темена с ещё густыми, но чуть седеющими волосами. – Это поразительное непонимание беспощадного хода истории! Что уступить всё равно придётся, так лучше же вовремя, лучше же мягче? – нет! Ни вершка не уступят, пока их не разнесёт! Не признают, что лестницы прогресса никому не миновать! И теми же ступенями, изжитыми на Западе, поплетёмся и мы, всё равно. Но тяжело за русский народ, слишком дорого мы платим за то, что другим достаётся дёшево. Вы не знаете легенду о Сивилле? Её приводили в первом номере “Освобождения”...

Какого ещё “Освобождения”? И спросить неловко.

Позвонили опять.

– Павел Николаич! – взмахнул Шингарёв с готовностью, и поспешно, – да он и всё время так двигался. Пошёл открывать.

Послышался мужской немолодой голос. На “ты”. – “Приехал?” – “Ждём, нет ещё”. И вот уже Воротынцев поднялся приветствовать ещё одного видного кадета – несколько

напряжённого, несколько ироничного или как бы играющего, с нарочито задолженным клинышком светлой бородки, с острым взглядом через пенсне.

– Милий Измаилович Минервин, член нашего ЦК и член думской фракции... А я как раз начал Георгию Михайловичу рассказывать легенду о Сивилле. Ты не расскажешь, у тебя лучше?

Конечно расскажет! Не прося повторить приглашения, нисколько не интересуясь, зачем этому непросвещённому полковнику легенда о Сивилле, нисколько не подготавливая вида своего, голоса или настроения, Минервин опустился на тот же диван, не замечая проямка, и засказывал сразу не одному этому слушателю, но целой аудитории, для чего артистически заработала его мимика, и голос, и таинственно заколебались тёмно-бордовые боковины исторической сцены:

– ...К римскому царю Тарквинию пришла она и предложила купить Книги Судеб. Однако цена показалась царю высока, он не дал. Тогда Сивилла тут же швырнула часть книг в огонь – а *за остальные потребовала ту же цену* ! Ца-арь заколебался, но всё ещё отказывался. Тогда Сивилла бросила в огонь ещё часть книг – а *за остаток потребовала ту же цену* !! Ца-арь, – Минервин многозначительно раскатывал это слово, тут выходя из исторических одеяний, – дрогнул, посоветовался с авгурами и купил остаток. Вот так!! – через пенсне на длинном шнурке от воротника Минервин посмотрел на публику, различил в первом ряду какого-то военного и объяснил ему мораль спектакля: – С исторической необходимостью торговаться опасно: чем дальше, тем меньше она уступает! И кто не хочет читать Книгу Судеб в её естественном порядке, тот дорого заплатит за последние страницы, за страницы развязки!! – И, спустясь со сценического помоста, уже тут, в комнате: – Это мы опубликовали четырнадцать лет тому назад. И что же поняли наши правители? Уступить обществу, уступить Думе и избежать революции? – они упустили каждый год. Все годы. И в прошлом году. И даже в этом.

Позвонил в коридоре телефон. Шингарёв торопливо вышел. Вернулся:

– Павел Николаевич звонит, что задерживается.

\*\*\*\*\*

## **БЕГИ-БЕГИ, ДА НЕ ЗАШИБИ НОГИ**

\*\*\*\*\*

**ДОКУМЕНТЫ – 1**

**Октябрь 1916**

**К ПРОЛЕТАРИАТУ ПЕТЕРБУРГА**

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

**Преступная война, затеянная хищниками международного капитала... Правящие классы, только выпустив все жизненные соки из народов противной стороны, скажут, что их задачи выполнены. Война несёт небывалые выгоды господствующему классу, давая громадные проценты на капитал.**

**Для России дело усложняется господством разбойничьей царской шайки. Над свистопляской зарвавшихся хищников парит двуглавый орёл.**

**Только объявив решительную ВОЙНУ ВОЙНЕ... ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЭТА ВОЙНА! ВРАГ КАЖДОГО НАРОДА НАХОДИТСЯ В ЕГО СОБСТВЕННОЙ СТРАНЕ.**

**Да здравствует РСДРП!**

**Петербургский комитет РСДРП**

На чётких кругах военной службы и в руки бы не беря газет, можно бы позволить себе не одобрять кадетов или даже презирать их. Но попавши в их оживлённую быстроумную компанию, нельзя было не испытать смешанного чувства: лестности быть среди них приветливо принятым и растерянности от их знаний и осведомлённости. Два думских лидера – один порывисто-открытый, другой самодостойно-едкий. Две дамы – но не просто из женского большинства, не из тех, что при мужьях, а партийные активистки – сейчас занятые сбором книг, табака, белья, карамели и мыла (“Петроград – защитникам родины”), вообще же – организацией чего-то важного, а в поведении – отменные равноправием, старшая (назвали двойную фамилию – Пухнарович и ещё как-то) – и умом, и определённой политическими суждений. Младшая зато собою недурна; самое значительное хоть и не сошло с её языка, но так и дежурило в выражении её лица: что вот могла бы она очень важное сказать, но повода нет, то ли паузы. По сравнению с ними хозяйка была упрощена большою семьёй и никак не супруга депутата парламента. Зато пришёл ещё приват-доцент, экономист, молодой, в тёмно-роговых очках, весьма осмотнительный в высказываниях и сдержанный в чувствах. Но уж когда говорил – то убедительным вкусным молодым баском, не допуская сомнений. И больше, чем два кадетских лидера., вот этот именно доцент пригнёл Воротынцева: совсем молодой, совсем не известное имя, а сколько же знает и как явно умён! И сколько таких приват-доцентов в петербургском обществе? – море умных людей. И что они знают – того ты не знаешь. И пойдя как-нибудь иначе завтра государственное развитие России – так к ним же придёшь и на спрос, они и укажут.

Но с этими-то и интересно, с военными он наобщался довольно.

Когда вышли из кабинета и познакомились, как раз приват-доцент обстоятельно объяснял, что в Петрограде сейчас живёт на миллион с четвертью жителей больше обычного. Не упустил продолжить (не потускнел и при Минервине), что вообще российские города составляли до войны 30 миллионов, то есть шестую часть Империи, а сейчас от передвижения масс – 60 миллионов. Потому и удваивается в трудности задача вырвать у деревни продовольствие. У крестьян – жадный дух наживы, нежелание везти хлеб, и если такую тенденцию не переломить, то это – начало общественного распада.

Он объяснял и довольно удивительное, но собеседницы его как будто это всё знали и тут же встречно объясняли ему своё – про правительство, которое, напротив, этого ничего не ожидало. Уже не хватает возмущения против всех нелепых шагов правительства. Общество и Дума отдали родине всё, что могли, и не общество виновато, что эти жертвы не принесли плодов. Причина всей разрухи – в традиции устраивать народную жизнь без участия самого народа.

И от этого момента таким послышался Воротынцеву весь разговор: будто собеседники и дальше наперёд всё знали, что скажет каждый другой, но необходимо нуждались встретиться, выслушать и высказать то, что все они вкруговую знали. И хотя все они были подавляюще уверены в своей правоте – но ещё нуждались укрепиться в ней от этого взаимообмена. И только Воротынцев совсем ничего этого не знал, отстал, не успевал вымолвить ни слова существенного, лишь ловил. Но уже и так ощутил, будто и его вкруживает в эту общую уверенность – да! да! он с ними заодно узнаёт, узнаёт, да уже знает давно нечто несомненное.

Ещё ловил для ободрения тёплые верины взгляды. Она, кажется, была очень довольна, какими вышли они из кабинета, довольна, что привела брата сюда.

И вот столичная жизнь! – не созывали никаких гостей, не назначали никакого вечера, да и понедельник же! – но гости набрались, как будто все и по делу, и вечер сам составил, и надо было всех кормить. Впрочем, что ж за вечер, если дамы не в вечерних были платьях, а разве лишь блузка поновей, как принято у дам оппозиции (от курсистских времён наследовалась полунебрежность одежды как форма своих). И причёски у всех были гладкие,

как можно меньше обращать внимания на свою наружность. Строгое узкое коричневое верино платье выделялось даже.

К ужину высыпали и три девочки, от четырнадцати лет и моложе, представлялись. Сыновей не было дома, а старший кончил уже и военное училище. (А ещё, предваряла Вера, теперь скользнуло по памяти, одна девочка у них умерла.)

Неловко отцу при посторонних, но расслаился Шингарёв, поглядывая на детей.

А у Воротынцева не было никогда ни одного. Обязательным обрядом знал, что дети – цветы жизни, принято любоваться ими, задавать вопросы. Но сам не нуждался в этой связке.

Ну что ж, если Павел Николаевич не скоро – так и за стол? Как Вера и предсказывала, хлеб на столе только чёрный, да рыбное заливное, маринованные грибы, варёная картошка, квашеная капуста. Но, отдать справедливость этой компании, как пренебрежительны они к одежде и к продавленной мебели, так и к наложенному в тарелки. Убирали дружно, но ртов их как будто не касалось, а главное был разговор.

– Нет, они ничему не научатся!

– Нет, они безнадежны!

– От самодержавия ничего добром получить нельзя!

У старшей дамы рукава были по локоть и казались как засученными к делу или бою:

– Скажем ясней: практическая деловая работа может начаться только с удаления этой власти!

У приват-доцента – два роговых надбровья, да составленных твёрдых предлокотья:

– Пока у нас самодержавие – ни на что нельзя надеяться. Без полной перемены правительства не остановить ни немцев, ни народного возмущения.

А Воротынцев выслушивал без чувства оскорбления, а ещё с детства и с юности он повсюду, и в семье, был охвачен этой всеобщей нотой: что России хотели добра декабристы, и только продолжая их светлую традицию можно спасти страну. И что здесь сегодня все открыто хотели республики – тоже он не видел предосудительным. В военной среде так не говорится, не думается, но если взглянуть шире – добро для страны может прийти в разных государственных формах. Как угадать?

А девочки охотно крепко ели, ни слова лишнего. Правда, хорошие девочки. Можно, конечно, вообразить это счастье: большая, дружная удачная семья.

Евфросинья Максимовна имела время пояснить: вот капуста – покупная, а вот эта – со школьного огорода, великолепную вырастили классом, лазарет снабдили и по девочкам разделили, и квасили сами. А грибы – из Грачёвки уж не по нужде военного времени, а заведено у них каждогодне. – Грачёвки?... – Это в Усманском уезде, хутор покойного отца, достался Андрею Ивановичу как старшему из шести детей. Сад и огород управляемса обрабатывать своими руками, каждый год с весны до осени мы все там, кроме Андрея Иваныча. А уж землю, посевную и луговую, сами обработать не можем, а нанимать безнравственно, так отдаём соседям.

С пятью детьми забот – как с целой ротой, да.

И опять об этих пренепопнятных твёрдых ценах. И Шингарёв оказался – уверенно за них. Не успевал Воротынцев связать, понять: если Шингарёв такой радетель деревни – а теперь, как ему толковали в вагоне, это – против деревни? Не успевал понять, но скользило без трения.

К чему-то скажи, не обдумав, такую фразу:

– Но твёрдые цены, вероятно, требуют и твёрдых рук?

Он даже ничего особенного в это не вложил, а так, по аналогии.

А ему сразу настороженно выдвинули:

– Но твёрдые руки не всегда бывают чисты!

– Но твёрдые руки обычно принадлежат твёрдым лбам!

Воротынцев не нашёлся и даже покраснел: не на него ли намёк?

Повторяя постоянную ошибку новичка в чужом окружении, он забывал, что наблюден и виден больше, чем наблюдает и видит сам. О нём уж тут, конечно, предварительно

передали, но скорей – как о бунтаре против Ставки, который пострадал за то, что...

Кому-то ответил:

– Нет, я в кадетском корпусе не учился, я реальное кончал.

Обрадовались:

– Реалист?... Так значит – не к военной карьере?... Колебались?...

Тут бы как раз ему и подладиться, в цвет им, но он по правде:

– Я – не колебался, я – с детских лет. Но мой отец надеялся, что я передумаю, и уговорил на отсрочку, в реальное.

А Шингарёв за твёрдыми ценами видел и мрачней. Прозревал и сам пугался:

– Если война затянется – поздно уже будет говорить о свободном почине, о частном обороте: не пришлось бы объявлять, кто сколько должен продать, пропорционально своим запасам.

Минервин под строгим пенсне поднял строгий палец, как на думской трибуне, и будто стряхивая с пальца слова:

– Ни-ко-гда! Такого нарушения свободы...!?

Шингарёв – уверенно вполне:

– Словом “свобода торговли” пользуется и Протопопов, будь осторожен. Теперь свободу торговли нам возвещает министр внутренних дел. Но это – свобода хищничества, а мы – да, за регламентацию, в интересах самого же населения. Таков парадокс. А что было бы с Россией, если, по принципу свободы, пустили бы частным оборотом, например, набор в войска? Так и с хлебом. Война требует жертв. Надо поглядывать, перенимать у врагов. Шутят немцы о нас: знаете ли вы страну, в которой **всё** есть – и **ничего** нет? У нас от неорганизованности обилие превратилось в недостаток. У них, от совершенства организации, при недостатке – и всем хватает. По всей Германии разъезжают кухни с дешёвыми обедами. Государство умеет всё взять, но умеет всё и дать. Отобрали наши в этом году свои Пинские болота – а они обстроены дорогами, как мы за сто лет не собрались.

Такой растопляющий человек, а вот голос раскатывается и повелительно. Не случайно он там, на верхах политики.

– ...Хотим побеждать – не избежать нам создавать организацию принудительную, как уже во всех европейских странах. Вся война есть принуждение, и никуда мы не денемся, всё равно затынемся в тот “военный социализм”, который уже затопил Германию. И хлеб, и сахар, и чай, и керосин, – всё придётся централизовать, лишь бы вытянуть войну. У немцев – всеобщая трудовая повинность от 16 до 60 лет. И если мы хотим победы – не избежать и нам.

– Только у немцев, – решился вставить Воротынцев, – общество и правительство – союзники, а не враги, как у нас.

Но его возражения как не заметили: видимо, Шингарёва понесло на что-то своё, отклонённое от партийной линии. Не успевал приехать Павел Николаевич обломить эту ересь, но Милий Измайлович был достаточно тяжёлой артиллерией и сам:

– Позволь, Андрей Иванович, ты что ж – становишься на сторону правительства?? – И даже ужас прошёл ветром по кадетскому застолью и заставил всех откинуться. – Это – правительство носится с проектом милитаризовать рабочих, чтобы, видите ли, избежать нежелательных им забастовок. Рабочих – к станкам, как в солдатский строй? – Минервин вскинул нервную выразительную руку и стряхивал, стряхивал с пальца выразительнейшие фразы: – Но наша партия не может принять такой цены – для победы установить диктатуру. Ещё одно крепостное право? Для победы отнять последнюю свободу у народа? Такой ценой не нужна России победа! Мы – все заедино горим желаньем победы, да! Но наша победа – в том, чтоб одновременно отвоевать народу гражданские права!!!

Воротынцев жадно поглощал этот спор, слыша сразу всех, и второстепенные голоса тоже. Очень его поразило, как сочетается у них блистательная образованность – и категоричность решений, нужная для власти.

Кажется, все остальные были за Минервина. Но Шингарёв не поколебался:

– Тут они на верном и неизбежном пути, это неотразимый ход вещей – принудительная

организация труда. Это – всеобщее требование современной войны, оно заставляет уклониться от идеала свободы. И установись завтра правительство общественного доверия – к тому же будет вынуждено и оно!

– Да?? Никогда!! – остро поглядывал через пенсне и остро посмеивался Минервин. – И если ты осмелишься повторить такое с думской трибуны – ты сразу станешь непопулярен!

Но как будто на той трибуне и почувствовав себя, глазами степняка загораясь, Андрей Иванович уже не по-комнатному:

– Что делать, осмелюсь! Да, настал момент жертвовать, соотечественники! Государство нуждается в вашем хлебе, мужички! В труде ваших рук, сограждане!... И если у власти станут просвещённые люди, действительно любящие свой народ, – будет та-акой подъём! Рабочие станут к станкам безропотно! Хлеб потечёт – неудержимыми реками! Народ отдаст хлеб, как отдавал детей!...

Надкололся голос. Шингарёв в растроганности должен был отдышаться.

Зашумели во все голоса. Старшая дама с толстыми локотками не ждала ничего перевеса или мнения, а решительно присудила:

– Ну, разве что при ответственном министерстве, тогда возможна и диктатура! А сейчас правительство нарочно создаёт трудности с продовольствием, чтобы вывести Россию из войны.

Младшая дама с руками тонкими, гибкими, но до запястий скрытыми блузочной тканью, не сробела поправить:

– Нас предупреждали не пользоваться термином “ответственное министерство”: это может нас поставить под удар черносотенной агитации. Надо говорить “министерство народного доверия”.

Блузка у неё была тёмно-зелёная, а по ней – бурые всплески, непонятные.

– Можно говорить: “правительство из доверенных лиц”.

Так это легко выговаривалось, скороговоркою даже, будто такое правительство уже существовало, всем хорошо известно, объявлено наперечёт – и к тому же замечательное и героичное, – а Воротынцев по фронтовой дикости не знал, пропустил? И спросить было неудобно, и места не оставляли для вопроса.

Но явна была уверенность, что правительство такое будет желанным, популярным и спасительным. Такому-то, понял Воротынцев, и всё допустимо, а из рук нынешнего правительства и даром не надо!

– Прогрессивный блок уверенно выведет Россию из тупика!

– Да неужели же общественность справится хуже, чем тупые бюрократы! Россией правят тупейшие из тупых!

– И что делать русскому обществу с этим правительством? Просветить дураков? – невозможно. Переубедить дураков? – невозможно! Десятилетиями жить в полной власти дураков, а чуть хочешь протянуть на помощь и свои руки – на тебя шикают: осторожней! все будем в пропасти!

– Но как наложить на себя узду молчания? Мы лишены инстанций апеллировать к правде!

– Они объявили войну – всему народу! И это – с 60-х годов!

Правительство азиатского деспотизма, каннибальского кровожадия!

– Позиция умеренности к нему преступна как позиция предательства!

– А Милюков думает действовать в европейских манжетах!

– Да швейцары, дворники – и те знают правило: лестницу начинать мести сверху!

– Ка-дэ могут спасти Россию – но поступаясь долей своей умеренности и в контакте с левыми.

– Надо было с самого начала блокироваться налево, а не направо!

– И одной только сменой министров общество не удовлетворится. Нужна – всеобщая амнистия! Нужна отмена еврейских ограничений.

И куда-то, куда-то все они (с участием и Верочки) – весь разговор – и вся мысль

Шингарёва, смыкающая такие разные опоры крепким поясом по чреслам России, – куда-то всё понесло ещё сильнее, покружило, или посыпало – заговорилось не меньше, напротив больше! громче! – они все, оказывается, только начинали разговариваться! – но несло их куда-то прочь от человека, желающего определить себе правильные действия. Смысл мелькал до того карусельно, его нельзя было придержать, да даже нельзя было не утянуться им. Несомненно звучало сквозь весь поток: о народных нуждах, что присутствующие отлично знают их, и выражают их собою, безошибочно могли бы их утолить. А правительство – никогда. Заведенный и ослабленный этим общим уверенным кружением – Воротынцев молчал и сползал.

– Против этой безумной власти наши парламентские действия – слишком слабый аргумент!

– Нет-нет, господа, только парламентские! В нашей стране насилие никогда не будет признано правом!

– Два года мы так ждали известий о победах! А нам подсовывали какое-то потопление в Рижском заливе!

– Тут и мы, думцы, виноваты. Мы старались “не шуметь”, слишком долго берегли престиж армии.

– Русский старый, вечный грех долготерпения.

Шингарёв в этой компании тоже изменился, не тот. Отчего всегда гнёт человека подделаться под общий тон? Да была завихривающая сила у этого кружения, и Воротынцев сидел несвойственным барашком, даже и лицом не решаясь выразить, насколько он всё-таки несогласен.

– Надо всегда помнить, что правительство неискренно с обществом!

(Ну, да и вы ему: говорите одно, а думаете другое.)

– Не-ет, с **этим** царём победа невозможна!

– Идти против народа, против Думы, когда неприятель вторгся в страну, – это и есть пособствование ему!

– А внешняя расстановка благоприятна для победы как никогда: извечный враг Англия – с нами! Недавний враг Япония – с нами!

И – идиотская операция союзников в Дарданеллах, подумал Воротынцев, да куда тут вставишь? Они были все – патриоты больше него: не согласны меньше чем на полную победу.

– Чтоб отстоять Россию от немцев – нужна немедленная коренная смена режима!

– Совершенно ясно: они нарочно провоцируют тяжёлое экономическое положение, чтобы под этим предлогом выйти из войны!

Зацепился за эту ущербинку на гладком карусельном диске: позвольте, что-то не то! А перед 14-м годом не говорили вы наоборот: они нарочно провоцируют войну, чтобы выйти из будто тяжёлого экономического положения?

Однако он не осмеливался возражать. В этом общественном кружении подавительность была – властная. Впрочем, заметил он: рассуждения их были – всё самые общие. А по деталям-то они знали куда меньше Фёдора Ковынёва.

Но слова у всех как наготове, переполняя грудь и рот, и чуть куда щёлочка – выливаются, друг друга уже и не удивляя новизной.

– Россия – просто большой сумасшедший дом!

– Новые министры даже не стали переезжать на казённые квартиры: всё равно через месяц каждого снимут.

– Да гвардия готовит переворот, это всем известно! Переворот будет непременно, вот-вот!

Напрягся Воротынцев: да что ж это за переворот, если о нём так болтают?

– Иначе и быть не может! Общественное недовольство так велико, как не было и в Девятьсот Пятом!

– Господи, о чём ещё говорить, если Сухомлинова собираются выпустить из

Петропавловки!

– Выхода нет! Вспышка народного недовольства должна быть опережена подготовкой революционных действий теперь же!

И всё больше поглядывали на Воротынцева: мол, это по его части? И если он, действительно, прогрессивный офицер – что скажет нам он?

А Воротынцев к тому и летел со своей катапульты – чтобы вмешаться!? Но теперь видел, что кажется не туда попал. И досадно было на себя, зачем он так поддается им безвольно, нигде ничего не может отстоять, возразить.

А варенья – три сорта, тоже из Грачёвки, свои. Уже пился чай, и девочки уходили, всё говорение прослушав немо. Да наверно привыкли, не каждый ли день такое и слушают?

Позвонили в дверь. Павел Николаевич? Все насторожились, подтянулись. Шингарёв молодо вскочил, пошёл открывать. Прислушались – нет, женский голос. Мелодичный, и с неторопливым достоинством.

– Странно, – удивлялся Минервин.

Не уходила. Видимо, раздевалась. Но сюда не вошли.

Верочка сидела с братом рядом и прошептала:

– Профессор Андозерская. Как говорится, “самая умная женщина Петербурга”,

– Да ну?

– Ну, знаешь, как принято в каждой столице насчитывать по пятьдесят “самых умных женщин”?

– Запрещеньями, стесненьями, подозреньями они сами же толкают людей в левых!

– Они – и не Германию больше всего боятся, а уступить общественному мнению у себя в стране. Для них и Земгор и военно-промышленные комитеты – всё крамола, везде революция! Уж заподозрить самостоятельный самоотверженный Земгор...

Держался-держался Воротынцев, но тут за живое задела. Нельзя не отодвинуться:

– Знаете, совсем уж так – бескорыстный – сказать нельзя.

Только это и произнёс, вот только это одно! – но сразу все насторожились! Замолкли так же дружно, как дружно говорили, – и на полковника! Приват-доцент поправил роговые очки, старшая дама надела черепаховые, оттого очень грозней, ещё и при толстых быстрых локотках. Все ждали объяснений.

Начал – так вытягивай. (Верочка смотрела с тревогой).

– У нас на фронте к Земгору... – (как бы это им поаккуратнее?) -... отношение и такое и сякое. Делают немало, да... Хотя и странно, что, например, санитарное дело поручается любителям, не входящим в строенье частей. Делают немало, но и... штаты же велики, уж слишком. И все должности заняты почему-то не стариками, не инвалидами, а военнообязанными. Большей частью – молодыми интеллигентами... Дезертиры – у них санитарями... – Уже чувствовал слитное осуждение себе.

– Но ведь делают же – какое дело! – вырвалась старшая дама, первую изо всех. – Работают – для победы!

Ещё не возражали – ещё только напряжённо-неодобрительно замолчали, – а Воротынцев ощутил, что краснеет. Оказывается, вот что: совсем не просто среди них говорить. Послушаешь – так легко всем болтается, а начнёшь сам – почему, при ясности мысли, выглядишь смешным?

– И банный поезд – ещё не самое дальнее, а то – рытьё колодцев в пятнадцати верстах от передовой линии, или осушка болот, – могло бы и конца войны подождать... Удовлетворяют уже не действительные потребности армии, а придуманные. И раненых содержат неправильно. – Но под силой осуждающего давления: – Я сам как раз не считаю, что...

Солгал, скривил, отступил – да почему ж не получается? *Моё* мнение! именно я так думаю! Почему такая мямля, мысли не складываются, и краска на лице, позор! Какая-то тугая препятственная атмосфера. На генералов шёл – не боялся. Потому что там шёл – *революционно*. А здесь боязно: *реакционно*, самое уничтожительное.



Толкнулось – передать им рассказ Жербера, как подделывали знаки на снаряжных ящиках, – но это никак! никак невозможно было бы тут объявить: и не поверят, и обрушатся!

Минервин поднял вещий палец:

– Но вы упускаете моральный фактор! В прошлом году, во время “великого отхода”, во время народного отчаяния, – общественные силы загорелись священным огнём – и вдохнули его в ряды поколебленной армии.

За армию Воротынцев обиделся. И – резче:

– Ничего они в нас не вдохнули. И предпочтительней – не вдохновлять, а...

Пятьдесят лет вы жаждали идти в народ, вот и идите в народ. Народ – это пехота.

Но – не выговорилось. А:

– Хотя хаоса бы в работе не создавать. Нельзя же вести военное снабжение по трём системам сразу.

Не так, не так! – взволновались. Полковник не понимает и ловится на удочку правительственной агитации. Дело в том, что тупое правительство ведёт против Земгорсоюза травлю, обвиняет в пропаганде среди войск, даже в шпионаже, а потому велено нижним чинам не общаться с деятелями Земгора. И назначаются соглядатаи – в чайные Земгора, в питательные пункты, парикмахерские...

Эти чайные – как раз и первые разносчики всяких сплетен и революционных подзуживаний. Но уж – не возражал.

...Фу, тьфу, мерзкое шпионское само правительство! Вон, Андрей Иванович сейчас вернётся, скажет: они и в холерные отряды не утверждали санитарных врачей – в Девятьсот Пятом арестовывали “холерный персонал”, подозревая, что из-за них громят усадьбы. Не так им страшна эпидемия, как революция!

И Воротынцев – не возражал дальше. Да и что он там помнил о Пятом годе? – он в него не вникал. Отступил, смолк. Не потому, что не прав, а – *реакционно* ... Да, приходят такие бумаги в дивизии: офицерам – следить за земгоровцами, ибо они ведут подрывную пропаганду и готовят революцию. Так – и ведут! И отчего ж бы им не вести? Устроились, привыкли, почувствовали себя в безопасности – и отчего ж им не накинуться на солдатские мозги? А правительству – почему ж запрещено отстаивать свою армию? Неприкосновенность личности – хорошо, но как с неприкосновенностью отечества? И что-нибудь подобное было и в тех холерных отрядах: как же в кипении революции самоуверенным полуобразованным фельдшерам – не поддать огоньку?

А вот сказать – неловко. Презирал себя. Хотелось уйти поскорее, что ли.

А общество – такое малое, но такое динамичное, разочарованно убедясь в сомнительности и этого полковника, – да и чего хотеть от законопослушной монархической императорской армии? – перекаатило через него гремливый своим потоком:

– Вместо побед – издевательским “даром” суют нам “право” врезать императорский штандарт в национальные флаги!

– Единение царя с народом! – чувства юмора никакого!

– А красноружую полицию, небось, на войну не посылают.

– В низах растёт раздражение. Народ им этого не простит!

Даже странно: так мало их, но так быстро успевали друг другу отзываться. Подумал о Верочке: а ведь она – часто с ними, вот она, кажется, это всё разделяет. Да это – нечто, похожее на болезнь: она передаётся от соприкосновения и никак нельзя устоять. Заливает, поддаёшься.

– Даже гимназисты отламывают гербы с кокард!

– Мы перевалили какую-то роковую грань и решительно идём к развязке!

– Правильно пишет горьковский журнал: пора перестать бояться того, что на полицейском языке называется “беспорядок”!

– Да власти очень быстро трусят! Это только кажется, что они – неприступно-крепкие. Эту трусость мы уже видели в Пятом году!

– Да в конце концов, чем хуже, тем лучше! И катастрофа тоже нас куда-то приведёт!

Всё лучше, чем так позорно гнить!

– Смирение – позор! Если Россия не перегнулась в крепостничестве, то события – будут!

– Что-то должно произойти! Так дальше продолжаться не может!

И выдвинулся Минервин, вознёс напоминающий грозный палец для стряхивания:

– Кто столкнётся с *народом* – тот падёт в бездну!!!

И вся его ораторская уверенность, белейший воротничок, точная увязка галстука и постоянное пребывание в Государственной Думе не только не мешали, но определённо окрыляли считать себя клином, пиком, вершиною того народа, от столкновения с которым и упадёт правительство в бездну.

Но если народ и есть пехота, то фронтовой полковник Воротынцев, пропустивший через свой полк несколько составов, и при настоятельной свободной манере расспрашивать даже между двумя перебежками, – узнал, запомнил, ёмко уместил в себе шестьсот – восемьсот – или тысячу лиц, характеров, жизненных историй. А Минервин? – скольких пехотинцев знал? Они всё время талдыкают о вине правительства – но как легко они сами, языками, толкают солдат в смерть. Как же это им всё легко видится из петербургской квартиры!

И почувствовал Воротынцев толчок освобождения из своего непереносимо-стеснённого, даже околдованного состояния. Потянуло его – оскорбить их на их территории! Голос его перестал быть извинчивым, возвратилась к нему свобода. Дерзко, громко, ко всем зараз:

– Вот вы господа, повторяете и повторяете, что Россией правят тупые из тупых, министры сплошь дураки, и как бы вам хотелось лучших. А будем откровенны: общество совсем и **не хочет** хороших министров в России! Появись завтра хорошие – оно ещё больше возненавидит их, чем плохих!

И вот уж теперь не теснился, не ужимался, а если покраснел, то от задора.

Маленькая сумятица, но оправались тотчас:

– Хо-ро-шие? Да когда же в России были *хорошие* министры, назовите!

Ах, вас не берёт, неймёт? И в реванш за унижение, и следя, чтоб не угнуться ни на кивок, а проломиться по самой прямой, через общественное мнение и свист:

– Да уж не буду перечислять хороших, но был **великий** ! Был – великий русский государственный человек, и кто из общества это заметил и признал? Его бранили, поносили хуже, чем Горемыкина или Штюмера. И так он и ушёл – неузнанный, непризнанный и даже проклятый.

Онедоумели дамы и господа, но ещё последняя надежда была, что не махровый этот полковник, а просто задурманенный: **кого** он имел в виду? Неужели...? Конечно же, **не** ...?

– Столыпин, да! – взмахом руки дорубил Воротынцев и их надежды и свою общественную репутацию. Да вызывающе, да со звонкостью: – Пришёл человек цельный! неуклончивый! уверенный в своей правоте! И уверенный, что в России ещё достаточно здравомыслящих, прислушаться! А главное – умеющий не болтать, а делать, растряссти застой. Если замысел – то в дело! Если силы приложил – то сдвинул! Видел – будущее, нёс – новое. И что ж, узнали вы его тогда? Именно его смелость, верность России, именно его разум – больше всего и возмутили общество! И приклеили ему “столыпинский галстук”, ничего другого кроме петли в его деятельности не увидели.

А что ж, галстук – это разве не метко? Галстук – это разве не символ?... Поправляя свой собственный, Милий Измайлович готов был к разгромной тираде. Или к иронии. Или – пренебречь?...

Что ж тут отвечать? Как взрывом была выхвачена непереходимая яма. И если такие полковники слывут за бунтарей – то каково ж остальное офицерство, не бунтующее? И если Столыпина принять за выражение России – то эта страна, и так уж без прошлого, имеет ли будущее? И достойна ли выволакивания?... Бедное, бедное наше общество! Несчастливы передовые люди в этой дикой стране!!...

Всё так, и на том бы можно расплеваться, развернуться, друг друга не видеть, – да ведь не в клубе это, не на улице, а в гостях, в квартире Андрея Ивановича, и как-то же надо прилично выйти из положения. Но даже простых вежливых слов после этого не хотелось произносить.

А Воротынцеву стало легко, и только беспокоил его испуг на верином узком побелевшем лице.

И вдруг положение спас Андрей Иванович сам. Он, оказывается, уже был в комнате, за спиной Воротынцева, и слышал его выступление. Теперь он обошёл обеденный стол к одному из освободившихся детских мест, очень запросто уселся, одну руку вольно свесив через дугу стульной спинки, другою отодвинув испитую чашечку. Не тот раскатистый громкий оратор был, звавший к народным жертвам, – а очень смущённый и тихий... Неуверенно посмотрел на Минервина, на приват-доцента, на дам... И опять тем голосом нутряным, душевным, выносящим наружу все пузырьки тепла, облепившие внутренние стенки груди:

– Вы знаете... Удивительная у меня была со Столыпиным встреча... ещё во 2-й Думе... То есть в зале-то я его видел, конечно, много раз, слышал “не запугаете!” и “вам нужны великие потрясения”, и, кажется, всё было ясно: душитель, властолюбец, карьерист, других оценок мы к нему не применяли. Его земельную реформу я сам в Думе резко осуждал, и искренне: затея чиновников, вносит смуту в каждое сельское общество, в семью, ломает вековые устои. И я же в Одиннадцатом году был первым подписавшимся под запросом против действий Столыпина по западному земству... Но несколько раз приходилось мне к нему обращаться о смягчении участи разных людей – и всегда он смягчал. Особенно помню первый раз. Моего друга, тоже земского врача, административно выслали из Воронежской губернии “за пропаганду среди крестьян”. Откровенно говоря, он пропаганду и действительно вёл, ну проще: от пациентов не скрывал своих освободительных идей. Однако обидно отдавать друга на расправу, если я всё-таки депутат Думы? Взял и написал Столыпину письмо.

Андрей Иванович рассказывал виноватым тоном и сам себе удивляясь. (Это – сейчас, через восемь лет. А ведь тогда – встретиться со Столыпиным было всё равно что предательство. Наверно скрывал).

– Вдруг приглашает на приём. Иду. Стиснув зубы, враждебный. Встречаемся, в небольшой комнатке министерского павильона, вдвоём. Не в белом сверкающем думском зале, где под люстрами резкает каждая черта лица, и сами мы, и каждый звук речи усиливается в значении, – а в комнатке, с одним столом, Столыпин не только не напряжён, не сановит, не приподнят, а усталый, даже измученный. “Так вы – земский врач? Вот не знал!” – улыбается, и лицо просто мягкое, доброе, поверить нельзя. Борюсь с собой и не могу сопротивиться: он производит хорошее, да просто наилучшее впечатление!

Перевёл глаза и на Воротынцева тоже, усмехнулся ему добродушно, а всё в удивлении:

– Чувствую, что так можно поскользнуться, изменить принципам, но и сам не могу сдержать улыбки, приветливой...

А не всякому улыбка так идёт, как Шингарёву, с улыбкой его ни за кого не отдашь.

– ... доброжелательного голоса. Отвечаю откровенно: да, мой друг придерживается освободительных идей, но он несколько не крайний, ни к каким сотрясениям призывать не мог бы.

Улыбка, растворяющая и тебя, и себя, – как ей отказать?

– Обещал. И сделал, воротили моего друга домой.

– Исключения только подтверждают правило, – жёстко напомнил Минервин.

– И другой раз, – Шингарёв своё. – Ходил к нему и умиловал члена Думы Пьяных, эсера, за убийство – вместо казни на пожизненное заключение. Он возражал: Пьяных подложил бомбу в дом священника, не хочу вмешиваться в суд, – а всё-таки помилование устроил. И ещё раз: осудили к смертной казни десять воронежских крестьян за убийство помещика. Я опять к нему: двое сознались, но не все же убивали, остальные невинны. Он

мне: вы не знаете, за кого заступаетесь; если убийц не держать ужасом – они перережут всех, кто носит сюртук, и вас, и меня. Если они захватят власть – вы будете из первых, кого они казнят. Достал, показывает мне диаграмму: вот, смотрите, с каждым днём, как идут разговоры в Думе, – увеличивается число убитых, особенно городских, стражников, помещиков. Террор растёт – и я за это отвечаю. И всё же – по телеграфу распорядился в Воронеж провести новое дознание.

И всем открытым лицом своим открыт Шингарёв всем сомнениям:

– И с тех пор я иногда задумываюсь: насколько грубы, громовещательны даже самые лучшие парламенты. Вот и английский, и французский, как мы этой весной повидали. Мечтаем – и нам бы так. А разобраться – мы все там ожесточаемся, говорим резче, чем думаем... А какая-то наверно есть высшая возможность – по-человечески убеждать даже самых лютых противников?

Уж там есть ли, нет ли, утопия, конечно, но Минервин протёр пенсне и обошёл молчанием.

Так ли, иначе, а взорванная Воротынцевым яма как будто и затягивалась плёночкой.

А тут – опять звонок, телефонный. Шингарёв поспешил – остальные прислушались. На этот раз – Павел Николаич!

Но Шингарёв воротился смущённый: просил дальше его не ждать, приехать никак не сможет, возникло срочное дело. И намекнул – что с Протопоповым.

С изменником Протопоповым? Вот как? Всю компанию так и резануло любопытством.

А пока там телефонный разговор – за спиной Воротынцева ещё один голос, женский, тот самый мелодичный, теперь что-то высказывал Минервину – и довольно самоуверенно.

Чтоб не сидеть спиной, Воротынцев обернулся. Маленькая неяркая женщина в английском тёмно-сером костюме, строго ровно держа небольшую голову с тёмными, как бы чуть включенными или запутанными в причёске волосами, доканчивала Минервину.

Да тут все знали всех! – и не представлялись, один Воротынцев новичок.

Он круто встал, шагнул, звякнул шпорой, приставляя ногу, – и хотя в этой комнате не целовал рук – тут наклонился к руке профессора Андозерской, почувствовал так.

Она приподняла маленькую кисть, подала ему. И улыбнулась. Её глаза открыто-одобрительно блестели.

Слышала она его взрыв!

\* \* \*

Знаменитые сибирские полки! -

Все штыками как щетиной обросли.

Эй, говори!

Проходили мы варшавские мосты -

Все красавицы бросали нам цветы.

Эй, говори!

Человека, долго переносящего невзгоды, опасности, как бы он с ними ни сжился, как бы ни запретил себе думать о жребии ином, – неприметно для него самого истомляет тяга расслабиться, тоска испытать сочувственное внимание да и оценку своих заслуг. Даже мальчишка, целый день пролазавший по деревьям, пробродивший раков, требует вечером у семейного стола такого признания и удивления. И самый молчаливый терпеливый труженик после дня, недели, месяца нужи и стужи ждёт признания и заботы хотя б от единого человека – от своей жены. Тем более дуплится такая телесная и душевная нехватка в нутре фронтовика, всякий день не уверенного даже в длении собственной жизни.

Воротынцев, постоянно стянутый на делаемое дело, сам не предполагал, до чего уже подкатила в нём такая жажда. Растянясь на полке обыкновенного – во всём необыкновенного! – мирного вагона из Киева в Москву, предпочувствовал он в себе всплеск этой жажды. Но дома, в Москве, где естественней всего было её утолить, покатилося нестояще, и не открылось рассказывать своё заветное. Кое-что внешнее, с краю, обломил в вагоне Фёдору Ковынёву. Ехал в Петербург – а найдутся ли здесь заинтересованные, требовательные, понимающие люди, чьим центром проверяющего и благодарного внимания он усядется и отдастся рассказам? – сам страдая снова от сути их, сам наслаждаясь, как освобождаются ноющие кости простраданного в глухоте, как оправдаются заклятые военные неудачи тем, что это дружественное общество на жилке ума воспримет их и переработает?

И вот на Монетной, на пятом этаже, как будто сошлось такое общество, и намерены были слушать его, и задавали вопросы, – да может быть только из вежливости, а на самом деле зачем им слышать, когда все интересы их – партийные? От послушанья их самих что-то опала охота высказать тут своё сокровенно-горькое, загубливалась возможность рассказа и здесь. Ведь **эти**, пока не было войны, над военными смеялись, вот уж не стали бы слушать. Пока Воротынцев сверх Академии набирался артиллерийской тактики на лужском полигоне, да иппологии, да вольтижировки, – **эти** считали “патриот” позорной кличкой. Где-то, может быть, на другом этаже другой улицы сейчас собрались те, кому Воротынцев вёз ворох своего наболевшего, – да как найти их!

Да вообще всякое внутренне-несомненное теряет в звучании, в громком назывании, в пересказе, и лишь между близкими вполголоса передаётся верно.

Так что лучше бы всего Воротынцев сегодня ничего бы не рассказывал. Но отчасти неприлично было отказаться, все ждали, и особенно перед Шингарёвым как же? С Шингарёвым они начали, не договорили – ему-то и надо было выразить дополна. Шингарёв очень тронул своим задумчивым воспоминанием о Столыпине. Его открыто-восприимчивое лицо, его незаграждённый взгляд ждали узнать. А внезапная стычка о Столыпине дала Воротынцеву взбодриться – и он настроился к этому обществу не снисхожденья просить, а вызывающе, – и швырнуть им, чего на самом деле эти вещи стоят, о которых они так легко рассуждают, в своей воинственности несравненной, в своём нечувствии. А и Верочка ничего не слышала толком, и ей отдельно он не соберётся рассказать. Но и это б всё ещё не сложилось в нём до конца – не появившись тут эта маленькая профессорша в кружевном воротничке, однако с мужским пожимом маленького лба – и неотрывно-одобрительным взглядом к полковнику.

И эта профессорша – окончательно перевесила, неизвестно почему: они и словом не обмолвились, и не просила она его ни о чём. От одного только присутствия её вдруг стало Воротынцеву свободно, уместно и нужно – вот именно здесь сейчас всё рассказывать. Вот именно тут-то его и ждали!

А тем временем все и пересели, приготовились. Павла Николаевича больше не ожидали, а Минервин остался послушать полковника.

Но – как отбирать? но что рассказывать? Что в его фронтовых днях было воистину главное, даже кричало, с полуслова понятное товарищам по полку, – здесь, в просвещённом кадетском обществе, выглядело бы эпизодами мелкими, бессвязными, пожалуй даже свидетельством неспособности обобщать. Как *отсюда* видится – война до того долга, однообразна, заколеблена в малых пределах, что только и можно её воспринимать в самых общих чертах. А обобща, посвяней и повыше, так ничего и не останется, так наверно им и из газет известно.

Но полковник как раз с румынского фронта. Все фронты застоялись, а этот один действует – так что там?

Румыния? Вот потому немцы туда и ударили, что новый, открытый и незащищённый фронт. 300 тысяч войска – а посыпалось как гнилая труха. Румынскому королю неймётся Трансильванию захватить, но со спины боялся Болгарии и долго договаривался, как союзники от Салоник начнут, а мы через Дунай в Добруджу. Союзникам что ж: лишняя

страна – гуще свалка. (Впрочем, здесь о союзниках поосторожнее!) Но у нас – где была голова? Все твердят, что успех нужен на главном фронте – а движемся на второстепенный. Кто-то думал тем усилиться, пододвинуться к Босфору. А пошёл Макензен через это королевство маршем да нашу Дунайскую армию и подвинул наоборот, от Босфора подальше. Забрали немцы румынскую нефть, забрали лошадей. О румынском участке? – пересказать нельзя, представить невозможно! Назвать бы опереттой? – так слишком кровавая, слишком много маршевых рот мы гоним туда на затычку. А послать нам туда надо не меньше четверти миллиона. А железные дороги их ничего не пропускают, даже нормальных санитарных поездов – и отправляем раненых в товарных вагонах из-под прибывшего провианта. Или в дачных вагонах, без уборных и с выбитыми стёклами. А в устье Дуная ещё и холера. На днях вот Констанцу сдали.

Да не ждали от него рассказа свободного, как ни сложится, что на себе ни вынесет, ждали подтвердительных фактов к уже известному, в Петрограде лучше всего, смыслу: что неисчерпаема, нескончаема, непробиваема тупость Верховной власти и Верховного Главнокомандования, но неизменен, светел и несокрушим дух русских воинов, простых солдат и офицеров, на которых и может полагаться в своих расчётах либеральное передовое общество. И о Румынии, и о Галиции ждали от него не столько живых картинок с чёрными фугасными столбами и лошадьми вверх копытами – а таких эпизодов, чтобы на светлом фоне народного героизма выступали бы чёрными заляпами ошибки только самого Высшего командования и особенно министров, которые всё и губят, и посему с этой властью нельзя победить.

Так и для самих армейцев это было самое естественное направление срывать досаду! Кого ж и ругали в офицерских землянках, если не тыл, не Ставку, не штабы фронтов и армий, не корпусных и не дивизионных! Такого – сколько угодно мог Воротынцев рассказать.

Хоть и с того, что 1914 год мы начали даже без наполеоновской нормы – 5 орудий на тысячу штыков. Да на первые недели, на предстоящую тогда трёхмесячную короткую войну мы гнали полки в переполненном составе – в роте по 4 офицера, фельдфебели на взводах, сверхсрочные старые унтеры в строю за рядовых, – а потому что на унтеров в мобилизационном плане даже не было отдельного учёта, так работало сухомлиновское министерство. И в те первые месяцы столько выбито унтеров, что вот третий год соскребаем кое-каких, подучиваем неумелых – командовать и вовсе неумелыми солдатами, ратниками да ополченцами. И кадровые офицеры тоже выбиты на три пятых, да одна пятая прикалечена, и разводнены морем прапорщиков-разночинцев, осталось кадровых в полку по пять-по шесть, как воевать? На ротах и батальонах – подпоручики, а то и прапорщики.

А эти новые прапорщики? Чуть грамотен, кончил не кончил городское училище, – за 4 месяца становится “их благородием”. И иной понимает, что ещё не годен, и старается учиться, а другой возомняет, распоясывается, показывает свою власть над солдатами. От таких “народных” прапорщиков не сблизилась офицеры с солдатами, но расчуждились.

А как присылают пополнения? Московским округом, хорошо известным Воротынцеву, стал командовать надменный генерал Сандецкий. И владела им дичь недоучивать новобранцев, как можно больше и скорей посылать на фронт необученных солдат, не умеющих ни стрелять, ни вперебежку. И особенно люто он изгонял на фронт недолеченных офицеров, где они и воевать не могли, а домирали от своих болезней. Врывался на медицинские осмотры и вмешивался. Вот один случай, не попавший в газеты лишь оттого, что пострадавший смолчал. Освидетельствовался офицер, у которого от ранения были скрючены на правой руке четыре пальца. Комиссия постановила уволить его от военной службы, Сандецкий возмутился, приказал офицеру положить больную руку на стол – и трахнул по ней кулаком изо всей силы. Все четыре пальца – сломал, офицер лишился сознания.

Оживлённый переполох. Вот это попадало слушателям в цвет и в потребу. Что ж, клюйте. Всё – именно так, увы и никуда не денешься. Говорят, великая княгиня Елизавета

Фёдоровна стала обличать Сандецкого, но её отношения с царственной сестрой испорчены, а тут Сандецкий стал её самоё травить в Москве как немку. В конце-то концов Сандецкий ушёл – но куда? на Казанский округ, не много потерял, и мы не выиграли. А на Московский назначили Мрозовского – не такого бешеного, но такого же тупого.

Сколь многие в России заняты не службой, а личным благополучием. Высокие штабы – преувеличенно множественны, даже преобилие переписки, личных адъютантов, офицеров для связи, лишних экипажей, досуг, еда, питьё, карты, а штабная угроза: в окопы пошлю! Вот картинка: при Гвардейском корпусе в вагоне живёт великий князь Павел Александрович. Жаркий летний день – крыша вагона покрыта дёрном и два солдата поливают её из леек. В таких штабах и планируют вялые операции, где губят по 50 тысяч человек, и такая мелочь в историю не записывается.

А – покрупней? Хотя бы всё та же Восточная Пруссия. Разве самсоновская армия – это всё, что мы там положили? Да в Пруссии с тех пор ещё несколько катастроф. Ренненкампф, на помощь другому медлительный, вскоре и сам уносил ноги из такого же мешка, да проворно, и орудия бросал. И ту же Вторую армию, только что снова сформированную, в тех же месяцах едва-едва не отдали под Лодзью в такой же мешок. (Кстати, это мы опять торопились спасти французов, теперь на Изере...) А затем – снова дважды на Пруссию, по тем же несчастным дорогам, с юга и с востока, ничего не изменив ни в тактике, ни в вооружении, опять мы напирали толпой, всё думая взять числом, напирали на свою повторную и третнюю гибель. В ту зиму растрепали в Пруссии 10-ю армию – положили 20-й булгаковский корпус, уж не считая отдельных полков. Так три раза совались мы в Пруссию неготовые, чтобы только выручить французов!

И за всё то... за всё то... Ну, тут вое знают и подсказывают. Рассыпано много наград высшим генералам. Вытащен из старья Куропаткин – на Гренадерский корпус, а там и на Армию, а там и на Фронт. Окостеневший генерал Безобразов, приятный Двору, вместе с Брусиловым перемалывает гвардию, но не спускается ниже корпуса. Как и генерал Вебель, не вылезавший из поражений. Как и генерал Раух: в Пруссии опозорился с кавалерийской дивизией – за это получил конный корпус, отобрал у него Лечицкий корпус – наградили Рауха от Верховного Гвардейским корпусом, а этот послал он на Стыри по болотам, австрийцам даже стрелять не пришлось, тонули наши и так. А Жилинский, это вы знаете, стал полномочным русским представителем при французской главной квартире. А Артамонов, погубивший самсоновскую армию, вышел из-под следствия чист, и Николай Николаевич поздравил его поцелуйно. И когда взяли Перемышль, то в череде празднеств не нашли коменданта пригожей Артамонова. А он, упустивши 20 тысяч пленных и сдавши крепость противнику, стал законно ожидать нового назначения.

А сколько имён неизвестных, тупых морд, забывшихся в своём чине, не проразумляющих, что такое долг. Какой-нибудь генерал Гагарин, командир Заамурской конной бригады, в пьяном виде изгаляется над своим командиром полка: “У вас нет пулемётов? Так вы пошлите две сотни атаковать австрийцев – и отберёте у них пулемёты!” А у каждого такого – тысячи в подчинении, и они их кладут, и безвестно.

И не смерив первого военного полугода, всей невозвратимой потери офицеров, унтер-офицеров, кадровых солдат, истощения снарядов, даже нехватки винтовок, постоянного превосходства немецкой артиллерии – и в численности, и в калибрах, у нас почти только трёхдюймовая, у них много тяжёлой, – ничего этого не смерив, не оценив – к первой военной весне кроволитно потянуться в скалистые проходы Карпат, чтобы их переваливать в Венгрию. И при этом – даже не прикрыть как следует фланги наступающих корпусов.

Карпатская авантюра! – она жгла сердце чуть не ярей всего. Как невыносимо вспомнить: после взятия Перемышля – не смяв сил, попёрли, попёрли через горы, какие кручи одолевали пушками, брали штурмом перевалы, – какие рывки! какие потери! сколько крови!! И всё – зря!! Вот, развернулась Венгерская долина, только спустились – и тут же приказ: отступить! И с какой поспешностью, на те же опять кручи пяясь, заклиниваясь в

ущельях, – какие потери опять!... Списывали полк в один час... Таяли целые корпуса... Карпатские ущелья – кладбища удальцов...

Тем особенно невыносим приказ с далёкого верха, что необходимости его не знаешь, глазами не видишь, а только: зачем?? зачем же мы туда лезли?

А смахнул все наши Карпаты – макензеновский прорыв под Горлицей. От прорыва под Горлицей и покатило всё великое отступление Пятнадцатого года – без снарядов, от современной армии отбиваясь штыками, а где и чуть не дубьём. Начальник дивизии благодарит командира батареи за отличную стрельбу и тут же грозит отрезать за перерасход снарядов. Отходили ночами, когда немцы отдыхали, отходили и среди бела дня, то и дело в угрозе окружения, а немецкая артиллерия молотила по нам. (А ещё ж, не забудьте: отдаём хлебные зрелые поля, и рядом тащатся вереницы беженцев в лохмотьях, с покорными взорами, их скарб щемящий на телеге, а лошадь падает – и слезы над ней, и холмики похороненных детей). Уходили из Галиции уже и без патронов, никак не отвечая. Пополнения, едва выгрузясь из вагонов, тут же попадали и в плен. Аэропланы в небе – только немецкие. И как мало бы этого всего – тогда ж пустили немцы на нас и газы, и морили сразу тысячами – в зелено-жёлто-серых мертвецов, с выкаченными глазами, вздутыми животами, всё в той же Второй армии – 9 тысяч отравленных с одного разу. А мы – совсем не ожидали, совсем готовы не были, защищаться нечем, марлевые повязки на рот? целлулоидовые очки на глаза? – все гибли. И вся наша поздняя выдумка: зажигали хворост на бровке окопа, чтобы пламенем перекидывало газ через окоп.

Прежней русской армии, избывающей солдатским здоровьем, какая топала в Четырнадцатом, – её уже в Пятнадцатом не было. Вот так она руководилась Верховными. (Это – здесь хватают.) При спокойном бездействии благодарных союзников, жалевших для нас даже винтовок. (Ах, пардон, про союзников здесь нельзя, это – уже никому, никак не в цвет. Такое – нигде вслух не говорится, не называется.)

– Позвольте, но – как же тогда...

Мы и Шестнадцатый год начинали – ещё с тысячами безоружных в строю, лишних. Надаём таким сапёрного инструмента да ручных гранат, и вот – “гренадеры”...

– Позвольте, но как же тогда брусилковский прорыв?!

Дался им этот брусилковский. И прорыв этот, господа, а особенно его развитие, – не так уж славен. Два месяца густых боёв, крупных потерь – а взяли уездный Луцк да несколько заштатных городишек. Это не наступление, когда толкают, а не охватывают. Никакого решительного результата, вслед за тем мы и отходили. Весь успех Брусилова ничего не стоит, если посчитать, сколько он в последующие месяцы потерял, за четверть миллиона наверно. Этот прорыв как раз и показал, что наступать мы не умеем и сегодня. А сколько – глухих беспросветных наступлений, даже названьем отдельным не отмеченных? – в этом марте, к началу распутицы, у озера Нарочь, например?

Нет, господа, пока что совершённым в этой войне – России не похвастаться. Разве это – достойное ведение войны? От такого гиганта да при напряженьи всех сил – не такие бы успехи ждались.

Тяжёлая заминка в гостинной.

Да легко рассказывать, злорадно слушать о бездарности и путанице *верхов*. Но – сам ты? и кто из нас склонен рассказывать? – о путанице рассыпанной, а не менее губительной, об ошибках и несовершенствах среднего и малого боя, чем и наполнены будни. Неудачи местных боёв скрываются от соседей и от начальства, о них и не узнаёт никто вообще. Скрывают свой отход, подводя соседей. И в донесениях – “потери выясняются”, когда уже знают их, но надо скрыть. Или “с боем взят”, когда без боя (и “в моём присутствии” – значит, мне награду). Или рапортуют о вовсе не взятом.

Или к бою пришлют несколько ящиков гранат, а ящик с капсулями забыли в штабе. Значит – без гранат.

Или идём в атаку, даже не зная позиций противника – не сфотографировав с воздуха, не зарисовав с земли. Потому что атаки бывают – и не для прорыва настоящего, и не отвлечение



с другого участка. Атака – для отчёта перед начальством. Просто – посылают Елецкий полк и устилают им высоту.

А вот мортирный дивизион и полк полевой артиллерии после долгого голода получили снаряды и жарко бьют по деревне, которая у немцев. Телефонная связь прервана, с опозданием прибегают от пехоты ординарцы: да сучьи дети, вы одурели? Мы эту деревню ещё ночью прошли, мы уж в трёх верстах западней её бьёмся!

А другой раз вот так же – не по пустой деревне, а по своей передней пехоте или по своим разведчикам.

Или: роет, роет полк окопы и узнаёт, что выкопал – позади другого полка.

А это работа – рыть, да зря. Фронт состоит из работы и терпения ещё гораздо больше, чем из боя. Окопы – ведь это открытые ямы, и от дождей в них – всегда вода, а в землянках и в блиндажах всегда сырость. И это счастье, если есть чем их перекрывать, а в безлесной местности приходится сидеть на позициях необорудованных, или за 10 вёрст, не преувеличиваю, носить на себе брёвна пешком, и будешь носить, чтобы жить остаться. И каково узнать, что позиция оборудована “не там” – по ошибке начальства или по смене обстановки, – и надо переходить на новое место – и лес переносить на себе опять? Все инженерные работы делает сама пехота. И столько достаётся солдату ходить, что не хватает никаких сапог, изнашиваются до бродяг, плетут на замену лыковые лапти. Отдыха – никогда. Отводят в дивизионный резерв, но роты всё равно ходят еженощно за 6-9 вёрст на сапёрные работы в темноте. Так что солдат, прибывших необученными, – некогда и обучать. И до того уже находятся и натрутся, что сама позиционная война кажется отдыхом. Но окопы – хорошая неподвижная цель, и в самый средний день относим по несколько, накрываем шинелями, а зарыть в темноте.

Да и батарейцам – когда в зарядный ящик надо подпрячь десять коней, а то не вытянешь. Да и нам – когда грязь прилипает к ногам пудами, а надо – в перебежки. А там, в конце, вдруг окажется, что в проволочных заграждениях проходы сделаны – недостаточно широкие. И – толпимся на перестреле.

Или в горах – наступленье по пояс в рыхлом снегу. Раненые так и тонут.

Война – она идёт третий год, и за это время в разных местах отечества разные люди успевают и привыкнуть, и пожить, и поузнавать о событиях, и порассуждать о будущей победе, – а какому-то батальону или полку вдруг остаётся всей жизни – один-два часа. Присылают команду – атаковать, и непременно в лоб, и непременно через большое открытое пространство, и хорошо, если в атаку поднимают бежать не за версту. Другим – запасной час для проходки, занять чужой незнакомый участок, лишь оттуда атаковать. И вот этот час последней проходки, когда не отвлечёшь себя никаким ложным занятием, никакой посторонней мыслью, – а все дружно шагают к тому месту, где из каждых пятерых четверым придётся лечь, и только одна у каждого надежда – быть пятым. Нудная знакомая тоска. Да расчёт сколько-то пожить-полежать во время нашей артиллерийской подготовки, если она ещё будет. Как долго будет помнить жена, и вспомнят ли малые дети?... А вся ваша атака, может быть – для демонстрации, боковая диверсия. А до противника – три четверти версты открытого снежного поля, чернеет его опушка леса, и там, под издых, у него конечно всё заплетено колючей проволокой, а прежде того – ни укрывьёца, и только надежда, что снежная пелена где-то скрывает и увалы, где-то можно будет провалиться с его взора и прервать атаку. Поползли вперёд разведчики и гранатомётчики – а дивизия звонит: почему батальон не поднят в атаку? – Надо переждать, пока они... – Приказано не ждать!

И эта виноватая прибитость пехотного офицера, не могущего не подчиниться. И прибитость лежащих пехотинцев, пока предсмертная их тоска не взорвётся в бодрящий отчаянный ужас атаки.

И никому бы не приведи Бог слышать это беспомощное жалкое “ура” из боевой кромешки – крик не торжества, но отчаяния, вымученный в перебежке. А снег усыпан, как мухами, упавшими людьми – и кто тут уже убит? а кто только переживает? И только те тебе кажутся уцелевшими, кто достоверно с тобой рядом, остальные убиты.

Под Коломыей Заамурскую пехотную дивизию, в ротах по дюжине старослужащих, остальные неопытные бородачи-ратники, – так вот погнали в лоб на укрепленные позиции – и всю расстреляли.

Да ещё эти *крестики* на фуражках, беззащитные ополченцы, – сколько их положили!

Да бегущий в атаку хоть имеет утешение в выборе остановок, может обманывать себя зигзагом направления, кочкой, камнем, даже пучком сухой травы. Но телефонист, посланный исправлять линию под обстрелом, лишён и этого самообмана: его провод – его судьба.

Случаев всех не регистрирует история, не сохранится на все и участников. Да тому, кто способен понимать, не надо рассказывать ни всё, ни много, – тому довольно об одной деревне Радзанов, о высоте 58,6 с прекрасным обзором, укрепленной рядами колючки, которую разрушить ещё не было снарядов тогда. Ещё и подходы болотисты. Но пехотному полку приказано – взять! Командир полка находит невозможным и просит приказ отменить. Штаб дивизии настаивает. Выхода нет. Утром – атака. Потеряли триста человек, среди них – невосполнимых офицеров. А через несколько дней встречаются офицеры-драгуны – их полк на этом участке прежде был, уходил, вот вернулся. Рассказывают: так же без артиллерии эту же злосчастную высоту 58,6 они уже брали – и в конном строю, и в пешем, потеряли семьсот человек, не взяли. Мы – уходим. После нас против Радзанова ставят третий полк – и опять на ту же высоту.

Это называется – *мертвоприношение*. И навидавшись его достаточно, даже теряешь достойное уважение к ране, к смерти, к трупу. Совсем обыденно воспринимаются и окровавленные фуражки на одиноких крестах, и над целой братской пехотной могилой воткнутая сапёрная лопата – “солдаты такого-то полка”. Как убитый лежит на боку и подвернул окровавленную голову под руку, будто ему холодно. Или – как отпевают скрюченного, не снимая с носилок. Ещё обыденней – полудюжина раненых в телеге с наставленными боками – как их перетряхивает, переламывает, выставлены и качаются толсто-обинтованные береговые конечности, а из глубины – глаза, уже знающие своё непоправимое увечье, – вы такую картинку, господи, всё же поимейте в виду. И не все доедут до правильной перевязки без столбняка и гангрены.

Или поручают казачьему полку брать австрийскую крепость, на подходах во много рядов оплетенную колючей проволокой. Но во всём полку – десяток ножниц. (Их всё никак не наладят изготовлять: военное министерство не убеждено, не подсчитало. Сколько лишних солдат уложено из-за того, что ножниц не было!) Так как же? Шашками. Значит, с коней не слезая. А значит – ночью. “С Богом, ребята, вперёд!”

Не всегда неудача. Иногда и в январской воде по пояс, винтовки над головами, – атакуем пулемёты, и берём! Так – Сан переходили.

А иную позицию – взяли! Победа! Ликование. Вдруг – необъяснимый приказ: отойти на прежнюю...

Зачем же?! Зачем же брали? Зачем не подумали?...

Всю эту пирамиду награждаемых, возвышаемых, неотклоняемых генералов ты держишь на своей голове, как восточная женщина кувшин воды. Кажется: командир полка, и твоя голова свободна принимать решения? О нет! Почти нет движения скованной шее. И за малое самовольство, за отход на сто сажений вызывают в штаб корпуса для дачи показаний *о недостаточном доблестном поведении* ... Кто переймёт, кто почувствует эту зажатость нелепым, непоправимым приказом?! Ты видишь в нём ошибку, просчёт, злую волю или пренебрежение – но ты скован, и честь, и гордость, и военное подчинение не позволяют тебе возразить. И в день последний, перед завтрашней твоею смертью, даже и некому переповедать, **как** это было.

Молоденькие гвардейские офицеры, собравшись, ищут форму протеста: господи! пойдёмте в безнадежную эту атаку одними офицерами, а солдат не поведём!...

Или вот: не устаивал Рыльский пехотный полк на Стрыпе, выбит, подавлен. Надо спасти их, а нечем. Есть – драгунский Каргопольский полк. Как раз у них праздник – юбилей полка. Всю войну и близко не подвозят водку на позиции, даже и в морозном сиденьи

выжимают трезвость. А тут – раздобыли драгуны, выпили, песни запели. Дело к закату, а подъехал начальник дивизии: “Будем рыльцев спасать, ребята!” И понимая, какая то будет атака: “Каргопольский полк умереть не должен! От каждого эскадрона оставить на развод по одному офицеру и по десяти драгун!” Жребием... На прощанье обнимались. Впрочем, хмель ещё в голове, ноги лёгкие. А тут стемнело. И по полю, покинутому пехотой, изрытому окопами, ячейками, воронками, опутанному колючкой, где и днём-то без ножниц не пройдёшь, тем более не проскачешь, – в темноте и молча пошли на рысях!! (“С Богом, ребята!”) Проваливались в ямы. Ломали ноги, рёбра. Опрокидывались. Повисали на проволоке. Ночная скачка в жуть, и лошади страшней, чем человеку, не зная опоры следующей ноге. Немцы заметили – поздно. Ракеты, прожекторы! А каргопольцы – на галоп!! И от прожекторов – растущие тени по полю и по небу – привидения!!! Кто – в опрокид, кто – растёт и близится! И немцы – не выдержали, бежали! Победа...

От боя бывает такое обалдение, во взятой горящей деревне, где ещё немцы на другом конце, солдаты стоят кучками, курят, не предохраняются, не слушают своего офицера – залечь, он силой по одному бросает их на землю.

Хуже всего, что укореняется и так уже всеми и принимается: чем больше потерь, тем, значит, лучше был бой, тем больше и начальства представляется к наградам. Даже когда и можно атаковать в обход – нет, гони через трясины! Командир 49-го казачьего полка радостно доносит штабу походного атамана: “Сотня шла на укрепленную позицию по открытой местности, под обстрелом и в конном строю. Надо было удивляться героизму этой сотни, шедшей по приказу на верную гибель – из преданности престолу!”

Вот от такой бараньей преданности мы и изливаем нашу силушку.

Да если мерить по презрению к смерти, то героев доподлинных много больше, чем этих фотографий во всех журналах вместе – “Воины благочестивые, кровью и честью венчанные” (у кого расторопней родственники), и много больше, чем отсыпанных георгиевских крестов. Осколком раненного в живот ведут под руки двое легко раненных, он бредёт согнувшись, придерживая двумя руками живот. Из встречной резервной колонны горько-весёлое подбодрение: “Неси-неси, не растеряй!”, – и он находит отозваться: “Донесу, чай своё.”

В полку приходится устанавливать очередь наград, часто опуская истинные заслуги, хоть и не приведшие ни к какой победе, а в поражениях храбрость ещё разительней. Когда в полку из двух тысяч штыков осталось триста, и смены нет, и предупреждают – несколько дней не будет, но начальник дивизии уверен, что полк выполнит свой долг, позиции должны быть удержаны. А в штабе дивизии, в штабе корпуса перечёркивают и посланные награжденные, оставляя место для Руководства да для писарей.

Да в победе и рана, и смерть легче, горчей – в бестолковости. Этим летом в одном полку наметили применить газы: с полночи трижды, через час, выпустить на немцев по 100 баллонов, а затем атаковать. Но завозились, первую волну пустили только в 3 часа ночи. Немцы обнаружили – ракеты, сигнальные трубы, рожки, чугунные доски, разожгли костры. Тут наша метеостанция доложила, что ветер становится неустойчив, – но начальник дивизии приказал пускать вторую волну. И – подтравили соседний полк, выдвинутый вперёд. Стало с ветром ещё хуже – а приказали третью волну. Эта волна прошла немного, остановилась – и хлынула назад на свои окопы.

А ещё: баллоны должны выноситься вперёд окопов, а шланги – ещё вытягиваться в сторону противника, но тут вопреки инструкции баллоны оставались в окопах, а шланги – на козырьках, а немцы открыли по нашим окопам сильный огонь и перебивали их, – паника, надевали противогазы впопыхах. Братская могила на 300 офицеров и солдат. Мало облегчения, что начальника дивизии отрешили.

Кто ранен – это Шингарёв. Во всю грудь он принял рассказ и выдвигается, как те несчастные, на укрепленную позицию без ножниц и не в обход. Откатясь на руку, облокоченную о стол, – высматривает меж тёмными глыбами светленьких зайчиков надежды.

И ещё какой-то появился в комнате новый: с неусыпаемым тревожным лицом,

нервными бровями. Так и вонзился в рассказчика.

Но – и нельзя на себе не заметить несводимого переливчатого взгляда профессора Андозерской. Как будто в жизни не видела военных, он – первый. Весь рассказ его вбирала неприкрытым взглядом, не возражая ни движением губ, ни бровей против самых его резких и неожиданных слов. Очень свободно для неё рассказывалось.

Да и Веренька – неподвижна, мила, тиха, вся – в глазах. С детства слушать умела, как никто.

Но – *дух* ? но – дух нашей армии сохранён же? – безмолвно горят глаза Шингарёва. Какая же страсть и взмыла его от сельского врача до первого парламентария? Если ему не верить в наш благословенный народ, если ему не верить в новоживотинцев, попавших на фронт, – для чего же тогда вся деятельность его? и вся Дума? Бывший врач теперь считает пороховые заряды, таксирует цены на хлеб, в Сорбонне и Оксфорде произносит кипящие речи от имени целой России, – но лишь пока он верит, что не расколется и на затмится дух новоживотинца.

Он – спрашивает. Но уверен, что знает ответ и сам.

Дух?... Когда полки бывают по 300 штыков, а дивизии по 800? Когда вид выжженных деревень и костры из деревенских заборов уже не трогают даже крестьянского сердца? Но ищут, как уклониться от боя, – хотя бы раненых сопровождать? Или подстрелить пальцы? А каково непомерное множество пленных? Разве вы не знаете, господа, что мы уже отдали пленными больше двух миллионов? Чем дальше в эту войну, тем легче сдаются наши солдаты в плен, – рады, что живы останутся. Даже служат у немцев обозными, при пекарнях и кухнях. Впервые в эту войну то генерал Смирнов, то какой другой издают приказ: по сдающимся открывать огонь, расстреливать забывших присягу; сообщать о сдавшихся на родину, дабы прекратить выплату пособия семье; по окончании войны все сдавшиеся в плен будут преданы суду. Конечно, никто нигде ничего подобного не осуществляет – но и самих приказов таких не знала прежняя русская армия.

Нет! Верней и точней! – остёр через пенсне находчивый думский фехтовальщик Минервин: воля к победе – ведь не утеряна? Веру в победу – ведь сохраняет армия? Рядовой солдат? И вот, полковник?

Экий же поворот... Когда мы горбимся в осклизлых окопах, отираем глину шинелью, или 48 часов на морозе, не спавши, в пулемёте смазка мёрзнет, надо греть его на огне, – у нас там общая фронтовая обида: они в России забыли нас! Такая затяжная война, кого не потянет отвлечься в мирные удовольствия, в рестораны, в элегантные туалеты. Шлют нам в утешение кисеты и конфеты, а сами...

Но нет! оказывается – не равнодушны! Даже: дайте победу! Даже: где ваша воля?... И надо бы броситься к ним в обнимку: а мы-то грешили на вас!...

Но, по дурному ли свойству человеческого сердца, обида не рассеивается, она остаётся, лишь поворачивается вокруг своей оси: господа либералы! господа русское образованное общество! (Это – не вслух.) Могу ли я верить? Да может быть я ослышиваюсь? Да всего 12 лет тому назад чей же это был крик, чей же это был вопль, что не нужна великой державе война, что преступно посылать на бойню нашу бесценную молодёжь с общественными идеалами? Что есть проблемы только внутренние, а снаружи можно хоть отступить, хоть проиграть, да поскорее! поскорее!! Из-за кого же мы проиграли ту войну, и чьи нервы, если не ваши, так поспешно сдали тогда, уроня Россию? Как же могла страна воевать, когда всё образованное общество открыто (и для врага) требовало поражения? И когда наша несчастная пехота на своих телах для всего мира вызвала новую тактику войны двадцатого века, ещё не пряталась в земле по одному, но в зоне огня *ходила ящиками* , и даже в ногу, – отчего же **тогда** вы нас не спрашивали о духе и воле к победе?

Ну, допустим, допустим, чьи-то надменные расчёты над неиспробованными японцами, да личные интересы ничтожного адмирала Алексеева, – Воротынцев, сидя на этой войне, переменил мнение и о прошлой. Но ведь с тех пор, в 907-м, и Германия тянулась к “русскому курсу”, а мы отвергли, а мы предпочли неверную дружбу с Эдуардом. А почему же здесь, на

западе, сокоснувшись – надо непременно пробовать силы? А почему эта война так нужна, и что такое мы можем в ней выиграть? Тогдашний удар по телу страны – вы думаете, не отольётся вам? За тем поражением, в далёкой войне, не могли не прийти поражения поближе. Конечно, если считать, что Россия кончается нашим поколением, тогда можно позволить всё. Столыпин, такой вам ненавистный, не он ли вытащил нас оттуда, куда вы нас столкнули? Ах, господа (это – не вслух), да когда же всё повернулось, что вы теперь такие воинственные? А нас, младотурок, бранили либералами, а мы были всего лишь патриотами. Но поздно, господа! – когда осенил вас патриотизм, наша армия, наша армия перестала... как бы вам назвать?...

Андрей Иванович, на облокоченной руке, приниженный, придавленный косою тяжестью к столу: но всё-таки солдаты – не просто же гонимые жертвы? В шинелях серых соотечественники наши, они же всё-таки понимают цели войны? Задачи России и всеобщей свободы – не чужды же русскому солдату? Да и Дарданеллы – это не выдумка Петербурга, их требует экономика всего русского юга...

И Воротынцеву – неловко. Не отвечать неловко, но даже услышать этот вопрос от государственного мужа, кем восхищался весь вечер.

Ведь вот как хочется вам: всё Верховное – чем хуже, тем лучше. А чтоб армия – хотела воевать и побеждать, и желала бы Константинополя.

Но мы и перед войной запрещали произнести в армии хоть одно политическое слово – как бы не обидеть германского и австрийского императоров. А что говорить сегодня? “Немцы – вековой враг славянства”? Я думаю, мы перевалили в эпоху, когда такие контрасты уже не будут существовать. Да солдаты сердцем опередчивее нас: кроме как за газы – нет у них на противника зла. А ещё – австрияки некоторые “гуторят похоже на наше”. Это здесь – легко произносится: вообще наступать до победы, вообще верность союзникам. Но всё, что ведаете вы, господа, об отечестве, – солдатам ведь никто никогда не рассказывал. Нет у них такого неотступного видения – “страна Россия”, не так чтобы просыпались и засыпали с мыслью о России. У солдат совсем нет этого понятия – “победа”, а только “замирение”, перестали бы стрелять, да и всё. И молодёжи и старым запасным – лишь бы выйти из боя, они уже не воюют как прежние строевые. Пехотинец пробудет от раны до раны на войне – ему и вспомнить нечего, он только служил мишенью. Его дух – это обречённость. Пехота Четырнадцатого года была самоуверенная, весёлая и крупная. Сейчас – безучастная, равнодушная и мельче ростом. Вот почему я и говорю, что наша армия перестала, перестала...

Если верный сельский врач перестал наслушивать ужас приговорённых к открытой атаке – не в получасе одного батальона, но всенедельный, всемесячный рок целой крестьянской России... Единым оком – все эти прусские, польские, галицийские и румынские поля, а по ним – разбросанные убитые. Никогда уже не встанут принести жалобы и возражения. Нет семьи, где не молились бы за ушедших, нет церквушки сельской, где не служили бы панихид. Долготерпение – о да, на это мы и надеемся, – но может быть нам очнуться раньше?... Земским врачам, парламентариям и офицерам – какое нам оправдание, если мы выживем через труп Ново-Животинного или Застружья? (Это – должен сам понять.) Если дух армии – уже упущен, если тела – уже передержаны, – куда ж ещё, ещё, ещё испытывать народное терпение? Если среди солдат – глухое, меж собою: обороняться – как не нять, а наступать – чо-й-то ноги не шагают. Не надо ждать, когда это вспыхнет наружу!

Вот их состояние выше усталости: застывшее недоумение. Так и умирают – недоуменными. Их дух третий год не поддержан никакими разъяснениями, никаким вдохновением, а только: надо умирать! Крестьяне очень верят в высшую справедливость. В эту войну они утратили её ощущение: они гибнут, но им непонятно – зачем. Они всё тянут не из страха – но через силу. Они выросли бы на любые жертвы, но должны видеть необходимость этих жертв. Наш народ – с таким хорошим сердцем, так послушен, – но мы этим послушанием злоупотребили. Они тянут, тянут непонятный им долг, – но будет ли это до конца? Вы говорите – народ не простит этой войны, – да, но не правительству, а – нам

всем!

Профессиональному военному перед столь воинственной компанией этого почти вымолвить нельзя, это непонятно, а: *надо где-то знать меру даже и России* ! Существует некая мера расширения. Она познаётся через плотность распирающего духа, через пропаханность и пророслость каждой квадратной сажени внутренней земли. Расширение – не может быть безграничным. Неужели Россия нуждается в расширении? Она нуждается во внутренней проработке. Кадровому полковнику – да, неловко вымолвить: война – всё же нужна не сама по себе, но для жизни государства?

И: что же правильно значит – любить свою страну?

Вот эти фотографии павших *воинов благочестивых* , которые вы все рассматриваете за утренним кофе между пятью газетами, – вы пропустите их через себя, вообразите, что они через вас протекли и всосались в землю бурыми пятнами. И поймите, что это – лучшие-лучшие-лучшие, кто не умеет отлынивать и хорониться. И этих потерь не восполнить России за два поколения!

Ощущаете ли вы, что такое ранение в живот? Да и когда грудь прострелена? Когда выворочена челюсть? Разрывной пулей вырвана щека? Отсечен угол черепа?

Кто этого не ощущает – почему он имеет право судить?

Я сегодня успел побывать на Марсовом поле на выставке лицевых протезов. Вы не были? – а это так близко. Сходите, господа, и почувствуете. Этому – нет названия на человеческом языке, и Гойя такого не рисовал. Лица, настолько искромсанные, разодранные, раздробленные, бескостные, ослеплённые, утратившие человеческий вид, – и так им жить теперь до смерти. Сходите, господа.

Да, офицеру о раненых лучше не думать, это расслабляет. Но вот – зайдёшь в перевязочную проведать своего героя, раненного два часа назад. Вечер. Землянка. Небольшая керосиновая лампа – высоко на полочке, сжигающая воздух. Тусклая полутьма, несколько топчанов вдоль стен, на каждом раненый. И вот этот чуть расширенный, полусосвещённый, безвоздушный гроб санитарной землянки – последнее видение Земли, последний образ жизни! Чтоб увидеть лицо раненого – надо поднести к нему свечу. За два часа смелое молодое лицо стало неузнаваемо: глаза увеличились, и столько знания в них, рот провалился, щёки выжелтели. Ждёт, когда же причастие.

Да вот (няня рассказала): месяц назад, оказывается, приезжал в Петроград японский принц – и главные улицы изукрашились русскими и японскими флагами. И простой народ спрашивает: а зачем же мы с ними воевали? И стоило ли нам на японской войне умирать? А через несколько лет вот так же будут и немцев встречать? (А между тем японцы презирают нас, что мы так плохо использовали уроки той войны).

Я не знаю, может какая другая война, к которой мы бы внутренне подготовились... А к этой мы не были готовы. И сейчас – нельзя исправить дела никакими другими мерами, как... прервать... Я не знаю, может быть уговорить союзников мириться. А то, так... А то, так... (но этого уже решительно никому здесь не сказать) разбиралось бы Соглашение с этим четверным Союзом Центральным, а наша бы Матушка, наша бы Матушка... убралась бы, помыла полы, печку протопила...

Странно от меня это всё?... Но только тот, кто и сам двадцать лет – частица деятельная этой армии и не пропустил ни дня войны ни той, ни этой, – только тот и может решиться. Профессиональный военный, офицер своего Отечества, должен для Отечества каждую войну из всех сил выигрывать?... А я не знаю – я ещё профессиональный?... Сто пятнадцать недель, восемьсот дней вот так – самый воодушевлённый офицер не готов в таких дозах принять своё ремесло. Или я слишком чувствителен оказался?... Это – такая усталость, такая однообразная смерть, такая тоска и обида, выело всё нутро, – и жить в этом ремесле дальше некуда. Колени слабеют – сесть. Руки виснут в плечах. Сваливается голова.

А что же – офицеры? Это – не народ? Да это – пружина и воля нашего народа. Вот – газ пришёл, уже все солдаты в масках, но надо по телефону предупредить следующую линию о газовой волне, и поручик Грушецкий, тамбовец, снимает маску, передаёт предупреждение –

и отравился. Вот командир батареи подполковник Веверн не в силах открыть батарею противника, – так идёт сам через сторожевое немецкое охранение – там её найти, увидеть, потом вернуться и накрыть. И дело сделано. Вот, из укрытия наблюдательного не всё видно. И чтоб вести ответный огонь своей батареей – капитан Шигорин встаёт во весь рост и командует. И через четверть часа убит осколком в висок – но дело сделано. Лучших-то – и убивают. Счастлив офицер, о котором говорят солдаты: “с нашим не пропадёшь”. Счастлив офицер, за которым дружно пошли в атаку. Но и не тот ещё самый несчастный, у кого солдаты разбежались, но он хоть два пулемёта притащил на себе.

Наших кадровых строевых офицеров, начинавших эту войну, остался из семи один. И солдаты – в отчаянии чувствуют, что их новые офицерики – не разбираются в деле, а только губят всех.

Да знать надо было – поручика Скалона, штабс-капитана Новогребельского (и постоять над живым ещё, лицо уже бледно мертво, а ресницы вздрагивают), подполковника Чистосердова, и утерять их навсегда – чтобы понять: *русской армии больше нет* .

*Перестала – существовать* .

Надо было видеть капитана Таранцева, очумелого, одеревянелого, под пулями, в ста саженьях от Радзанова: “Капитан Таранцев! лягте! в укрытие!” Чуть повёл головой: “Роты нет. Теперь всё равно”.

Сам ли ты ещё живой, если сдал деревню, и в ней, горящей, видно при пожаре, как немцы ходят и пристреливают твоих раненых оставленных солдат? Командир полка, у которого за год состав полка сменился четыре раза, так что иных солдат и видеть не успевал, а только посылал их в бой, а потом относили их, если было что относить, – до сей ли ты поры командир полка или уже убийца?

Если помнить, как учил генерал Левачёв: офицер должен быть беспощадно строг – только к самому себе. К другим офицерам – мягче. А к солдатам – ещё мягче.

Тому, кто с ними бегивал через эти пустые непереходимые вёрсты. Кто радовался внезапному увальчику – и вместе с ними утыкивался под спасительное его плечо. И под грохочущим обстрелом слышал ухом через землю, как слабеет ход солдатского сердца, да и своего. По этому ритму тот мог бы сказать (но – кому? кадетам – нельзя, правым – нельзя, власти – нельзя, кому ж говорить?!), что наша лучшая сейчас победа и наша лучшая честь – это спасти русский народ, кто ещё остался. И только.

И – не важно, как будет называться тот мир, – без Константинополя, без Польши, без Лифляндии, меньше беспокойств. Только бы нам остаться нами.

Дошёл ты до такого наблюдения, нет ли, – дошла война до такой черты, что спасти Россию, спасти себя, какие мы есть, пока не перебиты до неузнаваемости, – это уже будет победа.

Даже если – через какой переворот?... (Но это – не вам.)

\*\*\*\*\*

...И сообщаю я вам, что службой я доволен, и начальство у меня хорошее. Так что обо мне не печальтесь и не кручиньтесь.

(Типографское солдатское письмо)

\*\*\*

Не надо нам, православный царь, злата-серебра:  
Пусти нас, православный царь, на свою сторону,  
На свою сторону, к отцу, к матери, на святую Русь.

А как только затянутая пауза дала повод думать, что рассказчик не склонен продолжать, – тот новый слушатель с подкидчивыми нервными бровями, гололицый, только с подштриховкою усов, – теперь в эту первую паузу первый же и врезался, не дав никому ни отозваться, ни возразить:

– Скажите пожалуйста, а каковы ваши наблюдения над противосамолётным станком Иванова? Вы видели его? Как он в работе?

Воротынцев своим мучительным рассказом совершил какой-то крупный шаг в самом себе. Вся эта нарощая кора сердца и тела как будто треснула – и открыла ему расщелину выйти. Теперь – ему нужно было сколько-то часов плавной неподвижности, – не говорить, не шевелиться, отдыхать, даже может быть просто научиться сидеть на стуле рассвобождённо, как все сидят, а он не умел – ведь он по привычке сидел, как легче ему сорваться по первой тревоге. Благодетельно открылась ему возможность омягчить и вернуться к своему утерянному, забытому нормальному состоянию. И для этого очень нужно было, чтоб эта милая Андозерская продолжала бы сидеть прямо перед ним близко, глубоко одобряя его глазами, иногда и вспыхивая зеленоватым огоньком. И так – он хотел бы не участвовать пока больше в беседах. Вот и пришло то признание, которое так ждётся после невзгод. Вот и угадал он время и место, куда тащил и притащил свой тяжёлый воз, как будто свалил и освободился. И сейчас ни на какую политическую реплику он не хотел бы даже отвечать – если вот опять будут возражать ему о необходимости кадетской “скорой и решительной победы” или невозможности победить с *этим* царём, – с этим, не с этим – он уже выразил, надеялся, достаточно: что не побеждать надо, а скорее выходить из войны. Да кроме повторения ходов в этой компании уже ничего не могло возникнуть: говори им, не говори, что военная усталость через меру, – они будут всё своё: что только благодаря войне родина держится спаянной, а то бы всё рассыпалось от недовольства царём. Они ещё больше встряли в войну, чем царь.

Но чего угодно он ожидал, только не этого вопроса о станке Иванова. Шея Воротынцева снова напряглась и он взнял голову: среди чужих петербургских – тут свой сидит, замаскированный в городской костюм? На любое ожидаемое возражение уже не хотелось поднимать душу, но на это?! -

– Замечательна быстрота перевода из походного положения в боевое и наоборот. Поэтому если идёт в колонне и появились самолёты – запряжка выводится в сторону и в несколько минут установка готова к стрельбе. И прочна. Лучше, чем Радзивиловича.

– А стреляет?

– Ну, стреляют все они не на полный угол возвышения. И прыжок выстрела сбивает наводку, так что нужно всякий раз ставить новый прицел. Поэтому...

Тот – с тревожными глазами, требовательный, вкловчивый, говоря быстро, со смыслом, обгоняющим неизбежную длинноту слов, переклонился к Воротынцеву, а Воротынцев к нему, и так они через полкомнаты заговорили плотно, а потребовалось что-то нарисовать – тот вытянул блокнот с ручкой и пробирался, нёс полковнику.

Как будто всё рассказанное было не для них двоих, и Воротынцев только притворялся, и вы там как хотите, а вот – самое главное. Наступила граница неловкости. Но исправил Андрей Иванович:

– Господа, господа! – подходил он с добродушным смехом (со смехом, а – не смеясь, с лицом серым как у контуженного, вставшего из земляной осыпи, глаза не собраны и собственный голос неверно слышится), – да разрешите прежде вас друг другу представить... Пётр Акимович Ободовский... Если хотите, тоже почти военный: недавно в Лысьвенском горном округе успокоил бунт рабочих с решительностью полковника, хотя без капли крови, одними речами.

Ободовский страдательно дёрнул бровями – к чему это всё? Ладонь его была горяча и суха.



– ...По русской нашей удивительности Пётр Акимович почти бросил горное дело и занимается одной артиллерией. При гучковском комитете создал комитет военно-технической помощи.

Вот сколько сразу. Да как же сошлось! Инженер да на артиллерии – почти как офицер-академист. И сотрудник Гучкова? – в первый же случайный вечер второй след его!

– Вы часто Александра Иваныча видите? Он...?

И захлебнулись бы над блокнотом, хотя неприлично было так пренебрегать обществом, но другой усердный слушатель Воротынцева, маленький профессор в стоячем кружевном воротничке, возвращала их в общую комнату:

– Скажите пожалуйста, а эмигрант Ободовский, из круга Кропоткина, не родственник ваш?

И голос её отозвался в Воротынцеве радостно: она не вставала, не уходила, не увела внимания. Ему бы хотелось: вот она бы, хорошо бы, знала всю его прежнюю историю, опалы. Вот для неё, к ней – его история была нужна.

Ободовский головой вертнул, не сразу понял:

– Кто? А. Да, я. Да.

И – к делу опять. И невольно втягивая опять Воротынцева, ну как этому инженеру откажешь? Но и Андозерская, не отставая, чуть посмеиваясь над ними:

– Простите, я из чисто теоретического интереса... (Какой мелодичный голос у неё. И так мило играют струны шеи).

– ...Как же связываются убеждения той и этой жизни? Анархизм и артиллерия?

Анархизм? Никогда в жизни Воротынцев не видел живого анархиста. И этот инженер с заглатывающим вниманием...?

Ободовский обернулся-дёрнулся, как бы ища защиты:

– Как прилипло. Кто-то пустил, и носится. За границей я имел счастье стать близок к Петру Алексеевичу, оттуда заключили, что анархист.

На помощь пришёл Минервин. Выдвинул сильно, бесповоротно:

– Дробление русской интеллигенции на партии носит случайный характер. А из корня мы выросли все из одного – служенья народу, мировоззренье наше едино. Служит кто как понимает, и анархизмом, и артиллерией.

Всё отвечено, дальше настаивать и неуместно. Но Андозерская, с головой ниже верхушки кресельной спинки, как девочка, приглашённая на взрослый разговор, – настаивала. При несильном тихом голосе у неё была владетельная манера спрашивать:

– Но всё-таки ваша эмиграция имела революционную причину?

– Да дело дутое, – озабоченно отмахнулся Ободовский. – А пришлось бежать.

Интересно вот что: оправдался ли термитный снаряд Стефановича? Вы – видели его действие?

А за Ободовского закончила жена – плавная, спокойная, тоже лет под сорок, объяснила Андозерской, Вере и кто ещё слушал:

– На полчаса опередил полицию. Только я проводила на вокзал, вернулась – пришёл околоточный, брать подписку о невыезде.

Она была одета не то что скромно, но близко к скудости. Умеренно-полна и мягка в движениях, в возмещение худощавой беспокойности мужа. А сохранилась – при тёмных волосах, покойной русской, даже сельской красоте, под сорок лет могла бы так выглядеть Татьяна Ларина. Ободовский бывал в Публичной библиотеке, жену Вера видела первый раз.

Вера – очень была довольна. Горда за брата. Всё получилось даже лучше, чем она задумала. Хотя по лихости он и сделал несколько политических бестактностей, но исправилось его ошеломительным рассказом, все слушали, не пророня. Вера и всегда считала брата выдающимся, лишь по прямоте своей и по кривизне путей восхождения не занявшим видного места. И с Андреем Ивановичем они друг другу понравились. И вот как свободно отвечал на вопросы Ободовского. И внимание Андозерской явно забрал.

Вот это деловитость! Воротынцев охотно отвечал. Не знал он о комитете

военно-технической помощи! Такая встреча – неисчислимой пользы: тут можно многое посоветовать или просить иметь в виду, о чём с фронта не докричишься:

– Скажите, а как с траншейной пушкой? Будет ли у нас траншейная пушка? Когда?

– А уже первые экземпляры на фронте. Отличная пушка, великолепная! Сейчас налаживаем серию на Обуховском. Я думаю, к весне в каждом полку штуки по две будет. Да вот как раз Андрей Иваныч тоже следит...

Андрей Иваныч присел к ним потолковать – кому ж нужней? Он и Ободовского не в гости звал, откуда эти гости набрались, приват-доцент и профессорша – книги взять-отдать, дамы со сбора завернули, Петербург! Он и приглашал Ободовского за советом по делам оборонной думской комиссии.

– Простите, Андрей Иваныч, как раз по поводу траншейной пушки должен был мне сегодня вечером звонить инженер Дмитриев, и я имел смелость дать ему ваш номер телефона, что буду здесь, ничего?

– Конечно, пожалуйста, Пётр Аки...

Телефон – как раз и зазвонил. Вера прировела. Спрашивали Андрея Иваныча. Уже пока трубку передавали – узнали резковатые нотки Павла Николаевича, самого. Квартира затихла, лоя отзвуки.

Шингарёв вернулся от трубки недоуменный: Павел Николаевич просит немедленно ехать к нему, а если Минервин ещё не ушёл – то и Минервина.

Что-то случилось! *Что-то случилось*. Оба лидера засобирались, слегка переговариваясь, а приват-доцент и кадетские дамы сильно заволновались. И старшая улучила Минервина выведать хоть толику.

Минервин сказал:

– Возьмём извозчика.

Шингарёв отмахнулся:

– Теперь извозчик до Бассейной – три рубля. На трамвае доедем.

Вежливость хозяина: Андрей Иванович предложил обществу не расходиться: может быть, вернутся скоро.

Активисты партии Народной Свободы и расположились дожидаться: интересно! важно! От старшей дамы тотчас и распространилось: изменник Протопопов предложил думским лидерам частную встречу! И надо решать тактику: идти на встречу или оскорбить его отказом? или поставить ему требования? или только понаблюдать и разведать? добивается забрать продовольственный вопрос? – не давать ему! А может быть, наоборот, его тайно подослали пригласить в правительство кого-то ещё? Манёвр!

Что Протопопов – очередной новый министр внутренних дел, Воротынцев ещё знал. Но почему и кому он изменник и почему тогда встреча с ним так важна?...

Шингарёв прощался с Ободовским. Так и не поговорили. Но Ободовский должен будет теперь задержаться, подождать телефона от своего инженера.

Андозерскую? – не предполагал Шингарёв ещё сегодня увидеть, вернувшись. Прощался пожатием руки.

И Воротынцев спохватился, как вырвали кусок из бока: начинается разъезд, и Андозерская сейчас тоже уедет, а он даже с ней не успел...

Тем временем принимал тёплую мягкую сильную ладонь Шингарёва. Лоб откровенный ясный, добрые глаза. И – с ним не успел. И с ним были пути что-то открыть? Но – уже не повидаться больше.

Да ведь теперь и Воротынцеву что ж и как же оставаться?...

А Андозерская сидела без движенья к уходу, как ни чём не бывало – и взгляд её тоже никуда не уходил.

– А светящуюся шрапнель у вас применяют?

– Это – бенгальский огонь на парашютиках? Видел. Хорошо... Но вообще надо добиваться: в боекомплекте уменьшить шрапнель в пользу гранат.

– Это мы уже проводим. Но гаубичного усиления не дадите. Нужно больше

использовать горную пушку как гаубицу.

А Андозерская ничуть не скучала. Так и сидела рядом, свидетельница их захватывающего разговора, слушала того и другого, внимательно переводя глаза, как если бы свойства гаубичности и утверждённый состав боекомплекта глубоко затрагивали её. (А может быть – учёному всё интересно?)

И радостно было, что она не отсела, не ушла, ещё не уходит, сидит рядом – и смотрит. Но тогда надо прекратить бы артиллерийский разговор, а тоже неудобно.

Через мостик этого милого взгляда к Воротынцеву что-то перетекало. И по нему же утекала часть его самого. Воротынцев менялся и освобождался под этим взглядом.

Никакого освобожденья не наступило, конечно: с его полком, с их корпусом и фронтом не изменилось на ноготок, и через три недели он сам вернётся и будет барахтаться во всём том же, и вскоре, может быть, настигнет его так долго щадившая смерть. Не освободился, но в этом женском соседстве чувствовал себя всё более облегчённым. Отделённым от своей же высказанной мрачности.

И так артиллерийский разговор при зеленоватом попыхивании приобретал восхитительный оттенок. И никак не хотелось прервать и подняться.

И жена Ободовского, наискось позади мужа, при их разговоре, не дававшим повода для улыбки, сидела с тихим дремлющим удовольствием, на пути к улыбке. Не ища быть замеченной, даже говорить.

И – Веренька была тут, остальные где-то. Всё понимающая милая сестрёнка, она всё время весело поглядывала, но вот – какое-то беспокойство стало пробегать по ней? Может быть, без хозяина неудобно оставаться, время? Не мог понять, занятый и без того.

Да всё равно не было сил подняться.

А разговор с Ободовским, пробежав через всё главное, ослабевал.

Да даже из уважения к Андозерской, мягко закованной в английский костюм, в самом центре разговора, – надо было тему изменить, постараться.

– А как по тем дорогам проходят тракторы Аллис-Шальмерс?...

И зорко углядев эту первую вялость их разговора, профессор Андозерская мягко и твёрдо вошла в него как килем в воду:

– Пётр Акимович, не сочтите назойливыми мои вопросы, но, – полуизвинительно губами, – я тоже – в пределах моей специальности. Всё-таки, революционеров мы привыкли чаще видеть разрушителями, и поэтому революционер-созидатель не может не привлечь внимания. Не откажитесь объяснить: с вашей нынешней деятельностью – как соотносятся прежние партийные убеждения?

– Партийные? – резко обернулся Ободовский, морща лоб под ёжиком приседенных волос и бледно-голубыми несвежими глазами увидев Андозерскую, как будто впервые тут севшую. При этом повороте – не одного лишь подбородка деятельного, но самой мысли через сектора-сектора-сектора, его как центробежной силой прижало к откатистой спинке стула, и он должен был переждать, ответил не вдруг: – Я же сказал, я ни в какой партии никогда не состоял. Потому что всякая партия есть намордник на личность.

– Так именно из-за насилия? – уточняла Андозерская.

– Именно, – моргнул измученно-энергичный Ободовский, в этом морге как будто и отдохнув на полмига украдкой, а много ему и не нужно, уже посвежели глаза. – По убеждениям я – социалист, но – независимый. В Пятом году мы с Нусей... помнишь, Нуся?... “социал-демократами” даже ругались, ругательство у нас такое было в Иркутске.

Нашлось место Нусе – и она из своего полудрёмного удовольствия плавно вступила с объяснением:

– Там такие были горлохваты, так развязно себя вели. Так пятнали свою тактику. И хотя мы сами тогда готовы были идти в баррикадники, даже под пулями умереть...

Она – в баррикадники?... Вот с этой мягкостью, ненастойчивостью?... Невозможно представить.

...А между тем, да, в Иркутске доходило почти до баррикад. Интеллигенты и офицеры

шагали по улицам вперемешку, пели марсельезу и дубинушку. Железная дорога бастовала, никакой публике билетов не продавалось, ехали одни солдаты: их сила была сильнее забастовок, и непослушную станцию они разносили в пятнадцать минут. Ободовский, застрявший на забайкальском руднике, добрался в теплушке железнодорожников тем, что всю дорогу говорил им политические речи и читал лекции по социализму. В Иркутске бушевали собрания и митинги. И на них – деловитостью, ясным умом, напором, сразу же без труда выделялся Ободовский. И его, никогда прежде не знавшего другой формы жизни, как работа горняка, в эти безумные недели вытаскивало вперёд – делегатом, депутатом, представителем, выборщиком, в одно бюро, в другое бюро, председателем местного союза инженеров, и в какой-то секретариат, и в сам иркутский Исполнительный Комитет.

Самое приятное и было – вот это расслабление. От безопасности, от выполненного долга. Вдруг перестать себя ощущать летящим снарядом. Просто сидеть, даже вопросов не задавать. Закурить? – разрешили. Закурить. Как будто слушать Ободовских. А на самом деле – пересматриваться с Ольдой Орестовной. Ловить её взгляда не надо. Он – вот он. Он – вот он.

Она же, всё это успевая, не дала себя уклонить иркутскими воспоминаниями, а направляла на выделенную точку.

– Но ненавидя насилие, вы должны ненавидеть и всякую воинскую службу?

– К-конечно! – соглашался Ободовский. – И военную службу, и армию! Досталось и мне послужить. Вместе с мундиром надеваешь сердцебиение. Перед каждым генералом – во фронт; каждому офицеру – честь, без спросу не отлучись, думают – за тебя. Чтоб не попасть под унижение, под замечанье, держись так напряжённо, нервов не хватает. И я только тем спасся, что откопал в уставе пункт, никто его не знал, что после производства в прапорщики можно хоть на другой день уволиться. И уволился!

И засмеялся облегчённо. Да давно это было – ещё до эмиграции, и до революции. Он спас из армии свои слишком отзывчивые нервы. И принципиально ненавидел военную службу, как часть насилия. Но, в том же Иркутске, по честности, не обойти восхищеньем генерала Ласточкина.

... Ему остались верными две роты. А весь гарнизон взбунтовался и пришёл на них, на верных. Раскалённая революционная масса вооружённых солдат, и с офицерами! Ласточкин вышел на крыльцо без охраны: “Стреляйте в меня, я вот он! А сдать? Не могу: присяга и честь!” Что ж гарнизон? Гарнизон – перенял! Гарнизон закричал коменданту: “ура-а!” – и в полном порядке, лучшим строем ушёл!!

– Военная статья! – Андозерская повела головой, узнавая, любуясь, любуясь тем видом Ласточкина на крыльце, – Ласточкина, но по соседству взглядывая и на Воротынцева.

И он всё больше легчал и веселел. Как будто не он полчаса назад раскатывал тут самое безнадежное.

А Верочка как будто немного неспокойна, отходит, подходит, старался не понять. Рано ещё. Сама уговаривала сюда...

Он – прикипел к месту.

Ольда Орестовна дальше хотела вести, да Ободовский уже схватил, куда она:

– Вы хотите сказать, ненавидя воинскую службу, надо же последовательно отвергать и войну?

Профессорская логистика школьная – то-то скука, наверно, на лекциях. Так прозрачно было Ободовскому, и так по-детски, на какое противоречие она его тянет.

– Вообще – отвергаю.

– Но тогда как вы можете руководить комитетом военно-технической помощи?

Усмехнулся. И вдруг – импульсом, с нерастраченным задором:

– Вот так! Армию – ненавижу. Но когда все трусили и бегут – понимаю коменданта Ласточкина! Могу – рядом стать! Я – против насилия, да! Против всякого насилия, но *первичного* ! Не непротивленец – а *против* ! А когда насилие произошло – чем же ответить, если не силой? – Перебежал нервный огонь по глазам: – Не обороняться – это уже

просто слюняйство!

Ах, молодец! – Воротынцев засмотрелся.

А жена – так плавно, бесспорно:

– Что вы, господа, он никогда пораженцем не был! Он и на японскую рвался. После потопления “Петропавловска” надел траур на рукав, говорил: не сниму, пока не победим. Так ведь, Петенька? От сдачи Порт-Артура – заболел, есть и пить не мог. – Сочувственно коснулась мужниной руки. – Только уж после Цусимы и когда выяснились лесные концессии... И то хотел – мира, но не поражения... А на эту войну даже форму купил, ходил напрашиваться, только Гучков отговорил...

Ободовский наморщил лоб, посмотрел на собеседников – где ж они видят противоречие?

– Разве, любя свою страну, надо непременно любить и её армию?... Чтобы защищать отечество – надо быть сторонником насилия? Я просто не переношу быть битым! Это – естественно? А когда бьют Россию – бьют и меня. Так вот я не даюсь быть битым ни порознь, ни вместе!

Но с кем он спорил?

Воротынцев? – ему и не возражал. Воротынцев покуривал, поглядывал, подслушивал. Что надо – эта милая разумница скажет. И Ободовский скажет.

Андозерская? Она и спорила-то академично, а вот уже и вовсе рассеянно. Но, наверно, не привыкла уступать, всегда цепляется, – и поэтому что-то о логическом разрыве. Полуулыбнулась, махнула ресничками:

– Тогда вы должны испытывать к врагу сильные чувства?

Искала поддержки у Воротынцева.

А он замешкался. Сильные чувства?

– Да. Ненависть! – кивнул Ободовский,

– Ненависть? – понял Воротынцев. Подумал. – Странно. А я сколько воюю – никакой ненависти к немцам не испытываю.

Теперь – накатные морщины на лбу инженера. Как это?

В самом деле, как это? Воротынцев и не понимал. Но – верно, так. Как ведь и у солдат.

– Ни-ка-кой... Вспоминаю, что и к японцам не было. Воюю – Россию защищаю. Воюю – как работаю по специальности. А ненавидеть?... Подозреваю, что и в немецких офицерах... тоже...

А как же, напомнила ему Нуся Ободовская, подстрел раненых в горящей занятой деревне?

Да, что-то он запутался... Или нет?... Разодранное сердце, пыл драки... Ненависть? Да! Но – к высшим нашим, тем, по чьей глупости деревню эту отдали. А противник в свете пожара – как стихия... как адовы тени... Ненавидеть можно – живых, реальных.

Он понимал, что нельзя упустить сегодняшнего вечера: надо сказать Ольде Орестовне нечто особенное. Какую-то отметину положить, как любимый шрам. Но не нашёл – в какой момент? Не ошибётся ли в тоне? И как она это...?

Подошла Верочка. Стояла за спинами Ободовских, не садясь.

Утихли споры. Слышались детские голоса из другой комнаты. Кадетские деятели тоже в другой. Побрякивала посуда в кухне. Так мирно было. Ни взрывов, ни выстрелов, ни ловушек, ни мин.

Взгляд сестры показался брату тревожным, каким-то нововнимательным, – он отвёл глаза.

Теперь, под сорок лет, но даже и в тридцать, Нина Ободовская совсем разучилась ждать восхищения, уже не нуждалась привлекать к себе внимание, искать хоть толику своего отдельного успеха. “Замужество – это судьба”, – давно приняла она, приняла, и не

раскайлась никогда нисколько. Судьба – мужа, а её – прилитая, и так – хорошо, верно. Всегда была работа, дело и борьба, ни на что больше не оставалось и щёлочка. И когда сегодня предложил муж пройтись тут с ним ненадолго, недалеко, от Съезжинской до Монетной, то непривычной вольготностью оказалась для Нуси та сторона затянувшегося визита, которую можно было назвать “сидением в гостях”.

Нина Александровна по рождению была Бобрищева-Пушкина и в юности присутствовала на коронационных торжествах молодого Государя: кричала “ура” ослепительному царскому въезду в Москву; в придворном платье с тренем, открытыми плечами и в кокошнике стояла при царском выходе в Большом Кремлёвском дворце; и выросла, узнавая себя на балу московского дворянства в честь нового царя. В те годы она с жаром изучала генеалогию, реликвии и предания своего рода (хотя, в согласии с русскими романами, и разносила по избам лекарства, чай-сахар, белый хлеб и крестила детей крестьянских). Она была изрядной красоты, у неё часто сменялись обожаемые пассии, и поначалу совсем её не привлекал, а больше досаждал своей неумолимой критикой случайный в их доме сын портнихи, некрасивый остробровый вскидчивый нервный молодой человек, провинциал, репетитор, студент-горняк, от голода упавший в обморок на Николаевском мосту. Даже запершись с девушкой в тёмном шкафу для опытов с электричеством, он по убеждениям честности не разрешал себе лишний раз коснуться её руки.

В семнадцать лет, среди сменчивых увлечений, так трудно понять, кого истинно любишь! Но неопредёленно для нас самих развиваются наши решения, и тот непоправимый выбор, который даётся девушке единожды, Нина истратила на безрасчётную безнаградную судьбу Петра Ободовского – и уже никогда не видывала знатных дворянских балов, да даже Петербурга, да даже и России, а – глухие избяные сборища рудничных служащих, где соревновались пирогами и водкой, или скудные эмигрантские любительские вечера на средства кассы взаимопомощи.

У Пети с самой юности уже были прочные убеждения, у Нины – по сути никаких, и так получилось естественно, что она стала думать, как и он. Он не терпел ничего, что принято в обществе, и само высшее общество, особенно гвардейцев и правоведов, уже за то одно, как смотрят они на женщину, – и, пожалуй, единственный раз за жизнь поступился убеждениями, согласясь на церковное венчание, – просто потому, что обряд этот неизбежен. Для Пети мучительно было при этом исповедоваться (впрочем, понимающий передовой священник задал лишь два-три формальных же вопроса) и причащаться. Да Нина и сама, ещё в 17 лет, отказалась от причастия: “Не верю, что это – кровь и тело Христовы!” (Внушала мать: “Ниночка, теперь и никто не верит, но все же причащаются!”) Не верила Нина и в таинство венчания, но сам обряд тянул, завораживал, был действительно открытием новой жизни и высшим праздником женщины.

На том уступки жениха и кончились. Он отказался делать свадебные визиты. Отказался от “романтических глупостей” идти на кладбище предков. Не любил сентиментальных воспоминаний жены, не любил их старого барского дома на Волхове, и само-то имение считал преступлением, так что Нуся отказалась от своей доли наследства. (Да даже и своими руками работать на земле, самую связь с землёю Петя отвергал, сельского хозяйства не любил, как дела, куда вмешиваются внезапные неучитываемые силы: какие-нибудь град, засуха, и пропал твой технический расчёт).

В молодой петербургской жизни ещё бывали у Нуси минутные досады: в 20 лет и даже в 25 хотелось же потанцевать! Но никогда не было ни платьев, ни туфель, а первый же на платье родительский подарок муж взял на общественные нужды, займы, но безвозвратно. Да и времени не стало ни на концерты, ни на лекции, какие грезилась: уже гнулась Нуся днями и вечерами, умножая и деля цифры рудничных обследований, разнося их по карточкам, много путала, да и скучно, сидишь дома целый день, как на службе, а муж требует неуклонно. Неуклонно – но и нежно. И при малом огорчении на лице мужа Нуся готова была отказаться от чего угодно. Так и приучилась она жить – в радостном угождении.

“Прости, Нусенька, что я тебя в чёрном теле держу. Это – первое время. А там станет посвободнее – будем всюду ходить”, – но ник-когда “а там” не наступило за всю жизнь!... Петя всегда как в котле варился, даже на студенческом балу у него были обязанности кассира каких-то сборов, даже на первом пароходе во Францию он на море не смотрел, а учил французский язык, – где же что могло остаться для жены? Однажды вырвалась она на рождественский костюмированный бал – но куда что делось? была неумела в игре, не бойка на язык и, прелестно одетая японкою, не привлекла внимания. Мечтала читать с мужем по вечерам серьёзные книги – не дождалась и этого. “Ты хоть просвещай маня!” – прашивала она, очень нуждаясь в авторитете. Но возражал молодой муж: „Я слишком уважаю тебя как личность, чтобы навязывать тебе свои взгляды. Вырабатывай сама”.

Какие ж иные? как вырабатывай? Мужнины и приняла всё равно.

Предлагали Ободовскому остаться в Горном институте по окончании его – тесно, отказался. Звали в благоустроенный Донецкий бассейн – слишком легко там работать, отказался. Его манило на новое, он был природный пионер. Поехали в Сибирь, на дикий Головинский рудник, и это было ещё не самое изнурительное, скоро завёлся черемховский “Социалистический рудник”, где каждый рабочий после года работы получал бесплатно пай и долю в управлении, – невероятная затея для 1904 года, от властей прикрыли его социалистичность мнимой компанией акционеров. Уезжая в Сибирь, Петя из подъёмной тысячи рублей тут же отдал семьсот на какое-то общественное дело, даже не спрося жену, не надо ли ей чего. Какого человеческого чувства он никогда не понимал, отталкивался – это скупости. На Головинском по несколько месяцев не получал жалованья, выплачивая рудничные долги, или получал – и из него расплачивался с рабочими. А уж “Социалистический” стал пропастью, только поглощавшей деньги, уголь же выходил плохой, никто его не покупал. С этим Социалистическим рудником Петя замучился до того, что в 32 года стал сесть, отказывало сердце и посещали приступы неврастения – до рыданий.

Пётр Ободовский был так устроен, что не только не уклонялся от ответственности, как очень склонны русские натуры, но напротив: лишь где видел ответственность, хотя б и в стороне, – туда кидался, впрягался и лез на рожон. Он знал, что всякое дело сметит и организует быстрее, точнее и успешнее другого смежного человека. И все другие тоже быстро угадывали в нём это свойство, и все дружно толкали его на самое трудное. На любом инженерном заседании, съезде, учёном совете несло Ободовского выступить со своими проектами, и проекты эти тотчас всех увлекали, за что его звали то сиреной, то златоустом, и всюду тотчас он был избираем в бюро, в комитеты и на осуществление. Появлялся ли он в Иркутском Общественном Собрании, клубе интеллигенции, или в Географическом обществе, – едва послушав ораторов, он не мог не выступить с оспорением и поправками, а после выступления не могли его не избрать!

Богатый, деятельный иркутский мир инженеров, адвокатов и купцов узнал, оценил Ободовского, легко принимал его к себе, но Ободовский не стал им свой, он не мог принять их беззаботности и веселья. Все они жили широко, кутили, азартно играли, иркутские инженерские жёны шили по сорок платьев в год, даже заказывали наряды из Парижа, – Нуся не всякий год могла сшить одно платье. Всё расплачиваясь по векселям за Социалистический рудник, Ободовские стеснились до того, что подлинно голодали, и в Общественном Собрании, среди шумно ужинающих инженеров и адвокатов, тихо сидели с занывающими желудками и лгали знакомым, что недавно обедали дома.

Но Нуся искренно смирилась с такою их судьбой, сжилась и даже, кажется, полюбила её: была в такой жизни вечно сохраняемая молодость. “Не хочу богатеть! не хочу и привыкать!” Усвоила она ясно, что у них с мужем никогда не будет ни достатка, ни покоя, ни досуга, ни развлечений – и уже не зарилась на то. Дело жизни её состояло в одном: быть его женой. И если он вёз из Иркутска на рудник динамит, оформлять же такой груз официально на все предохранности было слишком долго, – то просто вносили динамит в пассажирский вагон, Нуся садилась на роковой ящик и распушенной юбкой прикрывала от кондукторского

глаза страшную упаковку. Так на потряхивании и ехала.

Зато постоянная взаимная нежность не покидала их от самого медового месяца. Девственным вступил Петенька в брак и незапятнанным прожил всю жизнь, не зная никакой другой женщины. “Я не требовал от тебя, чего не давал сам.” И уходя в тюрьму, уверенно мог ей завещать: “Ты моя жена, это всё равно, что я сам.” Уговорились они: кто останется жить, возьмёт с умершего себе на палец второе обручальное кольцо.

Рок Ободовского был: избирать пути не общие, всегда свои собственные, всегда поглотительные для сил, иногда и опасные для жизни.

С наступлением же Революции, застигшей Ободовских в Иркутске, этот рок проступил лезвием. Уж теперь-то, когда на Россию, по всей видимости, снизошла пора, званная и моленная честнейшими страдальцами глухих поколений, и уже решительно никто не мог заниматься простой работой или дома усидеть, а всех безудержно несло куда-то шагать, кричать и голосовать, когда распалась будничная связь частиц, и каждая частица в радости и ужасе ощупала как будто свободу двигаться отдельно ото всей материи, и даже нужду непременно двигаться, а как это всё потом установится – не пытаться и вообразить, – теперь с какой же удесятёрённостью должен был завиться, закружиться Ободовский, и прежде не знавший покоя! Вся сотрясаемая среда так и выталкивала его на вид и наверх. Но от бесчисленных ораторов и избираемых строго отличался он тем, что не покидал простую *работу* .

И даже когда Ободовского арестовали, его свойство оказываться всегда на виду и устраивать жизнь не свою только, но всех окружающих, нисколько не потускнело: в каждой камере, и в Новой Секретке, он избирался старостой, и старостою же этапа в Александровский централ, и при общем лёгком режиме многое мог устроить, целыми днями устраивал: и порядок, и послабления, и удобства, и связь с волей. И даже в центре вынесло его составлять план тюрьмы для сметы ремонта, и тайком снять копию – и та копия ещё долго потом передавалась по арестантским рукам как руководство к побегу.

Так и при первой же поездке в Петербург навестить родных сразу напоролся Ободовский, что Союз Освобождения созывает всех передовых ехать на музыку в Павловск протестовать против войны, – и (это уже было после Цусимы) конечно поехал тоже, да и с Нусей. На музыку не пускали в картузах или платочках, там собиралась исключительно чистая публика – и тем разительней, как эта чистая, прервавши музыку, стала топтать и кричать: “Довольно крови! Долой войну!”, – и Пётр надрывался в том же крике. Музыканты убежали с эстрады. Публика стала городить скамейки баррикадами, городовые разбрасывали их – Ободовский и тут завозился дольше всех, и уже бежали все в парк, а ему бежать было непереносимо, и белый от гнева он взял Нусю под руку и повёл её не прочь от фронта выстроенных солдат, но торжественно-медленным шагом вдоль фронта. Мимо ненавистного армейского фронта шёл он бледный, закусив губы, закинув гордо голову. Уже заиграл горнист, уже офицер повернулся давать команду на залп в воздух, но сам терялся и волновался, что беззащитная пара попадает под близкий залп. (Нусе было хоть и страшно, а нисколько не тянула она мужа быстрее. Раз так он решил – вместе с ним хоть и умереть). “Вы рискуете! Пожалейте вашу даму! Уходите как можно скорей!” – упрашивал офицер Ободовского. Петя же отвечал резко, будто фронт подчинялся его команде: “Я уйду, когда сочту нужным!” И так супруги медленно-медленно, всё медленнее прошли до ворот. И залпа не было.

Уже в эмиграции, в Париже, жили на мансарде, на седьмом этаже, беднее студентов, даже на конке не ездили, экономя на обед, – и тут настигла их сибирская телеграмма, что один сотоварищ отказался, и надо немедленно оплатить тысячу рублей по векселю Социалистического рудника. И хотя ненавистно было *имение* нусиной матери – пришлось обратиться к ней.

Всё-таки революционерить из дворян легче, чем из других сословий.

Эмигрантская жизнь – полуголодная, в поисках заработка, безьякорная, с детскими затеями драматических спектаклей (вот уж на сцене играть – никогда у Пети не получалось),



внепартийными вечерами, дружескими бюро труда и кассами взаимопомощи, где-нибудь в Англии замкнутой русской колонией, не зная по-английски двух фраз, – эта жизнь оказалась для Нуси даже самым лёгким и счастливым временем.

Ободовские не пристали к дрязгам, хандре и бездеятельным мечтаниям эмигрантского существования. В Европу бежавши как гонимый революционер, Петя (с одобрения Кропоткина, которого он не партийным лидером считал, а учителем жизни) хотел в Европе работать инженером, но опять-таки не на службе у иностранцев и не для стран тех иных, а – для России, хоть и оставаясь за границей. К счастью, в русских инженерных кругах достаточно знали его, и такую работу ему предложили: обследование европейских портов и монография о них; и плавучая выставка с пропагандой русских товаров; и промышленная выставка в Турине. И там он работал с восьми утра до двух ночи, платить же ему опаздывали на год, а потом: “кредиты исчерпаны, в ваших услугах более не нуждаются”. Аплодировали его речам о программе русской промышленности, а всё написанное им не печатали на родине за неизысканием средств – и так не доходило его слово до уха и внимания России.

Сердился Ободовский на соотечественников так, что разливалась желчь и опять, как в юности, трепала неврастения. Так негодовал на Россию, что уже хотел навсегда уехать в Аргентину.

Но загадочным образом: дело человека заложено и ждёт его именно там, где он родился. Происхожденья Ободовский был польского, но к Польше не причислял себя, жил всецело одной Россией.

И едва узналось, что судебное преследование снято, – Ободовские тут же, на убогие франки, соскребённые займы, ринулись на родину.

Хотя отечественная жизнь светлела, и как будто разрежалось тёмное и не грозило возвратом жестокое, – а Нусе почему-то совсем не хотелось возвращаться под тяжёлые своды отечества. Где никогда уже не будет так безответственно, как в их эмигрантской жизни.

Предчувствие было у Нуси, да так ей и нагадали: что ожидает их обоих на родине страшный конец.

\*\*\*\*\*

## И ДАЛЬНЯЯ СОСНА СВОЕМУ БОРУ ВЕЕТ

\*\*\*\*\*

### 25

Ольду Андозерскую оскорбительно жгло, когда могли её в мыслях, по виду, по соседству объединять с кланом незамужних неудачниц – старых дев или почти таких. Она была в 37 лет незамужней, да, но – принципиально, совсем по другой причине, чем все они. Они – не умели устроить своей жизни, она – сто раз могла это сделать, да не находила достойного. И умные – понимали. Но для глупого большинства: нет кольца на пальце, значит – не сумела. И она – отталкивалась, сторонилась даже рядом сесть, не то что дружить, дать себя сравнивать, время проводить с непристроенными женщинами.

Впрочем, и с женщинами вообще. За всю жизнь она насчитывала нескольких интересных женщин, всё старых, а масса их – так бледна и так неравна ей, что не вызывала у неё даже и вообще никаких чувств и никакого интереса.

Веру Воротынцеву знала она по Публичной библиотеке, но плохо понимала её назначение там: мастер своей отрасли сам знает, какие книги в ней есть, какие привлекать, разве можно этот поиск передоверить какому-то “библиографу”? По молодости (а впрочем,

не первой), Вера ещё не вступила (но уже вступала) в тот заклятый клан – но и ни с какой другой стороны не было у Андозерской склонности привечать её. А сегодня лучшее, что могла эта девица сделать, – не так тревожно мелькать бы и не так пристально всматриваться, как будто она не сестра этого полковника, а жена.

Да, разумеется, полковник этот был женат, но и положение Андозерской позволяло ей не так внимательно приглядываться к черте, разделяющей женатых от холостых, не придавать повышенного значения случайностям уже происшедших браков.

Ольда Орестовна зашла к хозяину по малому книжному поводу – и давно бы ей уйти, и вечер уже исчерпался. Но – ещё только она вошла, ещё не видела лица этого полковника, лишь сильные широкие плечи, только услышана несколько его слов – ах, молодец! И развернулся он, весь в ветре и загаре фронта, с бело-золотым крестиком Георгия, малиновым Владимиром, и ещё как надерзил кадетской компании – в подобном обществе таких перечных речей не привыкли слышать. Ольду Орестовну это сперва позабавило, потом увлекло, разыграло, и взвинтилось в ней – самой бы тоже что-нибудь созоровать тут. Правда, вся компания уже разошлась, но сидел этот полковник – и даже для него одного она готова была изощриться. Чтобы дать ему знать об их свойстве.

А тем временем она поддерживала диалог с оставшимися Ободовскими. Диалог этот тоже был не без интереса, хотя не вызывал задора. Скорей для изучения собеседника, чем для убеждения его. Никогда не перестаёт забавлять и восхищать дробимость и несчётность людских воззрений, всё новая и новая сочетаемость в них ограниченного числа звеньев. Эта множественность, неповторяемость убеждений так явна, так поминутно истирает всякую разделительную групповую черту, что только фанатизм и недобросовестность могут настаивать, что люди делимы на партии. Поддаются люди делению на партии лишь по недосмотру, по беспечности или по душевному неустоянию. Деление и объединение людей очевидно могут производиться по признакам и принципам более высокой ступени, чем их убеждения.

И этот революционер-инженер-патриот выказал ещё новую конфигурацию звеньев, по-своему тоже непротиворечивую. И отчётливо отвергал всякие партии. Хорошо.

А ещё была у Андозерской способность – лишняя ёмкость – поверх всякого разговора и не ослабляя интенсивности его, сопоставлять и откладывая выводы из наблюдаемого глазами. Так, без цели и без усилий, Ольда Орестовна делала выводы из этой мягкой покойности супруги рядом со вскидчивым беспокойным мужем, из ласковых касаний и обмена слов между ними, и, кажется, могла бы суммировать историю долгого ровного чистого-семейного житья Ободовских, ни разу не взорванного порывом безрассудной страсти, не позыбленного подкорковым жаром. Такую видимую полноту жизни Ольда Орестовна считала бедностью. Неопробованно-рано кажется человеку, что всё уже достигнуто и узвано. Мужчины, захваченные своею работой, без затруднения находят в жёнах свой единственный, навеки не тревожимый, окольцованный, очерченный до смерти мир, а жёны воспринимают свою единственность как взаимно-верную правоту выбора. Да пожалуй и так.

С такими мужчинами незамужней женщине только и остаётся говорить о политике.

Нет! Не так понимал Ободовский:

– Дело именно в надменной самоуверенности немцев, которую надо сбить, иначе они будут нас теснить и давить! Вы в Германии не жили? Вы посмотрели бы, что это за народ! Безжалостный, отдай только им Россию! Да и нудный...

Запутывали опять Воротынцева в словесные состязания. Хотелось ему – спокойно отсиживаться, отходить от гари, оживать. Косить глаз на стреловидную аметистовую брошь в скрепе воротника.

Россию отдавать?... Вот как раз чтобы не отдавать. Однако это не связано непременно с ненавистью к немцам. Отдать – он и вершка русского не согласен. Но... (приличествует ли такая точка зрения полковнику императорской армии?)... во-первых – вершка действительно русского. Во-вторых, если не отдавать, то, последовательно: и не брать же! Простая совесть.

Молниеносно, взглядом наискось, подхватил Ободовский:

– Да ведь Сибирь у нас, вон, пустая лежит!

– Вот именно. И почему же столько ярости о Польше?

Чудо многообразия: могли быть – противники, а вот шагнули – и притёрлись как две полированные плиты. Сошлись: поменьше мешаться в дела остального мира, пусть поживут вольготно без нас.

Воротынцев был ещё одним примером причудливого сочетания индивидуальных убеждений, подтверждает общий взгляд профессора Андозерской. Так бывает, когда не логикой соединено, а самим человеком.

В этом офицере поражало противоречие его жестоких рассказов – и вовсе не угнетённого вида. Осевши в стуле, это был камень неподъёмный, но иссылающий силу из себя. Немотивированный оптимист.

(А объёмным чувством, не мыслью: камень весомый, но не изошедший падений. Камень нерасщеплённый, но и не обработанный.)

– И чем же именно немцы так жестоки?

– А вот, например, я жил на Рейне около школы и видел, как каждую субботу, систематически! – подкочили в изгибе боли подвижные брови Ободовского, и боль была в срыве голоса, – по списку вызывают детей, провинившихся за неделю, – при их возрасте они от понедельника и забыть могли и измениться! – и секут, сколько назначено, усердно и не смягчая!

Воротынцев рассмеялся:

– Всего-то?

– Да я от этих субботних экзекуций нервно заболел! Видеть не мог! Мы уехали!

– Вообще – ничего плохого не вижу в телесных наказаниях мальчиков.

– Как??

– Ну, не с такой методической отсрочкой, не на субботу. А по-русски, под горячую руку, – в этом есть правота и родителя, и учителя. Молодому крепиться – вперёд пригодится. Когда он вырастет – его настигнут в жизни строгости покрепче, всё Уложение о наказаниях – сразу, в один день совершеннолетия. Так пусть привыкает смала, что есть его своеволию границы.

Хотела Нуся спросить, секли ли полковника самого в детстве, и есть ли у него свои дети. Хотя у них с Петей своих не было, а вот...

Возмущался Ободовский:

– Но так никогда не вырастут свободные гордые люди!

В окопах слякотных одичав, Воротынцев:

– Так смирение ещё полезней для общества.

Тут рассмеялась Андозерская. Во всякой интеллигентской русской компании, да пойти сейчас в соседнюю комнату спросить, любой бы согласился с Ободовским, никто не осмелился бы поддержать безнадёжно-мракобесный взгляд полковника. Но маленькая узенькая профессорша дерзнула присоединиться:

– Трудно уследить черту между защитой детей и вознесением их. А вознесённые дети презирают своих отцов, чуть подрастая – помыкают и нацией. Веками длились племена с культом старости. А с культом юности не ужило б ни одно.

Однако помимо всей его военной отваги, самостоятельности, решительности – улавливала в нём Ольда Орестовна какую-то неполноту осознания самого себя, странную в сорок лет. Вот та самая необработанность, и её не скрыть. Вот так, голубчик, почему-то, да...

Но чтобы согласиться о задачах воспитания, надо прежде чётко определить, к чему предполагается юность готовить. Инженеру ясно:

– Образование прежде всего нужно для того, чтобы страна была сильна и работоспособна.

– Но притом оно должно не противоречить устоявшемуся мироощущению народа. А когда в учителя выходят озлобленные скороспелки – образование приносит разрушительное

душевное действие. И от размножения школ только увеличивается разложение.

В чём скороспелки, если они знают дело? Какому это устоявшемуся мировоззрению не противоречить? Религиозному? – не принимал Ободовский:

– Но если наука сама ему противоречит?

– У каждой нации есть свои предрасположенности. В частности – к форме общественной жизни.

То есть? При какой форме правления народ предпочитает жить? А что, для России – как-нибудь особенно?

Ободовский отлично знал и мог обосновать, какой формы хочет: самой широчайшей социалистической демократической республики, но без участия партий во власти. Каждый рудник, каждый университет должны самоуправляться, как можно больше решать без верховной власти. Швейцарский принцип: община сильнее кантона, кантон сильнее президента. Только так и оправдывается термин *res-publica*, дело общества, а не немногих. Только так общество будет реально участвовать во власти и понимать власть. (Да начало такой власти он и сам ставил на Социалистическом руднике, хоть и неудачно.) А верхняя отдалённая власть людям всегда чужда – и была, и есть, и будет, и никакие парламентские краснобаи никогда не возместят обществу его отчуждение от власти. (Хотя, когда социалисты многие бойкотировали 1-ю Думу, Ободовский метался по их митингам с речами: “предлагают оружие – надо брать!”).

Инженеру возразил полковник, но леновато, как о слишком явном, – что если уж республика, то почему такая расхлябанная крайность, чтобы каждая рота управлялась сама собою и делала что хотела. Ну там какой-нибудь совет дожей или директория. А как способно большинство само собою управлять непротиворечиво? Будут только шарахаться, хоть и с обрыва, старое сравнение со стадом. А делать историю может лишь крепкое верное самостоятельное началоспособное меньшинство.

...Вот и в этом сошлись...

Да отчего ж это мы – в крайнем, и сразу сходимся? Отчего мы с вами сразу – и...?

Но если иногда и наплывали у Воротынцева потаённые мысли о возможных изменениях структуры правления в России – то устраивать это надо было руками, а не обсуждать здесь сегодня, хоть и с этим деловым инженером, хоть и с этой растреумной дамой.

А вот – другое... От вас тянет как бы тёплым сквознячком. Так и разнимает, со стула не встать.

Я думала – вы сильней.

Что ж будет, когда вечер кончится?...

Если вы хотите, он не кончится...

Ободовский так и отпрянул к спинке стула: большинство – и отметить? А *для кого же всё*, всё делается? (Впрочем, это только! – в принципе. А вне социальных идей, простецки обобщая собственный опыт, замечал он: что и сам всегда тянет за двадцатых, и немногие другие, наперечёт, создавали осуществление в любой области. А большинство, действительно, вело себя не так, как ему полагалось по теории: тяготело к нерешительности, осуждало риск одиночек или уж кидалось крушить – так всё подряд.)

В образованном русском обществе – такой уклон, боковой повал, что далеко не всякий взгляд допускается высказать. Целое направление, в противность этому уклону, морально воспрещается – не то чтобы там на лекциях, но даже в беседах. И чем свободнее общество, тем строже давит этот негласный запрет. Если о человеке предупреждают – “так он же правый!” – “как, правый?” – и все шарахаются. Обрывается тому человеку нить, общаться с людьми, высказывать мнения. Как будто можно было бы всем отказаться от правых рук или покупать перчатки только левые. Как сегодня нарубил тут полковник – только и может новичок, с первого шага, не оглядясь.

Но именно от него – и осмелела сегодня Андозерская. В своей университетской среде она жила постоянным гнётом этого запрета нежелательных обществу мыслей. Она так

выбирала каждое выражение, она так неполно и косвенно смела высказываться! Но завидно свободная речь Воротынцева потянула и её. А риск – при растекшейся компании – был даже и мал: чудаковатый этот инженер едва отвлекался от своего блокнота, а дрёмная счастливая жена его была не из настороженных общественных спорщиц. И дерзко снимая все запреты, до самых неуклонимых (и предвидя ликование полковника), Ольда Орестовна сощурилась на одного, на другого и сказала невесело:

– Как вы сразу и решительно шагнули к республике, господа! Как легко вы отбросили монархию! А вы не подчиняетесь просто моде? Кто-то крикнул первый, и все повторяете почти попугайно: что монархия – главное препятствие к прогрессу. И это стал отличительный признак своих – хулить монархию в прошлом, будущем, вообще всегда на земле.

Она – шутила? Издевалась? Что за дикость? Профессор всеобщей истории в XX веке обороняла – что? -

– Са-мо-державие??

– В частности. “Долой самодержавие” застлало все мысли, всё небо. Во всём на Руси – виновато самодержавие. *Любимый враг*. А между тем слово самодержец исторически значит только: не-данник. Суверен. А отнюдь не значит, что всё делает сам как хочет. Да, все полномочия власти у него нераздельны, и ему не ставит границ другая земная власть, и он не может быть поставлен перед земным судом, но над ним – суд собственной совести и Божий суд. И он должен считать священными границы своей власти – ещё жестче, чем если б они были ограничены конституцией.

Что это? Что слышал Ободовский? Образованный человек в полный голос защищал дикое мракобесное самодержавие? Нельзя было ушам поверить! Неужели ещё сегодня можно подыскать слово в его защиту? Даже не вообще абстрактной монархии – но и русского полицейского самодержавия? И – может быть этого конкретного царя? Да самая мысль об этом ничтожном бездарном царе так издёргивала Ободовского, что когда их плавучая промышленная выставка стояла в Константинополе и всех сотрудников позвали на раут к русскому послу – голодный ободраный эмигрант отказался единственный раз вкусно поесть, чтобы только ему не поднимать тоста за Николая Второго.

– Но неограниченная власть формируется жадностью царедворцев и льстецов, а никакой не божьей совестью! – воскликнул инженер. – Но отобрав волю у народа, самодержавие тупеет, глохнет и само не может проявить добро-направленной воли, а только злую! В лучшем случае оно изнемогает под своим могуществом. История всех вообще династий, не только нашей, – преступна!

Когда Андозерская бралась серьёзно излагать, такой был жест у неё: обе маленькие кисти держать зонтиками перед грудью и одною поглаживать по другой, со значительностью:

– Да, многие народы поспешили поднять руки на своих монархов. И некоторые невозвратно потеряли. А для России, где общественное сознание – лишь тонкая плёнка, ещё долгое-долгое время никто не придумает ничего лучше монархии.

Ободовский косовато подкинул брови: его дурят? над ним смеются?

– Но позвольте, монархия – это прежде всего застой. Как же можно желать своей стране застоя?

– Осторожность к новому, консервативные чувства – это не значит застой. Дальновидный монарх проводит реформы – но те, которые действительно назрели. Он не бросается опроретью, как иная республика, чтобы сманеврировать, не упустить власти. И именно монарх имеет власть провести реформы дальние, долгие.

– Да какие ж вообще разумные доводы в наш век можно привести в пользу монархии? Монархия – это отрицание равенства. И отрицание свободы граждан!

– Отчего ж? При монархии, – невозмутимо отвечивала Андозерская, – вполне может расцветать и свобода, и равенство граждан.

Но и на лице полковника с ветровым загаром она тоже не различила вздрога

присоединения. Он ждал.

И тогда, напрягши маленький лоб и собравши силы (взялась – не сорваться), уже не так авторитетно-вещательно, но с проворностью знающей хозяйки, как отполированные столовые ножи, протирая один за другим, выкладывают на скатерть, – Ольда Орестовна подавала им фразу за фразой:

– Твёрдая преемственность избавляет страну от разорительных смут, раз. При наследственной монархии нет периодической тряски выборов, ослабляются политические раздоры в стране, два. Республиканские выборы роняют авторитет власти, нам не остаётся уважать её, но власть вынуждена угождать нам до выборов и отслуживать после них. Монарх же ничего не обещал ради избрания, три. Монарх имеет возможность беспристрастно уравнивать. Монархия есть дух народного единения, при республике – неизбежна раздирающая конкуренция, четыре. Личное благо и сила монарха совпадают с благом и силой всей страны, он просто вынужден защищать всенародные интересы – хотя бы чтоб уцелеть. Пять. А для стран многонациональных, пёстрых – монарх единственная скрепа и олицетворение единства. Шесть.

И улыбалась чуть. Легли широкополотенные негибкие столовые ножи параллельно – и сверкали.

И смотрела победно на полковника. Она ожидала наконец его уверенной сильной поддержки, вот сейчас они соединятся в доводах.

Но он – молчал, как-то замято, опозданно.

Неужели вы этого не разделяете? Откуда такая неуверенность? Подобаает ли она столь славному воину, да ещё из началоспособного меньшинства?

Я... что-нибудь не так?... Вам что-то смешно?...

Ах, просто ваши военные дороги – это далеко ещё не все дороги жизни. Бывают такие тропинки, над такими безднами, о-о!...

Но – горная пушка проходит там? Но – лошадь со вьюками?

Не-ет, конечно, нет, как вы могли подумать!...

– Да как же можно рассчитывать на его самокритичность? – воскликнул инженер, измученный, что вдруг надо доказывать снова это всё пройденное: – Монарх окружён вихрями лести. Он поставлен в жалкую роль идола. Он боится всяких подкопов и заговоров. Какой советчик может рассчитывать логично переубедить царя?

– Чтобы провести свои взгляды, – хладнокровно отбивала Андозерская, – всё равно надо кого-то переубеждать, не монарха, так свою партию, и потом разноголосое общество. И переубедить монарха никак не трудней, и не дольше, чем переубедить общество. А разве общественное мнение не бывает во власти невежества, страстей, выгод и интересов? – и разве общественному мнению мало льстят, да ещё с каким успехом? В свободных режимах угодничество имеет последствия ещё опаснейшие, чем даже в абсолютных монархиях.

Но чем была так хороша? Закидом головы с заверенным взглядом? Чуткой струнной шеей? Или вкрадчиво певучим голосом?

Но если не лошадь со вьюками, то как же там пройти?...

Пустяки. Возьмётесь за отлёт моего платья. Пройдём!...

– И вас не коробит подчиняться монарху? – пытался пронять её Ободовский простейшими чувствами.

– Но вы и всегда кому-нибудь подчиняетесь. Избирательному большинству, серому и посредственному, почему это приятней? А царь – и сам подчиняется монархии, ещё больше, чем вы, он первый слуга её.

– Но при монархии мы – рабы! Вам нравится быть рабом?

Андозерская гордо держала головку никак не рабью:

– Монархия вовсе не делает людей рабами, республика обезличивает хуже. Наоборот, восстановленный образец человека, живущего только государством, возвышает и подданного.

То есть чисто теоретический образец? Но так можно далеко забрести.

– Да какая же во всех этих доводах ценность, если все они перекрываются

случайностями рождения?! Родится человек дураком – и автоматически царствует четверть века. И поправить никому нельзя!

– Случайность рождения – уязвимое место, да. Но и встречная же случайность – удача рождения! Талантливый человек во главе монархии – какая республика сравнится? Монарх может быть высоким, может не быть, но избранник большинства – почти непременно посредственность. Монарх пусть средний человек, но лишённый соблазнов богатства, власти, орденов, он не нуждается делать гнусности для своего возвышения и имеет полную свободу суждения. А затем: случайности рождения исправляются с детства – подготовкою к власти, направленностью к ней, подбором лучших педагогов, – отважно защищалась девочка в кресле, держа две кисти зонтиками. – И наконец, метафизическим...

Я такого – никогда не говорила на лекциях. Я это – для **вас** сказала. А вы – не рады? не согласны?

Я вас огорчил? Я не хотел... Но есть вопросы, через которые...

Через которые... Да вот – Николай I и Александр III заняли трон, никогда к тому и не готовясь, немалые примеры. А к сегодняшнему Государю, с его несравненным умением окружать себя бездарностями, а честных людей предавать, – к нему плохо относятся все эти доводы. А когда случайность самодержца ещё превращается в случайность Верховного Главнокомандующего...

Но хотя полковник так и не поддержал её вслух – он сидел совершенно на её стороне, как бы издавна записанный в её гвардейцы.

– ...Метафизическим пониманием своей власти как исполнения высшей воли. Как помазания Божьего.

Ну уж, этого “помазания” даже и в шутку не мог инженер слышать!

– Да что это за формула трухлявая, “помазанник Божий”, до каких пор? Что за маниакальный гипноз “помазанничества” у самого заурядного человека? Кто из образованных людей сегодня может верить, что некий там Бог в самом деле избрал и назначил для России Николая Второго?

– Нисколько не мёртвая! – отважно настаивала Андозерская. Уже отступленья и не было. – Она выражает ту достаточную реальность, что **не люди** его избрали, назначили, и **не сам** он этого поста добивался. Если престолонаследие не нарушается насильственно, а мы ведь разбираем именно этот чистый вариант, то людская воля оказала вмешательство лишь при выборе первого члена династии. Впрочем, при воцарении первого члена этой династии некий перст Божий, согласитесь, на Руси был.

Перст, может, и был, но потом дровишек наломали. И за престол дрались, и отнимали, и убивали. (Но не вслух, это не для лёгкой беседы).

– А дальше течёт независимая от людей, от политической борьбы традиция династии. Как в Японии: одна династия третью тысячу лет. Это уже как природа сама.

И Вера, оказывается, стояла тут. Без прежней тревожной ревности, удивлённо, впытчиво слушала.

– Вот в этом и суть помазанья, что даже отказаться не волен монарх. Он не гнался за этой властью, но и избежать её не может. Он принял её – как раб. Это – больше обязанность, чем право.

Сестра – очень внимательная студентка. Как раб! – это её поразило.

Но брат – так и не поддержал ни в чём ни разу. Да ведь он уже и заговаривался, что если например республика, совет дожей...

А Ободовский спорить любил, если что-нибудь выпаривалось к делу, – тогда земля подбрасывает сразу бежать и делать. А уж когда пошло насчёт помазанья – увольте. У него достаточно хорошо была уложена и продумана вседемократическая республика. Да вообще пора уходить, но теперь надо было дождаться звонка Дмитриева, так неудачно. Он и слушать покинул. Перелистывал блокнот и вполотворота на крае стола рисовал.

Воротынцев переклонился к Ольде Орестовне и снизил голос. Чуть издали можно было подумать, что он ей шепчет комплименты:

– Так в чём же тогда цель этого несчастного помазания? Чтобы Россия безвыходно погибла?

Вера отошла.

– Вот это нам – не дано, – почти шёпотом ответила и Ольга Орестовна.

Даже глазами больше. Карими? зелёными? совсем учёными глазами.

– Поймётся со временем. Уже после нас.

Скажите, а когда загорается надежда – как узнать: не обманывает ли она? Это - **она** ?...

Надо иметь опытность сердца.

Но, всё-таки, республики она ему простить не могла:

– А при республике? – спросила она. – Все разумные решения несравненно сложнее, потому что им продираться через чашу людских пороков. Честолюбие при республике куда жгучей: ведь надо успеть его насытить в ограниченный срок. А какой фейерверк избирательной лжи! Всё – на популярности: понравилась ли? В предвыборной кампании будущий глава республики – искатель, угодник, демагог. И в такой борьбе не может победить человек высокой души. А едва избран – он перевязан путами недоверия. Всякая республика строится на недоверии к главе правительства, и в этой пучине недоверия даже самая талантливая личность не решается проявить свой талант. Республика не может обеспечить последовательного развития ни в каком направлении, всегда метания и перебросы.

– При республике, – очнулся и протрубил Ободовский, – народ возвращает себе разум и волю. Свободу. И полноту народной жизни.

– Люди думают, – отбивала Андозерская, – только назвать страну республикой, и сразу она станет счастливой. А почему политическая тряска – это полнота народной жизни? Политика не должна поедать все духовные силы народа, всё его внимание, всё его время. От Руссо до Робеспьера убеждали нас, что республика равносильна свободе. Но это не так! И – почему свобода должна быть предпочтительней чести и достоинства?

– Потому что **закон** обеспечивает честь и достоинство каждого. Закон, стоящий выше всех! – Ободовский снова загорячился. – А при монархии – какой закон, если монарх может перешагивать закон?

Ольга Орестовна зябко повела плечами (оба так легко охватывались бы одной рукой!), но позицию держала:

– А закон – разве безгрешен? Всегда составлен провидчивыми умами? В рождении законов – разве нет случайности? И даже перевеса корысти? Личных расчётов? *Dura lex sed lex* – это дохристианский, весьма туповатый принцип. Да, помазанник, и только он, может перешагнуть и закон. Сердцем. В опасную минуту перешагнуть в твёрдости. А иной раз – и в милосердии. И это – христианнее закона.

– Ап-равдание! – подёрнулся, отмахнулся инженер над блокнотом. – С такой формулировкой и любой тиран охотно переступит закон. А кстати, тиран – чей помазанник? Дьявола?

Если вырвалась – и горит, бежит по рукам, по локтям – это **она** ?

Да! Она!! Да, конечно!

Но ни голос, ни связь доводов Ольды Орестовны не продрогнули:

– Тиран в том и тиран, что переступает закон для себя, а не властью, данной свыше. У тирана нет ответственности перед Небом, тут и отличие его от монарха.

Ну, если серьёзно упоминается в споре Небо как действующая историческая сила – то о чём остаётся разговаривать?

– Но мы не случай тирана разбираем. Республика тоже может расколебаться до смуты и гражданской войны.

Зазвонил, наконец, телефон, и всё решилось.

– Андрей Иваныч? – высунулись дамы из той комнаты.

– Мой Дмитриев, наверно, – сворачивал блокнот Ободовский.

Евфросинья Максимовна из коридора:



– Пётр Акимыч, просят – вас!  
Ударило алым по лицу Веры. (Андозерская не видела её, а – видела).  
Ободовский взметнулся туда. Никому не интересно, но услышался его заволнованный голос:

– ...Да, но простите, здесь уже поздно, теперь ни к че... Тогда завт... Что?... Что?!...  
Что-о???...

Дамы высунулись опять, а за ними возвысился и приват-доцент.

– ...На Большом Сампсо...? А где вы сейчас?...

Ободовский отнял трубку и с бровями смятенными, голосом недоуменным? или горестным? или радостным? – спросил вдоль коридора:

– Вы знаете, господа... Как бы не... Кажется... Началось!

**Началось** ?? Ну мало ли что могло начаться: отливка орудийного ствола, хирургическая операция, тяжёлые роды, наводнение Невы, война со Швецией, – нет!! Все до единого одноминутно однозначно безошибочно уверенно поняли это безличное слово как удар басового колокола: **НАЧАЛОСЬ!!!**

Что ещё другое могло **начаться** ?!

И кто же теперь в силах уйти? Как же теперь по домам разойтись, не узнав, не поняв?

– Он – далеко?

– За Гренадерским мостом.

– Так зовите! Зовите его сюда!!

Все – оставались.

**НАЧАЛОСЬ !!!**

## 26

Теперь в столовой все объединились – или разъединились – как на вокзале, ожиданием поезда.

Общего ли? Не с разных ли сторон и в разные?...

И как при вокзальном ожидании сбиваются мысли, не собираются на связном разговоре, успеть бы только себя проверить, всё ли твоё с тобой, если поезд подкатит вдруг, – так и в шингарёвской столовой сейчас восьмеро гостей не занимали друг друга, пренебрегли обычаем посверкивать зубами, побрякивать языком, коль свёл их случай лицами друг ко другу.

А ушли в ожидание. Или глазами проверяли своих.

Ведь – близко! Ведь скоро. У входа...

До Гренадерского моста, да мост, да мимо гренадерских казарм, да по Монетной – кварталов десять?

И как на вокзале одни проводят последние минуты непринуждённо, благодушно или деловито – читают газету, сидят в ресторане, в почтовом отделении, а другие не усиживают даже на пассажирских диванах, но чемоданы пододвинув к выходу, сидят на них, а третьи и вовсе не в состоянии сидеть, когда поезд уже объявлен, и беспокойно ходят по залу, мотаясь перед глазами всех.

Так и младшая из дам-активисток, в тёмно-зелёной блузе с бурыми всплесками, найдя изломанный путь в обход стола, но с достаточною проходкой, напряжённо и непрерывно по нему ходила, точно в одном месте изламывая направление, точно в тех же паркетных клетках разворачиваясь. Головою опущена, она никого не видела, углублена в своё молчание, но кажется не молчала, а что-то говорила ритмически, про себя или шёпотом:

Народу русскому: Я скорбный Ангел Мщенья!

...Кидаю семена. Прошли века терпенья...

А старшая не ходила, не дёргалась, сидела с выражением удовлетворённым, почти

радостным: поезд не опоздает, билет у неё в кармане, место – хорошее. Или даже злорадным: к тем, кто не верил в расписание, ждал задержки поезда на семафорах и стрелках, а теперь и вещей не соберёт.

А приват-доцент, такой положительный, несмотря на молодой возраст, прочно сидел за пустым обеденным столом, выложив руки перед собой как отдельные инструменты, зубные ли клещи огромных размеров или гаечные ключи. Сам же за темно-роговыми очками прищурился, перебирая в представлении известные ему далее несколько перегонов: прочны ли там мосты, не слишком ли круты подъёмы и спуски, каковы радиусы закруглений, достаточно ли поднят наружный рельс. И молодое учёное лицо его хотя и было озабочено, но оптимистически.

Младшая дама в напряжённы расхаживала, но ритмом не своим, а – Этого, Ступающего. Тем ритмом она была давно заражена гипнотически, и, когда никто ещё, уже слышала стук о стыки, железный катящий скрежет и даже слитное гуденье вогнутых рельсов. И преобразуясь в известные слова, это звучало в ней, а может и произносилось чуть громче шёпота:

Я синим пламенем пройду в душе народа,  
Я красным пламенем пройду по городам.  
Устами каждого воскликну я “свобода!”,  
Но разный смысл для каждого придам.

Не сиделось и Ободовскому. Он всё подходил к окну и откидывал штору – ожидая ли увидеть с пятого этажа, не катит ли Она уже по Большой Монетной?

А Нуся, двойное беспокойство уступивши мужу, двойную остойчивость взяв себе, сидела малодвижнее всех, без морщинки, без заботы на гладком и правда же молодом лице: все невзгоды уже в прошлом видены. Как Ту переплыли, переплывём и Эту.

А Верочка тихо жила среди книжных полок, и вдруг завихрило в один вечер – и на улице, и здесь. Тоненькая, выходила в коридор, возвращалась, выходила, возвращалась.

У младшей дамы потягивание, покручивание рук, опущенных вдоль боков, не находило себе ни места, ни сомкнутия. И вот когда непонятные бурые всплески на её платки получили смысл: это были Огни, никак не пробьющиеся через тёмно-зелёный туман быта.

Я напишу: “Завет мой – Справедливость!”,  
И враг прочтёт: “Пощады больше нет”...

Что ж до полковника с профессоршей, то,ознакомясь на этом вокзале, хотя ещё не близко, не упускали они поглядывать друг на друга более, чем дружелюбно, и соображать: не до одной ли станции они едут? не в один ли попадут вагон?

И среди всех, весь вечер насквозь, каждый шаг этого знакомства видела Вера одна, хоть не всё время рядом и половины не слышала слов. Она видела и дальше, чего сам брат не видел! – а сказать ему не могла.

А от телефонного звонка – задрожала. Зачем-то послано было ей, чтобы сюда, в шингарёвскую квартиру, неурочно негаданно грянул – именно Михаил Дмитриевич. Зачем-то совпало, чтоб этой Новостью грянуть сюда довелось – именно ему!

Ей стало зябко, и она пошла просить у Евфросиньи Максимовны платок на плечи.

У Фрони – дети, у Фрони – хозяйство, у Фрони – гости пересидевшие, но Фроня – жена своего мужа и знает вместе с ним: увы, **Это** неизбежно, **Это** – будет всё равно, к **Этому** идёт, **Это** – у всея на уме. Была же и Фроня когда-то курсисткой, и помнит давнее-давнее-давнее, ещё – как ожидали **Ту**.

Студенческие напролётные ночи в пророчествах о светлом будущем. “Студенческие волнения одни встряхнут всё русское общество! Неумирающее студенческое движение заставит правительство подчиниться исторической необходимости!” А среди гимназистов

становится модно помогать сидящим в тюрьме. А вот и приказчики-красноярцы готовят прокламации в купеческом подвале в пору сладкого-долгого послеобеденного сна хозяев. А там и лавочники в базарной лавке собираются читать нелегальную литературу: они этого слова “социализм” не понимают, но щекотно, что – против власти. Они читают, а городской оберегает их снаружи: не накрыл бы квартальный надзиратель или свои же доносчики. Богатые ссыльные едут катером за Волгу на пикник, там поют революционные песни – и полицейские прислуживают им. А посылать деньги политическим эмигрантам, от них получать письма и принимать посланцев – нисколько не преследуется. И вот уже не продвигается по службе губернатор, чуждый либеральных идей. И только когда мясники в фартуках идут по улице и бьют камнями окна – где взять икон, поставить на подоконник в защиту? – своих ведь нет ни у кого давно, просить у кухарки с кухни. И вот – добились университетской автономии, и на этих островках свободы, куда воспрещено полицейской ноге, на сходках с рабочими собирают средства на Вооружённое Восстание! И всё общество дружно считает позором трусливую попытку университетского совета: сохраняя лаборатории и коллекции, не превратить университет в штаб революционной борьбы. Бойкот реакционным профессорам! Университетами пусть владеют не профессора, а студенты! Университеты – ещё и обогревалки для прохожих, какие-то образины курят в шапках.

Зябко стягивая вокруг себя оренбургский платок, узкая – ещё уже, с ожиданием и тревогой ко входной двери, Вера возвратилась в столовую.

То хранимое обещательное выражение младшей дамы, во всех спорах так и не высказанное, – не оно ли стекало теперь с её пророческого лица, выстанывалось из горла буревестницы:

Я каждому скажу: “Тебе ключи надежды.  
Один ты видишь свет. Для прочих он потух”.

И только это было полужвуком. Потому что если напоминать да спорить – этой даме полнокровной с энергичными локотками; этому приват-доценту с басовитым покашливанием, неистощимому на доводы, но по-милюковски и осторожному; этому анархическому инженеру оборачиваться из-за шторы на каждую несогласную реплику, страдальчески подрагивая веками; этой профессорше самодовольной скрывать волнение за твёрдостью тона и тихостью речи; да этому полковнику, лжелибералу, обмякшему, а готовому и вскинуться, как полкан; да библиотечной этой девице розоветь, преодолевая робость, – если бы все они наперебой кинулись говорить, что помнят и думают, – швырнуло бы их сквозь ночь да в утро, пропустя и вестника, и весть его.

...Легко рассуждать о революции в стране, где её не бывало. Но мы пережили – и видели.

А что мы плохого видели, позвольте?

**Банкеты** вскладчину, разлив банкетов. Ах, это был пир свободы! Как привольно лились общественные речи! Никогда за века не выговаривали столько на Руси! И казалось: от тостов и речей сдвигается история! Вот ещё немного крикнем – и рухнут стены! За банкеты не гильотинировали, не стреляли, не сажали.

Не скажите. Например, в Сибири и за банкеты – так по все двести человек в кутузку. (Ну, впрочем, на полтора часа).

Казалось наоборот: не за призрак ли бьёмся? Вообще возможен ли когда-нибудь, когда-нибудь переворот в такой безнадежно-инертной стране?...

Между тем не в меру либеральные земцы не жалели тратить крестьянские собранные гроши на революционную пропаганду.

Каждое крупное убийство встречало благоговение, улыбки и злорадный шёпот.

Не убийство! Если есть партия, идейная основа, – террор не убийство, это – апогей революционной энергии. Это не акт мести, но призыв к действию, но – утверждение жизни! Террористы – это люди наибольшей моральной чуткости.

Общество левело – и по убеждениям, и из опасения перед теми, кто крикнет левее всех. Перед левым криком – паралич невмешательства, пусть останавливает кто угодно, не я. Больше всего боялись не оказаться заодно с левыми. Подписывали любой протест, даже не соглашаясь с ним.

Управляющий Николаевской железной дороги на собственные средства нанимал театр “Вена” для своих бастующих рабочих. Директор завода извинялся перед рабочими: “Я и сам в душе анархист, но – вынужден...”

А не находка ли была – *захватный путь* ! Объявился Союз Издателей: возникаю! запрещаю посылать хоть страницу на проверку в Цензурный Комитет! И все, до правых, охотно сразу присоединились! И вмиг: **цензуры нет** ! Без капли крови.

Ну да наборщики устанавливали свою, революционную цензуру: что не нравится – не набирали.

Зелёные путевские канты портили паровозы – вырывали конституцию.

Телеграфом пользовались только революционеры и сообщали, что им заблагорассудится.

А почему было не принять, не воспользоваться Манифестом? Разве мало? Нет, только разъярил: не надо вашего Манифеста, лучше пинком ноги *раздавить гадину* ! И выборов в Думу не надо – додавить гадину!

Между прочим: как раз сегодня – 11-я годовщина Манифеста.

17-го Манифест, 18-го – Совет Рабочих Депутатов: выдать оружие пролетариату и студентам!

“Всех долой – и всё наше!” “Будет всемирная забунтовка! Будут извозчиков убивать!”

В Москве – всеобщая забастовка, нет электричества, тёмная ночь. Во дворе университета студенты рубят деревья, зажгли костры, поют революционные песни, эсеры спорят с с-д. Курсистка, дочь полковника: “А пойдёмте, товарищи, собирать еду и револьверы!” Приоткрыли ворота, вышли на Никитскую, просят в темноте у публики: “Жертвуйте студентам деньги, еду и оружие!” И в корзинку к ним сыпятся французские булки, колбасы, шелестят бумажные деньги, а в карман суют то револьвер, то нож.

Так нависали ж погромы! Манифестации с царскими портретами! Если встречный студент не снимал шапки – избивали!

Зато в больнице – левые врачи, лечили только революционеров и солдат. А из народа, кто крестится, того не брали.

Совет Рабочих Депутатов – *Финансовый манифест* : свергайте правительство! отберём у правительства золото – и оно падёт. Казённых платежей не платить, казённые выплаты принимать только золотом! Страна лежит в развалинах! (Когда всё целёхонькое). Торговли нет! (Когда и не прекращалась.) Уч-ре-ди-тельного!

Учредительного Собрания добивались кронштадтские матросы, пока не разгромили 140 магазинов и лавок. На том успокоились.

В легальной “юмористической” прессе – прямые угрозы цареубийства. Свобода слова! – но только ораторам, угодным большинству. Говорящих не в тон толпе – заглушали свистками, кулаками, сталкивали.

В Баку жандарм вёл революционную пропаганду, агент охраны устроил типографию для прокламаций.

Провокационная власть толкала страну на смуту!

Осенью Пятого года многие напуганные уезжали за границу и переводили деньги.

Две бомбы в кафе “Бристоль” и прокламации анархистов: чтобы видеть, как подлые буржуа корчатся в предсмертных страданиях.

Губернатор идёт в уличной демонстрации с учащимися – и те выставляют красные полы его пальто как знамёна.

Москва тогда вся ощетилилась баррикадами, но больше по озорству: валили полицейские будки, трамваи. На извозчике едет барыня в меховой ротонде, а под ней везёт бомбы – и патруль, конечно, не смеет её обыскивать. Баррикад никто не охранял, никто с них

не стрелял. А дружинников на Пресне было всего сотни две, и они ушли благополучно, смешались с обывателями.

А интеллигенты накупили револьверов, хотя стрелять не умели. Потом – куда их деть? И зарыть не умели. В уборные сбрасывали. Прислуге отдавали – куда-нибудь деть.

Больно вспомнить: держали революцию в руках! И пустили.

Да вообще **революции не было** никакой! Бутафория, пустили словечко.

То было – значительней, чем революция! То было – брожение России от избытка накопленной энергии, от избытка богатства. И никакой революции б не было, когда бы правительство, предусмотрительное и смелое, доверяло бы обществу и открыло бы этим силам русло. Революция всегда есть признак коренной ошибки правительства.

Да какая то была революция? Всё авантюрно, ничто не подготовлено. Две всеобщих стачки, несколько разрозненных слабых военных бунтов, одно городское восстание. Всё главное было до и началось после: террор! террор! террор!

Отдам во власть толпе. И он в руках слепца...

Им сын заколет мать, им дочь убьёт отца...

Ну, в Сибири было посерьёзней. Красноярск целый месяц был в руках революционеров, управлялся Союзом союзов. И войска брали его форменным сражением. А Чита держалась два месяца, хотя потом сдалась Ренненкампуффу без боя. Во Владивостоке офицеры стреляли в митинг, а матросы перебили офицеров. В Елани, да по всей дороге, Меллер-Закомельский железнодорожников и телеграфистов кого вешал, кого порол резиновыми палками, голых на морозе.

А в Иркутск по амнистии привезли тысячу сахалинских уголовников, да и бросили там. Они с революционерами объединились, стали шайками грабить, револьвер к виску. Даже на компании мужчин днём и на главной улице нападали, вот какой разгул...

Солдату карательных войск платили 30 копеек в сутки (всегда почему-то 30 попадает!...). И роты ревниво следили за очередью идти на подавление.

Зато академики требовали выгнать солдат с их лестницы, чтоб не грелись.

Самоучка, мастер из народа, много самообразовывался, читал. В 95-м году спорил на заводе, что не нужно стачек. В Пятом году припомнили, застрелили в спину.

Тот год был пробным камнем для многих русских душ. В тот год можно было извериться, что у России есть будущее.

То был – праздник смелой жизни, гордая песня простора! Уповать ли, что ещё воскреснет и вернётся?

Революция прокатилась, а хлеб так и остался полторы копейки фунт, мясо так и осталось 20 копеек.

Ещё на выборах в 1-ю Думу при полиции открыто призывали к вооружённому восстанию! – и ничего.

А дальше пошло – **ограбное движение** : кассы, почты, магазины, казённые винные лавки – сплошь. Ежедневные дерзкие грабежи.

Ограбили Московский Купеческий банк на 800 тысяч рублей.

Террористы писали в инструкциях: бомбы делать чугунные, чтобы больше осколков, и начинять гвоздями.

Ростовская лаборатория даже выпустила иллюстрированный каталог бомб с похвальными отзывами покупателей.

А военно-полевые суды? Расправа как с неприятелем в завоёванной стране!

Кровавая работа! Спешили залить кровью костёр революции!

Военно-полевые суды – не начало, а ответ. Они – в тех очевидных случаях убийств, разбоя, взрывов, насилия, когда расследовать – нет надобности, а откладывать наказание – распад общества. Сегодня бросил бомбу – завтра повесили, и следующий бросатель призадумается. Они только и смелые, чтоб до казни убежать или попасть под амнистию.

И поспешно казнили невинных! Или виновных, но не достойных смертного наказания!

А чем террор революционеров справедливее военно-полевого суда? В тех тайных революционных судилищах, в неведомом подпольи, где выносятся смертные приговоры, там руководствуются уже вовсе не законами, а только своей ненавистью. Кто видит и проверяет тех анонимных судей, решающих смерть человека?

Кто раз испил хмельной отравы гнева,  
Тот станет палачом иль жертвой палача.

Революционер сознательно ставит себя в смертельную опасность! Это – самопожертвование во имя дорогих идеалов!

Но и судью за этот приговор завтра убьют самого.

Это – не суд, а расправа озлобленных людей, потерявших равновесие. Это – кровавая месть со стороны правительства!

Значит – если убивают революционеры – это Освобождение с большой буквы, если убивает правительство – это палачество? Арест и обыск – гнусное насилие, подпольная фабрика бомб – храм народного счастья?

Если вы хотите, чтобы кровопролитие прекратилось, – устраните злодеяние самой власти.

Если вы хотите, чтобы кровопролитие прекратилось, чтоб юнцы не брали браунингов, – то не поддерживайте их своим одобрением. Почему общественное мнение не осудит грабежи и убийства? Если бы Государственная Дума хоть раз осудила бы террор – не возникла бы необходимость военно-полевых судов.

Господа, первая речь Робеспьера была... об уничтожении смертной казни...

Но какая ж это христианская власть, если на террор отвечает террором?

Но и весь цивилизованный мир – христианский, а смертная казнь сохраняется. Есть силы настолько злые, от которых нет иной защиты. Отменить военно-полевые суды – так будет суд Линча. После сан-францисского землетрясения расстреляли человека, помывшего руки в питьевой воде.

Палачи не успевали вешать, на каторгу тащились длинные поезда.

Просто цифры, господа! За первый год русской свободы, считая от дня Манифеста, убито 7 тысяч человек, ранено – 10 тысяч. Из них приходится на казнённых меньше одного десятого, а представителей власти убито вдвое больше. **Чей** же был террор?... Остальные – несчастные обыватели, убитые-раненные экспроприаторами, революционерами, просто хулиганами, бандитами и карательными отрядами.

Например, священник в храме читал послание о примирении. Студент выстрелил в него и убежал из церкви.

Например, цеховой заходит в знакомую квартиру, пятилетний мальчик доверчиво идёт к нему. Цеховой закалывает мальчика в горло и ворует... бельё.

А то – убили двух стариков и нашли у них... 44 копейки.

И такое зарегистрировано: хозяева не угостили гостя пивом – и он убил их обоих.

Стреляли наугад в окна поездов.

Вызывали бесцельные крушения их.

Террорист застрелил извозчицью лошадь.

В Питере 12-летний мальчик убил мать за то, что она не отпустила на улицу. А 13-летняя девочка убила брата топором.

Я в сердце девушки вложу восторг убийства

И в душу детскую – кровавые мечты.

Только – начать. Начать убивать, например во имя прав человека и гражданина. Эпидемия убийств дальше выходит из-под контроля. И мы, русская интеллигенция, на этом

и выращивали свою просвещённость четверть века. Помните предсмертное письмо народовольца друзьям: “Жаль, мы погибаем почти только для позора умирающего монархизма. *Желаем вам умереть производительнее нас. Дай вам бог, братцы, всякого успеха в терроре* !”

– Позвольте, позвольте, да верите ли вы в народ или нет?

– Это мало – народ.

– Что же важнее народа? Что ещё?

– Ещё – и *крыша*, под которой народ живёт. Общий дом для народа, иначе называемый российским государством. Пока крыша есть, мы ни во что её не ставим: в России, мол, нечего беречь и хранить, растаскивай да пали как чужое имение.

– Но избежать всеобщего пути прогресса нам тоже не дано!

– Для прогресса на Западе есть своя сильная пружина, ведущая всю жизнь. А у нас, видимо, нечто другое. Да впрочем, разве мы прогресса себе ищем? Говорим “прогресс”, а в сердце колотится “революция”. Тем Европа нам и заманчива, тем и интересна, что оттуда течёт революция. Впрочем и с прогрессом никто ещё не объяснил: почему миллионы людей, скопленных в одном месте, надо полагать умнее людей, просторно расселённых в другом месте? Почему предпочитать опыт первых – опыту вторых? Да кто впереди быстро идёт – ещё рискует ошибиться в развилке, не туда пошагать. У Западной Европы уже были такие очень спорные выборы после Средневековья – а мы ни одного выбора проверить не хотим, всё за ними, стопа в стопу.

... Нет, эта профессорша только тем и держалась, конечно, что скрывала от курсисток свои истинные взгляды да занималась давними тёмными Средними веками, ещё и западными. По русской истории давно б её высвистали с Бестужевских.

Мимо гренадерских казарм, а потом по Монетной. Тут бы – три трамвайных остановки, только линии такой нет.

Отчего ж тогда так долго?... Он цел ли? жив ли? Как зябко.

А за окнами – обычный тихий вечер. Ни выстрелов, ни зарев. Ошибка? Не так поняли?

Да откуда возьмётся революция, когда теперь не стало революционеров?

Во всех собраниях, во всех компаниях образованных людей – устала Андозерская от одиночества. С кем же дружить? Никуда не ходить?

Отливала она отлично, умница! А Воротынцев – для споров ослабел.

Я только хочу вам *сказать* ... Но всё нет повода... Но вы уже понимаете – что?...

О, нет... Я думала – мы просто единомышленники?...

А меня ты не спросишь, брат? А на меня ты и не смотришь? Брат: это не шутка, это петля!

А младшая дама так и не присела ни разу, как дева неспящая в ожидании Жениха. То бормотала скандальный стих Волошина, то встряхивалась от картин, видимых ей одной. И вдруг остановилась, никого за спиною, всех сразу обнимая глазами – их ожидание затянувшееся, ожидание выше разногласий, такой единственный вечер! – и содрогнулась от красоты его, и заспешила, пока не постучали в дверь, пока грубой действительностью не разрушили очарование ожидания, – передать им красоту их же минуты!

И позади себя всеми пальцами нащупав стену, с этой опорой как мелодекламируя от рояля:

– Господа! А какое жуткое и красивое ощущение! Куда мы идём? Что будет? Надвигается – что-то грозное! Мы несёмся – в бездну, сомнения нет! Несёмся в поезде со слабоумным машинистом. Всё быстрее! Все быстрее! Уже наклон неотвратимый! Всё проносится косо, вагоны болтает, сейчас развалится, спасенья нет! Но какая жуткая в этом красота, оцените! И как интересно будет узнать тем, кто останется жив! Наша гибель неизбежна, но форму гибели – даже вообразить нельзя, и что-то в этом завлекательное!!

Было, было здесь отзывное. Кому-то передалось.

Гнеущая атмосфера! Давящий штиль. О, если бы грянула буря!

Она – фаталистически неизбежна! **Что-то** будет!

И чем скорей она грянет – тем меньше будет страшна и опасна!

Без революционной воли, без революционного акта ничего с Россией не поделаться!

Да никто и не сомневается, что революция – будет!

Но жутко, что мы с народом разделены столетиями и между нами – пустота.

Страна великих и пугающих нелепостей.

Но Петрункевич сказал: да, вступают дикие, необузданные силы – но этому надо радоваться! Это значит: мы живём не на кладбище!

Да, мы ждём и чаем эту катастрофу! Мыслящая Россия совершенно готова к революции!

А война – в России всё равно благополучно не кончится, будет крах!

А после войны – мы Её уже и не дождёмся.

У нас в России всегда – или “поздно” или “рано”. Революции? – почему-то рано, реформам – почему-то поздно.

Хоть бы узкий переворот эти военные подготавливали! – что ж одни разговоры только?!

Хочу и жажду, чтоб это была честная революция и взялась бы довести войну до конца. Мы выбираем революцию нашей горячей надеждой!

**Как** это распахнётся? Сладкое замирение.

Но благоразумный приват-доцент с гигантскими зубными клещами на столе выразил взвешенно:

– Ещё и сегодня можно всё спасти. Если отдать власть ответственному министерству.

Очарование – из тонкого стекла. Младшая дама вдруг утратила, как выдохнула, всё то неистовое вдохновение, какое полчаса носило её по комнате. Подкашываясь, шагнула и опустилась на стул.

А старшая дама, не расслабив боевитости:

– Но до каких пор терпеть издевательство над общественным мнением? Списки будущего правительства – составляют уже второй год, а всё впустую, царь на это никогда не пойдёт! Парламентарии сами виноваты – они не делают ничего решительного!

А Ободовский, покидая своё пустое наблюдательное место, отмахнулся то ли от него, то ли от приват-доцента:

– И ответственное министерство тоже не будет знать, с какого конца братья.

Старшая дама изумилась:

– Как с какого? Спасать народ!

И сказала бы дальше и объяснила бы непременно – да позвонили в дверь. И – бросилась старшая дама встречать вестника!

Но, по своей ширине, цепляясь за стулья, но не ближайшее было её место к коридору. А младшая дама, как подпахнутая ветром – откуда силы вернулись? – порхнула и – первая!

Нет, не первая. Уже была там Вера. И открыла.

В кепке, загнутой как ветром, в кожаной куртке, входя, ожидаемый вестник Необыкновенного сам удивился:

– Вы??

Что он там принёс – лицо его не пылало, не кричало, не раздиралось, длинноватое крупно-упрощённое лицо. А увидел Веру – удивился:

– Здесь??

И сняв кепку с гладких тёмных волос на пробор, приподнял узкую белую руку, открывшую ему.

Поцеловал.

Но дальше сразу много нахлынуло дам:

– Что?? Где??

– С Выборгской? А в город не пошли?

– Невский не захвачен?

– Тогда рассказывайте по очереди!



– Тогда раздевайтесь – и с самого-самого начала!

Что-то косоватое или угловатое было в его движениях, может от медленности, – куртку снимал, и одна рука долго с другой не выравнивалась, – от медленности, так не подходящей к этому случаю. Тужурка на нём инженерская, в петлицах – скрещенные молоточки, или что там у них.

Он даже не знал, в чью квартиру пришёл, он только сейчас прочёл на медной пластинке и думал – не ошибка ли? Вера успела шепнуть ему. Он ещё глазами ожидал хозяина, а вместо него – единственный знакомец, наконец, но уже накоротке:

– Проходи, проходи, Миша. – И руку пожимая, невольно тише почему-то, а может от этого разноголосого крика: – Серьёзное?

Дмитриев ещё тише, большеглазый, тёмный:

– Очень.

Очень! Очень! – всё равно слышали дамы, и обгоняли его и предваряли остальных. А Ободовский ввёл его в столовую:

– Господа! Инженер Дмитриев!

Не стал он обходить здороваться, таково нетерпение было общее, кто сел, а кто и нет, кто на стол в наклон:

– Пожалуйста! Пожалуйста! Рассказывайте!

– Ждём и слушаем!

– Только по порядку, по порядку! – предвкушали.

И Дмитриев тоже не сел – остался при стене, близ коридорной двери, да так, кажется, и удобней рассказывать девяти человекам. Он и стал косовато: на одной ноге тяжесть, и плечи неравны. И голова наклонена.

Он сам, кажется, не охватывал, откуда ж, если “по порядку”.

– Н-ну... Вообще по заводам никаких забастовок не было всё лето, сентябрь, октябрь... Но последнее время среди рабочих какие-то странные слухи. Такие упорные, как кто-то их специально распускает. То будто на какой-то фабрике, а точно не называют, рухнуло здание и несколько сот задавило. То на каком-то заводе будто бы взрыв – и тоже несколько сот. Спрашиваешь: а – на каком? Я вот с одного на другой езжу, и на Невскую сторону и на Нарвскую, и на Выборгскую, – нигде не было! Не верят. То больше: что в Москве общее восстание, и полиция отказалась подавлять, и войска отказались. Приехал с московского завода знакомый, а там, говорит, наоборот: будто в Питере восстание, и Гостиный Двор разгромили, разграбили, и полиция не мешала. И даже листки пошли – о том же... Последнюю неделю такое напряжённое настроение: лист железа упадёт, грохнет, обычное дело, а сейчас – бросают станки и толпятся к выходу: может, уже обваливается? Тут ещё слухи, что на днях опять призыв и будут учётных брать. И белобилетников проверять.

Так, так, но – на Выборгской что? – А на Выборгской – самые высокие ставки, самый лучший подбор квалификаций. От этого – уверенность, что их не разочтут, в армию не возьмут. От этого и самый большой задор: нам всё можно! И к полиции – тоже злее всех Выборгская сторона. С Эриксона из окна если вылетит железная плитка, то не куда-нибудь, а – по затылку городовому. От рабочих – к солдатам передаётся: в запасных полках есть рабочие здешние, да солдаты с работницами гуляют, всё это связано. Вот ведёт унтер команду солдат в баню – мимо постового так не пройдут, кричат из строя: “Фараон! Харя!!”, и все смеются, а городской только утирается, что ему делать?... С этого четверга – на Эриксоне, на Новом и Старом Лесснере – летучие митинги, как обычно: при выходе со смены делают пробку и кричат. В пятницу Старый Лесснер после митинга не разошёлся, а пошёл к Финляндскому с марсельезой, там их рассеяли. На Минном кричали: “громить купцов, товар прячут!”. Это сейчас легче всего зажигается: если лавочники – мародёры, так бить лавки – законно! А сегодня утром на Минном забастовала дневная смена, и вышли три тысячи человек с марсельезой на железнодорожное полотно, сели...

Три тысячи? Да с марсельезой? Нет, тут что-то есть, не зря его ждали.

Чтобы толкнуть, чтобы **всё** толкнуть – только ведь и нужен один такой эпизод. Как

рождается лавина: от Выборгской – Питер, от Питера – вся Россия!

Дмитриева и самого забирало. Да он и пришёл-то вовсе не спокойный, теперь разглядели, это бывают такие люди, их волненья даже не заметишь: не тонкая, не светлая кожа, грубоватые губы.

– А – какие требования? – спросила старшая дама.

– Да вот... – никаких, – Дмитриев мрачно.

**Никаких** ! – даже леденит. Вот это уж самое серьёзное, когда и разговаривать не хотят!

– А днём сегодня – Рено, человек с тысячу, среди работы вышли – и пошли по Большому Сампсоньевскому. Несколько человек забежали в Новый Лесснер, тоже подбивать на забастовку. Их там арестовали, но забастовка всё равно началась – и тоже пошли по проспекту. Сначала спокойно...

Только не по виду Дмитриева.

– ...А все они рядом, Русский Рено напротив Нового Лесснера. И тут же, против Рено – бараки 181-го запасного пехотного полка. И когда, уже часа в четыре, Новый Лесснер пошёл по Сампсоньевскому, как раз мимо казарм...

— —

экран

— —

Заводские корпуса, темно-кирпичные, как они видятся поверх высоких кирпичных оград.

Те неудобные здания, где мы не бываем, культурные люди, там делать нам нечего.

А – есть они. Высятся. Тянутся.

Неясный шум.

**Ниже.**

= Из проходной вываливают, вываливают рабочие.

И идут по улице скучной, каменной, окраинной, беспорядочно, не строясь в демонстрацию, ещё и сами как бы не решив, зачем и куда они, а – несёт их!

Говор беспорядочный.

Кепки, кепки, картузы... Иногда – и шляпы.

Дублёные куртки с барашковыми воротниками, осенние пальто, тужурки, плащи... Черно-серое.

Лица – все бритые, бритые, молодые и старые, редко у кого борода или усы (но – щегольские).

В этой ли бритости, в сходстве одежды – сравнены возрасты, сравнены личности.

И несёт их – с заботой общей. Несёт, а весёлых нет.

= А там дальше на улице – полицейский патруль: с десятков пеших городских, **ближе они**, в чёрных шапках, чёрных мерлушковых воротниках, в тугоподпоясанных шинелях, с шашками, револьверами, снабжены изобильно, справные молодцы.

И околоточный надзиратель – в сером офицерском пальто, с узким ремнем.

**Ещё ближе.**

У всех – оранжевого немного: плечевые жгуты городских, тесьма петлиц, у околоточного – кант погонов.

Чем вот – **другие** лица полицейских? А – совсем другие. Больше усатых? Больше мордатых, где их набрали? А главное: чувств – никаких, а – каменная служба.

Околоточный, галуны серебряные, рукой взмахнув, **дальше они**,

= команду подаёт.

Мы не слышим её. Да ведь кучка их! – а пошли, пошли сюда строем!  
Могут! Закон! – вот что они. Поди-к не послушайся...  
Тут рядом – говор рабочих, друг ко другу, призывы строиться, не теряться, что-то помнить, как обещались...

Строем идёт на нас команда! Всего десяток, а – давительно идёт!

Боязливые голоса: что не попрёшь, надо заворачивать.

= Перед толпы. Сплочены тесно, молодых больше.

Всё-таки вперёд не шагается. Начинают пятиться, но – запеваёт рядом невидимый дерзкий одиночный голос:

***Богачи, кулаки жадной сворой***

***Расхищают тяжёлый твой труд!***

Пятятся, отступают. Не подхватывают.

Не подхватывают, но песня – действует: сознание горькое от этих слов, лица – жёстче.

А рты на экране – молчат.

Но невидимых присоединилось два-три голоса:

***Твоим потом жиреют обжоры,***

***Твой последний кусок они рвут.***

Ну, не последний кусок, уж таких измождённых не видно. Есть – и с важностью уважаемых мастеровых.

Кто распахнут – в пиджаках, есть и с белыми сорочками. А – верны слова песни! – вот так и чувствуем: рвут последний кусок, и только песней докричишься. Давай, давай, братцы!

= А полицейский десяток – ближе. Марширует – подавительно.

Околоточный подхватистый что-то увидел среди нас, кричит:

***– Военнослужащие! Выйти из толпы! Взять в сторону !***

= В толпе-то, оказывается, несколько солдат затесалось, выздоравливающие! на них узды никакой!

Перевязанный по уху, рука на бинтовой подвеси, георгиевский кавалер.

И ещё. У вас – служба, а у нас? Кровь – кто проливал?

Голос околоточного, близко, резко:

***– Военнослужащие! Последний раз предупреждаю !***

Перевязанный по уху – распущенный парень, отвечает всем ртом и лицом,

нам не слышно, а, видно, крепко ответил: хохочут рядом!

Хохочут! Осмелели!

Теперь видно и запевалу: длинный, худющий, без шапки (обронил?), волосы раскиданные.

Поди-ка, вытрани всю прорву на себе, не так охудаешь!

Лицо истянулось в усилии за всех, рот вперекрив, кадык так и прыгает:

***Голодай, чтоб они пировали!***

***Голодай, чтоб в игре биржевой***

***Они совесть и честь продавали...***

И – не зря! Начинает перениматься! Запалывает песня сердца, ярее всяких уговоров! Уже и в дюжину глоток ему помогают, кричат через песню своё душевное:

***Голодай, чтоб они пировали!***

***Голодай, чтобы честь продавали!***

= А полиция – шашки! обнажила!

И – наступает!

Шашки? ещё не значит – рубить, может – и плашмя разгонять, как повернут. Но лица у городских – хоть и рубить, не дрогнут.

Околоточный – как в бою:

– **Нижние чины! За мятеж будете арестованы !**

= Всё ж – оседает толпа, подаётся. Страшно.

Подбодряют друг друга теснотой, плечами, множеством, да и голосами, напев марсельезный, а слов не зная, один запевала рвёт до надрыва, отчаянно, что ж отступаете, ребята? вы ж обещали!...

**Царь-вампир из тебя тянет жилы!**

**Царь-вампир пьёт народную кровь!**

Солдат с крестом георгиевским мрачен, руку больную зажали, – а не уйдёт! Не на того напали!

= Но... и шашки! шашки поднятые идут! Страшно!

= Пятится толпа, проиграно дело...

Отступает косовато, жмётся к забору какому-то, дощатому, низкому, высотой аршина в полтора.

Из сил последних, как последнюю песню в жизни, ведёт запевала:

**Ему нужны пиры да палаты,**

**Подавай ему крови твоей!**

= А полиция – уже вплотную!

**во весь экран**

передние! Плашмя? или рубя?

Что у этих леших разберёшь?... Шаг на нас!

Шаг на нас!

Лица чужие: над нами смеётесь? так и мы вдарим!!

**Экран пошире.**

= Пятимся, нет дураков под шашки. Вдарят – и побежим. Тысяча – от десятка, так уж сила ломит. Передним-то лише всего, задние – в безопасности...

Все голоса упали, нету.

Шаг! Шаг! От забора оттесняют рабочих, очищают вдоль забора. Продвигается полиция с поднятыми шашками.

Но последний голос отчаянного запевалы:

**На воров, на собак, на богатых!**

**Да на злого вампира-царя!**

Ах, к сердцу!

И – опять, опять полыхало глухими голосами, как дрова сырые заняло:

**На воров, на собак, на богатых!**

И – остановились! Нельзя нам бежать. Побежим – уже мы не люди...

Требований? Нет у нас “требований”, а – пришла пора расчёта, вот и всё!

И зло веселеем в отчаянной песне, эх, нечего терять:

**Бей, губи их, злодеев проклятых!**

**Засветись, лучшей жизни заря!**

У забора так и сошлись встречными клиньями: передние из полиции и передние из толпы.

У вас шашки вскинуты? А у нас кулаки выставлены.

Да глаза выворачиваются от люто-родных слов:

**Бей, губи их, злодеев проклятых!**

= Да куда ж вы, против оружия?

= А вы куда – против всего народа?

= У полицейских – песни нет. Им песня и не нужна, у них – команда! Первый злодей околоточный:

– **Бей плашмя !!**

И – ударили!

У-дарили!

Ай, кому по голове, это силища!

И – ухатому тому солдату, да!...

Потеснились, попёрли, поваливаемся, повалили назад!... Ну, куда тут...

И – пошла полиция вдоль забора.

Дался им этот забор, очищают его зачем-то, именно забор.

### **Самый широкий экран.**

= С поворотом распахивается перед нами долгота этого низкого забора, а за ним – плац!

А на плацу – маршируют солдатики, правда, с палками вместо винтовок.

= Кто – строевую ходьбу,

= кто – ружейные приёмы. Ученья – с унтерами, без офицеров.

Не то что ружей, они и шинелей носить не умеют, а туда же – солдаты.

Ученье ученьем, но замечают, замечают, что здесь, сюда поворачиваются, и даже, по произволу покидая расхлябанный свой строй, идут, идут сюда, да – с палками, как были! да с палками!! А одеты – армия, сытая, здоровая:

– *Фараоны!*

– *Сволочи!*

– *Не сдавайтесь, мастеровые!*

= Полицейские с поднятыми шашками застыли, не бьют.

И околоточный тоскливо ищет глазами:

### **панорама плаца**

за забором невысоким, в полтора аршина сколько их! – сотни, сотни. Кто – занимается, кто – сюда смотрит, кто – идёт. А офицеров – как вымело, нет. Сами, одни, с унтерами, такими же.

= Но – забор. Стоит забор, отделяя.

= Городовые – ещё со взнятыми шашками.

Околоточный – один! Озирается: один за всю российскую власть, вот сошлось!

А рабочий передний клин – растаял, оттянулся, ещё несколько стоят, как ототкнутые, согнутые, к земле, к земле молодой подмастерье клонился, клонился, да выворотил булыжник!!

да через несколько своих голов – в голову городовому! Шибануло, откинуло, шашка опала, шапка слетела и – кровь!

И команда:

– *Руби !*

У-далили!

Кровь!

### **Панорама:**

бегут! бегут! бегут сюда солдаты! с палками!

Улюлюканье по всему широкому пространству:

– *Морды фараонские!*

– *Гэ-гэй, своим на помощь!*

Вес-село бегут! Кто половчее – через забор, заборчик: прыг! прыг! прыг!

Отступя.

А остальным солдатам, у забора?

Все ли сразу толкнули, все ли сразу шагнули – у-пал забор!

Затрещал, у-пал вперёд всей длиной! И через него весело шагнула армия! шагнула через поваленный – да с палками!

### **Ещё отступя.**

А там, по плацу – ещё, еще бегут! на фронте не увидишь такой атаки радостной: не стреляют, и враг известен!

Целый полк – врассыпную, в полный рост, палки над головами раскручивая.

Дотрескивает забор под сапогами.

Озорство на солдатских лицах: мы-то сила и есть! мы-то не боимся!

Бегут от души:

– **Эй, наших не трогать!**

– **Бей сволочей фараонов!**

– **Ура-а-а!!!**

= Какой-то пехотный офицерик, пересекая атаку, поднял руку, кричит, останавливает, – куда там! не слушают, бежит братва солдатская!

Выстрел. Выстрел. Выстрел.

= Отступает, отстреливаясь, полицейский десяток.

Им не крикнуть “ура”, служба не такая. Обреченно отстреливаются: не жить им, все их ненавидят.

= И стрелять уже – близко, смешалось, и шашкой не взмахнуть, поздно!

Разделили их – шинели, куртки, кепки...

Околоточного – кирпичом по голове, сгинул, провалился под ноги.

= Разделили, шашки отобрали, шапки сбили, револьверы выкрутили из рук, пригодятся!

= Один огрызается – растерзанный, а смелый.

Сзади его – железкой по голове! Есть!

= А запевала – как вырос ещё на одну голову, уж и был длинный, а таких не бывает, полтора Ивана, или подмостился? Вот надрывается, за всех:

**Купим мир мы последней борьбой!**

**Купим кровью мы счастье детей!**

Мы поднимаемся.

= Сампсоньевский. Тысячи людей перемешано.

Солдаты обнимаются с мастеровыми. Палками размахивают.

Ещё какое-то шествие, с кулаками поднятыми.

А петь достаётся запевале чуть не одному:

**И взойдёт за кровавой зарёю**

**Солнце правды и братства людей.**

Круглое малое сужение, как в трубу.

= Издали – конница, ближе полицейская конная стража.

Ближе, крупней, расширяясь:

полусотня на полном скаку, шапки с султанчиками, ремни крест-накрест, выхватив шашки!

Эти – уже не плашмя! Эти – рубить! и команда – была!

А толпе – не страшно. А в толпе – перекур, обнимка.

А в стороне – подростки, на какой улице их нет. С кирпичами, камнями, железками.

= И бежит какой-то суматошный, как сумасшедший, кружит в руке – головню, горящее полено.

= Скачет конница с шашками!

= А мальчишки дождались, замахнулись, тоже воюем! кинули! кинули!

да – дёру!

= А офицера – с лошади сбили. Смяли, спугали двух ещё.

Задержалась скачка.

= А тот, безумный – головнёю крутит, вот – кинет!

А толпа – туча, швыряют и палками!

= Смятенье в полицейской коннице. Поворачивают.

= И крутится, крутится головня, отдымливая, – сливается след огненным кругом, красным колесом.

И тот же голос неисходный, дерущее-резкий, победивший:

**Купим мир мы последней борьбой,**

**Купим кровью мы счастье детей!**

\* \* \*

Монархический строй плывет на золотом корабле русской буржуазии по безбрежному морю крови и слез народных. Разбивайте обломки иллюзий освобождения народов штыками всероссийского деспота! За работу, товарищи! Да здравствует Вторая Великая и последняя Российская Революция!

(РСДРП)

\* \* \*

## 27

Событие на Выборгской стороне поразило Воротынцева не только революционностью своей (такого гнева не ожидал он, и это был лишний довод спешить с переменой метода войны), а: 170-миллионностью существа, называемого “Россия”. Кажется, сколько было российской армии на дальнем-дальнем юго-западном плече фронта, какая гуща дивизий, полков, людей, своих событий, горь и надежд, – а вот за другим плечом, за две тысячи вёрст от первого, на северо-востоке Петрограда, кишели свои другие тысячи людей, заводских и запасных, со своими горями и надеждами, и общего не было в опыте и в настроении тех и других, а лишь – принадлежность к необъятной России.

Тем более опыт Воротынцева должен быть сличён и проверен на опыте других. Никто так не всепонятлив и не всеведущ, чтобы взяться действовать за Россию. Очень много ему дал сегодняшней вечер, мысли так и толклись, бродили.

Однако, возвращаясь с Верою на Караванную, нигде не заметили они никакого следа беспорядков или беспокойства. Петроград и сам по себе тоже был ломоть немалый.

Георгий заснул по обыкновению быстро, но необычно проснулся посреди ночи, даже, по ощущению, недолге: наше спящее тело чем-то измеряет и нам отдаёт, как долго спали мы. Проснулся, испытывая какой-то незапомненный, но блаженственный сон, нет, не сон, а сквозное состояние чего-то хорошего, удачного, до радости. Подобного давно не ощущал он, память большой общей беды давила его и днями и при просыпах, тяжело спал он и дома в Москве, и в поезде, – а сейчас отчего такая очищенность была разлита по телу, с готовностью лучше не спать, а лежать и наслаждаться этим состоянием?

Тут в сознание перелилось, хотя он ещё проверял и хитрил: не оттого, что в отпуску, не оттого, что в Петербурге (так он и не полюбил Петербурга), не оттого, что у сестры и няни, хотя и очень родно, и даже не от интересного такого вечера, а: познакомился с Ольдой Андозерской!

Это счастье, что он с ней познакомился, разбирало и овладевало им уже на вечере, но там некогда было углубиться, понять, – да то и казалось интересно и приятно, что он встретил внимание и частью единомыслие такой умной образованной женщины.

Но сейчас радость ударяла в грудь как морской прибой – и подставляясь, и принимая эти плески, он должен был признаться, что не от эрудиции профессора вся эта радость, а – от неё самой. Не от её умных доводов, пусть бы она говорила и глупо, и наоборот, – а от того, как она их высказывала и как выглядела при том.

Общий мрак никуда не отступил, даже напротив выявился в восстании запасных, – но почему ж этим вечером Георгий так легчал и веселел? Он потерял и охоту к спору, до того полегчал, что потяжелел, и только способен был смотреть – на достойные плавные повороты маленькой головы, на тонкие мелкие движения бровей, опережающие речь, на властное пожатие маленького рта. Ещё этот милый жест – две кисти зонтиками и поглаживать одной другую.

Кажется, ничего вечером не совершилось, да даже слова прямого сказано не было, – а

так много, что не хотелось, невозможно было спать, плески били в грудь! Да соскучился Георгий по самому чувству радости, так давно не испытывал её, забыл, что и есть она, – теперь жалко было уснуть и пропустить тёплые часы, светлые в темноте.

Курил. Пытался вернуться к мыслям, слышанным на вечере, обдумывать их – куда там! – опять к ней! Вот не ожидал такую женщину встретить.

И не взялся бы сказать – чем. Никакой писаной красоты, никакой уж такой особенной стройности или пропорциональности. Умно говорила? – так и другие были не глупые. Близкие мысли? – так не во всём, и напротив иногда. Держалась особенно? – не с податливой женской гибкостью, но стерженьком, знающим своё твёрдое место в мире? Или – как она на Георгия взглядывала? В этих взглядах было и понимание, и признание, и даже непрянтанное восхищение – и уже от одного того стал Воротынцев чувствовать себя как бы необыкновенным. И содержалось в тех поглядываниях – выразительное как слова, а не произнесенное, – или показалось?

Как бы что-то от неё перетекало и оставалось уже в его обладании.

Померещилось?... Как это теперь точно знать? Стало его в постели крутить. Курил. Вдруг вот – понадобилась ему эта женщина! Ещё видеть, ещё говорить? да нет, не для консультации, что уж такое она могла ему сказать? А – понадобилась. А – загорелось.

Странно, но Георгию как-то сравнить было не с чем: правильно ли он понял? А может быть – это только сочувствие политическое к его речи, и можно в такой просак попасть?...

А если, правда, всё это в её глазах было – тогда нельзя не продолжить, это слишком необыкновенно! Но – как?... И – что тогда будет?... Крутило, палило – куда там до сна! И – почему-то она не замужем, сказала Веренька. Бесцельное, счастливое, полыхающее возбуждение! Долго лежал Георгий, даже не ища сна. А утром, прежде чем куда собраться, прежде чем определить и понять приложенье своих сил, так не много времени имея на поиски в Петрограде, – едва дождался приличного времени для телефона, но первому не Гучкову, а – ей.

Вчера никак не предполагалось – звонить ей на другое же утро. “Вот вам мой номер” – то есть вообще на все эти дни, пока он в Петрограде. А сейчас перед коричневой настенной коробкой аппарата расхотелся Георгий в двойном волнении: и – что неудобно так быстро, так сразу, и – скорей, пока она не ушла на лекции!

Дома! И несколько не удивилась. А мелодичный голос её оказался в телефоне и вовсе пением нежным (или так она разговаривала именно с ним?). Телефон как убирал всё, что было в её голосе разговорного, и подчёркивал певучее.

– ...Вот и пригодился ваш номер раньше, чем я думал.

– Я очень рада.

Так и затягивало к ней туда, в трубку.

– ...Как-то мы вчера с вами... не договорили. Такое ощущение.

– У меня тоже.

– А так как я в Петербурге буду всего недолго... Вы бы не разрешили увидеть вас ещё?...

– Чудесно. Сегодня вечером и приезжайте. Посмотрите, как я живу.

Превосходно! Как охотно пригласила сразу.

Но – Гучков?? Но если теперь Гучков и назначит на этот же вечер?

Держал трубку – и боялся: услышать прямо и сразу Гучкова, а тот назначит ему на сегодняшний вечер!

Но к счастью: Александр Иваныч ещё в город не вернулся.

Да пожалуй, Ольду Орестовну и вернее повидать раньше: она так убеждённо говорит обо всём, интересно её доспросить.

А днём пока – сходить ещё по делам и поручениям, в министерство и в Главный Штаб.

Сколько же, сколько тут сидело полковников и генералов, и как уверенно судили обо всём, ничего не выдав. Когда-то в молодости задорился на таких Воротынцев, теперь отсердился: сами места рождают таких себе и людей.



А весь день внутри – упрянтая своя, как в шелковистом коконе, никому не открытая радость: вечером – к ней! вечером – к ней! И даже: как он мог ехать в Петербург, не предчувствуя подобной встречи?...

Ещё ему надо было в Общество ревнителей военных знаний, там в журнале будут статью его печатать, – но это уже не успеваётся, завтра.

Извозчик для офицера, да ещё старшего, всегда несётся изо всех, не спрашивая, нужно ли ему так скоро. Но сейчас и самому – приятно мчаться. И опять, как вчера, и не так, как вчера: вольный длинный Троицкий мост, с редкими парами тройных фонарей. От твоей езды обращаются ростральные колонны вокруг Биржи. И башни Петропавловки, и едва различимый в тёмном небе ангел.

На гонком рьяном извозчике – по виду такой уверенный прибородый полковник, в папахе чуть набекрень, победно мчался по сырым осенним мостовым. А внутри уверенности не было, она с утра упала. Была опасность смешать дружелюбие Ольды Орестовны и собственную расположенность с... с...

И снова – Каменноостровский проспект, опять близ Шингарёва. Да, днём и думать забыл: революции – так ведь и нет в Петрограде, революция никакая не случилась. Нарядный проспект – к увеселеньям островов. Круглая площадь около Ружейной, говорят: её вид – вполне скандинавский.

Можно – никакого шага не делать, тогда и не ошибёшься. Но – уже раскалился, а дни – утекают меж пальцев. Такие встречи бывают в жизни – раз? два? Или вообще не бывают.

Чёрно-белый причудливый, с башенками, дом на углу Архиерейской, во время Воротынцева, кажется, его не было. Как модно строятся здесь, не похоже на классический Петербург.

Если днём и видны – хвосты, недостатки, то к вечеру всё украшено электричеством, кинематографы, кафе, витрины – с фруктами, цветами.

Но сегодня это уже не раздражало его, как вчера.

Соскочить. Букет фиолетовых астр. Дальше погнал.

Спортинг-палас. Дом эмира Бухарского. Силин мост.

Но как можно? – к такой уважаемой женщине сделать какой-то прямой грубый шаг – на основании каких-то вчерашних перехваченных взглядов, когда ему померещилось?... Невозможно, всё перегорожено приличиями, обычаями.

За Карповкой – особняк под итальянскую виллу. Всё гуще деревьев по проспекту. У Лопухинской – тополя. В каком хорошем месте она живёт.

Весело от скачки. Весело, что встретимся сейчас.

Свернули. По Песочной набережной. Справа – искоричнево-чёрная вода Малой Невки, слева – усадьбы, дачи, огни в глубине садов. А вот и скромный серый дом с шероховатыми стенами (тоже мода), над входом – 1914. Сколько же строили перед войной! Где б мы уже были без войны!

Снаружи прост, а внутри – необычный: вместо лестничной клетки – ротонда, и лестница – винтом по стене, а на втором этаже – круговые хоры и уже оттуда квартиры.

И какая же в ногах молодость гимназическая, и какая в сердце лёгкость! Где же та безысходная мрачность стольких месяцев, где та тяжесть, которую еле довёз, еле выгрузил вчера в шингарёвской квартире? Отчего всё так взлетает обновлённо? Чудо.

Как рассказывал вагонный спутник, Фёдор, эта смесь – удивления, радости и боязни: как от женской любви бьёт пламя в лицо. Георгий ему почти не поверил (или позавидовал – бывает же!), а вот – и себе досталось! Било прямо в лицо, не защититься, и защищаться не хочется.

Нежно коснулся податливой костяной пуговицы звонка. Едва не зажмурился на открывшуюся дверь, чтоб не ослепнуть.

Она!

Выше вчерашнего? Нет, такая же трогательно маленькая, узкая. Букетом закрыло её всю. Рука без веса, кожа чуть смугла.

Состояние: когда разладилось, и слышишь – не разумеешь, не хватает слуха и внимания совместить, может вспомнишь потом, а то – переспросишь невпопад.

И вот уже – большая комната. Кабинет? Стола – и не видно, под косыми падающими книжными стопами. Бумаги, бумаги. Полки с книгами. Крупная икона святой Ольги – но не в углу наверху, а на стенной плоскости, посередине, без лампы, как и не икона, а картина. А на полочках – во множестве почему-то игрушки, безделушки, крашеные и некрашеные: Иван-Царевич на сером волке, бой со Змеем-Горынычем, золоторогие бараны в людской одежде с кружевами, не успевают охватывать глаз.

А что-то! что-то вчерашнее – не нарушилось, тут! Неуловимо: здесь! Удивительно, ни слова прямого, а – так...

Всего было наставлено и навешано, легче заметить, чего на стенах нет: обычного у всех везде множества фотографий, каждая в своей рамке или десятками в группе. Нетипичная комната. Ещё картина: на ночном лугу сидит какой-то ручьёбородый старик с рожками и могучими голыми плечами.

От самого взбега по лестнице как не ухвачены были связные фразы, так и в следующих сбоях, и мысли перетревожены, как бывает в ошеломительную боевую минуту, и не успеваешь расставить на места, а говоримое – покатилося, покатилося... Хозяйка и гость ещё не успели сесть, Воротынцев задержался на провинциальном пейзаже, не по выбору, без смысла: луга от реки и за ними маленький городок. Ольга Орестовна стала объяснять, и это первое, что Воротынцев стал усваивать ясно: то – Макарьев на Унже, где она родилась и выросла, где сосланный отец её, доктор философии Гёттингена, стал уездным предводителем дворянства.

Но сама же прервала своё объяснение, повернулась к нему от макарьевского пейзажа (Воротынцев видел и не видел, он ещё смотрел на пейзаж: если сослан, то как же тогда предводитель?... ) – подняла руку, невесомо положила ему на плечо, на край погона, ближе к шее, и звучно, полно сказала:

– Боже, какое счастье, что есть ещё у нас такие люди, как вы!

Сказала не стеснённо, не скороговоркой, не украдкой, но как бы награждая его высоким орденом, на ленте через шею.

Всё дело было в сбое впечатлений, движений и брошенных фраз, такой жест был бы неуместен, если б они тихо, размеренно вошли и чинно сели бы в отдалении: после того кто б это мог встать, подойти и руку класть?

Но само это необычное движение как беззвучный снаряд разорвалось у щеки Воротынцева – и ещё более завихрилось всё, не успевшее объясниться в короткой суматохе входа. Вспыхнув ушами, контуженный, потрясённый, совсем под откос утерявший связь гостиных вежливых мыслей и слов, – Воротынцев однако устоял на ногах и не упустил того единственного, последне-возможного мига рассчитаться с этим уверенным маленьким генералом, наградившим его передо всей Россией, – того мига, когда рука профессора Андозерской уже начала соскальзывать с его плеча, последнего мига, после которого уже была бы грубая невоспитанность, непростительность отвечать ей чем-то таким же, –

а в этот миг он ещё успевал и ничем другим ответить не мог, и не ответить не мог, а перехватил награждавшую руку и соединился губами с её нежной кожей, и дольше, чем церемониально, и горячее, чем церемониально, как погрузился и всплыл. И тут же то же повторил с рукой не награждавшей. Тут в сознание его вошло, что надо же что-то сказать, приличное моменту, не просто же молча. И сказалось само, кажется:

– Счастье наше – что **вы** есть... Такая, как вы...

Так ли, не так ли, и чьё это **наше**, не прямо же счастье всей России? – но они ещё продолжали друг против друга стоять. А Воротынцев, изъяснясь этой фразой, теперь мог как будто и ещё придержать обе руки этой живой статуэтки, и придержал вполне корыстно. От рук её и от самой её исходил не сильный, но точный в аромате запах.

Дальше границы наградного церемониала обрывались, Воротынцев освободил её руки, и Ольга Орестовна, не покачнувшись, не поалев, лишь чуть поправив волосы и с малой

прикровенной улыбкой, повернулась опять в сторону картины, договаривала о Макарьеве.

Вот по этому лугу бродить босиком, когда сойдёт вода и земля согреется... Какие цветы тут растут... Вот здесь проходит городское стадо... Вот здесь бывает ярмарка... (Тут вспомнил: макарьевские сундуки – на всю Россию.) А вот наша гимназия... Либеральный отец, много посвятил преобразованию уезда. Простонародная няня. (Везде – няня! Всех нас сделали простые няни.) А вообще девочка росла такая ко всему допросчивая, что взрослые имели обыкновение много рассказывать ей.

Они уже не смотрели на картину, сидели. Ольда Орестовна как лекцию вела: ровным голосом, связно, последовательно. А Воротынцев так и не оправился ото всех внезапностей поспешных первых минут. Да столько тут проплывало произнесенного, что и паркет под ногами потерял свою надёжную горизонтальную опору. Воротынцев и в кресле не испытывал своей нормальной земной тяжести, и подлокотники были ему не опорой, а держалками, чтобы не взлететь выше кресла. И как с первых минут разорвалась соотнесённость звуков и смысла, так и неслись фразы и мысли несцепленно, не всё дослышивалось, не всё додумывалось, но надо всем плыло уверенно, как пыльное белое облако в знойный день: что он – совершенно согласен с Ольдой Орестовной, что она права во всём, что говорит: и об атмосфере уездного бойко-торгового городка; и об игрушках глиняных дымковских – вот этих баранах золоторогих и пёстрых утках; и об игрушках богородских – резных из липы крестьянских группах; и троице-сергиевских, ярко раскрашенных; а там о Врубеле, о Скрябине. Он кивал глазам её, внимал распевному голосу и ещё рассматривал, как верхняя губа чуть выкружена, а нижняя подпухлая. И подпухающее облако восхищения тихо плыло надо всем.

И надо было делать над собой усилие, очнуться, чтоб не обязательно быть согласным и с тем, о чём она будет говорить следующем.

Как вчера у Шингарёва он почувствовал себя остановленным в напряжении и беге, тепло расслабленным к сидению, так тем более и сегодня: куда делся его гимназический взбег по лестнице? отчего в ногах такая сладкая остановленность? Да ведь он, кажется, приехал к ней зачем? – вчерашнее важное, при нём затронутое, ещё дояснить? Но не находил в себе силы спросить, как Ольга Орестовна:

– А как вам Шингарёв?

Воротынцев ответил, что просто сердце раздвигает своей необыкновенной искренностью.

– Но страшно смотреть, как его портит партия. Он – кадетский член трёх Дум, и это не прошло даром, длинная история. Ему приходилось, выступая о терроре, уклоняться от осуждения его.

– Меня поразило, как он вчера сказал о Столыпине.

– О, Столыпин – в его груди заноза. Столыпин для него ещё глубже загадочен, чем он высказал вчера, он мне открывался и больше. Он мучается этой разнотою в понимании истины: что вот всегда по партийной обязанности боролся против Столыпина, а тот старался для тех же самых крестьян, что и Шингарёв. Воевали с ним – а он нам укрепил народное представительство. Обвиняли его, что он нарушил конституцию, а сами при случае готовы нарушить её и не так. Партия – это ужасная вещь.

Всё верно, но наслаждался Воротынцев и её манерой говорить – так тихо, по-женски, но и убеждённо, и убедительно. Владела мыслью, владела словом – и знала это.

– Кадеты поразили меня, – отозвался. – До чего воинственны.

– В кадетскую патриотическую тревогу никогда не верю, она отдаёт игрой. На самом деле недостаток снарядов их окрылил. А вот вы, Георгий Михайлович, – вдруг взгляд её соединил твёрдость и лукавство, – вы ведь к кадетам ближе, чем думаете.

– Я-а-а? – И почувствовал, что глупо краснеет, будто застигнут за неблаговидным. Но он-то твёрдо знал, что нет! – Откуда вы...? Я? – нет!

– Есть, есть, – печально кивала она.

Выдавал Воротынцева предательский румянец. Прямо говоря – она ошиблась, но

глубже говоря – заглянула, куда он её не пускал бы.

– Кадетство – это не только партия, – кивала Ольда Орестовна. – Это – резкость и отравка, разлитая по всему русскому воздуху, и мы все ею надышиваемся, даже не замечая. Очень трудно удержаться в убеждениях, совсем отделённых от кадетства. Вот и вы вчера так легко бросили о республике... У нас это вьётся в головах или рядом, как самое допустимое. А между тем скажите: когда в России существовала республиканская идея? Стала побеждать в Новгороде? – он из-за неё и погиб. Всю Смугу искали – царя, но не республику. Даже и Семибоярщина. Мы совсем не республиканский народ. Идея анархии – та трогает нас, погром, захват, безвластие, – но не республика же, нет! Да если бы вы жили в Европе, вы бы поняли: западные государства – на поспешных рычагах, но износимых, их не хватит на опасности трёх веков.

Под её тревожным взглядом Воротынцев не спорил. Да он, собственно... Да он нельзя сказать, чтобы... Но она настаивала:

– Республиканство – это клич к честолюбцам: власть – можно захватить! захватывай! Республика зовёт каждого бороться за свои интересы, но республиканец всегда рискует оказаться в подчинении у своего безжалостного врага. И – когда вы видели, чтоб не управляемая единой волей толпа понимала бы верно свою собственную пользу и куда ей нужно? Во время любого пожара в толпе душатся и губят друг друга. Нужен властный, внятный голос – один. Уж вы-то в армии это знаете.

– Да конечно, – усмехнулся Воротынцев.

Всё так. Но почему так горячо она убеждала? Да может – только за тем и звала, а он-то возомнил?...

А она смотрела на него впытчиво-призывно, как будто добуживалась, опасалась, не умер ли:

– И если наши сегодняшние партии да получают власть – то будут они высшую справедливость доискывать? Да им только обеспечить большинство на выборах. Демократическая республика в непросвещённой стране – это самоубийство. Это зов к самым низким вождениям народа. Наш доверчивый простодушный люд сразу и проголосует за тех, кто громче кричит и больше обещает. И повышает всяких проходимцев, да горлопанов-юристов. А положительных кандидатов – в толкучке оттеснят и подавят.

– Да я – просто так выразился, – оправдывался Воротынцев. – Я не имел в виду республику как перспективу.

Но что-то – она верно в нём угадала. Не имел в перспективе, но и – не отказывался.

Её глаза зеленовато попыхивали, и губы так страстно шевелились, как будто она говорила о предмете чувственном.

– И чем гордится демократическая республика? Всеобщим смешением и мнимым равенством. Дать голоса юнцам – и 50-летний мудрый человек имеет столько же прав и влияния, сколько безусый юнец? Тяготение к равенству – примитивный человеческий самообман, и республика его эксплуатирует, требует равного от неравных. И монархия, и армия, и твёрдая школа строятся на разноценности, на лестнице ценностей. И так же – живёт вся природа. И только общество мы хотим перемешать как кашу. Но если все высокие уровни мы срежем, свалим... Всякому высокому качеству надо радоваться и открывать ему государственную дорогу, а не растерзывать его.

А он – не столько слышал, сколько губы её видел в движении – и хотел угадать, узнать их туготу.

Она же – совсем не со вчерашней невозмутимой стройностью, но с приклонённым интересом:

– Нет-нет, Георгий Михайлович, вы, оказывается, захвачены кадетским поветрием. Я вчера ожидала в вас твёрдого союзника, потому и говорить начала, – а вы оказались едва ли не оппонентом? Как же так, ведь все кадровые офицеры – устойчивые монархисты. А вы?...

– Я-а...- не мог не признать Воротынцев, – тут, знаете, более сложный случай... Что значит “захвачен поветрием”? Да, если сознаёшь долг перед народом, то и... Мне, напротив,

понравилось, как вы защищали вообще монархию... Но у нас – тот исключительный случай... Оговорка...

– Да, Георгий Михалыч! – у нас тот исключительный случай, что потеряв монархию, мы потеряем и Россию. Как царь ни высоко вознесён – но он народу свой, и куда ближе всех этих думцев. А их я навидалась. Их опыт – совсем не конструктивный, они только и умеют бурлить в оппозиции, а дай им завтра власть – они страну не поведут. И без царя – они даже не удержатся.

Он – и слушал. Но даже и не слушал, а любовался, всё путалось.

– Для нас утратить монархию – это не структурно-государственная перемена, а изменение всего нравственного строя жизни. И даже художественного рисунка. Хотя быть монархистом – дано не каждому, как не каждый умеет верить, и не каждый умеет любить. Заметьте, человек верующий – всегда скорее монархист, человек безрелигиозный – всегда скорее республиканец. Для республиканца, да, преданность монарху – это околпаченная глупость. А без преданности монархия превращается в видимость.

– Так вот... именно... – трудно выговаривал Воротынцев. Не мог и не хотел он так прямо ей сказать, что монархия превратилась в видимость. Но ведь – именно так.

А она – с тревогой узнавания? неузнавания? задетости:

– Чтобы *иметь* Государя – надо его любить. *Любить* – иначе его нет. И быть готовым служить ему – до конца!

Блестели её глаза, как будто сама она была офицер и готова служить до конца.

Эх, если б это было так просто! А те пустые множественные парады вместо дела? А десятки idiotских, всё губящих назначений на посты? И если при безнадежной неспособности берёт Верховное Главнокомандование?... Кто пропустил через себя жертвы этой войны, – тому остаётся предпочесть монарху – Отечество.

Но – не место было это ей говорить, и не лежало сердце. Усмехнулся:

– Ну да, трагедия монархиста: быть только довольным, восхищаться и благодарить. Ни своей мысли, ни своего действия, одна лояльность.

– Нет! Не так! – настаивала Андозерская и поддерживала слова мановеньями маленькой кисти. – Монархист имеет право на свободное слово! на честное возражение! Это – даже священная обязанность его, даже часть присяги! Но каждый подданный в каждую минуту должен посылать Государю луч преданности и поддержки – и в сплетении этих лучей Государь обретает свою силу.

Что ж, красота в этом всё была. Но отвлечённая. Если не знать обыденности и загрозлости сегодняшней войны.

А в общем, вчера и сегодня, Воротынцев только и слышал как будто одни противоречия себе. Это надо было ещё переварить.

Но – не сейчас же.

Сейчас – они к счастью переплыли в столовую, где им подали чай.

Только тут Воротынцев очнулся: да ведь мы же земляки-костромичи! Не так далеко от Макарьева и Застружье, а никогда Георгий не добирался до Унжи. А Костромская губерния – она ведь рубежная в чём-то: как будто именно в ней Средняя Россия переходит в Северную, именно в ней теряется наше плодородие, необильная пышность цветения, необильное тепло, – и на оголённых, холодноватых, но всё ещё не северных увалах просторно удалённые деревни, церковки и мельницы будто веют этой тоской, а дома растут и крепнут под северные, забирая в себя жизнь на больше суровых месяцев. Да и Костромская ведь разная: вверх по Унже – леса, глухомань.

Потом Ольда Орестовна рассказывала о своём преподавании. Не избалована она открыто выражать свои мысли. На Бестужевских курсах за неугоду слушательницам уже пострадали профессора Введенский, Сергеевич. Да что! – студенты десять лет и Ключевскому не могли простить его похвального надгробного слова Александру III. От Пятого-Шестого года курсы поздоровели, много серьёзных курсисток, но они не умеют кричать, спорить. А ещё довольно и “радикально мыслящих”, даже прямых эсерок и

социал-демократок. Тех, кто хочет победы России, называют “социал-предателями”, в студенческой столовой ведутся откровенно пораженческие разговоры. В годы войны студенчество опять накренилось в политику. Устраивают “кружок по изучению” – марксизма или французских революций, а на кружках – прямая агитация. Ольга Орестовна только потому и может преподавать, что занимается западным Средневековьем. Но и профессора состав своей коллегии пополняют самоизбранием – и принимают даже самозванцев, без научного ценза, лишь бы угождал вкусу времени.

Воротынцев смиренно слушал её ручьи́стый голос, разглядывая её сбок себя сдвинутым центром мира, не уставая радоваться находке и опасаясь какой-нибудь своей ошибки, от чего всё развеется, как не было.

После чая согласно возникло намерение побродить. Вышли, постояли-посмотрели на тёмную Малую Невку – по ширине куда не малую, на мало огнистый Каменный остров и пошли по набережной налево к ещё более тёмному Крестовскому. Небо было в тёмных тучах, но без дождя. Оказывается, в этом году был ранний густой снег, 6 и 7 октября, и заморозки, и здесь на островах держался зимний вид. А вот опять всё разгрязнилось.

Разгорячённой голове было жарко в папаше, но стали они выходить на открытость – налетел закрутистый ветер с моря, толчками, и всё сильнее.

Ольга Орестовна вздрагивала.

– Вам холодно? – обеспокоился он.

Перебрав и вторую руку её в свою, нашёл, что у корней перчаток руки холодные.

– Зато какие тёплые у вас.

– Да, у меня всегда почему-то.

– На фронте это хорошо.

– Не только на фронте.

Кончились последние дома набережной, а дальше – открытый тёмный пустырь в толчках и завихрях холодного сырого ветра – и не было видно впереди границы, где оконечность Аптекарского острова переходила в воду, а потом из воды выдвигался Крестовский. Вздрагивала.

– Вам холодно!

– Нет, мне весело...

Пошли изрытины. Покинутые позади последние фонари уже почти не досвечивали сюда нисколько, но Ольга Орестовна тут знала места, как видела в темноте, и с крутой малой горки, потягивая спутника за руку, побежала резво.

– Тут – качели должны быть.

Действительно, нащупались грубые маленькие качели, простая доска на проволоках, и уж теперь не так удивился Воротынцев, что Ольга Орестовна захотела качаться на них. Почти без подсадки уселась на доску и крикнула:

– Качайте!

Он начал: осторожно, она лихо крикнула:

– Сильней!

И стала взлетать сильнее, а боковой охальный ветер толкал её, грозя закрутить или ударить о столб – и Воротынцев кинулся придерживать.

– Отчего ж не качаете?! – ещё лише требовала она.

Но он всю её, с качелями, захватил в руки и сказал:

– Вы, профессор, просто девочка! Девочка Ольженька. Если бы я имел право звать вас по имени, я бы звал вас – Ольженька.

– Вот удивительно! Как меня ни сокращали, а так – никто за всю жизнь. Вы знали такую девочку?

– Нет. Сейчас вот понял.

– Очень мне нравится.

– Так может быть я буду вас так звать?

– Когда никто не будет слышать.

– А такое время будет?

– Как вы захотите.

И он стал её просто целовать, в губы, в губы, которых насмотрелся в этот вечер, всё более запрокидывая, всё более запрокидывая на качельной доске – и шляпка её свалилась, покатилась, а тут ещё ветер.

Вдогонку шляпе, в полном дурмане, Воротынцев побрёл косолапо.

## 28

Этого никогда не было! – и сравнить было не с чем. Кувырком под гору – главное дело, вторые дела, распорядок суток, обратный билет в Москву, обещанное жене, обещанное сестре – всё потеряно! – и сладко, что потеряно!

Не потеряно – найдено! И – в первый раз. С утра скорей к телефону, ведь уже несколько часов не виделись. Телефонный голос – неповторимый, такой певучий, несравненный с голосами всех телефонных барышень. И какая значительность в медленно выговариваемых словах:

– Приезжайте пораньше. Чтобы вечер был дольше.

– Как вы спали?

– Я не спала совсем. И нет ощущения, что не спала.

Сам телефонный разговор – услаждает, оторваться от трубки нельзя.

– И как же вы на ногах?

– О, этого не расскажешь... – (Улыбка загадочная, он уже знает её и по тону голоса – видит. Видит и комнату, и телефонный аппарат, как она около него стоит.) – Тела совсем не ощущаю. Его нет. Так легко-о! И ничего в мире не хочется.

За одним бы этим голосом вытянулся по проводу в струнку весь!

– Но – ваши занятия?

– Прекрасно, всё светится. Приезжайте скорей!

А Гучков – уж сегодня наверно дома. А весь остальной Петроград?

Александр Иванович? Вернулся, да. Но отлучился. К вечеру будет. Что передать?

Что передать?... Ведь опять столкнётся. Вечер – занят, вечер занят и долгий день.

Хорошо, спасибо, я позвоню ещё.

Пока не позвоню.

Телефонный разговор – томленьё, но и маленький отвод огню. А проходит ещё три часа – так накалилось! – надо ехать, надо гнать, гнать на дальний конец Петербургской стороны!

Непогодные серые дни – но какая же распирающая светлость в груди! Ощущение победы – огромной, на больших пространствах, какой врагу уже не отнять.

По тем же проспектам, мимо тех же дворцов, домов, ресторанов и кинематографов, но ещё менее на них сердясь, – не замечая даже погоды, – перенёсся как ковром-самолётом, ехал, не ехал?

У неё. Вместе. Одни.

В её кабинете с окнами на Песочную набережную, на серо-бурую вспухлую Невку и на Каменный остров, где в глубине деревьев, оголённых и с удержанными бурыми и красными листьями, угадывается, а в театральные бинокль и хорошо видно: в петушином стиле деревянная дачка, фантастическая каменная с чёрными башенками, да деревянный Каменноостровский театр.

Мы непременно сходим туда погуляем.

Но гулять – никак не остаётся времени. Ни – на что в Петрограде. Только – на эти две комнаты. Книжки, книжки – но и их некогда с полки снять, пересмотреть названия, недосуг прочесть одну страницу. Или пересмотреть все игрушки – этих резных гусар и модниц, конные тройки, Илью Муромца с Соловьём-разбойником, Иону и кита, медведей, свиней и зайцев, кувшинчики обливные со зверьими ручками. И тот голоплечий Пан в полутьме, с бронзовым обломком старой луны на горизонте, не так он стар. И присядка его, ночной

взгляд и замысел – много понятней теперь!

А ещё несколько дней назад Георгий не понял бы, не заметил.

То Ольда ставит на граммофоне пластинку со скрипичным концертом какого-то бельгийца – и впивается в руку: слушай, слушай! вот это место!

То рассказывает.

– В двадцатипятилетие смерти Достоевского – изо всей читающей и интеллигентской России, ото всей нашей просвещённой столицы, от нашего гордого студенчества – знаешь, сколько человек пришло на его могилу? **Семь!** Я там была... Семь человек! Россия пошла за бесами. Даже буквально, через несколько дней после смерти Достоевского – убили Освободителя. Повернула, повалила за бесами... Правда, в этом году, на тридцатипятилетие собралось больше гораздо. Но, думаешь, привлечены его главным? Не-ет. Привлекает, и на Запад уже потянулось: описание душевной порчи, выверта, да ещё как изнутри! Появляется на Достоевского мода. Да ты сам-то его любишь?

Утаить нельзя и сказать неловко. Замаялся.

– Да нет, не мой писатель. Очень уж много у него эпилептиков, непропорционально. И конфиденты разные лишние болтаются. И разговоры непомерные, и всё ковыряются. По-моему, жизнь гораздо проще.

Усмехнулась:

– Ты думаешь? – Губку верхнюю выкругляя, с грустью: – А кого ж ты любишь? Толстого?

Да что притворяться, терять так терять:

– Если честно говорить, после Пушкина и Лермонтова – никого. После них наша литература лишилась энергии, действия. Герои стали все – какие-то размазни или рассуждают кручено. Те же Пьер с Болконским – читай, читай: о чём они? их и не разделишь, не поймёшь. А я люблю – решительных людей.

Ну, это право она за ним признаёт, улыбается.

Прелестно сидеть разговаривать с этой умницей о том, о сём – но вдруг сметается разговор, и -

и! – сами руки подхватывают её – маленькую, лёгкую – она же для этого! нет, ещё легче того: она в точный нужный момент отталкивается от пола и сама взлетает в руки!

– О, какой ты большой! Какой ты большой, тебя не обвести руками...

И ноги сами несут, само петляется, кружится – выносит в другую комнату, к необойдимому месту.

Каждый раз всё туда – а не повторяется ничто ни разу – и это ворожительно. С Ольдой невозможно предвидеть, что произойдёт и как: всякий раз, всякий час – неожиданное, захватывающее и вместе лстящее твоей силе. В каждом жесте – новизна, и нет обрыва этой череде. То – ещё есть время и дают тебе, неучу, самому разобраться несладными руками в последовательности этих нежных завес. То – сама, все сразу! и не благоразумно, но куда полетит с размаху, как отчаянный игрок последнюю карту! – и этот задор переполыхивает на тебя!

И – удвоенье, троенье и умноженье событий, и жалобы в задыхании. И восклицания удивлений, и крик, выносящий тебя в восторг: да так бывает ли? да это не придумано? да ты – не смертный, ты – Атлант!

Всё качается – стены, полки, картины, мир мысли и мир непримиримости – и нет противоречий! – да, вот такая! – да, вот такая! – да, вот такая! – и чем бесстыднее, тем ближе и нужней.

Глаза полуживые, смеженные до щёлок.

Длительный, собирающий покой.

Разговор – необязательный, ленивый.

– Ты понимаешь разницу между “любимый” и “желанный”?

– Нет, не задумывался. Разве не синонимы?

– О-о-о!...



Вот на эти душевые перекопки всегда есть досуг у женщины, даже учёной.

– В тот первый вечер у меня – ты не подумал, что я так и других встречаю?

– Ну что ты!

Тогда не подумал, до сих пор не подумал, а после вопроса мелькнуло: не то чтобы всех, но может быть – иных?...

– Это – само выступило. То есть я когда тебя слушала, ещё у Шингарёва, я ощутила, что...

Да, да, как это получилось само? С первой встречи.

– И я руку положила – как на русского рыцаря, только. Как символ. Это – ничего за собой не влекло.

– Как символ, я так и понял.

– Я вообще, наоборот, всех держу на расстоянии. Стараюсь, чтоб даже под руку меня не брали. Потому что от самого малого прикосновения могу потерять голову.

– Даже – от под руку?

– Даже... Моя кожа чувствует каждый пробежавший волосок. А ты разве не замечаешь?

Да что там, когда и собственная кожа его, все годы чёрствая, – вот обновилась, переменилась? Его всего она обновила, такой остроты он не знал.

Георгий закуривает в постели, просит папироску и она.

Так и курят рядом. И уже серьёзней:

– Я ведь на людях совсем не часто откровенна, как в этот раз прорвало у Шингарёва. Но последнее время такое ощущение, что всё доходит до края. И вдруг мне показалось – я нашла в тебе союзника. Особенно когда ты замечательно сказал, что смирение полезней для общества, чем свобода. А ты – отшатнулся?

– Да я... – не мог точно определить Георгий. – Я не против монархии как таковой. Я – только *этого* царя... Он меня оскорбляет.

– Вот это и есть в тебе – подхваченная общая зараза! И давно?

– Скажу точно: от убийства Столыпина.

– Но что он мог?

– Перед тем – очень многое. А в этот момент – хотя бы подойти и наклониться к раненому. Навестить в больнице. Когда верную собаку убьют – и то уделяет ей хозяин больше внимания. Если мы простим Столыпина безо всяких выводов – никуда мы не годимся.

– Но у всякого человека, значит и у монарха, может произойти минутный сбой чувств, ошибка. Нельзя так решать по единичному...

– Да в чём хочешь! Хоть это пышное трёхсотлетие. Зачем так пыжиться: о, великая династия! Мало у них было промахов, переворотов, ничтожеств? то слишком слабых воль, то слишком жестоких?

– Не-ет, ты заражён, ты заражён! – почти с отчаянием покачивалась она.

– Почему бы не огласить сердечно: “Подданные мои! Это праздник – ваш, это вы перестояли страшную смуту 300 лет назад. И это вы проявили милость, оказав нашему роду доверие. Хотел бы и я по силам оправдывать завет”. Но – нет у него этого порыва всенародной откровенности, тем и не наш. А жалкая позорная поездка его в Червонную Русь? – близорукая поездка снять пенки с ликования – как раз перед тем, как начали нас из Перемышля и изо всей Галиции гнать?... Именно нынешний наш император именно с нашей страной – не справляется, и уже четверть века, и это ужасно! Не жалеет он русской крови, думает – в запасе её океан.

– Но – законы войны, что ж он может?

– Войну-то – по-разному и можно вести. Если вообще в неё вступать, этого надо было избежать.

– Но ты же, надеюсь, не делишь с кадетами обвинений, что правительство ведёт войну в проигрыш?

– С чисто военной точки зрения – нет, мы её даже постепенно выигрываем. Только непонятно, что мы от этого возьмём. И слишком много за это заплатим. Для русского будущего, для целостности народного тела и духа – полный бы нам расчёт дальше войны не вести.

– Но – как же её можно бросить? – изумилась Ольда. – Это лёгкое насекомое может вдруг свернуть полёт. А слон топает – ему не повернуться. И если бросить теперь войну – зачем были все прошлые жертвы?

– Скорей всего – зря.

Не ожидала от него! Вот не ожидала!

– Но это было бы преступление против всех павших!

– Думать надо о тех, кто ещё на ногах, – хладнокровно отвечал Георгий. – Что-то должно смениться, что заклинивает всю Россию на погибель. Что-то бы сменилось – и пошла бы Россия на поправку.

Ольда испуганно встрепенулась:

– Что ты имеешь в виду – *смениться* ? Тронь Государя? – и можно потерять всю монархию. Можно потерять вообще всё! У народа только и есть – вера и царь.

– Да я не сказал – ему смениться. – Георгий сам не знал, как он думал. На кого-то из великих князей? Но – стоят ли они чего? Но кто из них стоит? Не худшая ли была бы ошибка? – Во всяком случае – да, в чём-то важном перемениться. – И, задирая ещё для проверки: – Ну, а в крайнем случае? Если было б условие: спасти Россию через то, что стать нам республикой?

Ольда поднялась на подушке, избочилась и строго, не по-любовницки, с замедленным отчётливым произношением:

– Как естественно кажется нам, что наверху над нами – Бог, один, и совсем ералашно было бы иметь небесных правителей сразу двести или триста, друг с другом не согласных и воюющих партия на партию, как олимпийцы, – так на земле и народу, особенно простому, естественно иметь над собой одну личную волю. Для мужика именно так: хозяина нет иначе. Монархия – это малое повторение мирового порядка: кто-то есть надо всеми равно признанный, милостивый или строгий к тебе равно, как и к твоему врагу.

Ну, равно милостивым быть трудно. Но не враг никому из подданных, да.

Однако день ото дня позорно упуская Гучкова и все задуманные поиски, Воротынцев тем охотнее прислушивался к Ольде, пожалуй даже и ища быть переубеждённым. Как поддразнивал её:

– Ну, согласись: убогая династия для такой расцветающей, обильной, великой страны? Вся династия – в беспамятстве.

– Не соглашусь! Всё человеческое умение, а в политике особенно, – это иметь дело с тем, что есть, а не придумывать, чем бы заменить.

Она натягивала простыню для тепла, трогательно одиноко пересекали её плечи поворозки сорочки, – но это где-то в краю внимания, вот уж не предполагал, где и с кем придётся выяснять. Снова курил.

– Есть такое русское слово – “зацарился”. Не именно об этом царе, старое. Но, значит, в народном представлении есть такое допущение? Это значит: забыться, царствуя. Перестать ощущать себе пределы. И своему делу. И своему народу. А всякому расширению нужно знать меру. У народа – тоже есть пределы.

– Страну надо беречь! Она создавалась веками! – мрачно предупредила Ольда.

– Вот именно! Я это и говорю! Потому и говорю! Имея власть, да попав в бурю такой войны, надо же уметь эту власть проводить!

– Но он – поставлен на это место! Это – его долг!

– Так если бы! Если б он сам так относился – как к року, как к бремени тяжкому, просил бы других помочь! Если б он нёс корону, страдая, а не... с улыбкой какой-то неуместной...

Вспоминал эту виденную на параде улыбку.

– Ему и трудно! – так уверенно возразила Ольда, будто вчера виделась с Государем накоротке. – Ему и трудно! Он – страдает. А какой клеветой он обложен! Чего стоит одна ложь, а она прилипла, будто он сразу после Цусимы давал в Зимнем бал? А там вообще не было балов с Третьего года! Он улыбкой и пытается прикрыть своё страдание. – Её голос ещё потишел. – И даже – свою беспомощность. Ему, может быть, жутко. Он – пленник и мученик престола! – говорила так уверенно, будто хорошо и близко знала.

– Но если ему так тяжело! И если он так понимает свой жребий, как ты описываешь. То, чувствуя себя слабым для этой страны, не должен ли он...? Перед страной – есть у него высший долг? Вплоть до того, что и... отказаться?

Ольда охвачена была как горем:

– У-у-у, тогда ты – вообще не монархист. Отец – не может отказаться от семьи, хоть и сознавал бы себя плохим. Он связан и саном своим, и властью своей, и подчинённостью других. Ты от своих передовых военных занятий заразился прогрессизмом. Русская монархия держит в мире больше, чем ты можешь предположить. Она подпирает по крайней мере всю Европу.

– Европу? Не вижу. А – что мы Европе? Я вот что вижу: в первую очередь надо спасать не монархию, а народ. Мы заклинились в самоуничтожение – и надо вырываться. А он – бездействует. Я не виню его одного. Тут, видимо, накопился какой-то грех династии – ещё от Петра, а то и от Алексея: они изменили своему избранию Земским Собором, они перестали чувствовать ответственность перед землёй. Так вот, пришёл момент – эту ответственность вернуть. Для спасенья народа.

Разорвалась бы она, узнав, до чего тут можно пойти. Если только уход Государя с Верховного может открыть путь разумным и талантливым силам армии, поменьше – изменить метод ведения войны, а побольше – вообще спасти из неё Россию? Увы, монарха нельзя отстранить от Верховного Главнокомандования никаким легальным путём... Георгий не мог ей выставить практически (он сам практически не знал) – но мог проверять на ней позицию, высказываясь даже непримиримей, чем думал, – и ждать, чем она его поправит.

Ольда по-бабьему сжимала руки в один кулачок:

– Что так думаешь **ты** – это самое страшное. Что я должна это **тебе** доказывать. Ты что же – замахиваешься на саму монархию?

– Да не-ет, не-ет...

– Пойми: отказ от монархии – это отказ от тысячи лет нашей истории. Если бы традиция была неудачна – не могла бы вырасти великая нация.

– Но если стала власть бесконечно тупа? не слушает доводов? неспособна?

– Это всё ты набрался от общества! Но оно – в истерике. В прошлом году говорили, что власть не может выиграть войну без них, теперь – что власть стремится проиграть. Интеллигенция наша – глупая, у неё совести много, да мало ума.

– Что ж ты советуешь делать?

– А – ничего не делать. Перетерпеть. Трон – только тронь. И – покатится всё, и не оберёшься. За близкими целями нельзя забывать далёких, – покачала она. Покачалась.

Да что он уж так спорил? Даже и очень хорошо бы теперь, чтоб Ольда оказалась права. Тогда и его преступное лежание здесь вдруг оказывается самым верным действием?

– Так вот, – уже не настоятельно бурчал Георгий, – значит, нет таланта. Вот она и есть случайность рождения.

– А семь пядей во лбу ему не обязательно иметь, таких он может набрать себе советчиков.

– Значит, не тех набрал. А если выслушивает умных – почему это не заметно в действиях?

Похолодалыми ладонями Ольда стесняла, уговаривала его:

– Но может быть и случайности руководятся Провидением, может быть и в них что-то заложено таинственное? Слаб по рождению? – так усилил его нашей верностью!

– Что ты ни строй – монарх не имеет права быть размазнёй. Ты сама говорила: если к

Государю нет таинственной любви, то его и самого нет. Так разве он дал нам сохранить к себе такую любовь? это святое представление о троне? Теперь, от тебя, я ясно и вижу, чем больна наша монархия: утеряна несомненность доверия, и Государь не спешит его вернуть. Так в этом он и виноват. Он много сделал для того, чтоб ореол утерлся. Вот ты и сказала. Так пусть возвращает! – волей, дальноркостью, мужеством.

– А ты?! – вскричала Ольда.

Уже был совсем скуден последний серый свет дня через окно незадёрнутое – но видно, как Ольда раздосадовалась, сбились волосы:

– Это ужасно! Офицер – с таким военным опытом! С такой твёрдой рукой! С таким общественным горением. И даже, наверно, ты оратор хороший. И в какое грозное время! А – потерял перспективу, потерял волю.

– Волю? К чему?

Ольда двумя кистями подняла его одну, потрясла, как взвесила:

– Вот этими мужскими руками, в наше крайнее время – Россию спасти!

– Так я этого и хочу! Я этого и хочу! А – как? – добивался он от неё, внутренне посмеиваясь. Не знала она, что, тут его уложив, хотя б нейтрализовала. Сама не зная, почти и добила своего.

Его руку отпустила – вытянула перед собой свои две нагие, тонкие, не мускулистые, вряд ли два ведра способные поднять, – но и не к вёдрам вытянула, а – к рулю или к возжам, или к удилам, – вот, направляя уверенно бег колесницы сама, раз уж мужчин не осталось:

– Подкреплять монархию! – прокричала она ему на пролёте колесницы. – Давать ей поручни!

Как ни быстро, а Воротынцев успел метнуть:

– Столыпин и давал! Оценили!

– Да что ж это! – тряхнула она голыми предлокотьями, как рукавами в сказке. – У тебя от женской близости больше энтузиазма, чем от твоей ясной задачи!

– Укоряешь? – завыл-засмеялся он – и ткнулся головой, лицом, бородой в её лоно.

Так и замерли.

Не спорить, не шевелиться.

Да уж так Георгий упоён был Ольдой и так благодушно благодарен ей, в примирительных ладах держал её маленькие бочки. Всё тёплое притягательное тельце лектора ощущая рядом с собою, притиснутым к своему, под одним одеялом – ещё бы не примиришься, с чем не согласился бы в зале?

За далёкими целями не забывать близких. Нашёл, с кем спорить.

Или подремать?...

Но – от малого прикосновения...

От самого малого...

Самая маленькая рука. Передвигается где-то по коже. Даже не по коже, но если бы пальцы умели дышать, так вот – их дыхание слышит твоя кожа.

Шажок. Шажок. Одно скольжение лёгкое, но чем легче, тем и сильней!

Обтрагивают – как узнавая. Ошерстённую, закалелую грудь.

И – коготочком.

Узнав – сильней. Сильней.

Что за дар! Тебя – уже изменили! В тебя что-то влили вот этим обтрагиванием воздушным! Ты никак не ждал, был покой уроненный, безоглядный, – но тебя уже переменяли!

Один перебор пальцами – и тот же перепых, обжегший в первом свале! -

а дальше? Что будет дальше – всякий раз неизвестно. Всякий раз поразит неожиданностью! Как с неба опрокинется, -

как увидел бы конь свою амазонку, если бы на скаку, если бы скачка так ему позволяла, мог бы вывернуть голову и снизу вверх смотреть на душевлённую всадницу, как её швыряет на скаку -

не швыряет, но взяв удила уверенно, но с замыслом воинственным, но с привычкою опыта и власти, правит она непослушного бег коня – к видимой ей победе! -

не амазонку: не изуродована её симметричная, свободная, несвязанная, скачкою размётанная природа, а ноги, подобранные для скачки, пружинят в стременах,

а скачка с губами сжатыми, с глазами зажмуренными, как будто так лучше проглядывается, провиживается, простигается, простёгивается путь. Распущенные волосы относит ветром скачки, а всадница, потерявшая страх и разум, несётся навстречу предписанной гибели, навстречу гибели! гибели! вот ранена! вопль!! -

сникает – сникает – глаза закрыты, и свешиваются волосы по безветрию, занавесив лицо, и руки ослабшие, где там удила! – тщатся только удержать опору, только б не рухнуть ей.

А скачку доканчивать достаётся верному её коню. Донесёт, додержит ли конь её сам – уж там как конь...

## 29

Кажется, бастовала половина петроградских заводов, кто-то с опозданием сказал им потом. Кажется, вывешивали флаги на правительственных зданиях, да, верно, день восшествия на престол, сняли потом. И упоминалось в газетных сводках, “южнее Кымполунга”, а голова не брала. И ещё новый был пропечатан государев указ о призыве ратников 2-го разряда – о боже, куда они тянут? наоборот всему. И что-то же делалось эти сколько-то дней в Петрограде, да сколько же? потом не хватило шести дней, значит неделю и значит не всё были праздники, но и будни тоже? А у Георгия с Ольдой, как потом запомнилось, было только лежанье, лежанье, лежанье, да редкая прогулка, когда выдавалось два часа погожих. Собирались съездить в Мустамяки, где у Ольды маленькая дачка, – и тоже времени не хватило, ну другой раз когда-нибудь. Если жив буду... Да в Петербурге в конце октября какие там дни? – ночи одни, не успеет рассвети – уже и смеркается, их за полные дни и считать нельзя. И даже свет дневной – гаснувший, затменный.

И обронил, утерял Воротынцев, зачем он приехал в этот город, после первых непопадов покинул искать Гучкова, да уже и времени на то не оставалось, хотя трижды отсрочен был отъезд. Хорошо, что в первые два дня успел побывать в военном министерстве и в Главном Штабе, кому где обещал, потом бы не собрался. А уж к ревинителям военных знаний так и не попал. И с Верой – милой внимательной Верой, ловящей мысли и желания брата наперёд, даже с ней после первого шингарёвского вечера почти и не побыл, почти и не поговорил, не расспросил и о ней самой: да отчего ж не замужем? да ведь уже двадцать пять лет! – да ведь такое спросить – как ударить, он и не мог. У них с Верой и вообще было какое-то неловкое закоснение в этом одном, не добирались они до распахнутой открытости, и так он и про Ольду ничего ей не объяснил теперь, да она и сама поняла, конечно, умница. Да уже и на самые малые братние долги не доставало, скоро и ночевать не возвращался под нянин кров, лишь присылал за письмами и телеграммами Алины.

Что раскапывало и губило блаженные эти дни – необходимость через день составлять ответные письма и телеграммы Алине, объяснять, почему ж он не возвращается, уехавши на четыре дня (и как понимать: с дорогой четыре дня или чистых?). Не причину придумывать было трудно, можно валить на службу, но кричала Алина при провожаньи – пиши каждый день! Но невыносимо складывать фразы, но каждое одно-однёшенькое слово за другим находить и в строчку ставить, особенно в обращениях и в окончаниях: как будто все слова стали подменены и каждое самому же резало фальшью ухо и глаз. И эту фальшь надо было замазывать.

Да не то что писать самому, но даже прочитывать приходящее от Алины вдруг составило для него чужой неискренний труд, в эти дни совсем ему и не нужный. Он изумился, как он вдруг ощутил Алину – посторонней себе. Год не видел её – и не чувствовал так, и охотно писал письма. А в эти несколько дней вот.

Ещё чего из ряду вон Алина потребовала – прямого телефонного разговора из Петрограда в Москву! – такие устраивались теперь. Но на счастье портилась на два дня телефонная линия между столицами, и так Георгий уклонился от телефонного разговора. Уж прямой голос, как в трубке ни сдавлен, выдал бы его. Прямой разговор был совсем нестерпим.

Да дни-то проскакивали, заглывались непостижимо! А 27 октября ему неминуемо быть в Москве на алинином дне рождения. Теперь Алина телеграфировала, что ждёт его по крайней мере за день до дня рождения. Посоветовался с Ольдой, как она думает: “за день” – это значит 25-го или 26-го? как принято понимать? Олда считала, что – конечно накануне, так все понимают.

Но хотя Георгий и обманывал жену, а не было никакого ощущения обмана или подлости: просто – здесь было совсем другое, не относящееся к Алине. Ни с Алиной, ни с кем вообще он себя таким не знал, он чувствовал себя теперь совсем другим обновлённым человеком. Первый же вечер с Ольдой рассек его жизнь на две части, как рассекает тяжёлое ранение, только здесь не к падению, а к парению, такому чувству, как ни на чём не держишься, а взмываешь, и упавая – не разбиваешься. И тот он, который плавал сейчас с Ольдой, никогда прежде не бывал с Алиной – и значит это не была измена.

Ему сейчас – не хотелось вспоминать об Алине, но Олда сама к тому несколько раз обращалась, и это было ему очень неприятно, ни к чему. Касалось ли того, другого, – она спрашивала: а как к этому Алина относится? или как в таком случае поступает? А один раз прямо спросила:

– Ты её сильно любишь?

Он уклонялся.

Такую освободительную лёгкость испытывал в себе Георгий, забыл ощущать, что она бывает. В сердце – такой перетоп благодарности к Ольде, что в объёме груди не оставалось места ни для сомнений, ни для вины.

Все эти пролетающие сутки была Олда, с Ольдой и вокруг неё, – нечто безобманное, законное, да, именно законное, вполне заслуженное после всей его позиционной вымерлости, после всех его неоценённых военных, служебных заслуг. Ладно, Верховное Главнокомандование не оценило его, – эта маленькая женщина стала ему сама собою лучшая живая награда от плодов России, лучше всех орденов.

Да не была ли она – та самая: безымянная, никогда не встреченная, даже и не воображённая за пределами точного зрения, – но с такой же остротой ощущений однажды явившаяся ему во сне, под Уздау?

Как раз Олда сама и заговорила однажды, созерцательно вдаль, фантазируя, как вспоминая:

– А ведь мы давно друг друга знаем. Ты это ощущаешь?

Не то чтоб именно так. Именно такую – не мог бы он прежде составить и вообразить. Но вот, знаешь, однажды...

– Под 14 августа 14-го года – где ты была? с кем? О чём думала?

Рассказал.

Улыбалась. Водила рукой по его усам, бороде:

– Ты очень ярый.

– Вот уж не думал.

Сожмуривалась пытливо:

– Ты ещё сам себя – совсем не знаешь. Хоть и в сорок лет. Ты – неправильно с самой юности жил.

– А иначе б я не успел ничего, Ольженька!

– А что уж ты так успел?

Тоже правда: что он успел? Одни только замыслы, замахы да поражения. Да опала. Обычно полковники генерального штаба уклоняются быть на полках, это для них не карьера, генштабист – лишь четвёртый-пятый, они дорого обошлись в ученьи, чтоб их использовать

так. Но вот прокомандовав два года полком, Воротынцев имел право быть генералом. А не был.

В том сне не разглядел он ни черты незнакомки, но увиденные теперь в Ольде въявь казались ему уместны и привлекательны. И даже все эти игрушки – не для детей, а для себя. (И что о детях она почти не устаивала говорить, не на тех высотах обитая.) И пренебрежительно о большинстве женщин. Зато о птенчиках и животных – с детской захваченностью. На Каменном острове протащила Георгия полсотни шагов назад – пересмотреть котёнка, он не так его увидел. И даже вера профессора в астрологию, гадания и приметы почему-то не выглядела противоречием. Ольга молча прижимала к груди уроненную дорогую ей вещь, прежде чем поставить на место, – тоже примета. Или как садилась с подобранными ногами, боком, чуть покачиваясь, глуховатым голосом, уже изошедшим страсть, но обещающим снова её, могла читать и читать наизусть какие-то модные стихи:

От тебя, утомлённый анатом,  
Я познала сладчайшее зло,

а то пересказывать о каком-то теургическом искусстве. Чепухи тут был ворох, но Георгия восхищало всё сплошь: эта любимая поза Ольженьки, мелодичный голос, неутомимый в вещании, и то, что можно было, слушая, руками перебирать по ней самой.

Когда-то же они подымались, одевались, ели, а то вскакивала Ольга в халатике отдернуть-задернуть оконные занавески или бегом-бегом принести поесть в постель. Не надолго и расставались, но это эпизодами, а слаще и дольше всего, встречая перемены света и тьмы, – лежали, весь поток времени проглатывало счастливое лежанье. И какой разговор ни вспоминался потом – почти всё лёжа.

Нет, однажды, в конце дня тучи разорвались, засверкало голубое меж серого – и они пошли на большую прогулку. На набережной попался лодочник, перевёз их на Каменный остров.

Было холодно, плескало стуженым, но светило редкое солнце, расчистился запад – и так просторно, светло на душе. Как славно с Ольдой! Посмотрели вблизи и на те дачки – и петушиную, и с чёрными башенками, и швейцарское шале. Ещё не всё было сорвано ветрами и дождями, ещё додержались какие-то краснолистые и, конечно, дубы перепоздние, тёмно-коричневые. Речушка Крестовка, без течения, была покрыта густым листовым покровом, кажется – перейти можно по нему. Опять дачки, дачки – деревянные, разнооконные, со шпильями, резьбой, кокошниками, балкончиками. У Елагина моста стоял деревянный резной забитый, забытый Каменноостровский театр. По аллеям плотная земля, а чуть в сторону – грязно.

– И ты гуляешь тут иногда?

– Да бывает.

Но не спросил – с кем, когда, как-то не тянуло. С него довольно было того, что он видел и держал. Пожалел:

– А мы... а я в Петербурге шесть лет жил – и на островах-то почти не был. Всё некогда. Да как-то – место гуляний, а мы... а я человек негулящий.

Оговорился – и уклонился, не упоминать Алину, хотя и не тайна же была, что жили с ней, а не хотелось, не шло сюда. Но Ольга не пропустила момента и тут же мягко остро впустила коготки:

– А вы хорошо с ней жили?

Ну, как на это ответишь?

– Дружно? друг друга понимая? – допрашивала.

– Дружно, – должен был ответить. И покраснел.

– Ты – не из тех людей, – заключила Ольга, – кто много раздумывается над своей жизнью или пытается понять себя. А понимать себя самого – совершенно необходимо.

Георгий, не так-то стремясь к политическому разговору, но чтобы только перебить:

– Скажи, а Милюков – действительно крупный историк?

– Да какой там, – недовольно отвечала Ольда. – Его очень рано с научных занятий своротило на фронду, и покатился колобок по лёгкой звонкой дороге. Носится с учёностью, а подлинной не имеет. Сильных природных мыслей у него нет, и души нет, а упорства много. Он, поэтично говоря, та смоковница, которую...

И вдруг обеими руками обернула его – чтобы месяц молодой, да уже в первую четверть, он увидел бы через правое, а не левое плечо.

Георгий увидел на западе зеркальный серпик и:

– Насильно не считается.

Хотя все эти счастливые дни уже попали в новый месяц. А Гучкова – упустил.

Пошли по северной набережной – простой деревянный помост по краю леса, и близко, у самых ног – холодная чёрная вода Большой Невки.

И он опять её спрашивал о кадетах, а она рассказывала вяло, как общеизвестное:

– У них у всех нет чувства ответственности перед глубиной русской истории. Им даже в голову не приходит, что они совсем не понимают веры этого народа, ни его особого понимания правды, ни главных опасностей народному характеру. Смело выражаются “народ хочет”, “народ требует”. Но на Западе никакие радикалы с таким презрением не отзываются о собственной истории. Чувствовали б они нашу историю – перетерпели б эту войну и без ответственного министерства.

И – смотрела выразительно, уже в сумерках. Она догадывалась. Вот намекала: перетерпеть.

– А всякий *правый* мыслитель заранее опорочен, к нему студенты и не притрагиваются. И неоткуда им узнать другую точку зрения.

Обогнули Каменноостровским мостом уже при фонарях, возвращались. Да не целых ли три часа они гуляли, всё на людях, не в комнате вдвоём? Уже хотелось в тепло, в уют, да граммофон послушать.

С месяцем уговорились, что – довольно. Георгий сидел в кресле и рассказывал боевую историю, когда действовал совсем неосторожно, а – выиграл. Вдруг из ольдиных: глаз – зелёный вспых, пересела к нему на колени, приникающе, одно короткое слово шепнула на ухо – и весь запрет разнесло в осколки.

Убыстрённое, сумасшедше сжатое время!!

И опять – течение медленное...

Удивляться...

Покой победный.

Если бы даже не было других признаков – по одному тому, как Ольда, когда он брал её на руки, всегда отыгранным ловким движением в точный момент отталкивалась от пола, можно было догадаться, что она прыгала так не с первым с ним. Но это ощущение её опытности и многопонимания почему-то нисколько не было обидно для него, а даже нравилось, – как не может обижаться опоздавший к обеду гость, что без него тут уже пировали, но лестно ему, что для него спешат сервировать как для самого первого, не опоздавшего. О том или о тех, предыдущих, даже не было ревнивого толчка расспрашивать, никак он не относился к ним или они к нему. Ни разу не спросил, почему ж она не замужем, и есть ли кто сегодня. Заметила она как-то, что теперь по столицам стали очень часты разводы, во многих парах один из супругов – разведенец, что сейчас бы Анна Каренина не кидалась под поезд, а спокойно развелась бы через консисторию и вышла бы за Вронского, – Георгий выслушал, а невдомёк: что ж она – разведена? Он наслажденно вверялся её опытности, а если кто-то помог этой опытности создаться, то и спасибо. Сегодня – они все нисколько не отнимали у него Ольды.

Она же не раз пыталась рассказывать ему о своём прошлом, и даже как бы о муже, но не венчанном, – Георгий не нашёл внимания вникнуть: её рассказ попадал в ряд тех неинтересных повторчивых личных историй, какие все всем всегда рассказывают.



А тем более он не задумывался, что ведь Ольда кроме говоримого вслух ещё что-нибудь думает своё отдельное притаённое, когда лежит со смеженными веками, бессильная и немая. Только блаженство и благодарность к этой женщине затопляли его. За своими вздыбленными чувствами, как за горами, никакого другого мира он не видел и не искал.

Зато Ольда добивалась узнать побольше о прежних любовных историях Георгия. Ну что ж, он подчинился, очень нехотя, взялся рассказывать – и вдруг оказалось почти нечего: немногие его рассказы и все вместе взятые – над этой огненной постелью прошли такими жалкими тенями, что самому стыдно, хоть и брось, а есть для губ другая работа, лучшая. Как это всё было разрозненно, случайно – и почему-то душевных впечатлений не осталось никаких.

По сути только Алина и была у него.

– Но так у вас с ней не было?

– Не-ет, никогда.

– Ну расскажи, – вела Ольда.

Да тут-то – что ж рассказывать? Это уж и совсем не складывается. Было – и было, есть – и есть. Десять тысяч мелочей, что ж тут рассказывать?

– Она умна?

Неглупа, конечно. Ну не так, чтоб специально.

– Любит тебя?

– Конечно, что за вопрос.

Ольда лежала на высоко-приподнятой подушке, с волосами разбросанными как попало, в коричневых развивах, глазами строгими смотрела в верх стены, не на Георгия:

– И предана? Твоему пути? Георгий и рад ответить, но...

– Ну... это... вообще не для женщины... Не для неё.

Настойчиво, и как бы с недоверием спрашивала Ольда.

Да как это передать? Это не попадает в логическую сетку. В такой сетке пропадает главное: что Алина – привычная, родная, что с ней столько прожито, всё устоялось. Когда-то думал – и разделяет весь долг, весь темп, всю обречённость. Потом оказалось, что это – только терпенье её, а ждала она – награды беззаботности. Ну, какая есть. А ответственность – на мужских плечах.

(А как же вот: не мог даже писем её читать?... А это ничуть не противоречило.)

– И – ты любишь её? – почему-то не верила Ольда. И всё – туда, на стенку.

– Ну конечно!

Очевидно, Ольда не могла взять в толк, что одно не касалось другого: вот они здесь – и жизнь с Алиной там. Вот он лежал, тоже на спине и чуть улыбаясь своему видимому: лежал, вот, любимый ими обеими, каждой по-своему, – и это несколько одно другому не мешало. Такое довольство наполняло его, лень была все эти разговоры вести.

Ольда – немного шутливо:

– И ты когда-нибудь решился бы это испытать?...

– А зачем?

Улыбалась:

– Так, чтоб убедиться. В личных решениях нимало не помогают общие законы. Здесь всё так индивидуально-лабиринтно. На земле нет задачи трудней, чем задача личного чувства.

– Ну уж! – благодушно отпихивался Воротынцев. – Ну уж! От историка ли слышу! Например задачи такого колосса, как Россия?!

– О, не говори! – на маленьком лице длинные брови теперь занимали строгую линию. – Те задачи крупны как горные пики, они видны издали, видны многим, и сотни и тысячи с равным правом судят о них, и можно что-то вывести. А в личном чувстве обречён на поверхностность всякий посторонний совет, и даже двое видят совсем по-разному.

Ну нет. Воротынцев-то твёрдо знал: до задач устройства государства редко дорастают

люди, чтобы понять их, – а ведь ещё надо и остальных убеждать, того трудней! А устройство семьи решает вообще каждый на земле, проще нет, и никого больше не касается. Твёрдо это знал, но по сытому довольству не возражал: что б она ни сказала – уже потому хорошо, что она. Ладно.

А ей ещё мало. Повторяя свою любимую, в одежде или раздежде, позу – девичьи тонкие ноги поджав сбоку под себя, подтянись на подушку и голые плечи прикрывая одеялом:

– А ещё, милый мой, в делах сердечных нужна твёрдость и решительность несравненно большая, чем в государственных.

– Что-о-о?...

Ну, сморозила!

И ещё смотрела насмешливо или как будто жалела:

– Ну, дай тебе Бог никогда не узнать, как это трудно. Ты – очень согласен сам с собой, ни один вопрос у тебя не в трещине.

Вздохнула:

– Твоё новое чувство ещё должно окрепнуть.

Но в том чудесная особенность постельных разговоров: за словами не обязательно идут слова. В голосе вдруг возникает глухота.

Сникает, сползает с подушки.

А – поздно уже, и хочется спать, и уши плохо дослышивают, что она там бормочет под одеялом.

– Что ты там?

Отзывается оттуда:

– А ты не слушай, я не с тобой.

Давно бы спать, ведь ни одной ночи не спали как следует. Но от замирающей полусонной игры – однако настойчивой этой игры – от заполуночной, неспорной игры – всё опять взметеливается! – и, не таясь ночной тишины, Ольда кричит прорезающим голосом, криком охотничьим и бесстрашным.

## 30

“Ты – обречённый! – всегда говорила Нуся. – Ты так и упадёшь в упряжке”.

И Пётр Акимыч знал, что – так. И – готов был.

Давно привык он к удивительному закону, что при великом множестве вообще людей в нашей стране – всегда и везде не хватает людей на дела. И поэтому самого его всю жизнь рвали во все и дальние стороны на ожиданное и неожиданное, и он привык все эти назначения с охотой принимать.

Кажется, неизглубны были русские недра и не хватало сведущих в горном деле, как и в других русских промышленностях, – а война увела горняка Ободовского от его основных занятий. Всю будущую хозяйственную мощь России выводя из недр её, Ободовский ощущал и видел эти невидимые недра, как большинство людей ощущают и видят весёлую переливчатую зелень земной поверхности. Но чтобы недра те когда-нибудь освоить, подступило прежде – отстоять от неприятеля поверхность над ними. Так война всё более обращала этого рудничного инженера – в организатора других инженерных линий.

Впрочем, страсть и талант устроителя едва ли не первенствовали в Ободовском и отроду. Да и усвоил он давно, что хорошее управление шахтами удваивает выбираемый уголь, хорошее управление железными дорогами как бы утраивает подвижной состав. И так повело его от Всероссийского союза инженеров образовать комитет военно-технической помощи при гучковском Центральном Военно-промышленном комитете, а по своему вечному неотклонимому жребию – оказаться и председателем его, значит погрузиться в чуждую ему военную технологию, ещё новые справочники и книги долистывая по вечерам.

А тыловая работа огромной войны ворошилась так хаотически необъятно, что не

угадаешь, где тебе достанется тянуть. Так и сегодня, в пятницу 21 октября, в одной из малых комнатёнок Военно-промышленного комитета, в глубине здания по Невскому 59, Ободовский с тёмного утра сидел и вёл приём – артиллерийских инженеров, и даже не просто инженеров, но – изобретателей. Набиралось много их, охотников, ходить сюда и просить содействия тут – кому не посчастливилось в военном министерстве. И нельзя было пренебречь – тут мог встретиться бриллиант.

Редко в какой человеческой среде так трудно дать истинную оценку людям, как в изобретательской, так трудно отличить гения от безумца, безудачный талант от проходимца. Даже обладая полным знанием по области предлагаемого изобретения (чего никак не было у Ободовского в артиллерии), всё равно трудно не дрогнуть перед этой фанатической настойчивостью в тумане неведомого, перед этими глазами лихорадочными: тройное ли зрение зажгло их, далее того, что видно тебе, или просто безумие, или жажда славы и денег (впрочем, изобретателям русским ни того, ни другого не достаётся). Но помогает не только степень знания, а и собственный инженерный склад: отличаешь себе подобного от не подобного себе.

Ободовский вёл приём, но не было в нём ни придуманной осанки, ни самозначительности, и только по расположению от настольной лампы под белым матовым абажуром и чернильницы можно было различить, кто тут заседатель, а кто ходатай.

В Киснемском, от волнения со сбитым галстуком, подвернувшимся воротничком, сомнений не было, его подлинность была проверена прошлыми изобретениями. Но вот – он потерпел неудачу с прогрессивным порохом и не желал сдаться, и заарканил, привёл с собою тихого податливого инженера с тамбовского Порохового завода, который уже уговорён был Киснемским продолжать эти опыты.

Возникшая проблема прогрессивного пороха была изворотом проблемы дальнобойности. До войны не предполагали стрелять дальше, чем вёрст на шесть: это уже превосходило глубину решительного боя, и наблюдать дальних разрывов тоже ещё не умели. Но позиционный период последнего года потребовал (и авиационное наблюдение разрешило, и немцы уже осуществляли такую) дальность стрельбы до 15 вёрст, – потребовал с той настойчивостью, как и всё другое рушила и перестраивала эта необычайная европейская война, с той настойчивостью, когда не успеть создать новых пушек, а надо увеличить дальнобойность существующих. Как же? Подрывать землю под хоботом лафета, тем увеличивая угол возвышения? Так набавлялось всего 30% дальности, зато падала скорострельность и удолжалось время подготовки орудия к стрельбе. Стало быть, увеличить начальную скорость снаряда. Но чем? Увеличением сгорающих зарядов? Возросло бы давление, как не позволяла прочность орудийного ствола, и энергия отката, как не позволяли лафеты. И тогда-то стали искать прогрессивные пороха. Обычный порох сгорает вмиг, единым толчком посылая снаряд, а пока тот продвигается по каналу ствола, позади снаряда давление падает. Порох же прогрессивный должен гореть так, чтобы в каждую следующую тысячную долю секунды количество газа возрастало бы прогрессивно – и тогда не уменьшается давление на дно снаряда и не увеличивается на стенки ствола. И вот из формул геометрии и формул горения надо было нигде не подсказанным методом выбрать и соединить: какова же должна стать форма пороховых зёрен?

И Киснемский предложил тогда призматические бруски с каналами квадратного сечения, жарко настаивал, что к моменту вылета образуется десятикратное количество газа. А нет, не вышло! Теперь уже достаточно было проведено опытов на полигоне, и не было сомнения: не так. Зёрна распадались раньше времени и догорали дегрессивно. Киснемский же не хотел признать поражения, уступить другим соперникам. И вот искал поддержки Военно-промышленного комитета перед военным министерством: его опыты, прерванные в Петрограде, разрешить перенести на тамбовский Пороховой.

А Ободовскому надо было соотнести степень надежды и риск неправильного использования завода. И как это сформулировать перед министерством.

А настольная лампа всё меньше была нужна, и поздний петербургский осенний рассвет

уже проявлял за окном голокаменный скучный двор и просачивался в комнату анемичною серостью.

За этими двумя вошёл инженер из Комиссии по изготовлению удушающих средств, тоже просить содействия. Полтора года назад невозможно было даже выговорить такое, дичей того вообразить себя участником: из любви к родине изготавливать удушающие средства! На настояния химиков великий князь тогда не давал согласия: это – не для России. Но после газовых немецких атак на Ипре было уступлено: если противник неразборчив в средствах, то готовить и нам. И вот больше года существовала такая Комиссия, и двести заводов тем занимались, крупные учёные работали там – и запросто вот так, в кабинетах и в лабораториях, беседовали о сильнейших видах отравляющих веществ. И вот – Ободовский теперь с ними, на логическом пути так и не заметив сотрясательного ухаба.

Шло к полудню и уже полностью забрал комнату вялый свет безвидного морозящего дня. В двенадцать ждал Ободовский Дмитриева, как тот телефоновал ему вчера домой, прося принять срочно. Тем временем проник между артиллеристов и добился своего наряда и инженер-путеец с Амура, с нуждами только что открытого железобетонного двухвёрстного моста, самого длинного в России. А тут прошмыгнули и заняли два свободных стула – Подольский и Ямпольский, два егозливых изобретателя, которых уже не пускали на порог Арткома и отвергло Главное Артиллерийское Управление. Отказался было Ободовский их принять, но им приёма и не надо, а всего три минуты, они и не просят ничего им разрешать, а только чтобы Пётр Акимович попросил Александра Ивановича, а уж тот не сможет остаться в стороне от грандиозного проекта, обещающего России стремительную и полную победу.

Эта пара отлично знала, что сейчас решается вопрос дальнобойности, и, покинув свои прежние отвергнутые проекты, они предлагали теперь бросать снаряды вообще не порохом, а электромагнитными силами: построить магнитно-фугальное орудие длиной в 70 аршин – и осуществится выстрел на 300 вёрст! Немного продвинуться нашим войскам – и можно обстреливать Берлин! И какие преимущества: выстрел без звука, без дыма, без блеска! И не нужно толстой трубы, простота отливки! и – практически вечное орудие, никакого износа!

Всё-таки втянули Ободовского в обсуждение. Но хотя и геолог, он всё же достаточно тут видел. И прокатывал требовательными бровями:

– Но позвольте, господа, а не понадобится вам ток в миллион ампер? А чем вы будете его накапливать? А какая у вас мощность электростанции?

Хотя почти наглядно это был фанатический или недобросовестный вздор, но они так переваливались через стол по обе стороны, – каково было горняку взять на себя отвержение величайшего, может быть, оружия XX века?

– А не могли бы вы, господа, перестроить ваш проект всего на 15 вёрст, но чтоб и ствол был в 20 раз короче?

Подольский и Ямпольский переглянулись. Они могли и так, но чтоб сегодняшней проект тоже доложить Гучкову.

Тут вошёл Дмитриев в обрызганной дождём куртке, стоял и прислушивался. Его сдержанно насмешливый крупноносый вид окончательно утвердил Ободовского, что не загубит он величайшего изобретения, покинув его своей поддержкой.

Но ещё долго он от них отговаривался и выручал один стул для Дмитриева.

Ещё ждали сегодня объяснения по проекту придания пушке свойства гаубичности, по новой идее универсального взрывателя с переменным замедлением, – а вот пришёл Дмитриев по поводу траншейной пушки. Уже не техническая идея – готовы были опытные образцы и испробованы в бою – но переход к серии требовал многой поддержки, о чём и собирались они в минувший понедельник говорить у Шингарёва, да не пришлось. Уже не об идее – о простой станочной заводской работе, – но крупно-покойное лицо Дмитриева было устало печальным. Опустился на стул искоса, ноги вбок.

– Акимыч. Обуховцы отказались от сверхурочных. На воскресенье мне некоторые обещали выйти – теперь не выйдут.

Вот и всё немудрое. После того возбуждённого и технологического, что было

наговорено тут сегодня, – вот и всё простое короткое. Замышляйте, чертите, фантазируйте – всё это пыль блестящая, пока не сгустится в металл через цех, станок и рабочие руки.

Дмитриев – отдыхал на стуле? Он и правда, кажется, не много присаживался с тех пор, как в конце лета воротился с испытаний своей траншейной пушки на Северном фронте. И правда, не лишнее было ему посидеть.

И это мрачное его спокойствие передалось и Ободовскому. Его многоизломанные нервные губы с лёгкой настриховкой усов сложились печально:

– А что случилось?

– Ничего не случилось. Просто докатились до них агитаторы: почему во вторник и среду пол-Петрограда бастовало, а обуховцы нет? Как смели не поддержать?

Несчастливая траншейная пушка! Ещё в японскую войну поняли, что такая нужна. В 910-м утверждали путиловский образец скорострельной штурмовой. Утверждали, утвердили, а выпускать не начали. Так от японской до германской войны 10 лет продумали – и начали войну без траншейной артиллерии. А как оборвался маневренный период и сели в окопы, так понеслись вопли: нужна! скорей! и полегче! Таскали горную трёхдюймовую четвёркой лошадей – не то. С прошлого года проволочивается по инстанциям проект полуторадюймовой траншейной – но у скольких же петербургских генералов и сановников надо ему согласоваться, – а на них снаряды не падают, пулемёты им не досаждают. Год пошёл на проект и опытные образцы, теперь серию запускать – так рабочие...

– А без сверхурочных?

– Вечер и ночь станки стоят, литейка не льёт. Да я даже слышал хуже: со дня на день *всеобщую* готовят.

– Всеобщую? – взлетели брови Ободовского, ненадолго угомонялись они. – Это почему?

– Нипочему. Готовят и всё.

– Годовщина какая-нибудь?

У социал-демократов страсть годовщин и табельных дней не жиже, чем у царской фамилии. Есть в году дежурные революционные даты, в которые непременно надо бастовать: 9 января; и ленский расстрел 4 апреля; и конечно 1 мая; а там и 4 ноября – день ареста их думской фракции; а там в феврале – день суда над ними; а там... Трепали календарь, не щадя русского производства. И все всплывавшие вдруг даты были обязательны к стачке, и только изменники рабочего класса могли уклоняться от них.

– Или в Туркестане чёрная оспа?

Занялась в Баку чума, умерло десятеро среди рабочих – весь Петроград немедленно должен был бастовать, бред какой-то.

Не шевелился Дмитриев, не помогал угадать.

– На Металлическом недавно: уволили какого-то худосочного агитатора – так весь завод два дня бастовал. Им объяснили, растолковали: четыре миноносца стоят в ремонте, вы останавливаете! За каждый день забастовки вы не выпускаете по 15 тысяч снарядов. За каждый такой невыстрел может быть ляжет два наших пехотинца. Тридцать тысяч братьев-солдат? Наплевать, отдайте нашего агитатора!

Ободовский барабанил нервными пальцами.

– В Англии, во Франции сейчас, во время войны, представить такую забастовку? Немыслимо. Если возникли ясные требования, так их рассмотрят, согласуют. Видимо, свобода осмысляется только с определённого уровня сознания. А ниже этого критического уровня – бессмысленные тёмные силы, медведь катает чурбан...

В свободной Англии военизировали промышленность, и это никого не оскорбляет. А у нас – “предательство рабочих интересов”, “тираническое подавление личности”... Мобилизовать армию можно, а военную промышленность нельзя? Солдат подчиняется команде даже на смерть и не кричит, что это насилие. А рабочий военного завода должен иметь право увольняться, прогуливать, бастовать? Как же одной рукой воевать? По петербургским заводам судить, так мы войны ещё и не начинали. А петербургские заводы

выпускают половину всех боеприпасов.

Да что ж друг другу доказывать ясное?

Судьба штатского, всю жизнь ненавидевшего армейщину.

Туча государственных чиновников, вставая утром и потом весь день по своим кормушкам, не бьётся такими заботами. А кадеты и эсдеки требуют – свободы от феодализма! А гучковские комитеты? Тоже не рвутся к военизации.

Гучковские комитеты возникли новым свежим сочетанием колёс рядом с медленно-ржавой системой бюрократического механизма и, казалось, посвежу могли повернуть и подать там, где отказывал прежний. В гучковских комитетах Ободовский сразу угадал, ожидал те самоотверженные общественные силы, которые отовсюду стягиваются, хоть поодиночке, на прорванное место, чтобы затянуть его, спасти. И ошибся. Теперь, за полтора года, на его глазах система военно-промышленных комитетов обратилась в такую же неуклюжую, самодовлеющую систему, обременённую избыточными штатами, – да если бы хоть самоотверженными. Каждый служащий в этих комитетах рвал получить себе повыше оклад, каждый подрядчик – повыше комиссионные, каждый завод – наивысшую оплату продукции, так что вся помощь гучковских комитетов стране становилась роскошно дорогой: их трёхдюймовая пушка стоила 12 тысяч, когда казённая – 7, за пулемёт “максим”, по казённому 1370 рублей, Терещенко желал получить 2700, да ещё чтоб ему предоставили казённые стволы. И – вся продукция комитетов была так, в полтора-два раза дороже казённой, и гучковские деятели нисколько этого не стыдились, но считали себя благодетелями и спасителями страны: за быстроту (да и не такую уж быстроту) подачи. И даже Родзянке, поставлявшему берёзовые ложа для винтовок, военное министерство накидывало за штуку по лишнему рублю – “чтоб его задобрить” – и Родзянко не отказывался, брал!

Там, где Ободовский ждал встретить сплетение самоотверженных мининских жертв, он горько обнаружил сплетение корыстей и задних расчётов. Так не только людей дела у нас не хватало в России, у нас не хватало и просто самоотверженных? Их не было в государственном аппарате, но не было их и в общественности, где ж они были тогда? Кто же тянул для родины, не думая о себе? По горькой усмешке это доставалось бывшему революционеру и изгнаннику. И не густо видел он вокруг себя таких же.

А ещё важней гучковские комитеты были заняты не поставкой вооружения, но укреплением своих общественных позиций и атакой на власть. Ещё этот задний расчёт не скрылся от Ободовского, даже и в самом Гучкове. То и дело без надобности собирались совещания и съезды представителей военно-промышленных комитетов, и на каждом главный вопрос был не деловой, а политический: власть не соответствует задачам страны, правительство вдохновляется тёмными силами, ведёт страну к гибели, кабинет должен состояться из лиц, которым доверяет страна.

Ободовского ли убеждать, что Россия нуждалась в широкой свободе и в притоке общественных сил к управлению! Но и его коробило, что позиции занимаются и политическая борьба ведётся во время войны. Нечестно! И опасно для России.

Да, власть совсем оказалась не готова к темпам и сжатию этой войны. Но – и ни одна европейская страна не была полностью готова, только они жили динамичней, их власти – не в самодовольной дрёме. У нас же не хватает быстроты поворота. Быстроты поворота? – так каждый должен приложить свою. И даже чем больше корысти встречается в видимых помощниках – тем отчаянней должны тянуть истинные.

Дмитриев вздохнул сильной грудью, повернул к Ободовскому косо-крупную голову:

– У меня там сейчас при траншейной пушке старший слесарь такой, Малоземов, говорит мне тишком: “Михал Дмитрич, добивайтесь, чтоб не было забастовки. Мы тут, все мастера dokonные, не хотим её. Мы – исстараемся, всё сделаем, только избавьте нас от хулиганов. А сами противиться не смеем”. Так вот негодники и чернорабочие приказывают лучшим мастеровым.

Так они ведь, русские забастовки, так все и делаются, от первой же обуховской,

знаменитой. Идут себе рабочие на завод, ничего не предполагают. А на перекрестках стоят молодцы с надвинутыми козырьками, иногда и чужие, приبلудни какие-то, и задерживают каждого: подожди, товарищ, будет забастовка. А не задержится – палкой его или камнем в голову. А из цеха – выходи! А кто не выходит – болтами и гайками. Теперь приучили и без гаек, просто пробку в дверях: внимание, товарищи, будем бастовать.

– А прошлой зимой в Николаеве, помнишь Вороного, мастерового? – был против забастовки и ухлопали его из револьвера. И убийцу даже не искали: не великого князя убили, мелочь. А вот так проигрываются целые заводы. И города.

Барабанил, барабанил пальцами.

– Нет, этого нельзя допускать! Мы просто становимся трусами. Если мы против насилия, навсегда раз и всякого, и самодержавию всю жизнь не уступали, – так почему же другому! Зачем же всё, если менять одно насилие на другое? Бояться самодержавия – уже для всех позорно, а бояться хулиганских камней – нет? Рабочий класс? – и ему пойду скажу...

Да если успокоил Лысьву разбушёванную, где рабочие убили директора... От сопротивления только упорней становился Ободовский, вот уж, в том и жизнь прошла. С лёгкостью из стула выброситься, накинуть пальто, а шарф хоть и свесь, шапку как-нибудь – и в трамвай, на завод!

И остановился – мыслью:

– А на Западе – разве не то же? Только без камней и лиц не прячут, а – *пикеты*. Сейчас милитаризация, ладно, а раньше устраивали такие пикеты забастовщиков: мы, мол, забастовали, так и вы тут, рядом, смежные, тоже не дышите. Это разве – не насилие? Ты – бастуй, пожалуйста, право твоей личности, а право моей – не бастовать, и ты меня не трогай. Не-ет, тут не образованием пахнет, что это мы всё на Россию?

Тревожные брови его прокатались, прокатались. И тогда, пристыв:

– Как бы в самой идее свободы не было порока. Чего-то мы в ней не додумали.

И – когда это отделились инженеры от рабочих? Ещё в Пятом году поддерживали их петициями, солидарно увольнялись. В одну шахту одной клетью спускаемся. А зазмеилась трещина и отвела инженеров от работников к хозяевам. И уже трудно переступить, доверия нет, мы – баре. И тот инженер, который идёт уговорить рабочих по-человечески, – ему опять прыжок покаянный к младшему брату, на чём сломано столько дворянских шей за прошлый век.

А без доверия – как же работать на одном заводе?

А рабочим, правда, чем отвечали, кроме полиции и казаков? Много ли с ними говорили как с соотечественниками?

Переминался и Дмитриев перед той же покаянной чертой русских образованных людей. Но не стереть же образования с лица. Надо – *делать*. Вот, траншейную пушку. Чтобы к весенней кампании она уже была в батальонах – нельзя пропускать теперь ни дня. Но то была задача не для платных наёмников, а сочувственных сотрудников.

– Да-а-а, – всё не двигался Дмитриев, так и сидел искоса, одним локтем уцепясь за спинку. – Если бы в батальонах солдатам сказать, что пушка уже есть, но к ним не придёт из-за какой-то забастовки... Да в какой это голове уложится?

Спасать! бороться! действовать! Перепрокидывать препятствия! – это было самое понятное и привычное для Ободовского, и он готов был бросить всё сейчас и ехать на завод. Но всё же с годами остепенясь, лучше знал он свой несчастный порок: всегда бросаться самому, в нетерпении не верить, что и другие успеют и сделают не хуже, что в России люди – всё же есть, есть.

Из этой комнатки голой, без единого станка и напильника, где только чертежи разворачивались да ведомости, и откуда на Невскую сторону, в литейку и слесарку Обуховского завода не восемь вёрст, а через гору перевалить, – как было помочь траншейной пушке?

Однако друг друга видя, набирались они и помощи. В углублённом взгляде Дмитриева

уже сказывалось решение его, с ним и пришёл:

– Я поеду, да. И буду говорить. Соберу два цеха, от кого всё зависит, и просто расскажу им, как есть. Что такое траншейная пушка и почему нельзя с ней медлить. Я с администрацией уговорился уже, что в конце смены сегодня соберу. Но вот что, Акимыч, это бы надо – в согласии с Рабочей группой. Чтобы они помогли. Я потому и пришёл.

– Рабочая группа? – додумывал Ободовский. – Это ты прав. Но и у них мозги закручены – ты не представляешь. Они этими партийными лозунгами заклёпаны так, что не прошевеливаются. Там – меньшевики царствуют, я с ними разговаривать не могу, ругаюсь. А ведь правильно задумано – представительство рабочих в центре. Но наверно Кузьма сейчас там, пойдём попробуем.

Подбросился из стула.

Надо было перебежать по Невскому наискось – и ещё по Литейному.

## 31

С тех пор закончилась та война, и прокубилась революция, и прокатали страну советскими катками (и расстреляли чекисты Ободовского), и ещё была война, не счастливее для нас, чем первая, и опять катали советские катки, – но кто видел Козьму Гвоздева и в Спасском отделении каторжного Степлага, в третью десятку его невылазной неволи, говорят, что и к семидесяти годам, под четырьмя наляпанными номерами, Козьма Антонович сохранял, от глаз и выше по лбу, эту задержанную на нём светлую детскость, это беззащитно-удивлённое выражение.

Да так ясно, так просто его жизнь начиналась: хотя по нужде не доиграл он своего детства, но парнем славно крестьянствовал при отце, и будние дни хороши, и праздничные хороши, натянуло крепости в хребет, силы в мышцы и размеренности в нрав. И за сохой на месте, и в хороводе на месте – очень уж петь Козьма любил, запевалой. (Он и в Питере тут, в Народном доме, Шаляпина не пропускал.) В 20 лет женился, увёз жену во Ртищево – там на узловой станции по механической части работа толковая, прилежная. А потом помощником машиниста ещё лучше, ах, лётывали! Потом – революция, никуда не денешься, и все стали революционеры. Потом ещё в Саратове три года покойно жили. Да и Питер не сразу вошёл беспокоем: к войне Козьма стал из первых токарей на третьем этаже эриксонского завода, куда и вообще-то стянулся цвет петербургских металлистов. Ладилась у него работа, послушны, отзывны были ему станок, резцы и металл, а от этого не по возрасту рано стали другие рабочие величать его Козьмою Антоновичем.

И на том бы всё могло уравновеситься и остановиться, кабы не особое время такое: партии, лозунги, война. О прошлом годе потянулся по питерским заводам клич – называть выборщиков, а они будут выбирать Рабочую группу, какая представит мнение и волю российского рабочего класса в военном производстве. Такое время пришло, что этого сплетения никак не обминуть. А как Питер привык выдавать себя за всю Россию (и Россия к тому привыкла), а Эриксон был в Питере из молодых да бойких заводов, а на шестиэтажном Эриксоне ведущий бойкий цех – третий этаж, – то и вытолкнули Козьму вдруг из толпы вперёд, вперёд, где уже нет рядом дружеских локтей и плеч, – вытолкнули первым кандидатом завода, Выборгской стороны, города и всей России – и вышагнул Гвоздев на помост, как переднего ряда первый российский рабочий.

Шаг этот был куда маховитей, чем посильно обычному рядовому человеку. Да может обошлось бы, просидел бы Козьма среди сотен уполномоченных, не избрали б его самым главным, остался б он в покое и малоизвестности, если бы то первое собрание выборщиков в сентябре 1915 не перекорёжили бы, не переиначили, не взорвали бы большевики. Известно, чем отметны большевики: у меньшевиков, у эсеров – фракции, дракции, всегда тринадцать мнений, а большевики ходят все заодно, и кричат ли, голосуют – всегда в один голос. Так и на выборное собрание понапёрлось их, не званых никем и не выбранных, не уполномоченных вовсе, а просто в дверях не могли их удержать. Понапёрли и кричали: не



надо этого собрания, не надо никого выбирать, а – долой войну, долой империалистическую буржуазию. А в президиум влез ихний путиловец Кудряшов – на случай, если их верх возьмёт выбирать, так его председателем. Однако узнали, разобрались: совсем он не Кудряшов и не путиловец, а выборного путиловского уполномоченного Кудряшова куда-то большевики задевали, мандат же украли и пристроили к своему. И так собрание то засвистали, переорали, развалили, и выборов не было.

А пуще всего придерживался Козьма всегда – справедливости. От ранних лет он привык любить, чтобы всё укладывалось по-правому, по-справедливому. И на том собрании более всего надсаднило его: зачем же так несправедливо? на горло зачем? И напечатал он в газете (меньшевики грамотные помогли написать) о том, как дело произошло. И уж не покидал, добился в ноябре нового собрания в инженерном клубе. И уж теперь-то в дверях стояли строго, допускали только уполномоченных, а с улицы никого. И так оно само вынесло Козьму – в председатели Рабочей группы. А Рабочая группа должна была состоять при Военно-промышленном комитете: и в помощь ему, и в отстаивание рабочих интересов.

На том собрании чинно говорили, кто как понимал: зачем же это, что, куда – Рабочая группа? Говорил с Трубочного Емельянов: конечно, мы противники этой войны, но как до мира нам добраться? Конечно, спасение России не в военной обороне, а в торжестве демократии. Правительство преподносит рабочему классу страшные скорпионы, и для борьбы за демократию надо объединить все живые силы страны. Конечно, указывал нам Маркс, что буржуазия чем дальше на восток, тем подлей, а в России особенно подлая, так мы зато будем её критиковать и толкать против отживающего режима. А зато через Военно-промышленный комитет мы поможем организовать рабочую демократию. – И с Лесснера Брейдо очень грамотно говорил: Гучков и Коновалов – наши классовые враги, но в известные моменты политической жизни мы идём рука об руку с буржуазией и подталкиваем её влево. Нельзя просто кричать “мы против всего!”, когда решается государственное бытие. Требования Прогрессивного блока так же полезны нам, как и им: если будет дана свобода всем гражданам России, она не может не коснуться и рабочих. Буржуазия – наш союзник против правительства, и совместно с ней мы революционизируем всё общество. – И с Вестингауза говорили: пойдя в промышленный комитет, мы будем препятствовать увеличению производительности за счёт эксплуатации! – И с Путиловского: мы, конечно, не можем стать на точку зрения разгрома Германии. Но и не дать же разгромить Россию. Если мы защищаемся от немцев – это не значит, что мы поддерживаем царское правительство. Россия принадлежит русскому рабочему народу. Защищая Россию, рабочие защищают путь к своей свободе. – И с Воздухоплавательного: если мы отмахнёмся от войны, раздадутся голоса, что мы сыграли в руку немцам и реакции. Конечно, мы идём в Военно-промышленный комитет не для выделки снарядов, а для организации народных сил! – И с Трубочного опять: мы идём в комитеты не увеличивать производство снарядов, а сорвать спячку, чтобы страна перестала молчать.

Говорили все как будто почти согласно, друг другу не перечая, а нагромождалась попереча: вот тут и натужься умом – для чего же именно мы идём в промышленный комитет? На дверях всё так же строго держали, и большевиков не проникло в зал больше, чем выбрано их на заводах, – лишь малое меньшинство. Однако перед каждым выступающим как будто стояла стенка разгневанных большевиков, и каждый оратор старался так уступчиво и осторожно выражаться, чтоб не сердить их. Говорили как будто ясно – а затемнялось. Говорили в пользу выборов – а как-то и расползалось. Меж тем пришлось и Козьме говорить, не миновать. Не за станком, а с помоста, перед толпой, как-то колеблемо почувствовал он себя, как-то уши будто заложены, самого себя не дослышивали или в глазах расплывалось, и перед большевиками опять же вина за это второе собрание. И понятием – не хватывалось. И выговаривалось не как Козьма на самом бы деле думал – что надо помочь нашим братишкам на фронте, этак сказать было непозволительно почему-то. А выговаривалось как бы в извинение: что идти в промышленный комитет – один только и выход у рабочих: выбраться из подполья, куда загнали нас и душат. Что центральным

вопросом жизни является замена власти помещиков властью буржуазии, которая теперь сильнее всех экономически. (Меньшевики написали ему бумажку, но он её не держал, а какую фразу запомнил, какую по-своему.) Итак, перемена существующего политического строя диктуется непреложной логикой всей жизни. Не значит, что всякий, кто защищает свою страну, уже и отказывается от участия в классовой борьбе. Но царское правительство оказалось неспособно защитить страну, а если Россия войну проиграет, то поскольку германский пролетариат изменил долгу солидарности, то наденут нам петлю германские юнкера и двинут промышленность назад, и не будет условий для успешной классовой борьбы, и первой всего на рабочих и отзовется. Так что выбор у нас – положить гирию рабочей силы всё-таки пока за буржуазию. Мы можем добиться свободы только путём национальной обороны.

В несравнимом меньшинстве остались большевики, вопреки им избрали Рабочую группу из одних меньшевиков и чуть эсеров, но так сминались неловко все, так видели, чуяли перед собой там, на улице, эту разгневанную стенку – что, проголосовав избранцев идти помогать русской обороне, тут же проголосовали им, никто не нудил, наказ, который составили большевики: что рабочие, идя в Военно-промышленный комитет, не берут на себя ответственности за его работу; что война ведётся не Россией, а командующим классом, за захват рынков; что правительство безответственно, а Дума труслива, и цель Рабочей группы пусть будет – не помощь заводам, работающим на оборону, а – созыв всероссийского рабочего съезда и подготовка себя для взятия власти в качестве временного совета рабочих депутатов; и 8-часовой рабочий день устанавливать сейчас же, не взирая на войну; и – полная свобода профсоюзных завоеваний немедленно сейчас; и – неприкосновенность личности; и немедленно – всю землю крестьянам; и немедленно – амнистию всем политическим врагам правительства и террористам, кто где ещё остался в тюрьме или на каторге.

И с веригами того наказа и с полной уже задурманенностью, зачем же она создана – помогать ли промышленности оборонять страну или бороться с царским самодержавием, – пошла Рабочая группа в гучковский центральный Военно-промышленный комитет и в его втором помещении на Литейном за Жуковской улицей получила две комнаты с телефоном, штатного секретаря, секретарского помощника и двух конторщиков на жалованьи от Комитета. И стала открыто заседать и действовать как единственная в России легальная рабочая организация, тогда как припрещены были с войны профсоюзы, закрыты рабочие клубы, и редко где на фабриках сохранялись рабочие старосты (да большевики и не давали их выбирать). А Рабочая группа получила право циркулярных обращений к своим отделениям в других городах, рассылки протоколов, резолюций, – да не как грязные подпольные листки, но отличным шрифтом, на лучшей белой бумаге! – объезда городов и заводов, созыва широких рабочих совещаний без присутствия полиции, а ещё самозванно провозгласила и свою политическую неприкосновенность наравне с фракциями Государственной Думы! (Сам бы Козьма не придумал, два приставленных советчика убедили.) По условиям военного времени это было ах как много.

Но вошёл Козьма в новые комнаты как будто с теми же ушами заложенными и в глазах расплывчато, как бы за станок стать страшно: смотри, резец ковырнёт, деталь из центров выскочит. Очень не ясное дело: кто же главный враг – Германия или самодержавие? 15 членов группы оставались всё же на своих заводах, сюда собирались только сиживать-заседать, а Козьма-то здесь осел весь, не потолкаться меж эриксоновскими станками, – и что б он делал, как бы вёл, сам не знал – но подпёрли его меньшевики двумя расторопными быстроумными советчиками – Гутовским и Пумпянским: заняли они места секретарей, а секретарскую работу перекинули конторщикам.

Гутовского у социал-демократов так и звали “газом” – за быстроту, как он во все стороны попевал (кличка сперва была “ацетилен”, от отчества его Аницетович). И чего только Гутовский не знал про рабочий класс и про социал-демократию! – просто всё знал, и на любой вопрос мог ответить ещё прежде, чем этот вопрос ему до конца досказали. Да он и

газету одно время выпускал, а листовки сочинял прямо десятками. А Пумпянский хоть и не “газ”, но тоже очень поспешный и перехватчивый, – и вдвоём они ещё лучше излаживали и выкладывали, даже и не в полный соглас, а всё как-то улегалось. Без них-то двух Козьма бы тут пропал.

И как-то всё опёрлось и устроилось. Гучковский комитет был группой доволен (хоть бы она и обороне и революции помогала кряду), в передней комнате обсуживали организацию рабочей силы для производства, а в задней занимались и конспирацией, составляли и распределяли нелегальные листовки и каждому командированному, едущему по России в провинциальные рабочие группы, кроме его открытого задания в помощь обороне давали и скрытое задание в развал её. Козьма и не услеживал за всем, что тут делалось, писалось и распространялось.

Прыгнуть ему сюда досталось через силаньку. И озадачивался он: за что ему званье такое – Гвоздев? Если и был в роду его *гвоздь*, так похоже, что не он. (А скорей – просто кузнецы были).

А безо всех слышимых мудростей, сердцем, сам перед собой, он так понимал: Россию от Германии – надо оштитить. Непутёвая это забава – во время войны вытрясать революцию. Когда уж слишком закруживалось – вот какой маячок у него был: а солдаты – что ж, не наши? о солдатах – как же не озаботиться?

И когда вскоре за выбором Рабочей группы какой-то бзык или чесотка пошла по Питеру, как подговаривал какой бешеный: на 9 января 1916 устроить стачку, да всеобщую, да не на один день, да сразу и царя свергать, – Козьма уверенно повёл: удержать от этих стачек, не время! И по заводам сам ездил.

И удержал.

На самое 9 января из-за того разгорелась и драка на Эриксо́не: с нижних этажей и со двора подзуженные подсобники прибежали бить ихний третий этаж мастеровых за то, что они, “гвоздévцы”, требовали: забастовку не на горло решать, а – по справедливости, точно голосовать. Дрались молотками, гаечными ключами, метчиками, прутьями, швыряли гайками, самого Гвоздева ушибли табуреткой, и много побили аппаратов, изготовленных третьим этажом, гвоздévцев спихивали с лестницы. И хотя администрация ещё раньше сбежала вся – “гвоздévцы” отстояли, чтоб забастовки не было.

Ну, уж тут понесли их большевики, дружно и сплошно бранили, заплёвывали, заляпывали со всех немощёных переулков Выборгской стороны как изменников рабочего класса, лакеев империалистической буржуазии, как кучку политических мошенников и ренегатов, продавших классовую непримиримость пролетариата за честь заседать в мягких креслах с соратником Столыпина (значит – Гучковым). А затем забурили по рабочему Питеру кампанию – вообще отозвать Рабочую группу: пролетариат не может входить в организации буржуазии!

Ну, влип Козьма! – никогда его раньше такими словами не бранили. А вместе с тем уверенно он понимал, что *отзываться* им никак не время, что только сидя тут и можно отстоять условия и выгоды для рабочих. Но чтобы тут усидеть, приходилось уступать большевикам, в чём только дёрнут, говорить совсем не то, что думаешь: что цель Рабочей группы – коренная ломка режима; что правительство готовит еврейский погром, когда и духу такого не было. Или требовать от фабрикантов, чего им неоткуда было взять. Или кричать, что военизация заводов – это крепостное право, когда всякому было ясно, что спокойней бы нет – уставить сразу и работу, и питание, и свободу от военного набора. Надо было бесперечь гавкать и нападать на власть. И под видом “комиссий” Рабочей группы собирали в главном зале гучковского Комитета многолюдные рабочие собрания, и никакую не оборону страны обсуждали там, но будущее правительство: чтоб оно было не просто “ответственным”, как требует Дума, но *Временным Революционным* – и в него бы входили демократы-социалисты. (Хотя Козьма не мог ума приложить: с чего бы вдруг такое правительство понадобилось и утвердилось.) Или высказывали там, что переговоры о мире народ должен взять в свои руки, помимо властей.

И шептали Гвоздеву близко тут: да! да! И кричали с улицы, даже вламывались в комнаты на Литейном: предатель! А из Парижа писал Плеханов: революционное действие во время войны – измена родине!

Ну, влип Козьма.

Да ещё ж не только большевики, но травили его и забегливые межрайонцы, и въедливые интернационалисты-ишциативники: мы вовсе не поручали гвоздёмцам говорить от лица всего российского пролетариата! они кощунственно прикрываются именем рабочих масс!

И даже Чхеидзе с Керенским сторонились Рабочей группы, стыдились, отгораживались, как бы не запачкаться.

И рабочие, избравшие группу, волновались, надо было их чем-то успокаивать.

Даже всё самарское отделение – и то слало центральному наказ: “мы шли в промышленные комитеты не для того, чтобы ковать пушки и убивать товарищей немцев, но – добиться отделения церкви от государства, конфискации помещичьих земель и демократической республики”. И до того очадевал Козьма, по три раза перечитывал, не ухватывал, в чём они тут сбредали: отделение церкви? говорят – так надо; конфискация? велят – так надо. Ах вы, губодуи, вот где профуфырились: пушки-то ведь не куют, а льют! Небось, семинарист писал...

А – с Гучковым как? Сплошь все социал-демократические резолюции и листовки внушали и объясняли Козьме (да ему ж и самому завели карточку социал-демократа), что русская буржуазия, ведомая кровожадным Гучковым, пользуется этой войной не для обороны России, а чтоб набить свои карманы и постепенно захватить власть.

Да может, оно так и было? Как в чужую душу глянуть? А мы-то, простофили, поджимаемся, уступаем?...

Но приходил в Рабочую группу и сам Александр Иванович, едва прихрамывая, невысок ростом, что-то и лицом нездоров, тяжёл, жал руку и говорил:

– Дорогой Кузьма Антоныч! И вы – русский человек, и я – русский человек. Язык наш общий, и мы вот друг на друга смотрим и понимаем. От того, что сейчас происходит, от того, как кончится эта война, зависит всё будущее России. Если мы проиграем – будет рабство у Германии и, может быть, на много десятилетий. Я знаю, рабочие были долго и несправедливо притеснены. Накопилось много счетов, наболело много болячек. Но у вас и ваших друзей – ведь есть же русское чувство, правда? и есть государственный смысл: не сейчас эти счёты сводить, не сейчас эти болячки вскрывать. Не у вас одних – и у нас, у всего русского общества, есть жестокий счёт к правительству. Но – погодим, прежде кончим войну, не дадим сломить самый русский хребет. Вас – послушают рабочие. Разъясните им, не ленитесь, что каждый забастовочный день – это удар в спину армии, это – гибель наших же русских людей. наших с вами братьев.

Козьма слушал этакое, глядел поблизку в глаза Гучкова, совсем же не бриллиантовые, а как у нас у всех, глаза – с просьбой, с доверием, и от болезни опухшие (в самые первые недели Рабочей группы Гучков и вовсе умирал, уже печатались предсмертные о нем бюллетени), – и от души к душе понимал его, растворён был сердцем, вполне согласен:

– Да Александр Иванович, будем ли обиды месить? Ну, погнетали нас, верно... Не прислушны к нам хозяева были, я не про Эриксона, а где поглуше. Конечно, дороже бы прежде войны спохватиться. Ну, коли сознание взошло, так и нынче не поздно. Что ж, разве не понимаем? Рвутся немцы до России, шею нам согнуть да хлебушек наш лопать...

По-простецки, безо всяких партий, да и на языке своём же природном – чего тут было не понять? Через простецкий их стол, сидя на стульях двух жёстких безо всякого умягчения, в голову никак не вклинивалось, что сидит перед ним вождь империалистической буржуазии, соратник кровавого Столыпина.

– Понимаю, Алексан Иванович. Поддержим. Для того сюда и пришли.

Но таких бесед, даже таких минут почти не было ему разрешено, потому что не был он отдельный Козьма Гвоздев, а по партийности заедино с мозговитыми, многовитыми,

письмовитыми и речистыми, к нему приставленными неутомимыми зоркими секретарями, и если упустили они один момент, то хлопали тут же вослед как крыльями:

– Ах, что вы наделали, Кузьма Антоныч! Ведь скажут большевики: блок Гвоздев-Гучков, вы об этом подумали?

Не был он, как Минин, отдельный себе Козьма, выйти да крикнуть: “гэ-эй, спасай родину, русские люди!”, – но:

– ...**Кого** спасти, Кузьма Антоныч, вы подумали? Романовскую монархию? Вкупе с черносотенцами да либералами? А кто за нас будет пробуждать классовые противоречия?

– Да ведь так от нас откажутся инициативники!

– От нас отшатнутся интернационалисты!

– И тем более сибирские циммервальдисты!

И так не допускали Козьму много разговаривать, самого от себя, а при секретарях, с двух сторон, в плечах как бы ужатый, головой не свободный, как бы впряженный:

– **Побеждать** Германию, Александр Иваныч, рабочему классу вовсе ни к чему. А чтоб не было забастовок – так пусть потеснятся фабриканты. Вам – болячки можно пережить, а нам терпежу не осталось нисколько.

А ежели Гучков уезжал в Крым долечиваться, то и вовсе письмо сочинял за Козьму “Ацетилен”, и не велел ни слова менять, а лишь подписывать: мнение наше, всех товарищей, что “социальный мир” – это ширма для эксплуатации, и пока есть класс промышленников – не допустит рабочий класс социального мира, ни даже перемирия! Победа над Германией – это путь завоеваний для вящих классов.

Эх, прошло времячко недавнее, постаивал Козьма у своего станка, в субботу получал получку – и домой, горя не знал. Точил детали по своему умению, и никто ему локти не подбивал. Теперь же опутан он был этими языкатыми, и раньше, чем созревала в голове думка и спускалась в горло, сложиться в подходящие слова, – раньше того, не давая ему додумать, Гутовский и Пумпянский подсовывали ему ответ, и даже сразу несколько ответов. Вот это особенно его оглушало: что сразу – несколько! И все ответы – быстрые, все – разные, и все – правильные.

О самом-то непонятном: так как же братцы мы сами-то, между собой, взаправдоху, – подкреплять нам русскую оборону, аль нет?

Прежде всего: эта война – вредна для освободительной борьбы рабочего класса. А с другой стороны все народы имеют право на самозащиту. А самозащита может привести и к революционному перевороту. А значит, оборона страны и есть непримиримая борьба с самодержавием, чего никак не поймут большевики. Двудеиная национальная задача!

Так мы-то, значит, выходит, эти... оборонцы?

Тс-с-с! Ни слова дальше, товарищ! “Оборонец” – это позорнейшая кличка, клеймо пособников реакционной клики. Мы же – **революционные оборонцы**, в чём заложен радикально другой смысл.

Так стало быть это... Работать? Во всю мочь?

Тш-ш-ш! Промышленную мобилизацию, Кузьма Антоныч, надо понимать не в узкотехническом смысле, а как мобилизацию общественно-политическую, то есть не дать мобилизоваться одним цензовым слоям. Однако, например, под видом мобилизации военизация заводов есть величайшая опасность для интересов рабочего класса – это новая форма фабричного феодализма.

У Гутовского были сильно уши оттопырены от рождения, а на них – накинута проволочка очков, а глаза и через очки такие метучие, поворотливые, бросчивые.

Да-а-а, покручивал Козьма головой на науку, и молодая прегустая русая шапка его волос пошевеливалась, рассыпалась, закидывал её рукой на место. И учителя-то его были по тридцати лет, моложе его самого на пять, а всю эту премудрость прочли же когда-то, ухватили, приспособили. Спасибо помогали, а то ведь загинешь тут, в комнатёнке этой.

А коли так – чем же нам от фидеализма отстояться?

Тогда – забастовкою, ничем больше?

Да, иногда для отстаивания элементарных рабочих нужд не остаётся других форм, кроме дезорганизации производства. Но с другой стороны, безоглядный большевицкий стачкизм, застарелые бойкотистские предрассудки есть наименее перспективное средство классовой борьбы. Большевики бесцеремонно используют политическую неподготовленность широких народных масс...

До того они были оба наострѣнные, секретари, – какую бумажку ни отсылать, какое распоряжение телефоном ни передавать – прежде того закруживали, занюхивали, примерялись: а – как это примут западные социалисты? а – одобряют ли окисты? а как отнесутся объединенцы? а меньшевики-интернационалисты? а петербургская инициативная группа? и потом – межрайонцы? И – самое резкое, пилой по горлу, кляпом в рот: а что резанут большевики? Большевиков – пуще самодержавия нельзя было из глаза выпустить.

И в какой газете вдруг похвалят Рабочую группу за помощь обороне, за верность родине – и лестно как будто, и страсть у секретарей: опровергнуть? – будет вред работе. Не опровергнуть? – большевики заклюют.

И потому к каждой фразе, устной и письменной, уже как будто законченной, обязательно приставлялось, приписывалось: в полном сознании международных пролетарских обязанностей... говоря словами копенгагенского рабочего конгресса...

Как сам Козьма не мог шевельнуться свободно от своих секретарей, так и секретари его, да даже руководящие меньшевики из ОК никогда не ступали несвязанно, никогда не решали уверенно, а прежде ёжились и воротились налево: а что рубанут большевики?

А большевики кричали: на тачке вывезем гвоздѣвскую сволочь! То бишь, на мусорную свалку, как вывозили рабочие неугодных своих мастеров, а после такого сброса уже не восстановить им было лица.

Но не большевики всей оравой у Козьмы в груди болели, а – Сашка Шляпников, их главарь. Они – ладно, но Сашка ведь сам прокламацию писал: “предатели гвоздѣвцы!” – как раз ко дню, когда Козьму углом табуретки в темя огрели. В том самом цеху когда-то рядом они с Сашкой, одногодки почти, эка стружку гнали, состязались, кто чище. А вот...

Рассыпался горох на четырнадцать дорог...

Чужого ума заняв, чем только Сашка Шляпников не честил Козьму: и что он на привязи у Гучкова, и что он служит маклером по распределению заказов между капиталистами...

Зачем же, Сашка, ты меня дѣгтем мажешь, если я стачку где не допустил, примирил? Что ж тут плохого? Неужели заводы стоят на стачках, а не на работе? Достачкуемся до того, что каски немецкие в Питер придут – неуж ты этого хочешь? Ты как что задолбишь одно, у тебя это есть, будто крепко знаешь. А что мы знаем, браток? Это деды наши в лесу жили, каждую тропинку знали, там всё своё. А тут – эвон какие стволица торчат да дымят, дымом зрение застилают, а под ногами – камень убитой, на нём живого следа не остаётся. Только и видим, что видим: городской на перекрестке, да в экипажах подъезжают-отъезжают Парвайнены, Айвазы, Нобели да Розенкранцы. Раньше нас и до слуха не допускали, теперь вишь уважают: знаем, знаем ваши нужды, но дайте войну кончить. Правильно, могли б они раньше очунуться, – так ведь это людское всеобщее: пока гром не грянет... Может, и надо поверить им, Сашок? Ну как же перед ратями германскими счёты сводить, кто ж мы будем? Нам бы с тобой сойтись да столковаться: что это мы во врагах? Не годен гвоздь без шляпки, но и шляпка без гвоздя. Тебе, Сашка, николи нипочѣм это не давалось: а что, мол, коли я – от самого начала неправ? а ну-ка де, в чужую башку вступлю, да за неё подумаю? Понесли вы, понесли – “грязная язва гвоздѣвщины”. К чему это, ребята? Жутко на душе. И округ меня умники снуют, и округ же тебя: быстро-быстро пишут, говорят, всё знают. Ты – своим-то веришь? Смотри, не обожгись.

Близ Гвоздева советчики – никогда не терялись: как бы ни пошло, как бы ни скособочилось, они успевали извернуть: случилось **именно** то, что всегда предвидели и на что давно указывали представители рабочей демократии! И Козьме только глаза оставалось тарачить.

И – всё на ходу объясняли. Потёк слух, что забастовки эти не на пустом месте колышатся, что забастовочные кассы откуда-то деньги получают неведомые, – да уж не германские ли те деньги?

– Нет! – загорался Ацетилен-Газ, – дело не в немецких происках, обывательство так рассуждать! А дело – в господстве дворянско-бюрократической клики, вся система управления которой представляет одно сплошное издевательство над народными интересами, одну сплошную провокацию. Эти стачки – предостерегающий голос, что дальше так жить нельзя.

И тоже-ть правильно.

Так и сегодня сидели они в задней комнате, Козьма за своим столом, в косоворотке под рабочей курткой, а Гутовский и Пумпянский – по оба края, в одинаковых чёрных пиджаках, воротниках стоячих и при галстуках, – и уже не первый раз рассуждали и объясняли председателю, как понимать разные важные сегодняшние вопросы.

Припекающий новый вопрос наседали: дикий произвол гучковского Комитета над своей же Рабочей группой: что поскольку группа является частью Комитета, то не должна она ни одного документа, резолюции и обращения печатать и распространять без согласия остального Комитета. (Опасались, что будет группа звать прямо к перевороту, да от имени Комитета).

– То есть по сути, – кидался Гутовский, кипятясь, – Комитет под видом согласования объявляет цензуру нашей деятельности!

– Цензуру наших мнений и взглядов! – пояснительно поигрывал пальцами Пумпянский. Он не имел революционного сибирского прошлого, как Гутовский, и должен был неусыпно отстаивать своё значение.

– Но это есть насилие над свободой убеждения рабочего представительства!

– И это сразу изолирует Рабочую группу от рабочей массы!

Каждый вопрос они вот так объясняли ему по многу раз, как если б Козьма мог тотчас забыть, выйдя за порог, и особенно наседали, что всякий вопрос – сложный, очень сложный, очень-очень сложный. И Козьма тоже стал бояться не понять, забыть, в простых уже вещах путался, да простых вещей как будто и не оставалось.

– Здесь есть определённая граница! – ребром по столу точно, не колеблясь, вёл эту границу Гутовский. – Граница, дальше которой мы пойти не можем!

– Потому что станет вопрос о бесплодности нашего пребывания в Комитете! – вывешивал палец Пумпянский.

– Это особенно опасно при отзовистской кампании, которую ведут большевики против Рабочей группы!

– Это подрывает значение того классового оружия, которым должна быть группа!

А ведь верно помнил Козьма, как он ещё прошлой осенью по заводу легко носился, по лестнице взбегал через ступеньку. А за этим вот столом посидел-посидел – и как огруз или как прирос, как стал расти из пола заодно со стулом, коренаст по-пнёвому. Рос – а встать не мог. Расправиться больно хотелось, а лишь потянуться мог от плеч назад, позадь себя.

То ль – запели они его, заморозили.

– Не надо убаюкиваться, Антоныч. Общаясь с гучковцами, не забывайте, что это – испытанные вожди боевых организаций капитала.

– Ловят нас, Антоныч, на “единении народа”, а превращают его в единение крупно-промышленного капитала с властью.

Да, что-й-то худо складывалось для Рабочей группы. Что-й-то опять они как бы не в западне. А ведь до чего Александр Иваныч добёр держался!

– На самом деле не они нас, а мы их должны проверять! – так-таки и колол по худшей догадке Аницетович.

– Даже нет уверенности, что узкие задачи технической обороны они решают в интересах страны!

– Да наверняка против страны! – не уступал, вполне соглашаясь, Моисеевич.

У-у-у. Ну, влип Козьма.

Губа его верхняя детски была поднята, рассыпались мытые гладкие свободные волосы, а глаза – на учителей просительно.

– Разве дело сводится только к внешней опасности? – взмахивал Гутовский чёрными локтями, как взлетая.

– Разве дело сводится только к военному разгрому? – грозно прочерчивал и Пумпянский пальцем из чёрного рукава.

– А хищный замысел отторгнуть Галицию?

– А подавление Польши?

– А константинопольские аппетиты?

– А антисемитская погромная политика?

– И это всё – оборона?

– А преступный замысел с жёлтым трудом?

**Жёлтый труд** – была такая плавилиная точка, где сходились, не дробились все партии и фракции рабочего класса и сам рабочий класс: с прошлого года взяли эту моду контрактировать на работу китайцев – сперва на Мурманскую железную дорогу, но вот уже как бы и не в Питер. И тогда:

– Беспокойных рабочих – в окопы, а на заводы – китайцев?

– И – конец революционному движению!

Одурачили-таки Козьму Гвоздева хитрющие буржуи.

А отчего китайцам и не дать работать? Это ж будет, вроде, этот, интернационализм?

– Э, нет! Э, нет! Допустить, чтобы корыстный промышленный класс ещё более нечеловечески эксплуатировал китайцев?

– Не оставить китайцев без защиты – именно наша первейшая интернациональная задача!

– Законтрактованный жёлтый труд – это откровенная работорговля!

– Вот почему питерский пролетариат не может их допустить в столицу!

И тут распахнулась дверь – и порывом вошёл – не сам кровавый Коновалов или Рябушинский, нет, – но инженер Ободовский из военно-технического комитета.

Достойный подсобник тех капиталистов.

Или недостойный пособник.

Вошёл – как с бега, в пальто без шапки, всегда он торопился, и лицо как будто рассеянное, а глаза острые.

Рассеянное – на меньшевицких секретарей, а острое – на Козьму.

А сзади – ещё какой-то чёрный, неуклюжий, большой, в кожаной куртке технического состава.

– Инженер Дмитриев! – поспешно представил его Ободовский, сам прошагнув сколько было пространства до гвоздёвского стола, и здоровался с Козьмой.

И ведь до чего Козьма прирос – от стула, от пола не оторвёшься. С Ободовским поздоровался, а уж к Дмитриеву не шагнуть. И тот издал.

А Гутовский и Пумпянский поставили локти в защитное положение, не здороваясь.

Ободовский торопился, не садился.

– Кузьма Антоныч! У меня к вам... – порывался, сильно озабоченный. Но повёл глазами на встрепенувшихся, развернувшихся меньшевиков – и уже с тенью уклончивости: – Мне бы с вами... поговорить.

Но что за секреты?

Но с какой задней империалистической мыслью?

– Пожалуйста!

– Пожалуйста! – показывали ему и на стул настороженные бойкие.

А Козьма с приподнятой губой и бровками, на губе всё сбрито и брови короткие, выражал глазами светло-сенными, что и рад бы встать, выйти поговорить, – да как же, если растёшь? Со всеми корнями не вырваться.



– А чем могу, Пётр Акимыч? – И тут же поосторожней, строже: – А что случилось?

Ободовский – не садясь, рассчитывая к делу сразу:

– На Обуховском задерживается выход траншейной пушки, без которой льёт лишнюю кровь наша пехота, могла бы побережь. Помогите уговорить мастерские, занятые этим заказом, выполнять сверхурочные и воскресные. И удержать их от возможной на этих днях забастовки. Нельзя ли для этого собрать заводскую комиссию?

Заводские комиссии были легальные, от Рабочей группы, организации по заводам. Формально – да, для помощи оборонным заказам. Но...

– Но не может рабочий класс, забыв свои классовые интересы, обратиться заводские комиссии против самого себя.

– Это будет ошибочное направление, господин Ободовский.

– Хотя, пожалуйста, давайте обсудим всесторонне. – Ещё удобней уселись, развернулись, приготовились оба.

Этого “Газа”, ещё юнцом, знал Ободовский по Сибири Пятого года: он был из главных крикунов в сибирском социал-демократическом союзе и добивался непременно вооружённого восстания. А потом обкатался, много меньшевицкой бумаги извёл, и был советчик социал-демократической фракции Думы, а вот теперь и здесь. С такими забияками Ободовский и в Пятом году в Иркутске время не тратил, а уж теперь-то!

– Господа, – повёл он головой как от оводов. – Я, простите, не журналист. А вы не знаете ни допусков литья, ни режимов резанья – о чём нам говорить?

И смотрел горячо – на Гвоздева.

А Гвоздев отзывался сенными глазами, он – рад бы помочь, он и потянулся плечью – нет, всё держит, всё связано.

А советчики-меньшевики быстро метали и за собой же заметали:

– Не сочтите нас, господин Ободовский, сторонниками консервативного стачкизма под флагом словесного радикализма.

– Если вы способны усвоить нашу точку зрения, то вот она: в сегодняшних условиях стачки даже не благоприятны рабочему классу.

– Стихийные вспышки идут даже во вред рабочему классу, – выправил Гутовский.

– Стихийные вспышки, – не давал себя поправить Пумпянский, – только ослабляют и разбивают нарастающий конфликт всего русского общества с властью.

Ободовский бровями подрождал и замер: так тут, неожиданно, все согласны? Сейчас будет помощь?

И Дмитриев переминался, мрачно-довольный.

– Но стачка, – закинулся Гутовский очками и прикудрявленной головой, – единственный выход для рабочего класса, цинично-бесцеремонно отправляемого на фронт пушечным мясом!

– Чем же, кроме стачки, – закинулась и прилизанная голова Пумпянского, – может рабочий класс освободиться от петли полицейского режима?

– Оборона страны – да, но не ценой стачечного воздержания!

– И никакие сверхурочные работы не помогут в стране, где происходит безумное мотовство народных ресурсов.

– ... Как не раз предупреждала и указывала революционная демократия.

– ... К которой и вы когда-то имели некоторое отношение, господин Ободовский.

Против таких ренегатов более всего пламенело сердце Газа. Такие сбившиеся делеги и нарушают стройность рядов демократического движения.

А Ободовский на них перестал и смотреть. А, не садясь, – на Козьму, допытливо и недоумённо, с изморщенным лбом.

А по обширному открытому лбу Козьмы не перебегали те змеистые стремительные мысли советчиков, ни руки его не промётывались по воздуху, ни пальцы, – руки его тщетно тянули стул из пола, и кряжистые плечи были напряжены.

С боков сыпали:

– Выход – не в сверхурочных работах, а в немедленной коренной ломке всего политического режима!

– Вырвать власть у безответственного реакционного продажного русского правительства!

Ободовский не удержался:

– Но не в ущерб же войне? Но – не к потерям нашей пехоты?

А те – только и взвились. И с изумительной лёгкостью и быстротой соображения метали с двух сторон, метали и заметали. Промелькнул индифферентизм уродливой Думы. И рабочая демократия будет апеллировать к демократиям союзных стран...

Но – Козьма?

Но – траншейной пушке?

Мог ли помочь?...

От закланного приращённого своего места оторваться он не оторвался, нет. Но ведь – пехота! пехота наша лила лишнюю кровушку! И – двумя лапищами упёрся в столешницу сверху, и натужился шеею и всем тулом, – как если бы волен и мог подняться, – и, в пень замороженный, со светлым растрёпом наросшей копёнки сена на теменах, вдруг как в сказке промолвил человеческим полным голосом:

– Ладно. Там у нас на Обуховском член группы – Гриша Комаров. Я ему сейчас позвоню. Он чем может – пособит.

Гутовский и Пумпянский только вздрогнули, только моргнули на четверть мига, – и не переменились, а переменялись, и лица такие же подвижные, и слова такие же быстро-складные, настигая:

– Мобилизовать промышленность? Конечно, такая возможность есть.

– А в чём же и смысл нашей деятельности? – почва и легальность для рабочего класса.

– Но рабочий класс должен быть чрезвычайно осмотрителен в выборе методов.

– И реальная мобилизация невозможна без полной свободы коалиций...

– И немедленной полной демократизации всей... Да инженеры не дослушали – ушли.

\* \* \*

**...Предатели-гвоздѣвцы, кадетские подголоски, кровопийцы, высасывающие кровь рабочего класса... Приспешники правительства, разные инженеры, получающие по 4 кругленьких тысячи в год. Долг наш, товарищи, взяться за святое дело борьбы и крикнуть вампирам: прочь ваши кровавые руки! Петербургские рабочие обнаруживают перед всем миром свои мужественные желания!**

**ПК РСДРП**

\* \* \*

Когда сядешь на невский паровичок из трёх коротких вагонцев с империалами, и обогнёт он Александро-Невскую лавру, Подмонастырскую слободку, через Архангелогородский мост выедет на Шлиссельбургский проспект (а наверно, судя по мосту, то был старинный санный выезд на Архангельск). Набирая вёрсты, минует Стекланный городок и ампирные хлебные амбары по берегу Невы, пристани, лесные баржи, сенные балаганы. Минует Семянниковский завод (но тебе не туда), Катущечную фабрику, не похожую и на фабрику своей отменною постройкой. Проехав Рожок, обколесит стороной село Смоленское и село Михаила Архангела с их отдельными церквями, и Александровский механический завод при том селе (но и не туда тебе сейчас). И, теперь плотнее к берегу,

покатит вдоль самой Невы, на обширных ледяных площадях которой и последние военные масляны сходятся на кулачные бои деревни правого и левого берега, или затевают бои петушинные, или голубиные состязания, как если б те мужики и не знали никакой всесветной петровской столицы рядом. Дальше прокатит паровичок мимо Фарфорового завода, третьего по древности в Европе, едва секрет фарфора был открыт. Мимо редких уже остатков приречных вельможных дач анненской, елизаветинской и екатерининской поры, всё более заменяемых фабричными кирпичными корпусами и долгими стояками труб, из которых чёрные клубы выползают и расплываются, пачкая небо, грязня Неву, при одном ветре медленно утягивая на Малую Охту, при другом принимая сюда дымы охтенские и с Пороховых. И вот, наконец, за Куракиной дачею доберётся он и до бывшего поместья княгини Вяземской, которого и следа уже осталось мало за полвека сталелитейного завода, основанного здесь инженером Обуховым вослед несчастной крымской кампании, где непригодными к бою оказались многие наши пушки. И у того завода, броневое и пушечного, с посёлком двухэтажных современных всеудобственных рабочих домов тебе выходить, сюда тебе. (А паровичок и дальше того поколесит мимо нескольких Преображенских кладбищ, нескольких немецких колоний, Киновийского монастыря, ещё фабрик – и так до Мурзинок).

И вот, житель петербургский, хоть и не самых приятнейших кварталов, а всего лишь с какой-нибудь Стремянной, ты, проделавши этот многовёрстный прокат с полной сменой пейзажа, зданий и людей, да ещё не зевакою, но с осмысленным делом сюда, но с пониманием совершаемого здесь, даже с нетерпеливым участием, – вдруг отсюда, с дальнего конца Шлиссельбургского проспекта, совсем по-новому ощущаешь и видишь этот знаменитый город. Перебрав, перебрав, перебрав, как на руках повиснутый, это длинное невское рычажное плечо, ты обнаруживаешь, что точка опоры, что твердь системы не там, а здесь; что центр тяжести этой многовострой северной Пальмиры или Венеции – не сверкательный Невский, не лепнокаменная Морская, не золочёные шпили, не россияевские колоннады, не фельтеновские решётки, вдоль которых рассеянной лёгкой походкой бродили легендарные наши поэты, – но сами решётки эти, и многие львы, и колесница Победы на величайшей арке, и самые мосты под коней чугунных или живых – Аничков, Николаевский, Синий, Цепной, отлиты здесь, далеко за Невскою заставой, на Александровском механическом. Отсюда ты твёрдо узнаёшь, что главный вес Петербурга – не то, что понимается и смотрится всеми как Петербург. Напротив, это столпление, яркоцветное днём и многоламповое вечером, это жадное сгроможденье дворцов, театров, ресторанов, магазинов видится отсюда праздным безрасчётным глумливым перегрузком дальнего конца честно рассчитанного рычага, оттого опасным, что – на самом дальнем конце плеча, угрожая перепрокинуть.

А здесь был главный понятный трудовой смысл: как те распотешливые решётки и колесницы, так и многие деловые нужные вещи, и первый русский паровоз, и невские суда, и чугунные и стальные отливки от самых огромных и до самых малых, именно здесь впервые находили свою окончательную массу, форму, подвижность и назначение. С этим-то постоянным чутьём, что тут вокруг всякую минуту рождаются, складываются, формируются задуманные на чертежах вещи, Дмитриев и входил в заводские дворы – Обуховский или другой какой. Любя всё то вечное, что красуется в дальнем перегруженном центре Петербурга, Дмитриев никогда не испытывал скуки или отталкивания от здешней некрасоты, от унылой гладкости стен, от голости, засоренности, обгорелости бестравной земли, от копоти, жара, тяжких запахов и лязга, ибо всё это были не явления безобразия, но сопутствия рождению вещей. Свежему приходящему завод кажется нагромождением станков, материалов, изделий, грохота – но работающие знают, что этот внешний беспорядок – на самом деле лучший порядок, как это всё прилажено, как каждый на своём месте делает осмысленное дело и является частью целого.

Войти во двор заводской оттого и приятно, что – осмысленно. Для тебя, не постороннего, не кучей резучего железа навалены обрезки у стены, но понятно, от какой

работы отходы, чем были заняты это время слесари. То же и стружки у токарной – латунные, медные или стальные, на какую ширину и толщину. И перед кузней сложенные поковки объясняют тебе последнюю работу её или следующий заказ. И самые звуки кузницы, и виды дымов над чугуно- и сталелитейками, и огневые отсветы в окнах, окраска их или отсутствие, и новая куча шлака у ваграночной калитки, и что несут таскальщики из цеха в цех, и даже какие доски свалены у сушилки, – ещё на заводском дворе всё объясняют опытному глазу. И ещё в первое здание не войдя, ты уже включён и увлечён смыслом этой работы, и само решается, и ноги направляются – куда тебе, где ранее нужен ты.

День так и не рассветился, а уже и стемнел. За час до того снежок не снежок, а мжица насыпалась, и где не ходили, не прогривало теплом от зданий или от паровой отдельной линии, сохранился этот белый налёт, придавая вечеру зимность. Да и похоложивало.

Дмитриев волновался. Необычное было для него – речь говорить, хоть и перед своими же знакомыми рабочими, но собранными неестественно для слушанья, человек двести сразу. Однако не было другого пути стянуть людей на эту работу, взяться дружно. И уже обдумал он, что за чем скажет, да надеялся почерпнуть в лицах и по обстоятельствам, и тогда поправиться.

Да ещё надо было Комарова этого искать, был ли ему телефон от Гвоздева и как решили рабочие вожаки.

В конторе Дмитриеву сказали, что помнят, за полчаса до гудка со смены созваны будут в механический цех все, кто назван был инженером, – формовщики, плавильщики, кузнецы, слесари, токари и фрезеровщики.

На беду сидел тут же в комнате при этом разговоре дежурный жандармский вахмистр и слышал конечно, да впрочем не мог не знать и раньше. И захмурился Дмитриев, что ведь непременно явится, лец, присутствовать, и выставит рабочим свою розовощёкую физиономию – как нарочитую вывеску, дразнить, какие ряжки на позиции не посылают. Это было край нехстати, перебивало настроение даже Дмитриеву самому, что ж будет рабочим? Но нельзя было прямо, открыто попросить жандарма не приходить – лишь мысль подать, если её не было? вызвать подозрение? Уж как сойдётся.

Сменил Дмитриев свою выходную куртку на рабочую, подмасленную, с нашитыми подлокотниками, и брюки такие же, с наколенниками, и кепку другую, как лазил он по всем цеховым закоулкам, складам и на чердаки литейных, где приходилось. И в этой одежке ещё справней, ещё сродней с заводом, как сегодня особенно нуждался он, чтобы легче переступить покаянную барскую черту, походкой утверждённой пошёл искать Комарова.

Нашёл его в нетопленных сенцах при материальном складе, на сквозняке, и начали там разговаривать. При тёмном дне тут ещё темней было, и лампочка не горела, да сам Комаров со щетиной запущенной чёрной – и тем более показался человеком темным.

– Так соберём, Григорий Кирияныч?

– Соберём, значит.

Как будто – согласие. Но и охоты не много.

– С Кузьмой Антонычем столковались?

– Говорили.

Помощь ли жди, или только нейтралитет? Или вылезет добавлять, что эта война рабочему классу не нужна? Узка ж была перекладинка к рабочему сердцу, только на Дмитриева одного: с боку жандарм локтем мешал, с другого боку – партийный оратор. Если не помогать, так лучше б и помолчал. Но и его просить неудобно.

Крупным шагом пошли через двор. Одет был Комаров в суконную замызганную куртку, рукава сильно не доходили до запястий, но не видно, чтоб холодал, и нёс железки со склада большими незябнущими руками.

Он – строгальщик был по металлу, свой обуховский, здешний, это хорошо. Однако ж – партийный, эсер, и за что-то же вознесен в Рабочую группу, один ото всего завода. Значит язык разговорённый?

А – крепкий, рослый дядька, и по рослости не должен быть слишком

беспокойно-настырный, как выпирают иные маленькие, чтоб их заметили.

Но если Дмитриев будет о траншейной пушке, Комаров вылезет – о сплочении пролетариата, куда загнала нас реакция, а жандарм надуется в углу, а рабочие умы – расступись на три стороны, – так вся речь утечёт в решето. И прямо в упор:

– Григорий Кирьяныч. Соберём – и что?

Тот головой повёл, плечом повёл:

– Что требуется.

Остановились: по заводской колее перед ними подавался задом медленно маневровый паровоз и ташил на вывоз к воротам две платформы, на каждой – по новенькой 48-линейной обуховской пушке, в густой смазке, но ещё без чехлов.

Недавней конструкции, ещё на фронте не виданные, среднекалиберные долгоствольные красавицы-пушки.

Где прошла сцепка – рельсы стали мокрометаллические, а где ещё нет – в белом налёте мжицы.

Из кузни глухими, сильными, равномерными ударами стучал паровой молот. Дмитриев любил этот звук, в нём как бы сгущалась сила завода.

Прямо в глаза не смотрел Комаров – туда, сюда, на платформу и под ноги, где рассыпан был для суха ноздреватый лиловатый мелкий шлак.

Пока идти было некуда, Дмитриев обернулся к нему, тщетно ловя отведенные глаза:

– Григорий Кирьяныч, вы у станка ведь не работаете так, чтоб с одного боку деталь закрепить, а с другой расхлябать? А рабочегруппы так и делают: в комитеты идём, но не снаряды готовить, а народные силы, – спячку сорвать.

И вовсе паровоз перед ними остановился, то ли переподать.

Железки держал на открытой ладони. А сам закрыт:

– А промолчу – что рабочие скажут? О каких, мол, сверхурочных, когда два цеха вообще вон бастуют, полторы полочки требуют.

Опять потянул паровоз, и Комаров глазами перед собой пропускал медленные платформы.

И Дмитриев не мог оторваться, провожая эти пушки, по европейскому счёту 122-миллиметровые, их совершенные формы, отличные обуховские новые пушки с уже проверенной баллистикой, каких в начале войны и в эксперименте не было, а сейчас заставить бы ими если весь фронт, снабдить все пехотные дивизии – па-двинули бы Германию быстро.

– Да что скажут? Вот эти пушки! когда выпустили первые, вспомните? В декабре прошлого года. А сколько по сей день? Хорошо, если три десятка. Кто ж так работает, подумайте? Мы, рабочий класс!!... Демократия, режим, да буржуазию подталкивать, вот это в печёнках сидит. А прежде бы взяться работу показать. Рабочий класс...

– Не от нас одних...

– Ну, и от вас не меньше. Полторы полочки... Конечно, если прокламации на стенах, на станках, на колёсах, на стволах, сторожа ворохами выметают, а утром свежие, – так разве до работы? Узнали бы немцы, что такой завод – и таких пушек по две в месяц выпускает, – да животы бы надорвали.

– А почему нам одним животы затягивать? Почему другие не умерятся, кто богатый? Они – о войне много думают? Всё в карты играют.

На это отвечать нечего. С их горизонта – главное, что и видно. И там Дмитриеву было некого убеждать.

Стучал, стучал паровой молот.

Протянулись пушки.

Пошли дальше.

– Григорий Кирьяныч, что такое собрание можно собрать – спасибо и вам, и всем разумным людям. Но – не портите. Если уж будете говорить, так – не что по должности, а что глазами видите, по совести.

Внял ли, не внял, – молчал. Пошёл к себе в мастерскую.

Дмитриев заметил, что волнуется всё больше. Ещё минут сорок оставалось, да так темно прежде времени и на душе беспокойно, – потянулся к своим – тем несколькими рабочим, своей экспериментальной группе, с которыми много месяцев они готовили опытный образец траншейной пушки – вместе пробы делали, отбрасывали и меняли, сам Дмитриев включил их понимать, что к чему, просил думать и присоветывать, и бывали дельные советы.

Сейчас он искал их – призанять настроения в оставшийся полчас. Да через них должно уже и подыхивать – что его встретит на собрании.

Он пошёл в слесарку к Малоземову, заботному старичку, своему любимому Евдокиму Иванычу, но его не нашлось на месте. Предположили соседи, да и без них догадался инженер: в старой литейке у своего друга Созонта.

В литейке не увидел Созонта, подсобники перегребали, обогащали формовочную землю. Нырнул в шишельную, пристройку при литейке, – там! В это их излюбленное укромное местечко собирались они не раз, рисовали шишки, цапфы, шарниры, сочленения, чтобы наипроворнейше пушка их собиралась-разбиралась на перенос. Тут и были сейчас. И седенький Евдоким Иваныч, мало что росту невысокого, а ещё, по своему обычаю, и сев пониже на чурбачок, и махорочной газетной козьею ножкой попыхивая. И лобастый головастый Созонт Боголепов, мало что здоровей и ростом, и в плечах, – ещё и стоя, просторной спиной прислонясь к шкафу с моделями, и руки за себя – для куренья ему не надобны, так любил он стоять, ворочая на говорящих лысую тыквищу головы. Двое шишельников – один формовал, другой так сидел, без дела, обвиснув. Да парень носил на подносах из сушилки сухие шишки, на полки раскладывал. Да за одним верстаком шуплый столяр быстро управлялся в работе и не уставал частить-говорить таким же проворным тонким говорком. Да чахоточный впалогрудый унылый модельщик сидел на верстаке, не работал. И один верстак – пустой. И хотя ещё табуретка была свободная – Дмитриев тоже сел на пустой верстак, как в подтверждение, что свой. При его росте свешенные ноги доставали пол.

Старая литейка не отапливалась от заводской котельной, но здесь, в шишельной, стояла чугунная печка и сейчас, как всегда, пожирала обрезки и стружки, отдавая тёмно-красный накал. Воздух был сухой, тёплый, весёлый, приятно войти. Не простыл Дмитриев, а тепла хотелось.

Он был уже тут настолько свой, что не прервал, кто как был, так и остался.

– В общем, всю нашу таинственность продал он за три миллиона золотых рублей. И деньги получил от самого директора банка, – частил проворный мелкозубый столяр, а фуговал. – Теперь все наши планты у Вильгельма как на ладони.

В халате, с рейсмусом из кармана, столяр быстрым ловким движением ослабил винт верстака, переложил деталь другим боком и уже завинчивал. И не умолкал:

– А с чего началось. Немцы через его присылали царице лекарственные травы, значит, для царевича. Какие в Германии рощены, а в Расее не бывают.

– Врёшь, – молвил Созонт. – Таких трав нет, какие бы в России не росли.

– Ну, говорю! – взялся столяр за фуганок, а тот был ему едва ль не в полроста, от пояса до лба, и хватился фуговать, очень спеша. – А за что б тогда она выпродавала?

– А что, – вздохнул модельщик. – Очень вероятно у них и от чахотки произрастают.

– Да, так они травы присылали. Через этого Распутника. Он – царице подносил, а та ему всяк раз – конвертик за своей сургучной печатью. А в конвертике – что ей государь за то время проговорился, всё она записывала. И спрашивала Вильгельма, каких министров снимать. А их императорское величество – не в отца своего, мягкие очень. А в другой раз уговорено было, на какой фронт ейный лазаретный поезд иде, – там и будет наше наступление. А при Распутнике ещё состоял такой жидок, кажись Рувим Штейн. А у жидка того конь такой, что ль невидимый, он сразу – скок и к Вильгельму, скок и назад.

Не верили.

– Ну, може до самого Вильгельма не доходил, не знаю. А только и он миллионщиком стал. Теперь вот попался, говорят. Схопали.

Удивился Дмитриев: даже о Рубинштейне сюда дошло, только эдак. Не первый раз среди рабочих ему приходилось в этом роде слушать, это было как после сильного бурового дождя река взмучена, взрыжена, и несёт по ней мусор, хворост, брёвна, – перенять этого не может никто, жди, пока само пройдёт... Он и не пытался встревать, он знал, что переубедить всё равно невозможно. Ужасала глубина их невежества, но и тревоги: откуда им, правда, всё знать? Ужасали стены непонимания, нагороженные по России поперёк.

– В общем, дали немцы нашим министрам миллиард, чтоб они уморили миллион людей, по тыще рублей за человека, хошь бы и не солдат. И граф Федерикс за всех деньги взял. И в Питере, вот уже, с голоду смаривают... А ещё слух есть: в Царском Селе, в лазарете, один ранетый офицер в царицу стрелял. За то, что она немцев одобряет. Не попал.

Хотелось бы Дмитриеву подсесть к Евдокиму Иванычу – некуда, с Созонтом тоже у шкафа не станешь, и отзывать их неловко. Да и не было прямого вопроса. А была вот – роковая, вековая стеснённость перед тем, как говорить с рабочей толпой, виновность без вины, какая-то уязвимость, хотя был он перед ними честен, чист, и на своём месте, и своё дело знал, и в куртке рабочей, и телом здоров, и не косноязычен, а позавидуешь столяру-хорьку, этот и перед тысячей выскочит, не сробеет:

– Так что теперь пропало наше дело! – бойчил, фуговал, вот опять уже отвёртывал. – Советчики у его императорского величества все подкуплены. Аж до самого Питера мы запроданы. Пришёл от Вильгельма приказ: развалить всю Расею. – Впрочем, без страха, даже с весёлым злорадством.

– Ну, чего несёшь, острозубый? – лениво сказал Дмитриев.

Да и без него никто сполна столяру не верил.

Но и разубеждать начни – тоже не разубедишь.

Проглядывая отфуговку под дубовый угольник, столяр:

– А ещё есть тайное распоряжение: всем офицерам Елисеевскую ночь делать.

– Какую? – спросил модельщик.

– Елисеевскую.

– Иначе как-то, – сомневался тот. От чертежей ли, грамотный он был.

– Как же эт, ночь? – дивились шишельники.

– А вот, у кого специальной бумаги не найдётся – всех зараз кончать будут, и на фронте, и в тылу.

– От кого ж распоряжение?

– Значит, есть от кого, – со знанием обещал столяр.

– Подожди, – вник Дмитриев. Ведь это ж не в одной тут шишельной, это и по всем заводам так? – Откуда это ты всё, откуда?

– Да куда ни придёшь – везде одно говорят. И у нас тут рассказчики ходят. Социалы разные. И тоже жидки. Мол, вот заполыхает, пождите.

Да ведь это ужас разносился, зараза – и что же с ней поделать? Но ведь и повсюду, и выше – только в других словах.

– Мутят, как воду в сажалке весной, – пыхнул с чурбачка Малоземов. У него уж зубов иных не было, в разговоре слышалось, а седыми усами прикрыто было беззубье.

– Разворужился народ, – молвил Созонт от шкафа.

Созонт и Евдоким были земляки. Как и многие петербургские рабочие, не переписанные в мещан, они писались в виде на жительство и при каждой регистрации или полицейском обходе повторяли вслух, напоминали сами себе: крестьянин Новгородской губернии, Старо-Русского уезда, Залучской или Губинской волости, – хотя на Обуховском заводе без перерыву работали: Созонт – уже двадцать лет, а Евдоким – двадцать пять. Как земляки, они и на заводе землячествовали, и семьями были сойдены, и когда говорили “у нас” – то и через двадцать лет это не завод был, а – места родные, где семеро речек у них и все Робьи, и куда Евдоким полагал перед смертью добратся, чтобы похорониться там. На

петербургском кладбище ни за что не хотел.

А разговор между тем погуживал, и опять всегдашний, вечный и бесконечный – о ценах. Привыкнув к многолетней неподвижности российских цен, как если б вlepлены они были в сам товар, в само существо вещи, – русские люди только обомлевали от несусветного военного роста цен. Как ребёнок, учащийся говорить, старательно пытается снова и снова выговорить неподдатное, удивительное слово, так и эти простые люди снова и снова выговаривали и друг на друга смотрели, проверяли: да так ли? да может ли это быть? Хлеб из четырёх копеек фунт да шесть – это как будто сама земля зашаталась. Чай! – уже по-прежнему не попьёшь. (Селёдка была четыре копейки фунт, а теперь 30! Да обутку-одежку возьмите! Калоши были рубль тридцать, а теперь нате, четыре с полтиной. А чем отапливаться? – эт на конец войны не отложишь: дрова (берёзовые были семь с полтиной сажень – я теперь уж за двадцать. И неудержимый осатанелый этот рост день ото дня следя – как иначе им истолковать, чем чей-то злою жадной рукой, которая эти деньги себе загребаёт: ничем другим нельзя объяснить, почему предметы перестали стоять свои, извечные цены? Кто-то невидимый, злой, заговорный – обогащается за счёт простого люду: они там, наверху, все сговоренные. Почему товаров нет? Прячут, набирают деньги на наших слезах, жиреют в укрыеве. И руками их не цапнешь, не знаешь, где они. И в экипаже едут – не дотянешься.

Но уж если вчера нельзя было на цены рот не раззявить, то и вчерашнее дивленье рядом с ещё новым в меру не шло, и даже из жуткого почти и веселовато становилось: как будто эти дикие цены уже и не могли касаться их, здоровых людей, а вчуже злорадно посмотреть, во что ж они выпрут?

Да их-то и не касалось, баб касалось. Те денежки на прилавок выкатывать реберком – бабам, не им. Вот иде сердце отрывается.

– Что бы! – отозвался Евдоким снизу. – Выкатывать! Ещё до того прилавка достойся. Мы вот пошли на работу, и тут в суше, в тепле, в коперативной столовой пообедали. Называется лишь – работа, а всё ладом. А бабе – платок обматывай потеплей, да иди под морозгою стой – и два часа, и три, и ещё дождёшься ли. За свои деньги. А малые – с кем? И дом разорён.

Говорил Евдоким Иваныч с той сроднённой сочувственностью к жене, какая только к старости приходит, когда сам в её шкуру влезаешь. В мелких морщинах, протемнённых железной пылью, с потухшими глазами, он всегда выглядел и говорил невесело, даже когда улыбался вполгубы из-под усов.

– В тепле, пра! – радостно отозвался парень, шишельный ученик, и сунулся к печке ещё подкинуть. – Дома с угольком худо, не нагреешься.

Уж и дверцу открыл, а не лезло, ломать надо.

– А глаза есть? – строго спросил Созонт. Не поспешно, а остановил к часу.

Понял парень, не понял, почему эту рейку нельзя, но послушно отставил, уже приопалённую, кинул обрезков поплоче, неструганных.

Хвалили карточки сахарные: что справедливо – то справедливо. Ещё недавно: богатый – по какой хошь цене схватит, а бедному – шиш. А теперь на всех едоков поровну, это – по правде.

Голодали бы все поровну – и не обидно нисколько, и не стонь. То и жгучей всего, что – неравны, что одни – за счёт других.

Вот бы так – и на мясо талоны. И уже уставляли, почему отказали? Говядина, что ж это, голова закружится: 45 копеек за фунт? Да вы залютели? Да кто ж это в силах выдерживать?

И – с молоком бы ещё так. Питерская вывороченная жизнь – не привезли молока, и нет детишкам, и не сходишь в хлев надоить. В селе Михаила Архангела, вон, есть коровёнки, так в эту неурядицу сена не наберёшься. Как к этой жизни можно привыкнуть даже и за двадцать пять лет?...

А ведь питерский рабочий заработок ни с каким местом России несравнен. Сперва даже шептали, рассчитывали: за войну ещё загашник поднабьём. И с тех пор возвысился вдвое,



считай. Но цены – упредили, цены убегли – куда-а-а!

Во всяком положении можно сравнивать вверх, можно вниз. Напомнил им Дмитриев: а солдаты – вам завидуют: тут снаряд только со станка снимай да грузи, а там под него голову клади. Не захочешь этих и полфунта мяса.

Верно. Верно, в Питере во всяк ляд ещё жить можно. А поди в окопах покручься. Тут хоть десять, хоть двенадцать часов отработал, а под свою крышу спать иди.

– А вот нас и погонят скорой.

– А больше бастуем – так там и будем.

– А тут – кто за нас?

– Китайцы, кто!

– Кита-айцы? – первый раз работу покинул и обеими руками развёл поворотливый столяр. – А что они могут, китайцы? К какому станку?

– Обучат, – с чурбачка Малоземов. На его жизни кого не обучали.

– Да он и подсобником сразу слягет, китаец! – занозился, пронзился столяр. – Рази два китайца ваш ковш подымут, в литейке?

– Да ты сам – крупней ли китайца? – Созонт сверху.

– А я и не подымаю! – за рейсмус схватился опять столяр и за новые рейки. Он на сдельщине был, вот и гнал.

А остальным – невторопяху.

И знали же все, что собрание ждётся, и кто пойдёт на него, – а не касались, как мнил инженер уловить, послушать.

Самому начать? Как-то не выговаривалось.

Малоземов старыми понятливыми глазами поглядывал на инженера с чурбачка. Понимал, что тот пришёл за подсобием, но не туда разговор шёл.

Разговор барахтался, барахтался, и так просидел Дмитриев между ними полчаса, не утвердись, а ослабься. Вот – чем жили они, и какая была надежда, что пятьсот рук да схватятся за траншейную пушку?

Только уже когда позвали, крикнули, и сдвинулись – Евдоким Иваныч в литейке взял инженера за локоть, и сочувственно, как давеча о бабе своей и о коровах в Михаиле Архангеле:

– Главно, Митрич, говори смело, как агитаторы. Не давай перебивать. Крикнут – а ты им. Мы, рабочие, видишь, в таком положении – ни порознь один. Мы как камень единый: или все в энто бок, или в тот. Расколотся нам – не дадено. Брать – только всех до единого. Вот так и бери.

### 33

С этим и вошёл Дмитриев в большой механический цех, где под верхней фермой ещё добалтывался, ещё долго покачивался отцепленный поднятый крановый крюк. Тут должен был Дмитриев разговаривать со старшим инженером, отвечать на поклоны мастеров, всё рассеянно, – сам же напряжённо смотрел на сборки.

На этих рабочих, по отдельности как будто доступных любому простому разговору. А когда при смене вываливает их во двор сразу пятьсот-шестьсот – чёрных, слитных, загадочных, чужих, – не успеваешь вспомнить, что можно с каждым говорить и работать, но почему-то потупляются сами глаза, отводятся, и бессильно признаёшь неизбежное: то **вы**, а то **мы**.

Неизгладимо проведена эта черта и как научиться переходить её, не замечая, или хотя бы **им** не давая заметить?

Так и сейчас: когда они в массе переходили, садились, вспрыгивали на плиты, на гладкие выступы своих станков, а в центральном проходе поперёк вагонеточного пути ставили скамьи для пришедших из других цехов, – в этом новом объёме и качестве они были не испытаны, страшноваты. Много чугуна, стали, железа в тяжёлых массах покоились и

передвигались в этом цеху и по всему Обуховскому заводу, но на то были неотклонные, раз навсегда одинаковые формулы механики, известные приёмы, ухватки, краны. А эти двести-двести пятьдесят собираемых вместе живых рассыпных мягко-телесных людей превращались в массу неведомую, с формулами неизвестными. Это уже – не инженерство было. Зря говорят про политических деятелей, что они болтуны, это – большое напряжение.

И прав Евдоким Иванов: рабочие только и мыслимы в массе, только к этому и надо быть готовым. Одиноким крестьянин умеет двести дел, обнимает собой и своей семьёй – двести ремёсел, и наиболее полон, когда он один. Одиноким рабочий – ничто, будь он искуснейший слесарь, как Евдоким: в каждой работе ему отведено всего лишь одно дело или даже одна часть одного дела, а полнота – лишь когда собирается их двести.

А вахмистр – пришёл, конечно. Широколицый, с большой значительностью осанки, как будто знает тут больше всех. И, ни с кем не заговаривая, сел на табурет сбоку оратора, чуть позади.

Портил он весь вид. Лицо Дмитриева портил перед рабочими.

Мастера группкой.

Комаров темнокожий, небритый, в сторонке. Уступал начало.

Кто в чём работал, в тёмных косоворотках навывпуск без поясов, или в куртках, или в старых пиджаках, – рассаживались теперь. И только кепки, при работе у всех на головах, – теперь, хоть и в том же цеху, по обычаю, без команды, без приглашения – а снимали. Кто-то снял, остальные за ним, и вот уже – все до единого. И куда её? Брали на колени. Вертели в руках.

И этими снятыми кепками, да ещё сдержанностью разговора, почти молчанием, показывали, что – понимают особенность этого собрания.

А снявши кепки, открыли свои головы – редко стриженные наголо, по-солдатски, редко и пролысевшие, как бывает от изнеженности, а – дружно густоволосые, неиссякаемая ещё природа. Да подстриженные кто как, и домашними ножницами, чтобы не тратиться на парикмахера.

Нет, они не благоденствовали. Утруждённые, озабоченные, прихмуренные лица. Не угоняется заработок за скачкою цен – что им эти сверхурочные, только силы терять? По-своему, они правильно отказывались от сверхурочных.

Но лишь по-своему, свою овчинку стянув на груди, свою нахлобучивши кепку, пока под острым невским ветром добежишь до своей квартиры.

Уже начавши речь про себя, ещё не начав её вслух, Дмитриев пропустил собственно начало. Он стоял – выпрямленный, приготовленный, весь – в глазах, раскрытых на рабочих, и в поколачивающей груди, и уже ждали, смотрели на него, а он пропустил посоветоваться и подумать: самое-то первое – как же? собранных вместе двести – как их называть? **Товарищи?** Нет, подыгрывание, пошло, да при жандарме и закрыто, он не хотел революционного тона. **Господа?** Кур смешить. Велик-велик русский язык, а повернуться негде, если б не:

– Братцы! Некоторые из вас... – покосился, где свои сидели, кучкою стянувшись. Малоземов маленький заслонён был, не видно, а светила, возвышалась строгая лысая тыква созонтовой головы, -... знают, что у нас отделан опытный образец траншейной пушки, и теперь она пускается в серию. Сейчас как раз подошли дни, иные станки и даже мастерские надо перевести на неё целиком. И вот я... просил администрацию... и представителя Рабочей группы... созвать вас, кому придётся участвовать, чтобы... – Разве нужно какое “чтобы”? разве не “делай, что говорят”?... -...чтоб объяснить вам, что это за пушка и к чему.

Насторожились – лохматые, челюстные, исподлюбные, простодушные, прищуренные, все почти безбородые, с усами редко, а то гололицы, щёки сжатые, губы недоверчивые: с чего б – **объяснять** ? Какою-нть дохлую собаку подсаывают, стерегись.

И правда, каким же будешь в этих петербургских камнях? Через камень не подсачивается к тебе из земли ни сила, ни свежесть, ни верный совет. А в уши толкут, толкут... Елисейская ночь...

Но слышал Дмитриев сам свой голос и был доволен – звонко выносил, твёрдо:

– Надо вам понять, что в этой войне многое пошло, как ждуть не ждала ни одна армия. Вот и артиллерия. С тех пор, как её изобрели, она существовала как бы отдельно: стояла – отдельно, стреляла – издали, с пехотой не смешивалась. Но современный бой так густ и быстроизменчив, что артиллерии быть от пехоты далеко и отдельно – нельзя. Например, пулемёты так внезапно возникают и исчезают, в такие короткие минуты надо справиться с ними, что артиллерийский наблюдатель, даже если он в гуще пехоты, не успевает по рвущимся проводам сообщить на свою глубинную батарею, и пристреляться, и накрыть.

Не сложно говорил? Кажется, нет. Появлялся интерес на лицах. Почему не послушать? За слушанье шкуры не снимают.

– Такая у нас и есть трёхдюймовая полевая пушка, вы знаете. Пушка прекрасная, настильный огонь вот так, – рукой показал, – хорош-шо поражает. Так что одна батарея может в несколько минут уничтожить батальон пехоты в сомкнутом строю или полк кавалерии.

*(Хорошо поражает! ...)*

– Но именно из-за этой настильности ей приходится умолкать, когда наша пехота сойдётся с противником ближе саженой полутораста: чтоб не попадать по своим. Именно из-за настильности и не поставишь её близко и не будешь стрелять через головы своей пехоты. И получается, что в самый тяжёлый опасный момент, когда наша пехота расстреливается пулемётами врага, она лишена поддержки своей артиллерии.

А что? Кажется забирает: слитно, молча, всё серьёзней смотрят на инженера. Да кого ж это может не забрать?

Завтра это может стать твоя судьба, любого из вас, из нас... Третий год они работают на войну, третий год висит над ними как кара – воинский начальник, маршевая рота, пошлют в окопы, – а что они о той войне знают? как пушки их, выпущенные отсюда, потом стоят, перекатываются, стреляют?

– Или так ещё, острее и опасней: когда наша пехота с жертвами, усилиями, прорвёт неприятельскую позицию и ворвётся в его траншеи, в этот момент, когда всё расстроено и перемешано, все не на своих местах, не все и при своих командирах, а уж о телефонной связи и говорить нечего, – в этот момент пехота лишается и артиллерийской поддержки: и связи нет, и дым, и пыль, издали не видно, всё перепуталось – кто ж решится открывать огонь? И получается: за победу, за успех, за понесенные потери наша пехота попадает в особенно беззащитное состояние, и ничего не стоит из победы опрокинуть её назад и много побить.

А главное, горячилось и билось в груди, что, кажется, черту мучительную стеснения он переходить начал, и как-то незаметно, и даже уверенно – при осветившихся одним, другим, пятом, седьмом лице. Да ничего ты у них не украл, ни в чём не виноват, зачем же тебе глаза тупить?

И – всё больше глаз на нём. И – интерес, и – пристальность. И стрижка домашняя трогательная. А там-то, братцы, там наголо бреют, и с головою вместе.

– Так вот и выяснилось, уже в боях, ценой крови, что нужна артиллерия сопровождения, которая бы следовала как можно ближе к своей пехоте и открывала бы огонь при всех обстоятельствах, тотчас же – и видя всё своими глазами! А этого как добиться? Для этого наша трёхдюймовая пушка – не приспособлена. Весит она в походном положении больше ста двадцати пудов. Это значит – если дорога крепкая и гладкая, то тянут шесть лошадей. А чуть хуже – впадина, топко или пахано – надо подпрягать до восьми, а то до десяти, и номерам ещё толкать. А на поле боя какая ж дорога? Самая наихудшая. И лошадей этих не наберёшься, и их переранят вмиг. Одним словом: если артиллерии следовать за своей пехотой в бою, то не на лошадях.

Отлично слушали. Из-за плеч вытягивались, кому худо видно. Кто рот пораззявил, кто охмурился, кто осунулся. Но все понимали, принимали, сопротивления или насмешки не ощущал Дмитриев, и уже мог поддержку черпать не только в своей группке, а – почти в

любом лице. И откуда берётся у них эта злость, эти крики и взмахи при уличных столкновениях, как пять дней назад на Большом Сампсоньевском? Не шибко лица развиты, да, помертвей, поодинаковой крестьянских, – но лица наших же черт, но внятные русскому слову, но открытые для тёплой речи. Каким же презрением или чёрствостью надо их так отчуждать?

– А значит артиллерия должна стать ещё легче и мельче. Разборней. Артиллерия должна стать такая, чтоб не ехала, а *шла* с пехотой плечо к плечу и выполняла бы её заказы – в ту же минуту. Пушка должна стать такая, чтоб люди прыгали с ней как козы и лезли бы в те же самые траншеи, что и пехота. То есть *траншейная пушка*, или окопная. Вот такая самая, как мы и сделали сейчас, наша группа мастеров.

Заулыбались. Не *свои*, эти строго, наоборот, эти всё давно понимают, – заулыбались те остальные двести. Оттого что привели их к простому ясному концу. Оттого что: мы – вот какие на нашем заводе, что умеем.

– Наша пушка такая именно: разборная. В походном положении – семь пудов. Втроём всегда перетащишь, верно? А в узком месте и вдвоём перехватить?

Как будто – спрашивал инженер. И сочувственно, но и негромко, загудели, забурчали, заоборачивались: втроём? вдвоём?

– А лафетик ещё отдельно четыре пуда, это уж на двоих, хоть и бегом. А снаряд – фунт с четвертью, по карманам можно совать. И такая пушка даёт 8 выстрелов в минуту!

– А далеко бьёт? – осмелился мастеровой из самых тут молодой, повеселевший, безумышленный.

– Да можно – на три версты! – сразу ему Дмитриев. Заудивлялись, гулок пошёл.

– Но – не нужно. Чаще будет бить на триста саженой, как глазу видно. А заметил её немец – разобрали, согнулись, перетащили, хоть и по дну окопа.

Одобряли пушку. Весёлый гулок расширился, отвердел.

Уж разогнался Дмитриев объяснять и дальше: чем эта пушка отличается от бомбомётов, от миномётов. И что есть уже мелкокалиберная траншейная артиллерия и у немцев, и у французов, отстали мы одни... Но почувствовал, что – лишнее и даже отвлечёт, ещё неизвестно, задор ли вызовет, что у *нас* одних нет? или горечь – отчего же мы такие?...

Он запнулся и на другом, чего не предвидел, ещё не зная успеха: а как они будут решению принимать? Ведь не голосовать же, наверно? Или голосовать? Массой рабочих, где и лучший мастеровой не единоличен, а зависит от остальных, – как вообще всегда принимается?

Да это – Комаров должен знать. Первый раз он оглянулся на Комарова. Тот – ничего, благоприятно слушал, и не уклонялся, что доволен, беспартийно, по-человечески. Он тоже ведь об этой пушке толком не понимал, вот первый раз.

И – на жандарма Дмитриев оглянулся, лучше б не оборачивался, своими глазами не казал бы его забывшим слушателям. Вахмистр, всё тот же гладкий, рассказом не возмущённый, но и не тронутый, на сборище смотрел, не ожидая добра.

А мы уже вот и заодно:

– Так вот, эта пушка, братцы, опаздывает на фронт, уже давно б ей там быть, с минувшей весны. А мы успеем ли – к следующей весне? Много их надо, просто сотни! И только наш Обуховский будет выпускать.

Однако добродушному рассказу есть предел, как и вере добродушной. И с чистым сердцем не всё по-чистому можно вываливать. Честно бы до конца: а почему задержались? А к прошлой весне, а к лету – почему ж не успели? А потому что, потому что... очень долго держали и пересматривали эти чертежи в высоких инстанциях, дремали и брюзжали над ними старые развалины-генералы, одной ногой в отставке, а всё не уходят, расстаться с креслом жаль. Дремали над ними, кто сам никак не угрожаем был отправиться в те траншеи и не сочувствен к серой нашей скотинке, сидящей там. Это они потеряли почти полный год. А вы, братцы...

– А нам, братцы, надо сейчас эти пушки проворно выпускать, чтоб ни одна станочная

линия не отдыхала...

А впрочем, что ж вы, братцы? вы все – учётные, и тоже не многие угрожаемы отправиться *туда* ...

– Я вот в августе вернулся с Двины. Испытывали мы эту пушку. Солдаты просто нарадоваться не могли: с ней-то – жить можно! скорей бы! поторопите там, в Питере! Вы подумайте, эта пушка – сколько жизней спасёт, наших русских солдат, наших братьев!

И – голосом полным, и – в лица, в лица:

– А вы... А вы на днях приняли решение отказаться от сверхурочных. Там, на Двине, если б сейчас рассказать, что мол питерские мастеровые время меряют... после смены гнушаются остаться, и пушек не будет...

Он – верил! Он – там, в двинских окопах, сейчас побывал, и там сказал это, и вместе с теми задрожал от обиды:

– Весь завод как хочет, но вас, братцы, я... прошу... Мы просим... Вот, и Рабочая группа... Облегчить их кровь.

Хотя просил – но уже твёрдо просил, убедаясь в их поддержке, в простодушном сердечном сочувствии.

– Нашим мастерским, отобранным здесь, надо стать на круглосуточную, и по воскресеньям тоже. Сверхурочные разделить между сменами.

В нетерпеливых мыслях он уже разводил их по рабочим местам, уже зная, кому что придётся делать, уже видя, как завтра с утра...

Сопротивления – нет, не было. Но заминка – была. Но весёлость та привяла, а – покашивались друг на друга, поглядывали. На Комарова. На жандарма.

Да, верно, никто ж из них не был отделен, сам по себе, как же им принять решение? Траншейная пушка – да, хороша, понятна, и братцы с радостью, но – кто-то сильный первый должен выявить их волю, и сразу все согласятся.

А Комаров – что-то медлил, не чувствовал себя тем первым главным, кого-то глазами искал.

И вдруг из-за всех спин, из-за металлической опорной колонны кто-то невидимый, но полногласно, прячась – но властно, резко, дерзко, насмешливо, даже по-петушиному закричал:

– А кто начинал – тот пусть кровь и облегчает! А нам – Рига не нужна, пушай её немцы заберут!!

Не ожидал! Не ожидал Дмитриев! Это был тот самый крик, о котором Евдоким... Надо сейчас же – в ответ! ещё громче! находчиво! – а что? Так глупо – пусть немцы?... А он из всех сил им рассказал... И что ж тут отвечать?...

Не успел. Не нашёлся. Да и миг даётся только один. Растерялся.

А жандарм – тот сразу вскочил пружинно и с цыпочек – глядь! И быстро-быстро пошёл туда.

А там – свои спины рядом. Ищи свищи!

Только хуже сделал.

Двести же пятьдесят сидели и молчали. Головы опустил.

## 34

Вечерняя смена уже вся была в заводе, дневная вышла и вся растеклась: прошли те короткие десять минут, когда залито чёрными людьми расширение Шлиссельбургского проспекта перед заводом гуще любой демонстрации или гулянья. В таких-то скоплениях всё и случается, но не случилось ничего. Одни ушли к заводскому двухэтажному рабочему посёлку, другие растеклись по переулкам; кому не далее Стеклянного городка, пошли по проспекту пешком; кто набил паровичок, все три вагона, внутри и снаружи, и ещё другие остались ждать на остановке. Площадь перед заводом, ярко-светлая от многих электрических фонарей, расчистилась. И открылся – трёхцветный флаг над заводскими воротами (день

вступления на престол). Городовой на перекрестке. Медленно проходящий проспектом полицейский патруль (нарядили патрули после волнений). Запоздавший ломовой с перегруженным возом, и лошадь его при кнуте только кивающая, но не прибавляющая шагу. Свет в окнах и часто открываемая дверь жаховской портерной, по-нашему пивной. Закрытые косыми болтами ставни и двери мясной лавки и булочной. По ту сторону проспекта – ещё и церковная паперть, где, судя по огням притвора, шла вечерня. А по сю сторону – аптека. И маленький, прилепленный к длинному заводскому забору домок больничной кассы.

Вечер стоял всё такой же предзимний – с мелкой морозгою, почти не заметной против фонарей, с лёгким снежным налётом на нетронутых местах мостовой.

В домик больничной кассы на виду у постового и патруля – заходили, и не только заводские, какая-то барышня вошла в приталенной шубке, в каких не ходят на дальней Невской стороне, но это всё проверять уже не полиции было дело, им не поручено, пусть занимаются, если кому надо. Знала и полиция, и заводская администрация, что в больничных и страховых кассах, заведенных за два года до войны, постоянно копошится что-нибудь незаконное, затёсываются туда посторонние, – но именно к кассам политичнее считалось не придирается. Да после того, что бурлило в начале недели на Выборгской, городовому и спокойней было самому не соваться и неприятностей не наживать: стоишь, не трогают, и стой.

А в больничной кассе, кроме сеней, всего-то и было две комнаты, и в первой, правда, считали на счётах, заполняли ведомости больничных пособий, увечных пенсий (хотя и между ними служащие раскладывали и переписывали рукописные ходячие листки). Зато служащие второй комнаты ничуть не удивились, что вот пришёл Машистов, свой заводской, простой рабочий, а не простой, известный связями и делами, и кивнул служащим: – выйти. Значило: будет тут разговор, *явка*. Двое служащих прихватили бумажки, ручки, чернильницу, промокательную колыбалку и перешли в первую комнату. А сюда сразу же вошли строгий молодой человек в драповом песочном пальто и толстом тёплом рыжем кепи и та барышня в шубке дорогого сукна, но по-простому покрытая оренбургским платком.

– Привет, товарищ Вадим! – встретил молодого человека сорокалетний Машистов с прямоугольным неподвижным лицом.

Молодой человек снял мокроватое кепи на картонную бумагу, застилавшую главный стол, пожал руку Машистову и познакомил:

– А это – товарищ Мария. Иногда будет вместо меня. Запоминайте.

Не так-то строго было на обуховской проходной, когда нужно было – проникал “товарищ Вадим” и туда, и где-нибудь в каморке собирали человек и по двадцать, но сегодня не требовалось, и зря не мелькать-не дразнить, назначили тут. Да не главная ли польза больничных касс и была не та жалкая подачка, какую они кидали рабочим, – бесплатные там лекарства, лечение, две трети заработка при болезни или несчастном случае, а именно вот эта легальная возможность собираться под крышей, проводить агитацию, организацию и конспирацию без помех? С каждым годом такие возможности ширились: учреждались ещё рабочие кооперативы, заводские столовые, всё новые и новые удобные места явок, встреч, передач и просто устного убеждения. Несмотря на войну, с каждым годом работать становилось всё легче, всё ближе к тому, как вспоминали старшие (не сам Вадим, ему только 22), как это было в революционные годы. Выжили и в мутный Четырнадцатый год, когда одурели все от шовинистического смрада, когда, рассказывают, при простых рабочих нельзя было и заикнуться против этой войны, листовок в руки не брали, и писать их уже отчаялись, и свою партийную принадлежность скрывали даже от соседа по станку – могли избить. Уж хуже того времени не придёт никогда.

– А остальные? – спросил товарищ Вадим, не снимая пальто, лишь вытянул с горла шарф бурый с красными клетками, положил на главный стол. Пригладил рукой свои светло-серые с прорыжью шерстяные упругие волосы, даже кепи не примятые, опять в пружине. И сел за стол. Вопреки своей молодости, он манерами вызывал безусловное уважение.

– Сейчас должны. – Машистов подавал слова крепкой челюстью, размеренно, неспешно, значительно. – Уксилу немного задержится.

Уксилу задержится, Макарова тоже не было, но вошёл Ефим Дахин, резкий в движениях и как будто сильно нахмуренный, а нахмурен он не был, но так получалось от глубокого запада его малых глаз.

– Привет, Вадим! – отрывисто, грубовато здоровался он. Темно посмотрел на девушку, но познакомили – поздоровался, как и с мужчинами, за руку. – Привет, товарищ Мария!

– Здравствуйте! – каждому говорила Мария, почтительно подавая руку, с приклоном, от полноты теплоты в голосе негромко. Она не снимала, но расстегнула шубку на груди, откинула на спину мокрый платок, показалась чёрная косоворотка с яркими студенческими пуговицами. И как ни строго ровным зачёсом назад были убраны её тёмно-русые волосы, и как ни строго, далеко от того, вели себя мужчины, нельзя было не заметить – красавица!

А Дахин вошёл не один и тут же показал:

– А это – гордость нашего механического цеха Акиндин Кокушкин!

Стоял за ним парень с шапкою в руках перед собой, сразу видно – не партийный, не опытный, разъявленный, со лба отлогого волосы откинута как ни попадя – на уши, на затылок, куда нагладились, лицо худощавое, ещё безволосое, и рот приоткрыт – от радости.

– Ну-ка, Кеша, расскажи, как ты инженера отбрил! – мрачно любовался им Дахин.

– Да что...? Чего?... Так вот... – ещё радостней заулыбался Кеша, открывая вихляво растущие зубы. А рассказывать – не мог, не умел такого.

– В общем, – взялся Дахин сам, глухо-хриплым голосом, – Комаров-лакей вместе с жандармом и заводоуправлением собрали нас на свой молебен. Во имя червового туза и золотого мешка. И сунулся инженер к сердцу самому добираться. Чтоб мы по ночам, по воскресеньям ещё новую пушку им делали...

Машистов знал уже, Вадим внимательно отнёсся, а Мария – распахнула, распахнула ресницы, открыла тёмно-карий взор, изумляясь и этой наглости инженера и этой смелости отпора.

– А мой голос все знают, так я Кешу научил: стань вот тут, за столбом, да крикни посильней, что тебе скажу, а я тебя прикрою.

А Кеша сейчас – и голоса того лишился, голоса дерзкого петушиного, и только улыбался кривоzubо, видя, как все, и баричи захожие, им довольны.

У Вадима – да, была какая-то породистость, для представления – хорошо, а например для драки плохо: кожа – белая, тонкая, не то что рукавицей, а ладошкою в кровь сотрёшь, белая, но не гладкая, а с пупырышками розовыми на сковыр.

– Хорошо. Очень хорошо, – сказал он и улыбнулся Акиндину. – Спасибо, товарищ Кокушкин.

Подумал – привстал, и пожал руку Акиндину через стол.

Тогда и Мария тоже встала, подошла – и пожалла руку Кеше. Да бережно как пожалла, или нежно как – зашло кешино сердце, голова закружилась. Барышня такая ему и издали не снилась, не то что прикоснуться.

Воротилась Мария, села. И Машистов опустил в стул медленным прочным движением. И Акиндин так понял, что и ему – сесть, да комната и тесна была на пятерых, чтоб расхаживать тут. И он – сел у ближнего же стола, перед собой на стол шапку положил. И улыбался.

И только Дахин один стоял. Хмурясь.

Вадим посмотрел на того, на другого. И замешательство заметил и оценил, что всё правильно.

– Молодец, товарищ Кокушкин, – сказал он чётко, ясно, закруглённо, как награждая каждым словом. – И всегда следуйте своему рабочему чутью, оно не обманет.

– Он и слесарь у нас не плохой, – добавил Машистов.

– Оно не обманет. Подойдёт к вам сборщик на помощь раненым, или там семействам убитых, или беженцам – что вы ответите?

Может и знал Акиндин, может и нашёлся бы ответить тому сборщику, – а сейчас? В нужное попасть не мог, да вымолвить ничего не мог, на барышню дивную косясь.

– Что вам подсказывает чутьё?

Не стянув губ, не покрыв зубов, смотрел Акиндин на бледного важного барича зачарованно.

Но Вадим и не ждал ответа. Неторопливо, сам себя слушая, а ясными глазами глядя на Кешу, объяснял:

– Надо ответить: а разве правительство спрашивало нас, когда затевало войну? Разве это мы виноваты, что оказались вдовы, сироты, калеки, беженцы? Вот кто затевал, кто их оставил такими, тот пусть и платит. Да разве морю народного бедствия можно помочь скудными рабочими грошами?... А подойдут к вам собирать на политических жертв, на сосланных, на венки или на семьи – вот это наш сбор, тут кроме нас, рабочих, никто.

Ни радостного, ни похвального уже ничего не было в этих словах, но Акиндин так и застыл, полуулыбаясь.

А Мария, не по молодости степенная, сидела с тем спокойствием несуетливой красоты, какое бывает в русских женских лицах. Слушала Вадима, не пророня, и переводила на Кешу, проверяя, и благожелательно на остальных.

– Вот на этот крючок патриотизма и ловят нас. У кого сердца молотом не откованные.

Образ! Мария не упустила его тёмными распахнутыми глазами. Как это верно и метко! Вот сидел через стол от неё Машистов. Не только лицо его как будто вышло из-под того молота – не уже к челюсти, не шире ко лбу, с твёрдыми неподвижными глазами, но и вся его осязаемая душевная железность – не от того ли откованного сердца?

А Вадим, не скупясь, продолжал и для одного Кеша, ибо остальным это уж слишком азбучно было:

– Надо открывать себе глаза, товарищ Кокушкин, что наш враг – не в далёкой где-то стране, за границей, а тут, у нас, рядом. До каких же пор будем поддаваться, что русский солдат – наш брат, ему нужно пушку скорей, а немецкий солдат, немецкий рабочий – что ж, нам не брат? Или не всё равно для пролетариата, кто его эксплуатирует – русский капиталист или немецкий? Кто вас слишком назойливо призывает спасти отечество, тому отвечайте старым обуховским лозунгом Девятьсот Первого года, вашим же лозунгом. Знаете, помните?

Где там Кеша, юнец, кажется и другие не знали, не читали. Но Вадим знал, хотя и не обуховец, и теперь уж для всех:

– *Наше отечество – там, где хлеб* .

Так, так, моргал Акиндин. Очень был согласен, польщён. Уходить – не собирался.

А Дахин стоял над ним, сердитый. Так и не сел.

Достаточно было сказано, но потому ль, что остальные не подошли, товарищ Вадим, белым носовым платком отерши углы рта, продолжил и ещё, так же ясно, гладко и без форсировки голоса:

– Нам – умирать, а им – только пир, им эта война хоть десять лет иди. Вам – бумажные деньги, а воротилы расхищают народное золото. Вот, например, что вы сейчас едите? Ведь нечего.

– Щи, картошку, – вспомнил Кеша. – Рыбу.

– А щи – без мяса?

– Когда и мясные.

– Вот. Да хлеб ржаной, ситного вы не купите. На этой еде разве по силам пушки отливать?... А что фабриканты кушают? Вы представляете?

Нет, этого Акиндин не представлял никак. Да и другие тоже. Там какие-нибудь рябчики, плавающие в сметане, неопишуемые, на земле не бывающие.

– Рубаха, – осмелел Акиндин, – раньше три четвертака и сносу нет. А сейчас как бы не три целковых. – Ещё оживился. – За угол я платил два рубля, а нынче хозяйка восемь требует.

– Вот. Вот. А ещё хотят объявить вас бесправным стадом, с завода на завод не перейти.



А ещё хотят вас в маршевые роты и на фронт...

Но уже за спиной Акиндина вошёл и стал длинный белый деревянный Уксила.

И хмурый Дахин сказал нетерпеливо:

– Ладно, Кеша, ты теперь иди.

Кеша опомнился, вскочил, взял шапку, радостно поклонился, поклонился – своим, чужим, никто больше руки ему не жал, – пошёл.

Вот теперь Дахин сел. Резко.

Товарищ Вадим улыбнулся:

– Никогда не нервничайте, товарищ Дахин. Никогда не жалейте времени на агитацию, она всегда себя оправдывает. Да вот вы и правильно поступили. Вы Кокушкина ведь не готовили постепенно? Сразу, да?

Имел в виду Вадим существующие разные методы вербовки и развития рабочих, прежде чем допустить такого в партийный круг: наблюдать за ним у станка, изучать его настроение в якобы случайных разговорах, давать задания сперва неотчетливые, вроде денежных сборов, потом – листовки переносить из мастерской в мастерскую.

– Вот, перешагнули смело – и оборонческую паутину порвали, и человека проверили. И привели его сюда, тоже правильно.

Дахин не терял своей хмурости – не выкатить было ему глаз из ямок, и губ не помягчил, – а в чём-то всё-таки видно было, что похвалой доволен.

Как слушали Вадима – заметила Мария. Насколько он был моложе всех, и какое признаваемое превосходство речи, ума, опыта.

Однако теперь остались только свои, партийные (очевидно, и Мария такая, раз он её привёл), – и все стали строже и сдвинулись ближе к делу.

– Товарищи, – сказал Вадим новым свежим тоном, не плавно-разъяснительным, как Кеше. – Я сейчас – с прямым поручением от ПК.

Пэ-Ка!! Это прозвучало!

– Петербургский Комитет очень обижается на обуховцев – как вы могли 17-го-18-го не поддержать Выборгскую сторону? Пальцем не пошевелили.

Только вздохнули в ответ. Машистов – тяжелей других. Машистов – заводской **организатор**. Главная тяжесть упрека – ему. Пошевелил прямоугольной челюстью:

– Что можем, делаем. Отказалась от сверхурочных. Сейчас два цеха бастуют. За полторы полочки.

– Тогда почему не все? – строго спросил Вадим. – Вот и смотрят в ПК на Невскую сторону, что мы ликвидаторам передаёмся.

– Ну уж! – вырвалось у Дахина зло. Глаза его иглили из углубин.

Вадим развёл белыми крупными мягкими пальцами (он не стыдился своих нерабочих рук, они наработывали лучше):

– А как же? А 9-го января? Весь рабочий Питер бастовал, одна Невская работала. Чем мы отговаривались? Что не пришли нас “снять”, позвать? Вот и говорят, что за Невской заставой – не боевые тенденции.

Верно, усмехнулся долговязый Уксила, согнутый над конторским столом. Стыдно, давно видно – не боевые.

А руки их всех – трудовые, честные, крепкие, жилистые, привыкшие к хватке инструмента – были видны, лежали на столах, вцепились в спинку стула, – и она была допущена в этот круг! Вероника не верила себе: сегодня впервые вот так запросто, как равная, сидела с этими железными людьми, с этими верными сердцами, ещё стыдясь и несменённой своей шубки, в какой прилично пойти в Александринку, а здесь только конспирацию нарушаешь, и своих обильных волос, как выставленных для любования, и совсем уж нежных рук. За гордость, за счастье быть принятой равно этими людьми и оказаться полезной им – она клялась отречься, уже отрекалась и уходила от своей прежней пустой жизни, от бесплодной болтовни. Отрекалась – и не совсем внимательно слышала, о чём тут говорили сейчас.

– Это – влияние Александровского завода, – вдумчиво сказал Машистов. Вдумчивость исходила от его уставленных, почти не шевелящихся глаз. – Они омещанились, домки себе устроили, коровок держат – и наши за ними тянутся.

– Сейчас к праздникам готовятся, вот в церковь повалят! – отрубисто выбросил Дахин.

– Что ещё за праздники? – удивился Вадим.

– Казанская. Потом – всех скорбящих! – выбросил Дахин. – Престол у них.

– Ну придумают же попы – “всех скорбящих”! – изумился, развеселился Вадим. – Вот ловкие, прямо в цель! Только всех скорбящих надо на восстание поднимать, а не боженьке поклоны...

– Очень пассивные наши стали, – с сильным финским акцентом сказал Уксила. – Боятся маршевой роты. На кооперативы надеются.

Самому Уксиле, как финну, маршевая рота не грозила ни при каком случае. Воинской повинности на них нет.

– На кооперативы! – усмехнулся Вадим большими нежными розовыми губами. Накормят вас кооперативы... Гвоздёвский Столовый центр... Вы-то хоть, вот вы – понимаете, что вся эта возня с кооперацией и столовыми – только усиление эксплуатации, чтоб из вас же и вытянуть больше?

Да понятно, тупились рабочие вожаки, очередной обман.

– Вы плетётесь за думскими меньшевиками, за Чхеидзе, марксистскообразным лакеем Гучкова-Пуришкевича, – и даже он революционнее вас.

Молчали. Темнота.

– В общем, товарищи, было заседание ПК. И мне дали инструкцию к Обуховскому. Главная установка нашей пропаганды теперь берётся – на неравномерность потребления, на дороговизну, нехватку продуктов. И в этом направлении надо настойчиво использовать недовольство и возмущение масс. А вы – всю кампанию по дороговизне прохлопали.

Молчали, нечего ответить.

– Но не поздно и сейчас.

Из внутреннего кармана пальто достал несколько бумаг, сложенных вместе, вчетверо. Развернул.

– Во-первых, надо будет сколотить короткий митинг, принять вот такую резолюцию. Вот – проект типовой резолюции, разработанной ПК для собраний рабочих о продовольственном кризисе... Мы, рабочие... такого-то завода, вписать какого... обсудив вопрос о продовольственном кризисе... – Бойко, бегло читал, но слова не мешались, не цеплялись. – Первое, что он есть неизбежное следствие непрекращающейся империалистической бойни, второе, что в России он осложняется господством царской монархии, отдавшей хозяйство страны на произвол хищников капитала, третье, что дальнейшее продолжение войны влечёт за собой голод, нищету, вырождение народных масс, четвёртое, что кооперативы, вот как раз рабочие столовые, повышение заработной платы и тому подобные полумеры лишь выделяют рабочих в особые условия снабжения, натравливают остальное население на рабочий класс и разделяют силы революции, пятое, что единственным средством против голода является решительная борьба против самой войны. Итак, всему рабочему классу и всей демократии надо подниматься на революционную борьбу и на гражданскую войну под лозунгом “долой войну”!!

И это была – только малая часть его способностей, что он так быстро мог прочесть, охватить, объяснить материал. Уже теперь знала Вероника, что её руководитель в новой жизни почти с той же быстротой и – писал! “Товарищ Вадим” – Матвей Рысс, состоял в литературной коллегии ПК. Он был – специалист по листовкам. Он садился и почти за час уже начисто мог горячим убедительным слогом призвать массы или выйти на улицу (“бросайте душные своды тюрем труда!”), или напротив – не выходить (“не дайте прежде времени пролить на питерские мостовые свою драгоценную рабочую кровь!”), попеременно обратить гнев то на “романовскую шайку потомственных кровопийц”, то на “акул отечественной промышленности”, то на “безнадёжную мещанскую тупость

социалистов-ликвидаторов”. Можно признать, что в этих устоявшихся выражениях не хватало литературного вкуса, но какой напор! – он захватывал лёгкие. Да не сам Матвей придумывал эти выражения, они уже существовали и соответствовали аудитории и задачам действия, умение же Матвея состояло в том, что он сотни их помнил, и они свободно перемещались в его памяти, при нужде выныривали, при нужде тонули, – и вдруг зацеплялись и эффектно подавались под перо те именно, самые нужные, “колесницы милитаризма” или “коммивояжёры шовинизма”, “коронованные убийцы” или “измученные невзгодами братья”, которые должны были окружить и укрепить последние требования и призывы ПК.

Да что ПК!

– Есть указания и от БЦК! – всё суровей, всё значительней объявлял Вадим.

Как БЦК? Повернулись все, Машистов резче обычного:

– Бюро ЦК? Так его ж нет.

– На днях восстановлено, – загадочно сказал им Вадим. И ещё загадочней: – На днях вернулся из-за границы товарищ Беленин.

Вот это *из-за границы вернулся* – поражало воображение. Все фронты в снаряженных разрывах, воронках, проволоках, все границы в кордонах, беспаспортный гонимый подпольщик – как он переносится, по воздуху, что ли? вчера в Швейцарии, сегодня в Петербурге, – что за богатыри?

– Беленин? Это кто? – не удержался переспросить невыдержанный Дахин.

Незнал он, кто такой “Беленин”? Косо усмехнулся длинный Уксила, ещё застылее смотрел Машистов, сожалительно облизнул губы Вадим, и даже Веронике, самой не знавшей, кто такой Беленин, стало неловко за неприличие дахинского переспроса.

И Дахин ещё глубже забрал свои глаза в притемнённые глазницы.

– Так вот, БЦК указывает, – ровно продолжал Вадим. – Всеми силами бороться против гвоздёвцев. Последовательно и по широкому фронту саботировать всё военное производство. Понятно?

Вполне. Да ведь кое-что и делаем.

– Но предупреждение: помнить, что наша главная сила – стачка. Квалифицированных рабочих не хватает, на фронт не пошлют, и можно требовать многое. Бастовать, устраивать митинги, принимать резкие резолюции, но ни в коем случае не дать себя вызвать на преждевременную бойню! Если придётся выйти на улицу, то всяких столкновений избегать. Время не пришло. Последний штурм будет тогда, когда мы установим полный союз с армией. Тоже понятно?

Как же далеко, как далеко ушло то время, вспоминала Вероника, тот июль Четырнадцатого, когда студенты на Невском пели патриотические гимны, стояли на коленях перед Зимним, и курсистки-бестужевки радовались: война – освежающая буря! Когда сидящие даже в трамваях снимали шляпы, если по улице манифестация пела “Боже, царя храни”. И как же всё повернулось – когда? – что ни взятие Эрзерума, ни брусиловское наступление уже никого не выгонит праздновать на улицу. И вот, серьёзно, как о самом близком: время последнего штурма! И вовсе открыто: не надо нам ваших пушек, война вашей войне!!

Вот это ощущение верной силы – силы растущей, знающей себя – покорило и привлекло сюда девушку, перетопляло её счастьем присоединиться. Она удивлялась сама себе прежней: как слепо и долго не могла выйти на верную дорогу.

– И ещё последнее. Постановлением БЦК, 26-го, в день открытия суда над революционными матросами, – провести всеобщую петербургскую однодневную стачку. Стачку протеста против этого суда.

– Это – какими же матросами? – не обжёгся, не унялся Дахин, всё ему знать.

– Революционными, сказали! – оборвал его Уксила.

А Машистов, хотя тоже не знал про матросов, но смотрел так преданно-твёрдо, будто всю жизнь только об этих матросах и сокрушался, уже наболело у него с этими матросами.

– С матросами вот какими, – объяснил однако Вадим. – Прошлой осенью они вели пропаганду среди судовых команд. Там... из-за пищи, из-за немецких офицерских фамилий, неважно. Но вызвали волнения на “Гангуте” и на “Рюрикe”, и мы их рассматриваем как революционных. Продержали их по тюрьмам, теперь готовят расправу. Да вы завтра листовки получите, вот товарищ Мария привезёт, для чего я её и привёл.

Мария покраснела, все посмотрели на неё.

– А в листовке, если хотите, вот... – Вадим охотно развернул и бегло читал с написанного выдержки, так читал, как бежит кенгуру или заяц – прыжками, только чуть касаясь кое-где, чуть унося на лапах крошки земли:

– ... За то, что они в душных казармах сохранили ясность революционного сознания... не захотели быть бессловесным орудием в руках... Правительство бессильно посадить на скамью подсудимых миллионные кадры рабочих, но его презренные суды всегда к услугам... В знак союза революционного народа с революционной армией мы – **останавливаем** заводы и фабрики! Пусть дрогнет рука палача перед протестом народа! Долой смертную казнь!

*Долой смертную казнь!...* Мечта Толстого! Мечта лучших сердец! И сколько лет блужданий потратила бестужевка в “мирах искусств”, пока достигла этих людей и задохнулась от их широты!

Тонкая нежная кожа Матвея разрозовелась. Но не всё подряд читать. Сложил бумажки, оглядел зорко каждого из товарищей:

– Но одновременно это будет стачка и против ареста солдат 181-го полка. И – против дороговизны. И участием в этой стачке вы смоете свой позор за предыдущее бездействие. Готовьтесь. Потянете?

Должны были потянуть. Уксил встал в свой длинный рост. И Машистов поднялся, поднимая параллелепипед головы.

Уговаривались по мелочам, одевались.

Буро-красным шарфом Матвей обмотал горло, надевал теперь кепи.

И Вероника натянула оренбургский платок, пряча холёные волосы свои и хоть немного опросясь. Жали руки все всем, и ей пожали трое. Она касалась этих честных рабочих труженых рук почтительно-благоговейно, а ей пожали крепко, железно, больно – и радостно.

Доверяли ей. Посвящали её.

Боже, как хотелось ей оказаться хоть немного полезной и достойной этих людей и этого благородного движения: кончать войну! Кончать все войны на земле, раз и навсегда! И все смертные казни! Никого не угнетать! Всех – освободить от покорения!

Вышли из домика больничной кассы – на виду у постового, где-то и патруль, и Матвей для безвинного вида взял девушку под руку, и так пошли они, пошли медленно по Шлиссельбургскому.

И хотя знала Вероника, что Матвей взял её лишь для виду, что столько заботы к ней нет у него, – а шла, как если бы всё взаправду.

– Я тебе так благодарна, что ты меня привёл. Что ты мне это поручаешь. Ты увидишь, я буду очень подходящая.

Матвей молчал, о своём думал.

Приятный был полужимний вечерок. Мелкие холодные не снежинки, но и не капельки, садились на лоб, на щёки. Фонари, фонари уводили по длинному проспекту, без тротуаров, с одной мостовой. Лежал обрывок газеты – один, другой. Запущено, вряд ли так раньше. Малолюдно было. Лавки все заперты, в переулках темно. Проехал в город новенький американский грузовик, посторонились, Вероника отбежала, шубку сберегая от обшлёпа, невольно. Да и Матвей подался.

А за двадцать длинных кварталов впереди них этот город, полгода тёмный, весь в камне, однако такой приспособленный для вечернего света, для развлечений, балов, театров, рысаков, поездок на острова, такой налаженный город блаженства для немногих, – в этот вечерний час только начинал жить своей главной жизнью, и юные гвардейцы на лихачах,

вставши в рост для стати и перчатками по плечу возницы стегающие для скорости, гнали на свои назначенные удовольствия, ничего решительно знать не желая об этих рабочих окраинах, об этих стачках, уже ударявших и которые вот ударят.

И самой Веронике надо было садиться на паровичок, потом на трамвай, пересечь весь этот праздный нарядный город, его мосты, и в дальний край Васильевского острова, в конец Николаевской набережной, на 21-ю линию.

Но – не хотелось ей так быстро уезжать. А Матвей жил у отца-адвоката на Старо-Невском, но снимал комнату и здесь, близ бехтеревской клиники, скоро налево, недалеко от своего Психоневрологического института. Сейчас институт их бурлил, отнимали у них автономию, – и Матвей должен был быть близко, на месте.

И когда, миновав возможную опасность полицейского пригляда, он отнял руку, не вёл её больше, она посмотрела на него сбоку, на его смелое, уверенное, энергичное лицо, и робко сама подвернула руку в облитой перчатке под его локоть. А чтоб это не выглядело кисейным слюнтяйством, сразу и спросила:

– Матвей. Скажи...

Раньше-то всего хотелось ей спросить – кто такой Беленин (кличка, конечно)?

Но – нельзя было так спрашивать и напарываться, чтоб он на это указал. В конспирации не должно быть никаких пустых любопытств или действий. И эта замкнутость партийной тайны и собственная неуклонная твёрдость Матвея сливались для Вероники в одну единую мужественность. Эта партия – не шутила, не болтала, ляды не точила, и так сильно отличалась от того расслабленного, бездейственного окружения, где Вероника прозябала до сих пор.

– Ска-жи... Я всё-таки вот не понимаю...

– Да? – рассеянно спросил он, глядя вперёд.

Вероника и хотела стать поскорее цельной, как все они, но всё же возникали, двоились сомнения, и она – спрашивала, Матвей и поощрял – спрашивай.

– Вот этот лозунг – превратить нынешнюю войну в гражданскую. – Она называла грозные исторические явления, а голос её был такой мягкий, домашний. – А это не может, наоборот, затянуть продовольственный кризис? Я вот думаю: если война уже на третьем году грозит народу вырождением – так что же будет, если она продлится, хоть и гражданская?

– Что ты, что ты! – прислушался и просто рассмеялся Матвей. – Как только мы сшибем это грабительское правительство и всяких негодяев Гучковых-Рябушинских, как только установится демократическая республика – сразу не станет этих хвостов, этой дороговизны, все продукты сразу появятся.

– Откуда же?

– Да их полно. Их в Питере сейчас – полно. Их только прячут – купцы, промышленники, ожидая сорвать на них сверхприбыли. Вот мы идём мимо этого длинного забора, не перескочишь. А – что за ним? Какой-то склад, наверно, и очень может быть, что в этом складе полно провизии, товаров, и только добраться надо. Не-ет, – усмехался он её неверию. – Весь продовольственный кризис – от игры спроса и предложения, от спекуляции. А установить завтра социалистическое распределение – и сразу всем хватит, ещё и с избытком. Голод прекратится на второй день революции. Всё появится – и сахар, и мясо, и белый хлеб, и молоко. Народ всё возьмёт в свои руки – и запасы, и хозяйство, будет планомерно регулировать, и наступит даже изобилие. Да с каким энтузиазмом будут всё производить! Можно больше сказать: разрешение продовольственного кризиса и невозможно без социализма, потому что только тогда общественное производство станет служить не обогащению отдельных людей, а интересам всего человечества!

Вероника не смотрела себе под ноги. Она уже и второй рукой держалась за локоть Матвея и заглядывалась на его увлечённое выражение. Она любила, когда он мечтал о будущем, это даже не мечта была – дрожь пробирала от яркости уже воплощаемых картин. От силы этого человека.

Когда-нибудь познакомить их с братом Сашей, вот если переведётся в Петербург. Они сразу должны сойтись. Так и видела: они просто похожи! Не наружностью совсем, но чем-то другим, большим!

– Да и это только говорится – “гражданская война”. А между кем – и кем? Целому единому трудящемуся народу – долго ли может противостоять кучка эксплуататоров? Месяц-два? Да если ещё и по всей Европе пролетариат сразу же будет брать власть – и протянет нам руку? А германский пролетариат – это какая силища!

– И война с Германией прекратится?

– Так именно! именно! Как только будет создан социалистический строй, так сразу все войны кончатся. Две социалистические страны между собой – неужели могут воевать? Ну как ты себе это представляешь? Действительно, нелепо.

– Социалистическое государство уже никто воевать не заставит! Войны затевают правители, а не народы. Кончится капиталистический строй – и кончатся людские страдания.

Как хорошо, Боже! И как хорошо, что не постыдилась доспросить, и теперь сама так стройно видишь всё.

А между тем:

– Вон остановка, иди. Значит, завтра заедешь ко мне за листовками – когда?

А ему налево поворачивать, по Четвёртому Кругу.

– Я тебя провожу, – попросила она, изгибая спину.

Пошли по этой ломаной тёмной улице, к парку туда.

Промолчали немного. Вдруг Матвей остановился. Перенял её за спину одной рукой и стал целовать. То ни взгляда, ни движенья к этому не было, а вот – часто, жадно, наминая ей губы губами, запрокидывая голову ей назад.

И платок её сбился, свалился на спину.

Но не было ей ни холодно, ни изогнуто, ни колко.

Счастливо.

\* \* \*

**Разрушим дряхлую деспотию Николая Второго, сметём с земли русской всю погань дворянскую и поповскую – и кончится насилие, и прекратятся войны навсегда. На арену, залитую кровью, уже вышли передовые отряды Интернационала. Не медлите, товарищи! Бойтесь прийти слишком поздно. Да здравствует Федеративная Республика Европы!**

**(РСДРП)**

\* \* \*

Деревенское уличное прозвище редко такое пришлёпают, чтоб не обидное было, чтоб сам бы ты себе не хотел покраше. В том и прозвище – клюнуть тебя побольней: и нас по больному ожгли всех, ну и тебя же! От малых твоих лет, парень ли ты, девка, приметливо и нещадно следит за тобой улица, глядит через окошки, хроманул ты аль из рук что вывалилось, слышит через заборы – заскулил аль замолил; не опустят тебя и в поле, на работе, в дороге ли извозной, ось ли твоя не мазана, лошадь не кормлена – вот ты уже и Шастрик, вот ты уже и Кырка. А уж бабы к бабам приглядчивы вдесятеро, уж и дёжку ты не так накрыла, и отымалку не туда кинула, у прялки не так села – вот ты уже Сувалка или Трумуса, нерасторопна или суетыга зряшная, не знаешь, что хуже. Кинет прозвище кто как приметит, кинет – и либо тут же оно опадёт сухим ошмётком, либо подхватится, подхватится

уличным ветром и вlepит тебе в самую щеку, ажнык хоть сгори. У садомни, у малышей – прозвища у всех, но они почти не переходят во взрoсть. А уж взрoслой девке вlepится – и внуков с тем будешь качать, парню вlepится – и в дедах таким же проходишь, смотри – и потомкам передашь: по Рюме так и пойдут все Рюмины, по Сате – Сатичи, вперекор и с фамилией. Фамилия твоя – для волости, для писаря, для воинского начальника, для земского фельдшера. Фамилия затёрта от прапрадедов и прадедов, и лишь то указывается, чьих ты, от кого. А тебя самого по-правдошнему выскаливает для своих деревенских – только прозвище. За один какой-то миг твой нескладистый, за одну какую-то промашку – так и врежется тебе на весь век.

Верно говорят: на час ума не станет – навек дураком просльвёшь.

Так же и помещиков. Назвали вот Цирманта – “заплатанный помещик”, и хоть ты теперь хорoмами расхлеснись, тройки в серебро убери – всё едино будешь “заплатанный”, ко князьям Волхонским не мостись.

Есть в этой выхватке, есть. Обапол – никого не назовут. Высмотрено – значит в тебе это сидит. И везуч на деревне, кому прозвище кинут не вовсе обидное: Мосол – знать добычной (но – с урывом, с рычаньем), Калдаш – знать крепкий (а – и со спотыкой, и колодистый).

Елисея же Благодарёва назвали в Каменке – Стёбень. И никаким призывком не было то обидно.

Появился он в Каменке уже взрoслым мужиком, за тридцать лет, перед турецкой войной, и женился на Домаше Ополовниковой, призяченным вошёл в дом. Местность его родная была позадь Байкала, хоть и там его прадеды не извеку жили. Как-то ж прозывали его и там, но того прозвища он сюда с собой не перенёс, никому не высказал, как и про всю ту свою опережную жизнь, разве что Домахе когда, а сыновья ничего про то от батьки не слыхали. Что-то ж он до тридцати лет делал, где-то жил или носился, поди на чём-то хрустнул, а и на речку Савалу не ломленный пришёл, так что скоро и в бобыле признала Каменка: Стёбень.

Не легко досталось Елисею Благодарёву и тут, в хилой семье без мужиков, долго на него и на первого сына не давали надела, начинать пришлось с купли в долг, выплачивать в рассрочку, потом ещё приарендовывать, лишь позже дали на две души, потом и на второго сына Арсения, а у них детей уже пятеро было, да двух сирот Елисей принял от домахиной сестры, в их же семье когда-то-сь и доросшей до выданья. Вот уже и в Каменке жил Елисей боле тридцати лет, не пил, не курил, не зарил, не буянил, только тянул свой воз, но так был воз перегружен и так зажирали колёса, что всего напруга жизни его и тела не хватало разогнуться и понестись. Как и многие, не он один, запряжен был Елисей свыше мочи, а досадливей всего – что дорога в колдобинах. И всё ж старшего сына Адриана сумел он выделить на хутор, под Синие Кусты. И всё ж додержал до нынешней старости прямой стан, сторожкость головы и ясный острый дальний взгляд, так что слишком близко смотреть ему как будто и резало, щурился он. Светло и дальне он так поглядывал и в 66 лет, кубыть молод был ещё и полагал свою могуту ещё впереди.

Арсения же Благодарёва звали по-уличному Гуря. Ростом и крепостью до батьки дотягивал он, но не было ни в нём, ни в брате Адриане отцовской ровноты и струнности. Они и волосами и поличьем были потемней, носы поширше, скулы пораздатистей, по-тамбовски, и губы пораспустенней, и голова так не взнесена на шее. Ворчал Елисей: “Испортила ты, Домаха, мою породу.”

А вот самый меньшой сын сличен был с отцом, тоже светленький да стебелистый. Сейчас бы ему было осьмнадцать. Но – подростком утоп, лошадей купая в пруду, на переплыве держась за хвост.

И двум дочерям замужество досталось на отшибе: одной – в Коровайнове, на Мокрой Панде, другой ещё дале – в Иноковке, уже под Кирсановом. Так и жили с одним Арсением, и то готовясь к выделу его. А тут война.

И – ни по чему, ниоткуда отец его сегодня не ждал. А из-под тележного навеса

услышал, как звукнула щеколда калитки, – и ни по чему, а в сердце торкнуло мягко. А и по чему: Чирок гавкнул (пока овцы не поставлены на корм, по всему селу собак с цепей не спускают), второй раз полугавкнул уже с приветом, и тут же смолк, каб запрыгал. И, как был, с седёлкой в руках, запрягать намерялся, Елисей вышел по подворью – и сверкнуло ему:

– Сенька! Ты?

Да как будто вырос ещё! – от солдатского затыга. И только спустил мешочек с левого плеча наземь – как уж батька его грабастал, уткнулся ему в щеку, над погоном с каймою жёлтой, скрещенными пушками и пламенем взрыва, гренадерским значком.

И фуражка военная сбилась от батькиной бараньей шапки. И седёлкой по спине прихлопнул Арсения, забыл откинуть. Усами, бородкой – в голое сенькино лицо тык, свежий запах ветряной, сенный, кожаный – здешний, нашеньский!

И никто не наклонясь, ростом близки.

– Папаня! А ты не погорбился.

– Я-а? – на откинутых руках, на сына дивуюсь. – Я сноп спускаю без цепа, пять раз размахнусь – и сырмомолотка.

И поверишь: тополь, не старик, хваткие руки на сенькиных плечах, голос твёрд, взор ясен:

– У меня навильник – копна, пока вторую подвезут – а моя уже на скирду. Я конца себе ещё не предвижу, Сенька. Коль хошь – и воевать сейчас пойду, не хуже тебя. – Поприщурил свой острый дальний взор.

Да его уже и на Японскую по возрасту не брали. А с Турецкой у него – Егорий есть. Но у Сеньки уже две лычки. А на шинельной груди вот уже два крестовых звяка (что ль теперь их легче дают?), и один Егорий такой сверклый новенький, ленточка чистая, даже жалко носить затрапезно. Не проминул батька, огладил кресты:

– Ну, ну. Значит, ничаво служишь? А чо ж без нас скончать не можете?

И заново поцеловались.

На том их мать и настигла – в окно она Сеньку не приметила, а к подворью стена избы глухая, – теперь из сеней, должно, услышала, из-за угла избы выкатила шаром. Роста в ней много поменьше мужа да сына, а сил не избыло, отталкивает мужика, сына к себе забирает, гнёт, обдаёт его дымным запахом да печным жаром – и дыханьем одним, не голосом:

– Сенечка! Сыночек!

Сейчас-то его и обцеловать, другой раз не нагнётся, постыдится, сейчас-то его и обцеловать, богоданного, Матушкой-Богородицей Казанской сохранённого и возвёрнутого ко самому престольному дню её.

Гладка мать, не больно морщинами иссечена. Нисколько она на отца не похожа, весь склад и выглед, глаза тёмные, – всё другое, а тоже ясность во взоре.

Всякая баба при том плачет, а мать – держится. Сеньку за щеки руками, глядит-любуется, а не всхлипнула. Глядит да всматривается, да проверяет:

– Глекось, и ранетый ни разу не был?! Не скрыл?

– Не-е, маманя, целый, сама видишь.

– И с лица не смахнул, – проверяет мать.

– Да-к мы что едим, мамань, по крестьянству такого не увидишь. И забот – нетути, офицеры за нас думают, чем ня благо?

Смешно и матери.

– Да как же в пору угодил, к самому престолу! Что ж не написал? Ну гожо и так: седни до вечера да ещё вся пятница, уме напяку, наварю!

Похлопал Арсений и маманю по плечам мягким.

– Да какие вы у меня все справные, молодые!

Кинула мать на отца, строго:

– Сла-Богу, нельзя сказать, чтоб без мужика в дому. Иные вон маются, пленных просят, а мы застоены. Усмехнулся батька под светлыми усами:

– Да хошь проси австрияка, а я на войну пойду. Чо ж, гляди, у сопляка два Егория, а у



меня лишь один?

А седёлку так и держит в руке. Но уж – не запрягать.

Отец старше матери на 14 лет и то говорит: рано женился, мужик до тридцати шести годов должен терпеть. Бранил Сеньку, не пускал в двадцать четыре жениться. Бою выдержано. Да уж Адриан отделялся, тоже заранился.

А где ж Катёна? Катёнушка – где? Сама мать не сказала, Сеньке спросить не личит.

Пошли к заднему крыльцу, отец и солдатский заспинный мешок и седёлку тащит, и фуражку сенькину, упала ведь.

А из сеней на крылечко, сквозь дверь распахнутую, да не на карачках, а стоямя, правда за косяк придерживаясь, ногу через порожек – мах, вот он идёт! вот он ступает, в одной сорочёнке, босой, непокрытый, льняно беленький. – Са-во-стьян! – глазки распылил на дядьку невиданного. И губу отлячил – ну, точно как тятка.

– Сынколёк мой первенький! Груздочек мой!

На руки его хватать – да в высь! Нет, не покоен, не даётся, дядьки такого не знает, тянется к бабушке:

– Ба-а! Ба-а! – вон как трясут, ведь вон как кидают.

Попестовал – отпустил мальчика на свои ноги:

– Ну иди, достольный, иди, хорошо ходишь. А назнакомимся, время будет.

– Да ведь застудится, вот высыгнул! Фень!

А тут и Фенечка выскочила, сестрёнка двоюродная, сиротка, всплеснулась. Востренькая, да быстренькая, чуть не на цыпочках брата встречает.

– Да ты ба-арышня какая, – прокатил голосом Арсений и в головку поцеловал, в разбор волосиков. – Выросла-то за год! Да ты скоро до Катёны дорастёшь.

Да где ж Катёна моя, что ж она не вспрынет? Про Катёну-то что ж ни слова никто?

А спросить неловко, не личит.

А уж мать:

– Фенька! Бегом за Катёной!

Да и Фенька сама догадалась: на голову – платок, на плечи куфайку, ноги в коты и – бега на гумна!

– Они – в риге, лён мнут, Фенька пойишь приходила. Вечёрось мы капусту дорубили, доквасили, а седни – на лён.

Чередом пошли из сеней в избу, Савостейка первый, бабушка дверь открыла, он о порог высокий упёрся, ногу одну перекинул, другую, распрямился, залился – побег, по полу некрашеному, оттого тёплому босым ногам. Ещё со своего детства Арсений помнит босыми ступнями – теплоту пола, дранного голиками, жёлтого.

Особливое узнавание: вот это я, отлитой, от лобика до ноготочка. Не просто мой сын, мой станется и непохож, а тут и словами не перебрать – какое оно в складах, а до дрожи – я! второй, ещё раз!

А в прорези перегородки – зыбка, ещё докачивается на подвеси.

А в зыбке – Проська.

Спит...

Никогда не виданная дочура моя, малая такая... Ещё ни в чём размера нет, глазки закрытые как мизинные ноготочки, от носа лишь ноздри кверху, чо там разберёшь, на Катёну ли, на меня похожа, это бабы умеют. А всё одно колотится сердце – кровь моя.

Дочка. Есть и дочка.

Сын да дочь, красные дети.

Прикоснулся пальцем ей ко щёчке, она и не чует.

На кого и смотреть, не знаешь. Груздочка б своего на руки схватил – нет, не даётся, теперь за бабкину юбку спрятался, оттуда выглёдывает.

И батька стоит молча, перемявшись, глядит на своего фейерверкера, как тот на груздочка. Тоже, может, лишний раз бы сына обхватил.

Так вот, сам стариков не балуешь – вырастет сын и тебя не побалует.

Снимает солдат шинель, а мать в красном углу на скамью мостится да перед полочкой лампаду затепливает. На день раньше богородичного праздника пришла радость в дом, застигла на неубраньи.

Сошла со скамьи, на своих оглянулась и показала на колени стать.

И отец, позади неё.

Голова у батьки облая, высокая, как яйцо. А не лыс, изрядно ещё волос, от шапки примятых, седоватых, но и с желтизной.

Опустился и Сенька.

Стала Доманя читать молитву. Не бубнит она, не ломится через слова, как ночью через кусты, нет, в своих немногих молитвах выискала толк, и не так Богородице молится, как разговаривает с ней по сердцу.

И Савоська, гли, без понуждения, тоже при бабке на колени стал, и когда все крестятся – тоже чего-й-то рукой махнёт, и на иконы уж так пристально смотрит, глазами разморгнутыми. И когда приучился? – лишь чуть за два годика.

Поднялись с молитвы – завертелась жизнь. И с чего начинать – не знаешь, разве с подарков. На солдатский грош – какие подарки? Кому платочек, кому ленту, кому сахарок-рафинад из пайка. Да ведь дорог не подарок, а честь, обычай.

А мать норовит:

– Да поишь, мой соколик, Сенюшка, запрежь всего сядь да поишь! Луковённый есть у меня. Лещ печёный. Да и брага свекольная уж сварена, но выстаивается, рано.

Видал, видал Сенька в сенях, проходя: уже стоят кувшины, закубренные сенными затычками, и выступает через них бражная пена.

А вот она!! – влетела в избу, как бомба в землянку, только черно-жёлтой панёвой прометя, а пола кубыть и не коснувшись, – да в Сеньку головой, в ребро ль, куда попало, едва не пролома. И лица её не успел разглядеть, а ткнулась туда, в ребро, и то ль пышет, то ль плачет, а Сеньке затылок открыт её белый, сбористые рукава на плечах, чёрные клетки, жёлтые протяги панёвы, да самотканый пояс высоко на спине, с кистями набок.

Вся тут, как птенец, у него под локтями, ах ты Катёнушка моя! Подкинул бы тебя сейчас как Савоську, да не при родителях же. И во Ржаксе с поезда сошёл, и Каменку с большака увидал над собою, и кольцо калитки поворачивал – и всё как во сне, не дома. А вот когда дома – Катёна под мышкой.

Дышит.

Закинул ей голову. Алеет, молчит.

Сказано – солдатка, ни вдова, ни мужняя жена.

Поцаловались.

Что ж, надо и от рук отпустить.

И вот теперь – все тут, в одной избе, – и даже всех в один обхват рук Сенька бы поместил, разве только мать широка гораздо. Служил Сенька в батарее, думал место его там, а нет, вот где – тут.

– Да ты Проську глядел ли?

– Глядел.

– Ещё погляди.

Пошли к зыбке за перегородку. Спит-поспит девка, щёчки румянистые. Это какой же? – десятый месяц!

– Она уж ползает, – Катёна хвастает, приоткрывает дитю головку повидней.

А Сенька – на Катёну, на рукава сбористые, на пояс с кистями:

– Ты что-й-то сегодня не вовсе по-буднему?

Подняла голову, глазами встретясь:

– Так, захотелось. – И тихо: – Снился.

Всего-то сказала – а по сердцу полых!

А Савоська к мамке лезет, за ногу хватает.

А Доманя велит идти к столу. Почему не писал? почему телеграммы не отбил? Батька б

на станции на тарантасе бы встрел, я бы драчён напекла, пирожков... Ну, к завтраму всё будет, уж вон кулагу затворила.

– Да маманя, в один день всё свертелось. То уж было отказали, я и письмо так писал. Вечером позвал подпоручик, може, мол, и пустят, посгоди с письмом, – а через день кличет – разрешено, мол, айда к писарю за бумагой!

Текли над Сенькой месяцы и годы, вроде никак не порожние, всё служба, да команда, да немец, отдыхать не поволят, только крутись, – а вот когда тесно подошло, не разорваться – дома! Ни глаз, ни ух, ни рота, ни рук не хватает – и материно ешь, и батьке отвечай, и к детям простягайся, Катёна вот Проську уже накормила, подносит, впервой дочку на руки взять, а она юзжит. И всё – первое, и никого б не обидеть. А и Катёна тоже не вовсе своя, как с получужим, позыркивает: как он на дочку глядит? часто ль за Савоськой руку тянет? вправду ли любит, али только прикидывается?

Да с бабами тыми не переговоришь, а самому Сеньке знать надо: как же, батя, хозяйство тянешь один? какие работы застоялись, залежались? Я сейчас с тобою эх налегну! В два пойма знаешь как возьмёмся! Я за тем и отпуск брал, не баловать же.

И пошли из избы.

Батька и сам о том. Тяну ничего, спина не просыхает. Шибко Катёна твоя помогает – хоть и с вилами, хоть и в извозе.

Помочь – ещё бы им надо! Только теперь уже работать – опосля праздников. А осмотреться – хотя б и сейчас, пока бабы в избе суетятся.

Вышли на подворье. Чирок прыгает, руки Сеньке лижет.

Поленница у батьки за год нисколько не подалась: сколько истратил, столько доложил. Ну да кизьяками больше топят, тамбовский чернозём навозу не просит. Мало лесу – так навоз.

Объясняет батька. Тут, вишь, обстоятельства понимать надо, прежде работы. Одно, что некем взяться, больше бабы, а плуги неисправны, чинить нечем, останется земля незасеянная. Другое – не для че нам хлеба столько выращивать, что ж нам сеять – себе в убыток?

До чего ж горька обида: наперёд, ещё не зачинавши, ещё только завтра паши да сей, а уж сегодня знай, что себе в убыток. Обожгло Арсения. А батька:

– Мы-то сами и год, и два на своём хлебе пересидим, без посева. Мы ноне не гонимся хлеб продавать, как запрежь. И осеннюю запашку и посев всё село сократило. Деньги у нас теперь есть. Платили нам и за лошадей, взятых в армию, и за скот. И податя платим в тех же деньгах, а деньги подешевели, так и податя сильно ослабли. И уплаты в Крестьянский банк тоже. О-ох, эти деньги шалые – сгубят народ.

Докатило до Сеньки, и непривычно ему, никогда в деревне такого не бывало: на чо нам столько хлеба выращивать? И в голову не лезет, такого не помнил он в жизни.

А батька ещё побавляет: и монополки, ить, нет, тоже за деньгами перестали люди гнаться. И солдаткам способности платят. Только иные бабы от тех способий развязали волю, свекрам на хозяйство не отдают, а гонят на наряды да лакомства: нуметь, пёс с ним, с хозяйством, не убежёт, коли муж с войны воротится цел, тогда и заробим. Мужьям, вернуться, не понравится.

– А Катёна? – встревожился Сенька.

– Катёна – ни. Все деньги мне дочиста отдаёт, уж я ей потом отделяю. Да и матери ж ейной помогти надо. Не всё деньгами, ино и руками.

На подворьи их, с подсыпкой речного гравия, не было грязно, хотя по улицам кое-где только по доскам пройдёшь, и вся дорога от Ржаксы черно расквашена от недавних дождей. Бродили куры по подворью и ходил светло-гнеденький стригунок, подошёл и тыкался храпом, обдувая руки хозяина. Почесал его Арсений за ушами:

– Значит, кто да кто у тебя остался?

– Вот – Стриган, от Купавки. Сама Купавка с мерином. Да Кудесый.

Значит, две рабочих да рысачок.

– А тех двоих сдал?

– Сдал.  
– Да-а, после войны всё заново заводить.  
– После войны, Сенька, много заново, а с чего начинать? Ведь и корову сдал, и бычка, принудили.

– Остались-то – кто?

– Коровы – две. Бык полутор. Ну, и подтёлок.

– Оскудали, папаня.

– А деньги эти копим – начаё? Они ведь прах. Деньги – дарёмные, лёгкие, а купить на них нечего. Деньги до того стали лёгкие, что возьми их на медь разменяй, да на чашку весов горою насыпь – и то ситца не перевесят, где уж там сапог.

Под общей связью, двенадцать аршин на двадцать, содержались у них хлеба и птица, а на свободном просторе, между яслями и жёлобом – лошади. И сколько было в батарее лошадей, тех тоже Арсений любил и знал – а милей своих всё же нет, в сердце торкаются.

Мерин как стоял – головы не повернул. Кудесый вздрогнул, засторожился, спиной забеспокоился. А Купавка – узнала! узнала молодого хозяина, и зафыркала, заулыбалась. И Арсению потеплело от лошадиного привета, обнял её за голову, поласкал.

Подкинул им сенца с повети.

– Прежде, помнишь, за пуд хлеба мы покупали семь фунтов гвоздей. А ноне – один фунт. Подковные гвозди всегда были 10 копеек – а вот два рубля. Так мы не то что нонешний, мы и летошний хлеб много не повезли. Вон и в закроме, а тот в кладях подле овина. До снега ещё намолотим на семена.

– А с поля ты весь убрался?

– Весь.

– А теперь мыши погрызут?

– Они! В том и дело, как его хранить-то? Чо мы когда держали больше, как семя да емя? Больше пудов осьмидесяти мы зимой не передерживали. У нас и приснадобья нет его хранить. Так вот иные на поле в зародах оставляют, немолоченный.

– А эт зачем же?

– А вон на станциях да на пристанях, да из губернии в губернию, бают, хлеб силушкой отбирают!

– Но платят всё ж? – изумлялся Сенька.

– Да чо платят – по твёрдым? Прах! А вот и к нам полномоченные зашастывают, ходят-зарятся, де, списать запасы им надо. Седни у меня в закроме спишут – а завтра, гляди, придут забирать?

Пасмурно было снаружи, в сарае – того притемней, и лицо Елисея притемняла мохнатая его затрёпанная шапка – а глаза светлели, зоркие. Отвеку всё крестьянство стоит на том, что в ста делах, в каждом угадать дождь или сухмень, ветер и тишь, росу или заморозок, песок или подзол, птицу, червя, дорогу, амбар, базар, и со всеми расчётами труд свой заложить – а там барыш с убытком на одном полозу ездят. Но вот сошлось – хоть голову сломи, не бывало такого, и присоветывать – не Сеньке.

После коровьего хлеба заглянули в свинарник, в пустой овечий хлев – на выгоне овцы, в курятник. А гуси – то ж промышляют, ходят.

– Так вот и придерживаются иные тем, что и на гумна не свозят. Скорый наперед, осторожный назади. А ну – цены те твёрдые да подвысят? А ну – голод какой ещё накатит, гляди? Зерно самим сгодится и для скоту. Сколько та война ещё протянется? Так спешить ли везти? А что после войны буде? Скоту сколько убыло, и ещё порежут.

Вышли наружу. С утра ясно стояло, кыб вёдро, а вот тебе натянуло, натемнило – дождь? опять же нет, лишь покрапал.

Пред Покровом и после были уж заморозки, в две волны. Отволгло опять.

– Так что, папаня, делать будем?

– Ехал ты – дорогу сильно развезло?

– Верстов пять, от Лиховатской балки, едва подковы в грязи не оставляли.

– Не разъездишься. А в сенокос – летось хорошо стояло, сена богатые взяли. Ты – долго ли пробудешь?

– Да за Михайлов день забуду. А до Введенья – нет.

– Хо-о, – обрадовался отец. – Так это мы с тобой, даст Бог, первопутка дождёмся, да поедем в луга сено забирать. Саней тридцать возьмём, а то и поболь.

За заплотом стоял пустой сеник, ждал загрузки. Лишь чуть натрушено на полку, спал кто-то.

– Ну, коноплю ещё поставим да привезём. Сарай вот защитим, до морозов успеть.

А крыша? Закинулся Сенька на избу с этой стороны, а с улицы уже видал: нигде не нарушена кровля, соломой “под глинку”, обрезанными снопами.

– Хорошо, батя, хорошо держишься!

Сколько ни писали Арсению писем с поклонами и приветами, но не выражалось в них ясно: а как же именно живут, по каждой стати? И только обойдя и своим глазом окинув – хор-р-рошо живут! справляются.

И отцу лестно услышать от сына, как от равного.

Ну хорошо-то не хорошо, обезлюдели, стихли ярмарки, две дюжины годовых, от Туголукова до Сампура, от Токаревки до Ржаксы, – лошадиные, щепные, гончарные, спас-медовые, и в самой Каменке в марте тиховато прошла этот год. И не собираются артели в извоз, лишь гонят на подводную повинность. Жизнь – убирается к себе во двор да к себе в избу.

– А там – сушить да молотить пойдём, из сырого лета необмолоченного много. А може с тобой ещё хранилище для свиного корму выкопаем? Запасать надо на худое время.

– А что ж, и выкопаем, батя. Враз.

Сила – живая, сыновняя, готовная. А всё решает – осколок один, зазубренный, как пролетит. На вершок бы ближе – и нет бы твоего сына, и вой тут один. И за тот вершок, и за тот осколок – ни царь тебе не вспомнит, ни земство. Всё у Бога в руках, вот – сын живой.

– А назёму поменело у тебя. Ведь во как у нас накладывалось раньше.

– Скота позабрали, навоз позолотел. На арендованные поля, где и нужно бы, никто теперь не кладёт.

– Да, порезано скоту с этой войной. То-то мы в армии мясо едим, как сроду не едено. Ведь, батя, каждый день – свежая убоина.

– Я служил – нас так не кормили, – удивляется отец.

– Сказывают, за последние года много в армии получшело. А сейчас, к празднику, как будем?

– Да барана – я вчера заколол. Хотишь – ещё одного?

У верстака батькиного постояли, посмотрели работу, и уже в садик собрались, как вспомнил Арсений живо:

– Да, а пчелишки-то? Стоят?

Особо радостно и спросить и ответить. Как будто и хозяйство, а – нет, душевное что-то.

– Стоя-ат! Уж в омшанике.

А тут – Катёна, понькой черно-жёлтой мах, мах, а на плечи поверх ещё разлетаюку накинула, спереди не сходится, позади сборы густые.

– Сенюшка, мама спрашивает – насчёт бани как?

По семье топить думали завтра, под праздник, но для Сенюшки сегодня надобно. Мать бы и да, да дел взгрёб, рук не хватает. Но Катёна подхватила:

– Сегодня, сегодня, что вы, мама! С такого пути! Да и там – какое у них мытьё? Да я – огнём, между делом, и не отобьюсь!

И – зарыскала в баньку бегать.

– Тебе – дров? водицы? – Сенька сунулся помочь. Да дрова-то у батьки неуж не заготовлены и вода из колодца с банею рядом – а поговорить с жёнкой пяток минут где-то-сь на переходе.

Тут и Фенька, с гумен воротясь, кидается тоже с банькой помочь, отваживает её

Катёна: тебе мать указала, что делать. Да и месиво для коней время запарить.

Фенька уже ко многим работам приучена, понимает, уж и коров справно доит, самое время девке всё перенимать. А вертится, льнёт, не оставляет их, оттого что сама в годы входит, и пробуждено это в ней: муж со женою в первый день – как? что? Своими глазёнками соглядеть, приметить, для себя вывести.

Где там! – калитка стучит раз, и два, и три: соседи потянулись, служивого поглядеть, кресты потрогать. Никого не звали, никому не сообщали, а кто в окошко доглядел, кто через забор, до кого слух докинулся, в деревне разве что утаишь? Первый – Яким Рожок, в поясице перегнутый, ему всё первому всегда надо вызнаться, не сосед, аж с Зацерковья, с дальнего конца присеменил. Тут – и Агапей Дерба, чёрен да длинен, ноги как очепы переносит. Широко на него одного излялся, Дерба и головы мрачной не воротит. Всегда он всех слушает, а только в землю глядит угрюмо, от него же редкое слово жди. Тут и дед Иляха Баюня в шароварах полосатых, пестро-цветный кисет зажат за пояс, сильно уже на палку прилегает. И – Нисифор Стремоух, гляди доселе не взятый, а меньшей брат его уж на костылях воротился.

– Ну, служивый, ну! Покажись!

– Ну, как там воюете?

Неразумные бошки – как? Ступай сам пощупай...

– Так и воюем, очень просто: под головы кулак, под бока и так. Ждём, чего хвифебель завтра выдаст, сахарок ли, чаёк. У вас вот нетути, а мы усем обеспечены.

– Да хорошо, сказывают, в солдатах, да что-то мало охотников.

– Мотри, служит парень быстро, с того года лычек добавили. Эт – кто ж ты теперь?

– Фейерверкер.

– А кресты твои де ж, показывай!

Кресты – на шинели, шинель в избе. Да снаружи не рассядешься, уж холодно. И в избу-то не ко времени, сажать их некуда, в избе не убрано, бабы стряпают, носятся оголтело, а мужики вот уже и цыгарки крутят, уж и кресалом тюк-тюк, искру кидают на трут, спички теперь для печи берегут, мужикам не достаётся. В избу вошли – лишь дед Иляха один на образа перекрестился. И – задымили в избе, а сами Благодарёвы николи не курят, никто. Да мужиков-то, посчитай, сколько ещё по Каменке дома, не старых.

– Леший бы вас облобачил, что ж вы дома сидите? Вот из-за вас-то мы германа никак и не одолеем.

– Ну а всё-таки – подходит?

– Чья берёт-то?

– Да много яво накладено, – легко отвечал Арсений. И потяжелше: – наших тож ня мало... Ой, мужики, ня мало... Сколь этих берёзок молоденьких на кресты посекали, сколько ям обкадили... А вперёд – ни тпру.

Тут Проська, орёпка, как в крике займись, что-й-то ей не то, и Арсению с непривыки не чья-то чужая, своя дочка кричит. Но и Катёна кмигу метнулась, выхватила, распеленала, обмыла, покачала, баранки в марлю нажевала, опять в зыбку закинула.

А мужики-то с надеждой пришли, подсели: замиренье – как? не сулят ли? не слышать ли? В драке, де, нет умолоту.

– Не, мужики. Ни с какой стороны не шелептит, и ветром не напахивает. Только – газ едучий.

А – газ? Как это? Как?

– Ох, мужики, и врагу ня пожелаю. Осколком чухнет – эт как в драке, почти и не обидно. А отравы той наглотаешься – из нутрей всего корчит.

Расскажи да расскажи, вот не отступая, тут же им – и за что второй Егорий, и какие вообще случаи.

Стал рассказывать Арсений про свою батарею, лес Дряговец, про хода сообщения – зайдёшь, не разогнёшься, надежду не имашь – когда ж до блиндажа. Стал рассказывать по-лёгкому, иногда и Савостейку уловя да к колену притянув – бродит тут между ног,

вражонок, глазки лупит да чего-то вякает. Стал рассказывать легко, а вытянул так – не долго, смех оказался короткий. Там, в батарее, друг перед другом, они не скулили, разве что по дому, жизнь там шла дюже простая, беззадумчивая, – а здесь, в родном селе, соседям, та жизнь никак беспечально не переключивалась. Там-то привыкли, что дешево солдатское горе, а тут, в своей избе, Савоську притрагивая, на зыбку поглядывая, на Катёну тайком, на батьку с маткой, – сразу вывешивалось горе во всю свою тяжесть. Свой брат Адриан дважды ранен – и опять на фронте, нисифоров брат на костылях, у деда Илюхи двух сыновей унесло. Лишь пота и сносна была война, пока доступно было сюда воротиться, о брёвна родные спиной потереться, да жёнку на ночь к себе подобрать. А там, у Дряговца, где фельдфебель сахар выдаёт, под ладан улечься, под крестом жердяным уснуть – ня поухмыляешься.

Высунулся Яким Рожок, от пола, у стенки на корточках сидючи:

– Всё ж таки Адриан два раза ранетый, а ты вот, сла-Богу, ни разу?

– Что ж, не всяка пуля по кости, иная и по кусту.

Отцу разговор такой перёк груди, встал да вышел.

А мужики другое задумали: вот слух идёт – сахар, хлеб да кожу к немцам вывозят, через Хинляндию, что ль. Правда ли?

Того Арсений не знает, к им в батарею столько ж вестей, как и в Каменку.

– А только, – вздохнул, – немец не провоюется, не.

Подступила к гостям Домаха сама – норовом она тверда и речью, по всему селу славна, мужики её уважают.

– Вот что, соседушки, не даёте рукам размаху! А покиньте мне сына на первый хоть день! Ещё будет время, нагуторитесь, на престол приходите.

Ничего, не обиделись мужики, подобрались и со своим дымом пошли вон: первым – Рожок присогнутый, отгибая голову вверх и назад, там – Стремоух, дед Баюня о палочку, о палочку. Агапей же Дерба, ещё угрюмее и темней, чем пришёл, картуз понёс, как две руки в него спрятал, глаза в пол, закидисто перенося ноги через пороги и зацепясь-таки полою сермяги.

Открытую дверь вослед им подержала мать, выдымиться. А сама принялась ко празднику и для теста стол скоблить добела.

Проводил Арсений мужиков, пошёл в сад – и Катёну перехватил. Из баньки бежит, в разлётке.

– Ну? чего помочь там?

– Не, Сенюшка, скоро истопится.

Ушмыгистая, а придержал её. Тогда – о Савоське она: ну как тебе он, как? Любишь?

Сама-то уже видит, что да, иначе б и рта не раскрыла.

– Больно в меня, сам теперь примечаю. И губу так отлячивает.

– Да только ли! Ещё увидишь. Он и простодушный в тебя. И могутой в тебя будет. И хваталки у него, погляди, уже сейчас здоровы, чисто твои, палец в палец, а как схватит! Вилы ему подай отцовские! И спина у него чисто твоя.

Спина? Не знал Арсений свою спину и не догадался б савостейкину смотреть. Спина-то – как может быть в два годка похожа, не похожа?

А Катёна – шмыг и пробила, молча.

Спина... Спину-то мужнину насколько ж помнит? Во, бабы.

Поддогнал её разик, ещё до двора:

– Кать! А как чуяли мы тогда, после Масляны не разлучились, да?

Катёна залилась, голову опустила.

Ещё ни про какую войну никто не ведал, и с Масляны по закону надо было обрывать, хоть и молодожёнам. А Катёна – ещё не понесла. А жадалось им. И шептались: будем грешить, може Бог простит. И так – до Вербной. И, видать, простил же им Бог, какого сына родила! А подклонились бы закону – и осталась бы Катёна яловой на войну.

Отец Михаил потом над святыми хмурился, грозил Катёне. Она со спохваточкой своей живой: “Батюшка, истинно говорю, лишнего переносила. Чего-й-то он никак не

выкатывался!”

– В пост Великий – а какой получился! То ж великой, да? – не пускал её Арсений бежать. – А теперь весь отпуск мой прежде поста, далеко свободно.

Да ночи длинные, осенью.

– Сенечка, Сенечка, погоди, пропусти, мама ждёт, Фенька ждёт!

И тут же, оборотясь:

– Не будем в избе. А чулан занятой. В сеннике постелю, не холодно будет?

– Не хо-о-олодно! – пока Арсений выдохнул, уж её и нет.

Ещё с отцом ходили. В омшаник. По саду. Какие б деревья, кусты отсадить. Рассказов у отца много, и кому ж слаще, нежели – сыну? За третьего дня у Савалы в бочаге ловил лещей – длиннее локтя, вот ты ж ел. А ту неделю высыпка куликов красных, айда?

Елисей – из первых охотников на селе. И Сеньке-Гуре задору передал.

День – какой в конце октября? Давно ли ополдень было, а вот уж усочило свету. Ещё померили с отцом, где копать, а дымок от баньки отошёл, и кричит Катёна:

– Сенюшка! Иди!

В сенцах баньки накидана солома чистая, и под окошком на лавчёнке выложила Катёна чистое мужнино бельё. Солдатскую верхнюю рубаху и сапоги с портянками скинул Арсений – внутрь нырнул. Натоплено в меру, слишком-то жарко Сенька и не любит.

Вот и на батарее построили землянку-баню, и попросторней, а – нет, не своя. Своей домашней каждую половицу знаешь ногой, каждую доску полка, и окорёнок тот, и бадейка, и ковшики – один худой, а не выбрасывается.

Всё показала – и вертанулась:

– Так ладно, Сень, я пойду.

А – на полмига дольше, чем в дверь шмыгнуть, – лишний повёрт, лишний окид глазом.

– Чо пойдёшь? – протянул Арсений медленную руку и за плечо задержал.

Катёна – глаза вбок и вниз:

– Да ночь будет.

– Хэ-э-э! – раздался Сенька голосом, – до ночи не дожждаться!

Подняла Катёна смышлёные глаза:

– Феня вон покою лишилась, доглядывает. Счас томится там, минуты чтёт, когда ворочусь.

А Сенька руку не снял.

И Катёна уговорчиво:

– Расспрашивать будет. Стыднушко.

Вот это девичье-бабье стыднушко, если вправду оно тлеет, не придуманное, никогда Арсений понять не мог.

– О-о-ой! – зарычал, как зевнул, широко. – И расскажешь. От кого ж бедной девке узнать?

Опять голову спусти и тихо совсем, шепотком:

– И лавка узка, Сенюшка...

– Да зачем нам лавка? – весело перехватил Сенька. Перехватил её двумя лапами и к себе притягивал.

А Катёна голову подняла, медленно подняла, и – в полные глаза на мужа – и как будто с испугом, а он же её не пужал, аль то бабья игра такая? – их пойми:

– А веником – не засечёшь?...

– Не засеку-у-у! – Сенька довольно, и уж сам, рукой торопя...

А она, задерживая:

– А – посечёшь?...

И как это враз перечалилось: то сечки боялась, а то вроде бы упустить её боится. Ещё гуще Сенька в хохот:

– Посеку-у-у! Подавай хоть счас!

И Катёна – ещё одетая, как была, – погнулась за берёзовым веником!



И – бережно, молча, перед собой его подымая... выше своей головы, ниже сенькиной... подала!

И из-под веника – смотрит: чего будет? Секи, мол, секи, государь мой.

Остолбенел Сенька, сам напугался:

– Да за что ж? Да ты рази...? Да ты уж ли не...?

Леш-ший бы тя облобачил!

## 36

Арсений был мужик не жестокий, не жёсткий – и со всеми людьми, а с Катёной вовсе мягкий. Оттого стояли между ними ласковость и свет, только радуясь, пожаловаться не на что.

Пока Арсений за ней ухаживал и их первые месяцы до войны, когда она понесла Савосю, прошли у них как под солнышком тёплым, без единого резкого окрика, без единого удара разлапистой его рукой – да она ведь ему и осерчать не давала, быстрее того догадывалась и исполняла.

Потом война выгрызла всю жизнь, оставила ломотками – первый отпуск, как сон летучий, теперь вот второй, а меж ними безмужье: носить, рожать, кормить да о муже думать – и каким вернётся и что будет у них?... Преж того – вообще ль вернётся? И тоскуя, тоскуя, тоскуя по своему избранному, сколько раз за топкой, за дойкой, за птицами, за жнивом, за санным согрёбом, за мочкой, за чёской, за пряжею, за тканьем она и так, и сяк, на все лады строила его возвращенье: и в какую пору года, и в какую пору дня, и за чем её застанет, на пороге ли, в сенях ли первый раз поцелует.

Но потайней и упорней, себе самой дивнее, ещё и иное что-то разгоралось в ней. И не назовёшь-то – что.

Такое что-то не добранное, самой себе не понятное. Такое что-то таимное, что и подружку верную на угадку не призовёшь. Такое нутряное, или уж самой доведаться, или покинуть, смириться.

И в жалобу не сложишь. Кажется, жили – милей уж некуда. Коротко только. А разлуки вот: должей куда. И в эту вторую разлуку, после первого отпуска, встрапилось Катёне: хотелось ей, чтобы муж воротился с войны не целиком прежний. И вся простота бы светлая оставалась, и вся добродушная ласка. А – ещё бы что-то. И на руки подкинет, как дитя (ему по весу – всё одно, что Савоську). А – ещё бы.

Плужникова жена Агаша, хоть и старше Катёны на два года, но в одни хороводы ходили когда-то. Агаша – уж такая пава была, да и в замужестве такой осталась, – а и переменялась же рядом с мужем, ну вся дочисту. Вот диво: и та ж оставалась, и вся дочисту переменённая.

Как-то ей Катёна и скажи про это.

Зубы открыла свои жемчужные крупные:

– Ты с мужем, что ж? И не жила, поди, почти. Вот поживёшь, во вкус войдёт, да пригнетёт – тогда и ты переменишься.

Пригнетёт! – ведь вот слово какое сказала! Пригнетёт!

И встряло это слово в Катёну. Нераскрытое, а в нём – всё.

И так, и так его обчувивала. Было в нём что-то.

Воротился бы Сенька не прежним лишь милым, а – грозным, что ль? Нет, не грозным. А – ко власти повёрнутым?

Были до войны в Каменке и в соседних деревнях случаи, когда парни гурьбой ловили девок поодиночке, задирали им подол наверх и выше рук, выше головы завязывали верёвкой. Иногда – по озорству, пустить девку на посмех, голой и безглазой, ино – в наказанье, если считали парни, что та девка нарушила честь и закон, тогда ещё и ремнями нахлёстывали. И когда слух потом проходил между девок – все полошились, квохтали, охали, страшней и позорней кары придумать нельзя, оборони Бог попасть под такое насилие, и

честили-проклинали тех парней, да пойманная, когда в темноте, не успевала их и опознать. И Катёна, в лад со всеми девками, тоже отмахивалась, и за головоньку бралась, и жмурилась – а в зажмуре, а в ядрышке ото всех: а вдруг бы то – он был сразу? по голосу, по руке, сердцем ли угаданный – сразу он? и не для посрамища на деревню, а только – власть пришёл заявить? И рученькам размаху нет, и глазами не видишь, только убежать можно, – а ведь ноги нейдут, воли нет, так и рухнешь?...

Сласть дрожащая...

Все же видим: петух с какою яростью курицу топчет, кажется – закогтит насмерть, а поднялась, отряхнулась как омытая, и плавно яичко понесла.

Только Арсений при росте своём, при своей могуче далее всего от пересилья, Катёну боится меж лап раздавить, так и говаривал, не про неё одну: “Баб ещё с девок жалеть надо”. Скажет Катёна ему: “Сенечка, не надо мне попускать! Сенечка, не бесперечь меня лаской, а то я попорчусь!”, – смеётся: “Ты – не попортишься”.

И правда, уж так вилась, трепетала – за одно одобренье его.

А в этот год второй военный – встрапилось Катёне. Но не знала, при приезде мужа – решится ли выговорить? Да что выговорить? – не знала сама.

А он и приехал совнезапу, без письма – а сразу на порог! В двери-то ни в одной не помещался, выше всякой двери – го-спо-дин! Как завихрилась, завертелась Катёна втрое быстрее своего обыка, все дела справляла и баню готовила, семеняла-бегала, а в самой колотилось, колотилось – а что? чего?...

И не думала, что засечёт, – “а не засечёшь?”. В игру просто – “а посечёшь?”. А как веник стала подымать – вдруг обмерла, уже не внарошку, страшно стало, а руки сами веник тот подымают, дрожат.

Как крикнет Сенька:

– Да ты уж ли не...?

Надо же! что подумал!... Из игры-то!

– Нет! нет! – закричала Катёна, головой замотала, волосишки туда-сюда...

А веник-то – уж брал он от неё. Уж взял.

– Нет, нет!! – ещё кричала Катёна, а – зажмурилась. Почему – зажмурилась? коли бы в глаза ему, он бы поверил! А так – не поверил.

И – страшный новый голос услышала, не сенькин:

– А ну, задирай панёву!...

Открыть бы глаза, голосом полным кинуть ему, что – нет!! Так – голоса нет. Так голова – сама вниз, вниз. И – руки вниз. И – взялись за панёву.

А Сенька тогда – ещё жутче:

– Повышь!... Повышь!... Никни!...

А этот голос озверелый уже и не смилуется. Впоследне, ещё не закрытая, нашлась, посмотрела ему в глаза, а он-то выпученный!

– Сенечка, нет! Ни с кем! – то ль крикнула, то ль шёпотом.

А он – во весь гром, уже замахиваясь веночищем:

– Никни, говорю!

Но не толкнул. Сам рукой – не погнул, на пол не кинул. Если б кинул – вскочила бы. Но – не кинул.

И – сама себя, покорно, сама себя закрыв – и открыв же! – опустила коленами – и ниже – и ничком – головой невидящей и локтями – на банный пол.

И – ожгло, и ожгло наискось и поперёк, горячее, не так как на полке хвостаются, не ждала, как больно, – ожгло! и за разом раз! и за разом раз! – и руками не защититься, руки сами себя закрыли! – и обидно, что бьют, да ни за что ж! – а не крикнула больше.

И он – в молчанку сек.

Жалко себя, беззащитную, заплакала тихо. Но – не крикнула. Плакала в руки, в подол, чуть извиваясь тельцем от охватных ожогов в сорок розг – а не выбиваясь.

От поясицы до подколенок жгло её и рвало – за вины небывшие, за будущие, чтоб их не было, за никакие вины. В покор.

Плакала и ждала, где он остановится, где гнев его пройдёт.

Где милость его наступит. Остановился. Ещё распалённо:

– Что молчишь? Говори – *с кем* ?

Плакала, всхлипывала.

Пождал.

Помягче два раза опустил веник. Протягом по спине, уж больше как банная ласка.

– С кем?... Что молчишь?

Похлипывала, ответить не выходит.

Наклонился низко, близко и уж без гнева, напуганный:

– Катёнка?!

Сам ей подол с головы отвёл, лицом к себе вывернул, тогда:

– Да ни с кем же, Сенечка! Замкнутая я без тебя...

Сенька ошалел:

– А что ж ты не сказала?

– Да я ж тебе крикнула.

– Да ты не так крикнула!

Боком, щекой прилегла Катёна на пол.

– А чего – не вскочила? Не вывернулась?

Доплакивала Катёна.

До самого полу и он, к её лицу. Тихо, близко:

– Чего ж лежала так покойно?

– Покойно!... Попробуй...

– А – за что ж я тебя? – охмурел.

А она доплакивая, ещё доплакивая, улыбнулась.

– Ничего. Ты ж – господин мой. Буду волю твою знать.

И сама губами дотянулась – стала целовать. Целовать.

А он!... А он!...

И носил, как дитя малое.

И качал.

И губами исправлял, чего веник наделал. Станушка наискось по спине задержалась, она помягчила.

...Забыли они, ждёт ли Фенька Катёну, или свекровь её ждёт к печи, и думают там что, или соседи ещё собрались, – надолго они так и остались в баньке.

Таково – ещё и не было никогда. Не подтопляло так до горла.

После Покрова коротки дни, рано смеркается. Через маленькое банное оконце свету и совсем уж не достаётся. Однако не зажигали они плошки из бараньего жиру, какая тут на оконце стояла, – привыкшим глазам доставало отсвету, да и он лишней.

Уже в темноте они баньку покинули и, никем не ждомые, не назренные, перешли в сенник. В избе уже не светилось, как и у соседей, почти всё село темно стояло.

Дети – в избе оставлены, на Доманю, а здесь настелила Катёна перин своей домашней набивки, а поверху ещё и тулуп, как всегда молодым на холод.

Под единым тулупом сразу жарко, невтерпёж, опять раскрывайся.

Над ними крыша была сплошная, а наискось – с просветами, и полоски неба посветлей крыши. Да ведь месяц за облаками.

Ничуть не хотелось спать, и долго-долго они говорили. И не то чтобы по порядку: перебивала Катёна то о детях, о привычках, разуме их, и в чём Савоська характером уже теперь на отца похож. Или – спросом об армии, как там одно, другое. Но больше всего и ладней всего говорили они о будущем: ведь кончится же война и, храни Бог, Сенька уцелеет, – так как будут они жить? Привёз Сенька слух такой, что георгиевским кавалерам после войны будут землю раздавать, по семь десятин. Вот тогда они заживут! А у нас, Сенечка,

слух стоял, что после войны и вообще всем мужикам надёлы увеличат. Только откуда ж её столько наберут, лихо какое? А – от помещиков, от Удела, от банков разных, на-айдут, в России ли нет земли? Поступиться не хотят. Но если и на этом обманут, всё равно, ручек не съёдим. Да отделимся на свой простор, земли ещё може прикупим, когда-то и расплатимся, – да вместе-то, да любя, да при детях, Богом посланных, это же радость одна: сперва работать на долг, потом и в зажиток. Без труда нет добра. Своё трудовое – не под гору катится, а ложится кирпич на кирпич. А Катёна способность своё и сейчас уже копит, что свёкор оставляет ей – на мелочи не тратит, сохранится – пригодится. Только вот деньги дешевеют. Отделяться – на отруб, это непременно, чтобы вся земля при себе, в одной черте и не сменная. Молоды, здоровы, всё в своих руках, только бы дал Бог Сенюшке уцелеть. Так на отруб, может, и батя захочет? Ну, там решим. Да наверно он на месте останется, а – поможет. Так крепче будет. На отруб – много денег надо.

А чего не умела в хозяйстве Катёна? Всё умела. Хотя излюбленное её было – гуси. Надо так хутор ставить, чтоб рядом если не речка – то пруд, иль, нык, самим запрудить. И – много гусей развесть.

О гусях Катёна могла говорить и говорить, пока не скажешь – хватит. Что за птица умная! – уже на яйцах сидели, а в избе не топилося два дня, так гусыни – пить отказались! сообразили, что на оправку вон идти, а яйца застудят. В избе-то гуси никогда не оправятся. Знала Катёна срок: 12 дней, по снеге, гусаков кормить зерном и тут же резать, а день единый перепустишь – и пошло перо в пенёк, и снова 12 дён ожидать, два срока. А гусыни занесутся – лишь мякиной кормить, ни зёрнышка! Гусиная жизнь: на трёх гусынь один гусак. С четырьмя – гусак выбивается, на пятерых – уже нужно двоих. Но главное уменье – выбирать гусаков, угадывать их мужские стати: 19 перьев в хвосте – хорош, а 18 – не бери. Развернёшь полотно крыла, у кого в основаньи чёрные пятнышки – силён, а белые прогалины – слаб. И подпёрки под крылом – два ли, три, четыре – показывают, сколько гусынь может одолеть.

– ...Слышь... А как же эт ты спину мою запомнила?...

– Я – всего тебя помню...

– А коли убьют – тож помнить будешь? Прижалась-прижалась.

Уж поздно было, и примирение, совсем бы им засыпать. А нет, что-й-то опять защекотало.

Катёна в ответ:

– Сенюшка, только спине-то... болячо...

– Ну, ин как иначе...

И опять она, с испугом будто:

– Сенюшка! А если... ещё!

Сенька беспечно:

– А его нам и надо!

– А – девка опять?...

– Ка-ти чередом!

– А потом – ещё?

– А хоть и ещё.

Ой-й, в-весело!!

\*\*\*\*\*

## КАК ЛЮБОВЬ ДА СОВЕТ, ТАК И НУЖДОЧКИ НЕТ

\*\*\*\*\*

**Кегель-клуб** называли их собрания в ресторане Штюссихоф, хотя кегельбана не было там.

– ...Швейцарское правительство – управляющее делами буржуазии...

“Кегель-клуб” – из насмешки: что не будет толку с их политики, а много шуму.

– ...Швейцарское правительство – пешка военной клики...

Но и сами усвоили название с удовольствием: будем сшибать мировых капиталистов как кегли!

(Он – воспитал их. Он излечил их от религии. Он внедрил в них понимание насилия в истории.)

– ...Швейцарское правительство бесстыдно продаёт интересы народных масс финансовым магнатам...

Это уже несколько лет как завёл Нобс – дискуссионный стол в ресторане, на площади Штюссихоф. Собирал молодых, активистов. Постепенно стал ходить сюда и Ленин.

(В этой чванной Швейцарии – сколько унижений надо перенести. Бернские с-д вообще смотрели на Ленина свысока. Переехавши в Цюрих прошлой весной, собирал было русских эмигрантов, лекции им читать, – растеклись, не ходили. Тогда перенёс усилия на молодых швейцарцев. Казалось бы, в 47 лет обидно: вылавливать и обрабатывать безусых сторонников по одному, – но не надо жалеть часов и на одного, если отрываешь его от оппортуниста Гримма).

– ...Швейцарское правительство раболепствует перед европейской реакцией и теснит демократические права народа...

Простоватый широколицый слесарь Платтен (слесарь – для большей пролетарности, а, руку сломав, чертёжником стал) по ту сторону стола. Он – вбирает, всем лицом вбирает говоримое, такое трудное. Напряжён лоб его и в усилия собраны пухлые мягкие губы, помогая глазам, помогая ушам – слова не пропустить.

– ...Швейцарская социал-демократия должна оказать полное недоверие своему правительству...

Удлиненный стол – на хорошую швейцарскую компанию. Без скатерти, обструганный, с ямками выпавших сучков, локтями и тарелками обшлифованный лет за сто. Поместились просторно все девятеро, на двух лавках, и ещё одно место отобрано столбом. Кто с малой закуской, кто с пивом – для ресторанной видимости, да швейцарцы и не умеют иначе, и каждый платит за себя. А со столба – фонарик.

Самое энергичное лицо, треугольное, удлиненное, – у Вилли Мюнценберга, эрфуртского немца – под распавшимися набок непослушными волосами. Он воспринимает легко, ему этого мало даже, беспокойными длинными руками он протянулся бы взять ещё, он на митингах и сам это звонко выкрикивает.

(Повезло в Цюрихе с молодыми. Сейчас их шестеро здесь – и всё вожди молодёжи. Не то что в Четырнадцатом: посылал Инессу к швейцарским левым – Нэн рыбу ловил, а Грабер бельё вешал, жене помогал, и никому нет дела).

– ...Надо научиться не доверять своему правительству...

Ленин – на углу, у столба, столбом прикрыт его бок. А Нобс – осмотрительный, вкрадчивый кот – на другом дальнем углу, искоса. Подальше от опасности. Сам это всё затевал – не сам ли теперь жалеет? По возрасту – он с ними, тут все вокруг тридцати, но по партийным постам, но по солидности и даже по животику – отошёл, отходит.

Над каждым столом – фонарь своего цвета. Над “кегель-клубом” – красный. И аловатый цвет на всех лицах – на крупной открытости Платтена, на чёрном чубе и крахмальном воротнике фатоватого уверенного Мимиолы, на растрёпанной нечёсанной курчавости Радека с невынимаемой трубкой и никогда не закрытыми влажными губами.

– ...В каждой стране – возбуждение ненависти к своему правительству! Только такая работа может считаться социалистической...

(Только над молодёжью и стоит работать, здесь нет унижения, это дальновидность.

Впрочем, не стар и Гримм, на 11 лет моложе Ленина, но – схватился уже за власть. Не глуп, а не поднимается до теории. Вооружённого восстания не хочет, а что-нибудь левое клонуть ему хочется. Когда в Четырнадцатом Ленин въехал в Швейцарию именем Грёйлиха и устроился здесь поручительством Гримма – виделся с ним, проговорили полночи. Тот спросил: “А что б вы считали нужным в положении швейцарских с-д, вот сейчас?” Щупая, на что он способен, блеснул ему: “Я бы – провозгласил немедленно Гражданскую войну!” Перепугался. Да нет, подумал – шутка...)

– ...Нейтральность страны есть буржуазный обман и пассивное подчинение империалистической войне...

В мускульных сдвигах, в мучительном усилии платтеновский лоб, и в усилии и растерянности глаза. Как это трудно, как это трудно – постигать великую науку социализма! Как не складываются грандиозные формулы с твоим ограниченным скудным опытом. И война – обман, и нейтральность – обман, и нейтральность – всё равно что война?... А на товарищей покосишься – всё понимают, и стыдно признаться, и делаешь вид.

(А это – не легкомысленная фраза была: по дороге через Австрию он всё это выносил воодушевлённо, в Берне закрепил как тезисы, потом перелил в Манифест ЦК, потом отстоял в лозаннской публичной схватке с Плехановым. Можно тысячу раз знать марксизм, но когда грянет конкретный случай – не найти решения, а кто находит – тот делает подлинное открытие. Осенью 1914, когда 4/5 социалистов всей Европы стали на защиту отечества, а 1/5 робко мычала “за мир”, – Ленин, единственный в мировом социализме, увидел и всем показал: **за войну!** – но *другую* – и немедленно!!)

Кружка пива и перед Лениным, хоть терпеть не может он этот тип – швейцарских политиков за пивным столом, но таков обряд. Вронский – сонный, как всегда, не возмутимый ничем. А Радек, чёрные бачки круговые от уха до уха пропущены под подбородком, в очках роговых, со взглядом быстрым, зубы торчат из-под верхней губы, и перекладкой, и перекладкой вечно дымящей чёрной трубки, – всё это слышал, всё это знает, тесно и мало ему, и медленно.

– ...Мелкое стремление мелких государств остаться в стороне от великих битв мировой истории...

Про себя барахтается Платтен, стараясь не проявиться наружно. Очень понятна задача мировой революции – но как трудно применить её к своей Швейцарии. Ум – согласен: если миновали мировую бойню, надо не успокаиваться, надо звать в социальные бои. А душа неразумная: и как хорошо-мирно живут крестьянские дома, прилепились на горных уступах, все мужчины дома, и четырежды в лето снимаются травы с лугов, как бы ни были откосы круты, и санным запасом полнеют до крыш высокие сараи, и полными днями с отрога на отрог перезваниваются сотни колокольцев, коровьих и овечьих, как будто горы сами звенят.

– ...Узколобый эгоизм привилегированных маленьких наций...

Медлительный ход пастухов. Изредка – бич оглушительный по каменистой дороге, – и несёт его эхо за повороты холмов. Длинные, коров на двадцать, водопойные чаны под горными родниками. Перемены ветров по всколыхнутым травам, перемены туманов, курящихся над лесистыми ущельями, а когда солнце прорвёт дожди, так бывает и радуге развернуться негде, встаёт она просто столбом из горы. И на отеле пустынном, вершинном, тихая надпись: “Хранит живущего одеяние родины”.

– ...Промышленность, связанная с туристами... Ваша буржуазия торгует прелестями Альп, а ваши оппортунисты ей в этом помогают...

Не удержал, не спрятал сомнения Платтен, отразилось доверчиво, бесхитростно.

И Ленин – заметил! И с угла стола, среди молодых единственный старый, ему на вид куда за пятьдесят, – живо, подвижно, искоса, как метким ударом шпаги, меткое слово – ключ агитации:

– **Республика лакеев!** – вот что такое Швейцария!

Радек зароготал, ловко, весело трубку перекладывает, да каждый раз по-новому пальцами, с серьёзностью сосёт свой важный дым. Вилли – весело ловит взгляд Учителя,

руки длинные выкручиваются в нетерпении – дай ещё! дай ещё!

Да Платтен – разве спорит? Платтен – только в недоумении. Страна, пожалуй, и похожа на украшенную гостиницу, но лакеи бывают подобострастны, суетливо-податливы, а швейцарцы – медленны, самоуважительны. Да даже и жёны министров не держат лакеев, выбивают сами ковры.

(Впрочем, не было в Швейцарии случая, чтобы письмо пропало. И библиотечное дело отлично поставлено: в дальние горные пансионы высылаются книги: бесплатно и тотчас).

– ...Подачки послушным рабочим в виде социальных реформ, только бы не свергали буржуазию...

С этим совещанием три недели хлопотали, наконец вот собрали, 21-го в пятницу вечером – уж перед самым, как раз, накануне партийного съезда. И очень помог, пригодился Радек.

(Радек если когда хорош, так хорош, архидружба. Сегодня жить бы без него нельзя. И по-немецки – что говорит, что пишет, и любой поворот с ним лёгок, не надо втолковывать. Негодяй, но блестящий, такие очень нужны. А бывал – омерзительным, в Берне даже не встречались, переписывались по почте, с февраля – порвали навсегда, в Кинтале выступал совершенно провокационно).

– ...Швейцарский народ голодает всё ужаснее и рискует быть втянутым в войну, и убитым за интересы капиталистов...

У Нобса скептический янтарный мундштучок, сам на губе держится.

(И как же было, во всей Европе одному, начинать борьбу за обновление Интернационала, нет, за разгром его и постройку Третьего? То – соскрести своих большевиков-заграничников, кто приедет. То, помощью Гримма, – женщин десятка три, Интернациональную Социалистическую Женскую Конференцию, а самому неудобно присутствовать, а надо их направить, – так в том же Народном доме просидеть три дня в кафе, а Инесса, Надя и Зинка Лилина бегали ему докладывать и спрашивали инструкции).

– ...Идти на бойню за посторонние чужие интересы? Или принести великие жертвы за социализм, за интересы девяти десятых человечества?...

(То – интернациональную социалистическую конференцию молодёжи, и полтора десятка не набрали, в основном – кто дезертировал от воинского призыва и наверняка против войны, – и опять три дня сидеть в том же кафе, а Инесса с Сафаровым прибегают за инструкциями. Вот тут и появился Вилли).

Двадцать семь лет тебе – а с семнадцати это кипение молодёжное: встречи, организации, конференции, демонстрации... И среди равных открывая в себе голос и удаль, и удачу, – слушаются! – как на помост, по ступенькам, чтобы лучше видели, – поднимаешься, поднимаешься, и вот уже ты – постоянный оратор, делегат, секретарь... И вожди партии уже стараются притянуть тебя к себе и настраивают не слушать вот этого азиата с его дикими идеями, а ты как раз от него, от него и зажигательного Троцкого, узнаёшь всё правильное и важное!

– ...“Защита отечества” есть обман народа, а вовсе не “война за демократию”. И со стороны Швейцарии тоже...

Двадцать семь лет! – да пройти через раннюю смерть матери, побои мачехи, побои отца, прислужничество в отцовском трактире, с гостями в карты играть и говорить о политике, и у мачехи близ прачечного корыта всегда страдать от своей рваной одежды, ботинок не по размеру, и сапожным подмастерьем затануться в пропаганду, и уже в двадцать лет эмигрировать в Цюрих, чтобы здесь, аптечным дрогистом, пройти все классовые бои...

Под красноватой лампой полно веры и ожидания преданное решительное лицо Мюнценберга. В узком остром его подбородке заострилась проверенная воля. Брови готовно сдвинуты навстречу революционным мыслям. Уже многое он делал, как Ленин говорил, и хорошо получалось. Созывал молодёжный день на Цюрихберге, больше двух тысяч, и потом с “Интернационалом”, красными флагами и “долой войну” повёл их через город. И в Кинталь – уже был позван, и вместе с Лениным подписал резолюцию левых.

– ...“Защита отечества” – лицемерная фраза. Она подготавливает бойню рабочих и мелкого крестьянства...

Нескладный Шмидт из Винтертура недоумеваает с дальнего края скамейки, заглядывает через весь ряд:

– Но нашу страну война не может затронуть, мы нейтральны...

– Да вступление Швейцарии в войну возможно в любой момент!

Нобс пережёвывает янтарный мундштучок под светлой усовой пушистостью. Улыбка у него котяче-приятная, а глаза недоверчивые и хохолок с сомнением.

– Конечно, отказ от защиты отечества ставит необычайно высокие требования к революционному сознанию!

(Всю жизнь – лидер меньшинства, всю жизнь с горсточкой против всех, – нужна и тактика острая. Тактика такая: побольше вытрясти из резолюции большинства – и всё равно её не принять: или включайте наше мнение в протокол или уходим!... Но вы – меньшинство, почему вы диктуете?... Тогда – уходим! разрыв! скандал! позор!... Так было на всех этих конференциях, и не было большинства, которое бы не ослабело. *Ветер всегда дует с крайнего лева!* – и нет в мире социалиста, который мог бы этим пренебречь. В том была и неуверенность Гримма, отчего он и поспешил собирать Циммервальд).

– ...Ни одного гроша на постоянное войско даже в Швейцарии!...

– Как, и в мирное время?

– Даже в мирное время обязан социалист голосовать против военных кредитов буржуазного государства!

(Долго не было Ленину приглашения в Циммервальд, и он изнывал, боясь, что Гримм не позовёт, – а навязываться было совсем неприлично. Да и что там будет за конференция? Соберётся куча говна и будет “за мир и против аннексий”. За мир – слышать он не мог этих слов!... Между тем тайно влиял, чтоб натянуть в депутаты побольше своих сторонников: кто против своего правительства – это и будет ядро левого Интернационала!... Но стянули таких только 8 человек: сами трое с Зиновьевым и Радеком, Платтен, один латыш и три скандинава. Да и весь-то “старый” Интернационал, через 50 лет после своего основания, поместился на четырёх фурах, какими извозчики повезли конференцию в горы, чтоб не привлекать внимания властей, а власти и не заметили: ни – как приехали депутаты в Швейцарию, ни – как разъехались по домам, только из иностранных газет и узнали).

– Но особенности Швейцарии...

– Да никаких особенностей! Швейцария – такая же империалистическая страна!

Платтен – откинулся, лоб нараспашку, лоб застигнутый перегоняет морщины. Сопротивляется чувство непросвещённое: хоть и крошечная наша Швейцария – а разве не особенная? И от первого союза трёх кантонов – мы кого же силой захватили? Но – напряжением ума заставляет себя, заставляет принять передовую мысль. Крупные сильные беззащитные руки ладонями вверх на столе.

(Через этого одного Платтена, благодарный материал, можно бы повернуть всю цюрихскую организацию. Если б он больше работал над самообразованием).

– Итак, среди нас, среди левых циммервальдистов, теперь установлено полное единодушие: мы – **отвергаем** защиту отечества!

Косолапым не всем понятно:

– Но, отвергая защиту отечества, мы оставляем страну беззащитной?

– В корне неправильная постановка вопроса! А правильная: или мы дадим себя убивать в интересах империалистической буржуазии, или ценой меньших жертв совершим социалистический переворот в Швейцарии – единственное средство освободить швейцарские массы от дороговизны и голода!

(В Циммервальде почти не выступал, направлял своих левых из тени. Это – самый верный расчёт сил. Уж Радек ли не выступит! – остроумно, находчиво, развязно, самоуверенно. Обязанность же вождя – спланировать своих немногих. Враг – это ещё полврага. Но кто **был** с нами и вдруг от нашей линии отвихивается – это двойной враг! вот по таким –



первый удар! А лучше – предусмотреть, и между заседаний накачивать своих на сепаратных совещаниях).

– ...В том и весь позор пацифизма, что он мечтает о мире без социалистической революции.

У Радека весёлая легкоподъёмность: все карманы у него оттопырены газетами, книгами, на первый день есть, если бежать на революцию – так прямо отсюда. А – интересно как!!

(Но – следить за мошенником: в любую минуту переметнётся, изменит. То – путал, мирил Гримма и Платтена, когда их надо всячески ссорить).

– ...Переворот – абсолютно необходим для устранения всех войн...

А Вронский – как дремлет. Вронский мог бы тут и не сидеть, он – для счёта всегда. Когда нужно – проголосует. А когда нужно – и скажет, что нужно.

(Да – глупый он. Но – так мало нас, пригодится каждый в своё время).

– ...Социалистический строй один избавит человечество от войн...

Нобс – как будто одобрителен, и в глазах и в губах – сочувствие, а ушки – покойно на месте, а лоб не взморщится. Да ведь – главный редактор главной газеты левых и мягко продвигается по партии на председательские места. Он очень, очень нужен им тут всем.

Нужны – и они ему, Нобс отлично понимает, что ветер всегда дует слева. Вот – их кучка, вот – их несколько человек, а ведь могут повернуть всю швейцарскую партию? Да только не дать им на шею сесть.

– ...Это непоследовательно: стремиться к окончанию войны и отвергать социалистическую революцию...

(Но вскочил Ленин и крикнул на письмо Либкнехта Циммервальду: **“Гражданская война – это великолепно!”** Осторожность хороша на 9/10, а в 1/10 надо переступать. Идти в окопы с пролетарским лозунгом: братание! В войсках проповедывать классовую борьбу! Обращать оружие – против своих! **Эпоха штыка наступила!** Конечно, рискованно так эмигранту в нейтральной стране, но – всегда обходилось. А в Циммервальде гнусный подлый немец Ледебур: “Вы здесь подпишете – вам не опасно, а тем ? Езжайте в Россию – и подписывайте **оттуда!**” Уровень аргументов!...)

– ...Швейцарская партия упорно остаётся в исключительно легальной колее и не готовится к революционной массовой борьбе...

От стойки с двумя пузатыми старыми бочками и десятками цветных горлышек официант с нетёсаным швейцарским лицом медленно носит к столам золотистые кружки, бордовые бокалы и стаканы. Другой от кухонного окошка – дощечки жёлтые с наструганными бурыми копчёностями, да тарелки с жарким и рыбой – непомерно изобильные швейцарские порции, как четверные, неторопливо убирают швейцарские животы. И ещё на огоньках подле каждого обжоры подогревается вторая половина порции.

– ...Социалистическое преобразование Швейцарии вполне осуществимо и настоятельно необходимо. Капитализм вполне созрел для превращения в социализм – и немедленно!...

(На последнем заседании Циммервальда от полудня и всю ночь левая бушевала на каждой поправке, каждый раз требовала “особого мнения” в протоколе – и так незаметно сдвигала резолюцию влево. Ни Гражданской войны, ни Нового Интернационала не провели, конечно. Но создалась циммервальдская левая как международное крыло, и Ленин – вождь её, а не какой-то русский сектант. Руководство же осталось за центристами, и слава конференции – за Гриммом, во всех мировых газетах. Чуть старше тридцати, а – в Исполкоме Интернационала, потому что с оппортунистами заодно. Двадцать лет как Ленин по Швейцарии то ездил, то жил, – никакого Гримма и слышно не было).

Втягивающее, узкое лицо Вилли. Он – согласен, согласен со всем, но, главное, точно ему понять: **как** делать? с чего начинать?

– В Швейцарии необходимо будет экспроприировать... максимум... всего не больше 30 тысяч буржуа. Ну и конечно сразу захватить все банки. И Швейцария – станет пролетарской.

От столба, искоса наблюдает Ленин, всем душевным напором, взглядом толкающим, лбом котловым наклонённым, – и успевает проверить, насколько в кого втолкнулось. Оскудевшая рыжина на куполе выступает сильней под красным фонарём.

– Подрубать корни современного общественного строя – **на практике** ! И – теперь же!

Вот этот шаг и труден всем социалистам мира. Сощурился Нобс, как от боли. Даже винтертурский пролетарий что-то крив на рот. И Мимиоле давит шею высокий обруч крахмального воротника.

Хорош наш Ульянов – но слишком уж крайний. Уж крайних таких – не то что в Швейцарии, не то что в Италии, – но и во всём мире нет.

Трудно им, трудно. Переменчиво-бегло осматривает Ленин все эти разные, уже свои, а ещё не взятые головы.

А они все боятся попасть под уничтожающую издёвку его.

(Есть такой приём: когда трудно входит – навалить ещё тяжелей, и тогда прежнее трудное уже входит легче).

И через весь стол, на шестерых швейцарцев, по всем шести линиям сразу вмешался, послал, голосом напряжённым, но не полного звука, в груди ли, в гортани, во рту неизменно теряя его и прихрамывая на “р”:

– А путь для этого – **только раскол** ! Это – мешанское кривлянье, будто в швейцарской социал-демократии может господствовать “внутренний мир”!

Вздروгнули. Замерли.

А он:

– Буржуазия вскормила себе социал-шовинистов, своих сторожевых псов! И какое же с ними единство?

(А уже начав – в одно место, в то же место, в ту же точку, чуть меняя слова, это главный принцип пропаганды и преподавания:)

– Это болезнь – не только швейцарских, не только русских, но всех социал-демократов мира: раскисляйская склонность к “примирению”! Для фальшивого “единства” все готовы поступиться принципиальностью! А между тем без полного организационного разрыва с социал-патриотами невозможно продвинуться к социализму – ни на шаг!!!

Как бы ни замерли, что б ни подумали: – но уверенность учителя против класса: даже если весь класс не согласен – прав учитель, всё равно. И – ещё гортанней, и ещё нетерпеливей и нервней:

– Вопрос о расколе – основной вопрос! Всякая уступчивость в нём – **преступление** ! Все, кто в нём колеблется, – **враги пролетариата** ! Истинные революционеры – никогда не боятся раскола!

(Раскалываться – всегда! Раскалываться – на всех этапах движения! Раскалываться до тех пор, пока станешь хоть в самой малой кучке – но Центральным Комитетом! И пусть в ней останутся самые средние, даже самые ничтожные люди, но – единопослушные, и можно достичь – всего!!!)

– В международном масштабе – раскол вполне созрел! Уже есть превосходные сведения о расколе среди немецких социалистов. И пришла пора – рвать с каутскианцами своей страны и всех стран! **Рвать** со Вторым Интернационалом: – и строить Третий!

(Это всё проверено – ещё на заре века. Так прорезал и убил экономистов лучом Что-Делать, замыслом конспиративной профессиональной кучки. Так стряхнул раскачкой Шаг-Два-Шага хлипкий липкий мешок меньшевизма. Не власть нужна ему, но не может он не управлять, когда все другие управляют так беспомощно. Не может он дать искиснуть, изгнать – несравненным способностям руководства).

И это всё – как тут родилось, вот сейчас за столом, как откровение единомгновенное и покоряющее: **раскол** своей партии – и через то победа революции!!

И замер Нобс – от сладкого страха, не мурлыкнув. Отвергнешь – тоже потеряешь? Быть может – и лучшее место здесь, за краешком этого стола?

И лапа Платтена замерла в охвате пивной кружки. О, сколько же тяжёлого ещё будет на пути социалиста!

И Мимиола победил сжимающий воротник, вырос, вырос из него. Но хмурясь.

И – просветлённо и удивлённо полуулыбался Вилли. Он – готов. И он – поведёт молодёжь. Он – всё повторит это им с трибуны.

И – лбом котловым, когда стенка пробита, доталкивая, доталкивая:

– В моей книге “Империализм” окончательно доказано, что во **всех** индустриальных странах Европы неизбежна скорая революция!

Там – ещё двое, они верить хотят, но – **как** это? Живя в своей обычной комнате, вот выйти утром между знакомыми зданиями – и делать революцию? – **как**?... Кто бы показал? Ведь никогда не видано.

– Но в Швейцарии...

– А что – в Швейцарии? Прекрасная стачка в Цюрихе в Девятьсот Двенадцатом! А – этим летом? Прекрасная демонстрация Вилли на Банхофштрассе! крещение кровью!

Да, это гордость Вилли:

– И сколько раненых!

Не так даже первого августа, как третьего, в защиту павших.

Мнутся:

– Но всё-таки... в Швейцарии?...

Ему – как не поверить? Он с каждым молодым – как с равным себе, во всю серьёзность, не как отмахиваются от незрелых едва поднявшиеся вожди, но на каждого сил не жалея, беседуя, донимая, донимая вопросами до петли...

– Но всё-таки – в Швейцарии...

Радек за это время, что разъясняли тут, из своих набитых карманов две газеты прочёл, одну книгу перелистал, а они всё не поняли?

Тычет им черенком трубки:

– Да собственный ваш прошлогодний партсъезд... Резолюцию ж приняли, о революционных массовых действиях! Ну! И – что?

И – что?... Мало что, приняли. Принять не трудно.

– Потом и Кинталь!

Их – пятеро здесь, кто были в Кинтале, – уже и Нобс и Мюнценберг, пятеро здесь, а там их было – двенадцать, из сорока пяти. И снова грозили взрывать, уходить, покидали зал и возвращались. И большинство поддавалось меньшинству, и сдвигали, сдвигали резолюцию всё левей, всё левей: только **завоевание политической власти пролетариатом обеспечивает мир** !

Всё – так, но мало что в резолюциях...

– А у нас в Швейцарии...

Да какое ж терпение не взорвётся с этими лбами корявыми! И в новом взрыве непостижимого откровения, – сухим полётом, сиплым шелестом прорвавшегося голоса:

– Да знаете вы, что **Швейцария – революционнойшая страна в мире** ??!

Как – сснуло всех со скамей, со стола, вместе с кружками, тарелками, вилками, и фонарик на столбе качнулся от ветра голоса, и Нобс подхватил мундштук рукой, выранивая...

????????????...

(А он – **видел** ! Он видел в Цюрихе – вот, близкобудущие баррикады – пусть не на банковской Банхофштрассе, но – к рабочему району, у Народного дома на Хельвециа-плац!)

И – выплеском взгляда разящего из монгольских глаз, и голосом, лишённым сочной глубины, зато режущим, ближе к сабле калмыцкой (только выщербинки на “р”):

– Потому что Швейцария – единственная в мире страна, где солдатам отдаётся на дом, на руки – и оружие! и амуниция!

И?...

– А **что такое революция** – вы знаете? Революция это: захватить банки! вокзал!

почту-телеграф! и крупные предприятия! И – всё, революция победила! И что же для этого нужно? **Только** оружие! И оружие, вот, – есть!

Что только слышал Фриц Платтен от этого человека, своего рока и судьбы своей! – леденило кровь иногда...

А Ленин не убеждал уже, он требовал резко – у слушников, у растяп неспособных:

– И чего же вы ждёте? Чего не хватает вам? Всенародного военного обучения? Так пришло время и потребовать! Для этого...

Импровизировал. Соображал между фразами, разглядывал между мыслями, а голос не прерывался:

– Офицеры – выборные народом. Любые... сто человек могут потребовать военного обучения! С оплатой инструкторов за казённый счёт. **Именно** при гражданских свободах Швейцарии, её эффективном демократизме – колоссально облегчается революция!

Он налегал на стол, он был как косо-крылатый, и взлетев отсюда, из зальчика ресторана Штюссихоф, – вот взмоет сейчас над площадью пятиугольной, замкнутой, средневековой, сама-то величиною с хороший зал, пронесётся над фигурой комичного фонтанного воина с флагом, завьётся спиралью мимо нависающих балконных выступов, фрески двух сапожников, выстукивающих на своих табуретках на уровне третьего этажа, гербов на фронтонах у пятого, – и над черепичными крышами старого Цюриха, над нагорными пансионатами, разукрашенными шале республики лакеев:

– Немедленно начать пропаганду в армии! Разъяснить войскам и призывной молодёжи – неизбежность и законность применять оружие для освобождения от наёмного рабства!... Издавать летучие листки за **немедленный** социалистический переворот в Швейцарии!

(Для беспаспортного иностранца несколько опрометчивые советы, но это – та самая 1/10, без которой не победишь).

– Уже сейчас захватывать в свои руки все правления во всех союзах рабочего класса! Требовать от парламентских представителей партии – публичной проповеди социалистической революции! принудительного отчуждения фабрик, заводов и сельхозучастков!

Прямо идти – и у людей имущество отбирать? Без – закона? Швейцарцы косолапые помаргивать не успевают.

– Для усиления революционных элементов в стране – натурализовать беспощинно всякого иностранца! При малейших шагах правительства к войне – создавать нелегальные рабочие организации! А в случае войны...

Отвагой полны вожди молодых, Мюнценберг и Мимиола:

– ...Отказываться от военной службы!

(Впрочем, Мюнценберга и Радека, как дезертиров тех армий, выслать в Германию и Австро-Венгрию закон запрещает).

Нич-ч-чего не поняли! Насмешка, но не злая, пронеслась по ленинскому лицу. Делать нечего – снижаясь, опять снижаясь, мимо сапожников, рабски-старательно вколачивающих свою работу, над голубою фонтанной колонной, и – нырь в ресторан, сюда опять:

– Да ни в коем случае не отказываться, что же вы поняли?! Именно в Швейцарии: дают оружие – брать!! Требовать демобилизации – да, но – сохраняя оружие! С оружием – и на улицу! И – ни часу гражданского мира! Стачки! Демонстрации! Формирование рабочих отрядов! И – **вооружённое восстание !!!**

Широколобый Платтен – как откинутый, в лоб ударенный:

– Но во время всеобщей войны... соседние державы... потерпят ли революцию в Швейцарии? Вмешаются...

А здесь-то и было зерно ленинского замысла! – в исключительной неповторимой особенности Швейцарии:

– Вот это и замечательно! Пока вся Европа воюет – а в Швейцарии баррикады! А в Швейцарии – революция! А у Швейцарии – три главных европейских языка! И по трём языкам в три стороны па-лётся революция по Европе! Расширится союз революционных

элементов – до пролетариата всей Европы! Сразу вызовется классовая солидарность в трёх пограничных странах! Уж если вмешаются – то революция вспыхнет **по всей Европе !!!** Вот почему **Швейцария – центр мировой революции сегодня !!!**

Опалённые красным пламенем сидели кегель-клубцы, кого в каком положении застало. Мюнценберг выдвинул узкий треугольник бесстрашного лица – вперёд в огонь.

Подпалило и Нобсу пушистость. Мимиола – и галстук сорвёт, и своих темпераментных итальянцев поведёт через все развалины. Вронский в лукавой меланхолии делает вид, что тоже к бою – готов. Радек – поёрзывает, губы облизывает, запрыгал задор за глазами: да если б так – это же штук каких наколоть можно!

(Кегель-клуб – зародыш III Интернационала!)

– ...Вы – лучшая часть швейцарского пролетариата!...

А резолюция для завтрашнего съезда швейцарской партии у Радека уже лежит готовая. Вот если б Нобс её напечатал...

Гм-м-м...

А – кто её на съезде предложит?...

Гм-м-м...

Уже и ресторану скоро закрываться, расходились.

На площади Штюссигоф горели три фонаря на столбах, и много окон из домов со всех сторон. И можно было легко прочесть табличку, как бургомистр Штюсси погиб тут недалеко в битве в 1443 году. А дом семьи его “на ветру” стоял, на 60 лет старше. Да Штюсси и был наверно – посреди фонтана вот этот комичный швейцарский воин в латах и в голубых чулках. Тонкие струи слышно лились в голубоватый водоём. Было сухо и, по-здешнему, холодно.

Расходились, ещё договаривая на площади, измощённой малыми камешками подгладь. Площадь – как замкнутая, и если не знать целевых улиц – кажется, всё, тупик, никогда не выберешься. Одни уходили вниз по откосу, мощённому коревато, и дальше переулком к набережной. Другие – мимо пивной “Францисканец”. А Вилли провожал учителя по той же улице в другую сторону, мимо кабаре “Вольтер” на следующем углу, где всю ночь бушевала богема, и им встречались на узкой мостовой ещё не взятые проститутки. А от вольтеровского кабаре – круто вверх под фонарь престариннейший на чугунном столбе, по переулку-лестничке, почти можно обеих стен достать раскинутыми руками, став рядом вдвоём, – и всё вверх и вверх.

Ленин – крепкими альпийскими каблуками по камням.

Вилли ещё и ещё хотел набраться уверенности от учителя. Он не забыл летнюю драку на Банхофштрассе – но ведь опять всё смыло, подмело, и всё те же витрины сверкают, и всё то же мещанство гуляет, а рабочие спокойно слушают своих уговорчивых вождей.

– Но народ ведь – не подготовлен?...

На крутом повороте переулка из-под тёмной шапки, в слабом свете чьих-то верхних неспящих окон – голос тихий, но с тем же прорезающим лезвием:

– “Народ” конечно не подготовлен. Но это не значит, что мы имеем право откладывать **начало** .

И даже зная свою трибунную удачливость, и испытавши вопли молодёжных сходок, всё-таки возражаешь:

– Но нас – такое малое меньшинство!

А тот из темноты, остановясь, чего не открыл даже лучшим, собранным в кегель-клубе:

– А большинство – всегда глупо, и ждать его нельзя. Решительное меньшинство должно действовать – и после этого становится большинством.

На другое утро открылся съезд – в Купеческом зале, на той стороне реки. Ленин, как вождь иностранной партии, был приглашён приветствовать. А Радек, как от польской социал-демократии, тоже. Двое наших, один за другим.

В первое утро делегаты съехались ещё не все, это не было многолюднее, чем хороший реферат. (Ленин и не привык многолюдно, он и не знал, что значит говорить тысяче сразу; один раз на митинге в Петербурге, так язык отнялся.)

И едва он поднялся над залом – осторожность овладела им. Как и в Циммервальде, как и в Кинтале, он не рвался высказать тут главное, – нет, вся пылкость убеждения естественно приберегалась на закрытое совещание единомышленников. Здесь – он конечно не призывал ни против швейцарского правительства, ни против банков. Стоя перед этой, формально социал-демократической, а по сути буржуазной массой самодовольных мордатых швейцарцев, рассеявшихся за столиками, Ленин сразу ощутил, что его тут не воспринимают, не воспримут, да ему почти и нечего им сказать. Даже напомнить им их собственную прошлогоднюю весьма революционную резолюцию – как-то не выговаривалось, да и можно всё испортить.

И его приветствие было бы совсем коротко, если б он болезненно не зацепился за выстрел Фрица Адлера, две недели назад. Во время войны ухлопать главу имперского правительства! – это убийство заняло воображение всех, об этом много говорили, и сам Ленин для себя тоже искал оценку, а для того выпрашивал обстоятельства: чьё это влияние (не русская ли эсерка его жена?). И потаённо связанный с проработкой этого вопроса (вечный спор), Ленин тут, на съезде, половину своего выступления неуместно посвятил террору... Он сказал, что заслуживает полной симпатии приветствие террористу, посланное ЦК итальянской партии, если понять это убийство как сигнал социал-демократам покидать оппортунистическую тактику. И подробно защищал, почему русские большевики могли спорить против индивидуального террора: **лишь** потому, что террор должен быть действием **массовым**.

А швейцарцы жевали, мычали, попивали – не понять их.

Но нет! субботнее заседание пошло хорошо, подало надежду! Аплодировало Платтену большинство, и папа Грёйлих 75-летний, в пышных сединах, стал шутить, что “партия нашла новых любимчиков”. (Да то ли ещё будет, последним *швицеским* ругательством вас покрыть! Да мы вас – повесим, когда к власти придём!) Шло, шло на лад! Ленин приободрился и ощутил себя как старый армейский конь в боевой суматохе. А дальше – Нобс оглядчивый не отказался выступить с резолюцией кегель-клуба (радековской): съезду – следовать кинтальским решениям. (Туповатые швейцарцы могут из моды проголосовать, сами толком не зная, в чём там кинтальские решения, – а и попались потом! Потом – их же решением – их и клевать. Гримма клевать!)

Мелочь? Нет! – именно **так** и движется история: от одной завоёванной резолюции к другой, натиском меньшинства, – сдвигать и сдвигать все резолюции – влево! влево!

И следующий шаг: вечером в субботу, по замыслу кегель-клуба, собрали отдельно и тайно (индивидуально приглашая), в другом, не съездовском доме, приватно, – всех молодых депутатов съезда: ставка на то, что молодость всегда сочувствует *левому*. План был простой: вместе с ними выработать (предложить им готовую, Радек уже принёс) резолюцию, которую они завтра, в воскресенье, от себя предложат съезду и протолкнут.

На этом приватном совещании молодых председательствовал, конечно, Вилли – со всей свободой призывающих рук вожака, весёлого бодрого голоса и волос распавшихся, – а рядом Радек стал, как обмазанный курчавостью, в боевых весёлых очках, читал свою резолюцию, разъяснял, отвечал на вопросы. (И оратор хорош, но – перо! но перо! – нет ему цены!) А Ленин, как всегда, как любил, сидел в ряду, незаметно, и лишь внимательно слушал.

И всё было бы хорошо: молодые депутаты прислушивались к русско-польскому товарищу и соглашались.

Всё было бы хорошо, но случилась крайняя неприятность: не подумали, не догадались запереть дверь. И в незапертую вошли, да их и не заметили сразу, – две сплетницы, две гадкие бабы: госпожа Блок, приятельница самого Гримма, и Димка Смидович, приятельница Мартова. А зашли бабы – не выгонишь, будут визжать, скандал! И не уйти всему собранию в другое помещение! Да уже слышали, видели – Радека как докладчика, и всё поняли, конечно,

что резолюцию швейцарскому съезду – готовят русские.

Ах, какая дьявольская досада! Ах, какая грандиозная неудача! Что за мерзавки бабы, мизерная интрига! Конечно, тут же бросились – и нашептали Гримму. А он, нахал и сволочь, скотина последняя, поверил глупому бабью! И заварил пошлую склоку, в своей “Бернер Тагвахт” напечатал гнусные намёки, абсолютно непонятные 99/100 читателей: какие-то *несколько иностранцев*, рассматривающие наше рабочее движение через свои очки и абсолютно равнодушные к швейцарским делам, хотят в порыве своего нетерпения искусственно возбудить у нас революцию!...

Ахинея! Архипошлость помойная! И это – рабочий вождь?

И на съезде – высмеяли резолюцию Нобса. Где предлагал он постановить впредь выбирать в парламент только таких депутатов, которые против защиты отечества, Грёйлих возвеселился: если пошлём таких депутатов, они по пылкости могут оказаться на *кегельбане*

И съезд – хохотал.

И рассмотрение кинтальской резолюции тоже отложили – на февраль Семнадцатого.

Что ж за трагическая судьба?! Сколько вложено сил, вечеров, убеждения, ясности, революционного динамита! – и только обломки пошлости, глупости, оппортунизма, серая вата, чердачная пыль.

И в затхлой Швейцарии торжествует бацилла мелкобуржуазного тупоумия.

А буржуазный мир – стоит, не взорванный.

\*\*\*\*\*

**ВЫ ЛЮДИ РЕЧИСТЫ, ВАМ ВСЕ ПУТИ ЧИСТЫ.**

**А МЫ ЛЮДИ БЕССЛОВЕСНЫ, НАМ ВСЕ ПРОХОДЫ ТЕСНЫ.**

\*\*\*\*\*

**38**

Двадцать пятого октября после полудня, ещё раз заглянувши в Главный штаб на последнее додольце, Воротынцев вышел на Невский. Его билет был на поздний поезд, с Ольдой он уже попрощался утром, а вечерок мог провести наконец с няней и с Верой. И оставалось пройти Невский до Караванной, последний раз.

Как будто светлым звонким победно-успокоенным веществом он налит был весь, не на костях держалось его тело, а – распором этого вещества. Как будто он ни в чём, никаким родом не отполнялся эти дни, а лишь набирался, набирался этого победного вещества и пребывал теперь в таком звенящем состоянии жизни, как незапамятно когда, как может быть никогда, как думать было невозможно неделю назад.

У Ольды на стене висел ещё и гонг темноватого металла. После удара волосяной палочкой он долго-долго сохранял внутреннее гудение, протяжный глухой радостный звук. Вот таким же тронутым гонгом чувствовал сейчас себя и Георгий. Он сам до сих пор не знал, что из него извлекаются звуки, он думал только, что он обладает массой, что он металл и наблещен. А вот звук – гудел и гудел в его груди, и оттого казался новым весь мир и особенно – женщины в нём.

Восемь дней он пробыл в Петрограде, кончал девятый – а не выполнил того единственного, для чего задумана была вся поездка, – так и не встретился ни с кем серьёзно.

Такой измены долгу в своей жизни не мог бы он вспомнить.

Он упрекал себя разумом, а телом – был благодарен. Утекали единственные месяцы или недели спасать положение, но и он же, Воротынцев, жил жизнь единственную и тоже, может быть, последний месяц, – и как же он мог отклонить, если судьба придвинула такое? Он был бедняк без этого, он просто – жизни бы так и не узнал без этих восьми дней.

Он упрекал себя, но были и оправдания. Во-первых, он телефонировал Гучкову несколько раз и просил передать, и даже сегодня днём брал телефон, но не застал опять: в городе, воротится вероятно вечером. Ну, значит, не судьба. А во-вторых Ольда, отобравшая его от долга, отчасти и затмила его уверенность. Всё сложнее намного, чем он думал с налёту, и требует размышлений. Как-то он за эти дни поостыл кого-то искать и что-то выяснять.

Из Румынии вылетев как снаряд – в пути незаметно и мягко он потерял разрушительную скорость.

Идя по проспекту, Воротынцев по обычной военной привычке замечал косым зрением встречающих военных, чтобы не упустить отдать честь. И теперь, перейдя Полицейский мост, он таким косым зрением увидел мощного военного в папахе, генерал-майорские погоны, – и острый взмах руки сам собой отдался ещё прежде, чем Воротынцев посмотрел на лицо этого генерала и узнал в нём – Свечина!!

Ответил и тот сперва тем же механическим взмахом, тоже не сразу разглядев и опознав.

Вообще-то Воротынцев читал в “Русском инвалиде” и знал, что Свечин – уже генерал-майор, помнил, однако и не помнил, не держал в памяти отдельно от прежнего Свечина, – и теперь моргнул от неожиданности.

Повернули, сшагнули, сошлись в рукопожатии.

– Е-горий?

– Ваше превосходительство!

– Ну уж! – приобнял. – Был бы и ты, сам не захотел. Помнишь известное определение: генерал – это достаточно поглупевший полковник?

– Хорошо, что ты не забыл. Ещё не отказываешься?

– Хотя по себе не замечаю, – сильными губами улыбался Свечин, – но отказываться было бы неблагоприятно. Впрочем, – коснулся золотого эфеса воротынцевской шашки, – разве это хуже?

Сказал для вежливости, так не думал?

Да Воротынцев не завидовал – ни когда первый раз прочёл в списках, ни когда увидел сейчас. Двух чувств он вообще не знал в жизни – зависти и обиды, вероятно от высокой уверенности в себе. И никогда за два года он не раскаивался, что тогда на ставочных генералах душу отвёл и правду насытил.

А всё-таки и в “Инвалиде” кольнуло, и сейчас кольнуло...

– Или это не ты? Вас – двое, что ли? Ты же в Ставке, вот письмо в кармане, звал меня заезжать.

– Так и вас – двое? Я тебе в полк писал, а ты – в Петербурге?

Удачная встреча! Воротынцев не знал, насколько серьёзно истолковать свечинское письмо, полученное перед самым отъездом, и – заезжать ли в Ставку на обратном пути.

– Уже уезжаю. Сегодня ночью.

– А я – через три часа. Жаль, что не вместе.

В левой руке Свечина был крокодиловый чемоданчик, настолько маленький, что ни грузом, ни багажом нельзя было его назвать, и даже генерал мог нести его, не противореча уставу.

– А приехал когда? Вот не встретились! – порывом пожалел, а на самом деле не мог жалеть Воротынцев: за Ольдой когда ж бы им?

В чёрных глазах Свечина просверкнуло холодное:

– Сегодня утром.

Не понял:



– Сегодня и приехал, сегодня уезжаешь?

– Я... – с жестоким пожимом больших губ, – приезжал только порвать с женой.

В толк не взять:

– С утра – и до вечера?

– И дня много, – жестоко небрежно говорил Свечин мимо Воротынцева.

За это время они произвольно повернули – так, как шёл Свечин, перешли Мойку, постояли, перешли Невский к Деловому клубу, постояли. И, как складывались сами шаги, пошли по Мойке в сторону Гороховой.

Весь день провисело тяжёлое небо, особенно тёмное сейчас, к ранним северным сумеркам. И начинался дождь, серая поверхность Мойки помарщивалась от капель.

– Понимаешь, – хмуро объяснил Свечин. – Несколько месяцев назад я узнал, что жена прибывается к распутинской компании. Я её – предупредил. Но я не евангелист, предупреждаю не семьдесят семь раз, а только один. Особенно женщину.

– Почему же к женщине строже всего? – с беззаботностью возразил Воротынцев.

– К ним-то? – настаивал Свечин. – Никак иначе. Иначе пропадёшь. Можешь денщика простить до десяти раз. Можно вольноопределяющегося простить за бегство с поля, ему не закрыто исправиться. А женщина – или понимает с первого предупреждения или безнадёжна.

Станный, безжалостный вывод. Но как приятно неожиданно встретиться со старым другом, при сохранившейся полной простоте отношений. Да вообще после Ольды – что могло бы ему не понравиться? Всё отлично, всё кстати, даже дождь.

– Но что ж именно случилось?

– Ничего. Только чай приезжал пить Старец. В моей квартире – пил чай!! – длинные губы Свечина перевились как жгуты. Это был признак бешенства, за то звали его, ещё при яркой черноте глаз, Сумасшедший Мулла. Однако в служебных делах никогда он это бешенство не проявлял.

– Ну – чай, слушай! Простое гостеприимство! – всё веселей, как будто дразня, возражал ему Воротынцев. – Да наверно ж и другие гости были, духовные разговоры вели.

– Молиться – церковь есть, – сурово отклонял Свечин, бесчувственно к шутке. – Нужны обязательно старцы – езжай в Оптину. Да там, видишь, старцы не те. А если шестеро баб надевают прозрачные платья и трутся около здорового мужика...

– Ну, не по шестеро!

– Да по двенадцать! Рассказывают: в баню с ним ходят, графини-княгини, вот такие же жёны, по очереди мочалкой его трут.

– Ну, не все. Ну, не всякий же раз, – легко возражал Воротынцев.

Вот как. Бредём все разумно по набережной, а в сторону на шаг отступись и – бултых.

– Да я этих графинь в общем виде не осуждаю. Моя оговорка лишь в том, что моей жене там не место, она должна знать своего хозяина. Даже если там только чёрные сухарики принимают в душистые платочки да выпрашивают грязное гришкино бельё поносить. Пили чай за моим столом, была предупреждена, – достаточно.

– Но что она сама говорит?

– Не знаю. Это не имеет значения. – Сложил губы как для свиста. – Я, видишь ли, не застал её дома. А ждать не стал, мне завтра в Ставке быть. Написал записку, сложил вот этот чемоданчик, всё остальное – ей.

Поразился Воротынцев: чтобы так – не в кавалерийской атаке, а – кончать семью?

– Сыновья – оба в кадетском. Дальше в училище пойдут.

А дождь усилился, да крупноватый, мочил им папахи, шинели. Они прошлись вдоль Мойки, воротились к Кирпичному переулку. Темнело, сырело, скоро зажгут фонари.

– Так ты куда сейчас?

– Да куда. Пообедать.

– Так вместе? Хочешь, пойдём к моей сестре?

– Да давай в ресторан. Вот тут Кюба рядом.

Пошли по Кирпичному. Вот и мимо тройных витражей ресторана, уже задёрнутых, тепло освещённых изнутри. Завернули на Большую Морскую, к мраморному портику на штукатуренном доме. На повороте обошёл их мягко лихач на дутых шинах и раньше остановился у Кюба. Сошёл молодой человек, принимал за собой подругу. В песочном пальто и чёрной шляпке, не покрывавшей всех волос, она спрыгнула, тонкая, лёгкая, пошатнулась, и спутник придержал её, как обнял. Они вошли перед офицерами – и в дверях и в вестибюле потянулся ток духов от той девицы.

Под розовыми абажурами друзья с удовольствием раздевались в тепле, отстегнули и шашки. А те двое – у соседнего гардеробщика. Без пальто выявилась статуэточная отточенность девушки в золотистом платии до щиколоток, а без шляпки – избыток длинных волос, назад двумя каскадами. Спутник назвал её Ликоней.

Казалось – уж Георгий был переполнен, а нет, – появилось внимание смотреть. Вот и эту бы он раньше не заметил. А сейчас, встретясь с ней глазами, не счёл неприличным задержаться чуть дольше, будто надеялся успеть не полюбоваться, а выявить ей что-то своё.

– Такие барышни разве ходили сюда раньше? Кюба ведь был для деловых встреч?

– Вернёмся – многого не узнаем, – мрачно отозвался Свечин.

Да первое неузнаваемое и неприятное был спутник её – с выложенными подвитыми серыми локонами, чуть не напомаженный, с уверенно-ленивыми манерами. Надменно окинул он высших офицеров с их академическими аксельбантами и академическим серебряным прибором – как гардеробщиков, не больше отпуская им интереса.

– Это во время войны, сопьяк такой. Погонять бы его по ходам сообщения, в три погибели.

– Да-а, – бормотал Свечин. – Читают стихи сомнамбулические, слушают этих истериков Северянина да Вертинского. Что тут пока растёт – нам неизвестно.

Первый этаж ресторана был длинная зала в коврах, в теплоцветных шёлковых занавесах на больших трёхарочных окнах, верхний свет несильный, а на столах стояли заабажуренные лампы. Но тип ресторана изменился, да: сидели дамы, переблескивая украшениями, курили длинномундштучные папиросы. А в дальнем углу у содвинутых столов, перегруженных блюдами, большая компания справляла какое-то тыловое торжество. От них доносился избыток сытого шума, и ещё на помосте, за занавеской, мастерили для них какое-то зрелище.

Воротынцев никогда не был любителем ресторанов – по многолетней денежной стеснённости, но и принципиально: любой ресторан снижает темп дела и раздувает долю удовольствия – пропорция, которую Воротынцев себе в жизни никогда не разрешал, да давно и не желал.

Но сейчас приятно было опуститься в мягкий стул против Свечина и, уже в объёме сложного соединения многих съестных запахов, невообразимых для фронтовика, поджидать пока поднесут меню, а раньше того что же? – закурить.

Случай так случай! – хорошо открывалось поговорить с другом – нестеснённо, обобщённо. Хотя в Петрограде ото всех разговоров Воротынцев скорей растрясся, чем собрался.

И Свечин расположился удобно, потянуть время до поезда, и с удовольствием поджигал трубку. Ни по чему было не угадать, что в этот самый час, или около, его жена входит в квартиру и от мужа, который мнится ей за семьсот вёрст, читает гильотинную записку.

Поразительно, как это смог он круто так, и как собой владеет.

Потому им было легко друг с другом, что ничего не надо проговаривать подробно: хоть и не виделись два года и почти не переписывались, но только назвать – и обоим ясно большей частью от начала, большей частью до конца.

Если *Шампань*, так это не родина шампанского, а участок, где всё прошлое лето обещали союзники начать наступление в вызволение нам, но не начали, но дали нам сгореть в нашем прошлогоднем бесснарядном гибельном отходе – и снарядов тоже не прислали нам.

А когда у нас всё кончилось, то они без пользы выпустили три миллиона своих в этой самой Шампани.

Да что союзники сделали за весь Пятнадцатый год? А английская пехота – много ли дралась? С начала войны продвинулась на несколько сот метров. Очень уж себя берегут.

Или: кавказскую армию зачем гоним в ненужное безнадёжное наступление по турецким горам? Что может быть бессмысленнее нашего наступления в Турции? Горы, снег, суворовские богатые и чудеса, взят Эрзерум! – а применить ничего нельзя, всё зря.

Но выручает союзников под Салониками. Но выгодно для Англии в Месопотамии.

Ничего не надо объяснять, только называй. Сентябрьский ли измолот гвардии под Свинюхами-Корытницей (названия – как прилеплены, по достоинству операции). Или мартовское бессмысленное наступление у Нарочь-Дрисвяты – без всяких шансов на успех, спеша до оттепели, не считая потерь, продвинулись – и распутица, окопы залиты водой по колено, артиллерия и обоз не передвигаются.

– А всё только – выручить союзников под Верденом. А и верденский бой начали немцы, союзники б не решились. – Воротынцеву уже всё к одному цвету, отчаянному.

Но Свечин из Ставки может быть и справедливой:

– Это – измолотные бои. Французы под Верденом тоже, может быть, за двести тысяч потеряли.

Воротынцеву всё равно не по нраву:

– Они хоть – с шумом на весь мир, хоть в историю войдут. А Эверт сколько потерял? Наверно...

– Тысяч семьдесят.

– Вот! И – ни звука. Вот так мы умираем.

Свечин-то много знает, не всё сразу вытянешь.

Орудия нам присылают – на тебе, убоже, что самому не тоже. От нашей хрустящей конской амуниции, от зарядных ящиков из кондовой древесины – не отказываются. А паровозов нам нужно 300 штук – не дают. Их формула: потребности Западного фронта громадны, оторвать от него не можем.

Да это что! – а людей!... Уже вскоре после самсоновской катастрофы союзники имели наглость просить у нас четыре корпуса во Францию через Архангельск. А потом у них были потери в ударных сенегальцах – и с марта этого года они бессовестно требовали от нас 400 тысяч наших солдат, на свой фронт, по 40 тысяч каждый месяц.

Воротынцев не то что высвистнул, а – выдохнул как пар паровозный: во-о-он за чем приезжали эти морды благообразные, Вивиани с Тома, отснятые для всех иллюстрированных журналов. И получили-таки русский экспедиционный корпус! Дичей этого корпуса выдумать нельзя: чтобы сидели русские мужики за семью морями в чужих траншеях как колониальные сенегальцы.

– Ну, ни за что б я не дал этого корпуса! – бурлил Воротынцев. – Значит, воевать до последней капли крови, только русской? Ну, нет у Государя твёрдости, ну нету!

И по Свечину пошарил взглядом, как он насчёт Государя? Не должен бы измениться.

– А куда ж денешься? – со своим обычным спокойным пессимизмом возражал гологоловый, гололицый Свечин, обстриженные маленькие чёрные усики под большим носом. – Алексеев поторговался с Государем, с французами, но 6 бригад по 10 тысяч пришлось дать. У союзников логика железная: поскольку недостаток вооружения не позволяет русским использовать все свои силы, то не нам должны добавить оружия, а мы должны свободный людской персонал уделить на их фронт. – Усмехнулся: – Как модный поэт читает по эстрадам: “Лишь через наш холодный труп пройдут враги, чтоб быть в Париже”.

А взгляд Воротынцева, мимо свечинского плеча, пришёлся на ту пару, севшую через три стола. И почему-то тот неназванный модный поэт совместился для него с этим декадентом с навитыми локонами, спиной сюда. А Ликоня сидела очень удобно для наблюдения, в три четверти.

И хотя Воротынцев уже давно убрался от них мыслями, и разговор со Свечиным был жизненно важен, и всегда б он был весь тут, вонзаясь, – а вот какое-то новое остаточное внимание появилось в нём, не уходило из глаза, из мысли: о чём они там могут разговаривать? чем живут? И что ему эта девица, которую он никогда не увидит больше? – но что-то восторженное от неё вошло, её присутствие почему-то всё время ощущалось. Разной женственности, оказываются, бывают женщины. Эта изгибистая девушка виделась как концентрация всего, что так густо в эти дни захлебнул Воротынцев. Но уже по тому, как она с извозчика соскочила в обнимку, и у гардероба была вся повадка отданная, привязанная, досадно убеждался и самый бескорыстный наблюдатель, что эта Ликоня со внимательно-медленными глазами и двойным водопадом волос...

– Так и выражаются откровенно: вы нам – солдат, тогда мы вам – оружия. Подвигами нашими умеренно восхищаются, а платежей требуют как ростовщики: за все военные заказы систематически платим наличным золотом в лондонский банк, а в долг – ничего. И вот истощилась валюта – и не можем делать военных заказов, сокращаем.

Свечин морщил крупный жёсткий нос как от дурноватого запаха.

Даже не в долг?!... Ну, как бы ты ни был предостережён, как бы ни ждал дурного – а всего никогда не угадаешь. Требуя по 40 тысяч русских тел в месяц – и за каждую железку тут же золото на кон? Нет, этого западного торга нам никогда не понять! И куда же мы отдаём?

Воротынцев страдательным голосом:

– Ком-мерсанты! Мы для них – не товарищи по несчастью, а удобная дубина? Франция – просто купила нас.

Как же можно при нашем богатстве да так попасть? Как же воевать так неравно?

И под такие вопросы – только *одно* лицо всегда выставлялось перед ним, со своим стеснённо-равнодушным выражением. Ведь он – всё это знает! Как же он может так уступать? Зачем полез в такую петлю? Почему не заговорит с союзниками твёрдо: мол, иначе выйдем из войны?

– Мы – вообще одни, никто с нами искренне, – выливал Воротынцев свою настоящую горечь. – И что когда-нибудь хорошего делали нам англичане или французы? Почему, собственно, они наши союзники? Как легко мы им простили крымскую войну! А японскую?

Ведь Англия была японским союзником, подарила Японии два броненосца с британским экипажем, продала три десятка вспомогательных пароходов, снабжала японский флот своим углем, на их угле Того вёл все сражения. А у Франции с Англией было “сердечное согласие” – а с нами само собой тянулся союз против Германии, – как это? Где ж наше соображение? И сегодня же союзники наперебой отплёвываются, что им, демократам, пришлось взять в союз такую гадкую реакционную Россию. В прошлом году Ллойд Джордж публично злорадствовал нашим отступлениям и потерям.

– Их друзья американцы – к нам открыто враждебны вторую войну. Зачем и почему мы с ними союзники?!

Возобновлялись их обычные прежние друг с другом роли: роль Воротынцева – произносить горячие разоблачения, роль Свечина – с угрюмой насмешливостью напоминать безнадежные факты, но побольше молчать и равномерно служить.

– Или Балканы? – не унимался Воротынцев. – Стоило нам для болгар брать Плевну, мёрзнуть на Шипке? Вся идея возглавить славянство – ложная, вместе и с Константинополем! Из-за славянства мы с немцами и столкнулись. Шли они на Балканы, дальше в Месопотамию – а нам что? это – английская забота. Да и для сербов – чего мы добились? Третий год воюем за Сербию и Черногорию – и что? Они стёрты с лица земли. И мы – шатаемся. Миллионы – в земле, два миллиона в плену, если не больше, да крепости сокрушены, области отданы, – всё для союзников! Почему Англия могла перебросить войска на материк через год – а мы должны были в две недели выложиться? А после Самсонова – можно было не переть на Германию, вопреки собственной доктрине, не перемолачивать

кадровую армию? И румын в союзники нам навязали французы!

Свечин и спорил и не спорил, усмехался попышливо, дымом:

– И нас же упрекают, что наши военные усилия в Румынии недостаточны. И румынские неудачи приписывают русскому предательству.

– Да ну? Вот это так!... И всё – из-за проклятого константинопольского миража! – сек Воротынцев. – Как будто нам дуракам наши дорогие союзники уступят проливы когда-нибудь, чем мы думаем? И что за тупая жадность – почти всеобщее ослепление этим Константинополем, будь он неладен! И Достоевский туда же. И от самых крайних правых и до кадетов, даже до Шингарёва, – жизни им нет без Константинополя!

– А наш Головин? – посмеивался Свечин. – Помнишь: Россия – заколоченный дом, куда можно проникнуть только через дымовую трубу.

– Спутали все двери и окна! Свои же окна хламом завалены. Мне здесь пришлось побывать в кадетских кругах – так против Англии слова не пикни, все сразу на дыбы. У Головина-то мы ещё восемь лет назад говорили: развивать военное производство, чтоб ни от кого не зависеть. Так тогда и нафталинные старцы и умная Дума пожалели именно золота. А теперь – отвезли его всё.

В меню стояли цены непостижимо высокие. Но и – выбор. Не слишком по карману... А что ж тут пить? Генеральские звёзды надо ж обмыть? Не может быть, чтобы водки не устроили, небось как-нибудь тайно...

Как церковная вера неуклонно раскладывается на народ, а для чистой публики всегда допускаются полегчания, так и здесь не могло не быть изъятий.

Свечин когда и согласен, так посмеивается, Свечин свои заборцы знает. Он – критик особенный, к нему привыкнуть. Вот, он знал о союзниках горше Воротынцева, но через каменные заборцы не прыгал. Знай ругай, а служи в своём загоне.

– Кстати, знаешь: Алексеев предлагал вообще с Турцией помириться и фронт ликвидировать.

– Да что ты! И он бывает такой умница? И что ж?

– А ничего ж. Чем у нас может кончиться?... А по-твоему что ж, надо было союзничать с немцами?

– Один отставной корпусной генерал, как только войну объявили, сказал: ну всё, погибли две империи, российская и германская. Я тогда ещё этого не оценил. Не говорю союзничать – но можно было удержаться в хорошем нейтралитете. И они нам его не раз предлагали, хоть в Девятьсот Седьмом.

– Но нам нужно было одним рывком избавиться от немецкого засилия.

– Но для этого не непременно воевать! У нас это проговорить невозможно – сблизиться с центральными державами. Кадеты мешали вооружаться – но при этом с Германией не мирись! Конечно, уже имея договор, получается, что надо было спасать Францию. Но раньше того: мы не нуждались ни в этом договоре, ни в этом союзе, ни в территориях. Наша потребность – только внутреннее развитие. Это понимал и делал Столыпин.

Но свечинскую глыбу так просто не сдвинешь. Скучно посапывал:

– Да и Германия во время японской интриговала. Она в таком союзе с нами была, чтоб задушить торговым договором, брали зерно задаром. А старое вспоминать – так кто на Берлинском конгрессе запретил нам проливы? Почему Скобелев говорил: “дорога в Константинополь ведёт через Берлин”? Всегда смотрели немцы на Россию как на навоз для удобрения.

Это правда, что ни вспомнишь – то унижение. Ну, и русская политика.

– В общем – были пути уклониться от этой войны. И надо было.

– Нет. Раз Германия твёрдо решила с нами воевать – без унижения мы уклониться не могли. Они бы вынуждали нас, следовал бы позор за позором. Чтобы против Германии мочь ровно стоять – нам неизбежен был союз с Францией. Вот Александр III и принял. А иначе б мы остались один на один.

– Ну и что? Что ж, у нас спина хрупче, чем у Германии? Ну, не-ет! Ещё одна

Отечественная война? Так вот тогда б наш народ и стал – заедино и до последнего, не как сейчас. А стань в положение Германии, разве она не одна? Кто у них по сути союзник? Да никто. А стоят – против всего мира, я-те дам! Они стоят одни – так мы, гигантская страна, не простояли бы? Ну что нам этот коммерческий конфликт между Англией и Германией? – он нас не касается, зачем мы туда встряли? Если Россия куда лезет – то только по незнанию своей силы. Если б мы понимали себя – никогда бы мы не тесались в игру этих мальчишек. Что нам в каждой драке непременно надо? Дураки политику обдумывают. Вообще никто не обдумывает. Мы – тем сильней, чем твёрже в своих пределах. Да, ты прав, нам послан был урок турецкой войны: мы воевали, умирали, а другие, в нейтральности, пальцем не пошевелив, направили как хотели. И нам бы всего только – не мешаться в эту войну, деритесь, а мы ни при чём, да два года мирно постоять, – так не было бы силы, сравнимой с нашей.

– Ну, Егорий, что о том говорить, чего не жарить, не варить. Правильно, неправильно, но историю не переделаешь, что уж ты так горячишься.

– А то, что и сегодня из этого вытекает, как нам быть дальше! – не гнулся Воротынцев.

– Как же? – уже заранее высмеивал Свечин.

– А-а... – менять весь наш взгляд на веденье этой войны. Перестать пробивать стену лбом, не считаясь с жертвами.

– Вот тебя не поставили вместо Алексеева! И как бы ты это делал?

– Я бы? – Готов, но замялся. – Ну, по крайней мере Шестнадцатый год *продремал* бы, никуда бы не лез.

Тут усилился шум на банкете в конце залы, что-то объявили – и те не пойманные мародёры или провизоры, нажившиеся на опиуме и кокаине, стали аплодировать холёными руками. Кто-то раскланялся – свадьба не свадьба, юбилей? выгодная сделка? – отёрнулась занавеска, а за нею –

подвешено какое-то колесо. И двое слугителей стали быстро поджигать его в разных местах. И отскочили тут же.

Колесо само завертелось, густо рассыпая искры бенгальского, всё сплошной занимаясь огнём по диску, в три цвета: серебристый из центра, голубой по большому кругу и красный по ободу, как бы национальный флаг, только во вращении. Закружившийся, заверченный флаг.

Ах, как забавно! Ах, как весело придумано! – смеялись, хвалили, аплодировали мародёры.

Но пиротехники не рассчитали: поредел серебристый цвет, поредел голубой, и исчерпались оба, а объёмлющий красный – нисколько. Так и вертелся налитым ободом.

Красным.

Алым.

Багряным.

Огненным.

Докручивался, рассыпая искры.

Не так, а где-то что-то подобное...?

Да! Мельница горела в Уздау...

## 39

Водку подали им в нарзанной бутылке. Изобретателен бес. Как это может быть? Да платят полиции взятки, вот те и не замечают.

А уж это – причуда посетителей-офицеров, что они к нарзану заказали солёную закуску.

А на какой-то стол принесли толстый чайник с “белым чаем”. Устраиваются.

Ну что ж, начали?

По стопке, по стопке – с отвычки грело и разбирало веселовато.

За эти полчаса со Свечиным Воротынцева уже покидала та самодовольная победность,

распиравшая его тело, дозвуки гонга в нём уже не стали звучать, – возвращалось тело в свою обычную жизнь – и дремавший ум просветлялся.

Войну – надо вести иначе. Не надеяться, что она вот к лету кончится, а – менять весь её характер.

Свечин согласен: менять методы веденья войны. Как мы застыли в окопных линиях – из этого вырваться не просто, можно и десять лет просидеть. И вот есть идея, которую в Ставке никто не слушает: не стараться толкаться целыми фронтами, а формировать хорошо подготовленные, отлично снабжённые ударные группы, все – на копытах и на колёсах. Прорвать фронт хоть узко, хоть на несколько часов, – и бросить такую группу глубоким рейдом! Такой войны немец не выдержит, это будет почище партизан в Отечественную. А ответить тем же он нам не может, потому что наши рейды у нашего населения найдут помощь, а он – не найдёт.

Нет. Вот теперь-то, обежав места неразногласные, и раздиралось их понимание от разноты опыта за два года.

– Не в приёмах, Андреич. Уже не в оперативных приёмах. Я тебе говорю: менять весь характер !

Из штаба Верховного видно не то, что из полковой землянки. Кто засиделся в штабе, тот забывает чувствовать погибших. Им – можно ноли при числах подсчитывать. Но...

– Ты оглянись, ты ощути – сколько мы уже народа нашего перебили? Уж офицеров – и лучших, и средних, всех перебили, давай вспоминать. И сколько уже таких полков, как 1-й Сибирский, где ни одного не осталось? Вместо кадровых – прапорщики “с идеями”. А главную массу наших унтеров мы погубили в 14-м году. Сейчас русских уже побито больше, чем когда-нибудь в нашей истории, в любых войнах. И льётся именно и почти исключительно – русская кровь. Кавказцев – мы не призываем, хорошо. Туркестанцы не захотели идти даже на тыловые работы – мы согласились, хорошо.

– А инородцами много не навоюешь. В пехотную службу они пойдут неохотно, они – кавалеристы, а по нынешней войне кавалерию надо как можно уменьшать, знаешь сам. А такого упорства в бою, как у русских, – ни у кого нет.

– Кто тянет, того и погоняй, да? Что мы делаем! – ратников гоним, беззащитные бороды. Своими руками гоним Россию на смерть! Если других щадим – почему же своих не щадим? Мы проигрываем больше, чем войну, – народ! Это невероятно, что мы выкачали из страны миллионов сколько? тринадцать? и продолжаем качать дальше, уже мальчиков 19-летних. А в окопах всё равно не сидит и три миллиона – а где остальные? И лошадей сгоняем, разоряем тыл – зачем? У немцев был перерыв в войнах сорок три года, а у нас – всего девять. Но кто же воюет умелее?

– Со всей их умелостью они сейчас лошадей кормят суррогатом из соломы и древесины. Конечно, организация. Но они задыхаются без людей, без продуктов, без материалов – и наш фронт, наоборот, представляется им грознейшей силой.

– Да? А наш тыл? Нам с фронта ещё очень мало видно. – Он сказал “нам с фронта” из вежливости, понимая, что у Свечина в Ставке слишком взнесенная и не угнетённая точка зрения. – Мы с позиций только и смотрим вперёд, на неприятеля. А поездишь – наслушаешься... “Надо бить немца сперва внутреннего!...” “Не умеете воевать – кончайте!”. Рабочие уже бунтуют и захватывают запасные части.

– Ну уж! Страсти-мордасти.

Да! Вот за эти дни в Петрограде. Очень серьёзные волнения на Выборгской стороне. Полиция... А соседний запасной 181-й полк... Чуть передайся через мосты – и во всём Петрограде...

Ну уж!

Когда не случилось – так всегда “ну уж!”. А когда случится так: иначе быть не могло.

А мародёры там, в глубине зала, шумно веселились, в хохоте взрывались. И все, конечно, имеют законное право не воевать, сорить деньги и праздновать в ресторане Кюба даже по будним дням.

Не очень верил Свечин. Впрочем, десять дней назад и Воротынцев, – из армии как можно в это поверить?

– Где и муки даже не стало хватать. Сейчас как бы не опаснее, чем летом Пятнадцатого. В прошлом году, как мы ни отступали, но сыт и крепок был тыл.

– А как уж мы так отступали? – рассердился Свечин. – За Москву, как в Отечественную? До Полтавы, как Пётр? Даже не до Днепра, как от поляков бывало не раз. А мы – всего лишь на краю Польши стоим. Ну потеряли Польшу, Галицию, часть Лифляндии...

(Польшу, Галицию, Лифляндию, – но оставалась Ольда. Имея Ольду, уже не чувствуешь себя в столь побитой армии).

– Тебе бы поотступать самому с венгерской равнины – попятиться задом на Карпаты.

– В Пятнадцатом страшно показалось оттого, что без снарядов. Ну, отошли на 500 вёрст, а ни одной армии, ни одного корпуса не дали окружить. А сейчас снарядов – завались, и с каждым месяцем больше. И армия – прочна, и тверда, и исполняет свой долг, не знаю случаев неподчинения. Ты невольно поддаёшься – от румынских впечатлений. А кроме: Германия и Австрия уже нигде не способны на большое наступление и переходят к обороне. И обречены на истощение, к ним силы ниоткуда не подходят. Пленные немцы стали – упавшего духа.

Увеличенно крупная, а по слабости волос всегда стриженная под машинку, голова Свечина была не кругло-овальная, как у всех людей, а с выпирающими несимметричными буграми, как бы знаками упорства. Волосы скудные, а голова – непробиваемая.

– Мы, напротив, войну уже неотвратимо выиграли, – пёр он своими буграми. – Ничего, хоть эти чёртовы доблестные союзнички где выиграют – всё равно война наша. Пойми: центральные державы изготавливают в сутки 600 тысяч снарядов, а Согласие – 800, это ж когда-то всё равно перевесит.

Но лишь всего один такой снаряд – да в гущу нашего окопа...

Воротынцева пригнуло к столу – к Свечину, через стол навстречу. Устойчивый наклон, как ходят в атаку.

И твёрдо, и глухо:

– Наш **корень** выбит, Андреич! За эти 27 месяцев выбит **наш корень**. Не считай союзниковы снаряды, поезжай посмотри наши полки. Это – уже не те полки, какие шагали по Пруссии, тогда у Самсонова. Нам – армию подменили, Андреич! Никакая победа нам не заменит убитой России! Мы сейчас – добиваем тело народа. Не считай союзниковы снаряды, да и наши, – народу обещали войну в три месяца, народ выдохся, народ хочет только замирения! Настроение солдат такое: затеяли баре войну и убивают мужиков. Если Россия подменится, станет другая Россия, – зачем нам победа?

Пахнуло на Свечина.

Но не убедило, даже изумило:

– Так тебе что – уже и победа не нужна??

– Я просто – вижу, как оно есть, – отдышался Воротынцев после выпаленного. – Таковую логику мы уже помним: “претерпевый до конца, спасен будет”, да? Если мы не уничтожимся, вот это и будет победа, после всех глупостей. Нам победа в Европе ничего не даёт, что она нам даёт? Ещё земли захватывать? Опять Константинополь?

Но Свечин смотрел с недоумением. Нет, этого он не принимал:

– Так что ты предлагаешь? Теперь высказывать из войны, что ли? Сепаратный мир? Но если Россия отделится теперь от союзников, она и окажется в побеждённых. Преждевременный мир привёл бы Россию к беде. Даже к революции.

– Как раз наоборот! – спокойно выставил Воротынцев.

Но так прямо – сепаратный мир – он не хотел или ещё не готов был сказать.

А Свечин:

– Знаешь, я соглашусь: может быть и умно было в эту войну не встречать. Но уж встряли – надо кончать её, а не метаться. Война сорванная, наспех законченная – грозит ещё



худшими последствиями, чем нынешнее напряжение. Да как это, ну как это выйти из войны – и без ущерба для России?

– А продолжать и тянуть её – не худший ущерб, чем выскочить? Практически это можно обсудить. Один из вариантов, говорю, задремать.

– А что скажут союзники?

– Да не о союзниках мы должны думать, а о спасении своего народа! Это – интеллигентская кадетская фраза: что России будет несмыаемый позор, если она расстроит единство с союзниками. А эти союзники довольно на нас покатались, хватит. Да все войны всегда они вели для своей выгоды, а только мы болваны без толку суёмся... Я иногда думаю, правда, что нас хитро впутали в эту войну: союзники нуждались осадить Германию, – а хорошо это сделать русскими руками: заодно и Россия крахнет внутри, раз она даже японской не выдержала. Они выиграют – они и победу захватят, мы – лишь бы им выволочили. Так пусть они свою победу берут, а нам нужно только не уничтожиться, перестать терять людей. Бывает болезнь, бывает усталость, когда дальше – ни шагу нельзя?

Из сходного знания они делали разные выводы. Эта страстность разногласий между сходными – она и досадна, когда всплывает, но она ж и плодovита всегда.

Да нет же, нет, как раз наоборот! – убеждал Свечин.

– Самый важный год в войне и будет Девятьсот Семнадцатый, и именно после всех жертв тут и нельзя ослабить напряжения сил. Мы даже должны *увеличить* армию – теперь, когда фронт растянулся до Чёрного моря. Сейчас белобилетников переосвидетельствуют – ждём от этого 600 тысяч. Да ратников 2-го разряда – ещё 150 тысяч. Да очередной призыв. И с этими ресурсами...

*Ресурсами*, Боже.

– Да нельзя больше испытывать народное терпение, пойми!

– Да ты стал выражаться, как народник, а не как офицер генерального штаба! – смеялся Свечин чёрными сочными очами.

– Нет, как доктор. Как доктор, приложивший ухо к груди – и услышал смертные хрипы. Поверь! Не пустое говорю. Знаю.

До этой минуты Воротынцев высказал всё, что хотел, не смягчая, – и сколько бы Свечин ни возражал – но сказано, и между ними легло. Однако продолжать дальше, – а *решения, пути* – он не мог предложить. Он только знал, он чувствовал, что – надо действовать!! И вот такая встреча! Куда естественней! – умён, силён, быстр, доверие полное, теперь и фигура – генерал в самом сердце Ставки. Не намного мельче и Гучкова. Во всей поездке такой встречи не было и не будет.

Но Свечин – служака. Он может всё понимать, а содействовать – не будет:

– Тут в Петербурге все взбеленились, будто мы войну проигрываем. И с чего это взяли? И друг друга настрёкивают. И, конечно, Гучков туда же, в первых рядах. Что за дерьмовое письмо его Алексееву, читал? Придрался – не к существу, чтобы только правительство выбранить и шума поднять побольше. Раздул, раздул – и распространять, дамский приём, истерика, как у всех тут. А что в письме доказано? Ничего. Очередной столичный экзерсис.

Вот повернулось: сам же Свечин и налетел на центральную фигуру, и Воротынцев опешил его защитить. Там, в Румынии, это письмо сослужило ему переполняющей каплей, подожгло его нетерпение – оттого ли, что мы так бываем готовы слишком? А сейчас подумал: правда, что за форма?

А Свечин доламывал:

– Гучкову как раз стыдно не разобраться: он и военным себя считает, и на фронт заглядывал, и снабжение как будто знает, или даже занимается. Хотя его эти военно-промышленные комитеты неизвестно что больше: помогают снабжению или путают, нельзя иметь столько хозяев. Да и все же только рвутся на фронт – агитировать генералов да раздавать офицерам ротаторные речи.

Тут подали им уху, немного умеряя и отвлекая обоих. А водка их уже была при конце. Не давая остывать, накинулись на уху.

Немного подсправясь, опять усмехнулся чернобровый безбородый башибузук:

– А видел бы ты, чего это Алексееву стоило, – он с тех пор заболел, не выздоравливает. Ведь он, как истинно-русский человек, больше всего на свете боится начальства. А тут – Государь мог подумать, что Алексей и действительно состоит с Гучковым в переписке!

Сразу мысли: а сам Свечин – разве не боится начальства? И, если уж до конца: как он сегодня к Государю? Это – ключ.

– Ну и так, как он, работать, тоже заболеешь. Ведь он через свою единую голову не только всё армейское, но уже и всё гражданское: заготовки провианта, фуража, металлический голод, топливо, даже милитаризацию заводов. Он по-прежнему: помощников себе не ищет и хорошего штаба никогда не создаст. Половина Ставки – вообще бездельники. Один у него советчик был Борисов, нечёсанный, немытый, дух запазушный, и тот не работал. Алексееву нужны только исполнители, вроде дурака Пустовойтенки, лишь бы бумаги вели в порядке, а не совалились. Старик даже не желает смотреть оперативные планы нашего отдела: мол, если решение должен принимать один человек, то он один должен и планы составлять. Сам! Предложишь ему что-нибудь вроде рейдов – только отмахивается, поменьше нам этих новинок, увольте!

– Ну, хоть и в одиночку, а решения, я смотрю, он принимает неплохие. Если, ты говоришь, он – за мир с Турцией. И, если я правильно слышал, он и с Румынией не хотел вязаться, а отдать предпочтение северной части фронта. Да ведь как ему, наверно, его величество ещё подпорчивает?

Пристально на Свечина.

Тот, над ухой, размеренно:

– А союзные дипломаты? А царица? И даже Распутин, свинья, передаёт Алексееву советы.

Не добавил глазами больше сказанного, но – всё понимает, конечно. А сворачивает на своё:

– Но и нельзя же все задачи армии и страны пропускать через одну голову. Это как раз свойство человека, одарённого не щедро. У нас – бранить принято Государя, сколько угодно правительство, только не нашего старика, он стал как признанное достояние России. А между нами поближе: разве он достойный главнокомандующий великой армии?...

Вот именно. Только не он – главнокомандующий. Верховный с ним по соседству – спит, гуляет, обедает с генералами и дипломатами, слушает охотничьи истории, посещает кинематограф.

– Ну конечно, после Янушкевича и Данилова – на Алексеева можно молиться. Но вот это и есть та лопата, которую ставят вместо иконы.

Тут – как не присоединиться:

– Это, Андреич, и есть тоска десятилетий бездарности. Даже когда искренно хотят поставить даровитого человека – уже не способны найти его. И ставят, по наследству, со своей печатью ограниченности. А соваться в такую войну – надо быть твёрдой властью, иначе бы и не соваться. Тот же и тыл – выдержал бы и вчетверо, как в Германии выдерживает, – если была бы твёрдая рука.

Свечин как не слышит:

– Да я о нём – и не плохо. Не корыстен, не честолюбив, разумно понимает дело. Да и не отвергнет правильного решения, если только оно лежит на привычной плоскости и в умеренных пределах. И спать не ляжет, пока всех распоряжений из головы не выдаст. Только стал над Россией возвышаться как монумент бесценного опыта. Но я к чему веду: сейчас старик серьёзно заболел. И видно надолго, и видно в отпуск уйдёт.

– Да что ты? Чем же?

– Что-то с почками. И температура всё время. Это – злословим, что перепуг от письма Гучкова. А старик здорово подался. Но к чему я опять веду: что перед Алексеевым невозможно было и заикнуться, что вот такого и такого делового человека взять бы в Ставку. Скажет: спать поменьше надо, и сами справимся. Но теперь, если он надолго уйдёт, –

неизбежно в Ставку будут брать новых людей. Ты сейчас здесь – в отпуску? или по какому делу?

Сердце стукнуло:

– Дней через пять думаю быть в полку.

– И сгниёшь за мамалыгу, – твёрдо уложил Свечин твёрдую руку на воротынцевскую. Деловито, как опасаясь дружеской благодарности: – Ты не думай, что я о тебе эти два года забывал. Но была не та обстановка. В штаб великого князя тебе, ты понимаешь, возврата не было.

Да замечательно бы! Если хотеть участвовать в каких-то кардинальных центральных изменениях – так Ставка и лучшее место.

– Там, левой вас, сейчас две новых армии формируют до устья Дуная.

– Когда? Не было.

– Вот, с 17-го числа. И пиханут тебя туда из Девятой, ещё дальше, ещё грязней, ног не выберешь. Там уже передвигают. До каких пор тебе околачиваться по окраинам?

Это и была одна из болей: уж полком бы – ладно, но зачем на таком чёртовом краю? На Дунай? – значит, против Болгарии? Это и значит – ползти за византийской мечтой. Когда фронт стоит на Двине – обидно умирать за Константинополь.

– А пока старика не будет – я хочу попробовать быстро забрать тебя в Ставку. – И якобы уговорчиво: – Полковых командиров мы ещё наберём. Но ты – стратег, где твоё место?

Уговаривать ли его, что он стратег? С какой клички он и начинал юнкерскую жизнь! Только несколько академистов и знают по-настоящему, что может Воротынцев. Никому проронить нельзя, но даже пост командующего армией он не считал бы для себя чрезмерным. Ставка, Ставка! – и ему нужна, и он ей.

Однако:

– Но есть приказ брать в штабы только офицеров третьего разряда, полуинвалидов?

Как командир действующего полка Воротынцев истово ненавидел раздутость штабов в русской армии. Как полковой командир он вполне был бы доволен и переводом хотя бы на Северный фронт.

– То в штабы, а то в Ставку, – с дружеской грубостью отбросил Свечин. – Да и в штабах сидят здоровые, не выковыришь. Не дури, Егор, не брыкайся. Скажи, куда тебе вызов послать, – в два-три дня вышлю. А то – так заезжай в Ставку сейчас, на обратной дороге?

– Всё – так, Андреич, – обдумывался Воротынцев. – Это – очень хорошо...

Но если уже этого касалось – имел ли он право, благородно ли было скрыть от Свечина свой сегодняшний образ мыслей и свои смутные планы, которые хотя и замыслом ещё нельзя назвать, а всё же... Свечин должен знать, кого рекомендует. А и – назвать это всё очень трудно, это ещё всё нужно обсуждать. Но мысли мятежны, это – несогласие с тем упёрто-загипнотизированным ведением войны, как ведёт или плывёт Государь. Мысли – мятежны, на чей взгляд они – к спасенью России, но чуть сдвинь акценты – их можно назвать и государственной изменой?... И ведь не один Воротынцев так думает: это носится в воздухе, так думают и другие, конечно.

Не Свечин?

– Всё так, Андреич. Но я говорю тебе: в разорении – дела *обще* -государственные. И поэтому требуется от нас нечто большее, чем простая служба в Ставке.

Вглядывался в башибузука.

Тот – доедал рыбу, осмотрительно к костям.

Воротынцев переклонился вперёд, опираясь о столик, собирая на большеглазого, большеухого, упрямого – весь душевный напор, с которым вылетел из Румынии. От нескольких фраз, построенных правильно или неправильно...

А над их головами:

– О-о-о! Да тут сегодня, я вижу, собираются младотурки?

Вскинулись – стоял подле них Александр Иванович Гучков!!

Тёмно-серый сюртук, чёрный галстук на стоячем крахмальном воротничке. Улыбался, и даже что-то мило-застенчивое в улыбке было. Приветливо поглядывал через пенсне.

Воротынцев радостно вскочил:

– Александр Иванович! Вот чудо!

Свечин поднялся сдержанно.

Ответное пожатие Гучкова было слабоватое. И весь он выглядел не бодро, хотя добирал тем, что голову держал назад.

– Какое ж чудо?

– Да вот – встретили вас!

– Я у Кюба – нередко. Больше чудо, что тут – вы. И вдвоём.

– Я ведь... звонил вам, искал вас!

– Мне передавали.

Серьёзно-печальное выражение выкатистых глаз. Под глазами и в щеках – отёки. В набрякшем лице – тяжесть. Хоть и видно, а:

– Как себя чувствуете?

Плечи покатые. Весь в линиях ненапряжённых, усталых. В скруглённом бобрике, виски зачёсаны назад, в скруглённой бороде, бакенбардах – седина.

– Да как! Хворь и поросёнка не красит.

Штатская одежда, спокойная благообразность, неторопливость, даже осторожные движения. Средний интеллигентный купец, на избыток денег может быть собирающий картинную галерею или содержащий пансион для одарённых детей. Не вполне достаточного и роста, рыхловат, комнатная фигура.

А кто же – из первых задир и дуэлянтов России? А кто же вдохновитель младотурок? кто это устроил в 3-й Думе небывалый кружок из думцев и молодых военных?

Средний образованный купеческий посетитель ресторана Кюба. А между тем – душа Москвы. Человек, которого боится царь! Неугасимо ненавидит царица! Однако и сам коронованный славой – и оттого недоступный для кары.

– Судари мои, – подсмеялся он, – но вы так беседуете, с конца зала видно, что составляете заговор. И что тут у вас за обед? Если вы с досугом – у меня кабинет заказан, поднимемся? Ко мне, правда, должны прийти, но я успею протелефонировать и отодвину.

Лучше и придумать было нельзя. Свечин с Воротынцевым переглянулись.

Если дома ты оставил последнюю разрубающую записку и только ждёшь отхода поезда...

Если ты и ехал в Петербург увидеть этого человека...

Гучков пригласил их к лестнице на второй этаж.

Он не то чтобы хромал, но тяжела была его стопа, раненная в бурскую войну, а теперь скрытая в высоком ботинке на особом каблуке.

## 40

В ресторанном кабинете – совсем как дома: вся домашняя непринуждённость, но и свобода от дам, мужской деловой разговор, и ни ушей, ни глаз посторонних. А ещё удивительней, по сравнению с надоевшей окопной едой да и с офицерской столовой в Ставке, – то, что здесь предлагалось. На удлинённом столе на шесть персон к их приходу уже расставлены были: осетрина копчёная, осетрина варёная, сёмга розовая в лоске жира, давно не виданная шустовская рябиновка – она существовала, оказывается! она не исчезла вовсе с земли. Да что там, в углу на табуретке стоял под большой раскинутой салфеткой обещающий бочонок со льдом. Весь вид был – нереальный.

Пока Гучков ходил к телефону, Свечин оценил:

– А он – не лицемер. Деньги есть, торговые связи есть, зачем притворяться?

Хотя внизу они уже вычерпали уху – а вот когда оскалился в них настоящий солдатский аппетит, который и три обеда проглотит.

Гучков, воротясь, заметил выражения друзей и добавок весёлости в них. Усмехнулся:

– Что ж, судари мои, Россия-то не обедняла, в России всё есть, только не на своих местах. Правительство с перевозками не справляется, а мы – пока справляемся. Кому чего соблаговолите? А впрочем, я человек большой и неповоротливый, давайте-ка по-дружески, распорядитесь сами. Виктор Андреич! Георгий Михалыч!

Не забыл. А сколько уже не виделись.

Не понуждая уговаривать себя дальше, пошёл Свечин к бочонку, вынул изо льда бутылку водки да прихватил и вазочку зернистой икры.

– Что там за взрыв на “Марии”? Отчего? – сразу спросил Гучков у Свечина.

– А что, напечатали в газетах? – шевельнул бровищами Свечин.

– Да, в сегодняшних. Друзья и не видели.

– Это случилось ещё 7 октября, – вставил Воротынцев. – Мне в дороге рассказывали.

– Ну вот, а мы, обыватели, узнаём только из газет, – поморщился Гучков, и это недовольство как нельзя лучше шло сейчас к его лицу.

А Свечин смотрел жестоко:

– Ничего не выяснено. Причина неизвестна. И броненосец потерян. И пятьсот моряков.

– Но странно совпало, – предупредил Воротынцев, – именно в те дни, когда немцы наступали на Констанцу.

– Но есть и продолжение, – черно сказал Свечин. – Только что произошёл крупный взрыв на пароходе в архангельском порту, ещё не напечатали? А там – склад взрывчатых, и могло распространиться на весь порт.

– Ого!

– Да это что ж, единая шайка работает? Что ж, мы так беспомощны? – ужаснулся Воротынцев. Вдруг представил ещё стену этих невидимых опасностей от тайных врагов, о чём на фронте не думаешь, как же ещё с этими бороться?

– С этим правительством! – фыркнул Гучков. – На что оно способно?...

Показалось Воротынцеву верно: с *этим* бороться неспособно наше правительство, да ещё заклёванное.

Сели за одной половиной стола – Гучков на торце, друзья по обе стороны, три прибора оставляя для отсроченных гостей.

Наливал Свечин Воротынцеву и себе, а хозяину – спросясь.

– Губы помочить, – печально отвечал Гучков.

– Да-а, за вашей болезнью мы следили, – с участием кивал Воротынцев. – Вся Россия следила, Александр Иванович. На Новый год было страшно за вас – в пятьдесят четыре года?!... Миловал Бог.

Те бюллетени о смертельной болезни в газетах утренних и вечерних дали Гучкову отведать необыкновенного тепла, принять этот голос не партий, но самой России, эту лавину неожиданных писем из разных концов страны, от незнакомых людей: живи, Гучков! твоё дело нам нужно! (Потёк и такой слух, что его отравила распутинская банда.) В провале немоги испытал он свою высшую силу: в покорной подначальственной стране, не имея ни чина, ни власти, ни солдат, в облаке чёрных анонимок справа и слева (“удавись добровольно, пока мы тебя не убрали”), под полицейским надзором и в болезнях, – единственный и особенный человек на всю Россию, он заставил бояться себя императорскую чету и сменных министров!

Прилив сочувствия ото всей общественной России сразу – это, может быть, и спасло его на одре. Но когда при каждой встрече каждый с жалостливыми глазами спрашивает тебя о болезни – даже и досадно это сочувствие стойко-здоровых людей, кто болезни может лишь вообразить со стороны, удивляясь им. А если болезней у тебя ещё и не одна, но несколько их, как в насмешку, накинуты на твоё неутомимое тело, будто вериги под европейским костюмом, и пока ты грустно улыбаешься в ответ на сочувствия – они, звено за звеном, сжимают и гнут тебя круче, чем ненависть династии или распря с кадетами?

– Весной ещё долечивался в Крыму, – кивнул. – Такой радости доставить Алисе не хочу.

Он зримо гордился, как он насолил императрице.

Гучков в глазах Воротынцева был редкий на Руси характер: он соединял в себе те две смелости, которые обе сразу почти никогда не даются русским: природную им военную смелость и непривычную гражданскую. (Правда, и за собой Воротынцев такое соединение знал.) Да только так и можно сдвигать наши глыбы. И – собран волею был Гучков. Но смутнее с его взглядами: и сшибался с кадетами и как-то сливался с ними. Давно не виделись – и Гучков мог сильно измениться за эти годы.

Неторопливым мягким голосом, через пенсне на Воротынцева внимательно:

– Полком? Где вы теперь?

– Да хуже не придумаешь, на самом левом фланге Девятой, – нахмурился Воротынцев.

За дни поездки отвык, будто это где-то *там*, а не у нас.

Малыми бережными движеньями покачал Гучков.

– Не скажите. Есть и хуже.

– Где же?

– Кавказский. Вот еду сейчас. Приватно пишут мне: косит тиф. Медицинской помощи не достаёт. С провиантом и фуражом – плохо. – И с большим значением: – А – почему всё? Почему именно на *них* не хватает?

Не бралось в ум. Почему – особенное почему?

А Гучков так и выдавливал особенное значение, остро отблескивало пенсне:

– Не догадываетесь? *Кому* это месть?

Только тут наконец невразумительно передалась Воротынцеву мысль: Николаю Николаевичу? – царица? Неужели уж от неё так прямо зависит? И неужели такое возможно представить: из-за одного великого князя мстить всему Кавказскому фронту? всем солдатам? Нет! это был наговор, чрезмерность. Гучков в своей ненависти к императрице тоже меру терял.

Неприятно.

А Гучков ещё настаивал всем видом:

– Вот поеду, сам посмотрю. Дай Бог, чтобы преувеличивали.

И взял маринованный грибок, ел осторожно.

Кажется – довольно полон? Нет, отёчен. Всё ещё нездоров, сильно подорвался. Это нездоровье смущало: может быть и сил у него уже нет?

А положение исключительное: центр общественной жизни, с главнокомандующими фронтами запросто, с начальником штаба Верховного – запросто. Если что-то предпринимать – кому бы, как не ему! Но если болен?

– Да! – вспомнил Воротынцев. – Я Москву проезжал – там про вас упорный слух, что вы арестованы.

Гучков улыбнулся, как будто довольный:

– За письмо Алексееву? А вы читали?

Воротынцев подтвердил, однако уже и без восторга. А Свечин – только кивнул безволосым булыжником головы. Он распорядился, ещё к бочонку вставал, пил и рябиновку, ел много, сильной хваткой.

Да и Воротынцев. Распускались фронтовые кости. Медлительная тающая солёность сёмги. Как хорошо. А через пяток дней – снова шлёпать по мокрым окопам, толкать людей – опять на безнадёжность. *Думает* что-нибудь Гучков? Не думает?...

А тот сплёл кисти на подъёме заметного-таки животика, пожаловался:

– Вот такая теперь жизнь. Напишешь официальному лицу письмо. Ну, натурально, покажешь одному-двум знакомым, имею я право? Например Родзянке – уж кто престолу преданней? он из преданности хоть и Царское Село сожжёт, если нужно для охраны царской чести. А вот – разгласилось, запорхало, сперва по Думе, там и по России, читают и в Самаре, и в Нижнем. А уж в Москве и в Питере – только что на стенах не развешивают. – Улыбался слабо-лукаво, но от печали всего лица его улыбка не радовала. – Вот и вашу тогда тираду в Ставке – вы бы в своё время записали, показали бы трём друзьям...

Воротынцева и поскребла манера, как Гучков был доволен этой разгласкою, но и приятно было, что вспомнил о его подвиге. Однако никогда б не пришло ему в голову такое, это у них – газетная ухватка.

– Да какое б я имел право? Военная тайна.

– Вот тайной нас и душат, – с оттенком боли, может быть и телесной, вздыхал Гучков. – Государственной тайной. А между тем тогда – ещё не поздно было всё спасти. Ещё верили все – во всё, и Россия была готова всё одним плечом поднять.

А теперь – неужели поздно?... Коронованный народным доверием должен знать время каждому действию и каждому слову, когда его произнести на всю Россию.

– А хорошо вы их тогда почистили за всех нас. Не жалеете?

– Нисколько. Никогда, – быстрым глазом метнул Воротынцев.

Правда не жалел. Правда.

Свечин держал губы косовато.

Тут вошёл метрдотель уточнить у Гучкова о винах: подавать ли Шато Ляфит к паштету из гусяной печени, Пишон Лонгвиль к баранине по-нивернуазски? Это явно относилось уже к следующему обеду, не их, уж слишком причудливо для фронтового вкуса, то был обед другого класса.

Гучков произносил фразы по смыслу энергичные, а тоном усталым:

– Вот нас тайна и довела, что оставались без снарядов. Я в Четырнадцатом предупреждал – в Думе верить не хотели. Так что справедливо хочет Россия гласности наконец.

Свечин кинул:

– Уж если в России вам гласности мало – не знаю, какую вам гласность.

– А что же? Достаточно? – изумился Гучков.

– А что же – мало? – прокатал и Свечин глазищами, каким никогда не понадобится очков, и пенсне бы посадить – смехота. – Газеты распушены, как ни в какой Франции и ни в какой Англии во время войны. И вполне безответственно. Дутые известия, никем не проверенные, всегда подрывные. Врут, что мы бесконечно отстали и разоружены, даже не замечают нашего промышленного чуда. На правительство – сплошная брань. Какой номер ни развернёшь – хуже нет, как в нашей стране, и глупее нет наших министров, и всё проиграно, и нет спасенья иного, как передать власть кадетам и Земгору. Это не свобода слова, а просто понос. И всю Россию будоражат, и армию. И все газеты – левые.

Это он верно порубывал, но зачем с таким раздражением к Александру Иванычу? Кажется, Свечина что-то раздражило ещё с самого гучковского прихода – то ли шутка о заговоре, ещё в нижнем зале, то ли о младотурках, упоминания которых Свечин не любил. Порубывал, не сдерживаясь:

– С вашими младшими братьями кадетами очень гордитесь, как всё колеблете и раскачиваете. Смотрите, на голову бы не свалилось.

Гучков не обиделся, но развёл пальцами, ища у Воротынцева справедливости. Уж если **ему** братья – кадеты, с кем он одиннадцать лет непрерывно сражается... Он знал о предмете слишком многотрудно, чтобы переговаривать плоско. Не по рангу ему было оправдываться перед этими офицерами и походило бы на злословие сказать о Милюкове, что у того нет мужества убеждений и прямотушия действий, что он всё провалит, к чему прикоснётся. Или о 4-й Думе, что она не способна ни сотрудничать с правительством, как 3-я, ни как следует поспорить с ним: поглянется, будто он от обиды, что самого не выбрали. (Да не всегда и сам уследишь за собой: прошлой осенью может быть именно то, что его не выбрали от московского общества даже и в предполагаемую делегацию к царю, что он так пошатнулся в своей же Москве, – может быть и толкнуло его на мятежные шаги и на конспирацию). Год назад, да чуть ли не сегодня же, 25 октября, предлагал Гучков этим младшим братьям объединиться и вместе идти на последний разрыв с властью, – где там! Их желание стать правительством превышает их готовность рисковать собой. Прошушукались год по частным квартирам, чтобы только сохранить Прогрессивный блок.

Вот какой жест был у Гучкова: он козырьком ладони пригораживал лоб, как бы от лишнего света, от верхней лампы, то ли сосредоточиваясь, – упирался локтем в стол и так сидел.

Но в этой позе энергичный Гучков выглядел потерянное тех кадетов. Оттого ли, что в своей неукладистой деятельности уже столько раз расшибался о стену?

А Свечин раскраснелся со всей крепостью дюжего подвыпившего человека и не проявлял жалости:

– И они и вы Россию раскачиваете, неизвестно кто больше. Все – патриоты, все – за победу, и безопасно для себя. И эти *письма* – очень не к добру бывают.

Вдвоём со Свечиным уже налаживался разговор! – так Гучков перебил. Теперь втроём могло начаться самое интересное! – так Свечин выбрыкивал. Однако его резкостью ещё приосветилось Воротынцеву в *письме* : сходство с кадетскими газетами, да. Верно, как бы соревнование, кто крикнет громче.

Он замылся, смутился, не удержал Свечина от его тона. А ещё оттого ли, что они пили, а Гучков нет, – создалась разница температур и громкостей. И без надобности громко Свечин:

– Так и Сухомлинов. Ну конечно он дурак, и мотылёк, и не место ему в военных министрах, но вы уж настолько ничего не жалели, чтоб его сшибить, вы в бою всё забываете, только б ударить крепче.

– Это есть, – слабо улыбнулся Гучков.

– И саму Россию! И при чём этот Мясоедов, никакой не шпион? Чтобы только сбить министра – во время войны играть шпионажем вокруг военного министерства? Как это можно?

– Он – доказанный шпион, – построжал, похолодел Гучков.

Воротынцев перехватил, что Свечин распаляется тут и спорить. Сам он – толком о мясоедовском деле не знал, в газетах читал глухо, и даже интересно бы узнать, – но только не дать сейчас разломаться всему разговору!

– Важней всего, – остановил он Свечина, – не кого Гучков разоблачает, а что Гучков реально сделал для армии.

Но Свечин, всегда скептически выдержанный, уж если распалится, то как никто, не обуздаешь:

– Да и с военно-промышленными комитетами меньше бы вы цацкались, Александр Иванович. Всё конвенты завариваете.

Гучков отнял козырёк ладони задетым жестом:

– А кто же “промышленное чудо” вам делает, если не промышленные комитеты? Своим участием в них – я горжусь.

– А почему за всё дерёте в двадорога? Почему казённая пушка стоит 7 тысяч, а ваша 12? Всей общественностью проталкиваете через министерство высокие цены. И строите заводы, где и не нужны, только бы казённые погубить. А железнодорожными планами 1922 года – зачем ваше дело заниматься? А социал-демократы зачем там сидят при вас? Неужели о победе радеют? А не вынюхивают, как всё взорвать?

– Рабочая группа? В том и замысел, что лучше пусть они около меня сидят помощниками и консультантами, чем по улицам с красными флагами. Что же делать, если власть... Я знаю эту власть: правительство и само ни к чему не способно, и не желает протянутой ему помощи. При этой власти, если не вмешаться нам, – победа будет невозможна.

Что он хотел сказать – “не вмешаться”? Или – только о промышленном комитете? Воротынцев зорко следил, хотел проникнуть, ничего не пропустить. Но опять его скребануло – а! цель – победа! Но “всё для победы” ещё не значит – для России. А если по гучковскому же письму война так безнадежно организована – как же сметь её продолжать?

– Да вы сядьте на место правительства – ещё взвоюете! – Уже и стул был Свечину неподвижен, он закачался на задних ножках. – Что б за правительство, грош бы ему цена,



если б оно вам во всём уступало? – хоть там самые реакционные министры сиди, хоть самые либеральные. Если министры – то и должны управлять они, а не парламентские ораторы и не промышленные комитеты. А у вас каждый самовольный съезд – только чтоб давить на правительство и давай четырёххвостку! Ниспровергать власть – это у вас выполнение “гражданского долга перед Родиной”.

Как круглый сильный камень свалится, скатится под самые ноги и перешибает путь, так и Свечин сегодня перешибал всю желанную, задуманную встречу с Гучковым. И осадить его было трудно, потому что разогнался, пьянея, и потому что, чёрт, во многом прав. Хотя и правительство действительно бездарно, вот в чём ужас.

Но, как бы не замечая его резкости, Гучков отвечал выдержанно:

– Однако и организованной общественности, если она состоит на службе родине, естественно требовать себе и политических прав.

Свечин с разгорячённой мрачностью качался на задних ножках стула:

– Да просто почувствовали, что власть без опоры, – и все лезут захватывать. Ослабла власть – значит и хватай за горло. Во время войны – немедленно менять им государственный строй, во как! С ума посходили!

Свечин отвечал Гучкову – а так получалось, что – Воротынцеву? Чего Воротынцев ещё не высказал, ещё не предположил вслух – а Свечин уже отвечал?

Да не строй менять, а... А что именно менять? При неизменном, допустим, монархе – а правительство новое, – что ж, из кадетов? Не для них же стараться. Вот это главное бы тут обсуждать, а разговор сбивался. Так удачно исправленные обстоятельства встречи с Гучковым нельзя было дать упустить, нельзя разойтись впустую! Но положение Гучкова было несравненно, и это ему решать, заговаривать или не заговаривать *о таком*.

Гучков укрепил пенсне при выкатистых глазах:

– Но выиграть войну с этим бездарным правительством – действительно невозможно!

Ну, конечно, он *думал* ! У такого человека не могло не зреть в голове что-то переворотное!

– Чем же выиграть? – Свечин с раскочки пристукнул передними ножками стула о пол, как зубами, – тем, что искры по соломенным крышам бросать?

Тут внесли бульон и блюдо горячих пирожков. Сразу запахи – ах! Кажется, только что по ухе съели офицеры, но теперь и по чашке огненного бульона охотно наливали из судка. Да под бульон хватанули ещё отвычной ледовой водки. Хор-р-рошо!

Это всё – примиряло. Свечин перестал качаться.

Гучков тоже, с удовольствием нездорового, потягивал горячий бульон.

– Нет, конечно, – говорил он, когда лакей вышел. – Я именно против всякого поджога. Как раз этого и не понимают кадеты: что революционную мысль нельзя швырять в массу.

Вот это Воротынцеву очень нравилось: Гучков не ждёт сотрясений пассивно, как кадеты, но хочет активно их предотвратить. Вот на это он и надеялся с Гучковым.

Свечин – примирительней:

– Чего-то они, Александр Иваныч, не понимают, а что-то лучше вас. Я по себе скажу, что иногда мы сами не отдаём себе отчёта, а проводим чужие мысли. Просто незаметно находимся в их влиянии. Вам кажется – вы развиваете независимую смелую там программу, – а на самом деле примитивно идёте по какому-нибудь масонскому замыслу. Вы сами, честно говоря, хотя всё равно не скажете, – не масон?

Шутил – а и не шутил, досматривал.

Но вид у Гучкова был откровенный, лоб ясный. Также усмехнулся:

– Честно говоря, мне лично не предлагали, или когда-то несерьёзно. Хотя чувствую, что кто-то где-то за чем-то вступает. Но я б никогда не вступил. Я – монархист, и уже поэтому не мог бы быть масоном. Масонство – это моральная нечистота: смотреть людям в глаза и обманывать их. Немужественная игра. Хочешь действовать – действуй прямо, открыто, а зачем по закоулкам, в масках? Мне кажется, историю можно делать и объяснить без масонских тайн. Добиться сдвигов в ней – прямыми, ясными действиями.

Прекрасно сказано! Воротынцеву очень понравилось. А если уж – Гучкову не предлагали, то все эти неопределённо-смутно-страшные масоны сразу теряли в объёме, сжимались в уголок.

А у Свечина была манера, выпив и в кругу своих, становиться особенно перечным и жёстким, высказываться гораздо дерзей, чем он разрешал себе на службе:

– Всё равно, Александр Иванович, не радуйтесь. Вы и безо всякого вступления, совсем невольно и бессознательно можете отстаивать не масонскую линию, так еврейскую. Вам кажется, что вы самостоятельны, а вы...

– Я-а-а?

– Да-а-а! У евреев такая хватка есть: ни одного важного узла действий, ни одной важной личности не упустят, чтобы не пытаться её направить. Уж чего там Распутин, а вошёл во влияние – и его обсели. А уж вас!... Ну, проверьте, в вашем отношении к правительству какая с ними разница? А им просто – наплевать на русскую судьбу.

Гучков поставил твёрдо локти на стол.

– Как раз тут одна из границ между кадетами и нами.

– Да какая же? – задира Свечин.

– А вот. Для кадетов еврейский вопрос – почти первый политический вопрос. Он и партийную программу у них открывает. Кадетов послушать, так главная цель войны – это еврейское равноправие, а не существование самой России, чтоб устояла она вообще. Тут все кадеты как в одной капле. В трёх Думах они не давали провести крестьянского равноправия без еврейского, так и утопили! Кадеты в голову не вберут, что эти два равноправия для России всё-таки не равно спешны. Не равно задолжены. А мы...

– А вы с ними не меньше носитесь! – большой ладонью отмахнулся Свечин. – Все адвокаты – евреи. В Думе в журналистских ложах одни евреи сидят. Если они так угнетены, как же им доверено выражать и внедрять общественное мнение России? Несколько хилых правых газет издаются на *тёмные* деньги, а вся либеральная пресса – на *светлые* деньги? Откуда эти деньги? Да еврейские! Вот – и направляют газеты. Посмотрите, кто издаёт. Черта оседлости второй год не существует, все города и столицы ими переполнены. С этого года и университеты есть – где шестьдесят процентов евреев, где восемьдесят. И торговлю им распахнули, вся торговля через них. Завод князя Путятина! – кстати, плохие шрапнели, – а это выпускает Рабинович, заплатил Путятину за имя. И сколько таких заводов у вашего промышленного комитета? А еврейские сахарозаводчики гонят русский сахар тайком в Германию! Где к чёрту загнаны? Они – пружина, напряжённая. Она вот-вот отдаст – и удар будет страшен!

Гучков удерживал невозбуждённый тон, поднял останавливающий палец:

– Пружина отдаёт, если на неё слишком жать. А не надо жать.

– Вот-вот, – опять покачивался на стуле, опять качался на своём упрямый, насмешливый, невозможный Свечин. – Вы их и приглаживаете. Вот вы с ними вместе громко разносите и правительство и Государя – а о них вы посмеете вслух промолвить хоть осьмушку того? Да никогда! А почему? Вот это и называется – страх иудейский! Загнаны! Они нам ещё на голову сядут! Этот избранный народ на чью палубу всходил – тот корабль бортами черпал. Так и Россию погубят.

– Нет!! Нет! – вмешался тут Воротынцев. – Так не поворачивай. Если мы теряем свой путь и катимся не туда – то сами и виноваты. – Досадно, вся редкая встреча поворачивалась вхолостую и кончится ничем. – Я много лет замечаю: еврейский вопрос – это такой колючий растопырчатый вопрос, что его и миновать ни на какой дорожке нельзя, и решить нельзя, и никто не остаётся равнодушным. А между тем...

Гучков снял пенсне и протирал его, как бы терпеливо именно его рассматривая. Без пенсне его лицо было и открытее в болезни и печали, но и глубже:

– Тонкая особенность еврейского вопроса, что невольно поддаёшься и не можешь не признать, что он – самый важный, самый острый, самый первый и характерный. Самый определяющий для суждения о людях, об их политическом и даже нравственном лице. И что

только после решения еврейского вопроса дальше легко разрешатся и все государственные, – улыбнулся Гучков. – Так вот, кадеты поддались, и всё это приняли. Но и вы, Виктор Андреич, поддаётесь с другой стороны.

Нельзя уже было проще их оторвать от спора, как подкатить скорей к простому решению. Подхватил Воротынцев, быстрее проговаривая:

– По еврейскому вопросу все спешат занять только одну из двух самых крайних позиций. Или: евреи – это невинно страдающая масса благородных характеров, которых надо как одно целое непременно любить, и даже отдельных недопустимо порицать, ибо упрёк разложится на всех. Или: это – сплошь тёмные злые заговорщики, которых как единое целое можно только ненавидеть, и подозрительно, когда любят хоть отдельных из них. И всякая попытка ввести оговорку, не сплошь нежно любить или не сплошь страстно ненавидеть, отталкивается с негодованием каждой из сторон. Но в тысячах вопросов бывает плодотворна лишь средняя точка зрения. И неужели правда, господа, тут невозможно устоять посередине? Вот я считаю, что я стою прочно посередине. Я – решительно никогда не соглашусь отдать Россию евреям под снисходительное руководство, даже только интеллектуальное. Но я никакого зла против них не имею и никакого желания их притеснять.

– Значит – послабить? – громогласил Свечин с непокидающей жёсткостью. – Так сразу они на голову и сядут! Вот в этом и секрет, понимаешь? – они **не могут** и никогда не согласятся по-равному. Как только им послабишь – сразу на голову!

– Мне кажется, – сосредоточился Гучков, разглядывая своё пенсне как самую большую загадку, – и я тоже занимаю среднюю позицию. Я... и мои некоторые единомышленники... мы понимаем вот как. Евреи – нам посланы. Не во всякой стране их шесть миллионов, а у нас вот есть. Зачем-то надо было, чтобы жребий русский и еврейский переплелись. Расплетутся ли когда или нет – не знаю. Чтобы злорадно назвать, как Герценштейн, пожары усадеб – “иллюминациями”, надо быть, конечно, чужой душой. То, что для нас боль, тёмные мужики не понимают, что делают, Россия жжёт и громит сама себя, – а для депутата русского парламента... Ну, что о покойном... Затем, я не стану утверждать, что евреи в целом нас любят. С другой стороны признаюсь, что и я их, в общем, больше – не люблю. Но: они – нам посланы. И поскольку государство – наше, мы должны это переплетение решить приемлемо для всех. В Европе? – с ними обращались жёстче, чем у нас. Черта оседлости? – когда была, нисколько им не мешала засилить торговлю, промышленность и банки. И наша страна во время войны зависит – от международных еврейских денег. И в периодической печати они всесильны, да. И художественная, и театральная критика – в их руках. И невозможно пустить их в офицерство, это опасно для нашего духа. Впрочем, они туда и не стремятся. И нельзя дать им больших земельных владений. И тем не менее это не значит, что мы должны их притеснять.

– Вы и не заметите, – горели чёрные глаза Свечина по обе стороны крупного сильного носа, – как всё уступите. Вот так, как в промышленных комитетах сбились от помощи фронту на расшатывание власти. Так вы – и бросаете искры по крышам, Александр Иванович.

Как человек, не глухой к поиску своих ошибок, Гучков не спешил запальчиво возражать, а в одной руке всё так же держа витиеватый защем неразгаданного пенсне, другой ладонью опять перегородил лоб, может быть не от света, а от громкого собеседника. И как бы ещё проверял сам с собой:

– Но не можем мы отказаться от освободительного движения из-за того, что и евреям оно нравится, и они к нему примкнули...

И Воротынцев:

– Ты тоже как кадет, только наоборот. Улупился в крайность: евреи, больше ничего не видишь. Об этом я и в Буковине мог собеседников набрать. Да я тебе несколько вопросов назову, и все важнее еврейского. Ехал я две тысячи вёрст, встретил вас обоих так неожиданно, чтобы...

Чтобы?

Гучков освободил от козырька, приподнял на Воротынцева немолодые, неживлённые

карие глаза с выкатом, пожалуй тоже нездоровым, но самый взгляд – взгляд бойца.

Отчего он так сразу и внимательно посмотрел? Он неспроста посмотрел.

...Чтобы?...

Да такие, как Воротынцев, – неужели ж ему не нужны?

Хотя закралось теперь: а под то – понимает Гучков то или не то?...

...Чтобы?

Да господа, да неужели же мы, такие решительные, умные, энергичные люди, – и не сумеем ничего придумать? не сможем спасти дела?...

Внесли большим куском ростбиф, обложенный зеленью.

Гучков не стал его есть. А приятелям – отрезали, и они стали трудиться.

Пока лакей был – помолчали, но и когда вышел – что-то разговор не возобновлялся. Свечин вдруг замолчал так же круто и бесповоротно, как перед тем говорил. Ел с удовольствием. Гучков очевидно берёт аппетит на следующий обед, или вообще мало ел. Чуть-чуть пригубливал красное вино – и тоже молчал. Воротынцев – не мог говорить прямо, но надо было поддержать в том направлении:

– А интересно, Александр Иванович: Алексеев – ответил вам на ваше письмо?

Гучков задумчиво постукивал снятым пенсне по пальцу:

– Нет. Но. За него ответил Штюмер.

– Как так?

– От имени Верховного запретил мне въезд в Действующую армию. Даже к санитарным поездом. Ну, тем более, конечно, в Ставку. И в штабы фронтов. Это они хорошо рассчитали удар. – Щурился. – Без армии я – что?

Не удержался Свечин, и тут поперёк:

– А вы бы на их месте как? Были бы вы глава государства, и вот некий частный деятель пишет начальнику штаба ваших вооружённых сил, что ваша дрянная слякотная жалкая власть гниёт на корню, – и вы б его пускали дальше армию разлагать? Они ж вот вам на Кавказский не препятствуют...

Гучков не спешил возразить. Без пенсне лицо его было безоружное. Складывал усмешку или жаловался:

– Предупредил Штюмер и о возможности высылки из столицы. А уж следит за мной департамент полиции – наверно, ни за какими бомбистами никогда... По телефону и в письмах блюду осторожность в именах. С друзьями, с братьями кое-кого зовём кличками. Не удивлюсь, Георгий Михалыч, что и вы уже на заметке, если несколько раз телефонировали. На всех посетителей дома ведётся реестр. Вот сейчас, не сомневаюсь, за моим паккардом гнали филёры на лихаче и теперь у подъезда дежурят.

– Ну, Алексею тоже досталось, не думайте, – упрямылся Свечин. – И с Государем у него, конечно, было объяснение.

– Как он может переписываться с таким мерзавцем, скотиной, коварным пауком? – грустно через силу улыбался Гучков.

– Наверно. Примерно. И Алексеев, надо думать, отрёкся от вас.

Гучков поднял брови. Опустил. Узнавая. Что ж, политическая борьба – она такая и есть.

– И заболел во многом от этого.

– Ну не совсем так, ты говорил!

– Про болезнь я слышал, – кивал Гучков.

– И теперь, наверно, уйдёт в длительный отпуск, лечиться.

– В отпуск? – насторожился Гучков. И сразу: – И кто же вместо него? – С нескрываемым значением, неспроста.

Да, в самом деле: кто же? Ещё бы не важно.

Свечин любезно:

– Открою, что слышал, только конфиденциально. Могли бы поставить, конечно, любого остолопа, но кандидатуры, по слухам, обсуждаются такие: Головин или Рuzский.

Головина?... Неужели подымут? Нашего?...

Гучков насадил пенсне. Оно заблестело повеселей:

– Головин – это бы замечательно.

Для Воротынцева каждое слово Гучкова шло по другому разбору: замечательно? А – для чего? В каком смысле?

– Корпусами смело будет двигать, – предсказал. – А сам будет двигаться очень осмотрительно. Он сильно изменился, господа. Он там у нас сейчас, генкварт Девятой. Он всегда должен действовать с дозволения начальства, иначе его способности как бы подавлены.

– И надолго это? – спрашивал Гучков очень заинтересованно. – А вы, Георгий Михалыч, в этом случае как? Не вернётесь в Ставку?

Догадался... Воротынцев энергично потёр щётку бороды, выражая глазами больше, чем словами:

– Во-первых, захочет ли Головин? И – он ли ещё будет? Во-вторых, окажется потом недоволен Алексеев. А в-третьих – нужен ли я там, Александр Иваныч? Там ли я нужен? Как это правильно понять?

И смотрел на Гучкова с ожиданием и надеждой.

– Рузский? – перебирал тот как своих подчинённых. – Вяловат. И слишком эгоист. А – кто ещё может быть?

Покинуло Гучкова бездеятельно-грустное, гражданско-домашнее выражение. Собрался он, поживел. Сосредоточился.

– Да что ж вы не курите, господа? Вероятно ведь курить хотите.

А у них обоих давно пальцы чесались, но щадили Гучкова. Теперь Свечин дотянулся форточку открыть. Задымили, Свечин трубку. Развалились.

Гучков тщательно прошёл тугой крахмальной салфеткой по губам, вокруг губ, под усами, по верху бороды. Отложил.

Поднялся. С рукой за бортом сюртука походил, едва заметно прихрамывая, по небольшому пространству, несколько шагов тут было. Он на глазах твердел и даже молодел.

Снова сел. Руки собрал в замок перед собой.

– Господа. Надеюсь, я могу рассчитывать на ваше молчание во всех случаях? Возьму с вас слово чести?

Да, конечно, разумеется.

И – чуть задорно голову назад, знаменитый дуэлянт. Седина у него только чуть прорисовалась – по переду бобрика и по краям бороды.

– Господа, я не вижу препятствий поделиться с вами соображениями, что ещё не упущено... совершить.

Так! Дождался Воротынцев часа своего! Не опоздал. Был здесь.

Гучков больше на него и смотрел.

С сознанием своей славы и власти в этой стране.

И с огоньком того риска, той вечной потребности в риске, что вела его через всю жизнь.

– Я хотел бы обсудить с вами: что должны делать патриоты, если видят, как в тяжкий час родину направляет режим фаворитов и шутов? Что должны делать смелые люди с положением, влиянием и оружием? Люди, которым всё дано, но с которых и спросится историей?

(Александр Гучков)

**Фёдор Гучков, дед Александра, был крепостным дворовым человеком малоярославецкой помещицы. В конце позапрошлого века, тринадцати лет, он попал в**

Москву и был отдан учеником в суконную лавку за 20 копеек в месяц (гривенник помещику, гривенник ему). Женился на крепостной, выкупил себя и семью, устроил в Преображенском шерстяную фабрику с английскими станками. В семье считалось, что мысль поджигать Москву с подходом Наполеона принадлежала ему. Всё сгорело – но он всё возобновил и расширил. Однако ещё при жизни оставил фабрику и торговое дело сыновьям, а сам был сослан в Петрозаводск за упрямое старообрядчество. Сын его Иван, полюбив замужнюю француженку Корали Вагез, переодевался кучером, чтобы проникнуть в её квартиру на кухню, – и так увлёк её, увёз от мужа и женился, всем этим порывая со старообрядством. От того брака было четверо сыновей, среди них и Александр. Хотя и этот не вовсе выбился из плоти московского купечества, состоял членом банковских и акционерных правлений и директоратов (впрочем, не был богат, наследство уступил брату Фёдору, и отец не считал его хозяином), – жизнь Александра сложилась необыкновенно для его рода и окружения, лишней раз убеждая, что наш характер и есть наша судьба.

Уже гимназистом он испытал немалые общественные страсти. В семье его, как бывшей крепостной, было поклонение Александру II – и после выстрела Засулич Саша Гучков в школе заступился за правительство: стрелявшая подняла руку на доверенное лицо Государя! Соученики побили его за это. Но вскоре же понял он и сам неотвратимую прелесть террора: от позора Берлинского конгресса, английского флота в Босфоре, Саша решил своей рукой убить Дизраэли за антирусскую политику, во имя чести России. Купил револьвер, учился стрелять, готовил деньги на побег в Англию – и восторгался счастьем пережить казнь за Россию. Но доверился брату, брат выдал отцу – и всё разрушилось. (Через тридцать лет главою нашей думской делегации в Лондоне остановился перед памятником лорду Биконсфилду: “А ведь ты мог погибнуть от моей руки!”)

Окончив московскую гимназию с золотой медалью, затем и московский университет “кандидатом” (то есть тоже с отличием), он ещё пять лет ездил в Германию доканчивать там образование, слушать семинарии философские и экономические, и притом написал несколько работ – об общественном землевладении, о страховании, о хозяйственной жизни древнего Новгорода, и доискивался (как бессознательно предчувствуем мы сами себя): участвовала ли Екатерина в государственном заговоре Мировича? В 23 года Гучков сдал в гренадерском полку экзамен на прапорщика, и это не было простым отбытием повинности университетским человеком, как и в 26 лет не случайно было избрание почётным мировым судьёй Москвы, в 31 – членом московской городской управы: гражданская и военная деятельность пересеклись и переплелись на жизни Гучкова – парламентского оратора, государственного человека, армейского застойника, солдата, отличного стрелка.

Можно понять, что очень рано и с болью он осознал распространённое русское интеллигентское свойство – не шибко любить *делать дело*, больше о нём разговаривать, спорить, а если уж и взялся, так не доделывать до конца, прощать себе и другим оставшиеся вершки. Может быть от крепкой крестьянско-купеческой натуры ощутил в себе Александр Гучков способность и волю: делать и доделывать. И в то время, как бывший его университетский товарищ Павел Милюков всё больше сладости находил в диспутах и лекциях, Гучкова из библиотек и аудиторий срывало к студенческим дуэлям в Германии, к бою, и к делу. Никогда не свидетель, везде – участник, и даже сорви-голова.

Услышав о голоде в России, покидал он берлинский университет – и кидался в нижегородскую глушь: стать волостным писарем и кормить деревню. Резали турки армян – Гучков кидался туда. Опасна охранная стража на сооружаемой Манчжурской железной дороге – Гучков, покинув муниципальную деятельность в Москве, уже там, служит офицером и даже ищет боевых столкновений. Отсюда *близко* Тибет – и он

странствует к заветным местам его. Его мучит поиск грандиозного. Началась далёкая романтическая бурская война, кто-то волнуется над газетными депешами, кто-то поёт “Трансвааль в огне” – Александр Гучков с братом Фёдором уже добровольцами среди буров, и даже храбрые буры удивляются его самообладанию в бою: под картечью он остаётся распутывать постромки зарядного ящика, высвобождая мулов из гибели. За все эти годы не раз приходится ему писать прощальные письма родителям на случай своей неизбежной смерти. В бурской войне едва не потеряна нога, осталась хромота на всю жизнь; с 26 лет уже мучает его грудная жаба. Но вспыхивает восстание македонских четников против турок – и вот уже Гучков едет добровольцем туда. Лишь на 41-м году беспокойный этот человек женится. 42 года ему – и он уходит на японскую войну, хотя не с винтовкой, а уполномоченным Красного Креста и московской управы (впрочем, не минует его и короткий японский плен).

И, может, ещё и на том не унялся бы он отзываться на дальние мировые события, если бы самые главные события (тогда ещё никто не прозревал, что – всемирные) не заклокотали бы в самом сердце России. И всё, что делал Гучков до сих пор, загорался и кидался пособлять, – оказалось лишь брожением молодым, лишь подготовкою мужа к событиям государственным. Теперь-то пришлось попробовать, что сдюжит он для России.

Уже довольно было имя его известно, и по Москве заметный был он человек. Воротясь из Манчжурии весной 1905, узнал он, что от московской городской думы избран на майское земское совещание. Там уже всё более выдвигались не собственно земцы: Петрункевич, Милюков, Родичев, братья Долгоруковы. Совещание поразило приезжего накалом своей революционности. Хотя и избиралась депутация к царю посоветовать ему конституцию, но многие жаждали, чтоб отказано было в приёме, и можно было бы неогляднее разворачивать революцию. Умеренная шиповская группа, и в ней Гучков, осталась в порицаемом меньшинстве. Но Гучкову, не избранному в депутацию, как раз во время съезда пришло личное приглашение в Петергоф к Государю (наслышанному о деятельности Гучкова в Красном Кресте и о спорах с Милюковым). Был принят, беседовал целый вечер, при встрече милостиво присутствовала государыня (далеко не предвидя в этом купчике своего будущего лютого врага). Это было сразу после Цусимы и ещё до приёма земской депутации. Гучков, как он понимал себя и самодержца, дал советы мужественного бывалого человека – человеку засидевшемуся, отгороженному от жизни и робкому: не дать внутренней слабости одолеть Россию, ни в коем случае не идти на перемирие с Японией, где игра внешних держав решит русскую судьбу; но, уж ввязавшись, продолжать стоять против Японии, а в России быстро, без сложных выборов, собрать Земский Собор – от дворянства, крестьянства и горожан, явиться туда самому и выступить смело, что в прошлом было много сделано ошибок, они не повторятся, но сейчас не время реформ, а время – окончить эту войну, при единстве страны не может Россия проиграть Японии – и не проиграет! В Земском Соборе будет почерпнуто недостающих сил, это передастся и армии, она воспрянет духом, передастся и Японии, все расчёты которой – на общественный развал в России. И несколько раз Государь в раздумьи повторял: “Да, вы правы. Вы совершенно правы”. (И в тех же днях советчику противоположному – что Земский Собор только усилит революционное движение, продолжение войны грозит России гибелью, и надо немедленно заключать мир во что бы то ни стало – Государь согласно повторял: “Вы совершенно правы. Именно так надо поступить”).

Обласканный Гучков в то лето был позван и на узкое петергофское совещание по выработке проекта Думы. Все там предлагали выборы сложно-сословные, чтоб не упустить руководства, только Шипов и Гучков – общенациональные (но – ступенчатые, по степени достоверной известности кандидатов избирателям, отнюдь не прямые).

Если открыть Верховной власти разумный путь – отчего б она не пошла этим путём? Нет! Безмысленно и бездарно ту войну начав – бездарно и невыгодно спешили только вытянуть ноги из проклятой Азии. Внутри России вместо смелых шагов всё лето перебивались малыми, трусливыми и опозданными, а когда помнилось, что вода уже под горло – выбросили сумбурный Манифест 17 октября. Манифест был вырван не потому, что у власти не было физической силы (она – была, и проявлена через два месяца при подавлении московского вооружённого восстания), – но коснеющая царская воля испытывала перерывы уверенности, и в такие перерывы от неё бралось всё, что угодно.

Осудили Манифест правые, осудили и левые. Настроение общества было: царь задрожал? уступает? – так вырвать большее, а взятое – ничто! (Когда в ноябре Гучков предложил земскому съезду осудить насилия и убийства как средства политической борьбы – “конституционное” большинство съезда отказалось принять такую фразу!) Кадеты отказались войти и в “полуобщественный” кабинет Витте.

Отказались и приглашённые к тому Шипов, Гучков, орловский предводитель Стахович, князь Евгений Грубецкой, ибо сочли, что зовут их для показа, перемешать со старыми администраторами, но не реально обновить политику. Шипов же настаивал, что они – меньшинство, а большинство – левые, и именно их надо звать, чтобы общество поддерживало правительство.

Однако за совместные поездки из Москвы в Петербург и обратно, то на консультации о законосовещательной Думе, то на переговоры о вхождении в кабинет, Шипов, Гучков и Стахович в долгих беседах обнаружили и утвердили основания новой партии.

Вослед Манифесту сразу заплодилось много партий, тем мельче, чем их больше. Шиповская группа этой проблемой партийной группировки была застигнута врасплох: она вообще ведь была против всякой политической борьбы. Теперь и конституционное устройство и партии приходилось принимать как неизбежное зло, всё равно уже введенное волею монарха. Не оставалось другого пути, как принять и свою долю тяготы в новом устройстве. С другой стороны, единственное практическое расхождение с земским большинством – конституция, первенство правового начала, всё равно уже было введено, так что практически Шипову ничто не мешало бы вступить и в партию кадетов. Но разделяла, как он говорил, чуждость кадетов основам народного русского духа.

А Гучков и был за конституционную монархию, именно такую, как обещал Манифест, с ответственностью правительства перед монархом, а не партиями. Он не одобрял наступательного настроения левых земцев, кадетской требовательности парламентаризма для парламентаризма. Для него Манифест был хорош как он есть, и только опасался Гучков, как бы власть не стала выкрадывать его по частям назад.

И согласились Шипов и Гучков, что пришло время политически объединить всех тех, кто хочет осуществить Манифест – утвердить новый государственный порядок, но при сохранении авторитета монарха; кто одинаково отвергает и застой и революционные потрясения, у кого есть это ощущение исторической глубины, вековой устойчивости, которую надо сохранить в её новом развитии. А для того создать не партию, но союз партий – чтоб избиратели не группировались мелко, разномыслием по частным вопросам лишь усиливая партийную рознь, но – единомыслием в основном. Первый такой союз – не против правительства, но в поддержку его.

В начале ноября 1905 шестнадцать основателей объявили о “Союзе 17 октября”, приглашавшем в себя мелкие партии с сохранением их программ. Не могли войти только: сторонники неограниченного самодержавия и сторонники демократической республики. Среди главных положений программы нового Союза были: все гражданские права и неприкосновенности; уравнение крестьян в правах с другими сословиями; признание государственных и удельных земель фондом земельной нужды;



допустимость и принудительность отчуждения частных земель, но при справедливом вознаграждении и в исключительных случаях; для рабочих – страхование, ограничение рабочего дня и даже свобода стачек, но при условии, чтобы не страдала жизнь прочего населения и государственные интересы; прогрессивный прямой налог (чем богаче, тем больше платит) и понижение косвенных.

Устроители “Союза 17 октября” торопили скорейший созыв Думы – в мечте, что тогда и начнётся тесное единение монарха с народом. А между тем быстробегущие недели накатывали на Россию сотрясения и испытания: пьяный мятеж в Кронштадте, флотский мятеж в Севастополе, волнения в губерниях, убийства, террор, паралич всей Сибири, вооружённое восстание в Москве, а в ответ – “режим чрезвычайной охраны” вместо “незыблемых основ гражданских свобод”, обещанных Манифестом: левые круги и правительство, как бы наперехват, друг друга выпереживая, сшибали и топтали тот злополучный Манифест. И “Союзу 17 октября”, всю свою деятельность полагавшему от Манифеста, приходилось спорить о своём заветном ещё прежде, чем Союз учредился вполне.

Эту среднюю сложную миротворную линию устроители объясняли так:

Шипов: Кому дорого мирное преобразование государственного строя, должен с появлением Манифеста признать революционное движение в стране законченным и доброжелательными усилиями содействовать проведению новых начал. Мы отмежёвываемся и от левых, и от правых партий. От правых, потому что они стремятся сохранить старый приказный строй, приведший нас к Цусиме. От левых, потому что весь русский народ привержен идее монархизма, а не деспотизма олигархии или массы. Монарх – выше всех политических партий, и свобода и право каждого гражданина наиболее обеспечены при конституционной монархии. В отличие от левых партий мы считаем, что человек должен быть не только свободным, но и проникнут нравственным идеалом.

Здесь председатель ЦК “Союза 17 октября” сильно приподнял, приписывая свою высокую программу разношерстному соединению, составившему Союз. Для Шипова задачи нового Союза совпадали с его давней мечтой:

устранять из политической борьбы раздражение, предвзятую подозрительность, взаимное недоверие; политическую борьбу сводить по возможности к доброжелательному выяснению спорных вопросов, к установлению соглашений, приемлемых для спорящих сторон.

Гучков: Мы не можем относиться отрицательно к тому, что создано старой Россией. И монархическое начало тоже должно быть перенесено обновлённым в новую Россию.

В Охотничьем клубе на Воздвиженке, где триста прекрасно одетых людей слушали уверенных ораторов, съезд октябристов как будто мог торжествовать: сложная средняя линия общественного развития была ясно выражена в речах и неоспоренно принималась аудиторией. Но когда вскоре начались выборы в Думу – мелкие партии и их кандидаты легко откалывались от “Союза 17 октября”, вступали в любые беспринципные блоки, лишь бы быть избранными. И собранная силища Союза оказалась трухой. А общество, всё более обозлённое и убеждённое, что никакие соглашения с *этой властью* невозможны, не отдавало голосов странному проповеднику какой-то средней линии и соглашения. И на выборах в Первую Думу в начале 1906 года октябристы потерпели сокрушительное поражение, даже сами Шипов и Гучков не были избраны. И как будто зря они эти месяцы силились воплотить свои высокие принципы в послушное политическое тело.

То был кризис для обоих, но, при разнице возраста всего в 11 лет, для Шипова – переломивший его общественную деятельность на нисходящую ветвь, для Гучкова – взмывший его жизнь по восходящей. Не хочется сказать, что от поражения, но от сошедшихся нескольких причин на том они и разошлись, и даже отчуждились. Вскоре

после неудачных выборов Шипов уступил Гучкову пост председателя “Союза 17 октября”. Была в их расхождении смена эпох, но было и то, что по законам собственной жизни мы должны, отыграв своё, не задерживаться на сцене. Шипова это настигло в пятьдесят пять лет, счастливы те, кого настигает в семьдесят, а иные и в тридцать отжаты.

На этих обзорных страницах мы так много занимаемся Дмитрием Шиповым не потому, что он повлиял на ход русской истории, но именно потому, что с началом самых жестоких сотрясательных лет не повлиял нисколько. Его умеряющие благотворные действия прежних тихих лет, принесшие и успех его медленным основательным замыслам и всероссийское влияние ему самому, – с началом общественной тряски сменяются чередой поражений, честных самоотказов и полным задвигом в бездействие, отбросом в бессилие. Именно потому мы так внимательны к урокам Шипова, что за четверть века своей общественной деятельности он как будто ни на градус не уклонился от стрелки нравственной идеи, вышедшей из центра религиозного сознания, кажется ни на одном шаге не был озлоблен, или разгорячился бы борьбой, сводил бы с противниками счёты, или был бы лукав, или корыстен, или славолобив, – нет! он своим спокойным обстоятельным умом прилагал нравственную идею к русской истории, и не где-то на задворках, но на самых главных местах, и в самые опасные переломные месяцы для России вызывался к Государю для советов, для получения министерских постов, а в июне 1906 – и поста премьер-министра. И – все его советы оказались не принятыми. И – ото всех постов он отказался, смечая соотношение сил и настроений, – странный удел столь многих русских деятелей: по разным причинам, почти всегда – отказ...

Урок Шипова напряжённо дрожит вопросом: вообще осуществимо ли последовательно-нравственное действие в истории? Или – какова же должна быть нравственная зрелость общества для такой деятельности? Вот и 70 лет спустя и в самых незапретных странах, веками живущих развитою гибкой политической жизнью, – много ли соглашений и компромиссов достигается не из равновесия жадных *интересов и сил*, а – из высшего понимания, из дружелюбной уступчивости сделать друг другу добро? Почти ноль.

Как при ничтожном загибе тропы мы уверенно видим свой путь прямым, и лишь нескоро обнаруживаем, что описали петлю, – так и в политической жизни Шипова за последний слишком бурный год был совершён загиб, ему самому не заметный. Ещё год назад он считал для России конституцию губительным путём. Затем из послушания монаршей воле стал проводником Манифеста 17 октября – твёрже самого Государя. Теперь же, когда победа – едва, на перевесе – оставалась за властью, Шипов, не замечая, всё более принимал сторону кадетов:

Власть должна отказаться от борьбы с обществом.

В эти самые месяцы убивали сотни должностных лиц, или грозили убийством (брата Гучкова Николая, московского городского голову, за противодействие забастовке митинг трамвайщиков *официально* постановил – *убить*), однако Шипов не прибавлял: “и общество должно отказаться от борьбы с властью”. Он отшатывался поддержать энергичные действия Столыпина, который якобы “не признавал нравственного начала в государственном строе и государственной жизни”, и склонялся отдать последнюю в волю кадетов, у кого как раз нравственное начало и утанывало в политике.

Как будто при содействующих, располагающих обстоятельствах встречались Шипов со Столыпиным летом 1906, обговаривая, как вместе создать правительство, – но никакое согласие даже не промелькнуло между ними, а сразу – душевное внутреннее отталкивание, которое невозмутимого кроткого Шипова довело до возбуждённого, сбивчивого оскорбительного объяснения, потом разложенного по логическим пунктам: Столыпин не предан искренно Манифесту и даже – противник его; он хочет вести

страну в традициях старого абсолютизма; он пренебрегает представительными учреждениями, он – главный виновник роспуска 1-й Думы; у него – ограниченный политический кругозор, неглубокое общее мирозерцание; он не стремится к общему благу и высшей правде; а притом – самоуверен, властен, и вот сумел подчинить своему пагубному, но сильному влиянию Государя.

А Столыпину, вероятно, виделось, что Шипов, при святости верхового кругозора, лишён хватки, поворотливости, быстрой энергии, славно разговаривает, а *сделать* в крутую минуту не способен ничего, и Россию спасти – ему не по силам.

Урок Шипова тем более печален, что свои последние годы, не избираемый в Думу, всё более вышибленный и устранённый даже из мелкой деятельности, даже из уездного земства и из московской городской думы, и медлительно занимаясь мемуарами, он проявил не возросшую, а ослабшую остроту зрения, когда полуслёзная плёнка доброты и слишком настойчивой, неотклончивой веры мешает видеть. Дописывая мемуары осенью 1918, он изъясняет нам, что вот закончилась последняя большая война истории, подобная кровавая катастрофа никогда не повторится, окончательно ниспровергнуты идеи милитаризма и империализма, религиозное сознание победило, особенно в Соединённых Штатах, русский же народ, богоносец и богоискатель, в недалёком будущем вновь поднимется с колен, а интеллигенция согласует свои взгляды с идеалами народного духа, как террорист-социалист Савинков, уже перешедший в христианство.

И такой конец Шипова заставляет усумниться, насколько отчётливо и быстро оценивал бы он события и отдавал решения, если бы в июне 1906 согласился бы возглавить русское правительство? (Это – не символическое представление: в тех же переговорах наряду с Шиповым участвовал его близкий единомышленник князь Г. Е. Львов. В 1917 тот показал, чего стоила вся линия). Почитая народ устойчивым богоносцем, отчего, правда, было и не отдать его взбрыкам кадетской Думы? – богоносцу ничто не повредит, он всё равно подымется на ноги. Из нашего отдаления нам легче теперь оценить сравнительную правоту и неправоту Шипова и Столыпина, для них самих в горячие недели постигаемые только интуицией.

Столыпин оказался роковым человеком и для Гучкова, в его расхождении с Шиповым. Недавних союзников он разделил как взмахом сабли: от первой же встречи, почти мгновенно, всё той же нашей спасительной интуицией, Гучкову без оговорок полюбился его твёрдый уверенный мужественный ровесник Столыпин. В наших схождениях-расхождениях мы иногда сами не замечаем, как выбор наш решается не убеждениями, а темпераментом. Гучкову открылся в Столыпине человек дела с сильной волей, ясным умом, определённым взглядом на всякий предмет, прямым в высказываниях и -

В нём русское было центром всего.

Сам Гучков, к сорока пяти годам из своих передряжных поездок и войн придя как будто молодым человеком, только и рвался, только и брался уставлять общественную жизнь – перенявши от Шипова руль “Союза 17 октября” в его крушении, ту самую идею провести, начатую вместе с Шиповым: благожелательное сотрудничество между властью и обществом. Гучкову странно было слышать от Шипова, что тот, занимаясь политикой, порицает политическую борьбу.

А для меня, напротив, всегда большое удовольствие – хорошенько *накласть* своим противникам!

Именно борьбой как таковой, самой тканью борьбы, переживанием борьбы – до страсти охватывался Гучков. И в самые бурные месяцы, когда Россию грозило развалить и разорвать, ему дикими казались советы Шипова уступить Россию кадетской Думе, пусть со временем убедятся обе в своих ошибках. Не терпя кадетов, Гучков не упускал случая нанести им удар – хотя б в заседании губернской управы, в повороте мелкой местной резолюции, чтоб кадеты хоть поперхнулись.

Но даже и стоя так, и при симпатии к Столыпину, – войти в его первый кабинет Гучков не решился: это значило бы перешагнуть пропасть от общества к правительству. На Аптекарском острове, за несколько недель до взрыва, Столыпин предложил ему пост министра торговли-промышленности, и программу правительства Гучков одобрял, – а ставил и ставил встречные условия, кого ещё *из общества* непременно позвать в министерство. Уговор не состоялся, но Гучков обещал поддерживать Столыпина с общественной стороны.

В те же дни снова захотел поговорить с Гучковым и Государь, принял его в Петергофе. Это были дни восстания в Свеаборге, тут – дремало поразительное спокойствие. Государь был в благодушном настроении, очаровательно любезен, как он умел быть очаровательным, очень располагая к себе. Тоже звал в министерство. Но, по всему, не отдавал себе отчёта в серьёзности положения. Монарх – как будто не этой страны, не этой планеты. Он находил излишним всякое обновление внутренней политики и не хотел себя связывать никакой программой. Стало

так тяжело на душе, что и сказать нельзя. Петергофские впечатления совсем доконали меня. Никакой надежды в ближайшем будущем. Мы идём навстречу ещё более тяжёлым потрясениям. Но вместе с тем и примирительное чувство, что *невинных нет*, что все жертвы готовящейся катастрофы несут в себе свою вину, что совершается великий акт исторической справедливости. До боли жаль отдельных лиц, но не жаль всю совокупность этих лиц, целые классы, весь строй, -

писал он жене по свежим впечатлениям петергофской аудиенции. Вся загадка и всё бессилие сгущались в этом странном вежливом Государе, который только и находился спросить солдата – в каком он полку служил перед тем, а послушав игру знаменитого пианиста – что он, старший или младший брат однофамильца-моряка?

Гучков поражался, но не ослаб, а крепкими ногами воина побрёл против сшибающего течения. Когда в августе 1906 были введены военно-полевые суды, мотивированные в правительственном сообщении:

Революция добивается не реформ (проведение их почитает обязанностью и правительство), но разрушения самой государственности и монархии,

а всё общество, разумеется, негодовало на суды, – Гучков не испугался выступить в печати одиноко с одобрением:

Твёрдая власть, имеющая охранить молодую политическую свободу, должна прибегать к скорым и суровым репрессиям. У нас в некоторых местностях идёт междуусобная война, а законы войны всегда жестоки. Возрастающее у нас грабительство уже перешло от революционного характера в разбой. Введение военно-полевых судов – жестокая необходимость. Репрессии вполне совместимы с либеральной политикой: только подавление террора создаст нормальные условия. На революционное насилие правительство обязано отвечать энергичным подавлением. Я глубоко верю в Петра Аркадьевича Столыпина. Таких способных и талантливых людей ещё не было у власти у нас.

И через год:

Если мы присутствуем при последних судорогах революции, то этим мы обязаны исключительно Столыпину.

Сторонники отпадали, левые поносили Гучкова. Но этим заявлением он твёрдо начинал шестилетний вершинный путь своей жизни – те самые отпускаемые нам главные годы, для которых вьётся вся остальная жизнь.

Не сразу этот путь пробился: общество жаждало левизны и революции, во 2-ю Думу октябристы так же не попали, как и в 1-ю. Но весной 1907 Гучков отказался от верного, однако слишком спокойного места в Государственном Совете – чтобы побиться за Думу, собирать октябристов под проклятья и угрозы слева.

Миновали, как считал Шипов, условия для деятельности “Союза 17 октября”? или только теперь и начинались, как уверенно вёл Гучков:

Примирить вечно враждующие русскую власть и русское общество, дружно сотрудничать с властью и безболезненно перейти от осуждённого уклада к новому.

Со своими мировыми и внутренними задачами Россия может справиться только под предводительством сильной царской власти. Конституция (1906) просвечивает власть для общественности и тем высвобождает от безответственных тёмных влияний, –

но не для того, чтобы кинуть её

в распоряжение политических партий и их центральных комитетов! Мы – против революционных элементов, которые думали воспользоваться затруднительным положением правительства, чтобы насильственным переворотом захватить власть. В борьбе со смутой, в момент смертельной опасности мы решительно стали на сторону власти,

сохраняя свободу осуждать ошибки правительства и отстаивать его верные шаги.

Сам тот Манифест 17 октября сперва слишком неуступчивого, потом слишком напуганного царя – был ли посильным скачком для страны, никак не подготовленной к парламентской жизни? Не обещает ли закон 3 июня 1907 более спокойного развития к парламентскому состоянию?

Тот государственный переворот, который был совершён нашим монархом, как раз и являлся установлением конституционного строя. Я уверен, что спокойная лояльная работа 3-й Думы примирит и наших противников, и через год-два будет вынута ядовитое жало, столько времени растравлявшее народное тело, и избыточная энергия революции уйдёт в созидание.

Так и случилось. Именно с 1907 в России началось неоспоримое выздоровление. Люди, которые несколько лет назад метались от сходки к сходке, теперь развивали экономические программы, и всё более заметной фигурой общества становился инженер.

Осенью 1907 октябристы прошли сплочённой группой в 3-ю Думу, и их лидеру Гучкову предстояло показать теперь на деле, возможно или невозможно осуществить среднюю линию уравновешенного устройства России. Две первых Думы не видели иной цели, как дразнить правительство и ярить общество, – сумеет ли 3-я формировать государственный путь страны?

Первый свежий толчок, который мы испытываем здесь, – это соотношение лидера думского большинства Гучкова и председателя совета министров Столыпина: их сотрудничество – не в сговоре, не в умысле, но в служении общей цели, кто лучше её поймёт: при единомыслии – спор и состязание. Одно из первых выступлений Гучкова (май 1908) было: отказать в кредитовании флота, укрепляя Россию – отказать ей в броненосцах! Иначе

как нам отделаться от призраков прошлого? Правительство должно пролить всю правду, назвать всенародно имена лиц, виновных в катастрофе.

Эта речь вызвала большое раздражение Николая II, так любившего флот, и сильно омрачилось его отношение к Гучкову, который очень ему нравился прежде.

С думской трибуны открылся Гучкову простор объяснить и всю японскую несчастную войну:

Главной виновницей наших неудач была не армия, виновники – наше центральное правительство и наше общество. Правительство легкомысленно способствовало возникновению этой войны; в долгие мирные годы не озаботилось правильной постановкой дела обороны; когда появилась опасность – не отдало отчёта в серьёзности положения. Предполагалось, что это – далёкая колониальная война, которую нет надобности вести со всем напряжением сил. Лишь гораздо позднее явилось сознание, что дело идёт не о Южной Манчжурии, но о существовании России. Когда же мы стали на Дальнем Востоке сильны, и дух армии был ещё бодр – правительство потеряло веру в себя, в свой народ, и заключило тот мир, который надолго похоронил

наше международное положение.

Но если правительство хоть в конце несчастной войны поняло свою ошибку, то второй виновник наших неудач – наше общество, так до конца и осталось в своём ослеплении. Общество оказалось несколько не прозорливее правительства, они друг друга стоили. Непопулярность повода к войне заставила общество закрыть глаза, какая жизненная ставка разыгрывалась там, вдалеке. И всё, что лилось отсюда в армию, – наша пресса, письма родных и знакомых, приезжие люди, всё это отнимало последнюю бодрость, остаток веры в себя и в успех. Наше общество действовало во всё время войны деморализующе на нашу армию. ( Справа: “Правильно!”) А в конце войны оно ещё усугубило свою ошибку.

Впрочем, и в армии

канцелярия заполнила всё, подчинила строй, мертвила энергию, убивала дух. Генеральский состав оказался наиболее слабым. Как и в крымской, и в турецкой войне, большинство генералов оказалось не подготовлено к распоряжению всеми родами оружия. И до сегодня сохранился во всей нашей стране тот противоестественный подбор, при котором всё слабое и ничтожное всплывает наверх, а всё талантливое и смелое отбрасывается.

Выступал Гучков не для того, чтобы покрасоваться с думской трибуны, но – каждую речью улучшить что-то в отечестве, и особенно – в армии, которой он посвятил свою деятельность. То – за кредит на улучшение быта нижних чинов, у которых был скуден приварок, то – за увеличение содержания офицерам, сословию, презренному обществом, обойденному казной, но обязанному в тяжкие минуты отечества за всех за них проявить высший воинский дух.

Некомплект офицеров в армии принимает угрожающие размеры. Есть войсковые части, где он достигает половины офицерского состава. Оклады содержания офицеров и раньше ставили их вплотную с нуждой. А в последние годы, когда многие общественные группы и классы в суматохе так называемого Освободительного движения несколько устроили своё материальное благосостояние, нужда стоит уже не у порога офицерского жилища, но вошла в самое это жилище, офицерские жёны несут самую чёрную работу, офицерские семьи переходят на довольствие из ротного котла, а на далёких окраинах ведут существование прямо не достойное человека. Беспросветность жизни армейского офицера... Невозможность даже под конец жизни обеспечить свою семью.

Тогда как в армии должна быть только одна привилегия – образования, военных знаний и таланта ( аплодируют, но не справа),

в ней – незаслуженные, неоправданные привилегии гвардии, происхождения, денежного достатка, столичных связей.

Жернов гарнизонной службы перетирает в порошок рыцарские чувства и благородные характеры. Не бережётся чувство чести и личного достоинства, но цуканьем, хамством с подчинёнными, издевательствами, унижениями уничтожают то чувство самолюбия, которое в военном человеке – из главных стимулов героизма. И офицеры уходят из армии – куда-нибудь, землемерами, экзекуторами, бухгалтерами. Остаются в армии или немногие подлинные любители военного дела или лица, ни на какую другую службу не годные.

А реформы входят в военное ведомство слишком робко.

И когда вспомнишь, как после тяжких поражений поступали другие народы, закрадывается в сердце грусть и зависть. Вы помните, как после 1871 года возрождалась Франция, на какие жертвы шла она вплоть до того момента, как задул ветер социалистических учений и доконал то, чего не в состоянии были сломить немцы?

Ещё в 1908 Гучков понимал и называл:

Комплект наших патронов и снарядов совершенно не отвечает новым условиям

войны. При значительной войне наши заводы не приспособлены покрыть расход боеприпасов, а некоторых составов русская промышленность вообще не вырабатывает.

И – о благовременном переносе заводов от возможного западного фронта. (До отступления 1915 так и не сдвинулось ничто). И – о слабости, дряхлости наших крепостей. (Так и оставлены).

В горьких выступлениях Гучкова лучился и юмор:

Я думаю, что нет министра, который был бы больше заинтересован в свободе печати, чем министр военный. Я бы на его месте ежедневно надоедал министру внутренних дел: когда же он внесёт законопроект о расширении свободы печати.

Ибо не улучшить нам военного ведомства и особенно легендарного интендантского, пока не будет выслушан голос армии и не будет контроля общественного мнения. Вот военный министр (Редигер) решился на беспрецедентную ревизию над интендантским ведомством.

Перед материалами, которые добыты ею, я вижу себя обезоруженным, ибо на каждый мой вопрос: известно ли военному ведомству то или другое злоупотребление, я уверен, ведомство может мне ответить: “мне известны гораздо большие злоупотребления”. ( Смех в центре и слева). А если ведомство скажет, что в его руках недостаточно репрессий, я уверен, что Дума не поставит пределов этим репрессиям: для вороватых интендантов мы готовы дойти и до военно-полевых судов. ( Рукоплескания в центре и справа). Я уверен, что даже господа левые в этом вопросе только стыдливо воздержатся от голосования. ( Слева шум). И тогда все эти рассказы о картонных подошвах у героев Шипки, отмороженных ногах и босоногой армии отойдут в область преданий. ( Бурные рукоплескания. Пуришкевич: “Молодчина, Гучков!”)

В вопросы военного ведомства Гучков входил особенно глубоко. Он сам возглавил думскую комиссию государственной обороны (не допустив туда ни социалистов, ни кадетов), министр Редигер охотно раскрывал перед комиссией все дефекты. Старались добросовестно изучить постановку военного дела в России. Гучков завязал связи и с генералом Василием Гурко и в военно-морских кругах. Военных кредитов не только не урезывали, но всегда добавляли, провели и повышение окладов офицерству. *Наверху* были недовольны, что Дума увеличением военных кредитов ищет симпатий армии и вмешивается не в своё. Но и глядя из Думы, можно было быть недовольным верхами, и Гучков решился взорвать эту тему в ярком выступлении. Чтоб никто не мог помешать, он скрыл свой замысел ото всех и от председателя Думы. Сперва защищал смету, а потом, стараясь говорить возможно быстрее, чтобы не прервали, атаковал великих князей:

Совет Государственной Обороны во главе с великим князем Николаем Николаевичем обессилил и обезличил военного министра и тормозит всякие улучшения в военном деле. ( “Браво!” Рукоплескания). Чтобы закончить перед вами картину той дезорганизации, граничащей с анархией ( “Браво!” “Верно!”), которая водворилась в управлении военного ведомства, я должен ещё сказать: должность генерал-инспектора всей артиллерии занимает великий князь Сергей Михайлович, генерал-инспектора инженерной части – великий князь Пётр Николаевич, главный начальник военно-учебных заведений – великий князь Константин Константинович. Так во главе ответственных отраслей военного дела поставлены лица, по своему положению фактически *безответственные*. ( “Браво! браво!”) Назвать это своим именем – наш долг, и вместе с тем мы должны признать наше бессилие. ( “Верно! Верно!!”) Прав был депутат Пуришкевич: мы больше не можем позволить себе поражений! Новое поражение России явится не просто уступленной территорией, не просто заплаченной контрибуцией, но *будет тем ядовитым укусом, который сведёт в могилу нашу родину!* ( Рукоплескания. “Верно!”) И если мы требуем от страны тяжёлых жертв на дело обороны, то мы вправе обратиться и к тем немногим

безответственным лицам и потребовать только всего: отказа от некоторых земных благ и некоторых радостей тщеславия! (Продолжительные бурные рукоплескания слева, в центре и отчасти справа). Этой жертвы вы вправе от них ждать.

Растерявшийся председатель закрыл заседание. Дума была потрясена. Спрашивал Милюков в кулуарах:

– Александр Иваныч! Что вы наделали? Ведь после этого Думу распустят!

– Нет, армия и народ – с нами, не решатся!

А Николай II Столыпину: “Он мог бы это сказать в частном разговоре, а не с публичной трибуны”. Однако в частном разговоре ответ – улыбка и “вы совершенно правы”, и всё остаётся на местах. Уверен был Гучков, что только публично высказанная мысль подействует. Речь его никем не была опровергнута, престиж великих князей подорван. Но и до 1917 они оставались на подобных местах. А Совет Обороны был распущен, к облегчению.

Терял Гучков былое расположение Государя. А хотел совсем не этого. В начале 1909 при запросе о годности высшего командного состава вынудил Редигера к признанию:

При выборе кандидатов на высшие должности приходится сообразовываться с тем составом, который налицо, -

и за этот ответ Государь отрешил военного министра и назначил на долгие годы...

– Сухомлинова. Этот – был уже врагом думской военной комиссии, и только помощник министра Поливанов снабжал Гучкова необходимой тайной информацией. Предстояло Гучкову ещё немало разоблачать и Сухомлинова.

Вспоминал Шингарёв:

Речи Гучкова были бы невозможны со стороны кого-нибудь из нас – скандал, удаление на пятнадцать заседаний. А его – слушали.

Впрочем, правые – неспокойно. В постоянном сочувствии Гучкова к армии они видели желание перетянуть армию от Верховной власти к Думе. В правых газетах и с думской же трибуны Гучков был обвинён в “младотуречестве”, в “раскрытии ран” нашей обороны, подрыве доверия, выносе сора из избы. Гучков отвечал:

Когда мы видели неспособных вождей, мы говорили: это – неспособные вожди. Едва ли виноваты мы, называя их своими именами, – скорее те, кто держат их. От курения фимиама, от тактики замалчивания мы так много настрадались, что надо воспользоваться Думой, чтобы говорить правду. Член Думы Пуришкевич упрекнул: “Нужна вера, вы вселяете безверие”. Но есть хуже, чем безверие, – это ложная вера. И мы будем разрушать её везде, где найдём. “Хлопчатобумажный патриотизм”, сказал обо мне Пуришкевич, повторяя засаленную остроту. Эти господа не могут мне простить, что я – купеческого происхождения. Чтобы дать им материал для новых острот, я им ещё добавлю: я не только сын купца, но и внук крестьянина, который из крепостных выбился в люди трудолюбием и упорством. (Рукоплескания). И в моём “хлопчатобумажном патриотизме” вы, может быть, найдёте отзвук другого патриотизма – чернозёмного, мужицкого, который знает цену таким барчукам, как вы.

И разве Гучков не выдержал исходной программы “Союза 17 октября”? Пора 3-й Думы представлялась ему

небывалой с 60-х годов картиной русской жизни: власть и общество, всегда непримиримо враждовавшие, сблизилась. В этом акте примирения выдающуюся роль сыграл Столыпин совершенно исключительным сочетанием качеств. Благодаря именно его обаятельной личности, высоким свойствам его ума и характера, накапливалась вокруг власти атмосфера общественного доброжелательства и доверия на место прежней ненависти и подозрительности. Третья Дума своей уравновешенностью оказала глубокое воспитательное влияние на русское общество. Создавалась небывало благоприятная обстановка, обещавшая обновление во всех областях нашей жизни.



О, не так-то просто отползают с народного пути старые каракатицы, одряхлевшие у власти! Уже весной 1909, чуть утихло с революцией, эти фантомы и уроды сплотились к трону – убрать Столыпина. Готовилась его отставка. Гучков дал газетное интервью:

Конституции грозит опасность со стороны правых групп, оставшихся бюрократов, при новом строе оставшихся не у дел, правого крыла Государственного Совета. Пока Столыпин вёл борьбу с революцией – правые могли жить спокойно. Но наступила эра реформ, и правые поняли, что их торжеству приходит конец. По мере того, как революция отлагалась, поднимали головы со своей короткой памятью те, кто неискренно терпел Манифест как легкомысленную уступку. Приведшие Россию к небывалому унижению, перед смертельной расплатой как будто исчезнувшие, – они теперь выползают из всех старых гнойников и захватывают позиции.

А ещё

Столыпин никому не прощает воровства, взяточничества и корысти. Тут он беспощаден. Когда начался грозный цикл сенаторских ревизий, всколыхнулось тёмное царство взяточников и казнокрадов. Кругами расходился по этому болоту страх за существование.

(Всё же в ту весну Столыпин устоял: ещё недостаточно прискучил Государю и как будто ещё не опасно затмевал его).

Особенности *центра* – с такою же силой Гучков разоблачал и левых:

Если раньше могли быть какие-то иллюзии о моральном значении и политической целесообразности террора, если раньше террор был окружён в известных общественных кругах атмосферой сочувствия, даже соучастия, то ныне лужи крови и грязи лишили террор того ореола. А наш государственный и социальный строй оказался столь могучим, что выдержал безумный натиск безумных людей. Разве террор не выродился теперь в дикую бессмысленную злобу?... Последние годы, отмеченные Освободительным Движением, вложили свою лепту в развитие хулиганства. Припомните, с чего началось в России революционное движение? С декабристов! Припомните, чем оно закончилось? (Слева: “Оно – не кончилось!”)...Террор убивает безжалостно не только тех, кто являются его действительными и опасными противниками, он убивает вокруг себя зря, вслепую, кого и как попало. И если раньше можно было предполагать, что в рядах революции сосредоточена известная доля самопожертвования и героизма, то давно героизм перекочевал в противоположный лагерь; надо признать, что те городовые, солдаты, те генералы, губернаторы и министры, кто в течении многих лет мужественно выстаивают на своём посту, ежеминутно подвергая опасности себя и своих близких, – они и являются истинными героями! (Рукоплескания центра и справа).

И Гучков призывал, чтобы законопроект о помощи семьям, чьи кормильцы убиты революционерами, был поддержан всею Думой – это оздоровило бы нравственное сознание страны,

прекратило бы или ослабило то пролитие крови, которое составляет несчастье и позор нашей родины.

Но призывал он, разумеется, тщетно. Не только социалисты, но и конституционалисты-демократы перестали бы быть сами собой, если б осмелились вслух осудить революционный террор. Головы, непоправимо скрученные влево, вернуться в среднее положение не могли.

Со стороны крайних левых групп мы слышим исключительно только речи, полные подозрений, полные яда, полные ненависти. Это показывает, насколько искренними работниками они являются в том труде, который мы несём.

Были и позже случаи противостоять левым – всё о терроре. В конце 1909 на Астраханской улице в Петербурге, в частной квартире, снятой полицией, был взорван бомбою начальник петербургского охранного отделения Карпов. И левые, и кадеты

внесли шумный кривой запрос о полицейской провокации: что квартира была полицейскою фабрикою бомб. – Но зачем полиции фабрика бомб, да ещё тайная? производить взрывы? – возражал центр. – Нет, подкидывать бомбы перед обысками, – изобретали левые.

Так накалено было в думских крылах – всегда доказывать правоту *своих*, всегда доказывать виновность *тех*, что ораторы не желали схватывать возражений, подробностей дела. Неисчерпаемо цветистый Родичев, прославленный своим языком и им же едва не наказанный насмерть, теперь с думской трибуны пересказывал из французской газеты статью эмигранта Бурцева (такое возможно было в консервативной Думе!),

кому кадетская фракция верит больше, чем председателю совета министров, но упустил, очевидно неумышленно, – язвит Гучков, – как раз то место статьи, где Бурцев свидетельствует о человеке (Петрове-Воскресенском), произведшем взрыв, что он был

агентом революции, палачом революционного трибунала, командированным в стан охраны *двойником*.

А это даёт повод Гучкову высказать, что часто

в полицию являются представители революционных партий с предложениями услуг за деньги. Моральное разложение в революционном лагере пошло далеко, так далеко, что от лозунга “всё дозволено в политической борьбе” дошли до лозунга “всё дозволено во всех областях жизни”. Идеалистический, героический период революции, о котором мы знаем понаслышке, давно отошёл, а теперь наступил период *разбойный*. Вот член Думы Чхеидзе, вероятно, не будет мне противоречить. Мне писали с Кавказа в период *освободительного движения*, что каждая так называемая политическая экспроприация – грабёж, чтобы достать средства для революции, сопровождалась всегда чрезвычайно широкими кутежами в лучших ресторанах Тифлиса. Как эти кутежи бывали, так люди и знали: произошла политическая экспроприация.

И, обращаясь к левым:

Если вы будете разоблачать действительно провокационные приёмы полиции – вы всегда найдёте нас союзниками. Но если вы хотите разоружить государство и правительство в борьбе с революцией – то нет, слуга покорный!

Так стоял он крепкими ногами против шумных и яростных натисков то слева, то справа, то и слева и справа, то поддерживаемый, то бранимый, – но в вере, что твёрдо ведёт средний курс корабля, примиряя русскую власть и русское общество для созидания; в надежде, что наконец и власть и общество ограничат себя и откажутся от непомерных требований.

В этом – особенность парламентского центра:

В Думе есть группы, несколько не заинтересованные в плодотворности законодательной работы. Левые наши *товарищи* твердят и мечтают, что из Думы ничего не выйдет и нужна великая катастрофа;

правые грозят, что Дума к ней и ведёт; власть презрительно смотрит на Думу – нечего с ней считаться; но

разочаруются те и другие, и Думе удастся восстановить у нас правду и справедливость.

Кто же больше *центра* заинтересован в прочном законодательстве? Особенность центра: прикрываться то левым, то правым крылом, собирать большинство то с правыми против левых, то с левыми против правых – и так двигаться вперёд, и так отстаивать страну.

*Вместе с левыми* Гучков: то (1908) поддержит протест против неслыханного произвола московского генерал-губернатора: он осмелился требовать запрещённые цензурой книги печатывать и *даже* сдавать властям!

то (1909) – за свободу публичного старообрядческого проповедания (все

социалисты были конечно за, но эту свободу запрещала православная Церковь);  
то – против *произвола* над присяжными поверенными (адвокатов, передававших заключённым недозволенные вещи, – министерство юстиции покушалось не допускать в тюрьмы, каково!);

то (1910):

Потребность в системе успокоения прошла. Не видим прежних препятствий, которые оправдывали бы замедление гражданских свобод. Мы ждём!

то (1912) – за расследование Ленского расстрела,

где царили условия кабалы, к счастью давно отошедшие в предание для большей части русской промышленности, а начальство было в панике, обезумев от личного страха;

то, по телеграмме Короленко, заступиться и спасти политического смертника.

И всё это, особенность центра, не создаёт ему никаких политических союзников.

Мы и в стране и в Думе чувствуем себя несколько изолированными, -

звучит у Гучкова усталая нота. Лучше бы ни от кого не зависеть, ни с кем не блокироваться; плодотворны парламенты с центром самостоятельным, слабы парламенты с центром непрочным. Тут могут быть такие неожиданности: объединение правых и левых против центра. И в каком стечении: фракция октябристов предлагает начать думскую сессию (1912) с двух вопросов, важнейших для крестьянской России: порядка на земле и порядка в суде – землеустройства и восстановления выборного местного суда, независимого от администрации. Правое крыло Думы, разумеется, против. Но левое-то будет – за? Как бы не так, социал-демократы – против, ибо *это ничего не даёт* (им). Но – кадеты? но – цвет русской интеллигенции? Кадеты – тоже против: гораздо первой и важней вопрос *о неприкосновенности личности* !

И октябристскому центру не хватает голосов...

Господа, мы имеем перед собою черно-красный блок, это то, что составляет проклятье нашей русской жизни. ( Смех справа и слева, рукоплескания в центре). И никогда ещё этот блок не выступал с таким цинизмом. Да, с противниками бывает нужно сосчитаться, но не нужно брать почвой для счётов живое народное тело. Мы доведём законопроект до крушения и оставим население на долгие годы без правосудия.

Ну и что ж. Ну и пусть.

С марта 1910 Гучков предпочёл избраться председателем Думы – чтобы, по ритуалу, бывать на докладах у Государя: он очень рассчитывал оказать прямое личное влияние, даже повернуть ход России.

Вы меня простите, Ваше Величество, я сделал своей специальностью говорить вам только тяжёлые вещи. Я знаю, вы окружены людьми, которые сообщают вам лишь приятное.

И был интересен Государю, иногда очень увлекал его. Цель Гучкова была – разбить лёд между Думой и Государем. Тот внимательно выслушивал (впрочем, эти пассивные состояния всегда у него выглядели правдоподобно), но часто и высказывался живо. Подозревал Гучков и так, что иные воли стояли за Государем – за задними дверьми или в угнетённом сознании монарха, – таились, шептались, сплетались симпатии и антипатии, влияния, капризы и выиски шмыгающих теней – “придворный шёпот”. Ещё было и шесть лет между ними – и с этой возрастной ступеньки тоже смотрел Гучков сожалеюще на приятный взрак царя, однако лишённый устремления.

Вместе со Столыпиным разделял Гучков эту трагическую роль: отстаивать монархию вопреки монарху, авторитет власти против носителей власти.

Моя жизнь принадлежит Государю, но совесть ему не принадлежит, и я буду продолжать бороться.

Сухомлинов забавлял Государя придумкою новых армейских форм (Государь

любил их как ребёнок, он завял бы, если бы вся армия была одета одинаково), избегал утомлять скучными докладами, скрывал недостатки. И более всего тормозил смену высшего командования на боевое. В аудиенциях Гучков жаловался Государю, что все реформы армии замедлены, не развивается военная промышленность, технические улучшения ведутся за счёт иностранных заказов. А в глазах Государя читал и так: сводите счёты с министром?

Гучков был неуёмист, всегда – вызов, и даже в год председательства не мог удержаться – пережил одну из многих своих дуэлей, с октябристом же графом Уваровым, покидал Думу, чтоб отбыть 4-месячное наказание в крепости – но высочайшим повелением прощено, не отсидел и месяца. (Среди гучковских дуэлей должна была быть одна и с Милюковым, за думское оскорбление.)

А потом Гучков сорвался: после очень тёплого приёма поделился успехами и надеждами с коллегами в Думе чуть пошире – попало в газеты, и мнения Государя тоже, – и следующий раз царь встретил Гучкова холодно, не садясь. Не прощая. Кончено навсегда.

И такие же порывы и дёрганья не давали плавно течь сотрудничеству Гучкова со Столыпиным. А когда тот в марте 1911 провёл западное земство роспуском Думы и Совета на три дня – Гучков испытал потребность сильно отдёрнуться, чтобы видели все, что он – не соучастник. Бросил председательство в Думе, теперь ему только тягостное, когда он разошёлся с Царём, и с направлением Красного Креста поехал смотреть чуму в Манчжурии (подальше, чтобы не возвратили). Взвинчивая себя, он придумал объяснить Столыпину, удивлённому, зачем такая непомерная резкость:

Вы знаете, как я дорожил вашей победой, как мне были ненавистны ваши враги. Но шаг, который вы делаете, – роковой, не только для вас лично (я знаю, вы к этому равнодушны), а и для той обновлённой России, которая вам так дорога и которая вашими же усилиями стала выходить из хаоса.

Из Манчжурии Гучков вернулся в августе, за несколько дней до убийства Столыпина. Тут его достиг слух, что финские националисты готовят на Столыпина покушение (возможно, было и такое), – и он успел дать знать Курлову в Киев, не самому Петру Аркадьевичу, чтобы не тревожить его.

В сентябре, в экстренном поезде, с полусотнею октябристов, Гучков ехал в Киев на похороны.

Раскаивался ли он, что на последнем пути не поддержал Столыпина? – теперь, в чём мог, он принимал на себя задачу убитого. ЦК октябристов обвинял кадетов в подготовке общественного настроения, облегчившего убийство. В 40-й день от смерти октябристы внесли в Думе запрос:

Революционные партии и враги России, объединившись, исполнили свою давнишнюю угрозу отомстить тому, кто когда-то подавил революцию.

И Гучков, поддерживая запрос:

Это была жизнь за царя и за родину, и смерть за царя и за родину... Поколение, к которому я принадлежу, родилось под выстрел Каракозова. Кровавая и грязная волна террора прокатилась по нашему отечеству, унося с собой Царя-Освободителя. Террор затормозил и тормозит поступательный ход реформ; террор давал оружие в руки реакции; террор своим кровавым туманом окутал зарю русской свободы, это свежо у всех в памяти (справа и в центре: “Браво!”, слева: “Сказки для маленьких детей!”); а теперь террор устранил и того, кто более всех содействовал укреплению у нас народного представительства.

Вокруг язвы, съедавшей живой организм русского народа, копошились черви. Они сделали себе из нашего недуга источник здоровья. ( Слева: “Охранники!”) Для этой банды существовали только соображения карьеры, расчёты корысти. ( Справа и в центре: “Браво!”) Это были крупные бандиты ( слева: “Правильно!”), “жадной толпой стоящие”, но с подкладкой мелких мошенников. И когда они увидели, что им

наступили на хвост, стали обстригать их когти и проверять ресторанные счета, – они своими действиями и попустительством дали произойти убийству председателя совета министров...

Запрос называл по именам всех четырёх – Курлова, Спиридовича, Веригина, Кулябку, а Гучков с трибуны ещё добавлял подробностей о них – взяточничество, вскрытие денежных писем.

Заколдованный проклятый круг, в котором бьётся правительство. Власть в плену у своих слуг. Змея, которой вы наступите на голову ( Пуришкевич: “Мы с вами никогда не будем!”), ужалит смельчака, и кое для кого это может быть смертельный укус на прощание. *Если виновных лиц вы удалите с пенсией, а в общем всё останется по-старому, – вы обречённые.* Другой путь – полная реорганизация политической полиции. Хватит ли у вас решимости?

Нет, конечно, не хватило. Обречённые всё оставили по-старому.

А в *змею* -то Гучков понимал и Распутина, доставался и тот Гучкову в тяжёлое наследство. Но тут была опасность многослойна: нельзя было распахнуть передо всем народом России, что дело касается самого самодержца, – хотя именно ему Гучков не мог простить и себя и пренебрежённому Столыпина. Гучков искал помощи министров. Не нашёл. Тогда в январе 1912 в гучковской газете “Голос Москвы” напечаталась статья, изобличавшая хлыстовство Распутина. Номер был, разумеется, конфискован, редактор привлечён к суду. Это давало октябристам право запроса:

Доколе Святейший Синод будет безмолвствовать и бездействовать, наблюдая, как разыгрывает трагикомедию проходимец, хлыст, эротоман, шарлатан Григорий Распутин? Почему молчат епископы, архипастыри? Почему всем газетам в Петербурге и Москве предъявлено требование ничего не печатать о Распутине?

И Гучков, поддерживая свой запрос мести:

Неблагополучно в нашем государстве. Опасность грозит нашим народным святыням. Безмолвствуют иерархи, бездействует государственная власть. И тогда патриотический долг прессы и народного представительства – дать исход общественному негодованию.

А вослед, при обсуждении сметы Святейшего Синода:

Я никогда ещё не выступал на эту трибуну с таким тяжёлым чувством. Нужно душевное настроение, мне не свойственное, и склад души, мне чуждый, чтобы сосредоточить внимание на страховании церковного имущества, уравнении епископских окладов, даже на подготовительных шагах к созыву поместного собора, когда всё это тускнеет, а хочется *кричать, что церковь в опасности и в опасности государство!...* Этот изувер-сектант или проходимец-плут, эта странная фигура в освещении XX столетия ( слева: “Элек-ти-ри-чество и пар!”), – какими путями захватил этот человек такое влияние, пред которым склоняются высшие носители государственной и церковной власти? ( Слева: “Целуйте ручки!”) Вдумайтесь только, кто же хозяйничает на верхах? Кто вертит ту ось, которая тащит за собою смену направлений и смену лиц, падение одних, возвышение других? ( Марков 2-й: “Бабы сплетни!”) За спиной Григория Распутина – целая банда, пёстрая и неожиданная компания, взявшая на откуп и его личность, и его чары. Антрепренёры старца! Это они суфлируют ему то, что он шепчет дальше. Это целое коммерческое предприятие, умело и тонко ведущее свою игру. Никакая революционная и антицерковная пропаганда за годы не могла бы сделать того, что Распутиным достигается в несколько дней. И со своей точки зрения прав социал-демократ Гегечкори, сказавший: “Распутин полезен”. Да, для друзей Гегечкори даже тем полезнее, чем распутнее! И в эту страшную минуту, среди отчаяния и смятения одних, злорадства других, – где же власть? власть церкви и власть государства? А где были вы, обер-прокурор Святейшего Синода? Когда у нас проходили законы о гарантиях религиозных свобод, о праве перейти из одного вероисповедания в другое, о старообрядческих общинах, чтобы

исправить вековую неправду, – мы вас видели среди противников. А язву, разъедающую сердцевину народной души, – вы проглядели!

Я замечал, что достигшие больших жизненных благ менее всего склонны ими поступиться. Знаю: не всегда можно требовать героизма. Но есть этический минимум, обязательный для носителя власти. Есть моменты, когда *служить* означает другое, чем прислуживаться. Когда гражданский подвиг становится обязанностью. Под годами 1911-1912 русским летописцем будет записано: “В эти годы при обер-прокуроре Святейшего Синода Владимире Карловиче Саблере православная церковь дошла до неслыханного унижения”!

После этой-то речи и было промолвлено императрицей: “Гучкова мало повесить!” Он стал уже не политическим, а личным врагом императорской четы. Он и сам именно так понимал.

Чем резче он выступал, тем жесточе становился впредь, и всё менее разборчив в средствах. В начале 1912 он распространял по обществу гектографированные копии писем императрицы и великих княжён к Распутину, добытых через монаха Илиодора (и часть оказалась подделкой). И тогда же тайный гучковский информатор, на основании какого-то прочтённого им служебного письма к Сухомлинову, вывел и донёс Гучкову, что в военном министерстве служит – и близок к министру – германский шпион Мясоедов, к тому же бывший жандармский офицер, к тому же ныне поставленный для наблюдения за политической крамолой в армии. (Такое наблюдение уже давно отсутствовало, осведомители были сняты, то была частная и недавняя попытка министра). Нельзя было придумать более дразнящего сочетания и лучшего места для удара: в случае успеха свергался военный министр (к посту которого Гучков особенно ревновал) и ставился свой Поливанов. И Гучков не замедлил с ударами: три сенсационных газетных статьи (в двух суворинских и гучковской) – “Шпионаж и сыск”, “Кто заведует в России контрразведкой?”, и заявление Гучкова в Комитете Государственной Обороны. Небывалое в истории России обвинение военного министерства! Эффект усилился тем, что привлекались симпатии общества: жандармский офицер! политический надзор! и шпионство! – вот каковы они! Общество отзывно заволновалось, требовало открытия секретов военного министерства. Уже слухи понесли, что Поливанов заменит Сухомлинова. Но и Гучков кроме слухов ничего не мог основательно выложить на допросе у прокурора, и те поливановские данные оказались несерьёзными. (Впрочем, и до конца жизни Гучков этого не признал). Но и Сухомлинов трусливо медлил с опровержениями. Тогда подполковник Мясоедов на трибуне бегов ударил издателя Бориса Суворина хлыстом по лицу, а Гучкова вызвал на дуэль. О, к этому Гучков был готов всегда! Они стрелялись на Крестовском острове – и Гучков появился в Думе с подбинтованной рукой, под бурю думских аплодисментов. (А в Мясоедова он не стрелял, но тот от скандала ушёл в отставку).

Гремели речи по стране, и казалось – всё от них менялось в государстве.

А не менялось – ничего. Бесчувственной стеной всё так же высилась Верховная Власть – и брало отчаяние, что нет таких сил – пробить в ней окна для света и сквозняка. Да полно, был ли тот Манифест, или только оставил память о поспешливой царской трусости? И сама партия октябристов – была ли (скоро “партией потерянной грамоты” назовёт её вождь правых Щегловитов)? Как будто – была, если составляла устойчивый центр 3-й Думы. Но при выборах в 4-ю, осенью 1912 года, партия потерпела поражение, атакуемая и слева и справа (особенность центра), для левых – партия помещиков и крупной буржуазии, для правых – *октябри-хриstopродавцы*. Потерпела поражение – и уже надо было усилиться фантазией и твёрдостью голоса, чтоб утверждать, что партия – есть. И больше всего тех усилий выпадало опять на Гучкова, истерзанного на предвыборных митингах (сравнительно с устойчивым думским положением, митинги-ухаживания за

избирателями были ему унижительны), а после того – сенсация на всю Россию! – забаллотированного и своею Москвою, уже больше – не любимца, не кумира Москвы, переменчивая публика пошла перебирать дальше.

Ни правые, ни левые не простили ему его выступлений, его средней линии. Самой трудной линии общественного развития.

Ещё вчера ты считал свою партию и себя – Россией. И вдруг вы оказались совсем не Россия. Пробоина жестока, а понимание происшедшего долго не приходит. Человек никогда не постигает сразу смысла происшедшего с ним. Но когда измененья эти к успеху, к победе, – мы всё же разбираемся в них быстрее. Трудней различить, что жизнь от вершинного плоскогорья сломалась книзу, и это непоправимо, и хотя б ещё тридцать лет суждено ей тянуться, а только уже книзу и книзу.

Это поражение настигло Гучкова всего в 50 лет. Обескураженный, он не понял и не принял приговора. Он верил ещё в свои силы – сам повернуть судьбу и свою, и партии. Испытанное средство: он уехал на балканскую войну, там пробыл год. Он год осмысливал происшедшее – и понял как знак: изменить линию борьбы.

В сентябре 1913 в Киеве на открытии памятника Столыпину Гучков возложил венок и молча до земли поклонился. Своему убитому ровеснику, единомышленнику и сопернику он понимал верность, как понимал, умерший снова бы удивился. В ноябре, непримиримый и неломимый, Гучков стянул конференцию своих расползающихся октябристов и представил им и стране – полный поворот своей деятельности:

Наша программа, осуждённая в Пятом году как слишком умеренная и отсталая, была естественным оптимизмом эпохи, лозунгом примирения. Это был торжественный договор между исторической властью и русским обществом, договор о взаимной лояльности. И русскому обществу не было бы оправдания, если бы в момент грозной опасности для государства оно отказало бы власти в поддержке.

Но борьба, в которой изнемог такой исполин, как Столыпин, оказалась уж совсем не по плечу его преемникам. Удержаться у власти можно только ценой самоупряднения. Манифест 17 октября формально не отменён, но – иссякло государственное творчество: ни широкого плана, ни общей воли, глубокий паралич. Общественные симпатии и доверие, бережно накопленные вокруг власти во времена Столыпина, вмиг отхлынули от неё. Власть не способна внушить даже и страха. Даже то злое, что оно творит, – часто без разума, рефлекторными движениями. Правительственный курс ведёт нас к неизбежной тяжёлой катастрофе. Но ошибутся те, кто рассчитывает, что на развалинах повергнутого строя воцарится порядок. В тех стихиях я не вижу устойчивых элементов. Не рискуем ли мы попасть в полосу длительной анархии, распада государства? *Не переживём ли мы опять Смутное Время*, но в более опасной внешней обстановке?

Примирить власть и общество не удалось. Неоправданной ошибкой было бы теперь продолжать разорванный властью договор.

История ли, действительно, поворачивается вокруг нас? Или мы сами бессознательно предпринимаем эти крутые повороты, руководимые отчаянием, что именно мы выброшены? Но когда это всё скажется и свяжется словами – выглядит как будто стройно. За что Гучков осуждал и ненавидел кадетов всего 6 лет назад, теперь оказывалось верно для октябристов, хотя строй государственный не изменился. Октябристы становились в затылок кадетам. Потерянный Гучков поворачивал на 180° и прекрасно доказывал, что это повернулись круглые стены карусели.

Когда-то, в дни народного безумия, мы, октябристы, подняли наш голос против эксцессов радикализма, – теперь, во дни безумия власти, мы должны сделать предостережение власти. Перед грядущей катастрофой мы должны сделать последнюю попытку образумить власть. Дойдёт ли наш крик предостережения до высот, где решаются судьбы России? Заразим ли мы власть нашей мучительной тревогой? Выведем ли её из состояния сомнамбулизма? Пусть не убаюкиваются внешними

признаками спокойствия. Никогда ещё революционные организации не были в таком разгроме и бессилии, и никогда ещё русское общество не было так глубоко революционизировано – действиями самой власти.

Так повернул Гучков, но поворачивать-то ему было некого, кроме думской фракции октябристов, в которую сам он уже не входил. И правое крыло октябристов и центр откололись. Только двадцатка левых октябристов поддержала Гучкова и назвалась прогрессистами.

Поворачивать было – некого. Россия – не поворачивалась. А сам Гучков проводил время более всего – в комиссии по переустройству водоснабжения Петербурга.

Может быть, действительно, он горячился и двигался суетней именно оттого, что был выкинут сам?

Ещё полный сил – и лишённый их приложения, такой же знаменитый на всю Россию – и вдруг никому не нужный, в отчаянии наблюдал Гучков малодушие политики не только внутренней, но и внешней. Не умели остаться с Германией в дружбе, как это нужно было им и нам, – но и стать супротив не умели как следует. Один мог быть смысл будущей войны – выбиваться к Константинополю, но именно Балканы, особенно Болгарию, отвратили от себя и потеряли в последние годы. У себя на петербургской квартире Гучков устраивал тайное свидание болгарского генерала и сербского посланника – мирить славянские страны. Инерция почти векового направления панславистской политики была так сильна над русскими умами, даже над реющим Достоевским, – Гучкову ли было выбиться из неё и понять, что благо России лежит только в её внутреннем развитии, а не во внешнем? У каждого времени есть свой потолок понимания, и Гучкову так же невозможно было отказаться от константинопольской мечты, как и Милюкову, и всему Прогрессивному блоку. Уже после сараевского выстрела Гучков горячился, беспокоился, что Россия не вступит в войну, и писал министру иностранных дел Сазонову:

Вот та – последняя ли? – ступень унижения, до которой мы фатально докатили благодаря малодушью Государя... Я когда-то верил в вас, желая видеть на вас отражение хоть некоторых отблесков великой русской души Столыпина. Теперь я надеюсь, что переполнится же чаша терпения русского народа, и стряхнёт он вас от себя, сколько вас ни есть.

(О, исполнится! И даже – через меру...)

Первый день войны Гучков увидел таким:

Что-то будет. Начинается расплата.

Война застала его на лечении, в Эссентуках. Он вырвался с первым же воинским поездом. На фронт! – но никакого не оставлено было ему места кроме Красного Креста, где он все годы продолжал состоять и помогал хорошо. Гучков успел под Сольдау, где сгущалась катастрофа Второй армии. И с тою же Второй армией – рок номера? повторный рок людей, оставшихся в ней же? а верней беспросветная бездарность генерала Ю. Данилова (“чёрного”) – к ноябрю 1914 был снова почти в полном кольце под Лодзью. Сохранялся ещё узкий коридор, судьба которого решалась. Но эвакуация раненых была отрезана прежде того, и Гучков принял решение остаться с ними, отстаивать их перед немцами и разделить их судьбу. Последним коридором, посылая с князем Волконским требования помощи, он писал:

Образовалась свалка раненых не менее 12 тысяч, и при самых скудных средствах помощи. Нужда ужасающая: и в персонале, и в перевязочных материалах, в топливе, в хлебе. Крепкий я человек, но и то трудно выдержать. Сегодня, 9 ноября, по-видимому критический день, и только чудо может спасти нашу армию. А с её судьбой связана судьба кампании, да и России. А всему виной та банда мерзавцев, которая засела наверху.

Всё же – разжали клещи, и Вторую армию в этот раз спасли. И в правительство, и в Думу Гучков писал ещё с фронта, вскоре и сам приехал в Петроград. С рассказом



обошёл влиятельных министров. Каменная стена. Добился приёма у дворцового коменданта Воейкова: раскройте глаза Государю! снимите Сухомлинова скорей, не будет военного снабжения! (Понимал ли он, скорей не понимал, что срыв военного снабжения – общая черта всех воюющих сторон, но уж больно хорош был момент – ударить по Сухомлинову!) Бесполезно. Группе думцев – кадетам, центру и правым, он рисовал положение, как уже безнадежное. Никто и верить не хотел: чудит Гучков, как всегда, скандальной славы ищет. Все ещё были в очаровании своего июльского национального единения, а значит русская победа была обеспечена.

Только в начале 1915 проняло Петроград, что на фронте плохо. Тут нанесла судьба удачный реванш: уже не Гучков – другие обвинили Мясоедова в шпионаже, и он был казнён мгновенно. Не пропали прежние усилия Гучкова и укрепился его престиж, и окончательно пал сухомлиновский. Надо было отдать Галицию и Польшу, чтобы правительство и корона достаточно перепугались, общество бы закипело, и Сухомлинов был бы наконец заменён Поливановым.

Во всей этой войне ощущая себя самым нужным России человеком, верней бы всего – военным министром, Гучков метался избыточно-лишним, никуда не пристроенным, русская судьба! Всё более так начиная понимать, что правительство не сдрогнет, не сдвинется к лучшему, с лета Гучков удачно возглавил “военно-промышленные комитеты” для технического снабжения армии (кажется верно рассчитав, что на этом поле может опередить правительство). Теперь и военным министром стал доверенный Поливанов, теперь Гучков мог рассчитывать знать все подробности из первых рук и влиять изнутри правительства. Но уже разогнанный в скорости – нет, не в затылок кадетам! – ныне, напротив, опережая их в резкости, Гучков на сентябрьских съездах 1915 предлагал распущенным думцам – внепарламентские способы борьбы! И – опять был жестоко отброшен, не выбран даже в депутацию от тех съездов. Прогрессивный же блок, разумно сохраняя себя, ожидал нового созыва Думы.

Теперь всё развитие проходя раньше кадетов (сидя на карусели лошадкою раньше?), беспокойный Гучков ранее кадетов метался разорвать легальные отношения с проклятой пораженческой властью, а в 1916, ранее же кадетов, ужаснулся того, к чему призывал сам:

Наши способы борьбы обоюдоостры и при повышенном настроении народных, особенно рабочих, масс могут послужить первой искрой пожара, размеры которого никто не может предвидеть, ни локализовать.

Когда власть окончательно недоступна убеждению, а открытая общественная борьба с нею грозит сжечь и взорвать всю Россию, – то что же? что же? что же одно остаётся, как не скрытый, малочисленный энергичный дворцовый переворот???

К осени 1916 года замыслы и воля Гучкова всё более уставлялись только в это одно: в дворцовый переворот.

## 42

Если упускать такой случай как сегодня, то и никогда никакого заговора не составишь. А если разговаривать, то тоже не намёками. Насторожило, правда, раздражение Свечина. Но в его порядочности сомнений не было, что не проболтает. Зато искупалось сопротивление Свечина открытой восприимчивостью Воротынцева. Был он тот благодарный втягивающий слушатель, в глаза которого глядя, хорошо рассказывать:

– Месяц назад состоялось тут некое неофициальное совещание разных... мыслителей. Кадетов больше. На частной квартире, как теперь вся общественная жизнь идёт. Был там и я. Больше – слушал. Проверял все возможные точки зрения. Вот, давайте ещё раз проверим и с вами, что они говорят.

Все они соглашались, что власть держится – ни на чём, только толкни. Что события

неминуемо разворачиваются к большому народному размаху, то есть – к революции. Но никто не выказывает охраняющего движения – протянуть руку и остановить этот размах. Размышляют только: а когда ударит – то что случится? Может ли дать отпор правительство – презренное, безвольное, в самом себе не уверенное? Нет. В этом согласны все. И тогда рассматривают два варианта. Первый: что беспомощное правительство, начав по-настоящему тонуть, кликнет о помощи к общественным кругам, к законодательным учреждениям.

– ...Ну, считайте, к Милюкову и Прогрессивному блоку. А этого только и надо! И общественные круги так и быть согласны помочь гибнущему правительству, так и быть не уклонятся от ответственности и примут бразды. При сохранении монархии, на это у них ума хватает. Но может быть с заменой Государя, ещё как они там решат. Вариант второй: власть упирается до последнего, не просветляется и в минуту гибели, что, кстати, больше на неё похоже.

Ждущий взгляд Воротынцева затемнился.

А Гучков дал себе отвлечься:

– Человеческая природа. Из-за этого и все катаклизмы истории. Ну кажется: поймите сами. Ну кажется: уйдите сами, сколько раз уже вам намекали, говорили, толкали, – нет!! Без нудящей силы, по своему разуму, и на уступки? Ни за что!

Подумал, исправился:

– В Европе иначе. А у нас: пока святым кулаком по окаянной шее не наладили – ни за что не уйдут. Один раз с Манифестом уступили – и локти себе искусили, и своровали подло назад.

Свечин покуривал себе. Не проявлял прежнего сопротивления, но и прежнего внимания.

– Итак, по второму варианту, власть бесславно падает, не позвав на помощь цензовые круги. Стихия на короткое время торжествует. Что же цензовые круги? Не присоединяясь к стихии, спокойно ждут своего момента. После радостной анархии и уличных торжеств, дескать, придёт неизбежный момент организации новой власти – и вот тут-то, мол, наступит черёд людей государственного опыта, которых неизбежно пригласят управлять страной, – ведь кто ж, кроме них, на то способен?...

Так что, в обоих вариантах, **нам** – только спокойно сидеть и ждать, когда пригласят, а? – Усмехнулся Гучков, проверяя на собеседниках. Воротынцев тоже усмехнулся, Свечин вполне безразличен. – Милюков уверен, лотерея беспроигрышная: уступит ли власть сама или её сшибет революция, – хоть министры, хоть анархисты, хоть союзники, все неизбежно придут и поклонятся кадетам.

Вертикальное отзывчивое лицо Воротынцева искосилось.

– Что? – спросил Гучков.

– Александр Иваныч, откуда такая уверенность в революции? Откуда она нам? Ни с какой стороны.

– О-о-о, вы заблуждаетесь. Я считал революцию неизбежной уже весной Четырнадцатого. Но война отменила.

– Не думаю. В солдатских головах – такой мысли совсем нет.

(Хотя вот на днях же на Выборгской...)

А свечинское грубое носатое лицо побесчувственело, никакого выражения.

– Они мечтают, – развивал Гучков, – это будет, как в приличной Франции, в 48-м году. Но и во Франции революции не бывали друг на друга похожи. Только тем похожи, что лучше б не было вовсе никаких.

Крутил треугольник салфетки.

– А я им сказал: господа! Тот, кто *делает* революцию, тот её и возглавит, тот и сядет во власть. Глубоко вы ошибаетесь, что какие-то одни силы выполняют чёрную работу революции, а других позовут управлять новой Россией. Если мы допустим, чтобы нашего монарха свергали ре-во-лю-цио-неры, – пишите пропало! готовьте шеи для гильотины! Надо

– не моргать, не ушами хлопать в ожидании милой революции, а нашим разумом, нашей волей – революцию *остановить* ! Или – обойти.

И выставил косо перед собой недлинную руку с крепко зажатой салфеткой как поводом невидимого коня. Недлинную руку, однако умеющую держать оружие. Однако немало и пострелявшую.

Быстрые глаза Воротынцева всё вбирали, без перебива. Свечин обдымливался, как черно-лысый истукан в фимиаме.

Салфетку – к груди прижал Гучков, сердечным признанием:

– Если уж так безнадежно допустили мы Россию – так наше дело, высших классов и общества, и найти для неё несотрясательный выход. Если сдвинется *масса* – рухнет и государство, рухнет и вся Россия. Революция – это провал фронта. Надо во что бы то ни стало удержать глыбу, чтоб она не двинулась.

*Это* -то было несомненно? Не между кадетами если. Кто и что мог тут возразить?

Глыбу удержать? Воротынцев брался плечо подставить. Ну, не один, человек двадцать таких. Попробуем?

– Ведь если только эту даже *мысль* – о возможности сотрясения, свержения, да обратить в толпу? – ведь её потом...

Покосился на Свечина. Искры по крышам? Ну что ж, виноват. Иногда вместе с кадетами увлекался, по задору выразившись на общественную поверхность, чего и не хотел. Ещё год назад тянул их на открытый бой. Свойство сердца – оно само выколачивается из груди. Но зато теперь понимает твёрдо.

Если дать толпе *подняться* ... (Ворвутся и сюда, в отдельный кабинет Кюба, в наш быт налаженный.) Потом – её на место не загонишь. *Охлос* не должен участвовать в политике, он должен получать только готовое. В этом разумный урок всей истории.

Ждал возражений? Не было их.

Чья же задача – не дать пожару охватить Россию? Кто же должен переспеть, предупредить стихийные силы, если не мы – руководящие круги её, деятельные и сильные люди? Это – долг наш. И даже – политический расчёт.

До сих пор – разговор как разговор, которыми насыщена Россия, между знакомыми или случайными встречными, в гостиных даже великокняжеских, между гвардейцами, или думцами, или земскими гласными или пассажирами 1-го класса, или пациентами кисловодского курорта. Но ещё несколько ломких переступов, нематериальных слов, даже тона, не уловимого для записи, – и вместо тугих воротничков рубашки или кителя – вдруг щекотание мыльной петли на шее. Стены уютного кабинета расплываются в казематные петропавловские.

А слова – кажется, всё те же, ну несколько невесомых переступов:

– И если ничьи уговоры уже не действуют на высшую власть. И если личные свойства характеров... тех людей... на ком больше всего скопилось вины перед Россией... м-м-м... не дают надежды включить их в здоровую политическую комбинацию...?

Косился на Свечина. Загадочно-супротивное так-таки таилось в нём. А как бы Свечин пригодился в Ставке! Да что уж играть намёками? Негромко, бесповоротно:

– Государя, неразлучного со своей ведьмой, надо заставить покинуть престол. Дворцовый переворот – единственное спасение России.

Сказано. В карих глазах – бесстрашие.

И – на Свечина.

И Воротынцев, навстречу выдвинутый.

И – тоже неясен. И вслед за Гучковым – на Свечина тоже: как?...

Молчание тех великих минут, когда уже крутятся неслышно зачинательные оси истории, ещё не передав своего вращения на большие главные валы.

Но толстокожий Свечин как не чувствовал ни этой высоты, ни значенья минут. Рот большой искривил на поллица в улыбке не улыбке, а как тот хохол на базаре у воза с горшками, кому цену предложили лядащую:

– Да з глузду вы зйихали, панове... Во время войны – государственный переворот? Да всё ж поползёт, развалится.

А Воротынцев – не принял этого тона. Воротынцев раздумчиво:

– В тебе всегда служба и служба. Так и заслужишься в тупик, смотри... А тут... тут... Что?

Нет, никак не понимая, зачем над ним шутят, сколько ж ему за горшок дают, Свечин на Воротынцева голову поставил бодливо, мясистые губы вывернул:

– Александр Иваныч хочет спасти от революции, а сам накликает хуже. Если государственное управление сгнило, как Александр Иваныч с друзьями уже десять лет закликает...

– Пять, – исправил чётко Гучков.

– ...так мы бы третий год не воевали в такой войне, уже бы развалились.

Пять лет! Отдуманно отсек Гучков, понимай: от убийства Столыпина? Да, от того дня и стало ясно, что этого монарха исправить невозможно и помогать ему – тоже впустую. И сегодня, когда Курлов, злодей, – потайной министр внутренних дел, позади Протопопова, и скользкий Спиридович, и все причастные, покрывшие, – выются наверху... Всё вернулось.

Вибрирующая минута. Покачиваются весы – и как же понять их правильно? Мягкое изменение власти для спасения России от сотрясения – а если другое сотрясение? Спасать Россию – ценой того, чтобы свергать царя?!? Прямо-таки – свергать?...

Всё качалось, и только несомненное Воротынцев сказал Свечину:

– Ты в Ставке – цифры считаешь, ты людей обречённых не видишь, не чувствуешь.

– При чём тут? – челюсти стянул Свечин.

– При том! – задрожало в Воротынцеве заряженное, затолоченное двадцатью шестью месяцами, и он сам себя этим подкреплял. – Что правительство, которое может слать подданных на погибель ни во имя чего, просто рукавом небрежным невежды как посуду чайную целые дивизии смахивать – и в черепки!... Что подданные действительно становятся... свободны от обязательств.

Но остужаясь. Несчастное свойство речи перед мыслью: всегда скажешь грубей, не точно.

И Сумасшедший Мулла – продрогнул, продрогнул, тоже от чего-то удержался. Крупные губы жгутами вия:

– Так ты... где же ты монархист?

Воротынцев протёр напряжённый лоб.

– Не путайте монархизм и легитимизм, – поспешил на помощь Гучков. – Против монархии ни один разумный человек и не возражает.

(Хотя чёрт его знает, этого Гучкова, он, может, и республиканец?)

– Надо исходить из положения России, а не отвлечённого принципа монархии. Когда монархию саму можно спасти, только отстранив монарха, – так вот я именно в этом и монархист. Нельзя быть монархистом более верным, чем участвуя в таком перевороте. Строй монархический не только останется, но укрепитя. Это будет именно монархический переворот.

Более не отзывался Свечин. Ровно, жёстко смотрел. Между двумя.

– А вот кстати, – вспомнил ему Гучков. – Как раз к вашим убеждениям, если они настойчивы. Вот ещё почему надо поторопиться с дворцовым переворотом вместо революции: чтобы всё совершить исключительно русскими руками. Обойтись не только без плебса, но и без еврейства. Тогда и развитие страны будет русское.

Аргумент?

Свечин – не углубился выражением. Сидел, обдымливался опять. В конце концов и отдыхал же – после обеда, выпивки, перед дорогой.

Может быть, и весь разговор не следовало при нём начинать?... Но то было заманчиво, что он в Ставке.

Зато Воротынцев глядел неприкровенно, отважно, ожидая: что же дальше? Не ошибся

глаз Гучкова, не подвела память, какой это был всегда офицер. Присягу обнимал – не как гарнизонный ротный. Таких пять полковников да пятнадцать капитанов и нужно было.

Тут разные планы обдумывались. Кроме редких наездов на фронты, которые трудно подловить и использовать, царь бывает теперь только в Царском Селе и в Ставке. В Царском – крупное сопротивление и, значит, кровопролитие. В Ставке – невозможно без участия или хотя бы попустительства высшего командования.

Но теперь все эти слои разговора уже не следовало приподнимать?

Хотя... Всё мирней выглядел отдыхающий сытый Свечин. Пил нарзан. Поворачивал невозмутимый хохол с базара со всеми своими горшками.

А для Воротынцева – надо было говорить дальше.

– Итак, надо не будоражить большого количества солдат. Как можно меньше их. В этом отношении дело должно вестись уже, чем у декабристов.

А ступая вослед тем, как же совсем не ощутить лёгкого этого верёвочного щекотанья на шее? На шее, какую уже наметила, излюбила, назвала императрица.

На языке заговорщиков – лёгкий дворцовый переворот, на языке власти – тяжёлая государственная измена.

Сходное заметив или только ожидая заметить на собеседнике, Гучков улыбнулся с опытным старым знанием:

– Риск есть в каждой борьбе. Но его обычно преувеличивают.

Сам же он без риска – слабел и рыхлел.

– Открытое обращение к солдатам, разъяснение им всех целей – это уже может тянуть за собой массовую революцию. Но – немногих, но какую-то одну-две воинские части в последний момент повести за собой, может быть, вывести на площадь для демонстрации, – вот в этом надо быть уверенным.

И как раз в этом отношении тип Воротынцева подходил Гучкову: это из тех был офицеров, кто в нужную минуту коротко и сильно увлечёт солдат, сказавши, а то и без речи.

Ему-то Гучков и должен был бы сейчас открыть почти весь замысел: какую именно воинскую часть ему пришлось бы вести, для этого в какое место надо б уже сейчас переводиться по службе. Это – третья возможность, не Ставка и не Царское, а в промежутке. Государь, тяготясь скучною Ставкой и постоянно стремясь в покойный семейный круг, часто снует между Ставкой и Царским, всегда одной и тою же дорогой, да ещё примедляя поезд ночами, чтобы стук не мешал ему спать. Вот и было лучшее решение: взять императора почти беззащитного – в дороге, ночью, взять при помощи расположенных рядом железнодорожных или запасных малых частей. Части эти уже изучал Гучков, уже подбирал там надёжных офицеров. (Но пока малоудачно).

Однако при Свечине теперь – как же?...

Свечин сидел как отсутствовал. Отсутствовал настолько, чтоб его не понять. И присутствовал настолько, чтобы мешать.

И тогда – об общем:

– Что мы совершенно отклоняем – это вариант “11 марта”. – И на поднятые брови: – Ну, когда Павла удушили. Убийство монарха – ни в коем случае. Новая власть не должна стать на крови.

Ну ещё бы! А верней, Воротынцев ещё и подумать не успел отяжелительно. Переворот? ещё нужно взвесить, а убийство – и думаться не может.

– Да если наследует сын или брат – он и не переступит через кровь. Так что добиться надо – внезапно, быстро, малой группой – только отречения. В пользу брата или сына. Манифест готовится заранее, лишь подписать. Английский король ради военных успехов охотно примет двоюродного брата в гости...

Вот – и споткнулся, и похолодел Воротынцев: ради военных успехов?... Он сказал – “ради военных успехов”? Класть и дальше мужиков? И это – чисто-русский переворот? Так это – англо-французский переворот?

Ну конечно, и раньше понимал Воротынцев, что Гучков – за войну, за войну, – но и

России же предан как! И для спасенья её – неужели не переубедится?...

Но вымолвить ему тут, сейчас – о замирении, о перемирии, о выходе из войны. – было никак невозможно! Не по мундиру...

А карие глаза Гучкова так оживились за блесками пенсне, не заметил:

– Как можно меньше жертв в охране, в перестрелке. Да произойди завтра такой переворот – и тут же его с восторгом будет приветствовать вся Россия. Вся армия! Всё офицерство!

Укоризненно на Свечина: ведь ты же завтра, башибузук, так же будешь восторгаться. А участвовать – увольте?

Свечин мрачно:

– Насчёт восторга – смотрите, не просвистите. А если – не отречётся?

– Не представляю. По его характеру – очень легко. Сразу сдаст.

– А если всё-таки не уступит?

Гучков вздохнул. Покачал шнурком пенсне. Да, здесь было некое слабое место, указывали ему уже.

– Нет. Крови ни в коем случае не проливать.

Повёл Свечин могучими бровями:

– Тогда останется вам самоповеситься.

– Сразу уступит! – твёрдо смотрел через пенсне, твёрдо выговаривал Гучков. – Да что вы, господа! Да надо же психологически его представлять. Он министра увольняет и то боится ему объявить в лицо: поблагодарит, обласкает, завтра увидимся, а вослед записку: увольняю. Да смотрите по всему его царствованию!... Да – как он бабы боится! Если от неё в отлучке – подпишет, что б ему ни дали.

Смотрел на Воротынцева, ища одобрения. Что ему в полковнике нравилось – явная свобода отношения к этому царствующему, без дрожи почтения. Так и видел он этого полковника, быстро идущего вагонным коридором расставлять посты в тамбурах.

Но взгляд Воротынцева почему-то уклонился.

Хорошо бы Свечин догадался уйти. Нет, сидел. Покуривал, попивал. (Принесли кофе с ликёрами).

Мало что оставалось, допустимое вслух. Что к наследнику зато не будет общественного презрения, как сейчас. Регентом – Михаил? Или регентский совет? А – кто в нём? Щепетильно оттенял Гучков, что себе не ищет власти:

– Боюсь, что такого единственного, провиденциального человека в России нет сейчас. Регентский совет, коллектив. Вернуть хороших министров – Кривошеина, Самарина, Щербатова...

Не сто ходов рассчитывать вперёд. Прежде – само дело.

Действие! – было всегда ножом, отделяющим близких Гучкову от неблизких, от болтунов. Дело же – было ещё неясно и в собственной его голове. Он и на Кавказский фронт ехал сейчас не без мысли потолковать там с Николаем Николаевичем: нащупать, **как** он, если... Раньше для связи с военными Гучков использовал свою работу в Красном Кресте. Теперь, не имея доступа на главные фронты, он мог ловить офицеров только в отпусках, в командировках. Уже не в одной компании он говорил вот так, как сегодня, и все – скорее сочувствуют, а участвовать – молодые офицеры ещё идут, более высокие уклоняются – из лояльности? из страха? Пока никого старше ротмистра у него не было. Кто у него, считалось, твёрдо в заговоре состоял – кадет-политикан Некрасов да избалованный миллионер Терещенко, ни на какое военное дело сами не способные. Неужели же нет в России людей?

Но сегодня, кажется, он не зря время потерял – нашёл?

А пока – вслух что-то же надо говорить. Да, кстати:

– Очень жалею, прошлой зимой приезжал генерал Крымов в Петербург, но как раз в разгар моей болезни. Виделся он тут... не со мной. Пока он воевал на Северном фронте – я на юге лечился. Вернулся я на север – его отправили на юг. Вы там его не встречали, Георгий Михалыч?

- Видел. Мельком, правда.
- Он там близко от вас?
- Вы эту историю с ним не знаете?

Не знал Гучков. Воротынцев стал рассказывать, с облегчением:

– Был Крымов начальником штаба 3-го кавалерийского корпуса, создавал его. Потом стал командовать в нём Уссурийской конной дивизией. Тут корпусной был ранен, и назначили Рерберга. С Рербергом сразу у них не пошло, да ведь с Крымовым и не всякий, вы знаете... Крымов чиновничества не признаёт, он и командующего армией может послать... В июле Рерберг загнал его уссурийцев на Карпаты, там дожди, дорог никаких, подвоза нет, и операции никакой нет, и отходить не разрешают. И тогда Крымов самовольно отвёл дивизию на 25 вёрст назад и рапортом доложил: ввиду неспособности выполнять задание, прошу от начальствования дивизией меня отрешить. И заварилось!... Всё-таки не сняли...

– Кремень! – посмеивался, восхищался Гучков.

Крымов?... Сейчас, когда Воротынцев весело и сочувственно рассказал историю этого насуспенного своенравца и вспомнились ему сутки под Уздау... Крымов? Полон неожиданностей. И может быть... Как угадать? Мы и сами своих не видим?

Впрочем, последний раз, осенью, Крымов показался Воротынцеву не тот, что в дерзкой карпатской истории, не тот, что с Артамоновым тогда, и не тот, чьей волей и умом отстоялся 4-й Сибирский корпус на ляоянских позициях, когда другие не выстаивали. Впечатление: не убит, но – истратился Крымов. Был кремень, а посочилась влага из него. У всего живого есть рубеж. Есть барьер неудач, выше которого уже ног не тягают. Этой осенью и сам Воротынцев уже подходил к такому пределу. Отсроченному, излеченному вот этой поездкой.

Подвижная кисть Воротынцева улеглась на скатерти – и на её обветренную негладкость Гучков с симпатией наложил мягкую ладонь:

– Вот что, Георгий Михалыч. Действительно, надо подумать, *не перевестись ли вам* ?

**Поближе, сюда** ... Надо обсудить.

Не хотел понять Свечин – не уходил. Ну что ж...

– Я на Фурштадтской живу, на углу Воскресенского. Вы не пожалуете ко мне? Тут ещё будут... кое-кто... Послезавтра. Я хотел бы вас познакомить.

Да ведь он этого – и искал от Гучкова? Он для этого и ехал?

Но светлый ожидающий взгляд Воротынцева словно перебило, стал не тот. Упорность его ослабла. Как будто очнулся, или удивился. И из своей яркой напряжённости как-то сосовываясь:

– Два дня?... К сожалению, Александр Иванович, никак не могу. Я и так просрочил...

А рука лежала под рукой Гучкова.

– Ну, это пустяки, – соображал тот. – Состряпаем вам отсрочку. Кто у вас командир корпуса? Всего два дня, а потом поедете. В такую даль не хочется вас сразу отпускать.

Нет, не стало прежнего Воротынцева, уже воображённого Гучковым, как он вносит лёгкую ногу на подножку царского вагона. А на лице, закалелом от ветров и морозов, на бритых щеках, открытых висках и лбу проступал беззащитно багрянец – бурый, до цвета коричневого кителя.

Рукою под рукой задёргавшись неловко, отняв, с поиском, будто лгать собирался или обходил ложь:

– Я... непременно должен сегодня ночью уехать в Москву... И как раз завтра-послезавтра пробыть там... У меня уже и билет...

Он это выбормотал трудно, в густой краске, стыдясь, извиняясь.

– Ну что такое, батенька, билет? Сдадите. Телеграфируйте, что на два дня позже, – добродушно не понимал Гучков, как это серьёзно.

**Как** серьёзно.

– А если дня через четыре я снова приеду? – темнился лбом, искал Воротынцев.

– Через три-четыре дня тех людей не будет. И я уеду.

Отрезано. И врать не выдумаешь. И правду сказать – провалиться сквозь землю: день

рождения разгневанной жены! – шлагбаум! канат под горло! – никак не отодвинуть.

И не соврать уже.

– Вы знаете...

Стыдней, чем пройти бы голому перед ними двумя!... Исказились губы, глаза опустил, потух.

– ...День рождения жены... А у нас...

Что – у нас?! Разве этот весь обряд передать? Китайский колокольчик? И всю обиду? Да ещё бы всё можно, если б эту неделю подробные нежные письма писал, а теперь бы, мол, заболел...

– ...Твёрдо обещал... А теперь в обрез...

Пока женщина была одна – не мешала она, можно было и устроиться. Это оттого, что стало их две – и сразу заклинились, и – вот, не осталось места.

Но что он связан по ногам – он не знал до этой самой минуты.

Какой позор! Непереживаемый, небывалый. Хоть бы краску отобрать со щёк, ведь не уходила, выдавала. Поднял глаза...

Свечин – с насмешкой, но весёлой, явно дружественной:

– Э-э-э! – вскричал, вытаскивая часы, – да ведь я на поезд опаздываю. Господа, простите! Александр Иваныч, покорнейше благодарю! – Трубку совал в карман, шашка в гардеробе, так радостно собирался, будто этих минут только и ждал, что ж раньше на часы не посмотрел? – Егор? Тебе не время? Не идёшь?

Обнял его, поцеловал. Гучкову крепко-крепко потряс. Выскочил.

Меньше позора, но горечи больше: вдвоём, наконец, с Гучковым – задуманным, исканным, найденным и упускаемым вот. Небывалое чувство, за сорок лет не помнил: взялся прыгнуть – не прыгнул, шёл вперёд – завернул.

И завернул больше, чем мог назвать. Или чем сам успел понять.

Но почему в таком замысле два ближайших несчастных дня могут иметь всё значение?

Ясноокий полковник воззрился на печального больного вождя:

– Александр Иваныч! Но я – через любое короткое время! В любое место!

Он бросал своё место в строю русской обороны? Он только завтра должен был поспеть ко дню рожденья жены...

Гучков рассматривал отдала своё снятое пенсне, держал его пальцами обеих рук.

Нашёл человека... Проговорили два часа. Боевой полковник, полный энергии и *умеющий* всё это, и не солдафон, а в порыве к общерусским проблемам, и кажется единомышленник, и уже рука на эфесе, вскочить – и мчаться...

И – именины жены?...

За все те месяцы, что Гучков толковал о заговоре, с кем ясней, с кем мутней (и сам-то ещё представляя мутно, и сам-то ещё до конца не уверенный, что уже действительно решился, что вот – начинает, вот – сделает), – из первых офицеров, в ком увидел решимость, отлитую больше, может быть, чем в самом себе, едва ли не первый раз ощутил замысел уже при корнях волос, – и из-за бабьего каприза?...

Отчего, отчего нет в России людей?

– Александр Иваныч! Но я – на Юго-Западном, хотите, Крымова сейчас найду?

Ну, разве что Крымова. Поручение, которого другому не дашь.

– В каком объёме я должен ему сказать? Где и как вам увидеться?

Теперь-то, без Свечина, можно было открыто. Теперь-то можно было и добавить, и назвать... Но – хрустнуло в Гучкове тоже. Не просто – устал, не просто подходило время для отложенных гостей, другого серьёзного разговора. А на шестом десятке трудно сразу схватываться, сразу отходить.

Всё же – ещё поговорили. Насколько возможно в принципе? Среди кого искать? О чём-то условились. Куда, каким языком написать. Разошлись, кажется, и не на пустом.

Как и с другими, впрочем...

После ухода Воротынцева ещё оставалось время до гостей. Гучков снял сюртук, лёг на



диван. Закрыл лицо.

Опять споткнулся – и утёк короткий прилив бодрости. Так просто казалось – застичь на маленькой станции царский поезд, положить перед слабым венценосцем готовый манифест – и судьба России, и судьба всего мира потекут иначе... Но где взять этих пятерых полковников, способных оторваться ото всего тёплого и живого?

И – не презрение испытал Гучков к Воротынцеву, с чем тот ушёл. На презренье мы лихи в юности, сами ещё ничего не переживши. А растёт жизненный опыт, и презренье – уже не чувство мудрого. Долго был и Гучков твёрд поступью, свободен в выборе, неуязвим, неотклоним, и проходная женская череда, напивывая воинственную душу, не ослабляла, не отравляла его.

А – оступился. А при всём ясном разуме – дурно женился, ведомый чужою подсказанной мыслью. Имел глаза, имел опыт, понимал женщин – а женился опрометчиво и бездарно. Теперь по себе самому он знал, как может женщина измотать, издёргать, задушить самого сильного мужчину. Не приговорительные свои годы, но высшие и боевые, с сорока до пятидесяти пяти, Гучков прожил с женщиной чужой души, не способной ни оценить этих лет, ни помочь в них, а только вытрачивал и вытрачивал на неё дорогие силы. От постоянного семейного разорения – тем отчаянней он занимался и общественной борьбой, даже с лишнею резкостью, лишь бы вырваться куда-нибудь.

Как бывает сокрыто от истории, неправдоподобно для историков, крупные общественные шаги иногда зависят от мелких личных обстоятельств: вдобавок к обиде на царя не будь очередного разрыва с Машей (каждый раз кажется – окончательного, и никогда не окончательного), Гучков ещё может быть не вскипел бы, не хлопнул бы думской дверью, не рванулся в Манчжурию, на чужую эпидемию. А так не оказался близ Столыпина в его последние загнанные месяцы, не протянул руки, когда, Бог ведает, и помогла бы она. Но тогда жгло, беременило, душило – урваться куда-нибудь подальше.

А в другие поры – веригами отягощала злополучная женитьба, не давая сил вовсе двигаться. Но самое страшное – когда умирал в январе, а жена, оттолкнувши всех сиделок, наконец-то несомненная перед лицом всей общественной России, в смерче почти радостной суеты владела отходящим.

Так что Гучков не осудил сегодня Воротынцева слишком строго. Чтобы мелкие семейные обстоятельства презреть – ещё надо знать глубину той скользкой ямы, по краям которой не всегда и выбраться.

Смерть – вот и пришла месяц назад, только не к отцу и не к матери, но к их мальчику старшему Лёве, чёрной крышкою и накрыв эти годы болезненного их напряжения. (И если бы знал, что из трёх детей суждено ему, – как бы берёг! как бы ласкал раньше!)

Смерть сына – это и есть смерть отца, только заживо. Смерть сына – это оттуда положенная тебе на плечо рука напоминания.

Ощущение потери баланса: как будто прежде слишком брал вперёд, закачивался – и вот теперь назад откидывает.

Опасная шаткость. Она у Столыпина появилась в последний год перед гибелью.

Больно ударило сегодня в упрёках Свечина, что сам Гучков и раскачивает постройку, сам и поджигает. А где ж найти баланс? Отдаёшься публичности – раскачивает. Согласен молчать – всё глохнет.

Ощущенье, что твой зенит – позади. Ощущение смены эпох, как когда-то и он отодвинул Шилова. У России – дальний: размах, у нашей отдельной жизни – короткий. Отдежурил своё – и под лавку. Шипову было тогда пятьдесят пять. И Гучкову сейчас – пятьдесят пятый.

Вот и он, главный заговорщик, почему не мог подождать Воротынцева три-четыре дня? Потому что до Кавказского фронта ему ещё надо было в Кисловодске – лечиться. Он и себя-то на этот заговор волок через болезни и слабость.

Уже четыре года он так барахтался – свыше сил. От той пробоины 912-го года, от выворота этой морды – общественной неблагодарности, от измен – он и не оправлялся

никогда.

Сколько ещё ожидало таких проб, как сегодня, оставляющих мёртвую усталость? И как же справиться – в месяцы? Ведь не готовится он, а только принципы выясняет, только всё принципы.

Толк о заговоре был – год, а заговора – не было.

\*\*\*\*\*

## ЭХ, И ЧЁРТ ТЕБЯ ПОНЁС, НЕ ПОДМАЗАВШИ КОЛЁС!

\*\*\*\*\*

### 43

Ульяновы жили точно посередине между кантональной и городской библиотеками, а до Центральштелле социальной литературы было лишь чуть подальше, и куда ни иди – среднего ходу пять-семь минут. Все библиотеки открывались в девять, но сегодня толкнуло уйти из дому минут за сорок: глупо, унижительно убежать от этого лохматого оборванца, племянника Землячки, себя же побережь – не вскипятиться от его нахальных разговоров и тем не испортить себе целого дня.

Объективно говоря, такие фигуры в революционной эмиграции неизбежны – эти неопрятные юноши с блуждающими глазами, недоразвитые, а с апломбом по каждому вопросу, чтобы только иметь мнение. Они вечно голодны, без гроша, брали бы вот зарабатывать перепиской, в Цюрихе совершенно некого посадить за переписку, сколько тревоги с копией пропавшего “Империализма”, – так нет, у них ни грамоты, ни почерка, а стремятся сразу и только в редакторы! Их постоянная мысль – как бы бесплатно где-нибудь поесть. А и это при бюджете Ульяновых тоже недопустимая нагрузка, улупит два яйца да ещё четыре бутерброда. От обедов его твёрдо отстранили, так стал являться по ранним утрам, всегда под ничтожным предлогом, вернуть или взять книгу, газету, а с расчётом к завтраку. (Сейчас, уходя, сказал Наде: ни в коем случае не кормить, скорей отвыкнет!) Да хоть если бы скромно поел и уходил, нет, считает нужным *отблагодарить* – фонтаном надёрганных идей, выяснять *принципиальные* вопросы, и всё с нападением и многозначством.

От таких визитов, от этой улыбочки знания и превосходства у сопляка Владимир Ильич с утра делался больным. Вообще всякая неожиданная бытовая неурядица, а особенно несвоевременный незванный гость, бесцельная потеря времени – больше всего изводили и выбивали из рабочего состояния. Обидней всего бесцельно тратить нервы и силу доводов не на конференции, не в брошюре, не в споре с важным партийным противником, а просто так, на губошлёпа, который и не думает серьёзно того, что говорит. Эмигранты считают свои пятаки, а битый день проваландаться – для них не потеря. А Ленин – заболел от одного потерянного часа! И даже встреча, разговор, дело, которые потом осознаются как важные и нужные, – в момент их внезапности, если не были заранее предвидены, вызывают раздражение.

Но есть этика эмиграции, и ты беззащитен против таких посетителей, ты не можешь просто указать им на дверь или не пустить: среди эмигрантов сразу закрутится сплетня и сильно повредит твоей репутации, ты моментально будешь обвинён в заносчивости, в барстве, в патрицианстве, вождизме, диктатуре... Эмиграция – это злое гнездо, которое всё время шевелится и шипит. И вот приходится этих нахалов, каждого, кто только изволил выехать из России (а из Сибири ничего не стоит бежать, и все бегут за границу, а тут их содержи за счёт партии), не только принимать, но ещё и придумывать им дело. И, смотришь,

такая скотина через год действительно становится сотрудником журнала, хотя б тот и вышел всего один раз.

Так же вот и Женечка Бош, природная интриганка, – отчего в Россию не едет, ведь собиралась? А здесь ей дела никакого нет, но она выдумывать будет, и чтоб ей выдумывали. Страшное эмигрантское бедствие – выдумывать дело для эмигрантов.

Конечно, начнись революция, – в её широком разливе каждому из этих мальчишек и девчёнок найдётся дело, и даже каждый станет незаменим, и будет их не хватать. Но пока революции нет, тесно, скучно, – мальчишки эти невыносимы.

Изматывающее состояние. Уже сколько? Девять лет, как бежали из России от поражения? Шестнадцать от несчастной первой стычки с Плехановым? Двадцать один от неумелого петербургского завала? Это изводящее состояние, когда вытягивает все жилы к действию, когда сдвигал бы горы или континенты, столько накопилось, напряглось, а применения силам нет, нет приложения от кончиков пальцев и к людям, не подчиняются партии, толпы и континенты, но разнохарактерно и бестолково толкуются и кружатся, не зная куда, – а ты один знаешь! – но зря вся твоя энергия, и замыслы зря, перегорает вся сила на убеждение полудесятка молодых швейцарцев в Кегель-клубе. Да хорошо – хоть их, а когда раньше на собрания являлись два швейцарца, два немца, один поляк, один еврей, один русский и сидели анекдоты рассказывали – швах, пигмейство, бросать эту игру!

Уже опустясь на набережную Лиммат, можно было считать, что племянничек по дороге не встретился, теперь – не застал. И постепенно уходило защитное предупредительное раздражение.

Серые, но разорванные, с беловатыми боками тучи давали дню холодный строгий свет.

Большими цельными стёклами выставлялись на набережную сплошь витрины с наглым показом на сукнах и бархатах всех изделий безделья – ювелирные, парфюмерные, галантерейные, бельевые, – не знала республика лакеев, как вызывней выставить свою роскошь, не тронутую войной.

С отвращением отходя от этих золотых, атласных и кружевных выворачиваний – он ненавидел и вещи эти, но ещё больше – людей, кто эти вещи любит, – Ленин выждал, пока трамвай пройдёт, перед самым трамваем собака перебежала, уцелела, – перешёл набережную и пошёл вдоль реки.

У Фраумюнстерского моста переждал автомобиль, дрожки, велосипедиста с длинной корзиной за плечами – и прямо же перед ним была городская библиотека, и сейчас бы туда и зайти, да закрыто.

Дальше – обходить, между библиотекой и водой прохода нет: здание её, бывшей церкви Вассеркирхе, за то и названо было так, что выдвинуто в воду. Ещё 400 лет назад решительный Цвингли отобрал её у попов и передал в гражданское пользование.

Вот и сам он стоял впереди реквизированной церкви, на чёрном мраморе в несколько постаментов, со вздёрнутым носом, с книгой и мечом, упёртым между ног. Всегда на него Ленин покашивался с одобрением. Правда, книга та – библия, а всё-таки для XVI века превосходная решимость, сегодняшним социалистам бы подзанять. Отличное сочетание: книга – и меч. Книга, продолженная мечом.

Клаузевиц: война – это политика, где перо сменено, наконец, на меч. Всякая политика ведёт к войне, и только в этом её ценность.

В холодный воздух утра от реки ещё доливалась влажность. Говорят, никогда не замерзает. Как-то соединилось: Россия – зима, эмиграция – всегдашняя беззимность. Переклонился через решётку. Здесь, в расширенном устье, у обоих берегов, наставлено было лодок – мачтовых, безмачтовых, с кабинами или под брезентом, в несколько рядов. Мачты – покачивались.

Кескула жалуется: кто-то из близких к ЦК просто украл деньги, выданные печатать брошюру. Пришлось второй раз давать. Безобразия!

Вода – тёмная, но вполне прозрачная. И видны серые камни дна.

Три стороны войны по Клаузевицу: действия рассудка достаются правительству,

свободная духовная деятельность – полководцам, ненависть – народу.

На аккуратных квадратных камешках набережного тротуара – густо кленовые листья (нарочно не сметают). А на каком-то дереве задержались колючие шишечки-плоды.

Всё дорожает безумно, скоро жить будет не на что. И бумага первая как дорожает! А Шляпников совершенно не умеет потребовать, вырвать денег – от Горького, от Бонча. Надо клещами вытаскивать. Пусть платят, и побольше.

Всю жизнь выручала мама, из семейного фонда, – в заграничных поездках, в Петербурге, сколько б ни перетратился, о заработке думать не надо было, в тюрьме мог жить на правильном питании, обойти этапы, не знать пересыльных тюрем, из эмиграции в любую минуту попросить – как чудом всегда умела прислать. Но с этого лета – мамы нет, уже никогда не попросишь.

Стая чёрных уток с белыми головками качалась, качалась – вдруг разом взлетела, расплескивая, – перелетела над самой водой – опустилась. И – опять собралась. И поплыли смиренно назад.

Но хотя как будто Клаузевиц и разъяснил самые общие законы всех войн, а вот нельзя понять закона войны, которая идёт. И закона войны, которую надо начать.

Как бы хоть шведам займа не отдавать? Это – Шляпников должен бы Брантингу намекнуть: представитель России, ему удобней.

Профессиональный революционер должен быть освобождён от обязанности думать, на что жить. Партийная касса должна намного вперёд гарантировать партийную “диету” для главных членов ЦК.

С большого моста сыпали бургерши уткам хлебное крошево. Утки быстро стягивались, и ещё другие: зеленоголовые, с жёлтыми носами. И сизые.

Чтобы печатали в “Летописи” – надо раскалывать блок махистов с окистами. Там, вокруг Горького, интриганы работают против нас.

А две-три утки перепархивают над самой водой, друг за дружкой гоняются, крыльями и лапами воду бурлят.

Ждать от Горького денег – и ещё униженно просить этого телёнка архибесхарактерного, чтоб извинил за выпады против Каутского, угождать ему и выбрасывать – да самые важные и самые сладкие удары во всей книге!

Что хорошо бы – на лодке погрести, погонять. Ни разу не собрались, а ведь говорили. Теперь уж – до весны. В горах – карабканьем и ходьбой, в Цюрихе – прошагиванием улиц только и разгонял, успокаивал Ленин это потягивание в себе неприменённых жил. Но оставалось в плечевом поясе, и вот его бы – греблей.

Ещё эта пропажа рукописи “Империализма”, посланной летом, очень-очень тревожила. Самое загадочное, что в ответственном почтовом ведомстве нельзя найти концов – как кануло! Английская цензура дошла до дикости, французская стала бесстыдна, и не удивляться, если “Империализм” обратил на себя внимание, и автор его – уже не рядовой эмигрант, каких тут тысячи и на кого полиция внимания не обращает. Может, уже и следят. Может, и сейчас посматривают, на набережной. А – чем он тут держится? Да по первому (ну, по второму) жесту русского или французского послов могут ему учинить военный суд или высылку из Швейцарии, за нарушение нейтралитета. Одну только речь в Кегель-клубе послушать, с соседнего стола.

Он тянулся, плёлся вдоль решётки, над самой водой, по теченью, в вытертом котелке, истёртом пальто, как скуднейший цюрихский обыватель, с сумкой клеёнчатой, в какой носят провизию (а у него – тетради, конспекты, вырезки). И, дойдя до большого моста, терпеливо пропускал богатый чей-то фаэтон, и медленные четырёхлошадные грузовые возы, и однолошадную конку в три больших зеркальных окна, с кучером в униформе на передней площадке.

Оттого приходится черняки опасные сжигать, важные документы хранить у уважаемых швейцарцев, опять подписываться каким-нибудь Фреем, а в письмах между Цюрихом-Берном-Женовой порой пользоваться и химией. Это в нейтральной стране! Как у

себя под жандармами... А переписанный второй раз “Империализм” заделывать в переплёт книги, чтобы дошёл.

Пересек большой мост. Вышел к озеру, на широковымощенную набережную, опять с несметенным насыпом кленовых побуревших листьев.

От озера ещё шире несло водяным, свеже-холодным.

Тут плавали лебеди – белые и сизые. Не плавали – скульптурно сидели на воде. А то, на мелководьи, ныряли по одному: клювом в глубине доставали что-то, а лапами барахтались, и белый задок торчал кверху. Потом долго отряхали змеиные шеи.

Слева за спиной, из-за оперного театра, выступало бледное солнце. Но оно было холодное, свет не грел.

А – успокоение от этой воды. От простора. Отступает от груди сжатие. Когда отступает, отпускает – только тут и замечаешь: в каком же сжатии и гонке постоянно живёшь.

Просторное озеро. В разных местах рыбаки стоят на якорях. Во весь тот берег и налево, сколько озеро уходит, – продолговатая, пологая лесистая Ютлиберг. Кое-где на ней – белые пятна: был лёгкий снег наверху и задержался, не стоял.

Просторное озеро, напоминает Женевское.

Свежий плеск Женевского озера – на всю жизнь останется. Там пережито самое тяжёлое крушение жизни: разбился кумир.

С каким ещё молодым восторгом и даже влюблённостью ехал он тогда в Швейцарию на свидание с Плехановым, получить от него корону признания. И, посылая дружбу свою вперёд, в письме из Мюнхена – тому, “Волгину”, в первый раз придумал подписаться “Ленин”. Всего-то нужно было – не почваниться старику, всего-то нужно было одной великой реке признать другую и вместе с ней обхватить Россию.

Молодые, полные сил, отбивши ссылку, избежав опасностей, вырвавшись из России, – везли им, пожилым заслуженным революционерам, проект “Искры”, газеты-организатора, совместно раздувать революцию! Дико вспомнить – ещё верил во всеобщее объединение с экономистами, и защищал даже Каутского от Плеханова – анекдот! Так наивно представлялось, что все марксисты – заодно, и могут дружно действовать. Думали: вот радость им везём: мы, молодые, продолжаем их.

А натолкнулись – на задний расчёт: как удержать власть и командовать. Решительно безразличен оказался Плеханову этот проект “Искры” и раздувание пламени по России – ему только нужно было руководить единолично. И для того он хитрил, и представлял Ленина смешным примиренцем, оппортунистом, а себя – каменным революционером. И преподал урок преимущества в расколе: кто требует раскола – у того линия всегда твёрже.

Разве забыть когда-нибудь эту ночь в деревушке Везенац – сошли с женевского парохода с Потресовым как высеченные мальчишки, обожжённые, униженные, – и в темноте расхаживали из конца в конец деревни, озлобленно выкрикивали, кипели, стыдились самих себя, – а по ночному небу над озером и над горами ходили молнии кругом, не раздражаясь в дождь. До того было обидно, что минутами хоть расплакаться. И чертовский холод опускался на сердце.

С той горькой ночи Владимир Ульянов переродился. Только с той ночи и стал как он есть, стал истинным собой.

Строго наученный в тот раз, на всю жизнь усвоил Ленин: никому никогда не верить, ни к кому никогда ни мазка сентиментальности.

Кто-то рядом стал чайкам бросать – и они взлетали с воды, жадно, нетерпеливо кидались, делали круги, хватали налету, кричали, дрались – и уже лезли сюда, на парапет, чуть не в лицо, и к соседям тоже.

Отмахнулся от одной. Пошёл дальше.

Как прицепчива память к случайным совпадениям, к сентиментальным воспоминаниям. То самое Женевское озеро разделяло их, только оно, ещё незнакомых, когда он, входя в силу, принимал делегатов II-го съезда, и каждого старался изучить, прощупать, захватить себе в

поддержку, а она – рожала пятого ребёнка, уже от младшего мужа, – и впервые читала незнакомого Ильина “Развитие капитализма”, ещё ничего не предполагая.

И – пять лет ещё прошло, они всё не познакомились, хотя она в Женеве бывала не раз. И в той же Женеве на незабываемой “Даме с камелиями” пронзила его тоска – первое сомнение о своей жизни. А у неё в Давосе как раз в эти дни умирал муж. И всего через несколько месяцев, в Париже, – она пришла.

Здесь изрядно холодный замечался ветер, и от него шла хмуроватая рябь.

Поставил сумку около набережной решётки, поднял воротник, и стоял так, носом в озеро. Совсем уже холодно. Даже по глупому российскому календарю уже 25 октября, по-европейски 7 ноября. А Инесса всё сидела на даче в Зёренберге и мёрзла там, чтобы простудиться. Или сердить его.

Или наказать.

Даже пропускала ожидаемые сроки писем. Лишала вестей о себе. Не ответит раз, опоздает второй. И уж так выбираешь выражения: конечно, если у вас нет охоты отвечать... или есть охота не отвечать... я надоедать вопросами не буду...

Во всех отношениях, со всеми людьми, Ленин всегда добирал свою высоту, занимал достойную. А здесь – не мог, здесь – не было высоты. Он мог только – скрывать за шутками смущение. Просить.

Научиться бы выдерживать встречное молчание. Ждать, пока ответит. Но это – труднее всего: именно, когда не видишься, особенная потребность писать, делиться! Да и дела же требуют.

Просто бы вот сейчас, не дожидаясь её ответа, написать ей несколько необидчивых ласковых строк. (Ласковых – нельзя, крылышка ласки нельзя показать, письма военного времени все подцензурные, пишешь, как перед полицейским, за казённым столом. Нельзя дать оружия против себя).

Да, он – зависел от её наказаний. Инесса была единственный человек на земле, от кого он – чувствовал, признавал свою зависимость. Наименьшую, когда жгла очередная схватка. Наибольшую – когда они бывали вместе. Нет – когда не бывали...

Всё, что он в жизни ел, пил, надевал, и всякий кров и обиход, – всё это было совсем не для него, хоть даже и не нужно, а лишь как средство поддерживать себя для дела. И летние месячные отдыхи, и горные прогулки, в Карпатах или от Зёренберга на Ротгорн, альпийский вид глазам или на Цюрихберге плитка шоколада, съеденная на откосе врастяжку, или присланные мамой волжские балыки – не были баловством, просто удовольствием для тела, а – способом привести себя в лучшее мозговое рабочее состояние, здоровье – сила революционера.

И только встречи с Инессой, когда и деловые, – получались будто просто для него, просто для счастливо-бессмысленного, лёгкого, весёлого, мычащего какого-то состояния, хотя б и в сторону отвлекали, и сил лишали, и рассеивали.

Всех мужчин и женщин, которых когда-либо Ленин встречал, он примерял только к делу, только по их отношению к делу, – и соразмерно отвечал им так, как требовало дело, и до того момента, пока оно требовало. Лишь одна Инесса, хоть и вошла в его жизнь через то же дело, иначе быть не могло, никакая посторонняя не могла б и приблизиться, – но существовала как будто для него одного, просто для него, существо для существа.

Спорили с ней о “свободе любви”, – и уж какую ясную непробиваемую логическую сетку выставил он против её неопределённостей – не проскользнёшь? Что там! Как эта тёмная вода из озёрного недра свободно вливается и проливается через рыбачью сеть, так и Инесса со своим пониманием “свободной любви” никак нигде не задерживалась классовым анализом: была остановлена – и проходила свободно, была опровергнута – и непобедима.

Тем и сотрясла она его когда-то, что в мире измеренном, оцененном, закономерном – велела ему переступить и идти за ней, в этом самом мире, а как будто в другом, никогда и не предполагаемом, и он шёл неуверенным и восхищённым первоклассником, боясь потерять её ведущую руку – и ребячески благодарный ей, до синеватых жилок на тонкой ступне,

собачье благодарный ей за то, что она это всё ему открыла – и длила, пока милость её была.

Как раз с того направления, с юго-запада, из Зёренберга, через морщю осеннего озера, в посвистывании даже ноябрьского ветра – разве вот не прилетало к нему помахивание её милости? колебание прищуренных век? узкий просвет зубов?

Зачем наказывала? Зачем не спускалась в Кларан, в тепло? В Зёренберге в прошлом году снег выпал в начале октября. Очень холодно.

Над крышей театра с рассыпанной по ней мифологией, фигурами трубатыми и крылатыми, вдруг проступило солнце в полную силу – такое холодное здесь, и оранжеватое там, на вершине Ютлиберг, куда уже набежало оно, а внизу там, где громоздились здания и зеленовато-серый купол с колокольней, оставалось пасмурно.

Счастливые дни – лонжюмовские, брюссельские, копенгагенские, краковские... Да и в Берне. Счастливые годы. Семь лет.

Пяти минут не умея провести впустую, чтобы не раздражиться, не отяготиться бездельем, – с Инессой он проводил и по многу часов подряд. И не презирал себя за то, не спешил отряхнуться, но вполне отдавался этой слабости. И вот высшая степень: когда всё без исключения доверяешь ей, когда хочется ей всё рассказывать – больше, чем любому мужчине. Живость отклика её и живость совета! – как не хватает их эти полгода. С апреля. С Кинтале...

Что-то сломалось в Кинтале? Он не заметил тогда.

Из Берна уехать было необходимо: там доминировало влияние Гримма, никогда бы не собрать круга единомышленников. Это был правильный отъезд. Но, уезжая, отчего бы можно было подумать, что больше они не будут встречаться?

В Кинтале это было незаметно. В Кинтале был такой замечательный шестидневный бой!

Единственный человек, которого обидеть непоправимо: можно потерять навсегда. Это соотношение, не пережитое ни с кем, ставит даже в смешные положения. Считаться с её несчастной страстью писать теоретические статьи. В критике их не говорить прямо, как думаешь, а выражаться очень осторожно, иногда и лгать: что ж я могу иметь против помещения твоей статьи? я, конечно, за, – а уж потом подставлять внешнюю причину, которая помешала. Упрёки ей и даже политические поправки сводить по мягкости почти до похвал. Терпеть её самовольство с переводами: она вдруг не переводит ленинский текст, но – исправляет смысл! но – цензурует даже: какая мысль ей не нравится – выбрасывает! Кому ж это можно позволить? А её – только мягко, предупредительно упрекнуть. В предупредительности к ней – заискивать. Написал ей длиннее обычного – сразу оговориться: я, кажется, наболтал с три короба?...

Но даже и заискивание перед ней – не унижение. Ничто не унижение перед ней.

Она вот как может наказывать, не писать. Не отвечать.

А если упрётся, что чего-нибудь не сделает, – не уговоришь.

Отошёл белый пароход от пристани и нагнал сюда волны. На волнах раскачивались два немёрзнущих белых лебедя, изогнутые шеями застыло, как навсегда.

Холодно. Взял сумку, пошёл дальше вдоль решётки.

Насколько подле Инессы он даже волю свою вывихивал, настолько в отдалении мог достичь почти полной от неё свободы.

В строго точном свете переменного пасмурно-солнечного осеннего утра над холодным озером.

Сколько помнил себя, столько знал он в себе существование защитной пружины. От неудач, от потерянного времени, от проявленной слабости – она сжимается, сжимается, – и вдруг отдаёт, швыряет в деятельность с такою силой, которой ничто уже сопротивляться не может.

Сэкономив на бездельных нежностях, не даёшь застаиваться делу.

В отдалении – к нему возвращалась осмотрительность. Осмотрительность не разрешала ко всем напряжениям его жизни добавить ещё. Соединиться с Инессой навсегда? – не была

бы жизнь, а суматоха. Слишком она разнообразна, отдельна, отвлекательна. Да ещё ведь и дети, совсем чужая жизнь. Ещё на этих детей уклонять, удлинять свой путь – он никак бы не мог, права не имел.

Жить с Надей – наилучший вариант, и он его правильно нашёл когда-то. Была Якубова и живей, и лицом милей – но не помогала бы так никогда. Мало сказать единомышленница, Надя и по третьестепенному поводу не думала, не чувствовала никогда иначе, чем он. Она знала, как весь мир тербит, треплет, раздражает нервы Ильича, и сама не только не раздражала, но смягчала, берегла, принимала на себя. На всякий его излом и вспышку она оказывалась той же по излому, но – встречной формы, но – мягко. И как переимчива! Был Радек мерзавцем – она была с ним суха и каменна, на порог не пускала, если являлся под предлогом; стал Радек отличным партийным товарищем, дружным союзником – и как же приветлива, и радостна с ним. Она не готовится к этому, не вырабатывает, тогда б и ошибиться можно, – но чувствует за Ильича с постоянной верностью. Жизнь с нею не требует перетраты нервов.

Инесса и не бережлива, что тоже не пустяк, не умеет вести разумного скромного образа жизни, чудачествует нередко. Вдруг возьмёт да модно оденется. Надя же – в методичности, в бережливости не имеет равных. Она действительно нутром понимает, убеждать её не надо, что каждый лишний свободный франк – это лишняя длительность мысли и работы. А ещё, что так редко для женщины, никогда не пробалтывается, не хвастает, не выносит из дому ни словечка, о чём предупреждено ей не говорить. Да и сама верно знает, где молчать.

И перед всем этим было бы непристойно революционеру стесняться на людях, что жена некрасива, или ума не выдающего, или старше его на год. Для внешнего успеха требуется наименьшее внутреннее разделение, наименьшее отвлечение в сторону, наибольшая плотность усилий, ведущих к цели. Для существования Ленина как политической личности союз с Крупской вполне достаточен и разумен.

Правда, всё втроём, втроём – в лесу ли бернском, сойдясь из соседних улиц; на горных прогулках у Зёренберга по альпийские розы или грибы (только в дальние спальные хижины иногда с Инессой вдвоём); у пансиона в тени над книжками сидя – он и Надя, а Инесса – у рояля часами; или на тёплом горном откосе на пнях – он и Надя постоянно с книгами, а Инесса – просто изогнувшись, нежась на весеннем солнце, как девчёнка среди старших; наконец, и долгие те часы, когда он рассказывал обеим женщинам о своих идеях, планах, будущих статьях, – сколько раз приходилось вбирать в один взгляд несравнимое и даже удивиться, не поверить неправдоподобности, невозможности: чтобы так держалось годами, – а ведь держалось! Если кому писала Надя длинные подробные дружеские письма – то именно Инессе. Если о ком говорила всем окружающим, всем товарищам с неутомимой похвалой – то об Инессе. И только в письмах Володиной матери (уж надина-то видела всё), в письмах свекрови, описывая весь их с Володей быт и все прогулки, – единственно в этих письмах писала так, будто они всегда вдвоём. Очень тактично.

А тут и умерши матери одна за другой: Елизавета Васильевна – после инфлюэнцы прошлой весной в Берне, Мария Александровна – этим летом в Петербурге. В горный пансион их, около Флюмса, почта была – вьючными осликами, и так с опозданием принесли телеграмму о смерти – как раз во вторую годовщину войны, в день Швейцарского Союза – один из бесчисленных суматошных здешних праздников, когда на всех вершинах зажигают костры, пускают ракеты и стреляют. Сидели вечером, смотрели на эти костры, под эти салюты и проводили мать. Да пожалуй и легче так, когда издали.

Если обоим под пятьдесят. И вот умирают матери обе, от чего становитесь вы ещё старей. Дружней. И – революционеры оба. То, пожалуй, и...

Наискось по озеру, как раз оттуда, со стороны Зёренберга, шла моторная лодка – быстро, вскинув нос, распахивая воду, за собой покидая треугольное поле пены и металлическим стуком разбивая тишину.

Что-то в ней было! – неслась и распахивала, оттуда прямо сюда неслась и распахивала, разрезала, и нос выставляла безжалостный – прервала размышления, ход мысли резким



стуком – и мысль перескочила – и через весь социальный анализ, через все аргументы – просто-просто-просто, как не виделось до сих пор почему-то:

так ведь если свободную любовь отстаивать теоретически, не дать себя убедить, – отчего ж её не осуществлять?...

Все-все пункты буржуазно-пролетарских отношений он осмотрел, предвидел и перечислил ей, – и только одно вот это упустил: если после Кинталея они не виделись – а так близко! – и она полгода не едет, и его не зовёт, и вот уже почти не пишет -

так она это лето... с кем-нибудь?...

Почему ж он всё время представлял, никак иначе не думал, что она – одна?...

По эту сторону ещё было солнце блеклое, но с той стороны через Ютлиберг переваливали, переваливали быстро густые сизые тучи – и пёрли вниз туманом. Быстро заволакивало гору, склон, колокольню и подбиралось к тому берегу Цюриха.

Да как же просто...? И почему он – все стороны охватил, обдумал – только не эту?...

Да быть не может! Товарищ и друг! Как славно бились в Кинтале с центристами?...

За холодную решётку схватился руками – через решётку, через озеро, через Ютлиберг, через все-все горы, какие по дороге, – завывать: Инесса! Не оставляй! И-несса!...

Написать, сейчас, не стыдясь унижения, что-нибудь – только вызвать ответ. Да ведь и почта открыта, прежде библиотечного часа – ах, не догадался! почта открыта с восьми, надо было пойти и написать! А теперь уже поздно.

А теперь уже поздно: лупили, лупили в колокола как бешеные, как дурные! – по всему городу будто железо ремонтировали. Долбали колокола Фраумюнстера над почтамтом, долбал двойной Гросс-Мюнстер, выше вывесок на всех этажах Бель-Вю, – да сколько ещё церковью по Цюриху!

Туман и туча с той стороны озера накатились уже и на эту сторону, стало пасмурно.

Закоченевшими пальцами вытащил из жилетного кармана часы – ну да, раз колотят в свои вёдра – значит девять, десятый. И на почтамте не был, и время упустил, и зашёл далеко – теперь и самым гонким ходом он намного опаздывал к открытию кантональной. Плохо начал день. Хотел хорошо, начал плохо.

Ладно уж, письмо потом, надо работать.

Пошёл как покотил – широкий, невысокий, почти не уворачиваясь от встречных. Городская была вот она, рядом, можно и сюда, но журналы и книги к сегодняшней работе отложены в кантональной. Гнал и гнал по мерзкой буржуазной набережной, где выпыхивались из дверей гастрономические и кондитерские запахи, щекотать пресыщенных, где изворачивались предложить двадцать первый вид ветчины и сто первый сорт печенья. Мелькали витрины шоколадов, табаков, сервизов, часов, античности... На этой чистенькой набережной так трудно вообразить будущую толпу с топорами и факелами, дробящую эти стёкла вдребезг.

А – надо!

Всё тут слишком устоялось и вжилось – дома, двери, звонки, запоры на дверях. А – надо!

Колотили в колокола со всех концов города – бешено и мертво.

## 44

С почти пролетарской решимостью и здесь размахнулся Цвингли: на Церингер-плац Проповедническую церковь рассек пополам между шпилей, показывая нам пример, и вот в половине её который век – библиотека. Доставляло особенное удовольствие, что обе главные библиотеки Цюриха торжествовали над религией.

Вошёл в тишину. Девять узких окон с угло-овальными верхами подымались на высоту пяти-шести этажей. Ещё выше, в недостижимой высоте, угло-овальные стрелы сводов сходились по несколько в узлы.

Но вся эта высота пропадала почти впустую: только два этажа деревянных хором

прилеплены были по стенам. В простенках же и между книжных шкафов навешаны были многочисленные тёмные портреты – в камзолах и жабо надутые городские советники и бургомистры, ни разглядывать их, ни подписи прочесть никогда не оставалось времени.

Ещё из тяжёлых дверей Ленин увидел, что его любимое место на хорах у центрального окна и ещё другое удобное – оба уже заняты. Опоздал. Нескладно начался день.

Расписался в книге посетителей – а дежурно-улыбчивый библиотекарь в очках, недоумевая, никак не мог найти одной из трёх отложенных стопок.

Одна мелкая досада, наворачиваясь на другую, могут украсть часы работы.

Удача или неудача рабочего дня зависит иногда от мельчайших мелочей, как начнёшь. Вот – опоздал. А у них до перерыва и полудня нет, всего три часа, и их теперь нет.

“Империализм” был уже давно отработан по двадцати тетрадям, и написан, и потерян, и переписан – а ещё стопку на ту же тему Ленин брал. Как будто нужно было что-то ещё. А будто и не нужно. Все выводы книги были Ленину ясны ещё и до двадцати тетрадей. Последнее время так обострилось в нём предвидение – он видел выводы своих книг исключительно рано, ещё не садясь их писать.

Самые сладкие удары во всей книге по Каутскому – и снять их? Мерзкий гнусный святочный дед! Более гадкого подлого лицемера не бывало во всей мировой социал-демократии!

Стопка не находилась – по Персии. Он уже начал делать выписки по Персии. Восточное направление ни у кого не продумано, а его надо готовить.

Ладно, по Каутскому удары не пропадут – в другом месте где-нибудь вставим.

А ещё он готовил, писал подробные важные тезисы для швейцарских левых – методически исправлять, чего не добились на съезде. Но это удобнее было в Центральштелле, а не здесь.

Да нет, она всё время помогает и переводит. Вот спустится в Кларан – может приедет. Почему надо думать плохо? Это неправильная была мысль.

А ещё пришёл он с ощущением недоделанности, недосмотренности статьи против разоружения. Она уже написана (и в сумке тут была), но что-то царапало по памяти. Все главные мысли были на месте: разоружение – требование отчаяния; разоружение – это отречение от всякой мысли о революции; тот не социалист, кто ждёт социализма помимо революции и диктатуры; в будущей гражданской войне у нас будут воевать и женщины и дети с 13 лет. Всё верно, но оставалось чувство, что где-то есть не вполне защищённые фразы. А надо быть архиосторожным, никогда не допустить цитирования против себя – ко всем опасным фразам пристраивать оборонительные придаточные предложения, все фразы должны быть во всех боках защищены, оговорены и противовешены – чтоб никто не мог выбрать уязвимую.

Итак, можно было (и даже он начал) просматривать. Да вот и сразу, написано в пыли: “Мы поддерживаем применение насилия массой”. Накинутся! Пристроить: “массой – против её угнетателей”.

Впрочем, это можно и не в библиотеке, время уходит. Стал смотреть тезисы для левых швейцарцев. Тут ещё много было работы. Нужно детально-детально им всё разжевать: листовки – кому разносить по домам? беднейшим крестьянам и батракам. Какие сельхозучастки подлежат принудительному отчуждению? Скажем, свыше 15 гектаров. После какого срока пребывания требовать для иностранца швейцарского подданства? Скажем – через три месяца, и важно, чтобы безо всякой уплаты. Что значит “революционно высокие ставки налогов”? Общие слова, надо составить им конкретную таблицу: на имущество свыше 20 тысяч франков, свыше 50 тысяч, – какой процент? И как облагать гостей пансионеров? Тоже написать им конкретную шкалу, ведь ни у кого никогда не доходят руки до конкретности: если платит 5 франков в день – это наш брат, один процент, а если платит 10 франков – с этого сразу 20 процентов...

А из груди так и поднимается, стоит изжогой последняя подлость Гримма и Грёйлиха. Ах, поганые оппортунисты, подлеишие мерзавцы, ну подождите, мы вас пристегнём к

позорному столбу!

Что-то всё раздражения лезли, сбивали. Так бывает: им дашь разойтись – и невозможно сосредоточиться, невозможно работать по системе, даже на стуле усидеть.

А ещё не улёгся, сколько сил отобрал и до сих пор мешает работать этот иступлённый недоспоренный спор с “японцами”. Уже было написано несколько статей и две дюжины писем, и конфликт как будто преодолен – а вот не подавлен до конца!

Никогда не удаётся все усилия собрать только в одном главном направлении, всегда открываются противники на побочных, сейчас как будто бы совсем не важных, но неважных не бывает, наступит момент, когда и эти побочные направления станут главными, – и приходится теперь же оборачиваться и с полной энергией огрызаться на эти побочные укусы. Не “японцы” одни (Пятаков со своей Бошихой, с тех пор как бежали из Сибири через Японию), с ними и Бухарин. Не имея ни капли мозгов, доводили себя вместе с Радеком до групповой глупости, до верха глупизма – то на “империалистическом экономизме”, то на самоопределении наций, то на демократии. Все эти молодые поросята, новое партийное поколение, очень самодовольны, самоуверенны и готовы брать руководство хоть сегодня, а срываются и срываются на любом повороте любого вопроса, ни у кого нет готовной гибкости – на этих поворотах мгновенно, предусмотрительно тормозить, иногда брать где влево, а где вправо, заранее предвидя, куда угрожает ссунуть извилистая дорога революции. Да! Вообще всегда говорили марксисты, что нациям предстоит отмереть и не надо никаких “самоопределений”. Но! – сейчас мы вошли в сложную обстановку. И надо пока допустить “самоопределение”, чтоб иметь союзников. А поросята – не успевают повернуться.

Так и с демократией. Бухарин открыто пишет: в период взятия власти придётся отказаться от демократии. А – нельзя так писать ни в коем случае! Да, конечно придётся, – но надо считать и говорить, что социалистическая революция невозможна без борьбы за демократию, и поросьятам это надо зарубить на розовом носу. Но, конечно, не терять из виду: в конкретной обстановке, в известном смысле, для известного периода. А наступит и такой период, что *всякие* демократические цели способны только *затормозить* социалистическую революцию. (Это – подчеркнуть двумя чертами!) Например, если движение уже разгорелось, революция уже началась, надо **брать банки** - а нас позовут: подожди, сначала узаконь республику!?!...

Разъяснял им Ленин по многу страниц – нет, воротили носы прочь! А пришлось так долго возиться с такими склочниками и интриганам потому, что у “японцев” были деньги на журнал, без них не начали бы “Коммуниста”. Но и союз с ними имел смысл лишь пока у Ленина было большинство в редакции, а дать равенство глупцам? – никогда! к дьяволу! идиотизм и порча всей работы! лучше ошельмовать дурачков перед всем светом. Не хотели мирного исхода – набьём вам морду!

С Бухариным не довёл до публичности, объяснился в письмах. А перед его отъездом такая злость взяла – не ответил ему. Теперь в Америку поехал – небось, обиделся. В глубине признаться – он очень умён. Но раздражает постоянным сопротивлением.

Всякая оппозиция всегда раздражает, особенно – в теоретических вопросах, от которых – претензия на руководство.

Но уж Радека, Радека, говёную душу, было очень полезно высечь для общей наглядности. Верх подлости Радека в том, что он исподтишка натравливал поросят, а сам прятался за циммервальдскую левую. (Да и в Кинтале пытался поссорить Ленина со всеми левыми, а с Розой и поссорил.) Радек держится в политике как наглый нахальный тышкинский торгаш, исконная политика швали и сволочи! За то, как он выпер Ленина и Зиновьева из редакции “Vorbote”, – вообще бьют по морде или отворачиваются. Кто прощает такие вещи в политике – того считают дурачком или негодяем.

В данном случае правильно было – отвернуться. Тем более, что разногласия с Радеком – не всеобщие, а только в русско-польских делах. А по делам швейцарским Радеку выхода нет, как идти против Гримма, он вынужден примкнуть союзником, да каким!

Но в этой истории сподличал и Зиновьев, предлагал уступить “японцам”. Так шатаются

все, нельзя на самых близких положиться.

Чтобы покончить эти все бухаринские выверты – необходимо было перенести спор также и в саму Россию и добить “японцев” на русской почве. Об этом велено Шляпникову. Но Шляпников и сам путаник, особенно его Коллонтайша. (Кстати, не забыть: хорошо бы подсунуть её на скандинавскую конференцию нейтралов, ну, хотя бы переводчицей при делегате, – и так вынюхать планы нейтралов!)

Да сколько их, псевдосоциалистических путаников во всех странах, и воюющих, и нейтральных, и у нас. А разве лучше Троцкий с его благоглупостями – “ни победителей, ни побеждённых”? Вздор какой. Нет, это сбор дешёвой популярности, а ты попробуй, чтоб царизм был всё-таки побеждён, не дай ему вырваться из этой свалки! Нельзя быть “против всякой войны”, социалист перестаёт быть социалистом.

Где сейчас Шляпников – неизвестно: ещё ли в Стокгольме? или уже в Россию поехал? До Швеции письма проходят с оказиями, через Кескулу и его людей, – а дальше Швеции? Там вообще темнота, регулярности никакой. У Шляпникова на всё вечные задержки, в Россию ездит редко, каждый раз подолгу, очень неповоротливый. А скажешь ему – обижается. А если б не ездил – так и никого нет. Так что для придания важности пришлось кооптировать его в ЦК.

Тут подошёл к столу Ленина библиотекарь и, шёпотом извиняясь и прикланиваясь в извинение, положил ему стопку о Персии.

Спасибо! Каких-нибудь полчаса до перерыва, так теперь Персия! А что ж, взяться и за неё?

Конечно, до ЦК Шляпников никак не дорос, по развитию не Малиновский. Но место его – занял, от звания “член ЦК”, “председатель Русского Бюро” голова кружится, вошёл во вкус. То лезет в международные переговоры с социалистами, оттирая Литвинова. То с дурацкими советами чуть не в каждом письме: почему не переезжаете в Швецию? Самоуверен надоедно, а отрезать нельзя, реальное действующее лицо, приходится отвечать ему, и даже по форме с почтением.

Что-то плохо вработывался. Слишком кипел мозг, не мог сосредоточиться, не уходил в медлительную феодальную персидскую экономику.

Ах, Малиновский, Малиновский! Несостоявшийся русский Бебель. Как работал! Как обращался с массажи! Что это был за тип, за лицо! – самозарождённый рабочий вожак, собранный символ российского пролетариата. Именно такого рабочего вождя и не хватало Ленину в партии – под правую руку, в дополнение, чтоб идеи приводить в массовое действие. За то и любил его Ленин, что так он влился на предназначенное место, и всегда с такой готовностью, никогда не оспаривая, – но как ярко и сильно выполнял! По буржуазным понятиям было у него так называемое уголовное прошлое – несколько краж, но это только оттеняло его пролетарскую непримиримость к собственности, да и яркость натуры. И хотя чересчур подозрительные товарищи стали клепать на него – Ленин только утверждался в доверии: представить его провокатором? – невозможно! Какие зажигательные речи произносил в Думе, как маневренно раскололся с меньшевиками во фракции. Не только самого его с радостью включил Ленин в ЦК, но довольно было Малиновскому кого-нибудь посоветовать, там Сталина, – включал и того. Когда жили в Поронине, не было из России приятнее гостя, чем Малиновский. Кроме последней страшной майской ночи, когда вдруг появился он после своего самовольного внезапного ухода из Думы, – но ведь появился же, не сбежал! И целую ночь это объяснение шло. Сотрясающее открытие. Но: **доказать** против Малиновского всё равно никто ничего не может. Кто может поверить этой глупой версии, что охранка сама сочла “неудобным” иметь осведомителя в лучших думских ораторах – и велела ему уйти? Вздор какой, что ж охранка – глупая, сама против себя?... Собрали с Кубой и Зиновьевым как бы партийный суд – и оправдали Романа Малиновского: он – политически честен. А Дан и Мартов – грязные клеветники, пусть обвиняют за подписями.

О, ему ещё можно придать большую будущность. При поронинском захвате был интернирован австрийцами – но сговорились, освободили его, для политической работы с

русскими военнопленными. Среди военнопленных он продуктивно используется. И он себя ещё оправдывает.

А помощника такого у Ленина уже не будет... Шляпников? не-ет.

А тут – перерыв наедал. И когда они проголодываться успевают, швейцарцы, в 12 часов уже подавай им обедать?

Впрочем, замечал Ленин, что сегодняшний библиотекарь не всегда ходит обедать. Подошёл к нему, спросил. Не пойдёт. А нельзя в перерыв остаться? Можно.

Вот это удача. Не столько того обеда, сколько рассеяния. На пустой желудок лучше работается. И лишний час.

Теперь можно было заниматься, не торопясь. А даже вот что лучше – сейчас уже заpastись газетами. Экономя деньги, Ленин ни одной не покупал и не подписывался, да их тридцать-сорок надо читать, все “Arbeiter-“ и все “-Stimme”.

Набрал, какие есть, принёс на стол.

Чтение газет – из главных ежедневных работ, это вход в жизнь мира. Чтение газет настраивает к ответственности, к упорству и к бою, даёт живое ощущение врагов. Рассыпанные по всему миру социалисты, социал-патриоты и центристы, не говоря уже о всех буржуазных ослах, все как будто сталпливаются вокруг тебя в читальном зале, и размахивают руками, гудят, кричат каждый своё, а ты выхватываешь – и отражаешь, замечаешь слабые места – и тут же бьёшь по ним. Читать газеты – значит, и конспектировать их. По аналогии, по ассоциации, по противоположности, по несоединимости и вовсе по непонятной связи высекаются и высекаются искры мыслей, разлетаются под углами вправо, влево, на отдельные бумажки, в линейчатые строки тетрадей и на свободные поля, и каждую мысль, пока не погасла, надо успеть огненной нитью вплести в бумагу, чтобы тлеть ей там и ждать своего часа, иную – в конспект, иную – сразу в письмо, начатое тут же, чтобы не терять горячего движения фразы. Одни мысли – для выяснения самому себе, другие – для спора, укола, удара, третьи – как лучшая форма разжевать и архиразжевать для глупеньких, четвёртые – для теоретической спевки, особенно с теми, кто удалён и даже в России.

Вандервельде и Брантинг, Гюйсманс и Жуо, Плеханов и Потресов, Ледебур и Гаазе, Бауэр и Бернштейн, два Адлера, даже Паннекук и Роланд Гольст, – всех их Ленин ощущал как своих достигаемых раздражающих оппонентов, где б они ни гнездились – в Голландии, Англии, Франции, Скандинавии, Австрии или Петербурге, – ощущал их на дистанции видимости, на слышимости голоса, он связан был с ними со всеми единым пульсирующим нервным узлом – во сне и в бодрствовании, за чтением, за едой и на прогулке.

А читателей – уже и не было, уже оказывается наступил перерыв. Библиотекарь ушёл за стеклянную дверь в глубину хранилища. Лампочки на всех столах погасли, храм-читальня грандиозно высился в полусерости и гробовой тишине. И пользуясь необычным этим случаем, ещё и ещё разряжаясь от избыточной натяжки нервов, Ленин взялся быстро ходить по прямой, по самой длинной центральной прямой здесь – от входной двери под деревянной галереей до двух поперечных каменных длинных ступенек, перед бывшим алтарём. Получалось шагов пятьдесят, не перегороденных ни полками, ни столами.

Вся проходка его бывала на улицах и в горах, а жил он всегда в комнатках тесных, маленьких, не расходишься. Теперь в этом быстром настигающем хождении, шагом охотника, расталкивая, расталкивая Гильфердингов, Мартовых, Грёйлихов, Лонге, Прессманов и Чхеидзе, не давая им фразы высказать связно, тут же обрывая, осекая, ставя на место и рассеивая их, именно в этом колебании бешеного маятника – он отбивался, отбивался от врагов.

Освобождался от врагов.

И всё больше был готов к методической работе.

И пришёл момент – на полупроходке ощутилось: довольно!

И сел работать.

Неправильная эта мысль об Инессе. Нет оснований так думать.

Нет! Не за тем столом сидел. Теперь это всё – книги, газеты, тетради, перенести на

хоры, за свой привычный стол. В два приёма пришлось нести.

Слегка поскрипывали ступени в готической серой тишине.

И что-то вдруг устал-устал. Как свалился в свой стул.

В голове как-то...

А голода от пропущенного обеда не ощущал никакого. Ему – можно было и мало есть, в нём энергия вырабатывалась почти и без еды.

У самого окна, без лампы пока. Но день сумрачный.

Читал газеты. Читал – об общем военном положении. И было безрадостно.

Ну, не так плохо, как в августе, страшный момент, когда внезапно выступила свежая Румыния, гигантски укрепив союзников, и казалось – теперь Россия вывернется. Но нашлась в Германии сила разбить и Румынию как бы мимоходом, это изумительно, этого нельзя было предсказать два месяца назад. А тем не менее, также вопреки всем предвидениям, Германия не выигрывала целой европейской войны. На Западном фронте закупорилось прочно и безнадежно. И на Восточном – вот поразительно, и на Восточном никакой победы не принёс Шестнадцатый год. Год назад был царизм уже сотрясён, уже почти повергнут, – а вот опять стоял и не уступил ничего! Величайшая надежда, величайшая победа – растеклась, расплылась, ушла.

В одном местечке, всего в одном местечке головы, около левого виска, образовалась как бы пустота. Плохо. перевозбудился.

И все народы даже от третьего года такой кровавой войны – не видно, чтобы просыпались. Но, как всегда, безнадежнее всех – русский народ. Именно он нёс главные обильные потери, именно русские тела штабелями наваливались против немецкой организации и техники. О Восточном фронте вообще пишут невнятно, неточно, корреспондентов там нет, знают мало и интересуются мало, да пресса Антанты и стыдится такого союзника, стараются меньше писать, но часто приводят цифры потерь. Эти цифры русских потерь всякий раз находил и ногтем отмечал Ленин – с удовольствием и удивлением. Чем крупней были цифры, тем радостней: все эти убитые, раненые и пленные вываливались как колья из самодержавного частокола и ослабляли монархию. Но и эти же цифры приводили в отчаянье, что нет на Земле народа покорней и бессмысленней русского. Границ его терпению не существует. Любую пакость, любую мерзость он слопает и будет благодарить и почитать родного благодетеля.

Или свет зажечь? Как будто буквы поплыли.

Невоспламеняемые русские дрова! Отошли в историю лучшие костры – соляные, холерные, медные, разинский, пугачёвский. Разве только на захват соседнего поместья, всем видимого и известного, а то ведь никакой пролетариат и никакие профессиональные революционеры никогда не раскачают чёрную мужицкую массу. Развращённая, расслабленная православием, она как будто потеряла страсть к топору и огню. Если уж **такую** войну перенести и не взбунтоваться – куда годен этот народ?

Проиграно. Не будет в России революции.

Закрыв глаза ладонями и сидел так.

Внутри – как будто обвисало. То ли от усталости, то ли от тоски.

Читатели уже собираются. Стулом двинули. Книга упала. Лампочки зажигают.

А может случиться и ещё хуже: царизм уже выбирается из капкана? Через **сепаратный мир** ?? (Подчеркнуть тремя чертами.) И Германии, когда она не может выиграть войны на двух фронтах, – что остаётся?

Вот – страшно. Вот – не может быть хуже чего. Тогда проиграно – всё. И мировая революция. И революция в России. И – вся жизнь Ленина, все усилия двух десятилетий.

Такое сообщение – о подготовке сепаратного мира, о тайных переговорах, уже официально идущих между Германией и Россией, и что в главном обе державы уже столковались, – недавно напечатала газета Гримма “Бернер тагвахт”. Подпись была – К. Р. Не надо спрашивать плута Радека, чтоб догадаться, что это – он. (Но как мог Гримма убедить!) И достаточно зная его шипучую находчивость, можно догадаться, что он не

подслушал разговора дипломатов, не подглядел тайных бумаг, и даже слушка такого не подхватил нигде, а, залежавшись на полдня в постели, газеты на одеяле, газеты под одеялом и книги под кроватью, он иногда сочиняет что-нибудь такое “от нашего собственного корреспондента” из Норвегии или Аргентины.

Но не в том дело, как родилось именно это сообщение. И не в том, что русский посол в Берне опровергает, – а что же ему иначе?... Дело – в пронзительной верности: для царя это **действительно верный выход!** Именно так и надо бы ему!

И поэтому надо – ударить! Ещё ударить в это место! Бить тревогу! Остановить! Предупредить! Не дать ему вытащить из капкана все лапы целыми!

Конечно, от Николая II и его правительства следует ждать всего самого глупого. Ведь и этой войны нельзя было ждать от них, если б сколько-нибудь были разумны, – а начали! а – сделали нам такой подарок!

Так что, может быть, и сейчас ещё можно их напугать разглаской – и отвратить?

Сепаратный мир! Конечно, исключительно ловкий выход. Но всё-таки: не по их уму.

А всё равно уже: в России ничего не сделать. Кто там читает “Социал-Демократа”? А за Милоковыми и Шингарёвыми все следят. В России слышно – одних кадетов. И вон как встречали делегацию их на Западе. Царь додумается, потеснится немножко, уступит министерства Гучкову да кадетам – и уж тогда их совсем не возьмёшь, не пробьёшь.

И что ж можно вымесить из российского кислого теста! И зачем он родился в этой рогожной стране?! Четвертушкой ли крови он связан так, что привязала судьба к дрянной российской колымаге? Четвертушкой крови, но ни характером, ни волей, ни склонностями нисколько он не состоял в родне с этой разляпистой, растяпистой, вечно пьяной страной. Ничего не знал Ленин противнее русского амикошонства, этих трактирных слез раскаяния, этих рыданий якобы загубленных натур. Ленин был – струна, Ленин был – стрела. Ленин с первого полувзгляда оценивал дело, обстоятельства и верное и даже единственное средство к цели. И что ж его связывало с этой страной? Да не хуже, чем этим полутатарским языком, он овладел бы и тремя европейскими, потрудясь больше. С Россией – двадцать лет конкретных революционных связей? Ну, только вот они. Но сейчас, после создания циммервальдской левой, он уже достаточно известен в мировой социалистической сфере и может перешагнуть туда. Социализм – безнационален. Вот уехал Троцкий в Америку – правильный выбор. И туда же Бухарин. Наверно и надо, в Америку.

Нет, что-то сегодня не то в нём самом. Не так день начался, не так завертелся. Как будто тело его, самый корпус, грудь не успевали за быстрой головной проработкой – и у левого виска была пустотка, и какое-то дупло усталости проявилось в нутре, – и вся оболочка тела как будто стала оседать по дуплу.

Многое сошлось сразу, и вдруг он ощутил, что не вытянет сегодня хорошего рабочего дня, но катится под гору раздёрганный, неудачный, даже тоскливый.

Вообще, политик – это тот, кто совсем не зависит от возраста, от чувств, от обстоятельств, в ком во всякое время года и дня есть постоянная машинность – к действиям, к речам, к борьбе. И у Ленина есть эта отличная бесперебойная машинность, неиссякающий напор – но даже у него раза два в год выдавались дни, когда этот напор опадал – до уныния, до изнеможения, до протрации. И такие дни уже до вечера нельзя исправить, только раньше лечь и крепко спать.

Кажется, отлично владел Ленин своей головой, своей волей – но против этих накатов безнадёжности был бессилён даже он. Безусловная истина, твёрдая перспектива, проверенная расстановка сил, – вдруг начинало всё оплывать, сереть, сползать, всё оборачивалось к нему серым тупым задом.

А внутри сидящая, вечно сторожащая болезнь вдруг выпирала углами, как камень из мешка.

К виску выпирала.

Да. Всегда он шёл путём неприятия компромиссов, несглаживания разногласий – и так создавал побеждающую силу. Уверен был, предчувствовал, что – побеждающую. Что важно

сохранить как угодно малую группу и из кого угодно, но – централизованную строго. Примиренчество и объединенчество уже давно показало себя как гибель рабочей партии. Примиряться – с разоруженцами? примиряться с нашесловцами? примиряться с русскими каутскианцами? с мерзавцами из меньшевистского ОК? идти в лакеи к социал-шовинистам? обниматься с социалистическими Иванушками? Нет, к чёрту! – малое меньшинство, но твёрдое, верное, своё!

Однако постепенно он оказывался почти в одиночестве, преданный и покинутый, – а всяческие объединенцы или разоруженцы, ликвидаторы или оборонцы, шовинисты или безгосударственники, помойные литераторы и вся паршивая перемётная обывательская сволочь, – все собирались где-то там тесным комом. И до того иногда доходило его меньшинство, что и вовсе никого вокруг уже не оставалось, как в тоскливом одиноком 908-м, после всех поражений, – тоже здесь, в Швейцарии, самый страшный тяжёлый год. Интеллигенция панически покидала большевистские ряды – тем лучше, по крайней мере партия освобождалась от мелкобуржуазной нечисти. Среди этой мерзкой интеллигентщины Ленин чувствовал себя особенно униженно, ничтожно, потерянно, отчаяние было ощутить себя утопающим в их болоте, идиотство было бы походить на них. Каждым жестом и словом, даже ругательствами – только бы не походить на них!... Но уж **совсем** никого не оставалось, уж до того дошло, что хоть десять-пятнадцать сторонников надо было задержать, оставить! – и для этого одного, в охоте за пятнадцатью большевиками, чтоб не отдать их махистам, гонять за материалами в Лондон и писать триста страниц философского труда, которого и не прочёл никто, но Богданова – опозорил! сбил с руководства! И потом сырой осенью всё ходить, ходить зябко вдоль Женевского озера и бодро повторять, что мы не упали духом и идём к победе.

И вот с умнейшими, как Троцкий и Бухарин, не находится общего языка. И в немногих, кто остался вблизи, как Зиновьев, тоже нельзя быть уверенным вперёд дальше месяца – так слабы его нервы, так непрочны убеждения. (Да никаких убеждений у Гришки нет).

Сила – не создалась. Весь его курс, 23 года непрерывных боевых кампаний – против политических глупостей, пошлостей, оппортунизма, вся эта твёрдая судьба под градом ненависти – к чему привела его, кроме изоляции? Он по инерции продолжал свою линию – разрывов, клеймлений, отмежеваний, но сам утомлённо понимал, что на том и завяз, что настоящего успеха – уже никогда не будет.

Одиночество.

И даже рассказать, поделиться, свой голос послушать – вот, не с кем...

Ну, день... Всё вываливалось и отвращалось, бесплодно просиживал часы.

Стопки книг, стопки газет... А за годы эмиграции – целые колонны бумаг, кип, дестей, – прочитанных, просмотренных, исписанных...

Когда он был молод – носилось свежее ощущение близкой революции, простота и краткость ожидаемого к ней пути. Он всем повторял: “Всеобщая вера в революцию есть уже начало революции!” Счастливое ожидание!

Но вот, последние девять лет, после второй эмиграции, – чем же наполнены, набиты, напессованы? Одними бумагами, конвертами, пакетами, бандеролями, перепиской рутинной, срочной – сколько же, сколько времени уходит на одни письма (да и франков на марки, но это из партийной кассы)? Почти вся жизнь, половина каждого дня – в этих нескончаемых письмах, никто не живёт рядом, единомышленники рассеяны по всем ветрам, и надо издали держать их, стягивать, управлять ими, давать советы, расспрашивать, просить, благодарить, согласовывать резолюции (это – с друзьями, а всё ж это время не прекращать острейшей борьбы с толпами врагов!), – и именно сегодняшнее, се-часовое письмо всегда кажется самым срочным и важным (а через день иногда – и пустым, и опоздавшим, и ошибочным). Обсыпаться проектами статей, корректурами, возражениями, поправками, рецензиями, конспектами, тезисами, чтением и выписками из газет, целыми повозками газет, иногда выпусками своих журналов, по несколько номеров, не дальше, – и никакого настоящего дела, и не поверить и не представить, что через мир, заваленный ворохом бумаг



и бандеролей, способно пробиться общественное движение – к заветной задуманной государственной власти и **там** понадобятся от тебя качества иные, чем эту дюжину лет в читальных залах.

Кончал он свой сорок седьмой год – жизни нервной, однообразной, всё чернилами, чернилами по бумаге, в однодневных, однонедельных вспышках вражды и союзов, споров и соглашений – архиважных, архитактичных, архиискусных – и всё с политиками настолько мельче себя, и всё в бездонную бочку, без задержки, без памяти, без результата. Всё дело его подвижной, поворотной, переносной жизни билось, билось и упиралось в непроходимый хлам. И вот – обвисали руки, и спина не держалась, и кажется – всё, выдохся весь до последнего.

А болезнь – грузнела внутри, иногда расхаживала и скребла. Она звука не подавала, она в спор не вступала, а сильнее её – не было оппонента.

Беда, вошедшая навсегда.

Единственно, к чему он был призван – повлиять на ход истории, не было ему дано.

И все его несравненные способности (теперь-то оцененные и всеми в партии, но сам он знал их ещё верней и выше), вся его находчивость, проницательность, хватка ума, всё его бесполезно-ясное понимание мировых событий – не могли ему принести не только политической победы, но даже положения хоть члена парламента игрушечной страны, как Гримму. Или даже – успешного адвоката (впрочем, адвокат – отвратительно, в Самаре он проиграл все суды). Или хотя бы журналиста.

Оттого, что он родился в проклятой России.

Но со своим обычаем честно выполнять самую кропотливую работу, он всё ещё пытался сегодня составлять свои подробные учительные тезисы швейцарским левым циммервальдистам. По дороговизне, по невыносимому экономическому положению масс. Какой установить предельный максимум жалованья для служащих и чиновников. И как следить за партийными органами печати. И как выживать из партии реформистов-грютлианцев...

Нет! Не строилась работа... Ушла полнота из рассчитанного распорядка, и осталось дупло. Голова заболела. Дышалось плохо. Противно стало даже смотреть на бумаги. К утру должен был приступ миновать, но сейчас такое ко всему отвращение, что хоть на пол лечь.

И – преступно не досидев рабочего дня (впрочем, не так уж много и оставалось), он через силу скидывал тетради, рукописи в свою провизионную сумку, собирал, захлопывал книги, стягивал газеты в пачку, что ставил на полки, что понёс библиотекарю, осторожно ногами по ступенькам, чтоб не грохнуться с этой кипой.

У двери натянул тяжёлое пальто, насадил котелок как попало, побрёл.

Каждый день одна и та же дорога не задавала задачи ни ногам, ни глазам: шлось само.

К сумеркам было, и ещё туман. В окнах магазинов и ресторанов уже горело электричество.

По узкому переулку катили широкую бочку, за ней – тачку. Не обойдёшь.

Легко, легко не выбраться из этой стиснутой, маленькой, закисшей, мещанской Швейцарии, так тут и кончить жизнь при Кегель-клубе.

У гастронома, видно через окно, никелированная машинка равномерной подачей резала ровные пластинки привлекательной ветчины. И видами мясного завалена была витрина. Бакалейщик, самодовольный по-швейцарски, вышел на порог своего заведения и одному прохожему за другим – знакомым, не знакомым? – отвешивал своё бесплатное “грётци!”. На третьем году войны магазины оставались навязчиво изобильны, только сильно подпрыгнули все цены от подводных лодок. А буржуа стояли и ещё перебирали.

По холоду хоть не стали выставлять столиков из кафе на тротуары – а то сидят, на прохожих глазами лупают, а ты их обходи, чертыхаясь. И во всё своё эмигрантское время ненавидел Ленин кафе – эти обкуренные гнёзда словоизвержения, где заседало 9/10 революционного словоблудия. А за войну, тут близко военная граница, натянуло в Цюрих

ещё новой мутной публики, из-за них комнаты подорожали, авантюристы, дельцы, спекулянты, студенты-дезертиры и болтуны-интеллигенты, философскими манифестами и художественными протестами якобы бунтующие, сами не зная, против чего. И все – по кафе.

Да такая же благополучная, наверно, и Америка. Везде верхушка рабочего класса предпочитает богатеть и не делать революции. Ни там, ни здесь никому не нужен был его динамит, его взмах топориный.

Способный весь мир раскроить, взорвать и перестроить – он слишком рано родился, только себе на муку.

Середина Шпигельгассе – сильно горбатая, на своей отдельной горке. От себя, в какую сторону ни иди, – размашисто вниз. К себе, откуда ни возвращайся, – круто вверх. Когда разогнан или бодр – не замечаешь. Но сейчас еле-еле тащился. Не шёл, а ногами заскребал.

Узкая крутая лестница старого дома с многолетними запахами. Уже темно, а лампы не зажгли, наощупь ногой.

Третий этаж. Всеязычный галдёж, тяжёлые запахи квартиры.

И своя комната, как тюремная камера на двоих. Две кровати, стол, стулья. Печка чугунная, в стенку труба. Нетопленная (а пора бы). Перевернутый ящик из-под книг как посудный столик (из-за вечных переездов не покупали мебели).

При последнем дневном свете Надя ещё писала за столом. Обернулась. Удивилась.

Но, привыкшая к этому свету, разглядела жёлто-бурую кожу на шестидесятилетнем лице Ильича, тяжёлый мёртвый взгляд – и не спросила, отчего так рано.

Уж знала она у него приход этих упадков до прострации – иногда на дни, а то – на несколько недель. Когда он слишком вырабатывался в возбуждении, или когда в борьбе надламывалось даже его железное тело. После II-го съезда был такой упадок нервный, после “Шаг-Два-Шага”, после V-го, да не раз.

Котелок утомлял голову, старое пальто утомляло плечи. С трудом их с себя сдирал... Надя помогла снять... Потасил по комнате ноги и сумку с тетрадами.

Нашёл силы посмотреть, что Надя писала, к глазам поднёс. Расходы.

Набирался, набирался столбик цифр удручающий.

В 908-м хоть и мрачно было, хоть и одиноко, так денег завались, после тифлисского экса. Счёт в “Лионском кредите”. С тоски ходили в концерты по вечерам, ездили в Ниццу в отпуск, путешествовали, гостиницы, извозчики, в Париже сняли тысячефранковую квартиру, зеркало над камином.

Сел на кровать.

Сел – и осел, уменьшился. И в пружинах утоп, и голова утопла в плечи, совсем не осталось шеи: оттяжка темени – на спине, подбородок – на груди.

И одной рукой, впереди себя, держался за край стола.

Один глаз был полузакрит. А рот полуоткрыт. С губы торчала бесформенная шерстинка крупноволосых усов. И нос придавленным своим передом выставлен вперёд.

Так сидел. Минуту. Другую. Третью.

– Ляжешь? Раздеть? – своим мягко-деревянным голосом спрашивала Надя.

Молчал.

– Ты что ж в обед не пришёл? Зазанимался?

Кивнул, с усилием.

– Сейчас будешь? – Но голос её не обещал густого плетоядства, так никогда и не научилась готовить.

То ли было в Шушенском! И натоплено, и наварено, и нажарено, на неделю баран, разносолов кадушки, дупеля, тетерева на столе, молоком залейся, и до блеска всё вымыто девчёнкой-прислужкой.

Уж совсем облысел купол Ильича, только и оставались волосы задние, тоже не густые. (Ещё попортили и сами в 902-м: на врача денег пожалели, по совету русского медика недоучившегося сыпь на голове йодом лечили, и посыпались волосы).

Надя переступила ближе. Тихо, осторожно пригладила.

Несколько глубоких длинных морщин пролегли через весь, весь лоб его, вдоль.

Ильич вздохнул толчками тяжёлыми – как в оглоблях, с силой некабинетного человека. И несколько не подымая голову из утопления, не видя жену, а – перед собой, над столом, заморенно-заморенно:

– Кончится война – уедем в Америку.

Да он ли это?

– А циммервальдская левая как же? А новый Интернационал? – стояла печальной распустёхой.

Вздохнул Ильич. Глухо, хрипло, без силы в голосе:

– В России ясно к чему идёт. К кадетскому правительству. Царь – с кадетами сговорится. И будет пошлое нудное буржуазное развитие на двадцать-тридцать лет. И – никаких надежд революционерам. Мы – уже не доживём.

А что? И уехать. Она приглаживала его дальние редкие волоски.

Тут – постучала хозяйка: кто-то к ним пришёл, спрашивает.

Ну, только! Ну, нашли время! Надя и не советуясь пошла – отказать и выгнать.

А вернулась в недоумении:

– Володя! Скларц! Из Берлина...

Из Берлина?...

Да кто угодно, только б вылезти из этого болота!

\*\*\*\*\*

## **ПО МНЕ ХОТЬ ПЁС, ЛИШЬ БЫ ЯЙЦА НЁС.**

\*\*\*\*\*

### **45**

В канун Казанской, в пятницу, бабы варили и пекли, не разгибаясь, щёки не остывали от жара. И с соседних деревень – из Волхонщины, Изобильной, Торчков, Бредихина и даже Журавлиного-Вершинского, на рысаках и разодетые съезжались родственники к родственникам на престол. Третий год продирали, продёргивали их волость – а до чего ж ещё многолюдна была! Мужики середовые ещё все дома, и славные здешние кони не перевелись резвостью и статями, и начищенная выездная сбруя сверкала и звенела, а на мужиках – пары и тройки суконные, достанные из сундуков, сапоги со скрипом, худых – ни на ком. А уж бабы в церковь – во всех цветах да сборочках, нык и в польтах касторового сукна, на матери – турецкая шаль, Катёна – в высоких ботинках-румынках, на шнуровке.

С синекустовских отрубов приехала к Благодарёвым в дом и адрианова жена Анфиса с тремя ребятишками. Как и гостя, а и по хозяйству пособляла, к Благодарёвым так гости и текли, на служивого смотреть. И всем бы Анфиса ничего баба, и как будто родня, а зависть свою не перегораживает, да оно и правда обидно: Адриан два раза ранетый был – а креста нет, Сенька ни разу – а два креста.

Так ведь как сложится, Сенька что ж? Сеньке и самому неловко. И, как бы исправиться, от приезда ломило его руки на работу, будто он все эти годы пушечного хобота не ворочал, снарядов не вбрасывал в казённую часть, земли не капывал, – вся та работа не в счёт, как не деланная, а вот сейчас-то бы и приложиться впервые! – так дни не такие, приехал под праздники кряду на три дня, на пир да на добрые люди, – и ходи от стола к столу, показывайся. Праздники шли косяком. В субботу – Казанская, престол. В канун перед им волостное правление и повсегда флаг вывешивало: восшествие императора, тоже-ть на престол. А в этом году накладалась на престол и Дмитровская суббота, поминовение

родителей. Следом – воскресенье, второй день престола, с молебнами по домам, и во всю гуляли, лишь к вечеру разъезжались. А на понедельник – Всех Скорбящих Радости, и опять в церкви служба, и опять на весь день праздник, уж теперь середь своих, каменных.

Так каждое утро, студёной водой от вчерашней гульбы голову проняв, шли Благодарёвы к заутрене и к обедне, дома оставивши то мать, то Катёну, а то Феньку одну с малыши.

По звону – со всех каменных холмов, изо всех домов шли, спускались и к церкви подымались разодетые сельчане – бабы в шёлковых головных и наплечных платках, алых и синих, в полусачках и даже в шубейках, кому будет жарко – в притворе повесить можно. Даже мужики в цветном, старухи в праздничном чёрном, даже мальчишки – и те в сапогах, выбирая где суше, – пройтись, показаться, куда ж и одеться?

Перед отцом Михаилом был и долг у Арсения вечный: ведь и его б, как Адриана и как сестёр, не отпустил бы отец на учење, не было достатка, и тогда ещё такого уряда не было – учиться. Уже слал отец Сеньку подпаском, да проведаль отец Михаил, и внушил Елисею и дал десять пудов ржи, чтобы только сынишка в церковную школу пошёл. (Земской тогда ещё в Каменке не было). То ещё был отец Михаил старший, нынешнему отец, кто взрослых прихожан малушками звал, покойный теперь, – а вместо него сын заступил, опять же отец Михаил Молчанов, и службы служил с той же строгостью, по воскресеньям обедня боле двух часов, и требы с тем же старанием, и такой же тихий был, так же шли к нему спросить-рассудить по совести, только уж малушками взрослых не звал. И в саду всё с лопатой и с ножницами, продолжая и в том отцовское, и домик сиренью обрастал пуще.

Прежде читал у него Арсений часы и пел в хоре – и сейчас, узнав о приезде, прислал отец Михаил наказать, чтоб на праздники прямо в хор выходил, а на Казанскую бы причастился. И кубыть третий год не вырван был Арсений, не выхвачен как волчьим укусом, не таскался между взрывов и пожаров, не хоронился в окопах и в воронках от прострела и сам не посылал немцам такого ж гостинца, – тут всё та ж была церковь издетская, своевольская, и иконы всё те на местах и ставники со свечами, и те ж перильца у клироса, и в той же ризе отец Михаил перед теми же резными воротами. И хотя доставалось Арсению и на войне постоять на молебнах и панихидах против алтаря составного рамчатого, и на тот же распев служба, а там будто не настоящая, как вся та жизнь военная не настоящая, привыкнешь – не замечаешь, а только в своё село воротясь – очнёшься. И вот опять выпевал Арсений голосом вольным, немеренным. И со своими сельскими слушал глас ко празднику:

***Не умолчим николи, Богородице, силы Твоя глаголати, недостойнии: аще бо Ты не бы предстояла молящи, кто бы нас избавил от толиких бед? кто же бы сохранил донныне свободны?***

Поётся ли иль возглашается нараспев, понятны ли кряду слова или со смыслом тёмным, за каждым ли следишь или относишься мыслью и под пение задумаешься о своём, хоть бы вот – что после войны будет, как заживём с Катёной хорошо, – а те молитвенные слова всё одно воздымают тебя над жизнью колотьбенной, как и сам этот храм, ни с чьею лучшей избой не сравнимый, в наряде однако смиренном, – каждому открыт, каждого ждёт и всех равняет. И хотя, у престольной службы стоя, всегда знают, что едва спустя начнётся общая гульба, пьянка, и конские бега, и торги, и драки – молодых парней стенка на стенку, там и разъярённых взрослых мужиков, – а тут напомяно тебе, что всё это – муть и пена, а все мы – мир, одного Бога дети, и не гоже нам друг на друга злобиться. Все стоят смирно, до времени головы гнут, у кого и гордые, и задиристые, и когда на колени надо – так все на колени, а если кто в мыслях лишь о жизни обыденной и попросил у Бога здоровья детям, скотинке аль помощи в задумке своей по хозяйству, так и тоже правильно, нету тут злого. Захленись ты, чтоб тебя разорвало и убило! – такого тут не попросят.

***Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Владычице: Ты нам помози: на Тебе надеемся и Тобою хвалимся: Твои бо есмь раби, да не постыдимся.***

Чуть если повернуться Арсению больше, то можно краем увидеть на левой, бабьей, стороне, в тесноте престольной, как стоит и молится Катёна. Такая тихоня проворная,

чистенькая, так истово глядит на Богородицу да быстро кладёт поклоны поясные, вниз легко и вверх легко, лишь платочек взлетает хвостиком. И по виду её свято-весёлому, по готовности к поклонам, никогда не сказать и в думке не представить, чтобы были у неё когда-то грешные мысли прежде, в той же баньке или до ней, или чтоб сейчас она таила их на будущее.

Пел что положено с хором Арсений, а про себя хвалил: слава Тебе, Господи, какую жёнку Ты мне послал, – и видом, и справой, и норовом хороша ты, моя жёнка, лучше не надо!

А потом валил народ из церкви, с холма рассыпаясь, – к угощениям. Кроме праздников в Каменке раньше никогда хмельного не пили, иначе ты не мужик и не хозяин. С войны отняли и казёнку – однако без хмельного не остались: брагу, пиво и всегда варили, а тут научились из зерна гнать перегон, ещё крепче водки, – на воздым подымает, такое весельство. Теперь громахонов, скажи, семь появилось в Каменке, и такую взяли моду: выставлять их на скамьях перед воротами или в раскрытом окне, для общей забавы, вперёбой гармошкам. А перед пожарной, где земля хорошо утолчена, молодёжь танцевала. И песни пели во всё горло, чтоб аж драло, с холма на холм.

А после престольного веселья всегда дрались парни, от разных деревень, вовлекая и взрослых мужиков. Ныне – веселья заметно поменьше, а драки, напреть, и без престола. В сём году драка была чуть не насмерть между пьяными рекрутами, нашими и волхонскими, не дождутся вишь немца, еле разняли урядник со стражником, пускали и воду из пожарной машины. И ещё развелось – озорство крайнее, какого раньше не слыхивали. Восемнадцатилетний Мишка Руль, сын почтенного отца, собрал компанию парней и шкодили зло, как никогда не ведено: воровали домашнюю птицу, затыкали трубы печные, и мужицкие сады обламывали – дело нестаточное, яблоки грабастать принято было всегда лишь у помещика. И ни на чём как след не пойманы, и отец с Мишкой Рулём ничего поделат не мог, ждал армии.

Эти три дня смешались, не разделить: из избы в избу, от угостья к угостью – и где кого видал? где чего набуздались? – мясо да рыбу, печево да студни. Ходил Арсений, потряхивал двумя Егорьями, с шинели на рубаху их перецепив, и который раз охоче рассказывал, за что дали, и как вообще воюют, и какие германцы, и о солдатской славной службе кричал через рёв, через гармонь, через стол наискось: “Знай службу, плюй в ружьё, да не мочи дула!!” Аль: “Не что солдату и без шубы деется, идёт да греется!” Но хотя и ещё такое было присловье – “солдат в отпуску – рубаха из порток”, а сам затянутый ходил, да рядом с таким становитым батькой живот распухнуть и погорбиться – страм. И чего б ни спросили Сеньку, через гул крича, или за грудь тряся, или руку на плечо, – на всё он ответ давал уверенный, когда и знал и не знал: и – правда ль, что немец уже не бонбы кидает, а прям огнём рыгает? и – правда ль, что за хранцузов чёрные черти воюют, прям-таки во плоти, и не скрываются? И – зачем же с немцем так люто воевать, коли они – крещёный народ, вроде нас? другое дело – с турками, с японцами...?

Ну, и пето было во всю глотку.

Так и толкались эти дни, всё в стенах, и только переходя из избы в избу или выйдя голову обветрить на сырой холодок, видел Арсений небо за тучками, порой растянутыми до полотна, солнышком просвеченного, и видел раскинутое своё село: от одной горки, где стоял помещичий давыдовский дом и откуда главный порядок спускался к мосту через ручей, – и дальше от моста, от плужниковского кирпичного дома наверх, на другую горку, туда, за увал, к новому спуску, уже к Савале, и новому холму на Князев лес, – аль вбок, на холм, где храм, дом и сад поповский, кладбище, приходская школа, где Арсений учился, земская школа, больница, лошадиная лечебница да роща. И ещё распахнут был вид на просторные луга к Савале, как она обходила село дальнею дугой, на хутора кое-где отступя, и как большак, петлянув, уходил на станцию Ржакса. И на это всё погляды, да представив за Савалою, там где-то, и свой уже будущий хутор выросшим, – опять к столу, яства пересменились, зовут томлёные кравайцы в сливки кунать аль черепельники заливать чаем.

А потом праздничный обед сном золотили.

Эти ж дни нашёлся досуг и Савостейку к себе приручать – ребёнка рази ж минуешь, не потрогав? К отцовским рукам Савоська ещё не идёт, прячется за мать да за бабу, “деда” уж говорит и за усы его охотно тягает, а “тятю” не понимает. Но за три недели ещё ка-ак привыкнет. До того свою кровь чуял в нём Арсений, не просто знал, что – его ребёнок, от своей жены, но коли б и скрыли от него, солгали бы, что дитя чужое, всё равно он кровно бы разыскал, отличил, что это – его капелька. И малыш тоже вот-вот почует, уж так на отца глаза вылупляет, уж и приникал разок, тихо так приникал.

Да что Савостейка – Проська из зыбки, отца завидев, соску покидает и смотрит за ним, смотрит.

Глаза у Проськи – как небо в вешний день.

Сегодня, Всех Скорбящих, опять были у обедни, но покороче. После сказал батюшка проповедь, согласно ко дню, что скорбящие – все мы, что никого скорби не обходят, и ещё горшие не обойдут, но скорби должны нас не разъединять, а объединять перед Богом, объединять пуще удач, радостей и праздников.

А когда расходились от обедни, то невдали от паперти подошёл к Елисею и Арсению – сам Плужников, видный мужчина со смоляным чубом, в поддёвке дорогого тёмно-синего сукна, в лаковых сапогах с жёсткими негармошчатыми голенищами, – и пригласил отца и сына к себе на обед через два часа.

Почёт георгиевскому кавалеру! И отцу не мене. Плужников не по достатку, не по возрасту, а по мирскому счёту был как бы первый мужик в волости – и достиг того в немногие годы уже после смуты. Раньше было и не предвидеть, как он в гору пойдёт: он скорее был баламут, сред тех был нескольких мужиков, кого помещик Василь Васильич да дьяконов сын Алёшка Херсонский в кустах подговаривали против царя. Сам-то Василь Васильич во Францию ушёл, а с их волости и двух соседних собрали семёрку мужиков, сослали в Олонецкую губернию, средь их и Плужникова. Да не за то одно, а какую-то он связь имел с е-серами из Тамбова. А ещё тогда ж он был староста товарищества, и собрали деньги, землю покупать, – а перед самым банком будто е-серы сменили им на фальшивые? До того точно никто не доведен, но Плужников два года в ссылке пробыл. А воротился – не узнать: как и был – остался мужичий вожак, а – разумный. Поставил кирпичный дом, хозяйство поднял, две сотни ульев, докупил земли да затеял крестьянское кредитное товарищество, открыл мужикам эту выгоду и простор: не хлопотать, не выискивать покупателя своему товару, самим далеко не ездить, а всё выправит товарищество, и тебе же ссуду даст, хорошо! – такого сроду не было. В годы перед войной своими делами, суждениями и мирскими обсоветами заслужил Плужников, лишь недавно за сорок переступя, звание “батьки”, но не как прозвище уличное, то отлипло, а так и чли его Григорием Наумовичем. Как жожака зазнали его и далеко шире волости.

Хотя Плужников и постоянно уваживал старшего Благодарёва то словом, поклоном, то делом каким по кредитному обществу, однако за стол друг ко другу они не хаживали, и понял Елисей Никифорович, что зовёт его Плужников больше ради сына. Но и в этом состояла не обида, а почёт, ибо верно говорят: не гордись отцом, гордись сыном-молодцом: отца себе не выбираешь, не возвращаешь, а сын – от начала, до конца твоё племя, твой плод, по нему и осудишься, по нему и охвалишься.

И степенно головою кивнув-поклонясь, Елисей Никифорович принял приглашение за себя и за сына.

Удатная голова у старика и на шее как молодой. Взгляд с годами покойный, а до того пронизательный, что даже Плужников принял его без знакомого своего превосходства над мужиками. Он-то приглашал, да, ради сына, фигурой на селе становился сын, двойной Георгий, и грамотен, и орёл, Плужников уже жил близостью послевоенного деревенского устройства, где многое мнилось ему обновить и расширить, и этикие орлы ещё как пригодятся. Однако ж вот и отец как хорош. Ох, велика ещё наша деревенская сила, не выбита и двухлетней войною. Плужников усвоил за собой обязанность сплачивать всю эту

силу.

А рядом стоял, поджидал Плужникова – в суконной тройке с часовой серебряной цепочкой от кармана – свой сельский торговец, уважаемый человек, купец-тысячник Евпатий Бруякин, а по наружности так ничего важного, умылся и вытерся. Но между ними уже начат был важный и даже ошеломительный разговор – и теперь предстояло продолжить. Бруякин открыл Плужникову своё решение, ещё никому не объявленное: свернуть и прекратить всякую торговлю! Плужников встретил резко несогласно. Это в голову не убиралось: чтоб свой купец, и ни за так, на гладком месте, бросил торговлю? Сейчас у Плужникова дома ещё городской гость сидел, надо идти, и они с Бруякиным, чтобы договорить, пошли в беседе, у всех на виду, медленным праздничным шагом по сухому косогору и потом крюком мимо земской больницы.

Торговать начал ещё отец Евпатия – Гаврила, а Евпатий – с 8 лет, под рукой отца, сперва – в разъездах. Уже с 13 лет имел амбарные права, хотя записанные на отца, с 16 – на себя, потом и бакалейно-галантерейные права, – и с тех пор вот уже 30 лет, и вся волость знала, что у Сати (по-уличному) есть – всё. Лавка его была на главной улице Каменки и подъезд к ней усыпан речной галькой. Снаружи сбоку соштабелёваны брёвна, плахи, столбы, жердинник, тёс, тут же нанятые рабочие пилили вдоль. Перед входом стояли весы до 10 пудов и керосиновая бочка с насосом. Толстые наружные двери и ставни закладывались железными накладками с болтами в пробой, а когда заперты были только остеклённые двери, то пришедший дёргал звонок за верёвку, и кто-ни-то из семьи спускался со второго этажа их полукаменника обслужить. В большом помещении лавки густо было запахов, заманчивых для крестьянина, а глаза разбегались. Бочки с дёгтем, олифой, ящики с колёсной мазью, мелом, известью, гляди не споткнись на полу о ящики с подковами и гвоздями всех размеров, у стен – коробки со стеклом. Цепные весы с набором фунтовых гирь. Ободья, дуги. Расписная деревянная посуда. На полках – ряды гончарной посуды из глины обыкновенной и белой, с цветной поливой и без поливы, – корчаги, крынки, горшки, столовые чашки и хлебницы. Дальше – эмалированные кастрюли, миски, чайники, кружки. Чугунки, сковородки, крытые жаровни. Перейди на другую сторону – бочки с селёдкой и солёной рыбой, ящики с сушёной и копчёной воблой. На возвышении в три ступеньки (чтоб легче снимать к весам и в телегу) – рогожные кули с солью, мешки с мукой, манкой, сахаром, и сахар в конических головах, обёрнутых синей бумагой и шпагатом, – всех размеров от полной головы и до осьмушки. Там и пилёный сахар в коробочках, но его не берут, он тает легко. В откосных ящиках – пряники, жамки, конфеты, леденцы, ирис, шоколадки в золотистой бумаге монетками в “рубль” и в “полтинник”, прессованный изюм, финики, винные ягоды, сушёные сливы. (А летом – арбузы, дыни и виноград). И другая бакалея. И папиросы – Шурымуры, дядя Костя и Козьма Крючков, и машинки для набивки, табак листовой, сечёная махорка, курительная бумага, писчая бумага, тетради, химические и цветные карандаши, грифельные доски.

Но больше-то всего любил Сатя торговать красным товаром – ситцем, сатином, даже батистом и шёлком: этот товар давал ему дело и сближение с бабами, которых он страсть любил, тем более, чем сам был невиден. С этим товаром он выезжал и на все окружные ярмарки, на двух подводах. Этот товар занимал видные полки в его лавке. И полки же были забиты драпом, плюшем, шевиотом. И сукном для штанов, пиджаков, костюмов. И шалями шерстяными и пуховыми, оренбургскими и пензенскими. И головными платками, и разноцветными лентами. С верхних полок доставали товар с лесенки, а то даже только ухватом. А на прилавке лежали приотвёрнутые рулоны клеёнок. А под стёклами – пуговицы ста сортов, кружева, булавки, приколки, вязальные спицы, гребни, расчёски. А ещё на подставке строились валенки, чёсанки, бурки, чёрные, серые, белые, даже и с красной и зелёной вышивкой. И резиновые сверкающие галоши, мужские и бабьи, полуглубокие и глубокие. Единственное чем Бруякин не торговал – кожаной обувью. Но продавал заготовки.

И этакую тридцатилетнюю заведенность, этакую махину и богатство, и удобство села – и прикрыть, закрыть, уничтожить? Разом и свою жизнь прикрыть – и обезличить Каменку?

Да – зачем же? И куда это всё поденется?

Плужников так и взнялся против. Но убеждён, что отговорит Евпатия, прихватит его замысел в начале.

У Евпатия Бруякина лицо было мягкое, даже услужливое, ни в чём по своете не прорезанное, – в чём бы тут и перебору держаться? Чуть-чуть бородишка, чуть-чуть усишки. Вид его был всегда такой, что слушает охотно, готов учиться, готов исполнить. А нет, глаза смекучие, плутовитые, знали себе своё.

– Э-эх, Григорий Наумыч, – вздыхал он, многими ночами отдуманно. – Спроси птицу, откуда знает про непогоду вперёд? Почему загодя прячется? А иначе бы сплошь гибла. Так и я. Вот чую.

– Да из чего чуешь? Почему я не чую? Где это видно? – внушал ему Плужников властно, как привык. – Что, с товарами похужело?

– Пока ещё не видно, – соглашался Евпатий. А в глазах – тоска уколами: – Однако – чую. Как в Пятом году Анохина разграбили, Солововых. И опять на то поворачивает.

– Да никак не на то! – сердился Плужников, с ним поди поспорь. – Дело вертается к мужицкому развороту. После войны-то, гляди, мы и заварим дело!

– Ох, не-е... Ох, не-е, Григорий Наумыч. Не прошибись. Торг любит волю. А не будет её.

– Воли не будет?? Да откуда ты берёшь? не будет? Именно к нашей воле идёт! – посверкивал смоляный Плужников.

– О-о-ох, не прошибись, Григорий Наумыч. Худое время подошло.

– Так тем боле – миру послужить? Свой купец – весь народ укрепляет.

– Торг – дружбы не знает, – разводил Евпатий руки – однако уцепчивые, ловкие руки, с сильными пальцами. – Затворяй ворота, пока улица пуста.

Плужников так и брал взглядом насквозь. И – недоуменно. Кто-то из них двоих шибко промахивался. Плужников не привык, чтобы – он.

– И что же, кто же место подхватит? – уже соображал он деятельно. – Кооперация?

Только чуть усмехнулся Бруякин под мягкими белобрысыми усишками:

– Без хозяина товар сирота.

– А ты сам – что делать будешь?

– Да хоть земли прикуплю, запашку увеличу.

Он хозяйство полевое и без того не бросал.

– Ну, погоди, не решай, подумаем! А куда – товар? Да куда же всё? Да как же Каменка будет? Да не может быть!

Разговор прекратили, – уже подошли к дому Плужникова – к восьмиоконному, крытому железом кирпичному пятистенку с выступными кирпичными наличниками, вдоль ручья, поперёк улицы, у самого моста.

Хотел Бруякин к себе возвращаться, но зазвал Плужников зайти потолковать с приезжим городским – это Зяблицкий был, прежде по земству, а уж сколько-то лет по кооперации, а теперь ещё и уполномоченный по закупкам. Он ехал в Каменку по делу, в понедельник с утра, никаких Всех Скорбящих не знал, и что престол ещё не кончился, – и вот вместо дела попал к браге да к стерляжке.

Агаша и тёща хлопотали в избе, и детишки там, а мужчины прошли прямо в горницу.

Приезжий сидел-сучал, тут обрадовался. Был он в городской паре, с дюже белым воротничком, и светленько глядел через очёчки. Щупел, с шейкой тонкой:

– Анатолий Сергеич...

Ну и Бруякин приосаниться умеет:

– Евпатий Гаврилыч.

А Плужников с усмешкой:

– Вот, поговори с ним, он и тебя в кооперацию втянет.

Горница была аршин семь на семь, с тремя окнами к улице, с тремя к ручью, и даже в тёмный день и через цветы на подоконниках и кружевные занавески – светла. Пол – из



двенадцативершковых досок, ни горбинки, ни щёлки, покрашен вгладь, а стены – по-городскому штукатурены и белены. И обставлена была горница тоже по-городскому: ни единой скамьи, гардероб дубовый, горка с лучшей посудой, высокое зеркало в резной раме, смотришь хоть в целый рост, кровать – из никелированных трубок (а по-деревенски – свисает кружевной подзор ручной работы, покрывала одно из-под другого, по две подушки в головах и в ногах). И стол – не в красном углу (и самого красного угла нет), а выдвинут на середину, под шитой бордовой скатертью, и вокруг него гнутые стулья. Ещё – диван жёсткий, с изрезною спинкой, граммофон из угла трубу наставил, и подле него – кресло.

Плужников говорил: старое хвали, да со двора гони.

Зяблицкий и видел в таких, как Плужников, – вход в деревню для интеллигенции и для разумных идей. Он уже второй десяток лет служил то земским статистиком и экономистом, то вот кооператором, тем самым “третьим элементом”, ненавистным правительству за революционерство, но и презренным для решительных революционеров за то, что избрали кочку “малых дел”: какие-то кредиты, погашенные или просроченные, какие-то товары, проданные или купленные без наживы, вскоре затем однако съеденные или изношенные, – разве могли рассматриваться как достойная альтернатива огромным всечеловеческим встряхам и перерождениям, мгновенному огненнокрылому спасению всего человечества сразу? И многие вожди общественного мнения, и передовые писатели тоже высмеивали увязчивость и бесперспективность скромного болотца “малых дел”. Правда, были и такие старейшие революционеры, как Чайковский, кто верно учил, что интеллигенту нет другого доверчивого входа в деревню, как через мелкую кооперацию. И с упорством и мужеством устаивали земские интеллигенты между гонениями от правительства и презрением от передовой молодёжи, терпеливо гнулись и работали – чтобы в последние предвоенные годы со скромным торжеством дожждаться уверенного роста и даже расцвета терпеливой своей деятельности, дожждаться, чтоб увлечь сельчан. И часом награды для Зяблицкого было всегда – свои заветные мнения излагать вот таким развитым деревенским собеседникам, как эти. Плужников не остановился на кредитном товариществе, а зазывал в село зимами агрономических лекторов, а искал устроить прокатную станцию сельскохозяйственных машин и постоянный агрономический пункт. Вот в союзе с такими-то людьми, верил Зяблицкий, и можно преобразовать деревню, а значит и всю Россию.

– Но должен я возразить вам, Григорий Наумович, господа, что такие практические деятели, как вы, понимают кооперацию уже её истинного значения. Кооперация – это не только торговый механизм, не только средство произвести экономию, получить выгоду. Кооперация – это широкое движение, определяемое идеалами человека. Она прежде всего – сила воспитательная. Выборный кооператор – это как бы первый маленький народный министр. Народ дал ему указания – и народ же спросит с него отчёта. Кооперация приучает массы отвоёвывать свои правовые интересы в условиях неправового государства. Это – самостоятельный путь к свободе.

И – с надеждой оборачивал гладковолосую голову к ширококостной плужниковской, с чёрным бородыным окладом. А тот:

– Всегда я за кооперацию, кто ж, как не я. Но всю мужицкую Россию кооперацией не вытянуть, не та лошадка.

Ах, огорчился Зяблицкий, когда и с этой стороны руку его отталкивали. И горячей:

– Кооперация должна выдвинуть собственную крестьянскую интеллигенцию. Она должна перерабатывать привычки и личности, продолжать усилия народной школы. Это мысль нашего основоположника Роберта Оуэна. Всякий общественный строй имеет выбор укрепиться и держаться или на лучших людях общества, или на отребьи. Так вот кооперация должна помочь первому исходу...

Станный взгляд был у этого Бруякина – как будто не перекорный, а и – не смотрящий. Не раз такой взгляд встречал Зяблицкий у мужиков и отчаивался: не проглядишь их и не проймёшь. А Плужников поднахмурился:

– Так-то оно так. А всё ж по первому нужна нам кооперация – от города застою иметь.

А городские через неё лезут нас воспитывать. А мы – сами по себе. Мы – сами воспитаемся, как нам надо.

– Так – именно сами! сами! – пальцы тонкие пять на пять сложив и голосом уговорным Зяблицкий. – И я же это... А пока – как же вы можете отказываться от городской помощи?

– **Помощи** ? – волковато поглядел Плужников. И Бруякину: – Да нешто сроду когда мы видали от города помощь? А не обдираловку одну? Город – не друг нам. Город – **враг** !

И Бруякин со своим неперекорным, несмотрящим взглядом опять же оказывался согласен.

Зяблицкий так испугался, даже всплеснулся, откинулся:

– Григорий Наумович, да умоляю вас! Как вы можете так противопоставлять? Да вы почитайте газеты, посмотрите думские прения, что говорят на съездах Земгора...

И тяжёл как будто Плужников, а взбросчив. Без рук, одними ногами кресло из-под себя отодвинул, встал:

– Не ждёт Мартын  
Чужих полтин,  
Стоит Мартын  
За свой алтын!

Приходит крестьянству своё слово сказать. Читал я ваши думские прения! Нам ваши споры, как надо министров назначать, – невнятны. Ваша Дума еле слышна самым грамотным и только раздражает. Нам бы вот – земство волостное, да! Газеты ваши, Земгор – читаю! Пишут: обуздать надо деревню, забогатела деревня, – вот что пишут, сукины сыны! Сунуть деревне твёрдые цены пониже!

Его тёмно-карие глаза горели под чубом, плечи развернулись, а кулак – как молот.

И – пошёл по просторной горнице, сапогами лаковыми скрипя, брюки-галифе, витым шнуром туго опоясан по жаркой шёлковой рубаше с вышивкой. На поворотах ладен. От окна:

– Забогатела? Да, у всех – бумажки, в кредитное товарищество вклады несут охотно, а полежат эти деньги – что на них потом подымешь? Разве хозяйство на них потом восставишь? Забогатела? Полтора целковых за рожь? Два тридцать за пшеницу? А сапоги, – хлоп себя по голенищу, – до войны семь рублей стоили, а сейчас – четверть сотни? Стало быть, семнадцать пудов ржи?

Замкнутый Бруякин, согнувшись и сведя руки на коленях, сидел смирно.

А Плужников – от печи, от кафельной глади, с росту:

– Потому что город – совесть потерял! Или не имел её никогда. Кто первый начал? Город! Сахара кто не дал? Город! Тогда мы яйца придержали. Да хлеб в России – стал дешевле, он не в десять раз подорожал, как всё городское. Нас обдирают – и на нас же зубами лязгают?

Зяблицкий ворочался на стуле как на еже, вослед переходам Плужникова, упрасывая:

– Но Григорий Наумыч! Но нельзя же такие крайние выводы!... Нельзя же говорить, что город деревне – враг!

Воротился Плужников к столу и кулаком легонечко пристукнул:

– Именно – враг! – И ваза призвенела. – Да вот вы, милый дружок, хороший человек, а приехали к нам тоже ведь насчёт хлебушка? – **запасы учесть** ? Конечно, для земства, по-дружески, не для отобранья. А там губернатор приказ расклеит – отбирать, так вы и отбирать прикатите?

Зяблицкий взмолился:

– Да что вы, Григорий Наумыч, да что вы! Вы слишком ожесточились. Кто ж это осмелится – силою хлеб из амбаров отбирать?!

И правда, в голову даже невступно: кровнорощенный – и силой отымать? Да неужто мужики дадут?!

И этот хилой, нежный, шейка петушиная – ему ли хлеб у деревни отымать? Смешно.

И Плужников – ходом, уже от двери:

– А я скажу вам: армию мы, конечно, кормить согласны. А – город? да спекулянтов, да банки? – нет! не согласны! В русских городах ныне кого только не собралось – все западные губернии тут толкутся, ничего не робят – и всех корми, тамбовский мужик? Врёте! Вот поедете – передайте: хлеба мы так просто из рук не выпустим! Поимейте: мужик, что рогатина, как упрётся – так и стоит. Армии мы хлеб конечно дадим, а Петербургу – не дадим!!!

Тут вошла Агаша – во всём праздничном, как в церкви была, лишь передник накинув, тоже цветистый чистенький, и в тех же литых галошах новеньких поверх туфель. Несла она полотняную скатерть, на стол накрывать, но и с известием:

– Евпатий Гаврилыч, сынок за тобой пришёл, кличет, гости к вам приехали.

Ну, значит, идти. Да он тут всё и молчал, как и нет его. А – за всем услезивал.

А у бабы своё соображение:

– Коля, Коля, а поди-ка сюда! – позвала паренька из сеней.

Вошёл, стесняясь, 14-летний Коля, тёмно-русовая голова вся в дыбистых завитках, для своего возраста крупен.

– Во кавалер хорош, и непричёсанный! – объявила Агаша. – А знаешь ты, Евпатий Гаврилыч, что он у тебя уже со взрослыми бабами спознался?

И Коля сразу залился краской, выдавая правду.

– Гляди, – одобрила Агаша, – всё же к стыду чулый.

А Евпатий посмотрел смышлёным быстрым взглядом на него, на неё, сказал только:

– Да ну?

Как и не доверяя. Но и не к спору.

Коля пылал, не отходил.

– А ты не доведомлен? – как обрадовалась Агаша, для баб слаще нет игры. – А пусть он тебе сам расскажет. Видели люди, как ходит.

– Ну, это исправить можно, – усмехнулся Бруякин. – К лавке лицом, по заду дубцом, вот тебе и под венцом.

Пошли.

Ну, бабы язвы! – напугался, рассердился Коля. И всё доглядят, подсмотрят, и на всё языки отточены. Уж так таились – как просочилось? Аж захолонул он, ждал, как отец сейчас обрушится, и уж не знал – отвираться или признаваться. Да хоть бы матке не говорил. Матка у Коли не родная, но лучше родной. Стыдно.

Но вышли – отец ни слова. Очень Коля удивился. Шли рядом, нога к ноге, – и ни слова. Или дома всё грянет? и правда дубцом? Ещё хуже. Теперь-то, после Маруси-солдатки, Коля Сатич переходил как бы во взрослые мужчины. Но против отца и против дубца – всё ещё был бессилён.

А отец – молчал, вот диво. Пронозистой того, что Агаша открыла, – и быть не может. А отец – не распахивал гнева.

У отца – своя думка была. Он ещё проверял своё решение – кончать торговлю. Это был – крушной поворот всей жизни, как бы измена и отцу, и себе, перебив родового дела. И ничто не показывало явно, что надо кончать: нестача товаров, того-другого? – наладится, как война кончится. Но какое-то внутреннее сжатие предупреждало Бруякина о неведомой тревоге, и даже так маячило, что ещё успеет ли он свернуться? Свернуться тоже нужен год, и два. А какие-то лучшие товары, не знающие порчи, оставить в запас на разживу, до доброго времени. Припрятать поглубже. И разговор с Плужниковым и даже с этим приезжим только убеждал его, неведомым образом, что жизнь – вся будет меняться, и прежняя вольная торговля кончилась.

А про мальчишку – да, это новость была ему, не знал. В четырнадцать лет? – рано. Но впрочем, узнавал в младшем сыне свою кровь, (старший не таков, а отец, Гаврила, тоже был пристрастен, чинил бабам прялки, оттачивал веретёна – редко за деньги, а больше по любви). Имя Евпатий – и значило “чувствительный”. Он и сам близ этого возраста стал шарить по

бабам. И с той поры по последнюю – не переставал их любить, и при первой жене, и при второй, любил дарить им тайком красного товару, и не зря, любил свадьбы, ярмарочные балы, подпаивать женщин, сам спиртного ни капли не пил, и шутить с ними, пьяненькими. А Колька в четырнадцать? Здорово. Ну пусть, скорей мужиком станет, скорей и помощником, хотя уже и с десяти он боронил, жал, косил.

А Колька шёл, не чуя земли под подошвами – но и смелея: молчал отец!

Марусе-смуглянке двадцать два года, сама она с тамбовского Порохового, а вышла замуж в Каменку. От мужа её год были вести с войны, потом не стало. Знать, томилась, как все солдатки. И – сама наметила мальчика, и через подругу и подругиного парня – сама позвала. Могла ведь и старшего парня выбрать – а захотела его. И так впервые Коля Сатич спознался, что чем-то он особенный. Знать-то всё он знал с семи лет, с девочками играли в женитьбы, но только от Маруси – впервые отведал! Избёнка её была на краю села, к Савале, – и туда он пробирался к ней скрытно, выколачиваясь сердцем, – и полностью отдавался в её страстную власть. Она и раздеваться ему не давала самому, всё снимала сама и целовала, где хотела, и повелевала им, как только ей желательно, и без усталости теребила, и всячески наслаждалась. Глаза её горели угольками, губы – кирпичного цвета, а в щеках – багровый румянец. Отесала мальчика и научила адским шалостям.

И стал Коля Сатич чувствовать себя взрослым. И хотя никто в селе не знал, вот первый раз прорвалось от Агаши, – а заметил он, что как будто и девки в нём что-то почуяли, – и он тоже теперь их как насквозь видел, и иначе себя с ними вёл, ласково. Замутилась его голова, и захотелось ему лихой, заблудной дороги. Как сказала ему Маруся, смеясь рассыпчато: “Ах, Коленька, это первое счастье, коли в глазах стыда нет. У тебя – тоже”. Уже очень ему досаждало, что отец всё слал его в земскую школу, и переростком. И никак он там не справлялся кончить науки.

И первое, чего он теперь добивался, – прильнуть к озорной компании парней, старше его на два и на четыре года, была такая, – во главе их Мишка Руль, первый дикий озорник, драчун и герой. Отец Руля пытался ещё драть его, но Мишка отбил: “Если ещё наскочишь – зарежу”. Чтобы войти в эту компанию, Коля уже воровал из отцовской лавки – папиросы ребятам, а другой товар менял на самогон и ставил парням бутылки. И с завистью и подбострастием слушал об их озорствах, уже учинённых или готовимых. Руль шутил надо всеми, кто ему замечал, или грозил укоротить. А теперь они издумывали, как бы разыграть, развередить попа. Разинув рот, слушали парни рассказы Руля о его похождениях:

– А не помните, как у Мокея Лихванцева племенной жеребец срывался? А никто не знает, ведь это я. А зачем? А он много уставлять хотел по селу порядка, и решил я ему отомстить на его Липушке, а заодно и с Липушкой погреться.

Парни только ахали дерзости замысла: да как же всё умудрить?

– Подметил я, как они с Липой в баню пошли, уже смеркалось, покрался к нему во двор и жеребца на волю выпустил. А потом через дом стучу и его племяшке, Лушке: беги к дяде в баню, его жеребец в луга сорвался! А сам из-за кустов вблизи смотрю: оделся Мокей, побег жеребца искать, ну это на два часа верных. Не торопясь вхожу в ихний предбанник, раздеваюсь, – Липушка за дверью плещется, думает, муж вернулся. Вхожу: “Это я, Руль, не бойся”. Плошка горит, увидела – ахнула, и на полку от меня карабкается: “Убирайся! я тебя кипятком оболью!” Я ей грожу: “Если плеснёшь – я твою голову сейчас в котёл суну, там и останешься!” – “Убирайся! Мокею скажу!” – “Когда уйду – говори. А пока – слезай сюда, Липушка, на пол”. – “Я тебя расцарапаю!” – “Да я тебя тогда раздеру!” И тащу её с полки, а мягкая, братцы! вот бабы мягкие бывают. Отбивается. “Если будешь барахтаться – я сам Мокею скажу, что это ты подговорила меня жеребца выпустить!” – “Ай, – стонет, – беда мне, пропала я, что ты наделал, изверг? Ну, грех – на тебе”. – “На мне, говорю, на мне”. И – распустилась, подалась.

Парни только завывали: ну, молодец! Ну, и нам бы так!

Колька изнывал от зависти, от лихости, от ревности.

А Руль поучал:

– Вот так, ребята, когда женитесь – своим бабам не верьте. Холостой всегда близ них поживится. Не стойкие они. И ведь – не сказала Мокею, нет.

## 46

В шитой рубахе и пузырьчатых брюках, как офицерские, встретил Плужников Благодарёвых на переднем крыльце, пожал руку ещё раз отцу, ещё раз сыну, повёл в долгие сени. Тут они раздевались перед дверью в горницу, и сюда ж из избыной двери вышла им поклониться – Агафья бы Анастасьевна, коли б не попросту Агаша, не многим-то старше Катёны, на одни поседки с ней ходили. За ней и детишки из избы выглёдывали. Но хозяин приглашал гостей в горницу.

Там знакомили с приезжим гостем, городским, ручку мягкую бережно подавал: – Анатолий Сергеич...

Благодарёвы пока на диван, Плужников к им кресло развернул, сел нога за ногу, и городской сел. А Агаша другою дверью, прямо из избы, носила на стол: забрякала блестящими ложками, высыпала вилок с костяными чёрно-белыми ручками, городских ножей с посвёрком, расставила поставки тяжёлые глазированные, стакашки да рюмки, несла кувшины, графины и на вытянутом блюде залом, и кажись заливную стерлядь, и другое холодное, и помидорное, и грибы всех видов, сыр самоделковый, – как на дюжину человек. И уж кажется – едено, едено эти дни, некуда больше и толкать, а глаз между разговором всё замечает сам, и легчает беседа, распокладывает к хозяину.

Агаша – в праздничном голубом сарафане-суконнике с белыми тонкими рубашечными рукавами врасфуфыр. Туга, крепка, и в руках не перетончена. Ходит с подносами полными – спины не скривит, и не склонит головы с толстыми соломенными косами, закрученными вокруг лба, быстро ходит – а не спешит-семенит, быстро ходит – а в галошиках неслышно.

Плужников – приветливо и в открытую: де, таких молодцов, как Арсений, побольше бы нам в Каменку, война не бесконечная, а вот окончится – и все головы, и все руки, и весь тот нагляд, что в дальних странах добывается, – нам пригодится тут. Что, мол, после войны не прежняя жизнь и не по-старому пойдёт, а как после смертной болезни сдюжавший человек весь наскрозь новеет, и многое ему по-новому видится и по-новому он делает, – так и нам достанется.

Зорко смотрел на него Благодарёв-старший, такая у него поглядка зоркая, из-под пшеничных бровей, сроду: что на Байкале видел далёкий парус, что в поле за сто саженой мышь, а в комнате от избытка зрения прищуривался, чтоб лишнего не видеть. Или проглядывая, то ли человек думает, что говорит.

То. Основательно обмыслял Плужников жизнь, не только какую работу с утра зачинать. Думал он – за мир.

А – война как? – порасспросить хотел он Арсения. Деловито: с оружием как? со снарядами? правда ль, что теперь хватает всего? А – людей? Роты, батареи – полны ли?

Да переполнёхоньки. В пехотных окопах дюже и дюже толкаются, одной миной пятерых накрывает. Но, правда, нашего русского люда сильно повыбило, гонят на замен инородцев, иноверцев.

А что солдаты думают? О чём меж собой говорят?

О чём же говорят? Наши беседы и пересказывать ни к ляду: кто где давеча был при обстреле, при газах, как кого цапануло; да про бабу свою – не сбалует ли; да про хозяйство – как его там тянут без работников; да как лошадей немцы куют не по-нашенски; да как белорусы...

Правильно. Ну, а – обо всей войне? о мире? Есть ли мочь довоевать до концу?

Да вот, немцы в штабах одолеют. Каб измены у нас не было...

А – есть ли она?

Да так, природно рассудить, так может и нету. А больно уж обидно, ежели есть. Вот и на Гришку клепают.

На Гришку оба Благодарёва сердиты: ведь из мужиков, как же он-то? Вот так на нашего брата надейся. Пусти мужика наверх – захлещётся тут же, своих забудет, и хуже всякого барина станет. Что ж, до такой выси добратся, саму, может, и царицу покрыл, – и за мужика не заступиться? Тут тебе твёрдые цены суют, тут гвоздя не достанешь, не то что косы, – а он там пирует-разливается?

– Да это всё бабий вздор, – отмахивался Плужников. Он до корня искал. Гришка-то Гришкой, но не согласен Григорий Наумович, что на мужика надежи нет. **Только** на мужика! **именно** на него! Мужиков – только мужики сами и выручат, сами себя! – и пора к тому просыпаться.

В том месяце, в ноябре, какой-то, вишь, съезд сельских хозяев будет в Петербурге, так может хоть там какой прояснится толк.

А Григорий Наумыча туда не зовут?

– Да вот не знаю, жду. Из Тамбова билет сулили, пришлют ли.

Ну, и к столу! Каждому своя сторона, Арсений – супротив Плужникова, отец – супротив того гостёчка. Манер городской: перед каждым тарелка и большая, и малая, а ложки в яства на блюдах встроены, значит смекай, где берег, где край, не черпай сразу к роту, а перегрузку делай на свою тарелку (то ж на то, лишь размазывать да студить), из отложенного ешь, а на новый раз приглашения жди – мол, берите, пожалуйста, что ж вы смотрите? Этот манер господский Арсений видал у офицеров, знал, а вот батька бы маху не дал. А ничего, батька как по льду пошёл: лишнего не подвинется, осторожною, а глазами наперёд глядь, глядь. Однако забота как верёвками рот и голову вяжет.

А хозяин в руки – большой кувшин с сурепкою, и полил, полил по поставкам – густую, коричневую, маслянистую брагу, и пошла брага в пену, только подхватывай.

– Ну, для почину выпить по чину. Агаша, ступай сюда! За нашего воина георгиевского! Чтобы славно довоёвывал да целый возвращался – к деткам, к жене, к родителям и к нам ко всем. Много повыбило – а молодцы нам нужны!

Поставки глухо устукиваются, по-гончарному. Не хлебная брага, медовая. Не пожалела Агаша трудов, за много дней готовила. Обопьёшься. И крепость ни-ча-во.

Агаша так и не присела – стоя выпила с сидящими мужиками и – поклонилась Арсению. Как старшему... А ведь равно гуляли когда-то. Во как война поворачивает.

Пошла-а брага по крови. И сил избыток, и почёта избыток, а куда эти руки, куда головы – сам Арсений ещё не понимает. Ну, куда-то-сь приснадобятся.

А городской гость, к столу-то сел, не перекрестясь, теперь на Благодарёвых смотрел через очки светленько и, перемежая с пустым ротом для речи, скусно так спрашивал:

– А как, господа, вы относитесь к кооперации?

Арсений помалкивал. Наворотили, наворотили на его молодой памяти – кооперация, мобилизация, тилигенция, революция, реквизиция, – только успевай продираться, как в еловом подсаде.

А отец – лучше тут натёртый, сразу и взялся:

– Да как? Гвозди до войны – два рубля за пуд, а теперь сорок? Ни бороны, ни плуга не починить, даже подковать нечем. Ось подмазать – нечем. А уж лобогрейку или веялку ни за какую цену не достать.

Приезжий выглядит как ребёнок, ещё не битый, не тасканный, одного добра от жизни ждёт.

А Агаша сновала тихо – в избу к пече и назад, ещё стол подснарядить, инде на ходу приговорит кушать, а так чтобы мужскому разговору не мешать. А тут про цены услышала – и сорвалась, на городского, как он единый виноват:

– А сахар – полтора целковых за фунт, такое видано? Аршин ситца стоил 12 копеек, а щас 90! То и обидно, что городские вертят призывом цены, где-й-то там товары прячут.

Горяча Агашка. То мужней брови не пропустит движенья, то схватилась, её только выпусти, так и режет.

Посмеивается Плужников, как будто нравно ему. Чёрную бороду положил на крепкий

свод рук и загудел, объясняя! Арсению:

– Кооперация – это товарищество. И – кредитное, как у нас. И ссудо-сберегательное.

– Так-к... артель стало быть? – уяснял Арсений. Много сразу зацепить – быстро хорошо не бывает.

Городской – зубки белые кажет, и ещё сладчей и довольней, как бы и строгий взор Благодарёва-отца умягчить, да и сына вниманием не обходя:

– Артель, да, только – уездная, губернская, даже всероссийская.

Григорий Наумович – попроще:

– Будь бы у нас сейчас сильная единая кооперация – знали бы мы, где закупить дёшево, хоть и в Нижнем, хоть и в Москве. И спекулянтам делать бы нечего. А каким товаром обменялись бы и артель с артелью, наша, Понзари, Пановы Кусты. Артель может и военному ведомству прямо от себя поставлять – и уполномоченному тоже-ть-бы делать нечего. Артель может и запасы по своей местности учесть, чего уполномоченные никогда не добьются.

На **уполномоченных** отозвался Елисей Никифорович едва не стоном:

– В эту зиму скот забирали – так в самый тёл. И по глыбкому снегу отгоняли. И телился скот по дорогам. Зарезали. А соли не достало – и в оттепель туши погибли.

И с кем бы то говорить? противу кого спорить? С Плужниковым они выказывались не врозь, а зуёк этот несмыслённый – вовсе и не зарьялый, кусочками малыми всё режа да режа, ест, устёбывает, – по городам-то, грит, не разгуляешься. С него очки, сорочку крахмальную снять, обстричь по-нашему, по-деревенски, так и не мужик станет, а – парень хилой. И – не купец он городской, своего товару фабричного не готовляет, он кубыть с задушевностью сюда пришёл. Однако не за хлебцем ли заглядывает?

Спорить нёпротив кого, а занялся Елисей Никифорович на разговор всем сердцем. Из груди так и выносило, и Елисей смотрел грозно, остро, глазами слишком дальними для горницы, смотрел на городского вольными дальними глазами, поймёт ли:

– А начаё ж мы хлеб должны задаром отдавать? Болтуны городские ошатели, без ума уставили цены эти твёрдые, а мы – хлебушек отдай? Что деревня городу отдаёт – на то такса, а обратной таксы почему нет? Ежли скажете – война, и давайте нуметь по-братски, – а и что ж? Мы, мужики, не противляемся по-братски: берите хлеб хоть и весь без денег, но и нам же товары без денег дайте! Как покупали мы раньше: пуд железа за два пуда хлеба, косу за пуд хлеба, – так и дайте! Твёрдые, не твёрдые, лишь бы нам спинушку гнуть не впустую! Крестьяне своё тягло потянут, пока ноги переступают. А этак ведь – печёнки отбиваются!

Отвык Арсений ото всяких этих цен, что почём – у него соображения не стало, из памяти вынесло: в армии всё достаётся бесплатно, и на побывке всё бесплатно. Что тут говорилось ими тремя, даже отцом родным, – ото всего он отбил. И туло его, и голова – там, на позиции, ещё сюда не вернулись, тут он – гость перекатный. Сидел да помалкивал, ел-наворачивал да молчал. А у мужиков-то надсажено.

А Агаша тихо сновала по гладкому, крепко сбитому полу, не пристукнув, не пришлёпнув, ещё поднесла пирог горячий с капустой и с яйцами, подкладывала, уносила опорожненное, почти слова от неё больше не слышали.

А Плужников подливал кому браги, кому наливки, настойки, вот они стоят. Глазами меть на одного, меть на другого: так! так! А Елисей понёс как в гору рысак, грудь поднапрягши:

– Какие это деньга – бумажки в руках? Это – не богатства! Наши богатства – когда хлеб в амбаре, скот в хлеву и поля засеяны. А то вот весна накатит – обсеемся ли? Коли, не дай Бог, до весны в армию ещё призывать мужиков станут – так работать кому?

Городской до того разгорячился, есть-пить покинул, в пирожной корке вертит вилкою как сверлом, возражать желает.

А Агаша, как ходила без звуку, так теперь, не звукнув, стул приставила на тот бок, где сидит городской, места много он не занимает, – через угол от мужа, по правую руку его. И села достойно. Стакашек пригубила. И слушала.

И Плужников как раньше бровью не нахмурился ни на одно её движение, ни знаком её

не осек, так и теперь присесту её не подивился: не проронила своего дела смышлённая баба – сиди и в мужской беседе. Своя жена – своя краса.

Поглядывал Арсений – и себе учился.

Когда Агашке было не боле восемнадцати, а уж тогда была фигурна и справна, – выцелил, выхватил её Плужников, незадолго возвороченный из Олонецкой губернии, прежде того овдовевший. Так что женился он лишь малость поране Сеньки, а превышал Агашу годков боле чем на двадцать, и старшая дочка Плужникова от первой жены вышла замуж прежде Агаши. А сидели супруги вот рядом, и ростом под рост, и по всей одёржке, по всей осанке – не дочка ему, а полная жена, хоть на подпору, хоть и на замену. Плужников был мужик до того ядрёный и подхватистый – отчего ему с молодой женой не жить? – не сробеет. А каково на дому – таково самому.

Городской, может сам и неповинный, свой кусок пирога вовсе развертел, развалил, и вилку покинул:

– Нет, скажите вы мне, Григорий Наумыч, как же вы это представляете, что Петербургу хлеба не дадите? И почему именно Петербургу?

Агаша ему поросятинки, хренок подвинула.

Плужников подлил ему. И полегчил:

– Да это, конечно, только говорится – хлеба не дадим. Пока крестьянин всё на войну отдаёт, Анатолий Сергеич, сами знаете: Тамбовская губерния всегда вывозила с десятины по пятнадцать пудов, а сейчас – по двадцать пять, и кооперативы в этом помогли немало. А скота по нашему уезду взяли тридцать тысяч голов. Из четырёх голов брали пару, не разбирали, племенной или молочный. Это у нас не различали, а у помещиков племенной не трогают вовсе.

У городского – уже не такой горевой взгляд:

– Но это ж и правильно: лучшие экземпляры, лучшие породы...

– Правильно как будто. А вот пишут газеты: в нашем уезде граф Орлов-Давыдов, ещё и член вашей Государственной Думы...

– **Нашей**, Григорий Наумыч, – жалобно гость упрасивает, – нашей с вами вместе...

– ...схоронил 240 голов скота, теперь открыли – и привлекли управляющего. Будто – граф не знал. Нет, уж если “всё для войны”, так и давайте со всех, а что ж – с мужика да с мужика? Привыкли к нашему терпению.

Город! В городе, вот ездил Плужников, несодавна воротился, – молодых ещё сколько, толпа праздная! Заведующих, особо-уполномоченных – внатруску, и все от воинской повинности польгочены. Разве крестьяне слепые, не видят? И все эти рты безнадобные кормят. По базарам военнопленные тягнутся – вереницами, вот бы в поле поработали славно! Так помещикам ещё присылают их в помощь, а нам разве когда? – редким бабам одиноким, у кого пятеро детей. Да в трактире, вон, бегаёт один. И в городе за работу деньги шальные стали платить, чернорабочий – пятёрку в день выколачивает, так стали и наши девки в город ухлёстывать. Всякий легче желает...

И опять Елисей:

– Скот, лошадей сдаём, упряжь, повозки – и всё ниже цены. И на нас подводную повинность кладут опять. Нет, неравно разложено. Деревню облупают, а в город тащат.

И Плужников опять:

– Дума ваша не кололась бы на левых да на правых, не искали б, как друг друга шпынять да переголосовать, а каждый депутат – будь себе от своей одной местности, и как твоя местность велит, какую нужду ты своими глазами видал – вот ту и говори. А на партии разделяться, да всё для своей партии тянуть – это только Россию разделять, людей морочить.

Во как? А сам-то раньше не в е-серах был? В одном перье всю жизнь не переходишь. Елисей наслушался, да и от себя:

– Дума должна царю помогать. А царь жизнь устраивает.

И ещё Плужников:

– От такой Думы мы, мужики, правды не дождёмся. Да и вообще от Города правды не



дождёмся.

Загоревал-загоревал, просто поник Зяблицкий. Загоревал, будто жена у него сбежала. Голову свесил, рукою подпёр, как бы очки не свалились. А может схмелел: брага-то наша крепкая, а в городе сей день не разольёшься.

– А где же – ваша правда? – тонко так.

Плужников, костью широкий, а и мяса не мало, и пил, как не пил ни глотка, трезво и твёрдо глядит, глазища сочные, борода смоляная – однако и не цыган, много таких танбовских.

– Вот именно: где ж наша мужицкая правда?? Немало я об том думал. Волость наша? – она не наша. Волостной старшина – не вожак наш, а только знает приказы исполнять – урядника, станового, исправника. С него да с волостного правления начальство лишь требует да требует. Об том и писарские перья скрипят, за что им платят, кстати, грош. И куда ж наши волостные и земские сборы ухают? И на волостные сходы сгоняют нас не для нашего какого кровного дела, а – для ихнего, нам подчас и неухватного. Не допущены мы ни до какого распоряжения. Стоим да переминаемся, не так ли, Елисей Никифорыч?

– Так, так, – остро глядел, одобрял Благодарёв-старший.

А может Плужников к этому съезду сельских хозяев думы свои просвежал:

– Земство? Так разве ж это наше земство, если наши выборные – только кандидаты, на милостивый отбор земского начальника. Да на ту же команду во время войны и земство потянуло. Что они нам из уезда шлют? – только наряды: на скот, на лошадей, на подводы. И вы вот, Анатолий Сергеич, вам не в укор, вы хороший человек и к нам сочувственны, я знаю – сроду вы хлебом не занимались, а разогнали вас всех на хлеб, запасы учитывать, так?...

У городского гостя очёчки вот спадут, смотреть не может.

– А земства волостного, чтоб не господя, а сами мы собирались да решали, как вот в кредитном обществе, как в кооперации, – такого нам не дозволят. А дозволят – так вывернут навродо волостного правления, не вольней.

– Всю жисть воли нет! – только махнул рукой Елисей.

Как вывалил из груди за всю-то, всю-то жизнь – вот это малое слово.

Переждал Плужников, глазами обводя. Агаша вмиг подхватила: может, надо что? упустила?

Нет. Легонько ласково руку на руку ей положил на миг.

Так и взялась Агаша румянцем, открытой мужней лаской горда. И головой подвозвысилась, а и хочет показать, что ни в чём не бывало.

– Община? – отряхнулся Плужников бычьей головой. – Так и полста лет её ладили, поворачивали, нет. Не та телега, чтоб от ноне да ещё на тысячу вёрст. Спасибо, Столыпин вызволил. Так – враз его убили. Кто? За что? Поди найди, там их целая сплотка, видать, была. Нашу жизнь он поднял, а помещиков лишил дешёвой силы – вот и убили. А царя Освободителя кто убил? Крестьяне никак не могли. А помещики – опять же даровой силы лишил, да менять своих рабов на гончих. Вот так, и город нам враг, и помещик нам враг.

И Елисей – со строгой вескостью:

– Благоу царёву волю – извращают. Не исполняют.

Не гоголем Плужников, подпёр тяжкую голову обеими руками:

– Падает духом деревня. Мужиков наших на фронте бьют да бьют. Забивают нас мобилизации, реквизиции, твёрдые цены. Город там – свои съезды устраивает, совещания, комитеты, партии, – а у деревни ничего такого нет. И кто ж о нас подумает? Анатолий Сергеич вот, с друзьями? Не обижайтесь, Анатолий Сергеич, только сил у вас – гораздо немного, чтобы нас потянуть.

– Так ведь вот, так ведь вот, Григорий Наумович, господя, – Зяблицкий кживу ворачивался, и в улыбке поправился, и на каждого, и на каждого смотрел, как в гости приглашал, и на Арсения, даже и на Агашу: – Так ведь мы уже с вами достигли согласия, как много поможет вашей жизни кооперация.

– Да эт не то, – отвёл Плужников. – От кооперации мы не отказываемся, зачем же? Ещё

будем после войны артелью дорогие машины покупать, не избежать, серпом да цепом дальше не обойдёшься. После войны рабочие руки уже никогда не будут так свободны, как прежде.

Вот эт Елисею Благодарёву не так в голову ложится: почему уж после войны круто всё переменится? Помним войны – не менялось.

– От турецкой, конечно, не менялось. А уж от японской – ой переменялось, разве деревню за десять лет узнать? Сколько земли докупили? Сколько настроились? Оделись как?

Оно верно.

– А после этой войны – ещё круче повернется. **Такой** войны Россия сколько стояла – не вела. Я ж говорю: как от смертной болезни встанет государство другим. И нам – смышлять надо, и к тому готовиться.

И – на Арсения устависто поглядел.

Да в том – Арсений себя лишним не чувствовал. Ноги от хмеля отептели, ослабели, а при руках – силушка вся. На что-й-то и я тут пригожусь, надоть учиться слушать да понимать.

Плужников выпрямился в стуле, дёрнул рубаху ко спине под жгутовым поясом. Был он на столько же моложе Благодарёва-отца, на сколько старше сына, как раз посередине, что говорится – середовой мужик: и ума от жизни уже набрался, и сил ещё не теривал.

– А что такое есть наше крестьянское сословие? Как его содержат? Чуть кто возвысится через образование или служебную выслугу – переводится в личного почётного гражданина, но и – потерял право на надел, и из крестьянства ушёл. Каждого, кто чего добьётся, – мы теряем. А кто лишён прав состояния и по отбытии уголовного наказания – того включают к нам. Чтобы получалось из нас – быдло. И мы несём повинности, на других не разложенные. И подчиняемся особым отдельным властям. Через земских начальников – опять же дворянам. – И подбоченился, крепок, да взятист, да умён. – **Волю** ту, говорят, нам пятьдесят лет назад дали, – а что ж мы её не берём??

Вдруг Елисей пробаснул, прокашлянулся, как и сын никогда не слышал:

– **Брал**. Не далась.

Когда ж эт ты, батя, я не знаю?...

Вживе на него Плужников метнул:

– И надо – **брать**. Как денег никому насильно в руки не сучат – так и воли. Была бы честь предложена. Подмоги нам не подступит. Ни от Петербурга, ни от Москвы. Ни от города, ни от помещика. Ни от эсеров. Потому что эсеры, как к мужику ни подлаживайся, а мысли у них не мужицкие, только в тон поют. А мы? А мы всё дремлем, ждём распоряжений от начальства. А они нам – бумаги да бумаги шлют. И никто не крикнет: Э-э-эй, Россия! – взял Плужников голосину, в горнице не поместилось, а стены бы не держи, так и до Князева леса, – берись са-ма-а-а!!

У Агаши губы раскрылись, зубы жемчужные, загляделась на мужа.

Зяблицкий сперва откинулся даже, испугаешься этакого рёву. Но Плужников – ничего дале. И Зяблицкий набрался перёку:

– Оч-чень, оч-чень вы меня огорчили сегодня, Григорий Наумович. Дума вам не нравится. Земгор не нравится. И партии. И кооперация слаба. Критиковать всегда легко. А что вы можете предложить положительного?

Плужников голосом больше не баловал. Руки в боки, пальцы за поясом, сказал:

– Ясно одно: чиновники, начальники, город, рабочие – пусть себе сами, как хотят. Равноправия мы ихнего не ищем, не спрашиваем, и они нас тоже пускай покинут...

Эх, бабья доля! – и вникнуть охота, и на столе замерло: отъедено, отпито, дальше не идёт, надо на чай менять. Поднялась, смекнула, что схватить, унесла.

– ...А вот по округе нашей кто живёт – те и возьмём в руки свои. И будем сами по себе. Волость? – сама управится. Уезд? – без города уездного, сам! И даже по губернии, без городов, – отчего б не иметь крестьянскую власть? Жить по себе, а город как хочет, мы не мешаемся. Почему ж не сами собой мы должны управлять, а кто-то нами? Кому власть и

рассуждение? Кому хошь, только не крестьянам. Что ж мы – пеньки лесные вовсе? Грибы в деревне растут, а их и в городе знают!

Очами сочными лучил.

Эх, леший бы тя облобачил, во как задумал! – и наш деревенский.

А Елисей Никифорыч зорко, строго смотрел, а не рассиялся. Прямо, ровно в стуле сидел – и ни слова.

А Зяблицкий повеселел, и ручкой маленькой замахал, и так это завыстилал, довольный:

– Вот у вас и типичная крестьянская утопия! Ей – пятьсот лет, и нигде никогда, ни в Европе, ни в Азии, она не осуществилась. Ну, подумайте сами, Григорий Наумович, – как это вы мыслите себе организационно? В рамках современного государства, при единстве государственных задач, хотя б вот войны с внешними врагами, при единой экономике, административной и транспортной системе, – какая может быть отдельная крестьянская власть? У-топия, вы понимаете?

– Какая – это пока неведомо, – отряхнул головой Плужников, жалости не принимая. – Какая – думать надо. Такой большой стране – многостроительство нужно. Среди того многостроительства уместится и крестьянское самоуправление.

Вот в это упёрся. И – верно. Что ж мы, пеньки?... Это Арсений понимал чутко. Из того что-то будет, где-ко-сь пробьётся?

Но отец никак не радовался. Поглядел на хозяина хмуровато. А тот ещё:

– Да мы и теперь не обезлюдели, у нас ещё сил и о такую войну – сколько у нас ещё мужиков с головой и руками? – хоть сейчас на рассуд, на совет собирай! Крыжников Парамон. Фролагин Аксён. Да Кузьма Ополовников. Да Мокей Лихванцев. А, Елисей Никифорович?

Арсений уж заметил по батьке, что ему – не в лад, не так. Но ни выскочить, ни дёрнуться отец никогда не спешил. И – степенно, головою стойкой не крутя:

– Среди нашего брата тоже дураков не мало. Среди господ есть – так а среди нас? А когда в Девятьсот Пятом году помещиков грабили, – ведь и по двадцать десятин сверх надела кто имел – и всё равно грабили. У Давыдова и щас, кому не совестно, самоволкою берут дрова, сено. На его лугах скот пасём. Он не ограждается – так мы и на голову? Нашему брату волю дай – ого-го-го-о!...

И ещё подумав, и Плужников не успел отозваться, Елисей присудил гулковато:

– Зашаталась вера у людей, вот что. Управлением не поправишь.

А гостёк городской до своего добирается:

– Ну хорошо, допустим, формы будут найдены. А какими путями вы предполагали бы это достичь?

Плужников, всё руки в боки:

– Путями? Да бомбы под губернаторов подкладывать не будем. Нет. Путями? Кому это открыто вперёд, тот выше людей. А как-то оно, смотришь, и само повернётся, только тогда момент не упускать.

А Агаша тем временем уже и самовар принесла, и плюшки сдобные и хворосты, и разливала по стаканам наваристый тёмный чай.

А Зяблицкий всё веселел:

– На таких надеждах нельзя строить реальных расчётов. Путей реальных – вы не имеете, Григорий Наумыч. И я рад, что это – не бомбы. И обернитесь вы к первому пути – живой кооперативной деятельности, в самом расширительном смысле!

Кстати было чайку попить, рыбку да убоинку залить, и сахар стоял на столе, колотый крепкий рафинад, и печево всякое. Но постучали с крыльца.

Сходила Агаша, воротилась и вполголоса:

– Панюшкин, писарь. К тебе.

Замялся Плужников. Выйти?

– Ну что ж, зови.

Вошёл Семён Панюшкин – без верхнего, в плисовом коротком пиджачке, чистый,

подобранный, как всегда. До волостного писаря своими стараниями, ничьими, за много лет поднялся: летом – скотину пас, зимой учился. За разумливость – возвышен.

А ростом и телом – с Зяблицкого. Волосы – примажены, приглажены, скромны, начальника из себя не дмит. Поклонился. С праздничком. Его – к столу. Замялся. Видать, хотел с Григорием Наумовичем наособицу.

– А что, секрет? – готов был Плужников и в избу перейти.

Вздыхнул писарь, хранитель тайн, первый их сообщник.

– Да нет, какой уж. Всё равно объявлять. Но вам – хотел первому.

Никакой Плужников не начальник. Но – батька. И пришёл писарь ему доложить первому. По уважению.

Усадили его, чаю ему внакладку, плюшку слоистую.

Долго не тянул, открыл – из внутреннего кармана бумагу вынул. Только что привезли.

Указом от 23 октября объявляется призыв ратников второго разряда в возрасте от 37 до 40 лет, и всех пропущенных предыдущими призывами. И первый день призыва – завтра, 25 октября.

Во-о-о ка-ак!... Да круто ка-ак!

Сегодня-то уже день к концу, выгулянный. Ещё час-другой, и опустится на деревню тьма спасенная. И хоть заголосят по избам, и долго не будут гасить, кто керосиновую лампу, кто слепушок, кто жирник, – а до утра уже никого не тронут, до утра – ещё не загружать черезплечные белые сумки с продуктами, не запрягать – с провожатыми бабами в Сампур, к воинскому начальнику. Ночь – наша. Ещё одну ночку горевую с жёнкой переспать. Да ей – не спать, ей – ту сумку шить. Ночь – наша, однако печь растевать? Да нет, у всех напечено. Вот как она входит, война, – клином железным и прямо в грудь. Третий год идёт – и как-то уже вместились в жизнь, вроде и устоялась. Кого убили – те убиты и уже схоронены. Вот вроде и праздники гуляли, прибасни, гармонь, – а развернётся бумага из писарского кармана – да на всю улицу!

Вот уж и начала свой развёрт, у Плужникова на столе.

**Кого же?**

По сорок лет отшибают, самый сок мужичий. С сорока одного пока не трогают.

Стал Плужников прочитывать имена. Какие быстрее, какие обмышляя. Написаны-то были имя-отчество-фамилия да год, а вокруг проступало: кто ж у него в семье останется? сколько детей? да как с хозяйством?

Чисто брил воинский начальник – мельника забирал! Мельника, вот тебе. А кто ж его заменит? Что же, жернова останавливать? Ведь это наука.

Афоньку Пинюгая берут. Для Каменки не так потеря велика, а всё же: тресту конопельную ему сдавали, и заботы нет – верёвки он тростит, а там разочтёмся. А теперь – каждому самому? Не займёшься.

Па-шёл и Нисифор Стремоух! Не усидел.

А Шныру? Кубыть возраста они одного. И Шныру берут, да.

А Дербу? Дербу – нет, перед ним год обрезан.

Но вот что – кузнеца берут! Кузьму Ополовникова!!

– Да что! – из Елисея вырвалось как огнём. – Ума у них нет?

– По возрасту.

– Дык не один же возраст соразмеривать, кошки в дубошки! Плуги-ти кто ж нам направит? Коней ковать – кто? Что ж нам, всем селом? Думают они?

До того эта дурость вздербила Елисея – встал. И заходил по горнице. Ну, что вот делать? Отдавать Кузьму Ополовникова – кажется, как сына родного. (Да он и родня был, Домахе троюродный).

– Сенька! – закричал, кубыть тот виноватый. – Ты ж говорил, у вас народу полно?

– Да плечо о плечо в окопах сидят.

– И кузнецы?

– И кузнецов в бригаде хватает. Можем одного вам.

Их с Катёною кровать, спинки во многих завитках изошрённых, тем Кузьмою и кована, не покупная, как вот у Плужниковых, хоть и вшестером ложись и хоть медведь пляши. Этот Кузьма, по прозвищу Стукоток, весёлый да работной, повсегда в щетине, вчера за столом сидели рядом – редкий случай, щека чистая. Подсмеивался над ним Сенька, что надо бы воевать, – а без мысли той, без зависти.

Да никому Сенька не завидовал, кто войны избег. Переменок тут всё равно не устроишь, всем идти – легче не будет, а уж кому выпало.

Кузнеца – как не жаль? Кузнец – первейший, не у всех такой.

– А Лыву так и не берут?

Лыву – нет, не берут.

Лыва – Вася Таракин, моложе Арсения, и на действительную идти ему выходило как раз в Четырнадцатом году. А тут война. В первый же новобранческий призыв его и позвали. Пошёл он со всеми, но ближе месяца назад воротился. Что так? Ослобонили, нуметь. Да что ж, у тебя рук-ног нет? какая хворь? Никакая. Сказал я, что людей убивать не буду.

Вот тебе!... Коли б его по мирному времени призвали и он бы отрёкся тогда – было более б с делом схоже. А то до войны молчал, не казался, а когда всем на войну – он в сторону. Не понравилось это Каменке. Не по-мирски: все идут – и ты иди, чем ты особенный? До того времени ничего дурного за Васькой Таракиным не замечали: старшим он был из шести детей, в 14 его лет умер отец, стал Васька и землю пахать и портняжить, вослед за отцом. Потом сестра подросла – мужа в дом взяла, и как уже кормильца не единственного – призвали Ваську. Конечно, в сочувствие можно войти, много ртов, – так и у всех немало, так и никому на войну расположения нет, но уж коль всех, так всех, – а чем ты выкрасовываешься? А он, вишь, с портняжеством прихватил – книжки читать, малые такие, по две-по три копейки. И вот, говорит, граф Толстой открыл мне глаза на идею Иисуса Христа. Все мы живём по воле Отца нашей жизни, и кроме Его никто лишит жизни не смеет.

Так и устроился Лыва – не пошёл на войну. И ещё дважды его призывали – и каждый раз ворочался вскорости. Так-то можно примоститься блаженненько, войну пересидеть, это б каждый мог!... “Тогда ведь и поросёнка заколоть нельзя? и барана? Тоже-ть живое, от Отца нашей жизни”, – ему дед Баюня. Признал Васька, перестал скотину колоть и мясо есть. Ну да зять егонный колет, семья не без мяса.

А теперь во как: и вовсе даже Лыву не призывали. На покой покинули.

Помрачился Плужников над списком, отняться не мог. Кого он тут называл давеча – Парамона ли Крыжникова, Кузьму Ополовникова да Мокея Лихванцева – силу деревни заметали вот. Недалёк уж был и он сам до метёлки, лишь несколько годов оставалось, ещё один такой набор. И кому же было – **волю** крестьянскую брать? через кого деревне на ноги становиться? Уносили в зубах как волки ягнят, и сколько ещё придут, через полгода или через месяц, и кого ни выхватят – отдай, Каменка!

И – некому крикнуть, что не разумно до такого края деревню испивать. Сходы собирать? депутатов слать к становому? Чем могла деревня противиться? где себя выявить?...

А Елисей с сыном – про родственников домахиных и дальних, и из соседних деревень, смекали – кого захватывают. Не чай было распивать – идти домой, оборвался праздник.

А писарь Семён ещё подбавил, писарь ведь больше бумаг, наперёд знает: на днях, мол, будет указ о призыве 98-го года рождения. Брать будут к весне, а распубликуют ноне.

Это что ж, и до девятнадцати годков не допустят, ране того?

Этак что ж – и Зиновея Скоропаса?

И Тевондина Лёксу?

Эких каких!

Ну, и Мишку Руля, стало быть. Пусть повоюет.

Уходить пора.

Агаша:

– Елисей Никифорыч! Сеня! Чайку же! Чайку!

Отец ей:

– Благодарим, Агаша, славно угощала. Но знаешь, гостей ко времени проводить – как с поля убраться.

Оборвался праздник.

За то время, что сидели они у Плужникова, – и схолодало, и притемнело, и ветер покрепчал. Посерёд улицы развороченную грязь густило, подмораживало, а утолченные тропы вдоль домов и вовсе схватило. И пыль, и мелкие камушки ветер подхватывал, нёс, швырял, заметал вдоль села.

И сказал Елисей о хозяине:

– Нужный мужик. Однако, Сенька, вот замечай: в которой посудине дёготь бывал – уже и огнём не выжжешь.

Там и сям калитки, двери хлопали от ветра сильней. Или – люди бегали из дому в дом, новость несли – и от того крепче стучали.

Дурная весть на месте не лежит и не сочится помалу – так и несёт её по деревне, как этим ветром. Хоть двум, хоть одному шепнул же что Семён ещё до Плужникова – вот и понесло, и избы знают уже, и где-то воют уже. А где ещё только угадывают – нашего как?

Завтра это всё прорвётся, и задвигнется, и потянется по почтовому тракту в Сампур, под бабье голошенье, под песни достопротяжные, да под скрип колёс.

Нету жизни. Не дают устояться.

Такая погода – тучно, заморозно, да с ветром заметающим – ко снегу бывает.

– Ежели ляжет снег на мёрзлую землю – в луга поедем, Сенька.

\*\*\*\*\*

***Собирай-ко-тесь, ребята,  
Кто к военной службе гожд!  
Зададим мы немцу перцу,  
Пропадёт он ни за грош!***

(“Биржевые Ведомости”)

## 47

С кем угодно можно установить прочную тайную связь, никогда не встречаясь прямо, если составить цепочку из постоянных посредников – двух, а лучше трёх. Твой посредник встречается кроме тебя ещё с двадцатью человеками, и только один из них – следующий в цепи; тот встречается ещё с двадцатью – уже четыреста возможностей, это проследить не может никакая полиция и никакой Бурцев.

У свехосторожного Ленина существовало таких несколько линий.

Прошлым летом, после встречи с Парвусом в Берне, Ленин отпустил к нему Ганецкого в Скандинавию – директором его торгово-революционной конторы. Так развернул своё коммерческое призвание неутомимый изыскливый Ганецкий, и так установилась прямая неостывающая связь с Парвусом. Однако провисла линия между Копенгагеном и Цюрихом – и посредником определили Скларца, берлинского коммерсанта, тоже пайщика парвусовской конторы, который свободно мог ездить и в Данию, и в Швейцарию. Но условлено было, что когда приедет в Цюрих, всё по тому же правилу промежуточных звеньев он не должен встречаться с Лениным сам, а здесь подошёл Дару Долину, подружку Вронского. И то, что вот пришёл прямо на квартиру сам, значило или нарушение конспиративной дисциплины, или чрезвычайные обстоятельства.

Как же некстати! Не только – сил, но даже не было ясного соображения в голове, но

даже перебои в груди. И отказывать поздно: уже всё равно пришёл, видели его на улице, на лестнице, в квартире.

Навстречу Скларцу подняться надо было не с кровати, надо было ослабевшими ногами подать вверх одуплевшее тело, как будто через целый колодец, – туда, наверх. И лишь там высунутой головой увидеть этого маленького энергичного еврея из юго-западных.

Однако с большим самозначением, всё богаче одетого, и пальто такое, и шляпа (на единственный обеденно-письменный стол положил, нахал, а впрочем куда её деть тут?), и в руке – коммивояжерский лёгкий баул из кожи крокодиловой или бегемотовой, как её.

Спасибо хоть без этих церемонийных немецких “Wie gent's?”, без натянутой улыбки радости от встречи. Деловито поклонился, протянул маленькую ручку с важностью. Огляделся насчёт безопасности, свидетелей. А уже – и Надя вышла, никого.

Почему же всё-таки – прямо, сам?

А – вот. Из глубокого внутреннего кармана – конверт.

Богатой, бледно-зелёной бумаги, с гербом продавленным. И толстый, пузатый.

Как не стесняется Парвус и в мелочах показывать богатство! Вот – конверт. А приезжал в Цюрих – останавливался в самом дорогом “Бор-о-ляке”. В Берне по дешёвой студенческой столовой (обед – 65 раппенов) шёл, ища Ленина, и пыхал самой дорогой сигарой.

И с этим человеком начинали когда-то в Мюнхене “Искру”!...

Ну так что, что письмо? Нельзя было через Дору? Эти визиты-мелькания приходится объяснять товарищам.

Скларц даже удивляется, как это плохо воспитан господин Ульянов. *Дела* – так не делаются. Сказано: уничтожить, не уходя.

И показывает пальцем: мол, чирк – и к конверту.

Удивил! Мы иначе и не делаем. Уж мы-то в жизни сожгли!...

Значит, читать. Ситуация для подпольщика привычная. Ленин и сам должен обеспечить, чтобы его ответное письмо не сохранилось после прочтения. Такой один клочок бумажки может быть смертелен для целой жизни политического деятеля.

Ни ножа, ни ножниц под рукой, стол голый. А Надя на кухне. Оторвав уголок, Ленин всунул толстый указательный и повёл как разрезным ножом. Рвалось с лохматыми краинами в одну и в другую сторону, как собака зубами, – и чёрт с вами, вот так вашему богатству! Насколько приятней держать в руках самый дешёвый конверт, писать – на самой дешёвой бумаге.

Вынул. Оттого и толстый, что бумага – ещё богаче и толще. И написано – с размашистыми прописными буквами, разведенными строчками, да с одной стороны. Вот так-то дела и не делаются. Уже забыл, как “Искру” посылали в Россию – на сверхтонкой бумаге.

Внимание. Стянуть нервы, прояснить головой (так и не ел ничего после утреннего чая). Вникнуть.

Скларц – не хочет мешать, нет, он не развязен. Не болтая, пальто не снимая, идёт к тому стулу у окна. И только шляпу мягкую серую, с фигурно продавленной тульей, оставил на столе.

Да свой баул не донёс до окна, опустил посередине комнаты на пол.

Вежливо-то вежливо, но в пасмурный день как раз и читать бы там, у окна. А Скларц уже занял тот стул, достал из кармана мятый иллюстрированный журнал, развернул важно.

А тут, что ж, лампу зажечь? Спичек не видно. И Надя на кухне.

Ба, лампа уже горит! Сбоку шляпы – стоит и горит малым прикрученным фитилём. Надя? Как будто не зажигала. Разве когда чиркнул Скларц? Так он же...? Странно.

Толстая веленевая бумага с гербами. А всего – три страницы. И – строчка на четвёртой, пустая четвёртая.

И ничего не было особенного – враждебного, властного или наглого, в почерке Парвуса, и вполне безлична подпись – “д-р Гельфанд”.

Но из письма как током била в горячущие руки, вливалась в жилы, сплескивалась с ленинской кровью и боролась с ней бегемотская кровь Парвуса. Дальше локтей не пуская её, Ленин обронил письмо на стол, как тяжёлое. И сам опустился на кровать, еле держась.

За двадцать лет своей жизни-борьбы переиспытал Ленин все виды противников – высоко мерно-ироничных, язвительных, хитрых, подлых, упорных, стойких, уж там не считая риторично-захлёбчивых, дон-кихотствующих, вялых, ненаходчивых, слезливых и всякого дерьма. И с некоторыми возился по многу лет, и не всех сбил с ног, не всех уложил наповал, но всегда ощущал неизмеримое превосходство своего ясного видения обстановки, своей хватки и способности в конце концов перевалить любого.

И только перед этим одним не ощущал уверенности. Не знал, устоял ли бы против него как против врага.

А Парвус и не был противником почти ни дня, он был естественным союзником, он много раз за жизнь предлагал, навязывал, настаивал себя в союзники, и год назад особенно, и вот, конечно, сейчас.

Но и союза этого почти никогда Ленин принять не мог.

Читал. Ходили глаза по строчкам, но почему-то смысл никак не вкладывался в голову. Плохое состояние.

Всех социал-демократов мира знал Ленин или каким ключом отомкнуть, или на какую полку поставить – только Парвус не отмыкался, не ставился, а дорогу загоразживал. Парвус не укладывался ни в какую классификацию. Он никогда не был ни в большевиках, ни в меньшевиках (и даже наивно пытался мирить их). Он был русский революционер, но в девятнадцать лет приехал в Европу из Одессы – и сразу избрал западный путь, стать чисто-западным социалистом, в Россию уже не возвращаясь, и шутил: “Ищу родину там, где можно приобрести её за небольшие деньги”. Однако за небольшие он её не приобрёл, и 25 лет проболтался по Европе Агасфером, нигде не получив гражданства. И только в этом году получил германское – но слишком большой ценой.

Случайно скосились глаза на скларцев баул – тяжёлый, набитый, как он его таскает? Сам маленький, зачем?

А вот что, света мало, потому и не читается. Подвинул лампу к самому письму.

Тут в конце два отдельных пункта ясны. Две жалобы. Одна – на Бухарина-Пятакова за их чересчур усердное следствие о немецкой сети в Швеции, нельзя же распускать дураков-мальчишек, надо сдерживать. И вторая – на Шляпникова: очень своеволен, сотрудничать не хочет, отбивается, а в Петербурге нашим силам нужно единство. Пусть не отвергает наших представителей, напишите ему.

Он назвался Parvus – малый, но был неоспоримо крупен, стал – из первых публицистов германской социал-демократии (был работоспособен не меньше Ленина). Он писал блестящие марксистские статьи, вызывая восторг Бебеля, Каутского, Либкнехта, Розы и Ленина (как он громил Бернштейна!), и подчинил себе молодого Троцкого. Вдруг – покидал свои газеты, завоёванные публицистические посты, уезжал, бежал, то начинал торговать пьесами Горького (и обокрал его), то опускался в ничтожество. У него был острый дальний взгляд, он первый, ещё в XIX веке, начал борьбу за 8-часовой рабочий день, провозгласил всеобщую стачку как главный метод борьбы пролетариата, – но едва предложения его превращались в движения, находили сторонников – он не организовывал их, а отлипал, отпадал: он умел быть только первым и единственным на своём пути.

Всё письмо прочёл до конца, а не воспринял даже, на каком оно языке – на немецком или на русском? На обоих, фразы – так, фразы – так. Где на русском – с орфографическими ошибками.

И многое в Парвусе противоречило. Отчаянный революционер, не дрожала рука разваливать империи, – и страстный торговец, дрожала рука отсчитывать деньги. Ходил в обуви рваной, протёртых брюках, но ещё в Мюнхене в 901-м, когда Ленин скрывался у него на квартире беспаспортным, твердил: Надо разбогатеть! деньги – это величайшая сила! Ещё в Одессе при Александре III сформулировал задачу, что освобождение евреев в России



возможно только свержением царской власти, – и уехал на Запад, лишь раз возвращался нелегально, спутником немецкого врача, напечатал: “Голодающая Россия, путевые впечатления”. А сам между тем разбросал по России всю будущую сеть им же придуманной “Искры”. И как будто же ушёл в германскую социал-демократию. Но едва началась японская война, почти не замеченная в женеvской эмиграции, – Парвус первый объявил: “Кровавая заря великих событий!”

Света мало. Фитиль выкручивал – а он только калился и коптил. А-а, пустая, керосина нет, не налила.

И в том же 904-м предсказал: промышленные государства дойдут до мировой войны! Парвус всегда выскакивал, – нет, по грузности тела его выступал, – предсказать раньше всех и дальше всех. Иногда очень верно, как то, что промышленность взорвёт национальные границы. Или: что в будущем неразлучны станут война – и революция, а война мировая – и революция мировая. И об империализме он, по сути, успел сказать всё раньше Ленина. А иногда – чушь какую-нибудь: что вся Европа ослабнет и зажмётся в тисках между сверхдержавами Америкой и Россией: что Россия – новая Америка, ей только не хватает школ и свободы. То, пренебрегая самой сутью марксизма, предлагал не национализировать частную промышленность, будто окажется это невыгодно. Или неосмотрительно ляпал, что социалистическая партия свою выигранную власть может обратить против большинства народа и подавить профсоюзы. Но и в удачах и в неудачах всегда необычностью своей позиции и массивностью своей слоноподобной фигуры он загоразивал половину социал-демократического горизонта и, как-то оказывалось, всегда загоразивал Ленину – не всю дорогу, не весь истинный путь, но половину его, так что нельзя было обойти Парвуса, не столкнувшись. Он был – не противник, он всегда был союзник, но такой, что, смотри, не обомнёт ли тебе бока. Он был единственный на Земле несравненный соперник – и чаще всего успешливый, всегда впереди. Никак не враг, всегда с протянутой рукой союзника – а руку принять не бывало возможно.

Что за баул? Величиной как будто со свинью.

Да между ними многое пошло бы иначе, если бы не Девятьсот Пятый. Во всей революции Пятого года не участвовал Ленин и не сделал ничего – исключительно из-за Парвуса: тот топал всю дорогу впереди и топал верно, не сбиваясь, – и отнял всякую волю идти и всякую инициативу. Едва прогремело Кровавое Воскресенье, Парвус тут же объявил: создавать **рабочее правительство** ! Эта быстрота взгляда, эта стремительность предложения перехватила дыхание даже у Ленина: не могло решаться уж так быстро и просто! И он возражал Парвусу во “Вперёде”, что лозунг – опасный, несвоевременный, нужно – в союзе с мелкой буржуазией, революционной демократией, у пролетариата мало сил. А Парвус и Троцкий скропали брошюрку и кинули её женеvской эмиграции, большевикам и меньшевикам вместе, как вызов: в России нет парламентского опыта, буржуазия слаба, бюрократическая иерархия ничтожна, крестьянство невежественно, неорганизовано, и пролетариату даже не остаётся ничего другого, как принять руководство революцией. А те социал-демократы, кто удалятся от инициативы пролетариата, превратятся в ничтожную секту.

Но вся женеvская эмиграция осталась на месте, коснея, как будто чтобы сбылось над ней это пророчество, и только Троцкий кинулся в Киев, потом в Финляндию, всё ближе для прыжка, а Парвус ринулся по первому сигналу всеобщей октябрьской стачки, какую опять-таки он и предсказывал ещё в прошлом веке. Не большевики и не меньшевики, они оба были свободны от всякой дисциплины и дерзко действовали вдвоём.

С большую свинью. Напрягся, перегородил комнату. А Скларц у окна как будто уменьшился?

Ну что ж, чего не выразишь печатно и не скажешь на самой узкой конференции: да, я тогда ошибся. И вера в себя, и политическая зрелость, и оценка обстановки приходят не сразу, лишь с возрастом, с опытом. (Хотя и Парвус только на год старше). Да, я тогда ошибся, не всё видел, и дерзости не хватило. (Но даже близким сторонникам так нельзя

говорить, чтоб не лишить их веры в вождя). Да как было не ошибиться? Тянулись месяцы, месяцы того смутного года, всё бродило, погромыхивало вокруг, а настоящая революция не разражалась. И ехать было всё ещё нельзя, и отсюда, из Женевы, разбирало негодование: что они там, олухи, не поворачиваются, что они революции как следует не начинают? И – писал, писал, посылал в Россию: нужна бешеная энергия и ещё раз энергия! о бомбах полгода болтаете – ни одной не сделали! пусть немедленно вооружается каждый кто как может – кто револьвером, кто ножом, кто тряпкой с керосином для поджога! И пусть отряды не ждут, никакого отдельного военного обучения не будет. Пусть каждый отряд начинает учиться сам – хотя бы на избиении городских! А другой пусть убьёт шпика! А третий взорвёт полицейский участок! Четвёртый – нападёт на банк! Эти нападения, конечно, могут выродиться в крайность, но ничего! – десятки жертв окупятся с лихвой, зато мы получим сотни опытных бойцов!...

Нет, не бралось усталым умом несвоевременное письмо, не понималось. Читал – и не понимал.

...Казалось, так ясно: кастет! палка! тряпка с керосином! лопата! пироксилиновая шашка! колючая проволока! гвозди (против кавалерии)! – это всё оружие, и какое! А отбилась случайно отдельный казак – напасть на него и отнять шашку! Забираться на верхние этажи – и осыпать войско камнями! и обливать кипятком! Держать на верхних этажах кислоты для обливания полицейских!

А Парвус и Троцкий ничего этого не делали, но просто приехали в Петербург, просто объявили и собрали новую форму управления: Совет Рабочих Депутатов. И никого не спрашивали, и никто не помешал. Чисто рабочее правительство! – и вот уже заседало! И всего-то приехали на каких-нибудь две недели раньше остальных – а всё захватили. Председателем Совета был подставной Носарь, главным оратором и любимцем – Троцкий, а изобретатель Совета Парвус управлял из тени. Захватили слабенькую “Русскую газету” – однокопеечную, вседоступную, народную по тону, и на какие-то деньги стал тираж её полмиллиона, и идеи двух друзей полились в народ. Учись!

Сklarц у окна в своём стуле сидел всё дальше, всё мельче, как птица с опущенным носом, в иллюстрированный журнал.

В последние женевские дни Ленин писал, писал пером торопливым – всю теорию и практику революции, как он находил её в библиотеках по лучшим французским источникам. И гнал, и гнал в Россию письма: надо знать, по сколько человек создавать боевые группы (от трёх до тридцати), как связываться с боевыми партийными комитетами, как избирать лучшие места для уличных боёв, где складывать бомбы и камни. Надо узнавать оружейные магазины и распорядок работы в казённых учреждениях, банках, заводить знакомства, которые могут помочь проникнуть и захватить... Начинать нападения при благоприятных условиях – не только право, но прямая обязанность всякого революционера! Прекрасное боевое крещение – борьба с черносотенцами: избивать их, убивать, взрывать их штаб-квартиры!...

И, нагоняя последнее своё письмо, сам поехал в Россию. А там – ничего похожего. Никаких боевых групп не создают, не запасают ни кислот, ни бомб, ни камней. Но даже буржуазная публика приезжает послушать заседания Совета Депутатов. И Троцкий на трибуне взвизгивает, изгибается и самосжигается. И будто для этой открытой жизни и родясь, они с Парвусом блещут по всему Петербургу – в редакциях, в политических салонах, всюду приглашены и везде приняты под аплодисменты. И даже создавалась какая-то фракция “парвусистов”. И не то, чтобы тряпку обмачивать в керосин и красться за углом здания, – но Парвус готовил собрание своих сочинений или закупал билеты на сатирическое театральное представление и рассылал своим друзьям. Хороша тебе революция, если вечерами не чеканка патрулей по пустынным тротуарам, но распахиваются театральные подъезды...

Пробежаться бы до окна и назад – так пятнистый раздутый баул стоял как сундук, не пройдёшь. Да и сил нет в ногах.

В ту революцию Ленин был придавлен Парвусом как боком слона. Он сидел на заседаниях Совета, слушал героев дня – и висла его голова. И лозунги Парвуса повторялись

и читались, правильные вполне: после победы революции пролетариат *не должен выпустить оружия из рук – но готовиться к гражданской войне! своих союзников-либералов рассматривать как врагов!* Отличные лозунги, и уже не с чем выступить с трибуны Совета самому. Всё шло почти как надо, и даже настолько хорошо, что вождю большевиков не оставалось места. Вся жизнь его была спланирована к подполью, и уже трудно было пересилиться, подняться на открытый свет. Он не поехал и на московское восстание, уж там восставали по его ли женевским инструкциям, или не по его. Упала уверенность в себе – и Ленин как продремал и пропрятался всю революцию: просидел в Куоккале – 60 вёрст от Петербурга, а Финляндия, не схватят. Крупская же ездила каждый день в Петербург собирать новости. Даже сам понять не мог: всю жизнь только и готовился к революции, а пришла – изменили силы, отлили.

А тут ещё Парвус выдвинул из тени (он всегда старался действовать из тени, не попадать на фотографии, не давать пищи биографам) и подсунул Совету безымянно, как бы его, Совета, резолюцию, – Финансовый Манифест. Под видом заскоружло-стихийных требований неграмотных масс – программу опытного умного финансиста: единый удар по всем экономическим устоям российского государства, чтоб рухнуло проклятое разом! Не откажешь – величайший, поучительный революционный документ! (Но и правительство поняло и через день арестовало весь петербургский Совет. Случайно Парвус не был на заседании, уцелел, и тут же создал второй Совет, другого состава. Пришли арестовывать второй – а Парвус снова не попал).

Керосина в лампе не было – а горела уже час, не уменьшая света.

Надо было годам пройти, чтобы рёбра, подмятые Парвусом, выправились, вернулась уверенность, что тоже на что-то годишься и ты. А главное, надо было увидеть ошибки и провалы Парвуса, как и этот слонобегемот опрометчиво ломил по чаще, и обломки прокалывали ему кожу, как он оступался в ямы на бегу, исключался из партии за присвоение денег, занимался спекуляцией, открыто кутил с пухлыми блондинками, – и наконец открыто поддержал немецкий империализм: откровенно высказывался в печати, в докладах, и явно поехал в Берлин.

Шляпа позади лампы – качнулась, показав атласную подкладку.

Да нет, лежала спокойно, как оставил её Скларц.

Через Христю Раковского из Румынии, через Давида Рязанова из Вены уже доходили до Ленина слухи, что Парвус везёт ему *интересные предложения*, так развязно не скрывался он. Но слава открытого союзника кайзера опередила Парвуса, пока он вёз эти предложения, пока кутил по пути в Цюрихе. Все привыкли бедствовать годами, а тут прежний товарищ явился восточным пашой, поражая эмигрантское воображение, раздавая впрочем и пожертвования. И когда нашёл он Ленина в бернской столовой, втиснулся непомерным животом к столу и при десятке товарищей открыто заявил, что им надо беседовать, – Ленин, без обдумывания, без колебания, в секунду ответил резкими отталкивающими словами. Парвус хотел разговаривать как вояжёр мирного времени, приехав из воюющей Германии?? (и Ленин хотел! и Ленин хотел!) – так Ленин просил его **убраться вон!** (Верно! Только так!)

На бауле ручка перекинулась с одной стороны на другую – хляп!

Но увидеться – надо было! Не бумагами же всё переписываться, какая-нибудь да попадёт к врагам. И Ленин шепнул Зифельду, а тот нагнал толстяка, по какому адресу ему идти. (А Зифельду Ленин потом сказал: нет, отправил акулу ни с чем). И в спартанско-нищей комнатке Ульяновых толстозадый Парвус с бриллиантовыми запонками на высунутых ослепительных манжетах, сидел на кровати рядом и не помещался, и наваливался, толкал Ленина к подушке и к спинке железной.

Тр-ресь!! – распёрло наконец баул – и, освобождая локти и выпрямляя спину, разогнулся, поднялся в рост во всю свою тушу, в синей тройке, с бриллиантовыми запонками, – и разминая ноги, ступнул, ступнул сюда ближе.

Стоял – натуральный, во плоти – с непотягаемым пузом, удлинённо-купольная голова,

мясисто-бульдожья физиономия с эспаньолкой – и блеклым внимательным взглядом рассматривал Ленина. Дружелюбно.

Да ведь и правда! – давно же надо поговорить. Всё мельком, всё некогда, или в отрыве или в противоположности, и так трудно встретиться, следят враги, следят друзья, нужна тайна глубочайшая! Но уж если пробрался, какие тут письма, пришёл момент критический, поговорить накоротке:

– Израиль Лазаревич! Я удивляюсь, куда вы растратили свой необыкновенный ум? Зачем всё так публично? Зачем вы поставили себя в такое уязвимое положение? Ведь вы же сами закрываете все пути сотрудничества.

Ни – “здравствуйте”, ни – руки не протянул (и хорошо, потому что и у Ленина не было сейчас сил подняться и поздороваться, рука как в параличе, и “здравствуйте” тоже горло не брало), – а просто плюхнулся, да не на стул, а на ту же кровать, впритыску, неуклюжей тяжестью навалившись, боком вытесняя Ленина по кровати.

И наставляя прямо к лицу бледно-выпуклые глаза, речью неясной, не оратора, но собеседника ироничного:

– Удивляюсь и я, Владимир Ильич: вы всё агитацией да протестами заняты? Что за побрянчушки? – конференции какие-то, то тридцать дам в народном доме, то дюжина дезертиров?

И толкал бесцеремонно по кровати, нависал болезненно раздутой головой:

– С каких пор вы вместе с теми, кто хочет мир изменить пером рондо? Ну что за дети все эти социалисты с их негодованием. Но вы-то! Если серьёзно **делать** – неужели же прятаться по закоулкам, скрывать, на какой ты воюющей стороне?

Хоть горлом речь не выходила, но прояснела голова, как от крепкого чая. И без языка было всё взаимопонятно.

Ну конечно же, это был не жалкий Каутский – демонстрировать “за мир”, а в войну не вмешиваться.

– Мы же оба не рассматриваем войну с точки зрения сестры милосердия. Жертвы, кровь и страдания неизбежны. Но был бы нужный результат.

Ну, конечно же, Парвус был основательно прав: надо, чтобы Россия была разбита, а для этого надо, чтобы Германия победила, и надо искать поддержки у неё, – всё так! Но – только до этого пункта. А дальше – Парвус зарвался. Увлечшись своими успехами, он оступается, это не первый раз.

– Израиль Лазаревич, если у социалиста что-нибудь реально имеется, то это – революционная честь. Чести – мы не можем терять, мы тогда всё теряем. Говоря между нами, по расположению наших с вами позиций – ну конечно союз. И конечно мы ещё очень понадобится и поможем друг другу. Но по вашей теперь политической одиозности... Один какой-нибудь Бурцев найдётся – и всё погибло. Так что придётся допустить между нами публичные разногласия, газетную полемику. Ну, не настойчивую... спорадически так, иногда... Так что если... – Ленин никогда не смягчал и в глаза, жёстче сказать, крепче будет, -... если там, например... морально опустившийся подхалим Гинденбурга... ренегат, грязный лакей... Поймите сами, вы же не оставляете другого выхода...

– Да смешно, да пожалуйста, – горькая усмешка перерезала одутловатое лицо Парвуса. – Вот я весной в Берлине получил миллион марок, из того миллиона сразу перевёл Раковскому, Троцкому с Мартовым, да и вам в Швейцарию, не получали? Ах, не вникали? Проверьте, проверьте у своего кассира, если не растратил... И Троцкий деньги принял – а от меня уже и отрёкся публично: “политический Фальстаф”... Написал мне живому – некролог. Я ничего не говорю, это можно конечно, я понимаю.

И застыло-стеклянно смотрел из-под поднятых редковолосых бровей.

Разошлись они с Троцким раньше, на перманентной революции. А любил он его как младшего брата.

Но на Ленина – он очень надеялся, и толкал, толкал его по кровати своею массивной рыхлостью, заставляя двигаться к подушке, уже локтем ощущать спинку сзади.

– А ваши лозунги голые не лопнут без денег, а? Нужно **деньги** в руках иметь – и будет власть! А чем вы будете власть захватывать? – вот неприятный вопрос. Да хотя! позвольте, в 904-м на III съезд и на “Вперёд” вы же, кажется, приняли деньги, очень похожие на японские, – ничего, пошли? А я теперь – лакей Гинденбурга? – пытался смеяться.

Всё было – точно, как прошлый раз, или это и было – прошлый раз?... – в комнате бернской мешанки? или в комнате цюрихского сапожника? или – ни в какой комнате? Как будто всё это говорилось уже раз, и вот по второму. Ни стола, ни Скларца, – а только кровать железная швейцарская массивная с ними могучими двумя – плыла над миром, беременным революцией, ожидавшим разрешения от них двоих, с ногами свешенными, – неслась по тёмному кругу, опять. И ровно столько было невидимого света, чтобы видеть собеседника, и ровно столько звука, чтобы слышать его:

– Ничего, это можно... Я понимаю...

Он – презирал мир. Тамошний, далеко внизу, под кроватью.

– А по-моему, если *войну превращать в гражданскую* – так любой союзник хорош. Ну, у вас сейчас **сколько** ? – издевался. – Не спрашиваю, не принято. А у меня – не у меня, а для дела – вот, миллион весной получил, этим летом ещё пять миллионов получаю. И будет ещё не раз. Как?

Вместе с Парвусом они всегда презирали эмиграцию за призрачность, за недельность, за интеллигентскую слюнтявость, всё слова, слова. А деньги – это не слова. Да.

Душила Ленина его самоуверенность. И восхищала реальность силы.

Вытаращивал бледные глаза, похлопывал губой с неровными усами:

– **План** ! Я составил единый великий план. Я представил его германскому правительству. И на этот план, если хотите, я получу и двадцать миллионов! Но главное место в этом плане я отвёл – для **вас** . А вы...

Дышал болотным дыханием, близко в лицо:

– А вы?... ждать?... А я...

Этот купол – не меньше ленинского, пол-лица – голый лоб, полголовы – темя со слабыми волосами. И – беспощадный, нечеловеческий ум во взгляде:

– А я – назначаю русскую революцию на 9 января будущего года!!!

## 48

Как рождаются простые и великие планы? Подсознательным вынашиванием мыслей, когда ещё никуда определённо не предназначаешь их. Потом элементы давно известные, может быть и не тебе одному, вдруг проступают дружно к центру и именно в твоей голове соединяются в единый план – и до того же простой и ясный, что удивляться надо, как он не сложился ни у кого прежде.

Как не сложился прежде у германского генерального штаба, хотя ему-то и думать бы первому?

Правда, у них не хватало понимания России. И от осени 14-го года, после Марны, осознав неудачу быстрой победы, они до осени 15-го всё надеялись на сепаратный мир с Россией, тыкались попытками контактов, никак не думали, что Романовы всё отвергнут. Это их и отвлекло.

А Парвус, отъединённый от главных событий, отброшенный в бронзово-голубой Константинополь, достигнув жажданного богатства, а с ним – всех вообразимых телесных нег на Востоке, умеющем насытить мужской дух и мужские желания, в стороне от великой битвы (“в социалистическом резерве”, как советовал ему Троцкий) и обеспеченный никогда не узнать последствий этой битвы, – ни в каком насыщении, ни в каком расслаблении ни на миг не покидал своего поиска, рождённого в дальней юности тут же, на черноморском берегу, по диагонали.

Он не покидал его, ещё когда ехал на Балканы, где книги его читались шире, чем Маркса и Энгельса. Не забывал, когда кормился в константинопольских притонах и собирал

портовых голодранцев на первомайскую демонстрацию. Тем более не забывал, возвышаясь при младотурках, обратив свой финансовый гений из топора, подрубившего русский ствол, в лопату садовника, подпитывающего турецкий. Не ошеломился, не забыл и от миллионов, так наплывно, и для всех таинственно, понесших его. Не забывал, основывая банки, торгуя с Одессой-мамой и с мачехой Германией. Он как хлыстом был протянут от сараевского выстрела: обладал Парвус сейсмическим чувством недр и уже знал, что – поползут пласты! что – попадётся старый глупый медведь! Наконец-то она пришла, наступила Великая, Мировая! Он давно её предсказывал, называл, вызывал – самый мощный локомотив истории! самую первую колесницу социализма! Пока там, по всей Европе, бушевала социал-демократия вокруг военных кредитов – Парвус ни речи не произнёс, Парвус ни строчки не напечатал, он не тратил времени, минуты не ждали, он сновал своими тайными ходами, убеждая стамбульских правителей, что только на стороне Германии вырвется Турция из нескончаемых своих капитуляций, он спешил доставать оборудование и запасные части для турецких железных дорог и мельничного дела, снабдить зерном турецкие города, обеспечить, чтобы Турция осенью не просто объявила войну, но как можно скорее могла бы начать реальные боевые действия на Кавказе. (И такие же заботы нагоняли его с Болгарией, он успел подготовить к войне и её). Лишь после этих существенных свершений мог позволить себе Парвус откинуться в заброшенную любимую публицистику, в балканскую прессу, с лозунгом: “За демократию! против царизма!”.

Это надо было объяснить, обосновать, чтоб убедить как можно многих, – и неотупевшее перо легко разбрызгивало искры: не надо ставить вопроса о “виновниках войны” и “кто напал”, мировой империализм десятилетиями готовил эту схватку, и кто-то должен был напасть, неважно. Не надо искать этих пустых причин, но надо думать социалистически: как нам, мировому пролетариату, использовать войну, значит: на чьей стороне сражаться? У Германии – самая мощная в мире социал-демократия, Германия – твердыня социализма и поэтому для Германии эта война – оборонительная. Если социализм будет разгромлен в Германии – он будет разбит везде. Путь к победе мирового социализма – военное укрепление Германии. А то, что царизм на стороне Антанты, ещё более открывает нам, где истинный враг социализма: значит, победа Антанты принесёт новое подавление всему миру. Итак, рабочие партии всего мира должны воевать **против русского царизма**. А советовать пролетариату принять нейтралитет (Троцкий) – значит самоисключиться из истории, революционный кретинизм. Итак, задача мирового социализма – уничтожающий разгром России и революция в ней! Если Россия не будет децентрализована и демократизована – опасность грозит всему миру. А Германия несёт главную тяжесть борьбы против московитского империализма, и революционное движение в ней должно на время прекратиться. А потом победа в войне принесёт и классовые завоевания пролетариату. **Победа Германии – победа социализма!**

На эту публикацию первые приехали к Парвусу посовещаться – “Союз вызволения Украины” из Вены (среди них были знакомые по “искровским” временам), потом армянские, грузинские националисты, – всем борцам против России открывались двери его константинопольского дома.

Так напряжённый поиск Парвуса магнитно притягивал опыт других, а сопоставленный этот опыт, социалистов и националистов, стянутый во взрывную точку, рождал и План. До сих пор болтали социалистические программы всё об автономии – нет! Только разрывом и расчленением России можно было свалить абсолютизм, дать нациям сразу – и свободу, и социализм.

Пока проваливались первые экспедиционные группы украинцев и кавказцев (второпях набрали и хвастунов и авантюристов, конспиративная затея вдруг разгласилась в эмигрантской прессе, и Энвер-паша остановил экспедиции), в раздутой ёмкой голове Парвуса досовершалось магнитное соединение железных элементов в единый План. Как любит механика треугольные скрепы за их устойчивость к деформациям, так элементам националистическим и социалистическим не хватало третьего союзника – германского

правительства: цели всех троих ближайшие – совпадали!

Вся предыдущая жизнь Парвуса была как нарочно состроена для безошибочного создания этого Плана. И оставалось теперь ему – тому счастливому, чем Парвус был, скрещению теоретика, политика и дельца, – сформулировать план по пунктам в декабре Четырнадцатого, в январе приоткрыть его германскому послу, получить гостеприимный вызов в Берлин, на личном свидании поразить верхушку министерства (19 лет эта страна не кинула ему простого гражданства, закрывала его редакции, гоняла из города в город, могла выдать русской охранке, – теперь высшие правительственные глаза предусмотрительно засматривали в его пророческие), в марте Пятнадцатого представить окончательный подробный меморандум и получить первый миллион марок аванса.

План был: собрать под единое руководство все возможности, все силы и все средства, вести из единого штаба – действия центральных держав, русских революционеров и окраинных народностей. (Он знал этого быка – но и обух достойный готовил ему). Никаких разрозненных частных импровизаций. План убеждал настойчиво, что никакая германская победа не окончательна без революции в России: неразрезанная Россия останется неугасающей постоянной угрозой. Но и никакая отдельная сила не может разрушить русскую крепость, а только едионаправленный их союз: совместный взрыв революции социальной и революции национальной при германской денежной и материальной поддержке. Опыт революции 1905 года (уж автор-то знал её! и в глазах имперского правительства гарантией солидности советчика то и было, что он – не приبلудный коммерсант, но Отец Первой Революции) позволяет видеть, что все симптомы повторяются, все данные для революции сохранились, и даже, в условиях мировой войны, она потечёт ещё быстрее, но если умело её толкнуть, воздействием извне ускорить катастрофу. Центрами **социального** восстания будут подготовлены Путиловский, Обуховский и Балтийский заводы в Петербурге и кораблестроение в Николаеве (на юге России у автора особо прочные связи). Назначается дата, уже есть такая наболевшая в России: годовщина Кровавого Воскресенья, сперва только – для однодневной забастовки в память погибших, для одноразовой уличной манифестации – 8-часовой рабочий день, демократическая республика, но когда будут разгонять, то оказать сопротивление, прольётся хотя бы малая кровь – и огонь побежит, побежит по всем бикфордовым шнурам! Однодневные стачки сливаются во всеобщую забастовку “за свободу и мир!”. Листовки на главных заводах – и к тому времени уже подготовленное оружие в Петербурге и в Москве! В 24 часа будет приведено в действие сто тысяч человек! К забастовке тотчас присоединяются железнодорожники (подготовлены будут и они), останавливается всякое движение на линиях Петербург-Москва, Петербург-Варшава, Москва-Варшава и на юго-западных. Для всеобщности и дружности взрываются некоторые мосты и на сибирской магистрали, для чего послать туда экспедицию из опытных агентов. О Сибири отдельная часть плана: дислоцированные там войска чрезвычайно слабы, города под влиянием ссыльных настроены революционно. Это облегчает устройство диверсий, а когда уже беспорядки начнутся – произвести массовое перемещение ссыльных в Петербург, чтобы впрыснуть в столицу тысячи действенных агитаторов, успеть захватить пропагандой миллионы русских рекрутов. Пропаганда будет вестись и всей левой прессой в России и поддержится потоком пораженческих эмигрантских листовок (их печатанье нетрудно развернуть например в Швейцарии). Будет полезна всякая публикация, которая ослабляет волю к сопротивлению у русских и указывает на социальную революцию как выход из войны. Остриё пропаганды будет направлено в действующую армию. (Рисовалось и восстание в Черноморском флоте. Проезжая Болгарию, уже Парвус завязал связи с одесскими моряками. Он сильно подозревал всегда, что “Потёмкина” сделали японцы. Во всяком случае можно будет взорвать один-два броненосца). Опытные агенты посылаются также и – поджечь нефтяные промыслы в Баку, что не представляет трудности при их слабой охране. Динамика социальной революции должна быть усилена и финансово: с немецких самолётов разбрасывать русскому населению фальшивые рубли, одновременно – пустить в международное обращение, в Петербург и в Москву банкноты с одними и теми же

номерами и сериями, – подорвать международный курс рубля и создать панику в столицах.

Со всеми их Клаузевицами, Мольтке-старшим и Мольтке-младшим, со всей их самоуверенной стратегией и надменной чёткостью штабов – никогда не вырастали узкие прусские лбы до такого размаха! до такого замысла!!!

Никогда не имела Германия такого советчика по России, по всем слабостям её. (Настолько никогда не имела, что даже и теперь оценить не могла).

И это же – далеко не всё! Одновременно начнётся революция **национальная**. Главный рычаг – украинское движение, без украинской подпоры быстро опрокинется русское здание набок. Украинское движение перебросятся дальше на кубанских казаков, а может заколеблются и донские. Естественно сотрудничество и с наиболее созревшими, почти уже свободными финнами: легко посылать им оружие, а через них – в Россию. Польша – всегда за пять минут до антирусского восстания и только ждёт сигнала. Между восставшими Польшей и Финляндией всколыхнётся и Прибалтийский край. (По другому варианту предусмотрел Парвус, что остзейские губернии охотно присоединяются к Германии). Националисты Грузии и Армении – уже и сегодня в реальном и денежном сотрудничестве с правительствами Центральных держав. Кавказ – раздроблен, и возбудить его будет трудней, но посредством Турции, через мусульманскую агитацию, подыдем его на газават, священную войну. И в том окружении вряд ли терские казаки захотят класть головы за царя, а не отделиться тоже.

И централизованная Россия – рухнет навсегда! Внутренняя борьба сотрясёт Россию до основания! Крестьяне станут силой отбирать землю у помещиков! Солдаты толпами побегут из окопов обеспечивать свою часть в земельном разделе. (Восстанут против офицеров, перестреляют генералов! – но эту часть перспективы прикрыть, она может вызвать у пруссаков неприятные предчувствия).

Однако (захватывая дыхание) – и это не всё! и это – не всё! Сотряси Россию разрушительной пропагандой изнутри – обложить её и **извне** враждебностью мировой прессы! Антицарскую кампанию поднимут социалистические газеты разных стран – однако, захватывая слева направо, эта травля увлечёт затем и либеральную, то есть подавляющую прессу всего мира! Газетный крестовый поход на царя! И особенно важно при этом – захватить общественное мнение Соединённых Штатов. А разоблачением царизма будет одновременно демаскирована и подорвана вся Антанта!

Вот что предложил Парвус Германии: вместо безнадёжной пехотно-артиллерийской мясорубки – одним только впрыскиванием денег, без немецких жертв – в несколько месяцев из Антанты вырывается многолюднейший член её! Ещё бы не схватилось германское правительство за эту программу!

Да в этом Парвус не сомневался. Он тревожился, как примут её другие в Берлине социалисты. Как примет его проект мачеха-партия, которой идеи его и всегда были слишком глубоки, чтобы применить их для массовой агитации, слишком залётны вперёд, чтобы казаться реальными даже вождям; партия, где колотился он 19 лет, рассыпая идеи, – и не получил никогда ни единого партийного поста, ни на одном съезде не имел права голосовать. Короткое время он был в ней героем – вернувшись из Сибири, и все зачитывались его мемуарами “В русской Бастилии”. Затем измазался он в несчастном горьковском деле, и тайная партийная комиссия обрекла его на изгнание – и пятно не отмылось даже теперь, 5-летней отлучкой. Но главное – необъяснимое легендарное, в один год, обогащение, которого по ограниченности не могут простить люди, а соци – особенно. (Странная психология: будь это же богатство наследственным – никто б и не укорил никогда). За одно богатство должны были его возненавидеть и отвергнуть – но нашли для возмущения более благородный повод: он стал пособником империалистов! Уж конечно там Клара и Либкнехт, но – Роза! когда-то близкая женщина (впрочем, и в близости стыдилась – его наружности? – всегда скрывала связь), – и Роза показала ему на дверь. Бебель за это время умер, Каутский и Бернштейн – отъединились, слабели, новое же самодовольное руководство искало слабостей в позиции перекатного социалиста: а как поведёт себя пруссаческое правительство после



победы? а почему оно от русской революции смягчится и подобрееет к социализму? а не накроет оно заодно и демократию Англии и Франции?...

И в возражениях этих – истина была, и сомнения – лежали там, – но никому из них не доставало той захватывающей цельности, которая одна и сотрясает миры и творит их! Никто, почти никто в Европе не мог перескочить и увидеть: что *ключ мировой истории лежит сейчас в разгроме России!* всё остальное – второстепенно.

А социалисты Антанты уже поднимали против Парвуса разоблачительную кампанию.

Острота социалистических упрёков ему отравляла всю радость успеха, хотя большинство социалистов Европы не были ни люди науки, ни люди реального дела. Они не могли подняться ни на высоту обзора, ни смекнуть живой поворот действия по живому повороту дела. Это были уже – чиновники от социализма, заклиненные в коридорах догм как в гробах: они даже не ходили, не ползали по этим коридорам, но – лежали вдоль них и не смели представить себе никакого поворота. Первые же открытые призывы Парвуса помогать Германии вызвали у них девственный ужас. Как хорошо бы им просидеть войну в невинной нейтральности и отделяться моральным негодованием – на войну и на тех, кто смелость имеет вмешаться в неё!...

Но – решительна для Плана была роль социалистов русских, и им отводилась в плане существенная разработка, представленная германскому правительству. Они все раздроблены, рассеяны на мелкие группы, бессильны – а ни одну из них нельзя упустить, всех использовать. Для этого надо привести их к единству – устроить объединительный конгресс, удобно в Женеве. Одни группы, как Бунд, Спилка, поляки, финны, безусловно поддержат План. Но нельзя создать единства, не помилив большевиков и меньшевиков. А всё это будет зависеть – от вождя большевиков, живущего сейчас в Швейцарии.

Тут могли быть разные трудности, и даже та, что часть русских социалистов окажется патриотами и не захочет раздела русского царства. Но была и обеспеченность: нищие эти эмигранты десятилетиями нуждались в деньгах: и для обычной простой жизни, что-то класть в рот, а заработать они не умели никогда, и для своих непрерывных поездок и съездов, и для своих нескончаемых брошюрных-журнальных-газетных писаний. Не устоят они перед протянутым набитым кошельком. Уж если крепкие легальные западные партии и профсоюзы всегда податливы на денежную поддержку, скажем, для своих трудящихся, всё равно, – кому в мире не хочется жить сытей, теплей, просторней? (незаметная тихая помощь скромно живущим вождям тоже очень укрепляет с ними дружбу) – как могут отказаться эмигранты?

Однако едучи в Швейцарию, более всего предсмаковал Парвус успех от встречи с Лениным. Давно состарилось их мюнхенское сотрудничество, годами не виделись они, – но зоркий глаз Парвуса никогда не упускал этого единственного неповторимого социалиста Европы – совершенно непредвзятого, свободного от предрассудков, от чистоплюйства, в любом повороте дела готового принять любой нужный метод, приносящий успех: единственного жестокого реалиста, никогда не увлечённого иллюзиями, второго реалиста в социализме после Парвуса. Чего не хватало Ленину – это широты. Дикая, нетерпимая узость раскольника гнала попусту его огромную энергию – на дробление, отмежевание, мелкое шавканье, перебранку, драчку, газетные уколы, изводила его в ничтожной борьбе, в кипах исписанной бумаги. Эта узость раскольника обрекала его быть бесплодным в Европе, оставляла ему только русскую судьбу, но значит и делала незаменимым для действий в России. Сейчас!

Сейчас, когда младший сподвижник Троцкий, сердца кусок, отрёкся навсегда, когда Троцкому изменила жизненная сила и точность взгляда, – как призывно вспыхивала Парвусу жестокая ленинская звезда из Швейцарии: независимо, он высказывал всё то же: что не надо искать, кто первый напал; что царизм – твердыня реакции и должен быть сокрушён первым; что... По оттенкам побочных замечаний, потерявшихся в придаточных предложениях и не заметных более никому, Парвус видел, что Ленин не изменился ни в своей нетребовательности, ни в своей требовательности, что он не перекривится взять в союзники хоть и Вильгельма, хоть и сатану, – только бы сокрушить царя. Оттого уже заранее слал

Парвус ему вести об *интересных предложениях* : что союз заключится – сомнений не было. Лишь вот эти несчастные придуманные разногласия с меньшевиками, где Ленин был особенно глупо-непреклонен. Но и миллионы марок в поддержку – весили же что-то? В меморандуме германскому правительству Парвус прямо назвал Ленина с его подпольной организацией по всей России – как свою главную опору. Взять Ленина своею правой рукой, как в ту революцию Троцкого, – был верный успех.

На верный успех и ехал Парвус в Берн, и шёл по столовой с сигарой во рту, и был удивлён шумным отказом, но потом оценил разумность приёма. И на скудной кровати теснил, теснил легковатого Ленина – своими пудами:

– Да вам **капитал** нужен! **Чем** вы будете власть захватывать? Вот неприятный вопрос.

Эт-т-то-то Ленин понимал прекрасно! Что на одних голых идеях не прошагаешь, что революцию нельзя делать без силы, а в наше время начальная сила – деньги, а уже из денег рождаются другие виды силы – организация, оружие и люди, способные этим оружием убивать, – всё верно, кто ж возразит!

Со своей бесподобной схватчивостью ума, без нужды на обдумывание, со своими мгновенными переменами в лице, вот уже усмешка соучастника обещающего, безо всякого задора отступая, прикартавливая:

– Почему – неприятный? Когда к деньгам относятся партийно – партии это приятно. Неприятно, когда из денег делают оружие против партии.

– Ну да впрочем, у вас же там что-то сочтётся, – дружелюбно-усмешливо вспоминал Парвус, – на что-то же “Социал-Демократ” выпускаете. Или, – фальстафовский живот его подрагивал от смеха, – или вы, положим, швейцарским налоговым агентам пишете, что, наоборот, живёте гонорарами с “Социал-Демократа”?...

Усмешка – часто была у Ленина, улыбка – очень редко, – вместо того он прищурился, ещё пряча, пряча природой запрятанные глаза. И осторожно выбирал слова:

– Филантропические фонды всегда откуда-нибудь идут. Принимать благотворительность – вполне партийно, отчего же?

(Да денег не так уж скудно, можно бы всем жить посвободнее, как по бесстыдству и делают некоторые, через кого течёт. До неприличия швыряет деньгами Багоцкий, и никто не возьмётся проверить австрийские деньги у Цивина. Но тут – нельзя давить, можно всё испортить. Уж как течёт).

Глазу не на чем остановиться – ни на обтрёпанном ленинском пиджаке, ни на латаном воротнике, ни на скатерти протёртой, ни в голой комнате, где вместо книжной этажерки – два ящика один на другой. Но Парвус – ничуть перед ним не стыдился своих бриллиантов, ни – шевиота, ни английских ботинок: всё это ленинское нищенствование – игра, партийная линия, чтоб задавать тон, служить примером, “вождь без упрёка”. В этой задуманной, много лет исполняемой роли – в ней-то и ограниченность, и убогость мышления. Но она – поправима, и Ленину тоже можно будет придать размах.

(А – нет! а – нет! По внутреннему протесту, по противоположности вело Ленина – самому во всяком случае и всегда отгородиться от всякого доступного близкого избытка. Достаток – другое дело, достаток – разумен, но избыток – начало разложения, и Парвус на этом попался. Деньги пусть текут и миллионами, но – на революцию, а самому – держаться в границах необходимого, самому считать даже рапшны и гордиться этим. Совсем не для маскировки и лишь отчасти для примера другим, кого нельзя заставить).

Быстрым взглядом искоса, снизу вверх, Ленин не враждебно, не обиженно:

– Израиль Лазаревич! Ваша вечная вера во всевластие денег – вас и подвела. Поймите, подвела.

(То ли при малых тратах – как в замкнутой комнате, как при полной секретности: ничего не утекает, твёрже себя чувствуешь, никогда не распустишься, всё сковано и связано. А богатство – подобно распущенной болтовне. Нет! Дисциплина во всём, и в этом тоже. Только в ограничениях развивается и движется настоящий напор. И даже: залог за то, чтобы

жить в Швейцарии, основа безопасности и всей деятельности, 1200 франков, – есть, но: нет! не платить! – хлопотать – писать – подавать заявления о несостоятельности – просить персонального снижения в 10 раз – тратить золотое время на проходки к полицей-президенту и даже вместе с Карлом Моором, у кого свой бумажник в кармане раздутый и только руку протянуть, ассигнацию вытянуть. И получив наконец снижение до трёхсот – уплатить только сто и ещё потом долго торговаться, а переехавши в Цюрих – и вовсе не платить, но писать и просить, и переписываться с Берном: ту сотенку перевести в здешний кантон. Это умел Ленин: сжиматься – умел. Только сжатый – дышал хорошо).

Смысл каждой беседы: себя без надобности не открыв – собеседника понять, понять до дна.

Колким прощупывающим взглядом, с усмешкой скептической:

– Ну – зачем вам собственное богатство? Ну, скажите! Ну, объясните.

Вопрос ребёнка. Из тех “почему”, на которые даже отвечать смешно. Да для того, чтобы всякое “хочу” переходило в “сделано”. Вероятно, такое же ощущение, как у богатыря – от игры и силы своих мускулов. Утверждение себя на земле. Смысл жизни.

Вздыхнул:

– Да это просто человечески: любить быть богатым. Неужели вы не понимаете, Владимир Ильич?

И – посмотрел. И вдруг в этой плешате, и старой коже на висках, и уж слишком заострённом, уж слишком напряжённом изломе бровей заподозрил: а – не понимает, не притворяется. Всепронизывающий взгляд, а сбоку – совсем не видит.

Помягче ему:

– Ну как вам сказать... Как приятно иметь полное зрение, как приятно иметь полный слух, – вот так же и богатство...

Да разве Парвус из головы придумал, да разве это было его теоретическое убеждение – стать богатым? Это была – врождённая потребность, а порывы торговли, гешефта, не упустить возникающую в поле зрения прибыль, были не планомерным программным, а почти биологическим действием его, происходящим почти бессознательно-и безошибочно! Это был – инстинкт его: всегда ощущать, как вокруг происходит экономическая жизнь и где возникают в ней диспропорции, несоответствия, разрывы, так сами и просящие, кричащие – вложить туда руку и вынуть оттуда прибыль. Это было настолько его существом, что все свои разнообразные финансовые дела, теперь уже раскинутые на десять европейских стран, он вёл без единой бухгалтерской книги, весь подвижный дебет-кредит – в одной голове.

(Ну, в конце концов, личное богатство – это Privat-sache, частное дело, верно. Но глаза бурлили и добывали: вообще ли он – социалист? Вот догадка: 25 лет социалистической публицистики – а социалист ли он?..)

Но если ближе к предмету разговора:

– Я же говорю вам! богатство – это власть! Пролетариат к чему стремится – к власти? Имя – у меня было двадцать пять лет, и побольше вашего, и оно ничего мне не дало. А богатство – открывает все пути. Да хоть вот и эти переговоры. Какое же правительство поверит нищему – и даст ему миллионы на проект? А богатый – себе не возьмёт, у него свои миллионы.

Несоразмерная, несимметричная голова доверчиво свисала набок, и дружелюбно, мирно смотрели на Ленина бесцветные философские глаза:

– Не теряйте момента, Владимир Ильич. Такие предложения жизнь подносит – один только раз.

Да, это понятно. Ещё в первые дни войны, испытав непривычное удобство – благоприятствующее, подхватывающее крыло (тогда – австрийское), во мгновение перенесшее, куда заказано (не было к Швейцарии пассажирского движения – понёс семью Ульяновых воинский эшелон), захвачен был Ленин открытием такого преимущества: не зависать, не плавать среди слов и понятий, слов и понятий, но раз навсегда покончить с беспомощным зябким эмигрантством, прильнуть и соединиться с движением настоящих

материальных сил. Как всегда и во всём – и в этом Парвус опять его опередил.

– Чтобы сделать революцию – нужны большие деньги, – убеждал Парвус, налегши плечом на плечо, дружески. – Но, чтобы к власти придя, удержаться – ещё большие деньги понадобятся.

С другого конца – а поражало верностью.

По высшему центру своей мысли Парвус был несомненно прав.

Но по высшему центру мысли своей – несомненно прав был Ленин.

– Вы подумайте, если соединить мои возможности – и ваши. И при такой поддержке! При вашем несравненном таланте к революции! – сколько ж можно околачиваться по этим дырам эмигрантским? Сколько ж можно: ждать революцию где-то там впереди, а когда она уже вот пришла, за плечо берёт – не узнать?...

Э, нет! Ничем! Ничем – ни совместной радостью, ни жаркой надеждой, ни уж, конечно, лестью, нельзя было на пелену ослабить зоркость ленинского взгляда! Самая узенькая трещина расхождений замечалась им прежде и больше, чем массивы сдвинутых платформ. Пусть – отодвинутый, пусть – неудачник, но во всех удачах Парвуса, и в пророчествах Парвуса постоянно зная: нет, не так! или: нет, не полностью так! А хоть я – ничего не достиг, а правота у меня!

Да Парвусу – смешно, сотрясает смех грузное тело, любящее бутылку шампанского натошак, и ванну принять, и с женщинами поужинать, когда ревматизм не куёт к одру:

– Так и дальше думаете – деньги через налётчиков добывать? Теперь – “Лионский кредит” будете грабить? Так вас же в Каледонию сошлют, товарищи! На галеры!

Смех одолел.

В несогласии тонко шевельнулись брови Ленина. Но взгляд испытующий – беспристрастно смотрит на проблему.

Налетать на банки ещё прежде законной всеобщей экспроприации капиталов – теоретически здесь никакой ошибки нет, это – как бы взять займы у самих же себя из будущего. А практически – ну, как удастся. В чём за революционные годы большевики несомненно успели – именно в эксах. Начинали с налётов на билетные кассы, на поезда. А уж первые 200 тысяч из Грузии преобразили жизнь партии. А если бы в 907-м взяли в Берлине в банке Мендельсона 15 миллионов (Камо по пути арестовали, сорвалось) – так о-о-о! Метод рискованный, но очень эффективный, и во всяком случае не марает партию, как связь с иностранными штабами.

– Марает? Попасться боитесь? – тоже в щёлки сдвинул глаза, нарочно, стыдит, презирает и поучает Парвус. – А я вам скажу из верного опыта: на больших... предприятиях – никогда не попадёте. А вот кто на маленьких жмётся – вот тот и попадает.

Толстокож! Что говорят – ему наплевать, прёт по миру тумбами-стопами, давит.

Косит у Ленина правый глаз. Сердится.

Парвус – в сочувствии. Он студенистыми руками берёт Ленина за обе руки, неприятная манера, он говорит как глубокий друг (с ним когда-то чуть не стали на “ты”):

– Владимир Ильич, не упускайте анализировать! Надо же проанализировать: отчего вы уже проиграли одну революцию? Не от ваших ли собственных недостатков? Это важно на будущее. Смотрите, не проиграйте вторую.

Да какая же наглая самоуверенность! Какого чёрта лезет в учителя? Опять себя навязывает в новые вожди? Уже ослеп от самолюбования!

Вырвал руки! И – с усмешкой, с прорезающей своей усмешкой при вздёрнутых бровях, в издевательской естественной стихии усмешки, когда краснеет радостно в глазах, наслаждённый торжествующей издёвкой:

– Израиль Лазаревич! Вы бы больше недостатки анализировали – свои. Ту революцию я не проигрывал, потому что я её не вёл. А проиграли её – вы! Как же вы сорвались?

И ещё тут – ничего не сказано, ещё остановиться можно. Но всё задыханье от этой туши, давившей рёбра столько лет, но сама стихия издёвки прорывает дальше нужного (и что у него кроме честолюбия? кроме жажды власти? кроме богатства?):

– А в Петропавловке – что вы так быстро упали духом, от одиночки, от сырости? Что за жалость над своим трупом? Что за патетический дешёвый дневничок на вкус немецкого филистера? Да бред об амнистии! Да без пяти минут жалоба царю? Да разве это похоже на вождя революции?

А сам? – маленький, плешатый, остробровый, остроглазый, с движеньями ёрзкими, суетливыми?

Но кроме них двоих – никому не оставалось быть.

Парвус никогда не краснел, как будто не было в нём той приливающей жидкости красной, а – водозеленистая, и такая же кожа. И – никак бы ему сейчас не гневаться, но когда Ленин выпячивался в издевательскую насмешку и ещё подрагивал при этом, и ещё подрагивал – бросало забыть обо всех его достоинствах! И неразумно отбрить:

– Можно подумать – вы дрались на баррикадах! Можно подумать – вы хоть один раз прошли в уличной демонстрации, когда ждали нагайки! Я по крайней мере бежал со ссыльного этапа! А вам – зачем бежать, если вы по ложному свидетельству вместо севера Сибири получаете Сибирскую Италию?

(Да тут чего только не вырвется: хорошо вам призывать к войне, из нейтральной Швейцарии да всю жизнь без воинской повинности!)

Если вот такое оскорбление выслушать публично – то надо политически убивать, шельмовать до уничтожения. Когда не публично – можно разные решения принять. Может быть, допустить и сочувственность в этой критике. Может быть, и сам забрал острее нужного, такая дискуссионная привычка.

Ах, неразумно было так говорить! Не за тем ехал в Швейцарию, чтобы ссориться.

Парвус – очень может быть полезен, занял исключительные позиции, зачем же ссориться с ним?

Ленин – основа всего Плана. Если он отшатнётся – кто же будет революцию делать?

И – опять усмешка ленинская, но совсем другая, не кусачая, а – пронизательнейшая между умнейшими в мире людьми, и руку на плечо, и полушёпотом:

– А знаете? А хотите знать вашу главную ошибку Пятого года? Из-за чего проигралась революция?

Со встречной самоотверженностью учёного, готовый любое тяжкое признание принять:

– Финансовый Манифест? Поторопился?

Между сдвинутыми их головами – покачал Ленин, покачал пальцем, и улыбнулся как калмык на астраханском базаре, хваля арбуз:

– Не-ет! Финансовый Манифест – гениальный! Но ваши Советы...

– Мои Советы – объединяли весь рабочий класс, а не дробили его как социал-демократы. Мои Советы уже постепенно становились властью. И если б мы добились тогда 8-часового рабочего дня, только его одного! – в подражание нам начались бы восстания по всей Европе – и вот вам *перманентная революция* !

Ленин хитро, щёлками глаз смотрел, как самолюбие Парвуса само себя выгораживало, и не торопился перебивать. Ещё эта проклятая путаная перманентная революция всех их троих рассорила: в разные годы, как по карусели, друг другу в затылок, они занимали её положение, а выйдя из тени её – настаивали, что двое других неправы. Двое других всегда были или ещё или уже несогласны.

– Да нет! – отмахивался Ленин заговорщицким шёпотом, и всё с тем же хитро-добродушным азиатским оскалом. – Вы же сами так верно писали тогда: непрекращаемая гражданская война! пролетариат не должен выпускать из рук оружия! – а где же было ваше *оружие* !

Парвус насупился. Никому не нравится вспоминать свои промахи.

Всё так же держась за плечо собеседника, приклонясь, со щёлками глаз и пронизанием (он много думал об этом! да больше всего об этом и думал он!), и в расположении теперь поделиться:

– Не надо было ждать никакого Национального Собрания, ещё другого, помимо

Советов. Собрали Петербургский Совет – вот вам и Национальное классовое собрание. А надо было...

Ещё доверительней, вперёд как на конус, как в фокус, всем острым лицом, и взглядом, и мыслью, и словами:

– А надо было со второго дня завести при Совете – вооружённую карающую организацию. И вот – это было бы ваше оружие!

И – замолчал, в свой конус упёртый. Уже больше ничто не казалось ему столь важно.

Парвусу обидно:

– Ну раз вы так знаете хорошо – вот и делайте.

Особенность кабинетного мыслителя, мечтателя – он думал годами, и вот открыл, и вот ничто не казалось ему и через десять лет сравнимо по важности. Разрушительное эмигрантство, далёкое от действия, от истинных сил! – жалкая участь. Вся энергия лет и лет ушла на раздоры, на споры, на расколы, на грызню – и вот распахивал ему Парвус всемирное поле боя! – а он сидел на кровати сжатым сусликом и усмехался в конус.

Второй по силе ум европейского социализма – погибал в эмигрантской дыре. Надо было спасать его – для него же самого.

Для дела.

Для Плана.

– Да вы – **план** понимаете мой? Вы – План мой принимаете?!?

Пробить это его окостенение: он задремал? он коркой покрылся? он ничего не воспринимает.

Ещё придвинулся – и вплотную к уху, должен же вобрать:

– Владимир Ильич! Вы – в **союз** наш вступаете?

Как глухонемой. Глаз – не прочтёшь. Язык не отвечает.

Рукой повиснув на его плече:

– Владимир Ильич! Пришёл ваш час! Пришло время вашему подполью – работать и победить! У вас не было сил, то есть не было денег, – теперь я волью вам, сколько угодно. Открывайте трубы, по которым лить! В каких городах – кому платить деньги, назовите. Кто будет принимать листовки, литературу? Оружие перевозить трудней – но повезём и оружие. И как будем осуществлять центральное руководство? Отсюда, из Швейцарии, удивляюсь, как вы справляетесь? Хотите, я перевезу вас в Стокгольм? это очень просто...

Навязывал, вкачивал свою бегемотскую кровь!

Вывернул из-под него плечи.

## 49

Прекрасно он всё слышал и всё понимал. Но заслонка недоверия и отчуждения перегородила грудь Ленина для откровенности.

Довольно он уже ему о Девятьсот Пятом годе раскрыл.

Ещё бы мог он не оценить этого Плана, кто же бы другой тогда мог оценить? Великолепная, твёрдая программа! Удары – осуществимы, избранные средства – верны, привлечённые силы – реальные.

Теперь уже можно было признать: такого третьего сильного ума, такого третьего проницающего взгляда – не было больше в Интернационале, только их два.

Так пятикратно осмотрительным надо было быть. В политических переговорах на самом даже гладком месте – подозревай! ищи западни.

Что ж, Парвус – опять впереди? Нет, теоретически, в общем виде, Ленин это самое и сформулировал ещё в начале войны. В общем виде – Ленин так и хотел, того и добивался. Но у Парвуса поражали деловые конкретности. Финансист.

Против этой грандиозной программы Ленин не мог выдвинуть ни довода неверности, ни довода нежелания.

Всё так. По простому расчёту – главный враг моего врага – первым союзником во всём мире оказывалось правительство кайзера. В допустимости такого союза Ленин и не колебался ни мига: последний дурак, кто пренебрегает серьёзными средствами в серьёзной борьбе.

Союз – да. Но выше союза – осторожность. Осторожность – не как предупредительная мера, но как условие всего действия. Без архи-архи-осторожности – и к чёрту весь ваш союз, и к чёрту весь ваш план! Нельзя же давать ахать и плеваться хору социал-демократических бабушек по всей Европе. Подпускал и Ленин в пользу Германии осторожно, что, там, Франция – республика рантье, её не жалко. Но он всегда знал меру, где не договорить и сколько запасных выходов оставить. А Парвус – афишированно кинулся и безвозвратно потерял политическое лицо.

Вот когда Ленин понял слабость его и своё превосходство. Парвус всегда успевал выйти на открытие первым, и топал впереди, загораживая дорогу. Но у него не хватало выдержки на дальний бег: он не мог вести Совет больше двух месяцев, переубеждать немецких соци больше двадцати лет, – срывался, отваливался. А Ленин чувствовал в себе выдержку – на вечный бег, никогда не сорвать дыхания, бежать, сколько помнил себя, – и до гроба, и в гроб свалиться, никуда не добежав. А – не сорваться.

Союз – да, охотно, пожалуйста. Но в этом союзе быть переборчивой невестой, а не настойчивым женихом. Пусть ищут – тебя. Держаться так, чтоб и при слабости иметь позицию преимущественную, независимую. Даже кое-что такое Ленин уже и сделал в Берне. Конечно, он не пошёл стучаться к немецкому послу Ромбергу, как Парвус в Константинополе. Но Ленин разглашал свои тезисы, отлично зная, чьим ушам они могут понравиться, – и тезисы до ушей дошли. И Ромберг сам прислал к нему революционного эстонца Кескулу на переговоры, узнать намерения. Что ж, оставаясь в пределах своей истинной программы – свержение царизма, сепаратный мир с Германией, отделение наций, отказ от проливов, – допустимо было чуть-чуть и подмазать: не изменяя себе, не искажая линию, можно было пообещать Ромбергу и вторжение русской революционной армии в Индию. Измены принципам тут не было: ведь надо же штурмовать британский империализм, и кому ж ещё другому? когда-нибудь и вторгнемся. Но, конечно, была уступка, подачка, извив, колёса затягивали, однако случай не опасный. Да и Кескула был со взглядом и повадками волчьими, характером и деловитостью куда посильней размазанных российских с-д – но и тут не чувствовал Ленин опасности: Эстонию так и так отпустить, как и все народы, из российской тюрьмы, искривления линии не было: каждый использовал другого, не оступаясь. Вставили в цепочку Артура Зифельда и Моисея Харитонов, Кескула уехал в Скандинавию, и очень-очень там помог, особенно в издательской деятельности, добывал деньги на наши брошюры, помог наладить связь со Шляпниковым, а значит – и с Россией.

Во всём этом не было грандиозности парвусовского плана, но малая тихая верность – была. А зато политическое лицо – чистое.

И всё чаще в Парвусе – нетерпение. Уже видя, что разговор идёт не так, он кандидата своего упускает, – с горечью, с презрением (а это помочь не может):

– Значит – и вы?... Как все? Бойтесь носик замазать? Ждёте?

А он так надеялся на Ленина! – уж *этот* -то, думал, с ним!

И вытягивая последние доводы, волновался, потерял своё миллионерское самодовольство:

– Владимир Ильич. Не отставайте от времени. Кому бы кому, но вам это непростительно. Неужели вы не видите, не поняли: эпоха революционеров с пачкой нелегальщины или с самодельной бомбой – отошла безвозвратно. Такие – ничего уже сделать не могут. Новый тип революционера – это гигант, как с вами мы. Он взвешивает миллионами – людей, рублей, и ему должны быть доступны те рычаги, какими государства переворачиваются и ставятся. А к тем рычагам дойти нелегко, вот приходится попасть и в шовинисты.

Тоже верно. Верно. Но...

(Можно бы спросить: а что заплатит русская революция за немецкую помощь? Не спросил, избежал, только выхватил для себя, для памяти. Было бы наивно ожидать бесплатно).

Но... Вступая в союз, прежде всего не доверяй союзнику. На зыби дипломатических игр – в каждом союзнике прежде всего подозревай обманщика.

Ленин нисколько не дремал – он взвешивал. Если кто дремал – только не он, может быть Парвус в берлинских переговорах? Ленин вот открыл глаза и насылал допытчивую тревогу. И допрашивал, как достукивался в барабан:

– Да разве захочет правительство Вильгельма свергать русскую монархию? Зачем это им? Им нужен только мир с Россией. А с русской монархией они будут охотно и дальше жить и дружить. И все наши забастовки им только нужны, чтоб напугать царя и вынудить к миру, не больше.

Да Па-арвусу ли надо объяснять! Это вид у него такой – богатый, упитанный, холёная эспаньолка с оплывшего двойного подбородка. А если сказать откровенно (а когда-то же, кому-то же и откровенно), тень сепаратного мира замучала все его переговоры с германским правительством. Русско-германский мир был бы могилой всего Великого Замысла. Всё время это подозрение, что немцы вот уже и деньги платят на революцию, а в душе только и думают о сепаратном мире с царём, кого-то невидимого посылают на контакты. Глухо, тайно такие попытки роются, и надо о них догадываться – и вовремя высмеять, опрокинуть: да царь уже и *не в состоянии* заключить мир! если он вдруг и заключит с вами мир – то тогда власть в России может перенять сильное национальное правое правительство, которое не посчитается с обязательствами царя, – и вы только усилите их позиции!... Втолковывать пруссакам: нет уж, нет, *реальный* мир с Германией может подписать только правительство социалистическое. Дайте же “миру” быть первым лозунгом революции, первой заботой нового правительства! Ему будет и легче идти на уступки: потому что оно не виновно в войне. От такого правительства Германия получит значительно **больше** ...

Он уже *видел* тот договор, и готов был бы сам его подписать, обгоняя время.

И перехватил вспышку ленинского взгляда, что и он видел.

Всех подробностей не скажешь (не надо!): там есть разные направления у немцев. Большинство-то склоняется, что Англия – главный враг, и готовы к миру с Россией. И, по несчастью, даже статс-секретарь Ягов, пруссак из пруссаков, хотя считает натиск славянства большей опасностью, чем Англия, но ему, видите ли, неприятен план разложить Россию революцией. (Этого совсем объяснить нельзя, выверты аристократической традиции, скептическая интеллектуальная расслабленность, он не скрывает брезгливости к дипломатии агентов, доверенных лиц и маклеров. Что таков – глава министерства иностранных дел, конечно, задерживает очень).

Но при своем изысканном уродстве Парвус умеет и покорять людей. И германский посол в Копенгагене граф Брокдорф-Рантцау – это уже взятый человек, очарованный несравненностью парвусовского ума.

Всеми аргументами против катастрофы сепаратного мира! Напряжённо убеждать: революция в России неизбежна, брожение пошло уже по всей стране, оно уже и в армии, затронуло и офицерство, а образованное общество всё кипит, что ж говорить о рабочих, и даже военной промышленности, – довольно бросить спичку и всё взорвётся! Вот можно даже назначить точную дату – и выполнить её!

Но головастый, лбастый, маленький, юркий, усмешка почти не стирается с губ, а убеждённый, кажется, ещё меньше Ягова, безжалостно:

– Так соглашения у вас там – и нет? Недоговорённость? Видимость?

Все вечное преимущество того, кто не действует: переспрашивать, быть недовольным, указывать недостатки.

Гребущими движениями обеих рук, как бы мешку туловища не опрокинуться назад, выравнивается Парвус:

– Не на бумаге с гербами, конечно! Оно всё в динамике! – и надо в каждый момент



видеть все контуры и направлять его.

Направлять даже и стратегические удары. Объяснять, уговаривать, напряжённо советовать: только не наступление на Петербург! Этим бы создался патриотический подъём, Россия бы объединилась, а революция заглохла. Но и – никаких военных успехов не давать царю и особенно важно не допустить до Дарданелл, то было бы непоправимое укрепление его престижа. А самый верный удар – на южном фланге: через союзную Украину, отнять донецкий уголь – и Россия кончена.

А ещё они боятся, как бы это землетрясение да не отдалось в Берлине. И ещё приходится убеждать, что русская революция не перекинется в Германию.

– Как это? как это? – дёрнулся маленький, всё же и поталкивая брюхатого, всё ж отвоёвывая себе место на кровати. – Да вы что?! Вы – примирились, что революция ограничится одной Россией? Вы – и в самом деле так думаете? – остро, колко, допытливо, исследовательски досматривал, проверял, нет, уже и с возмущением, как привык он ради принципа никогда не сдерживаться в оценках: – Так это ж – предательство!

(Нет, Парвус – не социалист, он кто-то другой!)

Никуда не вылезая из Швейцарии, никакого *дела* нигде не коснувшись, маленький вот атаковал, порицал:

– Вот и куцо! Вот и не хватает предвидения! Да разве может революция устоять в одной стране?

Ну да, это всё была та самая *перманентная*, та заклятая бесконечная карусель, на которой обречены они были втроём кружиться, кружиться, всё меняя места и разя друг друга попрёками вчерашними или завтрашними, и никто никогда не прав.

Парвус – и не хочет германской революции? Он к ней – и не стремится? Ну, не серьёзно же пишут о нём, что он стал немецким патриотом?

Но Парвус – уже не мальчик, на той карусели кружиться. Революционер нового типа, революционер-миллионер, финансист-индустриалист, может себе позволить выразаться и откровеннее:

– Мировая революция сейчас недостижима, а социалистический переворот в России – достижим. Именно против царизма должны сплотиться все рабочие партии мира!

Откровеннее – не значит откровенно. Деликатная проблема, её нельзя открыто выразить в публичной дискуссии социалистических кругов. Но вот и с глазу на глаз единомышленнику не каждому скажешь.

Этот шароголовый, перекачливый, колкий – почти неуловим. Почти никогда нельзя предсказать его лозунга – удивит. И совсем никогда не узнать, что он думает. **Особых** задач социализма в России – он не понимает?

Даже с Брокдорфом эту проблему легче обсуждать. (Парвус вообще заметил, что с дипломатами всё обсуждать и прямее и проще, чем с социалистами.)

И остаётся только настаивать по поверхности:

– Любым путём уничтожить сейчас – именно царизм, надо думать об этом только!

И – к главному: **как** уничтожить? Весь смысл приезда и весь смысл этого разговора в том и есть: какие столичные, какие провинциальные подпольные организации согласен Ленин поставить сейчас на подготовку восстания? Кто и где эти люди в их железной связи и в их непобедимой готовности? Знал же Парвус, кого рекомендовал германскому правительству как самого неистового русского революционера! Знал, за каким союзником теперь приехал! Десятилетиями казалось: безумный раскольник! Он отметал всех союзников, раздроблял все силы, не хотел слышать о партии профессоров, не хотел слышать о плавном экономическом развитии, всегда – подполье! только – подполье! партия профессиональных революционеров! В мирную эпоху это казалось дико – и Парвусу, и всем, – но вот, при войне, прорисовалось, наконец, какой же он запасливый догадливый умница! Но вот когда, наконец, пришла пора использовать его могучую тренированную скрытую армию! Вот когда, наконец, пригодится, что она есть. В расчёте на неё и составлен План.

Но Ленина так не собьёшь, не повернёшь, он – своё видит и своё настойчиво ведёт:

– И как вы так примитивно переносите революционную ситуацию Пятого года на ситуацию нынешнюю?

Ну, это же ясно: война – разрушительней, длительней, изнурение и горечь масс – несравнимы, революционные организации – сильней, либералы – и те сильнее, а царизм нисколько не укрепился.

А Ленин всё – своё, его глаза как будто не прямо смотрят, а – по кривым линиям заворачивают.

– Хорошо. Но как вы отсюда так смело назначаете дату начала?

– Ну, Владимир Ильич, ну какую-то же надо назначить – как цель, для единства действий. Ну предложите другую. Но 9 января – наилучшая, символическая, все помнят, и многие даже без нашего сигнала начнут. Легче на улицу выйдут. А – лишь бы первые вышли, а там – пойдёт!!

Что-то жмётся, жмётся Ленин. Ну, понятно: излюбленное подполье открыть – значит отдать. Неохотно.

Уже то, что Парвус так горячо настаивает, – показывает, что хочет тебя использовать.

– Так как же, Владимир Ильич? Пришло время действовать!

(О, понятен ваш план! Вы выступите сейчас объединителем всех партийных группировок плюс ваша финансовая сила плюс ваш теоретический талант, и вот вы – вождь единой партии и Второй революции? Снова?!)

Но – из глаз невычитываемых, но с губ непрошевеливших, но через лысоту непроницаемого котла – с проницанием тоже нерядовым вырвал Парвус ленинские мысли, развернул, прочёл и ответил с бокового захода:

– Почему и предлагаю я вам ехать в Стокгольм: чтоб вы сами руководили от начала и до конца. Вы можете мне никого не называть, ничего не открывать, – только берите деньги, листовки, оружие – и посылайте! Я, – вздохнул Парвус с ослаблением, измотаешься ж в этих политических переговорах, – я, Владимир Ильич, – не тот, что десять лет назад. Я – в Россию не поеду. Я – считаю себя немцем теперь.

(Тем подозрительней. А что ж он всё – о России?)

– Мне только нужно, чтоб выполнен был План.

...Только может быть и План – мы понимаем не одинаково?...

Ртутно-неуловимый, ни в руки, ни в аргументы:

– Это значит – как и вы, открыто измараться о германский генштаб? Революционер-интернационалист этого себе позволить не может.

Раза два ещё загребя, загребя обеими руками, туловище привалил:

– Да не марайтесь! Не надо! Эту грязь – я беру, я взял на себя. А вам – даю чистые миллионы. Только – подайте мне трубы, по которым их лить. Только сплетём наши подземные, подводные, тайные нити – и мы **взорвём** Вторую русскую революцию!! А??

И глазами, где ум не потратил себя ни на радугу красок, ни на ресницы, ни на брови, – бесцветным концентрированным умом – проникал, хотел понять: отчего же – отказ?

Но в ленинские глаза, бурящие, выкапывающие, нельзя было войти, как нельзя войти в шило.

Двумя шильцами и с усмешечкой косенькой – недоверчивой, угадчивой и опровержительной, встретил Ленин такой заман:

– И для этого, вы сказали, – шелестел его голос ехидно, – примирительная конференция в Женеве? Будем примиряться? С меньшевиками? – И откинулся, как отброшенный, ещё б и дальше, да спинка кровати держала: – Да вы что?!? Что значит – **примиряться** ? **Уступить меньшевикам** ??? – Встряхами головы как бил, как бодал: – Ник-когда! Низ-за-что! С меньшевиками? Да пусть лучше царизм стоит ещё тысячу лет, но меньшевикам – не уступлю ни миллиметра!

Да он вообще – социалист ли?!...

А Ленин ещё доканчивал молча удары головой. Добивал кого-то. Договаривал что-то – со всюю яростной мимикой, но – беззвучно.

Нич-чего Парвус понять не мог. Всё-таки, ехал – такого не ждал. Великий неутомимый и самый крайний революционер при самой лучшей ситуации, при всех высланных ему услугах – и не хотел делать революцию??... Уже теряя надежду, уже так просто:

– Но для чего же тогда двадцать лет этих теоретических сражений, разграничений? Где же ваша последовательность? Вы готовили подполье? Вот ему лучшее применение, другого такого не наступит во всю вашу жизнь! Что же вы, роль играли?

– Будем ли упрекаться в непоследовательности? Вы тоже говорили: кучка не может принести революцию массе. А сейчас?

Свесился, свесился Парвус, подбородком с головы, голову – с шеи, шеей – с туловища, руки между колен:

– Да-а-а... Ну что ж... Хорошо... Плохо... Времени осталось мало... Значит, буду создавать собственную организацию.

Просчитался Ленин! Пожалеет когда-нибудь.

– Хоть уступите мне кого-нибудь? Нашего общего друга?

(Рвать мостов не надо, ссориться не надо, Парвус ещё ого как пригодится).

– Кого это?

– Ганецкого.

– Берите.

– Чудновский, Урицкий – у меня уже там. Бухарина?...

– Не-ет, Бухарин – натура не та.

– А – сами вы?

Да ведь Ленин уже ясно выразился: если очень-очень-очень скрыто.

– Так. А – в Скандинавию? Быстро перевезу.

Шильца-глаза:

– Нет. Нет, нет!

Тяжело-тяжело мешку себя таскать. Тяжело вздохнул, от души:

– Да-а-а... А ещё была, всей жизни моей мечта, и вот теперь по средствам доступно: выпускать свой собственный социалистический журнал. – Силился гордо закинуть одутловатую голову, повторить отважного, горячего, с кого пошло: – **“Колокол”**!

Ух-хнула, бух-хнула кровать их четырьмя ножками, опустясь на сапожников пол.

## 50

Удачливый подпольщик – не тот, кто прячется под полом, как мышь, избегает света и общественного движения. Удачливый находчивый подпольщик – самый деятельный участник всеобщей естественной жизни с её слабостями и страстями, он – на виду, в жизненном кипении, и занят чем-то понятным для всех, и допустимо ему тратить на эту повседневную деятельность большую часть времени и сил, – а главная тайная деятельность его течёт рядом и тем успешней, чем она органичнее связана с открытой повседневной. В этом высшая простота: тайное дело делать в простой связи с открытым.

Так это понимая (у Парвуса невелик был опыт подполья – несколько месяцев 1905 года, после разгрома Совета рабочих депутатов и до ареста, потом после ухода из ссылки и до ухода за границу), а ещё более понимая, что естественно заниматься человеку именно тем, к чему его влечёт, в чём его призвание и дарование, – Парвус после отказа Ленина в мае 1915 предоставить своё подполье для Плана и берясь теперь за всё один, придумал, да даже не придумал, а как дыхание это к нему пришло: что он и его сотрудники будут заниматься в первую очередь и главным образом коммерцией – а революция будет к ней пристёгнута.

И тем же летом он создал в нейтральной Дании, сохранившей первую привилегию свободного западного государства свободно торговать, – Импортно-Экспортное бюро, которому и естественно было теперь начать торговлю с фирмами любого другого государства – Германии, России, Англии, Швеции или Нидерландов, брать где что выгодно, и продавать куда выгодно. Коммерческим директором этого предприятия Парвуса тотчас и

стал, с согласия Ленина, Ганецкий. Соединение двух таких огненных коммерсантов есть не удвоение коммерческой мощи, но умножение её. А затем к ним примкнул и третий, мало чем уступающий двум первым, – Георг Скларц (нельзя сказать, чтобы нанесла его судьба-случайность, но был он дружественно прислан на сотрудничество от разведки германского генерального штаба). Этот Скларц (после войны много прогремевший в Германии, даже и в судебных процессах, где ещё и артистом выдающимся выявил себя) оказался самый наинужный третий к ним двоим – тоже гений коммерции, находчивый, сообразительный, молча и быстро готовый к любому поручению и любому обороту дела, изо всякого выйти успешным. (А за собою он вёл и ещё двух братьев Скларцев: Вольдемара, который стал работать непосредственно в их торгово-революционной конторе, и Генриха, – тот под псевдонимом Пундик уже вёл в Копенгагене с Романовичем и Догопольским тайное бюро, ловя для германского генштаба незаконный экспорт из Германии). Задуманное соединение хозяйственной и политической деятельности быстро оправдывало себя: гешефт работал на политику, а политика создавала льготы для гешефта. Поддержкой германских военных властей деятельность парвусовской конторы облегчалась и делалась ещё более доходной.

Едва возникнув, Импортно-Экспортное бюро за несколько месяцев расцвело и покупало, продавало и перевозило, не ища себе скрупулёзной специализации, – медь, хром, никель, резину, из России в Германию особенно – зерно и продукты, из Германии в Россию особенно – технические приборы, химикалии, лекарства, а были в ассортименте и чулки, и противозачаточные средства, и сальварсан, икра и коньяк, и подержанные автомобили (в России удалось договориться, чтоб они не подлежали далее у покупателей военной мобилизации). В западной торговле много и других подобных контор толкалось рядом локтями, но в торговле с Россией, на главном для себя направлении, контора Парвуса заняла монопольное положение. Часть товаров везлась открыто, по легальным экспортным лицензиям, другая – по фальшивым декларациям или даже контрабандой, это требовало изобретательности в упаковке и погрузке, кому-то приходилось попадаться и отвечать, – но во всём этом и вертелись Ганецкий со Скларцем, позволяя Парвусу покойно оставаться в излюбленной им тени и вести большую политику.

Гениальность соединения торговли и революции в том и состояла, что революционные агенты под видом торговых ездили от Парвуса совершенно легально и в Россию, и по России, и назад. Но высшая гениальность была в отправке денег: кажется, неосуществимая задача – беспрепятственно и быстро переливать деньги германского правительства в русские революционные руки, осуществлялась торговой конторой с лёгкостью: она везла в Россию лишь товары, только товары, но – с избытком против закупленного в ней, а выручка сотрудничающих фирм, вроде Фабиан Клингсланд, по общепринятому порядку поступала в банк (Сибирский банк в Петербурге), а там дальше было внутреннее дело конторы – забирать её из России или нет, даже для России *выгоднее*, чтобы деньги оставались в ней. А в Петербурге адвокат большевик “Меч” Козловский и лица от Ганецкого в любое время любую сумму вынимали и передавали в революционные руки.

Вот был гений Парвуса: импорт товаров, таких нужных для России, чтобы вести войну, давал деньги выбить её из этой войны!

Тем же своим настойчивым методом соединения тайного и явного Парвус набирал и революционных сотрудников конторы. Для этого он создал в Копенгагене ещё одно подсобное учреждение – Институт по изучению последствий войны, и для набора сотрудников его открыто и много встречался, знакомился, беседовал с социалистами. И всякий раз, когда кандидат проявлял желание и способность нырнуть в глубину – он нырял и становился тайным. А если оказывался неспособным или неподатливым – ничто ему не разъяснялось, и разговор был натурален, и можно было оставить его легальным сотрудником легального Института: Институт тоже не был фикцией, он тоже отвечал прилегающей страсти Парвуса к теоретическим экономическим исследованиям, как и издаваемый в Германии, хорошо оплаченный “Колокол” удовлетворял его социалистическую страсть.

(Очень рвался в этот Институт – Бухарин, и, действительно, не было для него лучшего места, а для такого института – лучшего сотрудника, но – прав был Ленин: Бухарин слишком прост, как уже показал в Швеции. И уж вовсе слаб Шляпников, чтобы работать в контакте с Ганецким).

Всё это Парвус решил блистательно – ибо всё это было в его природной стихии. Куда трудней пришлось дальше: *кому же* передавать в России те деньги? и как вызвать революцию в огромной стране дюжиной торговых агентов да несколькими западными социалистами вроде Крузе? Легче всего было в Петербурге, много связей, тут и Козловский бесподозренно мог вести адвокатский приём и вербовать нужных из заводской среды, тут и действовала рьяная группа *межрайонцев*, к объединению меньшевиков и большевиков, как раз исконное направление Парвуса, и через их единомышленника Урицкого был в эту группу действенный вход. Несмотря на раскол социалистических сил в Петербурге, там у Парвуса сколотился хороший актив, вне большевиков и меньшевиков. Но хотя и верно замечено, что революции в государствах совершаются одними лишь столицами, – для надёжности первичного толчка такой обширной стране непременно нужны были волнения и в провинции. А собственные живые связи были у Парвуса только в Одессе, и из Одессы в Николаев. Всю эту немую косную необъятную Россию нечем было поднимать: несколько агентов, даже денег не жалея, в несколько оставшихся месяцев не могли создать сети. А Ленин свою готовую – предательски скрыл.

Но отлично понимал Парвус, но помнил по Пятому году и: как волнения рождаются. Для забастовки, для возбуждения, для выхода на улицу не только не требуется согласное решение большинства, но даже и одной четверти массы, но даже и одну десятую избыточно подготавливать. Одиночный резкий выкрик из толпы, один оратор на проходной, два-три молодца, поднявших кулаки или палки, бывают вполне достаточны, чтобы дать импульс целой заводской смене не идти по цехам или выйти на улицу. А ещё оставались – осуждающие власть разговоры с соседями, передача пугающих слухов (такой слух как электрический разряд ударяет дальше без усилий), а ещё оставался разброс листовок по заводским уборным, по курилкам, под станками, – для всех этих первых толчков на пятитысячный завод довольно и пяти человек, а таких пять человек всегда можно если не по убеждениям найти, то купить в соседнем трактире: кто из трактирных попрошаек не хочет привольных денег?

И – отдельных заводских толчков было бы не достаточно в обстановке иной, но на втором году войны, уже проглотившей столько, при внезапно подступившем голоде, при поражениях армии, при всеобщем брожении и после уже одной испытанной этим поколением революции – таких нескольких толчков достаточно, убеждён был Парвус, чтобы породить сползание лавины. Его стратегия была – лавина от нескольких снежков. Без помощи Ленина за оставшиеся месяцы он не мог успеть больше. Но и в самой дате – 9 января – уже таился рок для царизма: даже безо всяких агентов и без единого уплаченного рубля – этот день не мог пройти спокойно. Но хорошо было – подтолкнуть его.

И так, безраздельно очаровав графа Брокдорфа-Рантцау, едва не диктуя ему его копенгагенские донесения в министерство иностранных дел, Парвус уверенно обещал русскую революцию – на 9 января Шестнадцатого года.

Он – надеялся, что будет так. Избалованный даром своих далёких пронзительных пророчеств, он, оставаясь человеком Земли, не всегда отделить умел вспышку пророчества от порыва желания. Разрушительной русской революции он жаждал настолько ярко, что простительно ему было ошибиться в порыве.

Но не было это простительно перед германским правительством, а особенно – перед статс-секретарём Готлибом фон-Яговым. И всегда – иронист, презиравший этого социалистического грязного миллионера, Ягов теперь заключил, что Парвус надувал германскую империю, никакой революции реально не готовил, а взятые миллионы скорее всего положил себе в карман. По правилам разведок за такие расходы не спрашивается бухгалтерский отчёт. Но далее в Шестнадцатом году из министерства иностранных дел

Парвусу не заплатили более ни пфеннига.

Это – не было поражение полное, и даже внешне – совсем не поражение. Импортно-Экспортное бюро продолжало вращаться и обогащаться. На замену министерству иностранных дел сочувственно влился германский генштаб. Институт по изучению – что-то собирал и изучал. Парвус деятельно вмешался в снабжение Дании дешёвым углем, привлёк датские профсоюзы, сошёлся на равных с вождями датских, а затем и немецких социалистов. Он получил, наконец, немецкое гражданство, которого искал и просил с 1891 года, – и теперь при первых же послевоенных выборах несомненно выходил бы в лидеры социалистического парламентского крыла. Его “Колокол” продолжал выпускаться, зовя Германию к патриотическому социализму. Его собственное избыточное богатство росло, капиталы были вложены пакетами акций почти во всех нейтральных странах и уж конечно в исходных своих Турции и Болгарии. В аристократическом квартале Копенгагена его особняк был обставлен диковинностями нувориша, охранялся лютыми собаками, а на выезд ему подавался элегантный “Адлер”. И даже влияние на графа Брокдорфа ему удалось сохранить ненарушенным – этому постоянному собеседнику впечатать в сознание всю сложность революционной задачи и всю механику затруднений. И через Брокдорфа, сколько позволял такт, – мешать возобновившимся германским поискам сепаратного мира с Россией.

И казалось бы: вереница успехов на прямом пути этого человека могла бы вполне насытить его. Но нет! – таинственным образом беспокойство так и не выполненной задачи – хотя в ту страну он никогда уже не собирался возвращаться – томило и тянуло его. И в долгих ужинах с прусским аристократом он варьировал и пояснял в применении к немецкому взгляду эту свою скорей уже не программу теперь, но – политическое завещание, но – зыбкий очерк будущего. Как революция, едва начавшись, должна набирать свой размах подобно Великой Французской – судебным преследованием и казнью царя: только такая первичная жертва открывает революции безграничность! Как должен быть рассвобождён крестьянам самовольный раздел поместий – и только этим откроется полный размах анархии. А когда анархия достигнет своего высшего взлёта и широчайшего разлития – именно в этот момент Германия военным вмешательством могла бы при самых ничтожных потерях и самых огромных выгодах навсегда освободиться от глыбной восточной опасности: потопить её флот, обобрать её вооружения, срыть укрепления, навсегда запретить армию, промышленность военную, а то и, лучше, всякую, ослабить её отсечением всего, что только можно отсечь, – и оставить её выкатанной гладкой доской, пусть забудет десять веков своих мерзостей и начинает свою историю снова!

Парвус никогда не забывал зла.

Но сегодня не видел, что мог бы сделать ещё.

А имперское правительство позорно искало сепаратного мира с этой неуничтоженной державой.

А здоровье статс-секретаря фон-Ягова всё подтачивалось, всё подтачивалось – и поздней осенью Шестнадцатого года он счастливо ушёл в отставку, уступая пост деятельному Циммерману, не перенявшему от своего предшественника устарелого пренебрежения к тайным доверенным лицам и политическим маклерам.

И – взмыли новые планы действовать! И – естественно поднялся старый укор Ленину: что же он!! что же он??...

Кровать – ударила четырьмя ножками о сапожников пол, – и Парвуса выдавило, поставило на ноги-тумбы. И он, тяжело разминаясь, переступил, неся мешок своего изнеженного тела. Обошёл, сел по ту сторону стола, не брезгуя измазать белоснежные манжеты о нечистую клеёнку Ульяновых.

И усмеялся – уже не как сильному, уже не как равному, но жалковатому норному зверьку:

– Н-ну?... Так говорите: Циммервальд?... Кинталь?... И хорошо голосуют левые?... А что же сделала великая партия за два года у себя на родине?... Почему – ни пузыря на

российской поверхности?

Ленин так и сидел на кровати, утанывая, и клонила тяжёлая голова без ответа.

– Вы же говорили – денег вам не надо?

Ленин отвечал потерянно, еле слышно:

– Мы – так никогда не говорили, Израиль Лазаревич. Деньги – оч-чень нужны. Чертовски нужны.

– Да я же предлагал! А вы отказались!

Ленин – с пересыхающим усилием:

– Почему – отказались? От разумной нетребовательной помощи – мы никогда не отказываемся. И даже охотно...

– В детские игры вы тут играете, в Швейцарии, – хотела бы туша торжествовать, да торжества не было: Россия не проигрывала войны, Германия не выигрывала, их общий главный союзник сдавал.

Ленин еле выводил фразы из горла:

– А за крупные игры надо крупно платить и самим.

У него был – больной взгляд. Открыл глаза доступней обычного – глаза больные, и как будто чтоб от этой боли отвлечься, лишь для этого, но, по болезни, и без напора:

– Да ведь и ваша революция, Израиль Лазаревич, – тоже тю-тю, мыльный пузырь... Да и наивно было ждать другого.

Заколыхался возмущённый Парвус, и огонь фитиля, повторяя его дыхание, закачался, запрыгал, закоптил:

– Да **сорок пять тысяч** бастовало в Петербурге! А ну-ка, подняли б вы отсюда ещё своих сорок пять?!

Не давал Ленину возразить, что в тех сорока пяти – и **его** были.

– ...Путиловский у меня по сроку сбился – а молодчина, как забурлил! А вот Невская застава меня подвела – что ж вы её не подняли? В Николаеве – я прекрасную разыграл стачку – 10 тысяч! и с условиями – невыполнимыми, обеспечено было восстание! – так тоже на четыре дня опоздало. Отсюда не так легко там к одному дню стянуть. А Москва вообще не шелохнулась? Что же ваш московский комитет?!...

(Хотел бы Ленин сам это знать!)

А Парвус – разошёлся, хвастался, как богатством, на пальцах загибал:

– Екатеринбургский Металлургический – я поднял! И тульский Меднопрокатный! И тульский Патронный!...

Все эти стачки, действительно, прогрохнули в январе, не 9-го, но – кто их там поднял, кто их там вёл? Отсюда не видно, не доказать, и каждый себе приписывает, меньшевики тоже.

– Совсем немного оставалось – где же ваши были? Межрайонцы мне помогли беззаветно, огневые ребята, да кучка их. А вы с меньшевиками – всё мячики перекидываете? Может – листовками вашими, не моими, Россия завалена, а?... А “Императрицу Марию” я взорвал, – не заметили? – громыхал, глаза вычудились. – Броненосец на Чёрном море – не заметили?!

Руки белые холёные подкинул – вот этими руками броненосец взорвал!

– Почему ж не хотели вы соединиться, Владимир Ильич? Где же **ваши** стачки? Где же ваши восстания? На каких заводах вы можете обеспечить забастовку в назначенный день?... С какими национальными организациями вы работаете?...

Неужели не понимает?... Со всем его умом? Так это удача, хороша маскировка, значит и дальше так держаться.

Почему не соединились!... Конечно, как-то можно было бы заманеврировать меньшевиков. И как-то можно было бы разделить руководство (хотя вот это, вот это, вот это больней и невозможней всего!). А...

А... ограничено уменье каждого. Ленин – писал статьи. Брошюры. Читал рефераты. Произносил речи. Агитировал молодых левых. Всеевропейски сек оппортунистов. Он,

кажется, досконально успел узнать вопросы промышленный, аграрный, стачечный, профсоюзный. Теперь, после Клаузевица, и военный. Он понимал теперь, что такое война, и как ведётся вооружённое восстание. И с настойчивой ясностью мог это всё разъяснить, кому угодно.

И только одного он не мог – *сделать*. Только не мог он – взорвать броненосца.

– Но даже и сейчас не потеряно, Владимир Ильич! – утешал, подбодрял Парвус через стол. Он вынул часы золотые из жилетного кармана, кивнул им одобрительно. – Революцию – переносим на 9 января Семнадцатого года! Но только уж – вместе! Но в этот раз – вместе?

Ну почему – не вместе?? Не понимал пронизательный Парвус.

А – не из чего было кроить разговор. А – не из чего было ответить. В позиции, скрываемо, почти ничтожной – в какой там союз можно было вступать или не вступать? Надо было только достойно утаить своё бессилие: что никакой действующей организации у него в России нет, никакого подполья – нет. Если что есть – оно там шевелится само, неподвластно ему и в неподвластные сроки. Что там есть – он просто не знает, у него нет бесперебойной связи с Россией, нет возможности послать распоряжение или получить ответ. Он рад бывает, если единственный Шляпников перекинет через границу пачку “Социал-Демократов”. Была в Петербурге сестра Аня, кой-что делала потихоньку, переписывались с нею шифром, химическими чернилами, дальним передаточным крюком, – тоже оборвалось. Какие там ещё национальности поднимать? – тут бы партии своей сохранить хоть кусочек...

А Парвус, из скрипящего стула вывешиваясь в обе стороны, ещё великодушно:

– А как там ваши сотрудники русскую границу пересекают? Неужели – своими ногами да в лодочке? Да это же старьё, девятнадцатый век, это забывать надо! Пожалуйста, сделаем им хорошие документы, будут ездить первым классом, как мои...

Парвус, может, и уродлив, но, там, для женщин или на трибуну выйти. А глаза его бесцветные, водянистые – неотвратимо умны, уж это Ленин мог оценить.

Только бы – уйти от них. Только бы не догадался.

Что именно *делать* – Ленин не мог. Всё остальное – умел. Но только не мог: приблизить тот момент и сделать его.

А Парвус со своими миллионами, вероятно оружием в портах, со своей конспирацией, уже надёжно угнездясь в каких-то заводах, – схлопывал белые пухлые руки, однако умеющие делать, и допытывался:

– Да чего же вы ждёте, Владимир Ильич? Почему сигнала не даёте? До каких же пор ждать?

А Ленин ждал – чтобы случилось что-нибудь. Чтобы какая-нибудь попутная материальная волна перекинула бы его челночек – в уже сделанное.

Как на посмешку, все ленинские идеи, на которые он жизнь уложил, вот не могли изменить ни хода войны, ни превратить её в гражданскую, ни вынудить Россию проиграть.

Челночек лежал на песке как детская игрушка, а волны не было...

А письмо на дорогой зеленоватой бумаге лежало и спрашивало: так что же, Владимир Ильич? Участие **ваших** – будет или нет? Ваши явочные адреса? Ваши приёмщики оружия?... **Что** у вас есть реально, скажите?

**Что есть** – Ленин как раз и не мог ответить, потому что: не было ничего. Швейцария была на одной планете, Россия на другой. У него было... Крохотная группа, называемая партией, и не все учтены, кто в неё входит, может и откололись. У него было... Что Делать, Шаг-Два-Шага, Две Тактики. Эмпириокритицизм. Империализм. У него была – голова, чтобы в любой момент дать централизованной организации – решение, каждому революционеру – подробную инструкцию, массам – захватывающие лозунги. А больше не было ничего и сегодня, как полтора года назад. И потому – из военной предусмотрительности и из простой гордости – не мог он обнажить своё слабое место Парвусу и сегодня, как полтора года назад.

А Парвус – нависал через стол, с насмешливо-рыбьими глазами, со лбом, не меньше



накатистым, чем у Ленина, и ждал, и требовал ответа.

Он так хорошо перехватил инициативу: спрашивать, спрашивать, тогда не надо объяснять самому. Но у него тоже были причины – почему он молчал полтора года, а именно теперь обратился?

Избегая нависшего недоуменного взгляда из-под вскинутых безволосых бровей, Ленин катал и катал шар головы по письму, ища, как благовиднее отказать в помощи, а не потерять союзника, как скрыть свою тайну и угадать тайну его. Обходя, что было в письме, и ища, чего в письме не было.

Встречную слабость, как всякую трещинку, выхватывал Ленин прежде всего.

Не было: почему обращается Парвус снова так настойчиво? Значит – сил не хватило? А может – и денег? Ослабела агентура? А может, немецкое правительство не так уж и платит? Ох, тяжела эта служба, когда увязла лапа...

Как хорошо быть независимым! Э-э, мы ещё не так слабы, мы не последние по слабости.

Правая рука с карандашом привычно шла по письму, размечая для ответа – чертами прямыми, волнистыми, хвостиками, вопросительными, восклицательными... А левая быстро-быстро потирала лбину, и лбина набирала аргументы.

Упрекал Троцкий своего бывшего наставника в легкомыслии, нестойкости, и что покидает друзей в беде, – это всё сентиментальная чушь. Это всё недостатки простительные и не мешали бы союзу. Если бы не делал Парвус грубых ошибок политических. Нельзя было так бросаться на мираж революции, открывая себя публично. Нельзя было делать из “Колокола” – клоаку немецкого шовинизма. Вывалялся бегемотина в гинденбургской грязи – и погибла репутация! И – погиб для социализма навсегда.

А – жаль. А – какой был социалист! (Погиб – но ссориться, всё-таки, не надо. Ещё – ой-ой, как может Парвус помочь).

От самой бумаги, от обреза стола Ленин осмелело поднял голову – посмотреть на своего неутомимого соперника. Контуры головы его, и без того бесформенной, рыхлых плеч – расплывались и колебались.

Колебались – как качались от горя. Что даже с Лениным не умел он объясниться начистоту.

И, потеряв черты лица, уже больше как облако синеватое – печально оттягивался, клонился, переходил, перетекал в окно.

Но пока ещё было не совсем поздно, Ленин выкрикнул вдогонку, без торжества, но для истины:

– Дать связать себя в политике? Ни за что! Вот в чём вы ошиблись, Израиль Лазаревич! Взять от других нужное? – да! Но *себе* связать руки? – нет!!! Союз с кем-нибудь нелепо понимать так, чтобы связали руки *нам* !

Утянуло всё дымом, не оставив осадком ни Скларца, ни баула. И шляпа опоздавшая сорвалась со стола – и швырнулась вослед.

Оказался Ленин дальновиднее! Пусть он не делал никакой революции, пусть он был беспомощен и безрук, но знал он свою правоту, не сбивался: идеи долговечнее всяких миллионов, без миллионов можно и перетерпеть. Ничего, ничего, и эти конференции с дамами и с дезертирами – они тоже все оправдаются. С алым знаменем Интернационала можно и ещё 30 лет переждать.

Сохранял он главное сокровище – честь социалиста.

Нет, рано сдаваться! И рано бросать Швейцарию. Ещё несколько месяцев настойчивой работы – и можно будет швейцарскую партию расколоть.

А тогда вскоре – начать здесь революцию!

И отсюда зажжётся – всеевропейская!

**Его Величеству  
Царское село, 25 окт.  
(по-английски)**

**Мой родной ангел, снова мы расстаёмся!... Видеть тебя в домашней обстановке после шестимесячного отсутствия – спасибо за эту тихую радость!...**

**Ненавижу отпускать тебя туда, где все эти терзания, тревоги, заботы. И опять эта история с Польшей. Но Бог всё делает к лучшему, а потому я хочу верить, что и это будет к лучшему. Их войска не захотят сражаться против нас, начнутся бунты, революция, что угодно, – это моё личное мнение, спрошу нашего Друга, что Он думает.**

**Мне не нравится, что Николаша едет в Ставку. Как бы он не натворил бед со своими приверженцами! Не позволяй ему заезжать куда бы то ни было, пусть он прямо возвращается на Кавказ, иначе революционная партия опять станет его чествовать. Его уже стали понемногу забывать.**

**У меня очень тяжело на сердце. Но душой я постоянно с тобою и горячо люблю тебя.**

**Навеки, милый, светик мой, твоя старая  
Жёнушка**

**Ея величеству  
Могилёв, 26 окт.  
(по-английски)**

**Моя бесценная, любимая душка!**

**От всего моего старого любящего сердца благодарю тебя за твоё дорогое письмо. Нам обоим так взгрустнулось, когда поезд тронулся. Помолившись с Бэби, я немного поиграл в домино. Легли рано...**

**Убежала кошка Алексея и спряталась под большой кучей досок. Мы надели пальто и пошли искать её. Матрос сразу нашел её при помощи электрического фонаря, но много времени отняло заставить эту дрянь выйти, она не слушалась Бэби.**

**Ах, сокровище моё, любовь моя! Как я тоскую по тебе! Такое это было подлинное счастье – эти шесть дней дома!**

**Храни Господь тебя и девочек.**

**Навеки, Солнышко моё, твой весь, старый  
Ники**

## **51**

Та дивная лёгкость, с какой Воротынцев проплавал эти девять петербургских дней, – на обратном поездном пути всё более оставляла его. К Москве погасла его победность, и он всё больше накачивался табачным дымом.

И на московскую платформу ступил как бы отерплыми ногами. С большим беспокойством. Со смутной грозной тяжестью.

Отчего уж такая тяжесть? Случиться дурное – ничто бы не должно, значит это беспокойство не было предчувствие дурного. И ко дню рождения Алины он тоже ведь не опоздал – как раз в канун, вечером. Правда, уже поздним.

А вот ещё, оказывается, какая тягота открылась и надвигалась – притворяться. Улыбкой, глазами, словами изображать так, будто ничего в Петербурге не произошло, простая естественная задержка.

Москва была худо освещена, сэкономили фонарный свет, местами совсем темновато, только яркими колесницами прокатывали трамваи, да иные витрины щедро лучились.

Казалось – и на улицах разлита какая-то тревога. Извозчик быстро гнал, как всегда с

офицером. И не замедлять же его.

**Знать** она всё же никак не могла. Ну, задержался, ну, таковы военные дела. Можно объяснить, разрядить. Но ко дню рождения – успел.

Ноги, такие лёгкие на Песочной набережной, на Аптекарском острове, теперь гириями вытягивали по лестнице, к себе на третий этаж.

Алина вышла к нему в переднюю, как встав от сильной головной боли. Или вообще больная.

– Что с тобой? – встревожился Георгий, ещё с порога, в шинели, не обняв, только привзвывая за лёгкие локотки. Её болезни и боли всегда отдавались ему как свои, колко.

Она повела бровями над бледным лицом:

– Тебе, по-моему, это лучше меня известно?

И смотрела проницательно. Такая мертвенность, такая окончательность, перейденность за все возможные рубежи была в ней, что...

Он поспешил пригнуться к ней и поцеловать. В бровь и попал. В ухо ещё.

Нет, знать она ниоткуда не могла, и догадаться не по чему, – но ударило ощущение, что она **всё знает**, хоть уже и не скрывай. Однако нельзя было отдаваться этому чувству ни в слове, ни во взгляде.

– Ты – больна? – с беспокойством спрашивал он, это всё вместе. Никогда ему не было перед ней так неловко, виновато и заодно так жаль её.

Она закинула голову, долго молча посмотрела на него как на потерянного, сощурилась глазами. Сказала:

– Из-за тебя.

И, не дожидаясь, пока он шапку снимет, разденется, – ушла.

– Так ведь я же приехал, успел! – оправдательно крикнул Георгий вослед. – Я же – успел!

Не отвечала.

Он быстро разделся, шинель кое-как на колок – и быстро пошёл за ней вослед.

В большой красивой коробке из-под шоколада (она собирала красивые коробки, потом находила им применение) Алина, стоя у комода, перебирала, искала какую-то мелочь, полуспиной к нему. К нему – беззащитным изгибом шеи под свежезавитыми кудрящимися волосами. И обиженным плечом.

Георгию было так весело и пьяно эти дни – как же ни разу ему не передалось, что ей – так плохо? И, правда, почему ж не мог он хоть раз собраться прилично ей написать? – ведь она же просила писать каждый день и ждала так.

Не пожалел её ни разу. Вот этой беззащитной шейки.

Всё же предполагая не худшее, взяв за плечи её не сильно, чтоб она не вывернулась плечами, он повторял сзади:

– Ну, Алиночка, не сердись. Не огорчайся. Прости.

Она полуобернулась, посмотрела со скорбью, ответила отдельно:

– Ты – **опозорил** меня!

Георгий вздрогнул, так это отчётливо пришлось: знала!!

Медленно отвернула голову. Опять стояла затылком.

Знала!?? Да – откуда??

Но плеч не вырывала.

Раз не вырывала – всё-таки, значит, нет!

Но ничего другого такого страшного быть не могло.

Он стоял и смотрел на её затылок, на тонкое вырезанное ухо, у неё красивые были уши.

Иногда возникало так, неожиданно для него: по невнимательности, по неуклюжести, по торопливости он делал ей больно, оказывался виноват, сам того не заметив. И не было лучшего способа перейти от расстроенного существования к беспрепятственному, как попросить прощения. А сегодня он был виноват – не на одно прощение. Просить прощения – это был обряд между ними, всегда успешный. Или уж привести сильный отвлекающий

довод, к сильным доводам Алина была прислушлива.

Но для того хоть положение надо понять. Бормотал:

– Ну, Алиночка, я же приехал вовремя.

– Вовремя?? – обожглась она, покинула коробку, резко повернулась к нему: – Это называется вовремя? После трёх телеграмм! Четырёх писем! – ещё, наверно, и не дошли.

Глаза Алины загорелись – и лицо сразу посвежело, стало не вялым, не больным, – удивительно быстро у неё лицо менялось! Ну, хоть здорова! Опоздал, только-то?

Держал её за плечи, перед собой, уверенней.

Десять дней вместо четырёх, да. Но – головотяпы в Главном штабе, отделились от Действующей армии и как будто дела им нет. (Мало, где ж – неделя?) И в министерстве... Сперва обещали, тянули. (Ещё мало). Да и Свечин задержал: дал телеграмму, что едет в Петроград, и был смысл его дожидаться. Выяснить, есть ли возможности со Ставкой. (Может, Ставка её хоть чуть порадует? Нисколько. И это ещё она не сообразила, что из-за Ставки придётся сейчас и уехать раньше).

Георгий говорил горячо и старался честно, прямо смотреть ей в глаза, не увилывать. Это – первый раз ему так досталось, невыносимо. И чувствовал, что краснеет, заметно покраснел. Ну, всё! Догадалась...

Уголки глаз её сжались – усмешкой? подозрением?

– Я тебе телеграфировала приехать – **как** ?

– Не позже как за день.

– А – ты?

– Я – за день и приехал.

– Это называются – **за день** ? Вечером накануне – это за день?

Она – раненая была, она остро страдала, бедняжка, но – о-о-о! – с Георгия снималось шеломящее первое впечатление, что она всё узнала. Если обида только в задержке перед днём рождения – это мы как-нибудь выправим. День рожденья – это мы перестоиим.

– Я так понял: “за день” – значит не в тот день... Прости! – Он поднял её невесомые тонкие кисти, приложился к одной, и к другой.

Да, день рождения – высший, светлый день (именины не так, она не любила свою святую), но в их годовом кругу и ещё с полдюжины высших, светлых, ритуально-священных, целый частокол. И он же не пропустил!

Она горько усмехнулась:

– Приехал!... Спасибо! Когда уже гости отменены.

Нет, всё оказывалось не так страшно.

– Ну, не поздно – с утра позвать их опять?...

Она смотрела горестно-осветлёнными глазами, с истаивающим беззащитным слоем – взглядом, испытующим самую душу его:

– Не поздно? Ты думаешь?... А письмами – ты не мог подкрепить свою Жемчужинку? Почему – письма были такие короткие, небрежные?

Да! Простое благоразумие: написал бы – и всем бы легче. В этом он несомненно был виноват. Но тем расположенней и просил прощения.

Однако: просил – не слишком руками, не притягивая больше и не целуя: от того, что она не знает, – теперь качнуло его: что ведь подкатывает ко сну, что неизбежно сейчас – ложиться. А – дико вдруг, противочувственно, противоестественно показалось.

А – час поздний, он оч-чень устал, он вида этого себе ещё добавил.

Но – не оказалось и нужно. Алина гордо подняла голову – не больную, не измученную, и глаза в глаза сказала, как отпечатаала:

– День рожденья – ты мне испортил. И – какой!

Отвернулась, вынув бока из его ослабевших касаний, прошла щёлкающими шажками по паркету, ушла в спальню и слышно повернула дверной приготовленный ключ.

Всё опять омрачилось, испорченное, запутанное, – на завтра.

Но – и облегло: о, как привольно, как свободно спать одному! и совсем не надо

притворяться! И как выспаться можно здорово.

Хотел бы поужинать – полезть в буфет? на кухню пойти? – нет, безопасней лечь скорей да свет потушить тоже, чтоб не переигрывать разговора.

Последнюю папиросу – в темноте.

Отчасти этот день рождения и очень кстати подкатил. Позорно было так отвечать Гучкову, но может быть обидней было бы ему услышать, что не о солдатах русских он думает. Да как можно было и ждать, что он думает о чём-нибудь, кроме блистательной победы? И куда ж бы Гучков его завёл?

Да разве к этому Георгий шёл? Неужели?

Очень легко ошибиться в тех, с кем думаешь будто заодно.

Такой же откол и с Шингарёвым...

Да даже ещё и не вчера у Кюба, а только в обратном поезде окончательно понял Воротынцев эту ловушку: и Государь беспредельно предан союзникам за счёт русской крови, и кадетская оппозиция, и заговорщики, – тем же союзникам, той же ценой.

Помнилось – совпало, и тут же разошлось.

Он не нашёл, куда себя применить.

А тут теперь ещё: как же с Алиной дальше?...

И до чего противно лгать лицом, руками. И – подло к ней.

Выдержать это долго будет невозможно. Надо улизнуть да съездить в Ставку.

Её страдания за эту неделю не подлежали такому простому прощению. Не просто памятный день, не просто праздник, но – символ, что мы вместе.

После того вечера у Мумы, когда Георгий, почти ничего и не сказав, не сделав, неожиданно так всем понравился, и Сусанна и другие заказывали видеть его на обратном пути ещё, Алина и придумала: широко собрать гостей на свой день рождения и уж тут он им нараскажется вдоволь. И уже объявлено было всем.

Но когда он замолчал, оборвал, растоптал – да разве бы она ждала пассивно эту неделю? Да в её характере – ринуться, броситься и прояснить! На второй день его опоздания она уже взяла билет в Петроград – и настигла бы его там, и он не так бы извинялся! Но вдруг – занемогла, озноб, насморк, голова, лежала без аппетита, и уходили последние дни уверенности. И осталось, из гордости, отменить гостей самой, придумать, что они решили отметить день уединённо, не в Москве. И теперь возобновлять не то, что было поздно, а – невозможно.

За войну бесконечно огрубел Жорж и одичал. Это ещё и в прошлом году открылось, когда она ездила к нему в Буковину. Там тоже день рожденья – да какой? круглый, тридцатый! – уныло прошёл. Забыл муж, как это было у них лелеемо, излюблено, все семейные годовщины: день объяснения, день первого поцелуя, день обручения, день свадьбы. Он отупел, а её женская долгая задача – смягчать его и возвращать в человеческое состояние.

Была интересная лекция одного музыковеда, он объяснял: в том и верен психологической правде Пушкин, что Германн у него ничего не ощущает, кроме карт, Лиза для него – только ключ в дом. А братья Чайковские добавили любовь к Лизе, и это совсем неправдоподобно, и так развалился ясный сюжет.

Может быть, Жорж и есть – пушкинский Германн, только карты у него – топографические?

Можно и так, конечно, принять, что ничего особенного не произошло. Он непростительно задерживался, но всё-таки вернулся, всё-таки накануне.

Да разве Алина хотела ссор, объяснений? Она любила гармонию в семейных отношениях, любила стройность созданного ею порядка, быта, внешней жизни. Но для этого надо уверенно чувствовать, постоянно знать, что ты – ценима.

Именно утреннее солнце попадало к ним в два окна из-за Москва-реки. Последние дни были пасмурные, холодные, да и вся эта осень ненастна, – а вот в алинин день рождения с утра выглянуло солнышко. Добрый признак! Символ! Надо снимать с сердца тяжесть. Всё бы плохое закончилось вчера, а сегодня быть бы одному хорошему, Алина не хотела быть злопамятной.

Вышла из спальни – одетая по шее, в высоком воротничке.

И Георгий уже был подбрит, одет по форме, при португее, и сидел ждал в гостиной. Когда хочет нравиться – он очень мил бывает, откуда-то и галантность появляется. Встал – и навстречу шёл, улыбаясь добро. И нёс – подарок.

Поцеловал, обнял неясно.

Подарок – невесть какой, не что-нибудь задолго готовленное, а сейчас в Петербурге купленный – растяжной фигурный золотой браслетик. В милом футлярчике.

Сам и на руку ей надел.

От ссор, от обид – продолженья хорошего не бывает. Обижаться и не хотелось, хотелось света на сердце. Какой есть, какой умеет быть, – что ж на него обижаться.

Скоро звала его завтракать китайским колокольчиком.

Тихо, уютненько завтракали. Вот светило солнышко – Алина уже и рада, как птичка. Твой единственный, особенный день. Надо сегодня быть весёлой и счастливой.

– Но, Жорж, ведь я всем объявила, что мы с тобой сегодня в отъезде. Теперь никак нельзя оставаться, надо уехать.

Подвинул бровями. Не очень хотел.

– Уж теперь соберём гостей в другой день. По лбу у него пробежала хмурь.

– Медведь! Тебе бы только за письменным столом сидеть. Сам виноват, что опоздал.

Да и погода! Поедем за город!

– А – куда?

Стали перебирать. Хотела бы Алина, так, чтобы там гостиница была или пансион, можно было бы и переночевать.

– А может – в С\*? Вот находка! На озеро, в С\*!

– Ну, какое там озеро? Пруд.

– Ты его раньше озером называл!

Согласились.

Но как ни живенько подхватились, собрались, а из дому выходили – солнце уже замутнилось. И дальше натягивало, натягивало серого опять.

Однако наперекор погоде, наперекор потере гостей и весёлого вечера – решила Алина не дуться, не обижаться, чтобы было всё равно хорошо! Должен он и жену почувствовать когда-то, ведь на войне опять зачерствеет.

Но ехали в дачном поезде – задул резковатый ветер, стал протягивать тучки быстро-быстро – серые, тёмные, дождевые.

Чтобы отвлечься, предложила Алина такую игру: вспоминать все именины их обоих, все годовщины венчанья, Рождества и Новые года: в каком месте, при каких обстоятельствах, с кем праздновались.

Вспоминали, но больше Алина. Жорж как-то пассивно. И, заметила она, ещё раньше с утра и сейчас, что время от времени он тяжело-тяжело вздыхал.

– Ты почему так вздыхаешь?

Он удивился:

– Разве? Я не заметил.

– Очень тяжело. Ты так – после Восточной Пруссии, сколько в Москве тогда побыл, – вот так всё вздыхал.

Удивился, покрутил головой.

Пожалела его. Лечила его рукой к руке:

– Неприятностей много? Неудачно съездил?

Хмурился:

– Д-да, в общем... да... Неудачно.

Задумывала Алина – покататься по озеру на лодке. Куда там! – и лодки все на берегу, перевёрнуты, без вёсел, и мрак такой на небе, на воду не захочешь.

А так хотелось необычного чего-то!

Только с пансионом повезло: не закрыт, свободен и кормят. Номеров было много, выбрали на втором этаже хороший угловой, одно окно на еловый лес, а из другого и озеро видно. И тепло в номере. И горничная из коридора снова затопила голландскую печь, дрова здесь вольные, не как в городе. Остаёмся ночевать, браво! Уютненько будет!

А устроились, согрелись – гулять?

Пошли гулять.

Надумала Алина собрать букет из осенних листьев, из разных осенних красивостей. Но красных листьев нигде не нашлось. Да и чисто жёлтых, почти. Всё какое-то бурьё, старьё, да хвойные ветки с шишечками.

Красота не складывалась.

Да и нельзя ничего весело делать, если не оба полной душой. Если ты порываешься, как дитя, а твой спутник – как строгая скучная бонна – не хочет подпрыгнуть, на дерево залезть, и тебе не даёт. Простила его – не ценит, не осветилось, какая-то тягость.

И – вздыхает. Откуда эта привычка вернулась? Уж ради сегодняшнего дня мог бы и сдержаться.

А погода всё портилась: ветер крепчал, натягивал туч – густо, серо, сплошно. Алина озябла и в меховом воротнике, задрожала. Вот тут муж обнял её крепко. И они возвратились в пансион.

Так может быть – здесь рояль есть? Я бы тебе играла, играла!

Оказалось: есть пианино. Но – совсем расстроенное, резало уши. Так обидно стало Алине, она вспыхнула и резко выговорила хозяйке:

– Но как вы можете держать инструмент в таком состоянии? Зачем тогда и держать? Тоже мне пансион!

Судьбу расстроенного пианино она чувствовала как на себе, как судьбу пренебреженного живого существа. Так же вот и она оказывалась сегодня...

Исключительный день, задуманный во что бы то ни стало весёлым, – разваливался.

Да разве ты одна – можешь его создать? Это нужно вместе, друженько. Но Жорж был мрачен и мрачен. Сам же всё испортил, сам перевернул, его простили – и вот как?

Налетали вихревые дожди – не обильные, короткие, но – в переменных направлениях, как виделось по множеству быстрых косых капель, всё более явных, потому что переходили в крупу или в снежинки. И когда такой дождеснег, ещё подвеваемый толчками ветра, сек и насыпал, то, казалось, ненастье не рассеется теперь и неделю.

Оставалось обедать. Спустились в залец. Выбор был небольшой, но заказанное за час – приготовили. Принесли портвейна.

Жорж стал произносить тост, для неё. Вот тут недоставало сверкающего стола, человек бы десяти, как она уже приглашала. Но даже и оставшись вдвоём, но даже и в этом полутёмном зальце – можно было сказать и возвышенной, и сердечной. Но даже для неё одной, едва ли не на ухо – почему так затруднённо говорил, так неумело, как никогда, – слова как обваливались, фразы разваливались, он просто совсем разучился. Размазал – не сказал ясно ни об их любви, ни – о будущем, ни – чего же, собственно, он ей сегодня желает.

Вместо радости – защемило сердце.

И обед оказался – какая-то кислятина, совсем не именинный. Рисовый гарнир – липкий, чем-то бурый полит, – а вместе с тем и сухой.

– Где это мы читали? – спросила Алина. – Что в Китае подозреваемому преступнику дают есть сухой рис? И так как от волнения он лишается слюны, то есть не может – и тем считается доказанной его виновность?

Этот несъедобный, вязкий, бурый гарнир, так и оставленный холмиком на тарелке,

вдруг разбух перед её глазами как символ развороченного, погубленного именинного дня и даже чего-то большего. И теперь если в какой-нибудь год вспоминать именинные дни – так и будут всегда вставать эти вихри чёрные за окном и этот бурый гарнир.

Слезы наполнили глаза Алины. Но она удержалась.

А муж – как будто и не заметил. Курил.

За окнами крутило крупой, навевало волнами. Стало так темно, что к сладкому внесли лампы.

И – в их комнате уже стояла зажжённая. А ведь ещё не ночь – ещё весь длинный-длинный вечер впереди!

Маленькая квадратная комнатка: две кровати, две тумбочки, шкаф, комод да туалетный столик. Тоска какая! А в городе бы сейчас!... Вернуться?... Ну, в такую бурю и тьму.

Если бы был инструмент! целый бы вечер тебе играла, играла!

Да, да! – это он горячо поддержал, это он всегда любит. Свою сухость смягчать музыкой.

Ну, ч-чем заняться?!

Ах, торопились, не догадались: взять с собой калёных орешков. Она бы легла, он бы рядом сел и колот: ядрышко тебе, ядрышко мне, а если плохое, то не в очередь.

Да дома – многое можно придумать, и у каждого есть свои занятия, а здесь – вместе и безо всего – что придумать?

Нашёл Георгий гвоздь – повесил шашку посредине стены, не в шкафу. Ходил потерянно, в окно уставлялся лбом.

Села Алина перед зеркалом. Для именинницы – уныло выглядела она.

– Ну вот, по твоей милости такой у нас день рождения. И в насмешку хуже не устроить.

Стоял, упершись лбом в тёмное стекло.

Плакать захотелось. Стягивала силы, чтоб не расплакаться.

Сел на кровать, руки сложа. Молчал. Опять вздыхал.

– Ну ты-то! – взорвалась Алина, – ты-то почему такой мрачный? И что ты всё время вздыхаешь, будто похоронил кого-то?

Через зеркало увидела тёмное выражение его глаз – и вдруг почему-то страшно испугалась, вскочила от зеркала, закричала как не своя:

– Что-о? Что??

А он – не удивился её крику, – и это было ещё страшней. Отвернул взгляд, рукой упёрся в кроватную спинку, и так сидел с повешенной головой.

И – шашка, одна посреди нагой стены, висела над ними, как будто чем угрожала.

Алина поколебалась: может быть не надо спрашивать ни о чём, искать объяснения? Но и с этими похоронными вздохами, в этой законопаченной комнатке – как же тут выжить до утра?

– Жорж! Что случилось? – со страхом и не настойчиво спрашивала Алина. – Почему ты не смотришь на меня? Смотри!

Он – посмотрел. Как будто всё в нём болело, и губы не складывались в речь. И голос глухой-глухой, с переломами:

– Я... ты знаешь... я... ну, как тебе сказать...

Незапомненно давно у Георгия не выдавалось такого бесталанного дня. Каждое движение, каждое слово – с усилием. Как бы ему хотелось – завтра же и прочь, на поезд, в Могилёв! – нет, он должен был теперь заглаживать своё опоздание, испорченный праздник. И – ещё теперь жить в Москве. И о Ставке не посмел заикнуться.

Это первый раз в жизни досталось ему с женой – изображать, чего не чувствуешь. Всему как параличному – праздновать. Языком выговаривать, чего не было ни в груди, ни в голове.

Да один бы день – можно, но – **всегда** теперь?...

Невыволакиваемо.



Но было и совестно, и – жаль Алину. Он – искренне хотел быть сегодня добрым и внимательным. Но – мёртвый весь.

Жаль было её, а особенно остро стало жаль, когда она чуть не расплакалась над этим бурным рисом, не шедшим в горло, – неужели она не была достойна лучшего дня рождения?

Видел, что всё сползает и губится, – и ничего не мог исправить. Не было сил исправить свой вид, свой тон. (Мёртвый-то мёртвый – а в самой глубокой точке груди, уже не во всю грудь, – держал, сохранял Ольду, она тут в нём вилась).

Хоть бы отсюда в Москву вырваться вечером! – так нет, дождёмся славной погодочки.

Заперты в квадратной комнатухе, обречены быть вдвоём, вдвоём.

Такой мёртвый, что именно притворяться – труднее всего. Да и как же теперь – всю жизнь прятаться? Ведь от Ольды он ни за что не откажется – и, значит, всю жизнь вот так?

Да – спину бы разогнуть! Насколько бы благородней – сказать сразу, самому, и никогда больше не таиться!

Проскочила в голове эта вагонная история: как тамбовская Зинаида заставляла своего инженера с первого же раза – всё сказать жене! И как, ещё в вагоне, когда к Георгию ни с какой стороны не относилось, ему показалось правильно.

Что значит “принято”? В таких положениях извечно принято непременно лгать. А – почему? А насколько душе просторней: сказать правду – и распрямиться. Человек человеку – неужели не может сказать правду?

Так подошёл он всем чувством – но не решился бы. Если б уехали в город – обошлось бы. А когда их заперла тут непогода ещё прежде вечера, да Алина сама наступила с вопросами, а он представил, как неизбежно им сейчас вместе лечь...

Непроговариваемо языком это было, слов не найдёшь, – а ещё выступило: а *ей* –то всё это – за что?... Уж она-то была не виновата – а разбивалось об неё.

А – сказал.

Никакого нового выражения как будто не появилось в глазах Алины – ни “дальше, дальше!”, ни “молчи, не хочу!”. Только больше раскрылись – и принимали. Живые умные серые глаза, привычные к пониманию.

Полнообъёмно и он смотрел на жену (косым зрением ещё видел и свою шашку на стене).

Она не вскрикнула. Не исказилась. Даже не сморщила лба.

Улыбка! Улыбка недоумения растянула ей губы:

– То есть ты...? То есть она тебя...?

Что Алина не вскочила, не вскричала, не взбуйствовала – так пронзило Георгия, так расположило к ней, куда и девалось отчуждение этих суток! Он пересел к ней рядом, на её кровать, и разглаживал край волос на виске:

– Но это не значит, что я тебя разлюбил... Это – совсем не значит.

Боже, неужели так тихо обойдётся? Неужели так просто можно объясняться с разумными женщинами?

Алина мягко склонилась, склонилась – и головой на подушку.

Его рука и туда доставала. Он гладил ей плечо. Свежезавитые волосы. Новая, новая нежность к жене заливала его. Благодарность, что она может понять. Что за женщина! В каких высоких отношениях можно быть!

Нежное примирение как бы застигло их тут – и осенило.

Она заплакала. Но – тихо, покорно. Без взрыда, без упрёков.

– И неужели именно Петербург? – вдруг по-детски, тоненько пожаловалась Алина, первые её слова. – Город, где мы так хорошо с тобой жили? С которым столько связано?

В смягчающей тишине такое наступило облегчение сразу, такое облегчение – вседушевное, всетелесное, будто именно вот этой женщины, лежащей тут, он десять лет добивался, добивался, и наконец... Как опять любил её! Этой мёртвости его вчерашней, сегодняшней – как не бывало.

– Тебе – очень хорошо было с ней? – спросила Алина даже не шёпотом, а дыханием.

– Очень, – честно, просто ответил Георгий.

– **Так** – или вообще?

– Да и... вообще. Ярко.

Алина долго молча лежала, закрыв глаза. Пересев ещё ближе, он нежно гладил ей висок, задевая резное ушко, гладкую молодую кожу щеки.

Она – тонкая родилась. Тонкая.

Так тихо было у них, что через двойные стёкла слышались все завеванья там, снаружи, шорох крупы, ударяемой в окна.

– А что – вообще? – прошептала Алина, не открывая глаз. – Она играет на рояле?

– Нет, – смиренно, тихо отвечал Георгий. – Но очень интересно толкует музыку, разбирается тонко. Вообще умная, широко образованная. – И незачем было больше, но его несло говорить об Ольде: – Сложная. Духовно-напряжённая. Не склоняется перед господствующими мнениями. У неё такие глубокие, самостоятельные взгляды на историю, на общество...

Этими открытыми похвалами он и себя защищал, оправдывал. Алина любит умных людей, а Ольда так блистательна! – не восхититься ею не может даже и женщина. Как легко, как ласково можно было бы жить на земле, если б люди немного больше понимали, принимали, уступали взаимно.

– Кто ж она? – так же тихо, ласково спросила Алина, уже открыв глаза, но не ища его взгляда.

Вот не думал Георгий. Не ожидал, что при начале же разговора будет прямо спрошено – **кто** ? Не ожидал, но и от Алины ж он не ожидал такого смирения, такого честного желания понять. А уж если начал – рано или поздно всё равно назвать, почему не сейчас? Даже музыка была в том: назвать это имя вслух.

Но почему-то не выговаривалось. Что-то остановило.

Алина с подушки – глубоким, отплакавшим, спокойным взглядом изучала его.

Он опустил глаза.

Кажется, отвела взгляд. Щекой на подушке беззвучно лежала.

И сам додумывая, и вслух:

– Алочка! Я и мысли такой не имею, чтобы с тобой... расстаться... Я не... Но и... Мне по сути...

Он задумчиво гладил завиток на её затылке.

Она опять подняла голову. Никакого следа слез! – она ничуть не плакала сегодня! Гордое лицо её горело. Глаза были напряжены, полусмежены:

– Скажи, а Вера – знает?

Он удержался, чтобы не вздрогнуть. Совсем неожиданный вопрос. Веренька знает, понимает, конечно, хотя об этом прямо ничего не говорено. Знает! – но! укол в сердце: вот **этого** Алине говорить нельзя! Ах, не успел насладиться правдивостью – и вот уже надо отречься и лгать, да быстро, да правдоподобно под допытчивым взглядом:

– Нет, что ты! – уверенно, твёрдо. – Конечно нет!

Да раз прямо не говорено – так и не знает, верно. **Не такую** правду сказал – уж в этой-то маленькой можно поверить?

Поверила?

Даже вспотел. Вот попал. Вот так и поживи по правде.

Медленно села. Сухо, строго:

– Что ж. Лучше – это. Лучше это, чем чёрствость, как я приписывала тебе.

Раздельно:

– Я – за тебя – рада.

А тишина была во всём пансионе – глубинная. Оттопились все печи, не стукали кочерги, чугунно отзвонили закрываемые заслонки. Не шаркали по коридору.

Тем яснее слышалось, как струйка воды ударяет по жестяному заоконнику. Значит, и таяло тут же.

И опять, сухо:

– Выйди, пока я лягу.

Он удивился.

Со взглядом женщины знающей и много старше него, она объяснила совсем не гневно, даже дружески:

– Я была с тобой, как с собой. Больше – уж так не будет.

## 53

Она чувствовала себя совсем ребёнком: навалилось горе вдруг такое большое и беспощадное, что детских рук не хватает – поднять его, из-под него выбраться. Она так хотела хорошего! – славненькой, светленькой, ровной, уютной жизни, – а горе свалилось и всё передало.

И особенно – эта сторона, о которой хотелось бы никогда ни с кем даже не говорить, – стыдно, низменно и не нужно, – и вот так безжалостно оно вламывалось теперь. Не давая оставаться в высшей сфере жизни.

Слезы лились мягко и много.

А – **как** надо было? А – **что** надо было? Этого нигде не узнать. И никому не сознаешься, что не знаешь.

Но она была низвержена. Она перестала быть Несравненной! Она перестала быть Единственной!

Лились слезы по ушедшей милой жизни, которая уже теперь никак не могла восстановиться прежняя. Даже утреннего сегодняшнего – такого сдержанного, скромного кусочка счастья – уже нельзя вернуть.

С чего день начался – и чем кончился! Да уже вчера было всё разгромлено, но Алина не догадалась. Она так старалась сегодня с утра стать веселенькой, простить его, уже разбитую чашку стянуть ниточками – и пить из неё праздничный напиток. Всю жизнь она хлопотала, устраивала любовь – и сегодня так же. Как крылышками рвалась она к озеру, в лес...

Но откуда это в нём нашлось? Ведь у него так атрофированы чувства, разве в нём есть способность Большой любви?

Слезы лились – и снаружи плакало небо. Безутешно плакало, хлестало по окнам.

Она перестала быть – Жемчужинкой! Она перестала быть – Полевой Росиночкой!

И это неизбежно увидят и поймут другие, разве это можно скрыть?! На его измене откроется всем, что она – уже не “лучшая из лучших жён”.

Он даже не понимает – что он разрушил! Как он ещё пожалеет! Как он не найдёт замены прежнему!

Вера – уже конечно знает, Жорж солгал! Вера, конечно, видела что-нибудь или отлично догадалась, этого нельзя не заметить.

И поползёт по Петербургу, перекинется в Москву, дойдёт и до мамы собственной, до борисоглебских, – эт-того нельзя перенести! Оказаться брошенной??? Да разве это унижение можно пережить?

И что же **там** – огонь? пламя? Тогда ему и препятствовать невозможно. Тогда препятствовать – у неё нет сил.

Тогда самой остаётся только – уйти?

Из жизни уйти?...

О, как тогда нестерпимо, щемяще станет ему! Это можно представить со справедливым чувством! Вот когда он раскается, пожалеет!

Он – не ценил то, что у него было!

**Зачем** сказал? Если лёгкая, переходящая измена – зачем сказал?! Говорится же: Святая Ложь! Надо было промолчать, пережить молча.

Нет, хорошо, что сказал: это и значит, что впервые. Другие мужья легко и просто изменяют, а он – никогда, за столько лет – никогда.

Всё-таки, Жемчужинка – не рядовая!

Но если – уже ничего нельзя спасти? Если он – потерян навсегда?

Через полкомнаты он лежал: на своей кровати, не шевелясь, ни разу тяжело не вздохнув, как эти сутки. (По ней вздыхал? Или перед объяснением?) Но не мог же он спать! После **такого** – не мог же он спать?!

Стал таким чужим – и таким вдруг близким, как никогда ещё не был. Ближайшего часа, вот этой ночи она не могла пережить без него, она умерла бы!

Лежал так близко, а не выказывал никакого движения – перелечь к ней, погладить ей лобик, спросить – чем помочь.

Ранил насмерть – и не шёл помочь.

Лежал так близко – а уже не свой. Совсем рядом – а позвать было нельзя.

Она вздрагивала крупными вздрагами.

Никогда подобно не растерзывало её. Эта смесь недоступности и близости, оттолкнутости и притяжения, утерянности и ещё полной возможности вернуть! – эта смесь в темноте как будто начинала светиться багрово, проступала калёным излучением через комнату – жгла грудь и выжгла всякие мысли другие, а только вытягивало – стон! Сто-о-о-он!!!

...Как хорошо он придумал: сразу и открыться. Сразу и впредь заслужил себе право на открытость. Эту мертвенность, скорузившую его на возврате в Москву, – как сдуло. С полным облегчением, даже в радостном состоянии, Георгий вытянулся в кровати, заснул.

И проснулся – нескоро. Нет, ещё во сне услышал этот громкий стон, протяжный, на всю комнату, – и сразу, во сне, узнал: это Ольга кричала, это ольдин крик иступления радости, так отдающий гордостью в грудь ему!

Проснулся – от раздирающего стона, в коридор его должно было быть слышно. И, ещё не видя в слабой комнатной серости, различил, что это – кричащий стон Алины, никогда такой не слышанный стон её! Этот стон вытягивала не радость приобретения – а были они равнозвучны!

Окликнул – стонала всё так же, не снижая, не отзываясь. Приподнялся, ещё окликнул, испуганней, – Алину всё протягивал стон!

Георгий сбросил ноги. Перешёл к ней. Наклонился. Спрашивал.

Из окон слабый был свет, а вот что: дождь утих, за облаками сказывалась луна – и можно было различить, как Алина лежит на спине и сотрясается.

Лекарства? Выпить что-нибудь? Схватило сердце от страха, от жалости – бедняжка! что я сделал с тобой?!

Низко наклонясь, спрашивал – и в отчаянном стоне, в мучительных всхлипах расслышал шёпот:

– Приди ко мне!... Приди!...

Он не сразу поверил, что так понял. Ведь он – осквернён?

Но – да, так просила она, с ищущей мукой голоса.

Он лёг к ней. Лицо у неё было обильно мокро, а вся она – как из огня выхваченная. Он не помнил её такой, за все годы не помнил.

Скоро она умолкла.

И бережно обнятая им – заснула.

## 54

В бережности и нежности друг ко другу они и начали следующий день. Как будто не плохое, а что-то очень хорошее произошло между ними вчера, и они были застигнуты теперь нежным согласием. Кажется, и всегда они жили хорошо, но в этом медленном протяжном дне перешлась какая-то новая ступень близости, даже простоты, – небывалая.

Как-то сразу стало ясно, что они сегодня не возвращаются в Москву, останутся здесь

ещё. Алина двигалась так плавно, смотрела так рассеянно, что кажется само перемещение поездом или лошадьми могло бы расколоть её. Дождя больше не было. Проглядывала и голубизна. Потом затягивало. Опять немного солнца.

Долго гуляли, медленно, осторожно – будто чтоб Алину ни на каком корне не тряхнуло. Гуляли поздне-осенним лесом. Дуб ещё доразвивал свои последние истемневшие листья, а настланное под ногами было и буро, и коричнево, и ещё желто.

Всякой женщины лицо быстро-переменчиво, и алинино тоже бывало всегда, – но такого полного преобразования Георгий не видывал, не верил глазам. Алина взмолодилась, похорошела, понежнела, и возвышенным светом засветились её серые глаза – выше, чем грустные: смягчённые.

Она стала просто неотразимой. Он сказал ей это.

Восхищаясь неожиданно возникшим этим свечением, Георгий лелеял Алину, нежно водил её, укутывал, чтоб не продуло. Ни взрыва, ни ссоры, ни упрёков, даже взглядами! – вот женщина! Какова же, значит, сила её любви, не оцененная им прежде! Именно эту неожиданную возвышенную Алину не только было сочувственно жаль, но благодарность испытывал он к ней, какое-то новое влюбление, давно отхлынувшую, а вот затопляющую нежность, – и естественно было теперь найти для неё много времени, которого он раньше не находил, – и водить её медленным шагом, и холить, и греть.

Раз для него она способна на такое.

Весь мир замер. Никаких событий в мире не было, и ничто никуда не могло звать полковника Воротынцева, а только одно простиралось по поднебесной: чтоб это всё благополучно обошлось. Ни в чём не уступив Ольду, он должен был поддерживать Алину сейчас.

Улыбка тонкая, какою земные существа кажется не владеют. Глаза нежно отречённые на лице, враз похудевшем, враз помолодевшем, освобождённом от власти суетных забот.

Георгий просто не верил, что видел. Покорность? Неужели возможно?... Кажется, и всегда Георгий был нежен к Алине, но не так, как сегодня! Красива она и все годы сохранялась, но никогда – такой духовной красотой.

– Ты стала неотразимой! – повторил.

Он – говорил что-нибудь иногда, а она – почти не отвечала. Вот так светилась – и улыбалась мечтательно. Она весь день не искала и не поддерживала разговоров. Он – начинал, покидал.

Долго гуляли. Долго обедали. А там уж и день к концу, невелик.

Она попросила, чтобы вечером он читал ей вслух. Что-нибудь из книг её любимых. Пошёл к хозяйке, достал “Джен Эйр”. Алина обрадовалась. И вечером, часа три подряд, она лежала, а он сидел на кровати рядом и читал.

Тут речь шла о чувствах самых возвышенных. Это – женщина с благородными чувствами написала для женщин с благородными чувствами ещё об одной такой же женщине, когда хочется оценить высоту чувств другого и самой проявить благородство, – и хотя Георгию было порядочно странно сидеть вот так и вслух читать сентиментальную историю, – но он и понимал, что, несмотря на несходство их сюжетов, это всё получилось к месту, и – надо читать, и – надо поддерживать эти чувства благородства и жертвы.

Но – раз, другой, и к концу заметил, что сама-то Алина нич-чего не слышала.

А была довольна. Что он сидел и читал ей.

И в темноте, обок с ним, не спала долго. Вдруг сказала, самое длинное за весь день:

– Знаешь... Людей, с ранней юности, больше всего должны были бы учить не чистописанию. Не арифметике. Не рукоделию. Не закону Божьему. А – любви...

– Как это – учить любви?...

– Вот – как-то. Если это не заложено в нас от рождения – надо учить.

Думал – заснула. Нет. Обняла его за шею:

– Если б с моей первой ночи ты был другой – я бы тоже чувствовала иначе. Всегда.

Занедоумел уже засыпавший Георгий: при чём тут первая ночь? десять лет назад?

– Я сама поняла только сегодня.

Ту первую ночь – усилия нужны были вспомнить. Но Алина, с новой степенью дружелюбия между ними, как отстранясь, напоминала ему всё, ту комнату, как падал сумеречный последний свет, как он вышел, она без него разделась, лежала испуганная, а он...

М-м-может быть, может быть... Не убедила, но тронула живой болью воспоминания, тронул поиск её – делиться с ним доверчиво. Удивительнее всего: никогда между ними не названное, и было бы прежде странно, а сейчас – очень просто. Эта крайняя откровенность разговора необычайно степлила их: будто до сих пор вся их совместная жизнь была притворство, а вот – впервые всё по-настоящему, как быть бы с первой минуты.

Но уж завтра-то надо было ехать, пересидели! Для Воротынцева это был – 17-й день, как из полка! Всю службу он так служил, что один день просрочки был ему заёмист, перед самим собой. А теперь ещё ему – в Ставку! И – сколько ж это навернётся, как успеть?

Но Алина – ни о каком отъезде не думала. Даже не понимала, о чём это. Всё то же замороженное, блаженно-отречённое выражение было на её лице, и такая же она была хрупкая, что нельзя торопить, растрясывать – разобьёшь.

Вот так так. И откладывать отъезд не хотелось – и невозможно жену не пожалеть. Совсем не легко далась ей новость... Да ведь и правда: ронять, швырять, растрчивать дни он начал в Петрограде. Главное-то время он прожёт с Ольдой. Сползать – только начни. Теперь и Алину надо поберечь.

Опять долго завтракали. С той же размеренностью пошли гулять. Ночь была морозная, и пруд у закраин даже чуть схватило ледком. Держалось холодно, ветрено, а солнечно.

Алина улыбалась погоде. Была в её улыбке – жалостливость и была – несамостоятельность. Как будто внушённая, чужая улыбка.

Касалась его нежно и что-нибудь показывала: вмёрзший листик, позднюю птичку.

Сердце Георгия стеснилось: ведь это всё – наделал он.

Предполагал настаивать к обеду уехать – и сил не нашёл. Она хотела остаться – но и имела же право.

Какая-то благодетельная душевная работа происходила в ней.

Днём разогрелось, славная осень. Гуляли – всё так же почти молча. Он начинал то и это – она редко отвечала. Жмурилась на солнце. Но благодушно. И не спорила, куда идти или вернуться в пансион, шла в его руке, как плыла по течению.

И в этом их молчании и в этой её смиренности Георгий всё больше утверждался, что никогда не покинет её.

Всё требовало движений, решений, – а Воротынцев должен был бездействовать в этом дурацком пансионе. Не мог остаться ещё на одну встречу с Гучковым, заливался краской, спешил к семейному обряду, – и чтоб заточиться здесь?

Но – не Алина начала. Начал – он. И надо быть ответственным.

Затяжка дней и откладка отъезда – похожи, как с Ольдой в Петербурге, только в чувствах других.

Так и протёк ещё один полный день – их странного, вывороченного, воротившегося медового месяца.

К вечеру не подмораживало, а опять натягивало туч.

Всё время молчали – свобода бы думать. Но даже об Ольде, внутри-внутри него ещё певшей благодарностью и счастьем, – не оставалось простора думать. Не думалось свободно.

Как же, правда, будет с Ольдой?

За обедом Алина рассеянно улыбалась. Но что-то, нет, это не была возвышенная примирённость, как казалось ему вчера. Очень острые углы губ.

А вечером опять настаивала слушать гимназическую “Джен Эйр”. И хотя понимал Георгий, что слушать она опять не будет – но не избежать ему читать вслух.

Он читал – и сам уже не понимал. Беспокойство теряемого времени разрывало его. И беспокойство за Алину. С тревогой и страхом посматривал он за странной, блаженной её

улыбкой.

И чувствовал, как прикован к этой женщине.

Что ж он наделал?...

\*\*\*\*\*

## ЛАДИЛ МУЖИК В ЛАДОГУ, А ПОПАЛ В ТИХВИН

\*\*\*\*\*

### 55

А наверно, сколько уж теперь ни встречай людей, даже самых замечательных, но друг твоей юности несравним, второго такого близкого нельзя себе создать. Уже то одно, что: кому пересказывать будешь все подробности прошлого? А твой друг знает их и даже делил, и при внезапном толчке воспоминания – у обоих сразу брови вздрагивают, и смех – ввалив, в сотрясенье. (Раньше так...). Или: как нас в училище? -

Выш-ше головку! Нож-жку твёрже!

Здесь вам не-ун-н-ниверситет!

Впрочем, от училища меньше всего воспоминаний, и на какое, правда, идиотство время ушло? Грубые портупей-юнkersы. Тренировка в отдаче чести вместо того, чтоб над учебниками больше посидеть. Укладка платья перед сном – высота не больше 5 дюймов, ширина – 8, а то ночью разбудят перекладывать. Зубрёжка уставов, не нужных к войне. (А самому нужному боевому – никто не учил, да там ещё не знали).

А вот идея! Помнишь, в Румянцевской мы сидели (в большом зале, в углу, где шкаф с энциклопедиями), проглядывали Владимира Соловьёва – теократическое государство как реальная форма Царства Божьего? И так, в общем, и не добились: разве Царство Божие – это некий идеал вполне земного устройства, к которому допустимо искать реальные общественные пути? Разве это – не в преображённом мире, с другими законами плоти или бесплотия, и к человеческой истории никакого отношения уже, собственно, не имеет? Так вот представь, мне сейчас наш бригадный священник дал прочесть статью Евгения Трубецкого, мы её пропустили в своё время... (Это – сказано, непременно скажется при встрече).

И даже всё военное за последние полтора года, что пережито порознь, кому ж ещё так расскажется и вложится, как другу юности. Пережили порознь, а поймётся одинаково. Сколько разных дорог исколешено, в разные стереотрубы смотрено, а взгляд – единый. Кончится война, будем живы – не может быть, чтоб мы не вместе что-то... Но мы и сейчас, до всякого конца войны умеем встречаться! Через столик, врытый в землю под сосной, а то на иглах, раскинувши плащ на двоих и оба ничком, а глазами сойдясь, – ну кто ещё на свете так понимает друг друга! Несколько часов проговорить – а какое душевное омовение. Кажется, дороже, чем повидать бы любимую женщину. (Бы любимую, нет её ни у тебя, ни у меня...)

Ещё в артиллерийском училище, сидя рядом на уроке топографии, узнав систему обозначения всех карт в единых мировых координатах, они придумали такую замечательную штуку: как можно одной латинской буквой и шестью цифрами указать единственный на материке верстовой квадрат. А если ещё и седьмую цифру добавить, то – одна девятая квадрата, сто семьдесят саженей на сто семьдесят, уж так точно, никакого труда найти. Друг друга найти! – в том и затея: эти цифры умело и невинно расположить в письме между

текстом, и никакая военная цензура не догадается, что я зашифровал тебе малый квадрат, где стоит моя батарея, а уж название частей и открыто пишется, известно. (Да и квадрат открыто укажи – так тоже не заметят. Просто предосторожность). Конечно, если один будет под Вильной, а другой на Карпатах, то хитрость ничему не поможет. Ну, а если мы окажемся рядом, вёрст за 20, за 30, и будем друг о друге знать, – так сможем когда-то и съездить?!

И действительно. Хотя кончили они отделение тяжёлой артиллерии, но таких вакансий не было (артиллерии такой почти не было), и разбросали их по дивизиям. Сперва – далеко, а потом Костю приблизили, подтянули, и в этом мае, после тёплого короткого весеннего дождика, когда солнце уже выглянуло, и паром, и запахами земля отдавала дождик воздуху назад, – в белорусской деревеньке, обременённой постоем многих военных, спросил Саня подпоручика Гулая – у одного офицера, у другого, а пока искал, уже Коте передали, и он ускоренно-гонко шёл по улице, первый завидев друга, – и бегом кинулись оба подпоручика и обнялись, хохоча: вот какие хитрые! вот ведь как придумали!

А в августе Котя приезжал сюда, к Дряговцу, прямо к этому месту.

И сегодня ему совсем не надо сверяться с картой: уже и землянку точно знал. У сосенки невдалеке остановил своего коня, соскочил, поводья перекинул вестовому, сам зашагал ходовито, – а Саня с другой стороны совсем. Во-как! – неожиданный праздник на несколько часов.

Обнялись. Жёсткое объятие. Да и посильнел же Котя, поперёк рёбер хватает, я-те дам. (Наверно – и Саня, за собой не замечаешь). Губы как мускульные стали. Ещё колче малые подстриженные усики.

Обнялись, но – уже ни следа подхватистой хохотливой горячности. Ну-ка, ну-ка... Чем ты ещё переменялся? Щёки ввалились, ещё посуровел? – нет, даже кажется купол головы изменился, форма висков. Что с тобой? Это – за два месяца всего?

Нет, друг, всего – за два дня.

Как будто голова кверху скошена острей. И глаза подрагивающими веками сжимаются-разжимаются, как для выстрела.

– Да что такое?...

– Рас-ска-жу...

Держа за плечи: переночуешь? С тем и ехал. Хорош-шо!

– С конями распорядишься, вестового устроишь?

– Ну, ещё бы. Цыж! Сквородку картошки! И – *неприкосновенного*, ладно?

Саню одолевает суета принять гостя. А пока ходил распоряжаться, – в землянке, от внутреннего толчка, сменил свою гимнастёрку с георгиевским крестом на простую, пустую. Что-то подсказало в настроении. Котя – смелый, Котя – воинственной Сани, ну не попался ему такой случай. И хотя вы оба знаете, что не от подвига зависит, а – кому как повезёт, хорошо ли составлена наградная бумага, и на тот ли стол она ляжет, и в тот ли момент, и могут с мечами дать, кто и боя не нюхал, и могут совсем обойти, а всё равно: чтоб не налетело помешной тенью. Сане и гордо в новинку, как мальчику, а вдуматься: бессмысленно. И несправедливо, что у друга – только анненский красный темляк на шашке да Станислав.

А дело уже к вечеру. Саня предложил до ужина, пока светло, пройтись, прошлый раз не успели, уговаривались на этот раз – посмотреть, как у гренадеров поставлены противоаэропланные орудия: свои плотники сколотили поворотный помост на осевом болте, перекосили лафет, а под хобот вырыли круговую канаву. Странно, но стало им теперь это всё интересно, как раньше – философские сладкие книги, все эти стереотрубы и буссоли вошли в их жизнь и в разговоры.

Котя не возразил, пошёл. А как будто машинально. Запахнулись против ветра, ещё под тучками разорванными, красными и фиолетовыми с западных краёв, – растягивает, будет холодать. Уже и сейчас земля стыла, подмерзала в неровную колоть.

Прошлый раз Котя сам говорил: уж воевать – так воевать, надо всё и знать. Рассказывал, какие у них, в 35-м корпусе, тумбы Гвоздева из железнодорожных шпал и один



правильный справляется крутить: самолёты отпугивали, хотя прямых попаданий не бывало. И Саня сегодня, как извиняясь за гренадеров:

– Конечно, теперь, рассказывают, есть противозаэропланная батарея на бронированных автомобилях. Вот – такую бы, а у нас пока кустарщина.

Котя молчал.

Саня ещё жаловался: у немцев авиация с артиллерией согласована, корректировщики огонь переносят, привязные шары, фотографическая съёмка, а у нас аэропланы портятся, шаров не дают, связи не хватает. А какую разведку и совершат, нам не дают результатов сразу.

Шли позади Дряговца, спотыкаясь о колоть, Котя очнулся, остановился:

– Да что мы – дети? дурачки? Дело – к зиме. Если можно в тепле сидеть – какой солдат по холоду прётся?

Пошли назад. Где-то, собираясь на ужин, солдаты допевали вечернюю молитву.

И не ходили – а устали. И не говорилось. Не тот был Котя, не такой. Правда, в тепло скорей.

Раздевайся. Чернеги сегодня не будет, койка свободная. А Устимович придёт – он нам не помеха.

Для тех разговоров, какие в письмах не помещаются. Для которых и сквозной ночи мало.

Но теперь досмотрелся – Коти не узнать. Не рассеянность, не машинальность, а какое-то постороннее зрение. И растерянность, раньше никак не было в нём. И хотя радоваться тут нечему – а Сане как будто поблизился друг в этом своём новом печальном настроении.

Ещё то, что Котя стрижется под машинку, никакой причёски носить не хочет, придаёт ему полусолдатский, особо-отчаянный грубый вид.

Уставился с поднятыми бровями:

– Чего стоим?

Сели.

– Что вы тут о нашем бое слышали, Скроботовском?

– Ах, так это у вас гудело? И опять у Скроботова, где летом? Мы – ничего толком...

– Ну, конечно, – горько усмехнулся Котя твёрдой губой, до половины бритой. – У нас, если бой неудачен – то надо его замять и от начальства скрыть, и от соседей. Но стрельбу-то вы слышали?

– Да гудело, сильно справа. Когда же, подожди, позавчера?...

– И поза-позавчера. Я – еле жив остался, брат, вот что. Не знаю, как остался.

Теперь Саня окончательно и разглядел: **оттуда** вернулся Константин. И так уже прочно **там** побывал, что и радости нет вернуться. Настроение, когда перегорело сердце. Носу за носу заложил, верхнее колено обнял сплетенными ладонями, и мимо друга, мимо стола, в пол куда-то, опущенно смотрел.

На этом скроботовском участке, прошлый раз Котя и рассказывал, в июле наши затевали наступление всего Западного фронта, тремя корпусами. Пытались рвать немецкое расположение у деревни Скроботова. И ведь как было: уже взяли две линии немецких окопов, вдруг необъяснимое приказание отойти. А когда немцы укрепились – послали снова их брать, но уже кукиш. А справа 46-я дивизия вместо демонстрации глубоко прошла, и окопалась, так никто её не поддержал, пришлось ей отступить. И так – под Скроботовым прорвать не прорвали, ничего не взяли, но заняли лощину и по ней подобрались к немецкой позиции вплотную, и там залегли. Ну, так вплотную, как только возможно, как в приказах требуют сближаться, но нигде не сближаются. И начальству – жаль бросить, велели в свои хорошие траншеи не возвращаться, окапываться в 30 шагах от противника. А место мокрое, не накопаешься, так натащили ночью бруствер из трупов, их было в изобилии, и присыпали землёй, вот и позиция, – и месяц сидели в зловонии и с трупными мухами, уже принялись, землянки наполовину вкопаны, наполовину обложены мешками с землёй. Место гиблое, по

десятку-по два покойников вытаскивала 81-я дивизия каждую ночь. Но особенно гиблое – у правого окопа, где сел батальон подполковника Купрюхина: окоп – под самой горкой, занятой немцами, несколько десятков шагов – вообще никакого прикрытия, и ещё немцы сверху спускают на них нечистоты. Просил командир полка покинуть этот окоп, ведь немцы в атаку могут просто соскочить сверху, – командир корпуса генерал Парчевский ответил: “русский принцип – ни шагу назад!”. Купрюхин – маленький, лысый, невзрачный, – а дельный. Так и остался там сидеть, укреплял, что мог. С артиллерийского наблюдательного, с горки Лапина, видно было, как, уже в окопе не находя спасения, там накапывали себе пехотинцы лисьи норы в откосах лощины и туда засовывались по пояс и больше, а ноги хоть изрешети. И кого убивало, так и оставались в готовых полугробах, за ноги их вытаскивали. А то и нет.

А всё это *сближение* было – глупее глупого. Потому что: если не собираешься наступать, то не надо и подбираться. Только облегчаешь контратаку. Так и вышло. При такой близости теряли немало и немцы, хотя они в окопах и реже сидят, счёт на людей у них другой. Теряли – и терпенья у них не хватило. И решили они сбить нас и добыть себе рубеж попокойней.

Самое обидное и даже ужасное в нынешнем бою то, что мы были **предупреждены** ! Ночью на нашу сторону перешёл немецкий солдат, интересно: не поляк и не эльзасец, а чистый немец! – спасался? устал? И предупредил, что утром будет атака. А она даже не утром началась, а в полдень, – и всё равно, это ничем нам не помогло. С полуночи до полудня мы не нашли, как перестроиться, как подготовиться – и те же были потери, и то же отступление, как если б не узнали загодя.

Да и что и как исправлять, если наши пороки – это воздух наш, это мы сами? Немцы воюют с тяжёлой артиллерией, а русские – с Богом. Если исключительно для удобства написания приказов разграничение дивизий ведут по урочищам и стыки не укрепляют никакими резервами, так что по урочищу гуляй к нам в тыл хоть батальонной колонной? Если наши сапёры строят узлы обороны не в тайных местах, а на горках, чтоб отбиваться легче, – так их под склонами обходи безопасно, и всё? Если третий год войны – а мы не можем стальных касок солдатам на головы надеть, сколько из-за этого лишних убитых? Если противогазных масок Зелинского присылают в обрез, точно по штатному составу, и кто потерял, убыл, остался лежать, – заменяющему маски нет. Если у нас набивают окопы гуще двух винтовок на сажень, так что самим стрелять неудобно? Набивают – будто нарочно, чтоб немецкие снаряды не впустую падали.

Да может Скроботовский бой и не стоит разбора вне 35-го корпуса, он, во всяком случае, не событие для Западного фронта, а тем более – для всей Европейской войны. Но для того, кто там полз, по крови и по мясу, и уже не надеялся выползти, – тому Скроботовский бой разделит всю жизнь чертой: до этого боя и **после** .

Немцы стянули и повернули артиллерию с нескольких участков и ещё, оказывается, готовили газовую атаку во фланг, с Колдычевского озера. Но ветер взялся устойчиво за русских, и газовую баллонную атаку пришлось им отменить.

Саня и так уже слушал со страданием, даже покачивался. А ещё и газы! – сдавливал голову руками. Всё-таки в удушающих газах есть что-то демоническое, дьявольское, не земная борьба. Если уж газами травим – то мы уже не люди. Да и вид нелюдской, особенно ночью, при вспышках: белые резиновые черепа, квадратные стеклянные глаза, зелёные хоботы.

А разве немецкие огнемёты – людской: передний – с огневою кишкой, а задний согнулся под резервуаром? Но у немцев и неудача с ветром была предусмотрена. Они тогда начали наступление совсем необычно: химическими снарядами обстреливать наши тылы, где мы никак не ожидали, и особенно много погибло лошадей. (Не было в землянке Чернеги!) И оттуда, из нашего тыла, ветром тянуло газ на наше расположение. И по нашей батарее били химическими два часа подряд, газ не уходит, все в масках задыхаются, команд не слышно, штабс-капитан Клементьев сорвал свою маску, командовал громко, отравился. А по нашим

передним позициям стали густо бить шрапнелью, осколочными, фугасными. Батальон Купрюхина расстреляли сверху, и прыгнули в их окоп. За несколько часов, чередуя с обстрелом, провели семь атак, два батальона с огнемётами, – и забрали всю горку Лапина, и “рощу с ручкой”, и “Австро-Венгерский окоп”, как у нас называется. И это всё пришлось на Солигаличский полк. А в контратаку послали Окский.

А наша артиллерийская бригада не рассчитала: вначале била сильно, а потом хватились, что снарядов мало, из-за отравленья лошадей подвоз упал, – и Окскому полку поддержка огнём была слабая, сэкономили. Оттого полк до конца дня только отдельными ротами подымался на перебежки, а не сделал ничего. Да и какие у нас меры вести в атаку? Это от солдат зависит – пойдут? не пойдут? до последнего момента не знаешь. Дружно бросаются, когда наверняка. А то за командиром роты – десяток нижних чинов, не больше. Да и какая атака от части, уже измотанной сиденьем и пораженьем? Так и день прошёл.

Ночью соседняя 55-я дивизия взяла скрботовский господский двор. А на другое утро полковник Русаковский сам повёл Окский полк, получил пулю в живот, насмерть, но Австро-Венгерский окоп отобрали.

Отобрали – и набили его людьми. И там их – нас! – целый день молотили снарядами. И больше некуда было поставить наблюдательный пункт, как туда же, в Австро-Венгерский. И послан был подпоручик Гулай. Поставить действительно было некуда, если хотеть просматривать неприятеля, но при временном кабеле, всё время перебитом, все часы он был перебит, срывать не успевали, а в земле постоянного нет, – от наблюдателя польза козломолочная: сносились записками, бегунок пробивался по ходу сообщения, прерванному, обмелевшему, и носил на батарею записки. Вот такая стрельба. А сидеть в окопе пришлось – на полное вымолачивание. А потом – потом немцы пошли в атаку.

Изогнулся угол сомкнутых котиных губ: хорошо – успел Котя взять винтовку убитого. А здоровый немец – прыгнул рядом. Но Константин заколол его первый. Колоть? – совсем было не трудно, как в масло. А вот вытащить, вытащить! – думал, не вытащу. Ведь колено штыка – оно не пускает, и чем глубже ты загнал, по неумению, – и ты с заколотым, он ещё глаз не закрыл, – как что-то одно, не отделаться от него. И в окопе ж не развернуться. А штык нужен скорей! – вот ещё другой наскочит.

Саня со страхом смотрел на ожесточившее лицо друга. (Не мне бы так убить!...) К крови привыкли, но – это... Ведь ты – первый раз?... (А он отвлекал его пустяками...)

– Да, друг, – медленно кивал Котя новым куполом стриженной головы. – Кто раз вернулся из рукопашной... А вылезали из окопа – на карачках, по раненым и мёртвым. Вот это последнее и заполнило котину память: как через трупы и раненых – на карачках по окопу. А некоторые, кажется, и не раненые ложатся: пусть приходит, кто хочет, только бы в атаку больше не идти. А на повороте окопа, на дне, не проходит пулемёт, и там его разбирают на части, а кто сзади ползут – ждут. А потом в один ход сообщения с двух сторон окопа лезут и друг друга отталкивают. А кто живой остался в окопе – не выиграл: залили их из огнемётов, и под чёрным дымом сгорали они там, и удушливый газ тянуло по всей местности.

– Страшно??....

– Ты знаешь, отчаянье, когда уже всё равно, убьют тебя или нет. Уже как бы принял смерть и ничего не страшно. И ничего не хочется.

На том бой и кончился: к вечеру отдали Австро-Венгерский окоп и укрепляли новую линию – от Левого Газового окопа и до господского двора. И может ещё какой другой смысл имел этот бой для наблюдателей соседних, а для поручика Гулая вот только этот: как просидели полдня жертвами, ничего не сделав, и лишь чудом спаслись немногие. А недочлись за два дня – тысяча двести пятьдесят три человека. Это – по 81-й дивизии только. Генерала Парчевского самого бы туда посадить. И – всех, кто это Скрботово устроил!

Так и разделилась европейская всемирная война: до этого полу-дня и после этого полу-дня. После – начиналось только сейчас. Ещё не вполне очнувшись, Котя и приехал к Сане.

И какое ж первое утешение на войне, и то одним лишь офицерам, из лавочки бригадного собрания или от врача во фляжке (солдатам всю войну не выдают ни глотка): выпьем? Выпьем, пока есть. И картошка уже не шкварчит, стынет. Упрощение всех мировых вопросов – полстакана жидкости, так похожей на воду. И утешает.

Саня и своё мог рассказать, здесь тоже были события. 18 октября был поиск Московского Гренадерского. Затеяли поиск из-за того, что у немцев целый полк ушёл в Румынию, стало обидно: нас за людей не считают? И просто днём пробили снарядами несколько проходов в проволочных заграждениях – и днём же пошли. И тоже неудача: во-первых проходы не чисто проделали, пришлось пехоте проволоку дорезать. Во-вторых, немецкие пулемёты не смолкли, видимо – сидели в блиндированных постройках. Кое-где ворвались в немецкие окопы, а несколько рот москвичей залегли в болоте под самой проволокой – и уже дали им приказ отходить поодиночке, а подняться нельзя, огонь даже сильнее, и так до темноты. Вот такой и поиск: взяли одного раненого немца и один пулемёт. А гренадеров – убито 18, ранено 203, из них 147 оставались лежать ещё на сутки, до следующей темноты, потом выносили их.

Из двух боёв ещё и не скажешь, какой нелепей. Но не состязались рассказы, потому что Саня не был на участке Московского в тот день и не лежал в болоте, а Котя вернулся с того света, не увидевшись с ним больше никогда. Да Саня и не порывался рассказывать о гренадерских новостях: с Котей-то он и ждал от них отвлечься. А уж нет, так нет, – послушать Котю, чтобы было ему помягче.

И Константин – выговаривался. После сидения в Австро-Венгерском окопе возникло в нём какое-то резкое знание – и о ближнем, и о дальнем, и о войне, и обо всём мире, чего не было в нём раньше. Раньше он, наоборот, не любил говорить об общем ходе дел, называл это политикой, а только – о своей бригаде, о своём полку, ближнее. Новое резкое знание не добавляло ему радости, горечь одну, но вот он как будто стал знать.

Что генералы и Ставка нашего горя не делят – и нет им дела ни до чего. А какие есть толковые – что ж они там думают и смотрят? Что офицеры многие ловчат, и геройство стало очень расчётливое: как бы Георгия получить без лишнего риска. (Как хорошо, что гимнастёрку сменил). А шестинедельные прапоры – вообще не офицеры. И вся армия уже не та, которую мы с тобой ещё застали в прошлом году.

Новое особенное движение появилось у него: резкий косой отмах ладонью, всё время правой, как если б он шашкой коротко отрубивал, отрубивал всё ненужное, неправильное, неуместное.

Косо было махнуто, но Саня не мог так легко принять. Побережней, чтоб не перечить, не обидеть, а всё-таки, он поражён был, что Котя как будто не главным уязвлён:

– Костенька... Как бы это сказать... В каком-то смысле – терпеть поражение легче, чем побеждать... То есть: страшно умирать в мясорубке беспомощной жертвой... и – жить хочется! Да когда ещё и не жил совсем, как мы! Но когда сам цел, а других убиваешь – ведь страшней?... Всё равно жить не хочется... А?

Саня смотрел на друга с надеждой. Эта мысль была страдательная, запутанная, никто её в армии не понимает, но друг библиотечных юных сидений – должен был понять?

А Котя, с обострившейся, ожесточившейся силой выражения, посмотрел: – очумело, как с трудом проталкиваясь через свою ли ещё контуженность скроботовским боем или санино явное завирание. И с досадой:

– А-а, – отмахнулся ладонью косо, – до-сто-евщина!

И – опять в эту позу: нога за ногу, колено обнял сплетенными ладонями, и мимо Сани, мимо стола – в пол, безнадежно угрюмо:

– Сами мы с тобой дураки. Какой леший нас добровольно тянул на войну в первые же дни? Прекрасно бы мы сейчас уже кончили Московский университет, теперь бы и в училище! Вот это и обидней всего: сами полезли. Что уклониться было нельзя, повременить нельзя – глупости это всё. Сами себе придумали...

А это вспоминал он как бы санины тогдашние доводы. Что Саня – больше и тащил их

обоих.

Да пожалуй, так оно и было, да. Котя не имел духа укорить прямо, а получалось – так. И требовало от Сани нового теперь обоснования, оправдания: **зачем же ...?**

А в голове – шумок от выпитого с непривычки, и то ли смягчает он горечь, то ли даже урезает? Всё говоримое сегодня между ними ложится, ложится зарубками, трещинами, всё непоправимее отделяя глупое студенческое прошлое от безнадёжного будущего.

Саня – этого не ждал. Он даже не чувствовал в себе такого отделения. Даже наоборот, лежишь долгой ночью, не спишь, – и стержень прежней жизни как будто высветливается в темноте, даже как будто продолжается.

А вот – не найдёшься возразить. В потоке человечества почему-то одним дано проявить себя долгой богатой жизнью. А кому-то – и умереть рано, ничего своего не добавив, только всё в намерениях и мечтах.

– Котенька, ну что делать... Не смеем мы поставлять свою жизнь выше общего смысла. Думаю, для Бога и такая рано отошедшая душа со своим невыполненным – ничуть не менее ценна, и не потеряно её место.

Котя посмотрел с недоумением, будто на слабоумного:

– Как-то знаешь – о Боге... не хочется говорить серьёзно.

Сжал-разжал веки, стрельнул:

– Где это – место души отошедшей, не добитой пулей? Должен я поверить этой басне, во Второе Пришествие – что когда-нибудь во плоти восстанут все умершие, воскреснут в индивидуальности Сципион Африканский, Людовик Шестнадцатый и я, Константин Гулай? Чушь такая...

Доковыривали вилками остывшую картошку.

– Ну не так упрощённо... Но и душа, конечно, не может быть убита пулей... И как-то вернётся в область... в лоно Мирового Духа.

Константин фыркнул и отвечать не стал.

Тут пришёл Устимович, пригибая затылок под жердевым потолком, – неуклюжий, нелепый, на вид старый, с крупным носом, крупными ушами, всегда замученный невыносимой воинской дисциплиной, ещё больше, чем войной, а ещё ж и разлукою с семьёй, – во всякий момент военного бодрствования затрёпанно-замученный прапорщик Устимович. Вошёл – познакомились. Присел он помочь им картошку доесть да и глотнуть, что осталось.

Хотел Саня в самом начале, но так и не успел предупредить Котю о **газовом коменданте** – быть к нему снисходительным, не посмеиваться над ним, не выказать презрения, какое бывает у талантливых молодых людей к пожилым нескладным неудачникам: оторвали человека от семьи, от учительства, артиллерии не научили, стрелять не умеет, пушек не знает, да всего-то и несколько месяцев, как на войне.

Не успел предупредить, однако всё потекло очень гладко. Своим домашним голосом со сладким захрипом стал Устимович задавать Коте вопросы, и Котя, не потеряв суровости и свежести переживания, снова, снова, всё снова рассказал теперь и Устимовичу. Это – надо было ему: выговорить, выговорить несколько раз, и тем – отделиться, избыть. И Устимович слушал хорошо, ахал, кричал, сочувствовал, – страшно было представить и его беззащитное крупное тело в том мелком окопе, устланном трупами. А когда они друг ко другу сдвинулись через угол стола, Саня вдруг обнаружил, что они даже в чём-то и похожи, хотя Устимовичу под пятьдесят, а Коте вдвое меньше, Устимович – густочерноволосый и с вытянутой головой, а Котя – ближе к рыжеватому, и стриженная голова раздана в теменах, в скулах. Но одинаково жёстко-мрачный налёт на их лицах, безнадёжность. У Устимовича так – с первого дня, как пришёл.

И никто из них не научился весело воевать, как Чернега.

Настаивал Котя, вполне верно, что не обидно погибнуть в настоящем деле, оказав влияние на ход событий, но обидно погибнуть в бестолочи, никчемушно, в беспомощном месиве. Отчаяние охватывает, не малодушие, – от бесполезности, оттого что сидишь как овца.

А впрочем – уверен был Константин, никогда ещё так отчётливо не высказывал: смерть человека предписана и не оставит его нигде, и избежать судьбы нельзя.

– Штабс-капитан Сазонцев в одном батальоне с начала войны, всё время на передней линии – и ни разу не царапнуло. И воин отличный. И пожалел его начальник дивизии, взял в штаб. В первый же вечер недалеко разорвался снаряд, Сазонцев открыл дверь землянки – посмотреть, где разорвался, – и тут же убит осколком второго.

Устимович кивал, не удивлялся.

– Или был у нас в батарее вольноопределяющийся Тиличев, с самым тяжёлым пороком сердца, обречён. Напросился к командиру ещё в Четырнадцатом, взяли его незаконно. Как воевал! – лез под самую смерть, “мне всё равно умирать, лучше, чем вам”. И везде уцелел. А вот недавно – лежал на траве, подошёл чужой поручик: как пройти к землянке командира батальона? Тиличев: “рассказать трудно, давайте я вас провожу”. Неловко вскочил, сделал два шага – и упал мёртвый.

Устимович – так и думал, он и уверен был.

– Орудийный фейерверкер Денисов. Никогда не боялся, стоял под шрапнелью, не гнулся. Вдруг один раз – как полоумный, бросился скрыться в окоп с запасом снарядов, и далеко бежать. Лёг – и прямо туда снаряд! Что бы было тут, на нас всех! Но снаряд – не разорвался. А Денисова – контузил насмерть. Не-ет, от судьбы не уйдёшь!

Устимович – так, так.

Саня – не мог не возразить:

– Ну что ты уж говоришь! Ну нельзя так. А – где наша свобода воли? Тогда вообще ничего не остаётся от человечества.

Однако пошёл у них разговор так, что к Сане они уже и меньше поворачивались. Устимович рассказал про неудачный поиск гренадеров – и Котя снова выслушал. А тут – чай стали пить, как-то потеплей, поживей, к чаю было у них и печенье в жестяных банках. Сперва ещё о Государственной Думе, что болтают много красивого, но помощи от них нет, помощи – не в банях-поездах, а другой, существенной, – и Котя опять стал косо рубить ладонью:

– Всех этих Милюковых, Маклаковых, Пуришкевичей, Марковых я бы посадил в наш Австро-Венгерский окоп на полдня, пусть отведают “победоносного конца”! А если живыми выберутся – потом могут на трибуне распинаться, пожалуйста!

Устимович – вполне соглашался. Уж ему-то чужей этой войны и придумать было нельзя. Ему бы война хоть завтра кончась полным поражением – только бы домой отпустили.

При чае прокашлялся много раз Устимович, голос его ещё потеплел. Что-то понёс про школу бессвязное, как трудно объяснять неразумникам, – и перешёл на солдат, что сухари жуют и на ходу, и сидя, и лёжа, пока не уснут, и никакого запаса не умеют откладывать.

А Сане стало грустно. Так пошёл разговор, будто Котя приехал не к нему, а к Устимовичу. Немногие часы были для встречи, стольким хотелось обменяться, а тут, пожалуй, и уйди – они не заметят.

Действительно, допили чай – Устимович предложил новому человеку сыграть в шестьдесят шесть или хоть в железку. (Чернега играл не серьёзно, забавлялся, а Саня – вида карт не выносил). Предложил, и по сегодняшней похожести с Устимовичем можно было подумать, что Котя согласится. А он – ничуть. Он – как очнулся вдруг, вытащил карманные часы, потом посмотрел на Саню. И как будто шелухой посыпался, посыпался с него этот нагар жестокости, которым лицо его было покрыто весь вечер, – глянули на Саню прежние дружеские, мало сказать там – карие, с желтинками, но просто – единственные такие, хоть всё лицо закрыл, – единственные глаза! Размыслительные.

Да разве мог он за карты сесть! – ведь это вид пьянства.

И Саня повёл его пройти перед сном.

Теперь, когда Котя выговорился, – хорошо, что дважды полностью, – теперь он молчал, шагал и молчал. И стал позёвывать. Той зевотой, какой возвращаются к покою.

Темно было, но и звёздно. Очищено небо. А за Голубовщиной кусок неба – светло-багровый, уже луна всходила. Каждый день на час позже, она забирает восходом всё левой и левой. Когда долго живёшь на одном месте, хорошо привыкает глаз, за какими деревьями ждать восхода луны предполной, полной или ущербной. В хорошую погоду в затишные вечера Саня любил выходить и гулять – тут, около батареи, или в сторону Голубовщины. Эти подлунные одинокие прогулки молодили, очищали мысли, высоко...

Можно было и сегодня при лунном заливе хоть до полуночи гулять по отвердевшей земле, наговариваться. Но Котя, сильно ошеломлённый, сильно устал – выдёвывался, выдёвывался.

И так жалко его было.

Немного начал: вот насчёт этого духовного бремени, что на войну мы пошли добровольно. Всё время давит на совесть, ты прав. А очень убедительно объясняет наш бригадный священник... Что войне логически противостоит безвоенное состояние, а вовсе не мир. Миру же противостоит – зло мирового сознания...

Делал паузы, давая Коте влиться, возразить или согласиться. Но Котя молчал. Загребал сапогами на каждом шаге – тоже похоже на Устимовича, раньше никогда так. И молчал.

Поэтому война – не худшее из насилий... И поэтому мы с тобой, пойдя на войну, не такой уж тяжкий взяли грех... Не так уж и ошиблись.

Нет, не вызвался Котя вместе сложить и проверить эту лестницу аргументов. Отозвался даже раздражённо:

– Да не *грех*, а – *жизнь* мы тут отдадим! Кинули – кому? для какого собачества?... Читали мы с тобой, перечитали всю эту мировую философию, – куда она ведёт, скажи? Чепухой занимались. Слово – вообще никуда не ведёт, ничего не даёт. А только – дело. Слово – испытало полное всемирное банкротство. И все гуманитаристы, и твой Толстой, и все эти Достоевские – бол-ту-ны.

Резко, остро, обрубисто: бол-ту-ны.

И не стало можно дальше говорить.

Поднялась луна над Голубовщиной, полила своим вечно загадочным светом, вечно тянущим душу, – всю бы ночь проговорить. А не складывалось.

Пробрели ещё немного молча – пошли спать.

Уетимович уже разлёгся в недюжинную длину на своём земляном неколебимом ложе и, конечно, на спине, чтобы храпеть. Время сна – только и было вольное время Устимовича на войне.

Положил Саня Котю на своей нижней койке, сам забрался на чернегину верхнюю.

Увидел ли Котя, что Саня так расстроен, но перед тем, как тот, уже в кальсонах, шагал лампочку задуть, – смягчил, засмеялся по-старому добродушно:

– Слушай, а помнишь того чудака-Звездочёта, с которым мы в пивной были? Так вот здесь, в имении, библиотека осталась порядочная, хозяин был – читатель. И там нашего Звездочёта книжечка, представь... Статейки разные, Общественный идеал, Как воспитывать добро... Полистал я, полистал – э-э-эх, все они нестреляные...

Лежал Котя ровно на спине, на двух подушках:

– Зачем – *воспитывать добро* ? Нонсенс. Если оно в людской природе есть, так и без воспитания скажется. А если оно в людской природе не содержится – так незачем его и придумывать.

Таким Саня его и задул. И полез наверх.

А всё ж – это был уже другой тон.

И слыша в темноте, что Котя не спит, и с раскаянием, что может не так что сказал, и в желании хоть сейчас полушёпотом выбраться в достойный разговор, Саня свесился в темноте:

– Нельзя рубить как топором: или есть добро, или нет. Оно – и есть, и нет. Оно – и в природе нашей и не в нашей природе. К нему именно надо развиваться. А в чём же ином смысл нашего земного существования?

Котя не отзывался. Но и не спал.

– Я вот тебе начал про статью Трубецкого – о споре Толстого и Владимира Соловьёва, как понимать Царство Божие. Очень поучительно. Некоторые тонкости христианства, в Евангелии они лишь просвечиваются, прямо не называются, а в повседневном обращении теряют их совсем. Например: кесарю – кесарево. Так ли надо понять, что Христос одобряет Римскую империю и вообще государство? Нет, конечно! Но он знает, что людям ещё долго-долго без государства жить нельзя. Что государство со всеми его недостатками, судами, войнами и стражниками – всё-таки меньшее зло, чем хаос. Но подступит время – и всякое государство должно уйти с Земли, уступая высшему строю – Царству Божьему. Только тут сам Трубецкой уходит от проблемы. Потому что если положить надежды на преобразование мира Вторым Пришествием, то и неважно, будем ли мы к нему постепенно развиваться: нам ведь в него не переходить постепенно...

Отозвался Котя, не выдержал:

– Бросай ты, Санька, все эти бредни, какое ещё Царствие Божье? Можно было об этом лепетать в студенчестве, пока мы были щенки и войны не видели. А теперь третий год вся Европа друг друга месит в крови и мясе, травит газами, плюёт огнём, – неужели похоже на приближение Царства Божьего? Смотри, нас ухлопают раньше, нас с тобой!

\*\*\*\*\*

*Многоуважаемая... (фрау, фройляйн)!*

*К большому своему сожалению комендатура лагеря Альтдамм должна сообщить Вам, что Ваш... (муж, отец, сын, брат, жених) военно-пленный... (фамилия, имя) родившийся... ля 18... года, скончался... ря 1916 года в местном лазарете от... и был похоронен на местном кладбище со всеми христианскими обрядами.*

*Комендант, подполковник...*

*г. Альтдамм, ... ря 1916*

## 56

Так и заснули Саня и Котя, с недоумением друг ко другу. А проснулись – начало дня, бодрость, знакомое дружеское пофыркивание, до пояса голые выскочили наружу, а там – заморозок, солнце восходит, ледяной водой из кружек поливали друг другу спины. И недоумения уже не оставалось, да и времени на него, – звали дела, распорядок. И в конце концов, если голову не суждено сохранить, так что ж её и натуживать? А-а, всё разберётся, быть бы живу.

Цыж принёс гречневую кашу – упаренную, выдержанную, зёрнышко к зёрнышку и пропитанную сальным духом. Дружно загребали деревянными ложками.

Тут прибежал телефонист командира батареи и предупредил господ офицеров, что звонили из штаба бригады – какая-то комиссия к ним едет, чтобы подготовиться. А – в чём подготовиться? Не знаю. Да тебе-то кто велел? Старший телефонист. Смеялись.

Рассказал Котя в лицах, как приехал капитан-генштабист и гонял при младших старого полковника вопросами: как тот будет газовую атаку отражать? как – если что?... И сам сиял скромностью. А старый честный полковник в три пота изошёл: в боевой обстановке всегда он знал, что делать, а вот перед этим хлыщом в сверкающих ремнях... Смешно-смешно, но кого Котя не любил, это генштабистов: воображают чёрт-те что, боги войны, как будто можно теорию этой неразберихи понять, знать и направлять. Да кто что может заранее предсказать, если поведение роты зависит от того, как один солдат споткнётся?

Нет, не дали спокойно чаю допить – вызывает господ офицеров капитан Сохацкий! Коть, ты не уезжай, мы быстро!... Нет, братцы, вас сейчас замотают, желаю удачи! Где там



мой вестовой, кони?...

Так и расстались не толком, не проводил Саня Котю, обнялись наспех, не объяснились о вчерашнем – да и что ж тут? Всякое между ними бывало...

Капитан Сохацкий, старший офицер батареи, ещё рослей их батарейного командира, длинноногий как артиллерийский измеритель, в пехотные окопы хоть и не ходи, наблещенный от сапог до кокарды, ждал их у высокого пня, ногу одну вознеся на пень, как другим недоступно, нервно перебирал темляк шашки и озирался, озирался тревожно по батарейному расположению, будто ждал атаки вражеской цепи. Так. Он вызвал их насчёт комиссии, а подполковник Бойе, к сожалению, в командировке, в ответственные минуты всегда вот так... Известно только, что: один генерал, один полковник, и что – теоретики, но какие теоретики, не сказано. Боже мой, и надо же было именно с 3-й батареи начать!

При утреннем низком белом, уже полузимнем солнце тревожно оглядывал Сохацкий беспорядочно снующую батарею, лишь на днях переодетую в зимнюю форму, ещё не всё подогнано, и старался угадать, какие беспорядки можно заметить и исправить в полчаса? И так, смятенно озираясь поверх голов, он даже не заметил, что перед ним стоят не три взводных командира, а только два.

– Да где же Чернега (трах-тарарах)? Почему по подъёму не явился? Ну, оборву я его сладкую жизнь!

Привычка, усиделись, улежались, ползёт дисциплина, как тесто. Пока спокойные дни – незаметно, а вот тревога...

Устимович старательно накатывал большие валики чёрных бровей и по возможности не горбился перед капитаном, вот и всё, чем он мог быть полезен.

Батарейцы в солдатских папах с отворотными боками, в телогрейках и ватных шароварах сновали своей обычной жизнью, но зорко чувствовали переполох у начальства, а он не мог тут же не опрокинуться и на нижних чинов.

– Заковородный! – длинным жестом завернул капитан семенившего мимо подпрапорщика, фельдфебеля их батареи. Обычно при передках или обозе, а сейчас оказался здесь хлопотливый пригорбленный хохол, всегда по делу, как у себя бы в хозяйстве, пристроился к офицерскому обсуждению.

Бывали у них комиссии – интендантские, санитарные (а цель каждой комиссии – побывать “под огнём” и потом получить награды), но что значил “теоретический” генерал – поневоле брал озноб. Хозяйственная часть, которою больше занимался капитан, отпадала? Хотя и в снабжении своя теория есть... Но что бы ни было, а – внешний вид, комплект, строй, состояние оружия, состояние землянок – никогда не лишние, при любой комиссии.

Что казалось естественным в ежедневной проходке мимо оружейных позиций, мимо землянок – всё вопияло теперь, что распушено, разбросано, не на местах, не в порядке, а резче всего – вид солдат! По-человечески невозможно было Сане каждый день останавливать и пилить Хомуёвникова, что воротник у него всегда перекошен, полуподнят, недостёгнут, и пояс – наискосок, а не поперёк туловища, и шапка не сидит прямо и плотно, а сбоку насажена и вот свалится. А у Сарафанова пояс распушен, как у беременной бабы, перетянуть боится брюхо. А Улезько и Гормотун вообще себя на военной службе не чувствуют: взятые из соседних сёл в обход воинского начальника, тутешние, они в армии как не сами служат, а постояльцев обслуживают, любят о местном сказки тачать, историю каждой яблони (“На цо пан сажает? детей нет”. – “А до нас люди были? и по за нами бендзе”), – они и за год не привыкли, что двинется армия, на восток ли, на запад, и им тоже отрываться от своих мурованных будынок и аистовых гнёзд. Да Сане и самому противно такое педанство: ну пусть не затянуто, перекошено, пока можно – пусть люди вольней поживут. А гордым, как Пенхержевский, или образованным, как Бару, замечание сделать просто неловко: у Бару на шинели – университетский значок, а всё обмундирование – временная и горестная декорация при значке; и взять руки по швам даже вежливо его не попросишь, его глаза открыто напоминают подпоручику не о равенстве даже, о превосходстве.

Но двадцать минут ещё есть, р-разойдись!

Лаженицына капитан задержал:

– А скорей всего – правила стрельбы. Тогда никому как вам. Будет повод – я вас укажу, пододвину, а нет – выдвигайтесь сами, берите инициативу!

А может быть – материальная часть? Вкопка пушек? Укрытия для расчётов? Маскировка? Погреб для снарядов? А может быть – противогазовая защита? Прапорщик Устимович, ко мне!

Ах нет, вот он, вот он, негодник! – виноватый, плутоватый, ещё не совсем прочуханный, но очень сытый и довольный, от своей Густавы катил к ним шаром Чернега. И поднял руку доложить с неискренним раскаянием.

А ведь он-то и схватится сейчас всех приготовить! В офицеры перейдя, Чернега из унтеров как и не ушёл – так с ним солдаты слиты.

Поворачиваться надо было, как перед боем. Саня кинулся к своему взводу. Вмиг изменился самый взгляд его, и всё стало видаться непримиримей, вся неидеальность его батареи! А оставалось – четверть часа! Ещё можно было успеть пришить пуговицу на погоне у расхлябанного Жгря, убрать сушимые перед землянками котелки, какие-то запасные консервные банки, обжились тут, снять портянки стиранные, сохнувшие на суках, – но уж пешеходных дорожек (по которым никто и не ходит) не посыпать свежим песком, – а что в самих землянках развешено, разложено? да сухи ли матрасы или отсырели? а если осмотр нижних рубах навыворот и у кого-нибудь в подмышечном шву найдут? тогда какой позор 3-му взводу?

Но не успел подпоручик объяснить собранным фейерверкерам, что им проверять и исправлять (а сам, обгоняющей заботой – а у передков что? хорошо ли лошади почищены? сегодня сухо, не должно быть зашлёпа), – как уж гнал за ним вестовой капитана: господ офицеров – к старшему офицеру снова спешно!

И вприбежку, придерживая планшетку на боку, кинулся Лаженицын к капитану Сохацкому, туда ж катил и шар-Чернега, и ступал измученным длинным шагом Устимович.

Снова длинной ногою на пне, о своё высокое колено опираясь, и ещё нервнее теребя темляк шашки, капитан Сохацкий дал очередное прояснение, новую телефонограмму из штаба: зачем едет комиссия, узнать не удалось, но сообщали состав: петербургский генерал из ГАУ, ставочный полковник из Упарта, а ещё – свой генерал, инаркор.

Переводя с быстроговорки русских штабов, уставших третий год бесконечно вымалывать длинные неповоротливые названия: генерал-лейтенант Забудский – из Главного Артиллерийского Управления, полковник – из Управления при полевом генерал-инспекторе артиллерии, а свой генерал – инспектор артиллерии корпуса (и вёз с собой бригадного артиллерийского техника).

Это уже кое-что объясняло. Значит, пренебрежён будет внешний вид, разбросанные предметы, сухость матрасов, кухня и баня. Проверка будет наверняка не типа “вшей давим, Бога славим”. Скорей всего и не тактика, потому что инаркор не отвечает за тактику артиллерии, а только за технику, как и ГАУ. Значит, отпадают, не грозят: конский состав, связь с пехотой, сигнализация, маскировка, обкопка позиций, противогазовые средства... А вот: состояние орудий? расход снарядов? содержание боеприпасов? что ещё? что ещё?

– Трубки? взрыватели? эффект поражения? – искал, помогал капитану Лаженицын.

Ни предвидеть, ни исправить было уже невозможно! Цель комиссии оставалась тайной и даже тайной зловещей, раз они сумели утаить её и перед штабом бригады, переночевавши.

То есть в общем виде цель комиссии была совершенно ясна: найти какие-то неисправности и придраться к ним. Оттого была совершенно ясна и обратная цель офицеров 3-й батареи: все возможные неисправности всеми средствами скрыть. Цель была: чтобы комиссия уехала и оставила их в покое. И к этому капитан Сохацкий не должен был призывать взводных, они и так прекрасно понимали. Незадача была в другом: что самые хитрые комиссии стараются обходить старших и даже младших офицеров, а промахи ловить у унтер-офицеров и нижних чинов.

– Пододвигайте смышлѣных! Угадывайте, что именно надо, и таких пододвигайте. Тут очень легко спутать, не с той стороны козыри подкинуть. Ба! А почему вы все без шашек, господа офицеры?!

Но как раз бежал телефонист, с сообщением, что построение производить без личного оружия. (И капитан Сохацкий сам поспешно отстѣгивал свою шашку). И даже – вообще не строить, потому что в батарее ничего о комиссии не знают.

Итак, все должны были ходить как бы по своим утренним, до начала занятий, делам. (Спотыкаясь, каждый выполнял последние приказания унтера). С неестественной свободой разошлись и командиры взводов.

Но уже через две минуты Сохацкий, прогуливаясь, увидел внезапно для себя подъезжающую комиссию: она не поместилась в одном автомобиле и ещё сзади скакали верхами инаркор и бригадный адъютант. (От фольварка Узмошья не было и трёх вѣрст до их батареи, тут ходили пешком или катали на дрожках, лёгкая прогулка, автомобиль подали для важности).

Капитан Сохацкий, радостно изумлѣнный, вподбежку бросился встречать приезжих, но ещё прежде, чем поднял правую руку для отдания чести и рапорта, махнул-дрягнул левой рукой, и фельдфебель не пропустил этого движения, и трубач заиграл: сигнал построения – и весь состав батареи при полной для себя неожиданности чрезвычайно мгновенно и в довольно приличном внешнем виде построился повзводно в две шеренги позади линии своих орудий, замаскированных свежими сосновыми ветками.

Инаркор и бриг-адъютант лихо спрыгнули с коней (подбегнуто было принять у них поводья), а комиссия стала с неудобством вытягивать ноги из автомобиля.

Петербургский генерал разочаровал: не во фронте и нескладно он принял рапорт капитана, внезапно снял фуражку и носовым платком вытер лоб и темя (обнаружилась узкая голова с заморщенным лбом и залысинами далеко наверх). Не было в нём не только важного генеральского, но даже устойчиво-офицерского: шинель не сливалась с фигурой, а висела на нём, и усы были малозаметные, так что лицо казалось голо.

Зато полковник из Упарта был высоченный красавец с двумя холѣными отдельными зеркально ровными бородами, отходившими от вертикали каждая на 45 градусов, а друг от друга – на 90. Со своей высоты взирал он на всех подавительно-проницательно, что все тут мошенники, приготовились его обманывать, но он их сейчас разоблачит.

А ещё был штабс-капитан – молодой, подвижный, устоять не мог, куда-то порывался.

И ещё был тихенький поручик. Этот сразу достал большой блокнот и приготовился записывать.

Вот от этого блокнота очень падало сердце.

Генерал побрѣл, полковник зашагал, штабс-капитан заподпрыгивал в сторону батареи, – и все остальные за ними. И осмеливаясь, по долгу, их обогнать, капитан Сохацкий забежал вперѣд, скомандовал батарее тонко-высоко: “смир-рна! равнение на...! господа офи...”, – и ещё раз напряжѣнно отрапортовал петербургскому генералу.

Генерал даже и рукой замахал, стеснѣнный такой ненужностью. Из кармана вынул, надел пенсне, невнимательно оглядел строй, более внимательно – первую пушку первого (чернегиного) взвода и обернулся к свите:

– Э-э... стало быть, с какого времени они непрерывно в боях?

Инаркор наклонился к нему и шепнул:

– Да вольно, вольно, конечно! – улыбнулся генерал строю, прямо солдатам, минуя батарейного командира. – Вольно, голубчики.

Капитан Сохацкий подал “вольно!” и прислушался, ещё вытягиваясь, о чём толковали в свите.

Пока так все стояли на своих местах – подвижный штабс-капитан уже отскочил от них, вспрыгнул на сошку первого орудия, снял чехол, открыл казенную часть, пригнулся и заглядывал в ствол орудия, на просвет.

О чём бы там ни толковали в свите, несомненно стало, что комиссию интересуют

именно орудия. (Да хорошо ль почистили каналы последний раз?..)

Комиссия там и сгрудилась, куда подошли близ 1-го взвода, капитан Сохацкий как-то виновато отвечал на вопросы (и в большой блокнот уже сразу записывалось), а младших офицеров не подозвали. Ещё Чернеге поблизости должно было быть слышно, а Лаженицыну к 3-му – ничего.

А штабс-капитан тем временем перелез с первого орудия на второе и заглядывал в него.

Солдаты заметили, что офицеры взволнованы, и сами были многие беспокойны (от комиссий никто никогда добра не ждёт). Самоотверженный Жгарь стоял в первой шеренге вылуپленно, всё равно смирно. На беду в первую же шеренгу почему-то попал Сарафанов, с распущенным-таки ремнём. Позади него лениво-иронично стоял Бару, тяжестью на одну ногу. И из задней же шеренги в черно-блестящих глазах Бейнаровича сверкало открытое удовольствие, что офицеры влипли в неприятность.

Вдруг полутораростовый двухбородый красавец-полковник отделился от комиссии и крупными шагами пошёл сюда, на левый фланг – так быстро, что Лаженицын заметался, не надо ли опять “смирно” подать, но вовремя вспомнил, что при общем строе и при высшем начальстве нельзя.

Однако породистый полковник совсем и не заметил, был ли тут какой офицер при взводе. Замедляя шаг, он умными, очень зоркими глазами осматривал, осматривал солдатские лица, и остановился именно против Жгаря – во всё значение своего роста, звания и положения остановился против ничтожного замуторенного нижнего чина – и ласково спросил:

– Скажи, братец, вот когда стреляют из пушки, – бывает ствол такой горячий, чтоб дотронуться нельзя?

Никогда во всю жизнь со Жгарём один на один не разговаривал полковник, да ещё такой барин! Жгарь вытянулся, вылупил, голову закинул, а выговорил – из последних сил:

– Так точно!

– Ну, как горячий? – ещё мягче, успокоительнее спрашивал коварный полковник. – Если шапку на ствол положить – задымится?

А у Жгаря ещё и речь была невнятная от рождения, даже когда не волновался, его понимать – привычку надо иметь. Выпалил ответ – не понял полковник. Но опять же – к нему, терпеливо. И тогда понял:

– Никак нет, шапку на пушку – не велено класть!

– Ну, а если всё-таки положить? – улыбнулся полковник.

– Никак нет, строго не велено! – теперь уж упёрся Жгарь, как если б неоднократно был такой приказ по батарее.

Лаженицын быстро думал, ловил поймать – в чём же смысл?

А Бейнарович, стоя более чем “вольно”, ещё более переняв и всю вольность момента, из задней шеренги злорадно посмотрел на своего подпоручика и так же вольно придумал сам выступить:

– Загорится!

Полковник оглянулся, нашёл, кто поддержал:

– Когда сразу подряд много стреляете?

– Ну да!

– А сколько от выстрела до выстрела?

Бейнарович не нашёлся, так он не был готов, от и до.

Полковник вёл глазами дальше, да кажется на. Бару. И – ему конечно, увидя на шинели университетский значок:

– Сколько делаете выстрелов в минуту, когда густая стрельба?

Ему, конечно, но Бару, поскольку его по фамилии не назвали, сделал вид, что это не к нему, стоял безучастно, тяжесть на одну ногу и глаза в сторону.

А Сарафанов, наискосок от него, понял так, на беду, что это его спрашивают. Встрепенулся, закинул подбородок, как подстреленный, и залопотал жалостно:

– Никак нет, ваше высокоблагородие, не можем знать минуту!

– Не знаешь – минуту? – удивился полковник.

Сарафанов держался против настойчивого барина:

– Минуту – никак не знаем, ваше высокоблагородие!

А и в самом деле – откуда же знать им минуту? Часов не носившим сроду, откуда им знать господскую какую-то минуту?

И цену её.

Проницательный полковник ещё повёл взглядом по шеренгам, остановился на чёрном кругленьком Мотеле Каце с услужливыми глазами.

– Скажите вы, бомбардир.

Кац, польщённый вниманием и стараясь не уронить доверия, и сколько можно подтягиваясь:

– Выстрела три-четыре, ваше высокоблагородие.

– А не больше?? – поощрял его, удивлялся, настаивал полковник.

А дотошный штабс-капитан уже лазил тут, за спинами 3-го взвода.

Кац был природный дипломат, и так искал ответить, чтобы всем было хорошо – и самому Кацу, и этому полковнику, и своему подпоручику, и всей батарее. Он успел взглянуть и на подпоручика, но не получил указания.

– Н-ну... м-может быть... и пять.

– Только пять? – совсем недоволен был полковник. – А когда команда “ураганный огонь!”?

– Н-ну... тогда... конечно... больше, – постепенно уступал Кац.

– А бывает такая команда – “ураганный огонь”? Или – “барабанный”? – спрашивал полковник уже не Каца одного, уже весь строй. И даже нависал над ними, явно настаивал, что так надо ответить. – Десять выстрелов в минуту – бывает?

– Бывает! – решительно победно крикнул Бейнарович.

Ответы не ответы, но мычание по строю раздалось. А всё же ясно не подтвердил больше никто.

Как будто ничего зазорного для батареи, если много стреляет, а на всякий случай – не отвечать: от начальства всё равно добра не может быть.

Подпоручик с опозданием начал подозревать ловушку полковника и готовился возразить, вместе с тем и робел, как перебить его, будет ли это по уставу.

Но тут от первого взвода донёсся сильный, не по-военному, а природно и насмешливо сильный голос Чернеги. Что он сказал – Саня пропустил, но там в ответ раздался взрыв смеха главной группы, и сразу же петербургский генерал позвал некомандным доброжелательным голосом:

– Господа офицеры, пожалуйста сюда!

Проницательный полковник недоволен был, он ещё хотел тут поспрашивать. Но пришлось идти.

И с шестой уже пушки соскочил проворный штабс-капитан.

– Нет, – досмеивался инаркор после Чернеги, – такой команды – ураганный, барабанный, у нас в корпусе никогда не бывало.

Досмеивался, а тем самым объяснял офицерам, чего держаться: оказывается, ураганный – гордость артиллеристов, уже не гордость, а почему-то порок.

А ненастоящий генерал, в пенсне и с перекивленными плечами, нестрого оглядел подошедших к нему командиров взводов и спросил доверительно:

– Скажите, господа... Вот вы постоянно наблюдаете за своими разрывами... – Задержался на лице Лаженицына: – Скажите, поручик... Приходится ли вам замечать, что реальная дальность выстрела по сравнению с расчётной медленно, но неизменно падает? И вам приходится эмпирически, сверх расчётных данных, ещё набавлять прицел?

Так это было тонко, умно спрошено, такой взгляд чуть прищуренный, будто через экзаменационный стол, – теплом обдало санино сердце. Как не бывало этой войны, и этих

пушек, хотя о них-то и шло, этих военных одежек на генерале и на нём, а – опытный профессор проверял наблюдательность студента, и студент во всю меру своих способностей хотел помочь установить истину:

– Вы знаете – да! – поразился Саня, поразился сам себе, что раньше не свёл эти отдельные случаи воедино, даже с командиром батареи о них не поговорил. – Да, такое явление я замечал!...

Гулко одобрительно кашлянул за его головой двубородый полковник.

И в блокнот записалось.

А инаркор очень удивился, поднял брови.

Но прежде него сбок Сани загудел Чернега:

– Разрешить доложить, ваше превосходительство? Никогда такого не наблюдал! Обыкновенный разброс, когда дальше, когда ближе. От ветра, от разного.

Так напористо он говорил, самым голосом отталкивая санины размазнёвые рассуждения, и естественно было верить именно ему: вероятно, он-то и не сходил с наблюдательного пункта, а подпоручик бывал там редко.

Без противоречия и удивления записалось и это в блокнот.

А Устимович и вида не делал, что бывал на наблюдательных. Стоял – как трудился стоянием, молчанием и покорностью судьбе.

Генерал-профессор покосился на его великовозрастную обречённость, на литое шаровое лицо Чернеги с хитрыми белыми толстыми усами и на санину застенчивость опять. И – ещё так повернул ему экзамен:

– А как могли бы вы оценить, поручик, этот систематический недолёт в проценте к общей дальности? Сколько это может грубо составить?

Саня с полным старанием хотел ответить, он сам очень заинтересовался. Но тут надо было подумать. Тут надо было представить какие-то памятные случаи, по какому месту он рассчитал прицел и куда пришёлся разрыв. А потом карту достать, померить измерителем, – вот тогда можно сосчитать и процент.

А пока он задумался, это выглядело как неспособность ответить, и инаркор снисходительно объяснил петербургскому генералу:

– К сожалению, ваше превосходительство, все младшие офицеры, которых вы видите здесь, не кадровые, командира батареи тоже нет, а для оценки таких наблюдений нужна большая опытность. И привычка – за каждым разрывом очень тщательно следить.

И – сожалительно пожал губы.

– Так поедемте, где мы найдём кадровых! – согласился двубородый.

Хотел генерал-профессор всё-таки ещё спросить, но уже создалось движение – уходить. Обращивались. Блокнот закрылся.

Саня не видел Чернеги позади своего плеча – он только видел, как симпатичный усталый профессор, чуть заметно улыбнувшись срезанному студенту, не мог однако исправить его оценку и тоже вынужден был – как и все, как и все – уходить. Нервный штабс-капитан на ходу остро доказывал двубородому полковнику, а бригадный техник пытался ему возражать.

Три минуты дохнуло академической аудиторией – сюда, на орудийную, ископанную опалённую землю позади Дряговца, – и весь этот аромат забытый, не армейский, рассеивался в холодном осеннем воздухе.

Но какая-то же цель и какой-то замысел скрывались за этим приездом и этими вопросами! Третья батарея Гренадерской бригады воевала попросту, не предполагая ещё какого-то скрытого смысла своих действий, над которым головы ломали в Ставке и в Петербурге.

И Саню – как потянуло вслед генерал-профессору, пока тот ещё не ушёл. Кажется, Чернега цапнул его за локоть, не пуская, но Саня, не оборачиваясь, вырвался – и достиг к уходящему:

– Ваше превосходительство, простите! Но не могу ли я быть полезен? Я бы наблюдал!...

Объясните, пожалуйста, в чём тут смысл?

Профессор охотно задержался – и позади группы они пошли двое вровень, отставая от быстрых. И профессор, сутулясь, пояснял:

– Понимаете, злоупотребление скорострельностью приводит к преждевременному износу и расстрелу канала ствола. Теоретически допустимая скорострельность нашей пушки, как вы знаете, до 10 выстрелов в минуту. Однако – это запас для исключительной боевой обстановки, а оптимальный режим сохранности орудия – один-два в минуту, и тогда орудие выдерживает до 10 тысяч выстрелов. Но некоторые войсковые начальники, малосведущие в артиллерии, варварски требуют непрерывной интенсивной стрельбы по многу часов – лишь бы был звуковой эффект, грохот орудий, была бы ободрена и пошла вперёд пехота, – а что на этом орудия разгорячаются до красного накала и изнашиваются вдвое быстрее, об этом не заботятся. А офицерский личный состав за время войны сильно упал в квалификации, – но этого подпоручика профессор под руку чуть придержал, передавая касанием, что его-то не относит к тем, – и не замечают потери дальности и потери меткости. Тратятся и снаряды без толку, и сами пушки через 4 тысячи выстрелов приходится снимать на перестрелку. А резерва пушек у нас тоже ведь нет.

Вот когда прояснилось! Нет, не одной глупой канцелярщиной занимаются в верхних штабах!

Уже инаркор и бригадный адъютант были в сёдлах, уже в автомобиль уселись, и только распахнутая дверца и капитан Сохацкий подле неё ждали генерала, – а генерал остановился с подпоручиком.

– Так что ж, выходит, если и снарядов много – стрелять надо бережно?

– Нисколько не беречь, когда этим сохраняются людские жизни. Но – никогда не стрелять для оглушительности. “Ураганный огонь” – это потеря хладнокровия, беспокойное состояние духа артиллерийских начальников.

И – подал подпоручику пожать свою мягкую слабую руку.

Саня возвращался задумчиво, не замечая, что Чернега уже распустил самовольно весь строй батареи и ступал к нему навстречу по подмороженной твёрдой земле. Сблизились.

– У, тюха-Санюха, – толкнул его Чернега кулаком под ребро. – Что мелешь – думаешь? На меня бы обернулся, по мне б догадался.

– А что? – удивился Саня. – Это действительно так, дальность падает.

– А то! – бочковатой грудью напирал Чернега. – Пушки отберут, а взамен – винтовки, в пехоту пока? Нас-то без пушек – куда пока? Ты подумал?

Вот удивительно, не слышал Чернега профессорских объяснений, и оговорки, что пушечной замены нет, – а догадался.

– Откуда ж ты догадался?

Улыбнулся Чернега из-под толстых щёк, улыбнулся от избытка силы, здоровья, смекалки и сожаления, что не всем она дана:

– Перед начальством всегда смекай – где берег, где край.

### **ДОКУМЕНТЫ – 3**

#### **ЛИСТОВКА В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ**

**Октябрь 1916**

#### **ТОВАРИЩИ СТУДЕНТЫ!**

**Гибнет вера в правду и разум. Гибнут надежды на прекрасную свободную жизнь. И о ужас! В этом торжестве смерти интеллигенция занимает первое место как обручённые на званом пиру.**

**Как обрадовались русские реакционеры, когда все их грехи умные головы свалили на Германию. Войну “за благо народа” превратили в неслыханное околпачивание и обирание народа до нитки. Товарищи студенты! Что же вы молчите? Довольно тешить себя мыслью, что вы – цвет народных надежд. В эти роковые минуты**

стыдно руководителям, учителям народа заниматься самоутешением, будто тасканием дров на спине, разгрузкой вагонов вы оказываете народу великую услугу. Народ столетиями ждал освободителей от тяжёлых оков, что они помогут расправить окоченевшие члены и укажут путь к светлой и радостной жизни. И вот они пришли в трагические минуты, согнули свои спины и начали таскать дрова, а тысячетлетних рабов тем обрекли на убой. Пришли и с восторгом восприняли лозунг: “Всё для победы!” – и ничего для свободы...

Но народу не нужна та победа, которая превращает учителей народа во вьючных животных. Товарищи студенты! Вы учились учить народ. Укажите же ему путь спасения: мир и созыв Учредительного Собрания. Организуйте же народ от тьмы могильной к солнцу!!

## 57

А с утра настаивалась тягость, тяжеление самого воздуха в их двуоконном угловом номере на втором этаже. В одном окне – барахтали ветвями густые тёмные ели, в другом – хмурая осень, качанье голых веток, и от ночного сильного дождя – взбухший пруд.

Глаза Алины совсем переменялись – такие твёрдо-блестящие, что стало даже не по себе встречаться с ними.

Она поднялась не убитая, не хрупкая, ничего не просящая, очень самостоятельная. Молча, в отчуждённой строгости, долго причёсывалась перед зеркалом.

Георгий совсем теперь сбился и не знал, как себя вести, как смотреть, как разговаривать. Потерян был ворожительный тон этих двух дней, а новый не определился. Проще всего – скорей в Москву, да в Могилёв, а постепенно, со временем, всё уложится. Только вот эти часы до отъезда как-то надо было...

Но Алина объявила от зеркала, что они остаются здесь ещё на день.

Не просила – объявила.

Дико! Оставаться было и совершенно незачем, и делать абсолютно нечего, даже и гулять по такой погоде. А говорить? – всё переговорено, при таких отношениях Георгию было нестерпимо задерживаться и в Москве, да сколько уже утекло, 18-й день в отлучке из полка, а ещё...

Да как осмелиться сказать ей про Могилёв?...

Но с таким уверенным значением, с таким сухо-блестящим выражением Алина объявила, что Георгию – виновному же, преступному же, мотавшему с Ольдою дни без счёта, – как было не уступить? Перед ним сидело живое страдание – из-за него, из-за любви к нему, вызванное им, – а он бы теперь заикался ей о службе?

Итак, приходилось начинать длинный, пустой, бессмысленный день.

Закурил.

Пошли завтракать.

Чего Воротынцев никогда не делал – взял к завтраку вина. И чего Алина никогда не делала – стала пить. То – позавчера? – именинную рюмку заглотнула, морщась, – а сегодня! свободно опрокинула, недобро блестя глазами:

– Умирать, так с музыкой!

Его брови вскинулись. Это было только расхожее выражение, конечно. Никакого буквального смысла она не вложила? Нет, сама прислушалась, как это прозвучало. И:

– Мне теперь легко стало думать о смерти. Ты когда-то писал с фронта что-то в этом роде.

Ого! Георгия заохлодало. А она сама налила из графина, выпила вторую.

И – опять к тому же, как оса летит впиться, но – тоном лёгким, с вызовом:

– Скажи, а можно – я кончу с собой? Ты не будешь возражать? Вам будет хорошо.

Это был только дерзкий вызов, конечно. Но:

– Алина, – с трудом продохнул Георгий, – ты...



Да-а, объяснение набухло за ночь, как этот пруд, и пошло подтапливать. Нет, не кончилось так просто.

Опять потянулась за графином. Он накрыл её рюмку ладонью. Она взяла пустую свободную – и налила, переплеснув на пол.

– Теперь – надо! – с упрямым блеском в глазах. – Теперь – буду!

А омлета – не ела.

– Так ты говоришь: **ярко** ?

Он не понял. Не сразу.

Сощурилась:

– Скажи, всё-таки, объясни: **чем именно** она тебя так обворожила, что ты в несколько дней сгорел? Чем так притянула?

Он встретил её грозный блеск – и опустил глаза.

Алина выговаривала с готовностью, с заботливостью:

– Сложная, духовно-напряжённая, не склоняется перед господствующими мнениями, это и заметно. А – что ещё? Скажи.

Да ещё сколько можно было сказать.

Молчал. Опустил голову.

– Да она просто чудо! Да кто ж она?

Добирал последние неуследимые крошки омлета.

– Фу-у, как ты боишься её назвать! Отчего ты такой трус? И она такая?

Вино быстро действовало. Алика невидимо переступала задержки, вот уже говорила громче нужного, почти на весь залец.

– Пойдём в номер, – стал тихо уговаривать он. – Пойдём.

– Ну как же! – ещё громче выпечатывала Алина. – Ты же наслаждаешься похвалами ей! Ты же вон какие восторги выстилаешь! Я хотела бы видеть, познакомиться и восхищаться тоже!

С трудом повёл. Твёрдо за локоть.

– Не нужна? – громко говорила она на лестнице. – Сослужила – и отменена? Думал – как от дурочки отделаться? – И в верхнем коридоре: – За все мои жертвы? За верность? Вот **так** ?

Ввёл её в номер, отпустил руку. Сел. Она рванулась назад, спиной вжалась в дверь и, нахмуренно-красивая, вниз смотрела на него:

– А **что** ты мне дал? За всю жизнь – что?? Да я могла бы!... – взбросила пианистическую гибкую руку, – та-ко-йе!... – С проворотом сожаления опустила.

Что б ни сказала она теперь, что б ни выкрикнула, – но всё начал он. Поделом. Ей – больно. Ей...

Нет, стала спокойнее. Совершенно трезво. Впиваясь глазами, словами:

– Объясни. Ты – **что** имеешь в виду? Пожалуйста, смотри на меня. Ты – что имел в виду, так её хваля? Что ты – от неё не откажешься? Смотри на меня! Ты от неё – не отказываешься, да? То есть ты хочешь – **втроём** , что ли?...

Трудность была, что ответить нечего. Он – ничего не имел в виду, он ничего и не готовил. Он хвалил – потому что... Потому что надеялся, что...

– Ну, как сказать... Вы – настолько из разных областей жизни... непересекающихся...

– Что можно **совмещать** ? – перехватила она.

Да нет, он хотел... Да почему он должен вот сейчас так прямо и найтись и ответить?

Как сжато сердце, и ничего не понятно, что происходит. Вчера, позавчера было светло, и вдруг – безвыходность.

А-а... Ещё войну переплыть... Ещё будет ли жив.

Но истоился и порыв Алины. Она ослабела. Дошагнула до стула, опустилась как-то боком к спинке, одну руку плетью завесила за спинку, и голову на то плечо. Смотрела на него уже не гневно, – печально.

Смотрела. Смотрела.

И – тихо, внятно, примирительно:

– Вот так. Учили бы, как учат всему другому. Даже за счёт математики.

И с ласковой болью:

– Тебе-то – первому надо было.

Так поворачивала, что он не с этой поездки был виноват перед ней, а – давно, давно? Это трудно понималось и даже возмутило его:

– Почему ты так уверена? У тебя были годы с тех пор.

– У **тебя** были годы!

Что-то слишком премудрое начиналось, не для мужского ума. Но хоть не буйное. Кто виноват, кто прав... Вздыхнул:

– Любовью должны заниматься женщины. – Закурил, затянулся. – Вам там открыто глубже, вы и понимаете. Мы – воюем, работаем, а вы там – анализируйте...

С кисловатой улыбкой превосходства она пожалела его, себя, весь свет.

И жалко было её, всё время – так жалко!

Но и – стеснённо, душно. Сузился, уплощился мир. Вот так теперь сидеть – и из пустого в порожнее, из пустого в порожнее?

Ясно было только одно: что сегодня они опять никуда не едут.

– Знаешь, я пойду на полчаса пройду? Один, ты не иди, там резкий ветер, простудишься. Мне – только голову проветрить.

Ничего не возразила. И без постоянного обряда (уходя ли на час – в щёчку или в лобик) – ушёл.

Дождя не было. В неровных толчках остервенелого сырого ветра, запахнись в испытанную шинель, испытанно придерживая шашку на боку, Воротынцев почувствовал себя сразу легче. Толчками, охалками выдувал из него ветер всю эту вязкость, всю эту нескладицу, которую сам же он и завёл. В сквозящем холоде, как будто обречённый ему по воинскому приказу, Воротынцев несколько не зяб, а легко шагал по дорожке – в огиб пруда и наверх, в сосновый бор на гряде. Как ни горько разлажено было в Румынии последнее время, но и легче б ему сейчас же перенестись туда – в грязную блохатую местность за Кымполунгом, и шагать вот так, по приказу, выбирать рубеж и обдумывать бой.

Если б заранее мог представить Георгий, что это объяснение так начнёт раскачиваться, и он завязнет, заквасится тут, – да нипочём бы не начал.

Не привык Воротынцев такие вопросы разбирать, и не привык быть сам для себя предметом рассмотрения. Сколько он жил, сколько действовал, – внутри него не бывало разлада и сомнений: все трения, все противоречия – во внешнем мире, куда и врзался он как снаряд.

А что эта Зинаида имела в виду, зачем заставила инженера признаваться? Что ж, инженерова жена меньше всколыхнулась? Думала Зинаида на этом – инженера себе отрезать?

А, да ну вас? Когда замораживают голову на мелких бабьих вопросах – отделись, уйди! Быстро-быстро, по холоду, против ветра, левой, правой, левой, правой, – и крепчаешь, и возвращается к тебе смысл.

Пошёл он “на полчаса”, давно бы пора возвращаться. И “на часик” – так пора бы. А он – дальше.

Дорога по плечу обогнула целый лес – и вышла к станции. Вот как! Казалось, заперт в пансионе как в бутылке, совсем замлел, – а тут!...

И едва взяв пустой телеграфный бланк, ещё не написав и адреса – Могилёв, Ставка, генералу Свечину, – уже был снова воин.

А текст: *телеграммой московскую квартиру вызови срочно официально Егор* .

А то ведь и из Москвы не вырвешься, уже похоже.

Круто-быстро назад. И с опозданием вспомнил: а что ж бы Ольде?... Почему же ей не послал?

Ещё привычки нет. Ощущения нет, что теперь – всеми телеграфами, всеми почтами они

связаны, что Ольда – есть у него! (Впрочем, в последний петроградский вечер он успел позвонить ей, что заедет в Могилёв, можно туда написать).

Ольда – есть, а как будто и затмилась. За эти четыре дня – далеко, глухо отступила. Уже нет того горячего тока в сердёжке груди, как она оплескивает... Уже надо усилие, чтобы ярко вспомнить.

Он весь – новый был с ней. А от него требуют – быть прежним.

Весь продутый от затхлости, от тяжести, возвращался Георгий терпеливый, наклонный как можно мягче, любовней разговаривать с Алиной.

Но на первом этаже хозяйка, которую разбранила Алина за расстроенный инструмент, предупредила:

– С вашей женой плохо!

И – сразу ударила ему забытая утренняя её угроза!! То-то! то-то отпустила его так легко!

Он метнулся наверх, перепрыгивая ступеньки, – по коридору вихрем – дверь номера распахнута – горничная от кровати Алины:

– Уже лучше.

Алина лежала навзничь, бледная, одетая, только ворот рассвобождён, одна рука на грелке, другая на грелке, и грелка же под ступнями.

Был – сердечный приступ. Через два номера нашёлся доктор, он смотрел. Теперь ничего, проходит.

И горничная уходила.

Обронив папаху, на колени перед кроватью жены опустился Воротынцев:

– Линочка! Что с тобой? Как случилось?

И ласково гладил – по руке, по плечу, по лбу. Бледность бескровия была в ней. И говорила она ещё плохо:

– Ты не подумай, что я что-нибудь... Само так схватило... Пошли мурашки по плечам, по рукам, стали кисти неметь... Я начала писать тебе вон... И не могла кончить, свалилась...

На столике лежала записка – гостиничный случайный листок, недоточенным двоящимся карандашом – и что за буквы! Изуродованные, перегнутые, как корчась каждая от боли, самая малая черта еле выписывалась немеющей рукой, не угадать алининого гордо-разбросчивого почерка:

“Жоржик, мне очень плохо. Ты не подумай, что я са...”

Думала, что умирает. И скорей писала ему, чтобы он *не подумал* ...

Ненаглядная моя! Трогательная моя!...

Шинель – с плеч, и опять к ней, присел на обреш кровати:

– Тебе – лекарство дали? – (Кивнула. Детски-удовлетворённое выражение.) – Теперь лучше? – (Кивнула. Что за ней ухаживают, внимательны к ней). – Бедная ты моя!

Гладил волосы ей, убирая со лба:

– Я никогда тебя не оставлю, ты не думай! Я – и не собирался тебя покидать.

Такая сжатость! Такая жалость! Такая теплота: дружок ты мой бедный, чуть я тебя не погубил!

Алина лежала с размягчёнными глазами и, кажется, даже счастливая.

## 58

И потом была она опять светла. И послушлива вернуться в город. В мягком рассеянии возвращалась.

Но при подъезде к вокзалу – затемнилась. Предупредила:

– Не хочу домой! Домой – не могу!!

И даже озноб стал её беречь. Хмурые косые перебеги покатались по её лбу и щекам.

Она боялась удара перейти через порог своей обыденной квартиры? Через повседневный порог ей невозможно было перенести своё нынешнее уравновешенное, так

трудно давшееся состояние: что-то должно было крахнуть. Контраст обстановки, это можно понять. Но что же делать? Не мог Георгий для семейного лада теперь навек завязнуть тут.

Ему самому не только не тяжело было переступить порог своей квартиры, но – тянуло туда: хоть один бы вечер за всю эту бестолковую поездку, как он любил, – тихий бы вечер, да посидеть дома, покопаться в милых ящиках письменного стола, кое-что найти, мелочи задуманные. Нет, видать не судьба. Свой же дом и не давался, как заговоренный клад.

Уехать бы в Могилёв сегодня же вечером? Никак не оставить Алину одну, никак, это видно. Ещё завтра ли отпустит? Вся надежда на телеграмму от Свечина.

Вот затеял так затеял, ног не вытащить.

Но и по косым перебегам на лице жены понял он, что дома им вечер не просидеть, что-то взорвётся. С Алиной вот *такой* – это как с гранатой на боку, ослабив предохранительное кольцо. Хоть в кондитерской “Дези” пересидеть, два шага не дойдя, а не дома.

И вдруг придумал. В тот проезд Москвы, две недели назад, он бегло встретил на Остоженке подполковника Смысловского, артиллериста, который был с ним под Уздау, а теперь жил раненый в Москве и звал к себе в гости – неподалеку, на Большой Афанасьевский, там целое гнездо их, Смысловских. Так сегодняшней тягостный вечер и можно бы провести у них, а домой только заскочить переодеться.

И снова Алина посветлела, благодаря мужа за это продление. Снова была послушной, сильно похудевшей девочкой, как в минувшие зачарованные дни.

Всеволод Смысловский подтвердил по телефону, что – дома и рад, и даже ещё один брат его, Алексей, приехал с фронта и тоже будет сейчас. И сегодня как раз удобно, воскресенье.

Да ведь воскресенье! Там, в пустоте пансиона, Воротынцевы и потеряли, какие дни недели.

Надела Алина шёлковые, шёлк по коже, туфли, алое с белым платье и современную, подходящую к обществу брошку: маленькое эмалевое изображение офицерского погона.

Смысловские жили близ Сивцева Вражка, прямо против церковушки Афанасия и Кирилла – с нерусским портиком, колоннами, всё это маленькое, а алтарём уже в другой переулок, Филипповский. Занимали в приподнятом первом этаже старого дома восемь просторных комнат, окнами и в уютный Большой Афанасьевский и во двор. Здесь давно скончался их отец, тихо во сне отошла мать, выросли все семеро детей, четверо холостых жили и посейчас, а остальные приезживали гостить со внуками. Мебель тут наслоилась от жизни нескольких поколений и уважалась не по единству стиля, как у теперешних скоробогатов да адвокатов, и даже не по пользе для сегодняшних жильцов, а за одну лишь память – что и раньше стояла на этом точно месте.

Это было – как часто в старых московских переулках. А здесь удивлял только состав семьи: тут не было ни одной брачной пары, ни одного ребёнка, а – незамужняя сестра и, младше её, трое холостых, совсем не молодых, братьев. И как отец их, директор дворянского института для юношей, был математик, – так избрали математику и все пятеро сыновей, но, исправляя ли отход отца от военной традиции (точно как и Воротынцев), все пятеро кончали 1-й кадетский корпус в Москве, Михайловское артиллерийское училище в Петербурге, и только Павел один не стал прямым артиллеристом, но преподавал математику же в Александровском училище, родном Воротынцеву. Все четверо остальных были хорошо известны в русской армии, Евгений – даже генерал-лейтенант и изобретатель новой пушки.

Встречал Воротынцевых самый младший Всеволод, охромевший от ранения (рана бы – полбеда, да второй раз открывалась сама, и не могли залечить), и самая старшая Елизавета, лет уже за пятьдесят. А у неё сидела – студентка университета, однако очень равно держалась со старой учительницей, оказалось – она не бывшая её ученица, но вместе они преподавали в бесплатной рабочей школе. Елизавета Константиновна всю жизнь всегда и всюду преподавала: детям бедных, детям соседей, племянникам, внукам, ломовым извозчикам, вот теперь рабочим. Наверняка не то интересное общество, которого хотелось

бы сейчас Алине, – но лишь бы больше новых людей и текли бы вечерние часы благополучно.

Когда Воротынцевы пришли, студентка с горячностью рассказывала о борьбе против профессора Модестова, помощника проректора, а в его лице – против полицейских порядков, насаждаемых в университете. За неделю перед тем был уволен студент Маноцков, что-то не в порядке у него с воинской повинностью, и придрались. Но он и уволенный пробирался в университет на митинги. И когда в химическом институте, в аудитории, служитель Благов, унтер из пришибеевых, у троих выступавших нагло отобрал входные билеты – Маноцков героически кинулся на него, взял за грудки, тряс и билеты отнял! С тех пор за Маноцковым устроили настоящую охоту, искали всякого повода для провокации. И проректор Модестов, нисколько не считаясь с конституционными законами, университетской вольностью и просто общечеловеческой этикой, счёл возможным саморучно снять с вешалки пальто Маноцкова для установления по карманам, чьё оно!

Елизавета Константиновна так и головой закрутила, глаза закрывала, верить не хотела: снять чужое пальто?! Вот до чего доводят бесконтрольные самодержавные порядки!

А Воротынцева поразила, как при рассказе инженера Дмитриева о мятеже на Выборгской стороне, не сама суть событий, а – неохватность, неисчерпаемость России: куда ни поезжай, за тысячи вёрст, везде свои и свои толпы, свои новые непохожие заботы и забунтовки.

Сидели за обеденным дубовым столом, предлагалась ваза с большими яблоками, и Воротынцев с радостью увидел, что Алина взяла яблоко, обрабатывала его ножичком, отрезала ломтики. Слава Богу, ведь сегодня с утра так и не ела ничего, одним дыханием жива. Ну как-нибудь, понемножку, рассосётся, отвлечётся.

После этого студенты так были на Модестова злы, что поклялись его сместить. И когда он совершил новый акт произвола – в аудиторию в перерыве зашёл в пальто и в галошах, – разразился стихийный общий протест. Медики старших курсов приняли решение об общей забастовке – до полного смещения Модестова! Они бросились по аудиториям снимать студентов с лекций. Большей частью был успех, студенты проявляли сознательность и солидарность. Однако в помещение юридического факультета прорваться не удалось: служители заперли все двери. Но самое возмутительное произошло на историческом факультете: профессор Сперанский отказался прервать свою лекцию и ворвавшуюся толпу студентов просто **выгнал**! А с лекции профессора Челпанова, ещё позорней, агитаторов прогнали сами слушатели с криками вроде: “Не хотим дураками расти!” И это – на историческом факультете, кого бы социальные проблемы должны, кажется, захватывать ближе всего! Вялая масса поддавалась влиянию белоподкладочников.

Воротынцев – расхохотался. (Оглянулся на Алину – сдержался, чтоб её не оскорбить). Он – представил, увидел, как разгневанный тот профессор шагнул на край кафедры, поднял десницу – и пересиленные его духом бунтовщики пятятся, пятятся, отдавливая друг другу ноги, и закрывают дверь. Вполне военный момент. Всё это басни – о силе толпы: толпа всегда тем слаба, что дух её не слит, рассогласован, и никто не хочет жертвовать первый. Ничего на свете нет сильнее одиночного человеческого духа, ибо он, обрека себя на жертву, может держаться без трещины. Да тут и не о военной смелости шло, но перед левыми крикунами образованные люди трусят пуще, чем перед пулемётами.

Да это что, есть новости хуже: назначена жеребьёвка студентов 1-го курса, кто достиг двадцати одного, и на кого выпадет – заберут. А недавно накрыли нелегальное студенческое собрание, отобрали гектографированные речи Керенского, Чхеидзе, портреты Желябова, Герценштейна, листовки “Война и задачи социал-демократии”. И двух самых замешанных – выслали!

– В Сибирь?! – ахнула Елизавета Константиновна.

– За пределы Московской губернии! Лишили alma mater!

– Простите, – поинтересовался Воротынцев, – а какие это задачи социал-демократии по отношению к войне? – Он, и правда, не знал.

Студентка посмотрела с презрением:

– Слишком общеизвестно. А кто до сих пор не...

Этот чужой полковник разбил всё настроение. Ещё рассказала, как недавно в актовом зале в грандиозной потасовке избили нескольких монархически настроенных студентов. И ушла.

С каждой минутой отлегалось это сжатие вокруг пансиона и пруда, когда всё вдвоём, вдвоём, и весь мир на этом стиснут. Алина вполне нормально сидела среди всех, без жутковатой отречённости на лице. Вот – с естественным женским интересом спросила, как же ведётся хозяйство при такой необычной семье.

(Ну, вытягивай, Линочка, вытягивай).

Ответ был удивителен: хотя есть и кухарка, и горничная, и время от времени – денщики кого-нибудь из братьев, семья Смысловских отличается тем, что с ранних лет и девочки и мальчики умеют стряпать, и даже братья изошрённое сестёр. И когда в ресторане понравится фирменное блюдо, то не выкупают у повара секрет, как это принято, но всматриваются, въедаются, и дома кто-нибудь из братьев готовит не хуже, значит – угадал.

Улыбки гостей.

– А Алексей ещё сверх того и пекарь.

Полковник? Как это может быть?

А он от Филиппова брал пекаря к себе в бригаду, обучить своего солдата чёрный хлеб печь, заодно и сам выучился. Алексей удивительно способный, сто ремёсел подхватит.

Всеволод, хромя, принёс графин и закуску. Они с Воротынцевым с первых слов признали подлинность друг друга и принадлежность к тому миру, после которого не очень-то ловко и расслаживаться в московской квартире. Между такими лёгкость – не с давня начинать, а сразу о последнем, что верхним слоем написано по памяти, и даже фразы можно не кончать. Выпьём, ладно.

Лишь не спадала забота об Алине, и косился Георгий, как она с хозяйкой уходила, как вернулась. Хрупко, не интересно ей.

Вышел в столовую Павел. У него было здоровье слабое (грудь).

За чаем опять что-то поползли *общественные* вопросы, да пересыт был ими Воротынцев с Петрограда, только там говорили, от кого дело зависело, а здесь лишь сочувствие-сочувствие-сочувствие всему передовому и порицание-порицание-порицание правительству.

Старое дворянство, семья из одних офицеров, – а вот...

Алексея Смысловского Воротынцев не знал, но жену его, красавицу Елену Николаевну, дочь покойного командующего Московским округом Малахова, он видывал, любовался, – на японочку похожая, любила это подчёркивать, то вышивкой на платье, то рукавами кимоно, а на маскараде так и просто японкой. И сейчас ожидал удовольствия увидеть её.

Но Алексей пришёл – ворвался! – без жены. Просто – вбежал, как после каникул домой вбегает мальчик, а не лысый полковник под пятьдесят, вбежал всех обнимать подряд, и Воротынцева, знакомясь, обнял (“слышал, слышал, как же!”) и, кажется, только едва удержался обнять Алину. Роста ниже среднего, с сероватой удлинённой бородой волшебника, с радостно-радостно горящими глазами, он жадно осматривал всех, и комнату, на месте ли предметы, и что-то у сестры спрашивал, на месте ли...

– Даже крысиные трапеции вон, в кладовке, – не сдержала сестра улыбки, очень смягчившей её сухо-строгое лицо.

Оказывается, увлечения налетали и слетали с Алексея как порывы бури. Было увлечение когда-то – заниматься белыми крысами, и он в своей комнате завёл им клетки, переходы, и на трапециях они качались. Потом слетело увлечение, крыс забыл, и они передохли все. Да только ли? И переплетал, и фотографировал, и даже шил-вышивал, и не смущался, когда смеялись:

– Ремесло за плечами не тянет. А вдруг – в тюрьму попаду?

– Что за дикая мысль, почему – в тюрьму?...

Столярного инструмента полный набор (и по стенам и у стен – жардиньерки, полочки, шкафчики его работы); женись, не забрал с Большого Афанасьевского, как бы признавая, что коренной непереездный дом – всё-таки здесь. Уже у самого было пятеро детей, меняла семья города и квартиры, а родное гнездо – здесь.

От его радостного взрыва, горячего приветствия, от его самодеятельной жизненности – наконец и Алина повеселела. (Как хорошо, что привёл её сюда! Вот это и надо: жизнь течёт – не застыть же и нам).

Вспомнили мельком и Уздау и Ротфлис – далёкое-далёкое событие, почти как японская война. И как Алексей Константинович там стоял, стоял с Нечволодовым. А теперь о нём:

– Вояка – замечательный. Но монархи-и-ист! Национали-ист!

Впрочем, оказалось, и старший сын Алексея, Борис, уже офицер и год на фронте, тоже был и монархист, и националист, и недоволен отцом.

Вот так вот.

Тесть Алексея – генерал-от-инфантерии Малахов, был мужественный человек. В 1905 году, командуя Московским округом, это он и восстановил в Москве разваленную жизнь, и на него дважды покушались террористы. А на зяте – никаких следов? Вот и Нечволодова припечатал.

Но делу время, потехе час, фронтовых разговоров Алексей не поддержал, а вот:

– Помузицировать бы?

Как, он ещё и музицировал?... Да даже музыку писал и романсы.

Алина засияла, захотела послушать. К ней возвращались и непринуждённость, и осанка головы, и даже румянец.

– Да уж нет, лучше – Чайковского. Вот, Михаила жалко нет.

Так это сказал – “нет Михаила”, будто не шла Великая война, и Михаил не командовал сейчас Гренадерской артиллерийской бригадой, а лишь вот на час отлучился. Так сказал, будто первична и вечна – их семья, а остальной мир – как придётся. А дело в том, что расстраивалось трио: Михаил играл на виолончели, Всеволод вот уже скрипку нёс, хромая, а Алексей прискочил к роялю и вот открыл крышку.

Чайковского – тоже разные романсы есть, и упаси боже он бы затеял какой-нибудь из трагических, там “Снова как прежде один”, – вполне способна была Алина тут же при всех и разрыдаться (и укори её, – “После **всего** ? удержаться не было сил!”). Но, следуя ли своему весёлому нраву или радости возвращения, или почувствовав, что гостье нужно, Алексей затеял клавишами беспечно-игривое, и сам же пел сочным баритоном, ещё подчёркивая интонациями шутку:

Если сторож нас окликнет -

Назовись солдатом!

Если спросят, с кем была ты,

Отвечай, что – с братом!

И Алина – заливалась, смеялась. И Воротынцев поблагодарил случай: и хорошо, что красавица-японочка не пришла: Алине нет соревнования, и она не видит других пар, не наблюдает чужой счастливой жизни, а – каждый сам по себе, очень подходящий дом, и ей весело, и вот уж она пересела переворачивать Алексею Константиновичу ноты.

Второй романс – опять игривый, Алексей успевал петь и ещё всем этим романсом как бы обращаться к Алине, густыми выразительными бровями под лысо-зеркальным теменем:

Я тебе ничего не скажу,

Я тебя не встревожу ничуть...

Так-то так, славная семья, и какие разнообразные в науках, ремёслах и искусствах, – но почему, чуть коснётся государства, – повторяют так несамостоятельно кадетов да

земгусаров?

Пятеро братьев – генерал, полковники, подполковники, и неординарные, все учёные. Пятеро братьев! – кому бы и взяться? А вот – на кого из них положиться?

Целый день спят ночные цветы,  
Но лишь солнце за рощу зайдёт...

А может быть – так и надо? Жизнь – они все отдают. А – что ещё больше?

Теперь дуэт – рояль да скрипка. (*Ансамбль* ! – вспомнил Георгий. Как раз то, что нужно).

Попросили сыграть и Алину. Она села – прямая, торжественная, и сыграла бравурных три вещи подряд, с отбросами головы.

Её шумно хвалили, Алексей аплодировал, и вид у Алины стал такой, будто счастливее её и на земле нет.

Ну, всё наладится, всё наладится. На Воротынцева и самого этот подвижный смешливый лысый бородач подействовал встряхом: за эти пансионные дни мир нисколько не сузился, не зажался, и нельзя дать зажать себя. Тяжести, час назад безысходные, оказываются отчасти и придуманными. Что, собственно, случилось? Никто не умер, не заболел, не охромел, не окривел, как минуту каждую происходит на передовой, даже вот открытой раны на ноге нет.

Он смотрел, как у рояля Алексей читал Алине собственное стихотворение, Алина же подчёркнуто-внимательно слушала, приклонясь к попитру. От хозяйки принимал ещё чашку чая. Расположился и к молчаливому Павлу (молчит-молчит, а с Пржевальским вместе учебник написал).

Только бы безо всяких новых объяснений, без затяжки, без скандала завтра бы выскользнуть – и в Ставку.

Вот он и проехал столицы – и кого же он? и что же он нашёл?...

## 59

От Смысловских к себе домой им было недалеко: Царицынским переулком на Пречистенку, Всеволожским мимо своего Штаба Округа на Остоженку – и уже недалеко до дома. Один бы Георгий и за пять минут отшагал, но вдвоём и в их новой непростоте, когда Алина нарочно замедляла шаг (а Георгий умерял свой шаг к её, как она любила), – это было не быстро и не гладко.

Молчанье – тоже бы нагнетало, значит, надо говорить. А говорить – не знаешь что.

Ну, о вечере, конечно. Как что было. Отдельными фразами. С перерывами. Удивительная семья. Какой разносторонний Алексей Константинович. Алина слушала. Молчала. Шла.

Вышли в Царицынский – что-то светлое прямо впереди увидел Воротынцев. Поднял голову: небо было в тёмных тучах, а узнавалось это потому, что образовался в них прорыв, глубокая скважина – с краями черно-махровыми, а стенками высветленными, – и виднелась через скважину ещё не сама луна, но забледнённый свет, как бы загадочный фонарь или глубокое окошко в тёмном замке. Остановился, рукой задержав Алину:

– Посмотри, как!

Всегда бы Алина стала восхищаться, даже и с умилением в голосе – “ой, ой!”, и стояла бы долго. А тут посмотрела холодно, ничего не сказала и сделала движение идти.

Пошли. Худо дело.

Ладно, вот уже Пречистенка. К ночной чайной стягивались извозчики, выстраивались вдоль Остоженки. Подсыпали коням в торбы, а сами, кнут в сапог, шли погреться чайком да перемолвиться.

В покое воскресного вечера раздался грохот – сперва дальний, вот нарастающий,



тревожный. Это был военный грузовик и, конечно, пустой, с двумя солдатами в кузове. Он появился с площади, на повороте завернул с визгом, перед Штабом Округа раздирающе затрубил непоспешным пешеходам и извозчику и с тем же грохотом погнал в сторону Интендантства.

Эту теперешнюю московскую и петроградскую манеру гонять порожние грузовики (груженные шли медленно), лихо гонять, как если б успех войны зависел от их пустого подскакивания, уже несколько раз замечал Воротынцев там и тут. Гоняли тыловые солдаты просто по радости – во какие мы, во какая у нас теперь силища, р-расступись! Но начальство почему-то не сдерживало их. А у столичных жителей вызывала эта манера тревогу и раздражение, как будто опасное что-то готовилось.

Алина и головы не повернула, не заметила грузовика. Но головы – не опущенной, а с твёрдой посадкой на нерасслабленной шее.

Вошли во Всеволожский, и как не заметить опять, что впереди стало совсем светло: весь небесный замок как сдуло, ничего не осталось – и сама открытая луна, уже менее, чем полная, уже стала с правого боку ущербляться, – привольно плыла в лёгких светлых облачках.

Эту самую луну молодым месяцем ему показала Ольда...

– Ну посмотри! – не удержался он, хотя похоже было, как будто он заговаривает погодой.

Но она еле глянула, в этот раз и не остановясь.

Да к концу же Всеволожского напозла когтистая чёрная лапа – и захватила луну.

– И дуэт у них какой милый. Подумай, даже трио.

– А – как я сегодня играла?

Ну да, промахнулся, с этого и надо было начать. Отвык, забыл Георгий, что всегда надо замечать, что она играла и как.

Да ещё б ему не нравилась её игра! От первого знакомства что и полюбил он в ней первое! Всегда – безусловно нравилась. А вот сегодня – что-то, что-то царапнуло. Ну, можно сказать “замечательно”, можно сказать “как никогда”, но давит притворство в мелком, неужели не честней говорить всё, как думаешь. Вот поддержать этот стиль отношений, эту чистую полную откровенность, так внезапно возникшую в пустынном пансионе? Ощущение – как разогнуться. Что-то царапнуло – о том теперь как можно дружественней, девочка моя, ведь обоим будет душевно проще.

– В игре братьев, знаешь, что особенно приятно? Их манера держаться. Они ведь очень недурно играют. Но вместе с тем отдают себе отчёт, что и не гении. И держатся с этакой полушутливой домашностью. Как бы сами над собой посмеиваются и просят извинить их за несовершенство.

Проходили под фонарём и видно было, что Алина прихмурилась.

Не продолжать? Но к чему тогда начато? Только как можно мягче:

– А ты... У тебя вот этой шутливости нет. Ты садишься уже всем видом как мастер, целиком отданный игре, и предполагаешь, что все погружаются в слушанье.

– Да! – вскинула голову Алина. – Потому что я очень *серьёзно* отношусь к музыке. Потому что это **жизнь** моя!

Сейчас, от дальнего фонаря, было хуже видно, но голос Алины стал глухо отрывист.

Ещё мягче:

– Всё верно, Линочка. Но требование вкуса заставляет и в серьёзные минуты выказывать свою непритязательность.

Алина сбилась с ноги, заволновалась:

– Это новость! Ты находишь, что у меня не такой вкус? До сих пор наши вкусы, кажется, во всём совпадали, на этом мы и жили согласно. – Голос Алины металлизировался.

– А теперь у меня уже не такой вкус? Это – после Петербурга?

– Да ни при чём тут Петербург, это бывало и раньше. Ты за собой, Линочка, не всегда замечаешь, а у тебя бывают иногда такие суждения... уверенные... При гостях иногда так

неснисходительно что-нибудь...

Ах, сорвался! Языком не закончишь, никак не вытянешь... И зачем затеял, всякие мелочи вспоминать? Оставалось додержаться несколько часов, до телеграммы Свечина.

– Нет, это после Петербурга! – как бы ласково уговаривала Алина, положив ему руку на шинельный отворот. – Сознайся, это теперь ты видишь, раньше такого не было.

Они совсем сбились с ходьбы, он подвигал её за руку вперёд.

– Да ни при чём тут Петербург... Ну, сейчас – после Петербурга... А вообще после...

Алина и сама пошла быстро, не влекомая. Заговорила с лёгкой отрывистостью, как бы сеча наискось:

– Слушай, неужели это такая замечательная женщина, чудо-женщина, что в несколько дней переменяла тебе все взгляды? Открыла тебе новый вкус?

Георгий не принял ответно тона раздражения, но и смолчать не сумел, как же молчать, если в лоб спрашивают:

– Ну, вообще... от всех людей, с которыми мы в жизни встречаемся... Не именно от неё... Но в чём-то и от неё... – (А внутри ток заливал его при всяком воспоминании об Ольде, даже не упоминании).

– У неё – одни достоинства? Она – высокообразована, гениальна? Кроме истории она легко разбирается и во всём остальном? Но на рояле она всё-таки не играет!

Они уже переходили Остоженку у своего дома. Небо – тёмное. Темнела церковка, задвинутая меж домов. Но газовый фонарь бросал достаточно света и на середину улицы. И видно было, как Алину передёрнуло страданием от подбородка до виска. Боже, что он опять наделал, дурак, олух!

Перед ними перед самыми, обрезая, прокатил с запрокинутой лошадиной головой, с колокольцем, лихач на дутиках, везя важную барыню в огромной шляпе.

– А я – ничтожество, да? – с допытём, срываясь на крик, спрашивала Алина посреди улицы, как будто хотела и требовала подтверждения.

Он уводил её, уводил на тротуар и молчал, теперь уж молчал, а получилось опять хуже. Но не подслуживаться: нет, ты сверкающе талантлива.

Они уже и были у своего парадного. Поднимались по лестнице. Молча. В свой дом, но сами не свои. На второй этаж. Молча. На третий.

Ах, совсем не нужный, глупый разговор.

– Ты прости меня, Линочка. Я этого не хотел. Я, конечно, и близко того не думаю, ты же знаешь. Я только... О-о, телеграмма... Мне. Из Ставки. Неотложный вызов. Непромедлительно прибыть... Вот так так... Придётся ехать. Вот неожиданно. Ты прости меня, Алочка...

Телеграмму она как и не поняла, как не видела.

Помогал ей снять пальто – вырвалась из него, как если б оно горело.

Через маленькую их столовую кинулась в свою комнату. Но тут же вернулась, зажгла в столовой большой свет, в прихожей подошла к мужу, едва отстегнувшему шашку, ещё с нею в руках. И напряжённо:

– Дай я на тебя посмотрю! Дай я на тебя посмотрю!

Необычайное неизрасходованное пламя рвалось из её глаз. Где была та замороженная покорность, будто не в полном сознании? Где была та ипостась горько-достигнутого духовного свечения?

Зачем – “дай посмотрю”? Он не успевал понять. Она хочет особенное что-то выкинуть, непонятно что.

Смотрела она – смотрел и он. И кроме явленного раскола, пожесточавшего выражения – он видел и горький пережат на её тонкой незащитной шее. Она была совсем не похожа на саму себя – но он-то знал её саму! и жалость острая этого беспомощного пережата уколола его. И хотя уже просил прощения – за что он её обидел, ни с того, ни с сего? – снова протянул руки, взял за локти – повторить уговорчивей, распространённой...

А её лицо – удлинилось, как-то угордилось. И она усмехнулась с презрением:

– Сравнивай, сравнивай! Если она действительно большая личность – не будет она подругой серого офицера, неудачника!

Взяла свои локти назад, повернулась на каблуке, ушла к себе. И слышно заперла дверь. Задумался, как был, ещё в шинели. Это сказано правдоподобно, да.

Снял, повесил. Задумался: подругой? А что из его взглядов когда-нибудь разделяла или не разделяла вообще Алина?...

Ну, что? Стучать вослед, лебезить? Просил прощения, хватит.

Потушил свет в столовой. Все света. Ладно, выспаться хоть последнюю ночь, не прислушиваться ко всхлипам, шёпотам, не уговаривать.

В кабинете на диване растянулся. Выкурил папиросу,

Утро вечера мудреней.

И так глубоко спалось, без видений. Так беспробудно, даже при перевёртах.

Проснулся – не рано. Не подскочил сразу, ещё долежал в полной тишине.

Даже удивляясь тишине.

Но уж сегодня – ни за что не оставаться. Какой бы поворот ни придумала. Хоть бы на пороге схватила и кричала. А может, пока она спит, – тихо, не завтракав, выскользнуть, да на первый поезд?

Встал на цыпочках. И – в чуваки, сапогами лишнего не скрипеть.

Но из столовой в спальню Алины дверь была нараспашку. А в столовой – всё, как вечером, ничего не сервировалось.

На середине стола к наклонной фотографической рамке, где Алина снята в широкой шляпе, был прислонён белый лист.

И почерком фигурным, с прихотливыми выбросами, как кометными хвостами, а теперь урезанным:

“Я презираю себя, что унижалась, терпела и хотела твоей ласки в этом убогом пансионе. Это подобно – кровосмешению!...”

Выходы вверх и вниз – как твёрдые стебли, а на них посажены буквы. Но стебли совсем не тверды, Георгий-то знает, хотят казаться, хотят быть твёрдыми ещё пять минут, а сами еле держат лепестки слов:

“Четыре дня назад, уезжая из нашей квартирki на озеро, я воображала себя единственной и несравненной. И вот – возвратилась *худшей* из двух?... И ты смеешь нас **сравнивать**?! И будешь теперь на каждом шагу?”

И как же тихо ушла. Первая. Перехитрила.

Пошло между ними на хитрость.

Да не вечером ли она уехала, когда он только заснул? Не всё:

“Еду в Петербург посмотреть на твою красавицу-интриганку, ещё стоит ли из-за неё кончать с собой? Не догоняй меня и дома не жди – хочу, вернувшись, тебя не видеть!”

Ого! А как же она найдёт?... А хотя, а хотя... закружился по комнате, не в себе вокруг стола, всей спиной поводя: история... высокообразованная... о, сколько ж он лишнего проговорился... Ещё и найдёт?...

На телеграф? Телеграмму Ольде? Предупредить?

О чём? Что – нарушил, назвал? в первый же день предал имя? и теперь – жди обвала на голову?

Да не найдёт! Да не сразу! Остынет, не пойдёт.

Вереньке? Чтобы перехватила безумную, если сможет?

Но она к Вере и не явится. И что поделает Вера с такой?

Забегал по квартире. Жгло.

У неё в спальне – ящики выдвинуты, переворочены, два платья свалены на нестеленную кровать.

И скомканная крупная бумажка на полу.

Тем же почерком, размашисто набирающим ярость:

“Ты думал, нашёл покорную дурочку, да? Но у меня **есть выход**! Ты увидишь меня

ещё в таком бле...”

Зачёркнуто. Брошено.

А вот и вторая, скомканная, откинута к окну:

“А из-за **кого** у меня сорвалась музыкальная карьера?”

О-о-о... Водя Алину вокруг пруда и шейку ей закутывая от ветра, рано же он рассудил, что всё обойдётся...

Гнать опять в Петербург, самому? А Ставка? а полк? Уже сроки перепущены, засюсюкался!

Но: вчера она вряд ли успела уехать, уже не оставалось поездов. А сейчас ещё рано.

Вот что! Вот что: Сусанна Иосифовна сама назвала ему свой телефон, зачем-то.

И, шинель на сорочку, едва ключ не забыв и дверь не захлопнув, он кинулся к лестничному телефону вниз.

Она. Как женские голоса нежнеют по телефону.

– Сусанна Иосифовна! Не удивитесь, пожалуйста, и снисходительно простите мою бесцеремонность. Может случиться так, что Алина Владимировна появится у вас в эти часы... – Догадался: – Или, может быть, уже у вас?...

Там заминка.

Очевидно – там, да.

– ...Тогда я вас очень, очень прошу, хотя безо всякого права... Вы имеете на неё доброе влияние. Если она намеревается ехать в Петербург – помешайте ей, отговорите... Из этого не вышло бы беды... И для неё самой...

На той стороне пауза. Потом – сдержанно, но дружелюбно:

– Хорошо, Георгий Михалыч. Я попытаюсь.

Ну, умница! Ну, прелестная женщина! Хорошо и надо чтоб она – с Алиной рядом.

Хватит, обабился!

На фронт!

\*\*\*\*

## **НЕ ВСЯКУ ПРАВДУ ЖЕНЕ СКАЗЫВАЙ**

\*\*\*\*

**ДОКУМЕНТЫ – 4**

**Кн. Г. Е. ЛЬВОВ – М. В. РОДЗЯНКЕ**

**29 октября 1916**

Председатели губернских земских управ, собравшиеся в Москве 25 октября для обсуждения продовольственного дела... Правительственная политика дала свои роковые плоды... Все распоряжения высшей власти как бы направлены ещё больше запутать тяжёлое положение страны... Созрело сознание, что стоящее у власти правительство не в силах закончить войну с соблюдением истинных интересов России. Мучительные страшные подозрения о предательстве и изменах перешли ныне в ясное сознание, что вражеская рука тайно влияет на направление наших государственных дел... С негодованием отвергая всякую мысль о бесславном мире... Председатели губернских земских управ пришли к единодушному убеждению, что стоящее у власти правительство, открыто подозреваемое в зависимости от тёмных и враждебных России влияний, не может управлять страной и ведёт её по пути гибели и позора...

Когда в газетах напечатали указ об очередном призыве ратников 2-го разряда, с 25 октября, Роман Томчак ослаб в своей качалке, и ноги, как подрезанные, потеряли силу толкать её или подняться. Уж его -то теперь, тем более, должны были забрать неминуемо.

Ослабла в нём всякая воля к защите. Сгорбясь и с головой, сваленной вперёд, он замер в последнем своём убежище, в качалке.

Так и застала его Ирина: маленького, чёрного, скорченного, плешью вперёд и с газетою на коленях. И не от него, но из газеты – поняла.

Все эти годы Ирина густо стыдилась, что муж её не на войне. Хотя были и другие экономисты такого ж возраста, от тридцати до сорока, – младший Мордоренко, Никанор, или младший молоканин, но те оба были при деле, сами вели большое хозяйство (а молокане освобождались и по убеждениям). Роман же в 38 лет при своём неутомимом крутом отце ни на касание не был допущен к хозяйству – да и не тянулся, высиживал войну в экономии, с редкими поездками в города.

А прошлым летом, в самое тяжёлое время русского отступления, когда изнывало орino сердце от русских потерь и от страха, что будет с Россией, ещё и попало ей в газетах о смертном подвиге медицинской сестры Риммы Ивановой – ставропольки же, что особенно поразило Орю: кончала та Ольгинскую гимназию в Ставрополе, рядом с их пансионом, и даже годами моложе Ори, а вот... Перебиты были все офицеры её 10-й роты, и тогда Римма Иванова сама повела в контратаку нижних чинов, захватила вражеский окоп, убита, – и посмертно награждена Георгием 4-й степени.

Хотя и до этого потрагивала Оря свой винчестер и проверяла неубывшую меткость своей стрельбы, и до этого рисовала в воображении, как бы бесстрашно вела себя на войне, но тут потянуло её вдесятеро. Оря так почитала ту Первую Отечественную, в подробностях по картинкам знала её, никогда и не предполагала сама угодить в такое героическое время, – и вот распостёрлась, грозно тянулась Вторая Отечественная, а не находилось места Ореньке у армейских костров, или с партизанами, или со старостихой Василисой. Все заботы её с цинерариями, цикламенами, японскими хризантемами, с перебором восьми десятков висящих, никому не нужных нарядов, – отбросила б она радостно для неиспытанной бодрой героической жизни на войне! “Ромаша! – говорила, – пойдём на войну!” – “Ты что, хочешь моей смерти?” – “Ну, пусти меня одну”. – “А что ты там будешь делать?” Ирина ясно представляла: стрелять. Живо и нестеснённо видела себя в военной неприхотливости, даже в шароварах, лёжа на земле или сидя на дереве, как её любимый Натаниель Бумпо, – и в ту жизнь без сожаления вырвалась бы из своего надоевшего безделья, даже если бы Россия и не была так угрожаема. (А если бы не угрожаема, так и никогда б ей не вырваться). Но ужаснуть мужа предполагаемым видом своим она не смела: “Я буду сестрой милосердия”. – “Чтоб ты с офицерами мне изменяла?”

Этого-то он не думал, конечно. Он знал, как прочно она воспитана, из-под руки отца под руку мужа, до того лишена всякой отдельности, что даже билета железнодорожного никогда не брала, не знала, где и как; не отлучится в город без казака или горничной; не наденет платья безрукавного; тотчас покинет компанию за столом, если кто покажется мужу слишком пристален; Анну Каренину ненавидит как самую гадкую из женщин. Подозренья он не имел, наверно, но как снести двойной позор: жену отпустить без себя, а самому сидеть дома?

Вступила она было в Общество Четырнадцатого Года – тоже звучало трубами и напоминало Двенадцатый. Присылали ей разные билетки и брошюрки, приглашали в Екатеринодар на заседания (Роман ни разу не пустил). Потом определилось, что Общество будет бороться с немецким засилием в России. Доброе дело! Ирина давно страдала от этого немецкого засилия, ещё прежде войны изумлялась она, до каких же пор немцы будут править Россией? Но теперь, как Общество ни боролось с засилием, – всё по-прежнему в иллюстрированных изданиях каждый пятый генерал, офицер, сенатор или член Государственного Совета носил немецкую фамилию, а с этой весны и во главе России

откровенно стал Штюмер – позор какой! победил-таки Вильгельм с помощью царицы!...

Тогда стало бороться Общество с немецким землевладением. Но никто, разумеется, и пикнуть не смел против их могучего соседа по экономии, богатейшего на всём Северном Кавказе барона фон-Штенгеля. А принялись теснить и цель имели разорить и выселить рядовых немецких колонистов – аккуратных умелых колонистов, тоже их соседей, у кого так много перенимали Томчаки от устройства бычьего хлева и до прачечной: обручные лохани на колесиках подкатывались под краны, на бортах лоханей крепились валики-выжималки, и бельё сушили никогда не на дворе, а на ровном сквозняке крытого этажа.

За колонистов Ирина заступилась, и из Общества её выключили. Смеялся Роман. Сам он ни в какие такие игрушки не играл. По всей России кипел городской Союз и земский (впрочем, на Кавказе земства не было), – он над этими деятелями тоже посмеивался, сидя в качалке с газетами. Деятельность серьёзную, а не мелко гавкать о Земгоре, предполагал Роман возбудить лишь после войны.

А теперь, подрезанный ещё новым указом о призыве, понял, что просчитался: такой нескончаемой войны не пересидеть, надо было предохраниться в Земгоре. 27 месяцев её уже прошло, но от того она не мягче заглатывала, и даже одного ещё полного месяца не нужно было, чтобы там погибнуть.

Теперь Ирина целовала мужа в лысину и подбодряла: ещё – возьмут ли? а возьмут – не так быстро, можно что-то быстрее сделать кинуться. Конечно, самое бы прямое и простое – войти в хозяйствование экономией. И всё. Будет Ирина просить, умолять, – но отец... отец и для жизни сына не согласится! А несправедливо как, ведь у Романа к хозяйствованию большие способности, просто он не развивает их. Как он метко предсказывал иногда, что в этом году будут покупать на отхват, что надо сеять, – и сбывалось. А какой это сезон он у Федоса Мордоренки арендовал на Гулькевичах пять тысяч десятин, засеял лён, почти не виданный в здешних краях, и всё угадал: урожай и спрос по осени, ездили экономисты смотреть-удивляться. И ещё повторил год, опять с успехом, – и тут же бросил, и бросил опять-таки вовремя: подражатели уже не продали хорошо. Он – всё может, если бы взялся!

Напоминание об его же успехе со льном влило Роману сил. И правда, он же талантливый человек, что ж он падает духом? (Всегда у него так: от неприятности – полоса чёрного упадка). Обстоятельства душат – надо изобретать и действовать!

Ирина же подала и мысль: выступить на *совещании*. В воскресенье 30-го октября собиралось в их доме невиданное совещание всех соседей-экономистов. Раньше собирались только на именины да в карты играть, а теперь и тут придумали, как везде по России, – “совещание”. Очень смеялся Роман над той затеей – “как у умытых!”, говорил, что даже на первый этаж не спустится к ним. Но теперь – схватился. В самом деле, чем глубже хозяйства увязали в военной обстановке, тем больше проблем. Он не хотел в них путаться, его деньги в банке, но сейчас, с его способностями, развитием, языком, да ещё ж по постоянной трезвости среди этих распущенных свиней, были шансы выделиться на первый план. Получить от совещания полномочия на переговоры с другими такими же группами экономистов, с Екатеринодаром, Ростовом, – начнётся бурная деятельность, разъезды, всем нужен, и уже ни о какой мобилизации... Верно, Ирочка, верно, моя золотая, дай я тебя в губки...

С того часа Роман как обновился: тут же побрился, посветлел, вместо халата сюртук, уже вскоре спустился в контору, где давно его не видели, требовал книги, задавал вопросы приказчику, конторщику, это была суббота, а в воскресенье из конторы не вылезал, а в понедельник с мухортеньким управляющим проехался по полям и к соседу их Третьяку, во вторник сидел у себя на верхней веранде, писал и считал.

Такой необыкновенной деятельности не мог не заметить старый Томчак. И – не поперечил, не гаркнул, не запретил из конторских книг выписывать да даже – не спросил, зачем? Сам сын объяснил: не в хозяйство вмешивается, готовит *доклад*.

Сроду такого слова Захар Фёдорович языком не выменивал, разве что доклад портному дают на пошив. Но читал в газетах, что министры царю доклады делают. И ещё – учёные господа на учёных сборищах. И вот, не в своей привычке, не вмешиваясь и не указывая, сел в

конторе за пустой стол, о палку оперся и молча следил, как сын его готовит доклад, о чём у служащих допытывается. Но – в какую сторону доклад пойдёт, не спросил.

И Роман был доволен. Присутствие отца ему не мешало, а пусть видит, что такому сыну всё можно доверить, *у этого не вырвется* .

Именно в эти дни, когда Роман стал такой подвижный и деятельный, а весь двор и дом суетился, готовясь к парадному приёму, старый шумливый Томчак стал тихий совсем. Ни на кого не цыкал, не кричал, распоряжался тихо, коротко, никуда не ездил, а с палкой своей любимой суковатой медленно ходил. Старуха забеспокоилась, не заболел ли. Служащие притихли, боясь особого вида гнева. Но нет, старик – задумался. О задумьи том никому не высказываясь.

Так и в конторе сидел он, из-под мохнатых бровей поглядывая, как сын на удивленье работает. Такого бы сына да с такой работой – ему бы десять лет назад, да десять лет подряд, и тогда б он ему спокойно дело передавал. А – не зараз. Подлащивалась Ирина, понял Томчак, что к чему, и знал про ратников. Да только дело, разогнанное аж ещё с Кумы, с Маслова Кута, а на Кубани уже двенадцатый год, на две тысячи десятин, с торговлей до Харькова и до французов, дело было огромней самого Томчака и не могло соломою разостлаться, чтоб сыну не хряпнуться больно. Дело это имело свой отдельный ход, катилось уже не по родству и не по семейности, в него были втянуты многие люди, и выходил большой товар для России, оно уже как будто и не было томчаково личное, и отдать его в неверные руки Томчак был просто не волен, скорей удушиться бы. Имея бы сына путёвого, Захару Фёдоровичу в 58 лет отчего б и не польготиться, не поволить с отдыхом? Так, понемногу бы взглядывал, а больше бы читал Жития Святых, може и в монастырь Киево-Печерский съездил бы помолиться, а то и в Палестину. Но с **этим** сыном твёрд был Томчак держаться и не разомкнуть аж ещё хоть двадцать лет. Уступил он невестке Ксенью, або на тот год кончит и Ксенья, тут её и замуж скрутить. Да за двадцать лет вырастить внука, якого трэба. О тогда и Жития Святых читать. А цей сын – нехай хоть и с германом идэ воюе. Усэ ему в руки давалось, крутил поросячий нос.

(Только в самом сокрытии сердца: а может – пошлёт бог и ещё поправится сын?..)

Роман горячо готовил свой доклад. А в канун, когда уже все цифры имел, а в доме пыхал самый угар приборки и готовки, никуда уже больше со своего верха не сходил, старому же лакею Илье велел обед принести к себе на веранду, как больше всего любил: бумаги с ломберного стола пока собрать, вот лакей с важностью трепыхнул крахмальной скатертью, вот несёт стекло, серебро, – нигде и ни с кем так хорошо не пообедаешь, как с собой наедине. Никем не подгоняемый, ни на какие беседы не отрываемый, весь во вкусе еды, есть время и повод припомнить подобные же вкусовые сочетания: в ресторане “Европейской”, в Баден-Бадене... Наедине можно и выпить рюмочку-две, даже с рюмкой перейти в спальню к большому зеркалу: “Ваше здоровье, господин депутат!” Русские потому гибнут, что пьют с горя, а надо пить – только с радости, и понемногу.

По спальне есть где пройтись под приятным шумком, она же – и зимний кабинет, она же и библиотека. Половина – книги Ирины, половина – Романа. У неё – в переплётах каких придётся; а все свои, несколько сот, Роман велел переплести в одинаковые чёрные, там Пушкин или Гоголь – стоят все как одно собрание сочинений, и золотом вытиснено на всех одинаково: на корешке – Р. Т., а спереди полностью: Р. Томчак. Сильное впечатление, штук шестьсот стоят книги одна в одну.

Да, в Пятой Государственной Думе его радикальная программа ошеломила бы всех. Самодержавие урезать – до игрушки почти. Во-вторых, административными методами довершить философскую работу гиганта Толстого: разгромить Церковь! Отнять у неё все капиталы, все земли, это имущество только дремлет и задерживает общий ход, – обратить церковь в придаток, там крестины, панихиды для желающих, и всё. В-третьих... Да ведь один всего не перевернёшь, надо создавать партию деловых людей, какой в России нет. Вот такая наша дремучая азиатская нерасчленённость, что главной деловой партии – и нет, а колотятся какие-то кадеты, чуть в сторону – уже социалисты.

Вошла Ирина в высоком фартуке, раскраснелая и счастливая:

– Ну, как у тебя дела? Ничего не надо?

– Дела прекрасно. Ты знаешь, я даже говорю: и хорошо, что грянула гроза, я проснулся! Я даже думаю, от этого совещания начать некоторое движение, сперва чисто-хозяйственное и только на Кубани, но потом оно... Поставить властям некоторые жёсткие условия. А поскольку мы их кормим – им придётся принять. Да ты-то обедала?

– Где там! Если в кухне в жаре стоишь, всё пробуешь... Завтра у нас будет, знаешь, не считая закусок, но со сладкими – десять блюд!

– Ну-у-у!

– Нельзя же опозориться. Такое событие. Да и твой дебют.

– А ещё что я думаю – насчёт автомобиля.

Знала она, горело у него, что в прошлом году ни за так, по автомобильной повинности, отобрали у него ролс-ройс, стоивший 18 тысяч, – и попал он к великому князю Николаю Николаевичу, переведенному на Кавказский фронт, а может быть и для генерала просто, не проверишь. Да эти годы Ирина умоляла Романа не заводить автомобиля, не дразнить людей.

– А теперь я думаю, если начнётся деятельность... Не поверить ли торговому дому Борей: продают только английские автомобили и будто с удостоверениями, освобождающими от реквизиции?

– Как хочешь, – улыбалась Ирина – тому, что он энергичен, каким она любила его, и хорош с нею. – Я, ты знаешь, всегда предпочту рысаков. Но тебе, если пойдёт, как ты думаешь, конечно скоро понадобится автомобиль.

– Ты прелесть, – поцеловал её в розовую горячую щеку.

– Я ещё приду с тобой посоветоваться, что надеть завтра.

– Приходи-приходи.

И умна Ирина. И предана. И молода. И красива. Для представительства, для показа, для путешествий – лучшей жены не придумать, – все любят, все завидуют. Но до чего обманчива бывает эта показная красота – а чего-то, чего-то нет нутряного живого, задевающего, какое бывает и в дурнушке в затрёпанной юбке. И если б **этим** одним владела ты, голубушка, – не надо бы ни всех твоих мудростей, ни Винчестера, ни Общества Четырнадцатого Года.

А вот общественная деятельность естественно потребует теперь многих отдельных от жены поездок.

Ирина же, после свидания с ласковым мужем ещё счастливее, спешила в ледник – как там поставили пирожные, и в погреб к соленьям, и снова на кухню. Давно она не была так полна обязательной, не самопридуманной деятельностью. В пансионе их всех учили готовить, ибо без этого нет хорошей жены. Но в экономии Томчаков делать что-то по кухне выглядело бы унижительно для её положения, и обидой для свекрови, и недоверием к прислуге: часто присутствуя, нельзя было не видеть, как все откладывают впрок себе и своим, а те поварахи замечали, что Ирина заметила. Так богатство лишало Ирину простой кухонной женской радости.

Не то – последние дни. Сейчас она готовила весь церемониал, и как будет убрана столовая, где что расставлено, что за чем подаваться, и сама решала и опробовала весь состав меню со всеми подливками и гарнирами. За военные годы несколько поскудели их возможности, многого уже не было в запасе и достать нельзя, – но ещё избыток и преизбыток! Была нехватка и в подсобных женских руках – часть женской obsługi заменяла постоянных рабочих, теперь взятых на войну, и экономка оставалась только одна – и по дому, и по двору, и без буфетной девки, – тем напряжённее доставалось сегодня всем, и тем нужней ощущала себя Ирина, особенно при фаршировке птицы.

От обычных сборищ экономистов завтрашнее совещание отличалось тем, что ожидалось лишь сами хозяйева, без жён, без дочерей, и Ирина со свекровью будут единственными женщинами за столом. Но вдруг возникло у них: а не вздумает ли приехать старуха Дарья? От этого многое изменилось бы, начиная с рассадки.



Хотя старуха Дарья, вдова Фомы Мордоренки, всё хозяйство уже разделила между тремя сыновьями, да и сыновья уже имели взрослых детей, однако власть её так была велика, что сыновья и по сегодня перед ней отчитывались, и могла она захотеть приехать-послушать и даже выразиться. Ещё крепче держала она прислугу: вся та жила без своих комнат, спать ложилась вповалку в мраморном вестибюле, а личная прислуга – у хозяйских порогов, на полу. Старуха Дарья была непреклонной силы, и даже армавирские власти перед ней заискивали. Как-то пропало у неё в конторе 500 рублей, вызвали из Армавира пристава и двух полицейских с ищейкой. Дворню выставили в круг, вывели ищейку из конторы, все стояли и дрожали. Порыскав, собака подошла к конторщику Аврааму и стала лапами ему на плечи (да ведь чей же запах и мог быть в конторе?). Высокий хилый конторщик побледнел, пристав тут же несколько раз ударил его. Потом нагрузили на него мешок кирпичей и за 18 вёрст послали в Армавир. Там били и допрашивали, а пристав сидел у старухи угощаясь, и по телефону справлялся, как идёт допрос. Сперва дал показание конторщик, что спрятал в амбаре, потом – около сортира, и Дарья гоняла всю прислугу копать. А тем временем конторщик от побоев умер. (Прошло несколько лет, и одна дарьянина невестка, рано умирая от чахотки, призналась: “Это мне – за Авраама. Деньги тогда – я взяла”).

Но где-то и обрывалась дарьянина власть. Овдовевший сын привёз себе вместо жены – шансонетку, с тех пор к нему в гости семейные не ездили, а та принимала гостей в кружевах шантиль, под которыми одно трико.

Была ли она именно шансонетка, пела ли когда где песенки, Ирина не знала точно, но этим собирательным отвратительным словом “шансонетка” она обозначала и припечатывала всю категорию непорядочных женщин, разбивавших семейные устои. Припечатывала, уничтожала, знать не хотела и даже помнить бы не хотела – но кем-то однажды рассказанная эта сцена, как та встречала гостей, так и въелась, так и держалась в памяти, всё возвращалась и тревожила: одно трико под кружевами шантиль! Мороз...

Ещё надо было решить, что надеть завтра. Женщин не будет, значит строго. Жакет по талии с отделкой из каракульчи.

Ещё надо было в прачечную, где на особом гладильном столе, сбитом под необъятные иринины пододеяльники, сейчас старшая прачка гладила тюлевые занавеси для парадного зала.

Только уже при конце заката Ирина, усталая, вышла на свою обычную вечернюю прогулку – через парк.

Стояла, для позднего октября задержавшаяся, тёплая ласковая погода, как бывает южной осенью – безветренная. Если б не осыпь листьев да не ранний вечер, её даже осенью назвать бы нельзя, почти как лето, шла Ирина в шерстяной блузе, и было даже жарко. И росы не было.

От гледичии стлались по первой кривой аллее широкие крупные фиолетовые стручки.

Ещё не спущенный овальный водоём рябил кругами от упавшей веточки, а потом эти круги, отражённые от бетонной стенки, причудливо накладывались, и верхи деревьев покачивались в них: кое-где ещё не опавшие чрезмерные платановые листья и свешенные длинные жёлто-зелёные как будто странные чьи-то уши.

При начале сумерок быстро меняют окраску серебристые гималайские ели. Мрачнеют. И вдруг мелькает в них крупная какая-то птица.

А если через ели оглядеться на дом – в обоих этажах уже зажигаются огни, разных оттенков от абажуров и занавесей. И вот так, гуляя, можно вообразить, что это – не твой дом, не ваш, такой комфортабельный, но уже и надоевший, где известно о каждом предмете, лежит он или висит, о каждом человеке, что он сейчас делает и скажет, – нет, завлекательный дом неких неизвестных рыцарственных людей высокой души, где течёт жизнь благородная, светлая, достойная, о которой и в редкой книге можно прочесть.

На крайней каштановой аллее было светлей. Крупные каштаны в ёжистых оболочках лежали несобранные под ногами.

Каштановая аллея переходила в сводчатый коридор китайских акаций с цепочками

ядовито-зелёных плодов, и там опять было темней.

Здесь, на закатном краю парка, постоянно гуляла Ирина вечерами, переходя из света в сумерки, из сумерок в свет. Она фантазировала о йогах, о теософах, о переселении душ. Она очень даже допускала переселение душ – и из восточных понятий что-то красиво прилегало к христианской истине, и всё вместе воспринимается лишь как разные ипостаси красоты. Оря любила пометчать, кем она была *раньше*, кем будет *потом*. И – дотронется ли до звёзд, прежде чем перевоплотится. Она любила думать о красоте вздрагивающей, несбываемой, суженной не тебе, а душам свободным.

Небо чистое, нигде не порозовлённое ни облачком, переходило в тихую ночь, готовое к проступу звёзд, Млечного Пути, и скорому восходу полной луны, уже на убые, каждый день забирающей влево.

Убывало света – и заметней пробивали костровые огни из разных мест. То сжигали по всей степи бодылья подсолнуха на поташ. Рук не хватало, и сдвигалась недоделанная работа в осень и в ночь. Благодатная Божья скатерть – степь, и в эту войну нескончаемую, сюда не слышную и не видную, всё так же отдавала неуменьшенные дары человеку и только просила не забывать её руками.

Если сейчас посмотреть с балкона второго этажа – степь увидится в разбросанных этих кострах. И вдруг – так тревожно привидится: будто это стали на ночлег несчётные кочевники, саранчой идущие на Русь.

## 61

Молодость проживя в низких нищих мазаных землянках, в дверях сгибаясь чуть не в пояс, а и в середине распрямляясь не во весь свой здоровенный рост, полюбил Захар Томчак высокие потолки. Да высоких потолков он, может быть, просто вообразить бы себе не мог, если бы к постройке нового дома не побывал в отметных зданиях Ростова, начиная с банка и биржи. И вот в новой экономии оба этажа он поставил семи аршин высоты, как не строили здесь, а нижнюю парадную залу возвысил и до восьми аршин, для того поднявши над ней пол в домашней верхней зале, куда стягивали старую мебель.

Парадная зала окрашена была золотисто-розово, маслом, но под вид обоев. А потолок был не просто гладкого цвета, но плавали белые пухлые облачка, а меж них летали херувимчики, только не церковные, а хитроватые, и поглядывали вниз на гостей. С потолка спускалась электрическая люстра на двадцать ламп, и из каждого оконного простенка тоже торчала кривая с тремя лампами. В одном углу залы, уступая дочке и невестке, мол так у всех порядочных людей, поставили красную рояль, да две пальмы по бокам. Зато другой угол убрали иконами по-христиански. А ещё в третьем углу такая стояла здоровая пальма, что вынести её могли только все четыре казака вместе. Одна стена убрана была и зеркалом, три раза перебрать разбросанными руками, рама резная, позолоченная, только не блестящая, а матовая (тоже, мол, так лучше), а само зеркало отлито на собственном Его Императорского Величества заводе зеркал, фарфора и хрусталя. По другой длинной стене между двумя распашными входными дверями и дверями в столовую размахнута была печь в розовых изразцах. Одна короткая стена была как бы стеклянная – на зимнюю веранду с заморскими тёплыми цветами, а другой короткой стены и не было совсем: вся она была вынута аж до самой арки, и могли гости, хоть по четыре в ряд, переходить в гостиную. А гостиная была крашена в голубой цвет, а мебель в ней – полированного розового дерева, хочешь в креслах таких сиди, хочешь – на стульях таких, а то хоть и на диване, – такой же. И по полу гостиной постоянно простелен был французский ковёр. А по зале осенью, вот как раз сейчас, к съезду, раскатывали текинский.

До того хороша и размашиста была эта зала, что даже нечего было в ней делать: обедали не в ней, танцевать экономисты особенно не танцевали, разве что в карты играть, так чересчур просторно, на карты шли в домашнюю залу. И за всё шестилетнее стояние экономии, кажется, лучшего случая не было, чем сегодня, первый случай – собрать всех

окрестных экономистов, хоть друзей, хоть чужаков, с кем и не выпивали никогда за одним столом, – и размовляться о деле. Из-за этой-то самой размахнутой залы и сговорились собраться у Томчака.

К двенадцати часам такого же погожего солнечного дня с паутиною, разворачиваясь по парадному двору и ещё на дуговой проезд к самому крыльцу, подъезжали и подъезжали экономисты – на автомобилях, фаэтонах, в дорожных каретах, на рессорных бричках, на линейках, а штундист – без кучера, на двухколёсном шарабане, – ещё б на гарбе воловьей приехал, что значит чужая вера!

Захар Фёдорович в шевиотовом сиреневом костюме и в галстук (собачья завязь, шею душит) стоял на крыльце и только руки успевал пожимать, к одним сшагивая до самого экипажа, перед другими опять запячиваясь на приступки. Приехало по отдельности трое здоровых чубатых Мордоренок – два Фомича и один Акимыч. А Дарьи не было, оно и всем легче. И осторожно спустился с высокого сиденья, как паук по паутине, круглотелый маленький Третьяк – потихонечку, оглядываясь, не укусят ли. Был он, как всегда, и летом, в старом чёрном пальто – нараспашку, а полы гребут по земле. И Чепурных прикатил на дикой тройке – гологоловый, так брит, что голова аж сверкает (носил оселедец, да в Ростове засмеяли, сбрил недавно), зато усы как казачьи пики, в стороны. И приехали Мяснянкины, дружные дядя с племянником, оба пунцово-лиловые, небось уж с утра набрались. И двое молокан приехали, с дальних хуторов. И вот штундист.

А Владимир Рудольфович фон-Штенгель не только сам не пожаловал, но и управляющего своего не прислал. С мужиками не хочет.

Все они проходили в переднюю, а там стоял лакей Илья с седыми бакенбардами (так ему велено было, иметь бакенбарды) и в своей парадной ливрее. Он принимал шляпы, палки, пальто и с поясным приклоном показывал каждому на зал.

Где же было стать Роману? Не только о сути доклада своего он так ничего и не сказал отцу, из гордости, а тот не спросил, из гордости, но и как гостей встречать – тоже между ними не было обговорено. Стать теперь на крыльце рядом с отцом? – терялось отдельное значение Романа. Стать в передней? – при лакее невозможно. Так принимал Роман гостей уже в самом зале – строгий, деловой, в чёрной тройке и безо всякой улыбки (знал он от зеркала и от Ирины, что никакая улыбка ему никогда не идёт, она как будто угрожающе выглядит). Принимал, рассаживал по залу и по гостиной и сразу деловыми замечаниями настраивал экономистов, что приехали – напрягаться головами, а не гоготать и обжираться.

Но и хозяев и гостей более всего удивил – кор-рес-пон-дент! Да, самый настоящий корреспондент екатеринодарской газеты! Никто его не ждал, никто его звать не догадался, а просто был он в Армавире, от кого-то пронюхал про совещание (верней – что покушать можно будет по-экономически) и приехал – поездом, со станции пешком. Был он беленький, каких на Кубани не бывает, и худой, как с глистами.

Роман сразу его оценил: вот то, что и нужно, как же сам не догадался? Очень был с ним любезен, внимателен. И за большим столом совещания, по которому раскатано было синее сукно, наметил ему место рядом с собой.

А экономисты – аж ёжились: как держать себя при таком человеке? ведь пропишет. Хоть и рта не раскрывай вовсе.

Ну, всё же разговаривали, от него подальше, а как подходил – смолкали. Разговаривали – про ростовские мельницы. Всегда они работали на кубанском зерне, а теперь – запретили туда везти, и мельницы какие остановились, а какие – грубые сорта дерут. А тут – зерно томится. Это что, отвечали, вот с Питербурха чоловик прыйихав, там зовсим йисты нэма чога. – Да колы б хлиб и взэты у Ростов – так хиба ж то цину дають? Задарма скоту скормыть, и то барышу бильш. – А бичёвка завжды була четыре с полтиной пуд, а зараз – пятнадцат карбованцив. – Та шо бичёвка? А подошва? – Та вы кажить, робитныкы почём? Раньше парубок на усём хозяйском за пятдэсят карбованцив на лито наймався, а тэпэр йому двисти дай! – Та шо парубок? Баба в страду от зари до зари радэшенька була за симдэсят копийок, а тэпэр йий як бы нэ тры карбованця? – Та хочь бы робыли за совисть, а то тильки

гроши хватают, а робыть нэ робят. – И заплатышь, а шо ж, як робитныкив пидчистылы? Тильки инвалиды и остались, учётных вже нэма. А у том Ростови, дэ яка пукалка працюе, так биля нэй – учётный... Полонэных бы дали досыть, так и полонэных не прыжинут. А кого прысылають? – парыкмахеров та бухгалтэров. У полонэных, бачишь ты, *специальность* ! – Та хочь бы цибулы, кого заслалы. А то у саму страду – цап тоби, кудысь йих загрэблы, увэзлы.

Всё это верно говорили отчасти, но такими бесцельными бесформенными балаканьями сбивали романов доклад, портили ему. И, проворно ходя по залу, чёрный, подтянутый, поворотливый, с холодной любезностью, он предлагал отцу и другим старейшим – начинать.

А как его делают – *совещание* , никто не знал. Шли к большому столу под синим сукном, и даже братья Мордоренки, даже Яков с платиновыми зубами, не лезли занимать первые места. С непривычной уступчивостью отнекивались, не вылезать бы вперёд, препирались не чтоб себя выставить, как обычно, а чтоб себя загородить.

И покашивались на Корреспондента.

Отец как хозяин вроде и начал – вот, мол, собрались, побалакаем, кто як розумие... Но председателя – не предложил избрать. Ждал Роман, может скажет: вот у сына – *доклад* . Не сказал.

Что ж, оставалось действовать самому. Два десятка несурзных, мордатых, бронзовых и красных сидели в развалистых креслах вокруг просторного стола и без стаканов, без игральных карт не знали, чем руки занять, даже угребали их с синего сукна. По виду раззявились, а ощущали себя неловко. И на обширном синем овале не было ни единой бумажки. Ни единой, кроме большого бухгалтерского тома перед Романом и маленькой книжечки перед корреспондентом. И уже две этих записных книги всех заставили насторожиться и поглядывать на Романа. И теперь, не ожидая больше, он поднялся, строго оглядел собравшихся и сказал:

– Господа. Для того, чтобы наше совещание было плодотворно, не покажется ли вам удобным, если я сделаю доклад, дам анализ главным хозяйственным проблемам, стоящим перед нами, и предложу практические действия, после чего вам будет удобно высказываться?

Да – захолонули все! Не ожидал никто: ведь вот, оказывается, среди нас какой говорун вырос! Да такие слова – тут может быть и знал только один штундист, на дальнем углу, с маленькой чёрной бородкой.

И этим молчанием, этим согласным растерянным бормотом расчистился без председателя путь докладу. Роман распахнул толстую книгу и, поглядывая туда, а то уже и не поглядывая, свободно, твёрдо выговаривал, то поворачиваясь вправо, то влево:

– Первая группа проблем – это цены на нашу продукцию, в первую очередь, конечно, на хлеб.

И иногда перешуршивая листами книги и там карандашом что-то отмечая и выделяя, рассказал экономистам и про хлеба, и про кукурузу, и про шерсть, что они сами знали хорошо, но сложить так бойко и быстро ни за что б не сумели. (Да у кого б это терпения хватило всё выписывать!) Возмутился Роман низкими твёрдыми ценами, но напомнил, что и на реквизируемый скот первоначально были поставлены слишком низкие цены, а когда настояли хозяева, то подняли их, и за пару быков стало платить государство 400 и 500 рублей.

Корреспондент стал записывать.

А Ирина чуть выглядывала из притворенной двери столовой.

– Вторая группа проблем – это цены на промышленные товары.

И вычитывал эти нынешние цены: на плуги, на молотилки, на лопаты. И так от этих цен все разжигались, что Чепурных прогаркнулся громовым басом:

– А город усэ хоче надармачка! Нэхай бы робылы, як мы робым.

И поддали ему:

– Нэхай бы мэньш на заводах бастовали, о тоди б и цины булы.

Но – слушали. Кто голову задерёт, а там примирительные летают пташки не пташки, люди не люди. Сам удивлялся Роман, как хорошо его слушали, и как удаётся его первый общественный опыт. И от удачи ещё ровней держался и ещё высокомерно говорил:

– Третья группа – это рабочие руки. Положение и без того уже было катастрофическое, вы знаете, но вот начинают забирать и ратников 2-го разряда до 40 лет. Через какие-нибудь месяц-два у нас всё производство остановится.

Широкуюлые молоконе похлопали, похлопали веками: верно.

Крикнул Федос Мордоренко:

– Та розиряют хозяйство дотла!

– А ещё добавим и разврат труда: рабочие знают, что на них спрос, и работают хуже довоенного. Знают, что могут всегда уйти и найдут себе оплату выше.

Корреспондент записывал. (А ещё, когда приоткрывалась дверь в столовую, прислушивался туда. Тощий он был просто на редкость, тут среди экономистов похожего не было).

Слушали, не разбредаясь голосами и толками. Перед этими туземцами всегда свои преимущества зная, всё же удивлялся Роман, как сильно звучит его речь. Не давая вниманию рассыпаться, он приводил цифры, примеры, но не слишком много, и переходил к следующим проблемам: землевладельцам не дают государственного кредита, и потому, чтоб не останавливать производства, они вынуждены принимать любые условия рынка, любые цены, хоть в полное разорение себя, не имея возможности выждать лучших.

Тут многие закричали одобрительно. И всё увереннее видя себя их признанным ходатаем, Роман заключил так:

– Государству выгодно только среднее и крупное землевладение: большая отдача капитала и большее приложение труда. У крестьян нет средств, и они не могут поднять культуру хозяйства. Но и дворянское землевладение ведётся не лучшим образом: сами дворяне – белоручки, они коммерсанты плохие, а управляющие обкрадывают их и ведут хозяйство как чужое. Поэтому только экономисты представляют собой высший тип современного сельского хозяйства. И это должно понимать государство – и не должны забывать мы. Поэтому пришло время нам сменить язык с властями. Не ждать, как свалится, и не просить, а – потребовать. Напомнить, что такое мы для государства, сколько мы даём продуктов, – и потребовать!

Передались, передались совещанию – гордость его и обещательность, что именно он – сумеет потребовать. Осанились экономисты (а кто и губу отвесил), заважничали степняки, впервые услышав, что *они* от властей – и вдруг потребуют! Как от своих конторщиков?

А Роман дальше всё точнее предлагал: вынести постановление, выбрать уполномоченного, чтоб он снёсся с другими группами экономистов, а тогда от общего лица ехать на переговоры с властями и ставить условия. Рабочие руки? Если нет достаточно военнопленных, можно привезти рабочую силу с Востока или с Севера, у государства есть такая возможность, а нет – пусть сумеют. И пусть государство предложит экономистам кредит – не так, как нас грабит Волжско-Камский банк, под 8%. А хлебные цены если не будут установлены достаточно выгодные – экономисты имеют возможность вот с этой осени, сейчас, *вообще хлеба не сеять* или сократить посевы, а перевести силы и средства на то, что даёт барыш. И уж конечно отказаться от белотурки, от гирки, раз государственными ценами они не выделяются.

С несомненным успехом он кончил. Обеспечено было ему избраться таким уполномоченным. И будет публикация в газете. Скромно сел. Из ириного золотого портсигара закурил. Посмотрел ещё в лица кой-какие.

Так уже пристроились слушать Романа, что когда он кончил свою резкую речь, закрыл тяжёлую книгу и сел – то как будто ждали, может он ещё что скажет, чтоб остальным полегче.

Поклацал Яков Мордоренко платиновыми зубами.

Кто-то вздохнул. Кто-то крякнул.

Мяснянкины очень важно бровями повели, друг на друга посмотрели, ничего не сказали.

Кому-то ещё говорить надо, что ли? Как его делать, это *совещание* ? Вперёд не лезли, никто.

Ещё кресла были такие – для сиденья слишком удобные, вглубь-вглубь принимали, утопляли пяти-шести-семипудовое тело. А уж крышка стола подымалась чуть не к подбородку, много не поговоришь. А встать – так ещё трудней.

Хмурый маленький Третьяк положил было ладони на стол, упёрся, локти вывернул кверху, как надо бы при разговоре стоять-упираться, – нет, не осилил, остался сидеть.

Роман был так доволен собой, что упустил посмотреть лишь – на отца. Да и сидел отец по той же стороне, человек через двух, на него неудобно и шею крутить.

Да и никто от старшего Томчака не ждал: уж с сыном-то у них наверно сговорено, вместе думали.

Всю речь Романа Захар Фёдорович просидел молча, голоса не подавая. И когда теперь в два подлокотника упёрся, встал – тоже не поняли: может он по хозяйству распорядиться, обед проверить?

Нет. Так и остался стоять – дюж, не стар, не сгорблен, однако косточками кулаков упершись в надёжную, там под синим сукном, твердь дубового стола.

И было от совещания – только вот это положение тела, что он догадался стоять, когда все другие, хоть его не выше, сидят. А заговорил не громко, не звонко, на доклад Романа не похоже, а даже тише обыкновенного:

– Так-то так, хозяйва... На шерсть, та на скот, та на люцерну с пидсонухом мы пэрэкнутыся можемо и два года пэрэбьемось. Выручка – будэ. А там, мабуть, и ця вийна набрыдлая закинчиться, нэ до Другого ж вона Прышестя... А тильки: як же вона кинчиться, хто б мэни насампэрэд сказав? Не прыдит ли Герман до Армавира?... Як мы ось зараз сговорюемось та хлиба нэ посиемо – то шо наша армия будэ на той год у рот пхаты?

Даже не тих, а именно задумчив стоял Захар Фёдорьгч, как был последние дни, как будто гаркать не умел, палкой замахиваться не умел и сроду по степи не носился, стегая коней. Замолчал и стоял, как бы мог и кончить, дальше не говорить. Однако стоял. И все ждали. И опять – тихо, даже ласковым голосом, какой и в семье-то своей от него редко слышали:

– Да, дило йде в шкоду. О цей, остатний, год мы розиряемось. И так же будэ у наступном. Но кого б там до властэй нэ посылать и шо б воны там нэ удумалы, а хочь бы уси булы головы дурьы – повинни и мы тут думать, для того зибралысь.

И перед самым трудным ещё постоял, не торопясь голову совать.

– А може б мы года на два, на тры та забулы б зовсим цэ скаженнэе слово – **барыш** ? Як бы зроду мы нэ булы учены, шо такэ барыш е? И нэхай у наступный год бильш будэ от нас утукать ниж прытукать – абы работа йшла, хлопцы! Абы хлиб взростав и люды його йилы. И ньякый банк крэдытив нам на то нэ дасть. А мы и просыть не будэмо. Ось, як я могу кожный дэнь сала такой шматок зйидать и хлибыну цилую – а могу вэсь Велький пост майже и нэ йисты нэчого. Живит провалыться, а жив буду. А от Паскы до Троицы знову нарощу, та и з лышком. Вот так и мы года два поробым – и уси останэмось на мисци. И земля нас выручэ знов. Бо: *нэ гроши нас нажилы, а мы – йих* . И як трохы спустым йих – так писля вийны нажинём, здобудэмо.

В ужасе был Роман: что отец нагородил? Что наделал? Да если б знать – надо было говорить с ним раньше! Но – ожидать было нельзя такого от старика!

Вот Дарьи нет! – вот она бы сейчас клюкой ответила Захару! Да как все Мордоренки муку рабочим не с мельницы своей берут на 42 постава, а в экономии паровичок поставят и гонят дерть, – так неужели они стерпят захарово – без барыша? Да Третьяк! – барашков, правда, рабочим не считает, а коробку сардинок после гостей – “приберите, шоб цела була”, – как же это: чтоб утекало, а не притекало?

Но всё не перебивали безумного, и успел Захар так ещё сказать:

– И робитныкив ныхто нам нэ прыввээ. А шукать трэба самым. А для того – трэба платыць. Як и двисти за сезон, так и двисти. Пры тому, шо хлеб продавать у збыток – ще и робитныкам бильш платыць, соби у шкоду. Тому шо йим цю вийну пэрэжить – нияк нэ лэгше ніж нам з вамы. Але ніж моим симдэсят двум быкам упряжным, за кым ходыць ось нэма кому...

Ласково сказал. К быкам.

Но уже видел Роман, что будет сейчас отцу – грозный ответ! Оскалилась почти вся та сторона стола, кроме штундиста, да штундист робкий встрять не посмеет. Лошадник Евстигней Мордоренко аж челюсть отвалил, Яков – всю платину оскалил. Мяснянкины стали совсем лиловые. А Третьяк слабыми ручками опять в стол упёрся, упёрся, как будто сейчас и ноги сюда вытянет и дальше по столу на четвереньках.

## 62

### (Прогрессивный блок)

Изо всех воевавших стран только Россия разрешила себе не думать о продовольствовании заблаговременно и даже с начала войны. Средний годовой российский урожай был – 4 миллиарда пудов зерна, а в 1913 – 5 миллиардов, и в самом 1914 на 200 миллионов больше среднего, и в 1915 – нормальный, и даже в 16-м – лишь на 200 миллионов ниже. Годовой российский вывоз – 600-700 миллионов пудов, был высшим хлебным экспортом в мире. С начала войны вывоз прекратился, полумиллиардному избытку предстояло накапливаться ежегодно, так тем более не угрожали хлебные заботы. Из того избытка в 1914 военное ведомство не заказало себе даже и половины. Страна была переполненной чашей. И по многим другим продуктам, например по сахару, потребление никак не достигало производительности. Даже и к 1916 не убавилось в России ни крупного рогатого скота, ни овец, ни свиней, а жеребят по военно-конской переписи обнаружилось на 87% больше, чем в 1912 до всех мобилизаций. Посевная площадь, считая неиспользуемую, превосходила потребности страны в полтора раза.

В Германии с октября 1914 ввели обязательный процентный размол и примесь картофеля к хлебу, с февраля 1915 – карточную систему, 225 граммов муки, летом 15-го весь урожай, отделённый от почвы, тут же и отбирался государством; во всех европейских странах хлеб выпекался с примесями, союзников снабжала зерном Америка, – лишь Россия одна не знала и не предполагала хлебного горя, – ни тёмные правители её, ни просвещённые думские экономисты. Запасы страны даже считать было лень.

Первое странное и удивительное было то, что с начала 1915 вдруг не стало овса. Скакали или топтались сотни кавалерийских полков, вся артиллерия перетягивалась на лошадях, все обозы и транспорты были лошажьи, – а овса почему-то внезапно не стало. В том году для армии ещё хватило его, но уже Петроград и Москва ни по какой цене его не получали.

И как до сих пор все были к тому беспечны, так теперь спохватились все, кто дело с тем имел или не имел, – кто по службе, кто по выгоде, кто по гражданскому сознанию. Уже ни один питательный продукт не оставили теперь без рьяного внимания общества и без ретивых правительственных мер. Тем более, что именно в том году осталась русская армия без снарядов, и общественные наблюдатели склонны стали предположить, что это правительство доведёт её и до голода. Действительно, экспорта не стало, продуктов увеличилось – а цены на них почему-то стали расти.

И появилось новое в России выражение: *продовольственные заготовки*. И так это возникло поспешно и грозно, что не осталось времени разобраться, а как дело идёт само по себе? или составить общий план, или подумать, кому б это лучше всего делать?

Десятилетиями закупал же кто-то деревенские продукты – посредники, скупщики, торговцы, земства, кооперативы – всех теперь отстраняя, грянули поверх них *уполномоченные*. Министерству земледелия, всегда прежде занятому лишь землеиспользованием и землеулучшением, теперь поручили, не изменяя чинов и штатов, заготавливать продовольствие, и оно поспешно посылало на закупки несведущих людей, а военные власти и даже отдельные воинские части спешили слать своих заготовщиков и комиссионеров. При соревнующемся усердии властей и общества, создавались и начинали действовать многие бессистемные комитеты и надстройки особо-уполномоченных.

Так это возникло грозно, что уже 17 февраля 1915 был издан закон, разрешающий запреты местного вывоза и даже реквизиции. Полновластные губернаторы не прошли мимо тех разрешений, опоясали свои губернии заставами и запретами, и так другие местности оказались без притока хлеба и иных продуктов. И если проворные шуйские кооперативы извернулись купить себе хлеб заранее и свезли его в Кинешму на перемол, то теперь запрещён был вывоз из Кинешмы, и своего собственного хлеба Шуя получить не могла. Запретными законами в несколько месяцев были разорваны многолетние естественные связи между производителями и потребителями, разрушена работа и сеть сотни тысяч крупных и мелких хлеботорговцев, приобретавших опытность и умение с молодых лет и часто стоявших на своём деле наследственно. *Уполномоченные* получили право выслеживать хлеботорговцев, угрожать реквизицией, снижать цену – и попросту отобрать торговлю. Добросовестная торговля была контужена, с рынка ушла, и взамен выступила спекуляция, бравшаяся нарушать запреты и везти через заставы, хотя бы по взяткам.

И цены на продукты – росли. К началу 1916 они повсеместно удвоились.

Тогда и правительство бросилось бороться с дороговизною и тем более *общество* (городское, как известно), наиболее страдавшее от неё. Общество собирало съезды по борьбе с дороговизной, правительство – комитеты по борьбе с нею. Отдельно боролись с Дороговизною губернаторы и градоначальники, как умели в областях своего властвования. Многодеятельный министр внутренних дел Хвостов-племянник изобрёл такую меру, слишком популярную в последующие годы, как “разгрузка железнодорожных узлов” через облавы на спекулянтов.

Так это высоко выросло перед Россией, что власть не взялась оседлать проблему сама, обходя недоверчивое общество, но – дальновиднейших и образованнейших его представителей, тех же думцев, летом 1915 пригласила в Особое Совещание по продовольствию, во главе которого стал министр земледелия. Новое учреждение натурально пополнилось своею собственной Комиссией по дороговизне и своими губернскими и уездными комитетами, и своими собственными, уже *главно*-уполномоченными по отдельным продуктам: по сахару, по маслу, по коже... И во всех крупных городах – Киеве, Харькове, Самаре, Саратове, Нижнем, продовольственное дело состояло в руках прогрессистов.

Но ещё могли быть разные направления внимания и усилий Особого Совещания по продовольствию. Можно было обратить их на то, что в иных губерниях – Саратовской, Воронежской, пустовали многие земли Крестьянского поземельного банка, – и передать их бездомным, бездельным беженцам, обращая тех ко временной оседлости. Можно было обратить усилия на земли, возвращённые от неприятеля, но не восстанавливаемые после военных разорений по отсутствию средств у министерства земледелия; или на земли, отобранные у немцев внутрироссийских и сразу выпавшие из всякой производительности, – те земли передавать опять-таки Крестьянскому банку, или местным земствам, или пострадавшим воинам, и так возвращать их в дело.

Но нет, эти линии медленного труда не оказались привлекательны для Особого Совещания, где ни единое решение не было принято министром без одобрения общественных представителей. Представители вольнолюбивого русского общества,



воспитанные в понятиях прежде всего *борьбы* классовой и экономической, получили внушительную возможность защитить интересы патристического городского населения от тёмных корыстных сил *аграриев* – термин, хотя и пришедший с Запада, но хорошо усвоенный русскою интеллигенцией: аграрии – это те, кто владеет землёй, то есть прежде всего и главным образом помещики, к ним же приходится отнести, больше некуда, и крестьян (четыре пятых возделываемой земли). Обуздать же аграриев и спасти Россию можно было единственно только *твёрдыми ценами*. Чтобы не дать помещикам выиграть от хлебных цен – готовы были задушить крестьян.

Кто первый предложил твёрдые цены – оспаривали ту честь правительство и общественность. Да впрочем, носился же пред всеми и образец Германии, где твёрдые цены начали устанавливать на год раньше нас. Казалось бы, что в стране с изобилием продуктов твёрдые цены не нужны: производители сами снизят их, наперебой предлагая свой товар. Но Особое Совещание по продовольствию, и активная общественность, и ленивые правительственные уполномоченные громко стали требовать твёрдых цен – и в 1915 их вынужден был ввести, хотя сопротивляясь, тогдашний министр земледелия Кривошеин, – сперва на овёс, затем и на другие хлеба. Однако установлены были твёрдые цены лишь для казённых сделок, на закупки для армии, установлены несколько выше существующих рыночных, “с походом”, и установлены как раз вовремя, к концу урожая, когда хлеб уже везли, по привычке, сложившейся веками. Частная торговля могла приобретать хлеб ниже твёрдых цен, и уполномоченные не сбивали, они тоже пользовались ценами ниже твёрдых. Благополучно снабжена была и армия, успела и вольная торговля заготовить все запасы, подвезти к своим мельницам, смолотить и обеспечить все местности северной России и центры её. Зимой с 1915 на 1916 год обошлась Россия без голода.

Но в 1916 всё в России продолжало дорожать (к августу от января рубль упал вдвое), общественность встрепелась и решила: твёрдые цены на хлеб должны остаться во что бы то ни стало умеренными, нельзя допустить обогащения аграриев и обеднения городов! Так ещё с весны 1916 возгорелся в Думе, в печати, повсюду, многогласный спор о твёрдых ценах на хлеб: какими они должны быть в наступающем году, как помешать им вырасти. На это могли ответить только широчайшие совещания. Земские статистики опрашивали производителей, исследовали составление хлебной себестоимости, в уездах и в губерниях собирались съезды землевладельцев и земледельцев и подсчитывали ту же себестоимость. Собирались совещания городских деятелей, чиновников и обывателей, и тоже подсчитывали стоимость хлебного производства – и у них получалось гораздо ниже, чем в деревне, что и разносили газеты, все либеральные и все биржевые: голос *независимой* печати восстал против неслыханных аграрных appetитов! Жадность аграриев! эгоизм земельных собственников! – обвиняла левая (она вся была левая) общественность. – Им только бы урвать и нажиться на народном горе, они не способны и не хотят подчинить владельческий интерес – государственному.

Главные ораторы и мыслители Прогрессивного блока в Особом Совещании по продовольствию были Воронков и Громан. Воронков, в соответствии с классовым пониманием, выдвинул такое рассуждение, что *крестьянам выгоднее продавать дешевле* и только помещики хотят продавать дороже; и если повысить твёрдые цены, то как же обойдутся крестьяне бесхлебных губерний, которые хлеб покупают? Именно забота о *крестьянах* и диктовала ему требовать для всей России наинижайших хлебных цен, на уровне Полтавской губернии. А единомышленник его Громан, либеральный учёный экономист, впрочем, сильно попортивший земское дело в Пензенской губернии, давал другое теоретическое обоснование тому же выводу: поскольку деньги подешевели, то высокою ценою на хлеб крестьянина не соблазнишь: продав 2-3 пуда, он уже удовлетворит свои нужды (так как не стало на Руси кабака, продажею зерна не добыть водки) – и больше на рынок не повезёт, а то, смотри, и сеять

перестанет. А вот если установить низкие цены, то это создаст *нужду на селе*, и тогда город получит достаточно хлеба. (У Громана большое будущее: он ещё будет и “продовольственный диктатор” при Зиновьеве и первую пятилетку будет большевикам сочинять, но не так удачно для себя, посадят).

К тому же присоединялись и торгово-промышленные деятели (которые тоже хлеб ели, а не растили), и весь согласный общественный хор.

В этом хоре тонули и глохли слабые оправдательные голоса помещиков и крестьян, одиозные для общественного слуха и сиротливые в Думе: что твёрдые цены есть мера принудительного отчуждения хлеба, а став однажды на путь принуждения, с этого пути потом не сойдёшь; что при падении рубля вдвое, зерновые подорожали лишь на четверть-на треть, то есть по сути хлеб не подорожал, а подешевел (но мы-то, горожане, из кармана платим больше!); что низкие твёрдые цены скажутся на крестьянах никак не меньше, чем на помещиках, они несправедливы и для тех и для других; что если дуб обеспечивает жолуди – не следует требовать с него и корни; что погоня за дешевизною, низкий уровень твёрдых цен, даже ниже себестоимости (равнение всероссийских цен по полтавским), приведёт к разрушению сельскохозяйственного производства или к тому, что хлеб с рынка *уйдёт*. (Это – угроза, что он уйдёт? вы – *не дадите*? так и говорите! а крестьяне – охотно отдадут свой хлеб, он просто хлынет на рынок!)

Уровень твёрдых цен должен быть таков, чтобы хлеб охотно везли, ибо измыслить средства, чтобы его искусственно, а тем более насильственно извлечь из 18 миллионов хозяйств, где он находится, задача слишком трудная, быть может и непосильная.

И разные уже совсем мелкие, специальные доводы, призванные прикрыть затаённую собственническую корысть: что должны быть рассчитаны цены с условием вздорожания гужа; что нельзя с городским неразумием лепить неосмысленные цены, кладя их и на семенной материал, какой получается лишь полпуда из пуда; что местный неурожай, как в Курской губернии, сразу удваивает себестоимость – и как же её оправдать ценою? Дескать, не только запретительные меры должны быть против деревни, но и какие-то укрепляющие, чтобы могла устоять производительность; ведь из сельской России взяли в армию 11 миллионов работников, вернули ей только 600 тысяч военнопленными, а требуют того же урожая и по неизменным ценам. Говорили защитники деревни, то есть правые:

Силу России создаёт крестьянство не в нужде, а богатое и хозяйственное. Как боятся переплатить крестьянину! Как боятся влить в тот бассейн, откуда вычерпают всегда!

Конечно, в образованной России уже полвека было так, что нельзя защищать деревню иначе, как защищая только и исключительно крестьян. Так и сейчас звучали в Думе и в Особых Совещаниях речи депутатов-помещиков. А кроме произносимых речей ещё было, конечно, сопротивление скрытое, действие тайных встреч, кабинетных разговоров. Весь 1916 год звенел разговорами о твёрдых ценах на хлеб, а цены эти никак не могли уложиться. Склонный к ним, поддержанный Блоком, министр земледелия Наумов был в июне снят, а заступивший не сразу граф Бобринский был противник их и вовсе не торопился.

Спор шёл не только о принципе твёрдых цен, не только об уровне их, но и о том, как широко их распространить. Ведь они родились в 1915 лишь для армейских закупок, долгое время не касались остальных сделок, и сохранялся старый непоощрительный порядок, что те, кому удавалось скрыть свой хлеб от уполномоченных, от нарядов, от губернских застав и не продать по твёрдым ценам, – те, перетаясь, могли потом вполне законно продавать свой хлеб по возвышенным вольным ценам.

Несносные аграрии расширяли ещё дальше: почему только о хлебе идёт спор?

твёрдые цены – почему только на один хлеб? Вон, в Германии твёрдые хлебные цены низки, так там – и низкие твёрдые цены на все изделия промышленности, и деревня, дешево отдавая, дешево и получает. В Америке хлеб ещё дороже нашего, а промышленные товары, напротив, дешевле. А у нас керосин, железо, сельскохозяйственные орудия за время войны вздорожали в 10 и в 15 раз. Оттого наша деревня и чувствует себя так, словно город рвёт у неё пропитание изо рта. Осмеливались указывать аграрии, что их предпринимательская прибыль никогда не превышает 3%, тогда как за военные годы вакханалически увеличились доходы промышленников (например, Коновалова, виднейшего деятеля Прогрессивного блока) – на 200-300% в год от основного капитала, а то и на 500, и 1000%. Казалось бы: откуда же эти барыши, если повысить цены и на материал и на труд? Только от ограбления потребителей, другого источника не придумать. Нефтяные промышленники, ожидая повышения цен на нефть, у нас имеют возможность остановить нефть – не стесняясь остановкою мельниц. А склады банков, ломбардов и акционерных компаний у нас имеют возможность, не как в Германии, скрыть запасы любого товара до выгодного повышения цен. Устанавливать твёрдые цены – так надо же и для промышленности! Ограничивать прибыль – так надо же и для банков!

О нет! Именно в эту сторону, на промышленность, на банки, на акционерные общества, не взглядывали, тупили глаза первейшие ораторы Прогрессивного блока. Промышленников хлестали социал-демократы, попрекали правые, но либеральный центр, но его лучшие экономисты – никогда.

Так распухал вопрос, захватывая уже не хлеб один, а всю жизнь тыла. Трудно и страшно было русскому сознанию представить Россию зашнурованной как Германия – однако само дело начинало поворачивать к этому, уже страдая как будто не от зашнуровки, а от недотянутости. Вкрадывалось небывалое для России понятие: *диктатура*. Опережая нас, её вводили парламентские Англия и Франция, у нас же и правые возражали, что

тщетны попытки регламентировать такую страну, как Россия,

а Прогрессивный блок воспротивлялся внеправовому насилию над свободным обществом. И когда в июле 1916 начальник штаба Верховного генерал Алексеев представил Государю учредить “гражданскую диктатуру”, которой подчинялись бы все министерства и вся оборона, для чего милитаризовать оборонные заводы, тем самым устранив забастовки на них, одновременно обеспечив рабочие семьи дешёвым питанием, солдатским пайком, освободив их от добывания пищи, – свободолюбивые русские фабриканты, поддержанные кадетской и социалистической общественностью, возмущённо отвергли вмешательство военного произвола в заводские дела. Впрочем, и Государь, не способный принять волевого цельного решения, поколебался и образовал несколько бездельных промежуточных комитетов.

За этими всеми спорами, за течением месяцев 1916 года твёрдые цены на хлеб, именно на хлеб, сами собою врезались в русскую тыловую жизнь. И военные власти, и государство, и общество сошлись на их неизбежности. От месяца к месяцу расширялся их охват: закупать по ним уже могли и уполномоченные оборонных заводов, и уполномоченные столиц и главных городов, и вот уже невыносимой становилась двойственная система хлебных цен, и съезды уполномоченных и земские, и думские деятели требовали полного запрещения нелепой вольной торговли, да и правые депутаты уже не видели иного выхода, ибо свободная торговля всё равно была сотрясена и убита.

А вводились твёрдые цены в 1916 так. Вся Россия, грамотная и неграмотная, ведала, что будут твёрдые цены, но спор идёт об их высоте. Уровень цен следовало объявить в начале лета, на юге закупка начинается с конца июня и постепенно передвигается на север. Но целое лето прошло в спорах. Наконец, в сентябре цены объявили (по настоянию потребительных членов Особого Совещания весьма

умеренные), но и тут никто не поверил им, ибо тут же против них с двух сторон началась кампания: с городской – что полтора рубля за пуд ржи это непомерно много, с помещичьей – что это несправедливо мало. Мелькнуло в газетах, что три министра считают цены преуменьшенными. И так у сельской России не было уверенности, что вот и окончен спор, что не дожидаться цены повыше. Ещё хлеб помещиков шёл, ибо им нельзя остановить оборота, крестьянский же хлеб как заколодило. До твёрдых цен шла торговля ещё по вольным, и мельники на местных базарах ещё могли делать запасы и кормить население. А как только были назначены твёрдые цены, так крестьяне с ругательствами повернули с базаров свои возы домой.

Был упущен тот многолетний психологический момент, когда хлеб вывозится на рынок. А упустив, уже ничего нельзя было исправить – теперь не вызвать было хлеб, даже увеличивая твёрдые цены: не слишком нуждаясь в бумажных деньгах, производители ждали бы, что повысят ещё.

Армейские уполномоченные заготавливали хлеб реквизициями, но большая торговля не повезла хлеба ни по летним, ни по осенним рекам. В 1916 упущена была вся навигация – главный питающий канал русской хлебной торговли. Нижегородский караван, традиционно забиравший 10 миллионов пудов нового урожая с нижней Волги, сходил в низовье зря и воротился на зимовку порожним. Первоклассные мельницы среднего и верхнего Поволжья, молотившие для всего Севера по сто тысяч пудов в сутки, осенью 16-го года остановились и распустили рабочих. И на станциях железных дорог немало товарных вагонов простояли пустыми, тщетно ожидая зерна. Новгородская, Псковская, Архангельская губернии всё непоправимее теряли возможность купить хлеб. А тут началась осенняя распутица, размыло русские грунтовые дороги, – и хотя был ещё месяц навигации в запасе, но до пристани и до станции уже и при всей охоте было не донести зерна.

Урожай 1916 был собран – солдатками, стариками и подростками – полноценный. Но оказался не там, где был он нужен: по всей российской глуши он остался томиться в амбарах и в зародах, недоступный для мельниц, пекарен и городских булочных. Был хлеб в России – и как бы не оказалось его. Не было в России голода – и вот он нависал к весне 1917. Уже с осени ощущали хлебные перебои даже южные Харьков или Ростов-на-Дону. Москва же и Петроград не сделали запасов, а питались ежедневным правительственным подвозом.

Прогрессивная общественность могла бы торжествовать: ей удалось навредить ненавистному помещику, добиться низких твёрдых цен. Но вопреки предсказаниям кадетских экономистов, к изумлению Громана, тяжёлое положение создалось не в деревне, гоня зерно на рынок, а – в городах, отягощённых ещё и беженцами с запада.

”Аграриям” – нажиться не дали. Но дали – городским спекулянтам.

Перед громким самоуверенным голосом образованного общества лишь редкое стойкое правительство смеет упереться, подумать, решить самостоятельно. А русское правительство под укорами и настояниями общественности то уступало, то колебалось, то забирало уступки назад. Его воля была размыта, текла такой же жижей, как русские осенние грунтовые дороги.

Как во многих крупных общественных процессах, разновременные и разнонаправленные усилия отдельных групп постепенно складывались в единое движение истории. Концы какой-то непонятной верёвки, не различаемой на близком отстоянии, попали – один в руки общественности, один – в руки правительства, и те и другие то уверенно, то с колебаниями выбирали, тянули её к себе, сколько могли. И не осмотрелись, что верёвка та закладывается сама в петлю, а та петля оказывается не где-нибудь, а на питающем горле России.

После роспуска Думы в сентябре 1915 кадетское разочарование было очень глубоко. Говорилось, конечно, что теперь события пойдут мимо монарха, что он сам

себя поставил в положение расплаты и только придётся отложить её до поражения Германии. Даже сдержанный Маклаков прозрачно выразил это в “Русских Ведомостях”:

Если по горной узкой дороге вас и вашу родную мать везёт шофёр, который не умеет править, или устал, ослеп, не понимает, что делает, но ухватился за руль и не хочет его передать, – разве решитесь вы силою выхватить руль? Нет! Вы даже будете помогать ему советом и *отложите счеты с шофёром до того возделенного времени*, когда на равнине...

Оттого что правая часть Блока не видела беды в происшедшем:

Мы отнеслись трагически к смене Верховного – а Государь видел дальше, перемена оказалась к лучшему. Мы настаивали сменить министров – остался самый нежелательный из них, Горемыкин, и война пошла лучше. Прекратился поток беженцев, не будет взята Москва! – это бесконечно важнее, чем кто там будет министром и когда созовут Думу. Итак, если будем махать руками против правительства – уроним свой авторитет, –

тем горше чувствовали себя кадеты: не зря ли в этот Блок вступили? Длинный фланг левых партий всё время перетягивал левое кадетское крыло, ведь партия уважалась интеллигенцией тем больше, чем она левей, и в их благородном веере кадеты были сборищем министриабельных оппортунистов. И в самой кадетской партии было своё левое крыло, его лидеры Некрасов, Маргулис, Мандельштам обвиняли Милюкова, что он завёл партию в болото, требовали равнения налево, допустить нелегальные приёмы в тактике, соединиться с социалистами и уж конечно выйти из Блока.

Крушение надежд признавал и центр Блока.

Ефремов: Общество удручено, что Блок себя никак не проявляет. Закрыли сессию Думы – Блок промолчал, не приняли депутацию – Блок промолчал.

Князь Г. Львов: Блок хотел принести жертву, разделить тяжёлую ответственность, тупые же люди объяснили стремлением к какому-то захвату власти. Блок ни в чём не ошибся. А вот Россия висит в воздухе.

С 1915 на 1916 нужна была Милюкову богатая способность аргументировать, большая устойчивость в ногах над тем обрывом неопределённости, где замялся Блок. Рядовому взгляду так не проникнуть, но выдающийся лидер предвидел и открывал ближайшим: Блок – своего часа дождётся. Едва кончится война – Франция и Англия уже ни копейки не дадут правительству, безответственному перед Думой. Чем ближе будет победа – тем стоворчивее станет наше тупое правительство к Государственной Думе: в ссоре с ней ему нельзя явиться на мирный конгресс. Тупей его самого тот тупик, в который оно себя загнало, начав войну с Германией. Только не дать ему помириться с Вильгельмом, а гнать его на войну до победного конца! – и победа отдаст русское правительство в руки либералов. Отсюда стратегия: ждать и терпеть.

С другой стороны, конечно, нарастает революция, и в этом-то и сложность, и тут должно проявиться всё умение кадетской партии: сдерживать своё справедливое негодование, помнить: расплата с правительством после войны. Переносить от правительства унижения, притеснения, презрение – но не дать произойти общественному взрыву во время войны, чтобы не победил Вильгельм и не отдал бы нас в полную власть Николая. Когда же русское общество всё равно неминуемо взорвётся – это будет уже на другой день *после войны*, и трусливое правительство капитулирует так мгновенно, что русские либеральные образованные круги успеют бескровно перехватить власть, особенно с поддержкой Англии и Франции.

Так что мы всё равно скоро будем у власти.

Все месяцы они собирались по частным петербургским квартирам, и у Милюкова хватало методичности, не дремля, записывать для истории томительные колебательные прения. (Потом он покинул их в России, не взяв в эмиграцию, где

вероятно уничтожил бы. Читать те записи теперь свежее, чем хитро отглаженные мемуары или вышедшие в печать речи).

Астров: Слои внизу испытывают к нам ненависть и раздражение. Гнев населения обрушивается не на правительство, а на общественные организации.

Маклаков: Левые ведут отвратительную атаку против цензовых. Боюсь коренного разногласия с левыми.

Милюков: Надо подготавливать материал для самооправдания от левых.

Маклаков: Но с момента, когда мы начнём конфликт с короной, – я не боюсь левых. На чём можем возбудить общественность? На эффектной лозунге. Поднять забастовки? Этому пути мы боимся. Я надеюсь на 11 марта. (День убийства Павла I).

Князь Г. Львов: Если упираться в конфликт с короной – может быть провал. Ведь мы соединяем людей деньгами и шкурными интересами.

Челноков: Боюсь, что “подъём” будет неврастенический. Сколько раз повторять резолюции?

Как-то забрёл и

Гучков: Я готов бы ждать конца войны, если б он был обеспечен благоприятный. Но нас ведут к полному поражению и краху. Ваше и наше молчание будет истолковано как примирение с властью. Надо – разорвать мирные отношения с ней.

Меллер: Мы страшны теперь тем, что молчим. Наша позиция очень сильная.

Вл. Гурко: Если будем молчать – сам Гришка станет премьером. Действует только страх. Напугать их до белой горячки. Обращение к улице? Может быть, в крайнем случае.

Стемпковский: Снабжение армии теперь наладилось. Так будем валить на правительство – дороговизну, железнодорожную разруху.

Ефремов: Надо прессу подговаривать.

Шидловский: Включить в будущую думскую резолюцию фразы и мысли патристические, которые страховали бы Думу. Не поднимать рогатых вопросов, чтобы сохранить Блок.

Милюков представил проект резолюции ещё не собранной Думы. Было в ней, кажется, именно то, без чего невозможна победа над Германией: прежде всего – амнистия революционерам; потом – права евреям, умиротворение народностей; наконец, *правительство из лиц, сильных доверием страны*. И опять упёрлись в это заклятое:

– Как выяснить власти этих лиц? Где признаки того, что лицо “обладает доверием страны”? Завтра скажет Государь “согласен” – а где они?

– Указывать имена неделикатно.

Дмитрюков: Никакое “доверие” не значит ни в каком государственном праве.

(А между тем, почему бы ему не быть?)

Ефремов: Опасно придавать чрезмерное значение смене лиц. Необходимо менять систему. Формула “министерства доверия” – ошибка, министерство должно быть *ответственным*, министры – не выгоняться сверху, а – уходить, когда им будет отказано в доверии Думы.

Милюков: Это – смена самого государственного строя. Так не делают во время войны. Не перепрягают лошадей при переезде через реку.

Но одну несомненную ближайшую главную задачу Блока приняли все:

– Сделать козлом отпущения Горемыкина. Всё валить на него.

– То мы говорили: Думу нельзя собрать с Горемыкиным, а теперь соглашаемся?

– Серьёзный разговор с Горемыкиным наступит только после войны. Набраться терпения и ждать.

– Нет, нельзя допустить, чтоб Горемыкин заключал мир.

– Если состоится полная победа над Германией – тогда уже не воскресим злобу против Горемыкина.

– Бить в набат: совет министров – единственная в стране непатриотическая группа!

Шульгин: Всю пьесу так и располагать: пока не разгонят – побольше сказать!

Но – ни к чему не годная неповоротливая власть опять сманеврировала быстрее Блока. В середине января, за три недели до Думы, был снят, уведен от удара закланный древний Горемыкин. И – кто же вместо? Николай II как будто нарочно сочинял фарс. При высшем напряжении всемирной войны и клокотании русского общества – кого же из одарённого своего народа, кого же из 170-миллионной России, по какому клоунскому признаку избрал он премьер-министром? Старательного службиста из департамента общих дел, прирождённого заведующего церемониальной частью, гофмейстера Высочайшего Двора, ещё и с немецкой фамилией, – Штюмера. (Вполне он был честный, да даже и деловой, только со слишком средними способностями, – а главное, уши императора не различали издевательского звучания). Два горемыкинских далеко разведенных бороды сменились на одну гладкую длинную швабру, будто приклеенную, как у рождественского деда. И если прежний гадкий Горемыкин всё хотел править сам, без Думы, то новый всероссийский церемониймейстер не только не возражал против длительных её сессий, но он с Прогрессивным блоком ладить хотел, он пригласил Думу – на раут!

Ошеломлённое бюро совещалось тайно:

Шидловский: Отчего бы на раут не пойти?

Милюков: Ни в коем случае, продешевим.

Ефремов: Выжидательной позиции занять нельзя: правительство почувствует себя уверенней. Сразу же сказать: правительству не верим!

Маклаков: Как же это: в первый день – и уже правительству не верим? Это будет предвзято.

А тут ещё воинственные земгоровцы привезли в Петроград свою записку думцам: не то что победы не будет, но ни дня дальше нельзя воевать при этом правительстве!

Н. Кишкин: Пути сообщения, продовольствие, беженцев – всё отнять у правительства, всё передать общественным организациям! А иначе – полный разрыв с ним!

Н. Щепкин: Сохранять ли видимость Государственной Думы – просто для свободной кафедры? Или, при бесславном существовании, она уже потеряла своё значение, и полезнее для страны даже полный роспуск Думы?

Астров: В Записке мы хотели изложить наши впечатления. Исправлять – не надо: объективное изложение – не наше дело. Ждём от Блока уверенного грозного тона. Сердцевина общественных организаций утомляется.

Дума собралась 9 февраля 1916. Первоначально хотели оттянуть ещё на две недели и собрать её в прощёный день – последний день масляны, дорогой всякому русскому человеку, когда православные земно друг другу кланяются и просят прощения. Но кадеты были уже слишком не православные, и прощёный день мало обещал умягчить их. Однако чувствовал трон какую-то неловкость или ошибку свою, и, самый представительный толстяк России, Родзянко имел успех: уговорил Государя на необычный шаг – посетить Думу при её открытии, вообще первый раз в жизни посетить её. В Екатерининском зале собравшиеся депутаты крамольной Думы долго кричали Государю “ура”. Прошёл торжественный молебен – и члены Думы, кроме самых левых, пели “Спаси, Господи, люди Твоя”. Государь был очень бледен вначале, войдя в эту клетку тигров, но постепенно успокаивался.

Если бы этот человек не был вечно скован заклатою непростотой от неуверенности в себе – ещё и в этот день ему доступно было изменить историю России: вдруг бы глянув открыто, улыбнувшись широко, руки депутатам пожимая по-мужски, да даже взойдя быстро на думскую трибуну под свой же холодный длинный портрет и оттуда с широкой душой открывшись российским подданным, что – трудно ему, трудно

и тоскливо, но заодно с представительством (уж там народным или псевдонародным) надеется он дружно одолеть Вильгельма, а мира сепаратного не будет никогда! и такой мысли в нём истинно нет, и такого движения никогда не делал, ибо для того надо быть предателем России, а он, царь её, первый должник её, уж там худо ли, хорошо, но по способностям своим радеет ей служить. И это чтобы не только словами, но самим голосом звучало твёрдо и громко! Да ещё сменить бы свой выбор министра-председателя, да вместо церемониймейстера и поставить какого способного человека, – ведь хуже вряд ли бы получилось.

Но ещё со смертью Александра III умерла энергия династии и её способность говорить открытым полным голосом.

Увы, и в этот день выраженья лица, слова, жесты и действия монарха были самые скованные, самые уклончивые. Сказал незначащие слова кольцу окружавших его депутатов, впервые за 10 думских лет заглянул сбоку в зал заседаний, спросил – на каких скамьях какая партия сидит, расписался в золотой книге, приветливо поговорил с более понятными ему чинами канцелярии – и уехал. (Брат Михаил хоть остался поскуцать на думском заседании).

И на трибуну Думы взошёл вялый старый гофмейстер с долго-щёточной бородой, и слабым голосом читал по тетрадке декларацию правительства. Отвечал

Милюков: С некоторого момента незнание специальности стало как бы патентом на министерское назначение. Это – *министерство недоверия* к русскому народу. Схожу с кафедры без ответа и без надежды получить его от нынешнего правительства.

Но прекрасно владел он этой мерой: как будто и рвать – а не напрочь. Край пропасти всегда ощущал он осторожным копытом.

Это главное усилие – удерживание, и выпало на Милюкова почти во весь 1916: удерживать Прогрессивный блок; и удерживать бешенеющий Зем Гор Союз; и особенно удерживать левых в своей партии. В конце февраля на съезде кадетов левые уничтожающе крушили Милюкова – резче всех кадеты Киева и Одессы, и московский присяжный поверенный

Мандельштам: Милюков уверен, что спасает партию от гибели, а между тем губит её. Пока не поздно, нам надо перейти на другой берег пропасти, блокироваться не направо, а налево. В политических расчётах нужно исходить из того, что после войны должна быть расплата, строгий народный суд. Будем откровенны: в нашей среде есть много таких, кто в революции видит одну только пугачёвщину. Но если мы не хотим бессмысленного бунта, мы и должны стремиться играть в народном движении руководящую роль.

Отчасти склонялся к ним и

Шингарёв: Вся наша задача – не дать взрыву народного отчаяния похоронить победу над Германией. Но мы должны страшиться и того, чтобы после войны, когда начнётся строгий суд над преступным правительством...

(правительство – уже на *скамье*, это дело решённое)

...нам не был бы послан упрёк, что мы оказывали ему поддержку. Нужно раз навсегда установить: Штюмер для нас во сто крат хуже Горемыкина!

(Вот тебе так! Недавно – хуже Горемыкина придумать было нельзя, только бы Горемыкина сшибить, всех собак на него вешая, теперь – ещё *во сто* раз хуже!)

...В лице Горемыкина мы имели по крайней мере прямолинейную честную власть.

(Этого никогда не молвили раньше).

...Там была безумная ставка реакции – погибнуть или победить. Штюмер – это воплощённая провокация, лисья тактика. Его задача – обмануть и выиграть время. Не будем же помогать Штюмеру исправлять страшные ошибки власти: пусть она тонет! такой власти мы не можем бросить и обрывка верёвки! Никаких переговоров с ними!

Но – прочно, уверенно упирался



Милюков: Само существование Блока загнало власть в угол. Широкой оглаской в печати, энергичной критикой в Думе мы эту власть заставим подчиниться контролю общественных организаций!

А если ещё вспомнить стратегический расчёт кадетов: чем ближе к мирному конгрессу, тем вернее отдаётся им в руки царское правительство... Блок своего часа дожждётся...

И – выстоял. И большинство собрал. И надолго, почти на весь 1916, Прогрессивный блок как будто засел в окопы, лишь ожидая грозного конфликта, а пока занимаясь рядовыми думскими делами. Не разгонял их и Штюмер, воплощённая провокация, – и Дума спокойно проработала два месяца до Пасхи, а летом – ещё месяц. Даже сонностью повеяло от её заседаний. В этом году на фронте не было великого отступления, а были успехи против Турции, дела казались намного лучше, и правительство не падало, а как будто даже укреплялось.

Но через хладнокровный Прогрессивный блок всё более перехлёстывали сатанеющие Союзы. Едва кончился съезд гучковских военно-промышленных комитетов,

...нынешний преступный режим, готовящий полный разгром страны... Государственной Думе решительно стать на путь борьбы за власть, -

и вот уже съезжались в Москву делегаты Земского и Городского союзов. Этим съездам бурно требовала провинция, а особенно – Киев, Одесса и Кавказ. Осмотрительный Челноков, как мог, оттягивал городской съезд, но вот пришлось открывать его:

Ничего не подготовив к войне, правительство на каждом шагу проявляет свою вредную деятельность. Когда мы увидели, что правительство ведёт страну к гибели и готовит армии разгром, мы принуждены были взять дела в свои руки. Мы не хотели заниматься политикой, но нас заставили. Как и в сентябре, мы требуем: прощения политических преступлений! уравниения наций! ответственного...

Но неукротимый

Астров: Правительство – в руках шутов, проходимцев и предателей!... Опомнитесь! Уйдите! Скоро мы разобьём *вашего союзника Германию!*

Примчавшийся их уговаривать

Милюков: Резолюции съезда, как искра, могут вызвать большой пожар. Не нужно идти на полный разрыв с правительством...

Но круче всех восходила звезда князя Георгия Евгеньевича Львова. Он по кадетскому списку проходил в две первые Думы, ездил и в Выборг, но Воззвания не подписал, утёк. (Милюков: “Мы почувствовали его не нашим”). А уж в 1915-1916 и каждый образованный русский, не стоящий прямо у власти, прекрасно видел, как именно можно и нужно Россию спасти. Заразило, захватило и возносило князя Львова, председателя Земского союза. И возглавлял он пышный объединённый банкет в ресторане “Прага”, где сошлись после съездов наиважнейшие их участники.

Над сверканием скатертей, хрусталя и серебра опять взмывали лучшие традиции 1904 года. Демонстративно, бурно чествовали представителей Польши, Финляндии, а особенно Кавказа, а особенно – тифлисского голову Хатисова, который и на съезде, и на банкете, и в кулуарах повторял и повторял:

Знайτε, что на Кавказе – нет правых! На Кавказе есть лишь: умеренно-левые и крайне-левые! И весь Кавказ не просит, а требует! И чем громче, и чем решительнее...

Да что ж резолюции, что ж декларации, во всех этих общениях выросстал новый грандиозный план: *пора вообще игнорировать правительство* – и все российские дела, и всю Россию брать общественности в свои руки! Конечно, нас пока мало – но вокруг наших ячеек можно сплотить всё русское общество!

Дородный фабрикант, мануфактур-советник европейского лоска, большой либерал и пианист-любитель, а речью скудный

Коновалов: Под флагом Военно-промышленных комитетов возрождаются рабочие организации. На предстоящем рабочем съезде родится Всероссийский Союз Рабочих. Эта стройная организация увенчается как бы Советом Рабочих Депутатов.

Очень ему желалось Совета рабочих депутатов! А вместе с Гучковым и Рябушинским он спешил создать и Торгово-Промышленный союз. И уже сейчас создать Центральный продовольственный комитет, который совершенно изымет из рук правительства продовольственное дело.

Сложнее обстояло с созданием Всероссийского Крестьянского Союза, но и его готовили под видом Всероссийского Кооперативного.

Повторялись, повторялись золотые гордые звучания, набегали святые тени того первого решительного Союза, который породил все прочие союзы и слил их в грозный Союз Союзов!

Некрасов: И когда они все возникнут, то выделяют высший орган – и это будет штаб общественных сил России.

К нему примкнут и все национальные организации. И, с опорой на мобилизованный народ и мобилизованную армию (нет разницы между казармой и улицей, благоприятная конъюнктура!), – вся Россия в наших руках!

Так это дивно звучало на банкетах, так это стройно разогналось, и оставалось ждать плодов. Не выпуская в газеты, тихо подрабатывали и состав правительства доверия. В премьеры теперь намечался уже не Родзянко, который своею бычьей фигурой не достаточно противостоял короне, и даже подозревался в низком консерватизме, и даже принял царский орден в декабре 1915, а – духовный гигант князь Георгий Львов, по всем данным – великий человек и прирождённый вождь свободной России. Дела иностранные бесспорно доставались первейшему их знатоку Милюкову; торговля и промышленность – конечно, усидчивому Коновалову; военные дела – пожалуй Гучкову.

Увы, весна и лето 1916 не оказались благоприятны для российского Освободительного Движения. Правительство доверия было сговорено, однако к управлению не звали его. Союзы были кликнуты – но что-то не создавались. Корыстные торговцы не захотели, чтобы движение товаров и цены на них определялись бы кадетами, а приказчики, покинув прилавки, выступали бы с речами. Крестьяне по темноте не валили в Кооперативный Союз. Продовольственному комитету никто не подчинялся. Тем временем *преступный режим проходимцев и предателей* начал наступление (брусиловское) против *своего союзника Германии* – и армия дала себя увлечь, пошла в наступление и имела успех, и даже стало так казаться, что эту войну Россия не обязательно и проиграет, – чем чёрт не шутит, ещё и выиграет. В марте казалось: уж так всё натянута до предела, вот лопнет! – но правительство Штюрмера, во сто раз худшего, чем Горемыкин, необъяснимо сидело на том же месте – и, опаснее того: в обществе как будто ослаблялась враждебность к правительству, появлялась готовность сотрудничать с ним.

Более того, правительство решилось на беззастенчивый натиск: в апреле было издано небывалое, почти террористическое распоряжение о запрете самовольных съездов! Но Земгор не мог помогать армии лишь в форме повседневной работы – он нуждался в частых губернских и всероссийских съездах! Тогда власти решили присылать на каждый съезд вице-губернатора, который имел бы право прекратить собрание, если б оно вышло за рамки деловой программы. То есть у общественности отнималось последнее право: собраться за казённый счёт и вволю обнести и понести правительство! Задохнуться можно было от такого террора!

А тут ещё департамент полиции выпустил из рук свой тайный обзор деятельности общественных организаций. Обзор выглянул и в печать, ходил по рукам, – и многие деятели с неприятностью узнали, что их планы и высказывания на весьма как будто конспиративных встречах отлично известны в департаменте полиции. А так как

свободолюбивые гражданские речи их...

Аджемов:...содержат все юридические признаки статьи о ниспровержении существующего строя,

и правительство лишь по непонятной простоте так ни к кому до сих пор и не применило этой статьи, – то многие деятели стали держаться поосторожнее.

И – глубокое разочарование овладело самой передовой общественностью.

Тоже и Государственная Дума на своей скучной июньской сессии никак не добивалась власти, и депутаты даже плохо посещали заседания. Попросту дремал (в ожидании *своего часа*) Прогрессивный блок, а его лучшие лидеры и вовсе отсутствовали: на несколько месяцев поехали в Европу в парламентской делегации.

Правда, эта поездка была удобный способ для того единственного, что русской общественности осталось: пожаловаться союзникам на императорское правительство, самой же наглядно представиться парламентским кругам демократических стран, просить их помощи себе и отговорить от займов России после войны. (Коновалов, по-фабрикантски неутомимый, а для политики не жалеющий ни времени, ни денег, предложил передовой русской общественности даже готовить особый журнал на английском и французском языках, издаваемый на Западе, где пояснялись бы западному обществу суть и ход борьбы либеральных русских сил против своего реакционного правительства, давались бы личные характеристики как негодных министров, так и – крупных фигур левого лагеря, готовых принять власть. Такое издание, рассылаемое на Западе бесплатно, очень бы способствовало завоеванию сердец европейской и американской общественности).

Милюков своей заграничной поездкой был не то что доволен, но просто упоён. Да после безвыходных партийных русских склок – как было не расцвести в европейском воздухе! Он вернулся в Россию, чтоб ещё успеть выступить перед закрытием думской сессии, и тут же, узнав этот вкус, снова уехал на лето – почитать лекции в Христиании, в Оксфорде, затем и просто отдохнуть на Женевском озере от этой ужасной войны. Он воротился в Россию лишь в сентябре – но тут его ожидали политические удары.

В безбоевом течении этого года – от драматических дней создания Прогрессивного блока, что-то было Блоком упущено или пересижено, так ощущалось в российском сентябрьском воздухе: *Блок своего не дождался*. Начало ощущаться, что за сиденьем его оттесняют другие. Уже такое немислимое понесли по обществу, что Дума есть буржуазное сборище прихвостней Штюмерера!

Надо было спешить оправдаться перед демократическими кругами! Хоть и нехотя, а начинать какой-то натиск. В конце концов, и сам Павел Николаевич мог так потерять своё лидерство...

Что ещё уязвляло его лично – что уволив Сазонова, человека почти блокского, драгоценное министерство иностранных дел вручили той же швабре Штюмеру.

А тут ещё сильно намутил, навредил Прогрессивному блоку Протопопов. Это был предводитель симбирского дворянства, ещё – владелец суконной фабрики, теперь по моде и член Военно-промышленного комитета, уже всем бы тем представитель общественности, но более того, – давний и нерядовой член Государственной Думы, и хорошего направления – ещё в 3-й Думе вёл запрос о незаконной деятельности Союза Русского Народа, а в 1914 был избран подавляющим большинством в товарищи Председателя Думы – и никто не усматривал в нём каких-либо пороков. По положению своему он и возглавил заграничную делегацию Думы, так что формально стоял выше Милюкова, а возвратясь – был принят Государем, а из свидания истекло событие почти громовое: член Прогрессивного блока и один из лидеров Думы в сентябре был назначен на должность министра внутренних дел!

Что случилось? Блок победил на внезапном направлении и во внезапный момент! Колоссальная победа общественности (и капитуляция власти), о которой нельзя было и мечтать! Это и был первый шаг в создании министерства доверия: вот стал министром

человек, облечённый доверием Думы, то есть всего народа! – теперь надо ожидать и последующих приглашений: после министра-октябриста вполне возможен и министр-кадет. Вся печать приветствовала назначение Протопопова, а биржа ответила повышением бумаг.

Увы, и власть и сам Протопопов тут же разбили надежды общества. Протопопов стал говорить, что он обворочен Государем, готов положить силы на укрепление самодержавия, а в одном разговоре даже признался, что основа его программы – борьба с общественными организациями! Всё назначение оказалось не началом новой эры, но мелким подлым перебежничеством! Оказалось, что думцы недостаточно приглядывались к своим товарищам, которых возносили на кафедру. Зато теперь они с удивлением разглядели его: он не имел никакого образования, ни в чём не был знаток, был чужд всем слоям общества, захудалый дворянин, хилый промышленник, да и в Думе не имел серьёзного влияния, прошёл под модным флагом левого октябризма. Сам по себе был человек избыточно нервный, юркий, истеричный, легко поддающийся впечатлениям, даже нервноболевой, так что одно время уходил от семьи и лечился у тибетского врача, и даже сходил по лестнице задом. У него не было никаких талантов, ни привычки к систематической работе, ни определённых взглядов на государственные вопросы, даже устойчивой ориентации в действительности – то, что называется “без царя в голове”. Вспоминали, не был ли он приятель Сухомлинова, а уж к Распутину конечно вошёл в милость. И назначение этого ненормального человека и нечестного изменника никак не была та желанная угадка *некоего лица*, по скромности не названного, но – хитрый манёвр на раскол Блока.

За какой-нибудь месяц Протопопов сосредоточил на себе презрение и ненависть общественной России – и сам же этого не выдержал, заметался, делал смешные шаги: то в Думе, где ему не давали ответить на обвинения, пересаживался с министерского места на депутатское, и просил слова оттуда; то на днях, в октябре, на частную встречу с лидерами Думы пришёл в жандармском мундире – и уж вовсе погубил себя в их глазах. Двуйзбранник – Думы и престола – заметался и в своих министерских действиях и проектах: то укреплял расслабленную в губерниях полицию, требовал телеграфных докладов о политических речах в земских собраниях, готовил проект предварительной цензуры (без которой Россия так и прошла всю войну), тайно выслеживал сношения главарей Блока с английским послом Бьюкененом, – то собирался докончить разрушение еврейских ограничений, не то начинал готовить закон о принудительном отчуждении помещичьих земель (чем очень напугал Думу, потому что обезоруживал её революционно). В министерстве своём он создал хаос нерассмотрением бумаг, в помощь себе пригласил старую опытную полицейскую собаку Курлова, – но, трепеща Думы, опасался открыто провести его назначение, и это вызвало новый скандал. В конце октября 1916 колебался он: не запретить ли предстоящую сессию Думы.

Активность Протопопова не миновала и хлебного вопроса. Он присоединился к точке зрения (компрометируя её) свободной торговли и отмены твёрдых цен. Опротестовал циркуляр министерства земледелия о всеобщей системе закупки и распределения хлеба с привлечением местной общественности, комитетов и кооперативов (довольно справедливо подозревая, что комитетская помощь будет направлена к возбуждению населения, как это и делали съезды по дороговизне), запретил комитеты в волостях, а в газетах просквознуло, что он добивается передачи всего продовольственного дела к себе в министерство внутренних дел, сам же он опровергал. А хлебное дело так и зависло между двумя министерствами, в ещё худшей неподвижности.

Да не так хлебный вопрос волновал кадетских лидеров, как вся позорность этой истории с Протопоповым, кладущая пятно на Прогрессивный блок, как раз когда Блок высмеивался даже левым крылом кадетского ЦК.

Коновалов, отзывчивый на подпор общественного возмущения и достаточно свободный в средствах, завёл новый тип *коноваловских совещаний* в своём московском доме – с целью “оживить пульс московской жизни”, заложить мост между к-д и с-д.

На другой день после мира у нас начнётся кровопролитная внутренняя война. В России уже сейчас нет никакого правительства, -

говорилось там. И правда, напуганное правительство всё меньше давало себя знать как реальность.

Предстоящая сессия Государственной Думы должна быть решительным натиском на власть. Более благоприятный момент для *штурма власти* едва ли повторится.

Да, это уже кадеты понимали:

Мы дошли до момента, когда терпение окончательно истощено и доверие до конца использовано.

Больше года терпеливая либеральная общественность предлагала перенять управление и спасти страну – но нельзя было убедить корыстных слепых безумцев, вцепившихся в руль! Отложить выступление ещё? – дождётся, что и Думу обзовут черносотенной. Хоть нежеланно, хоть через силу, а надо действовать.

23 октября собралась, закрыто от прессы, всероссийская конференция кадетов. И тут снова решительные провинциалы захлестнули столичных соглашателей левым негодованием: осторожность Милюкова убивает партию в глазах всё левеющего общества; разъезжая по заграницам, он не знает настроения; а ведь в 1917 году будут выборы в 5-ю Думу; если в последнюю сессию 4-й не набрать авторитета, не показать народу своей решительности, не хуже левых партий... И так уже прохлопали польскую автономию, не добились, – и вот Вильгельм объявил польскую независимость! Разве кадетам надо объединяться с умеренными? Нет, с Земгором! с кооперативами! с рабочими! профсоюзами! Бороться – вне Думы! И лучшая платформа – продовольственный вопрос!

Да, это правильно, продовольственный вопрос очень был выгоден для возбуждения и для ударов по правительству, но дело в том, что сами кадеты не знали, как его решать. В этом продовольственном вопросе и в этой дороговизне таилась грозная загадка: тёмный обыватель был живее захвачен ими, чем даже войной, победой и проливами. Но интеллектуальная партия кадетов не могла опускаться так низко и утеривать историческую перспективу государственного величия.

Однако, всё более косный, всё более упрямый, всё более оглядчивый Милюков и тут устоял: ограничиться только думской борьбой и – никакой нелегалщины, никакой подпольщины!

Охваченное ужасом правительство в последний момент, конечно, ухватится за нас, и тогда нашей задачей будет не добивать его, а обосновать конституционный строй. Вот почему в борьбе с правительством необходимо чувство меры. Народная мысль и без того имеет опасный уклон в сторону анархии, в тёмных углах подорвана государственная идея.

Устоял и собрал голоса, но уж в Думе в этот раз было не миновать атаковать.

Заклятый клин: или военная победа без нас (если будем слишком сдержанны), или революция поверх нас (если будем слишком буйны). Свалить правительство – возможно ли без массового движения? А массовое движение перекинется в революцию?... Легко провинциалам съехаться, пошуметь и разъехаться. Но каково парламентариям, у которых нет никакой силы, даже силы голосования. И только может быть в том единственная сила Думы, что её нельзя разогнать: если разгонят, то такое начнётся, такое! вся Россия долготерпеливая подымется!

А вдруг – и не подымется?...

Изо всего выход был ясен: сбить Штюрмера. Продолжение войны третий год было не опасно, всем своим красноречием Прогрессивный блок гнал русское государство

глубже и дальше в эту войну. И нехватка хлеба, дороговизна его и возможный голод тоже не были так опасны. Главная опасность была – Штюрмер. Если бы Штюрмера снять и заменить кем-нибудь из Прогрессивного блока – перед Россией открывался путь спасения.

Чем ближе к ноябрю, тем меньше дневного света в Петрограде. И собирается ли бюро Блока на частных квартирах в долгие вечера или в 11-й комнате Таврического дворца нерассветающими утрами, – всё при электрических лампах текут их тягучие трудные совещания, под кругами настольных ламп на зелёных бархатных скатертях лежат белые листы, и Милюков, успевая то гнуть, то держать свою трудную линию, успевает и записывать для нас те беседы.

Милюков: Сосредоточить удар на Штюрмере.

Шульгин: Нет сильнее средства против Штюрмера, чем *борьба с немецким засилием*. Я – за ломку шеи правительству, но рядом должны быть меры органического характера.

Капнист: Согласен: для успокоения страны – ломать шею правительству! Но немецкое засилие не дать обсуждать – это оружие в руках правых.

Шингарёв: С немецким засилием – надо найти формулировку такую, чтоб ударить по правым...Надо показать, что мы умеем и работать. Ставить большие вопросы, волостное земство...

Ефремов: Да, ломать шею правительству! Первую неделю – никакой мирной работы, а только валим кабинет! Разрабатывать советы для этой власти – трата времени, они всё равно ничего сделать не могут. Да и вообще, предлагать конкретные планы, вносить проекты самим – не дело законодательной власти, это рискованно, нести лишнюю ответственность. Выгоднее роль критика.

Шульгин: А вам скажут: пожалуйста к власти. А вы и не готовы – чем заменить.

Маклаков: Как же вы верите в ответственное министерство и не хотите давать советов в исполнительной сфере? Боюсь, скомпрометируем мы парламентаризм.

Ростовцев: Страна не поймёт: ругаются, а ничего не предлагают.

Родзянко (он не допускал вольности зачислить себя в Блок, но заседания иногда посещал тайно): Правительство никуда не годится, с этого и придётся начать представителям Блока. Конечно, ряд вещей говорить нельзя: о ведении войны, о дефектах дипломатии. Революционизировать страну нельзя. Но и совершенно молчать невозможно.

Вот и задачка Милюкову: ни о чём говорить нельзя – и молчать нельзя. Советов давать нельзя – и без советов нельзя.

Шидловский: Чего хотим – не скажем, иначе наши поправки примут – и исправят законопроекты.

Как уже и случилось с твёрдыми ценами: Блок бросил эту мысль от щедрости своих идей, а правительство подхватило и тем укрепилось. Теперь изменник Протопопов перехватит продовольственный вопрос – облавами, заставами, обязательными поставками, – и опять неплохо получится, вот в чём трагедия.

Стемпковский: Одних твёрдых цен недостаточно. Надо идти до реквизиции с развёрсткой.

В. Львов: Мы уже пошли по пути государственного социализма. И нужна общественная *диктатура продовольствия*.

Шингарёв: Надо решить – будем ли отстаивать или херить путь государственного социализма? Тут можем рассориться.

Стемпковский: Если мы просто перейдём к деловой работе по продовольствию – армия нас не поймёт.

Да нет, какая деловая работа! – надо готовить грозную сокрушающую Декларацию!

Милюков: Красная нить должна быть – наш патриотизм: *они* не могут довести

войну до победы.

Трудность ещё и в том, что военная катастрофа отступила, она не грозит больше, как в прошлом году. Даже: Россия сейчас сильнее, чем была при начале войны. Но так – говорить нельзя, не это должно звучать в думских речах, иначе вся политика Блока развалится.

Ефремов: Положение очень тревожно. Замечается упадок энергии в обществе. Наше положение трагично, потому что наш долг произвести переворот, чтобы добиться победы в войне. Но производить переворот во время войны – предательство, при любви к отечеству – невозможно. Я не говорю: братцы, свергайте правительство! Будем строить речи так, чтобы призыв к революции не вытекал. Наметить пределы, за которые не выходить.

Стемпковский: Без резкого поворота мы всё равно проиграли дело. Будем менее агрессивны, излишне спокойны, – страна опередит нас. Вдали от столиц говорят: измена, царица чуть не с Вильгельмом в дружбе. Если не сделаем решительного шага и дадим распустить Думу – будем сами виноваты. Для меня несомненно: ещё несколько месяцев этого режима – и Россия погибнет.

Капнист: В случае роспуска Думы волна захлестнёт нас. Надо идти путём Павла Николаевича – булабочные уколы. Только в случае сепаратного мира можно идти революционным путём.

Шингарёв: Не верю, что сепаратный мир вызовет революцию. Масса усталых людей скажет: дайте выспаться, вымыться и поесть. Конечно, удар по национальному самолюбию не пройдёт бесследно. Но если есть злая воля, которая готовит сепаратный мир, – надо по ней и ударить. Надо назвать это действие *изменой* – и Государственная Дума создаст себе недостижимую позицию! Это вызовет удовлетворение и в армии, где об этом говорят на каждом шагу. Мы попадём в самое больное место.

В. Львов: Высокопатриотический лозунг: спасти страну от правительства!

Да, эта позиция – очень сильная: объявить себя патриотами, а правительство – пораженцами и изменниками. Главная опасность – правительство Штюмера! В октябре день ото дня Милюков писал и переписывал новые и новые проекты Декларации Блока. Иногда, наслушавшись коллег, – очень резко. Потом – одумывался или его отговаривали, и начинал смягчать. При каждой переписке одни ядовитые колкие выражения обидно терялись, другие приходили.

Предательское поведение власти... Глубокое падение нравов в руководящих кругах... Привилегированное хищничество... Всеми ненавидимая и презираемая власть... Это всё – не тайна для врагов... Государственная Дума слагает с себя ответственность за национальную растрату крови и мук армии и указывает на истинных виновников...

И день за днём обсуждали проекты (Шульгин тоже представил).

Крупенский: Не надо этих терминов – “измена”, “предательство”. Трон окружён чёрной шайкой, да, но этого не следует говорить вслух. Слишком суровой критикой понизим дух страны. Не надо выставлять правду, чтоб не уронить подъёма. И не “злая воля”, а – полная неспособность. Главное – уничтожить Штюмера. На него и направить обвинение в измене и неспособности. И не надо раздувать заслуг Англии, как у Милюкова.

Шульгин: Валить на отдельных министров, расписывать, что они злодеи, – мелкий масштаб. Я понимаю, политика требует, чтобы мы говорили только чёрные вещи. Но надо сделать выбор: если виновата система, при чём тут злодеи? И надо говорить правду о Верховной власти – а мы не можем.

Капнист: Цель декларации должна быть – что Русь велика и обильна. А дальше – громить беспорядки.

Родзянко: Помягче, помягче, а то как бы Думу не распустили.

**Ефремов:** Но ведь и в обществе: нажива, стремление урвать. А если упрежём общество, то нападки на правительство умалим, тоже нельзя.

**Шингарёв:** Правительство всё понимает и сознаёт. Им на Россию наплевать, а только бы удержаться. Деятельность правительства по результатам равносильна преступлению. Если Дума не будет резка, страна скажет: ну, и последняя надежда пропала. Сгустить краски гуще того, что в жизни, – невозможно. Вот-вот не будет хлеба в городах, рабочие вырвутся на улицу. Страна уже порывается к самосуду. Ждать, пока улица заговорит? Или публично объявить: измена!!

Кое-как соединили текст, утвердили. Отпечатали шесть экземпляров и раздали по одному на фракцию – утвердить их там. И вдруг – предательство! утечка! Напуганный старец Крупенский (центр) показал Протопопову, а тот Штюмеру, – и из правительства передали: распустят Думу! За такую декларацию – сейчас и разгонят!!

Такой провал! – за три дня до сессии! когда и менять уже поздно! Да – и опасность какова!

30 октября, несмотря на воскресенье, собрали чрезвычайное совещание – думского бюро (разумеется, исключив предателя) и ведущих из Государственного Совета.

**Шидловский:** Наиболее сильное впечатление – от слова “измена”. Произнесенное с кафедры будет иметь характер удостоверения для народа. И поведёт к торжеству в Германии. Угрозе – не уступать, но об измене – второстепенное место. Снизу требуют “кричи”, а иногда нужно и промолчать. Мы ведь не делаем революцию, а предупреждаем её.

**М. Стахович:** Конечно, это повредит правительству, но это поможет стране. Не говорить прямо “измена”, но: такая система управления приводит к толкам об измене. Если же из-за угрозы совсем исключить “измену”, члены Думы будут грызть себе руки, что пропустили момент сказать. Не спасовать бы нам на компромиссе. А Думу не распустят.

**Милюков:** Ничего невозможного в роспуске нет.

Да, вляпались с этой “изменой”, – и оставить нельзя, и убрать нельзя. Разумнее было бы отказаться, но общественность раскалена скажет, что Дума испугалась, покрыла измену.

**Б. Голицын:** Будет роспуск – не считаться с ним! И – не разъезжаться по домам! Иначе наступят репрессии и страна погрузится во тьму. Но лучше – до роспуска не доводить. Изложить осторожнее: *либо* круглые идиоты, *либо* изменники, выбирайте сами.

Эта мысль Милюкову западёт, неплохо.

**Шингарёв:** Об угрозе правительства слух распространится, и если декларация не будет прочитана, скажут: Дума сдрейфила. Хотя бы ценой роспуска, но сохранить моральное значение народного представительства!

Пятится

**Стемковский:** Конечно, угроза не должна влиять, Дума должна быть безукоризненна. Но видеть и другое: мы торопимся. А вдруг за нашим актом не последует ничего бурного, а – петроградская погода, серо-чёрная неподвижная пасмурная слякоть?

Вдруг общественность перенесёт все издевательства, и война кончится благополучно? И скажут: “а мы победили и без Думы”? Не отложить ли нам резкое осуждение, пока не станет ясно, что уже всё проиграно?

Пятится и

**Шульгин:** Дума, которая может считаться с угрозой, – вообще не нужна! Но если бы можно было добиться не роспуска, а перерыва, – было бы важно!

(Многие члены Думы оценят эту разницу: при перерыве – платят депутатское жалованье и в армию не берут, при роспуске – кой-кому придётся зашагать и простым



солдатом).

Если место с “изменой” – ненужная опасность, можно и уступить.

(Они не представляют, что корона напугается ещё больше.)

Вл. Гурко: Пускать мысль об измене – и есть увеличение смуты в стране. Масса схватывает общий тон, впечатление получится: во главе России предатели, а потому будем их гнать. А измены правительства как таковой – нет, это представление ложное. Но можно усилить: правительство столь глупо, что приводит к ложным слухам об измене.

(Так, так, усваивает Милюков.)

Опять разошлись – советоваться со своими фракциями. 31 октября, уже в самый канун думского открытия, сошлись опять, вот беспокойство, вот подкатило.

Шульгин: Бороться надо, правительство – дрянь. Но так как мы не собираемся идти на баррикады, то не можем подзуживать и других. Исходная программа Блока была, на чём мы сошлись, – поддерживать власть, а не свергать её. Дума должна быть клапаном, выпускающим пары, а не создающим их. Поэтому: абзац об измене должен быть удалён.

Стемпковский: Мы не желаем никого звать на баррикады и сами не пойдём. Нельзя говорить так, чтоб ещё более возбуждать толпу. Отделить правительство от Верховной власти и последнюю – не обвинять.

Капнист: Но как же теперь – разрушить думское большинство? Не выступить с декларацией – показать признаки разложения.

И переделывать уже поздно.

Шидловский: А без Блока что? Подпольная работа? Грош ей цена. Да нет ничего коренного, разъединяющего нас. Просто непривычка к коалиционной работе.

Милюков: Трещина в Блоке была и с самого начала, но теперь она меньше.

Ефремов: Трещина – коренная. Декларация – слишком слаба и мягка. Измена, если она будет доказана, – уголовное преступление. Настаивать на учреждении следственной комиссии! Только суд и кара могут успокоить народную совесть, предотвратить народную месть!

(после перерыва): Фракция прогрессистов выходит из Блока.

Так от самого создания не совершив решительного шага – перед первым решительным шагом треснул Прогрессивный блок.

\* \* \*

Вместо Штюрмеров – Милюковы? Замена одних убийц другими? Долой черно-жёлтое знамя прогрессивного блока! Долой смрадный маразм ублюдоочной конституции! Будем ковать подлинный молот революции!

РСДРП

\* \* \*

## 63, часть 1

Кому что прирождено. Тебе – глаза на затылке, уши на шапке, чутьё – не по запаху, даже не по пригляду, по неизвестно чему, спиной одной: шпик! Идешь, будто и не оглядываешься, а всегда знаешь, уверен – следят за тобой или не следят. Вон тот отерхан облезлый на мосту – просто в воду плюёт или отмечает проходящих. На трамвайной остановке – все ли своего номера ждут или кто-то уже переждал больше.

Ну, и ноги, конечно. У кого ноги слабые, от такой жизни быстро свалишься. У кого ноги слабые – за подпольную работу, да ещё в таком городе, как Питер, лучше и не берись. Как говорит мамаша Хиония Николаевна, волка ноги кормят. Так и подпольщика, ноги одни и выносят.

И как назло, всегда же складывается понеудобнее, наизмот: встречи сговариваешь задолго, а ночёвку выбираешь в последний момент – по обстоятельствам, по слежке. И вчера вечером уже знал, конечно, что сегодня утром встречаться с Лутовиновым в Лесном, и есть тут запасная ночёвка, а недалеко и сама штаб-квартира у Павловых на Сердобольской, – но не только её, укывушку, нельзя своим приходом выдать, а никакую, ничью, ни одного человека нельзя завалить своей неосторожностью. И когда вечером насели на пятки двое и пошли, и погнали неотрывно – пришлось чертить по всему городу и, чтоб не остаться на огородах ночевать (а оставался прошлой зимой и в морозы, и бродил-коченел до утренней зари), надо было махать или в Гражданку, где ход через глухую рощу, отстанут филёры, побоятся ножа, или в Галерную Гавань.

В Галерной Гавани и оторвался на тёмном пустыре.

Зато сегодня доставалось тащиться через весь Васильевский, через всю Петербургскую сторону, через Аптекарский, Каменный, Новую Деревню и Ланскую. И по дороге близко будет квартира Горького, но к нему только послезавтра, и совсем рядом Сердобольская – но туда только вечером сегодня, а пока и глаз не скоси. И всё это – для утренних встреч, а потом от Сердобольской, где тебя уже вот поджидают, – опять через весь город, за Невскую заставу, в Стекланный. И только оттуда, если всё обойдётся чисто, – опять сюда назад, на Сердобольскую.

Да это всё – в тюрю перекрошилось бы да схлебалось, эти б нам беды все нипочём, – если б только не локаут, собачий.

Локаут... Не ожидал.

Не ожидал – смелости от них такой. Привыкнуто, что они – виляют, отступают.

Неуж – ошибся?

Вот это грызло – что сам дал маху. Зарвался.

А ведь настаивал Ленин: отказаться от всяких массовых действий! Только небольшие подпольные ячейки! Только улучшать технику конспирации!

И спал плохо. Голова тяжёлая. Муть. А день впереди долгий, трудный.

Кому Питер нравится, кому не нравится, – дело вкуса, а потягаешься вот так по нему между камнем, и камнем, и камнем, иногда уж и мостовая к глазам приближается, взвыл бы: ой, мамаша, зачем я из Мурома зелёного уехал, зачем я в большой свет подался?

В шутку, конечно.

На трамваях всё это короче, хотя и трамвай вот так день за день вытрясут душу, голову раздребезжат. Да на трамвай не всегда и есть эти пятаки да гривенники. А то подумаешь: если филёр твой успеет вскочить, так и прогорели деньги, слезай хоть тут же. Пешком – повольней, есть манёвр.

Теперь старые заветы конспирации пошатнулись. Теперь уже многие этих строгостей не соблюдают: не стерегутся не то что с ночёвками, но даже с типографиями. Говорят: провалы всё равно не от слежки, а от “внутреннего осведомления”, все провалы от предателей, а их не узнаешь. А на улицах – не берут, а возьмут – сошлют не надолго. Мол, конспирацией больше сам себя замучишь.

На улицах редко берут, верно. А всё ж, на уличный случай, паспорт с собой таскаешь финский (не подвержен мобилизации). А русский – в запасе лежит. А в прописку – никакой не дан. Человека – нет, нигде не живёт, птица.

И действительно, многим обходится. Нельзя вам, дуракам, провала пожелать, – вы провалитесь, так и мы не вылезем, а всё-таки проучили бы вас, дурандашников. Сошлют не надолго! Тебя – не надолго, а дело ремонтируй.

Тебе – не надолго, а мне – всё надолго. А я – ни дня свободы зря не отдам. Готов – на смерть, готов – на каторгу, но знать, что нельзя иначе. А просто так даже на месяц в Кресты?

– ищите ослапа, не я им буду. На лишнюю конспирацию себя не жалеть, лишняя – всегда оправдается.

Твоя выдержка – твоя свобода, твоя свобода – твоя партийная работа.

С моё бы вы походили. Всю прошлую зиму в Питере продержался – ни одной царапинки. Провинцию объездил – сам цел и не завалил никого. Ушёл в Скандинавию – цел. *Литературу* тюками гнал, даже северней Норд-Капа – дошла. И вот вернулся – цел. И опять по питерским улицам, а? На подмётках ещё, может, осталось по пылинке от нью-йоркского тротуара и от копенгагенского, и крошек гранитный с финского севера. А до февраля цел дохожу – и опять туда.

А тут – кто б маху не дал? В какое время приехал! Над Выборгской – тучи, вот молнией слепанёт! В трамвае, на улице, в лавке, на каждом шагу – поносят власти вслух, не стеснясь, с матушкой царицей и с Распутиным. И шпики ушами уже не ведут, прислышались. Фараонам в лицо – хохот и мат. И – запасный полк взбунтовался! Тронулась армия – это уже всегда к концу. И после эмигрантского тошного безделья, ничтожной мелкости, презренных свар, да после недели в заполярной тьме, водопадного рёва, – и всё это видишь, и – принимай решение! Один.

Можно было ошибиться.

Может быть, и ошибся.

Ошибся или нет? Как будто душу твою зажали в центры и на валу обтачивают.

Так что правила твои – ясные, неизменные. Все рабочие районы знать до последнего закоулка. Знать все тропки на задах Выборгской и Невской, и Нарвской стороны. Само собой – все проходные дворы. По одной дороге никогда не проходить больше одного раза. На одной квартире никогда не ночевать две ночи подряд. Или наоборот – когда слезка сгустится – нырнуть и двое-трое суток с одной квартиры не выходить. Рассеется – выйти рано-прерано, в темноте. Или так ещё: перед вечером зайти, будто уже на ночёвку, а поздно вечером ещё раз перейти на другую квартиру. (Это хорошо на Стеклянном, где две сестры рядом живут). И никому ночлегов не называть, даже самым верным товарищам по партии. Лишнее знатьё.

А ещё верное дело: менять шапки и пальто, всегда сбиваешь. Как прошлой зимой, на Стеклянном как раз, насели – не оторваться. Среди дня. Куда денешься? В баню! Взял номер. Позвал посыльного: слушай, сходи вот по такому адресу, там девчёнка живёт, Тоня. Ты ей, конечно, не при матери, тихо скажи: мол, дядя Саша номер взял, тебя зовёт! Пришла: дядя Саша, вы же меня опозорили – к мужику в баню вызывают! Да если улица узнает – чего ж будет? кто ж меня замуж...? – Ничего, ничего, Тонечка, революция требует. Я тебе так-кого жениха ещё сосватаю!... На вот мои пальто и шапку, вяжи в простыню. А мне тащи сюда батькины, на днях разменяем... И ушёл чисто.

Фабричный столичный проведёт да выведет. Эти же племянницы, вообще подростки, хорошо идут на контрнаблюдение: из квартиры высылать их наружу, следить за шпиками.

У сестры просидеть два дня подряд – отдых: и согреешься, и отоспишься, и отъешься. А вообще на конспиративных ночлегах нет мучительней, как каждый раз и только на одну ночь новое устройство и эта вежливость хозяев: не ожидали тебя до последней минуты, стеснены твоим приходом и не хотят показать. Три комнатки на шестерых и не хватает кроватей; добрые люди, спасибо, я и так благодарен вам, мне бы самую последнюю подстилку, вон туда под стол, и я засну, а вы тут живите! Так нет, отдавши лучшую кровать, считают долгом развлечь, хозяин настаивает показать, какой он развитой политически, заводит разговоры до глубокой ночи о программах партий. А ты уже не способен принять ни угошенья, ни разговора, ни даже партийных программ, только явили бы милость, оставили бы тебя в покое: гудит голова, и дороже нет помолчать. Помолчать, вытянуться без простынь, не раздеваясь, у рукомойного ведра, – только бы голова отдохнула, только бы языку не работать...

Ведь голова подпольщика нагружена втрое по сравнению с простыми людьми: кроме обычной для всех жизни – передвижений, поступков, работы, разговоров, ещё постоянно

плющат мозг эти заботы: как одеться безопасней; что взять в карманы, чего не брать; в каком порядке посещать дома и встречаться, чтоб от предыдущего не повести к следующему; где что оставить; кого лучше попросить о сохране, о передаче, о скрытности.

Вот при такой голове после дурного ночлега и подскочи адвокатишка этот, Соколов: на днях, мол, судят революционных матросов, *грозит смертная казнь* ! Всё сошлось! Тут – бурлѐж, порох, полк восстал, братание солдат с рабочими! Сколько-то солдат арестовали, будут судить – а тут матросам смертная казнь?! Что должна делать партия пролетариата? Да – трахнуть всеобщей стачкой! В три минуты решение принято цельным размахом, без колебаний. Когда суд? 26-го. На 26-е – *всеобщую* !

И спасибо рабочим людям, чем скудней и темней живѐт, тем подельчивей на приют, теснится, лишь бы ты не побрезговал. А квартир интеллигентских, барских – для конспирации совсем не стало во время войны. Да и до войны. Как начался отлив.

А большевиками себя называть очень любят. На днях пошѐл Митя Павлов к одному. На общепартийные темы – самый приятельский разговор. Но только Павлов о нужде: “приехал из-за границы представитель ЦК, нужна ночѐвка”, – тот сразу откинулся: “никак нельзя, за мной слежка!”. Мол, не о себе – о представителе беспокоюсь. Ещѐ за ним слежка, подслепыш, кому он нужен... Хорошо не растерялся Павлов: “Разговаривают – все. А вот литературу выкупить нечем”. – “Ка-ак? И денег нет?” – Изумился. Предположить не мог. – “И сколько же нужно?” – Павлов: “Много”. (Надо бы сказать: триста). Тот сообразил и откупился сразу: могу сто.

Это вообще нам урок хороший. Да даже с 908-го года все они схлынули, говоруны, показали, какие они революционеры. Перед войной профессионалы остались одни рабочие. Интеллигенции едва хватало обслуживать думскую фракцию да газету. Теперь и этих нет. Дошло до того, что при Петербургском комитете не осталось ни журналиста, листовки некому написать. Стали выручать боевые студенты, новенькие.

С ликвидаторов ладно, какой спрос. А правдисты бывшие где? Уж куда были своей! – увильнули из правдистской колеи. “Узрели своё отечество”, ушли в патриотизм, а верней, худого слова не сказать, в какую-нибудь норку заткнуться, лишь бы учѐтным, на фронт не идти. В статотделы, в земгоры, в промышленные комитеты, вместе с гучковцами, гвоздѐвцами, от нелегальной публики двумя руками отмахиваются, от нелегальной работы на версту. Красиков? Шарый? – какие они теперь большевики? Ну, Подвойский ещѐ поддерживает связь, осторожно. Все на “важных постах”, никому с нами не по пути. Хитрый Бонч упрятал морду: я, мол, исследователь сект и вообще этнограф. Стеклов-Нахамкис – секретарь в Союзе городов. У Козловского на Сергиевской улице своя адвокатская контора, зашибает деньги.

А больше всего обида – на Красина. Уж правдист из правдистов – па-ашѐл, взметнул! Дельцом, чуть не директором фирмы, это тысячи рублей, в богатстве плавает, а старым товарищам – шиш. И пооткровенничать – не жди, не снизойдѐт. Правильно Горький говорит: они скорей на выпивку дадут у Кюба, чем на подпольную работу.

Они общую такую себе кличку придумали: “внефракционные” социал-демократы. Чтоб не подчиняться партийной подпольной дисциплине и не отчитываться. Мы, мол, сами знаем, что делаем, а вы не суйтесь.

Даже мысль была: старым правдистам послать ультиматум: или сейчас же переходите к нам, или потом никогда вас не признаем.

Так что адвокатик Соколов ещѐ не из самых худших. Услужливый. И деньгами иной раз поможет. И все сведения носит из судейского мира, из журналистского, откуда знает. И квартиру свою предоставлял не раз, встречаться с этими думскими дергунками – Чхеидзе, Керенским, надо ж где-то пополосовать их, как Ленин требует: русские каутскианцы пусть держат отчѐт перед рабочим подпольем! И верно, вьются, оправдываются...

Рабочее подполье, есть ли оно? Отлив-то глубже гораздо прошѐл, в том и горе. Утомляет людей такая жизнь, да тюрьмы, да ссылки. В прошлом году, когда по родным местам съездил, насмотрелся, полынью обдаѐт, зажмурь глаза, Санька! Геолог Рябинин, свой

муромлянин. Свой, свой, улыбается, а на революцию больше не зови, отбился. Или Громов, сормович. Уже в девятисотом был эсдек. Сколько раз сажали, ссылали – и вот, устал. Поседел, постарел, окунулся в свой домишко, в семейный круг... Самое большее – сочувствующий... Или Гришка, нижегородский. Вместе сидели в 904-м и вместе во Владимирском центре в 905-м. А – задавила жизнь, нужда, безработица, семья. Какой пропагандист был, какой организатор! – всё пропало. Мучается, томится, а... увольте, ребята, ищите молодых.

Ребята-ребята! Да если мы все кряду сдадим, кто ж эти новые силы воспитает? Кто их в партию вольёт?

Рабочим можно простить. Нельзя простить интеллигентам.

А вообще так и должно. Что такое истинный, а не названный пролетарский политик и как он может быть? Главная трудность для него: став политиком, не перестать быть рабочим. А иначе – какой ты будешь пролетарский? Вот и будешь интеллигент, полубуржуазный. Для того и возник у нас интеллигентный пролетарий, и это – один верный тип для будущего. Мало их, мало нас, но только такие мы и можем вести рабочее дело. И не избежать нам все формы работы принимать на себя – и журнализм, и листовки, и конспиративную переписку, уж её-то тем более чужим рукам не доверять.

Но, конечно, это трудно. У станка отстоять десять лет, а книжки только от случая просматривать. Во все эти перекрывы, убеги, скитанья – когда читать? когда думать? Эмигранты-умники могут себе разрешить, им в дверь не постучат. И всё-таки вот они в кружках изучали по двадцать лет “теорию” рабочего дела, и всё спорили, рознили, согласиться не могли. А мы пришли и сразу им показали – практику.

Потому что нельзя проверять одной головой, надо пробовать: даётся ли в руки или только с языка на язык перескальзывает? А головастики, как себя ни принуждай, как в рабочее дело ни вгоняй, – сердцем не будешь с ним всё равно. Чужой.

Хотя... Сашенька Коллонтай... Кто и образовала Саньку Шляпникова из дикого паренька, не умевшего рубаху носить, не то что диспуты, с французским, только начатым в кружке самообразования. Сашенька, дворянка, интеллигентка, глазам не вынести света и красоты! – как одета всегда, как причёсана! А – как верно, как смело судит, режет! На приморских тёплых камнях Ларвика, у самой воды, рядом с ней лёжа, лёжа часами – и слушаю, слушаю, вбираю...

А – Ленин?

Не-ет, пока у них не черпнёшь – настоящего ума у тебя тоже не будет.

Но линию выдержать – можешь теперь и сам. *Центровым партработником*, как у них это называется, – стал Шляпников? Стал. И из нескольких центровых – ещё в особой позиции, так что Ленин пишет ему даже как бы с почтением: “Вы – хозяин положения. Не вмешиваюсь, как рассудит *начальство*”. И – чем добился? А тем: руками, ногами – и не упуская головой работать, не упуская читать, писать, образовываться. Можно, оказалось, охватить? Оказалось, можно. И от звания “центровой” мозги не застлались, и грудь не вздымлась. А главное – не отвык, по-прежнему больше всего любил собственные руки прилагать: обтачивать весомые, различимые, точных размеров, темно-сверкающие детали. Да за то ещё и денежек получить, и подкормить в эмиграции, как своих бы младших, всех этих мудрецов, этих прочих центровых, кто сидит на мели без копейки, тыкаясь, где б заработать на четыре обеда, какому дальнему издателю какую статейку перевести – перегнуть строчки с одной белой бумажки на неразличимую другую.

И если уж так вспомнить честно: июлем Четырнадцатого застигнутый в Питере безо всех них один – разве Шляпников не разобрался правильно во всём сам? Разве не понял *из себя*, сразу и точно: да неужели же наша классовая солидарность уступит хулиганствующему патриотизму? да неужели мы подло-покорно принизимся перед ним, как интеллигенция? Где же логика? Почему ж презирали японскую войну, а германскую поддерживаете? Дарданеллов захотелось? И позванный меньшевиками в ресторан Палкина на ночной банкет в честь приехавшего Вандервельде – не сробел, что один, слишком в

меньшинстве, но прекрасным французским языком громил их всегдашнее банкетное большинство, заносное не подчиниться истинному заводскому большинству. И что это за ложные рассуждения – кто *начал* ? Разве в том дело, кто первый напал? Виновник войны – мировая буржуазия, и бельгийская ничуть не меньше, чем германская, и нет никакой “бедной Бельгии” или “бедной Сербии”, а – долой войну!! да здравствует революция! амнистия политзаключённым, мученикам свободы!! (Сам листовку написал).

Конечно, не простой орех Мировая война, к такому не было готово ни человечество, ни рабочий класс, как не потеряться! Круговоротные месяцы, все перепутанные мозги, зашатало, отняло разум у скольких! Треснул не только всемирный рабочий Интернационал – распались в безумии самые близкие дружбы. И добравшись в Швецию в октябре – как же они радовались с Сашенькой своему соединению и верности! Застиглись войною порознь – а поняли всё одинаково! Как он принимал и понимал её захлёбные рассказы о первых днях войны в Берлине: соци голосовали за военные кредиты!! они, всю жизнь душившие нашу партию своей социал-демократической образцовостью, теперь бездарно упёрлись в тупик! Но и – пропасть с немецкими работницами, проверенными партийками: какая-то буржуазная помощь раненым, забота о сиротах, не понимают, что благородней, смелей и даже дешевле – восстать! и потерять на улицах тысячи, чем на фронтах миллионы! Но и – вспышки шовинизма среди русских социалистов, застигнутых пленниками там: злорадное ожиданье, как из Пруссии дорвутся до Берлина *наши* , – кто *наши* ?! русские генералы? казаки? Вообще: что такое Россия? Россия – как что-то своё??? “Защита” – “несчастливого” – “отечества”? Вот уж что меня не трогает, это “судьба России”, меня сжигает судьба революции! – горела Сашенька. – Вот уж чего не хочу – это победы России! А по ту сторону огня – кто будет гибнуть? не такие же пролетарии? небось, не буржуазные сынки. Нет, нет для нас ни России, ни Германии, не надо нам ни ваших поражений, ни ваших побед, всё это одинаково. Пролетариату нужен – мир!!

Так довольны были собой, а ведь не дотянули и вдвоём. Последним и главным, как всегда, удивил, убедил, ослепил прорезающий Ленин: то есть как – одинаково?? Даже не сравнивать! царизм – во сто раз хуже кайзеризма!! Мы – не безразличны к патриотизму, мы – **антипатриоты** ! Лозунг мира? – неправильный! обывательский! поповский! Пролетариату нужна – **гражданская война** !!!

Про себя очунил Санька: да уж гражданская-то зачем? ещё хуже разор? Но Сашенька перехватила сверкающими глазами: да, да! Гражданская! – и зацеловала.

А – сейчас бы? Как бы Ленин решил сейчас? Как бы решил он в Петербурге 26 октября?

Почему-то кажется, да уверен: вот **так** же бы! **Трахнуть всеобщей стачкой** ! И даже не в три минуты – в пятнадцать секунд! Это невероятное свойство у Ленина: видеть всё сразу, как при молнии! И не колебаться в этот момент, и не раскаиваться потом. А – на локаут?...

Эх, всё висит на твоей голове, хоть и крепкой, все судьбы рабочих, сто двадцать тысяч на шее твоей. Такого размаха, такого решения ещё не бывало в жизни. Сообразить – может и пять секунд всего. Но пока ещё номер Центрального Органа с сегодняшним событием доберётся до Питера (если вообще он выйдет в свет, если заграничная редакция не передерётся окончательно) и укажет тебе, как надо было поступить, – пройдёт четыре месяца. И тук с этим номером не сам сюда доползёт, но – твоими же и усилиями, когда ты туда проберёшься и оттуда его толкнёшь.

Да что и вспоминать теперь 26-е, когда уже 31-е? Кидать ли бы доску через речку, нет ли, – но уж кинул, уже пошёл, уже под тобой посредине ломится, и решать тебе надо не прежнее то, а – куда прыгать? Назад или дальше вперёд? Вот это только: куда прыгать? (А на плечах – 120 тысяч рабочих).

И – не с кем советоваться. Ни – с *центровыми* из Швейцарии. Ни – в Питере здесь. Все – на тебе. Всё – на одном.

И – только до конца дня сегодня. Не спавши, не евши и не присевши: куда прыгать?

Вперёд? Назад?

...А между тем два потраченных пятака и верные ноги донесли уже Шляпникова на Ланскую, до просёлочной местности и огородов, минут на десять опоздав. И сапоги его прыгали через канавы и по вязкой грязи, где в сырой туманный день, ещё пока до первого мороза, по тропкам вдоль межей или древесных посадок иногда проходили рабочие хозяева огородов добрать, докопать невзятое. А уж филёра за Шляпниковым не было, пришёл к назначенной тесовой будке чистым.

И внутри будки хлопнулись крепкими ладонями с Лутовиновым:

– Я-то чистый. А ты? Не прямо от Шурканова?

– Нет.

– Ну спасибо.

В конспирации быть одному строгим среди всех – не многого стоит. Столько предусмотрительностей, а вот приди Лутовинов прямо от Шурканова и, гляди, привёл бы за собой. Квартира Шурканова – “фонарь для охраны”, сказал Шляпникову ещё в прошлый приезд один хороший парень с Айваза, но не успел объяснить: подошли другие, а там его вскоре арестовали. Так и остался Шурканов загадкой. Правда, своих подозрений Шляпников не имел, а это первое дело: ведь чутьём всегда предателя слышишь, только чутьём их и открывают. Был Шурканов даже депутатом 3-й Думы, хотя так себе, средний металлист. Бывали у него обыски, открытое наружное наблюдение, а провалов не было. Выпить не дурак, соберёт “стариков” вспоминать революционные дни – и из тех же стариков, тоже бывший депутат, шепчет Шляпникову: “не по средствам живёт, странно”. Змей подозрения так и ползает между рабочими сердцами, вот до чего нас довели. Дом у Шурканова очень удобно расположен, многие пользуются как явкой, а Лутовинов вот просто и живёт. И Шляпникову предлагал Шурканов комнату – нет, спасибо, не надо. И русский паспорт раздобыл для Шляпникова – “надёжный”. Ладно, пускай полегит.

Твоя выдержка – твоя свобода, твоя свобода – твоя работа. Взятая быть во главе всероссийского центра партии, так не попадайся. Единственный в России полномочный и свободный член ЦК? – так топай по Питеру аккуратнее.

На Лутовинове кепки козырёк – кверху, из-под него жёлтый кудерь и лбина раскатистая, крупно сляпано лицо, без мелких хитростей, большеухий. Челюсть – не всяким кулаком свернёшь, но от такого лбины как узкая. Росту парень взносчивого, но на рост и сила ушла, не молотобоец.

Говорит: гектограф старый с фабрики списали, украли и в Юзовку отправили.

– Молодцы! И что ж они там печатают?

– А эту... Коллонтай, “Кому нужна война”.

– Хорошо!

– И старые революционные песни.

– Ну, это уж слишком жирно.

– Так не знают их, Гаврилыч. Революционные песни – очень мало знают. Как на демонстрацию выходить – так и петь нечего.

– Н-ну может быть... Но ты – листовки им посылай. Задачи дня, сегодняшние.

Лутовинов, сам из Луганска, – по связи с провинцией. Когда в феврале Шляпников уходил за границу, оставил им тут связи со всей провинцией – и с Нижним, и с Николаевом, и с Саратовом, и с Ростовом. Вернулся – узнать нельзя: все связи потеряны, вся провинция стонет без литературы, без указаний: как события понимать, что делать? А в Москве – в Москве! – нет своего областного комитета, бояться собрать или не умеют. Смидовичи, Скворцов, Ногин, Ольминский – сидят по своим углам и что-то, говорят, *работают*. Какая ж тебе общероссийская работа, мамочки, если они в Москве наладить не могут! Всё развалено и потеряно так, будто он им не соорил за прошлую зиму, и начинай сначала опять. Вот безрукие! И только Лутовинов – держит связь с Донецким бассейном. Питерцы – тоже хороши: какая литература где по пути застряла, на шведской границе или ближе в Финляндии, – выручать не едут, ждут, что сама приползёт или Беленин-Шляпников им

съездит, пригонит. (Да смех! – в прошлом году на самом севере Норвегии нашёл он склад – тюки литературы 906-го года, так и не переправили, забыли про них. Кто их теперь будет читать? Там уж так устарело, что только мозги может запутать, кто против кого, кто на какой позиции). И свою типографию в Новой Деревне питерцы сберечь не могли. А побрюзжать, что Центральный Орган с указаниями опаздывает, – это они дружно.

Вот оно и есть: там и здесь. За два с половиной года войны жизнь так разъехалась, расползлась, что оттуда – невозможно вообразить *здесь*, отсюда – *там*. Там – удивляются, сердятся: да что они все в России – живые, не живые? почему заглохли? почему никаких сообщений? в чём их работа? и – денег не шлют, на что ж работу вести за границей, где же деньги брать, если не в России? Поезжайте, товарищ Беленин, но только налажьте связи, добудьте денег и возвращайтесь поскорей, вы не можете оставаться там долго, не губя себя и не вредя делу. Сюда приедешь, смотришь: стачки, вроде, всё же идут, и рабочие мал-мала просвещаются, уже того дикого патриотизма 14-го года и следа нет, а вот: литературы мало! свежих статей, свежих мыслей – почему не шлют? что ж они там замерли за границей, без слезки, без тревог, – зачем же тогда сидят? И денег – неуж не могут там раздобыть, в богатой Европе, неужели только и складывать наши рабочие гроши?

И понять друг друга почти нельзя. И только тот, кто бывает и там и здесь, Шляпников единственный, и ту и эту жизнь как: в двух тяжёлых плетёных муромских корзинах держа на длинном коромысле через плечо, не давая себе ни на миг позабыть ни эту, ни ту (с одной зазеваешься – всё сковырнётся), твёрдым шагом, куда б йога ни ступила, только и снует.

Глазеет Лутовинов, как из деревни и первый раз автомобиль увидел: неужели тот самый Беленин, вот который был, наставлял, уехал, исчез – и опять вернулся? Из-за моря, в такую войну, и целёхонький, – как же это совершается? И все на него лупят глаза, не один Лутовинов. Ну как, правда, поверить, что вот сидит с тобой в огородной будке, а две недели назад был в Христиании, а в сентябре океанским пароходом, да не третьим классом, а вторым, возвращался из Америки и под весёлую музыку духового оркестра любовался на океанские волны?

И рассказывать **как** – нельзя подробно, никто ничего лишнего знать не должен. А кое-что можно бы, да это если начать...

В Хапаранде по ломкому льду под мостом, и проваливаясь в речку Торнео, чтоб миновать полицейскую сторожку. Дальше – с проводниками, сам под финна, обходя лесными крюками пункты жандармских осмотров.

То – на крестьянских финских розвальнях, по сугробам, восемь ночей, днями отдыхая в избушках лесорубов. Нетронутость снегов. Молчание. Северное сияние. Сводчатые лесные дорожки. Потом леса вырождаются в карликов. Мшистые болота. На лыжах, не умея. И – долгой петлёй обошёл проверки.

Облегчает, конечно, что всё финское население сплошь враждебно к русским властям, охотно везёт нашу литературу, проводит наших революционеров, шпионит за русской армией, переправляет на родину германских военнопленных, и сами финны тысячами добровольцев уходят в германскую армию.

А Лутовинов вытянул из кармана краюшку хлеба ржаного, просто так, не завёрнутую, и помидоров пол-дюжинки, правда буро-зелёных, незрелых, а очень кстати, ночёвка была голодная, берёт Шляпников хозяев, не объесть.

– Это славно! А соль?

И соль. Ножи – у каждого. Бумажки простелить нет, да лавка и так чистая, раздвинулись к краям, а между собой разложили.

– Всё-таки выглянь, Юра, обмотрись, как там?

Выглянул. Туман редет, подальше видно. Всё в порядке. А было бы не в порядке – тут можно шпиков и на кулаки взять.

Кажется – что в этих помидорчиках? брюху голодному дна не притрусить. А вот порезали, присолили, берём поровну – и что-то сближает ближе самого дела.

А третий, последний переход был всех труднее. Уже не на терпенье, а на выдержку ног



и сердца, действительно не всякий мог бы. Опять далеко-о на севере. Сани, возница, да не бесплатно: марка за километр. Полярная ночь, но по снегу далеко видно, луна ли за облаками? По речной долине, в ямы проваливаясь. Потом через реку пешком, с проводниками держась за длинную верёвку. А вот и снежная тропа вдоль берега: утоптала её пограничная стража, проходят несколько раз в день. Опять сани. В санях и заснёшь. На хуторах пересадки. И – пустыня: ни одного постороннего пешехода или воза. У Рованиеми – опять река, но уже чёрная, шумная, незамёрзшая. Крики через реку, вызов лодки.

(Рассказываешь, а у самого сердце тянет: всё не то, всё не о том. Как же решится? Что же решать?... Да оно почти и решено: прыгать! А что будет?...)

Среди финнов – как немой: ни одного слова. Везут и ладно, не продадут. Даже и рад: на ночлегах не надо разговаривать, чистый отдых и соображение, как дальше. А вот и – задержали. Обыск. Лопочут финны по-своему, очень плохо по-русски. В далёком лесу – вроде воинской части у них, из старых бывших солдат и молодых парней. Это – *активисты*, это и есть те финны, кто уже оружием воюет против России. (По сути – за Германию, но здесь об этом думать не конкретно). Они и своих с-д не балуют, это – чужие. Но после объяснений, что революционер, отпускают. И снова на юг. Всё меньше снега, вот уже и оттепель. Теперь стерегись. Чем смелей и развязней, тем меньше подозрений. Где – секунды решают, и пожарной лестницей – на крышу станции, так избежал патруля. А на другой захватил-таки жандарм: паспорт! Бойко лезешь по карманам и спохватываешься: нету. Да я – местный житель, мы и без них обходимся. (А на самом – заграничное всё. Впрочем, финны одеваются лучше наших). Нет, арестовал. Завёл в пассажирский зал, отвернулся за под-собой – миг один! полмига! – а ты уже дунул! – в дверь! – сбил кого-то! – и в лес! И – лесом. Ушёл. Да не закружись: где полотно? И какие поезда в твою сторону, какие наоборот, как угадать? небо в облачках. Сообразил. Теперь пешком. Ночь, тепло. По полотну. Быстро! – надо к утру перебраться как бы не сорок вёрст. Пить! Снег. Есть! Нечего. У будочников лазил по сараям – не нашёл. Вдруг – железнодорожный мост, на тебе! Там – часовые, ясно. Надо обходить. Крюк – ещё на десять вёрст. Теперь лодочника сговорить. И к утру заснул в сарае, в соломе, мыши пищали в самое ухо. А в следующую ночь – до Улеборга, уже по лесу, дорогой. Избегая, однако, встречных. За две ночи – семьдесят вёрст! В редакцию соц-дем газеты как пришёл, сел – уже встать не мог. Ноги – свинцовые, пальцы – в кровяных мозолях. Дальше товарищи спят и фальшивый документ, и фотографию, и проводят до Гельсингфорса, но вот – встать? Как на ноги стать и пойти отдыхать на хутор? (Те мозоли и сегодня ещё не прошли, ходить мешают).

– Хороши помидорчики, хороши.

Вот почему заграничные члены ЦК – Владимир Ильич да Зиновьев – на такие путешествия, прямо скажем, не охотники. А Шляпников всё равно непоседа. И потом здесь, в России, многих рабочих знает лично, что и удобно для связей. Так и пошёл, и пошёл с коромыслом, там – тех понимаешь, тут – этих. Товарищ Беленин, дорогой друг, требуйте денег с Питера, должны собрать! Из “Летописи”, от Горького, от Бонча, хоть из “Волны”, лишь бы деньги! Сюда приезжаешь – “Волна” совсем неподходящее издание, против нас, не возьму ни копейки. Жмётся и Бонч с каждым рублём, жмётся вся бывшая с-д публика. Горький, правда, всегда даёт, кормилец наш. А эти членские медяки по питерским заводам больно и собирать. Ещё 10 процентов на Всероссийское Бюро ЦК возьмёшь у местных организаций, но чтоб эти деньги за границу своими руками? Нет.

Денег, денег, с этого и начинать. Достал, отсчитал пятнадцать красненьких и положил в растяпистую лутовиновскую ладонь:

– Вот, Юра, пока всё. Оборачивайся.

В лутовиновской горсти они ещё меньшими выглядят, сто пятьдесят, чем и есть.

– Маловато, Гаврилыч.

Что ж на них? Что на них? На поездки, на устройство, на технику столько ли нужно? И на самого себя?

Вздыхнул, подумал. Двадцатку добавить? А – Нижний? А Ивано-Вознесенск? А Тула?

А, может, кто на Урал ещё соберётся?

– Нет.

В прошлом году бюджет был побольше. Придумали с зятем-фотографом: распечатать открытки с портретами арестованных депутатов в арестантских халатах. И здорово пошло по заводам. А ещё привёз тогда Шляпников много “Социал-Демократов” да два номера “Коммуниста” и давали читать за плату. А сейчас...

(А сейчас – тянет сердце: что же решать?)

– Не поверишь, Юра, гонял в Америку заработать – еле дорогу оплатил.

Лутовинов zenки распахнул:

– Да ты – разве зарабатывать...?

Дело не такое секретное, можно и рассказать.

– Когда я *уходил*, один человек тут... (Горький. Но об этом не надо).

– ...передал мне материалы о преследовании евреев. Уже в военные годы. Чтоб их на Западе опубликовать. Да не так отдать, а – продать, евреи должны много заплатить! Да на Западе всё за монету. Например, в Копенгагене сейчас спекулянтов, мародёров – полгорода. И социал-демократы тоже не отстают.

– Наши?!

– Там все портятся. Спекулируют военными консервами, немецкими карандашами, лекарствами... Их из Дании вышлют – они на новом месте спекулируют. А есть такой Парвус – уже несколько миллионов нагнал. Теперь – благотворитель, пройда!

О Парвусе мутном, социал-демократе-толстосуме, только сказал – всё сердце чернотой затмилось. Отмахнулся, не стал. Да на него Ленин есть, с гребешочком железным.

– Или, например, в Америке сейчас. Нужен паспорт был для обратного выезда. Даёт его русское консульство. Но нельзя ж открыть, кто я. Надо – будто я в Америке и жил. Посоветовали взять удостоверение в церковном приходе, что я – ихний. Пошёл к попу. И за два доллара он мне – удостоверение. Вот так у них.

У нас бы, у старообрядцев, – ни-и-и!

– Вообще в Америке – все о наживе. Или сегодня уже наживаются или завтра мечтают. А жизнь – дешёвая, лёгкая. Меня наши товарищи здорово уговаривали остаться – мол, и тут рабочий класс, и тут можно помогать Интернационалу. А я – не, не поддался. Правда, две газеты у них там на русском. Несколько – на еврейском. “Новый мир”, а во главе – меньшевик. Поставил я им доклад о положении в России и уже этого меньшевика валил, хотел большевиком заменять, – так не нашлось ни одного порядочного, вот ни одного, поверишь?

Засмеялся.

– А туда по какому документу?

Правильно мысли направлены, конспиративная голова у Юрки.

– Туда – ещё трудней. В Нью-Йоркском порту – кордон, проверяют здоровье, больных не допускают, не нужно им. Проверяют деньги, доходы, виды на имущество, или хоть знакомых состоятельных. А голодранцев – назад.

– И что ж у тебя нашлось? – распялил Лутовинов голубые, но и заранее успеху радовался.

– А у меня... – гордость в горле. Всякий такой раз – гордость. – Удостоверение токаря. First turner, по-английски, высший разряд. Я в Англии испытание сдавал.

И, как сидели, приобнял Лутовинова по пальтишку серо-буро-рыжему, потерявшему единый цвет, и с петлями разлохмаченными, уже больше похожими на дыры. Шляпников своё европейское в Питере тоже сменил на такое примерно, нитки отёрты чуть не добела. Только сапоги хорошие оставил.

– Прошлым летом отпросился я у ЦК из Норвегии в Англию, сперва не пускали. И как стал к станку – так и на партию заработал и на себя, и ещё им в Швейцарию послал. Рабочий класс, браток, везде основа. Рабочий человек нигде не пропадёт. И знаешь, тебе скажу, ты вот за партийными делами только от станка не отбивайся, не отвыкай. Ты – мастеровой

настоящий. А ещё становись – интеллигентный пролетарий. Нам без таких партию не построить. Или – не та партия будет.

Доверчиво слушал Юрка под рукою. Как брат младшой. Да три года меж ними всего, но Юрка столько не видел.

– А то это быстро – нос задирают и чёрт-те в кого превращаются, балаболки. Вот с Гвоздевым боремся – а люблю его всё равно. Стать с ним рядом на станках – любо-дорого! Ничего не скажешь, руки!

Дверца из будки распахнута, чтобы подходы видать. Серенький день с туманцем, уже ключьями к земле. Борозды выкопанной картошки. Ботва рыжая намокляя.

А там где-то заграницы, заграницы...

– И что ж, пропустили?

– Кого?

– В Америку.

– А! Токарь! Без звука.

– А пока допрос, пока что, – еврейские материалы где же? – опять по правильному направлению соображал Лутовинов.

– В машинном отделении, у товарища, – успокоил Шляпников.

– Ну а продал?

– Смехота одна, опозорился. Ещё стокгольмские евреи брали охотно и цену давали. А я побоялся: ведь это прямо в германский штаб пойдёт, и для их целей? В Швеции, в Дании – тут, знаешь, на каждом шагу немецкие шпионы. Революционный борец то и дело может замараться об немецкую разведку. По виду европейская жизнь не строгая, а ухо держи. Так тебе деньги и суют, липнут. И предложил я шведским евреям так: вы нам дайте деньги на издательство, мы первым делом ваше издадим, а потом – своё будем. Так нет, отдай им в собственность. Я и заподозрил. Оттого и махнул в Америку – думаю, уж тамошние евреи денег не пожалеют, миллионеры! Ещё – на что ехать? денег партийных на дорогу надо, на самый дешёвый класс. Ну и что? Приехал в июле, время самое неудачное: все богатые евреи на лето из города уехали, а эти торгуются. И продал за 500 долларов, сказать стыдно. А дорога туда-сюда и прожил – 250. Вот так рабочему человеку коммерция...

На таком обороте приругнуться по матери бывает хорошо. Но Шляпников такой привычки не имел. С детства, от веры.

– Нью-Йорк – это камень, железо и дым, не знаю, как там люди живут. У нас в Питере вот и рощи, и огороды, а там так не посидишь.

Да и у нас не посидишь. Обманчив этот слякотный тихий денёк. Тут рядом, за спинами их, вдоль Большого Сампсоньевского, вдоль Выборгского шоссе, Выборгской и Полустровской набережной – закрыты были, кто нашею стачкой, а кто прихлопнутый встречным локаутом, – уже третий или четвёртый, или пятый день – Эриксон, Старый и Новый Лесснеры, Старый и Новый Парвиайнены, Айваз, Рено, Феникс, Нобель, Экваль, Промет, Барановского, а всего по Петербургу и ещё, ещё, там 120 ли тысяч или меньше, а судьбу их решать – Шляпникову. То есть – БЦК и ПК, но как собраться вместе нельзя, и не с занудой же Молотовым советоваться, то придёт вечером на квартиру Павлова кто-нибудь от ПК и решим окончательно. Решим, а листовки уже, небось, отпечатаны. Решим – а уже решено.

– Слушай, Юра, – не спустил ещё с его плеча потяжелевшую руку Шляпников. – Ты знаешь, что мы делать хотим? Чтоб локаут сорвать – с завтрашнего дня объявить по Питеру самую всеобщую стачку – до последней малой мастерской, до последнего рабочего, **все** !

Ещё тяжелела рука. И вид Шляпникова из-под картузика – тёмный, как закопченный, глаза большие и усы книзу.

– Как думаешь? Поддержит нас пролетариат? Возьмётся?

Молчал Лутовинов.

– Или нет?

Соображал Юрий.

– Как тебе сказать, Гаврилыч. По мелким, по всем, где организовать твёрдой рукой нельзя, – это дело всегда гаданое... Может взяться, может нет... Отсыревает...

Ещё темней и больней осунулся Шляпников.

Это – знал он. Он и сам с того начинал: подручным слесаря, с другими мальчишками, в ту Обуховскую стачку в 901-м, набрав карманы гайками, обрезками железа, камнями, бегали с Семянниковского на Обуховский отгонять от станков несознательных, какие бастовать не хотели.

– Но не всё ж кулаком по шее, должна же быть солидарность. Одни попали в беду, другие выручай. А без солидарности какой мы пролетариат? Ничего мы никогда не...

– Отсыревает, – вздохнул Лутовинов. – Подсушивать надо. Как сойдётся. Не знаю. Если б кто денег забастовщикам подбросили.

Ну, как сойдётся...

– Ну ладно. Вечером решится, ночью пришлём связного.

А – дельный парень Лутовинов. А – свой.

– Слушай, а не взять тебе в руки весь Юг, а? Давай прихватывай Воронеж, Харьков, Северный Кавказ, а? Давай вот думать, кто у нас из тех городов, или связан, и сколько человек надо? Давай, может, через неделю соберёмся, обсудим? Приведи с собой кого?

Уговорились до мелочей: где, когда, как узнают, как войдут, пароль...

Ну, расходиться. По отдельности.

Хлопнули ладонями со звоном. Пошёл-пошагал Шляпников по картофельным бороздам, набирая грязного оката на сапоги.

Туман осел, и мокрее стало, чем с утра.

Была бы с ЦК связь как телеграфная – отстукали, ответили, посоветовались бы. А тут и письменной-то нет – ни химии, ни шифра, ни в переплётках никто ничего не возит. Раньше всю конспирацию гнали через думскую фракцию, с арестом их – развалилось. Через ленинскую сестру сочилось – и её вот на три месяца арестовывали. Теперь если в Астрахань не сошлют (муж хлопочет для лечения оставить, а он директор компании, оставят) – уж под наблюдением тоже замрёт.

Никакой связи! Пока сам не поедешь. Чуешь плечом коромысло – вот и смеряйся.

Было б тут действительно Бюро ЦК; а это что за Бюро? – когда стемнеет, втроём походим по Лесному, так на ходу и решаем. Называется БЦК, а связь с заграницей и связь с провинцией и вся работа настоящая – на Шляпникове. А Залуцкий – связь с ПК, по сути он – ПК. А на зануде этом, Молотове, – литературные дела. Называется. А листовку его до конца не дочитаешь, заснёшь, для овец и коров такие листовки писать. Листовки огневые всё равно студентам-мальчишкам заказываешь. Взяли Молотова потому, что некого больше. Потому что подошёл под ленинское определение: сплачивать для руководства только тех, кто понял главное в тактике: размежевание с Чхеидзе! только не единство с Чхеидзе! иначе по меньшевистской цепочке до лакейства и т. д. Молотов – и понял.

А уши сзади: никого. Чисто. Дай не должно быть никого, приехал только что, ещё не ждут и не привыкли. Вчера гнались не из-за него, из-за встречника.

Сейчас хоть с ПК более-менее дружно. А прошлую зиму провоевали пекисты против цекистов. Приехал Шляпников, только что кооптированный в ЦК, его и признавать не хотели. И по-своему правильно. Но сразу склока, как у интеллигентов. Из кого собрать БЦК? Те хотят – набрать из ПК, Шляпников – своё отдельное: Россия – не один же Питер. Да он – не из головы, он из-за границы готовые кандидатуры привёз, но здесь оказалось: или в Питере их нет, или под боком сидят, в Мустамяках, как Стеклов, затаились в безопасности, не притянешь. Или – **стоят не на нашей позиции**. А ПК ещё большего хотел: на стол им положи связи с заграницей и связи с провинцией, на случай шляпниковского провала. Многого хотите! Провалимся мы ещё когда, а вы нас – раньше. А те нажигают: Шляпников строит диктатора, Шляпников хочет командовать один. Да не хочу я, а – вынужден!... Так и всегда склока затевается, на других видел, а сам не остерёгся: начинается с личностей, а вырастает в **теорию**. Опрокинулась склока на “Вопросы страхования”, будто в этом

дохлом журнале вся будущность русской революции. ПК – резолюцию против страховиков. Страховики отлаиваются. Шляпников требует резолюцию взять обратно. ПК – новую резолюцию, против Шляпникова. БЦК – против ПК. ПК собирает новых страховиков, обвиняет Шляпникова, что Шляпников сносится с членами организации, минуя ПК (а что же мне руки сложить, сидеть?), Шляпников ничего не сделал для общероссийской партконференции (а то вы много сделали!), транспорты литературы распространяет без ПК (да я их на собственной спине ещё в Норвегии таскал!)... Всего не перемелешь. На той склоке и проскочила прошлая зима. Всего-то деятелей два десятка, и все из рабочих, а помириться невозможно.

Оттого отчасти он и угнал в феврале за границу. Да и слежка надела: выходил только в сумерках, встречался только ночью. Да и ноги его нигде никогда не застаивались, всегда тянуло, что в другом месте он нужней.

Когда идёшь, идёшь пешком – вообще легче, ото всего. Всё, что внутри мутит, – в ходьбу уходит. И легче. Сейчас оставался времени запас до следующей встречи-и попёр, попёр Шляпников по Большому Сампсоньевскому, многовёрстному, прямому. И говорили уши сзади: никого.

Большой Сампсоньевский сегодня многолюдней обычного: рабочие не на работе. Кто – по улице шатается, кто – вместо баб в очередях у мясных, у молочных.

Отмахивали ноги, и подходил он ближе к заветным местам, где и сам проработал много. В 14-м году – так под видом “француза”.

Это – весело было придумано! Французский паспорт, французский токарь, приехавший деньгу подшибить в Петербурге. Пять копеек в час не доплачивают – увольнялся, знайте западные законы! И своим рабочим – мало кому открылся, но сбивались вокруг него послушать, как он, подавляя володимерский выговор и изумляя всех быстрыми успехами в русском языке, рассказывал на Лесснере и Эриконе про Ленина, про Мартова, для них легендарных почти. Пользуясь своим иностранным положением, под жандармские заботливые предупреждения с честью к козырьку, легко проходил кордоны в черноту Выборгской стороны, бушующей революционными песнями под гармошки, – куда жандармам казалось страшно. Что был за июль Четырнадцатого! Какие надежды!... И через несколько дней, тем же “французом” с нафабранными усами и в котелке, врезав ногти в ладони, со смесью гордости и боли смотрел, как рабочие шли на призывные пункты с красными знамёнами – увы, так же и царские рядом неся, увы – сдавая пролетарские знамёна мировому шовинизму. И весь реванш был для “француза” – не снять котелка перед хоругвенным “Боже, царя”...

И снова, и снова меряют ноги питерские мостовые. Сейчас его тут не ждут, фотографий не сверяют, чисто. Да и усы не те, и одежда не та. И свой на проспекте столкнётся – не узнает.

Вот и “Русский Рено” по левую. А по правую, за Флюговым переулком, – низенький забор мятежного 181-го полка. Подправили забор, подбили укосины.

И опять маршируют запасные на плацу, как ни в чём не бывало.

Чуть-чуть – а не началось. Правильно, Юрка: это дело – всегда гаданное.

И солдат этих никто судить не собирался, оказывается. И матросам, оказывается, никакая смертная казнь не грозила, 102-я статья, никакой там казни. Из двадцати шестнадцать вот уже и оправданы начисто. А просто, объяснили теперь другие: Соколов – он этих матросов защитник, ему надо было оправдание вытянуть, процесс выиграть, помощь себе получить. Вот он и...

А ты...

Ах, Санек, Санек, говаривает Саша, и похлопывает-гладит по щекам, простодушие тебя погубит, сковырнёшься ты на простодушии. Не смеет революционер быть таким простым.

(И Ленин: вы, Александр, слишком доверчивый оптимист!)

Встретились с Соколовым совсем случайно. И придумал он, значит, уже во время разговора. А ты – в три минуты! На полный размах!!

Эх, погорячился...

А питерский пролетариат, отзываясь партии, – тр-рах забастовкой по главным заводам! Партия решила – пролетариат забастовал! Это – верно! Так – надо! Пролетариат – по первой листовке встал. Силища!

А матросов – из двадцати шестнадцать вот уже и на воле. А заводы – закрыты теперь.

И закрыл их – ты, представитель ЦК! И вслух – вслух нельзя об ошибке признаться: тут все полезут улюлюкать, тут – гвоздёмцам будет раздолье, гвоздёмцы спятили на обороне отечества.

Думали – только военный суд погугать. День-два – и вернуться.

А – локаут. И возвращаться – некуда. На какие заводы рабочие сами являлись – их полиция разгоняла: заперто!

И даже хуже. На закрытых воротах Рено, и на закрытых Нового Лесснера вон, на всех висят расклеенные желтоватые листы, на плохой бумаге третьего военного года.

Люди подходят, постаивают, почитывают. Не обратишь ничьего внимания и ты, если подойдёшь.

Хотя уже знаешь там каждое слово:

“Начальник штаба Петроградского Военного Округа

28 октября 1916 г.

Директору... завода

Начальник Округа приказал лишить отсрочки призыва и немедленно призвать на действительную военную службу рабочих вашего завода, военнообязанных рождения 1896 и 1897 годов. Списки означенных рабочих немедленно представьте воинскому начальнику и в полицейский участок, а с военнообязанными произведите расчёт”.

И тому сегодня – третий день.

И хотя не видно проводов, белых узелков, бабьего воя. И расчёт производят вряд ли – какой дурак за ним пойдёт при закрытом заводе? И списки воинскому начальнику если и отосланы – этим ещё не решено, у воинских начальников служба своя, они и призванным дают отсрочки поступить на другой завод (тут поможет и гвоздёмская группа, использовать их). Да тот же самый завод своих новобранцев, уже в шинелях, гляди, к своим же станкам и вернёт.

И хотя призываются только два самых юных возраста, кто и рабочим-то стать не успел.

Но если это спустить, уступить военному сапогу – кончилось рабочее движение в России.

А не уступили – и вон бродят хмурые-хмурые по Большому Сампсоньевскому, без дела.

Локаут. Lock-out! Наружу вас!

Укрепилась гнилая власть. Решилась-таки.

Самое удивительное: как они решились? У них давно уже смелости нет.

Вот на этом и просчитался.

Побрёл налитыми ногами, как перед самым Улеборгом.

И гордость: во сила! Не точно считано, и меняется каждый день, есть такие фабрики и такие забастовки, что и в ста саженьях о них никто не знает, только фабричная инспекция, ну пусть не 120 тысяч, а 60, – о-го! В Копенгагене, кто карандашами приторговывает, представить такое в России – можно?

Сейчас бы отступить пролетариату, как победителю, в благоразумном порядке. А нет, схвачено: локаут. И – воинский призыв.

И – страх: *такого* испытания ещё не бывало. Можно всё сорвать в один раз. Сам указанья давал: сражаться рано, не готовы. И вдруг – дал сражение.

Резьбу нарезать – тщательная медленная работа. Расчёт диаметра. Расчёт шага. Обратные повороты – стружку выкидывать. Смазка.

А сорвать – дурак сорвёт: лишнее крутани один раз.

И какой же выход? Просить милости? У фабрикантов? У властей? Жертвовать призывниками? уволенными?

В том и дело, что это не выход. Правильно срублено было, неправильно, – а теперь только вперёд!

В борьбе выход – только вперёд!

Но точит пашень виновную грудь, про себя только знающую вину: ах, Санька-Санька, погорячился!

Тяжёлые-тяжёлые ноги. И мокрые.

И не доспано, и в брюхе пустовато. Поесть бы уже. Литовская... Гельсингфорский... Казармы Московского полка. Мимо Эриксона побыстрей, тут всё-таки могут узнать... И на Эриксоне объявление то же... Каждый переулочек тут знаешь, не читая. Каждый двор, не заглянув в подворотню.

А вот почему ещё тяжело так. Не потому что ты, председатель Всероссийского Бюро ЦК, может быть, ошибся, и какие это будет иметь последствия для партии и даже для всей России, а: просто закрытые заводские ворота. Для рабочих – закрытые. И закрытые – тобой. Рабочим.

Ещё не знал никаких социалистов, ещё не прочёл ни одной брошюры, а уже грезил: эх, кабы Бог послал мне стать вольным мастеровым! к станку бы приобщиться! тогда б нигде не пропал. И с этой надеждой – в Вачу, и в Сормово, и на Невский судостроительный (набавляя года себе в паспорте), и на Семянниковский, – да сбили: послали гайки умечать в лоб старикам, сознательность им передавать. И уволен по чёрному списку. И покатился, покатился в революцию, в тюрьмы, как будто вниз и легче, а мечта всё равно тянет вверх: стать металлистом первого класса! рабочим быть – и до гробовой доски!

И вот есть уши, глаза настороже. И ноги ходучие. И голова варкая. А руки – руки всего главней. И лучшие дни твои – не в стачках, не в комитетах, не на демонстрациях, не в эмиграциях, – а когдаходишь во всё это шумно-весёлое зубчатое, шестеренчатое, червячное, коленчатое, и каждое движение понимаешь, и его приспособляешь, и от стариков слушаешь себе простые похвалы, а потом и от мастеров, – вот когда ты на своём истинном месте! И по субботам ссыпашь в карман весомые, какие бывают только честно заработанные, денежки.

Потом – среди токарей немецких, французских, английских. Не тот Интернационал, какой собирается в манишках на конгрессы, а вот этот – коренной и основной, в цеховых проходах – в блузах, куртках, гетрах, в пятнах масла, ботинками по стружкам, что ухом не схвачено, то досмотрено глазами, и с гордостью идёшь по Вемблейскому заводу, first turner, рабочий-механик, в общем – славный мастеровой всемирного отечества. А другим – ворота закрыл. Это – как?

Ну, наконец, Бабурин переулочек. Где тут чайная эта? Волк выедает, так жрать приспело!

Тёплые запахи чайной – капустой, мясом, луком жареным, хлебом ещё тёплым, – ух, хорошо! Пальто тут не снимают, шапку – на колени. Тут уже, нет? Где? Вон, у стенки подальше, юркоглазый, лицо довольно дураковатое, Каюров. К нему. А пока глаза сами – на подносы, по столам, – что тут едят? Котлеты с картошкой. Макароны с мясом. Солянку. Гуляш. Взять побольше, не скупиться. В такой день да голодный – всё дело прогрохаешь.

– Здорово.

– Здорово.

Каюров – так себе мужичишко, искоренённый, росту среднего и модельщик не выше: не ремесловит. Но – резок, на горло кинется. Горлан – ничего.

О том, о сём – громко. За столами – свои разговоры, еда, расчёты. Не слушают. Такие ж двое своих, как все.

– Ты чистый пришёл?

– Чистый.

– Уверен?

– Нашёл проверять!

Каюров как весь с кондачка, так и в этом: по самоуверенности может и прохлопать. И суетун. Хоть он и старше на восемь лет, а ни в чём оно. Лицо у него всё бритое, а то ли и не растёт.

К тарелкам полусклонясь – Каюров уже ест, Шляпников ждёт, – полуголосом о деле:

– Так вот, выхода нет. Назначаем на завтра всеобщую по всему Питеру. Требуем: снять локаут и отменить воинский призыв.

– Да уж знают, потекло.

– Ну и как? Возьмутся? Вытянем?

– Эриксон – конечно! Оба Лесснеры!

Языком молоть, они сами в локауте, им выхода нет.

– Нет, кто работает. Соседи. Кого знаешь?

– Гергард. Морган. Розенкранц.

– Да это всё – по гривеннику.

– Хоть и по пятаку, а сколько! Лютш и Чешер. Электротехника. Кмядта красильная.

Григорьева колбасная.

– Да все ли пойдут?

– Пойду-ут!

Другой бы кто так сказал, Шляпников поверил бы. А этот – сильно на подхвасте.

– А Арсенал?

Не взялся Каюров:

– Не знаю.

– То-то. А мануфактуры? Сампсоньевская? Невская?

– Вот ждём.

Ждём. Так и размажется. А за всё ответишь единолично. Ты. И в эти оставшиеся полдня надо решать. Каждый раз хочется на одну сознательность перейти. И который раз по важности случая: нет, вот ещё последний...

И – твёрдо, командирски:

– Надо вытянуть, во что бы ни... Не пойдут – выгоняйте хоть гайками. Сегодня к вечеру листовки будут готовы, присылайте человека к Павловым после восьми. За ночь распределите. И утреннюю смену везде надо остановить! Хоть на улице, хоть перед воротами, хоть уже на лестницах. Но – остановить. Иначе всё проиграем.

– Сде-елаем!!

Это Каюров уверенно, э-это он может. Где забияки нужны, там он первый. Э-это он столкнёт. В чём другом напутает, а это!

– Слышал: забастовщикам кой-где пособие платят.

– Ну? Кто?? Из каких средств?

– А чёрт их знает. То ль межрайонщики, то ль инициативники...

Интернационалисты?... Внефракционники?... Во дела! Загадка. Но нашему козлу на подмогу, это нам идёт.

Васька Каюров любит поговорить, но с ним не обо всём. Что, вот, гнетёт сердце, что, вот, не ошиблись ли? – этого ему не выскажешь. Ему – только готовое решение.

Так и всегда. Для каждого разговора должен быть подходящий свой особый человек. Через пять минут разговариваешь с другим – и слова другие, и сам ты как будто в чём-то другой.

С Каюровым что вместе хорошо – если ругать кого-нибудь, душу отводить. У Каюрова весь вид востренький, от востреньких бегающих глазок, а слово хлёсткое. Того же Чхеидзе: врёт насчёт Циммервальда, что сочувствует; пристегнуть нас хочет к буржуазному министерству; вместо Штюрмера будет Милюков – что мы выиграем? А ещё разбористой – Гвоздева ругать, по Эриксону и сам его знает, зубами бы ему на горло: стачколомы! примирительные камеры суют нам, гвоздёвские молодцы! Спасение самодержавия приняли за спасение отечества, маленькая ошибочка! А у нас Минины и Пожарские такие, что не свои



кошели на алтарь отечества кладут, а норовят себе с алтаря стащить!

Это верно.

Для постороннего вида, для безопасности разговора надо бы еду растягивать и растягивать, а ложка просто рвёт с тарелки – мясо духовое, мясо тушёное, капусту, картошку.

Продовольственный вопрос сам с тарелок кричит, а Каюрову много повода не надо. Хорош он для действия, а очень любит рассуждать. В чём и разумно:

– Твёрдые цены на все продукты – конечно. Но монополии хлебной торговли – правительству не давать! не допустить! Нельзя, чтобы правительство хлебом владело, а то они нас на колени поставят. Вообще, мы ещё мало агитируем вокруг продовольствия: надо хозяек подбивать давки разносить. Бабы повалят – на них казаков не выпустят!

У Каюрова – отдельная группа бывших сормовичей, и среди них он считается даже голова. Они всё сами хотят: и обдумать, и сделать, чуть и не всю вторую российскую революцию. Долго вообще не хотели признавать Петербургского комитета: вы, мол, по себе, а мы – по себе. Отчасти из недоверия, что в ПК – осведомители и всех провалят. Но и меру ж надо знать, подозреньями нас тоже охранка заражает, чтоб разъединять. Когда Черномаз из ПК пачкал *заграничников*, что засели мол там, отсиживаются, только святые указания шлют, – тут каюровцы и к Черномазу охотно прислушивались. А когда прошлой осенью Шляпников приехал сам из-за границы, живой член ЦК, вот он, не отсиживается! – каюровская группа завопила: не может быть! такого не выбрали! провокатор!

Не может быть!... Раз никому другому такое не под силу – значит, и ты сделать не мог. Значит, тебя охранка через границу перевезла. Правильно, не выбрали. Правильно, такие тяжёлые условия. А – кого другого из вас бы назначить?

И всё это выяснялось и обсуждалось через Горького: как земляка-нижегородца, его одного сормовичи признавали, ему только и верили. У него одного и собирались – языками поболтать да на груди порыдать: как не состоялась первая революция, да какие славные были красные годы, до 907-го, да как упал рабочий класс после них. (Горький и сам любит слезу пролить).

Теперь, когда ноги согрелись, особенно размокрели. Чувствуешь, как набралась вода внутрь. Переобуться да подсушиться как приятно бы! Так бродячему всегда негде.

Квартира Горького на Кронверкском – такое место, куда все валят, и он сам охотно широко принимает – и рабочую публику, и соц-дем, и вообще рев дем, и угощает всегда хорошо, всегда там поешь, и веселье общее такое, будто за окном никакого царизма нет или уже падает. Квартира на виду, снаружи частенько дежурят филёры, но законная открытость хозяина и то, что сыпят туда многие, иногда человек до сорока, как будто и конспирации не нарушает, и Шляпников разрешает себе туда ходить.

– Ты когда у Алексей Максимыча будешь? Скажи: я послезавтра зайду.

Новости думские собрать. Завтра Дума открывается, к послезавтраму у Горького все кулуарные новости будут. Да все новости из буржуазной среды и даже правящей верхушки, и все материалы, какие по рукам ходят, где ж и получить? Секретное совещание заводчиков у градоначальника? – вот тебе стенограмма. Тайная встреча Протопопова с думцами? – вот тебе запись, а ты её хоть за границу пулай.

– Алексей Максимыч в Москву уехал.

– Да ну? когда?

К Горькому и от Ленина поручений много. Деньги выколачивать – это вполне понятная задача. А бывает помудреней, например: вышибать окистов через блок с махистами. Вот этого Шляпников совсем не умеет. Всех бы гнать одной метлой, проще и понятней. А Ленин всегда из них что-то комбинирует. А Горький – с теми и с другими, как и всякими третьими, – в обнимку. Хотя в общем – на *нашей* позиции стоит.

О том и Каюров:

– Спорили мы у Алексей Максимыча: какой ориентации дальше держаться, при развороте событий? Начнётся революция, конечно, с фронта, это ясно. Но от этого фронт

сразу ослабится, и Россия проиграет эту чёртову “вторую отечественную”. И это – хорошо. Ленин пишет: для пролетариата выгодно поражение своей страны. Значит, какая-то из группировок империалистов получит временную гегемонию над Россией. Так вот: какая группировка предпочтительней? Алексей Максимыч всегда уверяет, что англо-французы лучше. А я ему: всех наций капиталисты имеют в Питере заводы, хоть и шведы, хоть и финны, и нами правят. Так что имеем случаи сравнить. Англичанин – всегда зловредней и злопамятней. На Невской бумагопрядильне впустят полон двор баб, кто работу ищет, а он выйдет на крыльцо с трубкой в зубах и смотрит – ну нагло, как на скотину. А немцы не такие нахальные. Человечней, что ли, ближе к нашим. Сколько вон мастеров-немцев, с ним и поругаешься, с ним и помиришься потом. А ты как думаешь?

Шляпников так думал, что противно ему это слышать. Что *здесь* он этого услышать не думал, там наслушался. Но – объяснить, но – отвечать? но спор заводить сейчас?... Нагрузил брюхо, и теперь тяжёлая теплота по всему телу. Разомлел, хорошо бы подлить-посидеть, даже в стуле заснул бы. Но ни засидки, ни залежки не может себе разрешить подпольщик, разве что при крайней опасности. Чаёк допит, время гонит дальше. Волка ноги кормят.

– И потом, – распелся Каюров, – ведь – соседи. Через них – как прыгнешь?

– Знаешь что, Васька? – Манил Шляпников полового рассчитываться. – Ты вот этой глупости нигде не сей больше, даже у Горького. В том и линия наша: чтобы под самой немецкой пастью пройти, а на плечо б они нам не блонули.

Разговор вместе, а денежки врозь. Денежки рабочие – считанные, каждый за себя.

И ушёл расстроенный.

Однако не забылся: по переулку – в другую сторону, чем пришёл, на Межевую. Кажется, *без прищипа* .

А там на трамвай вскочил – на ходу. А трамвай – в разгон. Ну уж, точно чист. Сегодня – нельзя ошибаться.

И сообразил билет пересадочный взять: чтоб и по Невскому ни квартала не идти, на Невском становишься заметен, и чтобы – пятак сэкономить.

Если уж питерские кадровые думают так, как Каюров, – как же нам не замараться? А германский генеральный штаб – тот и с первого дня войны понимает, что русские социалисты-интернационалисты ему как бы союзники. **Как бы !** А вот выкуси!

Да Ленин – уследит, не допустит!

Это Сашенька, молодчина, раскусила, когда им из Берлина в 14-м году, из интернированных, прямо бархатцем выстилая, предлагали в Россию – неизвестно кто, неизвестно почему, неизвестно на какие деньги. И все эти Чхенкели, Нахамкисы, Лурье, Гордоны схватились, её уполномочили, а она – пошла и за всех за них отказалась!! Уж как её грызли!

А потом подъезжал этот Кескула, змей, якобы революционный эстонец. Приехал – из Швейцарии в Скандинавию, и деньги, деньги суёт, – вам же деньги нужны? на издание брошюр? на транспортировку литературы? вообще на партийные цели? – “позялюста, фседа достанем!”. Типографии, оружие? – всё достанем, лишь бы бороться против царизма. От Ленина – лучшие рекомендации, меня знают, знаком... Замялась Коллонтай, а Шляпников – подозрительней, у него глаз – на прорез. Конечно, по рекомендациям поработали с мерзавцем, кое-что и лишнее ему сказал, но потом отряхнулся: бездомный эмигрант с чековой книжкой? И друзья у него в русских банках? – пошёл-ка ты подальше по-хорошему!...

И разъяснил про Кескулу Ленину, написал, чтоб тот не верил. Люди головные, погружённые в газеты-книги, этих происков не замечают. Это под ноги надо смотреть, а то вступишь.

У конца Нижегородской слез и ждал кругового, шестого, с синей-зелёной марками. Стоял в нескольких шагах от городского, но в тесной серой толпишке. Стоял перед самым взгорбком на Литейный мост, на этом узком горле Выборгской стороны, куда столько раз

уже подступала рабочая масса – идти в город. И задерживали её все виды полиции.

И – ещё ведь *подступит* ?

Не может не подступить.

Нет, сколько ни мотайся по Стокгольмам, а вот это ощущение – своей питерской мостовой под ногами, своего Литейного моста, обречённого и открыться когда-то нашему шествию -...!

Хоть и городской рядом.

Треснула Европа багровыми швами границ – и как путаются самые умные люди! Вполне честные немецкие соци удивляются нашим: ведь вы же против царизма! и страшной царизма нет опасности в Европе! – отчего ж вы германской помощи не хотите? Поражение царизма – нужно вам или нет?

А оттого что: не помогайте нам через Вильгельма, вот что! Не помогайте нам шестидюймовыми по нашему брату! Спасибо вам за такую пролетарскую солидарность!

Кажется, ясно? Нет, опять не ясно. И никому не ясно. Вот финские *активисты* , оружие из Германии. Почему пропустили Шляпникова сюда, не забили там, в полярной темноте? А потому что вроде – союзник. И – согласился Шляпников, не стал им руками показывать: мол, стреляйте меня, не приму вашей помощи.

А и Кескула, между прочим, финским активистам тоже оружие гнал.

Дребезжал, громыхал трамвай по Литейному мосту над черно-серой холодной Невой. Останавливался подле Окружного Суда, где ах мечтали бы зацапать того, кто всеми забастовками ворочал.

Набил брюхо – теперь клонило спать за недоспанные ночи. В голове было мутно, гудко, и даже в толчках трамвая задремал бы.

Отогнали Кескулу от одной двери, он – в другую: Шляпников денег его не взял, так взял Богровский, секретарь стокгольмской группы РСДРП. И давал расписки на бланках, присланных от Ленина, а печать на них – Шляпникова! Каково!

И кинулись Бухарин с Пятаковым следствие вести.

Отбили Кескулу за границей – ничего, протянулись руки сюда. Уже Шляпников был в Петербурге, тут к нему тёмный датчанин какой-то Крузе, конечно “с-д”, но от торговой фирмы, и больше всего удивляется: почему же русские с-д не готовят вооружённого восстания? Да не прислать ли оружия из-за границы? Это совсем не трудно. И шрифты можно для типографии, в любом количестве.

И – заманчиво. И – как разобраться? (Может и взяли бы, да Крузе поспешил – мотнулся в Москву, к жене Бухарина: как? и в Москве восстания не готовят? а нельзя ли вот таких и таких эстонцев разыскать, тут записка от их товарища Кескулы?)

А тем временем Бухарин и Пятаков гнали по кескулову хвосту. И так удачно у них получилось, открыли все нити: и что Кескула – агент германского генштаба, и что целая сеть уже сплетена вокруг русских революционеров в Швеции.

И кажется, что б от того нейтральной Швеции, что эмигранты вокруг себя раскрыли? Нет, до той поры терпели, а тут арестовали добровольных следователей и – выслать! И Бошиху с ними. И – Сашеньку Коллонтай. Вот так нейтральная страна! – немецких шпионов не тронь! (Выручил всех Шляпников: он вернулся из Петербурга, на Западе считался как бы единственный реальный представитель социал-демократической России, и Брантинг ему помог).

Прогромыхал трамвай по Кирочной и заворачивал на Знаменскую, не так уж вдали и от Таврического, где празднично и праздно соберутся завтра разряженные думские болтуны. И даже будут рабочих поминать всеу, рабочего-то движения на сам-деле и боясь.

Вот этого самого взмаха боясь: стачка – локаут – контрстачка, – от которого что ещё выйдет? Устоит ли сам Петербург? Они там будут рассуждать, закрывшись в коробке Таврического, а в эти часы устоит ли ещё Петербург?

Со сломанной доски прыжок был сделан – вперёд! (И – когда сделан? сам не заметил. Ни в какой отдельный момент, а вот уже сделан). И ногами ли на тот берег? головой ли в

поток? – решалось в ближайшие полсутки, и надо было соображение собирать, что-то ещё подправить, что-то ещё... А голова гудела, и ничего путного не соображала.

Ничего путного, а вздор – продавливался. “Японцы” эти (Пятаков с его Бошью и с Бухариным)... Вот это следствие о немецких агентах одно только и удалось им, изо всех дел – одно. А в остальном и всегда были они – головастики, ни к чему не приспособленные смешные существа. Над книгами, бумагами и в диспутах – гремел Бухарин, глаза горели, не уступал ни пункта. Но в любом жизненном деле, а особенно в дороге, на лондонском вокзале или в датском порту, да ещё со своим поддельным паспортом Мойши Долголевского, а по виду полный русак, да не зная ни одного языка, да не умея с чиновниками разговаривать уверенно и смело, терялся Бухарин до смешного, превращался в куль бесформенный, и как куль перетаскивал его Шляпников на пароходы то из Англии в Норвегию, то из Дании в Норвегию, то выручал из шведской тюрьмы, то, сочувствуя его тоске, отправлял прокатиться в Америку “для партийной работы”. Приспособить же “японцев”, живущих в Швеции, рядом с Россией, для самого реального дела – переправки литературы и связи, – оказалось совсем безнадежным, такие безрукие, это все признали, и они сами признали. Да они ж “в Россию” и ехали, а то куда ж? – через Швейцарию-Францию-Англию-Норвегию-Швецию второй год ехали, а при конце не хватило сил. Тут ведь, дальше, надо по льду пешком. А мастера – статьи катать: нате, напечатайте! нате, отправьте! А мастера – разжигать разногласия по теории.

Слез. Пошёл по 3-й Рождественской да по Херсонской – задами, к Архангелогородскому мосту.

Эмигрантская жизнь такая, что только спичку кинь. Теоретические разногласия – значит сейчас же и личная вражда. С Лениным “японцы” разошлись: самоопределение нациям – обещать непременно всегда всем или нет? (Ленин раньше говорил: никому! теперь: обещать! японцы, как и раньше: нет!), – и тут же развалили редакцию “Коммуниста”. Если в одном пункте рассорились – всё пропади и всё провались, и рабочее дело туда же!

Ни понять, ни принять этого Шляпников не мог: как так? при несогласии почему обязательно сразу и вражда? Вот это наша интеллигенция, узнаешь сразу: из-за принципа провались и самое дело. Да рабочее дело почему должно страдать? Чтобы в России дело шло – надо же помириться?

Только Шляпникову и занятий: последний раз приехал из России, начал мирить “японцев” со “швейцарцами”. Два месяца потратил – буфером служил. Объяснял тем и другим, что такое “Коммунист” для русского рабочего: тянутся! нарасхват! деньги платят за прочтение! Бес-по-лезно! Так и уехал Бухарин в Америку, не примирённый.

Ну а по Шлиссельбургскому – тут своя рабочая публика ходит, тут не выделяешься нисколько. И уже паровичок не нужен, близко, а время есть.

Да только ли *там* мирить! Приказал Ленин Шляпникову, сюда воротясь, в этот кипящий стачечный военный осенний Петербург, – как самое первое важное дело собрать БЦК обсудить разногласия в редакции “Коммуниста” (сообщение товарища Беленина) и чтоб непременно выразить солидарность БЦК с *основной* (ленинской) линией ЦК. И *письменное* решение немедленно выслать в Швейцарию.

Неизвестно с кем. Других забот в Петербурге нет.

Всё же уравнивал Шляпников так и сяк: расхождение сотрудников ЦО по отдельным вопросам программы не может служить препятствием к участию их в изданиях ЦК; следует принимать их сотрудничество по вопросам, стоящим вне разногласий... (Так тебе сразу и схватятся!...)

Поручение выполнил, осудил “японцев”, но так, по сердцу, если глянешь отсюда туда, на все эти колонии русских эсдеков, переполненные теоретическими и перьевыми силами, – американскую, английскую (кого там нет! – Литвинов, Чичерин, Петерс, Керженцев, покойно себе живут), французскую, швейцарскую, шведскую, датскую – всякие Чудновские, Урицкие, Троцкие, Володарские, Сурицы, Зурабовы, Лурье-Ларины, Левины-Далины, Гордоны, Дерманы, – сколько их там в ожидании конца войны или мировой революции, а

тебя кооптировали, и гоняй туда-сюда, и гнишь под коромыслом. Отвези-привези, чтоб колебались устои царизма. Отвези-привези, сделаешь доклад, мы обсуждать будем.

А туда приедешь – ещё разрешения у Ленина спрашивай, в какой стране жить? Можно ли в Англию съездить токарем поработать? Можно ли с Брантингом встретиться или это утесняет Литвинова?

Туда приедешь, и, правда, болташество охватывает. Так и тянет, отчего бы нет, на камнях у моря полежать, окунуться.

Не обижался Шляпников на коромысло: оно было ему и по плечу, и по духу неумному, и по ногам бегливым. Что ему одному всё это подгрузили – не обижался он, только подсмеивался. Но в такой тошный день, как сегодня, потребно было посоветоваться с центровыми – как же решать? что делать?

И вот тут – никого не было.

Стеклянный городок он уже отмахивал. Пересек Фаянсовую улицу, и вот уже была площадушка перед церковью Всех Скорбящих. Тут, у церкви и при лавках, всегда толкучка, легко затеряться, и вход в “фотографию Коваленки” – открытый всем, неподозрительный.

Коваленко, муж Мани Шляпниковой, был фотограф непридворный, незначительный, золотых медалей на выставках не хватал и на карточках не выпечатывал, но для рабочего дела самый нужный фотограф, на помощь партийной кассе (хоть и позабористей: “Распутин и царица”, “Распутин и Вырубова”, шло хорошо по Питеру).

Кого ж к конспирации и привлекать, как не близких родственников? Самые безотказные помощники. И в задней тёмной комнате, без окна, отдохнуть и отлежаться у них как загнанному зверю в норе – покойней всего.

Иосиф Иваныч снимал кого-то при лампах. В ожидальне сидела мещанка с детьми, две девицы. Шляпников скромно прошёл за занавеску, тихо ступая. Во внутренней комнате сестра Маня:

– Есть будешь?

– Да нет пока.

– Ночевать останешься?

– Никак. А до темноты посижу. Час который? Успел. Сейчас студент должен прийти. Такой крупнолицый, с оттопыренными ушами, не в форме. Ты спроси его: “Вы что будете заказывать?” Он скажет: “Хотел бы в кавказской одежде”. Тогда веди его сюда.

Разделся. За ситцевую занавеску в сиреневых цветочках прошёл в заднюю комнату, где не было своего света, а падал ослабленный из столовой, а и в столовой – серый краденый петербургский. Сел на кровать. И голова сама на руки свалилась.

Сейчас, правда бы, залечь – и до завтрашнего утра. Почему-то часто сходится, что к самому нужному дню – и не выспался.

Кровать ямкой, ссунулся туда, оттого колени поднялись, и голову на них, ниже, ниже... Заснул, что ли? Маня за плечо:

– Пришёл.

Сухими руками, без воды, растёр, растёр лицо небритое. Вроде посвежей. Вышел.

За обеденным столом сидел Матвей Рысс, сняв кепи на голубую вышитую скатерть, но остался в пальто нарядном и буро-красном шарфе. Волосы его светло-серые шерстились пышно, и сам он был свежий, светло-розовый – ушами, щеками, губами.

Молодость на подсобу. Вот их студенческая группа, Аня Коган, Женя Гут, Рошаль, вот эта молодёжь пришедшая и есть перелом в интеллигенции. Новый кадр. А без тех задремавших справимся.

– Ну? – бодрости голосу подбавляя, руку пожал студенту. – Как дела?

– Хорошо, товарищ Беленин!

– А что да что хорошо? Обуховцы почему стачку не поддержали?

– По продовольственному нашу резолюцию уже приняли. И против локаута всеобщую я вам гарантирую – поддержат.

– Уверен?

– Обеспечим.

– Это – очень важно, парень. Обуховский – это вес.

– Некуда деться им. Против солидарности.

– Хорошо, радуешь. Ещё что?

– В университете волнения.

– Да что ты? Вот замечательно! Вяжется! Делается всё-таки!

– Позавчера собирались на главной лестнице, был митинг о дороговизне и что войска отказались стрелять в рабочих Трубочного. Не знаю, было такое на Трубочном?

– Не было.

– Ну, на митинге говорили. Потом по коридорам пели революционные песни и врывались на лекции.

– Здорово, молодцы!

– Университет, Бестужевка и наши Психонервы – готовы к забастовке. Всеобщую – поддержим и мы.

– Молодцы! Вот молодцы, ребята! – сидя против него через небольшой обеденный стол, радовался Шляпников.

Идёт поддержка, откуда меньше ждёшь. А рабочие – как бараны за этими оборонцами.

С одобрением смотрел на Рысса:

– Сейчас стачка против локаута – главный бой!

– Понимаю.

– И готовим – твою листовку. Не как в древности подпольной, знаешь, писали от руки, раскатывали на гектографе. А в самой настоящей типографии.

Рысс головой покачал, как не веря.

– Увидишь! Не стану называть, а делается так: в ночную смену подбираются все верные люди, и вместо их газеты – наша листовка. А там только пачками выноси.

– А у межрайонцев ещё проще.

– А как? – ревниво Шляпников. “Межрайонцы” была группа между большевиками и меньшевиками, которая считала, что она одна только...

– Да прямо в легальной типографии за деньги печатают. Хозяин берёт за 1000 листовок 50 рублей со своей бумагой.

– Ну-у-у... – даже недоволен Шляпников.

– И где типография! – на Гороховой, рядом с градоначальством.

– Здорово, – нахмурился. – То-то я смотрю – у них бумага хорошая, шрифт. Ну, ладно: сегодня вечером будем листовки раздавать. Я постараюсь к ночи сюда прислать, для Невского района. А вы утром как можно раньше забирайте – и раздавайте. Этот бой надо выиграть. Такого боя ещё не давали.

– Понятно, – светло-рыжими бровями отозвался Рысс. – Приложим.

Твёрдый парень. Без них бы вот разорваться. Когда это всё сочинять да...

– Ну, а *та* ?

– Готова и та, – тряхнул головой Рысс. Волосы его, хоть и вздыбленные, нисколько на этом отдельно не колебались. И достал из кармана, развернул на скатерти бумагу с новым текстом.

Новые дела и старые годовщины наступали на пятки, гнали. Ещё о локауте и не знали, а эта листовка уже была заказана к 4 ноября, ко второй годовщине ареста думской фракции большевиков. Хотя на суде они себя вели не как надо, особенно Каменев, но уже принято было в эту годовщину сгущать рабочую злость.

Почерк у Матвея крупный, неровный, с хвостами. Читать можно. Но захотелось Шляпникову ухом принять.

– Только не громко, чтоб в фотографии не слышали. И Рысс тоже с удовольствием стал читать, громкость сдерживая, а выразительность всю подавая:

– ...на скамье подсудимых в лице пяти депутатов сидел весь российский пролетариат...

В то время война ещё только запускала свои когти в тела европейских народов. В гrome

барабанов буржуазной лакейской печати у многих ещё были закрыты глаза...

Звонкий голос, просто рвётся на митинги. Хорош из него будет оратор. Кто сам сочинял, тот и знает, где выражение выразить.

– Замечательный слог у тебя!

Ленин верно написал, что листовки – самый ответственный и самый трудный вид литературы. В эмиграции мало кто таким слогом пишет. Бухарин – скучней. И сам Шляпников, как ни натаскивала его Коллонтай, – неважно совсем, не хлётко.

– ...День похищения нашего рабочего представительства ознаменуем усилением агитации за лозунги... Под визг приводных ремней протягиваем мы вам свои мускулистые руки! Сомкнутыми рядами, возродившись в 3-м Интернационале, мы усилим борьбу за прекращение войны путём гражданской войны...

– Здорово. Здорово. Только вот что: ты – межрайонцам не пиши.

– Я межрайонцам не писал! – воззрился Рысс.

– Ну да, говори! Слог твой узнаю.

– Да это не я, товарищ Беленин! Да они там сами все письменные.

– Ну ладно. А то – нечестно.

Забирал бумагу. Остались влажные тени от пальцев, где держал Матвей.

– Скажи, а Соломон Рысс, максималист, тебе не брат был?

– Двоюродный.

– Ничего у вас семейка, боевая.

Простились со студентом – вошёл зять, кончив свою работу, но ещё в халате. Вошёл, посмотрел на деверя странно, улыбнулся:

– Алексан Гаврилыч, сколько у меня бываешь, а никогда не снимешься. Ни в ту осень, ни в эту. Потомхватишься по этим годам. Давай сейчас, а? У меня на пластинке место осталось.

Шляпников посмотрел с удивлением, даже не понял сразу. С какой стороны привыкнешь смотреть – с другой и не взглянешь. Привык он, что на площади толпится народ, что в фотографию всякому зайти неподозрительно, да каждый раз и при нём кто-то снимался, видал, – а в голову не стучало, что и самому ж можно.

Из головы ушло, что это можно и ему.

Что это нужно ему.

Или Сашеньке.

Плечи пошли в пожим. Губы тоже. И рукой, мужское оправдательное движение, к щекам, протёр:

– Да я ж небрит, Иосиф Иванович.

– Ну, побройся. Сейчас Маня кипяточку.

Да разве в том, что небрит? Всё настроение не то, придавило, несёт куда-то, какая фотография!

Однако к зеркалу подошёл – к наклонному, в межоконнике над столом, неудобно и висит, изогнуться надо, чтобы посмотреть. Да и тусклеет уже, края в облезлых пятнах.

Своих тридцати двух лет никак не меньше, можно и под сорок. Лицо – и русское, и не то чтоб выпирало русским: чуть иначе усы подстригал, волосы разбирал на пробор, и на снимке с французскими рабочими в цеху не сразу его и отберёшь, который русский тут. А в хорошем костюме – так и коммивояжёр, что ли.

Самому-то ему хотелось бы вид погероичней, больше бы чего-нибудь революционного. Хотя нет, тогда б и полиция цапала хватче. А так – средний тихий мастеровой, любит заработать, если пьёт – то немного. Скромные усы, скромные волосы коротко стриженные. Да не от этого, а: взгляд, весь вид какой-то странный, самому себе всегда непонятный. Такой вид, что ли, будто он знает больше, чем делает. (На самом деле – что знал, что умел, то и делал честно всё). Такой вид, что ли, будто он знает, что делает всё зря. Какие-то глаза не такие, не боевые, какая-то улыбка не такая, печальная, и на всех фотографиях так всегда, как ни приосанивайся, – почему такой странный вид? Не похож на настоящего революционера.

Рысс, мальчишка, и тот гораздо больше похож.

А сегодня ещё и глаза безо сна и покоя, и усы опущенные, и вид такой недовольный – совсем не тот Милунечка, которого Саша звала, рвала в Хольменколлен на прогулки по косому угорью, встречать поезда на обрыве. А молодость, а сила, а ноги резвые! – неужели тому двух лет не прошло?

– Нет, Иосиф Иванович, спасибо. Другой раз как-нибудь. Не до того.

– Ну, смотри. Тогда обедаем. – Пошёл Коваленко руки мыть.

А что за вид был у Саньки в 17 лет, ещё до первой одиночки, до гласного надзора, до Владимирского централа, ещё когда совсем не был революционер: в косоворотке провинциальной самой дешёвой, а руки беспокойно просятся в дело, еле держишь их на груди, как живых, чтоб не вырвались. И глаза – к подвигу, к вере.

А вера та была – древлеправославная. Она ещё гналась тогда, и за неё стеной стояли истинно православные, и, как все, готов и Александр был – умереть. Но гонения отменили, пострадать за веру не стало возможно, и кто потороватей – приспособлялся к начальству, а сила молодёжи потекла по другим дорогам. Александр пошёл в социал-демократию. Как будто всё другое, а гонители, а враги – те же самые, разве с другого боку.

И не намного старше того возраста, хоть уже после нескольких арестов, а такой же ещё провинциальный неумелый паренёк, не умеющий руки держать, ни сам держаться, строгий, застенчивый, малословный, он уехал за границу – и вдруг оборотилось неожиданным, в мечтах не представимым: красавица *барыня*, как ещё недавно он назвал бы её у себя на Руси, красавица писаная, хоть и ростом мала, старшая его на двенадцать лет, и опытом искусительная, захватила его цветным крылом – и даже от земли отрывало иногда, так ноги немели, в груди кружилось от небывальщины. Как говорится: рад госпоже, что мёду на ноже.

Что мёду. На ноже. А со временем – оборачивалось. И выравнивался он с ней. И вот со своими лишними годами, со своим немецким, французским, английским, манерами, письменностью, всему этому его образу, меняя, – признала она себя перед ним *чухной* : твоя чухна, Милунечка! приезжай скорей!

И Ленин требовал – скорей (сюда скорей, и назад скорей с докладом). И если туда сейчас уехать, будет опять пансион одинокий, заваленный сугробами, и свечи острых северных елей в снегу. Но вся Скандинавия – чистый вымысел, морок. А правда – темнеющий петербургский день, постукивание настенных часов в тихой столовой и о тарелки звяканье ложек, добирающих суп.

Он – и сам разве с ними ел?...

Сестра и зять о чём-то толковали и к нему обращались, он не отвечал, не понял ничего.

– Маня, я второго не буду. Я бы сейчас поспал. – Соображал дурной головой, сколько можно себе позволить. – Да два часа... с половиной даже... Там раньше будут не готовы. Разбудишь – и поеду. А к ночи ближе пришло листовки на ваш район, а вы раздавайте, кто придёт. Вот этому молодому человеку тоже штук... ну, четвертую часть чего пришло.

И оставляя хозяев доедать, и чай пить, и сахар им сохраняя, отшагнул туда, под занавеску с цветочками, до кровати, и свалился.

Полдня эту голову литую носишь, носишь, – давит без отступа: правильно? не правильно? что из этого выйдет? А – кувырнуться, грудью вниз, и все тревоги подушке, а тебе полежать два часа бревном – сладко!

И тут же проснулся, досада! Ещё от стола не поднялись, чашками звякали. Значит, так ходуном внутри расходилось, что назад изо сна вызывает, не отдаёт сну: нет, живи! нет, заботься! локаут! заварил кашу – расхлёбывай! Ах ты, мамочка моя!...

Матушка моя, Хиония Николаевна, дай сынку поспать, дай полежать, как угрелся хорошо! Не поднимай, ещё на завод мне рано. Ещё на завод мне рано, я же мал, и все четверо мы малы, ещё наработаемся, спину погнём от зари до зари за грошики. Утонул батька, только мной и виданный, а те не помнят, а нам всё равно на работу рано, мы пока в лес да на пруд. Мы пока все в рядок становимся при тебе и двуперстно крестимся перед верными иконами древлего письма, и “Пророки пророчили за тысячу лет” уже подпеваем голосочками



и псалмы иные наизусть. И за нашу веру истинную в школе меня законоучитель после каждого праздника ставит на два часа на колени и без обеда до вечера – почему в нечистую церковь ихнюю не хожу? А Божья правда – у нас, и другой правды на свете нет. И как мученики многие в Житиях принимали мучения за неё, и как прадедов твоих Белениных, истинно православных, жгли огнём, замораживали водой, заточали в подвалы, ломали рёбра клещами, – так и мы, твои детки, все мучения за веру примем подрастая, и проповедывать будем её и на костре, и на кресте, по воле Божьей. А пока угрелся, если дозволишь – дай, мамушка, часок потянуть, поспать.

Нет, спать нельзя. Что-то начато было и покинуто... Взятся – не кончил...

Спать – нельзя и не время, товарищ Беленин. Пролетариат не имеет права поддаться сну, это было бы архинеосмотрительно и даже преступно.

Да. Да. Если загублено, то конечно преступно... И откуда он взялся, чёртов адвокатишка, да в первый же день?

В свою первую поездку вы, товарищ Беленин, не установили необходимых нам реальных связей. Именно числом связей будем измерять успех второй поездки. Вы, товарищ Беленин, не устроили и правильной конспиративной переписки, это просто обидно. И не собрали в Питере денег для нужд ЦК.

Под визг ремней протягиваем мы вам свои мускулистые руки...

И вам нельзя всё время отлучаться – в Данию, в Норвегию, в Англию, в Америку. Вы больше всего нужны в Стокгольме. Пока наладите транспорт... переписку с Россией... конспирацию... явки... А товарищ Коллонтай может приехать к вам и в деревушку под Стокгольм.

Смотри, Юрка, за партийными делами никогда не бросай станка. А то партия будет у нас...

Объехать два-три рабочих центра, завязать связи и немедленно вернуться в Швецию для передачи всех связей нам и обсуждения дальнейшего положения. Съездить ненадолго и привезти все связи, вот цель! После этого можно ехать в Россию опять.

А язык скован, а голова – как болванка свинцовая, и как же пошевелиться, объяснить: это не так просто... приходится бегать до кровавых мозолей... там, на границе, лёд про...

Конечно, конечно, для перехода нужны надёжные документы. Есть ли они у вас? Надо запастись. Не сомневаюсь, что в России сохранился надёжный слой рабочих-правдивых, и есть БЦК, и даже можно восстановить ЦК. И даже одного-двух влиятельных товарищей привезти в Швецию, чтобы прочнее связать с нами. Чтобы хорошо спеться.

Но, товарищ Ленин!... Но там, на границе, лёд проваливается... И даже идя по верёвке... А если развезло, то на челноке...

Товарищ Беленин, не гипертрофируйте трудностей. И не пренебрегайте теоретической спевкой, за вами это водится, не обижайтесь: вы всегда пренебрегаете теоретической спевкой! А она ей-ей, поверьте, совершенно необходима для работы в такое трудное время.

А лёд – трещит, и хватаешься руками за устои моста... (Хорошо хоть руки свободны. Голова свалена, прикована, но руки свободны). А ногами скользишь по трещинам дальше, дальше...

Конечно, вы должны беречь себя. Опасность в России очень велика, и для дела было бы полезнее после краткосрочного объезда нескольких русских центров возвращаться в Швецию – для закрепления связей с нами. И мы обменивались бы письмами. Вообще интересно бы узнать: какие вопросы сейчас всплывают в России? Кто их ставит? В какой плоскости?

Товарищ Ленин! У меня давно идея, я вам писал: отчего бы вам и Григорию не переехать в Швецию? Насколько было бы ближе к России и всё быстрее... Здесь я вам всё устрою и обеспечу через Брантинга...

Брантинг? Но он – социал-патриот. Не вступайте с ним... Однако используйте его – как официальное лицо с адресом... и для защиты наших интересов... и для денежных займов...

Я говорю... (ничего не договоришь – и язык не подчиняется, и голова свалилась)... я

говоря неразборчиво, простите... я говорю: третий год вы так далеко, отчего бы вам не переехать самим сюда поближе?... я вам всё, всё здесь устрою... и сразу бы все связи...

Нет-нет, товарищ Беленин! Это было бы архинеблагоразумно... И дорогая дорога туда, и дорогая жизнь там... И, главное, полицейская сомнительность, в Швеции могут побеспокоить. А вдруг они ещё и в войну вступят? Нет, такой переезд был бы преждевременен.

Но, товарищ Ленин!

Нет, товарищ Беленин!!

Хотя верно... а если обманет возница? Вот завтра проснусь, а лошади нет... снег, лес, полярное сияние... лупись на сияние... Да может, они меня и убили?... Наверно убили, по голове топором трахнули, – почему я головы поднять не могу?

Вы, Александр, не будьте беспочвенным оптимистом! А главное: бойтесь интриг ликвидаторов! бойтесь социал-шовинистов! Не доверяйте и революционер-шовинистам, вроде Керенского, нам и с ними не по пути! Вы слишком доверчивы.

Так Владимир Ильич, лицо у него было честное, я не мог и подумать... И финны же все против царизма, как я мог предположить?... Наверно, они меня просто в постели зарубили... просто во сне...

Вы что-то очень изнервничались. Материалы Кинталя я вам давно послал. И три письма, – а никакого ответа. Вы очень скупитесь на письма. Александра Михайловна, скажите Александру: он очень скупится на письма, так нельзя! Мы так не проведём спевки!

Что ж теперь делать? Как теперь будет с локаутом? Какая неудача, убили бы чуть позже, выиграть бы эту стачку... А то на дороге, не доехал, не там и не здесь...

Александр, вы что – обиделись?... Большущий вам привет! Я вам послал толстущее письмо! Никакого ответа. Пожалуйста, критикуйте мой проект манифеста.

Владимир Ильич! Поскольку меня убили... я бы хотел вам передать... Вот эта история с локаутом... Я не знаю, правильно ли я поступил, посоветоваться было не с кем... А такого случая ещё не бывало... Но оставить революционных моряков под возможной казнью, как мне сказали... А с другой стороны, нельзя растрачивать силы пролетариата раньше времени... Теперь-то я вижу, что ошибся...

Александр, если вы обиделись на меня, то я готов принести всяческое извинение. Дорогой друг!... Дорогой друг!... Дорогой друг!... Вот уже не сердитесь, не так ли? Я очень вас благодарю, тысячи лучших пожеланий!

Да, ошибся... Была у меня в жизни такая слабость – верить в успех, рисковать не по силам... Но исправить не могу... понимаете, так неожиданно, – видимо обухом топора... А может, из пистолета... в затылок сзади...

Пожалуйста, посылаю вам свои тезисы и с интересом жду вашего отзыва. В этом вопросе о самоопределении, где Радек и Пятаков так пошло, глупо, мерзко, слюняво напутали, – надеюсь, вы на моей стороне? Очень важно: есть ли у нас расхождения с Белениным в этом вопросе? и какие? и как их устранить, пока это не стало достоянием любителей склок, этих пакостных каутскианцев, всех сволочей оппортунистов? Надеюсь, в расспросах Бухарина вы проявите полный такт?

Так что, Владимир Ильич, срочно присылайте кого-нибудь другого... Потому что тут – кто же?... Молотов никак не... да вы его знаете... Остальные сидят по норам. Кого же вы пришлёте?... Там ведь тоже никто ничего... Тут приходится и подраться с филёрами и побегать, иногда целую ночь на морозе, по огородам...

В самом деле, очень интересно: какие там сейчас вопросы всплывают в России? Кто их ставит? В каких конкретных условиях? При какой обстановке?

А если попробовать всё-таки голову поднять? Кто ж за тебя поднимет? Ну-ка... ну-ка...

А с этим расследованием по Кескуле, знаете, японцы переусердствовали, только напугали левые социалистические круги. Не надо было так бестактно!...

Валун финляндский, не голова. И сил нет. Как ящерица, тело бьётся... как ящерица на камне... на камнях тёплых в Ларвике... Сашенька! Сашенька!! Разве ты – чухна? Тебя

красивей женщины я не видел! Это – я чухна... Это я напутал... Сашенька, я к тебе вернусь!  
Я возвращаюсь, дай руку, ну-ка, ну-ка!

У-у-у-у-ф!

Жи-и-и-и-в?

Затекла голова... Сползла, затекла...

За занавеской в столовой свет выключен, а из третьей комнаты слабый. И иногда жужжит приятно. Шелестит.

Это Маня на машине шьёт. И материю поправляет.

Ни звука больше. И не будит. Рано ещё.

Голову из затёка вырвал, а тело всё как избито. И голова не освежилась, ещё тяжелей. Спал бы сейчас – двадцать часов.

Но – никто за тебя не подымет этот валун.

Надо идти подымать.

Весь Петербург.

Сперва только – с кровати как-нибудь слезть. И чтоб не сникнуть, а до умывальника. Холодной водой умоешься – всегда легче. А там как-нибудь... Паровичком подъехать. Там трамваями двумя. Пешком ещё протащиться. Шпики пока не присмотрелись. Но крюки, проверки обязательны: штаб-квартира БЦК, у Марьи Георгиевны и печать, и кой-какие бумаги. Помотать лишних полчаса по Выборгской.

А вот разбит, нет сил часы из кармана вытянуть, посмотреть.

Да раз не будит, значит ещё можно полежать.

Ох, надо держаться. Вот так, действительно, сейчас умри или сядь за решётку – и всё развалится. Коромысло треснуло, одна корзина здесь, одна там, связи никакой, конспиративной почты никакой, заграничный ЦК сам по себе, у него – с Интернационалом спор, а Россия – сама по себе, и даже город каждый – по себе. И что в листовках пишем и чем угрожаем – ведь это всё хвастаем, ведь ничего этого нет.

Подыматься. Подымет ли? – полмиллиона рабочих за полусотней разрозненных большевиков?

А не подымет – кончено всё, надолго.

Вдруг! – без внешнего стука послышались шаги в сенцах из фотографии – мужские, быстрые, твёрдые шаги! и наверняка не хозяина! но – одного! **одного!**

Шать! – на ноги! Сапоги? – некогда. Оружие? – утюг! схватил! Одного? – бить! Трое? – в окно прыгать! Отдаваться – ни за что! В такую минуту!

– Где он, Маня?

Знакомый голос, а кто? – голова отупела. Да Митька же Павлов! Сам приехал!? Провал?? Схватили???

Отдёрнул занавеску, а тот – холодный, притрушенный снежком, весёлый:

– Гаврилыч! Победа!!

И – обнимать! и – целовать! А свёрток в руке мешает.

И утюг. На табуретку опустил.

– Что? Какая? – без сапог, в носках (портянок по-европейскому не нося).

– Сдались заводчики! Сдалось начальство!! – кричит Митюга не по помещению, густо. – Локаут – снят!! Воинский набор – отменён!!

– Что ты? что ты? – даже отступая от слабости, назад к косяку, в занавеске путаясь спиной. – Когда известно, как??

А Павлов своё:

– И я не стал листовки раздавать пока, верно? Пока ребятам до утра кинул: наверно отменяем всеобщую, так?

А Митя-то Павлов страх не любит бастовать: очень уж любит свою работу, модельщиком на Русско-Балтийском, и своего инженера Сикорского, строят они “Ильи Муромцы”. И свёрток суёт, суёт в руки прямо.

– Ну конечно... Ну что ты, – теперь слабо смеялся Шляпников. – Мог бы и сам решить,

зачем же ребят два раза гонять?

Суёт, так надо брать.

– Это что?

– Пирожки!

Правда, пахло уже, заметил.

– Зачем пирожки?

– Тёплые, Маша тебе послала.

– За-чем?

– Послала!

– А – с чем?...

– Кусай, увидишь.

Да тут два свёртка. А этот – с чем?

– Да листовки же! Листовок тебе привёз пачку, показать. У “Вечернего времени” отпечатали. Эх, красота! Такая работа и пропадёт – жа-алко!

– Маня! Зови Осипа, пирожки ещё тёплые! С луком, что ли? Как ты их довёз?

Зажгли лампочку. Стоял в носках на рядновой дорожке. Ел. А на скатерти – листовка, бумаги грубой жёлтой военной, а печать – превосходная, чёткая, без мазни, без кривизны. Любовался и даже поглаживал тыльной стороной кисти (пальцы уже в масле), любовался, почитывал:

– ...по тому, как разлилась ваша стачка, около 130 тысяч человек, все с надеждой ожидающие целительного переворота видели, как связана революционная армия и революционный народ. И за это – вон с заводов? Из-за угла правительство подписало... Беспоконных и молодых – на позиции? Завод – в казарму? Под пятой насилия покорно отдавать жизни для процветания кучки тунеядцев?...

– Здорово написано, Гаврилыч. Кто эт писал?

– Есть такой у меня парень золотой. Хорошие пирожки, как ты их донёс?... Что ж, правительствующие классы лишь облегчают задачу их свержения! В ответ на закрытие заводов мы призываем... Пока все до одного, выброшенные на улицу...

Жалко, да, хорошая листовка. Но – ещё напишем и напечатаем не раз.

– Да-а... Укакались. Укакалась ихняя шайка! Честно признаться, ребята: и мы, конечно, гнём, – но падает оно уже **само** !

Как на углу пивной стойки: утверждают локти, сцепятся ладонями – гнуть друг друга, чья рука упадёт, и вдруг – борьбы никакой: та вторая рука упала сама – бессильная? пьяная? сломалась?...

От-сту-пал перед рабочей силой тот цариска Николай Второй!!!

## 64

В этот четверг старшей дочери Ольге исполнится двадцать один год. Немало! Не будь она царской дочерью – уже могла бы выйти и замуж. Но, обречённая на дворцовый и династический плен, она может иметь только тайную воображаемую привязанность, не открытую даже матери. Тем более, что Ольга очень несочувственно относится к каждому наставлению, дует на строгость, изо всех четырёх дочерей она наиболее упряма и с переменчивым, неуловимым настроением. Ей особенно кажется скучным слушать, как воспитывали прежде, она может вспылить и резко ответить, глядя при этом в глаза. Но и – осанка у неё какова, при росте, золотокудрых волосах, голубых глазах, – с 16 лет она стала шефом одного из гусарских полков, очень этим гордилась, особенно – выехать верхом в гусарской форме. Ученье давалось ей легко, но оттого она и ленилась, и не была слишком образована.

Долго государыня не допускала мысли, что дочери – взрослые, но вот уже спорить нельзя, старшие две – взрослые.

Когда освобождалась она от терзательных государственных забот, от поспешности

написать, передать, принять, распорядиться, – она постоянно, помногу и даже с мучительным страхом думала о будущем своих дочерей. Какая судьба их ждёт? Кто их суженые? В какие страны придётся им уехать навсегда? Жизнь – загадка, и будущее скрыто завесой. А главное: дано ли им будет найти такую безоглядную, непрерывную любовь и такое счастье, какое Александра сама испытывала с ангелом Ники уже 22 года? Увы, такая любовь всё большей редкостью становится в наши дни.

И – в каком мире им придётся жить? После нынешней войны – будут ли существовать идеалы или люди останутся теперешними сухими материалистами? Что за эпоха! Людские впечатления чередуются чрезвычайно быстро, машины и деньги уничтожают искусство. Ни в одной стране не осталось ни крупных писателей, ни музыкантов, ни художников, а у тех, кого считают одарёнными, – испорченное направление умов.

В их ближайшей узкой семье была и другая Ольга – сестра Государя. И после длительных её настояний согласились теперь разрешить ей развод с Петей Ольденбургским, и она выходит замуж за его адъютанта, ротмистра кирасиров, – как раз в эти дни, в эту пятницу, произойдёт их скромное венчание в маленькой киевской церкви над Днепром, поставленной на том месте, где прежде был идол Перуна. Большие сомнения у государыни были относительно этого брака: ещё одно морганатическое пятно на династию, где три-четыре уже стоит крупных. Но и – кому не жаждется личного счастья? И с каким сердцем отказать?

Девочки были воспитаны самою Александрой Фёдоровной (оттого она много лет не могла успеть на помощь Государю в его делах). Сама воспитанная при небольшом, небогатом гессенском дворе в знании цены деньгам, в бережливости, в приложении рук, – она упорно проводила это и с дочерьми: платье и обувь переходили от старших княжён к младшим, и ограничивались игрушки, – такая система нужна была самой матери для душевного равновесия. (Она и сама-то не была увлечена роскошью и могла носить платье годами, ей напоминали, что надо шить новые). Александра Фёдоровна оберегала своих дочерей от дружбы с пустыми барышнями знати, также и от других великих княжён, двоюродных и троюродных сестёр, чьё воспитание казалось ей несносным (и так прорезались новые борозды обиды в династии). Сама зная много ручной работы, хорошо владея машинным шитьём и вышиваньем, мать старалась передать навыки дочерям, не разрешала им сидеть сложа руки. Правда, по-настоящему всё перенимала, владела талантом рукодельницы, имела ловкие руки одна Татьяна. Она шила блузы себе и сестрам, вышивала, вязала, и она же часто причёсывала мать, что было нелёгкой работой. И всегда была за делом. Она и во многом напоминала мать: редко шалила, была сдержанна, горда, скрытна, но и лучше всех понимала внушения и сама напоминала сестрам волю матери, за что те дразнили её “гувернанткой”. Любящая, терпеливая девочка, она будет утешением родителей в старости.

В России государыня удивлялась, как барышни высшего света ничем, кроме офицеров, не интересуются. Стала она создавать общества рукоделия – для дам и барышень, работать вещи для бедных, – но им эти общества быстро надоели и рассыпались. Зато устраивала государыня – то в Царском Селе школу нянь, то в царскосельском парке – дом для инвалидов японской войны, где учились ремёслам, то в Петербурге – школу народного искусства, где девушки со всей России обучались кустарному делу. (Тут было и убеждение её, что сила трона – в народе, а через развитие народных искусств удастся ближе узнать страну, крестьян, губернии и быть в действительном единении со всеми). В Крыму она строила на свои деньги санатории для туберкулёзных, устраивала базары в их пользу, сама для них с дочерьми вышивала и сама на них продавала, выстаивая по много часов кряду на своих слабых больных ногах.

Когда грянула эта ужасная война – государыня сразу деятельно принялась за систему лазаретов, госпиталей и санитарных поездов, многие из них сооружая на собственные средства, в том числе – ближайший к себе лазарет в Большом дворце Царского Села, названный “Собственным Ея Величества лазаретом”. Ольга возглавила комитет помощи

солдатским семьям, Татьяна – беженский комитет. Тогда же вместе с двумя старшими дочерьми и Аней Вырубовой прошли курсы сестёр милосердия военного времени, учились у хирурга, проходили практику рядовыми сестрами в своём лазарете, снимали с раненых кровавые бинты, обмывали, участвовали в перевязках, помогали при операциях, – Александра Фёдоровна подавала и инструмент, не боялась крови, гноя, рвоты, и не смущалась при этом утратить царственный ореол. Она научилась и быстро менять застилку постели, не беспокоя больных, и делать перевязки посложнее (и перевязывала сама себя) – и была высоко-горда, заработав диплом сестры и нашивку красного креста.

Из них четырёх капризной самолюбивой Ане госпитальная работа быстро надоела, она стала отнекиваться, да через полгода сама попала в катастрофу и в госпиталь. У обеих девочек пошла настоящая регулярная работа уже третий год, особенно успешная у Тани (на этих днях назначена впервые давать сама хлороформ). Александру же Фёдоровну истинно тянуло к перевязочной и хирургической, она радовалась, когда могла там поработать, это её успокаивало. Но изрядно она поработала только в первый, 1914 год, да немного этим летом: предел поставило собственное здоровье. То не выстаивали её ноги длинных операций, то она лежала прикованная болезнями, прошлую зиму даже четыре месяца подряд, лазарет Большого дворца не могла ни разу и посетить. А ведь ещё должна была она объездить с инспекцией и множество других госпиталей (где их только не устраивали – в банках, в театральных залах), и по другим городам, и санитарных поездов.

А сын – сын единственный протяжно болел. От младенчества проступила жуткая болезнь Алексея, великая радость рождения наследника сразу была сгружена постоянным трепетным страхом. Не только малый порез был страшен ему, но ударился ли он рукой, ногой о мебель – появлялась огромная синяя опухоль как знак внутреннего кровоизлияния, и мальчик должен был долгие дни лежать. Мать сама его купала, не выходила из детской, забывая, что она ещё и царица. Все детские игры и шалости были ему от начала запрещены: никакого велосипеда, тенниса, ни даже беготни. Как у всякой матери болит детское за своё – так болел у Александры каждый ушиб и каждая неудача сына. А мучительней всего было постоянное сознание своей перед ним вины: все эти страдания – она невольно принесла ему сама! Знала она об этом пороке своего рода: её родные – дядя, сын королевы Виктории, и маленький брат, умерли от этой болезни, и несколько племянников страдали ею же. Знала, но всегда человек надеется, и надеялась Александра, что – пронесёт. И была за что-то наказана, – нет, мальчик наказан был.

Страшные с ним бывали случаи, и в них самое страшное, что порой терялись, отказывались лучшие, привычные доктора. И вот тут-то появился Святой Человек – и довольно было его прикосновения, а иногда только взгляда или слова, – и мальчик начинал выздоравливать. И уже было твёрдо известно матери: если только Он посетит сына – сын поправится. А четыре года назад Алексей неудачно прыгнул в лодку в Скерневицах – и три недели был между жизнью и смертью, три недели кричал от боли, лёжа с поднятой ногой, которую нельзя было выпрямить. Лицо его стало восковое, крошечное, с заострённым носиком, и доктора Фёдоров и Деревенко склонялись, что состояние его безнадежно. И сам мальчик, в 8 лет, уже понимал, просил: “Когда я умру – поставьте мне памятник в парке, в Царском Селе”. Это всё случилось в Польше, а Друг – в Сибири был в это время, и как последний крик послали ему телеграмму, – и он ответил телеграммой: “Болезнь не опасна как кажется пущай доктора его не мучат”. И – всё! И сразу за телеграммой наследник стал поправляться! Разве не Чудо?

А прошлой осенью Алексей поехал с отцом в Ставку (с ужасом она отпускала сына, но и нельзя было обречь Государя в Ставке на жуткое одиночество) – а там вдруг началось кровотечение из носа, настолько непрерывное, что доктора не могли остановить. Пришлось Государю тотчас покинуть Ставку и гнать царский поезд домой. Привезли, перенесли, мать на коленях стояла у кровати – кровотечение неотвратимо продолжалось, вот так и должен был он изойти до конца теперь! Но тут вызвали Григория Ефимовича, он вошёл в комнату, широко перекрестил наследника – “Не беспокойтесь, ничего боле не надо!” – и уехал. И

кровотечение прекратилось на этом. (И большого – не было с того дня).

Так и знали теперь, Друг и сам говорил: “Если меня близ вас не будет – не выживет наследник”.

Будь это всё в Европе – искали бы докторов, сверхдокторов (хотя – знаменитых не любила Александра, и скромного Евгения Боткина предпочитала его прославленному брату Сергею). Но в каждой местности на земле лечатся люди тем, что есть в местном обиходе, – где полярным мхом, где полевой травой, где водорослями. В обиходе же Россия всегда были ещё – странники, Божьи люди. Именно в России есть такие люди, не непременно священники, но называемые старцы, которые обладают благодатью Божьей и чью молитву Господь особенно слышит. Именно такого – странника, старца, Божьего человека, и послала православная Россия, простой народ – для спасения их сына, а может быть и трона. Для чего ж и быть православному царю, если не общаться и не слушать вот таких людей из глубины народа! И обрела его императорская чета почти тотчас после потери своего первого Друга, мсьё Филиппа: те же сестры-черногорки, великие княгини, позвали государыню познакомиться у них дома с этим Божьим человеком. Государыня взглянула – и поверила в Него, в этот вид, который нельзя придумать, в котором нет ничего деланного: высокий рост, и немного пригорблен, в русской рубахе и сапогах, исхудалое, даже измождённое бледное лицо, пронизывающие, испытующие и властные серо-голубые глаза, косматые пучки бровей, косо уложенные волосы, иконная строгость и уверенная сила. Особенно поражала уверенность Его высказываний как имущего власть. Он был – как ожившая народная картинка: святой человек из народа, не символический, не собирательный, а живой, до которого можно было дотронуться рукой и слушать, – а говорил Он, полуграмотный, ещё от того ярче, говорил так необычайно, как императрице не приходилось слышать, рассказывал интересно и рассуждал духовно. Он знал много из Священного Писания, а своими ногами исходил Россию, многие лавры и монастыри. Он воспитался в молитве, постах – а мяса и молочного вообще уже не ел.

Со встречами и с годами государыня всё более убеждалась, что это и есть тот избранник Божий, который спасёт их династию, ставшую под угрозу. Сила Его молитвы была обширна, она помогала не только здоровью наследника. И не только оберегала многих на войне – каждого, за кого Он молился. И не только оберегала Его молитва самого Государя на всех его путях (в эту войну государыня сообщала Другу заблаговременно тайны передвижений Государя, секреты маршрутов – чтобы направленной и достижней была молитва, она старалась получить Его благословение на каждую поездку Государя. Когда же ездил чета во враждебную Одессу – Друг так усердно молился, что еле спал). Но обширней того: Его благословение и Его неустанная дневная и ночная молитва возносилась – за всё православное воинство, чтобы небесная сила была с ним, чтобы ангелы были в рядах наших воинов. И когда на фронте складывалось особенно серьёзно или предполагалось большое наступление, как на Юго-Западном, – государыня открывала Ему новые приказания Ставки, чтоб Он особенно обдумывал их и молился. Прошлой зимой Он очень досадовал, что начали наступление, не спросив Его: Он советовал бы подождать: Он всё время молится и соображает, когда придёт удобный момент, чтоб не терять людей без пользы, как Брусилев. Он всегда советует не так упорно наступать: при большей терпеливости прольётся меньше крови. Мешали нашим войскам затяжные туманы – Аня телеграфировала Другу с просьбой о солнечной погоде (и Он, в телеграмме из Сибири, обещал её). Всей императорской семье и самому Государю Он дарил образки и иконы, а этим летом, когда государыня ехала в Ставку, послал икону и генералу Алексееву. (И если Алексеев принял её искренно, с подходящим настроением, то Бог несомненно благословит его военные труды). И даже вот когда обдумывали, дать ли согласие на развод государевой сестре Ольге, – то и здесь за первым советом обращалась государыня к Другу.

Тревожней было, когда Он уезжал в Сибирь, много спокойней, когда в Петрограде, и можно встретиться или передать, спросить через Аню. А когда что-либо совершалось против Его желания – сердце Александры обливалось кровью, в тоске и страхе.

А как он выражался! А какие прелестные телеграммы он слал – и как много мужества и мудрости они придавали!

“Чем бы дерево нечестивое ни срубили – всё-таки падает. Никола с вами дивным явлением всегда творит чудеса”.

“Колодец глубок, а у них верёвки коротки”.

“В испытании радость светозарнее, Церковь непобедимая”.

“Злой язык грош, похвальба копейка, радость у престола”.

“Свет Божий над вами, не убоимся ничтожества”.

“Никогда не надо слишком заботиться, Бог поможет и так”.

“Будьте святы, как я свят”.

Трудно передать, что Он говорит, слова бессильны, нужно воспринимать сопровождающее их душевное настроение, так разлитое в его воспоминаниях о Палестине. А сколько Он раздаёт бедным! каждая получаемая им копейка идёт на них. Он великодушен и добр ко всем, каким был Христос. На Него даже многие епископы смотрят снизу вверх. (Государыне ужасно не нравилось, когда некоторые зовут Его “Распутин”, она отучала близких от этой привычки).

И какое это счастье, когда советами и многоопытностью Человека, посланного Богом, можно пользоваться также и в управлении государством, благодарно получать плоды Его духовного зрения и на каждый важный шаг испрашивать Его благословение. И в одной французской книге тоже прочла Александра: “Государство не может погибнуть, если его повелитель направляется Божьим человеком”.

Друг ночей не спит, готовя Государю советы. Он умеет всматриваться в глубокое будущее, и поэтому можно положиться на Его суждения. Он говорит, что всегда надо делать то, что Он говорит, – этого хочет и Господь Бог. И сколько же трезвых, верных советов Он давал за эти годы! Отговаривал от вмешательства в боснийско-герцеговинский конфликт: нужно дома дела приводить в порядок. На колени опустился перед Государем – удержать от вступления в Балканскую войну: враги только и ждут, чтобы Россия там завязла. И от этой теперешней, ужасной, удерживал: из-за Балкан не стоит миру воевать, и Сербия окажется неблагодарной, – и может быть удержал бы, если б не лежал раненый в Сибири. (И присылал удерживающие телеграммы, а Государь рассердился и откинул). И не идти через Румынию к Сербии, и не призывать ратников 2-го разряда, и не призывать старше 40 лет, зато кроме русских призывать и татар, хорошо им однако всё объяснивши. И Государю не посещать Львова и Перемышля, – рано (и действительно пришлось, посетив, вскоре снести позор отдачи их). Сколькое бы текло в войне лучше, если бы слушались всех советов Друга! И Он же предложил устроить в один день по всей стране крестный ход и моление – и вскоре откат войск остановился. И Он же, не доверяя Николаше, велел Государю брать Верховное Главнокомандование и никогда не уступать другим, которые знают меньше его. И несколько раз был против созыва Думы – и никогда она не приносила ничего доброго. А когда открывали её в прошлом феврале – это Он придумал: чтоб Государь внезапно появился там и этим бы их обезоружил. Он всегда предупреждал, что ответственное министерство будет гибелью всего. И это Он догадался: что надо опубликовать сведения о растрате казённых денег Земгором (сердце болело у государыни, сколько можно было лучшего сделать самому государству на одну четверть этой суммы), – Бог вдохновлял Его на все эти здравые идеи. А оставаясь близок к простонародью, Григорий видел многое глазами простого человека и тоже давал важные советы: не повышать трамвайную плату с пятака на гривенник; не запрещать раненым солдатам ездить в трамваях; в хлебных лавках велеть развешивать хлеб заранее, чтобы не было хвостов; и дрова в столицы до заморозков везти водою.

Уверенно предвещал Друг, что наступает слава царствования. Что близятся лучшие времена, и скоро война переломится к лучшему. И саму царицу радостно убеждал, что появление её, как и наследника, на фронте приносит счастье войскам, – и потому велел ей чаще ездить в Ставку, и видеть сами войска на смотрах, и больше ездить по городам и госпиталям.



И стыдно было государыне, что за всё это благословение, свет и радость, доставляемые Другом, не могла она выполнить Его малой просьбы: не брать в армию Его сына, ратника 2-го разряда, а уж если неизбежно брать – то принять его в Сводный гвардейский полк, на охрану царскосельского дворца.

Но для приятия всей мудрости Друга, Его советов и указаний, надо было постоянно общаться с Ним – письмами, телеграммами (или новейшим средством телефона), и часто видеться. Однако это было совсем не просто для императорской четы. Великосветская среда и образованное общество воспринимали бы такое общение с насмешками и зложелательством. И стесняясь гласности, как будут чесать все эти языки, встречи с Другом приходилось делать полуприкрытыми, даже тайными. Цари живут совсем не свободно – гораздо связанней своих подданных: они не имеют права на интимность! Всякий приём идёт через цепь придворных, а те могут разносить. И когда, несколько раз в году, царская чета принимала Григория Ефимовича у себя во дворце – то проводили Его не в большую официальную приёмную, а боковым входом, в кабинет государыни. (Но через прислугу это разносилось ещё хуже, чем принимали бы Его в самом парадном зале). Трижды целовались по русскому обычаю – и садились беседовать. Всегда это бывало – по вечерам, и приходил Алексей в голубом халатике, тоже посидеть до своего сна. Много говорили о его здоровье и о всех заботах императорской четы, и беседовали о Божественном, и Друг наполнял их упованиями и надеждой, и развлекал рассказами о Сибири. (На самом деле Он обижался: Он желал открытого приёма у царя и гордился, когда телеграммы Ему посылала не Аня, но не боялись послать прямо от государевой четы). В отсутствие Государя государыня не приглашала Друга во дворец из-за крайнего злоязычия людей. (Например, родили такую сплетню, какой здравый ум может поверить! – будто Григорий Ефимович получил назначение от Фёдоровского собора зажигать лампадки во всех комнатах дворца). А видеться и спрашивать надо было часто! – в грозное лето прошлого года едва не через день, – и выхода не было, как встречаться у Ани в “маленьком домике”, стоящем отдельно, но в Царском же Селе, – иногда по своей просьбе, иногда по Его вызову, ездить незаметно туда, а с ним бывала иногда жена, а то и дочери, если приезжали из Сибири. Приходилось туда же иногда ездить и Государю, когда Друг хотел непременно видеть его, изредка и без Ани государыня встречалась с Ним там, и там же иногда принимали кандидатов в министры, познакомиться, или Друг приводил кого-нибудь из епископов, – и всегда бывал возвышенный умиротворяющий разговор. Иногда для встречи Друг приходил и в лазарет к государыне – вот так приходилось и в царском положении обманывать злые подозрительные глаза! Иногда Он давал сведение в газеты, что уезжает в Сибирь, а сам оставался. Каждый раз перед поездкою в Ставку государыня должна была получить благословение Друга, без этого она даже не решалась ехать. А в этом году на великом посту вся императорская семья и Друг вместе подошли к причастию в одном храме.

Но злословие – воздух этого мира. И об этом Святом человеке распространяли сплетен и лжи как о самом большом злодее, и даже родная сестра государыни верила этим сплетням – и на том сестры навсегда расстались: враги нашего Друга – наши собственные враги. (Даже бывшего царского духовника епископа Феофана государыня отлучила за это). Неизбежно было Ему стать жертвой зависти тех, кто хотел бы, но не удалось приблизиться к трону. Как всякий святой, Он должен был пострадать за правду, прежде всего от клеветы. Его возненавидели и обливали потоками лжи. То клеветали, что будто бы Он пьянствует! – это Он, не пьющий даже молока! Святого старца объявили развратником, похотником и связали этот разврат с царскою семьёй до таких мерзостей, будто он имеет вход в спальни великих княжён! Сочинили ложный протокол о якобы скандале в ресторане, за что пришлось уволить шефа корпуса жандармов: если б это было всё так, почему ж не позвали тотчас полицию, чтобы застигнуть на месте? Да, наш Друг, как делали в старину, одинаково целует всех, и мужчин и женщин. Почитайте апостолов – и они целовали в виде приветствия. (Только над письмами разжалованного обозлённого Илиодора государыня дрогнула один раз – они показались ей правдоподобными. Но она отогнала, возмущаясь сама собою). И ещё

нагородили на Божьего человека, что Он связан с немцами! – не имеет пределов зломыслие и глупость, но они очень выгодны революционерам.

Всё же для проверки государыня послала Аню в родное село Григория – Покровское, за Тюменью. И подтвердилось всё лучшее: неводами ловят рыбу, как апостолы, притом распевая псалмы и молитвы, и огромные иконы развешаны по двухэтажной избе. Впрочем, местный священник, конечно, не любит Григория, и среди односельчан Его не считают выдающимся.

Государыня много размышляла о Друге. Что ж, пророк не бывает признан в своём отечестве. Где есть слуга Господа – лукавый всегда старается вкропить зло. Он живёт для своего Государя и для России и выносит все поношения ради нас. И сколько уже Его молитв было услышано! Над Россией не будет благословения, если её повелитель допустит, чтобы человек, посланный Богом на помощь нам и непрестанно молящийся за нас, – подвергался бы в нашей стране преследованиям. Бог не простил бы нам нашей слабости. И как только на него начинают больше нападать – так все дела в государстве идут хуже. Григорий! Если и все на Тебя восстанут – я никогда от Тебя не отступлюсь.

За последний год, с тех пор как Государь был чаще в Ставке, а ей досталось управляться в Петербурге одной, – Друг и прямо помогал в выборе министров и в руководстве ими. Распознать сразу человека – составляет остроту, тяготу, а иногда и проклятье царского ремесла. Но Друг владеет этим качеством в совершенстве. Он имел длительные, хорошие, приятные беседы со Штюмером (и велел ему каждую неделю приходить к государыне с докладом), обедал то с министром финансов, то с министром торговли и промышленности. (Всё более они приучались, что по главным вопросам надо посоветоваться с Григорием). Один раз, например, когда решали, достоин ли Хвостов-дядя заменить Горемыкина, – как было узнать? как его повидать? – Друг придумал пойти к нему на приём в качестве простого просителя, и так оценить. И оценил, что – не достоин.

По выбору новых министров государыня до такой степени привыкла советоваться с Другом, что спрашивала у Него и о выборе градоначальников. Московского градоначальника Он одобрил. А с петроградским Оболенским вышла заминка, показывающая доброе сердце Григория Ефимовича и Его духовную отзывчивость. Он же первый и предложил убрать этого градоначальника, так как причиняет много вреда населению, совсем не справляется с продовольственным, допускает хлебные хвосты. Правда, Оболенский никогда ни в чём не выступал против Григория и поэтому тяжело было просить его отставки, но так требовало благополучие Петрограда. Перевести его куда-нибудь провинциальным губернатором? Но потом Оболенский звал Григория к себе на обед, доказал по списку, что выполняют всегда Его просьбы, и плакал навзрыд, – и Григорий Ефимович ушёл глубоко растроганный: в духовном смысле это очень много значит, что человек с такой душой, как Оболенский, совсем перешёл к нам. Не надо его понижать, а взять или генерал-губернатором Финляндии, как он мечтает, или товарищем министра внутренних дел.

Защита Друга, понимаемая как высший долг, и вела соображения государыни – иногда относительно Думы (засидятся без дела – начнут разговаривать о Друге или назначенном по просьбе Друга тобольском архиепископе Варнаве) и всегда о составе Совета министров. (Состав прошлого года, навязанный Николашей, были презренные трусы, и все враги). Мечта государыни была – так объединить кабинет, чтобы все министры едино стояли за нашего Друга и прислушивались бы к Нему. Необходимость обезопасить Друга от преследований, нападков и неприятностей особенно сказывалась при выборе обер-прокурора Синода: наиболее-то и ожидалось (и опасны были) духовные преследования – и самого Друга и Его сторонников-епископов. У государыни уже голова болела от поиска кандидатур в обер-прокуратуру! Самарин был невыносим, но долго искали, кем же его заменить? Нет людей! Сперва выбрали Волжина (и Друг ведь одобрил!), но едва назначили, – Волжин мгновенно оказался трусом перед Думою, боялся общественного мнения, боялся помогать митрополиту Питириму и даже – сослать подальше скотину архиепископа Никона Вологодского. Пока оставался Волжин – дела Церкви не могли идти хорошо, оказалось, что

он совершенно не разбирается в них. Питирим писал, что нужно делать, передавал государыне, а она – Государю, чтоб он приказал Волжину. Тут к счастью нашли Раева – прекрасного человека и знающего дела Церкви с самого детства. Его очень хвалил Штюрмер, государыня его приняла – и он произвёл прекрасное впечатление. Ещё дали ему в помощь Жевахова – и вместе они будут истинным даром для Церкви. Теперь больше не было сопротивления тому, что надо Церкви делать. Прежде всего – свои люди должны быть митрополиты: как Питирима назначили из Грузии – петроградским, так теперь Макария из Томска – московским, а Владимира, вредившего всем нашим, переместили в Киев, там ему место. Всё, как хотел Друг. Чтоб укрепить Питирима – государыня добилась ему отдельной поездки в Ставку на приём. Священника Мельхиседека произвели в епископы, и Друг намечал в нём будущего митрополита. Конечно, в Синоде ещё оставались против Варнавы – животные, нельзя их назвать иначе. Синод всё ещё был неуправляемый, мог внезапно разразиться постановлением об учреждении в России семи митрополий вместо трёх существующих, и даже успели его опубликовать! – но Друг возразил: не соглашаться на семь митрополий, мы и трёх-то приличных митрополитов едва можем найти. И государыня успела аннулировать постановление.

А сколько мучительных поисков было – найти для России достойного премьер-министра! – ведь нет, ведь нет людей! Часто восклицала государыня: о, Боже, где же у нас в России люди? Никогда она не могла понять, как в такой великой стране не находится подходящих людей на каждое место. Горько разочаровываешься в русском народе. Государь уехал в Ставку, занятый военными делами, а тут всё более выяснялось, что Горемыкин – слабеет, ему уже не вытянуть, и слишком одиозен для Думы, боялись, что Дума его ошкандит. И государыня мучительно обдумывала своими бессонными ночами всякие возможные кандидатуры – и обсуждала их с Другом. И так – нашли Штюрмера, он – верный человек (и к Другу!), и голова его ещё вполне свежа, – стоило рискнуть немецкой фамилией? Он высоко ставит Григория, что очень важно. Во всяком случае, он годится на время, а дальше, если Государю понадобится моложе, – можно будет сменить. И Государь согласился – но тут Штюрмер сам испугался своей фамилии и ходатайствовал сменить её на “Панин”, по матери. Но и Друг и государыня сильно воспротивились: не менять фамилии ни за что! Пусть возмущаются, кому угодно, возмущения неизбежны при любом назначении. Во вздорной борьбе с немецкими фамилиями уже уволили от должностей десятки, сотни верных слуг трона – и ещё где найти таких, взамен? Штюрмер начал своё правление с заявления, что Россия не положит оружия до полной победы совместно с союзниками. И, как ни надрывалась всякая либеральная и революционная дрянь, – вот уже девять месяцев как благополучно стоял во главе кабинета.

Трагичней обошёлся выбор министра внутренних дел. Например, Макаров, уже и бывший министром внутренних дел после Столыпина, и с хорошим опытом, – никак не мог быть снова назначен из-за того, что он неправильно себя вел в истории с Илиодором, и кроме того не только не вступался за государыню, но даже бесчестно показывал её письмо посторонним и даже относился к ней враждебно. (К сожалению, этим летом его всё же назначили министром юстиции – но это не принесёт добра). Нововступающему министру внутренних дел Государь должен был объяснить с самого начала, что если он будет преследовать Друга сам или даже позволит о Нём гадко писать и говорить – то он будет действовать как бы прямо против императорской четы.

А Хвостов-племянник так поначалу обаял – и назначили его на внутренние дела, – и какая жестокая ошибка, ах, как можно обманываться в людях! Нужен был решительный характер, кто-нибудь такой, кто совсем не боится левых. Сперва видались с ним Друг и Аня и очень хвалили, затем он вымолил аудиенцию у царицы. Государыня жаждала увидеть человека – и наконец увидела и услышала такого! Это был – мужчина, не юбка, и такой, который не позволит, чтобы что-нибудь коснулось. Для Государя он готов дать себя на части разрезать. И – верит в разум государыни. И постоит за Друга, никогда не позволит о Нём упоминать. И – русское имя. И – член Думы, так что знает их всех, и как с ними говорить, и

как защищать правительство. С ловкостью и умом берётся всё поправить. И не пропустит неправильных статей в прессе. Работать с ним будет сплошное удовольствие! И удивительно умён. И говорит хорошо. И государыня рекомендовала супругу брать этого молодого министра без всякого сомнения. А Государь оказался вдруг против, но по её настоянию всё же взял. Лишь потом, потом – в отчаянии вспоминала государыня, что у неё были какие-то сомнения: что пожалуй кандидат слишком самоуверен и быть может не совсем верный человек в некоторых отношениях. А тем временем случилось ужасное: Хвостовым в короткое время овладел дьявол, он круто переменялся, и не только стал против Друга, но обвинял Его окружение в шпионстве и предлагал Государю выслать Друга в Сибирь. Эти страшные пять месяцев, пока Хвостов имел в руках власть, полицию, деньги, – государыня серьёзно беспокоилась за жизнь Друга и Ани. А когда его сняли, то государыня и Друг находили, что – слабо, надо было снять расшитый мундир и отдать под суд. (Страшно было видеть, как гневался Григорий, – никогда она не видела Его таким!)

После этой грустной неудачи государыня пришла в апатию, и в начале 1916 года мало вмешивалась в государственные дела: в ней пошатнулась уверенность в себе. Потом, однако, вернулась: как не вмешиваться? Надо быть совсем без ума, без души, без сердца, чтобы не печалиться над тем, что совершается в России. Дела не стояли, а требовали – и всё невольно ложилось на неё, пока Государь в Ставке. И многие, лучшие министры просились к ней на приём, а худших – надо было отставлять. Как, как на каждое место найти людей, которые исполняли бы приказания? Очень много хлопот было с поиском военного министра. Язвительный Поливанов, друг Гучкова и предатель, и к тому же избранник старой Ставки, не мог оставаться! (Вот уж кто был изменник, а не Сухомлинов!) При смене Поливанова сразу подрезались крылья революционной партии, надо было спешить – ради трона, ради сына, ради России! Но много месяцев всё не могли и не могли найти ему замены – и замену Шуваевым, издуманную при Государе в Ставке, государыня не могла одобрить, сомневалась, чтобы он справился с обязанностями или, например, с выступлением в Думе. И Друг и сама государыня очень предлагали в военные министры почтенного старика генерала Иванова – вот уж у кого опыт, авторитет, – нет сомненья, что сердца всей Думы устремились бы к “дедушке”. Но Государь по-прежнему держал Иванова при Ставке безо всякого дела – и не хотел ставить его министром. Тогда с новой горячностью государыня стала настаивать на своём избранном выборе ещё во время Поливанова: аккуратный, исполнительный Беляев! (Она знала его по одному из своих попечительских комитетов – он никогда не чинил затруднений). Это был бы разумный выбор! Если от штабной работы ему дать министерскую самостоятельность – он будет очень хорош. И какой трудоспособный, и какой абсолютный джентльмен, как умело в делегации отвечал английскому королю и лорду Китченеру! И она знала его старую мать... И у него никогда не будет выпада против Друга. Увы, вместо повышения, Государь почему-то сместил его с начальника Главного штаба и теперь услал куда-то в Румынию. Но государыня продолжала надеяться, что настоят, и этот благородный генерал в ближайшее время станет нашим военным министром.

Поразительно, что даже при указаниях Друга министры всё никак не подбирались лучшим образом – настолько это была трудная задача! (Да ведь министры должны быть не просто министрами, но друзьями!) То просила Государя назначить Наумова на земледелие – и сама же потом просила уволить его, он себя не оправдал. То сомнение о Барке на финансах (многие здравомыслящие были против), и предлагала вместо него графа Татищева и потом отступила, может быть и правильно. То сама же настояла уволить Рухлова с путей сообщения как слишком старого, но опять вышла неудача: Александр Трепов был назначен без совета с Другом, а оказался враг Его. (Теперь вспоминала: да ведь ей и самой казалось, что он – несимпатичный человек!) И граф Игнатъев, просвещение, как будто приличный человек, а слишком бил на популярность, либеральными речами в Думе. И тоже по сути не подошёл, надо снимать. Но дольше всего изживали Сазонова с иностранных дел – ещё с прошлого года, с бунта министров, невозможно было его терпеть – длинноносого, назойливого, чужого, вредного, – но всё не находилось дипломата, знающего всю границу.

Наконец, терпение лопнуло, и в июле, в одну из поездок государыни в Ставку, уволили Сазонова, а министерство иностранных дел просто передали Штюмеру: куда теперь ездить во время войны? Но из-за этого впустили в кабинет Макарова на юстицию, а внутренние дела пришлось передать от Штюмера Хвостову-дяде, ненавидящему и Штюмера и нашего Друга, – и уволить его не было прямой возможности, пока не отобрали у него директора департамента полиции, тогда он сам ушёл.

Какой-то рок наказывал министрами внутренних дел – и можно было бы совсем прийти в отчаяние, если бы в этом сентябре не догадался Григорий предложить одарённого Протопопова, с которым он был знаком уже четыре года, – и так горячо о нём говорил, что государыня уже была согласна, ещё и не повидав Протопопова. От такого должна была онеметь и замолчать Дума! Воистину, в его лице послал Бог настоящего человека.

Протопопов как бы завершил собой стройный дружный кабинет (теперь не хватало только Беляева, и ещё маленькие поправки). С этой осени, кажется, всё пошло хорошо и не ожидалось никакого кризиса. Штюмер и весь год регулярно приезжал к государыне на доклады, прося аудиенцию через Аню, – и был рад, когда царица ездил в Ставку вместо него, его доверие просто трогательно. Постепенно государыня приучала и других министров – старого Хвостова, графа Бобринского, князя Шаховского, Барка, даже и морского Григоровича, приезжать к ней на аудиенции, – а некоторые просили и государевых аудиенций через неё. Государыня ставила своей задачей заставить их работать дружно, даже Шаховского и Бобринского с Протопоповым. И она достаточно упряма, чтобы добиться своего.

Это особенно требовалось из-за продовольственного вопроса. Всё запутал когда-то хитрец Кривошеин, забрав продовольственное дело на себя, в министерство земледелия, тогда как там и штатов особых нет (только много сторонников левых партий), – а у министерства внутренних дел во всех губерниях штаты, и Друг давно настаивал отдать хлебное дело им. Он давно тревожился: если будет недостаток продуктов в Петрограде – будут в городе неприятные столкновения и истории. Да и стыдно так мучить бедный народ! Да и унижительно перед союзниками! У нас всего много, только не желают привозить, дошли до недоступных цен, всё запутали, а больше всего: запретом вывоза и ввоза между губерниями и насильственным отбиранием хлеба. Месяц назад, понуждаемые государыней, Протопопов вместе с Бобринским, земледелие, разослали губернаторам совместный циркуляр: о том, чтобы соблюдать крайнюю осторожность в применении принудительных мер. Протопопов говорил воодушевлённо: “Когда дурные люди хотят иметь успех, они всегда обращаются к народу, и тот к ним прислушивается. Так надо и нам: разослать людей по крестьянам, чтоб объяснили им, что не надо задерживать хлеб. И крестьяне их послушают!” Протопопов уже вполне соглашался перенять всё дело в министерство внутренних дел – вдруг последние дни стал что-то оттягивать.

На него произвела страшный шок встреча с главными думцами на частной квартире дней десять назад. Эти мерзавцы теперь не только не хотели сотрудничать со своим прежним товарищем, раз он стал служить трону, – но дерзко потребовали, чтоб он ушёл в отставку. Крайне взволнованный, он после этого свидания кинулся к Другу. Государь как раз в эти дни впервые за пять месяцев был в Царском Селе, и Григорий, тоже взволнованный, не ожидая посредничества Ани, дал ему прямую телеграмму: “Сердечно беседуем с Калининым ему заявляют подать в отставку он не в себе твёрдость это стопа Божья Григорий Новый”. (Вся переписка шла через чужие руки, императорской чете не было укрытия, такое было вокруг сомкнутое сторожащее внимание, что приходилось, как подпольщикам-революционерам, называть своих верных кличками, чтобы не было понятно чужим. Так для писем и телеграмм Друг назвал Протопопова “Калинин”. А сам Григорий по высочайшему дозволению давно уже сменил свою непереносимую фамилию на “Новый”).

Ну конечно же никто не отдаст им Протопопова – но какова банда! Эта банда выпирает в разных местах, но больше всего в Союзе земств и городов, – наглцы, содержатся на государственные деньги, а действуют только против правительства! У Александры хоть не

молодая голова, но в страдательных бессонницах появились кое-какие идеи: на фронте устроить контрпропаганду против Земгора. И – устроить за ними наблюдение, и которые заполняют уши солдат всякой вредностью, особенно доктора, фельдшера, сестры, – чтоб тех тотчас выгонять. Протопопов должен найти хороших честных людей для наблюдения.

Не меньше зла заваривается и в военно-промышленных комитетах Гучкова, таких же политически-опасных: под видом военного снабжения они ставят в заседаниях прямо антидинастические вопросы. И в каких-нибудь комитетах по дороговизне, только и разжигающих страсти против правительства. Гучков, Родзянко и все думские мерзавцы интригуют, чтобы побольше вопросов вырвать из рук министров, изобразить, будто никто кроме них не умеет работать. Ах, серьёзно же болел Гучков прошлой зимой. Нисколько не греховно, ибо ради трона и блага всей России, – желала ему императрица отправиться на тот свет. Увы, поправился. А теперь – разжигал начальника штаба Верховного, напивал всякими гнусностями, пытаясь перетянуть на свою сторону, и доверчивый Алексеев может попасться в сети этого умного негодяя.

Они – все сейчас пошли в атаку! Что они готовили к открытию Думы? – мерзейшую декларацию, предупреждённую благодаря помощи Крупенского, – он с ними там заседал, а потом принёс эту мерзкую бумагу Протопопову и был принят государыней тоже, она благодарил его. Отвратительная бумага оказалась прямо революционного характера, с чудовищными бесстыдными заявлениями: вроде того, что **они** не могут работать с министрами (позаботились бы – могут ли министры с ними?!). Штюрмер очень обеспокоился, он боялся предстоящих думских заседаний, государыня, напротив, в таких случаях-то и перебарывала свои болезни и собирала волю: с Думой идёт настоящая война, и мы должны быть тверды. Чем мы можем ответить? Обсудили. Если Дума будет вести себя слишком плохо – не прервать занятия, но полностью распустить в ожидании новых выборов 1917 года. Пусть подумают.

Только пять дней прошло с отъезда Государя из Царского Села – а сколько уже событий и сколько набралось дел!

Всего три дня, как виделась с Протопоповым, и он ничего другого больше не сказал. А вчера – срочно просил приёма и принёсся крайне возбуждённый. Фигура его была, как обычно, стройна, легка, крылата, а подвижные глаза и лицо – ещё подвижнее. Они выражали раскаяние и даже отчаяние: он только что виделся с Другом, и Друг разъяснил ему, что он абсолютно неправ, оттягивая взять продовольствие в свои руки. И теперь – он убеждён и готов взять. Но осталось всего два дня до открытия Думы, объявить надо успеть раньше! – но как успеть получить подпись Государя из Могилёва?

Волнение передалось и государыне. Она и сама давно думала так, она и сама удивлялась откладываниям Протопопова, а теперь, когда Друг так твёрдо сказал, – кто мог ещё сомневаться? И государыня стала действовать огненно: была середина дня 30 октября, ещё хватало последних часов, чтобы Штюрмер оформил бумагу, передающую всё продовольственное дело министру внутренних дел немедленно. А сама государыня торопливо гнала супругу письмо, разъясняя. Если успеть отправить с курьером к вечеру – утром 31-го он будет в Могилёве. Если просить Государя не откладывая подписать и возратить с поездом, идущим оттуда в 4 с половиной часа, – эта бумага вернётся сюда утром 1-го ноября, за два-три часа до заседания Думы! Успевают! Успевают, если только Государь уже вернётся к вечеру 30-го в Могилёв из киевской поездки, как предполагал. Даст Бог, так и будет, успеваем.

Сама государыня очень взбодрилась от этой операции – она любила решительные действия. И хотя стояла унылая пасмурная погода с дождиком – она сейчас пересилила уныние совершённым действием. Вот так энергично, быстро надо всегда, и опередишь врагов! С симпатией смотрела она на чрезмерно живое лицо Протопопова, постепенно обретавшее успокоение (она находила его лицо честным, правильным, чистым). Он был – новичок в совете министров и, травимый Думой, нуждался в крепкой поддержке. Государыня уже просила Государя не принимать в Могилёве других министров кроме

Протопопова, а всем передавать через него, – это очень возвысит его и укрепит, и пусть он делится с Государем своими планами и пусть просит совета.

– Да, – вспомнила, – говорят, в городе на заводах какие-то волнения?

– Ничего особенного, Ваше Величество! – как всегда обворожительно улыбнулся Протопопов, а сам выражал непреклонность. – У нас руки твёрдые, удержим.

Так-то так, но правильно предлагал Штюрмер ещё в марте, едва вступив на пост: что военные заводы разумно милитаризовать, считать рабочих как бы призванными в армию, и не будет вообще никаких забастовок. (Но промышленники и кадеты помешали: что так будет попорана свобода).

Протопопов ушёл – но приобретенное радостное волнение действия не покидало вчера государыню и до позднего вечера. Даст Бог, всё будет в одних твёрдых руках, – и Протопопов вообще покончит с Союзами городским и земским. Друг – поможет ему, направит. А Дума, конечно, будет в ярости: она хотела бы разорвать продовольствие на десятеро рук и запутать.

Тут ещё испортил настроение министр промышленности князь Шаховской: приняла его, рассчитывая на его верность, а он выказал неуважение к Штюрмеру, неодобрение Протопопову и пророчил, что им придётся уйти. И это в самом кабинете такое разногласие! Государыня слушала с большим несочувствием и немилостиво отпустила министра.

Была в своём лазарете на концерте, а когда вернулась – знала свою обычную обречённость на бессонницу. Праздник для неё был, когда ей удавалось проспять пять часов подряд – с Ники всегда лучше, без него бессонница особенно терзала. Часты были ночи, когда она забывалась лишь на два часа, уже перед утром. А бывали ночи, вот три дня назад, – спала всего полчаса. От таких ночей добавлялась разбитость и отупение ко всем многочисленным болезням Александры Фёдоровны, список их за жизнь составил бы несколько десятков, – все боли мигреневые, невралгические, кардиальные, поясничные, адские головные боли периодами, головокружения, задышка, сердцебиения, расширение сердца, сдвиги сердца, синеющие руки, камни в почках, опуханье лица от перемены погоды, воспаление тройничного нерва, ослабление зрения (как она горько шутила – от непролитых слез), боль в глазу, как от воткнутого карандаша, боли в челюсти, воспаления надкостницы, одеревянение всего тела, боли в спине, простуды, кашли, ушибы от падений, – прошлый год, 1915, она начала с трёхмесячного лежания, этот, 1916, со сплошных болезней, а во всякий отдельный момент у неё всегда насчитывалось их четыре-пять. И регулярно, три-четыре раза в год, полный упадок всех сил. После бессонной ночи, разбитая и домучиваемая недугами, она по полдня не могла встать, сперва лежала с закрытыми глазами, потом долёживала на диване и, надев очки, на боку – всё писала и писала автоматическими ручками бесконечные ежедневные письма Государю, навёрстывая всё общение, теряемое в расстройстве. Она никогда не умела сказать в трёх словах, ей нужна была стопа страниц. Со середины дня, после завтрака в кровати, поднималась, потому что уже были назначены приёмы или надо было ехать в свой госпиталь или в другие (там по лестницам её вносили в кресле, ибо ноги её не брали лестниц), а от быстрой езды в карете развивалось сердцебиение, и всегда накачиваться сердечными каплями и многими другими лекарствами, получать массажи, мази, электризацию лица и, когда одна, обматывать голову толстой шалью, и избегать прямого солнца, так любя его.

И вчера она легла разбитая, раздёрганная – и эту ночь почти не спала. А все эти бессонные ночи – они наполнены крылатыми мыслями: несутся, несутся мысли и волокут за собой больное, не по сорока пяти годам старое тело, – иногда гордо взмывают, иногда безжалостно когтят грудь. В эти бессонные ночи пришло ей много государственных мыслей. Но к утру ещё более истомляется голова, и в бессонной безысходности всё рисуется в дурном свете.

Но – не поддаваться никогда! Почему бы верить, что злые захватят землю? Почему, если дурные люди активно борются за своё дело, – хорошие только жалуются, сидят со сложенными руками и ждут событий? Нет! Хотя государыня была кругом и вечно больна и с

негодным сердцем – но она не могла спокойно сидеть и смотреть на происходящее, и у неё ещё найдётся больше энергии, чем у всей этой компании вместе взятой!

Лето Пятнадцатого года был самый страшный момент: шла борьба, по сути, за сам трон – это открыл им Друг, а втолковать Государю стоило очень большого труда. В Думе держали пари, что помешают Государю принять Верховное, потом – что не дадут распустить Думу. В то лето государыня вмешалась настойчивее всего и до изнеможения, так уставала душой, что хотелось заснуть и забыть о ежедневном кошмаре. Но и успешнее всего. Были против – все, все вокруг гудели, что если Государь примет Ставку – то будет революция. Только Друг и государыня настаивали: брать! И оказались правы. Но именно как результат той победы Государь уехал в Ставку – и уже нельзя было оставаться постоянно с ним рядом и помогать ему держаться твёрдо. А в Ставке, один, он непременно всегда что-нибудь упустит: он окружён там чужими и уступает им. Чаще ему приезжать сюда? – не пускает военное положение. Чаще государыне ездить туда (она охотно и вовсе бы переселилась в Ставку!) – опять-таки мешает положение, да и есть досадная явность для публики, что главные решения, назначения, смещения Государь производит именно в те дни, когда гостит у него жена. И оставалось – в ежедневных длинных письмах, всё повторяя и меняя выражения, – достигать убедительности. Иногда советы её были успешны, иногда опаздывали, а иногда оказывались и бессильны: тихое, мягкое, ласковое, а было у Ники и упорство. Но Ники – очень доверял ей, и многие важные обсуждения и приём министров поручал.

Беспрекословно она повторяла Государю все советы Друга, многие и своим умом хорошо понимая. Но ум её при взглядывании в дело расширялся – и у неё были свое-рожденные идеи, которые она роняла в письмах: так, очень беспокоили её отдельные латышские полки – неконтролируемая сила, она считала безопасней расформировать их, рассеять по другим полкам. Она считала, что надо создать в резерве дружину на случай петроградских беспорядков: полиция была не подготовлена к ним и даже не вооружена. Она предлагала посылать людей из государевой свиты на заводы для наблюдения за ходом дел, и чтобы чувствовали повсюду внимание Государя, а не одних гучковских молодцов, – но за жирела свита, и никто никуда ни разу не поехал. И с Государственным Советом она обнаружила неосторожность: что назначают туда всякого, от кого хотят избавиться, – и трон лишает себя опоры. (И председателя надо сменить). А другая опора была бы – повысить жалованье по всей стране бедным чиновникам. Она просила Государя позаботиться, чтобы все истории с еврейской эвакуацией были выяснены без лишних скандалов. Всегда следует делать различия между хорошими и дурными евреями и не быть одинаково строгими ко всем. Она удерживала Государя не давать толкать себя с поспешными уступками по польскому вопросу, когда Польша была отдана Германии: можно такого наобещать и надарить, что Бэби потом трудно придётся. А по всякому вопросу касательно немецких у нас военнопленных императрица была горестно и стыдливо стеснена распространёнными подозрениями, что она сочувствует врагу, тогда как она всего лишь хотела человеческого их содержания, чтоб Россия оказалась в этом выше Германии, и после войны хорошо бы отзывались о нашем обращении с пленными. И стыдливо, как бы на ухо, просила она Государя послать комиссию в сибирские немецкие лагеря или позволить пленным праздновать день рождения Вильгельма. Здесь – её некоторые называли немкой, в Германии – её теперь тоже ненавидели. Да, конечно, кого не соединяют нежные связи с местом рождения, с кровными родными, – каждая весточка оттуда, через шведскую или английскую родню, или вдруг письмо из Дармштадта через немецких сестёр милосердия тревожили её, наполняли неповторимыми волнами поэзии и юности. Да, конечно, когда она слышала, что у немцев большие потери, – содрогалось сердце при мысли о брате и его войсках. Но и кипела кровь, когда в Германии злорадствовали. Она бесконечно горевала об этой многокровной, бессмысленной войне. Как должен страдать Христос, видя всё это кровопролитие! – испорченность мира всё возрастает, не человечество, а Содом и Гоморра. Какая-то огромно-непоместимая всеобщая беда началась с этой войны, разорвавшей и её сердце. Нет, не из германских симпатий государыня умоляла укротить разжигание ненависти “Новым



Временем”, запретить безжалостное преследование у нас баронов – а по нелепости для самой России, ибо это ослабляло трон и армию. “Немецкое засилие” мы сами на себя навлекли: наши собственные ленивые славянские натуры должны были раньше держать банки в руках – но раньше никто не обращал внимания. Наш народ талантлив, даровит – только ленив и без инициативы. Александра искренно полюбила эту страну, ставшую её страной, и её огорчало, когда она видела, что такая огромная Россия зависит от других, а Германия радуется нашей дурной организации. Люди у нас, когда не на глазах, – редко исполняют свои обязанности хорошо. Нашей бедной стране не хватает порядка, потому что он чужд славянской натуре.

Александра не могла делать что-либо наполовину. Она принимала всё слишком близко к сердцу. Бог дал ей такое большое сердце, которое съедало всё её существо. И чисто военных вопросов она тоже теперь не могла обойти – не могла не разделить военной судьбы своего мужа. Началось – с Алексева, который тревожил её, подойдёт ли он Государю, – он казался неэнергичным, в нём развинчены нервы, мало души и отзывчивости, бумажный человек. К тому же тайные связи с Гучковым, а если настроен против Друга – то и вообще не сможет успешно работать. Алексеев открыто не считался со Штюрмером и давал почувствовать это другим министрам, уже полное безобразие. Явно чувствовала государыня, что Алексеев и её саму не любит. Стала вникать и в действия флота – и морской министр Григорович по распоряжению Государя посылал ей оперативные бумаги, которые она жадно читала, а потом возвращала запечатанными. Но начав пристально следить за военными действиями, она сердцем не могла принять бесполезных кровопролитий, какими были многие наши неудачные наступления, умоляла Государя остановить их: зачем же лезть на стену и жертвовать жизнями словно мухами? Это второй Верден! Наши генералы жертвуют жизнями, не считают – из чистого упрямства, без веры в успех, генералы закалены и привыкли к потерям. Пощади воинов, останови! Необходимо дожидаться более благоприятного момента, а не слепо напирать, – это чувствуют все, но никто не решается тебе сказать. Мои штаны нужны и в Ставке, идиоты!

Стала она присматриваться к генералам – да чёрт возьми этих генералов, почему они так слабы и никуда не годятся? Будь строг с ними! Да вот что: во время войны надо выбирать генералов по их способностям, а не по возрасту и чинам! Разве, например, Каледин – настоящий человек на настоящем месте, когда так трудно?... И она задумалась: как же Ники знать всю правду о своих войсках? И придумала: пусть берёт к себе в Ставку командиров полков на двухнедельные дежурства – они смогут рассказать Государю много правды, которой и генералы не знают, – и это будет живое звено с армией, а генералы будут бояться, что о них расскажут командиры полков. Но почему-то не сделалось.

Многих военных государыня видела по госпиталям, и представлялись из шефских полков всегда после лечения, – потому многих командиров полков она и сама предлагала к назначению, один раз советовала знакомого капитана в начальники штаба Черноморского флота. Захотела Академия Генерального штаба отобрать помещение у госпиталя – просила она Государя, нельзя ли не отдавать, уж так ли нужны академики во время войны?

А четыре дня назад к ней сам попросился на приём генерал – Бонч-Бруевич, бывший начальник штаба Северного фронта, несправедливо смещённый, а вместо него Данилов-чёрный, недобросовестный, канцелярист и действительно враждебный нам человек. Обходительного Бонч-Бруевича государыня охотно приняла, со вниманием беседовала – и свои глубокие приятные впечатления описала Государю, что надо бы на Северном фронте исправить, только не говорить Алексеву, от кого узнал. Старый Рузский – болезненный, кокаинист и тяжёлый на подъём, но мог бы оставаться, однако, при энергичном начальнике штаба, а хороших людей отстраняют. В результате на Северном фронте даже нет глубокой разведки противника. А ещё бы лучше Государь сам повидался с Бонч-Бруевичем: он очень умён, и честен, и многое расскажет. А самому ему ничего не надо, он действует только для общего блага.

И на фоне всех этих неудачных генералов всё более видела теперь государыня ту жестокую несправедливость, которую допустили они вдвоём с императором по отношению к

несчастному Сухомлинову. Сейчас она очень сожалела, что в прошлом году так легко согласилась на его отставку и снять аксельбанты, – а ведь этого требовали кто? враги! – и ликовали потом. Сухомлинову всё напортила его молодая жена-разведёнка, вульгарная, авантюристка и взяточница, это она разрушила его репутацию. Но вот с тех пор шло годичное следствие – и ведь никакого реального преступления не открылось, никто ничего не доказал, не только никакой не шпион, но ни в каком умысле не виноват, мало тратил денег на армию? – так ему не давал Коковцов, – а мы держим несчастного уже шесть месяцев в тюрьме – старого, разрушенного, уже этими месяцами достаточно наказанного. Правда, Государь и увольнял его с тяжёлым сердцем, написал ему ласковое увольнительное письмо, – а Сухомлинов бесчестно его показывал, и даже копии давал снимать, чтобы смягчить себе падение, не думая, как это используют враги Государя. Но государыня простила ему эту слабость, и уже при начале следствия заступалась – сменить сенатора, пристрастного к нему (ибо сам сдал Перемышль и потерпел от Сухомлинова), дневник Сухомлинова и письма к жене чтобы первый, до следствия, прочёл сам Государь и рассудил о виновности. Но сенатор, руководимый местью, посадил Сухомлинова в Петропавловскую крепость, хотя следствие того не требовало. А сейчас всё более становилось жаль Сухомлинова: он умрёт в темнице, он сойдёт с ума, и мы никогда себе этого не простим. И отчасти он сидит для того, чтобы прикрыть артиллерийские взятки Кшесинской и её любовника Сергея Михайловича, из-за которых и не смеют открытый суд. Но никогда не надо бояться выпустить узника, возродить грешника к праведной жизни: как говорит Друг, узники через их страдания выше нас становятся перед лицом Божиим. Друг – очень просит взять Сухомлинова на поруки. Это можно сделать без большого шума, почти секретно.

Сегодняшняя ночь – тянулась изматываяще, бесконечно. Ни в два, ни в три, ни даже в четыре часа ночи государыня не спала – и всё проволაკивались мысли и заботы. И вот ей стало ясно, что дальше никак нельзя откладывать с Сухомлиновым. Государь всё промалчивал или откладывал просьбы о его освобождении, как и было в характере Ники – не решаться. Но Друг – настойчиво просил, и государыня решила наступающим днём в письме к мужу прямо требовать от него спешной телеграммы Штюрмеру: что, ознакомься с данными следствия, Государь не находит никаких оснований для обвинения и распоряжается дело Сухомлинова прекратить. И так будут предупреждены возможные гнусные заявления Гучкова или думские. Убедясь, что вины нет, – недопустимо держать человека в тюрьме лишь из трусости перед врагами, как они закричат.

И ещё был один узник, о котором настойчиво просил Друг, – это Рубинштейн, богач и делец. Помогал в благотворительности, произведен в действительного статского советника. У него были, правда, некрасивые денежные дела – но ведь не только у него одного. Он схвачен был контрразведочной комиссией генерала Батюшина, подчинённой прямо Алексееву, – и тут нельзя было не заподозрить, что это Гучков подстрекнул военные власти в надежде найти доказательства против нашего Друга (из-за близости Рубинштейна к Другу). Эта комиссия Батюшина раньше подчинялась Бонч-Бруевичу и была хорошая, но с подчинением Алексееву вышла из-под разумного контроля, действует некрасиво и несправедливо, они мешаются не в свои дела, и этому надо положить конец. А Рубинштейна – очень жалко, у него слабое здоровье, и он может не выдержать заключения. И Друг, и Аня очень просят. Главное, сейчас забрать его из псковской фронтальной тюрьмы в Петроград, в ведение министерства внутренних дел, – и об этом сам Государь или через Алексеева должен срочно телеграфировать, – а здесь Протопопов тотчас его освободит, а если здесь открыто будет неудобно – ушлёт его хоть и в Сибирь, а там тихо освободит.

И то и другое надо немедленно сделать, нельзя пренебрегать указаниями нашего Друга. Божий человек благополучно проведёт чёлн Государя через рифы – а старое Солнышко, твёрдая и непоколебимая, с решимостью, верностью и любовью всегда готова к борьбе за своих любимых и за нашу страну.

Только приняв решение о срочном исполнении этих двух милосердных дел, государыня успокаивалась, успокоилась – и уже под самое утро забылась.

Спала ли она сегодня хоть два часа? Проснулась измученная – и теперь, как обычно, нуждалась в нескольких часах медленного возврата к жизни. Пока что она, на боку, спешила написать письмо Государю, изложить всё выношенное. Глаза ей отказывали в таком положении, и она не всегда видела подробности своих строчек.

Но и долго залёживаться было нельзя: у неё и на сегодня, как все предыдущие дни, был назначен приём по делам о раненых, о поездах-складах, и ещё множество дам, и один министр, – и вдруг передали ей телефонный звонок Протопопова, что он умоляет крайне срочно принять его по очень нужному делу.

О Боже, только вчера обо всём уговорились – что ещё новое могло случиться? Приходилось принять Протопопова ранее всего остального приёма, но перед этим хоть полчаса прокатиться на автомобиле, чтоб освежить голову.

А погода стояла – такая же унылая, давящая, беспросветно пасмурная, как и вчера. И срывался дождь.

В этом году были очень ранние заморозки, даже со снегом, 19 сентября, и листья осыпались, и теперь из своих окон государыня видела церковь Большого дворца.

Но и с прогулки вернулась государыня с такой же тяжёлой головой.

Вид вошедшего Протопопова был ужасен: глаза его как бы дрожали или даже блуждали, подрагивали усы, – так странно было видеть выражение растерянности на его всегда уверенном, победном лице.

Что же? что же??

Его красивый голос переливался в большом волнении, и речь как всегда неслась потоком. Оказывается, банки мнутя, поддержки нет, а все министры нервничают, все министры тревожатся, узнав, что Протопопов берёт в свои руки продовольственное дело: Дума очень чувствительна к этому вопросу, и если только завтра будет опубликовано назначение Протопопова, – это вызовет в Думе бурю и скандал, размеры которых невозможно предвидеть.

Государыня восприняла довольно хладнокровно: ну что ж, мы и готовы к самой жестокой борьбе, мы на это и идём!

О нет, о нет! – в мучении выгибался Протопопов. Борьба – не страшит его нисколько, но скандал может принять такие размеры, что Штюмеру придётся тотчас же распустить Думу, в первый же день и распустить! – а это очень неудобно.

Но что же делать?...

А – отложить. Несколько отложить назначение по продовольствию. Хотя бы недельки на две. Пусть Дума пока разрядится. А позже – будет её удобнее распустить. Это – не от себя только просит Протопопов, он готов к решительной борьбе (хотя хорошо знает губительные думские ураганы), – но так просит большинство министров, это в интересах всего кабинета!

Государыня впала в недоумение, такое ж тяжёлое, как и всё состояние её. Она не могла уразуметь: почему надо отказаться от решения, принятого вчера с таким энтузиазмом? Почему можно испугаться скандала в Думе, когда он всё равно будет – не по тому, так по другому?

Но глубокое убеждение светилось в одухотворённом, даже художественном лице Протопопова, с таким живым выражением густых бровей, искристых глаз, и крупных губ под слитыми тёмными усами, и каждой чёрточки, – убеждение ещё более глубокое, чем вчера.

Может быть, чего-то она не понимала.

Но во-первых – таково было желание Друга: Протопопову принять продовольствие на одного себя. Во-вторых, даже если решить снова менять: ведь Государь как раз вот в эти часы получил вчерашнее наше письмо – и подписывает, и завтра к утру оно придёт сюда? И это будет последний момент перед открытием Думы, а мы же не можем отменить сами?

(Хотя по крайности обстоятельств – а напряжение этого октября походило на напряжение прошлого лета – конечно, государыня могла бы взять отмену и на себя, ее бесконечно-терпеливый супруг простит ей).

– Телеграфировать Государю! – вырвалось из груди Протопопова.

Но о таком тонком предмете – как же телеграфировать? Ведь читают десятки людей, все колебания разнесутся сразу.

– Зашифровать! – исторглось из Протопопова.

Но и правительственная шифровка проходит через несколько чужих рук. Ах, ах! – государыня совсем забыла, теперь вспомнила: что долго-долго они горевали с супругом, что нужно же иметь возможность иногда что-то важное друг другу сообщить, и всё никак не могли собраться, а всё же заказали приготовить шифровку, хотя так ни разу её и не применили.

– Я сам и зашифрую! – воскликнул Протопопов.

Да, он слишком страстно был задет – почти невозможно ему отказать: как же он будет выполнять дело против собственной воли?

В конце концов – не отменять, только отложить на две недели?...

Но – и никак нельзя пойти против указания Друга.

– Вот что, Александр Дмитрич, – решила она. – Поезжайте как можно скорей в Петроград, на Гороховую, к Григорию. И если он откажет – значит, так всё и останется, как вчера. А если разрешит переменить – скорей езжайте назад, и ещё успеем зашифровать, телеграфировать, – и завтра к утру, за те же два часа до Думы Государь успеет отменить.

Протопопов взвился и помчался.

Милый, симпатичный человек, она пожалела его, хотелось снять с него слишком невыносимое беспокойство.

Такова была она и в любви и во всех привязанностях: если решалась раз, то уже навсегда. Этому человеку – она доверила охрану трона. А свои – должны выручать своих.

## 65

(Государственная Дума, 1 ноября)

В Таврическом дворце, в Белом зале, заполненном восходящими полукругами кожаных кресел с пюпитрами, под стеклянным потолком, собрались на открытие сессии четыре с половиной сотни депутатов Государственной Думы. В глубине на балкончиках меж коринфскими полуколоннами важно расселись дипломаты союзных стран, левые и правые хоры были забиты публикой, сострастной к *своим*, в двух передних углах переполнены невысокие ложи прессы, а в ложе министров по правую руку от кафедры сидел с несколькими коллегами и сам Штюмер, с длинной как прикладной бородой. О нём знали, впрочем, что он тотчас же после открытия уедет под предлогом молебна в Государственный Совет.

На центральный двухвысокий помост президиума в сопровождении своих двух Товарищей взшёл Председатель – дородный, дюжий, избывающее земляное здоровье своё обративший не к земле же, не волов воротить, но паж, кавалергард, камергер, раздобыв и разрыхлив тело во многих председательствах, предводительствах, попечительствах, а вот и глава всенародного представительства. На самый почётный помост России, ещё своим ростом заметно увышая его, он взшёл, видя каждое своё движение со стороны и сознавая его значительность для отечества. Крупный звонок взял крупную лапой.

И утихали перед ним секторы фракций – узкий левый, многолюдный кадетский, прогрессисты, поредевший октябристский с недосаженными верхними креслами, националисты русские, националисты окраин и правые.

Знал за собою Родзянко редкий по зычности голос, свободно заливающий этот зал, а хоть бы и вчетверо больший. Ещё кроме голоса в речи открытия должна звучать историчность – и её он тоже выразит легко.

Но сегодня был даже не просто день открытия годичной сессии: внизу под

председателем тигрино напрягся Прогрессивный блок, до прыжка оставался час или два, а тайна прыжка уже расползлась, уже знали журналисты, тоже напрягшиеся, и публика, и испуганная стайка министров с расчётом вовремя улизнуть через непритворенную дверь (из ложи министров есть и тайный звонок тревоги к страже). И даже знала царица в Царском Селе. И земский и городской Союзы уже выпустили свои обращения, что наступил решительный час. И уж не менее всех знал тайну сам Председатель, достаточно посвящённый в планы Блока. Сейчас, на высоте, стоял он монументом, выше него, за его головой – лишь портрет Государя (ещё в два родзянковских роста, вытянутый, со снятою фуражкой), но одно неверное слово – и Председатель может сверзиться под когти набегающих. А иное неверное слово – и его настигнут тут, наверху, и раздерут, и стащат вниз.

За последнее время Родзянко уже предупреждал лидеров Блока:

идёт глухая травля на Думу в лице её Председателя. Чтобы упал общий дух. Я могу жестоко оборваться в предстоящей речи на открытии сессии. Но и стесняться тоже не намерен. Могу быть жестоко оборван благодаря влиянию известных лиц, и моё дальнейшее *пребывание* станет невозможным. Тогда я буду апеллировать к Думе.

Обещали поддержать. Однако поддержка Блока – это не всё. Ведь положение Председателя Государственной Думы – несравненно, оно даже уникальнее, чем пост председателя совета министров, ибо тех часто сменяют. Если смотреть в суть вопроса, Председатель Государственной Думы – второе лицо в России после Государя. Он есть – посредник между царём и представителями народа, опора равновесия между монархом и Думой. Чтобы сохранить это выдающееся положение, надо ему же заботиться сохранять: и монархию в её величии, и Думу в её страстности. Он вынужден делать личные предупреждения также и Государю. В его частых докладах у Государя – необыкновенная смелость, он очень влияет на монарха – но всё же так, чтоб и своя великая миссия не пострадала. (А Государь на днях имел бестактность отказать Председателю в аудиенции). И как ни сердится иногда на Государя – но сдерживает себя, щадя обоих. А впрочем, если завтра всё-таки настанет чудо, и будет создаваться *министерство доверия* ... По последним планам Блока Родзянко даже не входит в тот кабинет! – Милюков ему специально это разъяснял. Но Родзянко несколько тому не покорился, ибо сознавал себя фигурой зримо крупнее Милюкова, главным представителем всех народных представителей, как бы персонифицированной Россией, – и ничья другая фигура так не подходила тоже и к премьерскому посту, как Родзянко. Да об этом и слухи ходят (как и намечали в 15-м году). Об этом и великие князья говорят... А для того опять-таки надо – всеми силами укреплять свою независимость от Блока. Своё особое положение – между Блоком и Троном.

Родзянко: Господа члены Государственной Думы! Мы приступаем к нашим занятиям после большого, скажу – слишком длительного их перерыва.

(Укол правительству. Рукоплескания. “Браво! Верно!”)

Первейшая обязанность Государственной Думы – немедленное устранение того (слева: “Не – того, а кого!”), что мешает стране достигнуть единой намеченной цели.

Уже в одну сторону поддал достаточно. Теперь – в другую, нечто прочное, чтобы Дума не развалилась, не отпала от государственной власти. И – заливающим, беспрекословным басом:

Тяжёлым гнётом налегла на нашу родину эта кошмарная война. Она должна быть выиграна, чего бы это стране ни стоило! (Бурные продолжительные рукоплескания, кроме крайних левых). Этого требует народная честь и народная совесть; этого повелительно требует благо грядущих поколений. (Бурные рукоплескания. “Верно! Браво!”) Мы удивили мир своим единодушием и силою сопротивления. Какие же пути ведут нас к цели? Спокойствие внутри страны, твёрдость духа в испытаниях и *твёрдо сказанная правда* здесь, в этих стенах. (Бурные рукоплескания). Правительство должно узнать от вас, что нужно для страны. (Голос слева: “Уйти ему!”)

Ступать уверенно, а балансировать осторожно.

В часы борьбы и напряжения народных сил нельзя гасить народный дух ненужными стеснениями. (Рукоплескания в центре и слева). Правительство не может идти путём, отдельным от народа, но, *сильное доверием страны ...*

Очень тонкое место. Родзянко не сказал, что это правительство идёт путём, отдельным от народа, или не имеет доверия Думы, но слился с Думою в жажде правительства, которое

... должно возглавить общественные силы, идти в согласии с народными стремлениями, стезёю победы над врагом. (Голоса слева: “Долой их! Пусть уйдёт правительство!”)

Осторожно! Теперь обратный наклон:

Внутри себя страна не будет смутой помогать врагу.

Торжественная фраза, так и тянет на стих. И – силою баса, как двигая полк в наступление:

Святая Русь! Никто тебя я не сломит! Ты устоишь пред бурею как грозная скала.

Ну и, собственно, все бездны пройдены. А теперь уже, по прочному ритуальному мосту – вверх перед собою, через зал, шлёт Родзянко приветствия дипломатам семьи народов, воюющих вместе с нами во имя высоких принципов... И примкнувшему союзнику, доблестному румынскому народу!

А вся Дума и так уже встаёт, оборачивается, и кадеты кричат:

Да здравствует Англия, ура!

Особенно Англию принято чествовать у кадетов и особенно приветствуют сэра Джорджа Бьюкенена – в пику немцу Штюрмеру, который, по их мнению, недостаточно почтителен с Англией и недостаточно ей благодарен. На это намекает и Родзянко:

Нет ухищрений, которых враг не пускал бы с коварной целью расшатать и опрокинуть наш союз. Но напрасны вражеские козни. Россия не предаст своих друзей (общие рукоплескания) и с презрением отвергнет всякую мысль о сепаратном мире!

Это – особенно выигрышное место: и – верноподданно, и на вкус Думы, как будто против Штюрмера.

Мы узнаём тебя, наш храбрый серый воин, в душевной простоте не ожидающего ни выгод, ни наград... С вами, неустрашимые борцы, наши молитвы!

Всё пройдено благополучно, вступительная речь окончена. Теперь ещё такой жест: послать приветствие Государю Императору, заверить его, что Дума... А чтоб не вспыхнули протесты – мол, не хотим царю! – такая извилина:

Послать привет доблестным армии и флоту *в лице* их Верховного Вождя – Государя Императора!

Никто не поспорит. Единодушно. (Только голоса слева: “Штюрмера – вон! Стыдно присутствовать!”)

Действительно, под такие крики премьер-министру тут не засидеться. Да он и сам уже уходит, эти крики лишь мешают правительству выйти из зала достойно и прилично.

Теперь до всех дел деликатно выдвинуть внеочередным оратором – поляка. Ведь ещё летом 1914 русский Верховный Главнокомандующий в неточных выражениях обещал полякам заветную мечту отцов и дедов, час воскресенья польского народа и воссоединения, хоть и под скипетром русского Царя. Потом разочли, что с тем торопиться нечего. В прошлом году Польшу отдали Вильгельму, и упущено было объявить. Ныне, ещё год спустя, независимость Польши провозгласили немцы – да скорей-то всего, чтобы поляков мобилизовать в свою армию. И вот депутат от польского коло заявляет, что

польский народ не согласится на немецкое решение, которое противоречит его стремлениям.

Мол, из немецких рук, без польского моря и без Галиции, Польша независимой

стать не хочет.

Далее естественно выпустить на кафедру и декларацию Прогрессивного блока. (Марков 2-й: “Прогрессивный блок без прогрессистов!” Смех). Да, решительные прогрессисты откололись, увы. И сама декларация в бесконечных согласованиях как полиняла! где тот первый грозный воинственный проект Милюкова? Декларацию скучно ровно читает

Шидловский: Ещё год назад... о бессилии правительства, не опирающегося... Единодушное желание всей Думы о суде над Сухомлиновым до сих пор не исполнено. (Бурные рукоплескания, кроме крайних правых. “Изменники покрывают изменников!” “Не позволяет Распутин!”)

Недоверие к власти сменилось чувством, близким к негодованию. Население готово верить самым чудовищным слухам. Правительство всячески отстраняло общественность... Ничем не заслуженная обида... Цензура занимается охраной несуществующего престижа власти... Растрачивается драгоценное доверие союзников... Горячее сочувствие великому английскому народу ( рукоплескания). Правительство в нынешнем составе не способно справиться с опасностью. Лица, дальнейшее пребывание которых во главе... уступить место лицам, которые... Опирается на большинство Государственной Думы и проводить в жизнь его программу.

Умеренным тоном прочтена декларация, стены Таврического не сотряслись. Но кто же следом за декларацией, чтоб сбить её и превысить? кого невидимыми иглами вечно колет снизу депутатское кресло? кто полагает в говореньи с трибуны весь смысл деятельности своей? кто посылает самую первую записку, и урывает очередь, и вот уже вызван, и вот уже мимо стенографисток семенит, неряшлив, не молод, а как подвижен? Достиг высоты -

Чхеидзе (с-д): Конечно, мне придётся повторяться, но, господа, кто ж не повторяется по вопросу о войне. Воспроизведу и я несколько мыслей, которые мы высказывали и раньше. Всемирная война вызвана материалистическим соперничеством великих держав. Объективные интересы... Противоречия капиталистического строя...

Для Чхеидзе России вообще сроду не было, у Чхеидзе – порхающая лёгкость мелкой фракции, ни на что не влияющей, ни за что не ответственной, но имеющей законный ораторский час. А для чего ж ещё Дума? – вот именно для того, чтобы по часу и по часу заставлял выслушивать себя. В комиссиях работать не надо, сидеть-изучать думские материалы не надо, а говорить – пожалуйста, несколько не отвечая за выводы, никуда не ведя собрания.

Не разрешение старых национальных проблем, а их осложнение, не оставление гнёта милитаризма и диктатуры реакционных классов, а их укрепление... Подчинение капиталистической олигархии... Депутат Милюков говорил, что всё лежит на совести Германии, но от фактов не уйдёшь. А какое освобождение, господа, вы принесли Галиции, когда были победителями? Господа, положи руку на сердце, мог ли бы я на каком-либо основании утешать грузин относительно тех благ, которые эта нация может ожидать от войны? А что сказать, господа, об украинском вопросе? А отношение к униатскому митрополиту?... А в Финляндии?... А Польша?...

Дикция у Чхеидзе неясная, гортанный клёкот, но ему самому это не мешает, не сдерживает разлёта речи. В отведенный ему час он – самый первый и сильный в Думе человек и бесстрашно размолачивает всех этих помещиков, капиталистов и финансистов, от монархистов до прогрессистов, не упуская огрызаться и на кадетов. И все тратят по часу свежей головы, выслушивая:

Вы повторяете, что война создаёт условия для сплочения, для объединения, – но к чему это единение свелось? И как обстоит единение у вас в Блоке? ( Милюков: “Штюмер вас поблагодарит”). Единение между помещиками и крестьянами?

Единение между трудом и капиталом? к милитаризации труда? А как обстоит с лозунгом всеобщего разоружения? ( Смех). Мы требуем, господа, ликвидации этой ужасной войны, мы требуем мира! Но – не мира, заключённого безответственными дипломатами, никогда! От имени российской социал-демократии, от имени всероссийского пролетариата мы требуем мира, который... координацией сил европейской демократии... без насильственных присоединений!

(И напрасно ведь тянется! Ленин скажет: революционер-шовинист, революции хочет не для развала России. А Шляпников: борющиеся пролетарии России не нашли в речи Чхеидзе ничего руководящего, не нашли революционного напряжения, которым дышал рабочий класс).

Регламент держит Чхеидзе, как воздух птицу. Вся Дума, лишённая социал-демократического образования, вынуждена внимать поучениям крайнего оратора. И нет стеснения полёту крыл. Но тактика заставляет Чхеидзе всё же снизиться и вдруг сомкнуться с Блоком:

Конечно, для такой борьбы нужна большая осмотрительность и предусмотрительность. ( Справа: “Ума побольше!”) Но есть препятствие, которое мы должны устранить в первую голову, – это, господа, правительство, в руках которого судьба нашей страны.

Однако соединясь с большинством Думы, пламенный публицист, недоученик кутаисской гимназии, харьковского ветеринарного, годичный вольнослушатель одесского университета, тут же и жалеет презирающе эту трусливо-классовую Думу, и в учительном тоне объясняет ей и выговаривает:

В этом отношении вы, господа, долго себя обманывали или сознательно делали вид, что не понимаете. Можете ли вы сказать, что и у вас эта мысль созрела? Как будто выходит, что эту мысль разделяете и вы, но способны ли вы, господа, на какие-нибудь решительные шаги, чтобы совместно с нами выполнить эту первую очередную задачу?... Мы знаем ваш темперамент и темп действий и не зовём на большее, чем законные средства борьбы. Но у вас не хватило смелости, это ваша обыкновенная черта: собраться синицу в море жечь, но это кончается плачевным финалом.

Голова оратора и среднего-то ростом приходится лишь чуть выше председательской кафедры. А Чхеидзе и вовсе утоплен где-то ниже. Очень крикливо, но не этого выступления опасается величественный Председатель, кто ж обращает внимание на Чхеидзе? И когда выскочит Керенский с обязательным спектаклем – это тоже будет не самый главный скандал. Но видит Родзянко, что по списку ораторов неуклонно приближается Милюков, а его речь уже известна тесному кругу думцев, и Председатель сам вчера отговаривал Милюкова от этих мест, затрагивающих лиц августейших. Однако тщетно. Однако и председательствовать во время такой речи двояко-гибельно: прервать или возразить – значит погубить себя в глазах всей левой части Думы и неизбежно потерпеть поражение на выборах Председателя, имеющих быть послезавтра; остаться безучастным – окончательно погубить себя в глазах царской семьи.

Но как же расстаться с должностью, столь приращённой к человеку, что никто уже и в воображении не может их разорвать? Если на председательском месте будет не Родзянко, то и Дума – уже как будто не Дума, и Россия – не та Россия. Также и сам он, не выбранный, – кто он и что? Отделённый от России уже не столп, но пасынок её. Да что там,

это звание есть священный культ – честь, доступная лишь немногим счастливым смертным в нашей земной жизни.

А вот – простая уловка: пошептавшись со своим заместителем Варун-Секретом, на почётном месте выставив его вместо себя, тучный Родзянко, беззвучно ступая, всем видом показывая, что это – не надолго, но уж приходится, увы, в такой торжественный день, – покидает зал.



(Накануне заседания я простудился, чувствовал себя неважно, с трудом закончил свою речь – и тотчас передал председательство.

Но – вот неожиданность! -

Этот маловажный факт оказался чреват последствиями!)

Теперь профессор Левашов – заявление фракции правых, скучно написано, серо читается. Зал не хвалит и не возражает.

Наше отечество переполняют выходцы из Германии, завладевшие лучшими землями, всей нашею торговлей и промышленностью... Имеют полную возможность сообщать нашим лютым врагам сведения о... Портить мосты, взрывать склады, вызывать искусственно народные смуты. Большинство Государственной Думы систематически уклоняется обсудить вопросы о борьбе с немецким засилием.

Хищническая спекуляция появившихся повсюду мародёров тыла, банков и акционерных обществ. Мы, правые, более года назад... Государственная Дума ограничилась... Также и правительство не проявило...

Лишь под конец – касаясь нерва:

Мы осуждаем тех, кто промахи правительства стремится использовать для захвата власти в свои руки при громких словах о служении родине. Мы отвергаем обвинение, что правительство подавляет так называемую общественность. Ошибки правительства совсем в другом: в отсутствии твёрдой власти, боязни крутых мер. Правительство повинно скорее в желании всем угодить.

(В 1916 это никак не кажется очевидным, ещё долго надо пожить, чтобы сравнить).

Если на нужды Земского и Городского союзов отпущены сотни миллионов казённых денег, ради этой работы десятки тысяч людей освобождены от воинской повинности – можно ли говорить, что правительство препятствует деятельности этих организаций?

(Сколько отпущено – 550 миллионов казённых при 10 миллионах собранных – никто и не знает, потому что вся свободная либеральная многочисленная печать единодушно отказалась эти невыгодные сведения печатать).

Мы призываем прекратить пагубную борьбу за власть или по крайней мере отложить её до конца войны.

Но Дума не хочет такого слышать – и не слышит.

А вот – подошло и Керенскому, еле дотомился. Всё, что было в заседании до сих пор, – это скука, вот только теперь начнётся! Измученный своею неистовостью, своею особой сладкодрожной ответственностью перед русским обществом и перед Думой, – 4-й Государственной, а своею первой, зная за собой соединение и крайней политической смелости и высочайшего красноречия, Керенский не упускает ни единой возможности выступить – в прениях, по запросам, по мотивам голосования, для объяснения своего поведения при выгоне из зала, – кажется, едва сбегавши с кафедры, он тут же записывается вновь, и вот дождался, и снова взбегаёт, взлетает туда же, легконогий, затянутый в талии, нарядный на щипок. ( Справа кричат: “Шафер!” “Пусть расскажет, как он был шафером!”) Ах, до этого ли, ах, не об этом, когда вьются, вьются выражения, одно красивее другого, и никакого нет затруднения в языке, изо рта их выпускать втрое быстрее, чем любой оратор в этом зале:

Керенский: Кровавый вихрь, в который по почину командующих классов вовлечена демократия Европы, должен быть окончен! Но, господа, как мы можем подготовку мира, которого жаждет демократия, предоставить тем людям, которые планомерно разрушают организм государства? Разве прошлогодний страшный гром на Сане и у Варшавы заставил их

и с малым поворотом затянутого стана картинно откинул изящную руку направо назад, на опустевшую ложу министров, -

опомниться и уйти с этих мест? Они быстро очнулись, и долгий год

производились новые издевательства над русским народом. Было сделано всё, чтоб уничтожить энтузиазм и бодрость.

Вот это слово – энтузиазм! энтузиазм! – особенно эффектно прокрикивает он даже в самом бешеном риторическом потоке. Да и с гектографических отпечатков будет очень эффектно читаться через несколько дней. Фракция Керенского, как и Чхеидзе, малочисленна, не влияет на думское голосование, зато вдвоём они проговаривают едва ли не четверть думского времени.

Господа! Правительство издевается над охватившим всю страну требованием амнистии! За последний год создан режим настоящего белого террора! Все тюрьмы переполнены представителями трудящихся масс!

(Даже по Чхеидзе – политических 7 тысяч, и то большей частью в ссылке, откуда только ленивый не бежит да кто не хочет в армию попасть).

И разве это не символ, что наши товарищи, члены Государственной Думы, социал-демократы, остаются на поселении в Туруханском крае, а Сухомлинов разгуливает по Петрограду? ( Слева: “Позор!”)

Кто создал в России, житнице государств, разруху и дезорганизацию, когда городские массы принуждены выступать с криком “хлеба!”, а им отвечают свинцовыми пулями?!

Случай такой ни у кого не на памяти, но с трибуны всё идёт.

Кто повинен, господа, что в стране всё больше и больше возникает настроение уныния и ужаса? Правительство в своей деятельности руководствуется нащёптываниями и указаниями безответственных кругов, руководимых презренным Гришкой Распутиным!

Это имя называть запрещено, но Керенского – кто удержит? Э-мо-ци-о-нальный удар по нервам слушателей. Нарядный стройный шафер – на кулачки, беленькие мягкие кулачки – с тёмным сопатым бородатым мужиком!

Неужели, господа, всё, что мы переживаем, не заставит нас единодушно сказать: главный и величайший враг страны – не на фронте! он находится между нами! и нет спасенья стране прежде, чем мы не заставим уйти тех, кто губит, презирает и издевается над страной?!!

А вот когда... а вот если бы когда-нибудь сам Александр Керенский... о, насколько иначе! о, какой яблоно-цветный вихрь! о, как иначе бы всё сразу пошло!

Скажите мне, господа! Если бы Россией в настоящее время управляли бы – эта мысль, правда, не его, а Гучкова, она давно ходит, но отчего не повторить, если так легко слетает с уст? -

агенты вражеских держав, – смогли ли бы они предложить своим слугам какую-нибудь иную программу создать анархию в России?

Министры не решаются прийти сюда и с глазу на глаз объяснить с нами, потому что они сознают, что они делают! потому что они знают, какая буря негодования ожидает их! ( Рукоплескания слева). Свяжав великий народ по рукам и ногам и завязав ему глаза, они бросили его под ноги сильного врага, а сами, закрывшись аппаратом цензур и ссылок, предпочитают исподтишка, как наёмные убийцы, наносить удар стране!!! ( Слева бурные рукоплескания).

Растерянный Варун-Секрет, степняк из-под Херсона, хотя и прочный либерал, но:

– Член Думы Керенский, призываю вас...

Керенский: Где они, эти люди, -

всё пронзительнее указывая на пустые места правительства, он знает, что Милюков готовит сильный выпад, а надо – сильней и опередить:

*в предательстве подозреваемые братоубийцы и трусы??* (Слева – бурные рукоплескания, центр молчит, справа: “Что он говорит?” “Это недопустимо позволять!” “Позор!”)

Варун: Член Думы Керенский, я вынужден вас предупредить, что за повторение...

А Керенскому и не надо повторения, он главное своё уже вывалил, но огонь и дым ещё выпыхивают:

Я не могу отсюда не сказать, что все попытки спасти страну бесплодны, пока власть в руках... Я утверждаю, что в настоящий момент нет большего врага, чем те, кто на высоте власти ведёт страну к гибели! Я утверждаю, что именно это должно быть сказано тем, кто платит податью крови и обнищанием... и которые правды знать не могут! Мы должны сказать массе: прежде, чем заключить мир, достойный международной демократии, вы должны уничтожить тех, кто не сознаёт своего долга!!! Они

третий раз тем же драматическим поворотом, пронзая ложу правительства адвокатскою дланью,

должны уйти! Они являются предателями интересов...

Ай, беда: Родзянки всё нет и нет, а ведь выходил на минуту! А до законного полного часа ещё долго Керенскому, ещё натолкает ниспровержений царя земного и Царя Небесного. И напуганный неопытный Варун-Секрет звонит над змеиною головой оратора:

– Член Государственной Думы Керенский, я вас лишаю слова. Прошу оставить кафедру.

А тот – вдруг и не спорит, вдруг легко покорился. Как пузырь проколотый, вмиг опадает карающий оратор. Только что удержу не было его гневу, а вот, изящно отряхнувшись, и изогнувшись, с платочком из нагрудного кармана, под любование балконных дам, одобрение левых и ярость правых он прогулочко сходит по ступенькам. Милюкова он обскакал, а больше ему ничего и не надо. Он исчерпал свои жесты и обвинения, а предложений и не было с ним, он так и рассчитывал, что его прервут и даже бы лучше – раньше.

Ну, кто же теперь с другой стороны? Кто же, равный, от правых, кинется в схватку? Э-э-э, таких у вас нет. Опять нудно, ровно, монотонно выходит читать с готовой бумаги заявление фракции русских националистов сухопарый камергер, отставной гвардейский гусар

Балашов: В сознании своей ответственности перед Россией и Престолом... Восторженно приветствует могучих и доблестных... К прискорбию, правительство не имеет плана действий... Постоянная смена лиц, издание непродуманных несвязанных мер... Благоприятное положение для мародёрства... Но и законодательные учреждения, принявшие на себя ответственность по снабжению и продовольствию... Создание великой Румынии, дружественной славянству... Наивны и легкомысленны те, кто думают, что близок конец мировой войны. Доколе не будет достигнуто объединение всех древних русских земель и обладание проливами...

Мы призываем все классы к терпению, самопожертвованию и борьбе с роскошью. Мы верим, что результатом мировой борьбы... нравственное возрождение народа... торжество русской культуры...

Скучно, скучно. Но и должна же быть передышка перед взрывом. И досадно, что дергунчик Керенский самое звонкое уже выкрал и вызвонил. Но это – право и привычка левых. Да не так важно, что сказано, важно – кем. Лидер парламентского большинства скажет и осторожней, но это умножится на его большинство, на весь Прогрессивный блок. Лидер парламентского большинства (по западным меркам – неременный глава правительства!) и в прения записан не наудачу, а так, чтобы своим выступлением оглушительно закончить думский день. Уже приглашённый на кафедру, он полукругло обходит стенографисток совсем не так, как депутат средней известности. Ещё не оглянувшись на зал, он знает, что нет рассеянных глаз, отвёрнутых в сторону, а все следят за его основательным затылком, широкой шеей, плотной спиной и ждут, что не с пустым он идёт, что каждый его восход на эту кафедру есть эпоха думской работы,

есть шаг русской истории. (Так и пишет французская печать: великий лидер, кто в ближайшем будущем сыграет выдающуюся роль в своём отечестве). Когда же он обернётся к залу седоватым хохолком, строгими простыми очками, не предвещающая мирных речей сильно распушёнными усами, а между тирадами, читаемыми с бумаги, подарит залу кое-что из лучших манер, с которыми не стыдно фигурировать и в европейской среде, – он видит, как думское большинство соединено и захвачено, а реакционный правый сектор дёргается от ярости.

Так – всегда. Но сегодня с особой задачей всходит на кафедру лидер партии Народной Свободы и лидер Прогрессивного блока. Он – с марта по-настоящему не выступал, он целую думскую сессию пропустил в европейской поездке. Да уже две сессии кряду прошли слишком мирно, в диссонанс со смелыми съездами Союзов; уже есть впечатление, что Дума теряет авторитет оттого, что конфликт её с правительством остановлен. Сколько мог, сам же Павел Николаевич благоразумно и тормозил действия Блока – но возросли долг и вина перед левыми, уже нельзя отстать от революционной общественности, пришёл момент дерзко эффектно взорвать там, где не удалось высидеть и сдвинуть. Без честного союза с левыми, без подпора слева либералы не могут существовать, И чем обиднее тянут левые на раскол, лишая кадетов живительного соединения с народом, тем сотрясательнее должна быть сегодняшняя речь, чтоб и с левых скамей исторгнуть возгласы удовлетворения и устыдить отколовшихся прогрессистов.

(Дума отставала, общий барометр поднялся. Ждали *нового слова* с возраставшим нетерпением. Его надо было сказать 1 ноября. Было ясно, что удар по Штюмеру уже недостаточен, надо идти выше, не щадить источника, к которому слухи восходят. Я сознавал тот риск, которому подвергался, но считал необходимым с ним не считаться).

И, поднимаясь на кафедру, он возносит с собой невидимую пудовую бомбу, ставит её пока у ног.

Милюков: С тяжёлым чувством я всхожу сегодня на эту трибуну.

С очень приятным, напротив. В двух Думах прочёл он уже полсотни речей по часу каждая – и с наслаждением. Той профессорской кафедры, которой лишили его в молодости, насколько же почётнее думская. Там ещё студенты будут ли твою лекцию записывать, а тут – вырвут у стенографисток, и через день в тысячах экземпляров в десятках поездов – по всей России. Умственным взором уже читаются завтрашние газеты: “Потрясающее впечатление произвела блестящая речь Милюкова – одна из лучших его парламентских речей. С огромной силой он бросал в слушателей острые вопросы. Чувствовалось, что мы переживаем один из тех моментов, когда слово становится делом”. Потрясёт эта речь и тех, кто никаких речей никогда не читает. А когда-нибудь цитатами войдёт и в учебники русской истории. Итак:

Вы помните те обстоятельства, больше года назад... Страна требовала министерства из лиц с доверием... Под впечатлением наших военных неудач власть пошла тогда на уступки. Ненавистные обществу министры были удалены, и было положено начало отдачи под суд бывшего военного министра. Какая, господа, разница теперь, на 27-м месяце войны! Скажу открыто: мы потеряли веру, что эта власть может нас привести к победе. Все союзные государства призвали в ряды власти самых лучших людей из всех партий.

(Такие же есть и у нас!...)

А наша власть опустилась даже ниже того уровня, на котором она стояла в нормальное время русской жизни. Не обращаясь к уму и знаниям власти, мы обращались к её патриотизму и добросовестности.

Такого, впрочем, никогда не было, но это – фигура.

А можем ли мы это сделать теперь? Господа, если бы германцы захотели употребить свои средства влияния и подкупа, чтоб дезорганизовать нашу страну, да опять же гучковская мысль, уже и перехваченная Керенским, но можно и

Миллюкову, уж очень ярко, -

то ничего лучшего они не могли бы сделать, чем как поступало русское правительство. 13 июня

(на неделю позже, но профессор истории – не математик, вечно путает проклятые даты)

с этой кафедры я уже предупреждал, что “из края в край земли русской расползаются тёмные слухи о предательстве и измене”. А три дня назад заявили и председатели губернских земских управ: “Мучительное подозрение перешло в ясное сознание, что вражеская рука тайно влияет на ход государственных дел”.

Друг на друга ссылаться – это ещё, конечно, не полное доказательство, однако – кровь леденит: вражеская рука тайно влияет!... Ведь зря люди не скажут! *Тёмные силы* – грозны, сплочены, многолики, таинственны, нависли над Россией, а мы-то одурачены и отделились им!

Господа, я не хотел бы идти навстречу болезненной подозрительности, но как вы будете опровергать возможность подобных подозрений, когда кучка тёмных личностей руководит в личных низменных интересах важнейшими государственными делами?

И теперь уже председатели губернских управ могут смело ссылаться на Миллюкова!...

Составляя эту речь, искал Миллюков, как использовать свой заграничный опыт минувших месяцев и покрыть недостаток отечественного опыта за то же время. Нашёл он удобным, сильно действующим и тактически неуязвимым – цитировать иностранные газеты, которые в поездках прилежно читал, и передавать тамошние слухи.

У меня в руках – номер “Berliner Tageblatt”. Сведения этой статьи отчасти запоздали, отчасти неверны... Вы можете спросить, кто такой Манасевич-Мануйлов? Недавно – личный секретарь министра иностранных дел Штюмерера!

Захватывающе! В России, говорите, с хлебом плохо? Сейчас лидер Блока раскрывает нам самый стержень русских страданий:

Не скажу ничего нового, повторю то, что вы знаете: он был арестован за то, что взял взятку. А почему отпущен? Тоже не секрет: он заявил следствию, что поделился взяткой с председателем совета министров Штюмерером! – и освобождён! (Рукоплескания, шум).

В Думе иногда вызывали на дуэль за оскорбления, но – не Штюмерер же, Миллюкову опасаться не приходится.

Вот когда затмены и Чхеидзе и Керенский, не читающие иностранных газет!... Правда, потом выяснится, что взятка была подстроенная, а сколько, от кого именно, по какому поводу – Павел Николаевич никогда не добьётся, и не делился Манасевич ни с кем, а тем более с председателем совета министров, ибо тут же арестован. (Ну что ж, это были всё

не прямые сведения, догадки: приходилось клеить мозаично, из отдельных фактов, часто мелких; юридически трудно формулировать обвинение, но в порядке бытовом оно очень вероятно).

Однако, и кафедра ж эта – не университетская, где нужно описывать историю ровно такой, как она была. Перейдя из описателей истории в делателей её, отсюда надо крикнуть громче, чем позволяют факты, – чтобы стало зримо для общества и чтобы криком напугать врагов. Штюмерер должен быть убран, он всем ненавистен, а Миллюкову ещё тем особенно, что бестактно, бездарно занял несвойственный себе пост министра иностранных дел.

Итак: чем же спасти Россию??

Итак, разрешите мне остановиться на назначении Штюмерера министром иностранных дел. Оно у меня сплетается с впечатлениями моей заграничной поездки. Я просто вам расскажу по порядку, что я узнавал по дороге туда и обратно.

Так и самому проще, по порядку, по дороге. И на государственном уровне. Да ведь и депутатам интересно: за границу они не ездят, конфиденциально не беседуют в кабинетах наших послов в Париже и Лондоне.

Berliner Tageblatt: “Штюрмер принадлежит к кругам, которые смотрят на войну без особого воодушевления”. Kolnische Zeitung: “Штюрмер не будет препятствовать возникающему в России желанию мира”. Neue Freie Presse: “Как бы ни обрусел старик Штюрмер, всё же довольно странно, что иностранной политикой, которая вышла из панславистских идей, будет руководить немец. Он не обещал, – господа, заметьте!- что без Константинополя и проливов никогда не заключит мира”.

Откуда же берут германские газеты уверенность, что Штюрмер, исполняя желание правых, будет действовать против Англии? Из сведения русской печати. В московских газетах была напечатана в те же дни записка крайних правых,

голос оратора ожесточается, это – те самые тёмные силы, кто мешает свободе, победе и Англии,

опять, господа, записка крайних правых, всякий раз записка крайних правых (Замысловский: “И всякий раз это оказывается ложью!”), доставленная в Ставку в июле. В этой записке заявляется, что хотя и нужно бороться до окончательной победы, но нужно кончить войну своевременно, а иначе плоды победы будут потеряны вследствие революции. (Замысловский: “Подписи! Подписи!”)

Да не знает Милюков никаких подписей, он такой газеты не видел, но тут приходится правдоподобно *клеить из мозаики*, ибо

это старая для наших германофилов тема.

Замысловский: Подписи! Пусть скажет подписи!

А несчастный Варун ещё и не понял, где ему опасность, он себе позвякивает:

– Член Думы Замысловский, прошу не говорить с места.

Милюков: Я цитирую московские газеты.

*Какие* газеты? за какое число? Отчего бы не сказать? Да ведь газет много, календарных чисел ещё больше, всего не пересмотришь, а Павел Николаевич был за границей, потом недосуг, вот Neue Freie Presse – пожалуйста, от 25 июля.

Замысловский: Клеветник, скажите подписи, не клеветите!

Варун: Член Думы Замысловский, покорнейше прошу...

Замысловский: Дайте подписи, клеветник!

Варун: Член Думы... призываю вас...

Вишневский 1-й: Мы требуем подписи, пусть не клеветет!

Варун: Член Думы Вишневский-первый...

Вот прицепились с этими подписями! Ведь сидит же спокойно Прогрессивный блок, сидят спокойно левые, никаких подписей не требуют, всё объективно. Большинство зала – против тёмных сил, и отступленья уже нет, теперь вся уверенность – в твёрдости голоса. И, продувая топырчатые усы:

Милюков: Я сказал вам свой источник – это московские газеты, из которых есть перепечатки в иностранных газетах...

Не сказать прямо – в газетах другой воюющей стороны, неудобно, но немцы-то, аккуратные люди, неужели же будут неправильно цитировать? Наверно, промелькнуло где-нибудь. Ну, может быть, не именно точно так. А в археологии как? необразованность! по каким-нибудь там безымянным черепкам восстанавливают, складывают...

Я передаю те впечатления, которые за границей... Я говорю, что мнение иностранного общества такое, что в Ставку доставлена записка крайних правых,

(и, как все документы Ставки, опубликована в московских газетах)

что нужно поскорее кончить войну, иначе будет революция.

Замысловский: Клеветник, вот вы кто!

Марков 2-й: Он только сообщил заведомую неправду.

Голос слева: Допустимо ли это выражение с мест, господин председательствующий?

Варун: Я повторяю, член Государственной Думы Замы...

Милюков: Я нечувствителен к выражениям господина Замысловского. (Голос слева: "Браво!") А кто делает революцию? Оказывается, её делают городской и земский Союзы? Военно-промышленный комитет? съезды либеральных...

Ведь вот же напраслина! вот придумают!... От этой записки правых поскорее уйти:

Господа, вы знаете, что кроме приведенной записки существует целый ряд отдельных записок... *Idee fixe*: революция, грядущая со стороны левых!

Ну, действительно, чего не придумают: революция – и вдруг со стороны левых! Да где это видано?

Идея фикс, помешательство на которой обязательно для всякого члена кабинета. И этой идее фикс приносится в жертву высокий национальный порыв и зачатки русской свободы!... Продолжая своё путешествие... Доехав до Лондона и Парижа... Прочность доверия с союзниками... Соглашение о Константинополе и проливах... Когда министерством управлял Сазонов...

а на него влиял Милюков... И вдруг пост занимает – кто же?... Не Милюков, а Штюмер.

Какая может быть вера русским послам, когда за ними становится Штюмер? В деликатном деле дипломатии есть кружевное шитьё и есть топорная работа... Господа, я видел разрушение деликатнейших фибр... Вот что сделал господин Штюмер – и может быть недаром он не обещал нам Константинополя и проливов!

С этими проливами хорошо хоть не напоминают: до войны объезжал Милюков страну с пацифистскими лекциями. Но это вздор, молодцу не укор.

Потом я поехал дальше, в Швейцарию, отдохнуть, а не заниматься политикой.

Читая думские отчёты, ведь как приятно будет узнать тем же русским солдатам-окопникам, что не остался без летних вакансий лидер партии Народной Свободы и даже заглянул погулять на швейцарские курорты. (А в рождественские вакансии собирается на свою милую дачку в Крым). А в Швейцарии-то – наших революционных эмигрантов!... Кое с кем и встречался.

Но и тут за мной тянулись те же тёмные тени. На берегах Женевского озера я не мог уйти от департамента полиции. Знаете, *поручения особого рода*, которые вызывают к себе наше особое внимание.

Так тайные сыщики ходили за Милюковым по пятам? Нет, они развлекались:

Чиновники департамента полиции оказываются посетителями салонов русских дам, известных своим германфильством,

а уже Милюков ходил по их пятам, жертвуя отдыхом.

Господа, я не буду называть вам *имени той дамы* ...

Интригующе звучит, и даже роковой гораздо, чем если имя назвать. Одновременно и тонкий флёр – знать, он допущен к дамам... Однако, для конкретности:

...той дамы, перешедшей от симпатии к австрийскому князю к симпатии к германскому барону...

Неизбежные личные подробности, женщины всегда притягивают их в политику... Когда сейчас в кулуарах обступят и будут чествовать оратора, жать руки и восторженно благодарить, конечно будут и жадно спрашивать...

Салон на Виа-Курва, а потом в Монтрё был известен открытым германфильством хозяйки. Теперь эта дама переселилась в Петроград. Газеты поминают её ими. Проездом через Париж я застал... Парижане были скандализированы, и я должен с сокрушением прибавить, что это – та самая дама, которая начала делать карьеру господина Штюмера...

Такой тонкий дамский материал, что уже и правые не рычат, не кричат. А между тем как раз тут небольшие простительные ошибки. (Летом 1917 благодушно и честно признается Милюков:

Для меня впоследствии выяснилась невинность этой дамы, Е. К. Нарышкиной.

Тем более, что эта Нарышкина, Лили, совсем и не возвращалась в Петроград, а в Петрограде газеты упоминали совсем другую Нарышкину, Зизи, старушку-гофмейстерину, у которой чуть сердце не разорвалось от милоковской речи. Впоследствии Павел Николаевич разобрался. Но *тогда*, с думской трибуны, только тревожное подозрение, только жгучий слух мог толкнуть Историю – а какую политическую выгоду принесло бы добросовестное сомнение? Народные массы, вся Россия, весь мир ждали от Думы чего-нибудь такого-такого-этакого...)

Что я хочу сказать этими указаниями? Господа, я не утверждаю, что я непременно напал на один из каналов общения. Но это – одно из звеньев... Чтобы открыть пути и способы... Тут нужно судебное следствие...

Шутки шутками, а как напряжён зал! – никакую детективную пьесу не смотрят с таким захватывающим волнением. Кажется, вот уже, вот уже приоткрывается завеса над страшными тайнами! Да какой же пронизательный этот Милюков! Да ведь он намного больше знает, чем высказывает! И вот уже он называет не даму, но зловещее имя:

Когда мы обвиняли Сухомлинова, мы ведь тоже не имели данных. Мы имели то, что и теперь: инстинктивный голос *всей страны и её субъективную уверенность!* (Рукоплескания).

Боже мой! Мы тут сидим, или там гниём в окопах, – а мы преданы! Россия – предана! Куда нас ведут?

(И о Сухомлинове скоро выяснится, и скажет Павел Николаевич в доверительной обстановке, когда его слова уже не будут делать политики:

Несоответствие с серьёзностью момента; не столько предательства, сколько полного рамолиссента, неспособности стать на высоту положения... Лично я был далёк от предположения, что тут что-нибудь другое, кроме простой глупости; предательство и измена – мне и в голову не приходило).

...Господа, я может быть не решился бы говорить о каждом отдельном из моих впечатлений, если бы не было совокупности... Переехав из Парижа в Лондон... Что с некоторых пор наши враги узнают наши сокровеннейшие секреты, и что этого не было во времена Сазонова. (Возгласы слева: “Ага!”) Прошу извинения, что сообщая о столь важном факте, я не могу назвать его источника

(один союзный дипломат побоялся показать одному нашему послу одну бумажку).

Но тем страшней, что не называется: значит, самое сердце наших секретов передано Вильгельму!

Из декларации Блока “измену” вычеркнули, – но ту же измену заталкивает Милюков сбежавшему из зала правительству – да как ловко! И вот подходит самое взрывное место речи. Но на всякий случай себя обезопасить:

Господа, не питая никакого личного подозрения, я не могу сказать, какую именно роль эта история сыграла в *уже известной нам прихожей*, через которую прошёл и Протопопов к министерскому креслу. (Слева шум: “Великолепно! Это – Распутин!”)

Да, это выразилось тонко и изящно. Но тут, друзья, не Распутиным пахнет! – ещё не представляли кричавшие всей силы милоковского взрыва. Вот приём: прочесть по-немецки! – бегло, с лёгкостью, лишь бы прочесть, хотя б и не поняли, лишь бы не прервали:

Это – та придворная партия, которая назначила и Штюмерера. Как пишет Neue Freie Presse: “Das ist der Sieg der Hofpartei, die sich um die junge Zarin gruppiert!”

Прошло-о! Остолбенелый Варун и не пошевелился. Да и в зале мало кто понял, – неважно, лишь бы сказано, а переведётся в списках. Будут захлёбываться, передавая



изустно:

придворная партия, сгруппированная *вокруг молодой царицы !!!*

А прошло – так можно ещё ударить! И, как ни в чём не бывало, снова по-русски:

Во всяком случае, я имею *некоторые основания* думать, что предложения, сделанные в Стокгольме германским советником Протопопову, были повторены *более прямым путем и из более высокого источника.*

Думцы лбы потирают, ещё не поняли. Вот преимущество профессора перед полуграмотным Чхеидзе или банальным Керенским: какие гладкие фразы, ни за что не уцепишься, а всё сказано! Из более высокого источника – значит, не ниже германского министерства иностранных дел, и более прямым путём – значит прямо русскому правительству или даже царю!

И когда из уст британского посла... тяжеловесное обвинение против того же круга лиц...

переводите сами – круг молодой царицы,  
подготовить путь к сепаратному миру...

Вот она, сила парламентского слова! – как там ни стянуто, ни сплетено, но едва произнесено – и уже стынет гранитным утёсом: царица готовит сепаратный мир!!!

Никто не успевает ни сообразить, ни крикнуть, ни пикнуть: а – какие же, собственно, эти “некоторые основания”? Откуда вы, Павел Николаевич и сэр Джордж Бьюкенен, заключаете, что...?

(Ну, когда-нибудь, когда-нибудь Павел Николаевич объяснит добродушно:

Одно загадочное обстоятельство, которое мне так и не удалось выяснить. Мне как-то прислали американский журнал, в котором была статья “Мирные предложения, сделанные России”. Портрет фон-Ягова, портрет Штюрмера, а в тексте излагалось содержание статьи швейцарского журнала *Berner Tagwacht*. Довольно правдоподобные пункты мирных переговоров, предложенных России. Как они попали в *Berner Tagwacht*, какие сведения у них есть, я так и не добрался. Официальных следов в русском министерстве иностранных дел не нашлось. Однако намёки были постоянные, так что может быть тут кое-что и было.

Да, было, конечно было: статья в *Berner Tagwacht*, подписанная К.Р.: Карлу Радеку не на что угля было купить, да и забавно).

Ну, а раз намёки были – значит, лидер думской оппозиции имеет право обвинить русское правительство в измене!

Вот она, бомба, у ног приготовлена! Теперь её понемногу приподнимая:

Да, господа, теперь вопрос о нашем законодательстве отодвинут на второй план. С этим правительством мы не можем вести Россию к победе! ( Слева: “Вер-рно!”) Прежде мы пробовали доказывать, что нельзя вести войну внутри страны, если вы ведёте её на фронте. Теперь, кажется, все убедились, что обращаться к ним с доказательствами бесполезно: страх перед народом слепит им глаза, и основной задачей становится поскорее кончить войну, хотя бы вничью, чтоб только отделаться от необходимости искать народную поддержку.

Но в кого бросать бомбу? – правительство сбежало, Родзянко сбежал, царь высоко и не придёт оправдываться. Слушай же, вся Россия!

Мы говорим этому правительству: мы будем бороться с вами

– впрочем, осторожность не мешает -

всеми законными средствами, пока вы не уйдёте!

( Слева: “Праавильно!” “Вер-рно!”)

Прямо об измене Блок не разрешил, но на предварительных заседаниях Милюков подхватил фразу: “либо круглые идиоты, либо изменники, выбирайте”. И теперь, от плеча разнося:

И не всё ли равно для практического результата,  
швырнул! полетела!!!

имеем ли мы дело с глупостью или изменой? Когда власть *сознательно предпочитает хаос* и дезорганизацию - взорвалась!!!

– что это: ГЛУПОСТЬ или ИЗМЕНА? ( Справа – гневный шум, крики, ломают пюпитры. В центре и слева – ликование).

Ведь это кинул – не социалист, который за слова не отвечает, но лидер образованных цензовых ответственных людей! Он – зря не скажет!

Когда на почве общего раздражения власти *намеренно вызывают народные вспышки* – потому что участие департамента полиции в заводских волнениях доказано -

и там разбирайся, столько же доказано, как предыдущее всё: германцы под Ригой, а петроградская полиция по оборонным заводам распускает листовки на бунт – лишь бы “спровоцировать мир”?

– что это: глупость или измена?? ( Ликование и гнев).

(А если через 40 лет и установят архивами, как и сейчас на глаз понятно простаку, что эти бунты всего нужнее немцам, а деньги у них есть, и агенты есть, и методы такие приняты, – ну ладно, пусть тогда и понизят профессора в ранге, не сегодня).

Вы спрашиваете: как же мы начинаем бороться во время войны? Да ведь, господа, только во время войны они и опасны. Поэтому во время войны и во имя войны мы с ними теперь и боремся! ( “Браво!” Рукоплескания). *Победа над злонамеренным правительством будет равносильна выигрышу всей кампании!!* ( Бурные продолжительные рукоплескания, кроме крайних правых).

Да-да, аплодируйте, а я тихо сойду на место. Аплодируйте, но вы сами ещё не понимаете, какую речь вы слышали сегодня. За ней установится репутация штормового сигнала к революции!

Газетам запретят её, но страна чутьём угадает смысл белых мест. Страна вострепнётся, пролетит

электрическая искра по ней от ваших речей в этой белой зале. До сих пор Россия бродила ощупью во тьме. Она теряла цель. Она начинала уставать. Страну окутывали призраки. И вот Государственная Дума дала стране луч света! И уже затеплилась надежда! И стала возрождаться воля.

Это из скромности говорится: “от ваших речей”. Но не от речей же правых. И не от пляски Чхеидзе и Керенского. А за вычетом – одна только речь.

Действительно, господа, моменты, подобные 1 ноября, не повторяются. Запомните дату: 1 ноября – это эра!

И если я скажу:

Страна готова признать в вас своих вождей, то, за вычетом, понимайте: признать вождём – меня.

А с правительством, после *измены*, больше не о чем говорить.

Итак, с парламентской трибуны открыто объявлено, что монарх этой страны – изменник и состоит в сговоре с воюющим врагом. Какая же карающая десница завтра упадёт на голову клеветника?

А никакая.

Какой гром разразится над ней?

А никакой. Ведь давно уже привыкли, что общество недовольно, что общество нападает, – и сочтено хорошим тоном не унижаться до ответов.

Но если под основание трона вмесили глину *измены*, а молния не ударяет, – то трон уже и поплыл.

Могилёв напоминал огромную офицерскую гостиницу: всё время прибывали, убывали. Полковники и генералы, приехавшие с фронта, могли рассчитывать быть приглашёнными и к высочайшему завтраку или обеду – но для этого надо было заявиться, а потом ждать. Такой цели, однако, и такого желания у Воротынцева не было.

Издали видел он, как Государь перед своим домом делал смотр терской конвойной сотне, воротившейся с фронта, довольно и этого погляденья.

В офицерской столовой при Ставке многие не успевали узнать друг друга, приезжали накоротко по служебным предписаниям, уезжали, состав обновлялся от завтрака к обеду и к ужину, и за столиками сочетались всё понову. А между тем наблюдатель, сторонний духу этих людей, даже не догадался бы, что они вовсе не сознакомлены хорошо, что они не служат вместе годами. И всегда свойственная кадровым офицерам (а прапорщики не попадали сюда) взаимобязанность, так выраженная в общности формы, поведения, отдачи чести, сильно углубилась войной, уже о третьем годе, смягчились прежние мелочные разногласия между гвардией и армией, родами войск, училищами, полками; напротив: между любыми двумя офицерами-фронтовиками, оказавшимися рядом, проявлялись дружелюбие, сочувствие, даже забота, как между старыми однополчанами, – особая дружественность, когда нет обязательных служебных отношений. Одно общее все отведали, одно общее всех ждало, сегодня полковник, а завтра покойник. И если кто-то мог другому посоветовать, объяснить, помочь, облегчить, – каждый спешил это сделать по некоему высше-семейственному чувству. Их, таких, за годы войны поредело втрое и вчетверо, а долг и задача разлагались по плечам, по погонным прямоугольникам оставшихся.

Так и усевшиеся за столик с Воротынцевым завтракать капитан, подполковник и пожилой сапёрный полковник с тяжеловесной головой, друг друга не знали – и знали хорошо. Ни фамилий, ни частей своих ещё не назвали, а, едва усевшись, держались знакомо, приязненно.

И Воротынцев с удовольствием принял этот тон, после короткой поездки и небывалых встреч опять переводивший его через свой порог – в армию, в полк, в невылазное и привычное фронтовое бытё. Принял и перебегающий разговор: подполковник и капитан поругивали столовую и порядки в Ставке, и само расположение её, и офицерскую гостиницу, но всё это в шутку, взамен выдвигая преимущества жизни в землянках. У подполковника с золотым зубом из-под дерзких губ особенно легко, забавно получалось. Он уверял, что если уцелеет, то в городе уже всё равно не сможет жить, а построит на окраине блиндаж с хорошим обзором и ещё на дерево будет лазить смотреть. А вот и анекдот. Пленный немецкий офицер: “Вы, русские, утверждаете, что не готовились к войне. Но как же бы вы в такое короткое время могли сделать свои дороги столь непригодными? Ясно, что испортили их заранее”.

Воротынцев подумал: как странно, что за всё путешествие по столицам нигде не пришлось ему посмеяться легко. И какое ж это спасительное людское свойство, что чем хуже живётся, тем легче открывается человек смеху: совсем не смешное, а разбирает. Коснулось могилёвских дам, местных и беженок, и золотозубый подполковник с жёлто-белыми усами балагурил:

– Был я когда-то молодым в гусарах, и то успехом таким не пользовался, как сейчас эти земгусары. Дамы расчётливые стали: этих не убьют, и оклады высокие, и форма защитная почти военная, ремни и портупей навешаны гуще нашего. А как только Милюкова поставят военным министром, так нас уволят всех, а их – вместо нас, и будет армия вигов.

Сапёр, не принимая смешливого тона младших, качал головой мрачно:

– Вакханалия дармоедства на государственный счёт. Приезжают с тысячами командировок, втираются в доверие фронта и везде разьясняют, что правительство никуда не годится, это во время войны! Почти поголовно левые и много евреев. А – в уездах, в губерниях как распоряжаются! Делают власть ненужной, и всё.

– Ловчат от мобилизации, – оценил капитан. – Ферты самой здоровой комплекции, если так любят Россию и победу, лучше б уплатили *налог крови* .

– А ещё – Красный Крест, нейтральная держава. Развели этих частных госпиталей только для разложения солдат. Нячнутся с ними, одевают в полотняное бельё, кормят изысканной пищей, нежат их там разные барыньки, а кто-то и брошюрки подсовывает. А потом – лезь в окоп, войой, – не хочу!

– В Москве чуть не на каждом четвёртом доме флаг Красного Креста, – вспомнил Воротынцев. – тысячи частных маленьких лазаретов, а врачи штатские, и никакого там армейского контроля.

Чего ни коснись, наворочено к третьему году войны, как теперь из этого выходить? Искусство надо.

– А ещё беженские комитеты по всей России! – вспоминали. – И тоже там призывной возраст сидит. А хорошее бы место для женского равноправия.

– Это и с беженцами, – заявил золотой зуб. – Взялось бы заведывать ими правительство, и умерла бы одна девочка, – все газеты подняли бы вопль, и портреты этой девочки перед смертью и раньше, с мамой и с братьями, в пол-листа и в целый лист, переполнили бы прессу. А заведуют беженцами общественные комитеты, и умрёт две тысячи человек – будут писать и говорить: как мало! это – при миллионах беженцев!

Тут разговор расширился. Со столика через один послышалось громкое, и все стали оборачиваться туда. Там и не скрывались. Интендантский подполковник в пенсне, немного гундосый, со смачным удовольствием объявлял, что час назад разговаривал по телефону с Петроградом и ему сообщили: газеты вышли с белыми пятнами, во всех думских речах пропуски, о смысле можно догадываться только по оборванной связи. Но кто вчера был на хорах в Думе – потрясены речами, особенно милюковской.

– Такой исторической речи ещё не слышали четыре Государственных Думы! Он сказал что-то небывалое, сорвал все завесы!

Какие завесы? Не представить. Но тяжело ложилось на сознание: *сорвал все завесы* !

Батюшки, мы пока тут что – а там события шагают!

– Ничего, Земгор постарается, теперь заработают пишущие машинки и ротаторы, все запрещённые речи будут и у нас, в армии, даже литографскими листками.

Кто дальше сидел – переспрашивали, и быстро передалось от столика к столику, уже гулом, разноречивым. Кто-то воскликнул, нарочито громко, для многих:

– Отрадно, что есть в России трибуна, где за тебя скажут!

Чем меньше ясности, тем больше предположений. Угадывали: что б такое мог Милюков сказать?

– А Шингарёв не выступал, не знаете? – не удержался Воротынцев спросить противного интенданта. Стал ему Шингарёв совсем как свой.

– Что теперь будет? – спрашивали. – Разгонят Думу?

– Да никто никого не разгонит. Правительство утрётся, и так же останется на месте.

Сапёрный же полковник мало голову крутил на всё это оживление. Тут, над столиком, бурчал по-домашнему:

– Я не знаю, господа, как можно значение придавать, кто там с трибуны пузыри пускает, Милюков или Родичев? Вы спросите, они хоть одно дело настоящее знают? Я не говорю – сапёрное или артиллерийское, но вообще – заводское? горное? земледельческое? И куда ж они тогда лезут в ответственное министерство?

За соседним столом услышали, возмутились:

– Они никуда не *лезут* ! Они выражают свободное мнение России!

Гудели многие, по-разному, но больше раздавалось в пользу Думы, как бы громче. Сапёр махнул безнадежно:

– Нынешние министры хоть дерьмо, так служить умеют, приучены. А эти думские – только болтать. Поставьте завтра их Россию вести – они из клозета не будут вылезать.

Отзавтракали, расходились. Звенела столовая шпорами.

Снаружи стоял пасмурный, но тёплый день.

На крыше генерал-квартирмейстерской части торчал пулемёт в чехле, против

аэропланов. Близ него – часовой.

Воротынцев пошёл в оперативное отделение, на второй этаж, к Свечину. По приезде он видел его лишь бегло.

У Свечина был отдельный кабинет, обвешанный картами, обставленный папками, с тремя телефонами на столе.

– Да-а-а, – огляделся Воротынцев. – В Барановичах мы не так сидели: по три стола в халупной комнатёнке, и на всех один полевой телефон.

– Дело растёт, важнеет, – развалился Свечин в полумягком скруглённом кресле. У себя на служебном месте не был он лихим башибузуком, как в петербургском ресторане в те несколько часов. – Впрочем, в Барановичах всю эту игру в вагоны и халупы ввёл Данилов. Можно было нам спокойно и в палатах жить.

Тоже и посетителю стояло кресло удобное, Воротынцев уселся.

– И кто ж это всё возглавит? Как с Головиным?

– Уже-е, пролетел наш Головин, не котируется.

– Так Рuzский?

– До сих пор надеется. Но не выйдет.

– Так кто ж?

Улыбался Свечин, нечастой своей улыбкой, обнажая зубы непомерные, здоровые:

– Вообще-то, честно говоря, хотел бы его величество обойтись Пустовойтенкой. Чем не полководец? – почтительный, исполнительный, поперёк не скажет ни слова и об себе не возомнит. А инструкции? – ему Алексеев перед уходом на три месяца вперёд выпишет. Но так как его величество должен часто ездить в Царское Село – тогда что ж? Пустовойтенко уже и за Верховного останется? Это уж как-то не то.

Наружного пасмурного света не хватало, светила настольная под зелёным матовым стеклом. Помягчавший Свечин набивал трубку и Воротынцеву другую протянул:

– Набей, хорошо.

– Так – кто же? – взял Воротынцев.

– Никогда не догадаешься, – черно поблескивал идол. – Отгадывай до трёх раз. Ищи из тех, на кого совсем, ну совсем подумать нельзя.

– Ты! – выпалил Воротынцев.

– Ты!! – перехватил Свечин. – Сказал Государь: “Эх, вот был у меня полковник Воротынцев, чуть самсоновского сражения не выиграл, вот бы я его назначил”. – “Так Ваше Величество, жив ведь!” – “Да ну? Где?” – “Вот, под Москвой где-то, штамп неразборчив”. А думаешь, я так легко мог бы тебе вызов послать?

В прошлый раз даже вспышка рассерженности была между ними, а сейчас – всё по-старому, устойчиво.

– Только на Николая Николаича не подумай. Хотя едет.

– Сю-да?? Это – первый раз со снятия?

– У-гм. Исторический момент. Хотел приехать к шестому – его день рождения и праздник царскосельских гусар, дядя ими командовал, племянник тоже служил, оба любят мундиры надевать. В общем, хотел дядя мириться или вдвоём без Алисы поговорить. Но – не разрешено. Велено ему приехать – после праздника, на другой день.

– Да в общем, да в общем, – покрутил головой Воротынцев. – Что ж – дядя? Пустомеля тот дядя. Один парад.

А Свечин это раньше него говорил. Теперь требовал:

– Ну, что-нибудь невозможное придумай! Ну, глупость скажи, но отгадай!

И смотрел со значением. Воротынцева как толкнуло, брякнул:

– Крымов?!

Свечин оскалился, широкозубый. Погрозил крупным пальцем:

– Ещё не забыл, не выкинул? Мне под конец показалось – ты образумился, не спутаешься.

Воротынцев даже и сейчас покраснел, перечувствуя тот стыд:

– Да у меня действительно в тот раз сложилось... Но были и другие соображения, не думай... Да собственно я и не полностью отказался от мысли...

– Ну и дурак, если так, – вывернул крупную губу Свечин. – А я за тебя порадовался, думал – ты хорошую отговорку нашёл.

– Какая же хорошая? Срам. Но не только...

Свечин надвинулся через стол:

– А что в их перевороте хорошего, Егор? И посыпется, и посыпется... Им, гучковистам и этому Жёлтому блоку, сейчас самое трудное кажется – как сшибить. Нет, вы мне покажите, кем и чем вы замените. Если худшими или неизвестно какими, так лучше не сшибать, крутится – и крутится. Из дома Романовых – ну скажи, кому заменять? Мальчик? Игрушка будет у регентского совета. Да и слабый, неразвитый, ну что это – в двенадцать лет обливает генералов водой? Портят его общими усилиями. Михаил Алексаныч? Полковник ниже среднего, куда ниже нас с тобой. Николай Николаич? Уже сказали. Владимировичи? Тот пыжится, тот кутила. Константиновичи? Пускай стихи пишут. И выходит – республика? кадетское правительство? Да надо себя не уважать, чтобы под ними остаться. Чтобы под них Россию отдать.

Это всё было верно. Но не Воротынцева была и задача это всё наперёд решать.

– А Гучков – регентом? – жёг чернотой Свечин. – Или премьер-министром?

– Он – не стремится. Помнишь, сказал насчёт провиденциального...

– Сказа-ал! Ещё как ли искренно? Не допускаю, чтоб совсем не... Такую штуку затевать – и не прозревать себе долю власти? Уж коли с таким делом спутаешься – так непременно и стремишься. А ты бы – не стремился? Сразу в сторону отошёл бы?

Воротынцев мимолётно улыбнулся. Он нисколько не стремился, честно – нет! Он только хотел действовать для спасения России. Но прийдись до дела – сразу пришлось бы как-то и устраивать. Верно.

Свечин засек улыбку:

– Ага!

– Да нет...

– А скажи, они все хором обвиняют правительство в неуважении к идее права, что права их будто попирают, – а сами лезут на государственный переворот – так что ж остаётся от прав? А?

Воротынцев думал, непривыкши потягивая трубку.

– И мясоедовская смерть на Гучкове. И вся история какая гадкая, раздули чего не было – а зашлёпали всё императорское правительство.

– Да, – встрепенулся Воротынцев, – а в чём именно мясоедовское дело, по сути, было, ты знаешь?

– Хорошо знаю. Мне варшавский комендант рассказывал, при нём был суд. В 1912 году Гучков Мясоедова разоблачал – кукиш! ничего не доказал и доказывать было нечего, демагогия. Но в газетах прогремело, и осталось пятно, что шпион, прилипло. А в декабре Четырнадцатого является в генштаб такой сукин сын подпоручик Колаковский, 23-го полка, там у вас в самсоновской он попал в плен, а потом, чтобы вырваться, изобразил из себя малороссийского сепаратиста, нанялся к немцам мнимым шпионом, они его перепустили в Россию, а он тут саморазоблачается. И чтобы больше веры – придумал, что очень ему, новичку, хвалили немцы своего шпиона Мясоедова – только не знают ни адреса его, который в петербургской адресной книжке, ни – где он сейчас. А просто этот Колаковский из газет запомнил, сработало старое гучковское враньё. Ну, как полагается, бумажка на Мясоедова пошла на Северо-Западный фронт, а он там переводчиком в 10-й армии. И тут бы ещё ничего не было, никто серьёзно, но через месяц армия потеряла в Восточной Пруссии корпус. И волнение на всю Россию. А ещё есть, ты знаешь, такая сволочь Бонч-Бруевич.

– Ну как же!

Задница. В Академии три раза диссертацию защищал, три раза проваливался, поставили его на администрацию.

– Так вот, он придумал и Рузского подтолкнул на это третье вторжение в Восточную Пруссию. Теперь надо было найти виноватого – и ухватился Бонч за шпиона-изменника. Схватили и поспешно судили в Варшавской крепости. Главный доносчик Колаковский даже не присутствовал на суде! Защиты тоже не было. Улик – ни одной, хотя два месяца был приставлен к Мясоедову секретарь-наблюдатель. Для верности дали и вторую казнь – за мародёрство: в немецком доме, мол, статуэтки подхватил. Начали судить утром, к вечеру приговор, не дали послать телеграмму Государю, даже не дали попрощаться с матерью, она была в Варшаве, – и через пять часов той же ночью повесили. Заметали след?

– Хо-го-о-о! – только мог протянуть Воротынцев. В таких случаях представляешь невинно казнённым самого себя. Верещагинский сын! – И никто не остановил?

– Николай Николаич утвердил по телеграфу. А Бонч после этого стал начальником штаба армии, потом и фронта. А Гучков не только не отступился, но теперь-то и разжигал это дело, чтобы свалить Сухомлинова.

Если приближённый военного министра – шпион, тогда и министр шпион?... А тогда – что царь?...

Да, вот и Гучков. Вот – и пути политики.

– А что там вообще за публика, вокруг Гучкова дальше? – наседали Свечин. – Может похуже его намного?

– Да, перекосили его кадеты. Теперешний Гучков – не прежний.

– А конспирация? – Свечин обдымливался из крупной трубки. Сизо колебалось. – Конспирация – смех один! Встречным поперечным в любом кабаке всё открывает.

– Ну, на нас он мог рассчитывать.

– И это который раз уже наверно? И что ж ты думаешь, про их заговор не знают? Да весь Петербург говорит, что Гучков готовит заговор. Да уж в департаменте полиции, наверно, сто донесений. Какой он заговорщик? Любое дело погубит. Просто власть у нас робкая, не знает, с какой стороны каждый столб обойти.

– Да, на деле – Гучков ни к чему ещё, видимо... Всё на словах. А сложностей может оказаться... хо-о!... – Воротынцев отложил погасшую трубку. – Да и программа его странная какая-то. Со всем этим можно завести Россию и похуже, да.

– И что придумали – откуда революцию? Откуда она у них выперла, я не вижу. Эти общественные деятели сами накричали, сами себя и запугали. Россия у них всегда пропала, уже пропала, от самого Рюрика, вопрос решённый. Конечно, августейший больше всех и виноват, он их и распустил. Всё мечется, не приткнётся, никогда у него не хватало смелости потеснить их. Не дай бы Бог ему одной дивизией непосредственно командовать – так бы и замыкался и на пулемёты навёл. Как его лучшие любимчики и делают. Но это – и не его задача. А восседает на троне давно, и уже это хорошо. И слава Богу.

– Он – не дивизию, он – всю армию так и навёл, – полновесно настаивал Воротынцев.

– Да это тебя Румыния довела, тебе и мерещится. Ты просто пересидел на передовых.

– А пойдёшь, там повоюешь.

– Чего ради я пойду, ты – сюда иди! Вздор какой! Разваливают, скотины, военную власть во время войны во имя якобы победы.

Воротынцев – на локти и ближе к нему через стол:

– Да не победы! Андреич. Деятели, может, и пугают, не видя. Но кто *знает* – пугаться есть чего. Поди да посмотри, из этого кабинета не видно.

Никуда Свечин не собирался, прочно утвердился:

– Просто – мятеж у тебя в крови вечно бродит. Ты – изродный мятежник. Ну, а у тебя какая программа? Задремать? Как это реально можно сделать при сближенных боевых линиях?

Да нет, если честно – так дрёмой одной не спасёшься, конечно. Что у Кюба сразу не выговаривалось – здесь теперь, после всего уж сказанного... Очень тихо:

– Надо – выйти из этой войны совсем. Влипли не по разуму.

Сколько он проехал с этой мыслью, и уже бывала на кончике языка – а ведь так нигде и

не выговорил, совсем это не просто произнести офицеру. А вот – уже как будто и поздно, и не место?

Растарачился Свечин, вот заорёт. Но тоже тихо, головы близко:

– Значит, всё-таки – се-па-ратный?

– А что остаётся?? Если грыжа через весь живот – как тянуть? Я тебе говорю: наш **корень** выбит. Упустили мы в Четырнадцатом уйти в нейтралитет – так хоть теперь.

– И чтоб у нас кусище оттяпали?

– Ни-ка-кого. Да немцы будут радёшеньки сдыхаться. Нашей земли у них почти нет, очистят. А Польшу? Так Польшу всё равно освобождать, пусть немцы и разбираются. А от мамалыжников мы сами уйдём.

Не зарычал Свечин ни о присяге, ни об измене, а:

– Да ты же военный человек, подумай! Садись сюда-и отлично увидишь. Да кроме вашей говёной Румынии мы уже второй год нигде не отступаем, что ты, не знаешь? Это Земгор внушает, что война проиграна, но не тебе...

– Да не войну! Я тебе говорил: мы свой **народ** проиграли.

– Ригу – держим, плацдармы за Двиной! Двинск, Минск, и по самый Пинск – всё наше! Снабжение, снаряжение? Лучше, чем в любой месяц с Четырнадцатого года. Вот, для тебя одного: по трёхдюймовым сколько выстрелов мы израсходовали за всю войну – столько же имеем сейчас в запасе! Пулемётов Тульский завод выпускал семьсот в год – а сейчас тысячу в месяц! Трубок артиллерийских раньше – пятьдесят тысяч в месяц, сейчас – семьдесят тысяч в **день** ! ТАОН – слышал?

– Нет. Да счёт единиц ещё ничего не...

– Тяжёлая Артиллерия Особого Назначения. Такую теперь громоздим до купы. И для неё – уже резерв боеприпасов. Упарт готовит на весенний прорыв. Такой силы мы ещё не проявляли, немцы ахнут. Тайна! Весеннее наступление будет грандиозное! На Балтийском флоте – Непенин, боевой. Как он и Колчак – таких молодых адмиралов во всей Европе нет. Весной 17-го Колчак хочет десант в Босфоре!

Движеньем руки сбок себя по настенной размашистой карте скользнул и по Чёрному морю.

Ну, этим Воротынцева как раз и не захватишь: Босфор отдайте сумасшедшим.

– А хоть бы и ничего у нас не было. Хоть бы и правда мы сейчас сложили лапки и задремали – и то бы войну выиграли. Вот на днях в Америке президента выберут, у него руки освободятся – смотри, как бы и он в войну не вступил, да ведь не за Германию же! Какой же дурак пойдёт на сепаратный мир, когда Германия уже носом хлюпает?

Отмахнулся, отмахнулся Воротынцев:

– Американская победа – не наша победа. Они, вон, нам денег на войну не давали. Нам – какая победа? Земли нам больше не нужно, нам народ надо выручать.

Да, разумеется, из штаба Верховного всё выглядит пободрей, даже и убедительно. Сидя тут, можно и поддаться этим аргументам. А спустись в окоп – а там плечи не прежние.

За эти три недели наговорено, наговорено было вокруг Воротынцева и им самим – а ясней не стало. Все мы вразнокос раскладываем сегодняшние события, предсказываем завтрашние, а истинный путь, как дело перейдёт, – один, да никто его не может разглядеть.

– Егорий, Егорий! Сколько раз я тебе говорил: чтобы делать историю – не надо взбрыкивать, не надо из упряжки выбиваться. Норов у тебя несчастный. А где поставлен – там и тяни. И так идёт история.

Воротынцев смотрел на глыбно-уверенного приятеля. На блестящий металл телефонных рычагов. На свою погасшую недокуренную трубку. Постукивал по кресельному подлокотнику.

Вздыхнул.

Зрело у него – и в окопе, и пешком, и на коне.

А за эти три недели как-то растеребилось.

Вспомнил:



– Да! Так кого ж назначат?

– Сдаёшься? – заухмылялся Свечин. – Не догадался? – И, смакуя, перемывал крупными руками: – Этого и нельзя догадаться. Это тоже клонится, брат, к тому, что мы войну никак не проигрываем. – И почти крикнул: – Гурку!

Так назвал изменённо-шутливо, забыто! – Воротынцев не понял. Обомлел. Переспросил:

– Гур-ко? Василь Осича? Гурочку? Быть не может!?

И уже не усидишь. Вскочил! Стал бить себя, бить себя по груди той ладонью и этой, и по кабинету бегать:

– Да как же это могло стрястись? Да как же...?

– Вот так, – сиял Свечин. – Михал Васильич настоял, представь. Половину того, что я против старика говорил, – беру назад. Государю, конечно, очень неуместно принимать такого дикаря и грубияна, – чужой, не такой, будет правду лепить. Но уступает старику: лежит, 38 градусов. Ещё не подписан приказ, но всё к тому.

Уж это-то, правда, нарушало весь стиль анемичного императорского руководства. Не был назначен ни какой гвардейский остолоп, ни какой великий князь, обойдены все ласкатели, искатели, воспитатели собачек, рассказчики анекдотов, фавориты Царского, все дутые генерал-адъютанты, все самонадеянные седокурые старцы, и в обход командующих фронтами, и в обход всех старшинств между командующими армиями! – в руководство русской армией назначался настоящий боевой отчаянный умный неутомимый непримиримый генерал, во цвете решительности и сил, да **кто**? – исконный вождь младотурок!!

– Э! э! Ты – не забирай! не забирай! – заметив и поняв, одёргивал Свечин. – Ты – опять своё думаешь? Если эту детскую игру в младотурки – так ты её кончай, забывай, выкинь! А какую он сейчас храбрую демонстрацию под Владимиром Волынским сделал, ты ещё не знаешь. Он – в отличной форме. С таким генералом мы...! И ты – теперь будешь здесь опять!

Такой начальник штаба при таком Верховном – да! это будет властный Верховный Главнокомандующий! Такие звёздные взлёты не могут оставить спокойным сердце истинного офицера. Только так и взлетают настоящие полководцы! Только так и появится новый Суворов, которого жаждет Россия всю войну. Он и не смеет медленней, тогда он не Суворов!

И, может быть, повернётся ход войны? Вот так и повернётся?

Или – уже поворачивается?

Но тогда... Если сам Гурко становится на это место – так переворот по сути уже и совершён? Лучшего кандидата – не избрать ни при каких обстоятельствах...

Так власть уже почти у **нас**?...

\*\*\*\*\*

## **ЕХАЛ БЫ ДАЛЕ, ДА КОНИ-ТЕ СТАЛИ**

\*\*\*\*\*

А пока что надо было отработать свой вызов в Ставку – пойти в разведывательный отдел и там несколько часов позаниматься, дать сведения, заполнить некоторые ведомости.

Занимался, а захвачен был новостью, то и дело думал о Гурко. Неужели назначат? в обход столькох? Да если б только назначили! Как могло бы всё измениться, сколькое – исправиться!

В первый момент взлетело неожиданностью: как его могут назначить? А если, вспомнить, подумать – то может быть и не так неожиданно? Когда-то, в лучшие стольпинские годы, Василий Гурко поставлял военных советчиков для гучковской думской военной комиссии, да на его квартире и собирались с думскими деятелями, готовили мнения по законопроектам, – и среди тех первых советчиков был и Алексеев! Но потом, очень осторожный, Алексеев отбил и не попал под ругательную кличку “младотурки”. И вот – не приходится ли подумать о нём лучше, чем говорили со Свечиным? – памятный, добросовестный и беззавистный, он не упускает заслуг и талантов? После того, что в Восточной Пруссии Гурко своей одной кавалерийской дивизией совершил рейд к Алленштейну и назад – для Самсонова поздний, для Ренненкампа разоблачительный, что можно было всем успеть, а сам по себе дерзкий рейд и безупречный, – Гурко был возвышен до командующего корпусом. Но так на том и засох. Однако последний год Алексеев назначил его, ещё генерал-лейтенанта, на армию, где под него подпадали полные генералы, и временно давал ему Северный фронт, затем гвардейскую армию – и вот теперь притягивал сюда, единственным себе на замену. Благородно.

Захвачен был Воротынцев этой новостью, и всё теперь – его собственная завтрашняя судьба, где быть ему, и судьба расплывшегося за поездку и уже самому себе непонятного тайного замысла, – всё начинало зависеть от Гурко. Замысел был сильно пошатан Свечиным, а в чём-то и Ольдой, – но ещё искал себе какую-то неизвестную форму.

От Ольды – письмо бы получить! Как давно он не видел Ольды, как соскучился! Столько уже прошло после неё! Да – есть ли она у него вообще? Так это отгорожено было теперь и пансионными объяснениями. Грудью, телом Георгий не забывал Ольду ни на миг, носил в себе, при себе. А головой – даже и забывал.

За эти часы средний пасмурный тёплый день переходил в пасмурную бурю. Разыгрался ветер и по серому гонял чёрные тучи, хотя дождя из них не было. Разыгрался, кидался, толкал крупными сильными порывами, срывал шляпы, надувал одежды, отмётывал конские гривы и хвосты, посреди широкой Губернаторской площади даже останавливал в грудь пешеходов. Но что необычно для этого времени года и при таком мрачном небе: этот ветер нанёс тепла, избыточного, чуть не летнего, которое не могло удержаться долго, но вот к концу дня перед темнотою вносило сумбур в дыхание, в настроение. И когда Воротынцев после занятий собрался на почтамт, ему жарко, тяжело оказалось в шинели, в папаче, пожалел, что нет с ним плаща и фуражки.

Справа слышно обсвистывал ветер белую пожарную каланчу с золотистым верхом, как каской пожарного. Даже с удовольствием напрягаясь и наклоняясь против ветра, Воротынцев по плотно выложенному камню пересек Губернаторскую площадь, держа направление к старой ратуше – с башнею, видно не без польского влияния, до высоты шестого этажа. И вышел на Большую Садовую улицу позади ратуши, где вдоль каменной монастырской стены приставлены были мелкие еврейские лавочки и даже сейчас торговали для малышни “перепечками”, “смажёной редькой” и другими забавами.

За монастырём с голубой колокольней дальше тянулась эта длинная торговая улица, и на ней все лучшие могилевские аптеки, фотографы и магазины – на вывесках красные перчатки, золотые сапоги, гирлянды малороссийской колбасы. И два конкурирующих кинематографа – “Чары” и “Модерн”. Было к сумеркам – и по ней же начиналось гимназическое гуляние, по две и по четыре гуляли гимназисточки в шапочках пирожками, а над ухом отвевался бант – то коричневая лента с золотистой кокардой, то синяя с серебристой, то малиновая с золотой. И попадались прехорошенькие и почти взрослые. А за ними, также по нескольку, вышагивали гимназисты в тёмно-синих с белыми кантами фуражках “мятого фасона”, как у кавалерийских офицеров, и реалисты в зелёных с жёлтыми кантами.

Тоже теперь своего рода столица, своя жизнь, своё оживление. И бурный тёплый ветер не мешал, а только подбодрял их всех.

Воротынцев шёл на почтамт в надежде получить “до востребования” письмо от Ольды.

И чем ближе к почтамту, тем густилось в груди и колотилось только: Ольда!!! Сколько с тех пор ненужных лишних дней, объяснений, переломов! И в невыносимое ж положение он поставил её, да и Вереньку в глупое, если Алина нагрянула туда объясняться. Зачем? Зачем поторопился? Как он мог? Дурак. Чуть и само ольдино имя Алина не выманила у него, как у простофили. Наказала за откровенность.

О самой Алине третьи сутки он ничего не знал, но именно тем был даже облегчён: не видишь, не слышишь, не ноет. Только бы не в Петроград поехала, не с Ольдой разбираться. Помогла ли милая Сусанна? Удержала ли?

Алине – больно, да (а может – уже и меньше), ещё предстоит с ней встречаться, жить, быть, – но сейчас лишь усилием ума могло это вспоминаться. Сейчас хотелось – не думать о ней совсем.

Сперва подошёл к окошку телеграмм. Спросил. Сразу подали. Петроградская. Чуть не разорвал, разворачивая. От Веры. Всё в порядке, Алины не было.

Хватило рассудка, слава Богу.

А что Веренька пережила? Что она там думает? Неприятно ужасно.

И уже с отпавшим грузом, уже с другим чувством ожидаемой сладости, Воротынцев пошёл спросить письмо. За дубовым неполированным старым барьером чиновник точными пальцами стал перебирать пачку на “В” и нисколько же не торопился найти (и ни за что же не пропустил бы). Воротынцев глазами вытягивал из его пальцев ожидаемый конверт, ещё не зная, как будет он выглядеть, ещё не получав никогда, ещё к почерку Ольды не привыкнув, чтоб узнать его издали и в повороте, но заранее желая и любя тот конверт и тот почерк, и всё, что будет им написано, от чего горячим польёт по жилам, уже сейчас лило!

И милый чиновник – нашёл! Нашёл такой конверт – уменьшенного размера, но не дамский, а чуть удлиненный, из плотной, слабо рифлёной бумаги, белой, но с сероватым отливом, в переминании уже издававший шелест нежной тонкой подкладки. А почерк был – не склонёнными, не сбитыми ни книзу, ни кверху строчками, из маленьких собранных замкнутых букв, как Ольда сама – с руками, замкнутыми вокруг себя, и ногами, подобранными на диван.

Вгоряче, а не хотелось небрежно рвать драгоценный конверт. А чиновник-душа, заметив стеснение полковника, протянул ему и ножницы. И всё это – не улыбаясь нисколько. Воротынцев ещё не резал, уставился в марки. Марки были из серии “в пользу воинов и семейств”, знакомые, видывал, но сейчас сочетание их – не случайное? – ещё пригорячило: одна – Георгий Победоносец, копьём разящий с коня, другая – женщина в боярской шапочке, обнявшая ребятишек-сироток. Эта боярышня, видная со спины, была рослая, никак не похожая на Ольду, но своей высшей нежной королевской сущностью – конечно она!

Безопасно обрезав лишь реберко конверта, не захватив никакой полоски, Воротынцев отошёл читать к дубовой конторке, где боковые косые четвертные перегородки заслоняли его от возмодных соседей.

Как соскучился он взять крохотные руки Ольды в свои! Слушать её голос пониженный, с напеванием!... А сейчас – это всё наступило сразу: он не письмо держал, а – руки её, и слушал голос. Он не слова читал – он слушал Ольду. Он читал беспорядочно, неосмысленно, счастливо, перескакивая, возвращаясь, а то одну фразу трижды подряд, и никак не осваивая. Закрытый перегородками и наклоном конторки от соседей, углубился в Ольду, лицом окунался в неё, болтал с ней, и весь тон их счастливой болтовни был важнее незапомненных, недояснённых, пронесшихся фраз, – на то ещё будет время.

Только постепенно разбиралось, что вот так же беспорядочно писала письмо и она: долго ходила, ходила, полная им, как будто он не уехал прошлой ночью, но всё ещё здесь, ходила и разговаривала с ним. И уже уставши, без пяти минут полночь села записать хоть остаток, хоть несколько фраз из говоренного. Села? – или опять ходит? – по своей исхоженной комнате, как по новой, и руки раскрывши: ты – здесь? С какой стороны? Подхвати меня! Подними меня!

Воротынцев глаза прикрывал – лучше видеть, как она идёт с распахнутыми руками,

будто в жмурках. Возьми меня на руки! Беру, моя сладость! Беру, моё перышко!

Ходьба? письмо? разговор? поцелуи? – всё перепуталось, где это всё? Кто – кому? Стоял и перечитывал над конторкой, изомлевая, о конторку локтями держась. Никак не понять: когда кончится война – куда-то пойдём... босиком по лугу... – ступни её босенькие он ясно видел – сверху целованные, с исподу целованные, и каждый крохотный палец отдельно.

И спрятав письмо-сокровище, Воротынцев пошёл, пьяно ощущая ногами гладкий плитчатый пол почтамта. Уже в дверях подумал: а что-то было там и серьёзное? Читал, но в голову совсем не вложилось. Прочесть потом? Нет, сейчас.

Вернуться – только до стены под лампой.

Нет, опять назад – к нагретой четвертушке своей конторки.

Вытащил снова письмо из конверта, а при этом выпала ещё маленькая бумажка, приписка – как же он её не заметил раньше? Могла и потеряться, ай.

“А это – утром. Просто так. Жаль отсылать – станет одиноко. Слушай ветер! – это буду я. И слушай шорохи ветвей! – это буду я”.

Ключок, две строки – а сердце опять вскинулось, взмолодилось, вырывалось навстречу: Ольда! дар мой! награда моя!

Да, но что же – серьёзное в письме? А вот что, нашёл:

“Раз ты *там* сейчас – прошу тебя: оглядись, присмотришь, разговорись: с кем можно делать то, что я так хотела в тебя вдохнуть. Ищи верных! Ведь это одно – наша общая, всех нас жизнь, не дадим ей оборваться!”

Всё так же плохо чувствуя пол, пошёл к широким, тяжёлым, самозакрывающимся дверям.

Вышел наружу – а со ступенек кинулся в грудь ему шалый ветер, – сильный, но по необычной своей теплоте – игривый.

Слушай! – это буду я!

За то время, что Воротынцев пробыл на почтамте, уже установился ранний, но тёмный вечер, засветили фонари, по Большой Садовой нередкие. Кажется, прошёл и небольшой дождь: свежие лужицы, к фонарям поблескивали мостовая и тротуар, украшая городской вечер. Но и от дождика только ещё теплее стало и ещё охватистей неровный буревой ветер. Что за погода! – весна в ноябре!

Воротынцеву хотелось идти, идти, и радостен был этот ветер. Шинель и папаха уже не тяготили его, таким он себя чувствовал невесомым, лёгким, и с лёгкостью отдавал встречную честь. Гулянье было уже в разгаре, и не только гимназическое, но появились и парочки, кто и с военными, кто уединяясь потемней, где углубление от уличной черты. И Воротынцев чувствовал себя ровесником этим юным влюблённым, но не млея шагом, а быстро, как по делу, прищёлкивал по плитам и призванивал, несла и подымала его радость.

Он только что, на почтамте, держал за руки свою Ольду, он за пазухой нёс её, маленькую!

Как легко: всё твоё, твоею грудью схвачено, и несётся здесь, с тобою!

И сам несёшься, как воздушный шар, наполненный горячим воздухом.

Ещё проезжали и конные, и военные автомобили, и повозки, прошла солдатская команда – а как будто не были признаками войны. Этот город, обременённый постоем и заботами множества военных, оттого ли что незнакомый, впервые видимый, или от налётов этого безумного тёплого ветра, или от фонарно-лужных отблесков – казался красивым местом беспечного молодого счастья. И только.

Не хотелось заворачивать в свою скучную гостиницу – тянуло быть с этой молодостью. Дошёл до Губернаторской площади – и с удовольствием толкаясь о ветер, борясь и перешагивая его, – стал опять пересекать площадь, но не полевой, к квартирмейстерской части, а поправей – к скверу с солнечными часами, где был проход в городской небольшой парк, называемый Вал за то, что возвышался над крутым откосом к Днепру, может и насыпным когда-то. Шёл – и не надыхивался жарким влажным радостным воздухом!

Вторая жизнь?... Могла начаться... Ольда – как новая галактика: с бесконечным

числом ещё не исследованных, ещё подлежащих открытию миров.

Нисколько не замедлился, а так и нёсся по аллее Вала, не рассчитывая его краткости, что сейчас оборвётся деревянным заплотом и откосом. Фонари тут были редкие, увеселительных заведений не было, хотя темнела сбоку эстрада – да ведь не сезон. По сторонам тут ещё больше было приволья для гуляющих пар, откровенно целовались – ещё паруся ликование Воротынцева.

Слушай шорохи ветвей – это буду я!

Так он быстро простегнул весь Вал насквозь – сперва по одной аллее, потом по другой, свернул вбок.

В свету фонаря увидел одинокую высокую фигуру генерала, шедшего навстречу. Генерал как раз вступал под свет, но печально-медленно, с опущенной головой, держа руки за спиной, – а Воротынцев был далеко, но очень быстро его выносило, и встретились они под самым фонарём.

Ещё издали что-то немного знакомое привиделось в этой узкой фигуре. Когда же, на подступе, Воротынцев с непринуждённостью чуть-чуть изменил свой свободный шаг к строевому и вскинулся, приобернувшись, а генерал тоже вытянул руку из-за спины и тоже приобернулся, – как раз под фонарём Воротынцев не мог не узнать:

– Добрый вечер, ваше превосходительство!

И – остановился, как же иначе?

И генерал остановился, ещё не узнавая.

– Добрый вечер, полковник... О-о, Воротынцев?...

Протянул руку. Вид и голос его были староватые, а пожатие – цепкое, крепкое.

– Да вы разве в Ставке опять?

– Я-а? Нисколько, Александр Дмитрич, – весело отвечал Воротынцев. – Дня на два, случайно. А вы?

– А я-а-а... – тоже протянул Нечволодов, но совсем иначе, безрадостно и слова подыскивая. – Закисаю тут в генеральском резерве. Второй месяц. Должности не найдут.

Так разогнан был Воротынцев, и так ему, счастливому, этот тон сейчас противоречил – тянуло его сорваться и нестись бы дальше, хотя ни к чему была вся его прогонка.

Нечволодов заметил его наклон:

– Вы торопитесь?

– Да... нет, – отрёкся Воротынцев. – Не тороплюсь. Гуляю просто.

– А тогда – не откажетесь, пройдёмте вместе?

– Да что ж. Пройдёмтесь.

И – повернул, потерял свой полёт, пошёл нечволодовским шагом, размеренным до похоронности.

Тут, на гравии Вала, сапогами, шинелью повернул, а нагретый воздушный шар его груди – и дальше понёсся, понёсся в шальном ветре, в темноте, куда попало.

## 68

Ногами повернул и шаг почти оборвал, но от счастья Ольду нести с собою походкой мчательной и вдруг отпустить её одну в жаркую темноту, а самому побрести с генералом в его, кажется, тяжёлом настроении, – не сразу очнулся. Отвечал и даже спрашивал, а ещё не с полным смыслом.

(Подхвати меня! Подними меня!)

Однако история Нечволодова стоила внимания. Месяц тому он был устранён от должности Брусиловым за крупные неприятности с Земгором, с которым Брусилов не хочет ссориться. Устранён – и, как генерал-майор, вызван в резерв Ставки за новым назначением. А тут уже немало накопилось отставленных генералов – и виновных, и ждущих прощения, и нового высокого назначения. И второй месяц Нечволодову дивизии не дают, бригады же теперь упрядняют, а полк ему брать обидно. И второй месяц дело его как будто потерялось

в дебрях Ставки, и стал он как бы никому не нужен. Идёт такая война, а он в русской армии как бы лишний.

Этого Брусилова, лису, Воротынцев и сам терпеть не мог. К тому же зная, что полководец он – никакой, всё дуто.

О Нечволодове же когда-то и прежде была у Воротынцева мысль, что они похожи своими молодостями: тем же выбросом способностей, тем же несмеренным ощущением своей силы, тем же порывом едва ли не самому, одному, всё улучшить в российской армии. Только угодил Нечволодов в худшую пору, когда и действительно остался один. Да разницы между ними было всего 12 лет, не поколение. Но – царствование. А ещё: взлетал Нечволодов ярче и быстрее и офицером стал моложе, и в Академию поступил на целых 20 лет раньше Воротынцева. Так что по товарищам, по памяти, по службе пролегло как бы и поколение.

(Когда кончится война, пойдём босиком по лугу...)

Лишь недалеко за пятьдесят Нечволодов, а выглядел под фонарём если не старым, то сильно измученным, щёки вваленные, сразу видные на его, редком среди офицеров, вовсе бритом лице. Вот уже можно было и присудить, что не удалось ему в жизни ничего. И холодило Воротынцева продолжить сравнение. Летом Четырнадцатого, начиная эту войну, Воротынцев ещё гордо был уверен, что блистательно приложится. За два же года войны надежда затмилась и покинула. А в минуты проблескивающие начинало опять вериться, что призван многое сделать: ведь не изранен, не ослаб, не состарился, и способности не притупились. Только душа упадает. (Может, из-за этого он и рвался найти себе применение шире, чем строевой офицер).

Нет, даже и сегодня не допускал Воротынцев поверить, что и он вот так же, к старости, окажется ненужный, неприменённый, так же будет бесславно угасать.

Медленно-траурно шли, и горько говорил генерал:

– Зато – полное раздолье левым. Чуть завозятся – им уступают. Открытая дорога всем, кто расшатывает власть. Когда Ганнибал угрожал Риму, властный римский сенат вышел навстречу плебею Варрону, уже виновнику позора и бедствий, – чтобы только укрепить военную власть. А наша Государственная Дума во время войны открыто призывает не подчиняться министрам – и воюющая армия читает поносные отчёты газет.

При их скорости, как они шли, от фонаря до фонаря надолго входили они в чёрный тоннель деревьев, и друг друга совсем не видели. А тоннель колебался над ними, деревья ахали, барахтались, хлестались и сыпали последними листьями.

(Слушай ветви, это буду я!)

– А на самом деле только торжество своей партии их заботит. Все эти кадеты не того боятся, что правительство проиграет войну, а наоборот – что выиграет, да без них. Оттого они так и добиваются кадетского министерства – именно сейчас. Они всё рассчитывали, что без них не выиграют. А теперь – снаряды есть, фронт крепок, обойдутся без них – и всё у них пропадает. После войны на чём им выскочить?

Побывал среди кадетов Воротынцев, а так не подумал. Не Шингарёв, конечно. Но – Милий Измаилович, отчего бы нет? Но – Павел Николаевич?

Жгли генерала неурядицы не своей застоявшейся судьбы:

– “Реакционная внутренняя политика”! А – какая сейчас политика? Победить, вот и вся политика. Дошло до того, что городские самоуправления – в оппозиции к высшей власти, где это видано? А печать? Вся – левая, вся – разрушительная. Поносит Церковь, поносит патриотов, только что прямо трона не называют, усвоили лаяться – “режим”. Любой прохожий журналист выражается от имени России. Обливают нас помоями, но нашего опровержения никогда не поместят, это их “свобода”. А если кто за правительство, тех – “рептильная” печать или “казённо-бутербродная”. А большой русской национальной газеты так и не сумели создать. И даже правительственной не догадались, наверно в одной России. А почему мы годами должны слушать только брань против правительства?

– Но видите, – с превосходством счастливого человека над несчастным, мягко уговаривал Воротынцев, – гласность быть должна. Называться – всё должно открыто,

злоупотребления – оглашаться всенародно. Чтобы проходимцы в закоулках трепетали.

– Так дорогой вы мой! Конечно! Да разве они огласят злоупотребления своих земгоров? или промышленников? или банков? или спекулянтов, которые продукты прячут? Этих – они всех покрывают, главные проходимцы у них и не трепещут. Они единственно поносят только власть.

Тоже верно.

– И народ узнаёт о жизни своей страны в освещении её злопыхателей. Слава Богу, большинство народа этой заразой не тронуто. Но просто газет не читает.

– Если б только большинство народа, Александр Дмитрич. Но и большинство офицеров тоже ни во что не вникает. Нам – чины, продвижения, ордена, темляки, традиции части, традиции училища, да как прошли парады, – а в общественных вопросах мы ведь невежды косные, круглые. Мы думаем – оно само, и без нас вот так будет держаться.

– Вот! вот! – оживился голос генерала.

– Впрочем, – развивал Воротынцев так, без цели, – большинство никогда ничего и не решает. Всегда меньшинство. Которое действует.

– Или которое кричит.

– Но всё же, Алексан Дмитрич, – в той же лёгкой манере умягчал Воротынцев, – свобода выражения мнений должна быть. И какая-то форма для неё, Дума, газеты...

– Да **чья** это свобода? – по голосу судя в темноте, остановился, ужаснулся Нечволодов. Остановился и Воротынцев. – Какая-нибудь “лига образования” кишит по Руси – сотнями, тысячами учителей. А какое у них образование? Для них в России ни святынь, ни исторических прав, ни национальных устоев. Они ненавидят всё русское, всё православное, всё уходящее вглубь веков. “Образование” их – революция. Только для смягчения называется “свободой”. Какая “свобода”? Из десяти наших соотечественников – восьмеро крестьян да один мещанин. И никого их эти *партии* не выражают. Ни – духовенства. Разве отчасти – дворян. Все эти партии только самих себя выражают, это банда. Они говорят “народоправство”, а это значит – их власть. И сколько бы вы парламентов ни открывали – засядут всё юристы, а сколько бы газет – всё журналисты. И все вместе будут дружно гавкать на Россию. А Россия – молчать. Страна состоит из мужиков, а Дума забита столичными адвокатами.

– Так что ж у нас тогда за избирательный закон, я не пойму. Ну, изменить избирательный закон.

– Ничего не поможет, всё равно юристы да журналисты пролезут. Парламент – это специально для них форма такая. А если они ещё “ответственного министерства” добьются, так совсем перебесятся. Да нельзя же отдавать Россию в бешеные руки! Неужели вы предполагаете, от нашей Думы можно дожидаться добра?! Чего они требуют? Министров, которые бы отчитывались только им, – то есть нарушить основные законы государства. Амнистии террористам и революционерам – то есть распустить на свободу врагов государства, чтоб могли заново приниматься. Да ещё: чтоб в обход Думы не установили ни малейшего закона. А они – любой закон в болтовне утопят.

– Н-ну... а... что же тогда? Какой же выход вы...?

– Да немедленно распустить! – скомандовал генерал.

Ну вот! Застеснялся Воротынцев.

А голос Нечволодова налился торжественностью:

– Роспуск Думы – единым манием царя!! Слушай, моя страна! Мы возвращаем себе Россию!

Вот эти повышенные чрезмерности, не подверженные улыбке и сомнению, всегда стесняли Воротынцева. Такие вещания проплывают над снованием сегодняшнего общества, а не могут его увлечь.

По смыслу – совсем бы тихо, но из-за ветра громче:

– Думу распустить – не будет ли хуже волнений?

Нечволодов из темноты положил руку точно на плечо Воротынцеву, не преминул:

– Соображение трусости. Как раз наоборот. Это первый верный шаг **выйти** из революции. Что за слабоумие – бороться с революцией уступками? Если власть составляет сделку с общественными болтунами – то она только ослабляется. Революция – **уже пришла**, неужели вы не видите? Она охватила нас уже который год. Она нас – уже кидает и разносит. Она – почти победила! А мы всё боимся её разбудить и вызвать. И не действуем.

Ого! Не только – грозит, но – уже пришла? Воротынцев же – никак революции не видел. Спорил и с Гучковым. И сегодня в устроенном кабинете, в душистом трубочном дыму, смеялся Свечин, что революцию: выдумали. Но сейчас тут, в продувной темноте, с наложенной на плечо крепкой рукой генерала, вдруг поразило совпадение Гучкова – и Нечволодова, с разных полюсов. И понеслось, понеслось всё безнадежное, чего он наслушался в этой поездке, – и вправду: не *подошла* ли?

Застоялись они. Нечволодов взял Воротынцева под локоть, при разнице ростов их – сверху вниз, и, так придерживая, повёл дальше по Валу. Жаркий большой ветер промётывался между деревьями, выворачивался на них, толкал, обнимал, обгонял, заворачивал и шумно мёл листвой по земле. На что-то твёрдое наступала нога иногда, вроде камешка или каштана, раздавливая.

Да ту же самую, воротынцевскую, тревогу о России, только совсем с другой стороны продувал Нечволодов:

– Неужели не видно вам, полковник, до чего доведена Россия? Не от войны мы в катастрофе! Не от потерь и не от дурного снабжения. Мы в катастрофе оттого, что уже завоёваны левым духом! Прежде всякой этой войны страна уже была расшатана языками и бомбами. Давно стало опасно мешать революции и безопасно ей помогать. Отрицатели всех русских начал, орда революционная, саранча из бездны! – ругательствуют, богохульствуют – и никто не смеет им возражать. Левая газета напечатает самую возмутительную статью, левый оратор произнесёт самую зажигательную речь, – но попробуйте указать на опасность этих выступлений – и весь левый лагерь вопит: “донос!”. И этого слова панически боятся все честные люди – и так проходят молча мимо любого подстрекательства. Патенты на честность раздают левые. Вся печать, вся профессура, вся интеллигенция, – все над властью насмежаются. И дворяне – туда же. И мы – тоже немеет перед левыми, русоненавистническими фразами, так они признаны естественно современными. И даже вымолвить слово в защиту православия – освищут, позор. Собирается пироговский съезд – кажется, врачи! – и о чём же они, идёт война, – о раненых? как лечить? Нет, всё о том: изменить государственный строй!

Из тёмной невидимости шёл к Воротынцеву неотклоняемый голос:

– Вся русская жизнь – в духовном капкане. Три клейма, три заразы подчинили нас всех: спорить с левыми – черносотенство, спорить с молодёжью – охранительство, спорить с евреями – антисемитизм. И так вынуждают не только без борьбы, но даже без спора, без возражений отдать Россию. И тогда восторжествует прогресс! Россией по внешности управляет ещё как будто Государь. А на самом деле давно уже – левая саранча.

Ну уж, хватил! Ещё пока левые не управляют. Но, конечно, царю – не надо быть ничтожеством. Вот и надо уметь управлять.

(Это, впрочем, – не вслух, как-то неловко обидеть монархическое почитание).

А Нечволодов – крепче за локоть, крепче шагом по Валу, в обезумную темноту, в непристойное ветряное кружение:

– Это – смертельная болезнь: помутнение национального духа. Если образованный класс восхищался бомбометателями и ликовал от поражений на Дальнем Востоке? Это уже были – не мы, нас подменили, какое-то наслание злого воздуха. Как будто в какой бездне кто-то взвился, ещё от нашего освобождения крестьян, – и закрутился, и спешит столкнуть Россию в пропасть. Появилась кучка пляшущих рожистых бесов – и взбаламутила всю Россию. Тут есть какой-то мировой процесс. Это – не просто политический поворот, это – космическое завихрение. Эта нечисть, может быть, только начинает с России, а наслана – на весь мир? Достоевскому довелось быть у первых лет этого наслания – и он сразу его понял,



нас предупредил. Но мы не вняли. А теперь – уже почву рвут у нас из-под ног. И у самых надёжных защитников падает сердце, падают руки.

Проходка, начатая из чистого сочувствия, сбив Воротынцеву настроенье любви, однако начинала сбивать его и больше. Наслание злого воздуха? Это – передавалось. Ещё с новой точки увиденная Россия, уж так дурно и крайне, как Воротынцев не видел. Но – тоже это касалось наших корней, треск вытаскивания которых он ощущал на фронте. Три недели назад он ехал в центры русской жизни – с цельным, как ему казалось, нерасщеплённым представлением. Но от каждой встречи он изменялся, сомневался, поворачивался, спотыкался. Только одно он усвоил: что всё – куда сложнее. А вот – как именно??...

Спотыкался. Но выводил:

– Однако, и столетия были у нас всё это предупредить. Не допустить, чтобы в каком-нибудь Ново-Животинном не хватало бы кислой капусты на зиму. Где же раньше были наши глаза? Сердце? И высочайшие пальцы, на всяком смелом проекте пишущие – “отказать”? Отчего же не на сто лет раньше “наслания” мы освободили крестьян? А уж освобождать – так надо было пощедрей, не держать в земельной тесноте. Из какой же низкой дворянской корысти, что удорожатся наёмные цены в поместьях, десятками лет не отпускать на вольное переселение в Сибирь, а уехавших возвращать силком? Свою же пустую Сибирь имея, не давать туда переселяться, это – как?...

Над чем ни задумайся – над всеми путями нависал убитый, остановленный Столыпин.

– Был человек, могуче вытаскивал Россию, – кто ж его и травил, прежде правых? Да не они ли его и убили? Он – умел двигать, так ему руки связывали.

Всем этим правым, как бы право они ни смотрели – не хватает крестьянского мироощущения, счастливо зачерпнутого Воротынцевым в Застружьи. Плавают – не на той глубине.

– Эта левая профессура – действительно, не крестьянам сочувственна. Но – какой же им дали разгон для фраз?

При медленном их шаге так же медленно подходили они под фонарь, так же медленно расставались со светом его, и доставало времени запечатлеть спутника, а потом в неосвещённости соединять с голосом образ его: шинель не франтовскую, но плотно схваченную по высокому твёрдому туловищу, фигуру удручённую, но не сгорбленную, и сильно исхудалое лицо, но из одних энергичных черт. И по хватке на локте и по боковым толканиям угадывалось тело мускулистое и ещё гибкое. А если было впечатление старости, то – от горечи речи.

– Да. Профессорам – России не жаль, революционерам – тем более. Но – мы?! – где же мы? Отчего же мы костенеем перед саранчой? Отчего ж в летаргии – мы? И все рассеяны. И все поодиночке.

В это “мы” он уверенно объединял себя с Воротынцевым – с несомненностью, откуда взятой? Для того, видимо, и весь разговор потёк, чтобы соединиться и действовать?

– Мы даже пера не можем найти в защиту, не то что меча. У нас и писать некому. Косноязычны.

А правда: почему и пера даже нет? Почему такие хилые правые газеты, и ещё друг с другом грызутся, и ни у кого высоты?

Говорят – *правые*. Да разве у нас есть какие-то “правые”? Ни такой партии, ни прочного строения. Ни ораторов. Ни вождей. Ни средств. Это и суть загадочного наслания: защитники все обессилены. (Или оглушены? Почему все – такие неумелые, неуклюжие, грубые, нетерпеливые, почему всегда обречены на провал?) Нет этой зоркости, что неизбежна борьба, что выиграть её можно только крепостью и чистотою духа. (И где ж ваше высокое лицо? И отчего само слово “правые” вы допустили сделать бранью?)

– А поведём себя так, чтобы не было стыдно. Вот я – несколько не стыжусь. Я где угодно вслух скажу, что горжусь быть причисленным к чёрной сотне. Если хотите, выражение происходит от чёрной сотни монахов, отстоявших от поляков Троице-Сергиеву лавру, – и так они спасли взбудораженную Россию. А в Пятом году называли “чёрной сотней”

те растерянные чёрные миллионы, которые вышли на защиту власти, когда она сама себя не могла защитить. Но сегодня – сегодня найдите мне хоть сотню! Хоть сотню, готовую к действию, где она есть?

Между тем по крайней аллее они подошли к тому месту, где Вал обрывался вниз к пешеходной тропе на набережную – а по ту сторону ущельица, сразу рядом, поднимался на таком же откосе губернаторский сад. Здесь, подле них, фонаря не было – а за забором в саду светимые электричеством окна во втором этаже царского дома мелькали, как будто качались, от резкого ветра в голых деревьях сада.

Там, в царском доме, тек вероятно беззаботный вечер, свободный от государственных размышлений, – долго обедали, или распивали поздний чай, или в карты играли, или рассказывали разные случаи военной жизни?

А тут, в ста сажнях, стоял непозванный, ненужный, забытый слуга престола. В слабых дальних отсветах не было достаточно видно его лицо, но можно было развидеть напряжёнными глазами рослую прямую фигуру, а при руке опущенной – пенёк или парковый столбик.

И похоже было, что Нечволодов опирается на меч.

Бездействующий. Не веленный к бою. Воткнутый в землю.

**Уже пришла!** – и охватила! И стоял против неё готовный рыцарь. Но – не звали его на помощь. Да и сам меч его был в землю врыт, и никакой руки не хватило бы вытащить его.

А если б и вытащить – так сгнил он остриём.

Там, в светящемся запертом доме, откуда любое решение через четверть часа было бы подхвачено телеграфными лентами, – мучились ли и там государственными размышлениями?

Но мучились ими здесь, на тёмном Валу, толкаемые тёплым ветром. От кого решений не ждали и помощи не спрашивали. За забором царского сада нашёл своё место неласкаемый генерал. (Да может, весь месяц каждый вечер он и ходил сюда стоять? – вот и сегодня привёл уверенно).

– Надо объединяться! Надо действовать! – чеканил Нечволодов, как бы не сомневаясь, что говорит с единомышленником или просто не в силах дольше один. – Надо восставить народ в национальную личность! И это – коренней и первой, чем наступление на внешнего врага.

Вот эта последняя мысль – замечательно совпадала! Прямо прилегала к тому, что Воротынцев эти недели нёс и не мог нигде никого убедить.

Написала ему Ольда: “ищи верных!”. Это так, надо же искать.

Нечволодов понимал так: в начале войны вступились как бы за Сербию. Но это развеялось, а оказались: против держав такого же образа правления, как мы, и в союзе с державами правления противоположного.

Что ж, за союзников – не Воротынцев заступится.

Сходное перед собой увидев, Воротынцев увидел однако и возражение: а Центральные державы боятся, что мы будем объединять славян, и потому вынуждены воевать против нас. Зачем мы о славянах так нерасчётливо кричали десятилетиями? И зачем мы это тянем непосильно и сегодня?

Но – и Нечволодов уже не о славянах. Он тоже: как бы только Россию вытащить:

– Надо создать освежённую новую правую силу. От источников нашей народной истории. И себя – как опору предложить ослабшей власти. Наступили решающие дни! Наше дружное мужество под твёрдой рукой может спасти Россию в последний момент. Выступить и отважно сказать – а это ещё трудней, чем выступить, – что Россия без монархии существовать не может, это – природа её.

Всего-то? Опять наводили Воротынцева на то же, и опять декламация, беззащитными боками о землю. Во всех монархических преувеличениях всегда поражало Воротынцева, как могут самостоятельные, стойкие и развитые люди так слепо-покорно относиться ко всем действиям непогрешимого царя? Сила их чувствования могла вызвать восхищение – но

программа действий?

– Под чьей же это твёрдой рукой? – не пощадил Воротынцев своего собеседника. – Если венценосец невиданно слаб – то под чьей? Если помутился национальный дух – то не на самом ли и верху? А возиться трону с Распутиным – это не помутнение? Разве может Государь так свободно распоряжаться своей частной жизнью? Где же ореол?

– Что Распутин! – возмутился Нечволодов. – Вся распутинская легенда раздута врагами монархии. Чем подорвать трон? На “проклятое самодержавие” мало откликаются. Но если государыня – любовница распутного мужика и ещё немецкая шпионка, – так это как раз то, что нужно. Распутин так прикинулся, что можно бороться против трона – и якобы за Россию.

– Но если твёрдой руки наверху – именно и нет? Если Государь всё направляет не туда или даёт разваливаться?

Первый раз нечволодовский голос, как можно было угадать через ветряные сносы, дрогнул. Но – не от колебания преданности, а от изумления, что вот и офицер высокого ранга, отважной службы, никак не могущий не быть верным слугою престола, – он...?

– Да, Государь наш бывает избыточно мягкосердечен. Но монархист не может считать себя слепым исполнителем государевой воли, – ибо тогда все ошибки и промахи власти окажутся – чьи? Монархист должен сказать: царь всегда прав, а я – отвечаю за всё, и если виноват, то – я. Государю нужны верные люди, а не холопы. Монархическая сила – выше монарха! Усумниться в одном монархе – значит усумниться во всякой монархии. Царь – воплощение народных надежд.

– Но – не этот, – жёстко отрезал Воротынцев.

– Да кто бы ни стоял на этом месте! – ужаснулся Нечволодов. – Царь и Россия – понятия нераздельные.

– Нет! Только – достойный своей страны. Можно укреплять, когда есть личность в центре. Но невозможно укреплять вокруг пустоты, которая и сама стыдится слишком верных сторонников. Вот так уродливо принято у нас, да судите по себе: что люди, верные престолу, мало что осмеяны обществом, но у самой власти в пренебрежении. Как будто совсем не нужны ей. Или она их стыдится.

– Об этом может Бог судить. А не дано человеку, – прогудел Нечволодов.

– Нет, отчего же, практический вопрос. Я бы даже сказал: стала власть сама до того неверна, что слишком честно служить ей – уже и опасно: предаст, ответно не защитит. Вероятно от этого и служат ей многие только вполкорпуса. Лишь бы казаться в строю. И так обвисает, обстоит трон – превосходительный сброд, без совести, без разума, с одними шкурными интересами, – и разве он собран не по манию царя? Мошенники, а не монархисты.

Первый раз Нечволодов не нашёлся. Молчал, ровный, лицом к царскому дому, держась за врытый сгнивший меч. Вот так. И Гучков – чтоб избежать революции. И Нечволодов в другую сторону – чтоб избежать революции.

Все думают врозь. Все тянут врозь. А Россия – ползёт по откосу.

– Как хотите, Алексан Дмитрич, но вокруг одного символа я объединяться не могу. Должна быть и голова достойная. И не должно быть тления возле неё.

– О-о-о! – гулкодохнул Нечволодов, – когда-нибудь, когда-нибудь мы оценим, что он – очень достоин! Его чистое сердце. Его любовь к русским святыням. Его простодушие небесное.

О да, простодушие – можно растрогаться. Посылать за ружья, за золото, или из одной имперской чести? – 60 тысяч русских душ на французский фронт?

Нет, Воротынцев не вступал в предлагаемое. Но всё ж: это дружное мужество под твёрдой рукой – что оно?

Пошли обратно по аллее. И Нечволодов, голову ниже, уже не колокольно, но заговорно – тайным заговором в пользу власти! – изложил существующий план. Не собственный свой, но выработанный в столице монархической группой Римского-Корсакова.

Простейшие самонапросные действия, всего только последовательные. Пересмотреть всех министров, начальников военных округов и генерал-губернаторов, не оставить ни одного случайного, равнодушного или труса, а только – преданных трону, смелых и решительных людей. От каждого принять клятву о готовности пасть в предстоящей борьбе. И на случай смерти каждый назначает достойного заместителя, подобного себе.

Усумнился Воротынцев: вот это самое трудное – найти в верхних слоях столько людей такого качества. Вот таких-то бескорыстных, жертвенных и отчаянных монархистов именно в том-то слое и не хватает.

– Ну, а если трёхсот верных и твёрдых людей в ведущем сословии не осталось – значит, трона не спасти, – мрачно согласился генерал.

Да вот он был уже здесь, один из трёхсот, губернатор или командующий военным округом, завидный воин, каждый вечер по Валу охраняющий царский дом избыточным часовым.

И полагал, что нашёл второго?...

Думу, как уже сказано, распустить манифестом – и бессрочно. В крупных городах ввести осадное положение. В Петербург возвратить часть гвардии, в Москву ввести кавалерийские части.

– Александр Дмитрич, вы должны отлично знать, что гвардию – перемололи. И не масоны, а Брусилов, Раух и Безобразов, лучший и старый друг Государя.

Заводы, работающие на оборону, перевести на военное положение и тем устранить стачки. Во все земгоровские и гучковские комитеты назначить правительственных комиссаров, поставить деятельность комитетов под государственный контроль и пресечь там революционную пропаганду.

Да как будто и не много. И вполне разумно.

И – быть готовыми к борьбе и к личной гибели, а не ждать государственной катастрофы, положась на милость Божию. Главное: не отступать. Не колебаться. Полумеры только напрягают озлобление. Не дать запугать себя к уступкам. Действовать осмотрительно, но и решительно, как у одра тяжёлого больного. И никакой революции не будет.

– Так ведь – уже пришла ?

– Отступит! Пришёл – кризис, но его можно решить в благополучную сторону. Только не закрывать глаза на край катастрофы!

А ветер измученный не утихал, так и кидался – то сверху, то из-под ног, то в грудь толкая, останавливая, то падая сам.

То ли уговаривал, то ли отговаривал.

Проекту нельзя было отказать в энергии, а в простоте – даже и крайней. И был он проще и ясней гучковского. И все требования естественны. (Только не спасал народ ни от войны, ни от союзников). Но зиял изъян, разъедающий весь замысел:

– **Кто** же будет этих губернаторов – проверять, переставлять, назначать? Брать клятву? Разве он – может?

Молчал Нечволодов.

– На такую решительность он не способен, вы же знаете. И чтобы к смерти готовить своих приближённых – надо быть в каком величии характера самому? В какой решимости?

Молчал Нечволодов.

Но Воротынцев добивался:

– И что ж Государь сказал на этот проект?

Ещё прошли.

– Проект передали Штюрмеру. А он... пока побоялся его подать в высочайшие руки.

– Побоялся?? Вот! вот! – оживился, как будто обрадовался Воротынцев – уж очень хорошо, уж очень плохо, проверка сходилась. – Во-от! Побоялся ведь – чего? Что самому придётся клятву смерти давать. Вот! Ничтожество на ничтожестве облепило трон – и как вы это расчистите? И – где ваши триста верных?

Нет, даже Гучков рассуждал реальной.

– Так – сами подайте кто-нибудь!

Генерал закинул голову, там, на своей высоте:

– Как это сделать? Глаза Государя застланы. И входы к нему закрыты.

Вот то-то. Стоял царский дом – рядом. И за каким-то из близких его светящихся окон невыразительный венценосец дослушивал скучные гусарские истории, раскладывал пасьянс?

А прочесть проект своих монархистов не было у него времени.

И даже вернейшим бесстрашным генералам своим не мог найти он места и дела.

Огорчил, сбил одинокого генерала одинокий полковник. Но и сам же, как в том начальном повороте на 180 градусов, от полёта к похоронному маршу, – сам потерял, терял, терял, неделю не первую, свой катапультный вылет из Кымполунга в Петербург. Во всех этих переречиях Воротынцев как бы совершил полный круг и вернулся почти в прежнюю точку. Да лицом – не назад ли?...

Невозможно укрепить трон, даже легши трупом на его ступеньках!

Но допустимо ли – раскачивать?...

Ну, вот приедет ещё Гурко. Посмотрим.

## 69

В этом году так засиделся Государь в Ставке – пять месяцев, не отрываясь даже в Царское Село, не пускали военные действия, что съездив туда вокруг годовщины смерти отца 20 октября – и отстояв ежегодную панихиду в Петропавловском соборе, – он ощутил тяготение теперь поехать повидаться с матерью, в Киев. И воротясь из Царского в Могилёв, даже не переселялся полностью в губернаторский дом, а повлёк его поезд дальше на юг.

Ах, Киев! Сохранялось что-то неизбываемо, неотъемлемо святое в этом городе: каждый раз при въезде в него – высокое строгое древнее чувство охватывало сердце. И первой надобностью казалось: поехать и поклониться в Софийский собор. В этот раз с Алексеем так и сделали – прямо с вокзала, лишь потом во дворец к Мама.

По этому времени года здесь можно было ждать разливистой золотой осени. Но нет, стоял туман, хотя тёплый. И в этой задумчивой безветренности, безглядности тихого дня – как-то особенно строго и ответственно стояли шпалеры военных школ и войск, выстроенные вдоль улиц проезжания. Ещё предстояло ему в тот же день после завтрака произвести во дворцовом дворе в офицеры выпускников школы прапорщиков, и на другой день ещё посетить четыре военных училища, и многими улицами ещё прокатиться среди народа с Мама и наследником, – но самое сильное впечатление произвели вот эти войсковые вереницы по киевским улицам под надвинутым задумчивым туманом.

Государь даже не понял сперва – почему. И проезжая мимо театра – не понял, не вспомнил, всё так переменялось во времени, в людях, другое. А вот когда понял: войдя в знакомые комнаты дворца, где прожили несколько таких счастливых сентябрьских дней 1911 года, – вдруг ярко вспомнил всё ликующее настроение того киевского торжества, при флагах, гирляндах, царских вензелях, оркестрах, и такие же улицы, застроенные рядами, рядами войск, и такие же разголосы “ура”, – но и в этих комнатах, воротясь вечером к Аликс, рассказывал о ранении в театре несчастного Столыпина. И ещё потом после Чернигова возвращался в эти комнаты, тут узнали и о смерти его.

И вдруг, сейчас, через пять осеней, так близко и сильно проступил Столыпин к царскому сердцу, как ни разу ещё от смерти. Нужно было пройти пустыню перемен и поисков министров, чтобы сегодня очнуться и поразиться: а ведь с тех пор не было сравнимого министра. И в эту войну, в это безлюдье руководства, какое бы решение был – Столыпин!

И за что Государь тогда был им недоволен? за что думал увольнять? Ничтожные причины, которых уже не вспомнить, задвинутые отрогами войны.

И так остались овеваны грустью оба дня, проведенных в Киеве, оба уютных вечера,

когда сидели втроём, с Мама помогали Бэби складывать составные картинки, а сестре Ольге давали разрешение венчаться со своим кирасиром.

А в дополнение к этой задумчивой поездке – на обратном пути встретили четыре воинских поезда, следующих из Риги на юг (войска на укрепление Румынского фронта). Видели в окнах множество молодых весёлых лиц, слышали пение, – так радостно! Не оскудевает Россия солдатской силой.

В Ставку вернулись в ужасающий дождь – но, впрочем, это считается хороший признак.

А позавчера получил от Аликс бумагу на передачу всего продовольственного дела Протопопову. (То-то ещё и в Киев была телеграмма от Григория, но как всегда такая трудноречивая, что Государь её не понял). И охотно подписал: он давно и сам считал так правильно. Он ещё и при отъезде из Царского так хотел – но Протопопов уклонялся. Теперь только помоги Бог! Трудных месяца два, а там всё наладится. Будем тверды.

Едва отправил с курьером – и тут же пришла от Аликс зашифрованная телеграмма, – исключительная редкость, они не пользовались: разрешить остановить, не объявлять решение о Протопопове.

Эта телеграмма сильно покорибила Государя. Она всего лишь возвращала дело в канушнее положение, не требовалось никакого нового решения, и Государю здесь, в Могилёве, не могли быть известны все острые петроградские перипетии. Однако – и слишком уж поворотливо, и слишком уж мгновенно. Можно было и накануне чуть лучше подумать.

Это навяло уже не первые сомнения о Протопопове: действительно ли он в полном равновесии или есть правда в том, что злословит Дума? – хотя сперва сам Родзянко предлагал его министром торговли-промышленности. Государю приятно было, что Протопопова он отличил своим глазом сам, непредвзято, с первой встречи тот ему понравился как бывший офицер конно-гвардейского полка. Нет, ему не навязали Протопопова, совет Аликс (и Григория) попал уже на готовую почву: Николай и сам всегда мечтал о таком министре внутренних дел, который будет хорошо работать с Думой. Такая надежда была с Хвостовым-племянником, но трагически провалилась. Однако Протопопов был – первейший избранник Думы, и глава её парламентской делегации, и его же хвалила и выдвигала вся печать союзников, – так что теперь, остервенясь против Протопопова, Дума только разоблачала сама себя.

Однако... Однако всё-таки в глубине и с досадой Государь понимал, что выбор Протопопова совершён – не им. Как и несчастный выбор Хвостова-племянника, которому он так сопротивлялся в своё время, да не сумел сопротивиться до конца. Как и выбор Шуваева, Волжина, как многие другие выборы, которые потом пришлось с трудом переменять. Сколько раз Николай говорил Аликс: я не могу менять свои мнения каждые два месяца, это просто невыносимо!

А с другой стороны: кто умеет эти выборы делать безошибочно? Разве не проклятия эти топливо, руда, транспорт, продовольствие? – вечная забота, а уже перестаёшь соображать, где правда, и голова кругом идёт ото всего, что наслышишься от разных министров. Ты никогда не бывал купцом, а цены растут, а надо думать о снабжении.

Зашевелилось, заточило в груди мучительно сейчас потому, что в эту киевскую поездку Мама говорила с ним строго: что нельзя до такой степени слушаться жену! Что всё общество – слишком накалено, и зачем делать только наперекор ему, зачем углублять конфликт?

Это правда, он очень слушался советов жены.

Но ведь и советы её в большинстве – поразительно верны! До чего она почти всегда права!

И – любил её за это. И – немного угнетался, что именно она всегда права, соображая раньше и решительнее его.

Её постоянная уверенность, однако, не могла же быть всегда безошибочной.

Оба чувства жили одновременно и прорастая друг друга. Уезжал в Ставку или

проводил её из Ставки – и испытывал муку от разлуки и одновременно – облегчение военного человека, что попадает в свободный мужской мир. Но и тотчас начинал в письмах снова приглашать её и ускорял сроки, чем ближе приезд – тем нетерпеливей ожидание её милого присутствия, и одобрения, и сладких ласк, – и волновался, и с её приездом действительно наступало спокойствие на душе, и хотелось гнать прочь все заботы и неприятности. Но она сама же приступала с ними, и вместе легко выносились решения. А потом – Николай ощущал неловкость, что все главные решения приняты, когда они вместе. И снова был порыв у него – определиться в военной мужской свободе и принять ещё какие-то другие решения, уже одному. (И так он назначил в прошлом году Самарина – а потом две недели лишних перебивал в Ставке, чтобы спал гнев жены). С новыми собеседниками или по новым докладам вскрывались новые стороны вещей, уже не в тех линиях, как видела Аликс. Но Государь принимал решение – а оно оказывалось потом неверно. И снова падала бодрость Николая, и он томился по новой встрече.

Существенной окраской многих советов Аликс было то, что они одобрены Григорием или им придуманы. В этом было и правильное – желание всегда слышать трезвый голос народа, человека из народа. И милое – мила и понятна была Николаю жажда Аликс не останавливаться на наглядной поверхности вещей, но проникать в их мистический смысл и узнавать действия тайных сил. Вероятно, только таким и должно быть познание человека. Но по страстности Аликс в этой жажде проявилась такая чрезмерность, которая ощущалась Николаем как стеснительность, уже неловкость. То Григорий пересылал Государю цветы с горячим приветом, то отдельный цветок, то вина со своих именин, выпить как лекарство, – и каждый раз требовала Аликс, чтоб Государь благодарил (а на Пасху – телеграфно поздравлял в Покровское). Сперва Григорий подарил ему образ святого Николая, но затем дарил и другие иконы и образки (которые надо было держать в руках в решительный момент), и даже икону для передачи Алексею (и ужасно неловко было вдруг передавать, но Аликс настаивала), а то ещё – гребешок, которым надо было причёсываться перед всяким трудным разговором и решением. Может быть, в таком гребешке и могла заключаться какая-то тайная сила. (Уж верней, чем когда-то в образе с колокольчиком, подаренным мсьё Филиппом, и будто бы колокольчик должен был зазвонить при каждом злом посетителе). Но больше: настаивала Аликс, чтоб и перед всякой поездкой, отъездом в Ставку Николай получал бы личное благословение от Григория, как от священного лица, и даже, при долгом отсутствии, – специально приезжал бы в Царское, чтоб обновить такое благословение: прикосновение к груди Григория утишило бы горести и даровало бы мудрость свыше. Этого Николай не ощущал и поверить не мог. “Ты всё же – человек !” – напоминала Аликс. И настояла, что в письмах писала о Григории “Он” с большой буквы и “Друг” с большой, иначе грех. Внушала: думай больше о Григории, перед всякой трудной минутой проси Его заступничества у Бога, мы должны прислушиваться к Его советам, они не легкомысленно высказываются, Бог Ему всё открывает, для чего-то Бог послал Его нам, Его молитвы нужны для Бэби, для нас, для царствования, для России. Аликс часто упрекала Николая, что он недостаточно обращает внимания на Его слова, уклоняется выполнять Его советы, она молилась, чтоб Государь лучше мог почувствовать: если б Его не было – всё могло бы случиться. Она очень настаивала, чтобы Государь пригласил Григория приехать в Ставку, – это должно было сразу дать решительный успех нашим войскам. В такое действие Николай тоже не верил, а из неловкости перед людским мнением и генеральско-офицерским составом никак пригласить Григория не мог, но не мог запретить его прямых телеграмм в Ставку – то на имя гостящей государыни, то Вырубовой, то Воейкова, то прямо “Ставка. Вручить старшему”.

В этих оригинальных телеграммах была смесь крутизны народного языка, загадочной святости, но и непрояснённого смысла. Был в этих фразах какой-то терпкий народный запах, как от ржаного хлеба или квашеных яблок, что-то было, а не всегда поймёшь: “Ваша победа и ваш корабль”. “Все страхи ничто время крепости воля человека должна быть камнем”. (Это – специально Государю в назидание). “Вы сказали моих никто не обидит а для чего это всё”.

“Люблю вас удержите моего даже на Гороховой”. “Что нам в пользу, то дайте как волки овец ой не нужно твердыня это Бог”. “Напиши всем, чтобы чаще беседовали всё-таки дай власть одному чтобы работал разумом”. (Это – о министрах, и правильно).

Чувство стеснительности было одним из самых развитых чувств Николая: он очень чётко ощущал всякую возникающую неловкость. Но и был всегда этой неловкостью так скован, что не умел прорвать. Он видел, что с Распутиным возникает какая-то заклиненность, и что иногда выглядит не вполне хорошо (а что-то – и вполне хорошо), – но уже нельзя выправиться. И деликатность и бережность к жене мешали высказать это ей вполне откровенно. Не то его смущало, что в понимании супруги главным авторитетом был сперва Григорий, затем она сама, лишь затем Государь, но то, что авторитет Григория непрерывно проявлялся в его велениях, а эти веления частенько заходили за край. Его молитвы, прозрения, угадывания, а то просто сны указывали вдруг на то, что надо немедленно наступать возле Риги, то – не подниматься на Карпаты, то – подняться до зимы, – и всегда это были вещие видения, потому что, писала Аликс, “Бог дал Ему больше проницательности и разума, чем всем военным, вместе взятым”. Григорий всегда знал лучше и нужные места наступлений (выговаривал, почему крупное зимнее наступление начали, не спросясь его), и нужные государственные назначения. То сочинял и передавал Государю 5 срочных важных государственных вопросов. То слал, в своих выражениях, проект телеграммы, которую нужно послать сербскому королю. То просил быть твёрже с министрами. То был против поездки Государя в Ставку, то упрекал, что он долго в отсутствии из Царского Села и надо приехать хоть на два дня для встречи. Как бы сердечный присматриватель, претендовал, почему в этот приезд царь мало с ним говорил, не сообщил, какие перемены готовит и о чём думает говорить с министрами. Как-то (ещё при жизни Столыпина) настаивал на открытом приёме у царя, чтобы подавить сплетни вокруг себя. (Но Государь никогда такого приёма ему не дал). А Аликс внушала, чтобы Государь принял за правило: кто против Друга – тот против царя. Она требовала, чтобы Государь не только внутренне уважал и любил Его – но давал бы и почувствовать министрам и государственным людям, что нисколько не брезгует Им и хочет, чтобы те тоже к Нему прислушивались. Всякие неисполнившиеся предсказания Григория о сроках (например о сроках конца войны) Аликс тут же забывала – и чтоб не причинять ей острой боли, Государь не решался напоминать. Неудачные рекомендации Григория, как с Хвостовым-племянником, объясняла она тем, что Хвостов был хорош, но изменился впоследствии, и за это Друг не может отвечать.

Ещё передавал или при встречах всучивал Григорий много чьих-то ходатайств, прошений – о льготах или снятии наказаний, и чаще всего – в обход законов, чего Государь делать не мог, и эти пачки просьб тяготили его. Ещё же более тяготили передаваемые через Аликс желания Григория то прислать новую икону точно ко дню наступления, то особо-истово молиться в день наступления – и поэтому заранее этот день знать. Такие просьбы – прямо от Аликс и настойчивые, доставляли Государю страдания. Как человек природно-военный он понимал всю невозможность сообщать кому-либо вперёд наши военные намерения, места и сроки. Но боялся своим скептицизмом разрушить душевное равновесие жены, к тому ж фантастично было предположить, чтобы малограмотный сибирский мужик и искренний доброжелатель царской четы как-то злоупотребил бы этими сведениями в пользу врага, – он несомненно хотел молиться (и молитва могла помочь!). И Николай, через скрепу, через неохоту иногда в письмах к Аликс давал такие сведения, то – дату, когда нарушится затишье, или будет около Пинска диверсия, или время ввода гвардии в дело, или решение отменить всякое наступление на севере, чтобы беречь силы, – но чаще всего сопровождал горячей просьбой к Аликс хранить это про себя, чтоб не знала ни одна душа, ни даже Друг. И всё равно ощущал неприятное щекотанье от утекшего секрета.

Вот это не покидающее Николая сомнение, неуверенность, что отношения установлены все правильно (и безвыходность изменить их), – и растревожила снова Мама своим последним разговором.



А вслед за тем как Государь вернулся в Ставку и перенёс это дѣрганье с протопоповским назначением – приехал уже давно просившийся на приём великий князь Николай Михайлович, двоюродный дядя царя. Во вторник, вчера вечером, Государь его принял.

Династия разрослась велика, немало в ней числилось и живых ещё дядей Государя, и двоюродных и троюродных братьев его, и, хотя по возрасту моложе многих, по положению своему и по ошибкам многих великих князей, Государь уже давно уверенно привык себя чувствовать отягчённым и ответственным главою династии.

И о самом Николае Михайловиче Государь не мог быть высокого мнения. Николай Михайлович отличался едва ли не дамской суетливостью и притом – кипливым честолюбием. Он делал порой шаги на государственной стезе, но неудачные, последний год прожужжал Государю уши, что надо создавать комиссию для выработки условий мира, которые Россия продиктует Германии (разделить ли только Австрию или Германию тоже?), – а сам он будет председатель этой комиссии. Не находя государственного исхода своим задаткам, дядя Николай с апломбом заявил себя историком незаурядным, чего Государь не находил: сам глубоко любя русскую историю и даже не имея лучшего предмета для чтения и размышления, Государь никак не черпал оттуда этой суеты и критики, как дядя Николай. А ещё Николай Михайлович ревновал к военной славе Николаши, своего двоюродного брата, и о нём наговаривал Государю дурное. В общем, Государь относился к Николаю Михайловичу скорее юмористически.

И ошибся. Визит 1 ноября оказался горький. Николай Михайлович, круглолысый, с посадистой головой, короткой шеей и чрезвычайной тщательностью линий усов и бороды, уже к обеду явился важный и хмурый, а когда уединились, – то очень напряжён, с подрагивающими руками. Он не дал установиться лёгкому родственному тону, но сразу стал декламировать возвышенно.

Уверен ли его племянник, что выполнит свою историческую задачу и доведёт войну до победного конца? Знает ли он об истинном положении в империи – и докладывают ли ему правду? И знает ли он, где кроется корень зла? Нет, его все обманывают.

По виду и тону значилось, что Николай-то Михайлович знает и истинное положение в империи, и всю правду, и корень зла.

Сразу оба занервничали и закурили – дядя папиросу, а Государь – через свой коленчатый пенково-янтарный мундштучок.

Сердце Государя сжалось тоскливым предчувствием: что Николай Михайлович сейчас ударит в ту же болевую точку, в которую уже нажала Мама. Да, так и случилось. И дядя даже сослался, что к этому разговору он вдохновлён и поддержан – Мама и двумя сестрами Государя. (И – сестрами? Они-то зачем?...) Он осмелился заговорить прямо о государыне и прямо о Распутине. По его мнению, они и были корнем зла. Корнем зла было то, что обществу стал известен прежде скрытый метод назначения министров, а именно – через Распутину. Чтобы стать русским министром – надо понравиться мужику Распутину.

Николай Михайлович так нервничал, что у него всё время гасла папироса. Он не успевал найти теряемые спички, как Государь приближался и услужливо подавал ему прикурить от зажигалки. По внешнему виду Государя не было заметно никакого движения чувства.

А чувство было – и очень сжато-больное, чувство уже наболевшего места. Даже отделяя все преувеличения, которые резко нагромождал Николай Михайлович, – нельзя было отделаться, что тут много правды, стеснительно-унизительно.

Но к чему был безукоризненно воспитан и привычен Государь, как к части своего царского ремесла, – это никогда не показывать своих чувств. И он сохранял обезоруживающую любезность.

Николай Михайлович использовал такие выражения как “систематические нащёптывания твоей любимой супруги”, “что исходит из её уст – есть результат ловкой подтасовки”, – но что изменилось бы к лучшему, если бы Государь стал ему возражать? –

бесполезно при его предубеждённости и непонимании всех тонкостей человеческих отношений. А властно оборвать? – и вовсе не служит убеждению старшего родственника. Да Николай и стеснялся бы проявить власть.

Итак, Государь всё выслушивал, не возражая, и подавал зажигалку в нужные минуты.

– Ты всегда сказывал, что тебя все кругом обманывают. А почему ты думаешь, что тебя не обманывает супруга, которую в свою очередь обманывают окружающие? Твои самостоятельные первые порывы и решения всегда замечательно верны, – скорее дипломатически льстил, чем так и думал Николай Михайлович. – Но как только появляются другие влияния – ты начинаешь колебаться, и решения уже не те. Если бы тебе удалось устранить это вторгательство тёмных сил – сразу бы началось возрождение России.

Вот в этом Государю позволительно было усумниться. Тёмных, противорусских сил он больше видел на стороне Думы и Союзов.

Но вслух не возразил. Да он и не умел вести дискуссий. Он хорошо умел разговаривать только с теми, с кем был согласен. А с остальными немел.

А под возрождением России Николай Михайлович оказывается и понимал: сделать министров ответственными перед Думой.

Не встречая возражений, он возвышал напорность тона. Странно выразился:

– Знай! Ты находишься накануне эры новых волнений! И, скажу больше: накануне эры новых покушений!

От кого-то он этого набрался? слышал? знал?

И, ещё более возбуждась:

– Здесь у тебя есть казаки, и много места в саду. Можешь приказать меня убить и закопать, никто не узнает. Но я должен был тебе это всё сказать.

Тирада была, видимо, у него приготовлена заранее – он её и произнёс торжественно. Но сам заметил, что в любезной обстановке она прозвучала неуместно. Ещё потянул несколько папиросу, вздохнул и, всё не слыша возражений, упрёкнул:

– Знаешь, ты великий шармёр. Ты напоминаешь мне Александра Первого.

Долго, долго, упрёчливо выговорясь и так и не дожидаясь ничего существенного в ответ, Николай Михайлович оставил заранее написанное письмо – всё о том же, но хотел вручить его непременно лично.

И только когда уже простились и проводил – по-настоящему стало расходиться и болеть в Государе.

Письмо – ему было даже гадко раскрыть и прочесть.

В ежедневном своём письме надо было писать об этом визите Аликс – но невыносимо, хотелось избежать.

Пришла пора спать – а сна не было. Всегда он крепко спад, но тут обещалась полубессонная ночь: на самом деле всё взбудоражилось и забилося внутри.

Ведь – и Мама была заодно, даже полномочила его говорить. И сестра Ольга (а ничего не сказала, прося о своём разводе и браке). И сестра Ксения с мужем Сандро, таким близким другом когда-то. И ещё можно было угадать, с кем в династии они выстраивались во враждебное полукольцо.

“Эра покушений”! И это говорит великий князь!...

Да, против Распутина приходило много обвинительных писем в Ставку – но анонимные, и это не укрепляло их авторов. В инсинуациях цеплялась и царская семья – но никто из благородных людей не может верить подобной клевете, она обернётся против своих распространителей. А когда-то Джунковский докладывал о ресторанной попойке Распутина – но если по этому принципу карать, то многие ли уцелеют среди знати?

Что ж, Распутин мог иметь пороки, как и всякий человек. Но он не претендовал ни на какой официальный пост, ни на какой доход (а все великие князья получали). Частное дело царской четы, она имеет право на личные привязанности, даже пусть слабости, и кому это мешает? почему все придают такое большое значение? Ни с чем не сравнимая, вулканическая ненависть к Григорию, всплывшая в высшем свете и в образованном

обществе, могла объясняться только их собственной злостью, силы этой ненависти нечем было объяснить иначе. Встречно – Государь не мог ни перед кем унизиться в оправданиях, как много этот человек значил для укрепления духа императрицы. Николай сам не слишком был уверен, насколько именно Григорий излечивал наследника, но Аликс верила страстно, и это поддерживало её. (Да вот не так давно: не велел Григорий брать наследника в поездку на Юго-Западный, а отец взял. На одной станции Алексей прислонился лицом к вагонному стеклу, а переводили стрелки – и от сотрясения началось кровотечение из носа. Пришлось возвращаться в Царское, и сразу же позвали Григория – а он ведь наказал, не приехал в тот вечер, только утром). Да ведь сама болезнь наследника никому не называлась, скрывалась тщательно – так что этой причины нельзя было и выставить.

А от бесед с Григорием Государь выносил твёрдое ощущение, что этот мужик кореннее смотрит на вещи, чем многие-многие государственные люди, царедворцы или великие князья. Это был бесхитростный правдивый представитель подлинного народа и знающий, что нужно народу. И очень бывало полезно и свежо прислушаться. Сколько раз он призывал остерегаться лишних потерь, не биться лбом – чего не понимали многие генералы, изукрашенные звёздами. И брусиловское наступление Григорий предлагал очень вовремя остановить, с тех пор действительно были только потери под Ковелем, а не продвижение. (Генералы у нас порой такие беспамятные, безразумные, даже идиоты, не научившиеся азбуке военного искусства, что Государь приходил в полное отчаяние, – но что с ними было поделать? Уж какие есть).

И очень возвышенно и даже красиво говорил Григорий на темы веры.

Но вот на днях неизбежно предстояла Государю ещё одна встреча с великим князем, на этот раз с Николашей: он непременно хотел приехать в Ставку – и невозможно было запретить такой приезд главнокомандующему Кавказским фронтом после 15-месячного отсутствия. (Аликс очень предупреждала против этого приезда, учила встретить холодно, твёрдо, не дать вырвать никакого обещанья). Они не виделись даже дольше: сменяя Николашу в Ставке, Государь заменил встречу письмом, что он прощает Николашу за все ошибки, жертвы, неудачи и несчастья на фронте – и что не изменились любовь и доверие Государя к нему. На самом деле на жгучем рубеже лета 1915 года чувства обоих прошли через большое напряжение и пламень; и тот рубец ещё и сегодня не мог сгладиться и у Николаши, как и у Государя.

И хотя решение Государя возглавить армию было собственным, внутренним, давно затаённым, но в колебаниях того августа, при всеобщем сопротивлении, его воля могла и сломиться. И сегодня стеснительно было вспомнить слишком большую роль Григория в поддержке (Аликс всё напоминала, что именно Григорий спас тогда Россию). И Николаша тоже хорошо всё помнит, и, один из ярейших ненавистников Григория, очень может припомнить при встрече.

Теснилось сердце. Так приезд следующего великого князя обещал второе такое же неприятное объяснение, когда ни ответить, ни выразить ничего нельзя. Из таких разговоров, приёмов, докладов, дел и состояла стеснённая, зажатая жизнь монарха. Как будто всевластный, не мог он выбрать ни – с кем говорить, ни – о чём.

Простор у него оставался очень малый. Снимать негодных генералов он тоже не мог – некем заменять и нельзя создавать хаоса. Направить военные действия вопреки мнению Алексева и главнокомандующих – он тоже не мог. И из Могилёва он не мог уезжать свободно, особенно при неудачах, как сейчас в Румынии. Как приятно не чувствовать себя привязанным к одному месту! – но Государь не был так волен. В самом Могилёве распорядок его был разгорожен общими со свитой и союзными представителями завтраками, обедами, чаями, а ещё чередой приёма приезжающих, а ещё – совсем тесным садиком, где недоставало прогулки его сильному, молодому, отменно здоровому телу. (Доктор Боткин недавно нашёл, что его здоровье ещё лучше, чем два года назад). И вынужденный жить постоянно в этой каменной городской клетке, Государь имел в Могилёве только одно настоящее утешение и раздолье, это – дневные прогулки: три времени года – автомобильные

за город, а там на просторе нахаживаться вволю пешком, во время же большой воды в Днепре – любимая гребля. Хотя скоро уже пятьдесят лет, но впервые в Могилёве минувшею весною Николай был поражён таким зрелищем: после трёхдневного тумана над речною поймой – величественным днепровским ледоходом. Это зрелище – на всю жизнь. А затем – как было удержаться от гребли против быстрого течения?... Спортивный задор! – Николай был первоклассный гребец. Собрали две двойки из моряков и всю весну гонялись! – а после гребли такая гибкость во всех членах. Затем – и на быстроходной моторной лодке. Старался больше быть на солнце, чтоб загореть и не походить на бледных штабных офицеров.

А сегодня стоял такой день: необычно тёплый, совсем не по ноябрю, безветренный, но и бессолнечный, даже тёмно-пасмурный, однако и дождь не накрапывал. Такая погода, очень мрачная, когда сидишь в городском помещении, – раскрывается за городом мягко-поэтично: почти всё уже осыпалось и от желтизны перешло в оловянное, а что-то ещё и держится на последних невидимых скрепах, до первого удара ветра. Всё поднебное, подтучное пространство полей, не слишком далеко видимое, выглядит как единый большой ласковый Божий дом. Тишина, безлюдье, все работы закончены, летние птицы тоже улетели, поля взрыхлены на зиму, – тепло и нежно прикоснуться к этой земле. Наткнулись на недокопанную картошку, отрыли даже без лопаты, развели костёр из сухого стебеля и пекли картошку. И костёр горел не большой, не ярый, тихая часть этого тихого дня. Хорошо сиделось вокруг и молчалось.

В такие минуты проклятую политику – совсем забывал Николай. Войны – не забыл, хорошо ощущал – и те далёкие отсюда окопы, вот в такой же земле, и неслышные сюда снарядные разрывы. Но Боже, как охотно он отдал бы и свой трон, если бы было кому, и Верховное Главнокомандование опять Николаше, – и стал бы простым солдатом одного из своих славных полков! – за право вот так сидеть у костра, обжигая пальцы зольною картошкой, ни над чем не измучиваться головой и грудью, но ждать на всё ясного приказа, а пока вести простые человеческие разговоры.

Николай не только не испытывал никакой сласти от власти и пышности, но любил жизнь тем больше, чем она проще обставлена и состоит.

Потянул ветерок, раздувая горячие золинки. Доели картошку, засыпали золу землёй, отряхнули руки и поехали в город.

По дороге ветер усиливался, к перемене. Такая задумчивая погода и не могла устоять.

Сын не ездил с отцом за город, потому что приболела нога. Но у него была сегодня своя забава: опробовалась прямая телефонная линия в Царское Село, и он пытался говорить с мамой. Ничего путём не вышло. Сам Государь ненавидел телефоны и предпочитал ими никогда не пользоваться.

А с ногой у Алексея было неважно: растяжение жилы и, как всегда у него от всякой неполадки, – сразу внутренняя опухоль, нарушение кровообращения. Доктор велел ему лечь. (А пять дней назад у него начиналось опасное кровотечение из носу, но к счастью удалось прижечь).

И тут же узнал Государь, что разбаливается генерал Алексеев. Государь пошёл его проведать – но Алексеева предупредили, и он успел из постели встать. Государь бранил его, требовал тотчас лечь при нём, старик упирался. Это было затянувшееся недолеченное заболевание почек, теперь и с сильным жаром, и уже ясно было, что Алексееву нельзя продолжать работать, а надо ехать лечиться, уже несколько дней стоял вопрос о замене – и Алексеев неожиданно предложил командующего гвардейской армией генерала Гурко. Да главнокомандующего фронтом и отрывать было нельзя.

Но с Алексеевым – жалко было Государю расставаться. За 15 месяцев он очень к нему привык, так ладно и без споров шли у них ежедневные доклады, и всё руководство. Привык и к его мирному виду как бы гимназического захудалого учителя, да пожалуй даже чуть ли не чеховского Беликова, к его козырьку, наплюснутому на очки, простоватым не холёным усам, ворчливому говорку. Никогда не бывало гневной вспышки меж ними, резкого несогласия, как-то всё убедительно Алексеев обосновывал, а привязанности ко всем

министрам, которых Государь постепенно выбирал, он и не мог требовать от начальника штаба. Правда, Алексеев непрерывно должен был иметь дело то с продовольствием, то с транспортом, то с металлом – и этим летом не выдержал, предложил создать пост “верховного министра государственной обороны”, который распоряжался бы всем тылом, как Ставка фронтом, и Ставке бы иметь дело с одним таким министром. И много дельного было в этом проекте – но во что тогда превращался совет министров? и четыре Особых Сопровождающих с общественностью? Это грозило новой ссорой с Думой, а зачем их зря дразнить? Так Государь помялся над проектом и отложил его. Но это не испортило его отношений с Алексеевым.

– Да лягте же, Михал Васильевич, вот так, в сапогах, иначе я не буду с вами разговаривать.

– Уже сижу, трудней подняться, Ваше Величество.

Кресло у Алексеева было потёртое, простенькое, жёсткое, но на сиденьи всегда лежала вязаная подстилка.

Отношения их могли испортить, в эти же последние месяцы, письма Гучкова к Алексееву. Даже не допуская, что Алексеев на них как-то отвечал (а может быть?), обидно было Государю само сокрытие таких гадких, лживых писем: ведь получив – не показал, а спрятал в ящик (уверял, что – и не получал). И уже в столицах письмо Гучкова ходило по рукам, пока наконец его смогла достать Аликс и переслать мужу, только так он и узнал.

Это положило обиду между ними. И всё-таки не испортило отношений. Государь любил этого старика-генерала. (Впрочем, и не старика, всего на 11 лет старше. Как раз завтра был день его рождения – и Государь помнил и приготовил подарок).

Огорчён был Государь и тем, что с болезнью и отъездом Алексеева ему самому тем более уже никак никуда не удастся поехать. Значит, пусть Аликс на будущей неделе приедет сюда.

Ещё поговорили немного, и Алексеев, читавший сегодняшние газеты, сказал, что Дума вчера при открытии дурно себя вела.

Он не сказал о подробностях, а Государю было даже противно спрашивать – и не менее противно идти брать в руки эти гадкие газеты и искать в строках милости или немилости Думы. Но он сразу рассеялся, расстроился, перестал улавливать тему их разговора. Ушёл.

Что же смотрит безобразный Родзянко, камергер, удостоенный орденами и почестями, – почему он не держит их в руках?

А ведь уговаривал Штюмер: вообще не созывать Думу этой осенью, продлить её перерыв ещё на год, или совсем распустить, а следующей осенью ей переизбираться.

Но Государь считал такую меру недопустимой и неблагородной. Он всё же надеялся, что у думцев хватит национального сознания – не разжигать грызни и помех сейчас, дать спокойно окончить войну.

Расстроился. И обеспокоился. И не читая всех их тамошних речей – он уже заранее их представлял. И теперь искал тревожно: как же против них устоять? Что делать с правительством? С этим составом – можно ли устоять? Или кого-то придётся уступить, чтоб успокоить Думу?

В самом правительстве не было дружности и взаимного доверия. Поодиночке, разными способами, в разное время подысканные министры не одобряли друг друга. Старый Трепов, Александр, с которым Государь разговаривал на днях в обратном поезде из Царского, – может быть мог бы стать новым премьером. Он был готов заменить Штюмера, но непременно снять и Протопопова. Да наверно и Бобринского. (С тех пор Николай ещё не виделся с Аликс и в письмах ей ещё ничего не написал, побаивался, он обдумывал пока в одиночку).

Как он надеялся в своё время на Штюмера! Он надеялся, что его назначение грянет как гром. Как строго показывал он всем министрам, что Штюмера надо уважать! И старик старался. И – честный, хороший, и неглупый старик. Но – кто может понравиться думской

банде? Кто может против неё устоять?

Может быть Трепов, он жёсткий человек. Но это вызовет гневный протест Аликс, даже страшно представить. Протопопова она ни за что не отдаст. (И Григорий...)

Протопопова и самому жаль уступить: с ним удивительно легко разговаривать и работать, нет в нём назойливой резкости слов и поступков (как бывало со Столыпным: каждый разговор – напряжение до муки), а Протопопов умеет оставить простор и догадке, случайности, вероятности, недоговору, – славный, лёгкий человек.

Да разве – эти уступки укрепят правительство и трон? А не покажут новую слабость?

Вереница министров, которыми он пожертвовал, пытаясь насытить Думу, протягивалась в его печальной памяти – и любимый Николай Маклаков, и умница Щегловитов, и честный Рухлов, и жизнерадостный Сухомлинов, – но даже своего военного министра – во время войны! – он разрешил отдать под суд! – всё равно как самого бы себя. (И до последнего дня не решался выпустить Сухомлинова на поруки).

И всё равно не угодил нисколько. И только жарче и разъярённее заседали. Так для чего и уступал?

И положение стало казаться ему таким же нагромождённо-безвыходным, как летом Пятнадцатого года.

Погружённый в это мрачное размышление и во всей Ставке не имея, с кем бы поделиться, Государь между тем со сдержанным лицом отбывал распорядок дня и кого-то принимал, – эти процедурные приёмы изводили его, отбирая всё время и внимание. А на поздний вечер оставались – бумаги, бумаги.

Между тем у Бэби нога опухла хуже, поворачивал с болью, и смотрел привычно-печальными большими отцовскими глазами, не по возрасту привыкнув к своей горькой судьбе.

Когда Алексею подошло время спать, Николай помолился, став близ его постели, а Алексей повторял лёжа.

Они спали на походных кроватях в общей маленькой комнате, увешанной образками и крестиками, – и всю ночь отцу были слышны, под вой ветра снаружи, стоны мальчика здесь.

От этих стонов отец готов был рыдать или бежать куда-нибудь.

Сильный толкающий ветер перешёл в ливень и как будто со снежинками.

## 70

Не поверить, как всё изменилось за ночь: тот вчерашний тепло-безумный ураган успел похолодать, вылить ливень, засыпать Могилёв снегом – и успокоиться к утру в пятиградусном морозце. Да столько снегу сразу навалило, что по Губернаторской площади пробивали люди тропки наискосок, а дворники ещё не справились. Кой-где промелькивали первые поспешные сани с бубенчиками, а и колёсные ещё торили свою колею, и автомобили недовольно фырчали, размётывая снежную пыль и заноса задом.

Но чем неожиданней, тем сильнее действовал на душу этот вывал зимы – обеляющий, очищающий, зовущий к какой-то новой строгости. Уже таким смятенным, да и растерянным, да и счастливым, как вчера, Воротынцеву не быть, не мог оставаться. Да и пора было ему очнуться от своей круговертной стыдной поездке. Ничего не решил, ничего не сделал, и никак иначе не очнуться, как возвращаться в полк.

Проснулся бодрый, сильный, и, при всей полноте Ольдой, – сразу вспомнил о Гурко: и времени нет оставаться дальше дожидаться – и как бы его увидеть, поговорить?

И если б не ждал, то не узнал, а так во дворе штабного собрания сразу выделил знакомую спину совсем невысокого генерала с решительным настаивающим шагом и несколько увеличенным размахом рук. Это был он! – всегда много дела, заботы серьёзные, расслабляться и мешкать не приходится.

Хотел на глаза ему тут же попасться – не сноровил. Пошёл к столу.

Всё, как Свечин предсказывал! Неужели ж?...

А в офицерской столовой гудела сенсация снова, уже не по телефону полученная, но лично кем-то привезенная из Петрограда: позавчера в Думе Милюков, *имея документы на руках, доказал предательство царицы* !! А уж Милюков зря не скажет! Учёный, историк, он-то знает цену доказательствам!

Передавали газеты. В них этого не было ничего, конечно, но зловеще и беспомощно зияли в колонках “белые места” – как прострельные раны в боках власти.

Гудела столовая, и самые законопослушные и самые равнодушные были потрясены. Если царица прямо передаёт немцам секреты Верховного Главнокомандования – то как же нам всем воевать?...

Некоторые злорадствовали. Царицу – не любили.

Вспоминали и Николая Николаевича, как он давно говорил: в монастырь её!

А Воротынцев вспомнил тёмные солдатские разговоры – всего лишь по слухам ползущим и искажённым беззащитным представлением. Что же взбаламутится теперь, когда дойдёт открыто, когда и офицер должен подтвердить, что в Думе, да, названо: царица – изменница? Офицеры могут съезжаться в штабы, советоваться, хвататься за шашки – а солдату со дна окопа не высунуться, не отойти, – и каково это всё ему? Да ведь он винтовку выронит. Да зачем же ему теперь под пулемёты?

Очень свободно, даже мятежно разговаривали. Знает ли Государь? Что он будет делать теперь? Ясно, что правительство будет меняться. Милюков должен быть очень уверен в своей позиции, если выступил с такой резкостью. Двор – должен сдаться. И наступят перемены!

А что делать – нам? Никто ни к чему не склонялся, ничего прямого не предлагал, а – рассуждали, рассуждали...

Воротынцев возвысил голос на несколько соседних столов:

– А – где измена? В чём? Кто из нас, господа, где видел **случаи** измены? Когда?

Никто не взялся ответить. Выслушали – и гудели, каждый себе.

Будь Воротынцев несколько не подготовлен к мыслям о перевороте – он сейчас бы мог закипеть первее всех. Но уже отдумавши о том несколько недель, отведав на зуб крепость ответных аргументов, он пребывал вне решительности или гораздо дальше от неё, чем отъезжая из Румынии.

Неподатливый сапёрный полковник слушал-слушал:

– Да суду его предать за такую речь, мерзавца! У нас – всё безнаказанно. Бабы сплетники, а не народные представители.

Один подполковник сказал, с видом будто знал: что Думу через несколько дней и разгонят. Что Штюмер уже едет в Ставку получить подпись Государя на разгон.

Также и тут никто не осведомился: откуда?... Наступило время такое: кто что слышал. И большей частью передавали верно.

Так же и у Воротынцева был свой тайный источник. Сразу после завтрака пошёл к Свечину:

– Так приехал Гурочка! Я видел сам!

– Поздно вечером, да. И ночью сидел у старика. – Свечин качал неровным булыжником головы. – Старик плох, температура высокая. Но и хуже новость: Живой Труп в Ставку приехал. Вчера же.

Воротынцева взяло гадливостью, как проглотил скользкое:

– Откуда?? Он же во Франции!

– Наверно в Петрограде был. С каким-то докладом придуманным. Как мадмуазелям ордена прикалывал.

– На Алексеева летит? На свободное место?! – взревел Воротынцев.

– Безусловно. Эти вороны чуют далеко.

– Нахальство какое! Бессовестность какая! – расходился по малому кабинету. – Жилинский! Сейчас? Во главу всей армии?! Но ведь это же – конец!! Тогда – жить нельзя!! Тогда – ни минуты терпеть нельзя! А ты говоришь! Вот и нужно меры принимать! Самим! А

то – так и будут назначать!

Сшибало надежды, обрезало по макушкам.

– Ну, не горячись. Репутация Жилинского всё же подмочена, не добавлять ещё к Штюмеру и к Распутину. Мы теперь к репутациям чувствительней стали. Да и Михал Васильич, я думаю, ни за что не допустит, заманеврирует. Скорее сам лечиться не поедет, тут и умрёт, за столом.

Пошли в другое здание, в дом дежурства, искать Гурко.

В одной из малозначительных комнат нашли. Он! – остроусый, остроглазый, с подвижной быстрой головой. Сидел за столом, однако не вовсе письменным, и не своим, и даже на проходе, как случайный гость. На нём были кавалерийские погоны и два георгиевских креста, на груди и на шее, а прочих всех знаков не носил, как и академических аксельбантов, лишней путаницы, хотя и генштабист уже четверть века. И ещё несколько старших офицеров, не отнесенных к этой комнате, собрались тут с ним – не по службе, а по симпатии. Не было папок, подшитых приказов, ни даже карт, всех обязательных принадлежностей штабной работы, а – случайная стопка чистых листов, на которых и писали, черкали и считали, кому придётся и с какой придётся стороны. Гурко, с первыми-первыми серебрянками на откиде густых прямых тёмных волос, взглянул, приподнялся, быстро приветливо пожал руку Свечину и Воротынцеву, нисколько им не удивясь, ни о чём не спрашивая, а своим голосиной звонким сдерживаемым – не по росту генерала и не по этой комнате, а в ином бы месте развернуть его в иерихонское трубенье, – продолжал увлечённый разговор с офицерами, тон которого вошедшие быстро поняли и приняли. Совершенно не касаясь, почему именно здесь, сегодня, и именно с генералом Гурко это обсуждается, тут взвешивали соображения и цифры по такой идее генерала: в короткое время зимнего затишья, за несколько месяцев, возможно ли (уже до их прихода было решено, что – возможно), и – какими лучшими приёмами, и используя какие резервы, перестроить все полки русской армии от Балтийского до Чёрного моря из четырёхбатальонного состава в трёхбатальонный – и притом не дав противнику почувствовать ослабления военных действий? Выгоды замысла были очевидны: трёхбатальонные полки с самого начала были у немцев; так избегалось лишнее наполнение окопов поражаемой пассивной живой силой. Так можно было выиграть 48 новых дивизий или освободить только из первой линии больше миллиона человек.

Любимая мысль Воротынцева! – армию сократить? Схватился он, приник!

Выгоды были очевидны, но решиться делать так в третью зиму многогроможденной войны мог только генерал отчаянный, покоя не ищущий, да возвышением своим не дорожа, от должности не тая, – и только через то могущий получить полную свободу рук, независимость от Государя и ото всех, кто толкунцом мошкары вокруг него обращается.

Но именно таков и был 52-летний младший сын знаменитого Иосифа Гурко, фельдмаршала последней турецкой войны, штурмовавшего горы. Признаком подлинного полководца в Василии Гурко было то, что он никогда не останавливал свою деятельность на исполнении приказов и на границах своих обязанностей, но из каждого боевого случая, но из опыта своих частей и своих боёв не упускал извлекать опыт всеобщий и предлагать его всем. Так, уже седьмым изданием выходила его брошюра-инструкция о ведении позиционной войны на русском фронте – и шла нарасхват. И вот теперь, ещё и не назначенный начальником штаба Верховного, и всего-то на несколько недель, он не видел другого смысла своего взлёта, как произвести перестройку всей армии на полном ходу! – и именно сейчас, немедленно, чтобы снизить потери сегодня, чтобы выиграть войну завтра, а не ожидать благосонных послевоенных канцелярий и комитетов.

Такой замысел не мог не захватить! Свечин побыл и должен был уйти, а Воротынцев уже через пять минут добыл себе табуретку, придвинул к тому же столу и на тех же листах, вместе со всеми, писал, считал, чертил и спорил, как будто для того и шёл, для того был зван. Курили, говорили, доказывали, никакого внимания не обращая на чины, будто одинаковы с полным генералом и его адъютантом-ротмистром. Примерялись строгие быстрые глаза



Гурко, сдержанный звонко-прерывистый голос называл, выбирал варианты, а Воротынцеву – жарко было, он просто пылал от счастья, давно-давно не прикасавшись к такой настоящей штабной работе!

Радость работы с талантливым человеком! Чем Гурко был замечателен: он поразительно быстро схватывал суть всякого дела, давал себя и переубедить, не упорствовал, – затем принимал ясное определённое решение, а уже в пределах задачи не вмешивался в мелочи.

Проблема быстро расширялась, не так легко её ограничить. Оставлять ли тогда дивизию из четырёх полков? А корпус из двух дивизий? Или единообразно всё по три? Упразднить до конца ненужные пехотные бригады? А артиллерию? Давно пора и батареи из шестиорудийных сделать по четыре: тоже простой стволов, тоже избыточный расход снарядов. Но осилить ли две переформировки сразу? И на пехотную дивизию нельзя оставить ослабленную до 24 пушек артиллерийскую бригаду. А удвоить число бригад? – надо пушки просить у союзников, не дадут. А бинокли, стереотрубы, буссоли, телефоны?...

Всю жизнь Воротынцев влёкся к решительным людям и отвращался от мямль. Решительнее же Гурко нельзя было даже вообразить. По его худому подвижному занятому лицу, по его оценкам в полслова можно было оценить и его самого. И как свободен от изумления, потупленности, потерянности перед внезапным резким расширением обязанностей, как естественно прирастает к новому назначению, ещё даже не назначенный! – как растение молча и просто растёт, не умея не расти. Только бы не удались козни Жилинского, только бы не передумал вечно переклончивый неверный Государь! Вот наконец своевременный человек, приходящий на своё прирождённое место! С такой быстротой и дерзостью ему подействовать бы год. Как ни уменьшились возможности полководца, а необходимость в нём не уменьшилась. Этому генералу год посидеть в Ставке – и русская армия победоносно кончит всемирную войну. Отсюда кажется, да: не проиграли мы ничего! Прав Свечин.

И что, в самом деле, дал так опуститься своим рукам?

Сам из того же материала, Воротынцев несоревновательно оценивал генерала Гурко через потресканный крашенный неписменный стол бывшего окружного суда, оценивал – только с желанием въединиться в деятельный хвост его кометы.

Идя сюда, Воротынцев ещё удерживал затаённый смысл, даже построил вход: в Петрограде он встретился с Гучковым, вспоминали всех, и Гучков с особенным расположением и вниманием расспрашивал о Гурко. (И то не ложь, то – угаданная правда: говорили о кандидатах на алексеевское место, а если б Свечин уже в тот день мог назвать Гурко – разве меньше заволновался, заходил бы по кабинету Гучков? разве не в ту же связь поставил бы он назначение? не с теми же мыслями искал бы увидеться? Придумать так – даже долг перед Гучковым, неразгруженная обязанность перед ним). Выразить это со значением – и вглядываться, высматривать в генерале встречную склонность?...

А сейчас тут показалось: зачем? Так сразу захватили расчёты по перестройке дивизии, что тот гучковский задний план, тускневший, тускневший с тех пор, вот сам опрокинулся и окончательно погас. Реальная работа лежала на столе. Она – вмиг возвращала вечно-деятельное состояние с вечно-бодрым настроением. И конечно так же, десятикратно так же, должен был чувствовать Гурко. Даже заикнуться ему о том было бы стыдно, неловко, невозможно. Служить надо, лямку тянуть, а не под ногами мешаться.

Сжатый, решительный рот генерала, природное естественное состояние суровости грозно исключали даже касание раз навсегда данной присяги.

После Свечина ушёл ещё один офицер, потом другой, а ещё один пришёл, – Воротынцев же как сел, так и не уходил: весь день у него был свободен и ничего лучшего он себе не желал.

Всю реорганизацию они додумали, и на многих листах расписали по родам работ, по принадлежности исполнения, по числам, составам. Можно было и подробней, и дальше, но затрагивался, подымался уже миллионный счёт: где людская неисчерпаемость России? Куда

провалились наши миллионы? Полевой интендант кормит на фронте 6 миллионов, а бойцов насчитываем только 2. Значит, 4 миллиона обслуживают, а не воюют? Как это вычерпать? Или: тыл считает, что дал армии 14 миллионов, во всех видах потерь убыло 6. Так должно остаться 8, а их 6. Где же 2?

Потом – с кавалерийским генералом! – о судьбе кавалерии, всё меньше нужной на войне, всё больше сглатывающей зерна, когда нет его, и самих лошадей миллионы, пригодились бы в тылу. И об армейском провианте: круп, сахара и мяса – ещё вдосталь, а муку плохо везут.

Наконец, и о Румынии, – румынские заботы совсем не чужды оказались Гурко, даже очень давили на него, да его Особая армия (называлась так гвардейская, чтобы не быть 13-й) стояла ведь на Юго-Западном. Проблемы румынские он отлично понимал: при перемешанных по фронту русских и нестойких румынских частях – как держать фронт? Сколько можно ещё удержать? Очень понимал Гурко эту беду и проклятье, свалившиеся на нас: союз с доблестной Румынией.

Подходило время царского обеда – Гурко по какой-то ошибке не оказался приглашён к императорскому столу. И Воротынецв испугался: неужели это интриги Жилинского? неужели оттеснил уже?

Но не хотелось верить. Нет, наверно просто кто-то не знал, не распорядился.

А вообще – ох, наберётся с ним император хлопот! Его не пригнёшь, не изогнёшь и приглашением к высочайшему столу не посахаришь, – а всегда услышит Государь правду-матку. И каждый свой временный день этот неслух будет вести себя как назначенный пожизненно. Ещё от его голоса заложит уши его величеству. Однако – назначайте, назначайте же скорей!

Ротмистр пока добыл в двух тарелках чего-то сухомятного, и они, вчетвером, жевали между делом. И теперь уже не подразумеваемо, а открыто поминая своё возможное назначение, Гурко пожалел, что придётся работать всё с новыми, а в каждом месте за этот год, что его стремительно протягивали через корпус, Пятую армию, Северный фронт, Особую армию, – везде он находил и привлекал неоценимых офицеров, и многие просились за ним при каждом переходе, и многих он охотно перетянул бы сюда, того же генерала Миллера из Пятой, а – нельзя, неприлично, суетно.

И тем самым Воротынецв понял, что сюда, в Ставку, его не зовут, что вот этим увлечённым счастливым днём всё и кончится.

А впрочем, тут же это повернулось и с разумной необходимостью: теперь, уже зная весь смысл и приёмы реорганизации, Воротынецву и надо оставаться именно у себя, там, на краю, и там работать по этой программе, только уже в штабе своей Девятой, которую будут скоро увеличивать из-за негодности румын, слать туда корпуса. Гурко пришлёт распоряжение, как только заступит.

Если заступит.

Ну что ж, как часть единой реформы освещался и дальний румынский угол...

**Этот** – будет жалеть русскую кровь.

Да Воротынецв и не собирался в Ставку, это Свечин сбивал, уговаривал.

Ещё недавно ему казалось, что до конца войны он так и не уйдёт с позиций, и не хочет даже. А от этой поездки – расслабел, и теперь вдруг обрадовался льготе. Правда: переустал он от полка.

Уж когда выходили вместе, Гурко надевал свою шинель на общеофицерской серой, а не генеральской красной подкладке, Воротынецв, повинувшись всё-таки не отданному долгу, петроградской своей вине перед Гучковым, неожиданно высказал версию о встрече с ним и привете, – и всё-таки посмотрел, посмотрел на строгого генерала, испытывая в **том** смысле.

Но Гурко – не выразил большого тепла, даже почти никакого. Поджал губу под усами.

– Александр Иваныч... Александр Иваныч... Очень смел... Очень настойчив. При всех своих, – что-то качкое показал кистью, – убеждениях. Но... Из-за того, что много ездил волонтером и просто по фронтам, сильно преувеличил своё понимание войны и армейских

проблем. Масса знакомых у него в армии, не всегда лучшие, вроде этого фельетониста Новицкого. Все ему что-то рассказывают, обо всём наслышано... И вот он...

И подумал Воротынцев: а для Гурко на его новом посту Гучков – разве не груз? Можно не дорожить должностью, можно дерзить царю – но по делу, но для дела, а Гучков если уж на Алексеева тенью пал, так на Гурко – тем более, сколько связано в прошлом. Приедь сейчас Гучков в Ставку – как станет выглядеть всё это назначение, вся эта подстанвка со стороны Алексеева?

И Воротынцев не щеками, но внутренне покраснел: и что за вздор, правда? И до каких пор носиться с этим отозревшим младотуречеством?

А какая-то вмятинка от Гучкова – всё же на совести осталась.  
Крымова – повидать? не повидать?

## 71

(Государственная Дума, 3 и 4 ноября)

Думские первоноябрьские речи вышли в газетах с белыми местами, с пропусками даже у Левашова и Балашова. Пошли по рукам апокрифические, несхожие тексты, и ловкачи продавали их по несколько рублей. Истинного текста милюковской речи даже правительство не могло получить от Думы, зато по стране распространялся именно он, и даже с добавлениями. Всё общество говорило, что Думу надо беречь. (Бурцев, искатель и дегустатор тайн, затем обратился к Милюкову: откуда он взял свои факты, больше похожие на неправду. Ответил ему Милюков, что взял их из *Neue Freie Presse*; что, может быть, они нуждались ещё в проверке, но он должен был употребить их раньше социалистов).

А Родзянко, отлучаясь с председательского места, предвидел правильно: ночью на 2 ноября он получил записку от Штюрмера – тот ждёт решений Председателя Думы об оскорблении царской фамилии в заседании; и тут же – письмо от министра Двора: напоминает, что Родзянко – камергер, и просит уведомить, какие шаги... Какие ж... Изъять это место из стенограммы. И – пожертвовать Варун-Секретом, хотя и жаль Варуна. И тут же оправдаться перед обществом: дать заявление в газеты, что пропуски в речах – не по его вине, он передаёт в бюро печати все речи полностью. Родзянко нисколько не интриган, напротив – он очень склонен к прямоте. Но сознавая себя живою Думой на двух ногах, он вынужден, для России, оберегать себя от риска. Когда в 3-й Думе Гучков готовил запрос о Распутине, Родзянко, уже тогда Председатель, тайно предупредил царя. Теперь – не шёл предупреждать, а побережся – надо было.

И вот, благодаря своему предвидению и осторожности, “самый большой и толстый человек России” (по выражению Государя), Самовар, Барабан (по думской кличке), сегодня опять уверенно всходит на председательскую башню. Зал успокаивается. Правительство, как завелось, отсутствует, не ищет столкновения, это не столыпинские времена. В ложе министров сидят только помощники их. Хоры публики переполнены гуще позавчерашнего, говорят – даже Шаляпин тут. Ждут нового скандала, особенно набитая ложа прессы.

Всё же – открыть заседание предстоит повинному, оплошному Варуну. Почитали разные скучные бумаги о принятых законопроектах, перечли нерадивых членов Думы, пропускавших заседания, а дальше – не отвертеться, не оттянуть:

Варун-Секрет: Господа члены Государственной Думы! В заседании 1 ноября депутат Милюков допустил цитату из немецких газет, касающуюся лиц, упоминание которых здесь не принято, а суждение недопустимо. Не владея немецким, я не применил цензуру председателя, предусмотренную наказом. Теперь эта часть стенограммы устранена, тем не менее не могу не признать себя виновным в упущении

и приношу Думе своё извинение. Считаю своим долгом сложить полномочия Товарища Председателя.

**Керенский (с места): Ходить в Каноссу унижительно!**

**(Какой вкус, какая точность сравнения!)**

Невредимый, полнотелый Родзянко, купаясь в общей любви и радости Думы, заступает председательствовать, сдерживая свой колокольный бас.

Прения – о чём? Не уйти ли правительству? Хорошо ли оно? Такого вопроса не может быть в повестке дня. Прения – по сообщению бюджетной комиссии.

Тонкий, остренький, пикоусый, не без франтовства, но милого, благовоспитанный, обдуманый (как сплёл думский стихотворец Пуришкевич:

Твой голос тих и вид твой робок,  
Но чёрт сидит в тебе, Шульгин),

когда-то очень правый, а вот уже “прогрессивный националист”, – выходит, волнуясь, понимая особенность дня, и чувствуя это напряжённое, театральное внимание публики, ещё и сегодня ждущее взрывов, –

Шульгин: Не с лёгким чувством я начинаю сегодня свою беседу с вами. Я не принадлежу к тем рядам, для кого борьба с властью есть дело привычное, давнишнее. Наоборот, в нашем мировоззрении даже дурная власть лучше безвластия. Особенно осторожно надо относиться к власти во время войны. Поэтому мы терпели бы до последнего предела...

Однако, ораторы раскачивают ораторов, дух соревнования разожжён, и почти непереносимо смолчать человеку, чьи чувства очень склонны к романтике.

И если мы сейчас поднимаем против этой власти знамя борьбы, то потому, что действительно мы дошли до предела, дальше переносить невозможно. ( Слева: “Браво!”) Люди, которые бестрепетно смотрели в глаза Гинденбургу, затрепетали перед Штюмером? ( Смех, рукоплескания, кроме крайних правых). В этих условиях молчать – было бы самым опасным. О, если бы эта власть шла туда же, куда и мы, хотя бы по-русски, то есть кое-как! – мы бы старались объяснить населению, что она добредёт до желанного конца. Но осталось у нас одно средство: бороться с этой властью, пока она не уйдёт! ( Слева: “Браво!” Рукоплещет весь зал, кроме крайних правых).

Это даже сильнее и страшнее выглядит, чем Милюков, потому что выступает известный монархист. Если уж так сдвинулось – больше нет терпенья, и что-то произойдёт! – сейчас в зале или вообще что-то. Электричество в публике. (“Яркий нервующий свет... ах, эти речи... страшно говорить... слушает вся Россия...”)

И такая борьба – единственный способ предотвратить, чего больше всего следует бояться, – анархию и безвластие. Тогда и офицеры на фронте более уверенно поведут свои роты в атаку, ибо будут знать, что Государственная Дума борется со зловещей тенью. И уполномоченный и земство увереннее закупают и повезут хлеб, зная, что он не просыплется в щель между министерством земледелия и министерством внутренних дел. И рабочие, в руках которых наполовину судьба России, будут усерднее стоять у своих станков. И даже когда в их мастерские будут врываться банды: “Забастуйте для борьбы с правительством!”, рабочие ответят: “Прочь, провокаторы! С правительством борется за Россию Государственная Дума, а если будем бороться мы забастовками, то это будет борьба за Германию”. ( Рукоплескания). Господа, а как же можем мы бороться? Только одним пока: говорить правду, как она есть!

Здесь были произнесены тяжкие обвинения. Но ужас не в них, а – как их встретили. Ужас в том, что председатель совета министров не придёт сюда дать объяснения, опровергнуть обвинения,

что правительство даже не находит силы защищаться, даже не приходит в зал,

когда его обвиняют в измене.

(А почему, правда? Почему Штюрмер не пришёл оправдаться? Та заклятая степень отчуждённости, когда уже и разговаривать лицом к лицу упущено, – и тем резче думские речи.

Штюрмер: Если бы я был там, я бы сказал, что никаких взяток не брал, не делил. Но, к сожалению, я не мог этого сделать. Озлобление было настолько сильное, что я не мог и думать выходить на кафедру, не подвергаясь нежелательным выходкам.

Та степень отчуждённости, когда “подавитель” ещё больше перепуган, чем “давимый”, когда власть крадётся по задворкам. Ни в измене, ни во взятках не виновный, ничего от Манасевича не бравший, Штюрмер только и осмелился попытаться подать на Милюкова в суд).

А вместо этого устраивает судебную клязу с депутатом Милюковым. Господа! Штюрмер – это продовольственная разруха, безнаказанность Сухомлинова, и боимся, что это – только заглавие к той сатанинской грамоте, в которой изложится программа позора и гибели России! (Продолжительные бурные рукоплескания всего зала, кроме крайних правых. “Браво!”)

(В эмиграции, в 1924, вспомнит Шульгин:

Мы были слишком талантливы в наших словесных упражнениях. Нам слишком верили, что правительство никуда не годно).

В Думе – четыреста сорок депутатов, но иные из них все четыре года так и промалчивают: сидят крестьяне, протоиереи, земские врачи, казаки, профессора и предводители дворянства, усы да бороды поглаживают, только слушают. Зато по понятному всем церемониалу лидеры фракции и отколовшихся групп – так и идут, идут через трибуну, повторной чередой.

Вот – буйный раскольник Блока, лидер прогрессистов, почётный мировой судья и попечитель гимназий, взъерошенный дончак

Ефремов: Пагубность существующей политической системы, бездарность и бессилие носителей власти... Правительство, которому страна не верит... Быть может, за всё время своего исторического существования власть никогда не представляла собой картину такого ужасающего развала, такого беспросветного убожества, полного непонимания национальных задач.

(Он говорит честно, уверенно, он так видит. Но пройдёт полвека – и так же уверенно не увидит исследователь ни ужасающего развала, ни полного непонимания: современники были в самогипнозе).

В такое критическое время знать, молчать, бездействовать в невежестве и всё же оставаться у власти есть преступное забвение долга перед родиной, *границающее с предательством*! Слухи о возможности сепаратного мира грозят изолировать Россию в семье культурных народов. Самая мысль о сепаратном мире есть уже измена России. Кто дерзнёт стремиться к его заключению, навлечёт на себя народную месть как предатель отечества!

(Поживём – проверим).

Народ должен глубоко задуматься. Закулисные интриги, тайные влияния проходимцев, старцев, сомнительных дельцов, явных и тайных друзей Германии. (Рукоплескания в центре и слева). Невозможно ограничиться сменой лиц,

на чём и разошлись с Блоком, -

необходимо коренное изменение *всей нашей политической системы*! Правительство, ответственное перед Думой! Снять путы с русского народа! (Рукоплескания).

Дальше – круче, оратор раскачивает оратора, это – качели, и они взлетают даже повыше, чем хотел лидер большинства, чем хочет монументальный Председатель, опять встревоженный. Вот вымётывается на трибуну – в черкеске с газырями, в погонах подьесаула (ах, оселедец первых дней войны! – сострижен, сросся с волосами),

только что с фронта (а ещё более – показать, что с фронта), терский лихой и левый казак, сполошный, бестолковый, отчасти и любимый думский шут

Караулов: Господа Государственная Дума! В бурных волнах горячих речей прошлого заседания потонул исходный факт: неявка министров в заседание бюджетной комиссии. Комиссия заключила, что продовольственная разруха грозит свести на нет всю пролитую на фронте кровь, Штюрмер же ответил, что не находит возможным явиться в бюджетную комиссию. Мы должны неотложно установить ответственность министров перед Думой. Настоящее правительство при его безответственности не только никогда не создаст великой России, но погубит и существующую. Но я не предполагал, что угроза гибели так близка. Мы должны вмешаться и разбить роковую цепь событий!

Вполне как скачка на коне, как сабельная рубка: дух захватывает, земли не чуешь – несёт! несёт! – и машет сама рука.

Во вторник было брошено с этой трибуны ужасное обвинение правительству, – а что вы делали в среду? В тех же Особых Совещаниях с представителями того же правительства обсуждали те же вопросы, что и до вторника, Я хочу обратить ваш негодующий взор в неожиданную для вас сторону. Если Вильгельм имеет союзников среди нашего правительства, то и правительство имеет своих союзников – внутри нас: это – наше бездействие, безволие, нерешительность. Правительство сильно исключительно нашей слабостью! Не из нашей ли среды раздался год назад лозунг: “не перепрыгать лошадей при переправе через реку”?

Лихой терец готов и в горной реке их перепрычь.

Не из нашей ли среды вышел эффектный, но ложный аргумент о преступном шофёре, направляющем в пропасть мотор, где сидит наша родина-мать?

Отличник Маклаков даёт себе мало труда улыбнуться, снисходительно к напористому казаку.

Не нами ли проведен нелепейший мясопустный закон, когда все вопросы о свободах лежат в забвении? Господа, неужели вы не видите, что нынешнее правительство – призрак, тень скользкая, что в нашей робости источник его храбрости, и оно тем крепче, чем больше мы упускаем времени? Правительство вполне уверено, что вы дальше горьких слов не пойдёте, а на деле ни в чём ему не откажете. Всё ваше негодование – только истерические вопли, вы отдали управление государственной колесницей, перелезли с облучка в кузов и просыпаетесь только от толчков на ухабах. А страна ждёт от нас дела, дела и дела! Что же нам делать, спросите вы? ( Слева: “Поучите!” Справа смех.) Сейчас научим. Я всегда утверждал, что при спокойном рассудительном отношении не бывает безвыходного положения; я всегда утверждал, что из всякого положения может быть найдено по крайней мере три выхода. ( Смех). А из нынешнего я вижу даже четыре. (“Ого!” Смех). Я не говорю уже о пятом и шестом, которые сами собой напрашиваются: или нас разогнать или Штюрмера уволить. *Первый* выход: раз для нас стало ясно, что правительство ведёт государство к позорной гибели, то просить нашего Председателя испросить у Его Величества аудиенцию и представить на благовоззрение... Скажут: неконституционно! Дело ваше, господа. *Второй* выход вполне конституционный: прекратить всякие отношения с правительством! Объявить бойкот министрам, не приглашать их в Думу.

Родзянко: Член Государственной Думы Караулов, не приглашать министров нельзя, это их право.

Караулов: Их право являться, но не наша обязанность приглашать их.

Родзянко: Прошу вас с замечаниями Председателя не спорить.

Караулов: Слушаю-с. Итак, господа, оставим пока министров в покое. (Смех). Но в нашей власти – отвергнуть в целом весь бюджет на 1917 год! И все законопроекты, которые представлены комиссиями, – к отвержению! ( Замысловский: “И уехать домой”). Вы, может быть, домой, а я – на фронт, и буду там полезнее, чем здесь, попусту

терять слова.

**Родзянко:** Я буду вынужден лишить вас слова.

**Караулов** спешит с главным:

*Третий* исход, я боюсь вы этим третьим путём и пойдёте: испугавшись разгона Думы, выдадите боярина Милюкова головой боярину Штюрмеру, будете ловить слухи в кулуарах, считать копейки в бюджетной комиссии и охать, что десятки миллиардов проходят вне вашего контроля.

*Четвёртый* же путь, господа депутаты... Нет, о четвёртом пути я скажу не вам и не здесь. Этим путём пойдёт сама страна, когда потеряет свою последнюю надежду – на вас! (Рукоплескания слева).

Это – с таким значением обещано, что: Караулов, очевидно, с кем-то связан, что-то *знает*, да и – какие-то нити у него в руках?

А ещё такой в Думе церемониал – отдавать трибуну представителям национальностей в черёд. И сейчас (отчасти – чтоб и охладить немного Думу) Родзянко пропускает: одного – от мусульман, одного – от Курляндии, одного – от ковенских евреев. (Да на еврейском вопросе Думе не охолодиться, а пожалуй наоборот). Однако тот недостаток имеет это равномерное чередование ораторов, что раз в зале сидят и правые, то приходится Думе слушать и их тёмный бред, и по такому же наказному часу. Впрочем, какие уж правые – их всё меньше, они дробятся, расползаются, как будто вырождаются, боясь собственного существования, не в смелости отстаивать его. Вот идёт на трибуну – рослый, тяжёлый, большеголовый, в хомуте крахмального воротника, со вскрученными усами, обильными тёмными кудрями, – да где мы видели его? позвольте? что за рисунок? А-а, в Думе так и зовут его – “Медный Всадник”, и тут, видимо, не случайное сходство: Марков – из рода Нарышкиных, и в каком-то седьмом или десятом колене вынырнул тот же образ! Только походка у него не императора, а как будто попружинивая, без уверенности.

Всеми ненавидимый председатель Союза Русского Народа держится – подчёркнуто надменно, закоснело твёрдо, с лицом запечатанным, ибо в привычку ему, что он – всегда против течения, что он – всегда среди врагов, во всяком обществе образованных русских людей. Так и держится – ещё более вызывает желание противоречить себе. Тут какое-то противообаяние: как Шингарёв располагает к себе даже противников, так Марков отталкивает даже единомышленников. Своим грубым напором он умеет оттолкнуть, даже когда говорит правильное. Если бы сейчас надо было Думе голосовать, кого одного исключить из своих членов, – дружным большинством исключили бы его.

Марков 2-й: У господина Шульгина осталось одно средство: бороться с русской государственной властью, пока она не свалится в пропасть. Мы в Думе будем бить словом по ненавистному правительству – и это патриотизм. А когда фабричные рабочие, поверив вашему слову, забастуют – это будет государственная измена. Но они не болтуны, и если вы говорите – будем бороться с государственной властью во время ужасной войны, то знайте, что ваши слова ведут к бунту, к народному возмущению в ту минуту, когда государство дрожит от ударов врага. Ведь от ваших слов не разбегутся вам ненавистные министры, это можно сделать только тем *четвёртым путём*, которого не осмелился здесь определить депутат Караулов. Четвёртый путь, на который звал нас этот господин с царским орденом на груди, действительно способен разогнать государственную власть, но он способен и погубить Россию. (Слева шум и смех. Справа: “Не смешно, Россия плачет!”) Господа Шульгины, вы – пораженцы, ибо повели народ и армию к потере веры. Если перестанут верить, что сзади управляет благожелательная власть, то воевать никто не будет. (Шингарёв: “Воюют за Россию, а не за правительство!”)

Трудное положение у нас, правых. (Слева смех. “Верно!”)

И верно. Он почти знает, что дело его проиграно и у этой аудитории и у всей

России.

Вот поставлено с этой кафедры тяжкое уголовное обвинение председателю совета министров. Мы – молчали, и г. Шульгин оперирует: значит, вы согласны. А мы молчали потому, что криками и негодованием нельзя спорить против обвинений, столь прямо поставленных. Я слышал, это дело будет предметом суда: виноват ли председатель совета министров или клеветник тот депутат, кто его обвинил. А г. Шульгин недоволен: вы отделяетесь судебной кляузой. По-вашему, председатель совета министров должен был бы выйти на эту кафедру и сказать: неправда, я взятка не брал, неправда, я не изменял. Да если б он с этим явился – вы б закричали: долой, пошёл вон! ( Слева: “Верно!”) Вам хотелось, чтоб это было замазано роспуском Думы, чтобы вы могли обратиться к народу и в окопы, где за вас теряют жизни: мы обвинили его во взяточничестве, а нас распустили. Это сорвалось, вас тянут в суд, и вы виляете хвостом: судебная кляуза.

(1-й департамент Сената предложил Милюкову дать объяснения по существу, но Милюков, не имея их, уклонился: он представит “все доказательства”, когда будет наряжена следственная комиссия над действиями министра. “Русские Ведомости” одобрили такой ответ: если бы Милюков стал давать объяснения, это создало бы прецедент, ограничивающий свободу депутатского слова.

Депутат же должен иметь полную свободу клеветы...)

Вы слышали молодецкое слово казачьего депутата Караулова. Он обещал низвергнуть всё сущее четвёртым путём, о котором будет говорить где-то там. Но и речи Милюкова, Керенского, Чхеидзе и ласковое изречение господина Шульгина разнятся только в технике, а ведут они все к одному: к революции! (Караулов: “К ней ведёт правительство!”) Вы не понимаете, что вы хотите сделать: вы хотите, чтобы революция разрушила всё худо или хорошо сложенное русское государство!

К неприятности для большинства, не так уж много в связи и ясности уступает Марков ораторам Блока, есть кой-какое и образование у него, институт гражданских инженеров. Хотя за его затылком нависает настороженная, враждебная ему туша Родзянки, – Марков знает свой наказный час, не зависимый от председателя, и уверенно овладелся, упёрся в трибуну всё с той же отверделостью от многолетнего действия во враждебной среде.

В этом мы, правые, будем посильно препятствовать вам. Мы – не придворные в белых штанах и страусовых перьях. Но мы – подданные, верные своей присяге.

Речь Милюкова была построена, как обычно свойственно этому депутату, с обдуманностью: он её почти всю прочёл. Это не была неистовая речь Керенского, 44 слова в секунду. Милюков говорил чрезвычайно увлекательно, и малокультурные слушатели не успели вникнуть в это блестящее по форме и дурное по существу изложение. Вся постройка базировалась на вырезках из иностранных газет. Одна московская газета, название неизвестно, напечатала, что в Ставку послана от крайних правых, имена не указаны, записка о необходимости сепаратного мира, это перепечатано в Европе и *значит* крайние правые изменники своему отечеству. Для примитивно мыслящих – приём простительный, но для профессора, для историка, для государственного деятеля? И после спрашивается: что это – глупость или измена! И хор из Аиды отвечает: измена! ( Смех). Это очень красочно, для театра эффект чрезвычайно сильный, но представьте картину наоборот: в; Англии один из депутатов огласит вырезку из «Русского Знамени» о депутате Милюкове и спросит английский парламент: что это – глупость или измена? Только чистая глупость считать это доказательством. ( Справа рукоплескания, смех. “Браво!”) Если он имел доказательства, в чём я очень сомневаюсь, надо вносить запрос, снабжённый документами и свидетельскими показаниями. (Шум слева).

Так и о министрах – решительно ничего не доказано, никто не обличён. Что привело вас в такое негодование против правительства? Неумелая организация



продовольственного дела. В этой части ваших обвинений мы вполне соглашаемся с вами, но эту ерунду измыслили вы, имейте же смелость признаться, а не валить на государственную власть. Правительство теперь почти отстранено от дела продовольствия, уполномоченными вы всюду насажали ваших прогрессивно мыслящих деятелей. Если вы ищете правду, то и сознайтесь: вместо помощи правительству вы запутали то плохое, что правительство раньше делало. И давайте вместе думать, как выйти из тупика, а не вносить смуту в страну.

Харьковский вице-губернатор Кошура-Масальский получил благодарственный адрес от рабочих: он боролся с дороговизной, но средствами, не вполне вам приятными. Всё бедное население Харькова видело в нём своего заступника, который борется с богатеями, спекулянтами, мародёрами. И что же вы сделали? Вы этого человека немедленно выгнали со службы. И теперь все остальные губернаторы поостерегутся прогрессивной Государственной Думы. Вы, господа, боретесь с дороговизной на самом деле не хотите, вы – сами откажитесь от корыстолюбия! Слишком много спекулянтов и мародёров в прогрессивных кругах – в этом и несчастье. Не хватает у вас духа бить по собственным дельцам.

Мы, правые, видим выход один: экономическая диктатура правительства.

Что представляется прогрессивной Думе чёрным исчадием.

Без этого будут хвосты, спекулянты и мародёры, которые выбрали многих вас.

Господа, я с наслаждением читал так называемые прогрессивные, левые, то есть еврейские газеты. Я просто радовался, как люди впадают в полное противоречие со своими основными убеждениями. Чем газеты левее, тем больше они требовали обуздания крестьян, заставить крестьян насильно продавать хлеб. Я глубоко не согласен с этим, но радостно, что эти газеты, эти партии обличают своё нутро, показывают, какие они действительно народолюбцы. На бедного крестьянина обрушились: а, мародёры! не хотят твёрдой цены, хотят дороже! Это характерно: как только город, который всегда жил за счёт деревни, всегда объедал, всегда обижал деревню, как только чуточку ему стало плохо, то городские крикуны сейчас же получили защиту от всего *прогрессивного лагеря*, и прогрессивный лагерь не затруднился напасть на вечно обижаемую русскую крестьянскую деревню.

Когда говорят о высоком патриотизме общественных деятелей, я прошу немножко внимания и хладнокровия. Вот главное артиллерийское управление сообщает, во что обошлись непатриотические казённые снаряды и во что патриотические частные: сорокадвухлинейная шрапнель на казённых заводах в 15 рублей, на частных – 35; шестидюймовые бомбы – на казённом заводе 48 р., на частном 75 р. Составитель записки делает вывод, что если бы в России было поменьше общественного патриотизма да побольше казённых заводов, то Россия уже сберегла бы больше миллиарда рублей. Конечно, не будь у нас частных заводов, мы не могли бы дать снарядов, сколько надо. Однако общественные деятели обируют народ уже на второй миллиард, они работают не даром, они наживаются чрезмерно. Но когда правительство, выдавшее 500 миллионов казённых, народных рублей общественным организациям, просит: позвольте, господа, в ваши комитеты ввести по одному скромному члену государственного контроля, что раздаётся от прогрессивных деятелей? – “это полицейский надзор, вы нас оскорбляете!”. Какое же недоверие – государственный контроль, где 500 миллионов государственных денег? ( Слева шум: “Это – полиция!”) В прошлом году, когда рассматривалась смета Святейшего Синода, и вам стало известно, что там собираются пяточки с верующих, несущих свои жёлтенькие свечки, – вы потребовали над архиереями православной церкви государственного контроля – как бы они ненароком эти деньги верующих не истратили иначе, чем вам, ревнителям православия, желательно. А миллиарды казённых денег, текущих через ваши общественные учреждения, – контролировать нельзя?...

Ещё рассказывает, как промышленники перепродают на рынке военные

разрешения на вагоны. Долог наказный час, но кончился. А Марков просит ещё.

Родзянко: Я не могу поставить на голосование... ( Справа: “Неоднократно ставилось!” “Сколько раз разрешалось!”)

Речи Маркова угрожают Родзянке не перед Государем, как милюковские, но зато перед Думой, которая именно сегодня вечером либо выберет, либо не выберет его на следующий год. Однако эту спокойную речь, сорвавшую темп атаки на правительство, все слушают (голоса не только справа, но и слева: “Просим!”), и Родзянко решается:

Угодно Думе продлить? Ставлю на голосование.

Марков рассказывает о злоупотреблениях общественных организаций, как Земсоюз прикрывает дезертиров.

Вспомните известный процесс Парамонова в Ростове, как спекулировал, мародёрствовал этот архипрогрессивный деятель, и местная правительственная власть помогала ему. Вспомните, как были арестованы киевские сахарные короли, которые прикрывались общественным флагом, что они спасают отечество. Когда вы обличаете правительство – не забывайте обо всех этих людях. Много гадостей и гнусностей совершается под флагом общественности.

Если мы действительно увидим, что есть министры, изменяющие русскому государству, мы будем безжалостнее, чем вы! Но мы не поверим голословным обвинениям, простым выдержкам из иностранных газет. На заводах – забастовки, и вы обвиняете полицию. Но зачем полицию, когда есть члены Думы, которые посылают на это дело и говорят, что забастовками надо добиться мира. Борьтесь за мир, когда германцы давят Россию смертным давлением, есть измена. Эти члены Думы – изменники, а вы не извлекаете их из вашей среды. Так вот, с изменой бороться будемте, это нам по пути, но сперва потрудитесь изгнать из своей среды настоящих изменников, а до тех пор вы не имеете морального права обвинять других. (Рукоплескания справа).

Вскоре затем – думский златоуст, адвокат, более знаменитый своим красноречием и мало оцененный по глубине и точности мысли (не без следа – математическое отделение), всходит на кафедру тихо-укоризненный, обращённый взглядом как бы даже не в зал, а – внутрь себя,

В. Маклаков: Господа, я не буду никого обличать,

(Это – шпилька Милюкову, как всегда).

Хотя на фронте сейчас благополучно и военная усталость Германии становится для всех очевидной,

как и усталость самого оратора – так проста и грустна его манера держаться, тих (но явственный) голос, никакой внешней “римской” элоквенции, он как будто беседует (не угадаешь, что выступление подготовлено тщательно):

мы стоим перед новой и грозной опасностью, и она совсем не в продовольственном кризисе, а: что-то случилось с Россией, в чём-то переменялся её дух. Одни уже осмеливаются говорить о мире, другие – в виду неприятеля – “чем хуже, тем лучше”, пусть будет катастрофа, она куда-то нас приведёт. А третьи запирают амбары,

(всё-таки и он – не о промышленных, не банковских складах)

наживаются, спекулируют и веселятся. А малодушные и маловерные падают духом: Россия долго не выдержит. И этот упадок духа переходит на фронт. Вот где опасность.

И это – та самая Россия, которая два года назад обманула германские надежды на наши внутренние распри; которая в прошлом году, в минуту нежданной беды, имела мужество духа не растеряться; та Россия, которая не тешилась презренным красноречием, а стала к чёрной работе! Что же случилось с долготерпеливой многострадальной нашей Россией?

Впрочем, Маклаков, среди немногих, ещё и весной 14-го года, до войны –

предсказывал России поражение. Предсказывал – однако не противился войне, даже хотел её.

На всём протяжении России с отчаянием спрашивают: где же наше правительство? кто управляет Россией? куда нас ведут? И эти вопросы ставим не мы, Государственная Дума, и не революция, к которой мы будто бы призываем, – та революция остановилась. Но сама власть на глазах у нас и у Европы упорно топит всякое доверие к себе: министерский калейдоскоп, когда мы не успеваем даже рассмотреть лица падающих министров. Непонятные возвышения, непонятные опалы, политический ребус. И в результате – правительство Штюрмера? Они привыкли лгать около трона, они могут обмануть своего Государя, но России они не обманут! (“Браво!” Рукоплескания всего зала, кроме крайних правых).

Нам советуют: шадите престиж власти, всё исправится. Так было с Ковенской крепостью. До нас доходили отчаянные крики ковенских офицеров: комендант Григорьев крепости не защитит. И мы кричали – но вполголоса, мы молчали на этой трибуне, не тревожа настроения армии и опасаясь, не дошло бы до немцев. И за наше молчание Россия заплатила позором, падением первоклассной крепости. Григорьев – это эмблема: один комендант парализовал силу целой армии. Так и наше правительство парализует силу целой России.

Россия с тревогой спрашивает: за что ей навязывают правительство, которое погубит её? Элементарное требование, чтобы страна верила тем, кто имеет претензию ею руководить.

Нет, не случайность, но *режим* – проклятый, старый, отживший, но ещё живучий! Пусть каждый министр теперь выбирает – служить ли России или режиму, а служить им обоим – невозможно, как Богу и маммоне! (Продолжительные рукоплескания. “Браво!”) Будем ли удивляться, что по стране разошлась эта смута в умах, которую не рассеют всё красноречие Маркова, ни все репрессии Штюрмера, ни вся та новая ложь, которая будет комьями грязи брошена в большинство Государственной Думы? Нет, господа, долготерпение России велико, как велика Россия сама, но эта война показала предел и ему. Есть предел и нашей покорности!

Это – второй максимум, меньший, – и снова снижение в грусть, в печальное задушевное откровение, как Россия поручила оратору поведать.

Пусть не думает Марков 2-й, что мы зовём к революции. Грозная опасность иная: Россию против воли никто воевать не заставит. Она не захочет приносить никаких жертв во славу этих людей, для чести и удовольствия иметь их во главе государства. (Продолжительные рукоплескания, кроме крайних правых). Не восстанием вам ответит Россия, но упадком духа, унынием,

это и в голосе,  
равнодушием. И если это случится, и нас приведут к миру вничью,  
где эта милость и кротость, секунду назад? – вспышка!! взлёт до негодующего звона!!!

о, тогда я говорю смело: тогда берегитесь! потому что позорного мира вничью Россия не простит никому! (Рукоплескания. “Браво!”) Тогда Россия позовёт всех к ответу, и она пощады не даст никому, я повторяю – никому!!! (Продолжительные рукоплескания. “Браво!”)

(Как и все лидеры кадетов, Маклаков достоверно знает мнение страны. Но это ещё – если вничью, Василий Алексеевич. А если – полная брестская сдача, какой вы себе оставили эмоциональный запас?)

Россия сейчас – как воинская часть перед паникой: по инерции ещё стреляют ружья, по привычке ещё повинуются солдаты, но раздастся крик “спасайся, кто может!” – и все побегут. Однако время ещё не ушло. Если к власти назначат не слуг режима, а слуг России,

то есть Павла Николаевича, Василия Алексеевича, Фёдора Измайловича,

Николая Виссарионовича, Моисея Сергеевича, -

Россия ухватится за эту власть, она встрепенётся – и тогда горе Германии!!!

Пришло время выбора: или мы, или правительство, *вместе наша жизнь невозможна!* (Продолжительные бурные рукоплескания). И если будет распущена Дума – как будто можно распустить всю страну! – если будет зажжён пожар, на котором спалят национальную будущность родины, то, господа...

Лишь обычный холодок помогает Маклакову сохранить самообладание -

Дума ещё может стать единственным оплотом порядка!...!

На этом сильном пророчестве и должны были кончить заседание, но составлены, подписаны, поданы и вот оглашаются

Запрос 33 членов – С трепетным напряжением Россия ожидала правдивого, свободного слова своих представителей. Однако 2 ноября в газетах произнесенные речи не нашли полного отражения. Декларация Прогрессивного блока в большей части запрещена. Ни в одном периодическом издании не напечатаны речи Керенского, Чхеидзе, Милюкова. Белые места в речах членов Государственного Совета...

А между тем: “действию военной цензуры не подлежат публичные речи, произносимые во исполнение долга службы”. Какие приняты меры к соблюдению указанных...?

Запрос 31 члена – Издано распоряжение Командующего Московским военным округом – об установлении предварительной цензуры “материалов, могущих повредить военным интересам”. Приняты ли меры к отмене незаконного...?

(Нигде в России нет предварительной цензуры, за что же в Москве?)

Съездили пообедать – и вечером стали переизбирать Председателя Думы.

Председатель: По мотивам голосования – Чхеидзе.

Вырвался, нашёл щёлочку! Пять минут, но – за пять минут можно-о...!

Чхеидзе: После акта Третьего июня мы всегда были уверены, что большинство этой Думы будет идти по указке правительства. Барьер, через который народ не может пройти, чтобы продолжать работу 1905 года... Конечно, за последние две Думы стены этого белого зала не слышали таких речей, и это можно приветствовать. Но, господа, не обольщайтесь, я вас прошу, не думайте, что вы сказали что-нибудь новое. То, что вы говорили, есть повторение из многого того, что говорилось, и речи более внушительные и содержательные раздавались с этой трибуны в Первой и Второй Государственной Думе.

Но, господа, несмотря на все ваши очень горячие речи, я не знаю, долго ли это будет продолжаться?... Я вас, господа, боже избави меня призывать к революции, ничуть не бывало. Но одно скажу, господа: что ни одна революция не губила ни одного народа, ни одного царства!! Она не погубила Англию, которую вы теперь хвалите. Не погубила Францию – припомните Коммуну 1871 года. И мощь Германии начинается именно с 1848 года. Она не губила и Китай.

Так вот я и говорю: та схватка, которая происходит между вами и правительством, меня очень интересует. Долго ли эта схватка будет продолжаться?

Председатель: Член Думы Чхеидзе, ваш срок истёк.

Да к тому ж он исчерпывающе объяснил мотивы голосования. А всё б ещё две-три фразы всунуть!

Чхеидзе: Не далее, как сегодня, коленопреклонённо извинились... с этого места... и вам предложили...

(Рукоплескания слева).

Облегчённый Чхеидзе убежал.

Считают записки, баллотируют шарами – и Родзянко, к своему восторгу, выбран, – но всего лишь половиною Думы.

К полудню 4 ноября он открывает следующее заседание. Но что за вызов или что за странность? – правительственная ложа в этот раз не пуста! В ней сидят два министра, оба в военной форме: морской министр Григорович (единственный, кому симпатизирует общественность) и военный министр Шуваев (никому не надсадный интендант). Министры сами по себе – безобидные, свистеть пока не будем, но как понять, что они появились тут после громового обвинения правительства в измене? Неужели же посмеют защищаться? Посмотрим.

Теперь покинута прежняя повестка, и текут прения по запросам. Но как бы ни называлось – а всё о том же.

Аджемов (к-д): Вы станьте на минуту в положение русского обывателя, который утром с жадностью обращается к газетам – узнать, что за него сказали его избранные. Говорит правый депутат Левашов – и много точек. Говорит Марков 2-й – и даже его мы видим в маленьких размерах. Вы, господа, закрыты в этом зале, в этом старом дворце Потёмкина, кричите, негодуйте, ни одного слова Россия не узнает всё равно! Никогда правительство не падало до такой глупости, до какой оно упало сейчас: показать себя перед всей Россией, что нет ни одного течения, которое могло бы поддержать это жалкое, ничтожное правительство. А Москва находится вне театра военных действий, военной цензуры по закону быть не должно!

Слов – нет, есть белые места, – вот где революция, и вот кто делает революцию!

Скобелев (с-д): Истерзанная оскорблённая страна ждала Думу, чтоб услышать правду. Но не успели раздаться первые слова правды, как это белое зало было накрыто вот этой белой бумажкой. Господа, вы должны сорвать эту бумажку за № 16672 с ваших голов, иначе лишается смысла ваше пребывание здесь.

Вам здесь говорили, что из всякого положения есть несколько выходов. Но вы идёте по линии наименьшего сопротивления: вы обрушиваете своё негодование на Штюмерера, хотя в нём лишь отражается природа нашей власти. Господа, что может вставить обыватель в эти белые места с заголовками графа Капниста, Шульгина? Он может подумать, что они здесь говорили о свержении самодержавия, об учреждении демократической республики, а они всего лишь говорили о свержении Штюмерера.

Господа, провокация – неотъемлемый фактор величия нашей власти и её благополучного существования.

И ловок же! – опять выскочил и трибуну захватил

Керенский: Разве мы не живём в состоянии *оккупации*, как Бельгия или Сербия? Когда государство захвачено враждебной властью, отрезана всякая возможность национальной политической деятельности... Разве, господа, из бесконечной перемены отдельных министров на этих скамьях у вас не возникает вопрос: а где же те, кто ставят этот театр марионеток, кто выводит и сводит на сцену иногда мерзавцев, иногда...

Родзянко: Член Государственной Думы Керенский, покорнейше прошу вас выбирать выражения.

Да что ж выбирать, уже и сказал.

Керенский: Господа, когда масса тёмная, не знающая правды, иногда выходит из себя, бросается, куда ей не нужно идти, вы говорите: у нас нет патриотизма! А есть люди, для которых страна была не матерью, а доходным местом, которые жили столетиями на крови и поте этих масс, – и когда они, предавая интересы государства, спасают своё личное положение...

Родзянко: Член Государственной Думы Керенский, прошу вас вернуться к запросу.

Керенский: Я говорю о запросе. Я доказываю, что военных тайн никогда русская власть скрывать от враждующих держав не умела и не хотела.

Родзянко: Покорнейше прошу вернуться к запросу. В случае неисполнения...

Прерывает он из обязанности, ненастойчиво, ибо Дума левеет, кружится влево у

него под стопами. И замерла пресса, и замерли хоры, наслаждаясь пулемётностью любимого оратора.

Керенский: Вчера здесь один из тех, чьё имя я не называю, но который неустанно защищает тех, которые... Заявил мне с этой трибуны, что я являюсь изменником государству. (Марков: “И повторяю”) А не вспомните ли вы, господа, что 25 февраля 1915 года, когда большинство Думы ещё было охвачено “единением с властью”, я послал председателю письмо,

оно ходило по рукам, по столицам и в провинции, где говорил, что “измена свила себе гнездо” на верхах русского правительства, а мясоедовщина – только симптом? И не я ли просил тогда...

Родзянко: Член Думы Керенский, прошу вас воздержаться...

Керенский: Я был бы рад, если бы вопрос о положении государства можно было бы свести к предательству отдельных лиц, если б можно было найти доказательства против отдельных министров...

(а их найти нельзя).

Но если мы возьмём их отсюда и десятками, то старая власть столетиями воспитала себе сотни холопов...

Наконец, Родзянко решается лишить его слова. Выступают другие, читаются скучные документы – и на полминуты выскакивает снова лихой

Караулов: Я, господа, взял слово, чтобы сказать вам очень немного:

Речей не тратьте по-пустому,  
Где нужно власть употребить!

Но в дополнение к этому – моё крайнее негодование: разве допустимо, чтобы депутатское слово, которое не разносится по стране, слышала бы в изобилии наполняющая хоры публика и не слушали бы сами депутаты,

которые ушли в буфет. (Смех, шум). И снова

Марков 2-й: Да, Александр Фёдорович Керенский, я вас считаю государственным изменником на основании тех заявлений, которые вы сделали с этой кафедры. Всякий, кто ныне осмелится *бороться за мир*, да ещё насильственными путями, есть государственный преступник и изменник.

Если министры совершают такие ужасные преступления, почему же вы, законодатели, не вносите запроса? Потому что запрос надо обосновать, для него недостаточно сослаться на германскую печать, надо давать доказательства, и вы боитесь запроса, – вот это стыдно! История рассудит, кто был прав, и не удастся вам её фальсифицировать. Когда такие обвинения бросаете, ставьте дело серьёзно. Если вы докажете их – мы будем не против вас, а впереди вас. Но докажете прежде.

Да, господа, пустые места в газетах волнуют, раздражают, это верно. Но места, наполненные вашими речами 1 ноября и сегодняшними, во время такой войны произведут гораздо более опасные последствия, они защитников наших лишат веры в нужность самопожертвования. Вы отнимете у русского солдата всякое желание сопротивляться врагу. Зачем сопротивляться, если верно всё, что говорили с этой кафедры? Вы – первые пособники германцев. Как ни тяжело видеть эти насмешливо устроенные газетные пустоты, из-за которых наши речи превращаются в нелепость, но лучше они, чем та систематическая кампания, которой вы хотите перевернуть всю Россию вверх дном, устроить теперь в России международную войну. (Слева шум. “Ой-ой!”) Да, господа, этих пустот не должно быть, германцы не позволяют пустот; заполняй объявлениями, но не смей давать пустот. Более того: если наши газеты будут продолжать мутить народ, смущать армию – закройте все газеты до последней! (Слева смех). Во время войны мудрый народ, республиканский Рим, выбрасывал все свободы, выбирал диктатора. Когда всё мужское население идёт в окопы, когда все свободы

нарушены существом военных действий, – не толкуйте нам о свободе слова, печати, толкуйте – как победить германцев. Вы не склонны ещё понять, какие опасности грозят России. Если вы посеете уверенность, что сзади предадут, сверху предадут, – этот день будет гибелью русской армии, русского народа, ибо его расхватают на клочки, и *первые вы, маленькие люди, погибнете!* (Рукоплескания справа).

Ага, Марков подготовил поле для контратаки правительства – и вот на кафедре выходит военный министр. Прогрессивный блок напрягся и сплотился: не сдадим! не уступим! Жалких ваших аргументов и слушать не будем! Правительство изменило, и трон изменил, об этом громко объявлено, и никому не дадим опровергнуть!

Шуваев:...поделиться кой-какими мыслями из переживаемого времени. Предотвратить мировой пожар мы не встретили отклика во вражеском стане.

Это – что ж, это – подходит. (Голоса: “Верно!”) Дальше министр ещё пройдёт по германским бесчеловечным традициям – это нам подходит. (Голоса: “Верно!”) И вот

каждый день мы приближаемся к победе! (Продолжительные рукоплескания во всем зале, “Браво!”)

А потому что война ведётся не одной армией, но всем государством. Всё, что может, взялось за снабжение армии.

(То есть *общество* . Хорошо!)

И вот цифры: за полтора года: трёхдюймовых орудий у нас увеличилось в 8 раз (“Браво!”), гаубиц – в 4 раза, снарядов тяжёлых – в 7, в 9, а трёхдюймовых – в 19 раз, взрывателей – в 19, фугасных бомб в 16, кое-чего из взрывчатых – даже в 40 раз (“Браво!”), а удушающих средств – в 70 раз! (“Браво!”)

Вот что дала дружная совместная работа – и позвольте надеяться и просить вас помочь и в будущем для снабжения нашей доблестной армии. (По всему залу: “Браво!”) Враг надломлен, он не справится. Каждый день приближает нас к победе. Во что бы то ни стало победить – это повелительные указания Державного Верховного нашего Главнокомандующего. Этого требует благо нашей родины, перед которым всё должно отойти в сторону. (Бурные продолжительные рукоплескания всего зала).

Ну что ж! Кроме встрявшего дежурного “Державного” – это не только не плохо, это просто великолепно. Правда, мало похоже на военное поражение, но зато признано, что всё военное снабжение держится на обществе! И никакой солидарности со Штюмером, с Протопоповым, со всем гнездом измены и сепаратного мира!

Григорович: Я считал своим священным долгом выступить также и открыто сказать, что ваша многолетняя и постоянная поддержка в государственной обороне... (Бурные продолжительные рукоплескания всего зала. “Браво!”)

То есть что получилось? Что армия и флот отделились от гнусного сгнившего предательского правительства – и соединяются с думской оппозицией!

(Они и посланы были струсившим правительством сыграть на патриотических чувствах Думы – и так создать примирение. Но выйдя перед девятьсот напряжённых глаз – не собрали мужества упомянуть клятое правительство и не избежали соблазна сорвать аплодисменты – самим себе).

Однако, всё-таки тут надо пошутиться, посоветоваться вокруг Милюкова. Двадцать минут перерыв! (В перерыве Шуваев благодарил Милюкова за его предшествующую патриотическую речь).

Родичев: Редко случается, чтоб так веско сказано было бы нужное слово. Сражаться до конца – ведь только этого мы и хотим, ведь только для этого здесь и сидим. (Рукоплескания слева и в центре). За нами – всеобщий порыв страны и более чем двухлетний подвиг жертв, которыми Россия не считалась. Но чтобы не считаться с жертвами – нам надо верить в вождей. Россия нуждается в вере во власть. Это старая её потребность – честная добросовестная власть. И когда во все щели рвётся тлетворный воздух, мы говорим: очистите атмосферу!

Депутат Марков сказал одну большую правду: как же по России пойдут ваши речи без опровержения? Да, несчастье наших речей в том, что они не получили опровержения. В этом трагедия невозможной задачи, которую они себе ставят: победить врага, презирая отечество.

Одна вера осталась в России незыблемая, это вера в Государственную Думу. (Слева: “Браво!”) Это единственная среда в России, где раздаётся свободное слово, мощь которого безгранична! (Рукоплескания слева и в центре. “Браво!”)

И мы ещё эту Думу слушаем.

## ДОКУМЕНТЫ – 5

Петроград, 3 ноября

### ЦИРКУЛЯРНАЯ ТЕЛЕГРАММА РУССКИМ ПОСЛАМ

министра иностранных дел Штюмера

Распространённые за последнее время печатью некоторых стран слухи о секретных переговорах, которые будто бы ведутся между Россией и Германией о заключении сепаратного мира... играют лишь в руку враждебным государствам... Россия будет биться рука об руку с доблестными союзниками против общего врага без малейшего колебания до часа конечной победы...

## 72

Соединяла государыню с её собственным лазаретом и более глубокая связь, чем работа в нём: она ездила туда посидеть у постелей, иному тяжёлому молча держать руку или положить ладонь на голову, говорить слова успокоения, заменить близких. Бывали излюбленные раненые, близ которых она сживала каждый день – до смерти или до выздоровления, и умерших потом вспоминала как своих родных. Близ более лёгких сидела с вышиваньем, слушала их рассказы, носила им цветы, раненый мальчик говорил: я так счастлив, что мне больше ничего не надо. То обнаруживались офицеры, которые 10 или 15 лет назад видели её на смотре, издали, а другие становились знакомыми теперь, и уже навсегда. Благодарность раненых целительно укрепляла государыню. Её тянуло туда – когда так томительно было без мужа и без сына, и там она забывала своё одиночество. Её тянуло туда, когда она чувствовала себя особенно подавленной и несчастной. И даже когда она сидеть не могла – она ехала в свой лазарет полежать на диване, – и всё же испытать уют и успокоение, лившиеся к ней от госпитальной обстановки.

Но ещё особенно соединяла её с ранеными – молитва вместе. Это – одна из женских обязанностей: стараться больше людей приводить к Богу. А солдатские – не офицерские – души бывают совсем детские. С выздоравливающими государыня бывала на богослужениях. С уходящими в смерть – молилась. Молитва всегда помогает отлетающей душе. Вот – ещё одна храбрая душа покидает этот мир, чтобы соединиться с сияющими звёздами. И сколько она видела умирающих – это только позволяло ей понять величие происходящего.

Вера помогала ещё более, чем работа. Церковь – такая несравненная помощь, когда на сердце печально. И плакать там облегчает. В прежние годы, поподвижней, государыня любила поехать с Аней в одиночных санях, неузнанными, в какой-нибудь тёмный безлюдный храм и молиться там на каменном полу, на коленях. Ещё ведь сколько лет она отмаливала здоровье сына. Всякий день, поставив свечу у Знаменья и помолясь за Государя, трон и наследника, Александра чувствовала себя спокойней. И особенно укреплялась душа от причастия, несколько раз в году. А когда-то ещё мсьё Филипп убедил её, что она находится под покровительством Богородицы и особенным образом связана с ней. Особенно она верила в день Покрова, который должен принести выдающуюся милость. Поразило её, когда и Друг сказал, что день Рождества Богородицы – её особый день. С Другом тоже не все



разговоры были одинаковы, но когда возникал чудный разговор – о чудесах и необъяснимом, душа государыни трепетала: эти разговоры давали подняться выше земных тревог или посмотреть на них свысока. Ещё читала она книги о религиях индийской, персидской.

Можно понять, что всё, кипящее сейчас на Земле, и эта чудовищная европейская война, и всё происходящее в России, и борьба русского трона со своими заклятыми врагами, – гораздо глубже, чем кажется на взгляд. И мы, которые приучены смотреть на вещи также и с другой стороны, – видим, что это за борьба и что на самом деле она означает.

И можно ожидать ужасного конца. Прошлым летом, в самые страдные дни русского отступления, вдруг телеграфировал Варнава из Тобольска, что люди видели днём на небе крест.

А сегодня, с четверга на пятницу, государыня видела такой странный сон: будто её оперировали. Она лежала на операционном столе и всё сознавала. Будто ей отрезали правую руку и ей было не больно, но остро жаль: ведь во всякой борьбе за правое дело так нужна правая рука. И как же теперь креститься? И как письма писать Ники? Она проснулась с содроганием.

Она боялась, не допускала себя отдаваться угнетающему чувству.

Но к несчастью помнила, когда это угнетение овладело ею первый раз в жизни, ещё совсем молодою: при свадьбе. Ей досталось въехать на царствование в Россию – вместе с гробом умершего царя, сопровождая его от Крыма до Петербурга. И сперва были – похороны, цепь панихид, – и свадьба как продолжение этих панихид, только невесту одели в белое платье.

А уж теперь-то! – такой старой и подавленной она чувствовала себя – ото всех болей и всех беспокойств. А с тех пор как началась эта злосчастная война – беспокойство не уходило из сердца ни на день.

Эта война началась – рядом с Александрой, в соседних комнатах, – но Государь ничего не сказал ей в тот день, ни разу не посоветовался, она ничего не знала о всеобщей мобилизации и как рыдала потом! Она чувствовала, что совершилось в мире что-то необратимое.

Началась война – и что же верно Государю? Они решили, что место его – как можно больше ездить по войскам, да он это и любил. Для него большое утешение видеть эти массы преданных счастливых подданных – но для них?! какая награда! Каковы их чувства, когда они видят так близко и запросто своего Государя – да если ещё и с Бэби? Какую отвагу придаст им это драгоценное появление, какие солнечные воспоминания на всю жизнь останутся у всех! Они увидят, за кого они бьются и умирают (не за Ставку, не за Николашу, – и кстати, Николаша много проиграл, что никогда не ездил по войскам). Побольше войск обозревать Государю, и важно, чтобы в газетах печатали об этом. Государыня считала себя и дочерью солдата и женой солдата – и хотела бы вместе с мужем тоже ехать ближе к фронту, чтобы воины мужались, и хотела бы сама видеть лица этих храбрецов, когда они увидят, за кого идут на бой.

За то что Ники взял на себя пост Верховного Главнокомандующего – теперь жестокою разлукой пришлось платить супругам: 21 год до того не разлучались их любящие сердца – теперь одна неделя разлуки кажется вечностью, а приходится – и на многие недели.

О, какое отчаяние – не быть с тобою вместе! О, как бы я хотела никогда с тобою не расставаться, разделять с тобою всё и видеть всё! Выплакала все глаза. Но твоя жена всегда с тобой и в тебе! Мне невыносимо сознание, что ты постоянно отягощён заботами и находишься так далеко от меня. Ненавижу отпускать тебя туда, где все эти терзания и тревоги. Ужасная вещь – сидеть в Ставке, в городских условиях, столько месяцев подряд. Ты постоянно за чтением докладов, мой бедный малютка. Как тебя изводят ещё министры, и тебе приходится принимать их даже в ужасную жару. Как много тебе приходится работать, какую ужасную жизнь ты ведёшь.

Эти постоянные разлуки изнашивают сердце. Никогда нельзя привыкнуть к минуте провожания. Твои большие грустные глаза, полные любви, так и стоят потом, и преследуют.

И никогда не ослабляется ужасное ощущение твоего отсутствия. Мы с тобой – всегда одно целое. На какую ещё любовь способно моё старое сердце! Люблю тебя всё больше и больше, с каждым днём. Люблю тебя, как редко кто был любим. И за гробом буду твоя жена и друг. Мой бедный большой Агунюшка! Мой храбрый мальчик! Голубой мальчик с великим сердцем! Мой сладкий! Мой солнечный Свет! Солнце моей больной души! Кладу в конверт маленькие розовые цветочки – знай, что я их поцеловала. Завидую им, что они понесутся к тебе. И ты тоже их поцелуй. Вот это место, обведенное на листе, – здесь стоит мой крепкий поцелуй. Я надушила это письмо, чтобы не было противного запаха чернил. А вот посылаю тебе цветы, которые стояли у нас в комнате, и ими дышала твоя старая Солнышко. А как я люблю получать цветы от тебя! – они залог нежной любви. С твоим дорогим письмом уединяюсь и наслаждаюсь. Перечитываю несколько раз и, безумная старая женщина, целую твой дорогой почерк. В воображении кладу голову тебе на плечо – и лежу тихо на твоём сердце. А на ночь всякий раз благословляю и целую твою подушку. В темноте перебираю твои слова – и они наполняют меня тихим счастьем, и я чувствую себя моложе. Желая тебе увидеть свою жёнушку во сне. Чувствуй мои руки, обвивающие тебя, – вечно вместе, всегда неразлучны. От этих разлук огонь разгорается только жарче. А телеграммы – не могут быть горячими, через столько чужих рук они проходят. Чувствуй меня возле себя, я тебя грею и нежу. Жажду почувствовать, что ты – мой собственный, целую всего тебя – ведь я одна имею на это полное право, ведь так?

Я не хвалюсь, но никто не любит тебя так, как старое Солнышко. *Она* дерзает называть тебя своим, жалуется, что получает мало ласки, – она думает, что она одна скучает без тебя. Она – глубоко разбита, она ведь ничего не испытала в жизни. Ты – её жизнь, у неё всё сосредоточено в собственной личности и в тебе, но ты – мой, а не её, как она осмеливается тебя называть. Ведь ты сжигаешь её письма, чтоб они никогда не попали в чужие руки? Я буду охотно передавать их сама, хотя Аня не понимает, что её письма представляют для тебя так мало интереса. Но лучше пусть пишет через меня, чем через свою прислугу. Вот – она целует твою руку. Вот – она нежно целует тебя. Вот тебе её объёмистое любовное письмо. Шлёт тебе множество любящих поцелуев. Вот она с ума сходит от радости, что ты возвращаешься в Царское. Пошли ей привет, ей грустно не получать ничего. Передай ей поцелуй, она будет счастлива. (Терпеть не могу выпрашивать поцелуи, подобно Ане.) Однако не позволяй твоей даме сердца писать слишком часто. Надо выдрессировать её умеренностью, потому что чем больше имеешь, тем больше желаешь. Её всегда нужно обливаться холодной водой. Конечно, если тебе самому нужны беседы с ней – другое дело. Но если мы теперь не будем тверды – у нас будут истории, и любовные сцены и скандалы, как в Крыму.

Аня Танеева стала фрейлиной, получила шифр с бриллиантами ещё в 1903 году, 19-летней девушкой. Но быстро она превзошла своё положение, и уже через два года настолько все при дворе ревновали её к Ея Величеству, что для отвода зависти остальных фрейлин иногда проводили её в кабинет государыни через комнату для прислуги, возбуждая впрочем новые кривотолки. Их сблизил и музыка – они играли в четыре руки, брали уроки пения у профессора консерватории, пели дуэты (у Ани было высокое сопрано, у государыни – хорошее контральто, но Государь не любил, когда она пела, и это заглохло). Но более того, Аня была единична государыне – в религии, в общем ощущении мира и его наполненности таинственными предзнаменованиями и страхами.

Государыня тем более нуждалась в близкой женской понимающей душе, что с первых же шагов молодой императрицы в России обозначился разлад её с петербургской знатью и развивался неотвратимо. С первых же дней в России она почувствовала, что её почему-то здесь не любят и не полюбят. Это ещё можно было спешить исправить – но Александре мучительно трудно было: она и без того была замкнута, болезненно застенчива, а ощутив к себе предубеждение общества – ещё более отчуждалась. У неё было несчастное свойство казаться на людях натянутой и не нравиться. Она была совсем неспособна к притворству, не умела неискренне улыбаться, чем очаровывается толпа. Она не умела искусственно

расположить к себе общество, мучительней всего было ей сблизиться с теми, с кем не хотелось, на публике она казалась холодной, застывшей, скучающей – да и действительно скучала, – и всё это ещё в контрасте с улыбочивой приветливой старшей императрицей, с которой она не могла соревноваться. (И та – любила приёмы, и всегда выступала на первом месте, об руку с Государем.) А вскоре пошла череда детей и череда болезней, и потребность подолгу лежать, не то что стоять, – и тем более стало не до балов, не до приёмов, даже и частных, это всё отменилось. Многие добивались быть принятыми лично, и каждый, кому уделялась ласка, уже завербовывался в друзья. За приём ей готовы были бы всё простить, но и на эти приёмы не было сил, всем кряду отказывали, – а при отказах невозможно было сослаться на серьёзность нездоровья, его тоже надо было скрывать, – и так всё объяснялось гордостью, холодностью, отстранённостью императрицы. Как пышно праздновали 300-летие дома Романовых – но какой холод и неприязнь к императорской чете веяли от блистательной великосветской толпы!

Так Аня Танеева стала не придворной дамой, но первым другом. На 12 лет моложе государыни и на столько же старше дочери Ольги, как бы младшая сестра или старшая дочь, Аня разделяла с царской семьёй их любимые интимные прогулки на яхте в финляндские шхеры, где они гуляли без всякой опасности от террористов и совсем как простые люди, без оглядки, – по тропинкам, по ягоды и грибы. И там когда-то государыня обняла её и сказала: “Бог послал мне вас, и я больше никогда не буду одинока”. В 1907 Аня вышла замуж за морского офицера Вырубова, сохранившегося при взрыве “Петропавловска”, Их Величества благословляли молодых иконою в дворцовой церкви – но супруги быстро разошлись, развелись, Аня ничего не видела от мужа кроме беспомощной ярости, она убежала от него и только сохранила навсегда его фамилию. Теперь при дворе она уже не возвратилась в состояние фрейлины, но так и была – единственной интимной подругой императрицы.

Однако постепенно она стала уже не только подругой, но постоянным третьим при императорской чете: не давала супругам полного уединения и принадлежности. Где не ждёт нас людская неблагодарность? Ей дали сердца, домашний очаг, частную жизнь, – и как не испытать горечи, когда её поведение в Крыму осенью 13-го года, зимой и весной 14-го было недостойно – да оно и перед тем было приготовлено её притяжением к Государю и отдалением от императрицы, и даже странной грубостью с нею, снизу вверх, холодностью, потерю всякой прежней близости. И государыня отправила её из Крыма прочь.

Разлука не длилась слишком долго – государыня простила Аню, вернула, – однако что-то пропало, появилась тягость в отношениях, не могло быть прежней близости и лёгкости, анины капризы расстраивали покойные вечера, открылось, как она избалована, дурно воспитана, думает только о себе, ей всегда нужно что-то новое, – и государыня даже страшилась новых поворотов аниного настроения.

Затем в январе прошлого года Аню постиг страшный удар: она попала в железнодорожную катастрофу, были сломаны обе ноги, повреждена голова, спина, рвало кровью, она шесть месяцев пролежала на спине и перенесла несколько операций. И теперь стала калекою, навсегда с костылём. Это могло бы дать полное обновление прежней дружбы, государыня сидела при ней многими часами, – но, Боже, как далеко Аня ушла душой. Болезнь её не исправила, её капризность и требовательность только повысились, она язвила скрытыми намёками, теперь по своей беспомощности она надеялась получить больше внимания, посещений и ласки Государя, надеясь на возврат прежнего. Она не хотела считаться, что у государыни слишком много других обязанностей, ревновала её к раненым, слала по пять записок в день с призывом прийти, и два сидения в день по часу считала недостаточным, – хотя и говорить было не о чем. Чтоб этот несчастный случай имел в результате мир, чтоб Аня думала не только о себе, – государыня читала ей Жития Святых, но долго не размягчались её жёсткие глаза, она всё хотела, чтоб Государь навещал её часто: “У вас есть дети, а у меня – только он!” А стала ездить в коляске – хотела жить в их дворце и чтобы в саду встречаться с ним без государыни. Только последовательной твёрдостью и осторожностью отношений наконец излечили её.

Но шли и шли месяцы страшной войны, и вокруг всё увеличивалось врагов, – а Аня оставалась всё же верной душой и доверенной, и единственной преданной без оглядки. Она разделяла преклонение перед Другом, и была в курсе всех сношений, скрывааемых от мира. Только в её домике и можно было незаметно встречаться с Другом, только через неё – поддерживать с Ним быструю короткую связь. Уже на костылях, она поднималась к Нему на Гороховой на третий этаж и, страдая заедино, получала анонимные угрожающие письма с отметкою чисел, которых ей надо опасаться, и даже санитар её получал угрозы, что погибнет насильственной смертью, так что одно время давали ей дворцовую охрану. Друг неизменно её хвалил, называл “отроковицей небес”, и не желал никого другого для связи, и велел брать её в Ставку, когда государыня ездит туда. Да что ж, агрессивность её уменьшилась, и снова возвращалась хорошая девушка, добрая верная помощница. **Нас** вместе так мало – будет больше мира и силы.

Так мало нас – и ещё в разлуке. Многострадальный мой голубчик, солнечный большеглазый душка! Ты делаешь великое и мудрое дело, но когда же ты будешь освобождён от волнений и тревог, и будут честно выполнять твои приказания, служа тебе ради тебя самого? Как я хотела бы помочь тебе нести твой неудобноносимый крест! Это ужасно – давать делать тебе одному всю тяжёлую работу. О, как успокоить твою усталую голову! Иногда женщина может помочь, если мужчины к ней прислушиваются. Ты так всегда занят, ты можешь забыть, что я твоя записная книжка. Вот я посылаю тебе бумажку для памяти – держи её перед собой во время приёма министра. Ах, зачем мы не вместе, чтобы обо всём переговорить! Моё перо летает как безумное по бумаге, не поспевая за мыслями, но я не могу писать обо всём, о чём хочется. Устроить бы прямой телефон – но так, чтоб его не подслушивали.

Из сознания долга и окрылённая любовью, и из сострадания к изнемогающему супругу государыня находила в себе и мужество, и мужскую волю, и мужской разум, – особенно в последние годы, когда, по-видимому, все мужчины стали носить юбки. За последние годы, когда Александра Фёдоровна выбилась из малолетства пятерых детей, – не было такого случая, чтоб она не имела определённого государственного мнения и мнение это было бы неправильно. Да слишком близко она стояла, чтоб разрешить себе не вмешиваться! Сперва с робостью она вступала в помощь царственному супругу, оговариваясь и извиняясь перед ним, ничего ли он не имеет против, что она является со своими идеями. Она ежедневно молила Бога, чтоб оказаться верной помощницей и правильно советовать.

Я чувствую, что я поступаю жестоко, терзая тебя, мой нежный терпеливый ангел. Мои письма, наверно, часто тебя раздражают. Но если я когда-нибудь тебя огорчила – то никогда не умышленно. Ты знаешь, между нами за всю жизнь никогда не было ни раздражения, ни громкого слова. Но я всегда была твоим колокольчиком и предостерегала тебя от дурных людей. Я знаю, что могу тебе сделать больно и грустно, но ты, Бэби и Россия мне слишком дороги. Хотя бы из любви ко мне и к Бэби – не давай никаким разговорам или письмам обескураживать тебя. Иногда я дохожу до бешенства, зная, что тебя обманывают и предлагают тебе самые дурные вещи. Не предпринимай крупных шагов, не предупредив меня и не переговорив обо всём спокойно. Разве бы я так писала, если б не знала, что ты легко колеблешься и меняешь образ мыслей – и чего стоит заставить тебя держаться твоего собственного мнения. Я так боюсь за твою мягкую доброту, всегда готовую сдаться. Мне кажется жестоким, что я это пишу, но я страдаю за тебя как за нежного мягкосердечного ребёнка, который слушается дурных советчиков и нуждается в руководстве. В такое время быть в разлуке – совершенно невыносимо и может свести с ума. Насколько было бы легче разделить всё друг с другом! (Хочешь, я приеду на один день, чтобы дать тебе храбрость и твёрдость?...) Мы должны передать Бэби крепкое государство и ради него не смеем быть слабыми, иначе у него будет ещё более трудное царствование, так как придётся исправлять наши ошибки и крепко натягивать возжи, которые ты распустил. Мы – Богом возведены на престол и должны твёрдо охранять его и передать неприкосновенным сыну. Мой долг как матери России – сказать тебе всё это.

Поначалу государыня чувствовала, что министры её не любят (как не любит и весь петербургский свет и царская фамилия), но дальше – помогала всё уверенней. И вот уже Ники благодарил, что она нашла себе настоящее дело – поддерживать согласие среди министров и беседовать с ними. Теперь она совсем уже не стеснялась министров и говорила с ними по-русски как водопад, и они из любезности не смеялись над её ошибками. Министры видели, что государыня энергична и передаёт Государю всё, что видит, слышит, что делается, – что она государев глаз, ухо и крепкая стена в тылу. Бобринский сказал: “Левая клика ненавидит вас, Ваше Величество, потому что чувствует, что вы стоите за Россию и за трон!”

Да! И она – более русская, чем иные другие в этой стране, и она не останется равнодушна к левым мерзостям!

Мне труднее заставить тебя быть твёрдым, чем самой переносить ненависть других, которая меня оставляет холодной. О, как бы мне хотелось влить в твои жилы мою волю! Не слушайся людей, которые не от Бога, но трусы. Ты их испортил добротой и всепрощением, они не знают значения слова послушание. Не сгибайся перед ними! Покажи им свою властную руку и дух! Если они будут знать, что тебя всегда можно понудить к уступкам, – никогда не будет мира.

Сам повелитель – с вечно застенчивой улыбкой. Зато Александра понимала и всё величие его царствования и все опасности его. У Ники не хватает умения быстро разбираться в людях, а в себе Александра это умение нашла. Он переживает много трудных минут, не зная, кто говорит правду, кто пристрастен. Вот слабость Государя: когда на него слишком давят – он в конце концов уступает, считая, что так будет лучше. А уступать на самом деле – нельзя: за каждой уступкой потребуют новых. Если менять министров по каждой прихоти Думы – Дума вообразит, что это она выгоняет. Советчики и окружающие подводят его, вынуждают быть иногда несправедливым. Он всегда медлит с каждым решением, и нужна жёнушка, которая подталкивала бы его. Ах, эти его колебания! Ах, эта его беспредельная мягкость. Возвышенна эта мягкость и кротость, но для Неба, не для земли! Конечно, такая мягкость – идеал для христианина, но всё-таки – не на троне! На троне – нужны и тугие поводья, нужно и железо.

Сколько терзаний испытывала она от его непростительной мягкости! Передавать ему мужество, решимость, энергию – и была главная цель жены. Как я хотела бы дать тебе веру в себя самого! Несказанны твоё терпение и всепрощение. Говори мне открыто, даже плачь, – от этого физически становится легче. Возможно, я недостаточно умна, но у меня сильное чувство, я прислушиваюсь к своей душе – и хотела бы, чтоб и ты прислушивался, моя птичка. Мой дух бодр – и я готова ко всему, что тебе может понадобиться. У меня довольно энергии, даже когда я себя чувствую больной. Мне хочется всюду вникать, чтобы будить людей, наводить порядок и объединять все силы. Пусть все работают рука в руку ради единого великого дела, а не ради личного успеха. Мелкие личности часто портят великое дело. Я неудобна для таких типов. Я тебе надоедаю этими разговорами? Я ненавижу тебе докучать. Как я хотела бы, чтоб настало такое время, когда я могла бы писать тебе только милые забавные письма, про нашу любовь, нежность, ласки. О, если бы мы могли уехать на несколько дней на юг! Но дела – неотступны, строги к нам, – и будь же строгим! О, дай им почувствовать твою мощь! О, заставь замолчать противоречащих, ведь ты их повелитель! Кто делает ошибки – тех наказывай. А когда накажешь – не прощай тут же сразу, как ты склонен, не давай смещённым тут же хороших мест. Тебя недостаточно боятся. Будь твёрдым и внушай страх, ведь ты мужчина! Будь как железо. Дай почувствовать им всем твою волю и решительность! Хвати кулаком об стол! Будь хозяином! Правит царь, а не Дума! Будь Петром Великим, Иоанном Грозным, императором Павлом – и раздави их всех под собой! Будь львом против малой кучки негодяев республиканцев! Идёт война – и в это время внутренняя война есть государственная измена, почему ты на это так не смотришь?

(По окончании войны надо будет произвести расправу с врагами: почему должны оставаться на свободе те, кто готовили низложение своего Государя, а также Самарин,

который столько неприятностей натворил?)

Почему меня так ненавидят? Потому что я твоя скала и опора, и это для них невыносимо. Неправедные и дурные ненавидят влияние на тебя нашего Друга и моё – а только оно благо. Я всецело полагаюсь на нашего Друга. Благодаря Его руководству мы перенесём эти тяжёлые времена. Молитва Друга даёт тебе силу, в которой ты так нуждаешься. Не имей мы Его – всё давно было бы кончено.

Дома – здоровая атмосфера, тут – Ники видел все вещи правильно. Но когда он в Ставке – государыня постоянно боялась, не замышляют ли чего. За эти месяцы она несколько раз ездила туда собственным поездом и в нём жила, со всеми дочерьми, а моторами ездили то в губернаторский дом к завтраку, там переодевались, ехали на прогулку, ещё переодевались, к чаю, – и снова в свой поезд, а затем Государь с наследником приезжали обедать к ним. Яркие незабываемые поездки, и снова общение, хоть не совсем как дома. Эти последние дни государыня жила близким сроком поездки в Ставку, уже назначенной.

Но даже короткие оставшиеся дни было невыносимо прожить: что-то копилось грозное в воздухе, подобно лету Пятнадцатого года. Так, не досмотрясь, можно докатиться и до революции. Как жила сейчас Александра! – почти не спала, ночь за ночью по два часа, душа горит, голова устала, вся истомлена уже с утра, – и только дух бодр, бороться за трон Государя и за Бэби. А тут ещё – две недели непробиваемого пасмурного свода, сырость, тяжесть, ни луча. В такой погоде и открылась злостная Дума.

А на другой день, в среду, радость: ясное-преясное солнышко! Какое наслаждение, какая надежда: Бог поможет нам выйти и из этого положения! Быть может, с этой перемены погоды всё и станет лучше, знак! И ещё одна радость, знак: установили, наконец, прямую телефонную связь со Ставкой, и с той стороны подошёл к телефону Бэби, – но так плохо, так издалека, неясно, ничего не разобрать.

Всё – в солнце, и дурные вести от заседания Думы во вторник, какая-то грязная речь Милюкова – как бы растаяли, показались совсем несерьёзны.

А Штюрмер этим заседанием был очень расстроен: Дума и не хочет слышать ни о какой законодательной работе, а вся обратилась к борьбе с правительством; и не указывает, что же именно плохо, а – “мы или они”, свалить правительство и заменить своими! Это во время такой войны, безумцы! Дать им самим ставить и снимать министров – это будет гибелью России. Все на этом помешались – но этого не давать!

И от чего ещё приуныл Штюрмер, что на этом думском заседании ему самому досталось, бедному: Милюков объявил его взяточником, изменником – и прямо сослался на Бьюкенена, а Бьюкенен промолчал! какая подлость от союзного дипломата. Хотя не такой болтун и глупец, как французский посол, но тоже неумный, а главное надменный, и очень дерзко стал разговаривать с Государем, выставляет требования.

И вот, не имея возможности затронуть престол, напали на беззащитного старика – и Штюрмер терзается, что он стал причиной всех этих неприятностей для Государя. Он хотел протеста ото всего правительства – министры уклонились, пусть старик выпутывается сам. Штюрмер считает, что Родзянку следовало бы лишить придворного мундира за то, что он не остановил, когда в Думе инсинуировали. Он поручил Фредериксу, как министру Двора, сделать выговор Родзянке, но Фредерикс по глубокой старости ничего не понял и не то написал. Итак, получилось безвыходное положение: министру-председателю нет защиты от клеветника. И остаётся подавать в суд как частному гражданину.

Правда, от правительства пошли выступать в Думу Шуваев с Григоровичем – но всё смазали, взяли неверную ноту: как бы отгораживались от остального правительства, заискивали перед Думой. А Шуваев сделал и гораздо хуже: в кулуарах пожал руку Милюкову, который только что выступал против нас.

Нет, Шуваев – мешок, не годится. Ах, как нужен на место военного министра – истинный джентльмен Беляев!

Пусть! Левые в ярости, потому что всё ускользает из их рук: они видят, что создаётся, наконец, твёрдое правительство – и им тогда ничего не взять. Пускай кричат, а мы покажем,

что не боимся и тверды. Думцы отвратительны из-за своего отношения к России: как они вредят ей и совсем не думают о ней.

Грустно убеждаться, что у злонамеренных людей бывает больше храбрости и подвижности, и они больше успевают, чем мы.

Но нужно предвидеть, а не спать, как в России это обыкновенно делается. На самом деле всё идёт к лучшему. Хотя и медленно, но верно всё улучшается.

Тут получилась беда с этой продовольственной переменой у Протопопова. Штюрмер находит Протопопова суетливым, а особенно теперь, после этой резкой переменчивости. О нет, Протопопов – не суетлив, это Штюрмер мешкает, не умеет ответить врагам быстро и своих министров не держит крепко в руках. Нет, Протопопов – спокоен, хладнокровен, а главное – предан, честно за нас и благоговеет перед Другом. Но, конечно, эта быстрая путаная перемена с продовольствием измучила и государыню; обескуражился и Государь, а он, отдалённый расстоянием, одинокий, хрупкий, таких колебаний ему не надо испытывать. Но не огорчайся! – слала она ему вдогонку, – первое решение было правильно, и оно скоро осуществится.

При таких напряжённых событиях особенно поддерживали государыню встречи с Другом, часто – и по два раза в неделю. В эту среду вечером в маленький анин домик Друг пришёл с епископом, был настроен возвышенно и великолепно, говорил спокойно. Только очень огорчился, что едет в Ставку Николаша – впервые после своего смещения. Николаша – это злой дух. И раздражён был Друг – на Протопопова: прямо назвал, что он отказался от трусости и откладка с продовольствием на две недели – просто глупая, никакого смысла не имеет. Из-за Думы же Друг не слишком волновался: она всегда кричит, что бы там ни было и как ни поступи. Сухомлинова – освобождаем, это хорошо. А вот с Рубинштейном? Государь всё не слал освободительной телеграммы. Он опять там засомневался? Ему наговорили в Ставке что-нибудь другое? Почему он медлит? (Со многих сторон обращались к государыне о спасении Рубинштейна.)

Во всём происшедшем отчасти и сам виноват Штюрмер: он чего-то испугался, целый месяц не видел Друга, вот и потерял точку опоры. А правильно Друг говорил и раньше: довольно со Штюрмера, что он председатель, не надо ему было брать министерства иностранных дел, с этого и пошла главная травля. Сейчас Друг думал так: иностранные дела Штюрмер пусть уступит. А самому – заболеть недели на две, пока Дума искричится, пойти как бы в короткий отпуск, – в отпуск, но ни в коем случае не в отставку! – он преданный, честный, верный человек, и тихо вернётся, как только в Думе будет перерыв. А пока его заменит по закону старший из министров – Трепов. (И Штюрмер научит его, что надо оберегать Друга).

Если б не было над государыней мудрости Друга – всякое могло бы случиться. Он – скала веры и помощи.

Конечно, к Трепову ей невозможно будет иметь такого чувства, как к Горемыкину или Штюрмеру. Те – из прежнего, хорошего сорта людей, и любили государыню, и приходили к ней по всякому тревожному вопросу. А Трепов – жестокий человек, не любит её и не верит Другу, работать с ним будет трудно.

Но ведь только на время! И Штюрмер, и Протопопов, конечно, останутся на местах. Так мало честных людей! – найдя, наконец, преданных, – за них уже надо держаться всеми силами. От нас хотят отобрать всех преданных и добросовестных – и заменить сомнительными личностями Думы, не годными ни к чему. Нет, дело не в смене отдельных людей – спор идёт о престиже монархии. Они не останутся ни на ком отдельном, они будут заставлять уходить одного за другим, – а потом и саму царствующую чету!

Оставались уже считанные дни до следующей поездки государыни в Ставку – но бурные дни, и при таком думском нажиме государыня очень опасалась, чтоб именно за эти дни Государя не совлекли, не заставили уступить. И каждый день с новой изобретательностью и новой убедительностью она исписывала страницы писем, ещё по-новому помогая укрепиться супругу, ещё от новых опасностей оберегая его.

Отправила лучшие из своих убеждений, дотягивая может быть роковую неделю, – а взамен получила сегодня в пятницу письмо со вложением: великий князь Николай Михайлович, который зачем-то приезжал к Государю во вторник (зачем? так и сжималось сердце, что здесь – новое зло!), не только брался внушать Государю, но ещё оставил мерзкое письмо, – и Ники, в среду подозрительно обминув всё событие, в четверг вложил это письмо прочесть государыне самой, – и теперь оно обжигало ей руки.

Старый ничтожный болтун! мерзкий, гадкий человек! Что он нёс – против жены своего императора, да ещё во время войны, – это гнусная мерзость, предательство! Он и все двадцать два года ненавидел государыню и дурно отзывался о ней в клубе, его речами возмущаются даже посторонние люди, он – воплощение всего низкого, ему невыносимо, что с мнением государыни начинают считаться. Как легко учить со стороны, не неся бремени и ответственности!

Закурила, хотя от этого расширилось сердце.

Не к этому ли был сон с отрезанною рукою?

Два дня постоявшая погода в пятницу опять помрачнела и угнетала страшно.

Ранило её больше всего – что за Николаем Михайловичем безусловно стояли государева мамаша и сестры, которые тоже наслушались сплетен, – они несомненно одобряли его! Ранило её то, что Ники во время разговора – не остановил этого оскорбительного болтуна (а даже может быть в чём-то был им и поколеблен?).

Почему ты ему не сказал, что если он ещё раз коснётся меня, – ты сошлешь его в Сибирь, ибо это уже граничит с государственной изменой? Мой дорогой, ты слишком добр. Я – твоя жена, и они не смеют. Как он смеет говорить тебе против твоего Солнышка? Даже частный человек ни одного часа не стал бы переносить таких нападков на свою жену! Для меня это трин-трава, меня не трогают эти мирские вещи и мелкие гадости, – но мой муженёк должен был бы за меня заступиться. Многие думают, что тебе всё равно.

Гадкие люди повсюду трепали имя государыни. Она получала самые отвратительные анонимные письма. Столбами поднимались миазмы и микробы из Петрограда и Москвы. Далеко не все подробности злословия докатывались до августейшей четы, но воспламениться можно было и от того, что доводилось слышать. Императрицу, англичанку по воспитанию, какие-то скоты звали “немкой” (как когда-то “австриячкой” несчастную Марию Антуанетту, или как будто хоть одна царица в России за последние два столетия была русская!). А теперь, в разгар войны, связывали это едва ль не с изменой России! Божьего человека сделали символом ненависти образованного русского общества, которое само не понимало четвертой части того, что читало. В гнилых столицах об императорской чете говорили с полной распушенностью. Сперва Государыня и Государь надо всеми этими слухами просто смеялись: кто против нас? петроградская кучка аристократов, играющая в бридж и ничего не понимающая в России. Да ещё пока идёт великая война – обращать ли внимание на ничтожную клевету? Всё это злословие (уже перекинувшееся и к иностранным послам!) побуждало только ещё тесней замкнуться в своей семье, никого не видеть и не слышать.

Но стали прорываться и прямые обращения дерзких лиц, да носящих придворные мундиры, осмелевших указывать, что должен делать монарх, пишут докладные на десяти страницах. (А у нас Фредерикс – рамольная тряпка, давно не годен к должности министра Двора, не способен наложить наказание за клевету на оберъегермейстера, но Ники держит старика, чтоб он не обиделся увольнением. Ну хорошо, они поплатятся в мирное время, и многие будут вычеркнуты из придворных списков.) И протопресвитер Ставки тоже полез указывать.

Миазмы клевет дымились, все имели свободу лгать, намекать, обливать грязью, – но никто в целой России не поднимался на защиту императрицы.

Неся на голове российскую корону и имея целые полки её имени – разве имела царица хоть какую-нибудь силу защиты от этих клевет? Только царственный Супруг, в грозе и гнев, мог защитить её.



Но он не защищал её даже тогда, когда, в старой Ставке, Николаша с императорскими офицерами и великими князьями обсуждали, как живую, царствующую, нераскоронованную императрицу – запереть под замок, как вещь, как зверя.

## 73

Приснился Павлу Ивановичу такой сон: будто бы с Лёкой они лежат на широкой кровати, но не для любви, а в одном из тех изнемогающих разговоров, какими наполнены были их последние совместные годы. А потом она стала добиваться ласки, и хотя он во сне же ощущал неестественность и запретность этого – они стали целоваться, по щекам. Вдруг чувствует, что щёки его очень мокры – отчего бы? И тогда хорошо увиживает (до сих пор совсем не видел) лицо Лёки: на её щеках в двух-трёх местах кровавые следы: не подкожные подтёки, а – натеки, как от серьёзных порезов и по форме двух дуг зубов. И тогда он понимает, что мокрость на его лице – это тоже обильная кровь. Что они не целовались, а как бы кусались, но без намерения и сами сперва не замечая. Тогда он встаёт и идёт умыться. А вернувшись видит, при непонятном невидимом свете: Лёка лежит всё на том же месте, одетая, лицо её уже умыто, никаких порезов нет, но – в гримасе боли и саможалости, как он часто видывал её, перед тем как им разойтись. А невидимый зломысленный подставил ей на твёрдой подпоре бумагу – и Лёка подписывает, совсем нехотя, всё с той же безрадостной жалостью, но не к нему, а к себе. И он понимает – что это постыдное что-то, она сама же потом ужаснётся, и говорит: “Зачем ты? Ведь люди узнают!” А она – иссушенным смехом: “А-а, всё равно!...”

И проснулся. Со щемленьем, как от всякого яркого с нею сна, а хороших между ними давно не бывало.

Никто не снился Павлу Ивановичу так часто, как Лёка. Удивительно: столько лет уже не жили и не встречались – но с той же настойчивостью и мстительностью Леокадия вторгается в его сны, как не бывало ни при влюблении, ни при семейной жизни. Эти непрерывные сны не могут быть без её воздействия, у неё, наверно, свойство такое – при сильных переживаниях посылать излучения их. А Павел Иванович был восприимчив и вообще богат снами. И так, годы не выдав Лёки и не переписываясь уже с ней, он иногда почти с точностью знал, что там она чувствует или делает, только надо было взять общий смысл сна, это он уже привык. То она виделась ему в своём прежнем вечернем платье, но совершенно истрёпанном, в дырках и грязном. То – искроченной в позвоночнике, склонённой по пояс, как сведена болезнью или уколом. То они ехали в извозничьем фаэтоне, но задом, не видно, был ли кучер, лошади, но фаэтон катился назад. И он говорил ей, да кажется искренне: “А я ждал тебя у нас”, то есть здесь, на Малом Власьевском. И она – совсем печально, грустно помолодевшая: “Разве у *нас* ещё есть?”

После каждого такого сна, как и сегодня, он пробуждался с заболевшей душой.

С не переставшей болеть никогда.

Обдумывал сон – а потом и не заснул. Уже рассвело. Да ему, пожалуй, больше и не надо было.

С годами Павел Иванович стал высоко подмащивать подушки, а то за ночь затекала голова и целый день потом болела. И проснясь, он давно уже не вскакивал, не поднимался бодро к действию, но медленно-медленно перемещался к дневному состоянию, по мере этого и подсовываясь выше и выше, пока уже полусидел.

И всё это время он видел – с тех пор как кровать была переставлена так, значит уже девять лет, – один и тот же привычный рисунок, первый утренний вид: переплёт небольшого оконца старого деревянного особнячка (одинарные рамы летом и двойные зимой, с ватой внизу и стаканчиками соли). В нижней части справа – конёк крыши флигеля, часть одного ската и не полностью – кирпичная труба (и все виды дыма из неё, прозрачного или густого, востекая прямо вверх или ветром гонимые, разрывающиеся вбок). Выше и слева – сильную ветку вяза (в листьях и нагую, и со снежным нападом, неподвижную или в лёгкой раскачке, и

отдельно движение паветвей, в пасмури или в косых лучах). А за ней – это уже за соседним домом – плечо церквушки Власия, одно верхнее ребро кладки её, не купол. И ещё дальше там – деревянная стена, кусок другой крыши.

Поставленный против кровати этот вид был девять лет, а вообще-то – сколько Варсонофьев помнил себя, потому что в этом доме он и родился, 61 год назад. Раньше – только знался, что есть такой, а вот теперь, при этих медленных вставаниях, в оттенках погоды и внутреннего настроения, этот вид определял собою начинающийся день – иногда жестокий.

Подыматься – становилось с годами задачей. А сейчас – ещё вовсе рано, только проступало серое ноябрьское утро с мокрыми голыми ветками и мокрой железной крышей. Сейчас – хоть и ещё бы поспать, такая была нерешительная в теле слабость.

С тех пор как умерла его бывшая тёща, лёкина матушка, она тоже иногда снилась Павлу Ивановичу, и всегда тоже выразительно, повторяя энергию, которой владела при жизни. Вскоре же после смерти она привиделась ему быстро идущей по Арбату с небрежно распущенными серо-седыми волосами, Павел Иванович еле за нею поспевал, а прохожие были, но как и не были, с ними они не сталкивались, как бесплотные. Тёща на ходу выбрасывала руки, быстро что-то показывала и говорила неразборчивое – о магазинных витринах и даже кинематографических вывесках. И вдруг исчез Арбат, и движенья не стало, а она сидела матрёшкой, в деревенском платочке, румяная, и сказала жалобно: “Пашенька! У меня к тебе просьба: возьми меня к себе!” Но Варсонофьев и во сне понял, с шевелением волос, что это – не в дом жить, но что она же – умерла, и хорошо, что не зовёт его к себе. Возразил: “Марья Николаевна, как же я могу, это невозможно”. Та пригорюнилась и сказала: “А ко мне в гости приезжают”, то есть значит с Земли. “Как же это понять?” – недоумевал он и во сне. Она ответила уже холодно: “Как хочешь, так и понимай”.

Варсонофьев привык считать такие сны не пустым калейдоскопом бессвязного воображения, но истинными душевными встречами – с живыми или умершими, только зашифрованными всегда, иногда слишком для нас трудно, а иногда мы не хотим потратить время разгадать. Из той жизни никто не может выразить живущим здесь свою мысль адекватно – и наша случайная с ними связь всегда обречена на неточность, на догадку, на истолкование. А характер и настроение – так почти и нескрываяемо выражаются во снах всегда. Слезы и горе, видимо, преобладали в настроении Марии Николаевны в загробной жизни, как и последнее время на земле, когда она болела долго. Раза два она приснилась ему плачущей в горькой обиде – и оба раза (но совсем не в одну ночь) почему-то над рыбой, даже грудью припав на стол к тарелке с жареной рыбой, которую она ела. И ясно было, что плачет она не так о себе, как о Лёке. А ещё раз – будто Павел Иванович лежал, не могчи встать, а Марья Николаевна стояла у ног его в санитарном халате и больно скручивала ему пальцы ног. Как мстила.

Состоянье твоего греха по отношению к живому постоянно меняется: какие-то если не поступки, то пробежавшие мысли минувшего дня или узнанное что-либо меняют окраску твоего долга, твоей вины и соотношение тебя с тем человеком. А по отношению к умершему грех застывает уже навсегда: иногда чёрен и жжёт безщадно. А иногда – приосветлён, как безысходный манок, привет между двумя мирами.

С Лёкой жизнь Павла Ивановича осталась – будто где-то в стороне, не при ней и не при нём, такая, что нельзя было отличить начал и концов, причин и последствий. Ни он, ни она, ни порознь, ни вместе не могли бы всё распутать и разобрать, а тем более – никто со стороны, никто за них, и ни у кого б терпения не хватило выслушать все доводы сторон, исследить историю истинную и произнести приговор. И только удивлялся Павел Иванович долго себе, что у него хватило воли вырваться из этого мясорубного месива и отползти вылечиваться.

Это защёчное сжатие жалости и горести, которые он сегодня увидел на её лице, когда она говорила – “а-а, всё равно!”, – как оно было ему знакомо, сколько раз он его видел в последние тяжёлые годы их: одновременно снисходительная усмешка над его

недостойностью и безнадёжное горе по себе.

И ведь все эти годы, по 365 дней в каждом, проживает же и Лёка – его венчанная и неразведенная, и давно совсем чужая (без его влияния всегда чужела мгновенно), – и вот, по снам видно, вспоминает о нём едва ли не каждый день, и может быть сегодня в Казани, приснился ей такой же симметричный сон.

И зачем-то рожали, растили, учили дочь – а та вся влипла в замужество (да и хорошо, что так! так и быть должно), но отстранение далёкое, и уже неважно, какая там у неё была девичья фамилия – Варсонофьева или другая, из какой семьи вышла, – а важно: ушла без касаний.

Это время медленного просыпания, усиленного подтягиванья себя от ночного небытия к дневной необходимости, было и время косога перебора воспоминаний – какие сами вскочат и пробегут.

Теребящая сила воспоминаний, при которых прошлое кажется реальнее настоящего.

Ах, стало тяжело Варсонофьеву просыпаться, начинать день. Как будто ещё же не так стар, – но как связано пробуждение этой неспособностью – молодо вскочить, действовать. Неспособностью не только тела, а ещё больше – сознания. Сознание, наиболее тяжело погружённое в ночное состояние, наиболее медленно из него выникает, осторожно и недоверчиво возвращаясь к этому миру.

В эти первые минуты возвращения мир кажется так горек, так труден душе – тягостью жить в нём, волочиться по нему. Так трудны свои обязанности. Так нескладно и плохо – уже сделанное.

Совсем нет прежнего утреннего уверенного: скорей вскочить, скорее к делу! Уже нет прежней заинтересованности во внешних действиях, в успехе. Безразличие.

Теперь – мало вспоминалось в прожитой жизни дел, которые не надо было делать иначе.

Так и с Лёкой. Разъединение с ней сперва он считал только излечением и единственным спасением души. И надо было пройти пяти-семи-восьми годам, чтобы понял Павел Иванович, что на этом разъединении он надорвал себе душу. Как будто навсегда потерял лёгкость и навсегда ссутулился.

Теперь так он видел. Ошибкой было когда-то – соединиться с ней, в неё поверить. И ошибкой было – жить с ней столько лет. И ошибкой было – с ней разойтись. Всё и каждый раз – было ошибкой.

В пожилом возрасте сердце становится осязаемо-тяжёлым, и носишь его как груз. Все проблемы пройденной жизни, такие даже лёгкие в свои десятилетия, как будто проскоченные нами благополучно, как будто спавшие с нас давно, – вдруг оказываются все здесь, все наслоились плитами на нашей груди – и давливают.

Но даже и привязался Варсонофьев к этим своим трудным, медленным, одиноким вставаниям. Так полчаса, иногда и целый час он мог лежать совсем неподвижно, не имея ни сил, ни нужды дотянуться отщёлкнуть, посмотреть часы со столика. Не имея потребности истолковывать суетливые звуки жизни, если они достигали. Лежал – и думал, как мысли сами потекут, не задавая их. Смотрел на тёмный резной небелёный потолок – и из его резьбы вычитывал.

Сознание постепенно возвращалось и в высшую область головы – и Варсонофьев подтягивался по подушке вверх, вверх. И ждал ещё минут, когда сознание, уже обратным током, распространится волею по телу – через грудь в туловище, и по рукам, и по ногам, – и готово будет тело покорно встать и понести бремя.

Вздыхнул – и спустил ноги, уже без труда. В комнате показалось холодновато. Привычно взял халат со спинки кресла, заложенного книгами вечернего чтения, надел, пошёл, постепенно и разгорбливаясь.

Не годы его гнули, а мысли.

По пути потрогал белый кафель голландской печи. Еле-еле была тепла. Надо, чтобы сегодня покрепче протопили: сыро, пасмурно, мерзко за оконцами, кажется и морось.

Прошёл ещё две комнатки с низкими потолками – мимо сундуков, книжных шкафов, японской ширмы, журнальных стоп, какие от пола, какие от стула, опять шкафов, комода, гардероба, всё прошлого века и всё не передвигалось пятнадцать, двадцать, тридцать лет, волчьей шкуры, опять книжной полки, до отказа забитой книгами на всю высоту, стоймя и лежмя, в старых кожаных переплётах и свежих совсем. Мимо груды высохших дров, уже на антресолях, над сенями. Большого самовара на 20 человек, не употребляемого. И стал спускаться по скрипучей лестнице.

В конце просторных сеней за большим ларём была и двойная выходная дверь с синестеклянной ручкой. Павел Иванович сбил туговатый крючок и, припахиваясь от сырого холода, высунулся наружу, залез рукой в деревянный почтовый ящик. Все три газеты были здесь – две московских, одна петербургская, с опозданием на сутки.

И уже не запирая крючка, чтобы ход был прислуге, теми же ступеньками всходил.

Хотя достигнутое наконец утро тянуло Варсонофьева к самому счастливому – одинокому размышлению и работе над бумагой, чем и строится душа; хотя уже лет более пяти назад Варсонофьев окончательно осознал, что ни одна газета не может принести ни ему и никому никакого прояснения мысли, а лишь исплосить её, уповерхностить или заострить в направлении партийном, – но, как курильщик или пьяница, не мог отказаться от этой страсти: совсем изгнать газеты из своей жизни он уже не мог, был отравлен. Чаше он пытался не брать их в руки с утра – тогда сохранялось несколько лучших утренних часов мысли; после обеда газеты, как и курение, не так отравны. Но иногда, хоть и запретив себе, а всё же механически шёл и брал, – и так губил день, если не изгаживал душу. А сегодня он пошёл даже и сознательно, не дотерпывая прочесть о думских заседаниях или хотя бы увидеть, как много или не много белой полосы выкатала цензура.

И не дойдя до кабинета, на столике рядом с бездействующим самоваром он развернул и, полунагнувшись, полуопираясь рукой, стал смотреть. Да, белых цензурных пятен было изрядно, и они-то больше всего кричали и выражали – гораздо богаче мыслью, чем эти ораторы на самом деле могли произнести.

И прежде всего, конечно, прочёл речь Милюкова.

И был поражён её ничтожностью. Даже не в сравнении с высотами человеческого ума – но с холмиками милюковского. Не речь государственного человека, а какой-то перебор сплетен. Силы речи, силы обращения к собранию у него и никогда не было – ни хватки, ни образов, ни блеска, – а только улавливал он среднюю мысль аудитории и средней же мерою её выражал. В Милюкове отсутствует созерцательная глубина, в нём нет сознания выше позитивистского, и вот эта ограниченность даёт ему напор быть политическим вождём. Выше минутного политического лозунга он и не может дать ничего ни своей партии, ни своему парламенту, ни своей стране.

Не только знаком был с ним Варсонофьев, но и два раза держал с ним публичный диспут – о “Вехах”. Даже это – самая резкая чёрточка в Милюкове: как разъярился он на “Вехи” и понёсся во всероссийское турне – опровергать эту книгу, раздражавшую, дразнившую его своей глубиной.

Удивительна и его научная бесплодность: неаккуратность с источниками, назойливые **выводы** вместо фактической истории и честолюбивое сторожение своего престижа. При всём том он оценивает эту страну до себя не доросшей: недавно в Христиании жаловался на недостаточность “восьми культурных поколений в России” (считая их, конечно, от Петра). Сам собою он постоянно лобуетя и – проговаривался – меряет себя под Герцена. А между тем – лишён дара счастливой лёгкости, да даже кругом неталантлив.

Да и сам Варсонофьев тоже ведь начинал вместе с ними со всеми – с Петрункевичем, Шаховским, Вернадским. В 1902 году уже назначали его – ехать за границу, выпускать там “Освобождение”, – это представлялось тогда как обречённость эмиграции навечно, маячил и тут образ Герцена. Но взялся выпускать молодой Пётр Струве.

Да всего десять лет назад Варсонофьев был в их крикливой, мелочной толпе, с Родичевым, Винавером, Милюковым. Вполне искренне был горячим депутатом Второй

Думы – и ещё не усумнялся в жаре борьбы. И ему, как другим, третьиюньский разгон Думы казался насилием, не имеющим себе равных в истории!...

А ведь он был и тогда не мальчик, уже пятьдесят.

Останься тем же – он и сегодня был бы вот на этих газетных страницах. Даже дико.

Всего удивительнее в нас, как мы бываем искренни на разных поворотах нашей жизни – и как почти нацело это потом всё в нас меняется. Поражает несомненность и предшествующего убеждения и сменяющего.

Так всё повернулось в Варсонофьеве, да и не вовсе медленно: зачем он тогда так страстно бился? Всё было не то. Суетливый, самодовольный Союз Освобождения – как стая крупных глупых птиц, дружно хлопающих крыльями.

Нетерпеливая тщета: хотели поворачивать ход такого корабля, не доникнув до его сущности. А ход – непостижим нашим умам, и мы имеем право только на малые, на малые тяги. Без рывков.

Пять десятков? шесть десятков? семь десятков лет? надо прожить, чтобы понять, что жизнь общества не сводится к политике и не исчерпывается государственным строем.

Время, в котором мы живём, имеет бездонную глубину. Современность – только плёнка на времени.

## 74

После Гурко – оставалось уезжать. Но нужный поезд шёл только утром. Воротынцев выписал в отделе железнодорожных сообщений билет – и остался ему ещё один свободный вечер в Могилёве. Соображая, как бы лучше провести его, с кем бы ещё повидаться, пока здесь, Воротынцев придумал ещё раз зайти на почту: а вдруг от Ольды – да второе письмо? Жалко будет его не захватить! Да вот и самое лучшее: вечером сесть да написать ей большое, вчера невозможное во взбитых чувствах. Теперь, когда решила опять Румыния, и неизвестно, когда доведётся встретиться, – провести вечер как бы с Ольдой.

Только площади и Большой Садовой улицы было не узнать: снег, сугробы от расчистки, холодно, поужевшие тротуары, никакого гулянья, и закрылись лавочки у монастырской стены, только магазины и аптеки сверкали по-прежнему. Неузнаваемо другое какое-то место, не то, где было так романтично вчера.

Но у того же полированного почтамтского барьера тот же строгий чиновник, так же недреманно и нескучливо перебирая конверты, протянул Воротынцеву ещё один!

Жадно принял сверхожиданную награду – и сразу шагнул. На ходу глянул на адрес – не понял.

Не сразу понял.

Остановился.

Как странно: не сразу вместились ему, что – от Алины!

Не ожидал...

Уж её-то почерка ему не узнать! – размётанного, с вычурными вскидами и овальными петлями вверх и вниз.

Но: крупней. Ещё разбросанней. И почему-то страшней.

Не ожидал. Думал – до полка, ещё когда там напишет. Думал – какое-то время можно эти дразги не вспоминать.

Откуда ж она догадалась?... Да, он же сам показывал ей телеграмму Свечина. Как будто не заметила? Но он её нарочно и на столе оставил.

И письмо было – вот.

Что-то отчаянное в этих разбросах почерка. Как и в последнее московское утро.

А может – “не получил”? Ведь это случайность, что он зашёл на почту, мог и не зайти больше. Оставить всё это тяжёлое – до полка? До штаба армии?...

Жалко было разрушать вчерашнее счастье – небывалую тёплую ноябрьскую ночь, под снег. Ещё после Нечволодова ходил, ходил по тёмному Валу, уже в холодающем ветре, всё

не мог уходить. Клубился Ольде ответ, а ни строки не написав, свалился спать.

Но Алина – существовала, вот и забыть её было нечестно.

Подошёл к стоячей конторке, уже другой четвертушке, взорвал конверт пальцем, оставляя рваную рану.

Обращения – не было, и от этого сразу – как раздиранье одежд:

“**Зачем** мне муж, для которого я – не лучшая из женщин? Зачем мне муж – не лучший из мужчин?”

И вслед за этим её дёргом Георгий потерял ритм ровного чтения, не мог заставить себя читать строчки подряд и вникать, а нервно перебежал, ища дальше чего-то страшного и непоправимого.

“Мириться с тем, что есть **она**, – я не могу ни одной недели! Знай: для роли “одной из жён” я не создана!... Ты думаешь, в таком аду можно жить? Знать, что может быть сейчас ты поехал к **той**? Да мне во много раз легче расстаться с жизнью!”

О, Боже.

“Но кончить с собой ты мне не разрешил”.

Ну, обойдётся.

Но, сразу перескочив на полстраницы вниз, – как находя? как будто притягиваемый самыми жуткими строчками? -

“Я могу пройти этот путь только ценой самоубийства!”

Он вспомнил её вздрагивающее горло. И обморок в пансионе, обмирание рук от сердца – ведь это всё десятки раз могло с ней повториться за эти дни и без самоубийства, – а он её бросил и так легко ехал, и так освобождённо было ему!

Она же – вытягивала из слабеющих сил:

“Чтобы остаться жить, у меня выход только один: **оставить тебя** !”

Пол – ушёл из-под ног Воротынцева. Ноги стали невесомы, и всё тело: после угрозы – он взлетал в радость, радость полосанула по сердцу: **свободен ??**

Да он, оказывается, этого и хотел! Этого и хотел, не смея мечтать, не смея заикаться, сам себе признаваться.

Опять, как вчера, на мгновение он почувствовал себя летящим, кричащим воздушным шаром. Но только – на миг, и вот уже снова тянули его долу тяжёлые строчки:

“А чем – ты для меня пожертвовал когда-нибудь? Чем поступился?”

Правда. Он жил, служил – не для неё.

“Выбирай одну из нас, только не в Петербурге. Да хоть езжай и к ней! Я не прошу снисхождения! Я переросла снисхождение! Я вышла из обморока”.

Свобода! Свобода! – ликовало в нём вопреки разуму, как же он этого ждал!

А строчки – криком раздирающим, будто наступили на живое:

“Ты – свободен. Но и я – снова **свободна** ! Я, может быть, паду! Я, может быть, стану гейшей, но я – свободна! **Жалкой** – ты больше меня не увидишь!”

И подписи тоже не было.

Георгий зажмурил глаза. Горячей болью сжигало их.

Плавало.

Он с детства забыл это ощущение.

Мешало ему во сне как будто жжение и всё более сильное, чем прореженной становился сон.

Не переносное жжение, а настоящее: как будто йодной палочкой касались стенки сердца. Не переносного сердца, а – подлинного, левее средней оси груди, того, что кровь гонит, а вот – перебивается, с переборами гонит. От жжения.

И всё больше прожигая сон, это нестерпимое йодное жжение выкололо его из сна – и ещё наяву продолжало жечь.

Нет, не вышло ему спрятаться во сне.

И ночь, по чувству, ещё далека до конца.

И раздвинутая тьма, с непроблещенным окном, тем верней забирала его этой мукой.

А ведь с мукой такой же, неделю назад, и несколько ночей подряд, вот так же металась Алина, и так же жгло её в стенку сердца, – нет, хуже, наверно! – в десять йодных палочек. А он воспринимал снаружи почти как красивое: похорошела, смягчилась. И казалось, что как-то можно мирно, доброжелательностью необыкновенной...

А – вот оно, догоняющим проколом теперь: девочка моя слабенькая! что ж я на тебя обрушил? Объяснился, уехал, – а тебя оставил сжигаться!

Он сам был поражён жестокой силой, как стало ему жалко Алину. Он еле скрывал слезы на обратном пути с почтамта – и скорее заперся в комнате. Он в пансионе – не испытывал такой силы жалости.

Беззащитностью своих милых серых ослезённых глаз выставилась ему Алина, и в темноте явная, как освещённая, из раненого своего далека.

Что ж он наделал? Беда какая. Что ж он наделал с ней?!

Она только и живёт – любовью к нему. До чего ж ей нужно было дойти, чтобы кинуть себя жертвой. **Освободить** его!

Но о **таком** – он не думал! Он ничего такого ей не говорил! Он говорил, напротив: я тебя ни за что не покину!

Делить – она не может. Сразу порыв – разойтись! Готова – разойтись! Сама не представляет, что предлагает, не видит, как скоро сама сокрушится.

Вспоминалась эта “гейша”, этот крик её надорванный, кажется уху слышный сорванный голосок. Неумелая моя, да разве ты смогла бы?... А – срыв голоса, когда берут не по силе, как девочке захотелось бы петь взрослую арию. Это в ней есть! – в крайность, в пропасть порыв, не соображая, только что-то бы кому-то доказать!

Освобождение? – ещё не испрошенное, ещё даже в мыслях не развернувшее крыл? – и вдруг свалилось на голову. Освобождение – как кирпич.

Жертва Алины – отняла у Георгия всю лёгкость. Нельзя представить, что когда? – вчера? – ну да, тем вечером – он нёсся с почтамта на Вал весёлый, легконогий, молодой, – и впереди вот не ждал, чтобы что-нибудь омрачило, отняло добытую его радость.

А – вот.

То, что в Петербурге он принял за ослепительную удачу своей жизни. Что в Москве ещё виделось как новая бойная струя, влившаяся в жизнь. Вдруг теперь откинуло его навзничь во тьме – как безысходное несчастье. С которым соключиться и жить постоянно – невозможно.

За клубами этого несчастья заглушились вчера звеневшие ольдины слова – и он не расслышивал их сейчас. И затмилось её тонкое умное лицо, стояло как позади протягивающих дымов – и всё сразу не давалось охвату зрения, а где реже дымка – то печальный глаз, то напряжённая складка несогласия на лбу, то подрезанная верхняя губа. А всё вместе – не давалось. И не доносилось ничто.

А алинин надорванный крик так и прорезал уши, стоял иглою.

Это – её характер! Из бессилия – вдруг взлёт! тройные силы! гордость с закусом губ: она сама должна решать! не кто-нибудь за неё! И только так решать, как первый толчок её повёл! Я – не лучшая из женщин? Расстаёмся!

А через несколько часов или даже минут – сорвётся и сникнет.

“Ты увидишь меня в таком бле...”

Да разве она представляет, на что решается? Да разве она сумеет без него жить? Выздоровеет?

Да ты ж надорвёшься, бедняженька! Да разве я это допущу? Родненькая моя, до чего ж я тебя довёл?...

Не сердце у него болело – а вся грудь, как изломанная.

Но – Ольда? Но – Ольда! Но – Ольда, какая не снилась ему никогда? Покажись же, покажись же за этими дымами! Дай тебя увидеть и услышать! Помоги же! Ты же умница, всегда всё знаешь!

Нет, не давалась.

Только клочками.

Клочками воспоминаний.

И вспомнились вдруг её – её же – слова: всё человеческое умение – иметь дело с тем, что есть, а не придумывать, чем бы заменить.

Она – о другом сказала, а вот...

Что ж, в этом – рок. В этом – долг? В этом – бремя возраста. Сорок лет – это не двадцать, надо было все глаза открывать в двадцать.

Сбил, попутал генерал Левачёв.

Да-алеко откатился сон, безнадежно.

Навзничь под этой глыбой темноты – от этой темноты он был особенно беспомощен: всё должно было прожечься, провинтиться через него.

Да ведь – разве они друг друга не любят? разве не сжились? Как же – расстаться?

Сколько хорошего! Да почти только хорошее, трогательное, даже умильное, вспоминалось сейчас из их восьмилетнего прежнего быта. И как терпеливо она делила годами нищую офицерскую жизнь, так и не поживши всласть. И зная, что развитые офицеры из армии обычно бегут, – никогда не понуждала его. Да и Шопена с Шуманом за стеной – он правда любил...

Тем беспомощней он был застигнут, что никак не ждал. Никак. Ничего подобного.

Да и почему это всё так страшно раскрутилось? Разве оно должно было непременно вот так раскрутиться?

И всё ему – за то, что он сказал правду?

Значит, надо было, как все: скрывать, молчать?

И с чего всё началось? Из трансильванской дыры – всем уплотнённым зарядом – через все пространства пролетев бездельно, ненужно, позорно, – неразорванным снарядом шлёпнулся в болото.

В какой-то паралитичной схваченности лежал.

Вот это и болело сейчас: за всю жизнь чего он никогда не терял – уверенности в своих действиях. Спасительное всегда было в нём: уверенность в хорошем исходе. Не уверенность знания или размышления, а такое прирождённое внутреннее чувство, как часть существования: как ни плохо – а всё-таки хорошо! выше плохого всегда стелется хорошее, а за дурным всё равно прорвёмся к добру. Это был постоянный мир с самим собой. И как бы мрачно ни виделись ему события, а в душе сохранялся добрый свет, он просто не жила иначе. И если это чувство на короткое время подавлялось – он всегда ощущал как болезнь.

А сейчас – он потерял это чувство, и испуг был – что навсегда.

Все эти недели он поступал, не усумнясь, – и вот оказалось всё плохо, всё потеряно.

Горло сжимало, как щипцами наискось.

Да! – кольнуло: там что-то же опять и про самоубийство? (И это – не первый раз, это настойчиво!!)

Спихватился: да он не прочёл как следует, он не помнит письма! Он его и перечитывал несколько раз, а головой беспонятной, и так, чугуня, ушёл спасаться в сон. Надо перечитать сейчас же!

Забыл, где выключатель. Стал – спички искать. (Вот что: не спал, горел в темноте, – а не закурил ни разу, забыл!)

Со спичкой включил верхнюю лампу.

Оказался – одет полностью. Только без шашки и сапог.

Пошёл к столу читать.

Но как же она любит! – “во много легче расстаться с жизнью”!

И: “вот как ты отплатил за всю мою верность, за все мои жертвы. За то, что я никогда тебе не изменила. Что я отдала тебе свою молодость. Приняла роль скромненькой жёнушки, устраивающей уют для твоих занятий. И за всё это теперь – предательство ?...”

Вот когда закурил, закурил! Вслед за первой и вторую.



В носках ходил по номеру.

И ещё дочитывал:

“Очнись! Почему должна бороться с собой я, а не ты?”

Это – верно. Он – сильнее. Ему и бороться.

И если даже любовь уже не прежняя, то – отвечает за Алину он, не она за него.

Только бы сейчас эту встряску пережить, а там как-нибудь это смягчится, примирится.

А – как Ольда предполагала? Что она – говорила, думала?

Не вспоминал. Не мог вспомнить. Тогда, там, не задумывался.

А сейчас, при зажжённом свете Ольда была ещё меньше видна, чем в темноте.

“Чтобы остаться жить...”

**Чтобы остаться жить ...**

О, как попал! Как разворотом-мерзко на душе!

Выхода – нет.

Чувствовал себя убийцей.

Да – времени нет! Надо – скорей, сейчас, вот сейчас. Ещё новая вспышка – и она...

За то время, что шло письмо, – и то уже может быть...

“Пройти этот путь только ценой самоубийства”...

Возьмёт – и...

Почему должна бороться с собой – она?

Это верно.

В отчаянии – чего не сделаешь?

Вот что, надо телеграмму дать! Смягчительную, ласковую телеграмму. Чтоб сегодня же утром получила.

Было очень-очень рано ещё, но на телеграфе всегда дежурный.

Быстро натянул сапоги.

Одеваясь, увидел себя в зеркале, на внутренней стенке шкафа. Какой-то старый, помятый, потерянный, с воспалёнными глазами.

Сразу ссунулся в старость, и чувство такое. Ушли его сорок.

Пошёл по гостиничному коридору, смягчая шаги. Все спали ещё.

И на улице – тьма, и холодная снежная сырость, на продрог. Злая какая-то сырость.

Небо без звёзд, без луны. Кое-где фонари на углах. Все окна тёмные. И прохожих нет.

Шёл – пригнутый, не военный. Как собака побитая. И поверить было нельзя, что вообще когда-нибудь в жизни ещё вернётся весёлая лёгкость, позавчерашняя.

Алина – просто слишком трагично всё воспринимает. Всегда так, и теперь так. Ведь он повторял ей, повторял: я никогда тебя не оставлю, этого и в мыслях у меня нет. И вдруг первое, что она предлагает, – перерубить?

Нет, он ей в этом не соучастник.

Алина-Алина, я ведь тебя люблю! Помни об этом.

От ходьбы, от движения к действию – уже не так жгло. Смягчалось. Возвращалось в привычные размеры, в привычный ход.

(А та лёгкость, нет, – всё ж залегла уголочком в груди, держалась).

Он шёл мимо тёмной каменной высокой монастырской стены, облепленной заснеженными лавочками.

И вдруг миновал широкую калитку, полотнище её было распахнуто. Мелькнуло тёплым светом – и он шагнул назад, задержался против проёма.

Полотнище было распахнуто – и дальше были распахнуты церковные двери – и виделись внутренние остеклённые: там, дальше, было немало огня, различались столпы подсвечников со свечами, служба уже началась или готовилась.

Но ни звука не было слышно сюда и даже не видно фигур внутри – священника, или монастырских, или прихожан.

Если служба шла – то как будто сама, без людей, ночная.

Поколебался – не зайти ли?

Но нет, телеграмма не ждала, надо было спешить.  
Зашагал к телеграфу.  
Единою задачей влачимый через всю жизнь, и всегда спеша, – так он и прошагивал всегда.

## 75

Темнота...

Тишина.

Но – не могила, ты – в жизни ещё. А полмига, четверть мига, пока не вернулась память никакая, ни о чём, – лежишь как не знавшая горя: проснулась.

Только – полмига. И тут же – уколом! – самое последнее, вчерашнее! Но не последнее одно, а – уколами – уколами сразу и вся цепь. И всё это – в голову больную, в грудь больную, нет сил!...

Что бы вот так – ничего не вспомнить, просто полежать? Просто отдохнуть, послушать, как тихо, тихо, тихо по всей Араповской, во всём Тамбове. Нет! передачей молоточков – Письмо вчерашнее – Могилка детская – Женькина смерть, Типуленьки – Последние дни его – Из Тамбова опоздала – Пустынная горечь от свидания – Двое суток блаженных, не знающих о беде, – в этой самой комнате?

Могилка сельская, в осени сырой.

А у него – другая?...

И так прожигая, по одному месту, повторно, и одни и те же борозды прожигая в мозгу, как электричеством выжигают – отпустите!! отпустите, выключите!!

Зачем же он теперь такое пишет?!

Выбилась, разорвала. Лежала как в обмороке, спасительном забытии, отключась от этой всей колющей цепи.

Но – боковым прожогом, по другой дорожке, как будто не о себе, а из другой жизни: мама умирала – скрылась беременной, легче ей не увидеть дочь никакой, чем такой, – не донеслась глаза закрыть.

И – уже из третьей жизни, совсем посильное, так жегшее раньше, а теперь уже не жгущее, теперь такое дальнее: женькин отец.

Тогда казалось – сложнее нет: как это всё разрешится? Как убедить его, что надо сказать жене? как ему храбрости придать, ведь не осмелится? А почему это было так надо? Тогда было так, сейчас и не вспомнить. Ведь не думала же его отнять, слабого такого, не способного на прыжок. А – унижение душило: начинать какой-то тайной прикладкой, не личностью, воровкой скрытой? – нет, пусть будет ясность.

Какой слабый мужчина. А много ли их сильных? Там, где нервы натянуты, они не сильны. А разве Фёдор не слаб?

Слаб! И слеп! Запутался! Плыёт обрубок дерева, куда течение приткнёт! Когда с ним – прощаешь за его простодушие, глаза изумрудные, берёшься верить, берёшься тянуть его вверх, – а расстанешься – что было? Пустота. И – ещё пишет, что...?

Отпустите! Выключите!

Женькиного отца вспоминать – сейчас спокойно, одно облегчение, вот и стараться. Она узнавала его по Чехову, – верно списано, такие они и бродят: милые, приятные, мухи не раздавят, и дела никакого не совершат. Тоска или мечта? – вечный поиск, но и не настоящий: что найдётся – и ладно, как сложилась жизнь, так пусть и будет. (Да и Фёдор же такой!) И с самого начала предвиделось, как это кончится: останется он в своей скорлупе, всё такой же умеренно-ищущий, а разобьётся только сама Зинаида. Уже провожая её в деревню рожать, обещал непременно скоро приехать, вот тотчас же! А там дальше и жизнь перестраивать – для сына! И не лгал, ведь верил.

Но даже не приехал сына посмотреть.

Мужчинам живётся шире, легче, они и не пытаются себя понять, не нуждаются

прорабатывать себя в глубину. А женщина живёт тесно – и всё в глубину, в глубину.

И та – тоже ведь? И той – тоже? И – в глубину? Допустить – полужизненная она, полуженщина, а всё равно: прожигает?

Но Типуленька-то – умер!!! Мальчик! Женечка! Так на земле ещё ничего и не поняв, не различив ни мест, ни лиц, ни частей своего даже тела, – одну только мать, и то размыто. Ещё не вырвался из небытия, три четверти времени во сне – и туда же опять. Только-только снялось это старческое выражение, с каким младенцы узнают негостеприимный мир, – и назад... Еле-еле волосики пробивались, голова только-только подправилась ближе к человеческой, подобрался затылочек, – и посинели губы. Нету .

Проклятое “скажут”. Для себя – никогда совсем не боялась Зина “скажут”, но – чтобы мать не убивать. А не приехав к больной – её подтолкнула туда же? Так – на похороны? Снова “скажут”, зябко.

Может и та – не так за мужа держалась, как “скажут”? Невыносимо ведь.

А для Фёдора – приехала, примчалась, не постыдилась сестры с мужем, не побоялась никого, ничего: к нам! И в гостиной, где всё их детство, куда и он приходил когда-то знакомиться с семьёй, и гимназистка замирала от смиренного восхищения перед бывшим членом Государственной Думы! пострадавшим! и писателем! с изумрудными попыхивающими глазами! – теперь в той самой гостиной по воле его прохаживалась нагая, а он лежал на диване и теми же зелёными глазами скользил.

Три недели назад, всего три недели! – вот тут бродили, беспутные, а сын в Коровайнове уже заболел!

Но хотя подтвердилось её предчувствие, шесть лет дразнившее, манившее девчёнку в отдалении, что с Фёдором откроется ей. И хотя эти два дня встречи она не успела очнуться, – но уже нарастали в ней пустота, обманутость, – и всю её залили, едва расстались, едва только села в кирсановский поезд, и низменны показались собственные восторги, всё обман, муть, – даже до отвращения, зачем приезжала? Скорее к сыну назад! И тревога колющая: что с сыном брошенным? здоров ли?

О своём таком же, покойненьком, крохотном, там, на коровайновском кладбище рядом сказала крестьянка: “чрева моего урывочек”.

## Чрева.

Моего.

Урывочек.

Нету.

И – самой бы тоже...

А что?

Так никогда никто и не увидел её затаёныша. Ни отец. Ни... отчим. Некогда всем. Жил как не жил, только в памяти матери. Ни фотографии. Никогда никому не покажешь.

Как она и хотела? – скрыть...

“Отчим”! Он своих-то детей без любви разбросал, небось не знает даже. Одного только отличил, взял в приёмьши. Что за бездарность мужская – не уметь любить своих даже собственных детей?

А если бы у них был – неужели бы не приклонила? не притянула?...

Уже в кирсановском поезде ехала в отчаянии: едва началось – и всё кончено! этого нельзя продолжать! вот только что началось – и кончено, и нечего вспомнить. Он – безнадежно груб душой, не развит, он ничего не понимает выше! Науку жестокую принимала она годами из его писем, он сам писал про женщин, отталкивал, пальцы сбивал – не держись, но она понимала это как грубоватую игру, что не дорожит, в любую минуту вычеркнет, она поверить не могла, что всё именно так: женщины не по выбору, не по поиску, а где меньше затрат на ухаживание, никого не добивался, никого не пропускал, – она же помнила его светлую улыбку и даже милую стеснительность на уроках словесности, она

всегда верила в его душу, душа залегала – и только нуждалась очиститься, душа просила помощи от женской руки! – и это всё могла его ученица с первой парты! И шесть лет она держалась стрелкой компаса сквозь его грязноватые откровения, верила, что всё это поза, что там, под поверхностью, заложено никем не открытое, не добытое, ему самому не известное. Он потому и откровенничает, что не знал любви никогда.

И ещё как вознадеялась, ещё как воспряла, когда он смог не взревновать к чужому ребёнку!

И вот – они были вдвоём, в объятиях, – и что же? И – нет ничего того?...

То-то всегда она боялась узнать его ближе! Рвалась – и боялась.

Ещё не доехав до сына, ещё не узнав о его болезни – она была уже в отчаянии, в отвращении, – не встречаться больше, да может и не писать.

Пу-сто-та!

Пустота! На целую бы жизнь вперёд протянулась бы женькина жизнь, а теперь – пустота! Другим человеком, другим ребёнком не заполнится, не пройдётся никем! – **этого** существа никогда уже на земле не будет. Вся несостоявшаяся жизнь так и промерещится – ни с кем не связанная, не пересеченная.

Ещё до того не захотелось ему писать. А когда закатился Типуленька – всё прочернело до немоты. Что писать ему? – чуда не будет.

Предательство: кинуть мальчика беспомощного, чтобы только самой...

Но – второе предательство, хуже: под тою же крышей, сейчас, в том же доме пустом, под тот же бой часов – и думать, и жечься опять о **нём** ? не о Женьке одном?

Смерть сына так неожиданно и просто ввела в церковь, куда никогда не долежали пути всей юности. И так, будто всю жизнь и ходила. Так просто стояли у гробика и крестьянки-соседки. Несли его.

Но от той панихиды и до панихиды девятого дня усидеть в Коровайнове не могла – бросила могилку одинокую – теперь навсегда одинокую, теперь навсегда ему быть почему-то на коровайновском кладбище! – и помчалась к тётё в Тамбов, в монастырь Вознесенский.

Тётя – и всегда звала: будет плохо – приходи. Но всё, что могла она говорить, вело к загробному утешению, всё не касалось кипящей жизни. И прежде дерзила ей Зинаида: оставь, тётя, Бог-утешитель – абсурд: для чего было мир хлопотать создавать, чтоб его утешать потом?

А тут оказалось – и просто, и очень утешенье это надо – как будто застывающей, сладковатой смолой заплывались бездны и режущие камни. У тёти нашла Зина первое равновесие.

Она стала думать уже не так, что с сыном её никогда ничего не совершится, не произойдёт, не будет, а: **где он** ? Где он теперь? Чтоб он нигде – этого быть не могло, это понятно! если уж пожил немножко – это не может равняться тому, что и не был зачат.

Чрева. Моего. Урывочек.

И попался священник отец Алоний в соседней Уткинской церкви – такой доброжелательный, простонародно-основательный, широкоплечий, – он служил панихиду девятого дня, а потом разговаривал с Зинаидой. Как-то просторно-светло говорил. И равновесие её ещё укрепилось. Да Зина и прежде, сама, не веруя, защищала церковь от прогрессивных. Наперекор течению.

Равновесие укрепилось, и ровней потекли мысли, – и три дня назад Зина нашла в себе ровность и силы – написать Фёдору о смерти сына. И может быть можно было так начать выздоравливать.

Но до дважды девятого дня – до сегодня – не пришлось ей ровно дожить. Грохнул вчера, как плитой на голову, разминувшимся письмом (не писал бы, если б не разминулось!): знаешь, у меня другая есть, и это серьёзно.

Другая, или третья, или двадцатая! – но тогда приезжал **зачем** ? Не признался – почему? Блаженный и пустой спектакль этой встречи – зачем? Вот жжёт, вот гибель: ради

кого, ради чего, зачем погубила мальчика?  
Кого хотела спасти? кого хотела очищать?  
Поверила! На одной ноге прыгала!...  
Но – кто же ты?...  
Она сидела.  
Зажигала лампу.  
И твёрдо вставила стекло.  
Ещё мрачней на неё глянул беспорядочный пустынный родной дом. Тёмными распахами в другие тёмные комнаты.  
Здесь она перед ним ходила...  
Вырваться! Из постели, пока рёбра не давлены. Из комнат, из дома – куда-нибудь.  
Только – не одной!  
Одной – удавиться только! Жить нельзя больше! Жить нельзя! Особенно здесь. Уйти из этого склепа, черноты, тишины, где мама умирала, где страсть теребили – а там умирал малыш.  
Зачем же тогда ты звал меня?! Я бы к тебе не бросилась – и он бы не заболел!!  
Уже одетая.  
К кому-нибудь! Куда-нибудь! На грудь броситься – не могу одной!  
Самое прямое – к тётке. В монастырь ворота уже отперты, монашки встают до света.  
Но к тётке – почему-то нельзя. Так просто, так спасительно было бежать к ней после смерти сына. А сейчас – нельзя.  
Как это нагораживается? Двадцать два года, у других – только начало жизни. А у тебя нагорожено, загорожено, – жить негде, хоть удавись!  
Хоть удавись. Вот на этом жёлтом шарфе. Крепкий длинный шарф.  
Так чисто начать, знать себя прямой, даже благородной, – и за один год наломать, накрутить, запутаться. Ту семью – взорвала! Маму – предала! Женьку – предала!  
Только *его* не предала.  
Так предал он.  
Уже не так рано, где-нибудь люди. Темно, потому что ноябрь. Только отсюда вырваться.  
Платком покрылась. Остаться – нельзя. Одной – нельзя, это худо кончится.  
Но и к тётке-монашке почему-то никак нельзя.  
Руки дрожат – ключ уронила. Теперь – ключа не найти. Если в щель порога... Вовсе бы бросила, ушла, – нельзя, сестре жить.  
Заплакала. Всё держалась, а вот заплакала: ну где он, железа кусочек?...  
По всей Араповской – ни души. Если где засветились, то – ещё за ставнями. Медленно встают. Медленно живут. Молятся по часу.  
Фонари – на углу Большой. И фонарь на углу Долевой, близко, но сюда не достаёт.  
Вернулась за спичками. С тёткой – что ж? Она давно, давно в монастыре. Святой – быть легко. Но грешную понять невозможно. Женщине не испытавшей – понять испытавшую невозможно.  
Чиркала, чиркала, ветер задувал. Нашла наконец, вот куда завалился.  
Заперла. Положила в укрыв. И пошла.  
Если бы к тётке – то по Большой, до Вознесенского за Студенец. Не выбирала, пошла к Долевой.  
Сыро. Темно. По Долевой и ветрено. Через лёгкий платок голову продувает. И хорошо.  
Никого навстречу, так и шла одна. Никого у калиток. Кажется, с первым бы заговорила! – никого. Тёплыми вечерами весь Тамбов – на скамеечках, у калиток. Сейчас – никого.  
И – к кому ж она? Всё закрыто. И все по домам.  
Когда-то считала: чем хуже – тем интереснее жить, а как дела исправятся – всё укладывается в слишком покойные рамки, скучища. Не-е-ет, это пока не провалишься. А из

проруби – руку подайте! руку подайте! вытащите меня к вам!

Шесть лет она Фёдора любила, а Женьку – шесть месяцев. Но весь мир была ему – она одна, он-то ничего в мире больше не знал.

И – преполна была. И зачем опять эти письма? К своей полноте – зачем ещё звала его? Столько лет удерживалась – не стать навязчивой, нежные слова заставляла иронией, переписывала, если получалось нежно. А тут – на одной ноге заскакала.

Как будто если та “другая” будет с ним – он станет счастлив? Да нисколько. Ему и не нужно ни любви, ни счастья, ни близкого человека. Он беден душой и, наверно, неисправим.

Никогда не переступит по земле собственными ножками. Никогда не вымолвит даже “мама”. Ничего не успел.

Со вчерашним письмом как же явиться к тёте, как голову поднять, – потаскуха? Уже довольно было ребёнка от женатого.

А уже она переходила Дворянскую. Тут ещё сильнее дул холодный ветер, огибая круглый лоб Благородного собрания. Два порожних извозчика один за другим, наклоняясь против ветра, гнали с вокзала.

Зинаида, в ветру, остановилась на площади.

Перед ней была Уткинская церковь.

Бледно светились вытянутые окна. И редкие фигурки шли туда с разных сторон.

У неё мысли не было такой, что – сюда. Привели ноги сами.

А – куда ей? Не возвращаться же. Только – не одной к себе.

Окна не яркие, залитые как на празднике, – но слабого света. Для больной души.

После гимназических обязательных служб она заходила в церковь разве куличи посвятить. Хотя из протеста против всеобщей моды иногда даже и хотелось. Да в Москве в лютеранском храме слушала органную мессу, и то – как концерт.

И на той мессе тоже думала – о нём. При своей ничтожности перед мирозданной музыкой вспомнила его, и так стало жаль его: ведь он только думает, что куда-то бьётся, продвигается, что-то совершит, а за сорок лет ничего и не сделал, и не пристроен, и неудачник. И так потянуло – спасти его, очищать от наносного.

Сама-то?...

В притворе миновав нищих двух-трёх, – а вышла-то без кошелька, – Зина вступила в храм. Горело много лампад – у всех икон, немного свечей, а электрическая лампа – только одна у певчих на клиросе, и больше ничего, ни люстры. Оттого и был такой сдержанный, умеренный бледный свет.

Лампады – любила Зина. И дома, у мамы, бывало, лампадка. В светёлке, в спальне, от женщины к иконе – лампада. Интимно, лицо к лицу. Свет мал, а знает много. Бездна в этом – один на один, и что там сказано, о чём там прошено?

Служба начиналась в правом, Богородичном, приделе, где стояла небольшая, но известная по городу икона Тамбовской Божьей Матери. Туда стянулись и почти все прихожане. Священника не было там перед воротами, только со стороны псаломщик неразборчивой унылой скороговоркой читал тягуче-бесконечно, и священник из правого алтаря изредка коротко откликнулся ему.

Зина тихо, не слыша своих шагов, прошла свободной просторной средней частью, не различая почти ничего. Стала близ опорного столпа. Закинула голову.

Она взглядом повела по арке столпа, как та плавно уходит вверх, а та уходила и растворялась в купольном своде. Сам же свод был над средним простором храма – как малое круглое небо, малое, однако выше-сосредоточенное. Сколько доносилось, доливалось туда рассеянного лампадно-свечного света, – всю полукруглость малого неба занимало распротёртое плечное изображение – Бога-отца в облаках. Будет утро – и свет придёт туда, в подкровельные прорезные окна, туда попадёт и первое утреннее солнце, и туда достигнет последнее вечернее. А сейчас там была полутьма, но весь собранный снизу свет давал полуузнать, полуувидеть – лицо самого Саваофа, грандиозное по смыслу. В нём не было неги утешения, но – и выше кары, выше всякой грозности была напряжённость

Миродержателя-Творца. Он сам был – небо надо всем, и все мы держались – Им, и похитительно дерзостью был замысел живописца выявить Его лицо в понятии и чертах человеческих. Это не могло удаться. Но через то, что было написано, низвисало над нами – великое, невообразимое выражение Силы, содержащей Мир. И кто застигнут был этими заоблачными Очами и удостоен был зреть мгновенье одно этот Лоб – сотрясённо понимал не ничтожность свою, но удостоенное же, замышленное место в гармонии. И призванье своё – эту гармонию не разбить.

Так, сильно закинув голову, глазами в эту огромность, Зинаида стала – и стояла, и стояла, не слыша ничего в храме, и нисколько не молясь, и даже не думая ни о чём. То, что парило над нею, – не передавалось словом, и было выше мысли, – это была волна животворящей воли, с доплеском и в нашу грудь. Натягивало струны горла, затекала, заливалась горячим шея, ноги теряли опору и покачивались – но не мочь была оторваться. Продрогаемая увиденным, как поставленная на мучение, стояла, пока терпела шея, в неприращённости к полу, покачиваемая, не молясь, не прося, не спрашивая, – вбирала.

А от вливаемой воли – стало легче и крепче. Не стало этого жжения, как дома, – вырваться, куда-то бежать, кого-то видеть, говорить. Стояла – и никуда не несло её бежать. Стояла с затекающей шеей, а чугунная скованность стольких дней – изникала, отпускала.

Покруживалась голова. Зинаида, не без труда, руками вернула голову, поставила, как надо. И прошла немного дальше по каменным плитам.

Там, в правом приделе, вышел священник, молча поклонился перед закрытыми воротами, – но не отец Алоний.

Опять одна, без соседей, оказалась Зинаида у большой иконы Христа, перед иконой светилась крупная розовая лампада. В поле зрения и ничего больше не стало, только эта икона, заступившая весь храм, и лампада. Там, сбоку, шла служба, но Зинаида не воспринимала из неё ни слова, не слышала. Она стояла и смотрела на коричневый лик Спасителя.

А это было – вполне человеческое лицо, хотя другого цвета кожи, другой земли. Были странности – спускались двумя косичками волосы, и нос был так длинен и тонок, как не бывает, и застыли поднятые персты для благословения. И была многозначащая загадка глаз. Знающая всё, отвеку и довеку, что нам и не снится. В лёгком состоянии души можно было этой глубины не заметить. Но сейчас отзывалось всё. Что было выразительно ясно: Христу – остро больно, но он не жалуется. Всё сожаленье Его – к тем, кто подойдёт, вот к ней сейчас. Его глаза вбирают сколько угодно ещё боли – всю её, и многократно до неё, и сколько ещё грядёт. Он – сжился с болью как с неизбежностью. И знал разрешение всех болей.

И ей стало легче.

Розовое стекло большой лампады и свет от неё были тоже особенными. Это была розовость, но что за розовость: ничего от зари, ничего от румянца, ничего от близкого тока живой крови, – розовый цвет с лиловой нездешностью, отрешённый ото всех земных цветов. И в этом свете особенно был пронизателен тёмно-коричневый, всезнающий лик.

И в этом бесплотном-розовом свете особенно показалось невозможным, чтоб сын её был – нигде. Сейчас просто увиделось, что *где-то что-то есть* .

Икона, лампада – поплыли.

Как хорошо она подошла, не выбирая, наугад, она никуда и не хотела больше. И разговаривать с кем-то захлёб, как она рвалась, – ей совсем не нужно стало. Теперь сбоку слышался и речитатив:

“Ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне... Кричу от терзания сердца моего: Господи! пред Тобою все желания мои, и вздыхание мое не сокрыто от Тебя”.

И – задрожала: тут всё знали ещё до её прихода! – возглашали открыто.

Она не пыталась молиться: такого навыка не было у неё. Но в груди, в голове сняло какую-то помеху, запрет – и стало опять думаться. Думаться – не толчками и вздрогами, от которых болит и палит, а – созерцательно над собой, как чужой.

Она думала, что если применить церковное понятие греха, то у неё грех – тройной.

Нет, четверной.

Нет, даже пятерной. (Без сопротивления насчитывалось, как на чужую).

Она соблазнила женатого. Она не поверхностно повредила, но своим настоянием *открыть* – во всю глубину рванула трещиной ту семью. Она покинула умирающую мать. Она покинула сына – ради возлюбленного. Она... Четыре. А где же пятый? Вилась ещё тут где-то и пятый.

“Ибо душа моя насытилась бедствиями, и жизнь моя приблизилась к преисподней”.

Больше стали видеть и её глаза – и теперь наискосок впереди, на крыле среднего амвона, в уголке она увидела – и обрадовалась – стоящего к ней боком отца Алония: он исповедовал. Пока в правом приделе шла утренняя, а он тут исповедовал, будто совсем беззвучно: у аналоя приклоненную головой выслушивал склоненную голову, потом накрывал её епитрахилью, крестил и отпускал. Исповедальников ждало несколько, и они проходили не быстро.

Впрочем, это так замечалось, ни к чему. Зинаида не нуждалась в исповеди, она и без неё себя читала ясно.

Если разбирать изнутри её жизни: она не лукавила, не измышляла никого обмануть и никому повредить. Она хотела только пройти свой естественный женский путь – имеет право она на него, как всякая?... Она и не прошла его, она всего только начинала, начала, – но, Боже мой, как трудно оказывается и начать! Из юности выходишь такой свободной, лёгкой – и почему же сразу так трудно, путанно, почему все люди, судьбы – поперёк, и шагу не сделать, чтоб на ком-то не отозвалось, чтоб не толкнуть, чтоб – не через кого-то. Как же выбраться? Как же бы – опять с начала?

Да не хотела она никому вреда! Но почему каждый шаг жизни – по другим?

Нет, не каждый, напраслина. Перед одним – она ни в чём не была виновата, вот уж! Ему – она хотела лучшего, чем знал он сам. Она хотела открыть ему дар, которого он не знал, и так бы жизнь прожил. Читая его самодовольные откровенности, затаив дыхание, всё вернее видела: одна она ему нужна! одна она откроет ему жизнь и довершит до полноты, а у него – ни полноты, ни разноты, а только расхожее низкое. А вот он – виноват: что попустительствовал, что отдавал, кто бы только взял её первый. Он – на всё и толкнул, и ещё теперь вчерашнее – поди прочь с твоей привязанностью, с твоими жертвами! – но и в отталкивании ложь, потому что если любит другую (да любил бы! да значит снизошла к нему милость! да не доравнялся он любить!) – то зачем же заворачивал в Тамбов?

Ах, вот он, четвёртый, или пятый, – как с корнем дёрнули из неё изо всей! Как пожаром охватывает платье – и скинуть нельзя, и не скинуть нельзя, – пятый, вот он, прилип, прилился! Потому не пошла и к тётке: знала, как та ответит, но ответ ей нужен был не такой! Она искала получить ответ – задуманный.

И тут увидела, как отец Алоний, отпустив последнюю, обернулся сюда. Он обернулся – нет ли кого ещё, скользнул по пустой середине храма – и увидел её, и узнал, – и кивал пригласительно, так поняв, что она – к нему.

Но она не к нему!

Стоял и ждал – широколицый, прямой, такой основательный и простой, густоволнистые назад его волосы оставляли открытым крупный лоб, и под ним сияли глаза.

Поманил – и ждал.

Но она не к нему!

А он ждал и звал. Он так и понял, что она ещё борется со свежей смертью.

А, уж если пришла! Стоит – и ждёт. А – к кому ж она? А куда же?

Шаг, шаг, шаг! – пошла, незадуманно, загаданно.

А там – ступеньки, не споткнуться, поднимаясь на клирос. И только видела – крупное, крупнолобое лицо с поощряющим взглядом, понизу обложенное тёмно-русой бородой.

И больше не успев заметить, разглядеть – уткнулась в аналой. Лбом к евангелию в тиснёном переплёте, и справа серебряное распятие.



Евангелие и распятие – стерегли её исповедь. А аналой – сейчас поняла: крутой подъём! крутой тяжёлый изволок – и этим изволоком надо выволакивать, выволакивать свою жизнь против тяжести и против трения.

В гимназии исповедь – прыснуть, смешок. Уже с размаху – епитрахиль на голову, отпускать. Снисходительные вопросы, предполагающие ребёнка, чуть ли не конфету из буфета, – “грешна, батюшка, грешна”, и отпорхнула. А с тех пор – ни разу. И сейчас – ждала вопроса, и не дождалась.

Ждал – священник, невидимо нависая над нею. И лишённая поднять голову, посмотреть ему в глаза и говорить с ним как с человеком просто, как после панихиды, – она должна была отвечать существу высшему.

И хорошо, что не в глаза.

Да она и не видела его. Ни вообще человека ни одного. А – распятие только, из-под прижатого лба.

Никто не спрашивал её – и не на что было отвечать. Но – самой продираться через тьму.

Не хотела слушать ни тётку, ни её монашек, все слишком святые и не поймут, – а теперь говорить?

Говорить – но жгущего не сказать! Мыслями быстрыми провилянув, всё охватить (а что – пропустить). Для себя ты всё уже знаешь, что наделала, перебрано уже сто двадцать раз. А теперь единственный раз – но вырвать из своей спасительной, попустительной немоты и вывести вслух наружу? Невозможно! (Всё – уже можно, но – кроме одного!)

Безвыходно. Но и безвыходно было одной в пустом доме. Безвыходно будет и куда ещё придёшь. На этот изволок близ распятия – как себя вытянуть? Человеку другому, чужому, – всё, что было, – **назвать**? И не смягчая словами, не хитря? (Сделать – легче, чем назвать!) Где же горло взять, где дыхание? Просто вот так, без объяснения, без вступления, горлом сухо-надтреснутым:

– Я – соблазнила женатого.

Уф, первый порог. Никакого порога: это всё уже прошлое. А – зачем?...

– Я... соблазнила его... собственно не любя... Любя – другого, а тут... Ну, просто... Ну, возраст пришёл... Ну, чувствам исход.

Хотя б вопрос над головою! Или – суждение, осуждение! Или звук сочувствия? Нет. Да слышат ли тебя?

– Я – заставила его открыться жене. И этим... думаю... разломала их жизнь... навсегда...

Второй порог. Свинцовая жизнь, как тебя вытягивать? Но с каждым названием как будто и спадает что-то. Но ещё не всё, доказать себя:

– Это – без цели, так, ни к чему... Я очень раскаиваюсь.

Неправда, цель была. Но не так же ясно, точно! Была... Наперёд знала, что расстанемся... Нет, не знала...

– С низкой целью. Оторвать его для себя... Нет, для самолюбия... Потому что другой не любил... Как легко вдруг сказалось.

– А я – того – всю жизнь любила.

На любовь – как крыльями! А сама, по изволоку, на каждом грехе как через камень перекатываясь, – и носом вниз, и носом в землю:

– Потом я... скрывала беременность от матери. Придумала уехать в деревню. А мать – заболела, умирала... Я не приехала. Предала её... ради ребёнка...

Неправда, вильнула.

– Нет, из-за позора. От самолюбия.

Нет, это – как колодезной бы кошкой, три крюка в три стороны, – и надо там, на тёмном дне души, найти горячий камень, нащупать, подцепить, а он не цепляется, а он срывается, он семьдесят раз срывается, пока ты его бережно, как лучшее своё сокровище, движениями точными, ни дрогом не ошибаясь – поднимешь, поднимешь, дотянешь, дотянешь

– хватать! – и, пальцы обжигая, выкинула из души!

– Я – младенца покинула... для свидания... Как безумная... И он заболел без меня... и вот отчего умер.

Так и этот – вытягивала, вытягивала, вывалила наружу, не дыша. Труд – испотивающий, пот холодный на лбу.

Что теперь священник думает?... Так жалел сокрушённую молодую мать...

Но заметила: каждый вываленный камень как будто уже и отделяется от неё – навсегда ли? нет ли? – и можно теперь хоть со стороны на него посмотреть, не в себе одной волоча.

Взглянуть на священника – она не подняла головы, она не смела, и никто так не делал до неё. Но не слыша от него ни звука, но вдруг с какого-то камня догадалась о незримом нависающем священнике: он – и не исповедует. Она – **не ему** исповедовалась! Он – только нужный свидетель.

Потому и трудно так, что: всё – сама. По тому и облегчение, что: всё – сама.

Облегчение – надолго ли? Разве сказанное слово перевесит вину, грех, зло?

Удивительно, непонятно, но: как выговоришь – так отваливается. Хоть – и пока.

А простить – кто ж это может всё простить такое? Кто другой человек может тебе отпустить? Сама и таскай, сама и трудись.

И в этом – движение. В живой груди всё сваленное – не может намертво остаться навсегда. Если бы всё так оставалось – мы бы тоже камни были.

Да что ж нависает он, молчит? Хотя бы помог вопросом, звуком, поощрением!

Но когда уже научаешься эти камни вытягивать крюком срывчатым – в сухом горле свободнеет речь и рассказ исповедный ускоряется. И сумятно спешешь выхватывать и называть свои предательства (свои! вот только что винила его, но это ложно!) – называть уже и по второму разу (а все оказались напрасны! все впустую! все не приняты!) – второй раз по этому месту – или это новое место – или это не второй раз? – да, второй раз предала! – уже не жизнь твою, а память свежую, неостывшую – ещё могилка не уряжена, будет ждать убора до весны – а мысли мои о ком опять? – опять о нём, опять о нём! – вот почему побежала, между вспышками, безумея, уклоняясь, где б не обжечься, а то и прыгая через огонь, не зная прямой, которой и нет, и по той же калёной земле, жгут подошвы, возвращаясь на то же место, – мне пальцы сбивал, отстань, оторвись, – шесть лет о нём и опять о нём, – спалила сына и, траура не доносив, – вот он, пятый, наносится как смерч, – вот когда камня не вытянуть, пылает!! Сама обуглена, а вьётся неупускаемо, огненной змейкой: ещё зародить! от **него** – зародить! он этой радости не знал – **вместе** !

И что б сейчас священник ей ни возразил, ни запретил, простил не простил, – она с ужасом видела, что обречена ему.

Но – ещё снова от кого-то отталкивать? отбирать, отнимать? Нет шагов по земле – не по людям? По траве, по земле – нет шагов, не бывает?

И – как зыбка земная кора! Везде, под каждым шагом плавится! Нигде не пробежать, не провалиться!

А пока меж огнями металась – обронила крюк, ушатнулась от колодца – да не грохнулись камни все туда опять?! О, Боже, помоги! Ты видишь, я выбраться хочу! Я хочу перемениться! Но слишком много бед...

И куда докарабкалась на изволоке, там и сникла, виском о распятие, исчерпав свои малые силы, одночеловеческие.

Молчала.

И на голову ей легла тканая тяжесть, затемнив последнее, что ещё видела. И через ткань слышные касанья крестящей руки.

И голос – необыденный, способный вскинуться за тысячу грудей под купол, молить, страдать, каяться, – а сейчас негромкий, для неё одной, но и со всем тем подкупольным значением:

– Господь и Бог наш Иисус Христос, благодатию и щедротами своего человеколюбия...

Она – всё своё выкрикнула, как ни ужасно, она всё своё сделала, она была и прижата,

виском к распятию, и бездыханна. Но – другое Дыхание, но Дух – плавал над ней и трепетанием проникал в неё.

– ...да простит ти, чадо, вся согрешения твоя. И аз, недостойный иерей, властью Его, мне данною...

Он – не власть подчёркивал, но недостойность. Над её сокрушённым трудом он сокрушённо свидетельствовал о прощении.

– ... прощаю и разрешаю тя от всех грехов твоих...

Он так веско, глубоко выговаривал, будто знал и взвесил ещё много подробностей, ею не сказанных, и, всё оценив, – уверенно прощал однако.

Но сама Зинаида не так поняла, что всё прощено, забыто и кончено. А – что труд её был не напрасен.

Что сдвинуто с места – то не остаётся вовсе на прежнем.

Однако – был же и вопрос у неё. Или она, в прыжках от ожогов, не выразила?

Он снял епитрахиль – и она поспешно подняла освобождённую голову, взглянула на отца Алония.

Увидела взгляд его прямой, лицо прямое, лобастое, твёрдое, безлукавое, – он понял вопрос её, понял, не скрывал.

Но – разведенными твёрдыми пальцами снова наклонил её голову, не тяжко, но властно.

Не сразу поняла: к евангелию.

Поцеловала древне-бордовый переплёт с полустёртым рельефом рисунка.

Не покидая водительство пальцами – передвинул её голову к распятию.

Прильнула к его серебру.

И снова вскинула голову со своим неостывшим вопросом.

С непроливаемой влагой смотрели глаза отца Алония.

Он – сказал своё обязательное, он – не должен был говорить больше. Но она ждала, вскинутая, ещё отдельное что-то для себя.

Шевельнулись крупные губы его из темно-русой поросли:

– В каждого из нас заложено таинство большее, чем мы предполагаем. И в общении с Богом доступно нам его разглядеть. Научись молиться. Истинно, ты сможешь.

Но ещё пока она не умела! И это не был для неё ответ.

Со скорбным сочувствием смотрели его серые глаза. И он не уклонился продолжить:

– Нет в мире более больнее семейных, струпья от них – на самом сердце. Пока мы живы – наш удел земной. Редко можно за другого определить: “вот так – делай, вот так – не делай”. Как велеть тебе “не люби”, если сказал Христос: ничего нет выше любви. И не исключил любви – никакой.

1971-1973 – Подмосковье

1975 – Нагорье Цюриха

1979-1981 – Вермонт